



Этой книгой Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге завершает издание уникального четырехтомника, впервые предлагающего читателю полный свод литературно-критических отзывов о Пушкине, вышедших при его жизни.

Пушкинская Стрелъера

Каждое следующее издание серии призвано открывать новые и неожиданные научные, исторические и художественные аспекты пушкинского творчества.



Редколлегия:

В. Б. Бухаев
А. Вуд (Великобритания)
В. С. Непомнящий
В. Э. Рецеттер (редактор серии)
И. П. Саутов
С. А. Фомичев
М. М. Шемякин

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПУШКИНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

П · У · Ш · К · И · Н

В ПРИЖИЗНЕННОЙ КРИТИКЕ

1834–1837

*Под общей редакцией
Е. О. Ларионовой*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2008

ИЗДАНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В. Э. Рецептер

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Е. О. Ларионовой

СОСТАВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ, КОММЕНТАРИИ

А. Ю. Балакин

С. В. Денисенко

Е. В. Кардаш

Т. А. Китанина

Е. О. Ларионова

Е. В. Лудилова

А. И. Рогова

С. Б. Федотова

С. А. Фомичев

РЕЦЕНЗЕНТ

доктор филологических наук С. А. Фомичев

РЕДАКТОР

О. Э. Карпеева

ХУДОЖНИК СЕРИИ

А. В. Дзяк

*Научная подготовка издания осуществлена
по гранту РГНФ № 07-04-00224а*

*На суперобложке: фрагмент акварельного портрета
А. С. Пушкина 1836 года работы П. Ф. Соколова*

ISBN 5-85080-027-15

© Е. О. Ларионова, вступительная статья, 2008

© Коллектив авторов, составление, подготовка текстов, комментарии, 2008

© В. Э. Рецептер, вместо предисловия, 2008

© А. В. Дзяк, оформление, 2008

© Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2008

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Этого издания пушкинистика ждала давно. Еще в 1887–1889 гг. В. А. Зелинский начал публикацию критических статей о Пушкине, однако без комментариев.

Примерно через сто лет идея изучать и комментировать тексты, появившиеся при жизни Пушкина, а стало быть, ставшие *предлагаемыми обстоятельствами его творческой жизни*, и превратить эти занятия в учебную практику родилась в ходе филологического семинара «Пушкинское источниковедение», который в Пушкинском Доме вели В. Э. Вацуру и С. А. Фомичев.

В 1994 г., когда подготовка к 200-летию со дня рождения поэта начала набирать обороты, мы с Сергеем Александровичем Фомичевым, в то время ученым секретарем Пушкинской комиссии РАН, обсудив план издания серии «Пушкинская премьера», приняли решение включить в нее начатую молодыми учеными работу. Во-первых, она как нельзя лучше соответствовала задачам серии — открывать новые аспекты пушкинского творчества, а во-вторых, такое включение давало надежду ускорить выход в свет этого энциклопедического свода.

Первый том под общей редакцией В. Э. Вацуру и С. А. Фомичева появился в 1996 г. А в 2001 г. мы выпустили 2-е, исправленное и дополненное его издание.

И вот перед нами завершающий том трилогии, как и два предыдущих осуществленный под общей редакцией Е. О. Ларионовой.

В деятельности Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге сотрудничество с ИРЛИ РАН (Пушкинским Домом), теми, кто его представлял прежде и представляет сейчас, стало величиной постоянной. И кажется, сама *наука о Пушкине* в общих делах, перспективах и человеческих связях оказалась благосклонной к изданию.

Михаил Павлович Алексеев говорил, что изо всех филологических направлений именно пушкинистика ближе всего к точным наукам, так как сумела накопить наибольшее количество фактов. Четырехтомное собрание «Пушкин в прижизненной критике» — четыре уверенных шага именно в этом направлении. Важнейшую творческую особенность издания я вижу в

том, что классическая методология великой пушкинистики прошлого века, ее петербургская школа, глубоко и конкретно соединились в этой работе с современной наукой о Пушкине.

Сегодня трудно себе представить, как ученые-пушкинисты, филологи широкого профиля, преподаватели университетов и пединститутов, аспиранты и студенты, писатели и, наконец, широкий круг любящих Пушкина читателей обходились без этого энциклопедического свода текстов и фактов.

Я хочу поздравить всех причастных к этой работе, как поименованных на страницах издания, так и оставшихся за кадром, с завершением фундаментальной тетралогии.

Владимир Рецеттер

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Наиболее характерной чертой литературных отношений Пушкина в последние годы его жизни следует признать глубокое холодное отчуждение, возникшее между поэтом и его читателями, с одной стороны, и между поэтом и литературной средой — с другой. «Вообще пишу много для себя, а печатаю поневоле и единственно для денег; охота являться перед публикою, ко<то>рая вас не понимает, чтоб чет<ыре> дурака ругали вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по-матерну. Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так», — писал Пушкин в апреле 1834 г.¹ Конечно, в русском читающем обществе оставалось большое число поклонников пушкинского таланта, которые с нетерпением ждали и радостно встречали все его новые произведения и могли по достоинству их оценить. Но не их имел в виду поэт, говоря о публике, и слышал он в первую очередь голоса журнальных рецензентов, претендующих на роль выразителей общего мнения только потому, что их суждение подкреплялось авторитетностью печатной страницы.

Практически ни одно из опубликованных в эти годы произведений Пушкина не стало предметом сколько-нибудь развернутого критического разбора. Суждения рецензентов о «Пиковой даме» ограничились одной-двумя фразами; в отзыве о «Песнях западных славян» преимущественное внимание было уделено не стихотворениям Пушкина, а вызвавшей их появление на свет мистификации П. Мериме; «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» удостоились лишь нескольких пренебрежительных замечаний Белинского; «Скупой рыцарь» был объявлен переводом, «ничего не представляющим для суждения о себе»²; первый том «Современника», в котором были напечатаны «Путешествие в Арзрум», «Скупой рыцарь», стихотворения «Пир Петра Первого» и «Из А. Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...»), без всякого стеснения назван в «Северной пчеле» «сухим и скучным журналом, наполненным *чужими* статьями»³; о «Капитанской доч-

¹ Письмо М. П. Погодину около (не позднее) 7 апреля — XV, 124.

² См. статью В. Г. Белинского «Несколько слов о „Современнике“» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 169; наст. изд., с. 145).

³ См. статью П. И. Юркевича «„Полтава“. Поэма А. С. Пушкина. Вольный перевод на малороссийский язык Е. Гребенки» (СПч. 1836. № 162, 18 июля; наст. изд., с. 160).

ке», появившейся в четвертом томе «Современника», критика не упомянула ни словом. Чуть более «повезло» поэме «Анджело» и «Истории Пугачевского бунта», которым журналы все же уделили какое-то внимание. Впрочем, и тут из четырех рецензий на «Историю» одна (в газете «Русский инвалид») являлась краткой библиографической заметкой, другая (О. И. Сенковского в «Библиотеке для чтения») носила по преимуществу реферативный характер, третья (В. Б. Броневского) была наполнена дилетантскими и безосновательными придирками. В наиболее внятном отзыве об «Анджело», принадлежащем О. И. Сенковскому, поэма, при общей ее высокой оценке, рассматривалась все же лишь как «предвещание» того, что «промежуток тишины» в творчестве Пушкина скоро закончится и «священный огонь» вновь охватит душу поэта¹. В 1834 г. Белинский провозгласил в «Литературных мечтаниях» конец «пушкинского периода» русской словесности, но тем не менее еще ожидал от Пушкина «новых созданий, которые будут выше прежних»². Год спустя в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он с уверенностью заявил, что Пушкин «свершил круг своей художнической деятельности», и уже не упоминал его в ряду современных писателей³. Произведения Пушкина регулярно появлялись в печати, однако тезис о «молчании» поэта и ослаблении его творческого дара, казалось, был неизбежно усвоен и критикой, и значительной частью читателей. «Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде, — вспоминал об этом времени И. И. Панаев. — <...> Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению, к новым идеям, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствие в молодом поколении... И несмотря на то, что в художественном отношении Пушкин достигал совершенства с каждым новым своим произведением, молодое поколение начинало заметно охлаждаться к поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствие...»⁴ Причину этого охлаждения к творчеству Пушкина, разумеется, следует искать не в тайном сговоре недоброжелательных рецензентов, а в тех глубоких структурных изменениях, которые претерпевали в 1830-е гг. русское общество и русская литература. Слова о конце «пушкинского периода» воспринимались как нечто само собой разумеющееся, поскольку, действительно, выражали «всеобщее убеждение в распаде великой поэтической системы, основания которой были заложены в XVIII в. и которую Пушкин довел до предельного совершенства»⁵.

В 1830-е гг. читающая аудитория в России неизменно расширялась, появилась отсутствовавшая ранее литературная категория — так называемый «массовый читатель», требовавший от литературы близких ему тем и иных, доступных его эстетическому восприятию выразительных средств. «В обще-

¹ БдЧ. 1834. Т. 3, № 5. Отд. V. С. 41—42; наст. изд., с. 46.

² Молва. 1834. Ч. 8, № 50. С. 400; № 52. С. 439; наст. изд., с. 57, 64.

³ Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 559, 601; Белинский. Т. 1. С. 284, 306.

⁴ Панаев. С. 172—173.

⁵ Гинзбург Л. Я. Пушкин и Бенедиктов // П. Врем. М.; Л., 1936. [Т.] 2. С. 154.

стве неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова, и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах»¹. Перед литературой стояла задача завоевать новую читательскую аудиторию. Завоевать ее было возможно, лишь подчиняясь ее воле и стараясь угадать ее стремления и ожидания, может быть даже еще не вполне ею самой осознанные. Но успех на этом пути делал литературу вполне доходной отраслью промышленности. Едва ли не первым, кто уловил происходящие в литературном мире изменения, был петербургский книгопродавец и издатель А. Ф. Смирдин, обладавший несомненным чутьем опытного литературного дельца. Созданный им журнал «Библиотека для чтения»², объявивший своей целью «одну лишь общую пользу читателей», не имевший литературной программы и организованный как хорошо продуманное коммерческое предприятие с полстной оплатой за авторский труд, стал своего рода символом эпохи, получившей с легкой руки современных критиков имя «смирдинского периода»³ или периода «торгового направления»⁴ в русской словесности. Оказалось, что авторство может приносить не только непрочную славу, но и достаточно прочную прибыль. Так, вместе с появлением массового читателя стало оформляться и профессиональное сословие литераторов.

Обобщенный образ русского читателя 1830-х гг. лучше всего характеризуется словом «провинциальный». Это определение, примененное В. Г. Белинским в статье «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» к «Библиотеке для чтения»⁵, требует только одного уточнения: понятие «провинциальность» следует рассматривать не как географическое, а как эстетическое. Представителем русской «провинциальной» публики 1830-х гг. выступал не степной помещик, а, по справедливому наблюдению Л. Я. Гинзбург, петербургский чиновник — «и потому, что петербургский чиновник составлял как бы вершину низового читательского слоя, и потому, что петербургский чиновник осознавался как наиболее полное выражение основ николаевской государственности, как идеальный тип обывателя 30-х гг.»⁶. По-своему «провинциальна» была и профессиональная литературная среда, производившая безотрадное впечатление: «Ни живого слова, ни живого звука при литературных сходках: или одни и те же фразы об искусстве, которые всем прискучили и повторялись уже вяло, или литературные сплетни, выводив-

¹ Панасв. С. 173. Как пишет Л. Я. Гинзбург, литература должна была быть «заново оправдана и обоснована в ряду общественных, философских, бытовых интересов читателя» (*Гинзбург Л. Я.* Пушкин и Бенедиктов. С. 160).

² О «Библиотеке для чтения» см. подробнее наст. изд., с. 568–570.

³ Определение В. Г. Белинского в статье «Литературные мечтания» (Молва. 1834. Ч. 8, № 52. С. 453; Белинский. Т. 1. С. 98).

⁴ Определение С. П. Шевырева в статье «Словесность и торговля» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 20).

⁵ «„Библиотека“ есть журнал *провинциальный*, и в этом заключается тайна ее могущества, ее силы, ее кредита у публики» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 647; Белинский. Т. 2. С. 41).

⁶ *Гинзбург Л. Я.* Пушкин и Бенедиктов. С. 160.

шие литераторов из апатии и оживлявшие их на минуту»¹. По-своему «провинциален» был и господствующий литературный стиль эпохи, в котором причудливо соединялись элементы будущих художественных систем с отжившими штампами романтического сознания, тяга к социальному бытописанию и обнаженный прозаизм с пышной метафоричностью, шеллингианской философией и представлением о поэте-творце, вдохновляемом божественным огнем². Пушкинское творчество в самых основах было чуждо эклектическому сознанию 1830-х гг., порождавшему своих кумиров — Н. В. Кукольника, А. В. Тимофеева, В. Г. Бенедиктова, каждый из которых считал себя вполне достойным занять место Пушкина на русском Парнасе. «Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, — высокомерно рассуждал Кукольник перед толпой своих поклонников, — гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного; а если мне Бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературе...»³ Журнальная словесность черпала силу в живом отклике массовой аудитории и постепенно осваивала механизмы манипуляции читательским сознанием. Так была создана «Библиотекой для чтения» уже совершенно ни на чем не основанная репутация А. В. Тимофеева — писателя, чьи произведения «носят на себе отпечаток глупости, вероятно, единственной в истории мировой литературы»⁴. Изменившаяся общественно-литературная ситуация требовала от литературного поколения 1820-х гг., к которому принадлежал и Пушкин, нового самоопределения.

Со времени издания первых своих произведений Пушкин видел в литературном труде один из главных источников существования. сетования на коммерциализацию литературы и романтические медитации на темы «славной бедности» поэтов былых времен⁵ могли вызывать у него если не раз-

¹ Панаев. С. 172.

² См., например, характеристику поэтического стиля Бенедиктова у Л. Я. Гинзбург: «В области литературы мешацкий эклектический тип сознания должен был решительно исключить строгий жанровый строй, основанный на иерархии литературных категорий и их соотносительности с социальными категориями. Бенедиктову ничего не стоит соединить Батюшкова с Державиным и Пушкина с Шиллером и Гюго, ибо все это только отдельные красивые вещи, культурно-идеологический смысл которых утрачен. Натурфилософская тема переплетается с темой дружеского послания. В плане лексическом беспощадно смешаны славянизмы и архаизмы, городское просторечие, народные слова, „галантерейные“ выражения, деловая речь и пр. и пр.» (*Гинзбург Л. Я.* Пушкин и Бенедиктов. С. 167–168).

³ Панаев. С. 71–72.

⁴ *Гинзбург Л. Я.* Пушкин и Бенедиктов. С. 163. «Тимофеев был высок ростом, красив и немного туповат на вид. Он говорил неестественно тихо и как-то вдохновенно закатывал глаза под лоб. Он не в шутку вообразил, что он поэт, добродушно поверив мистификации Сенковского» (Панаев. С. 144).

⁵ См., например, в программной статье С. П. Шевырева «Словесность и торговля»: «...кто не сознается, что литератор в своей славной бедности был честнее и вдохновеннее? Он имел жажду к славе, от которой разгоралась душа его, и не имел жажды к деньгам, от которой она ржавеет. Когда звание его было бедно, когда он ходил в благородном своем и чистом рубище, — на это рубище не кидался какой-нибудь непризванный торгаш!» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 22).

дражение, то во всяком случае иронию. Отвечая И. И. Дмитриеву, который на старости лет сильно негодовал на всю современную литературу, Пушкин защищал свое поколение от обвинений в меркантилизме, апеллируя, в частности, к авторитету Карамзина: «Что касается до выгод денежных, то позвольте заметить, что Карамзин первый у нас показал пример больших оборотов в торговле литературной»¹. Против профессионализации литературного труда Пушкин, таким образом, никак не мог возражать².

«Библиотека для чтения» была принята поэтом именно как выгодное «торговое предприятие». Пушкин участвовал в «Библиотеке» с первого номера и на протяжении полутора лет отдавал туда почти все свои новые произведения. Разумеется, он не мог не понимать, что на самом деле представляет из себя журнал Смирдина, тем более что главными участниками скандалов, сопровождавших издание «Библиотеки» в 1834–1835 гг., были авторы, так или иначе входившие в пушкинское литературное окружение. Журнал обвиняли в торговашеском духе, а его самовластного редактора О. И. Сенковского — в беспринципности критических мнений, неуважении к авторам и бесцеремонном обращении с публикуемыми материалами. Все было тщетно. «Библиотека» уверенно издавалась, приобретая новых и новых подписчиков, и даже самые ожесточенные враги журнала не могли оспорить его роли в современной русской литературе. «Она — постоянная представительница живого бытия нашей словесности <...>, — писал о «Библиотеке» С. П. Шевырев в статье «Словесность и торговля». — Она — огромный пульс нашей словесности, двенадцать раз в году толстым томом ударяющий по вниманию читателей, и если бы критика, этот медик литературы, захотела бы узнать о здоровье нашего русского слова, — за „Библиотеку“ она должна взяться и по движению этого пульса судить о состоянии нашей словесности. — Но что такое „Библиотека“? Думал ли ты об этом? Рассуждал ли ты об ее происхождении? Олицетворяет ли она собою какие-нибудь литературные мнения, принадлежащие известной школе? Намерена ли она представить образцы вкуса и тем направлять наше эстетическое образование? — Все это вопросы посторонние, нимало не относящиеся к моему настоящему взгляду на нашу словесность. „Библиотека для чтения“ есть просто пук ассигнаций, превращенный в статьи...»³ В полемике вокруг «Библиотеки» Пушкин не участвовал. Свое отношение к редакторской деятельности Сенковского он выразил в «Письме к издателю», напечатанном в 1836 г. в третьем томе его журнала «Современник» от имени тверского корреспондента А. Б. Это письмо, пронизанное скрытой иронией, служило сво-

¹ Письмо от 14 февраля 1835 г. — XVI, 11. Ср. в черновике письма Пушкина А. Х. Бенкендорфу от 19 июля — 10 августа 1830 г.: «Человек, имевший важное влияние на русское просвещение, посвятивший жизнь единственно на ученые труды, К<арамзин> первый показал опыт торговых оборотов в литературе. Он и тут (как и во всем) был исключением из всего, что мы привыкли видеть у себя» (XIV, 253).

² См. в том же черновом письме А. Х. Бенкендорфу от 19 июля — 10 августа 1830 г.: «Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое. Ныне составляет оно часть честной промышленности, покровительствуемой законами» (XIV, 253).

³ МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 5–6.

его рода коррективом к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», которая была напечатана в первом томе пушкинского журнала и в значительной своей части посвящена критике «Библиотеки»¹. Комментируя главные обвинения против Сенковского, выдвинутые в статье (в том, что Сенковский «исключительно завладел отделением критики» и «переправляет статьи, ему доставляемые для помещения в „Библиотеку“»), тверской корреспондент замечал, что эти «обвинительные пункты» «относятся к домашним, так сказать, распоряжениям книгопродавца Смирдина и до публики не касаются»². С журналом, имеющим 5000 подписчиков, бесполезно было бороться и требовать, чтобы он изменил свой характер. Его можно было принимать как есть или не принимать. Свой выбор Пушкин к этому времени уже давно сделал. С середины 1835 г. он молчаливо прекратил сотрудничество в «Библиотеке». Он был не первым: уже до него ряд авторов, оскорбленных критическими выпадами или редакторскими приемами Сенковского (например, П. А. Вяземский, Е. Ф. Розен, М. П. Погодин, С. П. Шевырев и др.), ушли из «Библиотеки». Разница была в том, что у Пушкина, по-видимому, не могло быть никаких личных претензий к редактору журнала. Кроме того, в последние годы поэт особенно нуждался в деньгах, и в этой ситуации было убыточно и нерасчетливо отказываться от больших смирдинских гонораров. Он ушел без видимых причин, вследствие глубокого неприятия тех черт современной литературной действительности, воплощением которых явилась «Библиотека».

Дистанция, установленная Пушкиным в последние годы жизни в отношениях с собратьями по «литературному цеху», проявлялась и в удивительной сдержанности в высказываниях о современной литературе. Достоинства свежепроизведенных в корифеи отечественной словесности авторов он оценивал весьма скептически, но от публичного обсуждения их уклонялся. Так, 2 апреля 1834 г. поэт отметил в дневнике знакомство с Кукольниковом: «Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его „Тасса“ и не видал его „Руки“ etc. Он хороший музыкант» (XII, 323). Равнодушие этой записи очевидно, если принять во внимание, что драмы Кукольника «Торквато Тассо» и «Рука Всевышнего отечество спасла» были тогда самыми громкими литературными новинками, широко обсуждавшимися и в обществе, и на журнальных страницах. В феврале 1836 г. Е. Ф. Розен в письме к Пушкину, сообщая, что придерживается с поэтом «почти одинаковых мнений» о Кукольнике, предлагал для «Современника» статью, в которой собирался «доказать вышеупомянутому автору, что все, им написанное, не многого стоит» (XVI, 82, 381; оригинал по-франц.). Пушкин идею такой статьи, судя по всему, вежливо отклонил, предпочтя ей нейтральную по отношению к текущей литературе статью Розена «О рифме». Незадолго до этого как-то речь зашла о Кукольнике на вечере у Плетнева, и Пушкин, «по обыкновению грызя ногти или яблоко»,

¹ См. наст. изд., с. 123–137.

² Совр. 1836. Т. 3. С. 323. О «Письме к издателю» и статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» см. подробнее наст. изд., с. 437–443, 485–486.

сказал: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». Присутствовавший при этом А. В. Никитенко с нескрываемым раздражением отмечал, что «это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете»¹. Вообще манера поведения Пушкина в это время задевала многих. Так, например, Панаев впоследствии отмечал подчеркнутую «утонченную вежливость» поэта, которая воспринималась им как «признак самого закоренелого аристократизма»². В момент всеобщих восторгов вокруг Бенедиктова, нашедшего поклонников и в ближайшем пушкинском окружении (в частности, ими были Жуковский и Вяземский), «один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? — отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более...»³. Встретившись же с Бенедиктовым, посвятившим ему свой сборник, любезно поблагодарил за стихи: «У вас удивительные рифмы — ни у кого нет таких рифм! — Спасибо, спасибо». Я. П. Полонский, передавший этот эпизод со слов самого Бенедиктова, добавляет: «Бенедиктов, конечно, был настолько умен, что понял иронический отзыв Пушкина и, быть может, даже задумался»⁴. Появление на русском литературном горизонте Тимофеева Пушкин, кажется, вообще не заметил.

К уходу Пушкина из «Библиотеки» близка по времени его последняя попытка обеспечить себе место активного участника текущей литературы. В апреле 1835 г. поэт попробовал возобновить данное ему еще в 1832 г. разрешение на издание политической и литературной газеты⁵. В приложение к газете он планировал совместно с В. Ф. Одоевским выпускать раз в три месяца том «статей чисто литературных (как то: пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.)»⁶. В желании Пушкина издавать не чисто литературную, но политическую газету, может быть, следует видеть нечто большее, чем простой расчет на доходное предприятие. «Литераторов 30-х годов, — вспоминал И. И. Панаев, — вообще не интересовали никакие поли-

¹ Никитенко. Т. 1. С. 178.

² Панаев. С. 117. Говоря далее в своих воспоминаниях о Лермонтове, Панаев отмечает: «Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора» (Там же. С. 162).

³ Панаев. С. 100. Ср. при этом свидетельство И. С. Гагарина об отношении Пушкина к Бенедиктову: «Пушкин при всех молчит, но в тесном кругу нападает на него так яростно и так несправедливо...» (письмо к Ф. И. Тютчеву от марта 1836 г. — ЛН. М., 1988. Т. 97, кн. 1. С. 502).

⁴ Полонский Я. П. Биография В. Г. Бенедиктова // Бенедиктов В. Г. Соч. 2-е изд. СПб., 1902. Т. 1. С. XIII.

⁵ Подробнее о проекте газеты 1830—1832 гг. см.: П. в критике, III. С. 416—418.

⁶ См. переписку с В. Ф. Одоевским начала апреля 1835 г. и черновое письмо А. Х. Бенкендорфу около (не позднее) 11 апреля 1835 г. — XVI, 28—30 (уточнение датировки: Письма посл. лет. С. 258). Письмо Бенкендорфу отослано не было, вместо этого Пушкин 11 апреля обратился к шефу жандармов с просьбой об аудиенции, которую получил 16 апреля (см. письмо Пушкина Бенкендорфу от 11 апреля и письмо управляющего III Отделением А. Н. Мордвинова Пушкину от 15 апреля 1835 г. — XVI, 18—19).

тические европейские события. Никто из них никогда и не заглядывал в иностранные газеты. Они рассуждали так, что каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь в чужое»¹. Кто знает, не было ли у поэта иллюзий, что, даже неизбежно оставаясь в русле предписанного официального курса, ему удастся сообщить отечественной журналистике хоть слабый отголосок европейских мнений. В 1835 г. власть отказала поэту в том, что готова была обещать ему в 1832-м. После неудачи с газетой Пушкин писал Бенкендорфу 1 июня 1835 г.: «Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества» (XVI, 31, 371; оригинал по-франц.). Отъезд в деревню сам собой подразумевал отказ от деятельного участия в литературной жизни. Но, принимая это решение, Пушкин, кажется, беспокоился только о вынужденном перерыве в своих архивных занятиях.

В деревню уехать Пушкину не удалось². Материальное его положение стремительно ухудшалось, и печатать свои литературные труды было необходимо, при том что печататься было решительно негде. 31 декабря 1835 г. Пушкин снова подал через Бенкендорфа просьбу об издании, на этот раз сразу ограничив его четырьмя томами «статей чисто литературных» «наподобие английских *Reviews*» (XVI, 69). 14 января 1836 г. Пушкину был официально разрешен ежеквартальный литературный сборник, получивший название «Современник»³. В статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» П. А. Вяземский писал о поэте: «Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он, по крайней мере во втором периоде жизни и дарования своего, не искал популярности. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале»⁴. Тем не менее, верный много лет назад сформулированному им самим тезису, что «издатель журн<ала> должен все силы употребить, дабы сделать свой журнал как можно совершенным, а не бросаться за барышом»⁵, Пушкин последний год своей жизни в значительной мере посвятил «Современнику».

«Современник» не был призван противостоять «Библиотеке для чтения», ни даже «Северной пчеле» и поколебать авторитет этих журнальных

¹ Панаев. С. 102.

² Прямого отказа Пушкин не получил, но его намерения вызвали явное неусдовольствие Николая I. В результате длительной переписки и переговоров 1 августа 1835 г. Пушкину были предоставлены ссуда в 30 000 рублей в счет будущего жалованья и четырехмесячный отпуск, которым он воспользовался лишь частично.

³ О журнале «Современник» см. подробное наст. изд., с. 582–587.

⁴ Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 208.

⁵ Из письма М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. — XIII, 341.

монополистов. Пушкин явно рассчитывал на «своего» читателя и, как показывает издательская история «Современника», довольно сильно переоценил его численность. Падение тиража журнала усилило скептицизм поэта в отношении к публике. «Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение, — вспоминал Вяземский. — Что же, спросил я, ты напечатаешь его в следующей книжке? Да, как бы не так, отвечал он, *pas si bête* <я не так глуп — франц.>: подписчиков баловать нечего. Нет, я прибегу к стихотворению для нового тома сочинений своих»¹. Не собирался Пушкин печатать в «Современнике» и «Капитанскую дочку». Роман цензуровался П. А. Корсаковым в октябре 1836 г. для отдельного издания². Решение о публикации романа в журнале было, судя по всему, принято под давлением сотрудников Пушкина по «Современнику», В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского, и хозяина типографии, где печатался «Современник», Б. А. Враского, с которым Пушкин не мог в тот момент расплатиться за печатание первых трех томов журнала³.

Литературный ежеквартальник, отказавшийся даже от систематического рецензирования текущей литературы, не мог составить конкуренции «Библиотеке для чтения». Но именно о такой конкуренции, о создании большого журнала энциклопедического типа, о завоевании массового читателя мечтали В. Ф. Одоевский и А. А. Краевский, видимо в начале августа предложившие поэту план реорганизации «Современника» со следующего, 1837 г. в совместное крупное журнальное предприятие. Проект Одоевского и Краевского предполагал выпуск ежемесячного журнала, где Пушкин оставался полноправным хозяином только «чисто литературной части» и притом обязывался в каждый номер «поместить хотя одну свою статью, стихотворную или прозаическую». Предложение было обставлено как ультиматум. «Согласие Александра Сергеевича на сии условия будет иметь следствием деятельное участие нас обоих в „Современнике“ нынешнего года (и по самой сходной цене) — как для составления статей, так и для хозяйственных распоряжений, корректуры и проч. и проч.», — писали Пушкину его сотрудники⁴. Отказ, по сути, ставил Пушкина в безвыходное положение: без сотрудников, бравших на себя значительную часть черновой редакционной работы, было невозможно справиться с изданием журнала. Принятие условий сулило вероятный доход, которого «Современник» не дал в 1836 г., но и обязывало к тем формам литературного существования, которых поэт сознательно избегал все последние годы. В своей линии поведения Пушкин был тверд. Он отказался⁵.

¹ Вяземский П. А. Соч. Т. 2. С. 209.

² См. переписку Пушкина с Корсаковым конца сентября — октября 1836 г. — XVI, 161—162, 177—178).

³ См. в «Записках» И. П. Сахарова: «Как теперь помню, сколько было хлопот с „Капитанскою дочкою“: Пушкин настаивал, чтобы отдельно напечатана была эта повесть, а Краевский и Врасский, хозяин типографии Гуттенберговой, не соглашались и, кажется, поставили на своем» (РА. 1873. Т. 1, № 6. Стб. 974).

⁴ ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 289—290.

⁵ После отказа Пушкина Одоевский и Краевский подали на утверждение проект периодического издания (правда, не ежемесячного, а, как и «Современник», ежеквар-

«...В правах русского гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять, когда хочет», — заявил С. С. Уваров, встав во главе Министерства народного просвещения¹. Пушкину приходилось печатать свои произведения в стране, где министр просвещения руководствуется таким тезисом.

В 1826 г. Николай решил сам стать цензором поэта. Довольно скоро Пушкин смог оценить оборотную сторону царской «милости». В письме от 22 ноября 1826 г. шеф жандармов А. Х. Бенкендорф выговаривал Пушкину за публичные чтения в Москве «Бориса Годунова» и разъяснял высочайшую волю: *все* пушкинские произведения «до напечатания или распространения оных в рукописях» должны были представляться императору (XIII, 307). «...Прошу вас сообщать мне на сей же предмет все и мелкие труды блистательного вашего пера», — настойчиво подчеркивал он в письме от 9 декабря (XIII, 312). Для профессионального литератора требования были слишком обременительные. Соблюдать эти требования было невозможно, а любая попытка их обойти могла спровоцировать конфликт с III Отделением. В 1826 г. Пушкин еще шутил: «Из этого вижу для себя большую пользу: освобождение от альманашиков, журнальчиков и прочих щепетильных литературщиков»². В 1827 г. он запальчиво заявлял о своих правах: «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензурован нашею цензурою, если хочу, — а с каждым нрав<оучительным> четверост<ишием> я к высшему цензору не полезу...»³. В 1832 г. почти теми же словами поэт изложил свою позицию Бенкендорфу, потребовавшему от него объяснений, «по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием „Северные цветы“ некоторые стихотворения его, и между прочим „Анчар, древо яда“, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения»⁴. «Я всегда твердо был уверен, — писал Пушкин в ответ, — что высочайшая *милость*, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и *права*, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания ни мне, ни цензуре» (XV, 10). Поэт просил аудиенции у шефа жандармов, желая лично объяснить ему «некоторые затруднения». Бенкендорф принял Пушкина 10 февраля, но вопрос о порядке цензурирования пушкинских сочинений в ходе аудиенции получил непредвиденное развитие. Приняв во внимание нежелание поэта беспокоить императора журнальными мелочами,

тального) под названием «Русский сборник». Проект был поддержан С. С. Уваровым и 17 августа одобрен Главным управлением цензуры, но в сентябре не разрешен Николаем. Таким образом, несделанный уход Одоевского и Краевского из «Современника» не состоялся, но рассчитывать на их помощь в 1837 г. поэт уже в полной мере не мог: с 1837 г. Краевский стал редактором «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“», где деятельное участие намечался принять и Одоевский.

¹ Никитенко. Т. 1. С. 141 (дневниковая запись от 9 апреля 1834 г.).

² Письмо С. А. Соболевскому от 1 декабря 1826 г. — XIII, 312.

³ Письмо М. П. Погодину около (не позднее) 17 декабря 1827 г. — XIII, 350.

⁴ Письмо А. Х. Бенкендорфа Пушкину от 7 февраля 1832 г. — XV, 10.

Бенкендорф предложил в цензоры себя. Высочайшая цензура тем самым официально заменялась на цензуру III Отделения.

На протяжении 1832 и 1833 гг. в журналах и альманахах почти не появлялось новых пушкинских произведений. 6 декабря 1833 г. в связи со своим предполагаемым сотрудничеством в «Библиотеке для чтения» Пушкин вновь писал Бенкендорфу и просил разрешения представлять сочинения, предназначенные для журнала Смирдина, в общую цензуру наравне с другими писателями. В этот раз поэт добился желаемого. Разрешение было получено, два года спустя оно было распространено и на пушкинский «Современник». Таким образом, с 1834 г. Пушкин мог получать разрешение к печати своих произведений лично у императора, в III Отделении у Бенкендорфа и в обычной цензуре.

К августейшему цензору Пушкин в последние годы обращался четыре раза. 6 декабря 1833 г. он через Бенкендорфа передал императору рукопись поэмы «Медный всадник», написанной им осенью в Болдине. Судя по всему, Пушкин твердо рассчитывал на публикацию поэмы и даже заключил со Смирдиным договор на издание¹. 14 декабря поэт записал в дневнике: «11-го получено мною приглашение от Бенк<ендорфа> явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен „Медный всадник“ с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшей ценсурой; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?) — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным» (XII, 317). «Здесь имел я неприятности денежные, — писал Пушкин тогда же П. В. Нащокину, — я сговорился было со Смирдиным и принужден был уничтожить договор, потому что „Медного всадника“ цензура не пропустила. Это мне убыток» (XV, 99). Девять мест в тексте поэмы (в сумме более 30 стихов), вызвавшие возражения Николая, были отмечены отчеркиванием на полях, подчеркиванием в тексте, вопросительными знаками и пометами NB². Формально поэма не была безоговорочно запрещена, но от переделки и приспособ-

¹ Принято считать, что «Медный всадник» предназначался для «Библиотеки для чтения» (см.: *Измайлов Н. В.* «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А. С. Медный всадник. Л., 1978. С. 216; *Осват А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальную повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985. С. 30; *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1833 году: Хроника. М., 1994. С. 542). Сомнительно, однако, чтобы самое значительное из написанных поэтом в последнее время произведений, которое могло быть издано отдельной книжкой, как печатались почти все предыдущие поэмы, он отдал в журнал Смирдина—Сенковского. Посылая Бенкендорфу только «Медного всадника», Пушкин уже самим этим отделил поэму от произведений, предназначенных им в журнал, для которых в сопроводительном письме просил общей цензуры. Приводимые ниже слова Пушкина об «уничтожении» договора со Смирдиным тоже косвенно свидетельствуют, что речь с самого начала шла об отдельном издании.

² См.: *Зенгер Т. (Цявловская Т. Г.)* Николай I — редактор Пушкина // ЛН. М., 1934. Т. 16—18. С. 522.

собрания ее к печати поэт решительно отказался. «Вы спрашиваете меня о „Медном всаднике“, о Пугачеве и о Петре, — писал он М. П. Погодину 7 апреля 1834 г. — Первый не будет напечатан» (XV, 124). 19 октября 1834 г. А. И. Тургенев отметил в своем дневнике: «Пушкин читал мне новую поэмку на наводнение <1>824 г. Прелестно; но цензор его, государь, много стихов зачернил, и он печатать ее не хочет»¹.

Позднее Пушкин, видимо, обдумывал возможность публикации поэмы в «Современнике». В августе 1836 г. он заказал писарскую копию с рукописи, подававшейся Николаю I, куда перенес все цензурные пометы царя, и наметил некоторые варианты цензурных замен. Впрочем, большее внимание Пушкин уделил смысловым и стилистическим поправкам, не связанным с редактурой «проблемных» мест². С приспособлением текста поэмы к печати он так и не справился³. Это было сделано после смерти Жуковским, напечатавшим «Медного всадника» в пятом томе посмертного «Современника»⁴.

Если в издании «Медного всадника» Пушкин в декабре 1834 г. не сомневался, то верить в публикацию «Истории Пугачева», также завершённой в Болдине, у него было гораздо меньше оснований. В свое время Николай запретил «Песни о Стеньке Разине», указав Пушкину, что «церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева»⁵. В середине декабря 1833 г. Пушкин, испросив через Бенкендорфа предварительное согласие императора, передал ему первые пять глав своего исторического труда. Вопреки всем опасениям царь разрешил публикацию «Истории», даже не прочитав второй ее половины и тома приложений, в котором должны были быть помещены исторические документы⁶.

Та легкость, с которой царь пропустил пушкинское сочинение в печать, в литературе, посвященной «Истории Пугачевского бунта», получала различные объяснения. Высказывались мнения как об «оплошности» и «недосмотре» царя, не разглядевшего подлинного политического смысла пушкинского сочинения⁷, так и, наоборот, о тонком расчете Николая, считавшего не лишним в ситуации обострившегося в начале 1830-х гг. крестьянского вопроса напомнить посредством «Истории» самым рьяным своим оппонен-

¹ Цит. по: Дневник Пушкина. 1833—1835 / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Пг., 1923. С. 73.

² См. подробнее: *Измайлов Н. В.* «Медный всадник» А. С. Пушкина. С. 222—227.

³ Большая часть найденных автоцензурных вариантов была столь неудачна, что вряд ли Пушкин мог допустить их в печать. Так, например, слово «кумир», везде подчеркнутое императором, было заменено на «седок», в результате чего образовались совершенно слепые строки: «Стоит с простертою рукою / Седок на бронзовом коне»; «Седок с простертою рукою / Сидел на бронзовом коне» (см.: Там же. С. 223—224).

⁴ См.: Там же. С. 230—233. Редакторская правка проводилась Жуковским с учетом пушкинских автоцензурных вариантов.

⁵ См. письмо А. Х. Бенкендорфа Пушкину от 22 августа 1827 г. — XIII, 335.

⁶ Подробнее см. в примеч. к статье В. Б. Броневского об «Истории Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 397—398.

⁷ См., например: *Блок Г. П.* Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949. С. 6—9; *Смирнов-Сокольский.* С. 353.

там из реакционных дворянских кругов о силе и разрушительности возможного народного бунта¹. События 1830—1832 гг., холерные бунты и вооруженное возмущение в военных поселениях, действительно подталкивали к размышлениям о таящейся в народе стихии мятежа, столь страшно проявившейся в «пугачевский» год, в бунте, «начатом горстию непослушных казаков, усилившемся по непростительному нерадению начальства и поколебавшем государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов» (IX, 80). Однако любое историческое событие столь уникально в совокупности глубинных причин, случайного сцепления обстоятельств и индивидуальных поступков действующих лиц, что не может не только повториться, но и даже быть прямо спроецировано на последующие эпохи. Поэтому, думается, не стоит преувеличивать политическую злободневность «Истории Пугачевского бунта» и вслед за некоторыми современными исследователями видеть в нем не «труд чисто исторический», а «своеобразную «записку» по крестьянскому вопросу, адресованную правительству и общественному мнению»². Пушкин, как любой настоящий историк-исследователь, в полной мере понимал самоценность исторического знания. Он не только не стремился к созданию новой «концепции пугачевского движения», но вообще, кажется, сознательно избегал «концепции», изучая и анализируя документы, разбирая противоречивые свидетельства, выстраивая хронику событий и открывая своим читателям важную и малоизученную страницу отечественной истории³. Что касается реакции императора, то следует иметь в виду, что поэзию Николай не любил и не понимал, в области же исторической прозы вполне мог чувствовать себя компетентным читателем и судьей. Немногочисленные замечания, сделанные им при чтении рукописи, Пушкин лаконично охарактеризовал в дневнике как «очень дельные» (XII, 320). Предложенное царем заглавие «История Пугачевского бунта» тоже было им легко принято, тем более что, в принципе, точно отражало содержание пушкинского труда. Новое сочинение Пушкина царю явно понравилось и заинтересовало его.

Благосклонность Николая Пушкин умел оценить и умел ею воспользоваться. Еще до выхода в свет «Истории Пугачевского бунта», 23 ноября 1834 г., Пушкин обратился к Бенкендорфу с «еще одною покорнейшею просьбою»: «...я желал бы иметь счастье представить первый экземпляр книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, ко-

¹ См., например: *Покровский М. Н.* Пушкин — историк // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1933. Т. 5, кн. 1. С. 13; *Петрунина Н. Н.* Вокруг «Истории Пугачева» // ПИМ. Л., 1969. Т. 6. С. 229—231.

² *Петрунина Н. Н.* Вокруг «Истории Пугачева». С. 231.

³ «Он не задал бы себе уроком и обязанностью во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами, — писал о Пушкине-историке П. А. Вяземский. — Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, правами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это качества необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере» (*Вяземский П. А.* Соч. Т. 2. С. 211).

торых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества» (XV, 21). Речь шла о рукописи, получившей в исследовательской традиции заглавие «Замечания о бунте» и содержащей девятнадцать заметок к тексту «Истории» (с указанием номера соответствующей страницы отпечатанной книги) и небольшой раздел «общих замечаний». Эти дополнения частью носили характер исторических анекдотов, сходных по типу с заметками пушкинского «Table-talk», частью содержали дополнительные сведения (по тем или иным соображениям действительно неудобные для публикации) относительно упоминаемых в «Истории» лиц и событий. Пушкин передал рукопись императору 26 января 1835 г. В сопроводившем ее письме он просил дозволения ознакомиться с секретным следственным делом о Пугачеве. Видимо, Пушкин не придавал большого значения «Замечаниям», во всяком случае, он не оставил у себя их копии¹. Передавая их царю, Пушкин показывал, что видит в нем понимающего и заинтересованного читателя, и надеялся на его содействие в дальнейших разысканиях. Николай благодарил поэта за присылку замечаний и сделал ответный жест — разрешил читать дело о Пугачеве и просил даже сделать для него выписку². Пушкинские исторические занятия Пугачевым были, таким образом, полностью легализованы. Кроме того, появление «Истории Пугачевского бунта», напечатанной с высочайшего разрешения, само собой снимало запрет с пугачевской темы. Два года спустя это открыло путь в печать «Капитанской дочке».

«История Пугачевского бунта» стала, однако, последней книгой в жизни Пушкина, на обороте титульного листа которой значилось: «С дозволения правительства». Третий раз Пушкин обратился к императору в апреле 1835 г. в связи с «Путешествием в Арзрум», которое намеревался тогда напечатать отдельной книгой³. В июле рукопись была Пушкину возвращена с разрешением печатать «за исключением собственноручно отмеченных мест»⁴, но дальше подана в обычную цензуру и 28 сентября подписана к печати цензором В. Н. Семеновым⁵. Наконец, 31 декабря 1835 г. при письме, содержащем просьбу об издании «Современника», Пушкин представил

¹ Рукопись с карандашными отчеркиваниями Николая, вероятно, была возвращена Пушкину. В 1836 г. поэт подарил ее П. И. Миллеру, опять же не оставив себе копии. О судьбе рукописи «Замечаний о бунте» см.: *Эйдельман Н. Я.* Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера // *Эйдельман Н. Я.* Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 298–306. Исследователь, впрочем, придает «Замечаниям» неоправданно большое политическое значение.

² См. помету А. Х. Бенкендорфа на письме Пушкина от 26 января 1835 г. — XVI, 279. О попытках Пушкина ознакомиться со следственным делом о Пугачеве см. примеч. 1 к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 400–401.

³ См. письмо Пушкина А. Х. Бенкендорфу от 11 апреля 1835 г. — XVI, 18; также: *Левкович Я. Л.* К цензурной истории «Путешествия в Арзрум» // *Врем. ПК* 1964. М.; Л., 1967. С. 34–37; Вацуро, Гиллельсон. С. 190–192.

⁴ См. письмо Пушкина в Главное управление цензуры от 28 августа 1835 г. — XVI, 229–230.

⁵ См.: *Летописи гос. литературного музея. М., 1936. Кн. 1: Пушкин. С. 318.* Отдельное издание «Путешествия» не состоялось. Оно было напечатано в первом томе «Современника» в 1836 г.

царю через Бенкендорфа «Записки бригадира Моро де Бразе» о Турецком походе 1711 г., подготовленные поэтом к печати с примечаниями и предисловием. На пушкинском письме сделана помета рукой Бенкендорфа: «Государь позволил через цензуры¹, о чем уведомить Уварова» (XVI, 69, 300). Помета, относившаяся в первую очередь к изданию журнала, надо думать, распространялась и на «Записки» Моро де Бразе. Когда после смерти Пушкина Жуковский вторично представил рукопись «Записок» императору, тот пометил на полях: «Пушкин присылал мне сии записки для прочтения, сколько припомнить могу, в прошлую зиму; они любопытны; но, может быть, цензура кое-что не пропустит, почему полагаю нужным туда и препроводить»². Так, к 1836 г. царь сложил принятые им некогда на себя обязанности пушкинского цензора.

Несмотря на капризы царской воли, высочайшая цензура все же была легче обыкновенной, которой так добивался для себя Пушкин. Уже в начале 1834 г. произошло первое столкновение Пушкина с Петербургским цензурным комитетом. Издания Смирдина цензуровал А. В. Никитенко. Человек, наделенный несомненными достоинствами, выходец из крепостных, добившийся заметного положения в обществе, секретарь канцелярии попечителя Петербургского учебного округа, профессор Петербургского университета, имеющий широкие знакомства в литературном мире, Никитенко выгодно выделялся на фоне петербургских цензоров. Ему был присущ некоторый либерализм во взглядах, и он достаточно трезво представлял себе состояние русской общественной жизни и правительственную политику в сфере просвещения³. С Пушкиным Никитенко был знаком с 1827 г., а в последние годы регулярно встречался в доме П. А. Плетнева. При всем том Никитенко был ставленником С. С. Уварова, приблизившего его к себе после своего назначения товарищем министра народного просвещения в 1832 г. и много способствовавшего его университетской карьере. Утвердив Никитенко в должности цензора 16 апреля 1833 г., Уваров напутствовал его рекомендацией исходить в своих действиях «не из одного цен-

¹ Употребление слова «цензура» во множественном числе имеет в виду реально существовавшую множественность цензур: некоторые сочинения, сообщающие какие-либо официальные сведения, должны были быть одобрены тем министерством, к сфере которого относился обсуждаемый вопрос (так, например, помещенные в пушкинском «Современнике» статьи Д. В. Давыдова получали, кроме обычной цензуры, еще и разрешение военной).

² Цит. по: Вацура, Гиллельсон. С. 209.

³ См., например, записи в его дневнике: «Неужели в самом деле все честное и просвещенное так мало уживается с общественным порядком! <...> Теперь требуют, чтобы литература процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтобы учащие не размышляли, потому что учащие — что такое? Офицеры, которые (сурово) управляются с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь требуют от юношества, чтобы оно училось много и притом не механически, но чтобы оно не читало книг и не смело думать, что для государства полезнее, если его граждане будут иметь седую голову вместо светлых пуговиц на мундире» (4 апреля 1833 г.); «Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху, когда всякое развитие душевных сил считается нарушением общественного порядка» (1 января 1834 г.), и др. (Никитенко. Т. 1. С. 128–129, 131).

зурного устава, но из самых обстоятельств и хода вещей», причем действовать так, «чтобы публика не имела повода заключать, будто правительство угнетает просвещение»¹. Никитенко умел понимать своего вельможного покровителя и ни в коей мере не собирался противоречить его желаниям.

В апреле 1834 г. Никитенко цензуровал материалы смирдинского альманаха «Новоселье» и представил Уварову «сочинение или перевод» Пушкина «Анджело». Уваров прочел «Анджело» и потребовал исключения нескольких стихов². Поэма вышла с искажившими текст купюрами³. Никитенко лукавил, когда объяснял свои действия тем, что он не знал, можно ли «поступить в отношении к Пушкину на общем основании». Это было явной неправдой, поскольку распоряжение о новом порядке цензурования произведений Пушкина было в свое время доведено до сведения Цензурного комитета и в течение предыдущих трех месяцев Никитенко как цензор «Библиотеки для чтения» уже подписал к печати три стихотворения Пушкина («Гусар», «Будры и его сыновья» и «Воевода»), «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» и повесть «Пиковая дама». В любом случае за необходимыми разъяснениями ему следовало обращаться в Цензурный комитет и к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, а не непосредственно к министру⁴.

Пушкин не заблуждался относительно роли, сыгранной Никитенко. До Никитенко дошли слухи, что поэт «хвалился», «что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров», в первую очередь называя имя Никитенко⁵. Цензурование «Повестей, изданных Александром Пушкиным» по требованию поэта было поручено не Никитенко, а В. Н. Семенову. Переданных через Плетнева объяснений Никитенко поэт не принял. Никитенко был обижен, каждое упоминание имени Пушкина в его дневнике этих лет окрашено плохо скрытым недоброжелательством.

В 1835 г., готовя двухтомное издание своих поэм, Пушкин попробовал все же напечатать исправный текст «Анджело». На этот раз он обратился в III Отделение, где, судя по всему без каких-либо проблем, получил разрешение. Сочинение, пропущенное III Отделением, не должно было вызывать никаких претензий у цензора Петербургского комитета. Однако цензором опять оказался Никитенко, обративший, видимо, на текст «Анджело» осо-

¹ Там же. С. 130.

² Там же. С. 140 (запись от 9 апреля).

³ Подробнее см. в примеч. к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 373.

⁴ Ср. также наблюдение А. В. Шароновой: «Журналы С.-Петербургского цензурного комитета свидетельствуют, что А. В. Никитенко <...> был цензором, весьма редко обращавшимся в Комитет за разрешением возникших у него сомнений и предпочитавшим решать их с авторами и редакторами» (Шаронова А. В. О. И. Сенковский в письмах к А. В. Никитенко (1833—1848) // ПИМ. СПб., 2003. Т. 16—17. С. 402). Из трех купюр, сделанных в тексте «Анджело», две, во второй части поэмы, скорее всего, принадлежали самому Никитенко, купюра в первой части («...казнить его не можно... / Ужели Господу пошлем неосторожно / Мы жертву насоро? Мы даже и цыплят / Не бьем до времени. Так скоро не казнят. / Спаси, спаси его...») выдает почерк Уварова. Впрочем, может быть, именно она вызвала наибольшее возмущение Пушкина.

⁵ См.: Никитенко. Т. 1. С. 179 (запись от 17 января 1836 г.).

бое внимание. В результате поэма вновь попала к Уварову, распорядившемуся печатать ее в том же виде, как она была дозволена в первый раз¹. Трудно сказать, руководила ли Никитенко только служебная осторожность или к ней примешивалось желание мелочной мести поэту. В марте 1835 г., рассматривая материалы четвертого номера «Библиотеки для чтения», он вычеркнул три стиха из «Сказки о золотом петушке», по поводу чего Пушкин записал в дневнике: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова» (XII, 337). Несколько месяцев спустя Никитенко убедительно просил не назначать его цензором «Современника», потому что «с Пушкиным слишком тяжело иметь дело», и с некоторым удовлетворением отметил в дневнике, что цензором нового журнала стал А. Л. Крылов — по характеристике Никитенко, «самый трусливый, а следовательно, и самый строгий из нашей братии»². В случае «Поэм и повестей» в результате действий Никитенко возник прецедент двойного цензурирования. 28 августа 1835 г., собираясь печатать «Путешествие в Арзрум», Пушкин обратился за разъяснениями в Главное управление цензуры. В ответе, датированном 26 сентября, сообщалось, что, кроме рукописей, издаваемых «с особого высочайшего разрешения», все остальные его сочинения теперь должны представляться в Цензурный комитет³. Апеллировать к Бенкендорфу, таким образом, в дальнейшем становилось бесполезно, и, при явном нежелании императора выступать далее в роли «высочайшего цензора», Пушкин оказывался лицом к лицу с С. С. Уваровым.

Именно в Уварове, а не в Никитенко — мелком чиновнике, которого можно посадить на гауптвахту, и даже не в попечителе Санкт-Петербургского учебного округа и председателе Главного управления цензуры Дондукове-Корсакове, от которого можно было отделаться эпиграммой⁴, видел Пушкин своего главного врага. В лице Уварова и подчиненного его воле цензурного ведомства Пушкину противостоял новорожденный класс николаевской бюрократии, утверждающий свои права на первенствующее положение в социальной иерархии. В этом смысле личный аспект в конфликте Пушкина с Уваровым отступал на второй план, более существенным становилось породившее этот конфликт столкновение двух типов общественного сознания, двух мироощущений, двух моделей социального поведения, носителями которых выступало, с одной стороны, родовое дворянство, свою принадлежность к которому постоянно подчеркивал в 1830-е гг. Пушкин, с другой — дворянство новое, так называемая «чиновная аристократия», ярчайшим представителем которой был Уваров⁵.

¹ См. подробнее в примеч. к рецензии «Библиотеки для чтения» на «Поэмы и повести Александра Пушкина» — наст. изд., с. 413–414.

² Запись от 20 января 1836 г. (Никитенко. Т. 1. С. 180).

³ См.: Письма посл. лет. С. 273–274; Вацуро, Гиллельсон. С. 205.

⁴ Эпиграмма на Дондукова-Корсакова «В Академии наук / Заседает князь Дундук...» была написана Пушкиным в апреле 1835 г. и получила распространение, хотя Пушкин и не афишировал свое авторство. См. о ней: *Петрушина Н. Н.* «На выздоровление Лукулла» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 333–336.

⁵ Об отношениях Пушкина и Уварова, в том числе и об этой их «социологической» подоплеке, см.: Вацуро, Гиллельсон. С. 192–208; *Петрушина Н. Н.* «На выздоровление Лукулла». С. 329–333. К вопросу о разных типах общественного сознания см., например, рассуждение Никитенко, применявшего к Пушкину свои социальные и этические критерии: «Он хочет прежде всего быть баринном, но ведь у нас барин

В ноябре 1835 г. Пушкиным была написана и отослана для публикации в Москву ода «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому». Стихотворение увидело свет во второй сентябрьской книжке «Московского наблюдателя», вышедшей, как всегда, с большим опозданием — в последних числах декабря 1835 г.¹ Подзаголовок «Подражание латинскому» никого не обманул. В изображенном Пушкиным алчным наследнике, с нетерпением ожидающем смерти богатого родственника, все увидели портрет С. С. Уварова², тем более что Пушкин строил образ на конкретных фактах уваровской биографии, глухо передаваемых молвой:

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
 Не стану лянчить ребятишек;
 Я сам вельможа буду тож;
 В подвалах, благо, есть излишек.
 Теперь мне честность — трин-трава!
 Жену обсчитывать не буду
 И воровать уже забуду
 Казенные дрова!»³

Публикация стихотворения наделала много шума в обеих столицах. Сама возможность появления в публице памфлета на всесильного министра не укладывалась ни у кого в сознании. «А зачем „Наблюдатель“ напечатал стихи „На выздоровление Лукулла“? — недоумевал А. А. Краевский в письме к М. П. Погодину от 17 января. — Нехорошо. Я порадовался было, когда Пушкин сказал мне, что получил из Москвы известие об отказе „Наблюдателя“ принять его стихи; а потом через неделю получаю 14-ю книгу „На-

тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала» (Никитенко. Т. 1. С. 193; запись от 21 января 1837 г.).

¹ См.: МВед. 1836. № 1, 1 января.

² Своего рода «сюжетной основой» стихотворения и непосредственным толчком к его созданию явились события осени 1835 г. Тяжело заболел граф Д. Н. Шереметев, потомок старого дворянского рода и владелец крупнейшего состояния России, пеженатый и бездетный. Уваров, приходившийся Шереметеву отдаленным родственником, с неприличной поспешностью принял меры для охраны имущества Шереметевых и заявил свои права на наследство. Шереметев выздоровел. Поведение же Уварова получило неприятную огласку в обществе. Подробнее см.: *Петрушина Н. Н.* «На выздоровление Лукулла». С. 336–339.

³ См. запись в дневнике Пушкина, сделанную в феврале 1835 г., задолго до начала работы над одой «На выздоровление Лукулла»: «В публице очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покунают. Уваров большой подлец. Он кричит о мосей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкринна был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой и попал в през<иденту> Ак<адемии> наук, как кн<ягиня> Дашкова в през<иденту> Р<оссийской> Ак<адемии>. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жук<овского> под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» (XII, 337).

блюдо<ателя>“, где стихи уже тиснуты. По-моему, это большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего: он сорви-голова!»¹ Краевскому вторил А. В. Веневитинов: «Но как же вы спроста напечатали „На выздоровление Лукулла“! — Эх! Эх!»² Уваров в бешенстве кричал, что к сочинениям «этого негодяя» нужно назначить «не одного, а двух, трех, четырех цензоров»³, и жаловался Николаю, после чего Пушкину пришлось давать объяснения у Бенкендорфа⁴. Мнения в обществе все же разделились. «Весь город занят „Выздоровлением Лукулла“, — записал Никитенко в дневнике 20 января. — Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор»⁵. В начале февраля до Пушкина дошли слухи о каких-то оскорбительных высказываниях князя Н. Г. Репнина в его адрес, и поэт обратился к Репнину за разъяснениями. Репнин отвел все обвинения, но по поводу пушкинского стихотворения высказался с неодобрением: «...гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей» (XVI, 84). В ответном письме Пушкин, на первый взгляд, принял упреки Репнина: «...мнение Вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного и развращенного ума, они были бы непростительны» (XVI, 84—85). К оде «На выздоровление Лукулла», впрочем, все это совершенно не относилось. Она не была порождением «слепой досады» и, принимая во внимание социальный аспект столкновения Пушкина с Уваровым, далеко выходила за рамки «сатиры на лицо», что прекрасно понималось, в частности, ближайшим пушкинским окружением. «В стихах „На выздоровление Лукулла“ гораздо больше политики, чем в моих невинных донесениях о Физски...» — писал Вяземскому А. И. Тургенев, автор европейских корреспонденций для «Современника»⁶. Примечательно, что, несмотря на весь шум, публикация оды «На выздоровление Лукулла» не имела никаких официальных последствий. Поэт доказал министру свое право обращаться к публике тогда, когда он этого захочет, а не когда ему разрешат.

Как ни тяжело складывались отношения Пушкина с цензурой, его сочинения все же пробивались к читателю. Из крупных завершенных Пушкиным поэтических произведений не увидела свет только поэма «Медный

¹ ЛН. М., 1934. Т. 16—18. С. 716.

² Там же. Первоначальный отказ «наблюдателей» напечатать стихи Пушкина, о котором пишет Краевский, был, по-видимому, вызван какими-то внутренними редакционными причинами. Сотрудники «Наблюдателя» были далеки от петербургских светских слухов и сплетен. Искавшие покровительства Уварова, они никогда бы не стали печатать эти стихи, если бы понимали их подлинный смысл.

³ См.: *Т<ертигорева> Н. Н.* Рассказы из прошлого // ИВ. 1890. № 8. С. 336—337.

⁴ См. черновое письмо Пушкина А. Х. Бенкендорфу между 16 и 20 января 1836 г. — XVI, 78—79, 378 (оригинал по-франц.); уточнение адресата: Письма посл. лет. С. 288; также см.: *Петрушина Н. Н.* «На выздоровление Лукулла». С. 353—355; Летопись 1999. Т. 4. С. 378—379.

⁵ Никитенко. Т. 1. С. 180.

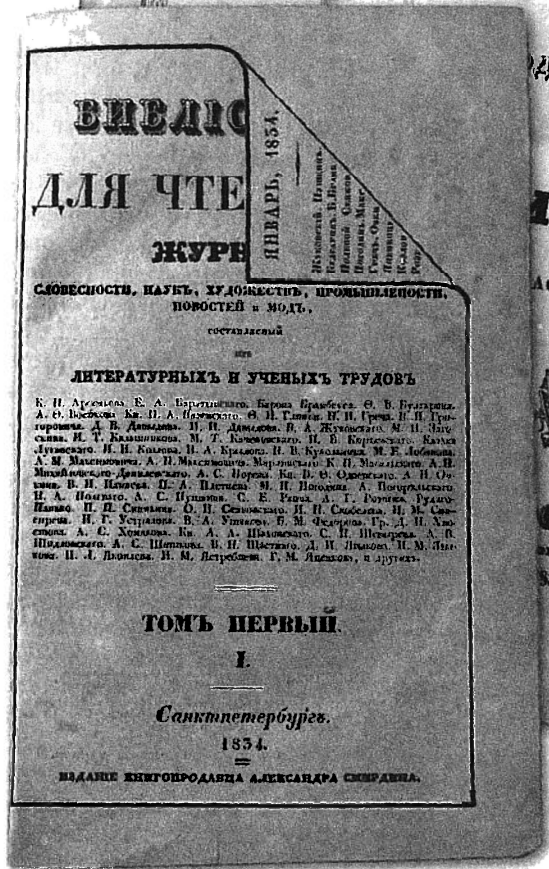
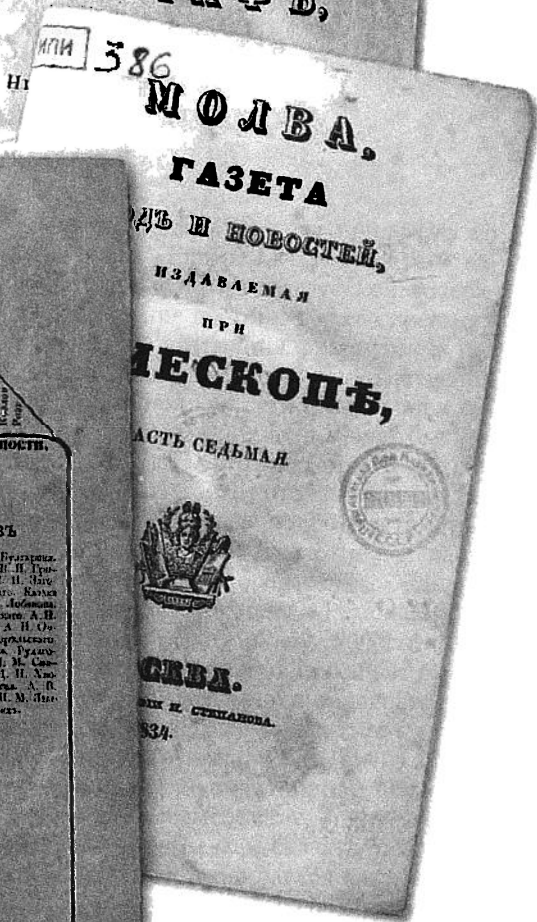
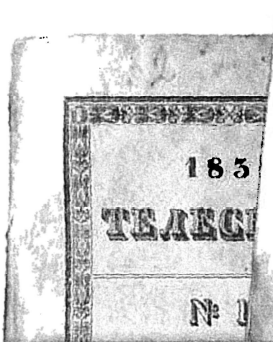
⁶ ЛН. Т. 58. С. 123.

всадник», из исторических трудов — подготовленные к печати «Записки» Моро де Бразе¹. Нараставшее год от года равнодушие русской публики к пушкинскому творчеству не может быть объяснено незнакомством ее с последними произведениями поэта. «Медный всадник», даже в том сильно искаженном виде, в каком он появился в пятом томе посмертного «Современника», читателями был встречен восторженно. Это, однако, не значит, что, будь поэма опубликована при жизни Пушкина, она принесла бы ему новую славу. Знаменитое вступление, со ставшим хрестоматийным описанием Петербурга, напечатанное в 1834 г. в «Библиотеке для чтения», прошло, во всяком случае, совершенно незамеченным. Только гибель Пушкина смогла разрушить стену отчуждения, вставшую в последние годы между ним и русским обществом, и заставила задуматься о причинах этого отчуждения и испытать вину за смерть своего поэта — чувство, навсегда вошедшее неотъемлемой составляющей в русское культурное сознание.

Е. О. Ларионова

¹ «Каменного гостя» Пушкин не пытался напечатать, возможно не считая работу над ним завершённой.

— 1.8.3.4 —



Н. И. ГРЕЧ

ПИСЬМО В ПАРИЖ,
К ЯКОВУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ

<Отрывки>

Вы по-прежнему любите отечественную словесность; вы прилежно ею занимаетесь. Это увидел я на обертке журнала «Europe Littéraire»¹: там сказано, что вы взялись сообщить его издателям «Обозрение русской литературы». Я уверен, что вы исполните это намерение достойным сего предмета образом и будете способствовать к прояснению нынешних французских понятий о нашем отечестве; но так как, вероятно, не все русские произведения до вас доходят, то я и полагаю, что некоторые подробности о нынешнем состоянии нашего литературного мира будут вам неизлишни, а может быть, и приятны. Надеюсь, что вы не оставите отплатить за это взаимности; надеюсь, что вы сообщите нам известия из того круга, в котором живете несколько лет. Любопытно было бы нам узнать некоторые подробности о нынешних героях французской словесности: опишите нам Ламартина, Делавиня, Гюго, Нодье, Дюмаса, Мериме, герцогиню Абрантскую, Жанена, Бальзака; снимите маску с Библиофила Жакоба² и Мишеля-Ремона³. Я не могу служить вам таким обилием материалов и лиц, но мои известия, конечно, будут доступны вашему сердцу: я буду говорить о России и о русских. Напрасно думают, что любовь к отечеству (разумеется, в человеке совершеннолетнем) ослабляется удалением из отечества. Напротив, предметы, отдаленные от нас *пространством*, действуют на нас так же, как минувшие во *времени*: вдали исчезают мелкие их недостатки; они представляются уму и воображению нашему в целом своем объеме, в виде совершенном; они действуют на душу только хорошими, так сказать, *казовыми* своими сторонами. И это благородное чувство должно заглядить в ваших глазах скудость моего предмета. Скажу правду: наша литература еще не достигла той степени, на которой всякому доброму патриоту желалось бы ее видеть. У нас еще нет собственного мира литературного. Редкие занимаются у нас литературою исключительно и для самой литературы. Молодые люди, еще не разочарованные в своих школьных верованиях и мечтаниях, вышед в свет, испытывают свои силы; но, не имев на первом шагу блистательного успеха, упадают духом, жалуется на равнодушие и безвкусию чи-

тающей русской публики и большею частью посвящают труды свои службе: ее награды существеннее и достаются скорее. Другие из сих раненых подвижников вступают в когорту не письменной, но словесной оппозиции, браня все, всех и каждого. Потребны необыкновенная твердость духа, пламенная страсть к словесности, безотчетная любовь к наукам и искусствам, чтоб долго, не говорю всегда, трудиться на сем поприще, усеянном волчцом и тернием. Потребно поэту и литератору сильное чувство исполнения своего долга, чтоб насладиться наградою за свои пожертвования и успехи. Подите в свет с вашею душою, с вашими творениями — там вас не знают. Вам скажут два-три приветствия, из которых увидите, что полурусский комплимент не читал ваших творений и хвалит вас наобум. Послушайте суждений и похвал ступенью ниже. Вас хвалят в лицо за те места в сочинении вашем, которые вы хотели бы навсегда уничтожить и в книге, и в памяти своей, а те мысли, те картины, те чувства, которые сотворены, рождены вами в светлые минуты вдохновения, с которыми вы всю жизнь носились, как раковина с драгоценною жемчужиною, — они проскользнули по гладкой поверхности лакированных китайских уродцев! Изредка, невзначай поэты русские слышат отголоски своих песней — из какого-нибудь темного, отдаленного уголка отзовется: понимаю, чувствую! И этот одинокий голос, иногда одна мысль, что, *может быть*, такой голос где-то раздастся, — вот что должно питать у нас чувство, воображение и талант. Как после этого не позавидовать литераторам других стран, которые действуют во услышание всему отечеству своему, которым рукоплещут из лож, из партера и — из райка: ибо кто знает, куда заберется истинная критика, равно как и истинный талант! Впрочем, в пользу сих опасных совместников должно сказать и то, что они покупают свои успехи, свои лавры тяжким трудом, долговременным учением, неутомимым прилежанием, пожертвованием здоровья, иногда и самой жизни. А мы, грешные, трудимся, как те из наших фабрикантов, которые снабжают своими легкими и ломкими произведениями рынки азиатские: сойдет-де и так с рук! Мы еще не занимались литературою порядочно, серьезно, постоянно, как делом важным, отечественным. Мы играем в словесность, как в кегли. Не удалось, надоело: пойдем в департамент.

С недавнего только времени занятия литературою начали давать у нас выгоды существенные, то есть денежные. Еще не далеки те времена, когда напечатать книгу или предпринять издание журнала значило задолжать в типографию и в бумажную лавку. Ныне постоянное занятие по какой-либо части словесности и наук непременно принесет и верную прибыль. Это важно для успехов литературы. Странно, что у нас считают вещь не то чтоб неблагодарною или непозволительною, а как-то неловкою — трудиться по наукам или словесности *из платы*. Да кто в свете трудится без возмездия? И полководец, и министр, и прелат, и банкир получают плату за труды свои, плату честную и благородную, если она приобретена по мере прямых заслуг! — Установлением верной, соразмерной с трудами выгоды за постоянные занятия словесностию и науками составится у нас собственное сословие ученых и литераторов, коих вся жизнь будет посвящена обработыванию какого-либо предмета, важного вообще для человечества или для отчизны в особенности. По мере распространения любви к чтению и к занятию науками родится и уважение к ученому и к литератору как к чело-

веку и гражданину; перестанут спрашивать: что он, коллежский или еще надворный? или: как можно дать Владимирский крест чиновнику 14-го класса, который победил талантом Камучини и Жерара⁴! — Правительство наше делает все возможное, чтоб создать, возвысить, обеспечить истинно благородное сословие производителей во всех родах. Нам должно понять его намерения и встретить их исполнением на половине пути!

Вот, почтеннейший Яков Николаевич, наши недостатки, наши жалобы, наши желанья и надежды. Но вы не того от меня ожидаете: вы хотите отчета в новейших русских произведениях. Извольте: напишу, что знаю и что могу. Прошу только, после сказанного, не жаловаться на скудость материалов моего отчета и не требовать у меня той строгости суждений, к которой вы привыкли в своем парижском водвороте. Бедные не смеют быть слишком разборчивыми. Между тем если *количеством* наших произведений мы не можем установить курса русскому уму на европейской бирже, то *качеством* некоторых наш участок не во многом уступит трудам ваших Ротшильдов литературы.

Первые места в числе действующих наших поэтов занимают Крылов и Пушкин. Жаль, что к ним нельзя приложить рецепта Репетилова:

Писать, писать, писать!⁵

Крылов изредка выдает свои новые басни. Пять было напечатано в «Новоселье». Надемся, что и «Библиотека для чтения» будет украшаться ими⁶. Крылов, как человек умный, не доверяет сам себе и на старости боится славы архиепископа Гренадского⁷. Мне кажется, что это опасение напрасное. Не говоря о поэтическом таланте его, который нисколько не увял с годами, заметим, что и самый род его стихотворений менее других подвержен влиянию лет. Воображение, чувство, пламя лирическое могут потухнуть с годами, но светская наблюдательность, ум, прелесть рассказа не ветшают в человеке с дарованием.

Пушкин, Протей⁸ в словесности, своенравный, прихотливый, как сама поэзия, *играл* в этом году одни прелюдии, капризы⁹. Мы ждали увертюры, ждали чего-нибудь большего, важнейшего, но не дождались и, подобно Султану Мустафе¹⁰, восхищавшемуся настройкою инструментов своей капелли, повторяли: и это хорошо! и это мило! — К Пушкину, более нежели к кому-нибудь другому, можно отнести сказанное нами об участии наших поэтов. О нем будут говорить: он был в свете, и свет его не понял. <...>

Теперь сообщу вам некоторые известия не о произведениях словесности, а о производителях: вам, конечно, любопытно будет знать, что у нас готовится и на будущее время. <...>

А. С. Пушкин во второй половине сего года ездил в Оренбург для собрания на месте некоторых сведений, нужных для его *исторического* труда¹¹. Между тем написал он, как я слышал, три новые поэмы и несколько мелких стихотворений¹². <...>

Н. К.

**«РОССИЯ И БАТОРИЙ», ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ, СОЧ<ИНЕНИЕ> БАРОНА РОЗЕНА**

СПб. 1833

<Отрывки>

Судьба нашей словесности остается, по крайней мере для меня, постоянною загадкою: многие, весьма многие действуют, пишут, бранятся, ссорятся, мирятся, — и при всем том нет ни малейшей приметы, по коей бы можно было заключить о характере, общем направлении литературы; как в предметах критики, так и в самой критике не найдете никакого сродства, подобия. Часто читаю разборы одного и того же произведения в разных журналах: в одном предмет критики становится наряду с творениями Гёте столь безотчетно, сколь безотчетно в другом журнале тому же сочинению отказывают даже в посредственности¹. — Причины кому неизвестны; но, к сожалению, нет никаких средств к их уничтожению; публика находится всегда в безотчетной доверенности к любимому журналу, и потому мы лишены и последней инстанции в литературе — мнения публики. — Чего же должны мы ожидать от времени? Того же, что и до сих пор удерживало на Руси развитие словесных способностей: мелкости писателей, мелкости читателей, всеобщего равнодушия ко всему высокому и изящному... Но если на бесплодной, измороженной всеобщим невниманием почве иногда развиваются цветки с большею противу обыкновенного роскошью — не приписывайте их цветения своему солнцу: оно принадлежит неизвестным тайнам, и за жизнь их нельзя благодарить публику.

У нас нет критики так точно, как нет и литературы; мы обманываемся на счет сей последней, собирая под одну статью творения разновременных, различного достоинства писателей, тогда как, большею частью, сочинения их суть только стремления, усилия дать начало, ход литературе, — к сожалению, усилия неблагоприятные; талантов в так называемой русской литературе весьма не много, гениев и того менее — и те после первых, почти всегда неудачных попыток пробудить усыпленное чувство изящного, создать публику, язык, книги не выдержали неприятной брани с посредственностью, с неудовольствием оставили свои желания и (к крайнему сожалению) с презрением публики и собственных способностей решились действовать отдельно, для пользы собственной, вещественной. Примеры соблазнительны. Все устремились по той же стезе; какая-то бобровая система, система уединенности, наступила в литературном мире нашем; необходимая в трудах словесных сообщительность уничтожилась; с другой стороны, возникли аристократические, одна другой противоположные партии, коих, к сожалению, благонамеренные люди не могли искоренить совершенно. Вот почему мы не видим в произведениях современных общего направления. У нас — увыл — даже нет общего хорошего вкуса: всякий судит не по разуму и чувству, а по какому-то минутному капризу оскорбленного или задобренного себялюбия, родственности, дружбы, а иногда, стыдно вымолвить, и просто по расчетам. Таким образом, критика, луна литературной планеты нашей,

не может переменить орбита своего главного тела и потому менее обращает внимания на сочинения, достойные подробного и беспристрастного рассмотрения, нежели на брошюры приятелей и неприятелей рецензентов. Этот жребий встретил, кажется, и драму барона Розена. Донные журналы не сказали об ней ничего за недосугом, за бесполезностию разбирать хорошую книгу. Будучи рецензентом не по должности, а по любви к произведениям изящных искусств, я представляю публике не систематический разбор драмы барона Розена, а просто отчет впечатлений, при троекратном ее чтении на меня произведенных.

Цель или общая мысль сей драмы — не Россия, не Баторий, а Борис Годунов при Иоанне. — Чтобы представить сего донные еще неразгаданного историю мужа в самом источнике его честолюбивых помыслов, автор избрал время, богатое посторонними событиями, кои в совокупности могли разбудить в Годунове преступную мысль о престоле и для гибкого, пронырливого ума его доставляли весьма много возможности закрывать собственные действия. — Мысль о престоле, правда, не могла быть твердым, положительным, обдуманым планом честолюбца, ни ясною мечтою, ни даже нравственным недугом; неопределенное влечение к величию, расчет возможностей, вот что могло тревожить Годунова при Иоанне, и то только тревожить. — В делах честолюбия случай и удача содействуют гораздо более, нежели выкладки и расчисления разума. — Но Годунов при Иоанне — загадка, и даже Годунов-царь не объяснит своими действиями, когда мысль о державе впиалась в сердце его. — Вся жизнь такого человека — великолепная, поучительная драма. — Барон Розен представил часть ее и, вероятно, не остановится на единице, когда предмет требует числа сложного². — Сродство сей драмы с «Борисом Годуновым» А. С. Пушкина заставляет обратить внимание на оба произведения, по крайней мере в отношении к общей цели. В драме «Россия и Баторий» мы видим начало политического поприща Годунова, в сочинении А. С. Пушкина — конец. В первой — народ уже обожает Бориса; во втором — уже ненавидит; в первой — мы понимаем ум Бориса, понимаем, следственно, и причины любви народной; видим, как Борис, обвивая колючую правду в хлопчатую бумагу, умеет неприметно укрощать суровую душу ожесточенного Иоанна, а народу как не чувствовать льготы? В драме А. С. Пушкина — или, лучше, в галерее картин, писанных великим талантом со слов Карамзина, — причины народной ненависти, всеобщего развращения, холодности для нас столько же закрыты, как и в «Истории» Карамзина. Видим судьбу, одну судьбу — и сонных людей, нелепо исполняющих ее назначения³. <...>

Главные характеры драмы: Годунов, царь Иоанн, царевич Иоанн и царица Ирина.

Борис Годунов создан особенно удачно. Он не злодей, но мысль о величии, темная, но уже коварная мысль, глубоко запала в честолюбивую душу; ум рассчитывает возможность гордых помыслов; сердце еще спорит, защищает свою чистоту и в 4-м акте блистательно обнаруживает свою силу. Вообще этот характер эстетически окончен, верен и в высокой степени драматический; положения его разнообразны и при критической проверке согласны с психологию человека и с историею. Не можем пропустить, однако, без замечания, что пророческий сон Бориса о престоле, столь явственный,

столь определенный, и притом в такой связи с Шуйским, который якобы видел подобный сон⁴, нам кажется неестественным и даже не соглашается с прочими явлениями, в коих развивается характер Годунова. Это одно. Другое: рассказы Бориса Годунова царю о бунте вдов и о своем всезнании⁵ не согласуются — первый с приличием в разговоре с царем, а второй — с известною Борису подозрительностию Иоанна, ибо всезнание Фуше часто наводило сомнение на Наполеона, а Иоанна, измученного справедливыми и ложными доносами, коварством и малодушием бояр, неужели бы не смутило всезнание Бориса? Более хитрости, меньше откровенности, и притом при боярах, — более в этом месте приличествовали бы Годунову.

Характер царевича Иоанна создан не менее удачно. Желание исправить, быть добродетельным, естественность перелома и естественность дальнейших его стремлений к добру согревают теплотою всю драму и представляют весьма много мест, где истинно движется чувство, что так трудно соблюсти в русской исторической драме от времен отдаленных до Петровых. Исторические картины А. С. Пушкина служат важнейшим тому доказательством: существо старых нравов наших, отсутствие женщин и самый характер народа принуждают писателя быть холодным, если он хочет быть исторически верным. — Одна только любовь к отечеству, к царю и святыне составляет единственные, но зато богатые, роскошные сюжеты народной исторической драмы. — Избрав предметом своей драмы Годунова, барон Розен умел согреть ее теплотою характера царевича. — Верен ли он с историею или нет, для меня все одно: я хочу в драме видеть чувство, жизнь, даже лучше лиризм, нежели холодный разговор, хотя бы он был архи-верен с историею и характером народа. <...>

Язык русской драмы, кажется, скоро будет доведен донельзя, по множеству образцов, нам предлагаемых, хотя и весьма различного достоинства; нет, однако же, сомнения, что лучший, приличнейший язык для русской драмы есть язык А. С. Пушкина... Язык барона Розена исполнен множества старинных слов и оборотов; они хорошо оттеняют понятия того времени; некоторым образом напоминают и самое время, особенно для того, кто знаком с летописями; но возможно ли постоянно выдержать в огромной драме язык летописей, станет ли выражений для всех характеров, а главное, приятна ли для слуха гармония языка необработанного, перешедшего к нам чрез учение и правила, чрез писателей и разговор обыкновенный в совершенно ином виде? Впрочем, и в этом отношении должно отдать справедливую честь автору; он весьма искусно управлял своими познаниями в старом языке, и можно сказать, что драма «Баторий и Россия» относительно старорусского языка — первый удачный опыт⁶.

Вот мое беспристрастное мнение! Не стану опровергать уже показывающиеся на драму «Россия и Баторий» неблагоприятные критики⁷: я бы оскорбил этим известного давно уже публике писателя как мелкими сочинениями, так и прекрасным изданием «Альционы»⁸; желательно бы, однако же, чтобы всякий мыслящий или, по крайней мере, читающий поверял сам критические отзывы о замечательнейших книгах: может быть, от этого у нас бы пробудилась дельная критика и тогда бы сочинения, подобные драме, о коей мы говорили, могли быть оценены вполне и справедливо. Я написал около трех листов, а не имел времени сказать ни об одной частной красоте

драмы, тогда как она преизобилует превосходными местами. Долг доброй совести требует сказать, что едва ли это не первая русская драма, достойная по преимуществу особенного внимания публики, изучения ее красот необыкновенных и многочисленных и, наконец, подражания во многом.

Остается пожелать, чтобы почтенный автор не остановился при начале великой идеи и — обладая познанием старины и высоким талантом — докончил глазам нашим мастерский портрет Годунова, *по своим понятиям*, кои для нас кажутся справедливыми и историческими: мы перестали уже верить рассуждениям историков, а смотрим только на факты. Для сметливого довольно, чтобы различить истину.

К. А. ПОЛЕВОЙ

О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

«У нас нет литературы», — говорят многие, и кто не согласится, что это правда? У нас нет литературы, потому что книги русские не выражают вполне России. Они пишутся и издаются большею частью по разным относительным причинам, а не по искреннему побуждению дать отчет в своих понятиях, чувствах, сведениях. Сверх того, и число писавших и пишущих у нас так мало, так ограничено, что их нельзя назвать представителями русского ума, русских дарований. Наконец, подражательность — вечная спутница всех юных литератур и давняя губительница наших писателей — не позволяет русскому уму явить себя во всей красе и силе. Эти соединенные причины оставляют нашу письменность в каком-то детском возрасте и не дают ей возмужать до возраста истинной литературы. Дитя в пеленках, дитя верхом на палочке, дитя с учебною книжкою в руках не может быть назван полным человеком, потому что ему еще надобно пережить возраст юношества и мужества¹.

Не определяя, в каком возрасте находится теперь наше милое дитя, русская литература — ибо надобно же так называть ее для избежания излишних слов и для того, что дитя есть уже человек, — заметим, что, по неизменному закону, в нашей литературе полнее и более всего развита до сих пор словесность². Человек прежде всего бывает движим фантазиею: судьба как будто ждет лет более зрелых для действий его на поприще ума и учености. Потому-то все литературы начинались словесностью, в которой прежде, нежели в других отраслях, являются люди, исполненные дарований, поэты, ибо чувство развивается в человеке прежде всех других способностей. И у нас, при бедности в других отделах литературы, есть уже довольно писателей-поэтов, которых можем мы противопоставить знаменитым именам других словесностей. Державин, Хемницер, Фон-Визин, Дмитриев, Крылов, Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Пушкин — именуем только некоторых — были бы честью какой угодно словесности. И теперь при общем непрерывно возрастающем развитии духа русского замечательнейшие явления литературные видим в нашей словесности: другие отделы литературы не идут рядом с нею. Это некоторым образом может также доказывать юность на-

шей образованности; но не об этом хотим мы говорить в нашей статье. Мы хотим обратить внимание на некоторые новые явления русского стихотворства*. Они принадлежат лучшим современным поэтам нашим: Жуковскому и Пушкину, особенно же сему последнему, который напечатал во 2-й книжке «Библиотеки для чтения» «Сказку о мертвой царевне». Жуковский в прошедшем году подарил нас также сочинением «Сказка о царе Берендее»³; Пушкин напечатал в 3-м томе своих «Стихотворений» «Сказку о царе Салтане». И во многих других новых сочинениях сего поэта видно старание превратиться в старинного русского рассказчика, воскресить дух старой Руси, заменить новые формы стихотворства старыми⁴. Об этом-то направлении хотим поговорить мы. По нашему мнению, здесь явление чрезвычайно важное: оно может иметь некоторое влияние на будущую участь нашей словесности; могут найтись подражатели и обожатели, которые распространят, преувеличат, исказят мысль наших отличных поэтов и сделают из нее то же, что сделали бездарные подражатели из мысли Карамзина, который хотел размягчить грубость нашу слезами чувствительности. Зачем же работать нам еще двадцать, тридцать лет по новому направлению, если оно ложно? Надобно будет оставить его, и тогда пожалеют о потерянном времени. Лучше сообразим теперь это явление с указаниями истории и с выводами ума. Поэты могут иногда обольщаться мечтами, но мы, беспристрастные наблюдатели, обязаны говорить им правду.

Мысль подражать изящному прошедшему была искони мучением многих писателей и даже многих литератур. Великолепные римляне видели в изящных греках образец для всех произведений своей словесности; Средние века чуть не молились древности; французы, холодные подражатели древним классикам, были, в свою очередь, образцами для многих, и в том числе для нас, переимчивых русских. Теперь, когда мысль сия признана более нежели неисполнимою, — теперь странно было бы вновь доказывать признанное всеми. И философские выводы, и свидетельства исторические у всех в памяти, перед глазами. Теория истинной поэзии овладела сердцем, неизгладимо начертана в уме, слилась с жизнью каждого образованного юноши нового поколения. Зачем же доказывать человеку то, в чем он убежден? Зачем говорить ему, что он может петь только своим голосом, видеть только своими глазами, чувствовать только своим сердцем, своею душою? По крайней мере на этот раз мы отказываемся от нового решения задачи решенной и, пользуясь выгодой нашего положения в настоящем случае, обращаемся к предмету более новому.

Мы должны рассмотреть: новое направление, которое хотят придать русскому стихотворству двое отличных поэтов наших, не одинаково ли с тем направлением, о котором говорили мы сейчас? Если достигнем вывода подтвердительного, то это будет решительным опровержением мысли их.

* У нас привыкли называть стихотворство поэзиею, вероятно взяв это слово с французского, на котором оно собственно выражает стихотворство. «Les poésies de V. Hugo» значит ни больше ни меньше как «Стихотворения В. Гюго». Следовательно, у французов злоупотребление сего слова имеет, по крайней мере, основание. Но у нас для чего это? Поэзия может быть и в живописи, и в музыке, и даже в подвиге; но в большей части стихотворений нет ее. Итак, пора обратиться к здравому смыслу и называть предмет настоящим его именем.

Разница в подражании классиков и наших поэтов не более как одна обольстительная мечта. Правда, первые подражали чуждым народам, а мы хотим подражать своему, родимому, отечественному. Но чувствуете ли вы, на чем вертится эта утешительная мечта? На слове «подражание»! И вы, забывая уроки веков, пускаетесь опять в подражание? Вам не страшно опять строить здание на зыбкой основе мысли о подражании? Вас не научили ни превосходство самобытных гениев, ни горестный пример гениев-подражателей? Нет, право, человечество неисправимо! И поделом. Провидение умножает тысячами, миллионами жестокие примеры: этого все еще мало, все еще надобны примеры и опыты новые. Мы всегда найдем оправдание, стоящая в те следы, которые вели предшественников наших к падению. «Мы хотим не просто подражать: мы хотим превратиться в древних русских! Хотим быть русскими и по языку, и по чувствам! Какое же тут подражание?» Да, это было бы очень весело, если б было возможно. Я превратился бы в Киришу Данилова или в тех, кого выдает он нам за себя; вы запели бы еще более по-русски: голосом певца Игорева; а третий захотел бы превратиться в Баяна, о котором и певец Игорева говорит как о прошедшем⁵. Мы были бы тогда настоящие русские! И как славно это: жить в XIX веке русскими XV, XIII, может быть, XI века! Мы были бы точно русские XIX века!

Шутки в сторону; в сторону и явная невозможность — из настоящего времени переселиться за пять веков, даже за два века, за один век. Мы не волшебники, мы даже не Калиостро или граф Сен-Жермен⁶. Но *можем ли мы и должны ли мы подражать нашим древним или даже старинным русским произведениям словесности?* Осмеливаюсь отвечать: *не можем и не должны*. Возьмем подражание в самом высоком его смысле, то есть согласимся на минуту, что мы должны *превратиться* в русских XIII столетия, или... не знаю, как объяснить вам эту темную для меня самую мысль?.. Предположим, что мы хотим выучиться так глядеть на предметы, как глядели наши предки, так чувствовать, как чувствовали они, так говорить и писать, как они. Предположим все это, поддадимся обольщению и станем обдумывать: как бы исполнить нам свое намерение? Станем читать старые книги, которых у нас почти нет, станем вглядываться в деяния наших предков, в их обычай, в их нравы и поверья, станем учиться их языку. Но какими глазами станем глядеть мы, какую душою чувствовать, каким умом поверять новые приобретения? У нас все это: и ум, и душа, и даже зрение наше принадлежат XIX столетию. Каков бы ни был предмет, хотя бы то была сама Россия XIII или XV века, восставшая из непробудного прошедшего, она будет отражаться в нас, которые смотрим, чувствуем и понимаем иначе, нежели предки наши. Неужели вы думаете, что предмет играет в этом случае главную роль? Напротив: мы сами. Природа одна для всех; но как различно отражается она в тех, кто глядит на нее! Одна природа была перед глазами Байрона и английского мужика, его современника, перед глазами автора «Письма к доктору Эрману»⁷ и оглупелого в невежестве якута. Следовательно, все зависит от нашего взгляда на нее. Но в отношении к прошедшему это еще разительнее. Прошедшее можно уподобить отдаленной луне, которая глядится в зеркала земли, воды. Мы видим ее: она, кажется, так ясно перед нами, так близко, что можно схватить ее за рога, — Мугаммед уверял даже, что он поймал ее однажды⁸. Но такова ли эта небесная подруга

мечтателей, какую нам представляется она? Ни океан, ни лужа, отражающие в себе луну, не представляют нам ее истинно: это один обманчивый отблеск, призрак! Так и прошедшее: мы знаем его, видим, но так отдаленно, так неясно, что можем любить его лишь в идее, а не облекать в истинные формы.

Таким образом, надобно сознаться наконец в невозможности *переселения себя* в прошедшее, ибо этому противятся и взгляд наш, и самый предмет. Остается *подражание*; возможно ли оно — этому свидетельством служит бездушная классическая литература. Если хотите подражать формам, если хотите быть только по наружности сходны с предметом вашего подражания, хотите быть классиками нового рода — перед вами открытый путь к этой гибели!..

Убедившись в невозможности такого подражания, мы вместе с тем решили и другой вопрос: должно ли пускаться в это подражание? В самом деле: кто станет подражать тому, чему нельзя подражать? Но есть люди, которых упрямство не победимо никакими доказательствами. Для них-то принуждены мы сказать еще несколько слов, которые будут служить новым пояснением доказанной нами истины и покажут, какие могут быть следствия оспориваемого нами направления.

Повинуясь мысли своей: подражать древним и старинным русским сказаниям, вы хотите отделиться от своего века, вы надеетесь в отдаленной старине открыть свежие родники поэзии и олицетворить древнюю Русь в новой. Исполнение этого предприятия невозможно, ибо оно противно законам природы и ума; но стремиться можно ко всему, даже стремиться схватить с неба звезду и отыскать квадратуру круга. Понимаю благородный порыв к оживлению нынешней бессмысленной, безжизненной словесности нашей. Да, у нас, говоря в строгом смысле, нет родного в словесности; у нас все чужое, заимствованное — и мысли, и направления, и труды литературные. Мы повинемся гениям чужих стран, мы следуем Шиллерам, Байронам, В. Скоттам и не думаем о самобытности. Может быть, к этому привели нас исторические обстоятельства, но как бы то ни было, а это событие, и событие неутешительное. Надобно вырваться из чужих сетей: мы уже чувствуем потребность в этом и, следственно, сделали первый шаг к успеху. Идея, зародившаяся единожды, не гибнет: она произведет свои последствия. Сначала все бывает идеею; но часто идея движет народы, открывает с Коломбом Америку, дает кровавую Бородинскую битву или производит чудеса искусства и дарит мир бессмертными произведениями Рафаэлей и Моцартов. И в нашем мире словесности идея о самобытности явится в благодетельных и великих последствиях. Но прежде того сколько должна испытать она неудач и усилий тщетных, обманчивых! Так в настоящем случае: думая стремиться к самобытности, наши отличные писатели стремятся явно против нее. Для доказательства надобно только обратиться к сущности предмета.

На чем основывается самобытность человека и народа? Конечно, не на внешних предметах, а на внутреннем чувстве его, освещаемом сильным умом и укрепляемом душою могучею. Но, принимая взгляд, понятия и язык драгоценных нам предков, вы уже отрекаетесь от собственных ваших понятий, взгляда и языка. Вы хотите подражать чуждому, прошедшему и подав-

ляете всю самобытность свою. Повторим еще раз: вы не можете подражать предкам вашим вполне; вы будете подражать только тому, что было одушевлено у них жизнью: формам их. А ваши собственные, данные вам от Бога способности? Неужели они так мелки и ничтожны, что не могут произвести чего-либо великого, достойного, в свою очередь, быть образцовым для веков? И неужели формы нашего времени, формы языка, общества, нравов и понятий наших не представляют для художника ничего изящного? Напротив, они сообразны нам самим. Наше общество представляет неисчислимое множество предметов для созданий всякого рода; наша история и формы нашей образованности отражают в себе опыты и события многих тысяч лет; наш язык верно служит нашим понятиям и каждому оттенку наших мыслей. Есть одно препятствие для художника: это сила примеров и образцов, готовых мыслей и целых теорий, окружающих нас со всех сторон. Мы страдаем от богатства нашего и, подобно какому-нибудь английскому богачу, от скуки плывем за океаны, в среду отдаленных и диких народов искать природы и искусственного чувства. Вот, наконец, чем ограничиваются неудобства нашего времени!.. Конечно, тяжело переносить скуку и угнетение богатства: может быть, тяжелее, нежели поэтическое стеснение бедности! Это каждый день слышим мы с роскошных диванов, где утонувшие в наслаждениях и лени восклицают: «О, как счастлива беззаботная, имеющая все впереди бедность!» Но — пошлость за пошлость — неужели вы, так же как эти несчастливцы, не можете вырваться из обаяний вашего богатства? Неужели вы не можете забыть ваших Байронов и Шиллеров, Шекспиров и В. Скоттов! Неужели не можете вы забыть ваших теорий и правил? Нет? Как же хотите вы сделатья самобытными поэтами, русскими, и даже русскими прошедших веков? Но я не верю вашему отрицанию. Обратитесь к природе: она всегда нова; она примет вас в свои необъятные объятия и наградит всем богатством своим. А теперь напрасно развивает она свои роскошные долины, напрасно раздвигает поэтические, таинственные дебри, напрасно катит серебряные волны огромных рек в неизмеримые океаны. Мы слепы к красотам ее, мы глухи к ее гармонии и оттого немы при взгляде на чудеса ее творения. Мы сидим в своих кабинетах, видим природу только на картинах и тканых обоях, слышим о ней только из уст описателей и жалуемся на бедность своих впечатлений, своих идей. Мы обращаемся к великим наблюдателям природы и человека, вопрошаем Омиров, Шекспиров, Гёте, но, видя, как ненадежно и бесплодно такое изучение мира через третьи руки, мы хотим заимствовать ощущения и мысли у наших предков, хотим присвоить себе их простой, безыскусственный взгляд, их естественное выражение чувств и научиться у них быть поэтами, жить самобытною жизнью. Но и перед священным образом нашей старины мы играем ту же роль. И неужели будет продолжительно заблуждение наше?..⁹ Оставим же все заимственное, потому что никогда не сольется оно с нами. Мы не должны подражать ни чуждым писателям, ни старинным нашим сочинителям, ибо в сем последнем случае переменяется только предмет подражания: следствия одинаковы — мы не будем самобытны.

Писатели, наименованные нами, хотя не только подражать старинным сочинениям, но и пересказывать их почти теми же словами, в тех же выражениях, какие находятся в подлиннике. Я не думаю, чтобы люди, столь пре-

восходные дарованиями, как Жуковский и Пушкин, могли иметь странную мысль: *переделывать* старинные наши сказки. Никакая переделка не может быть поэтическим созданием, а искусство требует созданий, не позволяя вынимать душу или обрубить члены у творения, которое хотите вы переделать. Пусть живет оно своею жизнью, тою жизнью, какая есть в нем; пусть умирает, если нет в нем жизни. И может ли искусство, неистощимое в созданиях, нуждаться в неудачной попытке? Если же сочинение, которому хотите вы придать новые формы, изящно само по себе, то можно ли налагать на него святотатственную руку? Итак, оставляя самую мысль о *переделывании*, потому что не предполагаем ее ни в Жуковском, ни в Пушкине, мы обращаемся к тем последствиям, каких должно ожидать от самого близкого подражания старинным русским сочинениям.

Писатель, одаренный силою привлекать к себе внимание читателей, может на время ослепить их каждым своим опытом. Но берегитесь: нет ничего злопамятнее обманутого ожидания. Самое превосходство и прежние успехи ваши будут поводом к новому ожесточению читателя при вашей неудачной, неверной попытке... Попытки Жуковского и Пушкина в подражании русским сказкам — неудачны, по крайней мере ниже своих образцов, дышащих всем простодушием доброй старины и оригинальностью рассказа неподражаемую. Неудачные попытки наших поэтов не только не пробудят любви к старине и не породят самобытности, но могут еще иметь действие совершенно противоположное. Этого мало. Как подражания, они еще могут повести к новому забвению истинных сил русского ума, русской души, и для этого — странное положение! — почти надобно желать неуспеха нашим поэтам.

Мы не думаем, чтобы нашелся хотя один из наших читателей, который спросил бы у нас, что разумеет мы, говоря: силы русского ума и души. Но для пояснения мысли своей вполне скажем, что так называем мы то благодетельное, давно желаемое сближение с природою и человеком, которое должно совершиться не через посредство какой-либо чужеземной литературы и не посредством старины русской, а собственными нашими силами, нашею русскою душою и умом девятнадцатого столетия. Унизительно и безрассудно было бы думать, что славный русский народ, уже совершивший великие, бессмертные подвиги, неспособен к образованию литературы самобытной. Чего недостает нам? Природа нашего великого отечества должна внушать нам помыслы высокие, давать впечатления сильные; история наша, соединяющая в себе три рода поэзии — Восток, Запад и Север, — представляет такое разнообразие, каким могут похвалиться немногие народы; а настоящая судьба нашего отечества беспримерна. Не рассыпаясь в похвалах ей по одному только сознанию своего достоинства, мы, однако ж, можем сказать, не нарушая благородной скромности, что в будущем предстоит нам много блестящего и славного. И такой народ, с такою судьбою, с такою природою, не найдет в настоящем своем стихий для поэтических созданий? Надобно прежде отказаться от ума и души и потом согласиться, что мы должны жить заимствованиями и подражаниями.

Поэзии нашей предстоит подвиг великий, может быть трудный и продолжительный, но тем более славный и богатый несомненными успехами. Самая старина русская ждет и требует не переделываний и подражаний, а только взгляда, взгляда поэтического, одушевления истинного, глубокого.

Обработывайте ее не так, как обрабатывали предки наши, а как люди настоящего времени. Откройте в ней поэзию новую, а не ту, которая уже открыта. Для ясновидящего взора поэта не закрыта и обремененная двадцатью веками Греция, прешедшая, покрытая своими изящными обломками Греция; тем более Россия, близкая, родная нам, неразлучная с нашими помышлениями, с нашею жизнью. Если поэт, переселяясь в прошедшее чуждых ему народов, может воспламеняться до поэтического одушевления, то чего не создаст он, погружаясь в свой родной мир!.. Одно условие необходимо для этого: дарование, не обремененное чужими взглядами и мыслями. Дарование откроет путь к таинственной старине, найдет доступ и к сердцу русскому. Пусть только одушевление его будет чисто, не затемнено чужим подсказыванием.

В самом стремлении к этому заключается весь будущий подвиг наших поэтов. Счастливыц!.. Но они не чувствуют прелести и возвышенности своего призвания. Они тратят время и средства свои на разнообразные попытки; они не хотят заглянуть в глубину души своей, русской души, и светом ее озарить родные всем нам предметы. Конечно, они вправе возразить, что не могут действовать по указаниям и пишут лишь то, что внушает им фантазия. Уважаем, более всякого другого, это священное право поэта и выдаем свои мысли совсем не учительскими предписаниями, а как мнение беспристрастной критики. Разве критика не имеет также своего законного права: излагать мнения, которые почитает она справедливыми? Скажем более: она обязана замечать отклонения от прямого пути и указывать на фаросы¹⁰ искусства, на вечные истины теории, по которым должен направлять свой путь всякий писатель и даже поэт. Критика может ошибаться в частных применениях своего суда, но она и заботится не о частностях, а о направлении искусства. Произведения конченные служат для нее только свидетельствами, *фактами* (позволяю себе употребить здесь это чужое слово)¹¹. Наши поэты убедятся наконец своими неудачами, что они должны оставить мысль о заимствованиях и подражании, в каком бы то ни было виде, в подражании ли древним классикам, в подражании ли великим гениям новых времен или сочинениям нашей старой Руси. Глядя своими собственными глазами, чувствуя собственною душою, они отыщут и свой, им самим принадлежащий язык. Для человека, для поэта девятнадцатого столетия чужд и тесен язык наших старых писателей. Я ли скажу вам, как создастся язык наш, из каких элементов, из каких материалов образуются его новые, согласные со всеми требованиями оттенки! Это труд веков. Будем помнить только то, что уже и теперь язык наш состязается с самыми богатыми и образованными языками всех времен и народов; что он основан на таких законах, которые допускают все возможное разнообразие, всю гибкость, нежность, игривость и силу выражения. Будем хранить это драгоценное наследство наших предков, будем дорожить им и обогащать его новыми приращениями и непрерывною обработкою. В отношении к языку важный и, без сомнения, главный материал представляют наши старые книги; но это материал — не более, — который требует ума и души поэтов, разбора и очищения критики. Язык мертв, если он не в животворном обладании человека.

Думая об одном только простодушном выражении старинных сочинений — ибо из них нечего более заимствовать, — мы можем оставить в небре-

жении язык настоящего времени, требующий усовершенствования во всех отношениях. Но это не главное: забывая настоящее и думая оживить его старинною неподдельностью чувства и выражения, мы можем сделаться мелки и в мыслях, и в чувствованиях, ибо станем подражать только наружному, приравливая для этого свой ум и чувства к старинным понятиям. От немногих отличных писателей, которые могут поддержать свое усилие по крайней мере на почетной степени, желание подделываться под старину может распространиться на всех пишущих, и тогда подвиг нашего поколения погиб в усилиях бесплодных! Знаете ли вы, что такое толпа, овладевшая ложною мыслью и еще более ложным направлением? Это неизлечимый больной, подавший одной мысли. Только смерть может кончить его жалкое поприще; но никакие пособия искусства не помогут ему. В истории нашей литературы было уже несколько подобных примеров. Филантропический взгляд Карамзина, который сообщил его своим дарованием всему своему поколению, оставался господствующим до тех пор, пока не явилось на поприще новое поколение, с новыми, сильными дарованиями¹². Этот взгляд отразился тогда во всех частях литературы: и в истории, и в стихотворстве, и вообще в словесности. Что осталось нам от трудов поколения Карамзина? Его личное дарование и громада книг, служащих только уроком для будущего. Научимся же этим уроком и, помня, что в словесности все зависит от направления, какое дают ей могущественные дарования, не устращимся сказать им: «Остановитесь! Довольно опытов и неудачных странствований в чужие владения. Будьте русскими не прошедших веков, но настоящего времени».

Этого требует не один голос наш, который, конечно, может быть заглушен кликами восторженных поклонников, — этого требует время, указывающее на опыты прошедшего и на судьбу нашего будущего.

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«НОВОСЕЛЬЕ». КНИГА ВТОРАЯ

Санкт-Петербург, 1834. С виньеткою, изображающею
внутренний вид Библиотеки для чтения

<Отрывки>

С начала нынешнего года словесность видимо упадает, — это не подлежит никакому спору: довольно взглянуть на списки новых ее произведений, чтоб убедиться в этой истине, и вздохнуть. Жизнь, которою она вдруг оживилась около эпохи появления «Юрия Милославского» и «Димитрия Самозванца»¹, блистательные надежды, которые о себе подала, умственная деятельность, которую возбудила, — все это начало ослабевать и бледнеть слишком скоро и наконец иссякло в литературно-торговых расчетах. И причина этому очень ясна: успехи романов г. Булгарина воспламенили множество умов и страстей; соперничество, соревнование согрело перья; самолюбие мгновенно было приведено в движение, — и луч теплый, яркий блеснул в нашей словесности; но спустя некоторое время соревнование

приобрело коммерческий опыт, дарования приценились, и теперь книги производятся как рожь и сало — для продажи по прейскуранту. Всякий из нас знает, сколько дают за его сочинение на книжной бирже, и может рассчитывать вперед, что для него выгоднее, — сочинить роман в двух частях или взять акции в новой компании? — написать повесть или снять подряд на поставку дров? Такое положение литературного дела убийственно для начинающей словесности². Я отнюдь не сетую на то, что умственные труды уже платятся у нас дорогою ценою; но не могу не чувствовать и не сказать, что самое возвышение этой цены, возвышение быстрое и непомерное, должно было нанести чувствительный удар и этого рода промышленности, и товару, которым она торгует, словесности, — и уже нанесло. Трудность, с которою некогда писатели добывали скромное возмездие за первые свои литературные плоды, заставляла их снискивать высшие успехи напряжением всего своего дарования, мощными и долгими усилиями мысли: в этом напряжении, в этих усилиях образовались мыслящие головы, усовершенствовались таланты, искусство процветало и словесности украшались творениями, которые и до сих пор составляют их славу. Напротив, легкость, с которою теперь получается щедрое вознаграждение за труд при первом удачном опыте пера, делает всякое усилие излишним, и я не думаю, чтобы в наше время Руссо был в состоянии написать «Новую Элоизу»: он скорее написал бы вместо ее десять модных романов, которые все в совокупности менее стоили б ему труда, нежели как одно письмо Сен-Прё³, которые принесли бы ему вдесятеро более прибыли и которые все десять, быть может, не представляли бы той массы таланта, какую иногда представляет одна страница «Элоизы». В этом обстоятельстве должно преимущественно искать источника постепенно возрастающей слабости наших творений, которые и без того никогда не блистали большою силою: я говорю, *преимущественно*, потому что не одна меркантильность, убившая искусство в целом образованном мире, подействовала на быстрое изнеможение жизни, одушевившей русскую словесность в последние годы истекшего десятилетия, — есть еще другая причина: она имеет непосредственное влияние на постоянное уменьшение числа наших оригинальных творений.

Я был простым, посторонним свидетелем этой светлой и богатой надеждами эпохи: случайное мое положение доставляло мне средство наблюдать ее со вниманием и без всякой личности, и, радуясь движению, внезапно обнаружившемуся в области нашей литературы, считая ее успехи и наслаждаясь ими от всей души, признаюсь, я тогда уж предвидел скорое ее обесценивание, хотя вовсе не думал о торгашестве, которое потом, распространившись быстро во всей Европе, прибыло на помощь главному ее недугу. Этот главный недуг, этот существенный недостаток, который всегда поражал меня в нашей словесности, — сказать ли откровенно его имя?.. — таиться тут нечего! — это слабость мысли. Я видел множество трудящихся перьев, много дарований, даже много воображения, но нигде, почти нигде не видал мысли в действии. Мысль в нашей словесности еще действует слабо, очень слабо. И отчего это?.. Неужели мы не так созданы, как другие народы? Неужто головы немецкие, английские, французские устроены лучше наших? Неужто западные и южные люди обладают исключительным секретом видеть тайные движения сердца, постигать все возможные положения души, анализи-

ровать страсти, рассматривать и определять условия домашнего и семейного быта, — все эти предметы, о которых вечно толкует словесность и о которых вечно должна она толковать, потому что человек вечно имеет нужду в этих толках, для услаждения частного своего на земли существования? Неужто ум наш не в состоянии сойти в нас самих, углубиться в человека общественного и нравственного — не политического: я решительно отвергаю всякую связь между политикой и словесностью, — в человека такого, каким он бывает у себя дома и в обществе, без различия народов и правительственных форм? Отнюдь не то: мы просто еще не начинали думать об этих вещах; мы не имеем привычки мыслить, — на свете те только могут возвышаться до значительной силы мысли, которые приобрели привычку к мышлению. У других народов есть уже в заводе мыслить на свой счет; каждый более или менее старается мыслить о самом себе; огромное количество мыслей о общественном и домашнем человеке, выпущенных в течение двух или трех столетий и находящихся, подобно деньгам, в непрерывном обращении, электризирует разговор собраний, упражняет головы и невольно приучает их заниматься мыслями, слагать их, разбирать, сочетать в новые виды и разнообразить. От этого творения самых умеренных талантов исполнены у них игры мыслей — хороших или дурных, — но все-таки мыслей, без которых не может быть книг. У нас нет ничего подобного: атмосферы наших обществ пусты, как воздух полярных стран; если случайно влетит в комнату одинокая мысль о человеке, так и ту выгонят, бросая на нее картами, или убьют равнодушием. Мы живем — и живем славно, — совсем не думая, не размышляя, как мы живем с нашими ближними и собственными нашими страстями и от чего происходит удовольствие и страдания нашей жизни; а если хотим полакомиться жизнью, уподобивать себя кругом, обрадовать тело и душу, то покупаем сотню фленбургских устриц для желудка и французскую книгу с готовыми мыслями для головы — и живем далее, опять ничего не думая сами собою. Но чужие мысли — сновидения и на деле ни к чему не служат: ими нельзя ни согреть, ни оживить предмета. Поэтому и наша словесность всегда скользит только по поверхности характеров, жизни, общества и человека, не проникая, не заглядывая даже во внутренний мир — в сердце, в душу, в тайны и условия частного быта. Мы видим и описываем только наружность предметов и наружность действующего человека, то есть его поведение или отдельные случаи, которые приключились с *одним* лицом и, может, никогда не приключатся с другим. И что ж, что они приключились? Что ж это доказывает, что они с кем-то были или не были?.. Наши романы и повести, с весьма немногими изъятиями, суть или длинно развитые анекдоты, или карикатурные изображения характеров, составляющих изъятие из правила, или недоносы слезистого сентиментализма. Никакой философии, ничего всеобщего: как будто художество работало не на человека, а только подбирало позади его уроненные им глупости и причуды, — как будто дар мысли не давался тем, кому дается перо в руки. И — странное дело! — эта мертвая словесность так приучила нас к отсутствию мыслей в книгах, что огромное большинство читателей ищет в них только сцен, в которых можно посмеяться; что, когда в сочинении попадутся мысли, они решительно утомляют читателей или остаются непримеченными, — если еще не бывает с ними худшего; они часто перетолковываются в самую неблаго-

дарную сторону, единственно от непривычки обращаться с мыслями. В таком порядке вещей подвиги словесности не могут быть ни блистательны, ни продолжительны, и репутации должны скоро изнашиваться, потому что одни только мысли обладают правом неисчерпаемой занимательности и доставляют писателю средство быть великим, сильным и бесконечно разнообразным: все остальное скоро может быть исписано. И в самом деле, мы видим, что после первых произведений дарования у нас вместо того, чтоб расти и развертываться, слабеют, вянут и склоняются к упадку. Нигде так скоро не исписываются, как у нас, — и по весьма простой причине: невозможно бесконечно шутить, быть остроумным, выдумывать забавные анекдоты и всякий раз иначе описывать наружность одних и тех же предметов. Можно лишь мыслить бесконечно, — но к этому нужен навык, которого мы еще не имеем.

Прошлый год был у нас сравнительно еще очень богат литературными произведениями, нынешний так обеднел, и бедность его месяц от месяца становится столь ощутительною, что на нынешнюю книжку «Библиотеки» для чтения» мы принуждены взять для «Критики» вторую часть «Новоселья» и разбирать статейки. «Новоселье», — кто бы это подумал! — «Новоселье», книга, составленная из сборных статей, есть самое важное литературное произведение, вышедшее в течение двух последних месяцев!!!.. Мы принуждены важно, не улыбаясь, судить о мелких статьях!.. Мы никогда не думали, чтоб нам пришлось низойти до ничтожного звания статеечных критиков, — до занятия, которое считали достойным только сочинителей бранных безыменных брошюр и студенческих перьев. Но необходимость велит, и мы... Надобно, однако ж, как-нибудь облагородить свое положение: не станем разбирать статей, а будем говорить о «Новоселье» вообще и о таланте некоторых его подателей.

Никакая, быть может, книга, исключая «Ивана Выжигина»⁴, не наделала у нас столько шуму, как первая часть «Новоселья», вышедшая в прошлом году. Необыкновенный ее успех должно отчасти приписать некоторым ее статьям, но всего более счастливой мысли издателя соединить в одном томе произведения почти всех известнейших русских литераторов, почти все знаменитые в словесности имена. Вторая часть вышла в свет с теми же преимуществами: в ней сияют те же литературные славы и в прибавок несколько хороших имен, которых не было в первой части; в ней ровно столько же, если не более, примечательных сочинений, разнообразия и занимательности⁵. <...>

Стихотворная часть второго тома «Новоселья» богата и, по моему разумению, гораздо блистательнее прошлогодней. Стихотворения не статьи — это полные создания, как бы коротки они ни были, и в издании, составленном из собранных отовсюду легких очерков пера, всегда образуют главный капитал внутреннего достоинства книги. Имена Жуковского и Пушкина в состоянии сообщить высокую цену всякой книге, в которой они находятся, тем более что в наших поэтах заключался весь блеск нашей словесности: проза живет у нас еще под покровом их славы, не имея личных неоспоримых прав на знаменитость и всемирную известность. Поэты — настоящее украшение русской словесности, и после нашего века, вероятно, одни они останутся из него для потомства. Хотя вкус публики с некоторого времени

явно клонится к прозе, но я всегда с большим удовольствием прочитаю в «Новоселье» следующие стихи из «Элевзинского праздника» В. А. Жуковского, чем всю прозаическую словесность нашу за весь прошлый месяц. Здесь есть искусство, и высокое искусство!⁶ <...>

«Анджело» А. С. Пушкина — целая поэма и одно из прекраснейших произведений этого огромного, разнообразного и всегда необыкновенного поэтического дара. «Анджело» есть подражание Шекспирову Анджело, если только в стихотворной поэзии могут быть подражание или перевод⁷. «Анджело» читается в первый раз с удовольствием, во второй, в третий, уверяю вас, — с восхищением. Я знаю, очень знаю, что теперь в моде у известного класса читателей находить более и более недостатков в новейших творениях нашего поэта⁸, и не спорю, что некоторые легкие, быть может слишком легкие, стихотворения подали даже справедливый повод к этому расположению письменной и разговорной критики; но утверждаю, что и в самых небрежных плодах его пера есть столько таланта, вкуса и красот, что каждый из них сделал бы славу всякого из взыскательных аристархов⁹, если б был его произведением. Боже упаси, чтоб тем я заохачивал А. С. Пушкина к небрежным плодам пера! Я слишком люблю собственное наслаждение, когда читаю его стихи, чтоб не желать великому поэту тех сильных и ослепительных взрывов вдохновения, которыми прежде потрясал он отечественную публику, провозгласившую его гением в радостном и высоком восторге; но знаю, что подобные взрывы не могут случаться ни с кем в свете ежедневно, ни ежемесячно: между ними должны быть известные промежутки тишины, — и мы, кажется, живем теперь в одном из этих промежутков. «Анджело» заставляет нас думать, что священный огонь опять объял душу поэта, что радужное его пламя уже начинает возвышаться над горизонтом и что мы скоро будем свидетелями одного из тех могущественнейших и великолепнейших поэтических сияний, какие один только Пушкин в силах производить на Севере. «Анджело» уже не сказка¹⁰; «Анджело» уже кипит теплотою сердца и мысли; «Анджело» прекрасная поэма и громкое предвещание. Сожалеем, что форма поэмы не позволяет нам привести никакого отрывка: она так создана, что нельзя отделить никакой части, не портя целого и не посягая на удовольствие читателей.

Кроме имен Жуковского, Пушкина и Крылова — маститый Лафонтен XIX века украсил эту вторую и, как утверждает «Северная пчела», *последнюю* часть «Новоселья»¹¹ одною из своих бесен, — многие второстепенные знаменитости русского Парнаса (простите это классическое выражение!) причинились также своими трудами к умножению приятностей Светлой недели, отличившейся в нынешнем году выходом в свет этого издания. На праздники, когда чувство забавы бывает приведено в нас в раздражение, все потехи имеют для нас особую прелесть: на праздники и эти второстепенные стихи я читал с удивительным наслаждением. Теперь, на Фоминой неделе, они мне кажутся совсем иначе, быть может оттого, что с Фомина понедельника уже началось для них потомство¹². <...>

П. С. САВЕЛЬЕВ

«НОВОСЕЛЬЕ». ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СПб. 1834, в типогр<афии> А. Плюшара, в 8, VIII — 575 стр.*

(Другая статья)

<Отрывки>

Эта вторая книга «Новоселья» нисколько не уступает первой — в этом все, которые ее прочтут, согласятся; по-моему, она даже превосходит первую своим внутренним достоинством.

А по какой причине нижеподписавшийся так думает, тому два сильные довода:

I. В прозе помещены пять больших повестей и ни одной мелкой статейки, какими обыкновенно жили прежде сего наши альманахи, и только один отрывок из романа, впрочем составляющий отдельно нечто целое¹.

II. Поэзия украшена новою поэмою А. С. Пушкина.

Скажем о том и другом отдельно, сколько позволяют пределы шести или восьми столбцов, уделяемых «Северною пчелою» современной библиографии. <...>

В поэзии первое место занимает «Анжело», небольшая поэма Пушкина, — стихотворение, каким уже давно не дарил он публику! Разговор между Анжело и Изабеллою, которая умоляет его простить обвиненного ее брата, исполнен высокой драмы и живо рисует характеры хитрого обольстителя и невинной, полной любви к брату сестры. Эта поэма стоит особого разбора. Вот прекрасный перевод из Шиллера и собственная баллада — Жуковского. В Верне, на берегу Женевского озера, под прекрасным небом Швейцарии, воскрес наш поэт!² Читатели помнят новые его стихотворения, помещенные в «Библиотеке для чтения»: в них виден прежний Жуковский!³ — Вот две баллады Козлова, полные чувством нежным и трогательным, не оставляющим никогда истинного поэта⁴. — Вот блестящие и остроумные стихи князя Вяземского; из них особенно хорош «Ответ»⁵. — Вот и Иван Андреевич Крылов с своею лекциею практической философии!⁶ <...>

ИЗ «МОЛВЫ»

«НОВОСЕЛЬЕ», ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1834. СПб. 575 <страниц>

<Отрывок>

<...> «Анжело», повесть в стихах Ал. Пушкина в трех частях. Пиеса сия заслуживает полное внимание критики, хотя едва ли воспользуется таким же от публики. Заметим предварительно, что эта горсть людей, у нас читающих, и, следовательно, читающих Пушкина, так еще малочисленна,

* Цена экземпляру на веленовой бумаге и с прекрасно нарисованным А. П. Сапожниковым и выгравированным г. Галактионовым вишьетом 12 рублей. Продастся у издателя, А. Ф. Смирдина, и во всех книжных лавках.

так маловнимательна к авторам, ею читаемым, что у ней не может образоваться различных мнений и, следовательно, суждений о писателе. Нет, она с плеча, одним махом, по двум, трем пиэсам составляет свое мнение об сочинителе; и после что хотите делайте, вы не собьете ее с этого понятия, или, что еще хуже, если будете усиливаться, сами проиграете непременно... Бесспорно, что несравненный, единственный современный талант Пушкина сделался известен у нас первыми произведениями его юности, хотя, быть может, и не всегда отчетистыми, но всегда горячими, пылкими, истинно поэтическими. Первое впечатление решило славу его, положило основной камень мнению публики о Пушкине. Каждый стих его, каждое слово ловили, записывали, выучивали и всюду думали видеть тень или блеск того же характера пылкой, стремительной юности, по произведениям которой составили о нем понятие. Но поэт как Пушкин не мог оставаться в зависимости даже и от общественного мнения: он шел своим путем, и чем сильнее, самобытнее, выше развивался талант его, тем далее последующие его произведения расходились с тем первым впечатлением, которое так шумно, так торжественно сделал он, еще незнаемый, из садов Лицея! Он был недоволен публикою, недоволен ее образом воззрения на себя, и негодование поэта изливалось не раз в стихах могущественных:

Так толковала чернь пустая,
Поэту славному внимая! —¹

Но публика стояла крепко на своем, и поэт, не внимая ей, идучи своим путем, более и более отделялся от ее участия. Вот, по нашему мнению, единственная разгадка, почему последние, лучшие поэмы его, как, н<a>-п<ример>, «Борис», были принимаемы с меньшим жаром и участием. Пушкин не внимал — и продолжал путь свой. Не место здесь пускаться в рассуждение, кто прав: публика ли с своим упрямством и желанием слышать от поэта тот же строй песней, которым он пробудил ее внимание, или непокорность поэта сему требованию. Ограничимся сознанием, что общее участие к произведениям Пушкина уже значительно изменилось, а вместе с тем и характер его сочинений. Это предварительное изложение, по нашему разумению, было необходимо для того, чтобы дать в настоящем случае верный отчет о повести его «Анджело» и показать, что мы, уважая поэта, изучали не только его произведения, но и ход его влияния на публику и ее к нему отношения. Дополним это замечанием, что есть еще люди, не зависимые от первых впечатлений, которые и теперь понимают и ценят Пушкина, — но много ли их? Обратимся к «Анджело». Бокачио, отец «Декамерона», был первым, начавшим писать в роде, к коему принадлежит «Анджело». Простой, самый естественный, бесстрастный, не размышляющий рассказ происшествий, как они были, есть отличительная черта сего рода произведений, являвшихся в свое время не случайно, не по прихоти литературной, а вследствие особых обстоятельств, развивавших в разные периоды времени различные роды стихотворений: сагу, романс, балладу и т. д. Возможно ли подобное воссоздание какого-либо рода стихотворений во всякое время по воле самого сильного дарования? Имеет ли право талант, не обращая внимания на современное, его окружающее, постоянно усиливаясь воскресить прошедшее, идти назад, не стремиться вперед? Может ли иметь успех по-

добное направление? Вправе ли писатель винить публику, если она не разделяет его стремления к минувшему, а в силу вечно неизменяемого влечения к будущему остается равнодушною, непризнательною к его тягостному борению с веком, усилию, часто обнаруживающему тем разительнее великость его дарования? Вот вопросы, которые в настоящее время было бы кстати предложить на разрешение и отвечать на которые мы не можем в статье библиографической, хотя в них-то существенно должна заключаться истинная оценка пиэсы Пушкина, полной искусства, доведенного до естественности, ума, скрытого в простоте разительной, и, сверх того, неотъемлемо отличающейся истинным признаком зрелости поэта — тем спокойствием, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей. Судить о стихосложении Пушкина было бы излишне; мы ограничиваемся, наведя читателей на мысль, стоящую, по мнению нашему, подробного исследования. <...>

ИЗ «МОЛВЫ»

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

<Отрывки>

М<илостивый> г<осударь>,

Объявив себя строгим поборником литературной правды, вы, конечно, не откажетесь выслушать и передать вашим читателям жалобу к вам на вас самих или, по крайней мере, на ваших сотрудников, за которых ответственность вполне лежит на вас, когда вы печатаете их мнения без всякого от лица вашего примечания.

<...> Вообще князь Вяземский до сих пор не был еще оценен у нас надлежащим образом. Его долговременное горячее подвижничество на поприще нашей словесности дает ему полное право на почетное место между нашими современными писателями и, кажется, заслуживает добросовестную снисходительность к недостаткам его поэтических произведений, состоящим в излишестве остроумия и не всегда удачной борьбе с языком, непокорным мере и рифме. В стихотворениях, помещенных им в нынешнем «Новоселье»¹, и эти недостатки весьма мало ощутительны, зато все они кипят мыслью, гостью так редко в нашей современной поэзии. <...>

Выпишу еще несколько стихов из «Тройки», о которой сказано у вас слишком легко, что она «Скачет быстро, живо и не опрокидывается в ухабы». Этого мало сказать, прочитав следующее:

Тройка мчится, тройка скачет...²

Воля ваша, а, по моему мнению, эта «Тройка» обгонит в поэтическом достоинстве все прежние, не говоря уже о знаменитой «Телеге жизни», у которой в печати высыпалось из одного колеса несколько спиц, замененных точками...³ Я бы желал, м<илостивый> г<осударь>, чтобы вы загладили несправедливость вашего рецензента, удосужившись разобрать вполне литературное достоинство князя Вяземского. В английских и французских жур-

налах помещаются беспрестанно литературные биографии знаменитых современных писателей, где оценивается их талант и определяется должное им место в литературе чрез совокупное рассмотрение всех их произведений. Такие биографии гораздо важнее и полезнее эфемерных рецензий! Я обращаюсь с сим желанием к вам, ибо от вас, повторяю, должно требовать подобного приложения философической критики к современной словесности...

Наконец, в-третьих, рецензент ваш в суждении об «Анджело» Пушкина, помещенном в сей части «Новоселья», оказал слишком явное пристрастие. Я совершенно согласен с ним в том, что говорит он вообще о ходе влияния Пушкина на публику, о постоянно усиливающемся разноречии его с нею и о значительном изменении общего участия к его произведениям. Но, признаюсь, вопреки ему, не нашел в «Анджело» ни «искусства, доведенного до естественности», ни «ума, скрытого в простоте разительной», тем более не заметил «истинного признака зрелости поэта — того спокойствия, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей». По моему искреннему убеждению, «Анджело» есть самое плохое произведение Пушкина; если б не было под ним его имени, я бы не поверил, чтоб это стихотворение принадлежало к последнему двадцатипятилетию нашей словесности, и счел бы его старинкою, вытасченную из отысканного вновь портфейля какого-нибудь из второстепенных образцовых писателей прошлого века. Так мало походит оно на пушкинское, даже самую версификацию, изобилующую до невероятности усеченными прилагательными и распространенными предлогами! Не угодно ли вам перечесть вновь следующие стихи:

Ты думаешь? так вот тебе предположенье:
Что если б отдали тебе на разрешение
Оставить брата влечь ко плахе на убой,
Иль искупить его, пожертвовав собой
И плоть предав греху? (с. 61)

или, пожалуй, хоть эти:

Средство есть одно к спасенью.
(Все это клонится к тому предположенью,
И только есть вопрос и больше ничего).
Положим: тот, кто б мог один спасти его
(Наперсник судии, иль сам по сану властный
Законы толковать, смягчить их смысл ужасный),
К тебе желаньем был преступным воспален
И требовал, чтоб ты казнь брата искупила
Своим падением: не то — решит закон! (с. 63)

или следующий афоризм:

Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы. (с. 52)

Спрашиваю, чем эти и многие подобные стихи лучше стихов не только Хераскова и Кострова, даже некоторых Сумарокова? Я уже не упоминаю о том, что в отношении к содержанию «Анджело» есть не что иное, как переделка Шекспировой «Measure for Measure» из прекрасной драмы в вялую, пустую сказку. Не думайте, чтобы я был предубежден против творца этой

переделки. Напротив, уверяю вас, что никто больше меня не чувствует живейшей признательности к Пушкину за неоцененные минуты, кои он доставлял мне своими первыми произведениями, благоухавшими свежей сладостью мощного, роскошного таланта. И потому, читая «Анджело», я повторял с чувством глубочайшей горести его же прекрасный стих, в то время глубоко запавший мне в душу: увы!

Таков ли был он расцветая?⁴

В полной надежде, что вы не откажетесь вверить крыльям вашей «Молвы» сию апелляцию «Молве» на «Молву», с отличным уважением, имею честь быть

ваш покорнейший слуга
Житель Сивцева Вражка.
Июня 12. 1834.

В. М. СТРОЕВ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

С.-Петербург. 1834. В т<ипографии> Гинце, в 8 д. л. XIII и 247 стр.

Это не новость, а второе издание «Повестей покойного Белкина» с прибавлением двух отрывков из исторического романа и «Пиковой дамы», которую мы недавно читали в одной из книжек «Библиотеки для чтения». И «Повести Белкина», и отрывки из романа (не помню, где-то напечатанные)*, и «Пиковая дама» знакомы, известны читателям, но все-таки о них поговорить следует: ведь они изданы А. С. Пушкиным.

Прежде всего о предисловии. С некоторого времени во Франции вошло в моду издавать сочинения *покойников*. Раскрываете собрание повестей — и вот перед вашими глазами длинное *от издателя*, в котором рассказано о жизни и трагической смерти настоящего (будто бы!) автора¹. Этим литературным *маневром* думают возбудить участие и внимание читателя, но едва ли достигают своей цели. Настоящий автор всегда почти бывает известен: французы такие болтуны! К чему же мистификация, тайна, предисловие?

А. С. Пушкин издал чужие повести, повести *покойного Белкина*. Был ли на свете Белкин, нет ли, нам все равно; а важны для нас его повести, к которым А. С. Пушкин руку приложил.

В «Повестях Белкина» было при первом издании пять повестей; теперь столько же. Первая повесть («Выстрел») слаба изобретением, характеров нет, ибо они не выдержаны; все, все рассказано, ничто не представлено в действии; одна часть повести (стр. 31–37)² совсем бесполезна, излишня и ровно ни к чему не ведет.

Вторая повесть («Метель») уж чересчур неправдоподобна. Прапорщик (кажется, прапорщик) подговаривает провинциялку бежать и обвенчаться.

* В «Северных цветах». Изд<атели>.

Она бежит из дома родителей в назначенный час, одна; между тем прапорщик сбивается с дороги и не попадает в церковь, где должен быть обряд венчания. Другой офицер едет мимо церкви; его останавливают, венчают; только по окончании обряда невеста узнает, что этот офицер не ее прапорщик, — и падает в обморок. В этой повести каждый шаг — неправдоподобие. Кто согласится жениться мимоездом, не зная на ком? Как невеста могла не разглядеть своего жениха под венцом? Как свидетели его не узнали? Как священник ошибся? Но таких «как» можно поставить тысячи при чтении «Метели».

Третья повесть («Гробовщик») — не повесть, а только анекдот, растянутый довольно длинно. Гробовщик, возвращаясь полупьяный с вечеринки, на которой посмеялись над его ремеслом, вздумал приглашать к себе в гости мертвецов, заснул и видел во сне, что все, похороненные в его гробах, пришли к нему на пирушку. Развязывать повесть пробуждением от сна героя — верное средство усыпить читателя. Сон — что это за завязка? Пробуждение — что это за развязка? Притом такого рода сны так часто встречались в повестях, что этот способ чрезвычайно как устарел.

Четвертая повесть («Станционный смотритель») удачно изобретена и живо рассказана. Она не растянута, как другие «Повести Белкина», хотя описание станции и смотрителей тоже (на стр. 93–97) очень незанимательно. Оно, может быть, понравилось бы в стихах, если б было *оперено летучей рифмой*, но в прозе оно вяло, невыразительно и — если говорить правду — скучно.

Пятая повесть («Барышня-крестьянка») так же мало правдоподобна, как и «Метель». Все действие основано на переодевании — старое средство французских комедий. Вероятно ли, чтобы молодой человек не узнал своей любовницы потому только, что она нарумянила щеки, насурмила брови, надела пукли?

Ни в одной из «Повестей Белкина» нет идеи. Читаешь — мило, гладко, плавно; прочтешь — все забыто, в памяти нет ничего, кроме приключений. «Повести Белкина» читаются легко, ибо они не заставляют думать. В них нельзя не заметить слова «я», которое повторяется беспрестанно, почти на каждой странице. Везде Белкин да Белкин, к чему это? Читатель хочет повестей, а не Белкина.

За повестями следуют два отрывка из исторического романа, которому еще не дано никакого имени. Отрывки очень хороши как отрывки, но они не стоят того, чтобы их печатать отдельно. Представляют ли они общий характер русского общества во времена Петра Великого? — Нет. Представляют ли они хоть какое-нибудь полное приключение? — Нет. К чему же их печатать отдельно?..

В заключение всего напечатана «Пиковая дама», точно в таком виде, в каком мы читали ее в «Библиотеке для чтения», без всяких поправок или перемен. Подробности сей повести превосходны: Герман замечателен по оригинальности характера; Лизавета Ивановна — живой портрет компаньонки наших старых знатных дам, рисованный с натуры мастером. Но в целом — важный недостаток, общий всем «Повестям Белкина», — недостаток

идеи. Впрочем, строгое суждение об этих повестях невозможно: они прикрыты эгидою имени Пушкина*.

Извещая о сочинении Пушкина, нельзя не сказать, где оно продается. Повести, изданные Пушкиным, продаются по 6 р<ублей> в книжной лавке Андрея Глазунова, под № 25. Иногородные должны адресовать требования на имя управляющего лавкою Лисенкова. Обглядывая обертку книжки, мы нашли объявление о новом историческом труде А. С. Пушкина. Он будет называться «Историю Пугачевского бунта», состоять из двух томов и продаваться у Лисенкова по 20 рублей за экземпляр. Не дорого!

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

С.-П<стер>бург, в тип<ографии> Гинце, 1834,
в 8, стр. XIII и 246.

Мы не думаем, чтобы тем нарушали права безыменности, если скажем, что «Повести», «изданные» Александром Сергеевичем Пушкиным, значит — «сочиненные» самим же их издателем. Хотя предисловие и приписывает их покойному Белкину, но сам автор, кажется, не совсем желает оставаться безыменным, когда на обороте обертки те же «Повести» поместил в числе творений певца «Кавказского пленника»¹. Так, это — второе издание известных «Повестей Белкина», сочиненных А. С. Пушкиным и читанных публикою в прошлом году с таким удовольствием. К ним присоединена еще «Пиковая дама», которою автор украсил наш журнал в начале года². Мнение наше об этом превосходном рассказе известно читателям «Б<иблиотеки> для ч<тения>»³.

А. А. КРАЕВСКИЙ

**ОБОЗРЕНИЕ РУССКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1834 ГОДА**

<Отрывки>

5. Изящная словесность

Отдел изящной словесности и в прошедшее полугодие по обыкновению занимал главное место в литературных газетах и журналах наших. Если припомним, что у нас всех литературных журналов только *четыре* («Сын отеч<ества>» и Сев<ерный> архив», «Библиотека для чтения», «Телескоп» и «Заволжский муравей»), а литературных газет только *три* («Сев<ерная> пчела», «Лит<ературные> листки» при «Одес<ском> вестнике» и

* И еще очаровательностью изложения. Мы не знаем в русской литературе повести, которая была бы написана так легко, приятно, правильно и отчетливо, как «Пиковая дама». Изд<атели> «С<еверной> пч<елы>».

«Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“»), то сумма замечательнейших пьес переводных и оригинальных должна быть утешительна. Мы видели несколько отличных стихотворений, каких давно уже не передавали нам наши периодические издания; и стихотворный отдел журналов, с некоторого времени казавшийся совсем опустелым, безмолвным, теперь снова ожил, снова огласился звучною песнью. Этим словесность обязана предприимчивому издателю «Библиотеки для чтения», который привлек в журнал свой не только лучших из пишущих ныне поэтов, но даже украсил его несколькими неизданными еще мелкими стихотворениями Державина («Оковы», «Синичка», «Незабудочка», т. I, кн. 1) и Батюшкова («Изречение Мельхиседека», т. II, кн. 1; «Из греческой антологии», т. II, кн. 2), которые, вероятно, нашли умилительный отзыв в сердце каждого русского. Имена Жуковского, Пушкина и Козлова, также давно не виданные в наших журналах, теперь явились в той же «Библиотеке»: Жуковский — все тот же, которого дар пленяет нас всегда новою прелестью, — напечатал в ней пять новых стихотворений, писанных в Верне, на берегу Женевского озера, во время путешествия его в 1832 и 1833 годах: «Норманский обычай» (т. I, кн. 1), «Старый рыцарь» (т. II, кн. 1), «Рыцарь Роллон» (т. II, кн. 2), «Суд в подземелье» (т. III, кн. 1), «Уллин и его дочь» (т. IV, кн. 1). Пушкин поместил также пять своих: «Гусар» (т. I, кн. 1), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (т. II, кн. 1), «Будрыс и его сыновья» (т. II, кн. 2), «Воевода» (там же) и «Красавица» (т. III, кн. 2). <...>

Отдел изящной прозы был еще обильнее. Множество повестей, рассказов и разных литературных отрывков являлись во всех семи периодических изданиях. Особенно замечательно большое число оригинальных русских стегей этого рода: их сцена — Россия, а действующие лица — русские, взятые с разных ступеней общественной лестницы и обрисованные довольно верно. Литераторы наши, кажется, убедились, что и у нас, в нашем обществе, есть жизнь, есть характеры, есть действия, есть особые отпечатки, бесчисленные оттенки; что дело истинно оригинального русского писателя — узнать, изучить эти особые черты, нам только одним принадлежащие, вбросить в них мысль поэтическую, облечь ее этими народными красками, уже от времени поблеклыми или и теперь еще свежеющими, укоренить и, так сказать, возрастить ее соками родной почвы, а не рабски следовать за какими-нибудь французскими авторами, не переделывать их — может быть, очень хороших для их читателей — повестей, переменяя только имена мест и лиц или, что еще хуже, смешивая колорит чужеземный с национальным. <...> В «Мореходе Никитине» («Библиотека для чтения», т. IV, кн. 1)¹ блестящая живопись, верно схваченные характеры, занимательность действия, русизм и множество оригинальных и острых мыслей. «Пиковая дама» («Библиотека для чтения», т. II, кн. 2), «Случай, который может повториться» («Телескопа» № 9, 10 и 11)² и «Несколько мгновений из жизни графа Т***» (там же, № 21)³ — повести в философическом роде. В «Пиковой даме» герой повести — создание истинно оригинальное, плод глубокой наблюдательности и познания сердца человеческого; он обставлен лицами, подсмотренными в самом обществе, как бы списанными с самой натуры мастерскою рукою художника; рассказ простой, отличающийся изящностию. <...>

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Элегия в прозе)

<Отрывки>

<I>

Я правду о тебе порасскажу такую,
 Что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую:
 Как этаких людей учтивее зовут?..

Грибоедов. «Горе от ума».

Есть ли у вас хорошие книги?

— Нет, но у нас есть великие писатели.

— Так, по крайней мере, у вас есть словесность?

— Напротив, у нас есть только книжная торговля
Барон Брамбеус.¹

Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы! где ты, о bon vieux temps*, где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как все переменялось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились ходульки наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольщались во время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ираами!² Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:

Не расцвел и отцвел
 В утре пасмурных дней!³

Да — прежде — и ныне, тогда — и теперь! Великий Боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовью, Пушкин — автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин — автор «Анджело» и других мертвых, безжизненных сказок!..⁴ Козлов — задумчивый певец страданий Чернеца, стоивших стольких слез прекрасным читательницам⁵, этот

* о доброе старое время (франц.). — Ред.

слепец, так гармонически передававший нам, бывало, свои роскошные видения, и Козлов — автор баллад и других стихотворений, длинных и коротких, напечатанных в «Библиотеке для чтения» и о коих только и можно сказать, что в них *все обстоит благополучно*, как уже было замечено в «Молве»!..⁶ какая разница!.. Много бы, очень много могли мы прибрать здесь таких печальных сравнений, таких горестных контрастов, но... Словом, как говорит Ламартин:

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides!*

Какие же новые боги заступали вакантные места старых? Увы, они сменили их, не заменив⁸! Прежде наши Аристархи⁹, заносившиеся юными надеждами, всех обольщавшими в то время, восклицали в чаду детского, простодушного упоения: *Пушкин — северный Байрон, представитель современного человечества!*¹⁰ Ныне, на наших литературных рынках, наши неутомимые герольды вопиют громко: *Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира! на колена перед Кукольником!*** Теперь *Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных* сменили гг. *Тимофеевы, Ершовы*; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. *Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы*, по пословице: на безлюдье и Фома дворянин. Первые или потчуют нас изредка старыми погудками на старый же лад, или хранят скромное молчание; последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний порок; по крайней мере, прежде причиною этого было невинное обольщение, происходившее из благородного источника — любви к родному; ныне же решительно все основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвастаться, ныне же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талант г-на Кукольника, мы все-таки, не запинаясь, можем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина,

Как до звезды небесной далеко!¹²

Да — Крылов и г. Зилов¹³, «Юрий Милославский» Загоскина и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний Новик» Лажечникова, и «Стрельцы» г-на Масальского, и «Мазепа» г-на Булгарина, повести Одоевского, Марлинского, Гоголя — и повести, с позволения сказать, г-на Брамбеуса!!!¹⁴ Что все это означает? Какие причины такой пустоты в нашей литературе? Или и в самом деле — *у нас нет литературы?*¹⁵

* Упали алтари, разрушились троны (пер. с франц. А. И. Полежаева)⁷. — Ред.

** «Библиотека для чтения» и «Инвалидные прибавления к литературе»¹¹.

<VIII>

Было время!..
Народная поговорка.

В прошедшей статье я обозрел *Карамзинский* период нашей словесности, период, продолжавшийся целую четверть столетия. Целый период словесности, целая четверть века ознаменованы влиянием одного таланта, одного человека, а ведь четверть века много, слишком много значит для такой литературы, которая не дожидаясь еще пяти лет до своего второго столетия!* И что же произвел великого и прочного этот период? Где теперь гении, которыми он, бывало, так красовался и величался? Изю всех них один только велик и бессмертен без всяких отношений, и этот один не заплатил дани Карамзину, который брал свою обычную дань даже и с таких людей, кои были выше его и по таланту и по образованию: говорю о Крылове. Повторяю: что сделано в этот период для бессмертия? Один познакомил нас несколько, и притом односторонним образом, с немецкою и английскою литературою, другой с французским театром, третий с французскою критикою XVII столетия¹⁸, четвертый... Но где же литература? Не ищите ее: напрасен будет ваш труд; пересаженные цветы недолговечны: это истина неоспоримая. Я сказал, что в начале этого периода впервые родилась у нас мысль о литературе: вследствие того появились у нас и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровождение времени, дело от безделья, а иногда и средство нажить денежку. Ни один из них не следил за ходом просвещения, ни один не передавал своим соотечественникам успехов человечества на поприще самосовершенствования. Помню, что в каком-то чувствительном журнале, кажется, в 1813 году было напечатано, что в Англии явился новый поэт, Бирон, который пишет в каком-то *романтическом роде* и особенно прославился своею поэмою «Шильд Гарольд»: вот вам и все тут¹⁹. Конечно, тогда не только в России, но отчасти и в Европе смотрели на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французского *классицизма*; но движение там уже было начато, и сами французы, умиротворенные Реставрацией, много поумнели против прежнего и даже совершенно переродились. Между тем наши литературные наблюдатели дремали и только тогда проснулись, когда неприятель ворвался в их дома и начал в них своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласом великим: караул, режуг, разбой, романтизм!..

За *Карамзинским* периодом нашей словесности последовал период *Пушкинский*, продолжавшийся почти ровно десять лет. Говорю *Пушкинский*, ибо

* Литература наша, без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда Ломоносов прислал из-за границы свою первую оду «На взятие Хотина». Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а тем более не с Симеона Полоцкого началась наша литература? Нужно ли доказывать, что «Слово о полку Игоревом», «Сказание о донском побоище», красноречивое «Послание Вассиана к Иоанну III»¹⁶ и другие исторические памятники, народные песни и схоластическое духовное красноречие имеют точно такое же отношение к нашей словесности, как и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, к санскритской, греческой или латинской литературе? Такие истины надобно доказывать только гг. Гречу и Плакшину¹⁷, с коими я не намерен вступать в ученые состязания.

кто не согласится, что Пушкин был главою этого десятилетия, что все тогда шло от него и к нему? Впрочем, я не то здесь думаю, чтобы Пушкин был для своего времени совершенно то же, что Карамзин для своего. Одно уж то, что его деятельность была бессознательною деятельностью художника, а не практической и преднамеренною деятельностью писателя, полагает большую разницу между им и Карамзиным. Пушкин владычествовал единственно силою своего таланта и тем, что он был сыном своего века; владычество же Карамзина в последнее время основывалось на слепом уважении к его авторитету. Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а наука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерило для первой и до некоторой степени показал *современное* значение другой. В то время, то есть в двадцатых годах (1817–1824), у нас глухо отдалось эхо умственного переворота, совершившегося в Европе; тогда, хотя еще робко и неопределенно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспир²⁰ неизмеримо выше накрахмаленного Расина, что Шлегель будто бы знает об искусстве побольше Лагарпа, что немецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Батте, Лагарп и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили в нем толку. Конечно, теперь в этом никто не сомневается, и доказывать подобные истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмеяние; но тогда, право, было не до смеху; ибо тогда даже и в Европе за подобные безбожные мысли угрожало инквизиторское *аутодафе*; на что же решались в России люди, которые дерзали утверждать, что Сумароков не поэт, что Херасков тяжеловат, и пр.? Из сего ясно, что чрезмерное влияние Пушкина происходило оттого, что, в отношении к России, он был сыном своего времени в полном смысле сего слова, что он шел наравне с своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни; след<овательно>, его владычество было законное. Карамзин, напротив, как мы видели выше, в девятнадцатом веке был сыном осьмнадцатого и даже, в некотором смысле, не вполне его выразил, ибо, по своим идеям, не возвысился даже и до него, след<овательно>, его влияние было законно только разве до появления Жуковского и Батюшкова, начиная с коих его могущественное влияние только задерживало успехи нашей словесности. Появление Пушкина было зрелищем умирительным; поэт-юноша, благословенный помазанным старцем Державиным, стоявшим на краю гроба и готовившимся склонить в него свою лавровенчанную главу; поэт-муж, подающий к нему руку чрез неизмеримую пропасть целого столетия, разделявшего, в нравственном смысле, два поколения; наконец, ставший подле него и вместе с ним образующий двойственное лучезарное созвездие на пустынном небосклоне нашей литературы!..²¹

Классицизм и романтизм — вот два слова, коими огласился *Пушкинский* период нашей словесности; вот два слова, на кои были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались насмерть, о коих спорили до слез и в классах и в гостиных, и на площадях и на улицах! Теперь эти два слова сделались как-то пошлыми и смешными; как-то странно и дико встретить их в печатной книге или услышать в разговоре. А давно ли кончилось это *тогда* и началось это *теперь*? Как же после сего не скажешь, что все летит вперед на

крыльях ветра? Только разве в каком-нибудь *Дагестане* можно еще с важностью рассуждать об этих почивших страдальцах — *классицизме* и *романтизме* — и выдавать нам за новость, что Расин немножко приторен, что *энциклопедисты* немножко ввали, что Шекспир, Гёте и Шиллер велики, а Шлегель говорил правду, и пр. И это нисколько не удивительно: ведь *Дагестан* в Азии!..²²

В Европе *классицизм* был литературным *католицизмом*. В *папы* оно было выбрано, без его ведома и согласия, покойник Аристотель, каким-то непризнанным *конклавом*; *инквизицией* этого *католицизма* была французская критика; великими *инквизиторами*: Буало, Батте и Лагарп с братиею; предметами обожания: Корнель, Расин, Вольтер и другие. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали в свой календарь и древних, а в числе их и вечного старца Гомера (вместе с Виргилием), Тасса, Ариоста, Мильтона, кои (за исключением, может быть, вставочного) не виноваты в *классицизме* ни душою ни телом, ибо были естественны в своих творениях. Так дела шли до XVIII столетия. Наконец, все перевернулось: белое стало черным, а черное белым. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый век испустил свое последнее дыхание, и с девятнадцатым столетием ум и вкус возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, в начале его возник сын судьбы, облеченный всею ее ужасающею мощию, или, лучше сказать, сама судьба явилась в образе Наполеона, того Наполеона, который сделался *властителем наших дум*²³, говоря о котором и самая посредственность возвышалась до поэзии. Век принял гигантские размеры и облекся в исполинское величие; Франция устыдилась самой себя и с ругательным смехом начала указывать пальцем на жалкие развалины минувшего времени, которые, как бы не замечая великих переворотов, совершавшихся перед их глазами, даже при роковом переходе через Березину, взмоштившись на сук дерева, окостенелою рукою завивали свои букли и посыпали их заветною пудрою, тогда как вокруг них бушевала зимняя вьюга мстительного севера, и люди падали тысячами, оцепененные страхом и холодом... Итак, французы, слишком пораженные этими великими событиями, сделались постепеннее и посolidнее, перестали прыгать на одной ножке; это было первым шагом к их обращению к истине. Потом они узнали, что у их соседей, у неповоротливых немцев, коих они всегда выставляли за образец эстетического безвкусыя, есть литература, литература, достойная глубокого и основательного изучения, и, вместе с тем, узнали, что их препрославленные поэты и философы совсем не поставили геркулесовских столбов²⁴ гению человеческого. Всем известно, как все это сделалось, и потому не хочу распространяться о том, что Шатобриан был крестным отцом, а г-жа Сталь повивальною бабкою юного романтизма во Франции. Скажу только, что этот *романтизм* был не иное что, как возвращение к естественности, а следовательно, самобытности и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над формою, и свержение чуждых и тесных форм древности, которые к произведениям новейшего искусства шли точно так же, как идет к напудренному парикю, шитому камзолу и выбритой бороде греческий хитон или римская тога. Отсюда следует, что этот так называемый *романтизм* был очень старая новость, а огнюдь не чадо XIX века; был, так сказать, *народностью* нового христианского мира Европы. Германия была искони веков романти-

ческого страну по преимуществу, как по феодальным формам своего правления, так и по идеальному направлению своей умственной деятельности. Реформация убила в ней католицизм, а вместе с ним и классицизм. Эта же самая Реформация, хотя несколько в другом виде, развязала руки и Англии: Шекспир был романтик. Очевидно, что романтизм был новостью только для одной Франции и еще для тех государств, где совсем не было литературы, то есть Швеции, Дании и т. п. И Франция бросилась на эту старую новинку со всею своею живостию и увлекла за собой безлитературные государства. Юная словесность²⁵ есть не иное что, как реакция старой; и как во Франции общественная жизнь и литература идут об руку, то и нимало не удивительно, что нынешняя их литература отличается излишеством: реакции никогда не бывают умеренны. Теперь во Франции из одной моды всякий хочет быть глубоким и энергическим подобно какому-нибудь Феррагусу²⁶, так, как прежде всякий из моды же хотел быть ветренным, беспечным, легковверным и ничтожным.

И однако ж, странное дело! никогда не проявлялось в Европе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя оковы *классицизма, схоластицизма, педантизма* или *глупицизма* (это все одно и то же). Байрон, другой *властитель наших дум*²⁷, и Вальтер Скотт раздавили своими творениями школу Попа и Блера и возвратили Англии романтизм. Во Франции явился Виктор Гюго с толпою других мощных талантов, в Польше Мицкевич, в Италии Манцони, в Дании Эленшлегер, в Швеции Тегнер. Неужели только России суждено было остаться без своего литературного Лютера?

В Европе *классицизм* был не что иное, как литературный *католицизм*: что же такое был в России? Не трудно отвечать на этот вопрос: в России *классицизм* был ни больше ни меньше как слабый отголосок европейского эха, для объяснения коего совсем не нужно ездить в Индию на пароходе «Джон Буль»²⁸. Пушкин не натягивался, был всегда истинен и искренен в своих чувствах, творил для своих идей свои формы: вот его романтизм. В этом отношении и Державин был почти такой же романтик, как и Пушкин; причина этому, повторяю, скрывается в его *невежестве*²⁹. Будь этот человек учен — и у нас было бы два Хераскова, коих было бы трудно отличить друг от друга.

Итак, третье десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке? Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднительное положение, взявшись судить о русской литературе; еще в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэтического таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих грешно говорить смиренною прозою!

Как медленно и нерешительно шел или, лучше сказать, хромал *Карамзинский* период, так быстро и скоро шел период *Пушкинский*. Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действие, действие есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть. У нас нападают иногда на полемику, в особенности *журнальную*. Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О! им никогда не по-

стичь, что за блаженство, что за сладострастие души сказать какому-нибудь гению в отставке без мундира³⁰, что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну журналисту обязан своею литературною значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу Бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку³¹, какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он наругался и над святостию истины, и над святостию знания, заклеить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготел..³² Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, в литературных сшибках иногда нарушаются законы приличия и общежительности; но умный и образованный читатель пропустит без внимания пошлые намеки о *желтяках*, об *утиных носах*, *семинаристах*, *гаре*, *полугаре*, *кутцах* и *аршинниках*³³; он всегда сумеет отличить истину от лжи, человека от слабости, талант от заблуждения; читатели же невежды не сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!..

Итак, период *Пушкинский* был ознаменован движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе, ничего не взрастивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна неимоверной быстроты наших успехов и причина их неимоверной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь с грустию видит, как имена, вместе с ним взошедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово... В самом деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гордились? Где эти имена, о коих бывало только и слышно? Почему они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне кажется, что тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова или Батюшкова был ниже таланта, например, г. Баратынского и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и А. Измайловы, В. Пушкин, явись эти люди вместе с Пушкиным во цвете юности, и они, право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, которыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.

Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою народностью, такою славой при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьми, которые сперва пресмыкались пред ним во прахе, а потом кричали: *chûte complete*³⁴! Людьми, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них³⁵. Но не о том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда³⁶, Державиным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова³⁷. Не было жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не пиитикам или сколько-нибудь знакомые с современною Европою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, державшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Лицей» (в переводе г. Мартынова — «Ликей») Лагарпа³⁸ и «Словарь древния и новыя поэзии» г. Остолопова³⁹ и, увидя, что новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий и что на греческом и латинском языке не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, конечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и романтизм вцепились друг другу в волосы⁴⁰. Но оставим их в покое и поговорим о Пушкине.

Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностью принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самую мудростию извлеченных из писаний великих гениев*⁴¹, и с удивлением узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы все знаем, ничему не учившись, все приобрели, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словом:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.⁴²

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду,

* полное падение! (франц.) — Ред.

Чтоб в просвещении стать с веком наравне,⁴³

от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания. Баловень природы, он, шая и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка⁴⁴, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму волн или журчанию ручья*...⁴⁵

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада⁴⁶. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей Шенье», его *могучая беседа* с морем, его *вещая дума* о Наполеоне — поэмы⁴⁷. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаём Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска⁴⁸, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полу-богатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос⁴⁹ и г. Остолопов!.. *Странная вещь, непонятная вещь!*⁵⁰ Неужели Пушкина, которого не могли убить ни иступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однако ж не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить нелегко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»⁵¹? Вы, верно, были

потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви чернокожей черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что *журчание* его *стихов* согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...

Вместе с Пушкиным появилось множество талантов, теперь большею частью забытых или готовящихся быть забытыми, но некогда имевших алтари и поклонников; теперь из них

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал! ⁵² <...>

<X>

Еще одно последнее сказанье,
И летопись окончена моя!
Пушкин. ⁵³

Тридцатый, *холерный* год⁵⁴ был для нашей литературы истинным *черным* годом, истинно роковою эпохою, с коей начался совершенно новый период ее существования, в самом начале своем резко отличившийся от предыдущего. Но не было никакого перехода между этими двумя периодами; вместо его был какой-то насильственный перерыв. Подобные протivoестественные скачки, по моему мнению, всего лучше доказывают, что у нас нет литературы, а следовательно, нет и истории литературы; ибо ни одно явление в ней не было следствием другого явления, ни одно событие не вытекало из другого события. История нашей словесности есть ни больше ни меньше как история неудачных попыток посредством слепого подражания иностранным литературам создать свою литературу; но литературу не создают; она создается так, как создаются, без воли и ведома народа, язык и обычаи. Итак, тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период *Пушкинский*, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с

его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности допевали свои старые песенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушал их. Старинка приелась и набила оскомину, а нового от них нечего было услышать, ибо они остались на той же самой черте, на которой стали при первом своем появлении, и не хотели сдвинуться с ней. <...>

Итак, настал новый период словесности. Кто же явился главою этого нового, этого *четвертого* периода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладел общественным вниманием и мнением, самодержавно правил последним, положил печать своего гения на произведение своего времени, сообщил ему жизнь и дал направление современному талантам? Кто, говорю я, явился солнцем этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многие претендовали на это высокое титло. Еще в первый раз литература явилась без верховной главы и из огромной монархии распалась на множество мелких, независимых одно от другого государств, завистливых и враждебных одно другому. Голов было много, но они так же скоро падали, как скоро и возвышались; словом, этот период есть период нашей литературной истории в темную годину междуцарствия и самозванцев.

Как противоположен был *Пушкинский* период *Карамзинскому*, так настоящий период противоположен *Пушкинскому*. Деятельность и жизнь кончились; громы оружия затихли, и утомленные бойцы вложили мечи в ножны на лаврах, каждый приписывая себе победу и ни один не выиграв ее в полном смысле сего слова. Правда, в начале, особенно первых двух лет, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончание старой: это была *тридцатилетняя война* после смерти Густава-Адольфа и погибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но без *Вестфальского мира*⁵⁵, без удовлетворительных результатов для литературы. Период *Пушкинский* отличался какою-то бешеною манией к стихотворству; период новый, еще в самом своем начале, оказал решительную склонность к прозе. Но, увы! это было не шаг вперед, не обновление, а оскудение, истощение творческой деятельности. В самом деле, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорят, будто в наше время самые превосходные стихи не могут иметь никакого успеха. Нелепое мнение! Очевидно, что оно, как и все, принадлежит не нам, а есть вольное подражание мнениям наших европейских соседей. У них часто повторяли, что в наш век эпопея не может существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что в наше время и драма кончилась. Подобные мнения весьма странны и неосновательны. Поэзия у всех народов и во все времена была одно и то же в своем существе: переменились только формы, соответственно с духом, направлением и успехом как всего человечества вообще, так и каждого народа в частности. Разделение поэзии на роды не есть произвольное: причина и необходимость одного скрывается в самой сущности искусства. Родов поэзии только три и больше быть не может. Всякое произведение, в каком бы то ни было роде, хорошо во все века и в каждую минуту, когда оно по своему духу и форме носит на себе печать своего времени и удовлетворяет все его требования. Где-то было сказано, что «Фауст» Гёте есть «Илиада» нашего времени: вот мнение, с которым нельзя не согласиться!⁵⁶ И в самом деле, разве Вальтер Скотт также не есть наш Гомер, в смысле *этика*, если не выразителя полного духа време-

ни! Так и у нас теперь: явись новый Пушкин, но не Пушкин 1835-го, а Пушкин 1829 года, и Россия снова начала бы твердить стихи; но кто, кроме несчастных читателей *ex officio**, даже подумает и взглянуть на изделия новых наших стиходеев: гг. Ершовых, Струговщиковых, Марковых, Снегиревых и пр.?..⁵⁷

Романтизм — вот первое слово, огласившее *Пушкинский* период; *народность* — вот альфа и омега нового периода. Как тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть *романтиком*, так теперь всякий литературный шут претендует на титул *народного* писателя. *Народность* — чудное словечко! Что перед ним ваш *романтизм*! В самом деле, это стремление к народности весьма замечательное явление. Не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений которого всегда был прикован к туманному Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в сталь, своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очарованные замки — и пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слышать и видом не видать, как не в ладу с русскими сказками греческий или немецкий гекзамер?⁵⁸ Но не будем слишком строги к этому заблуждению могущественного таланта, увлекшегося духом времени: Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг: мы больше не вправе ничего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин: странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным; теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности произошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель, опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом нимало не думал; он был народен, потому что не мог не быть народным: был народен бессознательно и едва ли знал цену этой народности, которую усвоил созданиям своим без всякого труда и усилия. По крайней мере, его современники мало умели ценить в нем это достоинство: они часто упрекали его за *низкую природу* и ставили на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несравненно ниже его⁵⁹. Следовательно, наши литераторы, с такою ревностью заботящиеся о народности, хлопочут попустому. И в самом деле, какое понятие имеют у нас вообще о *народности*? Все, решительно все смешивают ее с *простонародностью* и отчасти с тривиальностью. Но это заблуждение имеет свою причину, свое основание, и на него отнюдь не должно нападать с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литературе нельзя иначе понимать *народности*. Что такое народность в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою народную физиономию? Вот вопрос трудный для решения. Наша национальная физиономия всего больше

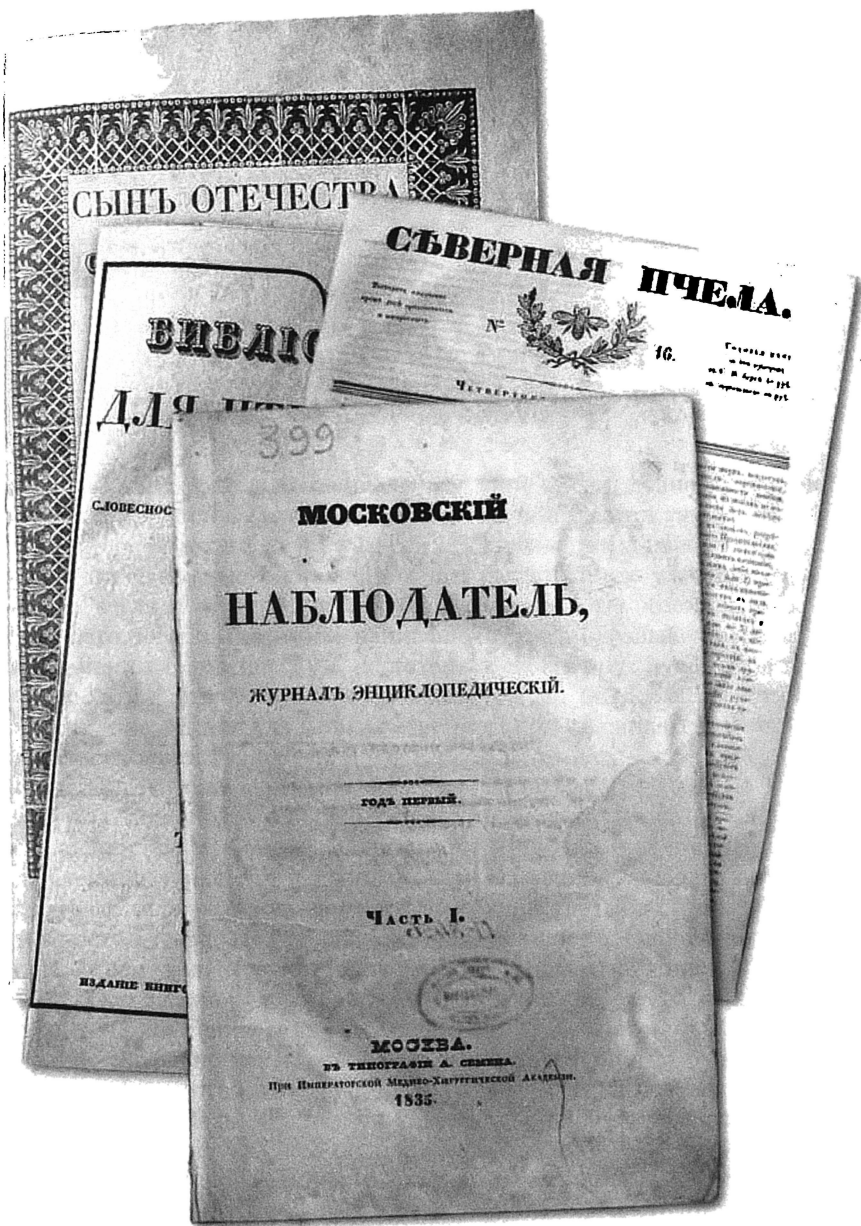
* по обязанности (*лат.*). — *Ред.*

сохранилась в низших слоях народа; посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обычаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во всяком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях или, вернее всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть оного, вы непременно упадете в односторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности и отмежевав для своей творческой деятельности нашу историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для поэзии. Не правда ли, что прекрасная повесть Безгласного «Княжна Мими»⁶⁰ немножко мелка и вяла? Помните ли вы ее эпитафию? — «*Краски мои бледны, сказал живописец; что ж делать? в нашем городе нет лучших!*» — Вот вам самое лучшее оправдание со стороны поэта и вместе самое лучшее доказательство, что в сей повести он народен в высочайшей степени. Так неужели наша народность в литературе есть мечта? Почти так, хотя и не совсем. Какой главный элемент наших произведений, отличающихся народностию? Очерки или древнерусской жизни (до Петра Великого), или простонародной жизни, и отсюда неизбежные подделки под тон летописей и народных песен или под лад языка наших простолюдинов. Но ведь в этих летописях, в этой жизни, давно прошедшей, веет дыхание общей человеческой жизни, являющейся под одной из тысячи ее форм; умеете же уловить его вашим умом и чувством и воспроизвести вашу фантазию в своем художественном создании. В этом вся сила и важность. Но вам надо быть гением, чтобы в ваших творениях трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкий. Мы так отделены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великого от быта наших праотцев, что вашему произведению непременно должно предшествовать глубокое изучение этого быта. Итак, соразмеряйте ваши силы с целию и не слишком самоуверенно пишите: русские в таком-то или в таком-то году⁶¹. Притом еще надо заметить и то, что *русская жизнь* до Петра Великого была слишком спокойна и односторонна или, лучше сказать, она проявлялась своим, оригинальным образом: вам легко будет оклеветать ее, придерживаясь Вальтера Скотта. Писатель, который на любви оснует план своего романа и целию усилий героя поставит руку и сердце верной красавицы, покажет явно, что он не понимает Руси. Я знаю, что наши бояре лазили через тыны к своим престелницам, но это было оскорбление и искажение величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявление оной; таких рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетью и колыями, а не разделялись с ними на благородном поединке; такие красавицы почитались беспутными бабами, а не жертвами страсти, достойными сострадания и участия. Наши деды занимались любовию с *законного дозволения* или мимоходом, из шалости, и не сердце клали к ногам своих очаровательниц, а показывали им заранее шелковую плетку и неуклонно следовали мудрому правилу: *люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу* или *бей ее*,

как шубу. Вообще сказать, мы еще и теперь любим не совсем по-рыцарски, а исклечения ничего не доказывают.

Что ж касается до живого и сходного с натурою изображения сцен простонародной жизни, то не слишком обольщайтесь ими. Мне очень нравится в «Рославлеве» сцена на постоялом дворе, но это потому, что в ней удачно обрисован характер одного из классов нашего народа, характер, проявляющийся в решительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ломаный язык сами по себе не имеют ничего занимательного. Из всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных. Всем известно, что французские классики *офранцузивали* в своих трагедиях греческих и римских героев: вот истинная народность, всегда верная самой себе и в искажении творчества! Она состоит в образе мыслей и чувствований, свойственных тому или другому народу. Я свято верю в генияльность Гёте, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним; но, признаюсь, плохо верю эллинизму его «Ифигении»⁶²: чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагают подделку более или менее неудачную. Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле? Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не установилось, еще не освободилось от европейской опеки; его физиономия еще не выяснилась и не выформировалась. «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган» мог написать всякий европейский поэт, но «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» мог написать только поэт русский. *Безотнотельная* народность доступна только для людей, свободных от чуждых иноземных влияний, и вот почему народен Державин. Итак, *наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни*. Посмотрим, как успели в этом поэты нового периода нашей словесности⁶³. <...>

— 1·8·3·5 —



В. Б. БРОНЕВСКИЙ

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

СПб. 1834, два тома в б<ольшую> 8*

С большим нетерпением ожидали мы этой книги, давно обещанной и долго не выходявшей в свет. Многие надеялись и были в том уверены, что знаменитый наш поэт нарисует нам сей кровавый эпизод царствования Екатерины Великой кистью Байрона, подарит нас картиною ужасною, от которой, как от взгляда пугачевского, не одна дама упадет в обморок. Нам казалось, что исторический отрывок, написанный слогом возвышенным, живым, пером пламенным, поэтическим, не потеряет своего внутреннего достоинства, ибо события, извлеченные из документов, не подлежащих сомнению, еще свежих и памятных для многих стариков, при их свидетельстве, не могли лишиться через это своей достоверности.

После долгого ожидания наконец получили мы две толстые книги, в мрачной, как тюремные стены, обертке, с торопливостью разрежали первую часть, с жадностью прочли ее. За один прием прочли и вторую; и, не утомленные чтением, но чем-то недовольные, мы снова и с большим вниманием принялись за первую часть, которой половина составляет неотъемлемую собственность автора. Но, к крайнему сожалению, убедились наконец, что автор на новом для него историческом поприще разрешился d'un enfant mort-pé**. Это мертворожденное дитя, при ближайшем его рассмотрении, не походит на знаменитого своего родителя. — В «Истории Пугачевского бунта» действительно все так холодно и сухо, что тщетно будут искать в нем труда знаменитого нашего поэта. К удивлению и, признаюсь, к сожалению нашему, мы не нашли в нем ни одного чувства, ни одной искры жизни. Пушкин как историк так мало походит на Пушкина поэта, что мы, удивляясь такому его самоотвержению, не хвалим его за насилие, самому себе сделанное, и досадуем, что ему вздумалось, исписав 168 страниц, ни одним

* Продается у А. В. Глазунова. Цена 20 р<ублей>.

** мертворожденным ребенком (*франц.*). — *Ред.*

словом, ни одним выражением не изменить своей пламенной природе, всегда сильно чувствующей и пишущей пером огненным.

Конечно, автор имел свои причины написать «Историю Пугачевского бунта» таким, а не иным слогом; на то была его воля, и он по праву, принадлежащему всякому гражданину литературной республики, написал ее так, как ему вздумалось или как случилось. Мы не осуждаем его за то, но по доброжелательству к нему, изъявив только наше личное о том сожаление, рассмотрим труд его в том виде, в каком он предлагает его публике.

Творение г. Пушкина заключает в себе все то, что было обнаружено правительством касательно Пугачева; он присоединил к этому несколько рукописей, преданий и свидетельства живых. Сии совокупленные вместе факты составляют драгоценный материал, и притом столь полезный, что будущему историку и без пособия не распечатанного еще дела о Пугачеве¹ нетрудно будет исправить некоторые поэтические вымыслы, незначачие недосмотры и дать сему мертвому материалу жизнь новую и блистательную. Если г. Пушкину не рассудилось осветить свои труды надлежащим светом, если ему не угодно было взглянуть на свое творение с надлежащей точки зрения и покрыть его колоритом пугачевщины и всех ужасов сего страшного периода времени, то по долгу беспристрастия мы похвалием его за первый дельный, полезный труд, в котором он сохранил все существенное, все то, что французы называют *la chose**. Добросовестно хваля трудолюбие его, мы с удовольствием прибавим, что в «Истории Пугачевского бунта» мы нашли весьма не много ошибок, которые по долгу критики замечаем не в суд и осуждение автору, а единственно для пользы наук, для его и общей пользы.

Стр. 2. На сей-то реке (Яике), говорит г. Пушкин, в XV столетии явились донские казаки.

Выписанное в подтверждение сего факта из «Истории уральских казаков» г. Лёвшина (см. приме<чание> 1, 3–8 стр.) должноствовало бы убедить автора, что донс<кие> казаки пришли на Яик в XVI, а не XV столетии, и именно около 1584 года².

Вся первая глава, служащая введением к «Истории П<угачевского> б<унта>», как краткая выписка из сочинения г. Лёвшина, не имела, как думаем, никакой нужды в огромном примечании к сей главе (26 стр<аниц> мелкой печати), которое составляет почти всю небольшую книжку г. Лёвшина. Книжка эта не есть древность или такая редкость, которой за деньги купить нельзя; посему почтенный автор мог — и должен был — ограничить себя одним указанием, откуда первая глава им заимствована.

Стр. 16. Известно, говорит автор, что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел увлечь за собою множество донских казаков в Турцию³.

Некрасовцы бежали с Дона на Кубань в царствование Петра Великого, во время Булавинского бунта в 1708 году. См. «Историю Д<онского> войска», «Историю Петра Великого» Берхмана и другие⁴.

Стр. 74. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Силин⁵. Послано повеление в Черкасск сжечь дом Пугачева... Государыня не согласилась по просьбе начальства перенести станицу на другое место, хотя

* существом дела (франц.). — Ред.

бы и *менее выгодное*; она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою⁶.

В 1772 году войсковой атаман Степан Ефремов за недоставление отчетов об израсходованных суммах был арестован и посажен в крепость; вместо его пожалован из старшин в наказные атаманы Алексей Иловайский. Силин не был донским войсковым атаманом. Из «Донской истории» не видно, чтобы правительство приказало сжечь дом Пугачева; а видно только, что, по прошению донского начальства, Зимовейская станица перенесена *на выгоднейшее место* и названа Потемкинскою. См. «Историю Д<онского> войска» стр. 88 и 124 части <II>⁷.

Стр. 76. Автор не сличил показания жены Пугачева с его собственным показанием; явно, что свидетельство жены не могло быть верно; она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же признание Пугачева, что он скрывался в Польше, должно предпочесть показанию станичного атамана Трофима Фомина, в котором сказано, что будто бы Пугачев, отлучаясь из дому в разное время, кормился *милостиною*!! и в 1771 был в Куме. — Но Пугачев в начале 1772 года явился на Яик с польским фальшивым паспортом, которого он на Куме достать не мог⁸.

На Дону по преданию известно, что Пугачев до семилетней войны промышлял по обычаю предков на Волге, на Куме и около Кизляра; после первой Турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словом, в мирное время иногда приходил в дом свой на короткое время; а постоянно занимался воровством и разбоем в окрестностях Донской земли, около Данкова, Таганрога и Острожска.

Стр. 92. Шигаев, думая заслужить себе прощение, задержал Пугачева и Хлопушу и послал к Оренбургскому губернатору сотника Логинова с предложением о выдаче самозванца. Но в поставленном тут же под № 12 примечании автор говорит, что сие показание Рычкова невероятно, ибо Пугачев и Шигаев, после бегства их из-под Оренбурга, продолжали действовать заодно⁹.

Если показание Рычкова невероятно, то в текст и не должно было его ставить; если же Шигаев, только в крайнем случае, в самом деле думал предать Пугачева, то это обстоятельство не мешало продолжать действовать заодно с Пугачевым, ибо беда еще не наступила. Историк, конечно, показалось трудным сличать противоречащие показания и выводить из них следствия; но это его обязанность, а не читателей.

Стр. 97. «Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Тибинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены *казаками* и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу». В примечании же 16-м (стр. 51) принадлежащем к сей V главе, сказано совсем другое, именно: «По своем разбитии, Чика с Ульяновым остановились ночевать на Богоявленском медноплавильном заводе. Прикащик угостил их и, напоив до пьяна, ночью связал и представил в *Тобольск*. Михельсон подарил 500 рублей прикащиковой жене, подавшей совет напоить беглецов».

Место действия находилось в окрестностях Уфы, а посему прикащик не имел нужды отсылать преступников в Тобольск, находящийся от Уфы в 1145 верстах¹⁰.

Стр. 100. «Солдатам начали выдавать в сутки только по четыре фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной».

Солдат получает в сутки два фунта муки или по три фунта печеного хлеба. По означенной выше мере выйдет, что солдаты во время осады получали двойную порцию или что весь гарнизон состоял из 20 только человек. Тут что-нибудь да не так¹¹.

В примечании 18, стр. 52, сказано, что оборона Яицкой крепости составлена по статье, напечатанной в «Отечественных записках», и по журналу коменданта полковника Симонова¹². Как автор принял уже за правило помещать вполне все акты, из которых он что-либо заимствовал, то журнал Симонова, нигде до сего не напечатанный, заслуживал быть помещенным в примечаниях также вполне, как Рычкова об осаде Оренбурга и архимандрита Платона о сожжении Казани¹³.

Стр. 129. «Михельсон, оставя Пугачева вправо, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в *пятнадцати* верстах от нее. — Ночью отряд его тронулся с места. Поутру, в *сорока пяти* верстах от Казани, услышал пушечную пальбу...» Маленький недосмотр!¹⁴

Стр. 155 и 156. Пугачев отдыхал сутки в Сарепте, оттуда пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25-го августа, на рассвете, он настигнул Пугачева в *ста пяти* верстах от Царицына. Здесь Пугачев, разбитый в последний раз, бежал и в *семидесяти* верстах от места сражения переплыл Волгу *выше* Черноярска.

Из сего описания видно, что Пугачев переплыл Волгу в 175 верстах ниже Царицына; а как между сим городом и Черноярсом считается только 155 верст, то из сего выходит, что он переправился чрез Волгу *ниже* Чернояра в 20 верстах. — По другим известиям, Пугачеву нанесен последний удар под самым Царицыным, откуда он бежал по дороге к Чернояру, и в сорока верстах от Царицына переправился через Волгу, то есть верстах в десяти ниже Сарепты¹⁵.

К VI главе 6-го примечания недостает. См. 123 и 55 стр.

На карте не означено многих мест и даже городов и крепостей. Это чрезвычайно затрудняет читателя.

Сии немногие недостатки нимало не уменьшают внутреннего достоинства книги, и если бы нашлось и еще несколько ошибок, книга по содержанию своему всегда останется достойною внимания публики. В недавнем еще времени сочинители жаловались на равнодушие читателей, читатели с большею справедливостью могли жаловаться на равнодушие писателей. Одни романы, повести и сказки еще в прошедшем годе занимали всех и каждого. — С удовольствием можно теперь заметить, что в течение последних трех месяцев истекшего года вышло несколько исторических сочинений и ни одного почти романа, кроме деятельного производства фабрики Орлова и комп<ании>¹⁶. «Сказания Курбского», «История донская», «История армянская», «История ойротов», «Известия о волжских калмыках», «Записки о походе 1813 года», «История Пугачевского бунта», «Картина последней с Персиею войны»¹⁷ и пр. пр. Заменят ли сии важные сочинения убыль в романах и будут ли они, вообще говоря, с такою же благосклонностию приняты публикою — покажет время. Приятное всегда предпочиталось полезному. Желательно, чтобы почтенные писатели нашли столь же трудолюбивых последователей; желательно, чтобы они нашли достаточное число таких читателей, которые иногда и полезное предпочитают приятному.

Н. В. ГОГОЛЬ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. — Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резко, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвеивается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набег; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с казаком¹ — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведение его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходило повсюду*.

* Под именем Пушкина рассеивалось множество самых чуждых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. — Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Таким образом начали наконец Пушкину приписывать «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобные².

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа³. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но смотрит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означать весь предмет. Его эпитет так отчетлив и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящегося из-за облак вершиною и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом, — его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были. Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий, но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков. Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частью был бесцветен; разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа читателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ними и деньги; или быть верну одной истине, быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвести всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля,

сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и не смотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выправок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ⁴. — Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочтенью необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта; нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина⁵. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — по крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разнообразен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко-ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастро-

вая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут всё: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объёмлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывающих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так яркие, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но увы! это неотразимая истина: что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечсть по пальцам всех своих истинных ценителей.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

Санкт-Петербург, печатано в типографии Х. Гинце. 1834. XIII.

217 <страниц>. (8)

Всему свой черед, все подчинено неизменным законам. За роскошною весною следует жаркое лето, а за ним унылая осень, а за сею холодная зима. Законы физические параллельны с законами нравственными; юность человека есть прекрасная, роскошная весна, время деятельности и кипения сил; она бывает однажды в жизни и более не возвращается. Эпоха юности человека есть роман, за коим начинается уже история: эта история всегда бывает скучна и уныла. То же самое представляется и в деятельности художника: сколько огня, сколько чувства в его произведениях! Последующие бывают изящнее и выше, но зато и спокойнее; это спокойствие называется зрелостию, возмужалостию таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта постепенная возвышенность гения необходимо сопряжена с постепенным охлаждением чувства. Найдите создание чудовищнее «Разбойников» и вместе с тем найдите создание пламеннее этого первого произведения Шиллера. Воля ваша, а весна самое лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и обильна, если она озарена последними прощальными лучами великолепного солнца; но что, когда она бесплодна, грязна и туманна? А ведь

это так часто случается! Вот передо мною лежат «Повести», изданные Пушкиным: неужели Пушкиным же и написанные? Пушкиным, творцом «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Цыган», «Полтавы», «Онегина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (*conter*); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет, — после них можно задать лихую высылку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши — этот юноша обратил бы на себя внимание *нашей* публики; но как произведение Пушкина... осень, осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словом,

...прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый вздор!¹

Странное дело — очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана, — и вы будете в полном удовольствии; но загляните на заглавие — и ваше живое удовольствие превратится в горькое неудовольствие. Будь поставлено на заглавии этой книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не гений ли? Но *Пушкин* — воля ваша, грустно и подумать!

Эти повести уже не новость. В них нового: препрославленная «Пиковая дама», по мнению «Библиотеки для чтения» (в которой она была помещена) превосходящая все создания чудного Гофманова гения², и два отрывка из исторического романа: «Ассамблея при Петре Великом» и «Обед у русского боярина». Не помню, что касается до первого, а последний был напечатан давно в «Северных цветах»³. Эти отрывки, особенно последний, отличаются художественною занимательностию и возбуждают живейшее желание прочесть весь роман. Если этот роман написан и будет издан вполне, то русскую публику можно будет поздравить с приобретением. Из повестей собственно только первая, «Выстрел», достойна имени Пушкина.

Е. Ф. РОЗЕН

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА», СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

2 тома. СПб., 1834, в тип<ографии> III Отделения Собственной
его императорского величества канцелярии,
в 8 д. л., в 1-й ч. 168 и 115 стр., во 2-й 336 стр.
со снимками и портретом

Не только всеобщая, но и каждая частная история должна стремиться к прагматизму, т. е. поставить свой предмет в *человеческое* к нам отношение, чтобы иметь полезное на нас влияние. Но читатель спокоен; историческое же лицо, совершая свои деяния, было обуреваемо страстями. Между сими двумя расположениями духа есть весьма великое пространство, через кото-

рое не достигает участие, ибо читатель не понимает героя. Каким же образом их сблизить? Самым легким способом было бы — *воспламенить* читателя; но это дело ораторства и поэзии. История, ведаясь с существенною правдою, относится к нашему *уму* и через него действует на сердце: следственно, поступает совершенно противоположным порядком; она этим же путем и достигает прагматической цели. История распоряжается своим матерьялом и устраивает его таким образом, чтоб он не имел ни малейшей надобности в украшениях поэтических и риторических. Сама не философствуя, она в своей великой экономии открывает нам философские взгляды на нравственный порядок мира; она знакомит нас психологически с своими героями, прежде нежели началась бурная игра их страстей, и тогда читатель в спокойном расположении духа симпатически поймет движения человеческой природы в неукротимых действиях исторического лица и, применяя к себе самому обстоятельства, доводящие равное ему существо до страшных ему преступлений, содрогнется насительным ужасом. — Если римский гладиатор, с малолетства назначаемый резаться насмерть с товарищем своего несчастья для одной *потехи* народа, если мужественный Спартак за такое уничтожение человечества жесточайшим образом мстит гордому Риму, то не нужно рыться в его душе, чтобы дознаться побудительной причины его действий: дело само собою привлекает живейшее участие к ожесточенному гладиатору, сверх того умершему истинным героем!¹ Но если гражданин, живущий под защитою закона, производит такой же бунт и с большою лютостию терзает свое невинное отечество, словом — если является такое чудовище, каков был Пугачев, то каким образом историк может поставить сей предмет в симпатическое к нам отношение? Мы всегда будем глядеть на Пугачева как на непостижимое, не нашего рода существо, чей душевный организм устроен иначе, чья дьявольская воля управляется законами ада; не понимая его, мы и сочувствовать ему никогда не можем. Сие, бесспорно, правда, если нам выведут Пугачева уже бунтовщика и душегубца; но если бы мы могли вникнуть глубже в жизнь сего самозванца, дойти до верховья сей великой кровавой реки, также имевшей исток чистый — младенчество невинное; если бы мы, наконец, могли видеть зачатие его порочных мыслей и тайные пружины, способствующие к развитию его душевного разврата, — то и история Пугачева, не хуже истории всякого другого злодея, была бы великим нравственным уроком для всего человечества! Грозная тень Пугачева еще скитается в мраке государственной тайны: нераспечатанное о нем дело, вероятно, содержит в себе много любопытных и пояснительных подробностей, не потерянных для потомства. Но сие обстоятельство крайне затрудняет нынешнюю историю Пугачевского бунта, так что она не может быть прагматическою. А. С. Пушкин с благородным чистосердечием, в несомненный вред своему труду во мнении многих, к сожалению, *многих*, первый упомянул о сем нераспечатанном деле² и вместе с тем предупредил важный вопрос читателя: *кто* же управлял бунтом, если Пугачев был не что иное, как чучело?³ При таких стесненных обстоятельствах, при такой неясности предмета, при чрезвычайной строгости к себе самому, в историческом отношении автор исполнил все, чего только можно было ожидать от его первоклассного дарования: он нам представил полное изображение сего плачевного эпизода царствования счастливого и великого. Мудрая экономия и изящное устройство материала; точное, истинно художественное разделение света и тени и, наконец, неподражаемая сжатость слога, где не найдете даже ни одного лишнего эпитета, — все это служит отрадным доказа-

тельством великого дарования исторического. Как странно притязания тех, кто ожидал от Пушкина истории, написанной пером *пламенным, кистью Байрона!*!! Что наш великий поэт сумел быть *не поэтом* в истории — именно *это* вменяется ему в лучшую похвалу и доказывает, как хорошо он знает непреложные границы каждого изящного искусства. Он не убоился неодобрения многих, чтобы только угодить строгим ценителям его труда. Что ему до тех, кто в «Истории Пугачевского бунта» не находит ни одного чувства, ни одной искры жизни! и думает, что автору неудобно было осветить свой труд надлежащим светом и покрыть колоритом пугачевщины, etc.⁴ В опровержение сего мнения выпишем одну страницу для тех, кто еще не читал этой книги, как и для тех, кто, торопливо читая, не понимал.

Автор, сказав, что Пугачев не был самовластен, что яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли самозванцем, часто действовали без его ведома, а иногда вопреки его воле, продолжает (стр. 46): «Пугачев скучал их опекою. „Улица моя тесна!“ — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они (яицкие казаки) не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных. Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, против его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удушили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. „Он пошел, — отвечали ему, — к своей матушке, вниз по Яику“. Пугачев молча махнул рукою. Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе послал он в Озерную приказ похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою любовницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненные, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались в том же положении». — Потрудитесь вникнуть хоть в эту *одну* страницу, и вы увидите, сколько в ней чувства, сколько электрических искр жизни, какие положения и картины трогательные и поразительные! Жалоба Пугачева; прощение Кармицкого под виселицей; его смерть; ответ казаков; покорность Пугачева своему страшному Промыслу; его склонение на просьбу Харловой о погребении повешенных; и, наконец, смерть Харловой, это сползение, эти объятия умирающих — и *это* ли не колорит пугачевщины? Какая полнота, какое богатство слога при такой простоте и сжатости! Вот как надобно писать историю! Всякая строка — огненная черта, из которой воображение читателя себе рисует великие картины. Из *одной* этой страницы можно было бы, не прибавляя ничего существенного, написать трагедию в пяти действиях.

Позволяем себе два замечания на «Историю Пугачевского бунта». — Доколе дело об этом самозванце не будет распечатано, мы не можем верить, чтоб Пугачев был только слепым орудием яицких казаков. Жалоба Пугачева: «Улица моя тесна!» и слова его на площади Яицкого городка ничего не доказывают. Пойманный, он хотел свалить вину на других, а бунтовщики молчали, отчасти из привязанности к своему атаману, отчасти и потому, что действительно чувствовали себя виновными во многом⁵. Человек с таким сильным духом не мог быть в зависимости от многих, и если бы кто управ-

лял Пугачевым и его бунтом, то никоим образом не мог бы укрыться от гласности в подобном деле.

Нам кажется, автор довел историческую строгость до излишества: большую часть примечаний он мог бы поместить в тексте, и книга этим выиграла бы, без сомнения. Сия излишняя строгость, самый выбор предмета, неполного своею неясностью, заставляет догадываться, что Пушкин до приступа к *труднейшему* предмету историческому⁶ хотел предварительно испытать свои силы на предмете *трудном* — и с этой точки зрения излишняя в сей книге строгость есть драгоценный залог его успехов на поприще истории.

ИЗ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

Соч<инение> А. С. Пушкина, в 2-х томах, 1835 года. Цена 20 руб., за пересылку 2 руб.

Знаменитый поэт не уронил себя в новом произведении. Первый шаг его на историческом поприще есть блистательный подвиг, который еще более упрочит прежнюю славу. Пугачевский бунт, событие важное, но у нас не обстоятельно известное, — описан А. С. Пушкиным увлекательно и верно. Автор не жалел трудов и стараний при отыскивании материалов; употребил свою обычную силу слова в изложении происшествий. Историки найдут в предлагаемом сочинении обильные и драгоценные материалы, а литераторы и любители изящного — сильную, верную, отчетливую, яркими красками написанную картину достопамятной, хотя и несчастной години новейшей отечественной истории. Автор над описанием Пугачевского бунта испытывал свои силы, готовясь по исторической части к труду важному, многолетнему¹.

Продается в книжной лавке Андрея Глазунова, под № 25-м; жителей других городов покорнейше просят относиться на имя управляющего лавкою Ивана Тимофеевича Лисенкова.

ИЗ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

«ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ» АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С.-П<етер>бург, в тип<ографии> Военной, 1835, в 8, стр. 232.

«СОЧИНЕНИЯ» КАРАМЗИНА. ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

С.-П<етер>бург, в тип<ографии> Смирдина, 1834–1835, в 12.
Девять томов, стр. 261–178–193–205–252–249–294–231–281.

Мы уже имели удовольствие известить наших читателей, что эти два издания приготавливаются нашим неутомимым А. Ф. Смирдиным¹; теперь можем еще прибавить, что они прекрасны.

Четвертое издание сочинений Карамзина свидетельствует, что вкус публики не перестает отдавать должной дани удивления классическому писателю нашей словесности. И они всегда будут составлять основание приятного чтения.

Изданию «Поэм и повестей» А. С. Пушкина мы предсказываем большой успех. Оно отличается особенною изящностью и весьма умеренною ценою. Творения знаменитого нашего поэта, до сих пор рассеянные по брошюрам, были нестерпимо дороги для собирателей. Теперь они представляются в целом и доступны всякому². В этой первой части заключаются — «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бакчисарайский фонтан».

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

Санкт-Петербург, 1835. Две части

Несправедливо было бы требовать от сочинителя, живущего так близко к эпохе описываемого происшествия, выполнения всех условий, которых требует история: чтобы обнять взором все пространство значительного события, необходимо стать от него в известной отдаленности; перспектива так же нужна историку, как и живописцу. На близком расстоянии собираются только подробности, которые со временем могут служить превосходными материалами для истории. С этой точки зрения должно смотреть на «Историю Пугачевского бунта», изданную А. С. Пушкиным. Автор не имел даже доступа к подлинному делу о Пугачеве, которое, как он говорит в предисловии, хранится запечатанное в Санкт-Петербургском Государственном архиве, и он предоставляет исправить и пополнить свой труд будущему историку, более его счастливому в этом отношении¹. Но нельзя не воздать ему полной похвалы и не быть благодарным за совестливое и тщательно изготовленное сообщение тех бумаг и сведений, которые находились в его руках и для собрания которых предпринимал он изыскания на месте самого происшествия, долго покрытого молчанием и наконец сделавшегося темным, почти неизвестным нынешнему поколению. Эти бумаги, принимая в расчет разницу в плотности печати разных частей книги, занимают почти семь осмьюх всего сочинения; к ним приложена в начале историческая статья, в которой автор изобразил их содержание ясно, живо и с возможной краткостью, и она составляет последнюю одну осмьюх целого. Сочинитель, конечно, и сам не удивится тому, что мы его «Историю» называем только историческою статьею: по своему объему, который занимает сто шестьдесят восемь страниц крупной печати, она равняется пяти листам «Библиотеки для чтения»; многие из статей этого журнала были обширнее. С другой стороны, и самое событие — бунт обольщенной и пьяной черни в отдаленной провинции, продолжавшийся несколько месяцев, не имевший никакого влияния на общую судьбу государства, ни в чем не изменивший хода ни внешней, ни внутренней политики, — не может быть предметом настоящей истории и, в крайнем случае, составляет только ее печальную страницу, которой, по несчастью, мы не вправе вырвать, но которую властны переки-

нуть при чтении, не расторгнув тем связи повествования о целой эпохе, не расстроив в мысли ряда блестящих и утешительных событий, образующих истинную, прагматическую историю того времени². Как бы то ни было, название, которое мы придаем этому творению, несколько не уменьшает ни его внутреннего достоинства, ни цены услуги, оказанной его автором. В сочинениях, которые, по свойству их предмета и обстоятельств писателя, не окончательны и не могут требовать для себя монументального титла «Истории», которые не связывают своего содержания с массою происшествий целого периода, с их обширною и сложною винословностью³, с современным состоянием образованности, нравов и умов, — в таких сочинениях любопытность и новость рассказываемых подробностей, верное и откровенное их изложение и цель его, благонамеренная и выполненная со тщанием, вообще сосредоточивают в себе все достоинства книги и одни обеспечивают ей почетное место в народной литературе. И в этом отношении первый исторический опыт знаменитого нашего поэта вполне удовлетворяет условиям особенного рода творения, вышедшего из-под его пера, потому что невозможно было ни предпринять труда с похвальнойшим намерением, ни совокупить большего числа любопытных фактов и анекдотов на полуторе сотне страниц, ни дать им точнейшей и вместе занимательной формы.

Автор превосходно объясняет одну из важнейших сторон события в историческом отношении, именно, что Пугачев был только — орудие мятежной партии «несогласных», то есть казаков, которые не хотели подчиниться преобразованиям, вводимым в устроенье их войска.

«Пугачев не был самовластен, — говорит автор «Истории». — Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома. Они оказывали ему на ружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. „Улица моя тесна“, — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных. Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. „Он пошел, — отвечали ему, — к своей матушке вниз по Яику“. Пугачев молча махнул рукой. Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненные, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении.

В числе главных мятежников отличался Зарубин (он же и Чика), с самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первый по самозванце. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышевым, Шигаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачева в руки правосудия; но, приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточенных бунтовщиков и соединил судьбу свою с судьбою самозванца. Разбойник Хлопуша из-под кнута, клейменный рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза. Вот какие люди колебали государством!»⁴

Когда Пугачев был схвачен своими сообщниками и выдан генерал-поручику Маврину, он с первого слова признался ему во всем. Маврин приказал привести прежних его товарищей, содержавшихся в оковах, и самозванец громко стал их уличать, говоря: «Вы погубили меня: вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного Великого Государя; я долго отрицался, а когда и согласился, то все, что ни делал, было с вашей воли и согласия; вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле». Бунтовщики не отвечали ни слова⁵.

Пугачев, однако ж, был не без твердости в воле, не без дарований. Изыскания автора бросают большой свет на личный характер и природные способности этого разбойника. Но мы упомянули о Харловой: история этой несчастной женщины ужасна и без всяких украшений вымысла составляет полный роман.

«Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижне-Озерную. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому комендантом Нижне-Озерной, майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в крепость Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. „Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют“. — „Старый ты человек! — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?“ — Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленно-

го от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но ящички казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдалцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. На другой день Пугачев выступил и пошел на крепость Татищеву.

В этой крепости⁶ начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Билова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачев показался там на высотах, ее окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон не слушаться бояр и сдать добровольно. Им отвечали выстрелами. Они отступили. Бесплезная пальба продолжалась с полудня до вечера; в то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись, подожженные осаждающими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Биллов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Биллову отсекали голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распорядившему казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее семилетнего ее брата⁷.

Дикий друг несчастной жертвы не слишком был постоянен в любви: привязанность его к Харловой не помешала ему, посреди луж крови, разбавенной опасностей войны, предаться влечению новой, и еще нежнейшей, страсти.

«Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку, Устинью Кузнецову, и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: „Помилуй, государь, дочь наша не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня еще здравствует?“ Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штатс-дам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтоб на ектении поминали после государя Петра Феодоровича супругу его, государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от Синода. Отказ их огорчил Пугачева; но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на Яицкую крепость»⁸.

Мы видели, из прежде приведенной выписки, плачевную кончину Харловой. Свадьба Пугачева, которого первая жена была еще в живых и находилась тогда в Казани, едва не стоила нашей словесности преждевременной потери одного из превосходнейших ее украшений. Самозванец желал отпраздновать свое супружеское счастье присутствием к осажденной его толпа-

ми Яицкой крепости, в которой мужественно защищался полковник Симонов.

«Его прибытие оживило деятельность мятежников. Двадцатого января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареею, устроенною при *Старице* (прежнем русле Яика). Мятежники, под дымом и пылью, с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал; но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился девять часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и его храброго сподвижника, капитана Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов!»⁹

Состояние осажденного Оренбурга, после непрерывных неудач с мятежниками, было таково, что угроза свирепого казака равнялась величайшей опасности. Там давно уже боролись с голодом и унынием духа.

«Рейнсдорп требовал съестных припасов от Декалонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска и не получал об нем никакого известия, будучи отрезан отсюда, кроме Сибири и киргиз-кайсацких степей. Для поимки языка высылал он иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха. Вздумал он, по совету Тимашева, расставить капканы около вала и, как волков, ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военной хитростию, хотя им было не до смеха; а Падуров, в одном из своих писем, язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу...

Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался, и то самым тайным образом, за двадцать пять рублей (серебром). По предложению Рычкова, академика, находившегося в то время в Оренбурге, стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа...»¹⁰

Страх бедного губернатора, которому в продолжение шестимесячной осады мятежниками ничто не удавалось, был так велик, что, когда Голицын разбил самозванца у Татищевой, когда избавитель уже почти стоял у стен Оренбурга и бунтовщики сами прислали к Рейнсдорпу с предложением выдать ему Пугачева, тот не хотел еще верить своему счастью, опасаясь какой-нибудь хитрости, и отверг их желание. Эта нерешимость продлила бедствия России еще несколькими месяцами.

Между тем отец юного поэта претерпевал в Яицкой крепости, вместе с своим начальником и своими подчиненными, неслыханные страдания. Картина бедствий гарнизона и его освобождения составляет одну из лучших страниц истории этих смятений.

«Девятого марта, на рассвете, двести пятьдесят рядовых вышли из крепости; целью вылазки было уничтожение новой батареи, сильно беспокоившей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но были встречены сильным огнем. Они смешались. Мятежники хватали их в тесных проходах между завалами и избами, которые хотели они зажечь; кололи раненых и падающих и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убито их было до тридцати человек, ранено до осьмидесяти. Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько изб. Показание трех захваченных бунтовщиков увеличило уныние осажденных: они объявили о подкопах, веденных под крепость, и о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду производить новые работы; около его дома беспрестанно пробовали землю буравами; стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкою работою, почти не спали; ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье; другой позволено было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными; съестных запасов оставалось не более как дней на десять. Солдатам начали выдавать в сутки только по четыре фунта муки¹, то есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артельный котел воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чашку свою, что и составляло их насущную пищу. Женщины не могли более вытерпеть голода; они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено: несколько слабых и больных солдат вышли за ними; но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников и обещаясь за то принять и прокормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов. Голод час от часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады, месяца за три до сего, брошены были на лед убитые лошади; о них вспомнили, и люди с жадностью грызли кости, объеденные собаками. Наконец и сей запас истощился. Стали изобретать новые способы к пропитанию. Нашли род глины, отменно мягкой и без примеси песку. Попробовали ее сварить и, составя из нее какой-то кисель, стали употреблять в пищу. Солдаты совсем обессилели. Некоторые не могли ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казаки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к Яицкому городку и что тогда уж пощады не будет. В случае покорности обещали они от его имени не только помилование, но и награды. То же старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеть осажденных скорым прибытием помощи, ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования: так ожесточены были сердца долгим, напрасным ожиданием! Старались удержать гарнизон в верности и повиновении, повторяя, что позорною изменою никто не спасется от

гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятвопреступников. Старались возбудить в душе несчастных надежду на Бога Всемогущего и Всевидящего, и ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле Его, нежели служить разбойнику, и во все время бедственной осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было.

Наступила Страстная неделя. Осажденные питались одною глиною уже пятнадцатый день. Никто не хотел умереть голодною смертию. Решились все до одного, кроме совершенно изнеможенных, идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить — бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступа не было, — хотели только умереть честною смертию воинов.

Во вторник, в день, назначенный к вылазке, часовые, поставленные на кровле соборной церкви, заметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном и предались опять надежде. „Все это нас так ободрило, — говорит свидетель осады, претерпевший весь ее ужас, — как будто мы съели по куску хлеба“. Мало-помалу смятение утихло; все, казалось, вошло в обыкновенный порядок. Уныние овладело осажденными лучше прежнего. Они молча глядели в степь, отколе ожидали еще недавно избавителей. Вдруг, в пятом часу пополудни, вдали показалась пыль, и они увидели толпы, без порядка скачущие из-за рощи одна за другою. Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близ коих находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут; но еще не смели радоваться; опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборный колокол, собрали круг, потом кучею пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить, но увидели, что они ведут связанных своих предводителей, атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. До Светлого Воскресения, пишет очевидец, оставалось еще четыре дня, но для нас уже этот день был светлым праздником¹². Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Все в крепости было в движении, благодарили Бога, поздравляли друг друга; во всю ночь никто не спал. Жители уведомили осажденных об освобождении Оренбурга и о скором прибытии Мансурова. Семнадцатого апреля прибыл Мансуров. Ворота крепости, запертые и заваленные с самого тридцатого декабря, отворились. Мансуров принял начальство над городом. Начальники бунта, Каргин, Толкачев и Горшков, и незаконная жена самозванца, Устинья Кузнецова, были под стражею отправлены в Оренбург»¹³.

С того времени мятеж и поприще войны перенеслись на Волгу. Почти непостижимо, до какой степени в Пугачеве, простом, безграмотном казаке, вдруг развились воинские дарования. При первом известии о приближении Голицына самозванец оставляет Яицк и Оренбург и летит к Тагитцевой крепости, которую сам разорил в предыдущем году. «Сгоревшие деревянные укрепления, — говорит автор, — мигом заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, который не ожидал от него таких сведений в военном искусстве»¹⁴. Со времени побега своего на Волгу, непрерывно разбиваемый Михельсоном, он через несколько дней опять являлся

предводителем сильного и стройного отряда. Однажды Михельсон, вдруг увидев перед собою войско Пугачева, не мог вообразить, чтоб это были остатки сволочи, рассеянной накануне, и принял его, как сам говорит в донесении, «за корпус генерал-майора Декалонга»¹⁵. Признаться, и мы не можем вообразить, как происходили эти превращения, которые уже выходят из пределов дарований и довольно похожи на волшебство. Должно полагать, что автор не имел достаточно данных для того, чтобы объяснить их. Мы приведем сведения, представляемые историею бунта, об устройстве сил самозванца и картину главной его квартиры в ноябре 1774<-го>.

«Войско его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром были¹⁶ яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям; но около их скоплялось невероятное (25 000) множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерскою шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из пятисот человек. Жалованье получали одни яицкие казаки; прочие довольствовались грабежом. Вино продавалось *от казны*. Корм и лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжая, иногда и ночью. Учения, особенно артиллерийские, происходили почти всякий день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении поминали государя Петра Феодоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольников, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своею избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смелчаки подъезжали к рогаткам оренбургским; иные, наткнув шапку на копые, кричали: „Господа казаки! пора вам одуматься и служить государю Петру Феодоровичу“. Другие звали казаков к себе в гости, говоря: „У нашего батюшки вина много!“ Из города противу их выезжали наездники, и завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая молодецеством. Однажды прискакал он, пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле, — и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под уздцы»¹⁷.

Характер этого грубого изверга представляет весьма странную смесь неслыханной природной жестокости и мгновенных проблесков чувства. По взятии Ильинской крепости, где погиб майор Заев, почти все его офицеры и двести солдат, мятежники погнали остальных в ближнюю татарскую деревню.

«Пленные солдаты приведены были против заряженной пушки. Пугачев, в красном казацком платье, приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колена. Он сказал им: „Прощает вас Бог и я, ваш государь Петр III, император. Вставайте!“ Потом велел оборотить пушку и выпалить в степь. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить эти смиренные имена. „Зачем вы шли на меня, на вашего государя?“ — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович; а ты вор и самозванец“. Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина: Пугачев не сказал уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. „Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю“. И велел его так же, как и солдат, остричь по-казацки»¹⁸.

В Казани привели к нему реформатского пастора. Разбойник узнал в нем того самого сострадательного человека, который прежде давал ему милостыню, когда он ходил в оковах по улицам Казани, ожидая утверждения приговора к кнуту и каторге за воровство и убийства. Он не только пощадил жизнь его, но еще посадил его на коня, пожаловал в свои полковники и увел с собою. Пастор едва через несколько дней успел отделаться от его благодарности и возвратиться в Казань. Но подле этой черты благодарности, где он забывал даже принятое на себя звание, должно тотчас поставить две противоположные черты — одну истинно турецкого коварства в мести, когда он велел тайно задушить своего верного приятеля, Лысова, с которым поссорился напьяне; потом примирился и пил дружески еще за несколько часов до его казни; другую — холодного и насмешливого зверства в поступке с злополучным астрономом Ловицем. Он нашел его на южной Волге и стал расспрашивать, в чем именно состоит звание астронома, Ловиц объяснил, что он, по званию своему, занимается исчислением звезд. Пугачев в ответ велел повесить его «поближе к звездам»¹⁹.

Автор, в приложениях к первому тому, поместил отысканный им список всех известнейших жертв свирепости этого злодея и его сообщников.

Мы заметили между рассказываемыми подробностями события два анекдота, относящиеся к юности знаменитого Державина, и выпишем их здесь, несмотря на разительное несходство их между собою. В первом случае, обнаруживающем удивительную смелость и присутствие духа, он был еще подпоручиком.

«Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить у Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявляя ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось»²⁰.

Спустя пять месяцев Державин был уже поручик гвардии.

«Узнав о взятии Пензы, саратовское начальство стало делать свои распоряжения. В Саратове находился тогда Державин. Он отряжен был в село Мальковку, чтобы оттуда пресечь дорогу Пугачеву в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узе-ням и намеревался идти на освобождение Яицкого городка; но был предупрежден генералом Мансуровым. В конце июля прибыл он в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мнение.

Первого августа Державин, обще с главным судиею Конторы опекунства колонистов Лодыжинским, потребовал саратовского коменданта Бошняка для совещания о мерах, которые должно было предпринять²¹ в настоящих обстоятельствах. Державин утверждал, что около конторских магазинов, внутри города, должно было сделать укрепления, перевезти туда казну, лодки на Волге сжечь, по берегу расставить батареи и идти навстречу Пугачеву. Бошняк не соглашался оставить свою крепость и хотел держаться за городом. Спорили, горячились, — и Державин, вышед из себя, предлагал арестовать коменданта. Бошняк остался непоколебим, повторяя, что он вверенной ему крепости и Божиих церковей покинуть на расхищение не хочет. Державин, оставив его, приехал в магистрат и предложил, чтобы все обыватели поголовно явились²² на земляную работу к месту, назначенному Лодыжинским. Бошняк жаловался, но никто его не слушал. Памятником сих споров осталось язвительное письмо Державина к упрямому коменданту.

Четвертого августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков и пустился с ними в Петровск, чтобы вывезти оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом. Он поехал вперед с есаулом и двумя казаками и, видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленях. Услышав²³ от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменял лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыжинским, оставив²⁴ защиту города на попечение осмеянного им Бошняка»²⁵.

Мы желали б еще предложить нашим читателям прекрасное своей простотою и живостью описание бедствий Казани, взятой мятежниками, но боимся, чтобы, умножая выписки, не исчерпать всего сочинения, и заключим их допросом пойманного Пугачева, в Симбирске:

«Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. — „Кто ты таков?“ — спросил он у самозванца. — „Емельян Иванов Пугачев“, — от-

вечал тот. — „Как же смел ты, вор, назваться Государем?“ — продолжал Панин. — „Я не ворон; — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно, — я вороненок, а ворон-то еще летает“. — Надобно знать, что яички бунтовщики в опровержение общей молвы распустили слух, что между ими действительно находился некто Пугачев, но что он с государем Петром III, ими предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметив²⁶, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клоч бороды. Пугачев стал на колена и просил помилования²⁷.

Мы нашли в «Истории Пугачевского бунта» слишком много любопытного и занимательного, чтоб за удовольствие, доставленное нам и нашим читателям, заплатить ее сочинителю неблагодарностью, упреками; и только мимоходом изъясним наше сожаление о некоторых неправильностях языка и небрежностях слога, оставшихся случайно под пером автора и забытых его внимательностью. Кому ж и учить нас образцовой чистоте русского языка и изящности выражений, если не автору «Истории Пугачевского бунта»?

ИЗ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

«ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА»

СПб. 1835, в Военной типографии, 232 стр.*

Издание этих «Поэм и повестей» было необходимо; почитатели поэта давно уже его ожидали, потому что не в состоянии были приобрести по одиначке эти *disjecta membra*¹ его фантазии. А. Ф. Смирдин удовлетворил их ожиданию, издав собрание поэм А. С. Пушкина, которое, как и все его издания, отличается красотой и вместе умеренностью цены. Хотя, конечно, нельзя назвать дешевым издание двух томов посредственной величины, продающихся по двадцати рублей; но в сравнении с прежнею непомерною ценою поэтических брошюр, его составляющих, эта цена очень умеренна. Первая часть, вышедшая в свет, заключает в себе три поэмы: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Во второй части будут «Полтава», «Цыганы», «Граф Нулин», «Братья разбойники», «Домик в Коломне» и «Анджело».

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

Часть четвертая. С.-Петербург, в тип<ографии> Им<ператорской> Российской Академии, 1835, в-8, стр. 189

Эта четвертая часть «Стихотворений» заключает собою в сочинениях Пушкина особый ряд томов, которого не должно смешивать с другим ря-

* Продается у издателя А. Ф. Смирдина, в книжных лавках братьев Ильи и Николая Глазуновых и у других книгопродавцев. Цена экземпляра двадцать рублей.

дом, носящим заглавие «Поэмы и повести». Последний состоит доселе из двух частей.

Четвертая часть «Стихотворений» составлена из переводов и тех прелестных подражаний народным поэтическим преданиям отечественного и иностранного происхождения, которые под пером Пушкина обновляют угасающую жизнь свою, чтобы продлить свое существование еще на несколько столетий. Мы не станем говорить об них подробно, потому что все они были напечатаны в нашем журнале¹. В числе этих переводов и подражаний самая важная пьеса по своему объему и разнообразию — «Песни западных славян». Это, как известно, перевод, но перевод лучше самого подлинника, вышедшей в Париже в 1827 году «Гусли» — «Guzla ou Choix de poésies Illiriennes», в которой неизвестный издатель предлагал, во французском переводе, образцы народной поэзии сербов, босняков, морлахов, черногорцев и кроатов, собранные им будто бы на месте². «Гусли» эта переведена была на многие европейские языки и своей оригинальностью, своим, как тогда говорили, *неподдельным* цветом дикой местности, своей *самобытною* поэзиею восхитила страстных искателей нового и непохожего на поэтические формы истекшего столетия. Песни сербов и босняков были сравниваемы критикою с древнейшими памятниками ионийской и скандинавской поэзии³. Мы намекнули мимоходом, в этом же самом журнале, еще в начале прошлого года, что эти песни *подложны*⁴. Подделка их была нам известна прежде, чем мы их читали. Но кажется, что А. С. Пушкин верил их подлинности еще в начале нынешнего года, оканчивая перевод последних баллад этого собрания⁵: он знал только, что неизвестный издатель «Гусли» не кто иной, как г. Мериме, автор двух подложных сочинений с *неподдельным* цветом, «Театра Клары Гасуль» и «Хроники Карла IX», ныне инспектор исторических памятников во Франции, и, желая получить от него сведение об истории этих песен, обратился к нему через посредство одного общего знакомого. Г. Мериме чистосердечно признался в подлоге. Ответ его, от 18 января 1835<-го>, А. С. Пушкин приложил в подлиннике к четвертой части своих «Стихотворений». Как «Песни западных славян» были недавно напечатаны в «Б<иблитеке> для ч<тения>», то для полноты удовольствия ее читателей и самого дела мы должны перевести часть этого любопытного письма.

«„Гусли“ сочинена мною по двум причинам: во-первых, для того, чтобы пошутить над *местным цветом*, от которого все наши были без памяти около года Спасения 1827<-го>. Чтобы объяснить вам вторую причину, я должен рассказать сказку. В том же 1827 году один мой приятель⁶ и я решились было отправиться путешествовать по Италии. Мы сидели перед картою и чертили на ней карандашом свой маршрут. Прибыв в Венецию — разумеется, на карте — и наскучив англичанами и австрийцами, которые попадались нам всюду в Италии, я предложил моему товарищу поворотить в Иллирию, — ехать в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошелек наш был очень тощ, и эта „скорбь ни с чем не сравнимая“, как говорит Рабле⁷, оставившая нас посреди всех предначертаний. Я предложил тогда написать вперед „Путешествие“ наше по Иллирии, продать рукопись книгопродавцу и на вырученные деньги отправиться посмотреть, много ли мы ошиблись в описаниях. Я принял на себя собирать народные

песни и переводить их; мой товарищ сказал, что я не сумею этого сделать как следует, и я, чтоб доказать противное, принес ему на другой день пять или шесть этих мнимых переводов. Через несколько дней составила книга, которую мы и издали, с соблюдением величайшей тайны, и которою надули несколько человек. Теперь я должен показать вам источники, откуда почерпнул для своих славянских песен пресловутый местный цвет⁶. Есть книжонка одного французского консула в Баялуке. Заглавия не помню, но разбор ее не труден⁹. Автор старается доказать, что босняки большие свиньи, и представляет этому довольно хорошие доводы. По временам он приводит иллирийские слова, чтоб поблистать своими познаниями, — а он, верно, знал по-славянски столько же, как я. Я тщательно списал все эти слова, чтобы вклеить их в свои выноски. Но сверх того я читал одну главу, „О обычаях Морлахов“, в Фортисовом путешествии по Далмации¹⁰. Там есть текст с итальянским переводом баллады „Жалоба Гасановой жены“ — ту я перевел в самом деле¹¹. Это единая пьеса в моей „Гусле“, настоящая иллирийская... Вот вся история. Скажите г. Пушкину, что я прошу у него извинения. Мне и лестно и стыдно, что я поддел его».

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА»

СПб., 1835

<Отрывок>

<...> Обращаюсь к мысли. Я решительно нигде не нахожу ее у г. Бенедиктова. Что такое мысль в поэзии? Для удовлетворительного ответа на этот вопрос должно решить сперва, что такое чувство. Чувство, как самое этимологическое значение этого слова показывает, есть принадлежность нашего организма, нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувственность разнятся между собою тем, что последнее есть телесное ощущение, произведенное в организме каким-нибудь материальным предметом; а первое есть то же телесное ощущение, но только произведенное *мыслию*. И вот отчего человек, занимающийся какими-нибудь вычислениями или сухими мыслями, подносит руку ко лбу, и вот почему человек, потрясенный, взволнованный чувством, подносит руку к груди или сердцу, ибо в этой груди у него замирает дыхание, ибо эта грудь у него сжимается или расширяется и в ней делается или тепло или холодно, ибо это сердце у него и млеет, и трепещет, и порывисто бьется; и вот почему он отступает, и дрожит, и поднимает руки, ибо по всему его организму, от головы до ног, проходит огненный холод и волосы становятся дыбом. И так очень понятно, что сочинение может быть с мыслию, но без чувства; и в таком случае, есть ли в нем поэзия? И наоборот, очень понятно, что сочинение, в котором есть чувство, не может быть без мысли. И естественно, что чем глубже чувство, тем глубже и мысль, и наоборот. «Вселенная бесконечна», — говорю я вам: эта мысль велика и высока, но в этих словах еще не заключается художественного произведения, и не будет его, если бы я распространил эту мысль хоть на десяти страницах. Но «Die Grösse der Welt», это стихотворение Шиллера, в котором облечена в поэтическую форму эта же самая мысль и которое так

прекрасно, полно и верно передано не русский язык г. Шевыревым¹, дышит глубокою поэзиею, и в нем мысль уничтожается в чувстве, а чувство уничтожается в мысли; из этого взаимного уничтожения рождается высокая художественность. А отчего! Оттого, что эта мысль, родившись в голове поэта, дала, так сказать, толчок его организму, взволновала и зажгла его кровь и зашевелилась в груди. Таков «Демон» Пушкина, это стихотворение, в котором так неизмеримо глубоко выражена идея *сомнения*, рано или поздно бывающего уделом всякого чувствующего и мыслящего существа; такова же его дивная «Сцена из Фауста», выражающая почти ту же идею; таков его «Бахчисарайский фонтан», где в лице Гирея выражена мысль, что, чем шире и глубже душа человека, тем менее способен он удовлетворить себя чувственными наслаждениями; таковы его «Цыганы», где выражена идея, что, пока человек не убьет своего эгоизма, своих личных страстей, до тех пор он не найдет для себя на земле истинной свободы ни посреди цивилизации, ни в таборах кочующих детей вольности*. Я не говорю о других его произведениях, я не говорю о его «Онегине», этом создании великом и бесмертном, где что стих, то мысль, потому что в нем что стих, то чувство.

Увы! на жизненных браздах
Мгновсннй жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши впуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!²

Или:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой!
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою

* Возьмите эти слова отца Земфиры:

Ты *для себя* лишь хочешь воли.
Или эти стихи, которыми оканчивается эпилог:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны!
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые
И от судеб защиты нет!

Идти, не разделяя с ней
 Ни общих мнений, ни страстей.³

Вот вам мысль в поэзии! Это не рассуждение, не описание, не силлогизм — это восторг, радость, грусть, тоска, отчаяние, вопль! Но мое любимое правило — *вещи познаются всего лучше чрез сравнение*; итак, возьмите стихотворение Жуковского «Русская слава»⁴ и стихотворение Пушкина «Клеветникам России», сравните их или, лучше, противопоставьте «Русской славе» эти немногие стихи из «Онегина»:

Как часто в горестной разлуке,
 В моей блуждающей судьбе,
 Москва, я думал о тебе!
 Москва... как много в этом звуке
 Для сердца русского слилось!
 Как много в нем отозвалось!

 Напрасно ждал Наполеон,
 Последним счастьем упоенный,
 Москвы коленапреклоненной
 С ключами старого Кремля:
 Нет, не пошла Москва моя
 К нему с повинной головою.
 Не праздник, не приемный дар,
 Она готовила пожар
 Нетерпеливому герою.
 Отселе, в думу погружен,
 Глядел на грозный пламень он⁵ —

тогда вы вполне поймете, что такое мысль в поэзии, и что такое чувство, и что одно без другого быть не может, если только данное сочинение художественно. Теперь укажите мне хоть на одно стихотворение г. Бенедиктова, которое бы заключало в себе мысль в изложенном значении, в котором бы эта мысль томила душу, теснила грудь; в котором был бы хотя один сильный, энергический стих, невольно западающий в память и никогда не оставляющий ее! «Полярная звезда» по красоте стихов — чудо: этому стихотворению можно противопоставить только «Ганимеда» г. Теплякова; но оно сбивается на описание, и я не вижу в нем никакой мысли; а это, не забудьте, единственное, по стихам, стихотворение г. Бенедиктова. Кстати, об описаниях: описание — вот основной элемент стихотворений г. Бенедиктова; вот где старается он особенно выказать свой талант, и, в отношении ко внешней отделке, к прелести стиха, ему это часто удается. Но это всё прекрасные формы, которым недостает души. В старину (которая, впрочем, очень недавно кончилась) все питали теплую веру в описательную поэзию, а староверы, всегда верные старопечатным книгам и стародавним преданиям, и теперь еще признают существование описательной поэзии. Об этом спорить нечего — вопрос давно решенный! Описательной поэзии нет и быть не может, как отдельного вида, в котором бы проявлялось изящное; но описательная поэзия может быть везде в частях и подробностях. Описание красоты природы создается, а не списывается; поэт из души своей воспроизводит картину природы или воссоздает виденную им; в том и другом случае эта красота выводится из души поэта, потому что картины природы не мо-

гут иметь красоты абсолютной; эта красота скрывается в душе, творящей или созерцающей их. Поэт одушевляет картину своим чувством, своею мыслию; надобно, чтобы он или любовался ею, или ужасался ее, если он хочет прельстить или ужаснуть нас ею. Картины Кавказа и таврических ночей у Пушкина пленительны, потому что он одушевил их своим чувством, потому что он рисовал их с этим упоением, с которым юноша описывает красоту своей любезной. Может быть, увидя Кавказ и слича действительность с поэтическим представлением, вы не найдете никакого сходства: это очень естественно — все зависит от расположения нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся в сокровищнице души нашей; природа отражается в ней как в зеркале: тускло зеркало, тусклы и картины природы, светло зеркало, светлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никакого достоинства в описательных картинах г. Бенедиктова, потому что вижу в них одно усилие воображения, а не внутреннюю полноту жизни, все оживляющей собою. <...>

В. С. МЕЖЕВИЧ

О НАРОДНОСТИ В ЖИЗНИ И В ПОЭЗИИ

<Отрывок>

<...> Первое двадцатилетие XIX века, которое можно назвать периодом *Карамзина*, ознаменовано совершенным отсутствием народности в нашей поэзии. Выключая Крылова и Мерзлякова, о которых сказали мы выше, одна половина наших писателей, увлеченная прекрасным талантом и языком Карамзина, приняла направление ложной сентиментальности; другая, по следам Державина, устремилась к лирической поэзии и, за недостатком поэтического одушевления, впала в холодную надутость и вялую напыщенность. Карамзин, который всегда действовал по расчету, которого деятельность была направлена к известной цели, исполнив свое первое намерение — заохотить русскую публику к чтению, удалился с шумного поприща литературы, с тем чтобы в тиши уединения посвятить жизнь свою великому делу истории своего отечества. В школах наших господствовали устарелые теории французские, погубившие прекрасный талант не одного Озерова; законы и образцы изящного, вместе с законами и образцами мод, получали мы из Парижа... В это время явился *Жуковский*. Его светлая душа отозвалась на голос прекрасной души Шиллера и, плененная красотой и детскою невинностью музыки германской, сдружилась с нею, во имя искусства, союзом святой дружбы. Литературные аристархи¹ с удивлением и неприязнью посматривали на скромную, застенчивую гостью, с задумчивым челом, с светлым, но томным взором, устремленным к небу, с легким, прозрачным покрывалом, в очаровательном костюме, без фижм и каблуков, без мушек и румян, без парика и пудры!.. Молодое поколение, давно дремавшее под школьною ферулою классицизма, соскучившись неестественным воем мельпомены, надутым рассказом эпопеи, оглушительным громом и трескотнею оды, приторною сентиментальностию идиллии, было приятным образом поражено простотою, естественностию музыки германской, ее светлыми мечта-

ниями, ее фантастическими рассказами и, плененное, очарованное, толпою двинулось за нею. Этого было довольно! Приверженцы французского классицизма не могли равнодушно вынести сперва холодности, потом презрения и насмешек, которыми осыпали его со всех сторон. Началась борьба — упорная и ожесточенная, шумевшая в это время на литературных стогнах всего мира; вместе с этой борьбой пробудилась жизнь в нашей литературе; кредит французских теорий стал упадать мало-помалу — и на место их начали появляться новые европейские идеи... Таким образом, дряхлое разрушилось... Умы были в брожении... Одна сильная рука, один мощный талант — и судьба искусства решена!..

Явился Пушкин!

Пушкин — талант разнообразный, могучий, с пылкой, возвышенною душою, с горячим чувством, с глубокою думой, с живым, огненным русским словом, Пушкин, которого

Старик Державин сам заметил,
И, в гроб сходя, благословил!..²

Это благословение старца, осенившее главу юноши, было священным знаменем, предоображавшим в будущем певце наследника могучей поэзии Державина!

Пушкин почти с самых первых опытов показал свое направление к народности, но, одаренный душою пылкой, легко раздражительною, он не мог не заплатить дани тем поэтам, которые услаждали его первые вдохновенные досуги, лелеяли его юношеские мечты; таким образом, сначала он был увлечен нежно, тихою, роскошно мечтательностию А. Шенье; потом несколько времени находился под влиянием могущественного гения Байрона, наконец, достигши зрелости своего таланта, он сбросил с себя иго подражания и, с каждым шагом, с каждым произведением укрепляясь более и более, явился самобытным, оригинальным, русским поэтом. Да, Пушкин поэт русский, поэт народный, по преимуществу. Если Державин есть представитель народности *внутренней*, Крылов *внешней*, то Пушкин соединяет в себе ту и другую. Его национальный дух облекается в национальную форму, в живое русское слово; ни у одного из наших поэтов не найдете вы такого звучного, гибкого и притом благородного языка; ни один из них не умел с таким искусством соединить глубины мыслей с простотою выражения. С какою заметною постепенностию укреплялся талант его, в самобытности, в национальности! Какой безмерный шаг — от «Руслана и Людмилы», этого детского лепета, до «Полтавы» и «Годунова», где Пушкин явился во всей зрелости мужа! Даже в последовавших за тем чисто лирических произведениях, где преобладание внутренней жизни допускает менее национальности, наш поэт не изменил своему направлению: какая энергия русского духа и русского слова является, например, в следующих стихах из его громового воззвания к «Клеветникам России»:

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в <полях> России,
Среди нечуждых им гробов!..

Не правда ли, что здесь вы видите вполне русскую душу, русскую мощь, русскую гордость?

Итак, Пушкин есть полный представитель нашей народности!

Вслед за Пушкиным увлеклась толпа подражателей, более или менее талантливых; но в то время, когда этот Протей³, играя своим талантом, укреплялся более и более, свыкался с родным духом и языком, они, сначала бодрые, заметно с каждым днем отставали все более и более и явились наконец на неизмеримом от него расстоянии... Мощный орел теперь один самобытно продолжает величественный полет свой! <...>

— 1.8.3.6 —



ИЗ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму — под заглавием «Востола, или Желания сердца, повесть Виланда». Мы еще ее не читали и даже не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется появлению новой поэмы Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: Пушкин воскрес!

Ф. В. БУЛГАРИН

НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ И ДУХ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<Отрывки>

<...> Среди тихого, сладкозвучного, безмятежного течения нашей французской школы¹ прибавились самородные национальные дарования, с нашей русской, милой, хотя несколько грубой простотою, с дикою возвышенностью и с русским народным говором. Таковы Державин и И. А. Крылов! Впрочем, Державин не всегда *русский* поэт, а Крылов всегда *русский*, и притом *русский писатель*, в полном смысле слова. Образы, положения, язык в баснях Крылова — все истинно русское. Начав переделывать Езопа, Пильпая и Лафонтена, он кончил созданием народной русской басни, которая имеет свой особенный характер и полную оригинальность!

Между тем образовалась новая немецкая литература по образцам старинной английской и западной литературы Средних веков. Английская литература также приняла другое направление, очистившись от древнего варварства в горниле XVIII века и удержав народные формы. Этим литературам придали название *романтической* в память романского языка и поэзии, служащей, так сказать, цементом для спаяния разнородных частей в литературе английской и германской. Французскую школу XVIII века, в противо-

положность новой, назвали *классической*. — В Европе настало брение двух литератур, брение форм с свободой языка и волею воображения. В целой Европе все, что только сильно чувствовало и мыслило, приняло *романтическую* литературу, которую можно назвать также *народною*, потому что предметы в романтической литературе избираются преимущественно из народной истории, народных нравов и обычаев. В чужих предметах сохраняется также национальность. Греки должны быть греками, а не французами; русские русскими, немцы немцами, со всеми их поверьями, страстями, заблуждениями и понятиями об истине.

У нас первый В. А. Жуковский ввел *романтическую поэзию*. Ему принадлежит эта честь и слава. А. С. Пушкин, при всей своей оригинальности, есть только *следствие* Жуковского. Пушкина создал не Гёте, не Шиллер, не Байрон — но Жуковский. Когда Пушкин стал писать, вдохновенный русскою природою, он знал только Жуковского, а Жуковский знал уже и изучил Гёте, Шиллера и Байрона. Первый опыт Жуковского, «Кладбище» из Грея, изумил нас. Это был неведомый дотоле язык. «Светлана» составила эпоху и есть первый *основный* камень русской национальной поэзии². Пушкин не есть *подражатель* Жуковского, но *ученик* с собственною оригинальностью³. Все подражатели Жуковского и Пушкина несомны в высшей степени, и нет между ними ни одного, который бы хотя несколько приблизил к своим подлинникам. Это плохие литографии Рафаэлевой мадонны.

Я упомянул здесь только о коноводах, или о воеводах, русской литературы. Разумеется, что они вели за собою целые легионы сподвижников. Мы видели блеск их оружия, слышали их возгласы — но не знаем их имен или, лучше сказать, не хотим их знать. Слава воинства сосредоточена в славе их воначальника. <...>

Этот быстрый взгляд на нынешний момент нашей литературы заключу общими результатами. Хорошего произвели мы немного, гораздо менее, нежели мы могли бы и должны были бы произвести. О некоторых причинах этого сказано выше⁴; о других умолчу. Посредственного произведено довольно; дурного, разумеется, более, нежели надобно. В журналах ошутителен недостаток критики. Статистика идет довольно успешно, поощряемая правительством. В истории более догадок, нежели дела; вечное повторение одних и тех же фактов и недостаток философии и критики. В естественных и математических науках — застой. В изящной словесности новое направление к романтизму, по образцам новой французской школы⁵. В поэзии мало нового. Вообще итог наших умственных трудов в течение двух последних лет слишком незначителен, шестые мысли медленнее и признаки умственной жизни слабые. Вся надежда на будущее! Кажется, будто умы пришли теперь в сотрясение и что должно ожидать сосредоточения их на народности: тогда откроется обширное поле умственной деятельности. К труду, к работе, юноши! Ломоносову, Державину, Карамзину воздвигнуты памятники⁶. Помните это и не забывайте, что действие на поприще литературы есть также служба отечеству!

О. И. СЕНКОВСКИЙ

**«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ». ПОВЕСТЬ В СТИХАХ,
СОЧИНЕНИЕ ВИЛАНДА. ИЗДАЛ А. ПУШКИН**

С.-Петербург, в типографии Д-спартамента внешней торговли, 1836, в 8, стр. 96.

Певец «Кавказского пленника» сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной русской публике. Та, которая любила его как своего первенца, любила так искренно, так благородно, так бескорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздельно с драгоценнейшею вещью в мире — славою своего отечества, та самая, в возмездие за все свои нежные чувства, заслуживающие всякого уважения, получила от него, при визитном билете, «Вастолу» с двусмысленным заглавием. Первым ее движением было — посмотреть в календарь, не пришлось ли в нынешнем году в Новый год первое апреля. Нет! первое апреля будет первого апреля, а теперь начало января, время изливания дружеских чувствований, время поклонов с почтением и всяких маскарардов. Бедная русская публика не знала, что делать, — гневаться ли за эту мистификацию или приказать «кланяться и благодарить и в другой раз к себе просить»?.. Посланец отпущен был без ответа.

Для многих еще не решен вопрос о «Востоле». Каждый толкует по-своему слово «издал», которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал и напечатал¹. Одни утверждают, что это действительно стихи А. С. Пушкина; другие, что они не его, а он только их издатель. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и «издавал» книжки для спекуляций. Мы сами сначала позволили себя уверить, что Александр Сергеевич играет здесь только скромную роль издателя, но один почтенный «читатель» убедил нас в противном. Зашедши в первых числах января в книжный магазин С***², чтоб купить себе «Вастолу», мы застали там одного депутата от публики, одного читателя, который пришел туда с той же целью. Он держал в одной руке «Вастолу» и пробегал ее глазами по неразрезанным листам, а в другой, протянутой к приказчику магазина, красную ассигнацию. Совестьливый книгопродавец, прежде чем взять деньги, спрашивал читателя, знает ли он, что такое покупает: «Если вы хотите купить поэму Пушкина, — говорил благородный приказчик, которого за это в нынешнем же году надобно представить к Монтионовым премиям за добродетель³, — то я должен предостеречь вас, что вы ошибаетесь: это не Пушкина сочинение-с!» Читатель посмотрел на него с изумлением и вскричал:

— Как не Пушкина? Ба!.. будто бы я Пушкина стихов не знаю!..

— Уверяю вас, что не Пушкина-с.

— Подите, сударь! Да кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?

И читатель стал тут же читать нам вслух следующие стихи из «Востола», постепенно воодушевляясь их красотами.

«Мещанка мать его, вдова весьма честная,
Уж несколько годов прядением промышляя,
Кормила тем себя и милого сына.

Ее рабочая, проворная рука
 Не знала никогда покоя и вприсядку
 Трескучую свою вертела самопрядку;
 Вертела у окна при солнечном луче,
 Вертела при свече,
 Вертела при лучине,
 Не мысля о кручине;
 Но слезю и за то всегда благодаря
 Небессного Царя,
 Когда на очажке для варева какого
 Горело у нее обеденной порой
 Немного хворосту сухого,
 От коего потом все угли кочергой
 Скорей вгребала в печь, чтоб в бедности за делом
 Хоть было ей тепло в приюте устарелом.
 При тихой жизни, толь святой,
 Как ныне редкия на свете
 Живут, оставшиися вдовой,
 Имея легкий труд в предмете...
 Одна гнѣла ее тоска,
 Одна заботила кручина,
 Что от Перфонтьюшки, любезного сынка,
 Хоть он и дюжий был детина,
 Ни шерсти нет, ни молока»⁴.

— Кто у нас в состоянии, — торжественно сказал читатель, произнесши последние стихи с непритворным энтузиазмом, — кто у нас в состоянии так написать, кроме Пушкина?

Книгопродавец улыбался.

Читатель бросил с гневом ассигнацию на прилавок и, не дожидаясь сдачи, побежал из магазина. Я слышал еще, как он говорил у дверей: «Да я знаю наверное, что это Пушкина книга! Вот, нашли кого дурачить!»

После этого я не смел и сомневаться, чтобы «Вастола» не была действительно произведением А. С. Пушкина. Не вдаваясь в объяснения с книгопродавцами, я важно потребовал для себя одного экземпляра, заплатил деньги и ушел.

Я читал «Вастолу». Читал, и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться, не в том, так в другом отношении.

Некоторые, однако, намекают, будто А. С. Пушкин никогда не писал этих стихов; что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором; что Александр Сергеевич только дал ему напрокат свое имя, для того чтобы лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может! Мы беспредельно уважаем всякое благотворительное намерение, но такой поступок противился бы всем нашим понятиям о благотворительности, и мы с негодованием отвергаем все подобные намеки как клевету завистников великого поэта. Пушкин не станет обманывать публики двусмысленностями, чтоб делать кому добро. Он знает, что должен публике и себе. Если в слове «издал» и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени, и что в подобном случае выставленное имя напечатлевается всю святостью торжественно данного в том слова. Он охотно

вынет из своего кармана тысячу рублей для бедного, но обманывать не станет — ни вас, ни меня. Дать свое имя книге, как вы говорите, «плохой» из благотворительности?.. Невозможно! невозможно! Не говорите мне даже этого! Не поверю! Благотворительность предполагает пожертвование — труда или денег, — чего бы ни было, — иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать свое имя — не стоит никаких хлопот. Александр Сергеевич, если б пожелал быть благотворителем, написал бы сам две-три страницы стихов, своих, прекрасных стихов, и они принесли бы более выгоды бедному, которому бы он подарил их, чем вся эта «Востола». Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, — что равнялось бы презрению к бедному и презрению к публике, к вам, ко мне, ко всякому. Нет, нет! клянусь вам, это подлинные стихи Пушкина. И если бы они даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего более, как признать их своими и внести в собрание своих сочинений. Между возможностью упрека в том, что вы употребили уловку (рука дрожит, чертя эти слова), и чистосердечным принятием на свой счет стихов, которым дали свое имя для успешнейшей их продажи, выбор не может быть сомнителен для благородного человека. Но этот выбор не предстанет никогда Пушкину. «Востола», мы уверены, действительно — его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!

ИЗ «МОЛВЫ»

<О МНИМОМ СОЧИНЕНИИ ПУШКИНА «ВАСТОЛА»>

Вышла стихотворная книжица, зовомая «Востола, или Желания», у которой на заглавном листе выпечатано: «издал А. Пушкин». Можно б подумать, что это принадлежит к объявленному в Петербурге изданию *классических русских писателей*¹ и что пиима сия есть труд блаженной памяти стиходелателя А. П. Сумарокова, если б оригинал ее не принадлежал Виланду, который жил позже трудолюбивого соперника Ломоносова и который писал на немецком диалекте, маловедомом достопочтенному прелателю Расина и Лафонтена². Во всяком случае, мы полагаем, что это должна быть какая-нибудь литературная мистификация, которой объяснение предоставляем будущности.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

НИЧТО О НИЧЕМ, ИЛИ ОТЧЕТ Г. ИЗДАТЕЛЮ «ТЕЛЕСКОПА» ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ (1835) РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<Отрывки>

Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода нашей литературы во время вашего пребывания за границей и привели меня тем в крайнее затруднение. Разве вам не известно, что *ничто не ново под луною*? Каких же хотите вы новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее

существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда», — скажете вы. Нет, вы не правы: труда от этого мне не только не меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я должен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду повествовать вам в ней? О *ничем*?. Итак, надо сделать *что-нибудь* из *ничего*? — Помните ли вы, как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев угломнил насмерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о *ничем*, и весь вылился в *ничто*?¹ Конечно, я не пользуюсь литературною славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового *ничто*; но у меня другой страх, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и в конечной погибели своей репутации, высказаться в *ничем* на нескольких страницах. Притом же, хотя я в отсутствие ваше волею или неволею играл роль сторожа на нашем Парнасе, окликакая всех проходящих и отдавая им своєю алебардою честь по их званию и достоинству, хотя неумоимо и неусыпно стоял на своем посту, однако ж многое ускользнуло от моей бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа — и тут некогда было расспрашивать каждого порознь; стукнешь алебардою по всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать поголовную переключку, бегать по всем закоулкам и собирать народ православный? Нет — отрекаюсь от этого труда; и так было много хлопот и, может быть, много шуму из пустяков! — Да и притом, возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак, я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно врезались в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой обзор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рассказ наскоро о предмете многообразном, разнообразном и ничтожном.

Итак, я *обозреваю*, становлюсь *обозревателем*! — *Обозревать*, *обозревателем* — вы помните, как громко звенели некогда эти два слова в нашей литературе? — Кто не обозревал тогда? Где не было обозрений? Какой журнал, какой альманах не имел своего штатного обозревателя? — И это была должность не трудная, легкая казенная; за нее брался всякий, не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков грамматики и здравого смысла! — Отчего ж теперь так мало пишется обозрений? Куда девались все эти обозреватели? — Я прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того, чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не может быть *ничто*?

Обозрения всякого рода бывают результатом или сознания силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги, поверяет счета и подводит итоги, тот или богатеет день ото дня, или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он хочет удостовериться в улучшении своего состояния и определить степень этого улучшения, а во втором случае хочет измерить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отвратную перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее к ее ужасному виду или как будто находя жестокое наслаждение в сознании своего бедственно-го положения, веселясь собственным своим отчаянием. У нас была уже литература, был Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонвизин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Мерзляков и, наконец, Батюшков и Жуковский: все эти люди поль-

зовались почти равным участком славы, всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней мере, все они слыли равно за *художников* и *гениев* (или, по-тогдашнему, за *образцовых писателей*²). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, делать возгласы и много-много, если указывать на некоторые неудачные стишки в целом сочинении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как их *починить*. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые напрокат у французов; критики не было, потому что критика более или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало полное убеждение в богатстве нашей литературы, как по количеству, так и по качеству; литературных обозрений тогда тоже не было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко, реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было напасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, высказал много умного и дельного, но как его критицизм был явным анахронизмом, то и не принес никаких плодов³. Но вдруг все переменялось: явился Пушкин, и вместе с ним так называемый *романтизм*. В чем состоял этот романтизм? В отношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что изо всех наших поэтов Пушкина одного можно было назвать поэтом-художником и не ошибиться, что он, вместо того чтобы писать громкие и торжественные оды на современные события, обыкновенно или теряющие свою прелесть для потомства, или представляющиеся ему в другом свете, стал говорить о чувствах общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми более или менее испытанных; что он напал на истинный путь и, будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению. <...>⁴

Итак, романтизм в отношении к Пушкину состоял в том, что он искал поэзии не в современных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом интересе души человеческой*. В отношении к другим поэтам, вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что ода была решительно заменена элегией, высокопарность унылостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих гармоническим, плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм состоял в том, что было отвергнуто как нелепость драматическое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество поэтов (стихотворцев и прозаиков), стали писать в таких родах, о которых в русской земле дотопе было видом не видать, слухом не слышать. Тогда-то наши критики пустились в обозрения: они увидели, что у нас есть писатели и в классическом и в романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то необыкновенным и великим. И это было очень естественно: новость направления и духа сочинения всегда бывают камнем преткновения для критики.

Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные надежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках; а гордость и самоуверенность породили множество обозрений. Только один Пушкин был предметом, достойным и обозрений, и критик, и споров, а между тем все шло зауряд в обозрения. И разумеется, эти обозрения были важны, горды и весе-

* Этот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется. Б<слинский>⁵.

лы, как молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без числа, без меры, и все это возбуждало участие, восторг, удивление, потому что было ново. Следовательно, обозревателю было что обозревать, было о чем потолковать. Одна голая и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла составить статейку, а, разведенная фразами, разжиженная чувствованьями, сдобренная теориями и идеями, эта перечень превращалась в большую статью. И эту статью читали напереыв и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.

Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм привел за собой эманципацию, то естественным образом начало закрадываться сомнение насчет достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков, не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял только в Пушкине, а что все остальное была та же старина, только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, и новички успели состариться и наскучить. Разумеется, это совершилось не вдруг, а постепенно. Тогда обозрения начали терять свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная критика. <...>

Народность в литературе!.. Позвольте мне, почтенный издатель «Телескопа», сделать здесь небольшое отступление от материи и оставить на минутку-другую г. Ушакова. Я хочу сказать или, скорее, повторить уже сказанное мною когда-то о народности⁶; этот предмет занимает теперь всех, вы сами пишете об нем⁷, и потому я считаю теперь кстати подать и свой голос. Что такое народность в литературе? Отражение индивидуальности, характерности народа, выражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами — не так ли? — Если так, то, мне кажется, нет нужды поставлять такой народности в обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непременно должна проявляться в творческом создании. Вы признаете большее или меньшее влияние индивидуальности поэта на его произведения, как бы они разнообразны ни были! Вы не станете отрицать, что чем дарование поэта сильнее, тем оно оригинальнее! Итак, если личность поэта должна отражаться в его творениях, то может ли не отражаться в них его народность? Разве всякий поэт, прежде чем он *человек*, не есть русский, француз или немец? — Возьмем поэта русского: он родился в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, выгои страшны, лето знойно, земля обильна и плодородна: разве все это не должно положить на него особенного характеристического клейма? Он в младенчестве слышал сказки о могучих богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных царевнах и княжнах, о злых колдунах, о страшных домовых; он с малолетства приучил свой слух к жалобному, протяжному пенью родных песен; он читал историю своей родины, которая не похожа на историю никакой другой страны в мире; он провел лета своей юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое общество; он принадлежит к народу, который еще не живет полную жизнью, но у которого настоящего уже интересно как шаг, как переход к прекрасному будущему, у которого это будущее еще в зародыше, еще в зерне, но уже так богато надеждами... Потом, если он поэт, поэт истинный, то не должен ли сочувствовать своему отечеству, разделять его надежды, болеть его болезнями, радоваться его радостями?.. Кто не согласится с этим, кто будет противоречить этому? — Итак, спрашиваю: может ли истинный рус-

ский поэт не быть русским поэтом, русским не по одному рождению, а по духу, по складу ума, по форме чувства, как бы ни глубоко был он проникнут европеизмом? — Да, почтеннейший издатель, если поэт владеет истинным талантом, он не может не быть народным, лишь бы только творил из души, а не мудрил умом, не брал работою... Возьмите Крылова: оставляя покуда в стороне вопрос о басне как художественном произведении и смотря на него самого даже не как на поэта, а как на краснбая, не видите ли вы в нем чистейшей народности, без всякой примеси тривияльности; не доказываается ли его народность и живым сочувствием к нему народа русского, и его непереводимостью ни на какой язык в мире? — Теперь возьмем другую сторону, совершенно противоположную этой, возьмем «Онегина», лучшее произведение Пушкина: разве эта Татьяна, Ольга, этот Ленский, эти старики Ларины, эти провинциальные фигуры, Буяновы, Петушковы, Зарецкие, самый Онегин — разве они, будучи лицами типическими, человеческими и, следовательно, всемирными, не принадлежат исключительно к русскому миру, не взяты из русской жизни; разве, переименовав их имена на Адольфов, Генриетт, Эрнестов, Амалий, вы не уничтожите их смысла, их значения? — Но — скажут, может быть, иные — это доказывает только, что поэт, зная хорошо свое общество, верно описал его, а не то, чтобы он был народен, потому что он так же верно мог описать и немецкое общество, следовательно, народность состоит во взгляде на вещи и формах проявления чувств и мыслей! — Так, милостивые государи, вы почти правы, но вот в чем дело: мог ли бы поэт верно описать свое общество, если б он не симпатизировал ему, если б не был участником его жизни, поверенным его тайн? Если ж он так же верно мог изобразить какой-нибудь эпизод из европейской жизни, то это значит только, что мы, русские, так же причастны и европейской жизни, как своей собственной. Что ж касается до народности собственно поэта, то вам стоит только попристальнее взглянуть в «Онегина», чтобы в мыслях и чувствах самого автора увидеть все элементы народности, чтобы признать, что только русский поэт, и притом в известный момент русской жизни, мог так мыслить и чувствовать и так выражать свои мысли и чувства! — Наконец, возьмем еще третью сторону, совершенно не похожую на обе первые, возьмем сочинения г. Гоголя. В них поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы; и автору очень естественно было бы впасть в простонародность, но он остался только народным, и в том же самом смысле, в котором народен Пушкин. Отчего ж это? Оттого, что г. Гоголь поэт, что он владеет высоким и могучим талантом; оттого, что в его описании какой-нибудь глупой ссоры двух идиотов или в пошлой жизни двух простаков я вижу взгляд на жизнь, взгляд грустно-шутливый⁸; я воображаю, сколько в мире людей, которых жизнь проходит в мелочах эгоизма, в еде, питье и спанье и которые думают, что они живут и делают должное; воображаю, и мне становится грустно... Самые так называемые сальности и плоскости, которые у всякого другого были б неминуемо отвратительны, в повестях г. Гоголя отличаются какою-то грациею, смягчаются какою-то наивностью; встречая самые резкие из них, вы прощаете их автору, как прощаете гримасу прекрасной и любимой женщине! — Что же следует из всего этого? А то, что у кого есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным! <...>

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

**«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ». ПОВЕСТЬ В СТИХАХ,
СОЧ<ИНЕНИЕ> ВИЛАНДА. В ТРЕХ ЧАСТЯХ.
ИЗД<АЛ> А. ПУШКИН**

Санкт-Петербург. 1836. 96 <страниц>. (8)

«Вастола» наделала много шума и в нашей литературе, и в нашей публике: имя Пушкина, выставленное на этом сочинении, напоминающем своими стихами времена Тредиаковского и Сумарокова, подало повод к странным сомнениям, догадкам и заключениям. Но критики и рецензенты поставлены этим магическим именем в совершенный тупик. Имя при сочинении важно для всех, для критиков особенно. В самом деле, ведь могут же быть такие сочинения, которые, как первый опыт неизвестного юноши, должны служить залогом прекрасных надежд; а как произведения какого-нибудь заслуженного корифея, могучего атлета литературы, должны служить признаком гниения художественной жизни, упадком творческого дара?.. Напиши теперь Пушкин еще «Руслана и Людмилу» — публика приняла бы холодно это произведение, детское по идее и вымыслу, но живое и пламенное по исполнению; но явись теперь с «Русланом и Людмилою» опять какой-нибудь неизвестный юноша — ему снова рукоплескала бы целая Русь!..¹ Да, что ни говорите, а имя при сочинении важное дело! — При настоящем двусмысленном состоянии нашей литературы появление почти каждого нового произведения сопровождается какою-нибудь странною и совсем не литературною историею; то же случилось и с «Востолю». Пушкин издатель или автор этой поэмы? вот вопрос. Мы не хотим решать его; нам нет дела до частных, домашних обстоятельств, соединенных с появлением того или другого сочинения; мы видим книгу и судим о ней. Да! так бы должно быть, но случай-то вовсе из рук вон! Мы скорей поверим, что какой-нибудь витязь толкучего рынка написал роман, который выше «Ивангое» и «Пуритан», драму, которая выше «Гамлета» и «Отелло»², чем тому, чтоб Пушкин был переводчиком «Вастолы». Пушкин может быть ниже себя, но никогда ниже Сумарокова. Равным образом, мы никогда не поверим и тому, чтобы Пушкин выставил свое имя на негодном рыночном произведении, желая оказать помощь какому-нибудь бедному рифмачу; такого рода благотворительность слишком оригинальна; она похожа на сердоболие начальника, который не хочет выгнать из службы пьяного, ленивого и глупого подьячего, не желая лишить его куска хлеба. Конечно, может быть, это сравнение покажется неверным, потому что оба эти поступка, по-видимому, имеют мало сходства; но я думаю, что они очень сходны между собою, и именно тем, что равно незаконны, при всей своей законности, неблагонамеренны, при всей своей благонамеренности, и тем, что, как тот, так и другой, лишены здравого смысла. Итак, очень ясно, что последний слух лжив, по крайней мере, мы так думаем вследствие нашего глубокого уважения к первому русскому поэту. Поэтому лучше оставить дело, как оно есть, не разгадывая и не объясняя его.

Но мы все-таки не хотим верить, чтобы эта несчастная и бесталанная «Вастола» была переведена Пушкиным, не хотим и не можем верить этому по двум причинам. Во-первых, «Вастола» есть произведение Виланда, как означено в ее заглавии. А что такое Виланд? Немец, подражавший или, лучше сказать, силившийся подражать французским писателям XVIII века; немец, усвоивший себе, может быть, пустоту и ничтожность своих образцов, но оставшийся при своей родной немецкой тяжеловатости и скучноватости. Потом, что такое должен быть немец, который хотел подражать французским острякам и балагурам восемнадцатого века? Если он человек посредственный, то похож на медведя, которого бы заставили танцевать французскую кадрили в порядочном обществе; если он человек мысли и чувства, то похож на жреца, который, забыв алтарь и жертвоприношение, пустился вприсядку с уличными скоморохами. Очевидно, что ни в том, ни в другом случае немцу не годится подражать никому, кроме самого себя, тем менее французским писателям восемнадцатого века. Теперь, что такое «Вастола»? По нашему мнению, это просто пошлая и глупая сказка, принадлежащая к разряду этих нравоучительных повестей (*contes moraux*), в которых выражалась, легкими разговорными стихами, какая-нибудь пошлая, ходячая и для всех старая истина практической жизни. Восемнадцатый век был в особенности богат этими нравоучительными повестями; самые повести Мармонтеля, хотя они писаны прозою, принадлежат к тому же типу. Эти повести всегда были нравоучительны, хотя и не всегда были нравственны, и очень понятно, почему их так любил восемнадцатый век: лицемер чаще всех говорит о религии, безнравственный человек больше других любит наставлять своих ближних длинными поучениями о нравственности. «Вастола» есть одна из этих нравоучительных повестей, которых бездну можно найти в наших прежних образцовых сочинениях, издававшихся в пользу и назидание юношества. Теперь спрашивается, кто может предположить, чтобы Пушкин выбрал себе для перевода сказку Виланда, и такую сказку?.. Может быть, многие скажут, что это естественный переход от «Анджело», — и то может стать!..³

Вторая причина, заставляющая нас не верить, как нелепости, чтоб Пушкин был переводчиком «Вастолы», заключается в достоинстве перевода, в этих стихах, которые Русь читала с восхищением при Сумарокове, которые стала забывать с появления Богдановича и о которых совсем забыла с появления Пушкина. Мы не станем излагать содержания «Вастолы», потому что мы этим показали бы крайнее неуважение не только к публике, но даже к самим себе: сказка не только пошла и глупа, но еще неблагопристойна. Вместо этого мы выпишем несколько стихов:

...подойдем к тому густому лесу,
 Который мглой невдалеке
 Салернски горы осеняет...
 Какое чудо в нем мелькает?
 А! вижу — в чаще дров удалый молодец
 Над связкой хвороста стоит и размышляет.
 Но где занять мне кисть, где взять такой резец,
 Чтоб, выставив во всем величестве патуру,
 Я мог изобразить точь-в-точь его фигуру?

Как он, недвижим на траве,
Копается в своей претолстой голове,
Какую только лишь в Москве
Или в других больших столицах,
При древних князях и царицах,
Срывала на пирах с поджаренных быков
Железная рука российских дюжаков;
Как рыжий цвет волос представить вам словами,
Блестящих меж деревьев огнистыми клоками,
Которые торчат вокруг плоского чела,
Подобно ржи в копне, что буря растрясла?
Огромный рост на лбу, скулы как роги,
В полфута уши, длинный нос,
Широкую спину и — ноги,
Которых склад довольно кос?
Короче — чудное игральное природы,
Каких немного в наши годы?
Но кои от лица и стана своего
Не потеряли ничего,
Затем, что матери Изиде,
Кого случится в странном виде
В насмешку свету произвесть,
Тому она сама покров в такой обиде:
Дарит другое что ни есть...

Это герой поэмы! — Каков? — А вот один из его подвигов!

.....
Нечаянно в одной долине пред собою
Он видит трех девиц, передких красотою;
На солнушке рядком
Они глубоким спали сном.
Перфонтий наш свои шаги останавливает,
Рассматривает их от головы до ног;
Все части озирает
И вдоль и поперек.
То шурит на их грудь, на нежные их лица
Свои татарские зеницы,
Как постник на творог;
То вновь распялит их, как будто что смекает,
И так с собою рассуждает:
«Не жалко ль, если разберу,
Что эти девки, как теляты,
Лежат на солнечном жару!
Ведь их печет везде: в макушку, в грудь и в пяты», и проч.

Эти три девицы были волшебницы; они исчезают из глаз героя «Востолы», и переводчик выразил это исчезновение следующим прекрасным и энергическим стихом:

С сим словом *трех девиц присутствие исчезает*.⁴

Предоставляем здравому смыслу читателей судить — Пушкина ли это стихи?..

Ф. В. БУЛГАРИН

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЦЕНУ

<Отрывки>

<...> Если б Аблесимов (автор «Мельника»¹) углубился более в свой предмет и продолжал идти путем, указанным ему природой; если б Княжнин не подражал слепо французам; если б фон-Визин был поскупее на нравственные разговоры и не остановился так скоро; если б князь А. А. Шаховской (наш современник) не истощил своего *истинно* комического таланта в скороспелой бенефисной работе; если бы Грибоедов жил и продолжал трудиться для сцены; если б Загоскин брал сюжеты из нашего народного быта и сбросил французское иго; если б Озеров изучил немецкую, английскую и испанскую словесность и не придерживался рабски французской школы; словом, если б не если б, то мы имели бы до сих пор *народную драматическую литературу*. Но благодетельного *если бы* не случилось, и теперь у нас можно составить один или два тома из *превосходнейших отдельных сцен*, а целых *народных пьес* у нас едва наберешь две, три, много четыре! Жалко и досадно! <...>

На меня могут сердиться наши новые драматурги, могут бранить меня в журналах (я уже привык к этому); но я скажу откровенно, что у нас *нет ни одной народной драмы*, которая бы могла выдержать разбор беспристрастной и ученой критики. *Ни одной* — извольте прислушать. Неужели это правда? Это мое *мнение*.

В авторе «Бориса Годунова» мы видим все стихии *народной драмы*. Есть сцены превосходные. Но эта пьеса написана для чтения, а не для сцены. Мы верим, что если б А. С. Пушкин захотел порядочно поработать, он мог бы создать *народную драму* и тем определил бы себе прочное место на русском Парнасе. Теперь литературные астрономы не могут еще определить с точностью положения этой блистательной звезды первой величины на литературном горизонте.

Все, что сказано о драме, относится почти во всем к высокой комедии, исключая того, что у нас есть «Горе от ума», или живая картина современных нравов. Я даже готов уступить порицателям «Горе от ума» и согласиться с ними, что если б в этой пьесе было более завязки, или действия, то было бы лучше. Но все-таки по языку, по характерам и по остроумию это *первая* пьеса, и притом истинно народная. Спросите: кто не знает наизусть хотя двух стихов из «Горе от ума»! Впрочем, у нас есть некоторые весьма хорошие комические пьесы князя Шаховского, Загоскина, «Модная лавка» И. А. Крылова². Комическая сцена наша хотя не богата, но все-таки имеет *денежку на черный день*. <...>

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Санкт-Петербург. Печатано в типографии
Императорской Российской академии. 1835. 189 <страниц>. (8)

Четвертая часть стихотворений Пушкина включает в себе двадцать шесть пьес, и в числе их известный всем наизусть «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный, вместо предисловия, при первой главе «Евгения Онегина» первого издания; потом, три большие сказки и, наконец, шестнадцать песен западных славян, переведенных или переделанных с французского (история этого перевода известна)¹.

Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой *четвертой* части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный... Так, например, всем известно, что Пушкин перевел *шестнадцать* сербских песен с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные двумя французскими шарлатанами, — и что ж?.. Пушкин умел придать этим песням колорит славянский, так что, если бы его ошибка не открылась, никто и не подумал бы, что это песни подложные. Кто что ни говори — а это мог сделать только один Пушкин! — Самые его сказки — они, конечно, решительно дурны, конечно, поэзия и не касалась их*; но все-таки они целою головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы². Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная же и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. «Гусар», «Будрыс и его сыновья», «Воевода» — все эти пьесы не без достоинства, а последняя решительно хороша: такие стихи, как, например, эти, теперь очень редки:

Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье —
Воевода все купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я —
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он.
И ему ты отдалась.

* Впрочем, сказка «О рыбаке и рыбке» заслуживает внимание по крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему размеру чисто русскому. Кажется, наш поэт хотел именно сделать попытку в этом размере и для того нарочно написал эту сказку.

Я скакал во мраке почти
 Милой пашпы видеть очи,
 Руку нежную пожать;
 Пожелать для новоселья
 Много лет ей и веселья
 И потом навек бежать».

Здесь есть чувство; но прочее по большей части показывает одно умение владеть языком и рифмою, умение, иногда уже изменяющееся, потому что нередко попадают стихи, вставленные для рифмы, особенно в сказках, стихи, в которых отсутствует даже вкус, видно одно *savoir-faire**, и то нередко с промахами!..

«Разговор книгопродавца с поэтом» привел нас в грустное расположение духа: он напомнил нам золотое время поэзии Пушкина, то время, когда — как говорит он сам о себе в этой пьесе —

Все волновало нежный ум:
 Цветущий луг, луны блистанье,
 В часовне ветхой бури шум,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демон обладал
 Моими играми, досугом;
 За мною всюду он летал,
 Мне звуки чудные шептал³,
 И тяжким, пламенным недугом
 Была полна моя глава;
 В ней грезы чудные рождались;
 В размеры стройные стекались
 Мои послушные слова
 И звонкой рифмой замыкались.
 В гармонии соперник мой
 Был шум лесов, иль вихорь буйный,
 Иль иволги напев живой,
 Иль ночью моря гул глухой,
 Иль шепот речки тихоструйной.

Да, прекрасное было то время! Но что нам до времени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все так же свежи, так же благоуханны!..

В том же «Разговоре книгопродавца с поэтом» поразило нас грустным чувством еще одно обстоятельство: помните ли вы место, где поэт, разочарованный в женщинах, отказывается, в своем благородном негодовании, воспевать их? В первом издании «Евгения Онегина», при котором был приложен и этот поэтический «Разговор», поэт говорит:

Пуškai их *Шаликов* поет,
 Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны так:

Пуškai их *юноша* поет,
 Любезный баловень природы!

* умение (*франц.*). — *Ред.*

Увы!.. Sic transit gloria mundi!..*

Но в четвертой части стихотворений Пушкина есть одно драгоценное перло, напомнившее нам его былую поэзию, напомнившее нам былого поэта: это «Элегия». Вот она:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но как вино, печаль миновавших дней
В моей душе чем старей, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!¹

Да! такая элегия может выкупить не только несколько сказок, даже целую часть стихотворений!..

С. П. ШЕВЫРЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ

<Отрывки>

Читатели журнала настойчиво требуют, чтобы он доносил им подробно и верно о каждой книге, которой заглавие мелькнет в объявлениях газетных. Одним это нужно просто для решения вопроса: купить книгу или нет. Они еще с невинным чистосердечием вверяют себя совести журналиста — иные журналы пользуются этим правом и образуют власть, которая растворяет поры самого упругого кармана; важный результат благосклонной критики такого журнала есть слово: покупайте! Большею частью они и заключаются этим словом. — Читателям другого рода такой библиографический отчет нужен непременно для того, чтобы положить какое-нибудь мнение о книге, не читавши, даже не видавши ее. Они не любят читать книги: им это и скучно, им и некогда, но они смотрят на журналы как на вместилища литературы русской. Вышла книга — они не хотят книги, но до тех пор не останутся спокойны, пока не прочтут об ней в журнале мнения. Положите за них это мнение; скажите им просто: книга хороша, книга дурна — они сыты. В обществе они повторяют, что вы сказали, — и с них довольно. Эти люди любят стоять, облокотившись на вас, и спать на чужом плече. Их эмблема плющ: они вьются около журнальной библиографии и страницы, занятые ею, прежде всего разрезавают в журнале. — Есть еще читатели третьего разряда. Они читают книги, любят сочинить и свое мнение, но смотрят на мнения журналов как на сплетни литературные и тешатся ими. Ничто их

* Так проходит слава земная!.. (лат.) — Ред.

так не веселит, как если в журнале разберут книгу. Это им подарок. Это люди движения, люди беспокойные, которым не сидится на месте. Они не любят, чтобы на улицах было всегда смирно, чтобы долго не случалось пожаров. Где драка, где пожар, где журнальная брань — тут и они толпою.

Приступая к тому, чтобы исполнить слово, давно лежащее на совести Наблюдателя, мы не намерены угождать ни одному из трех разрядов читателей. Первому мы скажем: покупайте все книги, если можете. Литература русская, за исключением романа и повести, нуждается еще в пособиях вещественных. Суждения наши не будут несколько относиться к вашей щедрости. Критика, по иным, есть верный комиссионер торговой спекуляции: ее содержат в журналах, как деятельного товарища коммерческих оборотов, как фактора-жида, который умеет говорить на разных языках, или как красноречивого сидельца, который особенными прибаутками сбывает товар скорее. Одною из целей этого издания было противиться действиям такой критики¹. — Читателям второго рода, ищущим, как бы хоть с полу поднять какое-нибудь мнение о книге, мы также не удовлетворим, потому что не допустим в суждениях своих безусловной положительности: хорошо или дурно, потому что о многих книгах говорить не будем и, наконец, потому что не намерены никому не навязывать своих мнений. — Тем менее еще можем мы удовлетворить читателям третьего разряда: наша критика, мы смеем сказать открыто в глаза публике после годового труда, никогда не угождала их беспокойной страсти к зрелищам всякого рода.

Итак, наш библиографический перечень не будет целить ни на вашу щедрость, ни на мнение ваше, не будет угождать никакой из страстей ваших. Нет, мы желали бы, чтобы он относился прямо к вашей мысли, к вашему чувству, к вашей образованности, чтобы он был искренним и пристойным разговором с вами о тех впечатлениях, которые производят на нас явления нашей словесности, и поверкою этих впечатлений с положительными истинами науки.

Адресуя таким образом наш перечень, мы желали бы хотя несколько оправдаться в том, почему до сих пор Наблюдатель не вглядывался так пристально во всякое произведение литературы русской. Мы имели в виду обращать внимание публики на такие произведения, которые чем-либо могли действовать на нравственный успех общества, в хорошую или дурную его сторону. Значительна не книга, а ее действие. Значительно не слово, а мысль. Как часто несколько строк, напечатанных в журнале, даже одно выражение, может быть важнее целого тома по своему действию на читателей. Книга пролежит невинно в книжных лавках, без всякого влияния, а между тем ложное мнение, брошенное в нескольких строках, прививается как зараза и распространяет вредные соки в массе читателей. Как часто бывает гораздо нужнее обратить внимание на такую строку, которая толкает просвещение назад или плодит безвкусию. Литератору, который видит в литературе сильное орудие к просвещению и желает содействовать нравственному успеху общества, необходимо ловить такие значительные слова — и не пропускать их даром. Только такими наблюдениями всех может быть создано у нас литературное мнение, которым возвысится сословие литераторов. Верные своей цели, мы будем иногда пропускать книги и наблюдать стро-

ки — и на это, признаемся, не достанет наблюдательности у самого деятельного журналиста².

К тому же — скажем вслух и общую тайну нашей литературы — мало, мало у нас книг, которые могли бы дать повод к занимательной беседе с читателем. Скуден материал для русского критика! Бедность мысли и бедность классического ученья — вот о чем печально доносит нам большая часть произведений нашей словесности. Для того чтобы поверить истину этого замечания, стоит хотя на неделю уединиться в вашем кабинете с связкою одних только русских книг, вышедших в течение месяца, или без такого многотрудного подвига стоит заглянуть в подробную библиографию «Библиотеки для чтения». Как редко вынесешь отсюда что-нибудь замечательное — я уж не говорю о пище для мысли. Мысль тут умирает с голоду.

Несмотря на это, должно говорить подробно почти обо всех произведениях литературы нашей, потому что этого требуют. Всякая книга есть для публики вопрос, на который ожидают ответа в журнале. Публика не любит оставаться в недоумении; она не любит умолчаний или недомолвок. — Дело журнала — угодить иногда ее слабостям³. <...>

Взглянем на поэму с блестящим именем издателя. Мы не стали бы говорить о «Востоле», произведении самом невинном, если б она не подала повода к разным толкам в наших журналах⁴. Страннее всего то, что были рассуждения о том, Пушкина ли это сочинение или нет. Взглянувши на 2-ю страницу и прочитавши эти два стиха:

Была схожа с своим отцом,
Что в сходстве сем *нелестно*...

двумя подчеркнутыми словами можно было, кажется, решить все прения... Уж не говорю, что, заглянув далее и подметив слова и рифмы в таком роде, как: Салерну, царевну, *нони*, двойни, колбасов, присутствие, вобрази, тише, Псише, окроме, удовольствие, хотим, двух аршинов, или такой сумароковский стих:

Но мыслишь ты совсем с Перфонтием не сходно...⁵ —

нечего было, кажется, трудиться и задавать себе вопрос. Одно слово может быть в этом случае верною приметой, решающей недоумение и читателя и покупателя. «Библиотека для чтения» разыграла при этом замечательную роль. Сначала она завлекательно объявила, что Пушкин воскрес в этой поэме (как будто кто-нибудь сомневался в жизни его таланта)⁶; потом двусмысленным языком своим, с которого она льет и мед и яд на одно и то же произведение, на одного и того же автора, этим языком, который, с одной стороны, пилит, с другой — гладит в одно и то же время, она злоумышленно объявила, что это точно стихи Пушкина, и, посредством новой риторической фигуры двусмыслия, стала укорять Пушкина в том, что он издал такое произведение... В этом же самом номере «Библиотека» превознесла похвалами «Записки Чухина», роман ниже всякой посредственности, издание г. Смирдина, издателя «Библиотеки»...⁷

Вот что делается у нас в литературном мире! Вот поступки наших журналов! И все это совершается в глазах публики, открыто, печатно! Такие яв-

ления не гораздо ли важнее книг? Не на них ли должны пристальнее останавливаться взоры литературного наблюдателя? Такой ли словесности действовать на нравственный успех общества?

Издать дурную поэму — в воле всякого, кто имеет лишние деньги. Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающий толк в поэмах, развернув книгу, тотчас угадает, что поэма не Пушкина, и не купит ее. Тот же, который не отгадает, пусть купит: невежеству только и наказания, что остаться в накладе⁸. Итак, издать дурную поэму еще не беда. Но укорять в этом поступке и в то же время превозносить роман, потому что он есть издание издателя журнала, это более чем противоречие...⁹ <...>

О. И. СЕНКОВСКИЙ

Вообще нет ничего нового в политическом свете. Все народы живут в мире и согласии. Прочие известия — самые пустые. Африканский король ашантиев, говорят, объявил войну Англии и уже открыл кампанию¹. Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани. Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха, под заглавием «Современник», которого будет выходить четыре книжки в год, или родом журнала, которого каждые три месяца будет являться по одной книжке. И еще — этот журнал, или этот альманах, учреждается нарочно против «Библиотеки для чтения», с явным и открытым намерением — при помощи Божией уничтожить ее в прах. Что тут таиться! Угрозы раздались уже в наших ушах: и вот мы сами добродушно спешим известить публику, что на нас готовится туча. О вы, которые читаете *разные* русские журналы, скажите нам по милости, который это уже журнал возникает с этим благим намерением? Четвертый, кажется? Или пятый?...² Мы, право, не знаем: признаться сказать — ни одного из них не читали! Скажите, что с ними делается? Каковы они? Живы ли, здоровы ли? Как им везет ум и счастье? Если они еще не перешли в вечность и пожелают узнать об нашем здоровье, скажите им, что «Б<ибблиотека> для ч<тения>», благодарение русской публике, никогда еще не была в таком цветущем состоянии, как в нынешнем году. Это будет им очень приятно услышать. Они так радуются всегда чужими успехами!.

Читатели наши, вероятно, заметили, что «Б<ибблиотека> для ч<тения>» никогда не говорит ни об одном из русских журналов в особенности, если не имеет случая или повода сказать об нем чего-нибудь лестного, по крайней мере хорошего. «Б<ибблиотека> для ч<тения>» всегда желала и желает отличаться этим от толпы частных журналов, которые, как во всякой толпе, гремят только взаимными упреками и поочередно бранят друг друга. Пока журнал существует еще только в программе, «Б<ибблиотека> для ч<тения>» всегда думала, что она может, не заводя с ним распри, сказать свое мнение о том, чего можно ожидать от будущего издания, судя по программе. Но с появления первой его книжки водворяется глубокое и красноречивое молчание. Ни слова об этом журнале! — особенно если он плох и смеет еще браниться. Таким же образом, пока еще не вышел первый номер «Со-

временника», она считает себя вправе, не выходя из своих обыкновений, сказать то, что думает о предприятии А. С. Пушкина по прочтении его программы. Вот что она думает. «Современник» по своему содержанию и характеру, так как он допускает у себя журнальную полемику, то есть нападки на своих соперников по ремеслу, сам себе назначил уже место в низшей журналистике — даже в самой последней: ни один из хороших литературных журналов в Европе — ни одно Review, ни один Magazine, даже ни одна из французских Revues, которые уже почти не принадлежат к высшей журналистике, — не входит в спор с другим журналом; для них других журналов как бы не существовало; каждый пишет в своем духе, излагает свои мнения и не упоминает ни словом о своих собратиях, если не может говорить об них с похвалою. Это взаимное уважение, этот тон отличной светской вежливости к себе равным и даже к низшим именно и составляют особенный признак высшей журналистики в европейском мире, точно так же, как признак высшего общества в частном свете народов. Poleмика и брань предоставлены там газетам — журнальной черни; но и тут еще есть разряды: газеты несколько получше никогда не вступают в литературную полемику и довольствуются только политической³. Нам весьма неприятно быть в необходимости толковать такие вещи нашим периодическим собратиям, но что ж прикажете делать, когда эти понятия еще не проникли в нашу сырую атмосферу литературную! когда даже пример «Б<иблиотеки> для ч<тения>» не действует! Это еще не все. Программа «Современника» вызывает у нас гораздо печальнейшее замечание. Всегда должно сожалеть, когда поэтический гений первого разряда, каков Александра Сергеевича Пушкина, сам добровольно отрекается от своего призвания и с священных высот Геликона⁴, где он прежде, по счастливому выражению Проперция, *Musarum choris implicuit manus**, постепенно нисходит к нижним областям горы, к литературе более и более бледной и бесплодной. Это уже — затмение одной из слав народа. Но как горько, как прискорбно видеть, когда этот гений, рожденный вить бессмертные венки на вершине «зеленого Геликона», нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы в объятия собравшейся на равнине толпы виофян⁶, которая обещает за подарок наградить его грубым хохотом! Берегитесь, неосторожный гений! Последние слои горы обрывисты, и у самого подножия Геликона лежит Михонское болото. Бездонное болото, наполненное черною грязью! Эта грязь — журнальная полемика; самый низкий и отвратительный род прозы, после рифмованных пасквилей⁷.

Мы сочли бы себя счастливыми, если бы эти замечания могли еще удержать Александра Сергеевича Пушкина на краю пропасти, в которую он хочет броситься. Никто в свете не должен быть равнодушен, когда дело идет о спасении такого поэтического таланта для отечественной литературы, и Александр Сергеевич сам, конечно, оценит чистоту наших побуждений. Мы бы отдали все в свете, если бы он не сдержал своей программы, — если бы он выдал книжки своего «Современника» чистыми от всякой брани, от всяких нападок на другие журналы. Не дело журналов судить друг о друге: их судья — публика. Судите о книгах. Излагайте свои теории и оставьте других в покое. Уронить «Б<иблиотеку> для ч<тения>» нападками очень

* И с хороводами муз руки свои сочетал (*лат.*)⁵. — Ред.

трудно: единственное средство подкопать ее — сделать лучше, собрать в фокусе своего журнала более познаний, более дарований и трудолюбия, — что, конечно, очень легко. Будущий издатель «Современника», может, ошибается в расчете; может, думает он придать своему изданию более занимательности войною с «Б<ибблиотекой> для ч<тения>». Этой войны не будет. «Б<ибблиотека> для ч<тения>» не подберет перчатки, — не из трусости, но из чувства своего достоинства. Она никогда не унижится до ответа другим журналам и еще менее какой-нибудь газете или летучему листку. И зачем вам отвечать, друзья? Не лучший ли вам ответ — молчание? Если она, хладнокровно делая свое дело, будет все молчать, а вы кругом ее будете все гогочить, терзать ее, метать грязью в безмолвную, что ж из этого выйдет? — она сохранит свою важность, а вы потеряете уважение публики, как потеряли все те издания, которых страницы запятнаны журнальною бранью, вы будете смешны. Одним словом, слишком смешно, слишком неловко было бы со стороны «Б<ибблиотеки> для ч<тения>» защищаться от своих противников, когда она может за выходки против себя наказать их оставлением в неизвестности. Вообще, бесполезно знать, если уж нас упрекают в презрении, что презрения у нас достанет для всех нападков, от кого бы они ни происходили.

После этого дружеского объяснения с программю «Современник» может быть уверен, что об нем никогда более не упомянут в «Б<ибблиотеке> для ч<тения>», а Александр Сергеевич — что первые прекрасные стихи, которые он напишет, будут в ней похвалены с восхищением.

Н. В. ГОГОЛЬ

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире и которое без того было бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный размен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностью литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились¹, другие тянулись медленно и вяло;

новых, кроме «Библиотеки для чтения» и впоследствии «Московского наблюдателя», не показалось², между тем как именно в это время была замечена всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость и постный вид наших журналов: «Телеграф» давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение в отношении журналов петербургских³. «Телескоп» наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, который один только, к стыду прочих недальноруких своих товарищей, показал предпринимчивость и своими оборотами дал движению книжной торговле, книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии⁴. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей⁵. Профессор арабской словесности г. Сенковский взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактором г. Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: «Северной пчелы» и «Сына отечества». Не знаем, сами ли они взялись за сие дело или упрощены были г. Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякий журналист⁶. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли *одного*, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны все, чего публика вправе была *от него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа осьмнадцати листов в месяц выходило иногда вдвое более⁷. Теперь рассмотрим, исполнили ли долг те, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. — Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г. Сенковский. Имя г. Греча выставлено было только для формы, по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г. Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы⁸. Но какая цель была редак-

ции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г. Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем, нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего, однако ж, мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении толпы), но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочие, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномику?

Прочитавши все, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие, одним словом, является неутомимым. Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо.

Г. Сенковский является в журнале своем как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч.⁹, является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Белкина¹⁰, наконец, в собственном виде. Как ученый, г. Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории¹¹. Эти саги, которые пронизательный Шлецер, не имеющий донныне равного по строгому и глубокому критическому взгляду, признал за басни, недостойные никакого внимания, эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критиком: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства¹². Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г. Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г. Сенковского выше Шлецера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых¹³. Другое весьма важное притязание г. Сенковского и настоящий конек его есть Восток¹⁴. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке, что он не знает Востока¹⁵. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в человеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен по крайней мере утвердить за собою авторитет. Г. Сенковскому точно следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо когда его суждения так легковесны и проникнуты

духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно порицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке, ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал, но у него нигде не заметно этой движущей господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г. Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса*, — *вовсе никакого*¹⁶. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г. Кукольника наряду с Гёте и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось¹⁷. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельство. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объедают жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном¹⁸. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверены, что г. Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости, потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г. Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г. Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трюнил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям¹⁹. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оньй*, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слого. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оньй* совершенно неприличны²⁰. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное *i*, который впоследствии еще не так давно поддерживал один профессор²¹. Книга, в которой г. Сенковский встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи в роде повестей своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским произвели

всеобщее изумление, потому что г. Сенковский оуждал гласно всю текущую французскую литературу²². Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б<арона> Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные²³. Та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя «Б<иблиотеки> для ч<тения>». Мы почти нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в «Библиотеке для чтения» и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В «Библиотеке» находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была *смесь*, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное²⁴. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повести и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. В «Библиотеке для чтения» случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорит он, — в “Библиотеке для чтения”, не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками»²⁵. Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие²⁶. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. «Библиотеку» уже менее читали в столицах, но все так же много в провинциях²⁷, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

«Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, за-

граничные и отечественные новости. Редактор г. Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В «Северной пчеле» пробовали остроуту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, без сомнения люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удалства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись остроумные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такую оговоркою: «Впрочем, желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога» или: «Хорошая книга требует хорошего издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.²⁸; сии известия иногда довольно остроумно и в шутках своих показывали ловких и хорошо воспитанных людей, без сомнения имевших основательные причины быть довольными фабрикантами. Впрочем, от «Северной» пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название «Сына отечества и Северного архива», был почти невидимкою во все время²⁹. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обертке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец, просто словесность, география, этнография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромное энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из «Северной пчелы», следственно, уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов гг. Булгарина и Греча стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако ж журнал существовал, стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать

так же необходимо, как заснуть часик после обеда или выбриться два раза в неделю³⁰.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название этой газеты: «Литературные прибавления к Инвалиду»³¹. В ней помещались легонькие повести: беседы деревенских помещиков о литературе, беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель, к изумлению своему, видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание не длиннее строчки с восклицательным знаком. Г. Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частью мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только «Телескоп», с небольшими листками прибавления под именем «Молвы»; журнал, вначале отозвавшийся живою, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная «Библиотекою для чтения», не могла не задеть за живое других журналов. Но «Северная пчела» была издаваема тем же самым г. Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в «Библиотеке» как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что «Северная пчела» должна была хвалить все, помещаемое в «Библиотеке», и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сын отечества» должен был повторять слова «Пчелы». Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г. Воейков показал в «Литературных прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала³². «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для чтения», но действовал слабо, без постоянства,

терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливецца, шутил над баронством г. Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности³³. В «Молве» повторялись те же намеки на Брамбеуса часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения³⁴. Кроме того, «Телескоп» много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностью издания³⁵, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что «Библиотека для чтения» имела около пяти тысяч подписчиков, что мнения «Библиотеки для чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существуют ли «Телескоп» и «Литературные прибавления», что мнения и сочинения, помещаемые в «Библиотеке для чтения», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для чтения»³⁶, скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики; ибо то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких по количеству подписчиков можно предполагать более между читателями «Библиотеки», и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие все за чистую истину; что, наконец, «Библиотека для чтения» имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах «Сев<ерной> пчелы».

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, т. е. для большого числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых «Библиотекою»³⁷. Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, ибо «Библиотека для чтения» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя³⁸, ибо г. Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и все это делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом³⁹.

Все это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование «Библиотеки для чтения» и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный⁴⁰. Статья, помещенная по этому же случаю в «Северной пчеле», казалось, была писана человеком, в отчаянии

предвидевшим свою конечную гибель. В ней уведомили публику, что новый журнал хотел уронить «Библиотеку для чтения» потому только, что издатели оного объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и «Библиотека для чтения»⁴¹. Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанести обдуманый удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени «Московский наблюдатель» выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение «Библиотеки для чтения».

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — «Северная пчела» и «Библиотека для чтения», которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следственно, не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки, наконец, он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В «Московском наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала⁴². Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе⁴³. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей «Московского наблюдателя». Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезначительности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала. Но г. Андросов явился в «Московском наблюдателе» вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и «Московский наблюдатель» стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей, его украсили стихи Языкова и Баратынского — эти перлы русской поэзии⁴⁴, но при всем том в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеле-

неющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике⁴⁵. Статьи часто хорошие делались скучными потому только, что они тянулись из одного нумера в другой с несносной подписью: «продолжение впредь». Вот каков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для чтения».

«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых, он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою⁴⁶. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бедных покупщиков, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину⁴⁷, который вовсе не виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недальновидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г. Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. «Библиотска» отвечала коротко в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, т. е. к подписчикам, она говорила: «Вот какое неблагородство духа показал г. Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч.⁴⁸ Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих противников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предупредить публику.

Итак, выходка «Московского наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский наблюдатель» замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог «Наблюдатель» дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным «Телеграф», действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. «Наблюдатель» выпустил вслед за тем несколько номеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Через несколько номеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в «Библиотеке» статьи под именем «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе⁴⁹.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но все же с некоторою застенчивостью, и после сами старались все это как-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и «Телескоп», и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь⁵⁰; с обыкновенною сметливостью о ней намекнул и г. Воейков⁵¹; она возродила статью и в «Московском наблюдателе». Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость? какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим? Другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат?⁵² Несколько безгласных книжек, выходявших вслед за тем, совершенно погрузили «М<осковского> наблюдателя» в забвение. Даже самая «Библиотека для чтения» перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике; продолжала шутить над важным и неважным и говорить все то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту; какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожил, классиков; «Московский вестник», один из лучших журналов, несмотря на то что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы по-

знакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере, стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщете. Развернувши их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире. А между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни; полнейший, обширнейший гений XIX века⁵³.

2) В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнуемый вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались⁵⁴. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира. Пусть эти явления будут всемирно-европейские, хотя они отражались и в России; рассмотрим литературные события чисто русские:

3) Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей⁵⁵, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин⁵⁶, гласно требовавшие своего определения и настоящей верной оценки так, как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые. Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжении <sic!> нескольких лет и повторяемого доныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только побранили⁵⁷. Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира... другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с большими несообразностями. Вопросом: отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести? — вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и

воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами⁵⁸.

О чем же говорили наши журналы? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно-образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большей части была каким-то гаерством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, генияльная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагоприятное расположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует⁵⁹. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей,

уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и все это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить — итак, подавай нам Шекспира. Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», — а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, растроганной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева как об утешительном исключении⁶⁰. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг, и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: *сей* и *оний*. Вот до чего дошла наконец русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой⁶¹? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением⁶²: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша

словесность молодая. Корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отличались совершенно в особенную форму, и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы, и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заклучим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере, заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели «Сына отечества», издатель «Телескопа» заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

А. С. ПУШКИН

**«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ». ПОВЕСТЬ В СТИХАХ,
СОЧИНЕНИЕ ВИЛАНДА, ИЗДАЛ А. ПУШКИН**

С.-Петербург, в типографии Департамента
внешней торговли, 1836, в 8, стр. 96

В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель «Вастолы» хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется *издавать*; слово ясно; по крайней мере, до сих пор другого не придумано.

В том же журнале сказано было, что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором, что А. С. Пушкин только дал ему напрокат свое имя и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей».

Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но, конечно бы, не принял милостыни от кого бы то ни было.

После такового объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намекам, столь оскорбительным.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ (?)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «СОВРЕМЕННОМ»*

Мы бы отдали все в свете, если б он
 (А. С. Пушкин) *не сдержал своей программы.*
 (Известие «Библиотеки для чтения»
 о «Современнике». Апрель 1836,
 «Литературн<ая> летопись», стр. 67)

Что можно сказать о журнале, которого еще нет? Можно ли судить о журнале по его программе? Еще более: можно ли судить о нем и о журнальной программе, когда *программы нет*? Кажется, невозможно, по общепринятым понятиям? Но нет правила без исключения, а еще более — без отступления. Таков случай, являющийся ныне, когда совершенно неуместный отзыв «Библиотеки для чтения» о журнале, еще не вышедшем в свет, мог возродить некоторые недоумения и превратные толки в публике. Критик «Библиотеки для чтения», ссылаясь на какую-то программу «Современника», которой не было и нет ни в печати, ни в рукописи, о которой, следовательно, никому знать нельзя, объявляет, что «Современник» *есть род бранно-периодического альманаха, что этот журнал, или этот альманах, учреждается нарочно против «Библиотеки для чтения», с явным и открытым намерением, при помощи Божией, уничтожить ее в прах; что «Современник», по своему содержанию и характеру, сам себе назначил уже место в низшей журналистике, даже в самой низкой, и проч., и проч.* Давно говорится, что у страха глаза велики; но здесь должен действовать не один страх, а кое-что и другое, которое не умеем наименовать, ибо страх увеличивает видимые предметы, а здесь вымышлены несуществующие. Программы издателя нет, но она воплощается в воображении критика.

Для успокоения встревоженного воображения в одних и для объяснения другим скажем несколько слов о сем предмете, которые, на всякий случай, могут служить некоторою действительною программою «Современнику», если речь зашла о мнимой программе.

Имя Пушкина так известно у нас, что в одном имени его заключается программа журнала, который он издавать намерен. Из сего уже неминуемо следует, что в понятиях каждого образованного читателя между «Современником» и «Библиотекою для чтения» ничего общего быть не может. Больно критику «Библиотеки для чтения» ставить наряду имена Брамбеуса и Пушкина, как то выставлено на стр. 21 «Литературной летописи» той же апрельской книжки, и говорить, что «Новоселье» Смирдина отличается тем, что в нем стихи Пушкина и проза Брамбеуса¹. Со стороны критика «Библиотеки для чтения» эти слова могут еще быть признаны великодушным смирением и условною светскою вежливостью, но большинство русских читателей, без сомнения, судит иначе. Можно утвердительно сказать, что тот, кто подписывается на «Библиотеку для чтения» из того именно, что в ней преимущественно печатаются статьи Брамбеуса, тот не подпишется на «Современника» из того именно, что в нем будет преимущественно Пушкин.

* Эта статья получена была нами до выхода в свет первой книжки «Современника». Изд<атели>.

Два вкуса столь разнородные, две умственные потребности столь противоположные не могут вместиться в одном читателе.

Далее критик вдается, с обыкновенным своим полноводием слов, в поэтико-мифологические и трогательные рассуждения о журнальной полемике, которую он сравнивает с *бездонным болотом, наполненным черною грязью*, и все это для того, чтобы *удержать А. С. Пушкина на краю пропасти, в которую он хочет броситься*, вероятно с тем, чтобы добраться до «Библиотеки для чтения», ибо цель «Современника», сказано выше, *есть уничтожить ее в прах*. Таким образом, из одной любви и жалости к ближнему и в бескорыстную предосторожность погибающему, критик, действуя на ум его собственным жертвоприношением, кидается в это *бездонное болото*, как новый Курций², и написал несколько страниц самой заносчивой полемики в запасный ответ на то, что никем не сказано, но, может быть, некогда будет сказано в «Современнике». Отдавая полную справедливость подобному самоотвержению, мы, с своей стороны, отнюдь не согласны с критиком в мнении его о журнальной полемике. Понятия его о ней чрезвычайно одностронни и индивидуальны.

Есть полемика и полемика, как есть писатель и писатель, человек и человек. В полемике, так же как в самых жарких словесных спорах между людьми образованными и благовоспитанными, невидимую рукою и высшим чувством приличия сохраняется мера, за которую переступать не следует; так и в письменных и журнальных спорах есть литературная совесть, предписывающая свои законы. У людей же другого образования и другой натуры и в самых хладнокровных разговорах срываются с языка и с пера выражения грубые, площадные, оскорбительные для утонченного вкуса и чистого нравственного чувства! Напротив, полемика, удержанная в законных границах, есть необходимая стихия журнала. Витийствовать против нее есть или необдуманность, или литературное ханжество. Единогласия в мнениях требовать нельзя. Говорить всегда свое и от себя, не слушая других, не объясняясь с другими, не возражая при случае другим, есть физическое упражнение языка без цели и последствий. Равновесие есть общий закон природы, а нет равновесия без противоборства сил. Вопреки мнению критика, который называет полемику *родом прозы низким и отвратительным*, мы утверждаем и сошлемся на убедительные примеры, что полемика может вознестись до высшей и увлекательнейшей прозы. Но есть род прозы, который мы и именовали не знаем, но вот некоторые из его примет. Говорить о программе журнала, когда ее нет, стараться заранее произвольными и оскорбительными догадками вредить в общем мнении книге, которой еще нет перед судом публики, избрать человека, коего имя, по крайней мере для русского, имеет в себе нечто симпатическое с любовью и гордостью народною, и взводить на него предосудительные небылицы, как, например, намерение подорвать чужое литературное предприятие и посвятить сей корыстной цели дарование возвышенное, — вот что хуже всякой худой полемики, потому что полемика есть война, стычка, схватка мнений, а подобное нападение имеет вид обдуманного и личного.

Странными литературными законами руководствуется «Библиотека для чтения»! По собственным словам ее, *она никогда не говорит ни об одном из русских журналов, в особенности с появления первой его книжки*, а позволяет

себе изрекать жестокие приговоры над журналом, еще не существующим, предавать его негодование публики, на основании программы, которой нет, и наносить оскорбления писателю, которого она сама именует *поэтическим гением первого разряда*, потому только, что он собирается издавать журнал, то есть печатать у себя и в издании под своим именем свои собственные сочинения и сочинения своих приятелей и единомышленников в литературе. В силу такого литературного кодекса следовало бы, что не должно позволять себе худо говорить о ком-нибудь в присутствии его, но позволяется обвинять заочно; что непозволительно судить о человеке по действиям и словам его, но подобает судить о нем по произвольным догадкам, когда действий и слов этих еще нет, и вымышлять за него эти действия и слова, чтобы беспристрастнее судить о них; что неприлично защищать себя от нападения, но что всякому предоставляется право напасть врасплох и из-за угла на человека, которого мы подозреваем в недоброжелательстве к нам.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К „РУССКОМУ ИНВАЛИДУ“»

Столь давно и столь нетерпеливо ожидаемая просвещенными любителями отечественного слова первая книжка «Современника», литературного журнала, издаваемого А. С. Пушкиным, вышла в свет в первых числах апреля¹. Она вполне оправдала наши ожидания. Это журнал европейский, такой, какого не было на святой Руси после 1802 и 1803 годов «Вестника Европы», изданного Карамзиным, и 1808 и 1809-го, изданного Жуковским².

В этой первой книжке не тиснуто ни одной вставочной зауряд пьесы, ни одной статьи посредственного писателя. Она открывается сильным, блестящим произведением лирической музыки песнопевца Кавказа, Полтавы и побед Паскевича и Ермолова³.

Пир Петра Первого

Над Невую резво выются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

*

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

*

Иль в отъятый край у шведа
 Прибыл Брантов утлый бот,
 И пошел навстречу *деда*
 Всей семьей наш юный флот?
 И воинственные внуки
 Стали в строй пред стариком,
 И раздался в честь пауки
 Песен хор и пушк гром?

*

Годовщину ли Полтавы
 Торжествует государь,
 День, как жизнь своей державы,
 Спас от Карла русский царь?
 Родила ль Екатерина?
 Имениница ль она,
 Чудотворца-исполина
 Чернобровая жена?

*

Нет! Он с подданным мирится;
 Виноватому вину,
 Отпуская, веселится;
 Кружку пенит с ним одну;
 И в чело его целует,
 Светел сердцем и лицом;
 И прощанье торжествует,
 Как победу над врагом.

*

Оттого-то шум и клики
 В Питербурге-городке,
 И пальба и гром музыки
 И эскадра на реке;
 Оттого-то в час веселый
 Чаша царская полна,
 И Нева пальбой тяжелой
 Далеко потрясена.⁴

И лавроносный песнопевец священной брани за честь России, за независимость Европы⁵ откликнулся в «Современник» стихами, достойными первой его молодости.

Ночной смотр

В двенадцать часов по ночам
 Из гроба встает барабанщик;
 И ходит он взад и вперед,
 И бьет он проворно тревогу.
 И в темных гробах барабан
 Могучую будит пехоту:
 Встают молодцы сгеря,
 Встают старики гренадеры,
 Встают из-под русских снегов,
 С роскошных полей италийских,
 Встают с африканских стеней,
 С горячих песков Палестины.

В двенадцать часов по почам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Одни за другим эскадроны.

В двенадцать часов по почам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фронту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Ставится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* тот их пароль,
Тот лозунг *Святая Елена*.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает Император усопший.⁶

Но не эти два прекрасные стихотворения, не «Роза и кипарис» князя Вяземского, не повесть и рассказ Гоголя, от которых помираешь со смеху, не путешествие в Арзрум А. С. Пушкина, не умное рассуждение о рифме барона Розена составляют характеристическую черту «Современника»⁷, но *честная и дельная* критика, которая без ругательств, без площадных острот, не осыпая бранью подсудимого писателя, высказывает ему истины, почтительно снимает повязку с глаз публики и подает ей светозарную свечочку для освещения темных и позорных мест нашей журналистики⁸.

«Современник» выходит толстыми томами, каждые три месяца по одному; это составит 4 тома в год. Конечно, эти 4 тома в 3 раза меньше 12-ти «Библиотек для чтения»; но зато журнал Пушкина чистое золото. Спешите, любезные соотечественники, спешите на него подписываться. Вы не раскаетесь; он стоит только 25 р<ублей>, с пересылкою 30 р<ублей> гос<ударственными> ассигнациями. Россия может гордиться этим журналом перед Европою.

П. Смирнов
Сергиевская пустыня.
14 апреля

В. П. АНДРОСОВ

КАК ПИШУТ КРИТИКУ

<Отрывки>

<...> Не ужасаясь *презрения*¹, которым «Библиотека» грозит каждому, кому бы вздумалось против нее сказать два-три слова, и вовсе не добиваясь чести, чтобы она *унизилась* до ответа и изменила *чувству своего достоинства* (уж верно это трехбунчужная строка Тютунджу-оглу²!), мы, однако ж, почитаем себя вправе сделать небольшие замечания на шумные выходки ее против Шевырева и Погодина³ и пугливую выскочку против «Современника» Пушкина⁴. Всего меньше мы при этом думаем защищать их против «Библиотеки»: кажется, они могли б обойтись и без союзных вспоможений. Но если истина может налагать обязанности, то так же мало извинительно уклоняться от исполнения их, как и от всякого признанного долга, хотя бы за это и пришлось полатиться *безвестностью*, которою *казнит* «Библиотека» своих противников.

Вижу казнь — и решаюсь. <...>

Впрочем, выходки против Погодина и Шевырева ничего еще не значат в сравнении с отзывом «Библиотеки» о журнале Пушкина «Современнике». В этом отзыве одинаково оскорблены и Пушкин и читатели. «Всегда должно сожалеть, когда поэтический гений первого разряда, каков Александра Сергеевича Пушкина, сам добровольно *отрекается от своего призвания* и с священных высот Геликона, где он прежде, по счастливому выражению Проперция, *Musarum choris implicuit manus*, постепенно нисходит к нижним областям горы, к литературе более и более бледной и бесплодной. Это уже *затмение одной из слав народов*. Но как горько, как прискорбно видеть, когда этот гений, рожденный вить венки на вершине „зеленого Геликона“, нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы в объятия собравшейся на равнине *толпы виофян*, которая обещает за подарок наградить его грубым хохотом! Берегитесь, неосторожный гений! Последние слои горы обрывисты, и у самого подножия Геликона лежит Михонское болото. Бездонное болото, наполненное черною грязью! эта грязь — журнальная полемика; самый низкий и отвратительный род прозы, после рифмованных пасквилей»⁵. Тут есть за что поблагодарить барона и Пушкину и публике. Один отрекается у него от своего призвания, другая — толпа виофян. И за дело! Как сметь издавать журнал, когда уж этим изволил заняться барон Брамбеус! И еще непростительнее *учредить его нарочно против* «Библиотеки для чтения». Так, по крайней мере, могло казаться подозрительному феодалу. Но откуда он это взял? — спросят. Из программы? Ее не было... Ее никто не видал. Мы только знали, что Пушкин предпринимает издавать литературный журнал; но как поселилась в голову барона мучительная мысль, что «Современник» угрожает его благосостоянию, этого мы не постигаем. Он же так самоуверен, так величав, так великолепен, что ему даже бы и бояться этого нечего. Откуда этот тон: «вообще не *бесполезно знать, что презрения у нас достанет для всех нападок, от кого бы они ни происходили*». Что дало право на него? Где эти труды изумительные г. барона, которые бы хотя сколько-нибудь оправдывали тон его? И с Пушкиным

ли ему говорить так? Неужели всякий журнал необходимо должен быть врагом «Библиотеки». Отчего это? И отчего поэт, принимая обязанность дарить публику *срочным* изданием своих произведений, отступник от своего призвания? И притом журнал не есть дело одного. Если «Библиотека» все еще находит сотрудников, то уж, конечно, «Современник» более может возбудить симпатии в литераторах, нежели лестная честь идти рядом с Тютюнджу-Оглу и бароном Брамбеусом. Но вот кара губительная, неотразимая. Внимайте: пока «Современник» существовал только в программе, «Библиотека» удостаивала его своим воззрением; «но с появления первой его книжки водворяется глубокая и красноречивая молчание. Ни слова об этом журнале!» Такая-то плачевная участь ждет «Современника»! Чувствительный барон предвидит это, но не может уже смягчить своих грозных приговоров. «*Мы сочли бы себя счастливыми, если бы эти замечания могли еще удержать Александра Сергеевича Пушкина на краю пропасти, в которую он хочет броситься*». Бедный Пушкин! Смотрите, какое кровное участие берет в нем барон: «*Мы отдали бы все в свете, если бы он не сдержал своей программы*». Ну, так и ждешь, что он скажет: *готов живот свой положить за други*. Где вы найдете такое беспримерное в наше время благодушие? Меня тоже это растрогало: я мирюсь с бароном и умолкаю в умилениях...

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «СОВРЕМЕННОМ»

Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш, Александр Сергеевич Пушкин, вознамерился издавать журнал; наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, многие даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная новость, новость дня, новость животрепещущая, и в этом смысле то, что хотим мы сказать о нем, будет настоящим известием. Дело в том, что у нас, в Москве, очень трудно достать «Современника» за какие бы то ни было деньги; несмотря на многие требования и нетерпение публики, в Москву прислано его очень небольшое число экземпляров. Странное дело! с некоторого времени это почти всегдашняя история со всеми петербургскими книгами, не издаваемыми, хотя и продаваемыми г. Смирдиным, и не сочиняемыми или не покровительствуемыми гг. Гречем и Булгариным. Эта же история случилась и с новым произведением г. Гоголя «Ревизор»: судя по нетерпению публики читать его, казалось бы, что в Москве в один день могла бы разойтись его целая тысяча экземпляров...¹ Наконец и мы прочли «Современника» и спешим отдать в нем отчет публике.

«Современник» есть явление важное и любопытное сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одною частию публики, и страха, ощущаемого от него другою частию публики. Г. Сенковский, редактор «Библиотеки для чтения», аристарх² и законодатель этой последней части публики, до того испугался предприятия Пушкина, что, забыв обычное свое благоразумие, имел неосторожность сказать,

что он «отдал бы все на свете, лишь бы только Пушкин не сдержал своей программы»³. Подлинно, что у страха глаза велики, и справедливо, что устранный человек, вместо того чтоб бить по призраку, напугавшему его, колотит иногда самого себя...

Мы не будем входить в исследование вопроса: имеет ли право Пушкин издавать журнал; мы даже не почитаем себя вправе предложить такой вопрос и, как люди не испуганные и, следовательно, сохранившие присутствие духа и владычество рассудка, предоставляем другим подобные разбирательства: ученому и книги в руки, говорит пословица. Мы же с своей стороны прямо и искренно выскажем наше мнение о «Современнике», сколько позволяет это сделать первая вышедшая книга.

Признаемся, мы не думаем, чтобы «Современник» мог иметь большой успех; под словом «успех» мы разумеем не число подписчиков, а нравственное влияние на публику. По нашему мнению, да и по мнению самого «Современника», журнал должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек, а не книжищ, и появляющемся чрез три месяца? Такой журнал, при всем своем внутреннем достоинстве, будет походить на альманах, в котором, между прочим, есть и критика. Что альманах не журнал и что он не может иметь живого и сильного влияния на нашу публику — об этом нечего и говорить. «Библиотека для чтения» особенно одолжена своим успехом тому, что продолжительность периодов выхода своих книжек заменила необыкновенною толстою их. Какая тут живость, какая современность, когда вы будете говорить о книге через три или через шесть месяцев после ее выхода? А разве вы не знаете, как неживущи, как недолговечны наши книги? Им не помогут и ваши звездочки⁴, потому что они рождаются, по большей части, под несчастною звездою. Вот что мы находим главным недостатком в «Современнике».

Главное же достоинство его, если только это может почтяться каким-нибудь достоинством, состоит в том, что в нем все статьи оригинальные, кроме, разумеется, стихотворений. Каковы же эти статьи? А вот об этом-то мы и хотим поговорить.

«Современник» состоит из пяти стихотворений⁵ и одиннадцати прозаических статей. Стихотворения вообще все не без достоинства, кроме «Розы и кипариса». «Пир Петра Великого» отличается бойкостью стиха и оригинальностью выражения. «Скупой рыцарь», отрывок из Ченстоновой трагикомедии, переведен хорошо, хотя как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе. Но «Ночной смотр» Жуковского есть одно из тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является не больше одного или двух... Это истинное перло поэзии как по глубокой поэтической мысли, так и по простоте, благородству и высоте выражения. Мы очень жалеем, что право собственности и величина пьесы не позволяют нам выписать его. Из прозаических статей прежде всего должно говорить о двух статьях г. Гоголя. Первая — «Коляска» есть не что иное, как шутка, хотя и мастерская в высочайшей степени. В ней выразилось все умение г. Гоголя схватывать эти резкие черты общества и уловлять эти оттенки, которые всякий видит каждую минуту около себя и которые доступны только для одного г. Гоголя. Но пьеса все-таки не больше как шутка и, по нашему мнению, не может заменить собою отсутствия повести, которая почитается у нас необходимым

украшением всякой книжки журнала, особливо первой. Вторая статья г. Гоголя, «Утро делового человека», говорят, есть отрывок из его комедии. Во всяком случае, она представляет собою нечто целое, отличающееся необыкновенною оригинальностью и удивительною верностью. Если вся комедия такова, то одна она могла бы составить эпоху в истории нашего театра и нашей литературы, а г. Гоголь одну уже напечатал и еще, говорят, готовит две... Эта пьеска есть отрывок из которой-то из них, как мы слышали⁶. «Путешествие в Арзрум» самого издателя есть одна из тех статей, которые хороши не по своему содержанию, а по имени, которое под ними подписано. В самом деле, если есть на свете такие люди, которые за что бы ни принялись, все портят, которые ничего не умеют порядочно сделать, то есть и такие, которые ничего не умеют сделать дурно. Статья Пушкина не заключает в себе ничего такого, что бы вы, прочтя ее, могли пересказать, что бы вас особенно поразило, но ее нельзя читать без увлечения, нельзя не дочитать до конца, если начнешь читать*. «Разбор сочинений Георгия Конисского» хорош, в том смысле, что дает ясное понятие о разбираемой книге и возбуждает желание прочесть самую книгу. Суждение о Георгии Конисском как об историке и историческом лице нам кажется справедливым, но чтобы он был хорошим проповедником — с этим мы не согласны: его красноречие — схоластическое и тяжелое⁸. Самые дурные статьи — это «О рифме» барона Розена и «Париж», этот род записки, писанной к приятелю на разных лоскутках, без всякой связи и занимательности, дурным языком⁹. «Долина Ажигугай» примечательна как произведение черкеса (Султана Казы-Гирея), который владеет русским языком лучше многих почетных наших литераторов¹⁰.

Но самые интересные статьи — это «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 г.» и «Новые книги»: в них видны дух и направление нового журнала. «Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли». Так начинается первая статья, и мы выписали ее начало для того, чтобы показать, что «Современник» имеет настоящий взгляд на журнал¹¹. В самом деле, смешно было бы думать в наше время, чтобы журнал был энциклопедиею наук, из которой можно было черпать полную горстью знания, посредством которой можно было сделаться ученым. Только одни невежды и верхогляды могут так думать в наше время. Журнал есть не наука и не ученость, но, так сказать, фактор науки и учености, посредник между наукою и учеными. Как бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не изложит полной системы какого-нибудь знания: она может представить только результаты этой системы, чтобы обратить на нее внимание ученых, как скорое известие, и публики, как рапорт о случившемся. Вот почему такое важное место, такое необходимое условие достоинства и существования журнала составляет критика и библиография, ученая и литературная.

Главное содержание разбираемой нами статьи состоит в суждении о литературных периодических изданиях в России за 1834 и 1835 г. Мы почитаем за долг сказать, что все эти суждения не только изложены резко, остро и

* Кроме того, в этой статье есть превосходные стихи, которыми переведено одно турецкое стихотворение.

ловко, но даже беспристрастно и благородно; автор статьи не исключает из своей опалы ни одного журнала, и хотя его суждение и о нашем издании совсем не лестно для нас, но мы не видим в нем ни злонамеренности, ни зависти, ни даже несправедливости¹². О «Библиотеке для чтения» высказаны истины резкие и горькие для нее, но уже известные и многими еще прежде сказанные. Одно только показалось нам и новым и крайне удивительным: мы не знали до сих пор, что паяснические повести и гаерские фанфаронады в критиках и рецензиях «Библиотеки» принадлежат почтенному профессору О. И. Сенковскому, что барон Брамбеус и татарский критик Тютюнджи-оглу тоже не кто другой, как тот же г. Сенковский¹³. О «Наблюдателе» сказана сущая истина, почти то же самое, что было сказано и в нашем журнале, только немного понисходительнее¹⁴. Вообще «Современник», при всей своей благородной и твердой откровенности, обнаруживает какую-то симпатию к «Наблюдателю». Например, сказавши, что это журнал безжизненный, чуждый резкого и постоянного мнения, он чрез несколько страниц приходит в восторг от критик г. Шевырева; потом намекает о каких-то перлах русской поэзии, будто бы находящихся в «Наблюдателе», а этот намек довольно ясно намекает о *знаменитых друзьях*, так, по крайней мере, нам показалось...¹⁵ В суждении о «Наблюдателе», к слову о его редакторе, высказана очень дельная мысль, в том смысле, что обнаруживает верный взгляд на то, чем должен быть журнал: «Редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его слога, на общепонятности и занимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала». Вслед за тем очень верно и очень остроумно замечено, что «„Наблюдатель“ похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания»¹⁶.

Превосходно также характеризуется «С<еверная> пчела»: она просто названа афишкой, в которой помещаются объявления о книгах вместе с критиками на помадные и табачные лавочки, пишущиеся какими-то «ловкими и хорошо воспитанными людьми, без сомнения имевшими причины быть довольноными фабрикантами». Очень остроумно также замечено о редакторстве г. Греча в «Библиотеке для чтения»: «Имя г. Греча выставлено было только для формы, по крайней мере никакого содействия не было замечено с его стороны. Г. Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы»¹⁷.

Нас очень изумило в этой статье упоминание о литературных сплетнях и клеветах, издаваемых под именем «Литературных прибавлений к Инвалиду»: неужели почтенный издатель читал эти листки и нашел свободное время говорить о них?.. Впрочем, одумавшись, мы перестали удивляться: в Москве очень недавно один журнал с каким-то особенным удовольствием объявил, что он живет в мире с «Литературными прибавлениями к Инвалиду»¹⁸ — да продлит Бог эту дружбу на бесконечное время, для доказательства, что и в наше время могут быть Оресты и Пиллады¹⁹!..

Окончание статьи состоит в упреках нашим журналам, по большей части очень основательных и справедливых, в том, что они не замечали истинно важных явлений умственного мира, а занимались одними мелочами. К числу важных явлений умственного мира отнесена смерть Вальтера Скотта, одного из величайших, мировых гениев искусства, требовавшая оценки его произведений, о которых, однако ж, наши журналы не почли за нужное сказать что-нибудь. Потом, новое направление европейских литератур, о котором, вопреки «Современнику», скажем, было очень много говорено нашими журналами. К замечательным явлениям нашей литературы, не замеченным нашими журналами, отнесено особенно появление изданий русских старинных писателей; но, спрашиваем почтенного издателя «Современника», что бы он сам сказал об этих писателях? Мы подождем его мнения о них, а после и сами выскажем свое, чтобы заглянуть перед ним нашу вину в преступном молчании на их счет... Странным показалось нам мнение, что Жуковский, Крылов и кн. Вяземский будто бы потому не высказывали своих мнений, что считали для себя унижительным спуститься в журнальную сферу... Это что такое?.. Кто ж виноват в том, что эти писатели так горды? При том же, что они за критики? Крылов, превосходный и даже гениальный баснописец, никогда не был и не будет никаким критиком; Жуковский написал, кажется, две критические статьи: «О сатирах Кантемира» и «О басне и баснях Крылова»²⁰, и при всем нашем уважении к знаменитому поэту мы скажем, что именно эти-то две его статьи и показывают, что он не рожден быть критиком. Что же касается до кн. Вяземского, то избавь нас Боже от его критик так же, как и от его стихов...

Мы не согласны еще с тем, что будто бы жалкое состояние нашей журнальной литературы доказывается особенно тяжёлым делом о местоимениях *сей* и *оний*. Во-первых, этой тяжбы никогда не было; редактор «Библиотеки» шутил при всяком случае над этими подъяческими словцами, но статей о них не писал, а если и написал одну, то в виде шутки и поместил ее перед отделением «Смеси»²¹. Мы, напротив, осмеливаемся думать, что жалкое состояние нашей литературы и вообще нашей умственной деятельности гораздо более доказывается защищением и употреблением *сих* и *оних*, нежели нападками на *сии* и *онье*... Спрашиваем почтенного издателя «Современника», почему он, употребляя *сии* и *онье*, не употребляет *сиречь*, *понеже*, *поелику*, *аще*, *сице*?.. Он, верно, сказал бы, потому что эти слова вышли из употребления, что они не употребляются в разговоре?.. Но чем же счастливее их *сии* и *онье*, которые тоже вышли из употребления и не употребляются в разговоре?.. Воля ваша, а, право, в нашей умственной деятельности, как и в нашей общественной жизни, очень мало видно владычества здравого смысла, даже в мелочах; у нас всякий сам хочет давать законы, забывая, что если что-нибудь найдено или замечено справедливо другим, о том уже нечего говорить. Посмотрите на одно наше правописание или на наши *правописания*, потому что у нас их почти столько же, сколько книг и журналов: мы еще изъявляем наше детское уважение большими буквами и поэту и поэзии, и литератору и литературе, и журналу и журналисту — все это у нас, на Руси, состоит в классе и потому требует поклона...

Вообще эта статья содержит в себе много справедливых замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо и потому подающих надежду,

что «Современник» будет журналом с мнением, с характером и деятельностью. Мы не почитаем резкости пороком, мы, напротив, почитаем ее за достоинство, только думаем, что кто резко высказывает свои мнения о чужих действиях, тот обязывает этим и самого себя действовать лучше других. Что же касается до статьи «Новые книги», то она состоит больше в обещаниях, нежели в исполнении, и не представляет ничего решительного и замечательного²². Но подождем второго номера: он нам даст средство высказать наше мнение о «Современнике» яснее и определеннее, а между тем останемся при желании, чтобы новый журнал совершенно выполнил те надежды и ожидания, которые подает имя его издателя и резкая определенность его мнений о деятельности своих собратьев по ремеслу.

Ф. В. БУЛГАРИН

МНЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННОК», ИЗДАВАЕМОМ АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПУШКИНЫМ, НА 1836 ГОД

Статья 1-я

Что вы думаете о «Современнике»? Как вам нравится «Современник»? Вот существо письменных и изустных вопросов, которые мы получаем от весьма многих любителей словесности. Мы вознамерились отвечать всенародно, со всею нашею откровенностью и притом с полным уважением ко всем возможным личностям. Обращаем главное внимание на статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах», ибо в этой статье выражается дух, цель и все будущие намерения «Современника».

Эти дух, цель и намерения не *новость*! С ними выступали уже на поприще литературы «Литературная газета», под редакцией покойного барона Дельвига, и «Московский вестник», под редакцией г. Погодина. В этих журналах были объявлены те же самые притязания, те же виды и тот же образ мыслей. В «Литературной газете» и «Московском вестнике» участвовали те же самые сотрудники, что и в «Современнике», с малыми переменами. «Литературная газета» и «Московский вестник» не дошли до предположенной ими цели, захромали на пути, наконец, сели и заснули сном вечным, не оставив после себя никаких следов, кроме нескольких перебранок и похвал своим сотрудникам...

Судьба «Современника» впереди... мы не беремся прорицать...

Цель и намерения «Современника» изложены ясно. Он объявляет всенародно, что все журналы русские идут превратным путем, что они дурны, неудовлетворительны и что он, «Современник», хочет заменить потребность века, овладеть литературою, управлять ею правосудно и обучать любителей словесности искусству судить здраво о предметах и оценивать писателей. Всех литераторов он с первой книжки своей разделяет надвое: своих сотрудников ставит в первую шеренгу, других в заднюю, а некоторых, в том числе и нас, грешных, выгоняет за фронт, как неспособных к действительной службе. Чтоб решить, в состоянии ли исполнить «Современник» то, за что взялся, и должны ли мы повиноваться ему, разберем сперва крепость и силу его суждений.

Обвинения «Современника» всех других журналов состоят в следующих пунктах:

1) «Современник» говорит, что у нас вовсе не было критики, что она была *гаерством*, что будто похвала заключалась в словах: «эта книга удивительная, необыкновенная, неслыханная, генияльная, первая на Руси, продается по 15 рублей, автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона, возьмите, купите и проч.»¹. — Если б это было остро, мы бы посмеялись, но как это случалось иногда, именно в журналах, издаваемых литературною партией, которую в шутку называют аристократическою, по ее *желанию* первенствовать, то мы пожалеем об истине слов «Современника». С первой его книжки уже заметно это осмеиваемое им же направление критики. Два сотрудника «Современника», гг. Погодин и Гоголь, расхвалены не на живот, а на смерть². Ничего более нельзя сказать ни о Гумбольте, ни о Вальтер-Скотте, ни о Гёте, ни о Бейроне, а доказательства «Современника» чрезвычайно слабы. Он, по примеру мимолетных газетных бюллетеней, излагает только ход мыслей автора, не разбирая, правильны ли они и основаны ли на существе дела, выписывает *отрывки* (и притом самые слабые) и, решив, что автор великий муж, представляет следующие права его на величие (стр. 296): «Он (т. е. г. Погодин) переводил из них (т. е. из великих писателей) *отрывки* для своего журнала; наконец он *многих* (?) из них перевел вполне, почти не заботясь, что важность их у нас еще мало чувствовали. *Вот реестр изданных им сочинений*». В этом *реестре* показаны «Марфа Посадница», драма, и «Димитрий Самозванец», история в лицах! А выше (стр. 222) «Современник» упрекает все вообще журналы в отсутствии чистого эстетического наслаждения и *вкуса*³! На стр. 312 «Современник», говоря о г. Гоголе, сотрудникне своим, сравнивает его с фон-Визинным и говорит без всяких обиняков, что «Тарас Бульба» *есть творение, достойное Вальтер-Скотта!* Хотя мнение это не подтверждается доводами, но «Современник» объявляет, «что он *желает и надеется* иметь часто случай говорить о (своем сотруднике) г. Гоголе». Одним словом, «Современник» делает то, в чем упрекает других, и притом несправедливо. Ни дать ни взять покойные «Литературная газета» и «Московский вестник»!

2) «Современник» говорит (стр. <221>)⁴: «Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству». — Это совершенно справедливо, но относится единственно к журналам, издававшимся и издаваемым литераторами, которых рецензии помещались в «Московском вестнике», в московских альманахах, в «Литературной газете» и которые ныне трудятся для «Московского наблюдателя» и «Современника». Публика наша не так проста и безотчетна, как думают те, которые берутся учить ее и управлять ею. Она не обращает ни малейшего внимания на безобразный гнев литераторов и в числе нескольких тысяч экземпляров раскупает сочинения авторов, у которых неприязненные журналы оспаривают всякое достоинство и малейшую искру таланта. Публика гнушается непримиримую враждою литераторов и их несправедливостью, и если она благосклонна в течение многих лет к «Северной пчеле», то именно за то, что в «Северной пчеле» хвалили, когда дело стоило похвалы, самих противников ее. Ни в одном журнале не го-

ворили так беспристрастно и с такою похвалою, как в «Северной пчеле», о сочинениях А. С. Пушкина, М. П. Погодина, Н. А. Полевого, князя Одоевского и других, часто даже вслед за самым жестоким нападением на издатель «Сев<ерной> пчелы», помещенным в журналах, которых эти литераторы были или редакторами, или сотрудниками. Г. Погодин, быв даже сам сотрудником издателя «Северного архива», порицал его беспощадно в «Московском вестнике», ссылаясь на зависимость свою от сотрудников, а издатель «Северного архива» не обращал на это внимания⁵. Нижеподписавшийся в течение почти пятнадцати лет есть цель или мишень, в которую стреляют все журналы, начиная и оканчивая свое существование⁶. Они в краткую жизнь свою употребляют все возможные средства, чтоб уронить его в мнении публики и доказать, что он не имеет ни малейшего дарования. А между тем этот самый нижеподписавшийся с радостью ловит случаи, когда по совести может похвалить своих противников, потому что он уважает публику, дорожит ее мнением и ни из дружбы, ниже из ссоры с частным лицом не посмеет дать волю страстям своим. Если «Северная пчела» и «Сын отечества» ошибаются в своих мнениях, то ошибаются добросовестно. Таков неизменный дух редакции этих журналов! Следовательно, упреки «Современника» относятся к тем только изданиям, в которых участвовали нынешние его сотрудники и которых дух отражается в первой его книжке.

3) «Современник» причисляет к литературному безверию и литературному невежеству то, что на страницах наших журналов не стоят имена Державина, Ломоносова, фон-Визина, Богдановича и что при выходе в свет новых изданий Державина и Карамзина не определено их верное достоинство. «Современник» говорит (стр. 218): «Они (т. е. Державин и Карамзин) требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного (надлежало бы сказать повторяемого) в продолжении (надлежало бы сказать в продолжение) нескольких лет и повторяемого поныне»⁷. — Отвечаем: кто же мешал приверженцам Карамзина и Державина высказать свое мнение? Неужели для этого надобно было создать особенный, новый журнал? — Впрочем, достоинства и заслуги наших классических писателей, почивших в могиле, достаточно определены в курсах словесности и в старых журналах. Повторять одно и то же скучно, а беспрестанно учить публику неуместно и неприлично. Об этих делах говорится при случае. Превозносить же живых классических писателей, разбирать их сочинения и определять им заживо место в литературе таким образом, как мы это видели в «Литературной газете» и в некоторых современных журналах, мы почитаем делом обидным, даже для самого классического писателя, особенно когда похвала написана другом или лицом покровительствуемым. Для современного писателя настоящая оценка в потомстве. Карамзин еще между нами, в друзьях своих, в облагодетельствованных им, в родных. Прибавим: едва ли не все наши классики имеют достоинства *относительные*. Теперь нельзя так писать, как они писали. У Державина, Ломоносова и даже у Батюшкова (если «Современник» хочет поместить его в классики⁸) *нет страстей*, мало жизни, более вымысла, нежели природы. В этом отношении Богданович с своей «Душенькой» выше их. А что значит поэзия без страстей, без жизни и движения? Отражение

солнца в малой капле вод*. Хвалить, превозносить легко, так как хвалили в «Московском вестнике» и «Литературной газете»; но такая хвала не утверждает прочной славы. После такой хвалы пьют за здоровье, едят устрицы и только!

4) «Современник» жалуется, на стр. 218, что у нас «распространилось в *большой степени*** чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень *явно всеобщее равнодушие к поэзии*». — Довольно странная жалоба со стороны поэта! Пусть нам напишут «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», «Светлану»¹⁰ и подобное: увидите, будет ли публика равнодушна к поэзии! Впрочем, нельзя жаловаться и на излишнее пристрастие к повестям. Незвизирая на все похвалы, чтение «Повестей Белкина» (например) не распространилось в *большой степени*, а повесть «Пиковая дама» (в «Библиотеке» для чтения) была прочитана с удовольствием. Публика усыновляет все хорошее. Когда поэзия превосходила прозу, публика занималась поэзией; когда проза опередила поэзию, публика взялась за прозу. Ничто в этом мире не вытеснит из повсеместного и повседневного обихода, праздничного и будничного, басен И. А. Крылова, хотя было время, что некоторые унижали их и смеялись даже над нижеподписавшимся, когда он объявил в «Литературных листах», что басни Крылова есть единственное нестареющее народное творение и что в действующих лицах басен мы узнаем Русь православную во всей красе ее¹¹. Поэзия Крылова и теперь по вкусу публики. Будьте народным поэтом, и публика не будет равнодушна к поэзии. Ни собственные имена, ни сказочная форма не составляют народности: теперь надобно более, нежели одной музыки в языке, чтоб приковать читателей к поэзии. Давайте действия, давайте страстей — поэзия воскреснет. В прозе мысли могут заменить страсти, но в поэзии мысли без страстей — мороз. «Современник» жалуется, справедливо, на равнодушие публики к поэзии, но и публика имеет справедливые поводы к жалобам.

5) «Современник» говорит (стр. 223): «Кто же были те, которые у нас говорили о литературе?*** В это время не сказали своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, *ни даже те*, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после *этого* удивляться состоянию нашей литературы?»¹²

Итак, «Современник» не признает никого из современных журналистов и их сотрудников достойным судить о литературе! Он вызывает тех, чьих журналы упали именно потому, что они не имели голоса, и требует мнения гг. Жуковского, Крылова и князя Вяземского. Чудная смесь правды, несправедливости, невозможности и пристрастия!

* Из стиха Державина⁹. *Сочинитель*.

** По логическому смыслу можно вознестись на степень (т. е. ступень), достигнуть степени, но *не распространиться в большой степени*. Важная погрешность противу духа языка! Равномерно степень может быть *высокая* или *низкая*, а не *малая* или *большая*. В переносном смысле должно соблюдать ту же точность в уподоблениях, как и в вещественном значении предмета. *Сочинитель*.

*** Современные писатели и журналисты могут поблагодарить за этот комплимент. *Сочинитель*.

О В. А. Жуковском и И. А. Крылове ни слова. Они были журналистами, писали и составили себе справедливую славу. Но как каждый частный человек, подписывающий свое имя под своим сочинением, тем самым уже дает право каждому читателю и критику судить о своих литературных способностях, то мы спрашиваем «Современника», на каком основании помещает он князя Вяземского *рядом* с колоссальным писателем И. А. Крыловым и с преобразователем пиитического русского языка и форм поэзии В. А. Жуковским? Есть ли здесь то правосудие, с которым он обещал управлять общим мнением? Что такое сотворил почтенный князь Вяземский, чтоб оно хотя несколько приближалось к творениям Жуковского и Крылова? Если «Современник» хочет обучать нас, то пусть укажет на права превозносимого им автора на триумвират. Правда, что ни один из наших стихотворцев не написал столько альбомных стихов и мадригалов дамам, как почтенный князь Вяземский, но мы не можем припомнить ни одного из его произведений, которое бы по пиитическому достоинству могло быть взвешиваемо на одних весах с произведениями поэтов, каковы Жуковский, Крылов и сам издатель «Современника». Что же касается до критического таланта почтенного князя Вяземского, то мы можем судить об нем только по нескольким *предисловиям к чужим сочинениям*¹³. Эти критические творения суть плоды почвы лагарповского удобрения. Отсутствие влияния английской и германской литературы и критики XIX века ощутительно в этих трудах *в самой большой степени*. Весьма замечательно, что «Современник» жалуется, будто в других современных журналах излишне хвалят друзей редакторов! А еще замечательнее, что «Современник» похвалит *одни* только критики г. Шевырева, появившиеся в междуцарствие, т. е. между смертью «Литературной газеты» и «Московского вестника» и рождением «Современника». Радует нас этому открытию и драгоценной находке, которой *никто не заметил* до появления «Современника».

Из всего этого можно удостовериться, что «Современник» делает именно то, что он поставляет в вину другим журналам, и что от критик его мы не должны ожидать ни прямого направления литературы, ни беспристрастия. «Современник» есть возобновленная «Литературная газета», только в другом виде. О предметах и лицах суждения «Современника» столь же несправедливы, как и о критике, в чем мы удостоверим наших читателей в следующей статье.

Статья 2-я

После общих жалоб «Современник» переходит к частным обвинениям. Здесь едва ли не более несправедливости и противоречий.

1. На стр. 194 и 195 «Современник» обвиняет «Библиотеку для чтения» в том, что хотя на заглавном листе ее были выставлены имена почти всех литераторов, но в журнале господствовали тон, мнение и мысли *одного*, а «Северную пчелу» упрекает и осуждает за то (на стр. 203), что она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнениями¹⁴. Далее (от стр. 197 до стр. 201) «Современник» усиливается доказать, что в «Библиотеке для чтения» не было никакого определенного тона, никакой точности и последовательности в мнениях и, наконец, что в критиках даже не было *никакого* мнения и *никаких* мыслей.

В «Современнике» находим именно все то, в чем он упрекает других. В желании унижить другие издания видим волю *одного*, а в исполнении этой воли — недостаток всего того, на чем основывается правое дело.

2. Стр. 194. «Современник» утверждает, что г. Смирдин поступил неосмотрительно, поручив в начале издания «Библиотеки для чтения» редакцию ее гг. Сенковскому и Гречу, и что выбор редакторов надлежало предоставить сотрудникам. Пиитические мечты о златом веке! Хозяин предприятия сам должен избирать редакторов, а дело сотрудников состоит в том только, чтоб доставлять статьи. Если кто из сотрудников недоволен редактором, тот отстает от издания, и конец. Так делается повсюду, и будет всегда делаться.

3. «Современник» говорит, на стр. 195: «Имя г. Греча выставлено было только для формы, по крайней мере, никакого действия не было заметно с его стороны». — Совсе несправедливо. Г. Греч печатал в «Библиотеке для чтения» статьи собственного сочинения, из которых статья критическая о современной словесности переведена на языки французский и немецкий и помещена в лучших европейских изданиях¹⁵. Г. Греч наблюдал за исправностью слога и чистотою языка статей, присылаемых сотрудниками весьма часто в виде самом неблагообразном. Это работа трудная и неблагодарная, но спасительная для журнала, в котором не все сотрудники учились по одной азбуке. Действия г. Греча в этом отношении весьма были заметны.

4. На стр. 195 «Современник» спрашивает: «но какая же цель была редакции этого журнала (т. е. „Библ<и>отеки для чтения“), какую задачу предположила она решить?» — Фраза, выписанная из французской полемики! — Журнал политический в стране, где существует оппозиция, может предполагать себе задачу для решения; но все литературные журналы в мире, все журналы энциклопедические следуют по одному направлению¹⁶. Всех их цель есть та, чтоб распространять полезные сведения, сообщать литературные новости и занимать любителей легкого чтения. Критику надлежало бы судить, как исполнял все это журнал «Библиотека для чтения», а не доискиваться цели, которая известна всем и каждому по программе.

5. Переходя к порицанию статей г. Сенковского и псевдонима его, барона Брамбеуса, «Современник» коснулся статьи г. Сенковского об исландских сагах. Из сказанного «Современником» о сагах видно, что «Современник» столь же слаб в истории Севера, как и в современной европейской критике. Он ссылается на Шлецера, утверждая, что это критик, «не имеющий поныне равного по строгому и глубокомысленному взгляду». Все это выписано из Карамзина, и тут же приведено мнение нашего историографа о сагах¹⁷. Мы уверены, что «Современник» не читал того, что Шлецер писал о сагах, ни того, что писано противу Шлецера по этому предмету. Иначе «Современник» не сказал бы: «Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, *но ограниченным* людям, а г. Булгарин написал даже рецензию, в которой поставил г. Сенковского выше Шлецера, Гумбольдта и всех когда-либо существовавших ученых». Хотя до сих пор Булгарин не видал еще ничего гениального по части истории и даже ничего ученого от издателя «Современника», которого не может почитать судьей в делах этого рода, но при всей своей *ограниченности* Булгарин советует ему прочесть хотя несколько из того, что было писано о сагах, например: сочи-

нения Шимельмана, Эвальда, Абрагамсона, Торкелиса, Ниерупа (Niurup), Адлербета, Багессена, Майера, Торлациуса, Магнусена, Веделя Симонсена, Стура (Stuhr), Шеллера, Раска, Гейера, великого Гердера и других ученых мужей¹⁸. Если б почтенный издатель «Современника» поработал лет десять над исследованием саг, выучился древнеисландскому языку и перебрал все мнения о сагах, тогда бы он не причислял защиты саг к *ограниченности ума*¹⁹ и знал бы, что мнение Шлецера давно уже потеряло вес свой в отношении к истории Севера. Булгарин не ставил г. Сенковского выше Гумбольдта и всех когда-либо существовавших ученых²⁰ и этой выдумки «Современника» не почитает ни колкою, ни остроумною, но Булгарин вменяет себе в обязанность никогда не спорить с «Современником» о предметах *ученых*, опасаясь, чтоб *ограниченность*, которою он так щедро наделил почитателей саг, теперь только процветающая в «Современнике», не принесла своих спелых плодов при поливке ученой критики.

6. «Современник» судит о Востоке! Он говорит, стр. 198: «Г. Сенковскому точно следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, *ничего не сделавшему*, трудно верить на слово». Мы не знаем, как силен г. издатель «Современника» в восточных языках и в восточной литературе, потому что не видали трудов его по этой части, но сожалеем, что он, упрекая писателя в том, что он ничего не сделал, не справился прежде об этом в книжных лавках. Пусть бы он заглянул во французское издание «Путешествия г. Мейендорфа в Бухару», просмотрел «Journal des Savans», наш «Энциклопедический лексикон», прочел «Supplément à l'Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols, par Joseph Senkovski» и заставил себя прочесть «Collectanea», извлечение из турецких историков о предметах, относящихся к истории Польши²¹. *Ученость* значит знать все или многое из написанного о том, о чем хочешь судить. *Ограниченность* значит знать дело поверхностно и судить без логики. *Невежество* означает незнание предмета. *Недобросовестность в литературе* есть умышленный пропуск того, что служит к похвале противника. Комментарий к этому не прилагаем, полагаясь на ученость «Современника». Я вовсе не намерен защищать г. Сенковского, который не имеет в этом нужды, но по долгу справедливости должен был указать, с каким познанием дела, с какою начитанностью и с какою добросовестностью «Современник» начинает свое критическое поприще.

Разбранив все журналы и объявив не способными к литературной службе всех литераторов, не принадлежащих к сотрудничеству «Современника», мог ли он пропустить «Северную пчелу»? Но с которой стороны задеть журнал, стоящий на ежедневной страже в литературе и следящий все ее движения? «Современник» хочет представить его незначительным, говоря, что мнения «Пчелы» составляются молодыми людьми, *пробующими* свое искусство²². Правда, что «Северная пчела», обязанная говорить об всех новостях, распределяет занятия сотрудников по силам каждого и по важности предмета. О легком, незначительном, скоропреходящем или эфемерном говорится легко и мимоходом, но важные предметы разбираются всегда знаатоками дела. Достойное достойному. «Современник» упрекает «Пчелу» в излишней *благосклонности*. В нашей новой, несозревшей и слабосильной литературе и быть иначе не может и не должно. Если б мы стали разбирать все русские сочинения по правилам строгой европейской критики и требо-

вать от наших авторов того, чего должно требовать от авторов французских, английских и немецких, то поступили бы неблагоразумно и доказали бы, что мы люди неопытные и неосмотрительные. Так, например, мы позволили сотруднику «Современника» напечатать в «Пчеле» похвалу «Истории Пугачевского бунта»²³. Но если бы мы сами стали разбирать это сочинение по всем законам критики, то оно не выдержало бы первого натиска. Все красноречие этой «Истории» сосредоточилось в *вытиске из рукописных записок И. И. Дмитриева о казни Пугачева*²⁴, а важность историческая разлетелась бы в прах. Что открыто нового, неизвестного в этой «Истории»? какие последствия извлечены из столь важного происшествия? насколько подвинулась история? что выиграло человечество? разгадан ли этот чудовищный феномен? На все эти вопросы слабо отвечала бы «История Пугачевского бунта», которую превознес до небес сотрудник «Современника» и которая поколебалась в своем основании от *одного замечания* покойного Броневского в «Сыне отечества»²⁵. Нет! «Северная пчела» не может быть излишне строгою, чтоб не прекратить и без того слабого движения нашей литературы. Она восстает там, где превратные суждения и толки могут быть вредны литературе, а золотой, безвредной посредственности позволяет наслаждаться краткою ее жизнью. Этот образ действия «Северной пчелы» одобрен всеми благоразумными людьми, опытными и сведущими в деле. «Современник» в укор называет «Пчелу» *корзиною*, в которую сбрасывал всякий *все, что ему хотелось*. Но если бы у нас не было в литературе такой корзины, какую имел в пасти венецианский лев для принятия всех мнений²⁶, то в литературе нашей водворилась бы вредная для ее успехов монополия и оскорбленный автор не имел бы места, где поместить свою защиту. Этим правом воспользовался и сам издатель «Современника», напечатав в «Пчеле» защиту свою противу обвинений «Библиотеки для чтения»²⁷. «Пчела» подчинена не воле или хотению авторов, но правде и справедливости и позволяет даже помещать статьи противу замечаний и критик, писанных самими издателями. Кажется, что это благородно, полезно, а потому и не подлежит насмешкам. Далее «Современник» называет «Пчелу» *афишею*. Что только случится в России важного, замечательного, любопытного по части государственного управления, литературы или в общественной жизни, обо всем извещается *немедленно* в «Пчеле». По части иностранной политики «Пчела» не может выдумывать занимательных происшествий, а сообщает, *что есть*. Рассуждать, делать предположения, догадки, выводы и заключения у нас предоставлено дипломатам, а не журналистам, следовательно, от «Пчелы» в этом отношении нельзя требовать того, что выходит из круга ее деятельности. «Пчела» принимает охотно название *корзины* и *афиши*, в смысле благородном. Никогда в эту *корзину* не попадает пристрастие, унижающее звание литератора, неуважение к публике, надменность, лишающая талант самых привлекательных его качеств, и непримиримая злоба. *Корзина* наша примет даже похвалу «Современнику», если она будет справедливая, а *афиша* поведит все доброе, благородное и занимательное.

Из суждений «Современника» о современной литературе должно заключать, что он, признав все журналы негодными, выступил для того только на литературное поприще, чтобы показать образец журнала. Следовательно,

первая книжка его должна быть чудная. Было время приготовиться! Осу-дим же эту книжку по совести.

Первый вопрос: Каков «Современник» в отношении к критике?

Ответ: Пристрастен и несправедлив. Он действует не в духе общего ли-тературного блага, не в духе времени, но в духе партии и щепетильной при-вязчивости. Это доказано выше поверкою его мнений и противоречий.

Второй вопрос: Каков «Современник» в отношении к важности содержа-ния статей?

Ответ: Мы ищем такой статьи, которая бы вывела читателя из обыкно-венного состояния души, заставила сердце сильнее биться и дала уму выс-шее направление. Для ума нет ничего нового; для сердца есть одна статья: «Долина Ажигутай»²⁸. В ней одной есть поэзия, есть мысли, есть чувство, есть *новое*. Но такими ли глазами смотрел на Кавказ, на чудную Иберию и Колхиду сам издатель «Современника», который упрекает г. Сенковского (на стр. 198) в том, что он «ничего нового не сказал о Востоке, ни одной яр-кой черты, сильной мысли, гениального предположения»? Есть ли что-ни-будь из этого в «Путешествии в Арзрум»? Виден ли тут поэт с пламенным воображением, с сильною душою? Где гениальные взгляды, где дивные кар-тины, где пламень? И в какую пору был автор в этой чудной стране! Во время знаменитого похода! Кавказ, Азия и война! Уже в этих трех словах есть поэзия, а «Путешествие в Арзрум» есть не что иное, как холодные за-писки, в которых нет и следа поэзии. Нового здесь: известия о тифлисских банях; но люди, бывшие в Тифлисе, говорят, что и это неверно. А статья «Хроника русского в Париже»²⁹? Спрашиваем: не мистификация ли это? Неужели ныне так говорят по-русски? Русский хронист «нашел *салоны* и прихожие, полные посетителей, у гг. Тьера и Гизо». Приятель г. хрониста называет академические тетради *тряпьем*³⁰. Русский язык XVIII века пере-мешан в этой статье с французским или, как сказал Грибоедов, *смесь фран-цузского с нижегородским*³¹, а в существе это не что иное, как несвязная бол-товня, усыпляющая читателей. Сущий образчик наших копий-маркизов XVIII века! Если эта статья составляема в Петербурге и есть не что иное, как *сатира на нравы прошлого века*, то она хороша. Но если эта статья не мистификация, то она феномен, стоящий того, чтоб из нее сделать воде-виль, если не комедию. — Статья о *сочинениях Конисского*³² дельная по со-держанию, но слишком неполная. Стихи В. А. Жуковского «Ночной смотр» (перевод с немецкого) очень милы. Статья о благодетельности в Бозе по-чившей императрицы Марии Феодоровны³³ по важности содержания ее не поддежит критике. Прочие статьи *пришиты для балласта* к статье «Долина Ажигутай», ибо она одна составляет литературное достоинство первой книжки «Современника».

Вот мое мнение об этом журнале. Надменности много, пристрастия еще более, а дела — весьма мало. О будущих книжках ни слова: о будущем га-дать трудно; но если в них снова примутся теревить мои сочинения, то я должен объявить наперед, что себя защищать не стану, ибо это дело про-шрое, но не сойду перед «Современником» с литературного поприща, а, на-против того, возьму мое старое оружие из моего арсенала и стану снова на страже: «Аще ли побегнем, срам имама»³⁴.

А. Ф. ВОЕЙКОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМЕТКА

Пуглив же барон Брамбеус, ей-Богу, право, пуглив. Еще первая книжка «Современника» скрывалась в таинственном мраке будущего, а наш барон уже вздумал уговорить издателя, чтобы он отступился от своего благого намерения, начал честить его *поэтическим гением первого разряда*, стращать его грязными болотами, лежащими у подножия Геликона, и вредными испарениями бездонной их тины. Grimace, monsieur le baron, grimace!* — «Мы сочли бы себя счастливыми, — с умилением, почти со слезами вздыхает наш добрый барон, — если бы эти замечания могли еще удержать Александра Сергеевича Пушкина на краю пропасти, в которую он хочет броситься». — Не теряйте напрасно слов, г. барон! Вить сочинитель «Руслана и Людмилы» не мальчик, его нельзя застращать; автор «Бориса Годунова» мастер перепрыгивать, как серна, через пропасти, летать орлом по поднебесью, плавать лебедем по синю морю.

«Никто в свете не должен быть равнодушен, когда дело идет о спасении такого поэтического таланта для отечественной литературы», — продолжает барон Брамбеус свою проповедь. Давно ли стал он так сентиментален? Давно ли обнаружилась в нем эта жалость к отечественной (барон, верно, разумеет здесь русскую, а не германскую и не польскую) словесности?

«Мы бы отдали все на свете, если б он (Пушкин) не сдержал своей программы». А мы сочли бы это редким бескорыстием, если б барон не промолвился, что он знает о грозе, которая против него готовится. Теперь это вышел простой испуг. Ей-Богу, право, есть чего и потрусить: рука Пушкина тяжела; вспомните Феофилакты Косичкина. Он понизил цену на нравственно-сатирические и исторические романы проказливого Мизинчика, который сродни указательному пальчику барона Брамбеуса¹.

«Не дело журналов судить друг о друге, — с простотою сердца замечает распорядитель „Критики“ и „Литературной летописи“ в „Библиотеке для чтения“, — их судья публика!» Так, любезный законодатель русского слова! Да кто же станет руководствовать публикою, чтобы она не забрела в то злое вонное вещество, в которое окунулся барон на цареградских улицах²; чтобы не писала кухонным языком и умела бы различать слог Карамзина, Востокова, Погодина от слога того писателя, который пишет *не сдержал* программы, тогда как надлежит писать *не выполнил*; который не оставил у себя ночевать *Путяты*, когда надобно бы непременно пригласить г-на *Путяту*?

«Уронить „Библиотеку для чтения“ нападками очень трудно».

Объяснимся один раз навсегда со всеми писателями, принимающими деятельное участие в составлении книжек и процветании этого ежемесячника: с Осипом Ивановичем Сенковским, с Тютюнджи-Оглу, с Морозовым, с Анисимом Белкиным³, с главным редактором Николаем Ивановичем Греч... Извините, заговорился! С главным редактором Иваном Андреевичем Крыл... Фу, пропась, опять заговорился!! С главным редактором господином Корш... Опять не то!!! Г-н Корш давно уже в Москве⁴. Итак, объяснимся с главным распорядителем. Просим его терпеливо нас выслушать.

* Притворство, господин барон, притворство! (франц.) — *Ред.*

1-е. Никто из русских писателей, ни один из русских журналов не напал на «Библиотеку для чтения»; ни один благонамеренный человек не желает уронить это полезное и приятное издание А. Ф. Смирдина, которого книжки так жирны, что каждой из них ленивому чтецу на целый месяц достанет. Уронить ее может то, что оно издается год от года, месяц от месяца небрежнее и небрежнее, скучнее и скучнее; однако ж по сих пор всегда находится что-нибудь или дельное, или приятное. Да если б и ни одной статьи не нашлось, то «Смесь» «Б<иблиотеки> для чт<ения>» занимательна, свежа, разнообразна, и для нее одной мы готовы сто лет сряду на него подписываться и даже платить тройную цену.

Слушайте, слушайте, слушайте!

Несносна в «Библиотеке» самонадеянная, самоуправная, кривая, безотчетная и ни на каких законах изящного не основанная критика; грубые, неупотребительные в образованном обществе выражения, картины, описания; помещение тошных и безвкусных сочинений бесталанных писачек; отсутствие благородного остроумия, тонкой и легкой шутки; глубокомыслия, одетого в пленительный слог, приятно и сладко поучающего.

Нестерпимо в «Библиотеке» самоуправство, с которым Тютюнджи-Оглу и судит, и рядит, и ставит себя законодателем российской словесности, не имея на то ни малейшего права.

П. И. ЮРКЕВИЧ

«ПОЛТАВА». ПОЭМА А. С. ПУШКИНА. ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НА МАЛОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК Е. ГРЕБЕНКИ

СПб., в тип<ографии> И. Воробьева, 1836, в 12 д. л. 67 стр.*

«Полтава» Пушкина! какая встреча! какое напоминание! Сколько сладостных впечатлений пробуждается в душе при этом имени, славном для России, славном для любимого ее поэта! Сколько образов, могучих и величавых, встает перед вами! сколько картин, оживленных волшебною кистью художника, развертывается в стройном великолепии! И вы снова берете в руки «Полтаву» Пушкина и с жадностью перечитываете ее знакомые, чудесные страницы!

Да! прекрасно было то незабвенное время нашей литературы, когда играла лира Пушкина, когда имя его вместе с его сладкими песнями носилось по России из конца в конец и было у всякого на языке! Но отчего ж муза поэта умолкла? Ужели поэгические дарования стареют так рано, отживают свой век так преждевременно? Ужели все прекрасное так непрочно на земле? Неужто талант поэта облетает так же скоро, как листья весеннего цветка, вянет столь же быстро, как вянут розы на щеках красавицы? Видно, что так, потому что поэт умолк и сделался журналистом.

* Продается в книжном магазине И. Т. Лисенкова, в доме Пажеского корпуса; в Москве и Харькове у Николая Глазунова; в Киеве у Литова; в Одессе у Картамышева. Цена 3 руб. с пересылкою во все города.

Печальная перемена! Как не пожалеть об ней! как не пожалеть поэта, которого мы теряем! как не оплакать тех прекрасных изданий, которых мы были вправе от него ожидать, которыми он, некоторым образом, остался нам должен! Теперь мы их лишились навсегда. Поэт променял золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу, которая прежде была ему так дорога, и взамен ее взял тяжкую неволю; мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтоб крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы! Печальная перемена, которой мы не пожелаем ни одному истинному поэту! И для чего ж он променял свою блестящую, завидную судьбу на тяжкую долю труженика? Для того, чтоб иметь удовольствие высказать несколько горьких упреков своим врагам, то есть людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых, совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола (*détrôner*) его значительность. Каждая минута бездействия похищала у поэта его почитателей, и в каждом из этих хладеющих поклонников поэт видел своего врага. Он забыл, что художник, как завоеватель, должен поддерживать свою власть беспрестанными новыми победами и что с того мгновения, когда он перестает творить и побеждать, волшебное влияние его исчезает: он становится простым смертным, и для него тотчас же настает потомство, которое заживо судит его и произносит свой приговор, основываясь на том, что он сделал и как жил. Между тем поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтоб отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые, тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного *чужими* статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие, печальные жалобы. Пожалейте поэта!

Вот шлем того, который был
Для готфов, вандалов грозою...¹

Ну, да оставим это, ради Бога: мне стало очень грустно.

С горя давайте читать «Полтаву» г. Гребенки. Будемте читать Пушкина хоть по-малороссийски, если уж нельзя читать его по-русски.

Г. Гребенка говорит, что «Полтава» его есть *вольный* перевод поэмы Пушкина: эту оговорку он, вероятно, сделал для того, чтоб критики были не слишком строги к его труду. Нам показалось, что перевод довольно близок и верен, язык почти везде чист и национален, многие стихи и выражения отлиты в чисто народную форму и дышат жизнью прежних времен гетманщины. Не знаем только, почему переводчик употребил в некоторых местах поэмы выражения слишком тривиальные; оттого он впал в шуточное и смешное, которое вовсе неуместно в рассказе важном и трагическом: эти диссонансы разрушают господствующий тон и вредят единству целого. На малороссийском языке, как и на всяком другом, можно писать в таком тоне, какого требует предмет, и забавная, комическая сторона не есть еще отличительная черта национального языка и характера. Нам было бы приятнее для полноты удовольствия, доставленного чтением перевода г. Гребенки, если б он не прибежал к этим частным *перелыцованьям* (выворотить наиз-

нанку), которые попадают в его поэме. — Впрочем, эти замечания не мешают нам поблагодарить переводчика за удовольствие, которое он доставил всем малороссиянам; теперь они будут иметь двойное наслаждение: после русского подлинника «Полтавы», который они знают и любят наравне с русскими, они снова прочтут «Полтаву» на своем родном языке. Москали, отчаявшиеся читать Пушкина, могут им позавидовать.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ВТОРАЯ КНИЖКА «СОВРЕМЕННОКА»

Радужно и искренно приветствовали мы первую книжку «Современника»¹; но это было сделано нами не столько по убеждению, сколько по увлечению. Вопреки заклятым односторонним фактистам, мы всегда почитали суждение *a priori* не только возможным, но даже более верным и безошибочным, чем суждение *a posteriori*^{*}, и наши заключения, выведенные из чистого разума, всегда оправдывались и подтверждались опытом², по крайней мере в приложении их к явлениям нашей литературы. Скажите нам имя автора книги или издателя журнала, скажите, какого рода должна быть эта книга или этот журнал, и мы скажем вам, какова будет эта книга, каков будет этот журнал, скажем безошибочно, до их появления на свет. Вследствие такого *умозрительного* взгляда на явления литературного мира для нас было достаточно имени Пушкина как издателя, чтобы предсказать, что «Современник» не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха. Мы этим нимало не думаем оскорблять нашего великого поэта: кому неизвестно, что можно писать превосходные стихи и в то же время быть неудачным журналистом? Всеобъемлемость таланта и его направлений есть исключение: Гёте, в этом случае, может быть, пример единственный. Пусть нам скажут, хоть в шутку, что Пушкин написал превосходную поэму, трагедию, превосходный роман, мы поверим этому, по крайней мере не почтем подобного известия за невозможное и несбыточное; но Пушкин-журналист — это другое дело. Повторяем: мы в этом случае никогда не ошибаемся; мы знаем цену всех романов, которые напишут гг. Булгарин, Греч, Степанов, Масальский, Калашников; всех теорий словесности, которые издадутся гг. Плаксиным и Глаголевым, всех... но всего не перечтешь. Обращаемся к «Современнику». Его план, выход книжек, выбор статей — все это подало нам мало надежд; но, повторяем, мы приветствовали его радужно и искренно, не столько по убеждению, сколько по увлечению, причиною которого была статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 г.». Резкий и благородный тон этой статьи, смелые и беспристрастные отзывы о наших журналах, верный взгляд на журнальное дело — все это подало было нам надежду, что «Современник» будет ревностным поборником истины, искажаемой и попираемой ногами книжных спекулянтов, что его голос неутомимо, громко и твердо будет раздаваться на журнальной арене, превращенной в рыночную площадь продажных похвал и браней, что он сшибет не с одной пустой головы незаслуженные лавры, что

* *a priori* — до опыта; *a posteriori* — после опыта (лат.). — Ред.

он оциплет не с одной литературной вороны накладные павлиньи перья, что он сорвет маску мнимой учености и мнимого таланта не с одного заезжего фигляра, с баронским гербом и татарским прозвищем, пускающего в глаза простодушной публики пыль поддельного патриотизма и лакейского остроумия³. Тем приятнее было нам надеяться всего этого от «Современника», что теперь, именно теперь наша литература особенно нуждается в таком журнале; и мы думали, что если бы сам Пушкин и не принимал в своем журнале слишком деятельного участия, предоставив его избранным и надежным сотрудникам, то одного его имени, столь знаменитого, столь народного, так сладко отзывающегося в душе русских, одного имени Пушкина достаточно будет для приобретения новому журналу огромного кредита со стороны публики; а кредит публики дело великое: с ним много хорошего может сделать талант, соединенный с любовью к истине и ревностью к благу общему.

Итак, мы решились ждать второй книжки «Современника», чтоб высказать положительнее наше о нем мнение. И вот мы наконец дождались этой второй книжки — и что ж? — Да ничего!.. Ровно, ровнехонько ничего!.. Статья «О движении журнальной литературы» была хороша,

А моря не зажгла!..⁴

Этого мало: убив все наши журналы, она убила и свой собственный. В «Современнике» участия Пушкина нет решительно никакого. Теперь к нему самому идет шутка, сказанная им же или его сотрудником насчет г. Андросова: «„Современник“ сам похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания»⁵. Впрочем, это все бы ничего: остается еще дух и направление журнала. Но, увы! вторая книжка вполне обнаружила этот дух, это направление; она показала явно, что «Современник» есть журнал «светский», что это петербургский «Наблюдатель». В одном петербургском журнале было недавно сказано, что «Современник» есть вторая или третья попытка (так же неудачная, как и прежние, прибавим мы от себя) какой-то аристократической партии, которая силится основать для себя складочное место своих мнений⁶. Мы не знаем и не хотим знать ни об аристократических, ни о каких других партиях; но нам известно, что в нашей литературе есть точно какой-то «светский» круг литераторов, который не находит нигде приюта для сбыта своих мнений, которых никому не нужно и даром, заводит журналы, чтоб толковать о себе и о «светскости» в литературе; и, по нашему счету, «Современник» есть уже *пятая* попытка в этом роде⁷. Мы уж несколько раз имели случай говорить, что в литературе необходимы талант, гений, творчество, изящество, ученость, а не «светскость», которая только делает литературу мелкою, ничтожною, бессильною и, наконец, совершенно ее губит; что литература есть средство для выражения мысли и чувства, данных нам Богом, а не «светскости», которая очень хороша в гостиных и делах внешней жизни, но не в литературе. Да, мы это повторяли очень часто и очень смело, потому что, в этом случае, за нас стоят здравый смысл и общее мнение. Посмотрите, что такое жизнь всех на-

ших «светских» журналов? Борение жизни с смертью в груди чахоточного. Что сказали нам нового об искусстве, о науке «светские» журналы? Ровно ничего. Публика остается холодной и равнодушной к этим жалким анахронизмам, сияющим воскресить осьмнадцатый век; она презрительно улыбается, когда в этих журналах с каким-то вдохновенным восторгом уверяют, что «человек, в сфере гостинной рожденный, в гостинной у себя дома: садится ли он в кресла? он садится как в свои кресла; заговорит ли? он не боится проговориться»; что, напротив, «провинциал-выскачка (?) не смеет присесть иначе, как на кончике стула»⁸. Милостивые государи, умеете садиться в кресла, будьте в гостинной как у себя дома, — все это прекрасно, все это делает *вам* большую честь; видя, с каким искусством садитесь вы в кресла, с какою свободой любезничаете в гостинной, мы готовы рукоплескать вам — но какое отношение имеет все это к литературе? Ужели умение садиться в кресла и свободно говорить в гостинной есть патент на талант литературный или поэтический? Ужели человек, умеющий непринужденно сесть в кресла и свободно пересыпать из пустого в порожнее, больше, нежели человек, робко сажающийся на кончике стула, знает об искусстве, о науке, глубже симпатизирует с человечеством, тревожнее мучится вековыми вопросами о жизни, о вечности, о мире, о тайне бытия, сильнее страдает, усерднее молится, тверже верует, несомненное надеется, пламеннее любит, благороднее и бескорыстнее действует?.. Милостивые государи, к чему эти беспрестанные похвалы самим себе за знание «светскости», к чему эти беспрестанные уверения, что вы люди «светские»? Мы и так верим вам, склоняемся пред вашею «светскою» мудростию; вам и книги в руки; не думайте, чтобы между вами и нами было что-нибудь вроде зависти, вроде *jealousie de métier**... Но публике нужны не гувернеры, которые кричали бы ей: «Tenez-vous droit»**, а поэты, а ученые, а литераторы, а критики, которые бы знакомили ее с высшими человеческими потребностями и наслаждениями, руководствовали бы ее на пути просвещения и эстетического, а не «светского» образования⁹. Оглянитесь вокруг себя повнимательнее: вы увидите, что и между вами, людьми «светскими», людьми «высшего общества», есть люди, которым душна бальная атмосфера, ненавистен мишурный блеск гостиных, которые бегут от них, чтобы в тиши уединения предаться мирному занятию предметами человеческой мысли и чувства; есть люди, которые скучны в обществе, не любезны с дамами, для которых уже невозвратно кончился осьмнадцатый век, вместе

Со славой красных кабдуков
И величавых париков!..¹⁰

Не представляет ли чего замечательного содержание второй книжки «Современника»? — Из трех стихотворных пьес замечательны только две: «Урожай» г. Кольцова, довольно растянутая в целом, но местами блестящая искорками поэзии, да «Иоанн и Аристотель» барона Розена, отрывок из драмы, складом, ладом и прелестию стихов напоминающий «Дейдамию» Тредьяковского. Не угодно ли полюбоваться хоть несколькими стихами?

* зависти в профессии, мастерстве (*франц.*).— *Ред.*

** «Держитесь прямо» (*франц.*).— *Ред.*

У нас цветут науки и искусства;
 Художниками славится наш край:
 Италия — картинная палата,
 Огромный певчий хор, изящный строй
 Разнообразных величественных зданий
 И область стихотворства и любви.
 Свою картину пишет живописец,
 Певец свой голос *гнет и сылет в дробь,*
Обожествляет женщин стихотворец,
 Выводит ад, чистилище и рай;
 А зодчий строит мост иль ставит церковь.
 Сдвигает колокольню...

Такими-то ужасными виршами объясняется Аристотель с Иоанном III, который отвечает ему еще ужаснейшими!¹¹ — Теперь о прозе. Здесь замечательна статья: «Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным». Если это мистификация, то, признаемся, очень мастерская; если подлинная, то занимательные и увлекательные до невероятности¹². Странно только, что в 1812 году могли писать таким хорошим языком, и кто же еще? женщина; впрочем, может быть, они поправлены автором в настоящее время. Как бы то ни было, мы очень желаем, чтоб эти интересные записки продолжались печататься. Критических и полемических статей пять. Между ними очень дельный, хотя и очень сухой, разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции» г. Золотицкого¹³. Но разборы «Ревизора» г. Гоголя и «Наполеона», поэмы Эдгара Кине, подписанные литерою В., должны совершенно уронить «Современника»¹⁴. Это разборы самые «светские», потому что, прочтя их, вы готовы сказать г. рецензенту, хотя заочно: «Милостивый государь! все, что вы говорили, очень прекрасно; но позволите вас спросить, о чем вы говорили и что хотели сказать?» Таков характер всех «светских» суждений об изящном; в них вообще заметно отсутствие логики. Впрочем, один «светский» журнал недавно очень откровенно признался, что в суждении логика только вредит и что поэтому он не хочет и знать ее¹⁵; так чего ж вы хотите? Вообще в этих статьях обнаруживается самая глубокая симпатия к московскому «светскому» журналу и беспредельное уважение к его критике, что, впрочем, и неудивительно: свой своему поневоле брат. Странно только, что при этом случае на «Телескоп» взведена небылица: сказано, будто бы какие-то издатели «Телескопа» восклицали: «Избави нас боже от критик „Наблюдателя“!»¹⁶ На это, во-первых, заметим, что есть издатели, например «Сына отечества» и «С<еверной> пчелы», имена которых и выставляются на обертке этих журналов; но у «Телескопа» был и есть только один издатель, имя которого должно быть известно г. В. Во-вторых, скажем, что не в «Телескопе», а в «Молве», были точно сказаны эти слова, но не о критиках «Наблюдателя», а о критиках князя Вяземского. Правду сказать, это почти одно и то же; но «Телескоп» отмахивался от них за публику, а совсем не за себя, потому что мы, участвующие мыслию и сердцем в «Телескопе», с своей стороны, напротив, «любим иногда почитать что-нибудь забавное»...

Забавнее всего, что «светский» критик «Современника», соблазнившись мыслию Скриба*, что в литературе всегда отражается прошедшее, а не настоящее состояние общества¹⁸, так восхитился ею, что уцепился за нее обеими

* Взятою из статьи, помещенной в начале этой же книжки «Современника»¹⁷.

ми руками, тербит ее так и смяк и прилагает к стати и не к стати к русской литературе. Если поверить ему, то у нас потому только преследуют сатиру взятничество, от Сумарокова до Гоголя, что это взятничество было когда-то давно, только не теперь; что Ломоносов и Державин и вслед за ними тысячи других лириков потому только беспрепятственно воспевали победы, что их время было мирное, чуждое войн и побед...¹⁹ Словом, смех и горе... Библиография покуда отделяется одними звездочками, между тем как осталось только две книжки «Современника»²⁰.

И это «Современник»? Что ж тут *современного*? Неужели стихи барона Розена и похвалы «светским» людям за то, что они умеют хорошо садиться в кресла и говорить в обществе свободно?.. И на таком-то журнале красуется имя Пушкина!..

П. И. ЮРКЕВИЧ

«ХРИЗОМАНИЯ», ДРАМАТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ В ТРЕХ ЧАСТЯХ И ТРЕХ СУТКАХ, С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ, С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ. — «СЕМИК В РЫБАЦКОЙ», ИНТЕРМЕДИЯ-ДИВЕРТИСЕМЕНТ

(Бенефис актрисы Ежовой)

«Хризомания»! вот мудреное название для театральной пьесы! Что бы оно означало? Какого-нибудь зверя, птицу или рыбу? Бог знает! *C'est du grec pour moi!** Поискать разве этого слова в греческом лексиконе: там, верно, его найдем. Теперь греческий лексикон стал необходим для любителей театра наравне с зрительной трубкою. Недавно давали у нас «Мономана»¹, теперь дают «Хризоманию»: язык Гомера решительно входит в моду, и скоро можно будет сделаться отличным эллинистом, читая одни театральные афиши!

Вы знаете прекрасную повесть Пушкина «Пиковая дама»? Вы помните в ней старую, брюзгливую графиню Анну Федоровну², которая в молодые годы сводила с ума весь Париж, где ее не иначе называли, как *la Venus moscovite***? Вы не забыли ее хорошенькой воспитанницы, бедной Лизаветы Ивановны, и того инженерного офицера, Германна, который так неистово хотел узнать тайну трех верных карт, открытую графине славным Сен-Жерменом, и так злополучно проиграл в банк и состояние, и рассудок? После счастливой идеи первая прелесть этой повести заключается в бойком, увлекательном рассказе и в миниатюрной живописи лиц и подробностей, удачно схваченных и набросанных искусною рукою артиста. Но эта повесть или, вернее, сказка есть произведение чисто фантастическое, и потому уже она не годится для театра. Фантастическое диаметрально противоположно действительному, а следственно, и драме: это две вещи, которые никогда не

* для меня это по-гречески (*франц.*) (соответствует русскому выражению: для меня это китайская грамота). — *Ред.*

** московская Венера (*франц.*). — *Ред.*

сходятся; это две стихии, ведущие между собою постоянную, вечную войну, как огонь и вода. Фантастическое обитает в очаровательном мире, без пространства и времени, существует особенною, таинственною жизнью, которой законы останутся для нас вечною загадкою. Драма, напротив, живет на земле, посреди нас, дышит нашим воздухом, питается нашею грубою пищею, волнуется нашими страстями: словом, она есть изображение нашей действительной жизни во всем ее объеме и движении. Вот почему применение фантастического к драме всегда будет неудачною попыткою. Переделайте для сцены лучшую повесть Гофмана или Тика, и вы увидите, какая галиматья выйдет из этих чудесных рассказов. — Если ж вы вздумаете объяснять чудесное и таинственное естественными причинами, как сделал автор «Хризомании», то лишите этим повесть всего интереса и очарование тотчас исчезнет. Это все равно что внести зажженную свечку в темную комнату, где представляют фантазмагорию.

«Хризомания» разделена на несколько *частей*, которые означены в афише большими римскими цифрами: I, II, III; части делятся на *сутки*, а сутки еще подразделяются на *что-то*, не помним хорошенько, — может быть, на часы, часы на минуты и так далее. У каждой части есть свое имя и прозвание. *Часть I* называется «Приятельский ужин, или Гляденьем сыт не будешь, Пролог-пословица (?) с песнями». Молодые люди играют в банк и поют эпиграф к «Пиковой даме»: *А в ненастные дни собирались они, часто и проч.* Еще они поют: *Я люблю веселый пир*³, и пьют шампанское за здоровье музы Пушкина. Это дело доброе! Музе Пушкина нужно здоровье: она что-то хворает в последнее время!

Потом следует *Часть II*, «Пиковая дама, или Тайна Сен-Жермена, романтическая комедия с дивертисементом», в трех сутках. Сутки первые: «Утро старухи»; вторые: «Убийственная ночь»; третьи: «Игрецкий вечер». Кроме того, есть еще «Детский бал», дивертисемент, в котором танцуют мазурку, кадрили, комическое па и савоярскую пляску. Это настоящий pandemonium!* Чего тут нет! Автор «Двумужницы»⁴ всегда очень замысловато придумывает названия и подразделения для своих пьес, но на этот раз он превзошел себя.

Переделывая «Пиковую даму» в драматическое зрелище, автор «Хризомании» рабски держался расположения и даже всех выражений повести. Но он безжалостно растянул свою пьесу и до такой степени развел ее водою, что в этом наводнении потонули все остальные ее достоинства, которые могли быть перенесены на сцену, и пьеса сделалась очень суха при всей своей водяности. Действующие лица вышли совсем не те, что у Пушкина: они скорее похожи на марионетов, нежели на людей. В повести они живут и действуют собственною волею; в драматическом зрелище они двигаются как машины. Это общая участь всех подобных переделок! Самые актеры не могут войти в свои безжизненные роли, и это довершает судьбу пьесы.

Но почему ж это «Хризомания»? Что значит такое название? Кажется, это греческое слово выражает страсть к золоту, дошедшую до иступления, до неистовства, одним словом, *златобесие*, если позволите так сказать. Хризомания не есть страсть к деньгам как средству к независимой жизни, к удовольствиям, ко власти, ко всем выгодам, которые доставляет богатство.

* пандемониум (*лат.*) — в греческой мифологии место сборища злых духов. — *Ред.*

Нет, это есть страсть собственно к тем золотым кружкам, которые называются червонцами, луидорами, гинеями, империялами; это наслаждение скряги беспрестанно пересчитывать, перетирать, ласкать милые кружки, лишая себя добровольно покоя и сна, претерпевая безропотно голод и холод и все нужды, лишь бы только не расстаться ни с одним из этих кружков. Недавно в журналах писали об одном старике, умершем в Лондоне в ужаснейшей нищете, у которого в соломенном тюфяке нашли 50 т<ысяч> фунтов стерлингов (1 240 000) золотом: вот хризомания! Наш неподражаемый И. А. Крылов рассказывает в одной басне про скупого, которому домовый, отправляясь куда-то с особым поручением, оставил клад и позволил трагить сокровище без боязни. И что ж? возвратясь через несколько времени домой, видит, что

Скупой, с ключом в руке,
От голода издох на сундуке —
И все червонцы целы!⁵

Это также хризомания! Но, предположив сделать ее господствующею страстию молодого офицера, автор, по мнению нашему, жестоко ошибся: это не в порядке вещей. Сердце молодого человека по природе своей не способно к этой ужасной страсти; любовь, жажда знаний, жажда славы — вот что наполняет его душу. Средним летам человека предоставлено желание власти, честолюбие, стремление к приобретению, а хризомания есть удел одних стариков. У Пушкина Германн не скряга, а *игрок в душе*, просиживающий целые ночи напролет, глядя на игру; но он противится искушению всею силою своего характера, потому что он беден и что благоразумие его берет верх над страстию. Игрок никогда не может быть хризоманом, так точно, как скупец никогда не сделается игроком. Не страсть к золоту делает человека игроком, но жажда этих адских ощущений, которые рождаются от непрерывного колебания игры, от этих мучительных прихотей счастья, от этих быстрых переходов от отчаяния к надежде, от выигрыша к потере. Известно, что все игроки бывают обыкновенно люди самые расточительные, готовые сегодня пустить на ветер то, что приобрели вчера игрою. Из этого видно, что автор пьесы ошибся в главном характере драмы и основал ее на ложной идее.

Повесть «Пиковая дама» оканчивается сумасшествием проигравшегося Германна; но «Хризомания» идет далее. За двумя первыми ее частями, о которых мы говорили, следует третья: «Крестницы, или Полубовная сделка, эпиплог-водевиль (??) в одном действии (без суток), служащий продолжением „Пиковой дамы“». Вы знаете, как бывают скучны все такие *продолжения*? Но мы ничего не видали скучнее «Крестниц». Дело в том, что крестница и бывшая горничная покойной графини хочет оттянуть наследство у воспитанницы ее и также крестницы, Лизаветы Ивановны; по этому случаю являются подьячий, старуха-нянька (г-жа Ежова), фельдфебель, заседатель и другие лица, необходимые в бенефисных интермедиях. История тянется битых два часа и наконец, к необъяснимому нашему наслаждению, кончается свадьбою: Томский, внук графини, женится на Лизавете Ивановне. В продолжение водевиля действующие лица поют бесконечные куплеты, в которых вместо остроты и соли вставлены разные нравоучительные прави-

ла и сентенции, например, что вера необходима для человека и что кто не имеет истинной веры, тот заменяет ее верою в предрассудки и заблуждения. Все это прекрасно, только не в водевильных куплетах.

Спектакль окончился интермедиею «Семик в Рыбацкой», в которой пели и плясали, как водится. Г. Сахаров пел русскую песню: *Вечерком румяну зорю*; но, кажется, было бы приличнее запеть: *Заря утрення взошла*, потому что дело шло уже к рассвету⁶.

А. С. ПУШКИН

ОБ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

(Разбор статьи, напечатанной в «Сыне отечества»
в январе 1835 года)

Несколько дней после выхода из печати «Истории Пугачевского бунта» явился в «Сыне отечества» разбор этой книги. Я почел за долг прочитать его со вниманием, надеясь воспользоваться замечаниями неизвестного критика¹. В самом деле, он указал мне на *одну* ошибку и на *три* важные опечатки². Статья вообще показалась мне произведением человека, имеющего мало сведений о предмете, мною описанном³. Я собирался при другом издании исправить замеченные погрешности, оправдаться в несправедливых обвинениях и принести изъявление искренней моей благодарности рецензенту, тем более что его разбор написан со всевозможной умеренностию и благосклонностию.

Недавно в «Северной пчеле» сказано было, что сей разбор составлен покойным Броневским, автором «Истории Донского войска»⁴. Это заставило меня перечитать его критику и возразить на оную в моем журнале, тем более что «История Пугачевского бунта», не имев в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания.

В начале своей статьи критик, изъявляя сожаление о том, что «История Пугачевского бунта» писана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кистью Байрона и проч., признает, что эта книга «есть драгоценный материал и что будущему историку, и без пособия не распечатанного еще дела о Пугачеве, нетрудно будет исправить *некоторые поэтические вымыслы, незначущие недосмотры* и дать сему мертвому материалу жизнь новую и блистательную». Засим г. Броневский отмечает сии поэтические вымыслы и недосмотры «не в суд и осуждение автору, а единственно для пользы наук, для его и общей пользы». Будем следовать за каждым шагом нашего рецензента.

Критика г. Броневского

«На сей-то реке (Яике), — говорит г. Пушкин, — в XV столетии явились донские казаки».

Выписанное, в подтверждение сего факта, из «Истории уральских казаков» г. Лёвшина (см. примечание > 1, 3–8 стр.) должно было бы убедить автора, что донские казаки пришли на Яик в XVI, а не в XV столетии, и именно около 1584 года.

Объяснение

Есть разница между *появлением* казаков на Яике и *поселением* их на сей реке. В русских летописях упоминается о казаках не прежде как в XVI столетии; но предание могло сохранить то, о чем умалчивала хроника. Наша летопись в первый раз о татарах упоминает в XIII столетии, но татары существовали и прежде. Г. Лёвшин неоспоримо доказал, что казаки поселились на Яике не прежде XVI столетия. К сему же времени должно отнести и существование полубаснословной Гугнихи. Г. Лёвшин, опровергая Рычкова, спрашивает: как могла она (Гугниха) помнить происшествия, которые были почти за сто лет до ее рождения? Отвечаю: так же, как и мы помним происшествия времен императрицы Анны Иоанновны, — по преданию⁵.

Критика г. Броневского

Вся первая глава, служащая введением к «Ист<ории> Пуг<ачевского> бун<та>», как краткая выписка из сочинения г. Лёвшина, не имела, как думаем, никакой нужды в огромном примечании к сей главе (26 стр<аниц> мелкой печати), которое составляет почти всю небольшую книжку г. Лёвшина. Книжка эта не есть древность или такая редкость, которой за деньги купить нельзя; посему почтенный автор мог и должен был ограничить себя одним указанием, откуда первая глава им заимствована.

Объяснение

Полное понятие о внутреннем управлении яицких казаков, об образе жизни их и проч. необходимо для совершенного объяснения Пугачевского бунта; и потому необходимо и *огромное* (т. е. пространное)⁶ примечание к 1-й главе моей книги. Я не видел никакой нужды пересказывать по-своему то, что было уже сказано как нельзя лучше г-м Лёвшиным, который, по своей благосклонной снисходительности, не только дозволил мне воспользоваться его трудом, но еще и доставил мне свою книжку, сделавшуюся довольно редкою.

Критика г. Броневского

«Известно, — говорит автор, — что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел увлечь за собою множество донских казаков в Турцию». Стр. 16.

Некрасовцы бежали с Дона на Кубань в царствование Петра Великого, во время Булавинского бунта, в 1708 году. См. «Историю Д<онского> войска», «Историю Петра Великого» Берхмана и другие.

Объяснение

Что Булавин и Некрасов бунтовали в 1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что в следующем сей последний оставил Дон и поселился на Кубани. Но из сего еще не следует, чтоб при императрице Анне Иоанновне не мог он с своими единомышленниками перейти на турецкие берега Дуная, где ныне находятся селения некрасовцев. В «Истории Петра I-го» в последний раз об них упоминается в 1711 году, во время переговоров при Пруте. Некрасовцы поручены *покровительству Крымского хана* (к великой досаде Петра I-го, требовавшего возвращения беглецов и наказания их предводителя)⁷. Положившись на показания рукописного «Исторического словаря»,

составленного учеными и трудолюбивыми издателями «Словаря о святых и угодниках»⁸, я поверил, что некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха⁹, в то время как запорожцы признали снова владычество русских государей*. Но это показание несправедливо: некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно в 1775 году. Г. Броневский (автор «Истории Донского войска») и сам не знал сих подробностей¹⁰; но тем не менее благодарен я ему за дельное замечание, заставившее меня сделать новые успешные исследования.

Критика г. Броневского

«Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Сулин. Послано повеление в Черкасск сжечь дом Пугачева... Государыня не согласилась по просьбе начальства перенести станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное; она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою». Стр. 74.

В 1772 году войсковой атаман Степан Ефремов, за недоставление отчетов об израсходованных суммах, был арестован и посажен в крепость; вместо его пожалован из старшин в наказные атаманы Алексей Иловайский. Сулин не был донским войсковым атаманом. Из «Донской истории» не видно, чтобы правительство приказало сжечь дом Пугачева; а видно только, что, по прошению донского начальства, Зимовейская станица перенесена на выгоднейшее место и названа Потемкинскою. См. «Историю Д<онского> войска», стр. 88 и 124 части I.

Объяснение

В 1773 и <17>74 году войсковым атаманом Донского войска был Семен Сулин (а не Силин). Иловайский был избран уже на его место¹¹. У меня было в руках более пятнадцати указов на имя войскового атамана Семена Сулина и столько же докладов от войскового атамана Семена Сулина¹². В «Русском инвалиде», в нынешнем 1836 году, напечатано несколько донесений от полковника Платова к войсковому атаману Семену Никитичу Сулину во время осады Силистрии в 1773 году¹³. Правда, что в «Истории Донского войска» (сочинении моего рецензента) не упомянуто о Семене Сулине. Это пропуск важный и, к сожалению, не единственный в его книге.

Г. Броневский также несправедливо оспаривает мое показание, что послано было из Петербурга повеление сжечь дом и имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою «Историю Донского войска», где о сем обстоятельстве опять не упомянуто. Указ о том, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1774 года января 10 (NB казнь Пугачева совершилась ровно через год, 1775 года 10 января). Вот собственные слова указа:

«Двор Ем. Пугачева, в каком бы он худом или лучшем состоянии ни находился и хотя бы состоял он в развалившихся токмо хижинах, имеет Донское войско, при присланном от обер-коменданта крепости св. Димитрия штаб-офицере, собрав священный той станицы чин, старейшин и прочих оной жителей, при всех их сжечь и на том месте через палача или профоса

* Изменник Орлик, сподвижник Мазепы, современник Некрасова, был тогда еще жив и приезжал из Бендер уговаривать старинных своих товарищей.

пепел развеять; потом это место огородить надолбами или рвом окопать, оставя на вечные времена без поселения, как оскверненное жительство на нем все казни лютые и истязания делами своими превосшедшего злодея, которого имя останется мерзостью навеки, а особливо для Донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени, — хотя отнюдь таким богомерзким чудовищем ни слава войска Донского, ни усердие оного, ни ревность к нам и отечеству помрачатся и ни малейшего нарекания претерпеть не может»¹⁴.

Я имел в руках и донесение Сулина о точном исполнении указа (иначе и быть не могло). В сем-то донесении Сулин от имени жителей Зимовейской станицы просит о дозволении перенести их жилища с земли, оскверненной пребыванием злодея, на другое место, *хотя бы и менее удобное*. Ответа я не нашел; но по всем новейшим картам видно, что Потемкинская станица стоит на том самом месте, где на старинных означена Зимовейская. Из сего я вывел заключение, что государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую.

Критика г. Броневского

Автор не сличил показания жены Пугачева с его собственным показанием; явно, что свидетельство жены не могло быть верно: она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же признание Пугачева, что он скрывался в Польше, должно предпочесть показанию станичного атамана Трофима Фомина, в котором сказано, что будто бы Пугачев, отлучаясь из дому в разное время, кормился *милостиною!* и в 1771 был на Куме. — Но Пугачев в начале 1772 года явился на Яик с польским фальшивым паспортом, которого он на Куме достать не мог¹⁵.

На Дону по преданию известно, что Пугачев до семилетней войны промышлял, по обычаю предков, на Волге, на Куме и около Кизляра; после первой Турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словом, в мирное время иногда приходил в дом свой на короткое время; а постоянно занимался воровством и разбоем в окрестностях Донской земли, около Данкова, Таганрога и Острожска.

Объяснение

Показания мои извлечены из официальных, неоспоримых документов. Рецензент мой, укоряя меня в несообразностях, не показывает, в чем оные состоят. Из показаний жены Пугачева, станичного атамана Фомина и, наконец, самого самозванца, в *конце* (а не в начале) 1772 года приведенного в Мальковскую канцелярию, видно, что он в 1771 году отпущен из армии на Дон, по причине болезни; что в конце того же года, уличенный в возмутительных речах, он успел убежать и, тайно возвратясь домой в начале 1772 года, был схвачен и бежал опять. Здесь прекращаются сведения, собранные правительством на Дону. Сам Пугачев показал, что весь 1772 год скитался он за польской границею и пришел оттуда на Яик, кормясь милостынею (о чем Фомин не упоминает ни слова). Г. Броневский, выписывая сие последнее показание, подчеркивает слово *милостыня* и ставит несколько знаков удивления (!); но что ж удивительного в том, что нищий бродяга

питается милостынею? Г. Броневский, не взяв на себя труда сличить мои показания с документами, приложенными к «Истории Пугачевского бунта», кажется, не читал и манифеста *о преступлениях казака Пугачева*, в котором именно сказано, что он *кормился от подаяния*. (См. манифест от 19 декабря 1774 года, в «Приложении к Истории Пугачевского бунта»¹⁶.)

Г. Броневский, опровергая свидетельство жены Пугачева, показания старичного атамана Фомина и официально обнародованное известие, пишет, что *Пугачев в начале 1772 года явился на Яике с польским фальшивым паспортом, которого он на Куме достать не мог*. Пугачев в начале 1772 года был на Кубани и на Дону; он явился на Яик в конце того же года не с польским фальшивым паспортом, но с русским, данным ему от начальства, им обманутого, с Добрянского форпоста. Предание, слышанное г. Броневским, будто бы Пугачев, *по обычаю предков* (1), промышлял разбоями на Волге, на Куме и около Кизляра, ни на чем не основано и опровергнуто официальными, достовернейшими документами. Пугачев был *подозреваем* в воровстве (см. показание Фомина); но до самого возмущения Яицкого войска *ни в каких разбоях не бывал*.

Г. Броневский, оспаривая достоверность неоспоримых документов, имел, кажется, в виду оправдать собственные свои показания, помещенные им в «Истории Донского войска». Там сказано, что природа одарила Пугачева *чрезвычайной живостию и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную, и твердость душевную*; но что, *к несчастью, ему не доставало самой лучшей и нужнейшей прикрасы — добродетели*; что отец его был убит в 1738<-м>; что двенадцатилетний Пугачев, *гордясь своим одиночеством, своею свободою, с дерзостию и самонадеянием вызывал детей равных с ним лет на бой, нападал храбро, бил их всегда*; что в одной из таких забав убил он предводителя противной стороны; что по пятнадцатому году *он уже не терпел никакои власти*; что на двадцатом году *ему стало тесно и душно на родной земле*; что честолюбие мучило его; что вследствие того он сел однажды на коня и *пустился искать приключений в чистое поле*; что он поехал на восток, *достигнул Волги и увидел большую дорогу*; что, встретив четырех удальцев, начал он с ними грабить и разбойничать; что, *вероятно*, он занимался разбоями только во время мира, а во время войны служил в казачьих полках; что генерал Тотлебен, во время Прусской войны, увидев однажды Пугачева, сказал окружавшим его чиновникам: *«чем более смотрю на сего казака, тем более поражаюсь сходством его с великим князем»*, и проч. и проч. (См. «Историю Донского войска» ч. II, гл. XI¹⁷.) Все это ни на чем не основано и заимствовано г. Броневским из пустого немецкого романа «Ложный Петр III», не заслуживающего никакого внимания¹⁸. Г. Броневский, укоряющий меня в каких-то *поэтических вымыслах*, сам поступил неосмотрительно, повторив в своей «Истории» вымыслы столь нелепые.

Критика г. Броневского

«Шигаев, думая заслужить себе прощение, задержал Пугачева и Хлопушу и послал к оренбургскому губернатору сотника Логинова с предложением о выдаче самозванца». Но в поставленном тут же под № 12 примечании

автор говорит, что сие показание Рычкова невероятно: ибо Пугачев и Шигаев, после бегства их из-под Оренбурга, продолжали действовать заодно.

Если показание Рычкова невероятно, то в текст и не должно было его ставить; если же Шигаев только в крайнем случае в самом деле думал предать Пугачева, то это обстоятельство не мешало продолжать действовать заодно с Пугачевым: ибо беда еще не наступила. Историк, конечно, показалось трудным сличать противоречащие показания и выводить из них следствия; но это его обязанность, а не читателей.

Объяснение

Выписываю точные слова текста и примечание на оный:

«После сражения под Татищевой Пугачев с 60 казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам-пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами.

Примечание. Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева. Показание невероятно. Увидим, что Пугачев и Шигаев действовали заодно несколько времени после бегства их из-под Оренбурга».

Шигаев, человек лукавый и смысленый, мог под каким ни есть предлогом *задержать* нехитрого самозванца; но не думаю, чтоб он его *связал*: Пугачев этого ему бы не простил.

Критика г. Броневского

Стр. 97. «Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Тибинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены *казаками* и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу». В примечании же 16-м (стр. 51), принадлежащем к сей V главе, сказано совсем другое, именно: «По своем разбитии, Чика с Ульяновым остановились ночевать в Богоявленском медно-плавильном заводе. Приказчик угостил их и, напоив допьяна, ночью связал и представил в *Тобольск*. Михельсон подарил 500 руб. приказчиковой жене, подавшей совет напоить беглецов».

Место действия находилось в окрестностях Уфы, а посему приказчик не имел нужды отсылать преступников в Тобольск, находящийся от Уфы в 1145 верстах.

Объяснение

Если бы г. Броневский потрудился взглянуть на текст, то он тотчас исправил бы опечатку, находящуюся в примечании. В тексте сказано, что Ульянов и Чика были выданы Михельсону в *Табинске* (а не в *Тобольске*, который слишком далеко отстоит от Уфы, и не в *Тибинске*, который не существует).

Критика г. Броневского

«Солдатам начали выдавать в сутки только по четыре фунта муки, т. е. десятую часть меры обыкновенной». Стр. 100.

Солдат получает в сутки два фунта муки или по три фунта печеного хлеба. По означенной выше мере выйдет, что солдаты во время осады получали двойную порцию или что весь гарнизон состоял из 20 только человек. Тут что-нибудь да не так.

Объяснение

Очевидная опечатка: вместо *четыре фунта* должно читать *четверть фунта*, что и составит около *десятой части* меры обыкновенной, т. е. двух фунтов печеного хлеба. Смотри статью «Об осаде Яицкой крепости», откуда заимствовано сие показание. Вот собственные слова неизвестного повествователя: «Солдатам стали выдавать в сутки только по четверти фунта муки, что составляет десятую часть обыкновенной порции»¹⁹.

Критика г. Броневского

В примечании 18, стр. 52, сказано, что оборона Яицкой крепости составлена по статье, напечатанной в «Отечественных записках», и по журналу коменданта полковника Симонова. Как автор принял уже за правило помещать вполне все акты, из которых он что-либо заимствовал, то журнал Симонова, нигде до сего не напечатанный, заслуживал быть помещенным в примечаниях также вполне, как Рычкова — об осаде Оренбурга, и архимандрита Платона — о сожжении Казани.

Объяснение

Я не мог поместить *все* акты, из коих заимствовал свои сведения. Это составило бы более десяти томов: я должен был ограничиться любопытнейшими.

Критика г. Броневского

Стр. 129. «Михельсон, оставя Пугачева вправо, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в 15 верстах от нее. — Ночью отряд его тронулся с места. Поутру, в 45 верстах от Казани, услышал пушечную пальбу!..» Маленький недосмотр!

Объяснение

Важный недосмотр: вместо *в 15 верстах*, должно читать: *в пятидесяти*.

Критика г. Броневского

«Пугачев отдыхал сутки в Сарепте, оттуда пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25 августа на рассвете он достигнул Пугачева в *ста пяти* верстах от Царицына. Здесь Пугачев, разбитый в последний раз, бежал и в семидесяти верстах от места сражения переплыл Волгу *выше* Черноярска». Стр. 155–156.

Из сего описания видно, что Пугачев переплыл Волгу в 175 верстах *ниже* Царицына; а как между сим городом и Черноярм считается только 155 верст, то из сего выходит, что он переправился через Волгу *ниже* Чернояра в 20 верстах. — По другим известиям, Пугачеву нанесен последний удар под самым Царицыном, откуда он бежал по дороге к Чернояру, и в сорока верстах от Царицына переправился через Волгу, то есть верстах в десяти *ниже* Сарепты.

Объяснение

Выписываю точные слова текста:

«Пугачев стоял на высоте, между двумя дорогами. Михельсон *ночью обошел его* и стал противу мятежников. Утром Пугачев опять увидел перед собою своего грозного гонителя; но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь противу донских и чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, брося пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь через мост, напрасно старался их удержать; он бежал вместе с ними. Их били и преследовали сорок верст. Пугачев потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев, в семидесяти верстах от места сражения, переплыл Волгу, выше Черноярска, на четырех лодках и ушел на луговую сторону, не более как с тридцатью казаками. Преследовавшая его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились вплавь и перетонули».

Рецензент пропустил без внимания главное обстоятельство, поясняющее действие Михельсона, который *ночью обошел* Пугачева и, следственно, разбив его, погнал не *вниз*, а *вверх* по Волге, к Царицыну. Таким образом, мнимая нелепость моего рассказа исчезает. Не понимаю, каким образом военный человек и военный писатель (ибо г. Броневский писал военные книги) мог сделать столь опрометчивую критику на место столь ясное само по себе!

Критика г. Броневского

К VI главе 6 примечания недостает. См. 123 и 55 стр.

На карте не означено многих мест, и даже городов и крепостей. Это чрезвычайно затрудняет читателя.

Объяснение

Цыфр, означающий ссылку на замечание, есть опечатка.

Карта далеко не полна; но оная была необходима, и я не имел возможности составить другую, более совершенную.

Г. Броневский заключает свою статью следующими словами:

«Сии немногие недостатки нимало не уменьшают внутреннего достоинства книги, и если бы нашлось и еще несколько ошибок, книга, по содержанию своему, всегда останется достойною внимания публики».

Если бы все замечания моего критика были справедливы, то вряд ли книга моя была бы достойна внимания публики, которая вправе требовать от историка если не таланта, то добросовестности в трудах и осмотритель-

ности в показаниях. Знаю, что оправдываться опечатками легко; но, надеюсь, читатели согласятся, что *Тобольск* вместо *Табинск*; в *пятнадцати верстах*, вместо *в пятидесяти верстах* и, наконец, *четыре фунта* вместо *четверти фунта* более походят на опечатки, нежели следующие errata*, которые где-то мы видели: *митрополит* — читай: *простой священник, духовник царский*; *зала в тридцать саженой вышины* — читай: *зала в пятнадцать аршин вышины*; *Петр I из Вены отправился в Венецию* — читай: *Петр I из Вены поспешно возвратился в Москву*²⁰.

Рецензенту, наскоро набрасывающему беглые замечания на книгу, бегло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но автору, посвятившему два года на составление ста шестидесяти осьми страничек, такое небрежение и легкомыслие были бы непростительны. Я должен был поступать тем с большею осмотрительностью, что в изложении военных действий (предмете, для меня совершенно новом) не имел я тут никакого руководства, кроме донесений частных начальников, показаний казаков, беглых крестьян и тому подобного, — показаний, часто друг другу противоречащих, преувеличенных, иногда совершенно ложных. Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов in-folio** разных рукописей, указов, донесений и проч.²¹ Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память исторической критикою.

Сказано было, что «История Пугачевского бунта» не открыла ничего нового, неизвестного. Но вся эта эпоха была худо известна. Военная часть оной никем не была обработана; многое даже могло быть обнародовано только с высочайшего соизволения²². Взглянув на «Приложения к Истории Пугачевского бунта», составляющие весь второй том, всякий легко удостоверится во множестве важных исторических документов, в первый раз обнародованных. Стоит упомянуть о собственноручных указах Екатерины II, о нескольких ее письмах, о любопытной летописи нашего славного академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной ученостию и добросовестностию — достоинствами, столь редкими в наше время, о множестве писем знаменитых особ, окружавших Екатерину: Панина, Румянцева, Бибикова, Державина и других... Признаюсь, я полагаю себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую «Историю Пугачевского бунта», но за исторические сокровища, к ней приложенные. Сказано было, что историческая достоверность моего труда поколебалась от разбора г. Броневского²³. Вот доказательство, какое влияние имеет у нас критика, как бы поверхностна и неосновательна она ни была!

Теперь обращаюсь к г. Броневскому уже не как к рецензенту, но как к историку.

В своей «Истории Донского войска» он поместил краткое известие о Пугачевском бунте. Источниками служили ему: вышеупомянутый роман «Ложный Петр III», «Жизнь А. И. Бибикова» и, наконец, предания, слышанные им на Дону²⁴. О романе мы уже сказали наше мнение. «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова» по всем отношениям очень замечательная

* ошибки (лат.). — Ред.

** в большом формате (лат.). — Ред.

книга, а в некоторых и авторитет. Что касается до преданий, то если оные, с одной стороны, драгоценны и незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют они строгой проверки и осмотрительности. Г. Броневский не умел ими пользоваться. Предания, собранные им, не дают его рассказу печати живой современности, а показания, на них основанные, сбивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны.

Укажем и мы на *некоторые вымыслы* (к сожалению, не поэтические), на некоторые *недосмотры* и явные несообразности.

Приводя вышеупомянутый анекдот о Тотлебене, будто бы заметившем сходство между Петром III и Пугачевым, г. Броневский пишет:

«Если анекдот сей справедлив, то можно согласиться, что слова сии, просто сказанные, хотя в то время не сделали на ум Пугачева большого впечатления, но впоследствии могли подать ему мысль называться императором». А через несколько страниц г. Броневский пишет: «Пугачев принял предложение яицкого казака Ивана Чики, более его дерзновенного, называться Петром III»²⁵. — Противоречие!

Анекдот о Тотлебене есть вздорная выдумка. Историк у не следовало о нем и упоминать и того менее — выводить из него какое бы то ни было заключение. Государь Петр III был дороден, белокур, имел голубые глаза; самозванец был смугл, сухощав, малоросл; словом, ни в одной черте не сходствовал с государем.

Страница 98. «12 генваря 1773<-го> раскольники (в Яицком городке) взбунтовались и убили как генерала (Траубенберга), так и своего атамана».

Не в 1773<-м>, но в 1771<-м>. См. Лёвшина, Рычкова, «Ист<орию> Пугач<евского> бунта»²⁶ и пр.

Стран<ица> 102. «Полковник Чернышев прибыл на освобождение Оренбурга и 29 апреля 1774 года сражался с мятежниками; губернатор не подал ему никакой помощи» и проч.

Не 29 апреля 1774 г., а 13 ноября 1773<-го>; в апреле 1774 года разбитый Пугачев скитался в Уральских горах, собирая новую шайку.

Г. Броневский, описав прибытие Бибикова в Казань, пишет, что в то время (в январе 1774<-го>) *самозванец в Самаре и Пензе был принят народом с хлебом и солью*²⁷.

Самозванец в январе 1774 года находился под Оренбургом и разъезжал по окрестностям оною. В *Самаре он никогда не бывал, а Пензу взял уже после сожжения Казани*, во время своего страшного бегства, за несколько дней до своей собственной гибели.

Описывая первые действия генерала Бибикова и медленное движение войск, идущих на поражение самозванца к Оренбургу, г. Броневский пишет: «Пугачев, умея грабить и резать, не умел воспользоваться сим выгодным для него положением. Поверив распущенным нарочно слухам, что будто от Астрахани идет для нападения на него несколько гусарских полков с донскими казаками, он долго простоял на месте, потом обратился к низовью Волги и чрез то упустил время, чтобы стать на угрожаемом нападением месте»²⁸.

Показание ложное. Пугачев все стоял под Оренбургом и не думал обращаться к *низовью Волги*.

Г. Броневский пишет: «Новый главноначальствующий граф Панин не нашел *на месте* (на каком месте?) всех нужных средств, чтобы утишить пожар мгновенно и не допустить распространения оного за Волгою»²⁹.

Граф П. И. Панин назначен главноначальствующим, когда уже Пугачев переправился через Волгу и когда пожар уже распространился от Нижнего Новгорода до Астрахани. Граф прибыл из Москвы в Керенск, когда уже Пугачев разбит был окончательно полковником Михельсоном.

Умалчиваю о нескольких незначачих ошибках, но не могу не заметить важных пропусков. Г. Броневский не говорит ничего о генерал-майоре Каре, игравшем столь замечательную и решительную роль в ту несчастную эпоху. Не сказывает, кто был назначен главноначальствующим по смерти А. И. Бибикова. Действия Михельсона в Уральских горах, его быстрое, неутомимое преследование мятежников оставлены без внимания. Ни слова не сказано о Державине, ни слова о Всеволожском. Осада Яицкого городка описана в трех следующих строках: «Он (Мансуров) освободил Яицкий городок от осады и избавил жителей от голодной смерти: ибо они уже употребляли в пищу землю»³⁰.

Политические и нравоучительные размышления*, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий.

Я не имел случая изучать историю Дона и потому не могу судить о степени достоинства книги г. Броневского; прочитав ее, я не нашел ничего нового, мне неизвестного; заметил некоторые ошибки, а в описании эпохи, мне знакомой, — непростительную опрометчивость. Кажется, г. Броневский не имел ни средств, ни времени совершить истинно исторический памятник. «Тяжкая болезнь, — говорит он в начале «Истории Донского войска», — принудила меня отправиться на Кавказ. Первый курс лечения Пятигорскими минеральными водами хотя не оказал большого действия, но, по совету медиков, я решился взять другой курс. Ехать в Петербург и к весне назад возвращаться было слишком далеко и убыточно; оставаться на зиму в горах — слишком холодно и скучно; итак, 15 сентября 1831 года отправился я в Новочеркасск, где родной мой брат жил по службе с своим семейством. Осьмимесячное мое пребывание в городе Донского войска доставило мне случай познакомиться со многими почтенными особами Донского края» и проч. «Впоследствии уверившись, что в словесности нашей недостает истории Донского войска, имея досуг и добрую волю, я решился пополнить этот недостаток» и проч.³²

* Например: «Нравственный мир, так же как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из труда моего»³¹.

Читатели г. Броневского могли, конечно, удивиться, увидя вместо статистических и хронологических исследований о казаках подробный отчет о лечении автора; но кто не знает, что для больного человека здоровье его не в пример занимательнее и любопытнее всевозможных исторических изысканий и предположений! Из добродушных показаний г. Броневского видно, что он в своих исторических занятиях искал только невинного развлечения. Это лучшее оправдание недостаткам его книги.

А. С. ПУШКИН

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Георгий Кониский, о котором напечатана статья в первом номере «Современника»¹, начинает свои пастырские поучения следующими замечательными словами: «Первое слово к вам, благочестивые слушатели, Христовы люди, рассудил я сказать о себе самом... Должность моя, как вы сами видите, есть учительская: а учителя добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедают, нежели чужим».

Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, милостивый государь, если б перед стадом своих подписчиков изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста и принесли искреннее покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особенности². По крайней мере, вы можете подать благой пример собратии вашей, поместив в своем журнале несколько искренних замечаний, которые пришли мне в голову по прочтении первого номера «Современника».

Статья «О движении журнальной литературы» по справедливости обратила на себя общее внимание. Вы в ней изложили остроумно, резко и прямодушно весьма много справедливых замечаний³. Но признаюсь, она не соответствует тому, чего ожидали мы от направления, которое дано будет вами вашей критике. Прочитав со вниманием эту немного сбивчивую статью, всего яснее увидел я большое ожесточение противу г. Сенковского. По мнению моему, вся наша словесность обращается около «Библиотеки для чтения». Все другие повременные издания рассмотрены только в отношении к ней. «Северная пчела» и «Сын отечества» представлены каким-то сильным арьергардом, подкрепляющим «Библиотеку». «Московский наблюдатель», по вашим словам, образовался только с тем намерением, чтоб воевать противу «Библиотеки». Он даже получил строгий выговор за то, что нападения его ограничились только двумя статейками; должно было, говорите вы, или не начинать вовсе, или, если начать, то уже не отставать. «Литературные прибавления», «Телескоп» и «Молва» похвалены вами за их оппозиционное отношение к «Библиотеке». Признаюсь, это изумило тех, которые с нетерпением ожидали появления вашего журнала. Неужто, говорили они, цель «Современника» — следовать по пятам за «Библиотекою», нападая на нее врасплох и вооруженной рукою отбивая от нее подписчиков? Надеюсь, что опасения сии лживы и что «Современник» избрет для себя круг действия более обширный и благодородный...

Обвинения ваши касательно г. Сенковского ограничиваются следующими пунктами:

1. Г. Сенковский исключительно завладел отделением критики в журнале, издаваемом от имени книгопродавца Смирдина.
2. Г. Сенковский переправляет статьи, ему доставляемые для помещения в «Библиотеке».
3. Г. Сенковский в своих критических суждениях не всегда соблюдает тон важности и беспристрастия.
4. Г. Сенковский не употребляет местоимений *сей* и *оньй*.
5. Г. Сенковский имеет около пяти тысяч подписчиков.

Первые два обвинительные пункта относятся к домашним, так сказать, распоряжениям книгопродавца Смирдина и до публики не касаются. Что же до важного тона критики, то не понимаю, как можно говорить не в шутку о некоторых произведениях отечественной литературы. Публика требует отчета обо всем выходящем. Неужто журналисту надлежит наблюдать один и тот же тон в отношении ко всем книгам, им разбираемым? Разница — критиковать «Историю Государства Российского» и романы г.г.*** и пр. Критик, стараясь быть всегда равно учтивым и важным, без сомнения, погрешает противу приличия. В обществе вы локтем задеваете соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но, гуляя под качелями, вы толкнули лавочника и не скажете же ему: *mille pardons**4. Вы скажете: зачем ходить толкаться под качели? зачем упоминать о книгах, которые не стоят никакого внимания? Но если публика того требует непременно, зачем ей не угодить?5 *Cela vous coûte si peu, et leur fait t<ant> de plaisir***6. — Да позвольте узнать: что значит и ваш разбор альманаха «Мое новоселье», который так счастливо сравнили вы с тощим котом, мяукающим на кровле опустелого дома?7 Сравнение очень забавно, но в нем не вижу я ничего важного. *Врачю! исцелися сам!* Признаюсь, некоторые из веселых разборов, попадающихся в «Библиотеке для чтения», тешат меня несказанно, и мне было бы очень жаль, если бы критик предпочел хранить величественное молчание8.

Шутки г. Сенковского насчет невинных местоимений *сей, сия, сие, оньй, оная, оное* — не что иное, как шутки. Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному?9 Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оньй****, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка. — Но вы несправедливо сравнили гонение на *сей* и *оньй* со введением *і* и *ѵ* в орфографию русских слов и напрасно потревожили прах Тредьяковского, который никогда ни с кем не заводил споров об

* тысяча извинений (*франц.*). — *Ред.*

** Вам это так мало стоит, а им доставляет столько удовольствия (*франц.*). — *Ред.*

*** Впрочем, мы говорим: в сию минуту, по сию пору и проч.

этих буквах. Ученый профессор, желавший преобразить нашу орфографию, действовал сам от себя, без предварительного примера¹⁰. Замечу мимоходом, что орфография г. Каченовского не есть затруднительная новость, но давно существует в наших священных книгах. Всякий литератор, получивший классическое образование, обязан знать ее правила, даже и не следуя оным.

Что же касается до последнего пункта, т. е. до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъявить искреннее желание, чтоб на следующий год могли вы заслужить точно такое ж обвинение.

Признайтесь, что нападения ваши на г. Сенковского не весьма основательны. Многие из его статей, пропущенных вами без внимания, достойны были занять место в лучших из европейских журналов¹¹. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему, как люди непосвященные¹². Он издает «Библиотеку» с удивительной сметливостию, с аккуратностию, к которой не приучили нас гг. русские журналисты¹³. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему — и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за отчет об литературной всячине. Жалеем, что многие литераторы, уважаемые и любимые нами, отказались от соучастия в журнале г. Смирдина, и надеемся, что «Современник» пополнит нам сей недостаток; но желаем, чтоб оба журнала друг другу не старались вредить, а действовали каждый сам по себе для пользы общей и для удовольствия жадно читающей публики¹⁴.

Обращаясь к «Северной пчеле», вы упрекаете ее в том, что она без разбора помещала все в нее бросаемые известия, объявления и тому подобное. Но как же ей и делать иначе? «Северная пчела» газета, а доход газеты составляют именно объявления, известия и проч., без разбора печатаемые. Английские газеты, считающие у себя до 15 000 подписчиков, окупают издержки издания только печатанием объявлений. Не за объявления должно было укорять «Северную пчелу», но за помещения скучных статей с подписью: Ф. Б.¹⁵, которые (несмотря на ваше пренебрежение ко вкусу бедных провинциалов) давно оценены у нас по достоинству. Будьте уверены, что мы с крайней досадою видим, что гг. журналисты думают нас занять нравоучительными статейками, исполненными самых детских мыслей и пошлых шуточек, которые достались «Северной пчеле», вероятно, по наследству от «Трудолюбивой пчелы»¹⁶.

То, что вы говорите о «Прибавлениях к „Инвалиду“», вообще справедливо. Издатель оставил на полемическом поприще следы неизгладимые и до сих пор подвизается на оном с неоспоримым успехом. Мы помним «Хамелеонистику», ряд статей в своем роде классических. Но позвольте вам заметить, что вы хвалите г. Воейкова именно за то самое, за что негодуете на г. Сенковского: за шуточные разборы того, что не стоит быть разобрано не в шутку¹⁷.

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного¹⁸.

Говоря о равнодушии журналистов к важным литературным событиям, вы указываете на смерть Вальтер-Скотта. Но смерть Вальтер-Скотта не есть событие литературное; о Вальтер-Скотте же и его романах впаад и невпаад было у нас говорено довольно.

Вы говорите, что в последнее время заметно было в публике равнодушие к поэзии и охота к романам, повестям и тому подобному.

Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде¹⁹? И где подметили вы это равнодушие? Скорее можно укорить наших поэтов в бездействии, нежели публику в охлаждении²⁰. Державин вышел в свет третьим изданием; слышно, готовится четвертое. На заглавном листе басень Крылова (изданных в прошлом году) выставлено: *тридцатая тысяча*²¹. Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание...²² Где же тут равнодушие публики к поэзии?

Вы укоряете наших журналистов за то, что они не сказали нам: что такое был В. Скотт? Что такое нынешняя французская литература? Что такое наша публика? Что такое наши писатели?

В самом деле, вопросы весьма любопытные! Мы надеемся, что вы их разрешите впоследствии и что избегнете в вашей критике недостатков, так строго и так справедливо вами осужденных в статье, которую вправе мы назвать программю вашего журнала*.

А. Б.
Тверь
23 апреля 1836²³.

А. С. ПУШКИН

Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова *литературный журнал* уже заключают в себе достаточное объяснение.

Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из них объявил, что «Современник» будет иметь целию — уронить «Библиотеку для чтения», издаваемую г. Смирдиным; в «Северной же пчеле» сказано, что «Современник» будет продолжением «Литературной газеты», издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом.

Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношении с гг. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им того не поручал. Отклоняя, однако ж, от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную в «Библиотеке для чтения», он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в «Северной пчеле»: «Современник», по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением «Литературной газеты».

* С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья «О движении журнальной литературы» напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программю «Современника». *Издатель*.

Н. И. ГРЕЧ

В вышедшей на сих днях третьей книжке «Современника» находится, между прочими любопытными статьями в стихах и прозе, одно стихотворение А. С. Пушкина, превосходное по предмету, по мыслям, по исполнению. Не можем отказать от удовольствия выписать это произведение, одно из лучших свидетельств, что гений нашего поэта не слабеет, не вянет, а мужается и растет, что Россия должна ждать от него много прекрасного и великого. Вот это стихотворение:

Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокий.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот — а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарелись и никнут в тишине
Главою лавровой.

Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда останавлиюсь пред ним и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоспится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла,
За ним военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоём звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал..
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был непоколебим пред общим заблужденьеи;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманый глубоко,—
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист услышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще!

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха,
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный вск,
Но чей великий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиление!

Ф. В. БУЛГАРИН

**МОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ
ПО МЕТОДЕ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ**

Was macht Gans?
Macht nichts.
Und was macht Peter?
Er hilft ihm.
Т. е. Что делает Ванька?
Ничего.
А что делает Петрушка?
Помогает ему.
Deutscher Witz.

Урок I

Прощайте навеки, перья, чернила и бумага! Прощайте, наборщики, ба-
тырщики, словолитчики¹ и вы, почтенные типографчики и корректоры, со
всем вашим причтом! Прощайте, милые книгопродавцы (уф!) с вашими ми-
лейшими двадцатью процентами и премилейшими комиссиями! Отрекаюсь
от авторства! *Шестнадцать лет сряду* я пишу, пишу, пишу, печатаю, печата-
ю, печатаю, и *шестнадцать лет сряду* во всех русских журналах доказы-
вают, что я пишу скучно, скверно, несносно; словом, утверждают, что я не
умею писать, а должен учиться у гг. журналистов и их сотрудников, как пи-
сать легко, приятно, логически, драматически, романически, классически.
Особенно отличаются в преподавании мне уроков гг. московские литерато-
ры. Они обучают меня *высшим взглядам*, т. е. великой науке смотреть на
небо и не видеть зги под носом. Но более всех срезал меня тверской критик,
подписавшийся буквами А. Б., в третьей книжке журнала «Современник»,
издаваемого на сей *високоосный* 1836 год.

Читатели русских журналов, может быть, помнят, что напечатано было в «Северной пчеле» при выходе в свет первой книжки «Современника» относительно статьи «О движении журнальной литературы»². В третьей книжке «Современника» некто господин А. Б. напечатал статью почти такого же содержания, как статья «Северной пчелы», с подписью «Ф. Б.», и прибавил следующий суд о самом Ф. Б. (т. е. Фаддее Булгарине) в заключение *шестнадцатилетних доводов*, что Ф. Б. не умеет и не должен писать. С новым 1837 годом начнется *семнадцатый год ополчения* противу Ф. Б., а потому долгом поставлю очистить старые бумаги и с нового года приступить к подражанию моим учителям.

Г-н А. Б. говорит («Современник», № 3, стр. 327): «Не за объявления должно укорять „Северную пчелу“, но за помещение *скудных* статей с подписью Ф. Б., которые (несмотря на *ваши* (это адресовано к издателю «Современника»!!!) пренебрежение *ко вкусу** бедных провинциялов) давно оценены у *нас* (т. е. в Твери, откуда адресована статья от 25-го апреля³ 1836 года) по достоинству. Будьте *уверены*, что *мы с крайнею досадою видим* (*mille pardons, monsieur!***), что гг. журналисты *думают* (этот критик *видит*, что журналисты *думают!**** в Петербурге мы не так *зорки*) нас занять *нравоучительными* статейками, исполненными самых *детских мыслей* и *пошлых шуток*, которые достались „Северной пчеле“, вероятно, по наследству от „Трудолюбивой пчелы“⁴. Решено! Пришел, узрел и победил.

Что вы не любите *нравоучительных* статей, почтенный г-н А. Б., это *ваше*, а не *мое* дело. В этом мы разнимся во вкусах, а что вы не любите *детских мыслей* — это я не совсем понимаю. Надлежало бы сперва определить, что такое *детская мысль*, и подкрепить примером. Что же касается до *пошлых шуток*, то, признаюсь, я и сам до них не охотник и если согрешил когда-нибудь, то уж, верно, не с умыслом, а от избытка, насытившись *глубокомысленными* шутками и *возмужальными мыслями* наставников моих, почтенных журналистов и критиков. Но зачем же вы, почтенный А. Б., основали всю статью свою на моих *детских мыслях*, изложенных в *нравоучительной статейке* противу первой книжки «Современника» и напечатанных в «Северной пчеле»? Не угодно ли сравнить речение за речением, *мысль* за *мыслью*? — Итак, желая вам и впредь нравиться и доставить случай основывать ваши статейки на моих *шутках*, так как вы теперь основали на моих *мыслях*, я желаю знать, какие *шутки* вам нравятся и что, по вашему мнению, не есть *пошрое*. Ба! да вы тут же и объяснили, какой это *вкус*, к которому ощущает пренебрежение почтенный издатель «Современника»! Посмотрим!

На странице 324 в третьей книжке «Современника», в вашей статье, почтеннейший г. А. Б., напечатано: «Да позвольте узнать (относится к из-

* Весьма было бы полезно, если б почтенный А. Б., взявшись учить других, не пренебрегал русскою грамматикой. Пренебрегаю — *что, чем. Иметь* пренебрежение к — чистый галлицизм и грех противу духа русского языка и грамматики. Ф. Б<улгарин>.

** тысяча извинений, месье! (*франц.*) — Ред.

*** «Краткое руководство к логике», сочинение Николая Рождественского. СПб., в типограф<ии> Медицинского департамента, 1836 года. Припоминаем сверх того:

Что глаз *видит*, ухо *слышит*,

То рука моя и пишет.

Мы *видим* видимое, следим и постигаем *невидимое*. Ф. Б<улгарин>.

дат<елю> «Современника»), что значит и ваш разбор альманаха „Мое новоселье“, который *так счастливо* сравнили вы с *тощим котом, мяукающим на кровле* опустелого дома? Сравнение *забавно*, но в нем я не вижу ничего *важного*»⁵.

Тощий кот, мяукающий на кровле опустелого дома, есть для г-на А. Б. *счастливое* и *забавное* сравнение! Он даже отыскивал в этом сравнении *важность*! Любопытен я знать после этого, что почтенный г. А. Б. называет *пошлою шуткою*!

Похвала ваша *забавной* и *счастливой*, по вашему мнению, шутке заставляет меня искать наставлений и примеров, как писать не *пошлые шутки*. Где же искать, как не в «Современнике», который решил давным-давно, что, кроме его, все журналы *никуда не годятся!*

В третьей книжке на стр. 136 напечатано:

Меринос *собакой* стал;
 (Да это Овидиевы превращения!)
 Он нахальствует *упрямо*,
 Он все стадо забодал.
 Сторож, что ж ты оплошал?
 Подойди к барану *прямо*,
 Зацспи его на крюк
 И прижги ему *курдюк*
 Раскаленной эпиграммой.

Ей-Богу, это напечатано в «Современнике»! Справьтесь, если не верите!
 На странице 137 в той же книжке «Современника» напечатано:

Ученый разговор

О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,
 Скажи мне, сколько чуд считается на свете?
 — Семь. — Нет, осьмое — ты, педант мой дорогой;
 Девятое твой *нос*, нос *сизо-красноватый*,
 Что так спесиво приподнятый
 Стоит! (?), украшенный *табачною ноздрей*.⁶

Сделайте милость, скажите мне вы, почтенный А. Б., должно ли почесть эту картину *прижженного курдюка* и *стоящего красно-сизого*, с табачной ноздрей носа произведением *изящного вкуса*, достойным быть образчиком *современного просвещения?* и растолкуйте, пожалуйста, что такое значит *детские мысли* и *пошлые шутки?*

Но в «Современнике» не один *сизо-красноватый* и *табачный нос*. Этот журнал, наставник и образец (по собственному его сознанию) *изящного вкуса*, получил другой *нос*, от почтенного г-на Гоголя, который в первой книжке назван *достойным соперником бессмертного Вальтера Скотта*⁷. Так щедро награждает «Современник» своих сотрудников! Прозаический *нос* начинается прелестною теньеровскою картинкою⁸ (см. стр. 55, повесть под заглавием: «Нос»).

«Иван Яковлевич для приличия надел *сверх рубашки* фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две *головки луку*, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. — Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и к удивлению своему увидел

что-то *белевшееся*. Иван Яковлевич *ковырнул* осторожно ножом и пощупал пальцем. „Плотное?“ — сказал он *сам про себя* — „что бы это такое было?“ Он *засунул* пальцы и *вытащил* — нос!»

После этой изящной картины (написанной столь чистым слогом, как светлы краски в картине) следует для *образца современного просвещения* брань жены Ивана Яковлевича:

«Где это ты, *зверь*, отрезал нос? Мошенник, пьяница (стр. 56, строк<a>1). Разбойник (там же, строка 15), *потаскушка*, негодяй! (стр. 16 и 17) *пачкун*, бревно глупое!» И проч. и проч. У Вальтер Скотта мы, право, не нашли этого!

Когда я написал это, вошел в мою комнату приятель мой, человек, занимающийся науками, но для рассеяния читающий иногда мои *нравоучительные статейки*, которые кажутся так *скучными* почтенному тверскому критику А. Б. Когда я прочел приятелю написанное, он сказал мне пресериозно: «Да эти господа не помнят о должном уважении к читателям, к публике, наконец, к подписчикам, которые, поддерживая издание, требуют чистоты языка, слога, шуток нежных, картин светлых»... Долго говорил мне приятель, чего я не хочу повторять из *уважения к сословию писателей*, а я между тем, развернул *третью* книжку «Современника» и сказал: «На, братец, прочти эти строки на стр. 320 и суди, какое уважение имеют к своим подписчикам наши строгие ценители и судьи. Там напечатано: „Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, г<осударь> м<илостивый>, если б *перед стадом своих подписчиков* изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста!”»⁹

Г. А. Б. начал свою критику выпискою из Георгия Кониского: «Первое слово к вам, благочестивые слушатели, Христовы люди, рассудил я сказать о себе самом. Должность моя, как вы сами видите, есть учительская: а учителя добрые и нелукавые *себя पहले учат, нежели других*, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедают, нежели чужим».

Исполнил ли это г. А. Б. и «Современник», в котором он находит *счастливые и забавные шутки*, предоставляю судить моим читателям, которых я *уважаю* как *собрание* людей умных и здравомыслящих, и возопил бы: да прильпнет язык к гортани моей¹⁰ — если б осмелился назвать их *стадом!*

«Московский наблюдатель»*, у которого «Современник» служит эхом и обратно, этот почтенный «Наблюдатель», который получил за один раз столько *прозваний* в «Библиотеке для чтения»¹¹, сказал в части VI (март 1836<-го>) на стр. 198, в строках 13 и 14, что леди Гамильтон, «которая *родилась служанкою***», была поочередно нянькою, горничною» и проч.¹² Мы не постигаем вовсе, как можно *родиться в свете служанкою* и какую можно исполнять *службу* в колыбели, но знаем, что люди рождаются с различными способностями, и в противном не переуверит нас ни один психолог и никакой физиолог. Воспитание, прилежание и наука могут дать перевес способностям, но не изменят основания, положенного природою. Почему один поэт отлично пишет мелкие стихотворения и не в состоянии написать тра-

* De mortuis aut bene, aut nihil. <О мертвых или хорошо или ничего. (лат.) — Ред.>

** «Краткое руководство к логике», соч<инение> Н. Рождественского.

гедии или стройной поэмы? Почему трагедии Державина ниже посредственности? Не каждый поэт может быть даже *посредственным критиком и прозаиком*, хотя бы и чувствовал изящное. Но чувствовать и знать, а знать и делать – не одно и то же. Шекспир был отличный поэт и не осмелился выступить на поприще критики (т. е. журналистики), потому что *был умен* и не хотел уронить себя в общем мнении, взявшись не за свое дело. Джонсон писал плохие стихи и был отличным критиком или журналистом. Для избежания даже *тени личностей* мы не берем примеров из современной русской литературы и предлагаем мнение наше как теорему. Если мне скажут, что Гёте и Шиллер участвовали в журналах, я буду отвечать: Шиллер и Гёте были люди *ученые*. Carisco?*

Ни Шиллер, ни Гёте не называли своих читателей *стадом*. Ни Шиллер, ни Гёте не участвовали в мелкой вражде писак и не держались партии, преследовавшей *в течение шестнадцати лет* какого-нибудь писателя и журналиста, – но зато Шиллер и Гёте были великие мужи и на Парнасе, и в гражданском быту. Basta!**

В *первый мой урок* я ничего не научился; но вижу с завистью, что «Современник» воспользовался моими уроками; после моего разбора статьи его *о движении журнальной литературы* в третьей книжке «Современника» на стр. 329 появилось курioзное замечанье, в котором почтенный издатель объявляет, что он *не разделяет мнения сочинителя этой статьи*¹³. На первый раз и этого довольно!

В этой третьей книжке «Современника» напечатано еще весьма важное и прелюбопытное для истории литературы замечание почтенного издателя. На стр. 110 сказано: «Недавно в „Северной пчеле“ сказано было (а сказал это аз, многобранимый Ф. Б.), что сей разбор (т. е. разбор „Пугачевского бунта“) составлен был покойным Броневским, автором „Истории Донского войска“. Это заставило меня перечесть его критику и возразить на оную в моем журнале, тем более что „История Пугачевского бунта“, не имея в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания»¹⁴.

Это сказано самим автором «Пугачевского бунта», которому аз, многобранимый Ф. Б., *предсказал неуспех его сочинения*, невзирая на приятельские похвалы и восторги. Для меня почти непостижимо, что из такого драматического сюжета, как несчастный *Пугачевский бунт*, поэт-автор не мог ничего создать, кроме сухой реляции, и что вся жизнь, вся живопись этого сочинения заключается в краткой выписке из неизданных записок И. И. Дмитриева *о казни Пугачева*. Исторические материялы, приложенные к «Истории Пугачевского бунта», отчасти почерпнуты из печатных русских сочинений, отчасти приложены как канцелярские акты, без очистки, без пояснений, без указания их пользы и достоверности. Велеть выписать из приказов и канцелярий старые бумаги и пришить к книге – не значит доставить *богатые материялы*, как говорит автор. Верьте мне, что если б «История Пугачевского бунта» была даже *посредственна*, то была бы с жадностью раскуплена и прочтена. Самое заглавие, историко-романтическое, уже манило к себе. По выходе книги первые охотники бросились в

* Вам понятно? (итал.) – *Ред.*

** Хватит! (итал.) – *Ред.*

книжные лавки, схватили книгу, прочли, и вдруг настали ропот и негодование. Говорите после этого, у нас нет *общего мнения!*

Автор говорит на стр. 128: «Сказано было (т. е. в «Северной пчеле», мною, Ф. Б.), что историческая достоверность моего труда поколебалась от разбора г. Броневского. *Вот доказательство*, какое влияние имеет у нас критика, как бы поверхностна и неосновательна она ни была».

Совсем не доказательство! Критическое замечание г. Броневского было напечатано *весьма поздно*, когда можно было распродать три издания «Пугачевского бунта», а тотчас *вслед за выходом* этой книги в «Северной пчеле» был напечатан разбор, составленный бароном Розеном¹⁵, в котором «Историю Пугачевского бунта» превозносили превыше всего, что только вышло в Европе по части истории в течение века! Но публика не попала на удочку и ускользнула от приманки!! Не за то ли она называется в «Современнике» *стадом?*

Что *поверхностная и неосновательная критика* *вовсе не вредит автору*, в доказательство честь имею предстать аз, многобранимый. В течение *шестнадцати лет сряду* ни одно из моих сочинений, ни одна моя статья *не похвалены в журналах*, а все *разруганы*. В течение *шестнадцати лет сряду* поэты и прозаики доказывают, что я самый дурной автор из самых дурных, а сочинения мои все распроданы в числе 7500 и 5000 экземпляров. Отчего же это? От того именно, что я *уважаю* моих читателей, стараюсь заслужить их благосклонность и доверенность, а не горжусь моим слабым дарованьем и говорю всегда правду, *по убеждению*, друзьям и недругам. Сколько раз хвалил я моих жестоких и непримиримых противников и теперь заключаю этим *первый урок* нашего *взаимного обучения*. В третьей книжке «Современника» стихи самого издателя «Полководец» превосходны, и статья о *мнении г. Лобанова*¹⁶ дельная и хорошо написанная. Почтенные мои противники! если вы хотите непременно уронить меня в общем мнении, пишите *дельно и доказывайте*, а теперь вы только доставляете мне необыкновенное удовольствие, за что премного вам благодарен.

Л. И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Сообщая мнение свое о произведениях поэзии, художеств, искусств, из уважения к слушающим или читающим, должно объяснить им, что имеешь некоторые понятия, о чем намерен говорить; желая сообщить мнение мое о вышедшем на сих днях новом изящном произведении в нашей поэзии, за нужное нахожу прежде сказать следующее: отец мой* научил меня почти с моего ребячества любить поэзию¹ и я, дожив до старости, всегда с наслаждением читал и читаю хорошие стихи, особенно русские. Когда у нас явился пиит, который соединяет все качества любимцев Аполлона, я не пропускал ни одной строки из известных его творений; они наполнены разнообразными красотами — мысли высокие, выражения сильные, и вместе с тем пленительной простоты, всегда приличные изречения; в стихах особая приятная звучность, как будто в музыке. Начиная от 16-летней прекрасной Людмилы (*а девочке в шестнадцать лет какая шапка не пристанет*²) и переходя

* Покойный президент Государственной Адмиралтейской коллегии.

к «Кавказскому пленнику», «Бакчисарайскому фонтану», «Клеветникам России», «Годовщине Бородина»³, часто перечитываю сии изящные вдохновения нашего поэта, многие стихи по красоте их врезались в моей памяти, и из «Онегина» немало оных помню. В первой части «Современника» «Пир Петра Великого» читал с особенным удовольствием.

В третьей части: «Родословная моего героя» служит доказательством того же искусства приличными, но простыми словами изъяслять сильно. В «Полководце» описание галереи с портретами генералов, подвизавшихся в Отечественную войну, прекрасно⁴, но некоторые мысли и стихи до знаменитого полководца относящиеся, совершенно противны известной истине, противны его собственным словам, его отличительным свойствам; состоят из вымыслов, преувеличений, нимало не нужных, когда дело идет о человеке, которого деяния принадлежат истории. — Меня удивили следующие стихи:

Все в жертву ты принес земле, тебе чужой.

Прочитав сию строку, можно подумать, что полководец был один из больших в Германии владетельных князей, или другого государства вельможа, который, узнав, какою опасностью угрожаема Россия, отказался от владения или продал свое имущество, оставил Отечество и с своими сокровищами, с своими известными великими способностями, явился спасать Россию. — *«Все в жертву ты принес земле тебе чужой»* — всякое слово в сей строке противно истине. Воспеваемый полководец был лифляндец, следовательно, Россия для него не чужая земля, лифляндцы для нас не иностранцы, и они и мы должны удивляться сему изречению⁵. Лифляндские дворяне в течение ста лет, со времен императрицы Анны Иоанновны, во все бывшие кровавые войны, не исключая ни одной, кровью своею доказали, что Россия для них не чужая земля, приобрели полное право носить имя русских, и отличное их служение на всех поприщах сие подтвердило; а поэт для мнимого превознесения своего героя решил, что он хотя и лифляндец, но не русский и Россия для него земля чужая; следовательно, поэт решил, что и другие лифляндцы, служившие России на разных поприщах, тоже не русские⁶. Сие пошлительное решение удивило меня тем более, что оно противно мнению полководца, которое я неоднократно от него слышал*. *«Все в жертву ты принес»* — каждый служащий на военном поприще, несет в жертву свою жизнь, а богатый военнослужащий иногда приносит в жертву

* В течение кампании Шведской войны в 1790 году, после смерти тяжело раненного в сражении при Пардакоски генерала принца Ангальта⁷, Михаил Богданович Барклай де Толли, в чине майора, находился в Выборге; в сие время вице-адмирал принц Нассау⁸, главнокомандующий гребным флотом, послал меня к отряду оного, приуготовляемому в Выборге, где я был две недели, часто видал Михайла Богдановича, неоднократно от него слышал, что он лифляндец, и как во время действительной кампании много говорят об убитых, о раненых, и я по поводу полученного известия сказал, что в каждом из трех больших сражений нашего флота в сию войну убито по Адеркасу и все три брата Адеркаса убиты⁹, тогда один из участвовавших в разговоре (не помню кто) начал считать, сколько лифляндцев убито в войну Шведскую, Прусскую и в две Турецкие¹⁰, т. е. во все войны России, и Михайло Богданович сказал, это оттого, что *мы все, лифляндцы, уже русские.*

свое имущество, проживаемое на службе. Что ж принес в жертву России описываемый полководец? — Ничего. — Благодаря Бога он не убит, а имущества у него никакого не было, он жил службою (отец его был лифляндец, недостаточный отставной поручик, так сказано в «Энциклопедическом лексиконе»)¹¹ — за ревностное полезное свое служение знаменитый наш полководец от щедрот государя получил все возможные награды: высшую степень по службе, титла графа, князя, имение и, наконец, получил награду самую большую, каковую отличены подвиги Румянцева и Суворова, воздвигнут памятник в столице¹².

Кажется, глядит с презрительною думой.

После сего стиха поэт предлагает вопрос, свою ли мысль обнаружил Доу, или не было ли ему какого невольного вдохновения?¹³ — Я знал полководца и отвечаю: мысль, конечно, собственно художника — сомнение о сем оскорбительно для памяти полководца. Ни презрительная дума, ни презрительный вид не были ему свойственны, он всегда и на высших степенях службы отличался особенною мерностью и кротостию нрава¹⁴.

Народ, таинственно спасаемый тобою.

Сей стих для меня совершенно непонятен¹⁵. Многие военные писатели на разных языках, и преданные Наполеону, признали, что до взятия и после взятия Смоленска он сделал важные ошибки и что, ежели бы остался в Смоленске, последствия могли быть совсем другие*. По мнению поэта, что воспеваемый им полководец своими действиями спас Россию: должно предполагать, что он предвидел и знал все ошибки, которые сделает Наполеон в войне против России. — За год вперед предвидеть ошибки Наполеона, не в делах политических, не по внутреннему управлению, а именно ошибки его по военному искусству, и в таких действиях, которые еще не начаты!!! Подобною способностью к предвидению, к проницательности, кажется, никто не был одарен, — и наш полководец был чужд, далек от такого беспредельного самомнения, каковое ему приписует поэт.

Безмолвно уступил и лавровый венец
И власть

По сему слову, стих относится к тому полководцу, который в 1812 году принял верховное начальство над всеми армиями, следовательно, поэт полагает, что генерал Барклай де Толли уступил свой лавровый венец князю Голенищеву-Кутузову!!! По всеобщему мнению просвещенных русских и иностранцев, по мнению, которое военные писатели изъявили о князе Голенищеве-Кутузове,

* В посвященной императору Александру Павловичу «Истории» кампании 1812 года Д. П. Бутурлиным, часть первая, стран<ицы> 288, 351 и другие. Так как сие, можно сказать классическое военное сочинение, посвящено покойному государю, то, конечно, мнения о разных действиях удостоены его высочайшего одобрения и утверждения — страницы, упомянутые из подлинника на французском языке¹⁶.

нищеве-Кутузове, он свыше подобных суждений. — Сожаления достойно, что наш поэт позволил себе такой совершенно неприличный вымысел.

По всем на отечественном и на французском языке описаниям кампании 1812 года, кажется, нет причины к заключению, что Россия избавлена от нашествия или, как говорят, спасена действиями армии до взятия Смоленска, а разве, может быть, действиями после оставления Москвы и ошибками Наполеона¹⁷.

После кончины князя Голенищева-Кутузова многие разного рода писатели и в прозе и в стихах называли его избавителем России¹⁸.

Я не судья в таком великом деле, оно свыше меня; к тому же по двойному, близкому родству, по сердечной дружбе*, которые меня соединяли с князем Михаилом Ларионовичем, может быть, скажут, что суждения мои пристрастны, а я почитаю первою обязанностью во всех поступках быть совершенно беспристрастным и при всяком случае сие доказываю, и потому о Михаиле Ларионовиче зесь к стати скажу, как говорят приказным слогом, только то, что из *самых документов явствует*, а именно, в рапорте о выступлении нашей армии из Москвы между прочим мы читаем следующие слова:

«Я решился попустить неприятеля войти в Москву. Вступление его в Москву не есть еще покорение России. — Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но не колеблясь между сим происшествием и событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами, линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пресекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и, тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию. Теперь не в дальнем** расстоянии от Москвы собрав мои войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и доколе армия Вашего Императорского Величества цела и подвижна известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря Отечества. — Впрочем Ваше Императорское Величество Всемилоливейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерей Смоленска»¹⁹.

В сем донесении видны *замыслы обдуманые***, к всеобщему сведению сообщенные и потом вскоре исполненные*; могу еще присовокупить также не свое суждение, а из документов явствующее:

Князь Михаил Ларионович 17-го августа 1812 года принял начальство над Российской армиею при берегах Москвы и через восемь месяцев оставил самую сию армию, увенчанную лаврами на берегах Эльбы. — Скончался 16-го апреля, 1813 года²⁰.

* У меня есть сему доказательства в последнем ко мне письме князя Михаила Ларионовича, которое писал он за несколько дней до кончины — в письме надпись, *на дороге к Дрездену*.

** В тексте ошибочно: в недальном. — *Ред.*

*** В «Полководце» сказано: *и замысел, обдуманный глубоко*.

Ежели бы кому пришло на мысль, что так как сии слова не содержат никакой особенной похвалы, а изъявляют самые события, то можно употребить оные в надписи к памятнику князя Голенищева-Кутузова; тогда я скажу, что на памятнике князя Барклая де Толли должно надписать: *Предводительствуя Российской победоносною армиею, вступил в столицу Франции 1814 года марта 19-го*. Сия надпись также состоит не из особенной похвалы, а изъявляет самое событие, предающее потомству великий, приснопамятный подвиг знаменитого полководца²¹.

Ежели нашему поэту случится прочитать сии замечания, он, может быть, напишет на меня сердитую эпиграмму. Предварительно отвечаю: как бы она ни была сердита, но когда я увижу в сей эпиграмме новое доказательство пиитического дара А. С. Пушкина, мне будет весьма приятно, что наша словесность имеет в нем любимца муз, который в лирических, дидактических и разного рода других стихотворениях подобен Пиндару, Горацию, Руссо, Волтеру и Делилю, а в эпиграммах — Марциалу. — Буду всегда читать его стихотворения не только с особенным удовольствием, но с большим наслаждением²².

В. М. СТРОЕВ

СОЧИНЕНИЯ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА

Четыре части. СПб., 1836, в тип<ографии> Гуттенберга, в 12 д. л., в 1-й <части> 525, во 2-й — 509, в 3-й — 546 стр<аниц>*

<Отрывки>

Странна участь Булгарина в нашей литературе. Его беспрестанно бранят и беспрестанно читают; беспрестанно бранят и беспрестанно обкрадывают; беспрестанно бранят и беспрестанно покупают его сочинения.

За что же его бранят? Посмотрим.

Булгарина бранят или журналисты, или литераторы, или читатели.

Журналисты бранят его пятнадцать лет сряду. У Булгарина нет таланта, по их мнению, Булгарин не умеет писать, Булгарин хуже Орлова. Булгарин, читая эти обвинения, улыбается, иногда для шутки отвечает, указывая на «Пчелу», без которой ни один порядочный человек не может выпить утром чашки чаю, и на «Северный архив», которого уже нет в продаже, потому что он весь раскуплен. Булгарина особенно бранили журналисты, имевшие не более трехсот подписчиков¹. И это очень понятно: у Булгарина подписчики считаются тысячами. Заметьте, что «Библиотека для чтения», богатая подписчиками, никогда не бранила Булгарина. Стало быть, брань журналистов, бедных подписчиками, падает не на Булгарина, а прямо на число его подписчиков.

* Цена за все четыре тома 15 рублей асс<игнациями>, с пересылкою 18 руб. Продаются у издателя, книгопродавца Лисенкова, в доме Пажеского корпуса. Четвертый том печатается.

Литераторы бранят Булгарина за успех его сочинений. Да и как не бранить! В самом деле, досадно и завидно! Иной литератор корпит десять лет над книгой или романом, издает свое многолетнее произведение, и оно достается на съеденье мышам и букинистам, а Булгарин присядет, поработает месяц, да и купит деревню. Как же это не досадно! Поневоле станешь бранить Булгарина! Что это за привилегия: обращать романы в поместья!² Авось мы помешаем ему нашею бранью. Но брань не всегда действует; есть репутации выше брани. Гг. соперники! найдите другое средство; брань недействительна: вас слушают, а сочинения Булгарина покупают. Видно, уж так на роду написано этому счастливцу! Начните-ка хвалить его; авось ему не поздоровится от *эдаких похвал*³.

Другие литераторы бранят Булгарина по другой причине. Они не могут забыть, что Булгарин был строгим критиком и часто обрывал павлиньи перья с многих. Теперь Булгарин почти не занимается критикою, но ему достается за прежние труды. Оскорбленное авторское самолюбие никогда не прощает критику; оно платит ему, рано или поздно. Отчего «Современник» преследует Булгарина с таким ожесточением? Показать ли вам *gegus causas**? — Несколько лет тому назад в «Пчеле» говорили издателю «Современника», что он тратит талант свой без расчета, что придет горькое время, когда магическое имя любимого поэта делается обыкновенною фирмою, что ему неприлично вдаваться в мелкие литературные распри и с светлых вершин Геликона спускаться в сумрачные долины критики⁴. Знаменитый поэт не послушал Булгарина, и что же вышло? «Литературная газета» умерла скоропостижно; «История Пугачевского бунта» не произвела никакого эффекта и лежит на книгопродавческих полках; «Современник» чахнет и склоняется к смерти. Не есть ли это явное доказательство, что слова, сказанные за несколько лет, теперь сбываются? За эти предсказания «Современник» мстит Булгарину, а Булгарин чем виноват? Он говорил дело и правду; следовало его послушать и поблагодарить. Та же история случилась со многими другими. Никто не послушал советов дальновидного критика, а всякий стал его бранить. Число спасенных критиком не велико, а число врагов критика возросло до *maximum*** . Работайте же после этого для пользы литературы и литераторов; говорите им правду, останавливайте их пагубное направление — они не останоятся, а начнут вас бранить. Мы помним критики Булгарина, в которых было столько же правды, сколько и остроты; но какую пользу доставили ему его критики? Ровно никакой. Публика часто оставалась ему благодарна за обнаружение шарлатанства и обмана, за открытие контрабанды и литературного воровства; но публика не хотела знать, что Булгарин терпит преследование и брань за ее пользу.

Теперь понятно, за что бранят Булгарина журналисты и литераторы; но за что же бранят его *некоторые* читатели? Говорю *некоторые*, потому что их весьма немного. Одни из этих читателей, принадлежа к литературной партии «Современника», бранят Булгарина единственно потому, что «Современник» его бранит. Другие, принадлежа к партии московских журналов, бранят Булгарина за то, что его бранят московские журналы. У них нет другой причины. Они преусердно покупают книги Булгарина, преусердно

* главную причину (лат.). — Ред.

** высшей степени (лат.). — Ред.

прочитывают их от начала до конца, от титула до опечаток, и все-таки бранят! Спросите же их, почему они бранят Булгарина. Они сошлются на *такую-то* страницу московского журнала или на *такую-то* строчку «Современника». Эта брань без сознания, без причины, без цели и — без последствий. <...>

Самое странное обвинение против Булгарина было недавно напечатано каким-то (кажется, тверским) критиком в «Современнике»⁵. Г-н критик презабавно и преважно порицает Булгарина за то, что статьи Булгарина слишком нравственны и моральны!!!! Ага! Вам хочется, г<оспода>, чтоб для вас писали на лад новых неистовых французских писателей, чтобы порочными романами потворствовали вашим слабостям и страстям, чтобы развивали в вас стремление к безнравственности, к безморальности. Вот чего вы хотите, обвиняя Булгарина в излишней нравственности и моральности. Но этого не будет! Мы не думаем, чтобы Булгарин решился пожертвовать своим убеждением вашему капризу, пустому и неосновательному, непозволительному и вредному.

Кто же еще бранит Булгарина? — Никто больше? — Выходите еще, гг. порицатели, мы посмотрим, как справедливы ваши жалобы, мы отроем еще какие-нибудь страстишки, заставляющие вас бранить писателя, любимого публикою. <...>

А. С. ПУШКИН

ОБЪЯСНЕНИЕ

Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться¹. Это стихотворение включает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные урны, предоставляя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унижить священную славу Кутузова; однако ж меня в том обвинили.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала Святой Елены!² Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?³

И мог ли Барклай де Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, *где равен был неравный спор*⁴, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских?⁵ Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона

на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал⁶

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после двадцатипятилетнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением?⁷ Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно, не народом и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником⁸. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом⁹.

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унижить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году¹⁰. Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским¹¹, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру — на того, кто некогда внушил мне следующие стихи, конечно недостойные великой тени, но искренние и излиянные из души.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой..
Все спит кругом; одни лампы
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издаст;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас... и проч.¹²

— 1.8.3.7 —

181
**ЖИВОПИСНОЕ
ОБОЗРѢНІЕ
ПРЕДМЕТОВЪ**

**МОСКОВСКІЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА.**



36.

Газета выдана
в С. П. Петербургѣ
въ воскресенье 14-го
сентября 1837 г.

ЖУРНАЛЪ НАБЛЮДАТЕЛЯ
1837

Число страницъ 910
Литва 1837.

**ЛИТЕРАТУРНЫЯ
ПРИБАВЛЕНІЯ**

**РУССКОМУ ПИВАЛІДУ
НА 1837 ГОДЪ.**



САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
Издана въ Типографіи А. Исаева, Николаевъ Землепользовательскаго Ведомства.

1837.

Въ настоящее время, по мере
развитія наукъ, увеличивается
число предметовъ, подлежащихъ
исслѣдованію. Въ особенности
это относится къ области
натуральной исторіи, гдѣ
каждый предметъ, каковъ бы
онъ ни былъ, представляетъ
для насъ новую задачу.
Следовательно, необходимо
имѣть въ виду, что
исслѣдованіе предметовъ
натуральной исторіи
является однимъ изъ
важныхъ элементовъ
нашего образованія.
Въ настоящее время
мы имѣемъ въ своемъ
ручьи много прекрасныхъ
исслѣдованій, посвященныхъ
этимъ предметамъ.
Они представляютъ для насъ
большую пользу и интересъ.
Следовательно, мы должны
быть благодарны авторамъ
этихъ трудовъ за то, что
они дали намъ возможность
познакомиться съ новыми
фактами и данными.
Въ то же время мы должны
быть благодарны и тому, кто
собралъ эти труды въ одну
книжку, такъ какъ это
делаетъ ихъ доступными
для всѣхъ желающихъ
ихъ читать.

Ф. В. БУЛГАРИН

**ПРАВДА О 1812-М ГОДЕ,
СЛУЖАЩАЯ К ИСПРАВЛЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОШИБКИ,
ВКРАВШЕЙСЯ В МНЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ**

Разбирая древнюю и новую историю и поверяя слова писателей с духом времени, характерами эпох и последствиями событий, мы убедились, что весьма много происшествий и подвигов дошли к потомству в искаженном виде. В Риме и Греции всегда существовали две партии, аристократическая и демократическая, и приверженцы этих партий, описывая события, искажали их в пользу своих героев и для поддержания своего мнения. В Средние веки религиозные споры и междоусобия в Восточной и Западной империях, византийские интриги и взаимная борьба европейских государей заставили летописцев смотреть на предметы пристрастно и оценивать подвиги сообразно пользе своей партии. Те же самые последствия произвела для истории реформация Лютера, т. е. борьба протестанства с католицизмом, и европейские несогласия со времен Карла V до кончины Лудовика XIV. Чтоб изучать историю, не довольно одной *памяти*: надобен *ум*, который бы химически разлагал исторические события и очищал их от примесей. Этот химический прибор для разлагания истории называется *историческою критикою*. Первые удачные опыты на этом приборе произведены, в новое время, Гиббоном* и Вольтером**. Но, по несчастью, эти писатели наделали так же ошибок от излишнего философического беспристрастия, как их предшественники от грубого пристрастия. Человеческий ум в вечной войне с истиною.

В наше время стали производить первые правильные химические опыты над историей в Германии и во Франции, т. е. впервые стали писать историю при светильнике настоящей *исторической критики*. Ученая и умная Англия на этот раз отстала от соперниц своих в просвещении. На челе но-

* О упадке Римской империи, и пр.¹

** Essai sur les moeurs et l'esprit des nations etc.²

вой исторической школы стоят во Франции *Барант*, в Германии *Геерен*. Они возжгли новый *греческий огонь*, который осветит исторический мрак, истребит ложь и очистит истину от примесей. Этот *греческий огонь* есть не что иное, как *здравый смысл*!

У нас в России до сих пор ничего не сделано по части *исторической критики*; но у нас есть главное: *здравый смысл* и любовь к истине. Мы еще не пишем, но уже судим и чувствуем. Сделано великое начало! Таким образом, между людьми благомыслящими, правдолюбивыми, истинными сынами отечества кружит теперь мысль, которую мы вознамерились передать нашим читателям.

Чем более человек удаляется от великих отечественных событий, тем священнее они кажутся. Древность налагает на них какие-то волшебные краски, и отдаление, по чудному предопределению истории, возвышает предметы. Мы сильнее воспламеняемся видимым, но *более чувствительны* к голосу старины и, восхищаясь современным, благоговеем перед древним и гордимся им. В наше время каждый подвиг принадлежит *частному лицу*; в потомстве славные подвиги частных лиц делаются собственностью *всех и каждого*. Нам трудно видеть героя в человеке, с которым мы беседуем, с которым обедаем и который, снисходя к нам, говорит с нами *нашим языком*. В истории исчезает все мелочное, все излишне человеческое, и великие мужи появляются отдельно от толпы. Подвиги их, как выше сказано, принадлежат человечеству, а они сами помещаются на возвышении, недостижимом для толпы. Единственная награда для великих мужей в истории: оттого они живут и действуют для истории, и потому-то история есть труднейший и благороднейший подвиг ума и совести.

После этого предисловия вообразим себе, что мы живем за двести лет вперед, именно в январе 2037 года. — В обществе людей правдивых и любознательных заходит разговор о тяжелых и славных эпохах отечественной истории, ибо нет славы без труда и горестей. Спрашивается: кто поистине *спас Россию* за четыреста с небольшим лет? * Все единодушно отвечают: *князь Пожарский и Минин*. В эту несчастную эпоху Россия сиротствовала, не имела отца, т. е. не имела царя русского, православного. В отсутствие отца семейства двери дома были настежь отворены; вторгнулись враги, и дети разбежались; хищники напали на дом, ограбили имущество и поселились под чужим кровом. Но взрослые сыновья, удалившиеся в глушь в первую суматоху, собрались, вооружились, нагрянули на хищников, изгнали их и избрали единодушно и единогласно хозяином дома и главою семьи старшего в роде. Водворился прежний порядок в доме и прежнее благоденствие в семье. Вот простое изложение подвига Пожарского и Минина! Они, точно они спасли Россию, по воле Божией, потому что в России не было тогда отца, не было главы великой русской семьи. Вся честь и слава подвига принадлежит сынам, которые первые подняли оружие на изгнание врагов и освобождение родины. Призывала этих сынов на свою защиту сирая, безмолвная Россия только болезненным стоном, только указанием на свои язвы!

* Вопрос сделан в 2037 году.

Кто *спас Россию* в 1812 году? — Все мы знаем это и чувствуем, но писания наши сбивают нас с прямого суждения и с толку. Прозаики и поэты запутали дело своими возгласами, восторгами, неправильным употреблением эпитетов и даже искажением самых событий. Тихий голос некоторых правдивых историков заглушен воплем памфлетистов и песнями поэтов. Извиняем восторги в первое время великого события, но не можем извинить в известных писателях пристрастия и необдуманности в выражениях по истечении *четверти столетия* от происшествия. Полагая, что имя поэта А. С. Пушкина сохранится в 2037 году и что не только пиитические его произведения, но и прозаические сочинения будут собраны и перепечатаны, мы воображаем, что при разговоре о 1812 годе в 2037 году собеседники захотят узнать мнение издателя «Современника» об *освобождении* отечества. Они найдут в третьем томе «Современника» превосходное стихотворение «Полководец», выражающее дань благодарности чужеплеменному соотечественнику (а не чужеземцу), сыну России, хотя не славянской крови, но верному слуге престола русского, следовательно, русскому гражданину, вождю русских сил, *русскому князю* Барклаю де Толли, дань благодарности за великую мысль (а мысль, заметьте, есть *зерно события*) прежде истомить великана, чтоб уравнивать силы его с своими, и после того низвергнуть его в честной борьбе, на русской земле, ввиду храмов православных и древних могил русских героев. Честь и слава поэту за доброе дело! скажут в 2037 году, как говорят и ныне все благомыслящие люди. Он первый доказал, что Барклай де Толли есть великий предмет для русской лиры! Поэт в восторге назвал своего героя *спасителем России*. — Потомки, приняв эти слова в смысле пиитической гиперболы, может быть, не обратили бы на них внимания, если б им не попался листок, приложенный ко всем газетам 1836 года, в котором вооружаются против поэта за его благородный восторг и утверждают, что не Барклай де Толли, а Кутузов *спас Россию*³. Читатели 2037 года ищут в «Современнике» 1836 года оправдания сочинителя прекрасного стихотворения «Полководец» и находят, что поэт почти отрекся от прежнего и говорит о Кутузове («Современник», ч. IV, стр. 295, строка 18): «Его титло: *Спаситель России...*»⁴. — В эту минуту один из собеседников общества 2037 года просит, чтоб его прислушали, и говорит следующее:

«Начинаю напоминанием исторической аксиомы, состоящей в том, что великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях, ибо только величие достойно оценивает величие, и исполнские предначертания могут быть постигаемы только исполинами. Правду любит только тот, кто проникнут правдою, и тот только в состоянии принять чужую великую мысль, кому отечество драгоценнее личной славы.

Мысль Барклая де Толли одобрена была императором Александром и не утаена пред главнейшими русскими вождями. Вслед за тем Барклаю поручена была сила России. Но этой гениальной тайны нельзя было объявить всенародно. Между тем Россия видела врага, стремящегося к сердцу ее, по-видимому беспрепятственно, и не трепетала от страха, но дрожала от не-

терпения и мести, жаждала сразиться. Немыслящие роптали, злые клеветали на вождя. Порицали, проклинали того, который заслуживал благословения. Герой страдал, терпел, молчал и делал свое дело!

Тайну надлежало сохранить до конца дела, а между тем долговременное заблуждение могло бы нанести опасный удар народному духу. Герой принесен по необходимости в жертву отечеству. С терпением, постоянством, смирением и мужеством христианина веков мученичества покорился герой судьбе своей и не оставил русского войска, но продолжал разделять с ним труды и опасности. Сила России поручена «остальному из стаи славной Екатерининских орлов»⁵, как сказал поэт. Унылая Россия возрадовалась и воспылала энтузиазмом. Новый русский вождь следовал, однако ж, путем, предначертанным в Совете царском, ибо это был единственный путь к спасению и славе России. Кровавые сечи перед Москвою не имели никаких других последствий, кроме славы, а Россия в этом не нуждалась со времен Петра Великого. Битвы эти нужны были, однако ж, для поддержания пламени в сердце народа русского. Не обвиняем полководца, но восхваляем его. Наконец врагу уступлена Москва! Только природный русский осмелился бы решиться на это. Здесь решилась политическая и стратегическая задача, давно предусмотренная и мудро рассчитанная. Врагом России был первый полководец новых времен, и он наконец увидел свою ошибку. Враг хотел возвратиться восвоиса, но теперь пришла на русских очередь вызывать на битвы. Россия восстала, низвергла горделивого врага и освободила себя и Европу от ига завоевателя.

Спрашивается: кто же *спаситель России*? Ответ находится на медали 1812 года: *Бог!* Но кто исполнял волю Божью на земли? Тот, который одобрил великую мысль Баркляя, который избрал вождем Кутузова, который произнес незабвенные в истории слова: «*Не вложу меча во влагалище, пока хотя единый враг останется на земле русской*» и который приписал весь успех благости Божией, — император Александр! Слава Господу на небеси, а на земли царю русскому, слава!

Земные *спасители* России суть: император Александр Благословенный и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай де Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но — *не спасители России!* Россия спасла сама себя, упованием на Бога, верностью и доверенностью к своему царю.

Не мое дело определять военные достоинства первостепенных вождей русских и присуждать им первенство. На это надобно иметь великое право, чтоб не показаться излишне смелым. Знаю только, что оба вождя велики и что Кутузов милее русскому сердцу, потому что он русской крови и русского племени. Да прильпнет язык к гортани его хулителей, потому что слава его сопряжена неразрывно с славою России! Поэты и историки! превознесите Кутузова: он заслужил все наши похвалы, исполнив завет царя и отечества, но не говорите, что он *спаситель России*, потому что это *историческая ошибка!*..

Александр Благословенный не мог и не должен был явиться перед своим воинством в Отечественную войну, потому что его обязанность была не

выигрывать сражения, но блюсти целую Россию, укреплять ее и совокуплять ее силы. Если б царь русский стал вождем войска в эту страшную годину, кто бы остался главою опечаленной, озабоченной, расстроенной семьи русской, т. е. народа русского! Царь был на своем месте в минуту опасности отечества, как кормчий во время бури. Он был на кормиле. Когда сбылось пророчество, миновалась опасность отечества и ни единого врага не осталось на земле русской, Александр Благословенный повел воинство свое на освобождение Европы и с мужеством, врожденным роду Петра Великого, презирал опасности битвы. Возле Александра Благословенного пал славный Моро на полях Дрездена⁶. Под градом пуль Александр водил в атаку* своих храбрых воинов! Провидение хранило Спасителя России до окончания великого подвига».

Так, или почти так, будут говорить наши потомки, когда утихнут все страсти, все современные расчеты людские. — Кутузов останется навсегда великим мужем; величие Барклая также утвердится на прочном основании, но история назовет *спасителями России* Бога, царя и народ русский!

ИЗ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». РОМАН В СТИХАХ. СОЧИНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ИЗДАНИЕ ТРЕТИЕ

СПб. 1837, в тип<ографии> Экспедиции заготовления государственных бумаг, в 32 д.
310 стр.**

«Что такое „Евгений Онегин“?» — спрашивает угрюмый теоретик и отвечает сам себе: «Роман не роман, поэма не поэма». Этот вопрос напоминает мне анекдот о Фридрихе II. Великий король, как известно большой гастроном, покушав однажды с аппетитом какого-то дотоле ему неизвестного блюда, призвал своего метр-д'отеля и сказал ему: «Не знаю, что я ел, но кушанье это прекрасное, и я не хочу знать, как оно называется и из чего изготовлено. Сделай одолжение, поступай так и впредь: не выдумывай новых названий, не прилаживайся к старым, а стряпай как теперь, с умом и со вкусом». — Мы читали «Онегина» по главам в первом его издании, прочитали потом в целом, ныне перечитали вновь и готовы читать сто раз. Умно, мило, остро, иногда своевольно, иногда с уклоном от правил, но правила люди выдумали, а талант от Бога! — Выпишем несколько отрывков, чтоб освежить воспоминание об «Онегине», если б оно как-нибудь заснуло в памяти некоторых наших читателей¹.

Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.

* Например, под Фер-Шампенуазом государь повел в атаку конно-артиллерийскую роту генерала Маркова⁷.

** Продается во всех книжных лавках по 5 р<ублей> асс<игнациями>.

Мои богини! Что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас.
Всё те же ль вы? Другие ль девы,
Смевив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом вспоминать?
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина: она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит.
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстро ножкой ножку бьет!

* * *

Конечно, вы не раз видели
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью,
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь:
Qu'écritez-vous sur ces tablettes
И подпись: *t. à v. Annette.*
А на последнем прочитаешь:
*«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».*
Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски.
Какой-нибудь *пишет* армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор

Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

* * *

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольню в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится.
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!

Теперь следовало бы начать новый период словом *но* и высказать мнение критики, исчислившей все ошибки в «Онегине». Это *но* так же необходимо в каждой критической статье, как в каждом описании путешествия француза по России необходим *рецепт для составления квасу*, *но* на этот раз у нас не будет *но*.

Два слова об издании. Оно прекрасно: напечатано в уютном формате, мелким, но очень четким и красивым шрифтом, на белой бумаге. «Онегин» этого издания уместится и в работном мешочке дамы, и в кармане (не секретарском) мужчины. Публика обязана этою прекрасною книжкою книгопродавцу Илье Ивановичу Глазунову.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ
К „РУССКОМУ ИНВАЛИДУ“»

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», РОМАН В СТИХАХ,
СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

СПб. 1837 г. В тип<ографии> Экспед<иции> загот<овления>
госуд<арственных> бумаг

Прелестная библиографическая игрушка, напечатанная в миниатюрном формате, точно таком же, как «Басни Крылова» последнего издания¹, на прекрасной веленовой бумаге, самым мелким (нон-парелью²), но четким шрифтом, и завернутая в кружевной переплет из цветной бумажки. Она имеет одно важное удобство — дешевизну: все главы «Онегина» прежних изданий стоят 40 р<ублей>, а эта книжечка только 5 р<ублей>; — за 5 р<ублей> вы будете иметь *всего* «Онегина»³ — это чудное, глубокое создание творца «Руслана и Людмилы»: не правда ли, что за это стоит поблагодарить предприимчивого издателя, г-на И. Глазунова? Жаль одного: издатель не догадался включить сюда же «Разговора поэта с книгопродавцем»,

который предшествует «Онегину» в прежних изданиях⁴. Скоро, говорят, готовится новое, дешевое издание всех стихотворений Пушкина⁵: тогда мы поговорим о достоинстве его «Онегина» подробнее.

—❧ ПРИЛОЖЕНИЯ ❧—



Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкинъ скончался, скончался во цвѣтъ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!... Болѣе говорить о семъ не имѣемъ силы, да и не пужно; всякое Русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! нашъ поэтъ! наша радость, наша народная слава!... Не ужьли въ самомъ дѣлѣ нѣтъ уже у насъ Пушкина?... Къ этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января, 2 ч. 45 м. по полудни.

Приложение 1

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужли в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января, 2 ч. 45 м. пополудни.

Л. А. ЯКУБОВИЧ

Сегодня, 29 января, в 3-м часу пополудни, литература русская понесла невознаградимую потерю: *Александр Сергеевич Пушкин*, по кратковременных страданиях телесных, оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшею горестию, мы не будем многоречивы при сем извещении: Россия обязана Пушкину благодарностию за 22-летние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил 37 лет: весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много в сравнении с тем, что совершил уже он в столь краткое время существования, хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное отечество.

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Вчера, 29 января, в 3-м часу пополудни, скончался *Александр Сергеевич Пушкин*. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина.

М. А. КОРКУНОВ

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

С.-Петербург, 4-го февраля 1837.

На левом берегу Мойки, близ нового Певческого мосту, перед домом княгини Волконской¹, в три последние дня января месяца с утра до ночи останавливались экипажи; туда приходили со всех концов Петербурга: в этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин; здесь написал он свои последние сочинения, обдумывал и готовил новые и здесь 29-го числа (в 2 часа и 45 минут пополудни), после двудневных страданий, скончался среди семейства и друзей, его оплакивающих. Твердость духа, многострадальное терпение, живейшее чувство заботливости о ближних ни на минуту не ослабевали в предсмертные часы, столь торжественные, столь важные в жизни человека. С благоговением совершив последние обязанности христианина, умирающий с трогательною, живую любовь прощался с супругою, с детьми, с ближними и друзьями; несколько раз пред кончиною говорил о преданности и благодарности своей к монарху; жалел не о жизни, а о трудах, им начатых и не конченных, о том, что не может более посвятить дней своих славе царствования государя, ему благодетельствовавшего, и славе отечества.

С месяц тому Пушкин разговаривал со мной о русской истории; его светлые объяснения древней «Песни о полку Игореве», если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки²: вообще в последние годы жизни своей, с тех пор как он вознамерился описать царствование и деяния великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. Зная его как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что, вероятно, лишились в нем и будущего историка*.

Отпевание тела его происходило в церкви Спаса в Конюшенной 1-го февраля в 11 часов утра. Первые сановники государства, министры, сенаторы, генералы, иностранные посланники, знаменитые литераторы присутствовали в церкви; все с горестию и слезами смотрели на Пушкина во гробе; во гробе увидите и вы его в картинах Бруни и Орлова⁴. Перед церковью, для отдания последнего долга любимому писателю, стеклись во множестве люди всякого звания. Трогательно было видеть вынос гроба из церкви: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский и другие литераторы и друзья покойного несли гроб 37-ми летнего поэта!..

По собственному желанию Пушкина тело его отвезено для погребения в монастырь Святые горы, Псковской губернии Опочковского уезда; там похоронены мать его и предки ее Аннибалы⁵. Сей монастырь находится в близком расстоянии от деревни Похта⁶, где он провел многие деятельные дни жизни своей, где написал «Бориса Годунова» и другие лучшие из своих произведений.

* Московские литераторы всею полнотою души и сердца разделяют скорбные чувствования литераторов петербургских. К<нязь> Ш<аликов>³.

А. Г. ТРОЙНИЦКИЙ

Les journaux de St.-Pétersbourg nous ont apporté une nouvelle bien douloureuse. Le nom le plus glorieux de la littérature russe s'est éteint: Alexandre *Pouchkine* est décédé à St.-Pétersbourg le 29 janvier, à 2 heures et trois quarts après-midi, après de courtes souffrances. Il nous a été enlevé à l'âge de 37 ans, dans un âge où l'on pouvait encore fonder sur lui les plus belles espérances.

Qui ne connaît pas en Russie le nom de Pouchkine? C'est à l'âge de 15 ans, que quelques poésies de lui nous ont révélé l'existence d'un de ces talents supérieurs, qui font l'honneur d'une nation. Les espérances qu'ont fait naître la richesse et la fraîcheur de l'imagination, que respiraient ses premières productions, n'ont pas été déçues depuis. Son beau génie a grandi, pour ainsi dire, et s'est développé à mesure qu'il a avancé en âge; et c'est avec orgueil que nous avons vu plus tard en lui cette profondeur d'idées, cette puissance et cette verve du génie, qui dénotent un des hommes destinés à briller d'un éclat permanent dans les fastes d'un peuple. Dans les dernières années, où il s'était livré à des travaux sérieux, ce n'est que rarement qu'il laissait échapper de sa plume quelques poésies: mais ces poésies paraissaient presque toujours empreintes d'une force admirable de pensée et d'une énergie de style, fruits d'une imagination puissante, relevée par des études et des méditations profondes. Contemporains de Pouchkine, témoins, pour ainsi dire, de ses succès de tous les jours, il nous est difficile d'apprécier au juste toute la valeur des services qu'il a rendu à notre langue et à notre littérature. Nous croyons cependant pouvoir affirmer, que personne n'a poussé aussi loin que lui la perfection de notre langue poétique; personne ne savait rendre si énergique et concise et en même temps si suave et harmonieuse la belle langue des russes...

Et c'est lui que le destin a déjà choisi pour victime parmi nous, ses contemporains; lui, aux jeunes succès de qui la Russie avait applaudi avec tant de délices et qui plus tard est devenu poète d'idées profondes, et poète éminemment national; lui, un de ces élus qui reçoivent de la Providence le don sublime de rendre impérissable l'idée qu'il traçent sur le papier; un de ces génies, que nous présentions avec tant d'orgueil à l'Europe comme notre compatriote!.. Oh, il nous sera difficile de nous faire à cette idée si triste et si douloureuse! Il se passera bien du temps, avant que nous, contemporains de Pouchkine, nous pussions nous faire à l'idée, qu'il n'est plus parmi nous!..

*Перевод**:

Санкт-петербургские газеты принесли нам весьма горестное известие. Не стало славнейшего представителя русской литературы: Александр *Пушкин* скончался в Санкт-Петербурге 29 января в 2 3/4 часа пополудни после кратковременных страданий. Смерть похитила его у нас в 37 лет, в возрасте, когда можно было еще возлагать на него самые светлые надежды.

* Е. О. Ларионовой.

Кому неизвестно в России имя Пушкина? Ему было пятнадцать лет, когда несколько его стихотворений возвестили нам о появлении одного из тех высших дарований, которые делают честь своему народу. Надеждам, рожденным богатством и свежестью воображения, которые одушевляли его первые произведения, суждено было сбыться. Его прекрасный гений, так сказать, вырос и развился с годами; и с гордостью мы увидели в нем позднее ту глубину мысли, то могущество и пыл гения, которыми бывают отмечены люди, призванные стяжать неувядаемую славу в летописях народа. В последние годы, когда он предался серьезным трудам, из-под пера его лишь изредка выскальзывало несколько стихотворений, но почти всегда они отличались замечательной силой мысли и выразительностью слога, плодами могучего воображения, возвышенного учением и глубокими размышлениями. Современникам Пушкина, свидетелям, так сказать, его вседневных успехов, нам трудно верно оценить его заслуги пред нашим языком и нашей литературой. Мы считаем себя, однако, вправе утверждать, что никто в такой, как он, мере не способствовал усовершенствованию нашего поэтического языка; никто не умел сделать прекрасный русский язык столь энергическим и сжатым и в то же время столь нежным и гармоничным...

И это его избрала в жертву судьба среди нас, его современников; его, чьи первые успехи Россия приветствовала с таким упоением, кто стал позднее поэтом глубокой мысли, поэтом в высшей степени народным; его, одного из тех избранников, кому послан Провидением высокий дар окрылять бессмертием мысль, излагаемую ими на бумаге; одного из тех гениев, которым мы так гордились перед Европой как своим соотечественником!.. О, нам будет трудно освоиться с этой мыслью, столь грустной и столь скорбной! Пройдет много времени, прежде чем мы, современники Пушкина, сможем привыкнуть к мысли, что его нет среди нас!..

Н. Г. ТРОЙНИЦКИЙ

Все петербургские газеты извещают о незаменимой утрате, постигшей русскую литературу.

Всюду разнеслась уже горестная весть, что представитель нашей поэзии, владыка русского слова, писатель, на которого с гордостью указывали мы Европе, *Александр Сергеевич Пушкин*, скончался во цвете лет, на 37-м году своего возраста. Он умер 29 января, в пятницу, в половине 3-го часа пополудни. — Мы помним его еще цветущим юношею, когда он жил некогда в Одессе и написал здесь многие из своих очаровательных произведений.

Своими чудными звуками, своими вдохновенными созданиями он выражал все поэтические стороны современной жизни русского мира, и выражал их так глубоко, так прямодушно, так возвышенно. Он указывал нам на все великое нашего века, доступное всеобъемлющему чувству его души, чувству такому могучему, такому поэтическому. Певец в высшей степени народный, он одинаково понимал и сокровеннейшие тайны русского мира, и общие черты жизни человечества. Картины внешней природы и глубокие явления мира нравственного облекались в его творениях в такую свежесть, в такую силу, в такую образность выражения. Ознаменованный печатью

высокого гения, он рассыпал в разнообразных произведениях своих столько могущества и фантазии, что чем долее и глубже всматриваешься в них, тем более открываются в них целые миры неподражаемых красот.

С раннего возраста прислушивались мы к этим очаровательным песнопениям, к этим неизвестным дотоле оборотам русской речи, к этой неслыханной у нас гармонии языка. С любовью следили мы каждый шаг поэтического поприща его жизни, дорожили его славою, потому что видели в ней нашу собственную славу — славу России. Мы привыкли считать эту славную жизнь неотъемлемым, бессмертным достоянием русской литературы; мы никогда не думали, мы не постигали возможности лишиться нашего незабвенного... Пушкин! Пушкин! зачем же так рано, так неожиданно!.. И нет премника тебе, вещей певец нашего времени!

О, над могилою твоею оболется горькими слезами каждый сын России, кому дорога русская слава, в ком горит святая любовь ко всему родному.

ИЗ ЖУРНАЛА «МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ПУШКИНА НЕ СТАЛО! Мы потеряли с ним часть лучших наслаждений наших, часть нашей народной жизни, нашей души, нашего слова. В последние годы он не был так деятелен, как прежде; но теперь, когда его нет, кто не вспомнит тех чувствований, какими потрясал он всю Россию, когда поэма сменяла поэму, когда мы не успевали досыта насладиться одною, и являлась новая, свежая песня? — Его нет, и мы лучше узнали, кого лишились, и в сердце русском как-то стало тяжело и пусто, как будто часть его оторвалась с поэтом.

Для Пушкина настало минувшее; настал печальный вопрос о том, какое место должен занять его памятник в ряду тех русских гробниц, где покоятся владетели нашей мысли и слова? Много вопросов предстоит решить нам; но теперь все они да уступят одному чувству горести по любимом поэте России!

Н. А. ПОЛЕВОЙ

ПУШКИН*

Умер он. Песня его умолкла. Погребальный звон колокола над его гробом отозвался в русской земле печальною вестью — «Пушкина нет!» Светлая Божия весна скоро зазеленеет и в тающем снеге псковских лесов впервые обнажит холодную, безмолвную могилу великого русского поэта.

* Статья эта написана по просьбе редактора «Библиотеки» для «Тени», который считает долгом изъяснить в самом начале искреннюю благодарность свою ее почтенному автору не только за прекрасный труд, так верно изображающий *общие их* чувствования, но и за дружескую готовность его приняться за перо в минуту самой живой скорби. Статья была писана вслед за кончиною поэта, которого мы оплакиваем потерю.

Человек умер. Мир тебе, усопший брат! Что ж? Каждый день умирают люди. Каждый день сердятся суетливые живущие, что чей-нибудь похоронный поезд мешает им свободно мчаться по широкой улице. Каждый день кто-нибудь из живущих плачет над чьей-нибудь могилой. И каждый год застывает какая-нибудь могила травой в забвении; и каждый год редеют около нас ряды наших спутников, гаснут надежды живущего поколения, темнеют его радости, неоконченные и мимолетные, как падучая звезда. Новый поток жизни сменяет поток, быстро высыхающий, и теснит гроб колыбелью. Свет забывчив: он скоро забудет и Пушкина, как забыл тысячи своих великих и малых собратьев. Слезы высохнут. Улыбка сменит печаль. Изредка будет еще оживляться несколько времени беседа современников рассказами о Пушкине; но пройдет несколько десятков лет, и только немногие из нас, дряхлые старики, будут говорить: «Я знал его, видал, помню». Юное поколение будет прислушиваться к речам этих стариков. Но еще несколько лет, и от нас, современников, останется только ряд могил, связка летучих заметок, память добра и зла нашего, темная и безотчетная молва о том, что мы были и что такое мы были.

В какое время эту грозную истину лучше можно сказать человеку, как не теперь, на свежей могиле Пушкина, когда еще так тяжело сердцу, так больно душе; когда еще слезы невольно вырываются из глаз при печальной вести — «уже нет Пушкина!».

Удержим безрассудный ропот. Все добро, все благо в твоём прекрасном создании, Творец жизни и смерти! Кто умер, тот довольно жил; и когда надежды на будущее превращаются в грусть о минувшем, да благоговейте наше растерзанное сердце перед Твоею неисповедимою волею!

В холмистой стране могил, которые поспешно вырастают из почвы нашего века, взор потомка будет искать и отыщет могилу твою, наш поэт! И над этою могилой через годы и столетия всегда равно будет гореть для избранных неугасаемый пламень вдохновения! К ней подойдет также холодное любопытство и на ветхом полуразрушенном камне прочтет:

Александръ Пушкинъ.

Родился

двадцать шестаго мая, 1799 года.

Скончался

двадцать девятаго января,

1837.

«Чья это могила?» — спросит рассеянная суетливость.

«Он жил, — скажут знающие люди, — в девятнадцатом веке и писал стихи. Можете прочесть обстоятельное жизнеописание его в новом издании словаря русских писателей. Современники называли его первым из своих стихотворцев: в самом деле, стихи его хороши по своему веку и времени».

Вы ошибетесь, будущие знатоки прошедшего! Вы стоите на могиле не стихотворца, но памятного человека и истинного поэта: благоговейте перед славным прахом *нашего* Пушкина! Он равно современник и вашего и нашего века. И жизнь его равно поучительна для всех веков.

Он был поэт.

В толпе поколений, которые теснятся по дороге, ведущей от колыбели до гроба, спеша сменить пеленки саваном, являются иногда пришельцы — странные скитальцы на земле, бездомные и сирые. У всякого из нас есть какое-нибудь занятие в жизни. У этих странников нет занятия. Они лепечут только какие-то гармонические звуки, иногда так внятно, что даже толпа людей слышит их, приходит в восторг, останавливается и, указывая на пришельца, восклицает: «Поэт!» — Где он? Где он? Неужели явился новый поэт? — Да, явился новый фигляр на ваше позорище, новый безумец. Бегите, бегите за ним! Послушайте его песен! Смотрите, вот он! — И толпа смотрит. — Да он как все? Он как все мы? — Разумеется!

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.¹

Но что ж он не поет? Он, кажется, страдает чем-то? — И он опять запел. — Как это нехорошо! неправильно! Прежде он лучше певал. Посмотрите, как он дурачится! А вот еще запел другой: этот поет лучше; в этом больше надежды. — Надежды?.. Бедные люди! на чью это могилу споткнулись вы? — Как? Это его могила? Жаль, жаль поэта! Он рано умер! — И суетливо пробежала вперед людская жизнь, оставивши за собою потомству могилу вдохновенного; могилу, окропленную теплыми слезами немногих, у кого сердце билось к нему сочувствием. Одни только они стоят, погруженные в мрачную думу, над его гробом!

Не вините толпы, не вините людей: она права, они правы. Поэзия — безумие; непонятное, странное безумие; тоска по небесной отчизне. Ее ли понимать вам на земле?

Не вините людей. Действительно, так: сами поэты виноваты перед людьми; факиры-мечтатели, добровольные страдальцы, лунатики, повинующиеся силе непостижимого луча, который падает на них откуда-то свыше и приводит в вещь снобдение². Не думайте, чтобы толпа всегда отвергала этих дивных собратьев, чтобы она не плакала иногда с ними, чтобы она не давала им иногда гремушки своей дружбы, не дарила их дурацким колпаком своей любви. Но с презрением бежит поэт от ее объятий, и, как слезы крокодила, отвергает он слезы толпы. В ярости своей за сострадание к нему он платит эпиграммою за участие, насмешкою за любовь. От него люди отвергнулись — он мучится; его похвалили — он насмехается. И, вечно недовольный собой, другими, жизнью, он гибнет; гибнет, когда его охватывают холодные объятия света; гибнет, когда на него сыплются все дары земного счастья; гибнет, когда зависть обременяет его позором бесславия и когда злое невежество терзает его в отмщение за свое бесславие. Сколько жертв сгорело этим страшным внутренним огнем, оттого что не было выхода ему из души, во мраке бедности, унижения, суеты! И сколько звезд потухло, оттого что высоко избрали себе жилище и не было им живительной, необходимой стихии жизни на высоте, где носятся только бурные тучи! Сколько небесных гостей задохлось в угаре света и страстей! Не думайте, чтобы рождение, богатство, знатность спасали поэта; чтобы ничтожество и бедность убивали его. Байрон был пэр и богач; любовь и слава лелеяли его, а он спешил умереть за недостойные развалины Греции. Шекспир прибежал за куском хлеба в Лондон и ушел назад в бедную отчизну свою, отказавшись от

похвал и денег и умоляя только людей — «ради имени Божиего не трогать костей его»³. А этот непостижимый, железного тела Гёте, который умер в глубокой старости тайным советником, с звездами на груди и улыбкою самодовольствия на устах; это удивительное явление, олицетворенное равновесие мира духовного с миром вещественным? Не верьте ему; не верьте тому, что он говорил: он начал «Вертером» и кончил «Фаустом»!⁴ Ломоносов, сын бедного рыбака, горько жалел на смертном одре о своей жалкой участи как первого ученого и стихотворца в отечестве. Державин сделался ребенком в преклонных летах и сам не понимал своих вдохновенных страниц.

Такова участь поэзии; таковы поэты были, суть, будут всегда и везде. Бедный юноша, если в твоём взоре просвечивает вдохновение, мне жаль тебя! Бедная девушка, если твоя душа хочет прижаться к душе поэта, я жалею о тебе! Прочь от этой глетворной горячки, пожирающей человека с душой, полною гармонии! Хотите ли выкупать несколько мгновений — правда, не земных, таких, каких другие люди не знают на земле, — выкупать, может быть, годами страданий, слезами, скорбью, каких другие люди также не знают? Безумный Прометей! похищай после того огонь с неба: он будет твой губитель! Безрассудная Семела! зови к себе Юпитера: он явится и сожжет тебя!⁵

Пушкин был в наши дни именно таким явлением, таким незванным гостем на пиру жизни⁶. Он был истинный поэт, какими не делают, а рождаются, по добродушному признанию Горация, который назвал своему убеждению хотел *сделаться* поэтом⁷.

Не теперь, когда и дерном не покрылась еще свежая могила чудесного певца, не теперь говорить о жизни Пушкина, непрерывной ошибке, смеси неба с землей, решительности гения с недоверием человека к самому себе, гордой мечте и бедной существенности. Пусть холодный суд других тяготеет над его гробом. Мы, которые знали, видели его, мы, за него страдавшие, когда он шел вопреки своему назначению, когда он сбивался с своего пути — падал — вставал с новыми силами — опять падал, — будь он в живых, мы сказали бы, и даже мы говорили ему при жизни много такого, чего не можем сказать теперь. Страдалец земного бытия! он успокоился наконец, замолчал, кончил... Бурно, огненно, неровно было его земное странствование. Увлеченный мечтами юного и пламенного воображения, он истратил первый цвет жизни на эти безрассудные мечты: и неужели вы думаете, что он не понимал этой траты, он, одаренный таким превышающим дарованием, таким светлым умом, он, говоривший в 1825 году:

Служенье муз не терпит суеты;
 Прекрасное должно быть величаво,
 Но юность нам советует лукаво,
 И шумные нас радуют мечты.
 Опомнимся, но — поздно! — и уныло
 Глядим назад, следов не вида там!⁸

И вот, в самом разгаре жизни, в пылу своего блестящего дарования, Пушкин на радость себе возвращен был священному служению муз⁹. Рукоплесканиями приветствовало его отечество. Прошло два года, и Пушкин го-

рестно жаловался в пленительных стихах, которые один из великих современных поэтов¹⁰ называл тогда лучшим его произведением:

Когда для смертного умолкнет шумный день
 И на немые стогна града
 Полупрозрачная наляжет ночи тень
 И сон, дневных трудов награда,
 В то время для меня влачатся в тишине
 Часы томительного бденья:
 В бездействии почном живей горят во мне
 Змеи сердечной угрызенья;
 Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
 Теснится тяжких дум избыток;
 Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свиток,
 И, с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу, я проклиная,
 И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю.

Вспомните, как тогда же доспрашивался Пушкин у судьбы своей, зачем живет он:

Дар напрасный, дар случайный,
 Жизнь, зачем ты мне дана?
 Иль зачем судьбою тайной
 Ты на казнь обречена?
 Цели нет передо мною
 Сердце пусто, празден ум,
 И томит меня тоскою
 Однозвучный жизни шум!¹¹

И Пушкин мог так говорить? Он ли мог называть ум свой *праздным* и сердце *пустым*? Да! И мечта о смерти уже мелькала тогда в душе его:

Младенца ль милого ласкаю,
 Уже я думаю — прости!
 Тебе я место уступаю;
 Мне время тлеть, тебе цвести.
 День каждый, каждую минуту
 Привык я думой провождать,
 Грядущей смерти годовщину
 Меж них стараясь угадать.¹²

С печальною веселостью, с горестною усмешкою он высказывал то же самое другими словами. Вспомните окончание шестой песни «Онегина».

Мечты, мечты! где ваша сладость?
 Где вечная к ней рифма — *младость*?
 Ужель и вправду наконец
 Увял, увял се вснец?
 Ужель и впрямь, и в самом деле,
 Без поэтических затей,
 Весна моих промчалась дней,

Что я шутя твердил доселе?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро *тридцать* лет?¹³

И какая-то задумчивая молитва навевалась на сердце поэта вместе с до-
садою после этой улыбки. Вот она. И как она прекрасна!

Но ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных, и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных,
Среди вседневных модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов душ и разговоров, —
В том омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!¹⁴

Кому ж были жертвы поэта? Какому бездушному истукану поклонялся
он? Где он искал вдохновений — он, который говорил нам, что всегда и
сряду —

...всех в гостинной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор!
Все в них так бледно, равнодушно!
Они клеветают даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетней и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум,
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце — хоть для шутки;
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!¹⁵

Помните ли еще эту горькую шутку, которою кончился «Онегин»:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа!¹⁶

Сквозь слезы проговорена была эта шутка: да! И вслед за нею тяжко отозвался грустный поэт, уверяя, будто — блажен,

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя дозрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел!..

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие мечтанья,
Что наши свежие желанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осени гнилой.
Неспособно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чишюю толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.¹⁷

Теперь, в этих поэтических записках, в этой исповеди души, понимаете ли вы человека в поэте, поэта в человеке? Видите ли несчастную вражду их между собою? Вот он еще — грустный отголосок души поэта!

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле Провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу праотцев теснит!
Придет, придет и наше время,
И наши внуки, в добрый час,
Из мира вытеснят и нас!..

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я.
Для призраков закрыл я вежды...
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без непрямого следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий мой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.¹⁸

Но не здесь вполне высказывался великий поэт. Вот его последний, надгробный голос, страшный вопль растерзанного бытия, вопль уже без шутки,

уже без притворной улыбки: и могли ли мы думать, что это будет последняя, лебединая песнь Пушкина?.. С невольным содроганием сердца повторяем мы теперь эти унылые звуки, вылетающие к нам, как будто из гроба:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье;
Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне *труд и горе*
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!¹⁹

Теперь ни надежде, ни грядущему уже нет места. Мир заключен, расчет кончен и скреплен лопатой могильщика. Осталось навеки одно прошедшее. Что ж? мы теперь «потомство» его. Живые, мы станем вокруг безмолвного жилища мертвеца и начнем разыгрывать печальную комедию. Кто нам помешает? За осуждение нам уже нечего бояться бешеной эпиграммы разъяренного поэта, а похвалой и криком удивления мы, может быть, останемся в выигрыше перед живыми. Можем даже причесться в друзья его. Он уже не скажет теперь:

Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.²⁰

И нас, пожалуй, почтут чем-то, если мы скажем, что для Пушкина были мы что-то.

Нет! близ могилы великого русского поэта мы не будем ни хвалителями, ни осуждателями его. Живым пригодятся похвала и лесть: мертвым надобна одна истина. Но мы предоставим суд и решение настоящему потомству²¹. Мы еще не потомство для Пушкина, когда не остыли страсти, которые равно одушевляли его и нас, когда в нас сохраняются личные впечатления его жизни и созданий, когда душа стеснена тяжкою болью от его потери.

Пушкина-человека мы старались изобразить его собственными словами. Вы слышали эти слова? Разгадывайте их и узнавайте его в собственных его признаниях²².

Но Пушкин-поэт?

Даже для того, чтобы современники поняли великость своей потери и справедливость нашей печали и чтобы люди не почли приличий нашей грусти за тщеславие, мы должны говорить о Пушкине как поэте²³. Мы должны также сохранить для потомства современные чувства и впечатления, чтобы они послужили ему поверкою его выводов. Мы должны сказать нашим внукам, какое действие производил Пушкин над нами.

Где говорится от души, там едва ли можно ошибиться²⁴.

Пушкин не принадлежал к тем вековым гениям, которых появление в мире становится реже и реже и, быть может, сделается наконец совершенно невозможным, как появление первобытных феноменов земной природы, в раздробленном быту нашем, при смешении и сшибке умножающихся стихий и деятелей общества. Гомер, Данте, Шекспир уже и теперь невозможны. Это мифологические лица.

Но тем ярче и сильнее могут блеснуть частные гении, проявления одной какой-нибудь стороны человеческого духа и одного народа.

Все эти проявления не могут выходить из пределов своего назначения, своего времени, своего места, и они тем возвышеннее, тем достопамятнее, чем благоприятнее обстоятельства, время и место.

В этом положении человеческого мира Пушкин был поэт, *великий лирический поэт* и полный представитель своего современного отечества.

Только два таких поэта было у нас доньше, Державин и Пушкин. Оба они были лирические. Мы так еще свежи и юны как народ и как общество, что другого рода поэты не могли у нас явиться. Державин был представителем царствования Екатерины: его приготовили Ломоносовы, Кантемиры, Сумароковы, Петровы и классицизм. Пушкин был представителем окончания царствования Александра и начала царствования Николая: его приготовили Карамзины, Жуковские, Дмитриевы, Батюшковы и романтизм.

Обоих захватил к себе свет и погубил их как поэтов. Оба увлеклись пылкостью своих впечатлений к чуждой для себя сфере и не могли осуществиться всей своей самобытностью. Но оба стали выше всех своих сверстников, и оба вполне выразили свой народ.

Толпа спутников окружила Державина: около него теснились Капнисты, Нелединские, и подражание ему увлекло бесчисленное множество более или менее важных дарований. Не то ли было с Пушкиным? Выйти из своего века и стать впереди его никто не может. Если вы слышите иногда подобные слова, не верьте им. Это слова громкие, но пустые. Но сильный ум, но гений может заключить в себе всю современную образованность своего народа, может угадать все его тайные побуждения и потребности и выразить их удачно: от этого кажется он каким-то вдохновенным прорицателем всего, что темно и неясно для умов обыкновенных.

В течение двадцати лет Пушкин пережил и перечувствовал всей жизнью и всеми мыслями своего времени и своего народа. Эти остатки классицизма и восемнадцатого века в первых его творениях; безотчетное бегство к новым идеям; бессистемное, юношеское стремление к нововведениям, которыми кипели литературы английская, германская, французская с 1815 года; отвращение от гибельных следствий, какими кончились эти усилия для большей части Запада; потом мысль о собственной самобытности, о народности, северной, восточной, русской; опыты создать ее в литературе; необходимость труда разнообразного, переходы к драме, повести, роману, истории, народной сказке; вечное неудовлетворение себя тем, что довольствовало ум обыкновенный; непрерывное движение вперед и неизбежные оттого усталость, сомнение, недовольство самим собою и другими, — все это не показывает ли гения, рожденного в веке переходном? Таков был Пушкин.

Что же совершил он?

Но разве не исполинский подвиг — представить собою свое время и свой народ в области поэзии? Каким благородным чувством современным не билось теплое сердце нашего поэта? Что прекрасное и славное не находило сочувствия в его душе? Хотите ли исчислить все, что высокого и задушевного успел перемыслить и сказать Пушкин в жизнь свою? Переберите все, что врезалось невольно в сердце ваше от его неподражаемых стихов.

Да! неподражаемых. Когда мы все умрем, когда простынут наши сердца и новые времена, новые подвиги, новые впечатления овладеют чувствами русскими и далеко оставят за ними понятия и происшествия, одушевлявшие Пушкина, и тогда еще он будет великий писатель²⁵, которому могут явиться равные по подвигу, но никогда равные по подражанию. Тому, что он сделал для русской поэзии, подражать невозможно. Истинный истолкователь главной тогдашней потребности своего народа, он заговорил чистым, коренным, живым языком русским в своих песнях, и вся наша поэзия заговорила этим языком. По его волшебному слову она вдруг, с одного конца России в другой, скинула свое старое облачение и оделась в новое и чистое платье. Через полвека, через век вы можете сделать то же самое: заговорите тогдашним современным, живым языком, то есть умейте заговорить им подобно Пушкину, и вы будете Пушкиными того времени. Но умейте заговорить! А это нелегко. Одним из драгоценнейших качеств Пушкина был его невыразимо чуткий и верный вкус. Его ухо, его язык, его перо издали чуяли то, что неловко, негладко, неизящно по-русски. Он иногда позволял и себе небрежности, которые кажутся отклонениями от этого удивительного чувства изящности современного языка, но он не старался выдавать их за образцы и сам называл их *небрежностями*. Мы говорим здесь только о Пушкине в стихах. Этот огромный шаг, который он заставил нашу поэзию сделать легко, мгновенно, останется навсегда величайшим его подвигом и будет первым его правом на бессмертие и благодарность русских. И следствия этого подвига, который принадлежит лично ему и весьма достаточен для одного человека, чрезвычайно важны и неисчислимы. Но такой подвиг был замечен не всеми и скоро забыт почти всеми. Изумленные им, мы беспрерывно ждали новых, еще более блестящих подвигов и, конечно, требовали от Пушкина более, чем может сделать один человек. Мы были несправедливы. Наши чрезмерные требования виною, если он не всегда удовлетворял нас.

Пока был он жив, пока он являлся между нами, мы забывали Пушкина настоящего и смотрели в настоящем только на Пушкина будущего. Но самое это требование целого и могущественного народа от одного человека, эта боязнь всех за одного, это общее ожидание, что поэт новым бурным переливом гения через скалы и утесы удовлетворит каждой новой потребности наших умов и сердец, — вот мера гения Пушкина. К нему и только к нему одному относились наши требования и ожидания; только за него одного мы трепетали и боялись. Другие пели или, когда угодно, писали, — но кто препятствовал им петь и писать, как им угодно и что угодно! Спокойно могут и теперь, после Пушкина, все другие петь и писать, потому что в русском поэтическом мире, кроме его одного, мы ни за кого не боимся и ни от кого ничего не надеемся.

Таково было место Пушкина-поэта в современной России. Оглянитесь кругом: нет другого Пушкина среди пятидесяти миллионов нашего славного, умного русского народа! Русская почва плодородна на великое. Пушкины явятся снова; еще лучше, еще прекраснее будут они, но среди нас, живущих нынче, — нет другого Пушкина. Это говорим мы, современники его, и это подтвердит потомство.

И как на могиле такого человека — когда мы притом знаем избыток сил, хранившихся в его пламенной душе и ярком уме, когда жизнь его была несчастною ошибкою и кончилась разрушением надежд наших, — как нам не сокрушиться сердцем, не плакать — не за него, а за себя?..

Это невозможно. Пусть же немногие слова, которые теперь вырываются неволью из сердца, пусть они покажут, что если мы не умеем высказать вполне чувства нашего, мы по крайней мере хотели высказать его. Чувство блага и чувство горестной утраты русской литературы в Пушкине близки в нашей душе.

Слова скорби пролетают, хоть и шевелят нынче сердца, которым допустно чувствование простое, искреннее, непритворное. Слов мало. Неужели мы оставим забвенною одинокую могилу нашего чудного, единственного поэта?

Русский царь, которого великая душа вмещает в себе высокие русские чувствования, и первая радуется радостью России, и первая за нас всех печалится нашими печальями, русский царь сам показал и своей отеческою заботливостью о Пушкине в последние его минуты, и величию своих благодеяний к его вдове и сиротам, как велика наша потеря. Дети нашего поэта будут им воспитаны и уже от его щедрот получили вместе с матерью одиннадцать тысяч рублей ежегодного пенсионера. Царь заплатил все долги Пушкина и очистил его имение от залога. Царь на свой счет печатает полное издание сочинений Пушкина в числе десяти тысяч экземпляров и дарит это издание его семейству, что составит для сирот капитал в триста тысяч рублей²⁶. Неужели мы, его дети, братья по общему отцу сиротам Пушкина, не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Личные друзья покойного под предводительством благородного Жуковского взялись продолжать журнал Пушкина «Современник», которого доход будет также обращаться в пользу семейства²⁷. Наш долг ознаменовать также воспоминание о Пушкине чем-нибудь — памятником, достойным его славы и русской чести. Русские люди! воля царская, без всякого сомнения, разрешит нам такую дань благодарности. Никогда еще ни одно доброе намерение не погибало от недостатка ободрения нашего доброго, славного царя! Пусть каждый из нас, кто ценит гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника. Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного предмета; и в мраморе или в бронзе станет на могиле поэта монумент, свидетель того, что современники умели ценить Пушкина. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, и тихо задумается странник, зашедший в ветхие стены уединенной Святогорской обители, где почит незабвенный прах первого поэта нашей славной русской земли!

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ПУШКИНА

Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою, — потеря невозвратная и ничем не вознаградимая. Что бы он написал, если бы судьба так незапно не сорвала его со славной, едва начатой им дороги? В бумагах, после него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченного; с благоговейною любовью к его памяти мы сохраним все, что можно будет сохранить из сих драгоценных остатков, и они в свое время будут изданы в свет*. Здесь сообщаются читателям известия о последних минутах его жизни. Они описаны просто и подробно в письме к несчастному отцу его.

Письмо к С. Л. Пушкину

15 февраля 1837

Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что мог я тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастьем, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это, к несчастью, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей; еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы, еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздастся его живой, ребячески-веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменялось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда, — непостижимо! В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный и дряхлый отец; не говорю о нас, горюющих его друзьях. Россия лишилась своего любимого, национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, иногда беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе зрелого мужества, столь же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?² Слава нынешнего царствования утратила в нем своего поэта, который принадлежал бы ему, как Державин — славе *Екатерины*, а Карамзин — славе *Александра*.

Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы. В среду 27<-го> числа января в 10 часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Мне сказывают, что и он, и княгиня у Пушкиных, а Валуев, к которому я

* Вскоре за полным изданием сочинений, уже известных публике и теперь издаваемых в шести частях по подписке. Если напечатать все найденное в рукописях Пушкина, то, конечно, составится два хороших тома, или и *пять*, если присоединить к литературным отрывкам все материалы, приготовленные для «Истории Петра Великого». Ж<уковский>¹.

зашел, встречает меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно послали; поезжайте к Пушкину: он умирает. Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы. Приезжаю к Пушкину. В его прихожей, перед дверями его кабинета, нахожу докторов: Арендта и Спасского; князя Вяземского, князя Мещерского. На вопрос: *каков он?* Арендт отвечал мне: очень плох; умрет непременно. Вот что рассказали мне о случившемся³: в шесть часов после обеда Пушкин привезен был в этом отчаянном положении домой подполковником Данзасом, его лицейским товарищем. Камердинер принял его из кареты на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» — спросил у него Пушкин. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван. В то время, когда его укладывали, жена, ни о чем не знавшая, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N'entrez pas il y a du monde chez moi»*. Он боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда он лежал совсем раздетый. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехали Шольц и Задлер. Пушкин велел всем выйти (в это время у него были Данзас и Плетнев). «Плохо со мною», — сказал он, подавая руку Шольцу. Его осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моем положении, скажите откровенно?» — «Не могу вам скрыть, вы в опасности». — «Скажите лучше, умираю». — «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Саломона⁴, за которыми послано». — «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi»**, — сказал Пушкин, замолчал, потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j'arrange ma maison»***. — «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних?» — спросил Шольц. — «Прощайте, друзья!» — сказал Пушкин, обратив глаза на свою библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» — «О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Господин Плетнев здесь». — «Да, но я желал бы и Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». — Шольц тронул пульс, нашел, что рука была холодна, пульс слаб и скор; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Саломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова. Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда уверился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; это произвело желанное действие, больной поуспокоился. Перед отъездом Арендта он сказал ему: «Попросите государя, чтобы он меня простил»⁵. Арендт уехал, поручив его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходил от его постели. «Плохо мне», — сказал Пушкин, когда подошел к нему Спасский. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе, и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, — го-

* Не входите, я не один (*франц.*). — *Ред.*

** Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек (*франц.*). — *Ред.*

*** Надо устроить мои домашние дела (*франц.*). — *Ред.*

ворил он Спасскому, — не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною, что хотите, я на все согласен и на все готов». В это время уже собрались князь Вяземский, княгиня, Тургенев, граф Виельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване лицом от окон и двери); но всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь? — говорил он. — Отведите ее». Он боялся допускать ее к себе, ибо не хотел, чтоб она могла заметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал. «Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного»⁶. И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимою страстию, исчезла, не оставив на ней и следа; ни слова, ниже⁷ воспоминания о случившемся⁸. Но вот черта чрезвычайно трогательная. Накануне получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына⁹. Он вспомнил об этом посреди своего страдания. «Если увидите Греча, — сказал он Спасскому, — поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром. В полночь доктор Арендт возвратился. То, что от него услышал умирающий, обрадовало, успокоило и укрепило его душу. Исполняя желание, уже угаданное, в котором выражалась трогательная заботливость о его судьбе и за гробом, он исповедался и причастился Святых Таин¹⁰. До пяти часов утра в его положении не произошло никакой перемены. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали опять за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страдания, которые наконец дошли до крайней степени и продолжались до семи часов утра. Что было бы с бедною женою, если бы она в течение этих двух вековых часов могла слышать его стоны? Я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, у самых дверей, кои одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргический сон овладел ею, и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями¹¹. Но в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе оказалась твердость души умирающего: готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил сам, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, его ру-

кою написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его нестерпимые страдания, он сказал Спасскому: «Жену! позовите жену!» — Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать. Потом потребовал детей, они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал прочь. «Кто здесь?» — спросил он у Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. «Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел. Но он опять подозвал меня: «Скажи государю, — промолвил он, — что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования, что я ему желаю счастья в его сыне, счастья в его России». — Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно. Потом простился он с Вяземским. В эту минуту приехал граф Виельгорский и вошел к нему, и также в последние подал ему живому руку. Было очевидно, что он спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет». Когда подошел к нему Тургенев, он посмотрел на него два раза пристально, пожал ему руку; казалось, хотел что-то сказать; но махнул рукою и только промолвил: «Карамзину!» Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня», потом поцеловал у ней руку¹². — Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил; к животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему; и он начал беспрекословно исполнять предписания докторов, которые прежде все отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и жадно желая смерти для их прекращения. Но тут он сделался послушен, как ребенок; сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Словом, ему, по-видимому, стало гораздо лучше. Так нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. «Худо мне, брат», — сказал Пушкин с улыбкою Далю. Но Даль, действительно имевший более других надежды, отвечал ему: «Мы все надеемся, не отчаивайся и ты». — «Нет! — возразил он. — Мне здесь не житье; я умру, да, видно, так и надо». В это время пульс его был полнее и тверже; начал показываться небольшой общий жар. Поставили пивки; пульс стал ровнее, реже и гораздо легче¹³. Я ухватился, говорит Даль, как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил *надежду* и обманул было и себя, и других. Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого». — «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся». — «Ну, спасибо!» — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он утешением надежды; ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Виельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке воды или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам: снимал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их переменял и проч. Он

мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски. «Ах! Какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову. — Сердце изнывает!» — Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку; и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «ну! так, так — хорошо; вот и прекрасно и довольно; теперь очень хорошо»; или «постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно!» — (все это его точные выражения). Вообще, говорит Даль, в обращении со мною он был покладлив и послушен, как ребенок, и делал все, чего я хотел. Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» — Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зала и передняя полны с утра до ночи». — «Ну спасибо, — отвечал он, — однако же поди, скажи жене, что все, слава *Богу*, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28<-го> числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, его передняя была полна приходящих; одни осведомлялись о нем через посланных; другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; и мы придумали запретить эту дверь, задвинули ее из сеней залавком и вместо ее отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет; а гостиную, где находилась жена, отгородили от столовой ширмами. С этой минуты буфет был беспрестанно набит народом; в столовую же входили только знакомые¹⁴. На лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали. Такое изъявление общей скорби меня глубоко трогало; в русских, которым дорога отечественная слава, оно было неудивительно; но участие иностранцев было для меня усладительною нечаянностью. Мы теряли свое, мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало? Отвечать не трудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня; и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинакою братскою скорбью. Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но и целой Европы; потому-то и многие иностранцы приходили к двери его с печалию *собственною* и о *нашем* Пушкине пожалели, как будто о *своем*¹⁵. Возвращаясь к своему описанию. Послав Далья ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час? — и на ответ Далья продолжал прерывающимся голосом: — Долго ли... мне... так мучиться?.. Пожалуйста... поскорей!..» Это повторил он несколько раз после: «Скоро ли конец?.. — и всегда прибавлял: — Пожалуйста, поскорей!» Но вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что почти его не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». — «Нет, — он отвечал прерывчиво, — нет... не надо... стонать... жена... услышит... смешно же... чтоб этот... вздор меня... пересилил... не хочу». — Я покинул его в 5 часов утра и через два часа возвратился. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвратясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки

начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб. Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни только на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустила на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава Богу; все хорошо; поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла, как будто просявшая от радости. «Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив; он не умрет». А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало; раз он подал руку Дально и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!» — но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам; высоко... и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеvu руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста; да вместе». — Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслушав, отвечал: «Да, конечно; мы тебя поворотили». — «Жизнь кончена!» — повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его. Я не сводил с него глаз и заметил в эту минуту, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывчивым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно; ждал последнего вздоха; но я его не заметил. Тишина, его объявшая, показалась мне успокоением, а его уже не было. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» — «Кончилось!» — отвечал мне Даль*. Так тихо, так спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним, молча, не шевелясь, не смея нарушить таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умирительной святине своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое; нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я увидел лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти без покрывала. Какую печать на него наложила она! и как удивительно высказала на нем и свою, и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она,

конечно, таилась в нем и прежде, будучи свойственна его высокой природе; но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. — Опишу в немногих словах то, что было после. К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску; это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но всё мы имеем отпечаток привлекательный, изображающий не смерть, а тихий, величественный сон¹⁶. Не буду рассказывать того, что сделалось с бедною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Стrogановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Виельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за три дни к этому обеду... праздновать день моего рождения. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; а на следующий день, ввечеру, перенесли его в Конюшенную церковь¹⁷. И в эти оба дни та горница, где он лежал во гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек перебивало в ней, чтобы взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности, посреди этого движения; и что-то умирительно-таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого смутного говора. Отпевание происходило 1-го февраля. Многие из наших знатных господ и многие из иностранных министров были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до отправления из города. 3-го февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; в полночь сани тронулись; при свете месяца я провожал их несколько времени глазами; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.

В. Жуковский.¹⁸

За телом следовал А. И. Тургенев. Пушкин не раз говаривал жене, что желает быть похоронен в Святогорском Успенском монастыре, где недавно положили его мать. Этот монастырь находится Псковской губернии в Опочковском уезде, в 4-х верстах от сельца *Михайловского*, где Пушкин провел несколько лет поэтической жизни своей. 4-го числа в девятом часу вечера тело привезли во Псков, откуда оно, по надлежащем распоряжении со стороны губернского начальства, в ту же ночь, на 5-е число февраля, было отправлено через город *Остров* в Святогорский монастырь, куда привезли его уже к 7-ми часам вечера. — Мертвый мчался к своему последнему жилищу мимо своего опустевшего сельского домика, мимо трех любимых сосен, им недавно воспетых*. Тело поставили на *Святой горе* в соборной Успенской церкви и отслужили с вечера панихиду. Всю ночь рыли могилу подле той, где покоится его мать²⁰. На другой день на рассвете, по совершении Божественной литургии, в последний раз отслужили панихиду, и гроб был опущен в могилу в присутствии Тургенева и крестьян Пушкина, пришедших из сельца Михайловского отдать последний долг доброму своему

* Это стихотворение помещено в конце книжки под заглавием «Отрывок»¹⁹.

помещику. Чудно показалось предстоявшим изречение Библии, сопровождавшее горсть земли, брошенной на Пушкина: «Земля еси».

Н. В. КУКОЛЬНИК

ПИСЬМО В ПАРИЖ

<Отрывок>

<...> О литературе не стану писать много; важнейшее известие, поразившее всех и каждого глубокою горестию, долетело уже и до вас. Пушкина нет. И смерть его тяжело чувствительна для литераторов. Журналы спорят, кто теперь должен заменить его!! Претендентов очень много. Не удивляйтесь! Бывает и ложный аппетит. Но этот спор имеет и хорошую сторону; он поведет к прекрасным усилиям: соревнование везде плодотворно.

Вы спрашиваете, осталось ли верное изображение покойного Пушкина? Осталось много, но верных — трудный вопрос. Вот вам отчет из летописи, но, как кажется, еще не совершенно полный: «Масляный портрет А. С. Пушкина мне известен один; он принадлежит кисти Кипренского¹. — Положение поэта не довольно хорошо придумано; оборот тела и глаз несвойствен Пушкину; драпировка умышленна; пушкинской простоты не видно; писан со всем достоинством живописи Кипренского. — Говорят, еще один художник (фамилии не знаю) в Москве написал масляными красками портрет А. С. Пушкина; но в какой степени удачно и где находится самый портрет — нам не известно². Гравированных портретов по сие число три: 1) Разосланный при «Художественной газете» в начале текущего года и сделанный, если не ошибаемся, к изданию „Кавказского пленника“. Портрет сей нарисован наизусть без натуры Карлом Брюлловым и обличает руку художника, в нежной молодости уже обратившего на себя внимание всех тоговременных любителей. Гравирован Е. Гейтманом, который один на гравюре подписал свое имя³. Доска доставлена в редакцию от Н. И. Уткина». Разослан как воспоминание о молодых годах и поэта, и художника, к чему побудил редакцию примеченный повсеместный недостаток оттисков с сего портрета. 2) Гравированный с портрета Кипренского Н. И. Уткиным и приложенный к альманаху „Северные цветы“, наиболее схожий из всех, донныне вышедших⁴; к сожалению, оттиски стали редки; по отделке носит достоинство всех работ Н. И. Уткина, обогатившего нас изящными портретами многих замечательных современников. 3) Рисованный и гравированный г. Райтом (Wright)⁵. Наверное не знаем, с натуры ли рисован портрет сей; вероятно, что он изготовлялся для коллекции знаменитых современников, коей издание давно уже начато г. Райтом. Свойственный сему художнику изящный вкус в отделке — отличительное достоинство портрета. Внизу fac-simile с подписи Пушкина*.

Литографированных портретов четыре: 1) лучший из них, изданный заведением Л. Снегирева и комп.** с Кипренского⁶; 2) рисованный на камне Клындером в оборот противу того же оригинала⁷; 3) большого размера, литографированный на желтоватой бумаге и 4) г. Коношенки, лишенный

* Продается по 5 рублей.

** Продается в конторе Л. Снегирева и комп. по 5 рублей.

всякого сходства⁸, с fac-simile с подписи Пушкина и, как говорят, с большими претензиями; наверху род какой-то апофеозы. Фигура, несущая лиру с разорванными струнами, месяц, облака... словом, целая аллегория.

Теперь остается сказать о двух произведениях, не входящих собственно в разряд портретов обыкновенных. Первое принадлежит известному нашему художнику Ф. А. Бруни⁹. Пушкин изображен во гробе, под саваном, икона на груди, голова на подушках, смерть уже обозначила на лице разрушительную силу свою, на устах застыло страдание. — Превосходный рисунок и отличная чистота отделки дают сему произведению почетное место в числе наших литографий. Ф. А. Бруни рисовал с натуры на другой день смерти Пушкина и сам же переводил рисунок свой на камень*. Другая литография изображает четырех русских поэтов в том положении, как они написаны на известной большой картине Чернецова, представляющей парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском: А. С. Пушкин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский и Н. И. Гнедич¹⁰, все четыре довольно схожи; но в красках, на картине, несравненно более сходства**.

Изображения скульптурные: 1) маска А. С. Пушкина; Паллацци приделал к ней волоса до половины головы***¹²; в меньшей толщине, у него же, на голубом фоне, она оправлена в рамку¹³.

Небольшая фигура в рост сделана молодым нашим художником А. И. Терebeneвым****. Вышина 9 ½ вершков. В голове много сходства; в самой фигуре и костюме можно бы пожелать и большей точности, и большей простоты; но по воспоминаниям исполнять подобные условия весьма трудно. Пушкин изображен в сюртуке, с шляпой под мышкой, с сложенными накрест руками. Но превосходнейшим изображением великого поэта, по счастливому случаю, останется для потомства бюст, сделанный искусною рукою С. И. Гальберга¹⁴; сходство, простота в движении, превосходная отделка, постоянные достоинства нашего скульптора и здесь сохранили свои обычные места». <...>

* Продается во всех эстампных магазинах по 5 рублей.

** Продается по 3 рубля в магазине Прево¹¹.

*** Продается по 15 рублей.

**** Алебастровые отливки можно получать по 15 р<ублей> асс<игнациями> на квартире художника, на В. О. по 5<-й> линии против Академии художеств, в д. Костюриной, также в конторе Л. Снегирева и комп., где ныне выставка Общества поощрения художеств, и в книжном магазине Бородина в новооткрытой Михайловской улице против Думы, в доме графа Строганова. — Для избежания контрафакции художник приложил на сюртуке свою печать. — Весьма должно благодарить за счастливую догадку; авось уймется переформовывать чужие произведения и так безнаказанно нарушать право собственности. Желаем, чтобы этот полезный пример имел подражателей. С тем вместе с удовольствием известим читателей, что г. Терebeneв намерен доставить публичке в том же размере небольшие фигуры с И. А. Крылова и В. А. Жуковского. Как мы слышали, он получил на труд сей с их стороны согласие.

К. А. ПОЛЕВОЙ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

В 1820 году в русской словесности блеснуло явление новое, неожиданное, прекрасное: «Руслан и Людмила». Неизвестное публике имя было написано в заглавии этой поэмы. Но публика бывает всегда беспристрастна к первым, блестящим опытам незнакомых ей писателей, и, несмотря на многие возгласы приверженцев старины, она сделалась сильною покровительницею молодого поэта. Чтобы понять впечатление, произведенное «Русланом и Людмилой», надобно вспомнить тогдашнее состояние нашей литературы. Только что начали распадаться цепи так называемой классической словесности, то есть правил французского литературного кодекса, сделавшихся законом от времени и давности лет. Жуковский был почти единственным представителем новых требований и новой школы писателей, убежденных, что есть на свете поэзия и не во французских стихах. Звучный, гармоничный его стих стал образцом для всех, кто воображал себя поэтом. Но воображать и быть действительно — не одно и то же. Эта простая мысль никогда не приходит в ум подражателей, и оттого они всегда принимают форму за идею. Поэзия Жуковского, тоскующая о неземном, неразгаданном мире, сделалась предметом общего подражания. *Туманная даль*, как говорили современные критики, явилась под пером всех наших стихотворцев и наконец стала отличительным характером всех стихов. Господа пишущие твердили о том, чего не было в их душе, и стихи их были только звуками, отголоском без мысли и чувства; наконец они сделались утомительны, тягостны, нестерпимы... В это время явился Пушкин со своим «Русланом и Людмилой». Много молодого, недочувствованного, ветреного в этой небольшой поэме; но зато какая роскошь картин, какая прелесть выражения и оригинальность не в прямом смысле этого слова, но в отношении к тогдашней русской поэзии! Самый стих, избранный Пушкиным для первого его большого опыта, не мог не обратить на себя внимания: он краток, сообразен с юною пылкостью предмета, и для современников звучал освобождением от длинных, тягучих стихов тогдашнего поколения писателей, среди которых были только две звезды, Жуковский и Батюшков, — для таких версификаторов хорош всякий размер, как доказал это после и сам Пушкин. Но первый опыт его показывает мастера своего дела в избрании самого размера стихов. Он именно должен был начать четырехстопным ямбом.

Имя Пушкина загремело и в великолепных палатах, и в скромных домиках уездных городов, и в глуши отдаленных деревень. Все хотели знать, кто этот новый, сладкозвучный, пламенный поэт, который с первого шагу обогнал других почтенных поэтов, еще до рождения его *подвизавшихся на поприще российской словесности*? Всегда любопытно знать *особу* того, кто ослепляет нас необыкновенным подвигом, и мы любим видеть портрет славного писателя, знать его отношения, его домашнюю жизнь... Рассказ о самом Пушкине еще больше подстрекнул внимание публики: это был юноша, едва вышедший из Царскосельского лицея, остроумный, блестящий в обществе и уже странствовавший на берегах Прута и Дуная, вблизи могилы Овидия... Жадная к новым впечатлениям юность собирала все мимолетные, отдельные стихотворения, писанные Пушкиным в это время, и в каждом из

них находила блеск поэтический и какую-нибудь новую мысль, выраженную превосходно. Молодой поэт сделался первым любимцем читающей публики, и она с нетерпеливым ожиданием следила каждый его шаг. Надобно признаться, что мелкие стихотворения Пушкина *этого времени* едва ли будут долговечны; вероятно, он и сам после не дорожил ими; но они восхищали современников, переписывались, перечитывались, твердились наизусть... 1822-й год был новым торжеством поэта: явился его «Кавказский пленник»¹. Неслыханный успех встретил эту повесть сердца, хотя в ней уже отзывался холод Байроновой души, незаметный тогдашним читателем... Их восхищали поэтические картины Кавказа, новость предмета, но всего больше несравненные, неподражаемые стихи Пушкина. В самом деле, это музыка слов! И какая прелесть, какая отчетливость в каждом слове, в каждом переливе звуков и мыслей... «Бахчисарайский фонтан», решительное подражание Байрону, только подражание Пушкина, великого поэта, был принят с новым восторгом и утвердил славу его. Не место здесь входить в рассмотрение каждой поэмы Пушкина: мы хотим только показать отношения его к современникам и напомнить о его торжественном пути на поэтической арене. Соперников у него не было. Он один всевластно господствовал в поэзии, потому что Жуковский писал в это время очень мало, а никто другой не мог думать и не думал соперничать с ним. Удивительно ли, что каждая новая поэма его возбуждала новый восторг, хотя, естественно, каждая имела свои красоты и свои недостатки.

Между тем Пушкин безвыездно жил в своей деревне около Пскова, и это удаление от света делало его еще более занимательным для публики. В 1826 году он приехал в Москву. Надобно было видеть участие и внимание всех при появлении его в обществе!.. Когда в первый раз Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта. Тогда уже была напечатана первая глава «Онегина»; по приезде в Москву Пушкин напечатал и вторую. Это прелестное произведение, где вполне выразил себя наш поэт, где видна вся умственная жизнь его, все мысли и впечатления, было апогеем его славы. Ни одно из его созданий ни прежде, ни после не возбуждало такого восторга. Критики не могли оценить «Онегина», потому что он являлся отрывками; но публика вернее поняла его чувством и признала первым, лучшим произведением Пушкина. Маленькая поэма «Цыганы» была издана в это же время в Москве... Надобно ли напоминать читателям нашим о красотах этого бриллианта в светлом венце Пушкина?.. Другие сочинения его прекрасны, блестящи, нередко усладительны для души, но «Цыганы» с первого стиха до последнего — высокая мысль, выраженная самым поэтическим языком, до какого только достигал Пушкин, этот волшебник в стихотворстве. Между тем он рассыпал свои золотые стихи в некоторых журналах и альманахах. Переселившись в Петербург, он собрал мелкие свои стихотворения, которые умножились потом еще несколькими томами¹. «Онегина» его вышло еще две или три главы. В 1829 году явилась «Полтава»... Сколько заслуг, сколько превосходных творений исчислили мы, и это еще далеко не все. Поэту казалось, что он еще не выразил себя. Постигаете ли вы это беспокойство высокой души, которая никогда не бывает довольна ни собой, ни современниками? Она как будто страшится быть непонятою и еще больше страшится выказать себя не вполне, не в настоящем свете. Пушкин чувствовал это поэтическое беспокойство

и несколько лет хранил в портфёле своем творение важное, превосходное, на котором, по-видимому, он основывал много надежд. Мы говорим о «Борисе Годунове». Указывая на этот труд, давно оконченный, он сказал одному из друзей: «Вот сто тысяч банковыми ассигнациями для настоящего, и диплом мой на будущее». Он ошибался: драма его, при великих своих достоинствах, была только усилением блестящего дарования в чуждом для него роде сочинений. Пушкин не был рожден для драмы. Он превосходен в частностях своего «Годунова», но в целом не производит им почти никакого сильного впечатления. И подивитесь верному чувству публики: именно это было первое сочинение Пушкина, принятое с некоторою холодностью. Многие не хотят признавать суда странного существа, называемого публикой; но насмешки Шанфора² и эпиграммы Пушкина показывают только мгновенные вспышки оскорбленного дарования. Существует он, суд неподкупный, неумолимый, и публика является в нем часто неблагодарною, ветреною, однако всегда верною истине, если исключить немногие ошибки ее, зависевшие от частных обстоятельств. Да и не верьте, пожалуйста, когда писатель говорит вам, что он пишет не для публики, когда в негодовании восклицает он:

Блажен, кто про себя таил
 Души высокис созданья
 И от людей, как от могил,
 Не ждал за чувство воздаянья.³

Поэт не может не писать, а писать — значит передавать другим свои чувства. Обвинительный типографский станок всего лучше говорит против этих господ, которые уверяют, что пишут не для публики, и... печатают свои восторженные песни и рассказы. Но, защищая публику, мы назвали ее и неблагодарною. В самом деле, в ней есть какое-то странное чувство покоренного раба: она обожает, унижается, но только до времени, и между тем скупает своим игом, потому что удивление и самая любовь также иго. Есть конец и восторгу, и благоговению ее: это испытали Гёте и В. Гюго, испытал и наш Пушкин. Удивление к нему заменилось после «Бориса Годунова» невозможностью не удивляться ему... только. Он хотел доказать гибкость своего дарования и начал писать прозою; но проза его не отличалась такою прелестью, особенностью, как стихи, и «Повести Белкина» опять не заслужили общего одобрения. «Пиковая дама», изданная после, правда, имела большой успех; но это едва ли не единственное замечательное сочинение Пушкина в прозе. Нам известно еще несколько безыменных статей его, напечатанных в разных журналах. Все они обличают быстрый, поэтический ум; но, вообще, проза не составила бы славы Пушкина, как «История Пугачевского бунта» не показывала в нем историка. Одно, в чем оставался он верен самому себе, это бессмертные стихи его, потому что в самом слабом из своих стихотворений он неподражаем. Он хотел еще заняться, как сказывают, одним важным историческим сочинением⁴; издавал с 1836 года журнал⁵, где помещено несколько его сочинений в стихах и прозе... и вдруг роковая весть поразила всю Россию: Пушкин умер! Сначала не хотели верить этому, и даже не верили, читая в газетах официальное известие о смерти его... Так любила Россия своего поэта, так жила она с ним...

Пушкин был великий поэт, бессмертный своими заслугами русской словесности. Он много лет оставался нашим *народным* поэтом, потому что в поэзии народ не большинство *всех*, а та часть *избранных*, для которых существует поэзия. Пушкин был поэт не простонародья, у которого могут быть свои любимцы, но поэт образованной части общества. Ни одно чувство, ни одна мысль современная не были чужды ему, и он все выражал их с той увлекательностью, которая покоряла каждого, без различия литературных партий. Заслуга его языку неизмерима...

Кто не знал Пушкина лично, для тех скажем, что отличительным характером его в большом обществе была задумчивость или какая-то тихая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем, небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны и с необыкновенною ловкостью умел открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивою импровизациею, потому что он обыкновенно увлекал всех, овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что другие смолкали невольно, а говорил он. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледны профессорские речи Вильмена и Гизо.

Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал, вышедши из Лицея. Потом, в Петербурге, изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. «Только с немецким не могу я сладить! — сказал он однажды. — Выучусь ему и опять все забуду: это случилось уж не раз»⁶. Он страстно любил искусства и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально.

Пушкин родился 1799 года, мая 26-го в С.-Петербурге; скончался там же, не достигши и 38 лет...

Приложение 2

В. Т. ПЛАКСИН

ВЗГЛЯД НА ПОСЛЕДНИЕ УСПЕХИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 1833 И 1834 ГОДОВ

<Отрывок>

<...> В то время как юные певцы смело прокладывают себе путь к храму славы и первоначальные основатели литературной нашей самостоятельности соревнуют с своими последователями и подражателями их великого дела, В. А. Жуковский по временам напоминает нам давно знакомые, стройные напевы его задумчивой музыки. Еще недавно мы слышали с умилением духа «Молитву» нашего Оссиана, И. И. Козлова¹. И. А. Крылов не перестает давать нам мудрые уроки делами животных; А. С. Пушкин в прошедшем году, между прочим, подарил нам чудную «Пиковую даму». А после «Пиковой дамы» невольно вспомнишь «Черную женщину»², умную, назидательную, хотя слишком таинственную и слишком говорливую. — Впрочем, так как я хотел только доказать, что литература наша никогда еще не была так деятельна, что она бодрствует, идет вперед, что она имеет самостоятельных писателей и беспрестанно обогащается во всех родах оригинальными произведениями, что число сильных писателей беспрестанно увеличивается, то и не считаю нужным исчислять в сей краткой статье всех повестей и романов, вновь появляющихся; но нельзя не заметить, как вслед за «Фрегатом Надежда»³ рассекает волны океана забвения достойный славы «Мореходец Никитин»⁴; нельзя не указать и на «Кошечу Бессмертного»⁵, потому что он бессмертен, как и «Аббадонна»⁶. <...>

П. Е. ГЕОРГИЕВСКИЙ

РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<Отрывки>

<Ч. 3, § 222>

А. С. Пушкин издал в 1831 году историческую драму «Борис Годунов». Цель автора прекрасна. Он хотел создать творение не только самобытное, но и *национальное*, родное. Выбор предмета драмы есть также доказательст-

во пронизательного гения Пушкина. Мало найдем предметов столь поэтических, характеров столь увлекательных, событий столь разительных, каковы жизнь Бориса Годунова, характер его, странная судьба его самого и его семейства; притом же неточность, нерешительность определения исторического — назвать Бориса цареубийцею — вот сокровище для дарования сильного, смелого! Пушкин не делит драмы своей на действия: *двадцать два* сплошные явления содержат в себе события с 1598 года до 1605-го, в течение семи лет, начинаясь избранием Бориса на царство и <заканчиваясь> провозглашением царя Димитрия. Если рассматривать сцены отдельно, то большая часть из них прекрасна, некоторые особенно отделаны мастерски. Таковы: *Инок Пимен и Самозванец; Монахи на литовской границе; Речь патриарха в Совете; Марина и Самозванец ночью в саду; Битва под Новгородом-Северским; Юродивый* и обе сцены *эпиграма*. Прочие же сцены: где *Борис избирается на царство*; где он потом *грустит*; также *пир у Шуйского* и некоторые другие — слабы. *Сцена Курбского при переходе через границу* изысканна и не в духе времени. Всего же неестественнее *сцена кончины Борисовой*. Вообще, по прочтении драмы Пушкина остается в памяти множество чего-то хорошего, прекрасного, но мало связного, в отрывках, так что ни в чем нельзя дать себе полного отчета. Это, кажется, происходит от того, что Пушкин в создании своей драмы, взяв идеи Карамзина, тем наложил оковы на свой гений и потерялся в плане и развитии его. Вместо того чтобы из жребия Годунова извлечь ужасную борьбу человека с судьбою, мы видим только приготовление его к казни и слышим только стон умирающего преступника. А потому недостатки, замеченные беспристрастными критиками в драме Пушкина, суть: 1) бедность идеи, которая не позволила поэту развить ни характеров, ни подробностей, когда драма только и живет ими; едва действующие <лица> знакомятся с нами, как все опять исчезает, и мы не знаем ни действия, ни лиц, пока они не придут вновь и не расскажут нам, что с ними сделалось; 2) несправедливое понятие об исторической, или вообще о романтической, драме. Судя по драме Пушкина, все отличие ее от классической драмы состоит в пестроте явлений и быстрых переходах от одного предмета к другому. Но это не верно: романтическая драма имеет свои строгие правила и свой порядок действий. Итак, окончательный вывод о драме Пушкина будет следующий: «Борис Годунов» есть новый шаг нашего поэта вперед; в драме этой соединены все его достоинства, все недостатки, весь Пушкин и вся его поэзия, каковы он и она *были доньше* и являются в нынешнем своем состоянии. Пушкин, как *русский литератор*, является в этой драме с новым блеском; но как *европейский писатель*, как современный драматист XIX века, он не достигает желаемого совершенства.

<Ч. 4, гл. 17>

В предыдущих главах показано было, сколь многообразные направления имела наша литература, долгое время бывшая под чуждым влиянием. Начало XVIII столетия было веком схоластицизма русской литературы, потому что направление, данное ей Ломоносовым, было не столько художественное, сколько ученое, отразившееся и на его поэзии. Последователи Ломоносова, не обладая гением его, поддерживали и продолжали это направление и дали возникающей литературе нашей характер, близкий к педантическому. Даже сам Державин, при всей самобытности и независи-

мости гения своего, не мог не увлечься этим направлением. Множество бездарных подражателей Сумарокова и Хераскова почитали оду и героическую поэму торжественным проявлением поэтического гения и венцом творческой деятельности. Вследствие такого ложного понятия об искусстве написано было множество больших и малых поэм и громогласных од, впрочем забытых при самом своем появлении. Такое схоластическое направление словесности нашей продолжалось до Карамзина, который по многосторонней литературной своей деятельности, ограничив схоластицизм, дал литературе новое направление и имел великое влияние на ход идей и общественного образования. Характер этого полезного и нужного направления состоял в сентиментальности, которая, впрочем, была односторонним отражением характера европейской литературы XVIII века. Во втором десятилетии XIX века имел особенное на литературу нашу влияние Жуковский, введением литературного мистицизма, отличавшегося глубокою мечтательностью, мрачностью воображения, стремлением к чему-то неземному, беспредельному. В балладах и лирических стихотворениях Жуковского видно влияние воспитавшей его школы, которую основал он в нашей литературе; но в его «Светлане» и «Певце в стане русских воинов» раскрыты в полном блеске его самобытность и стремление к народности. В начале третьего десятилетия XIX века Пушкин соделался представителем нашей поэзии и дал сильное направление нашей словесности, несмотря на продолжавшееся влияние старых авторитетов и на знакомство с европейскими литературами, которое показало новые роды и новый характер искусства. Первые творения Пушкина созданы под влиянием школы классической; но поэма «Полтава» и драма «Борис Годунов» суть творения, исключительно его гению принадлежащие; в них положено основание поэтической народности, составляющей высочайшую идею романтизма. За Жуковским и Пушкиным тянулись ряды неудачных подражателей. Потом литература наша разбеглась по разным путям: появились романы, повести, драмы, элегии, басни и даже эклоги, идиллии и самые оды. В последнее время вся литературная деятельность у нас устремилась на романы и повести, а оды, басни, баллады, элегии и даже романтическая поэма, созданная Пушкиным, — все это осталось одним только воспоминанием приятного былого. <...>

<Ч. 4, гл. 19>

<...> Пушкин — Протей в нашей словесности¹, своенравный, прихотливый, как сама поэзия, принадлежит к малому числу тех счастливых гениев, коих первые подвиги знаменовались правом на триумф. Тем же путем, который был избран Карамзиным на поприще прозы, Пушкин шел в своих поэтических занятиях. Его первые стихотворения более или менее напоминали замечательные произведения европейских литератур. Романтическая поэма его «Руслан и Людмила» создана была им еще под влиянием школы классической; он подражал в ней Ариосту; только основа басни и некоторые эпизоды заняты им из русских сказок. Потом введение *байронизма* в русскую поэзию, после мечтательности Жуковского, отразилось и на поэзии Пушкина. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и «Онегин», все это вдохновено Пушкину Байроном, которого он сам называл властителем наших дум²; *Онегин* — русский снимок с лица Дон Жуанова, так же как *Кавказский пленник* и *Алеко* были снимками с Чайльд-Гарольдо-

ва лица. Наконец он перешел к тому, что составляет лучшее достояние каждой литературы, то есть народные события, резкие черты народного характера. Первая идея народности проявляется Пушкиным в «Полтаве». Лица прежде упомянутых его поэм были тени, которые можете переносить куда угодно; но *Мазепа*, *Кочубей*, *Мария*, *Петр* создания русские, местные; здесь видны уже как самобытность поэта, так и пиитическая народность, составляющая высочайшую идею романтизма. Но он из сокровищницы Карамзина взял для нового себе подвига эпоху, едва ли не более трудную. В драматическом сочинении своем «Борис Годунов»* должен был он многое угадать, приноровить к ходу целого и создать для каждого лица приличный язык и характер³. Разительные примеры самобытности Пушкина и непрерывно возрастающей местности его поэзии представляют также его мелкие стихотворения, изданные в 3 частях⁴. Здесь более 200 пьес характеризуют поэтическое поприще его с 1815 по 1832 год; здесь летопись его поэтической жизни и впечатлений, отовсюду втеснявшихся в его душу, от мирной юности Царскосельского лицея до новой петербургской жизни, во все время странничества его на Кавказе, по степям Новороссийским, в долинах Арзерума, среди суеты столичной и в глуши деревни. Конечно, некоторые из этих пьес слабы и недостойны Пушкина; в других он не выше Баратынского, Языкова и Хомякова; к отличным же пьесам должны быть отнесены: «Наполеон», «К морю», «Демон», «Андрей Шенье», «Отрывок из Фауста», «Ангел», «Поэт», «Чернь»⁵, «Моцарт и Сальери». Нужно ли говорить, какую важную услугу оказал Пушкин выражению нашей поэзии, нашему стиху. Русский стих гнулся в руках его, как мягкий воск в руках ваятеля; он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини. Если стих Пушкина не является таким мелодическим, как стих Жуковского, и не достигает высоты стихов Державина, зато в нем слышна гармония, составленная из силы Державина, нежности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковского. Вся классическая чопорность с него сбита совершенно.

Примечание. До времен Жуковского, Батюшкова и Пушкина стихотворному языку нашему весьма много вредили неправильные усечения слов, неверность ударений и неуместная смесь славянских слов с чистыми русскими. Но с появлением произведений сих первоклассных наших поэтов чистота, свобода и гармония составляют главнейшие совершенства нового стихотворного языка нашего.

* О «Борисе Годунове» подробнее сказано в § 222 «Пиитики».

С. П. ШЕВЫРЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ

<Отрывки>

Первый номер «Современника» нынешнего года произвел на нас такое приятное и редкое в современной нашей словесности впечатление, что мы не можем не передать его нашим читателям. Это лучший памятник, каким до сих пор словесность наша почтила покойного Пушкина; это литературная тризна, которую избранные писатели наши по нем совершают, принося дань своих произведений! В то время, когда одна корысть, почти один двигатель журнальной литературы у нас, сталкивает в одном издании людей, совершенно разнородных и по мнениям, и даже по языку¹, в то время приятно видеть, что одна бескорыстная, чистая мысль соединяет в один круг лучших писателей наших. Мы уверены, что еще многие принесут «Современнику» дань свою. Все они собрались на могилу Пушкина... Но при этом грустно подумать: неужели надобно было совершиться такой ужасной, такой незаменимой утрате для того, чтобы родилось столь благородное, новое соединение в избранном сословии наших литераторов? Неужели одна только могила Пушкина могла связать их мысли в одно и совокупить их для такого прекрасного дела? Грустно думать, если это правда, что до подобного состояния дошла русская словесность благодаря успехам торгового направления.

С сильным чувством грусти и наслаждения прочли мы весь номер. Он начинается печальным рассказом о том событии, которым так несчастно открылся нынешний год нашей литературы: Жуковский, глава поколения, предшествовавшего Пушкину, передает плачевный рассказ отцу его и потомству — грустные и многозначительные страницы в будущей истории русской словесности!² Смерть поэта была сама великою драмою, в которой ознаменовались все добрые чувства нашего отечества, в которой в одну высокую печаль сливались и царь и народ о любимом певце русском. Приятно заметить, с какою нежною и просвещенною заботливостью друзья Пушкина, окружавшие одр его, сохранили всякое слово, вылетевшее из уст поэта во время его болезни и кончины. Едва ли какая-нибудь литература может указать нам на такой же подробный некрологический акт, которым теперь так печально обогатилась наша словесность. Мы не знаем с такою подроб-

ностию ни последних минут Гёте, ни Шиллера, ни Валтер Скотта. Мы этим обязаны друзьям Пушкина. Никто из современников наших не может без глубокого чувства внутренней скорби прочесть страниц, диктованных трогательною заботливостью дружбы и упитанных ее слезами.

Пушкин, еще как журналист, оживляет первый номер. Мы видим, среди каких планов и занятий застала его смерть. Писсы, заготовленные им для журнала, помещены здесь. Забываясь, как будто воображаешь, что он еще жив, что он еще сам тут хозяйничает и работает. Но, читая три последние стихотворения его, необыкновенно стеснительно думать, что это уже *последние* стихи Пушкина³, что мы таких стихов не прочтем уже более... Они особенно замечательны своим содержанием и довершают нам портрет его, как человека. «Лицейская годовщина» внушена тем неизменным чувством дружбы, которое составляло самую резкую черту в нравственном характере Пушкина. Дружба была для него чем-то святым, религиозным. Она доходила в нем даже до литературного пристрастия: часто в поэте он любил и горячо защищал только своего друга. Это чувство должно было откликнуться в нем незадолго до его смерти: предчувствия души поэтической необыкновенны, непостижимы для нас. Недаром в трех последних писсах Пушкина отзываются три знаменательные, великие мысли прекрасной души его.

Его «Молитва», дышащая всею красотой христианского покаяния, умиляет сердце другим чувством, которое, как мы видим, постоянно покоилось в душе его, но никогда не преобладало в поэзии: это чувство — религиозное. Неужели даром такое вдохновение осенило душу поэта незадолго до его кончины? Он, верно, и прежде слышал очистительную молитву покаяния; но отчего же в последнее время жизни эта молитва отозвалась таким сочувствием в душе его и сказалась ему на всегдашнем его языке? В роковых переломах нашей жизни всегда со дна души поднимаются ее основные, внутреннейшие чувства: среди обыкновенного течения дней они забыты, засорены впечатлениями света, заботами и суетами поминутными. Это клад души, который она бережет про черный день, — и когда он наступает, когда приходит тяжкое испытание, тогда чистеет дно души — и с него-то, если душа не пуста, поднимается жаркая молитва.

Одно из последних стихотворений Пушкина свидетельствует нам, что глубокое религиозное чувство всегда таилось на светлом дне души его: оно так сильно обнаружилось и в последние минуты его кончины. Оно сказалося и прежде этою молитвою, которая принадлежит к числу его лучших произведений. Прекрасно поступили издатели «Современника», передав нам в верном *fac-simile* самые черты руки поэта, которая водила по этим строкам, в коих так поэтически излилось чувство покаяния⁴. Каждый русский, конечно, с благоговейным умилением взглянет на эти строки и еще лучше, по живым следам пера, разгадает святое чувство, одушевлявшее поэта.

Еще более мы убедились, что истинный поэт и человек бывают нераздельно слиты; что истинная поэзия может понимать религию, как дочь, прекрасная душою и телом, всегда понимает мать, ее воспитавшую.

Наконец, третье, последнее, стихотворение Пушкина* внушено ему было тем благороднейшим чувством, которое, проистекая в нас из сознания соб-

* «Отрывок».

ственных сил, делает нас способными к великому самоотвержению. Последние стихи Пушкина — это его привет, его завещание к молодому, новому поколению, которому он готов был великодушно уступить бремя своей державы литературной. С какою глубиною искренности восклицает он к нему:

Здравствуй, племя,
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслопишь
От глаз прохожего. Но пусть мой ввук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полн,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит...⁵

Незадолго до смерти Пушкин, в письме к одному из московских своих друзей описывая свою *растущую* и *шумящую* семью, писал, что отец семейства не может питать зависти к молодому поколению, которое должно идти вперед⁶. Эти слова нам объясняют значение последних стихов Пушкина. Пророчество поэта сбылось: он не увидит могучего возраста молодого племени; но он так горячо, так дружелюбно, так бескорыстно его приветствовал... этот добрый, благородный наш Пушкин!

Вместе с ним пожелаем и мы, чтобы новое, молодое поколение отвечало достойно на привет умирающего поэта и оправдало его надежды; но покамест, печально проглядывая ряды молодого племени, мы еще не можем утешиться так же легкомысленно, а может быть, и не без особого умысла, как утешаются другие, и со вздохом повторяем: пусто место его!

В «Современнике» напечатана еще последняя поэма Пушкина: «Медный всадник»⁷. Она принадлежит к числу лучших произведений его пера, уже достигшего высшей степени зрелости в отношении к художественным формам языка. Главная мысль поэмы, заключенная в ее герое, не развита вполне, а эскизована: мы намеком ее отгадываем. Великий мастер в отделке, всегда оконченный до возможной полноты и потому первый художник русского стиха, имеющий только одного достойного соперника в своем учителе Жуковском, Пушкин, столько прилежный и рачительный в исполнении, почти всегда довольствовался одним эскизом в изобретении. Этот характер почти всех его произведений, как мы в свое время постараемся доказать, отразился и на самом последнем. Эскиз был стихией неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшей степени совершенства, которую он и унес с собою, как свою тайну, и всегда неполнота и неоконченность идеи в целом — вот его существенные признаки. Но об этом после. На «Медном всаднике» ярко оправдывается мое мнение⁸. Наводнение Петербурга, огромный пейзаж, накинутый смело и мастерскою кистью, эпизод, достойный сам быть поэмою, но, может быть, еще недоступный по близости события, занял всю глубь картины и подавил собою главное действие и безымянного героя. Это напоминает нам, как исполинские горы Кавказа заслонили в воображении поэта участь пленника, также безымянного. Кисть полная, могучая, меткая и всегда уверенная в избранной

краске видна во всей картине. Нельзя не повторить этих двух с половиною стихов, в которых так полно очерчен петербургский потоп:

Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы.

Блистательное наводнение потопило бы героя и предмет поэмы, если бы чудные стихи, в которых описано его безумие, не спасли его от гибели:

Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

«Герой», стихотворение*, доставленное М. П. Погодиным, показывает, что великий день для Москвы и России, 29-е сентября 1830 года, отозвался в душе поэта, который всегда родится на то, чтобы сочувствовать всякому великому современному подвигу своего отечества. Лира поэта есть живая история, взятая с лучшей стороны ее: лире Пушкина нельзя было не издать сладких звуков в такую высокую минуту нынешнего царствования¹¹.

Из пьес в прозе, которые Пушкин изготовил для «Современника», мы видим, что поэт не питал никакого сочувствия к юной школе французских писателей. Замечательно, что даже Алфред Виньи, самый скромный из них и тщательный художник, не пользовался благоволением Пушкина¹². Из новых поэтов Франции, сколько мы знаем, один Алфред Мюссе нравился ему своим «Spectacle dans un fauteuil». Вероятно, последняя часть этого сочинения, маленькая поэма «Hassan» в Байроновом стиле, пришлась особенно по вкусу Пушкина¹³. Должно заметить, что А. Мюссе из всей школы современных стихотворцев Франции более отличается мастерством и оконченностью в отделке стиха. Прочие поэты, по прежнему примеру Гюго, этим пренебрегают, особенно в драматическом роде. Такое пренебрежение привилось и к нам. Пушкин, как истинный художник формы и первый мастер своего поколения, не мог сочувствовать такому искажению форм. Кро-

* Считаем за нужное заметить здесь, что в этом превосходном стихотворении: на странице 144-й вместо:

И прилетает ряд побед,
следует читать:

И пролетает ряд побед.

Еще на 14-й странице, вместо: были здесь *ворота*, мы стоим за такое чтение: были здесь *вороты*⁹, которого требует следующая рифма: *заботы*. Мы уверены, что в рукописи Пушкина должно стоять *вороты*, и не понимаем причины изменения. Пушкин никогда бы не позволил себе такой рифмы, равно не позволил бы и неправильности в форме грамматической. Дело в том, что *вороты* так же правильно, как *ворота*. Это двоякий именительный падеж некоторых имен во множественном числе: дома и дома. *Вороты* еще более звучат по-русски, нежели *ворота*, и напоминает выражение песни. Это кажется бездельным замечанием, но мы уверены, что Пушкин поблагодарил бы нас за него: покойник был так строг ко всему этому и осмотрителен до малейшей подробности. Никто так не уважал правильности форм языка и русской просодии, как Пушкин. Мы слышали от него много резких и остроумных грамматических замечаний, которые показывали, как глубоко изучал он отечественный язык¹⁰.

ме того, он не мог разделять и воззрения поэтов французских на жизнь и искусство. Вот вопрос глубокий и важный, требующий особенного размышления. Мы когда-нибудь подумаем об нем на досуге и предложим свои мысли читателям.

Голос Карамзина, родоначальника поколений Жуковского и Пушкина, весьма кстати раздается на литературной тризне в честь поэта¹⁴, который посвятил его памяти свое великое драматическое произведение, созданное под свежим влиянием «Истории государства Российского»¹⁵. Этот голос есть завещание Карамзина будущему историку России. Здесь любопытно видеть, как он связывал всю минувшую древность нашего отечества с Россиею новою. Строки 107<-й> страницы, касающиеся царствований, предшествовавших Петру Великому, особенно замечательны¹⁶.

Тургенев, Козлов, Жуковский, кн. Вяземский, Баратынский, Языков, Погодин, кн. Одоевский, Бенедиктов и многие молодые писатели, вновь вступающие на поприще, украсили «Современник» своими произведениями. Из стихотворений особенно замечательна «Осень» Баратынского. Направление, которое принимает его муза, должно обратить внимание критики. Редки бывают ее произведения, но всякое из них тягко глубокою мыслию, отвечающею на важные вопросы века. Баратынский был сначала сам художником формы; вместе с Пушкиным, рука об руку, по живым следам Батюшкова и Жуковского, он содействовал окончательному образованию художественных форм стихотворного языка. Но теперь поэзия Баратынского переходит из мира прекрасной формы в мир глубокой мысли: его муза тогда только заводит песню, когда взволнована, потрясена важною, таинственною думою. Она вносит в этот новый мир красоту прежних форм, но эти формы как будто тесны для широких дум поэта. Легкий стих слишком хрупок и ломок, чтобы служить оправою полновесному алмазу мысли. Еще не всегда ей покорный, он иногда даже темен и непонятен простому глазу: впрочем, свойство глубины — темнота. Но зато, когда мысль совершенно одолевает стих и заставит его во всей полноте принять себя, тогда-то блещет во всей силе новая поэзия Баратынского и рождаются такие строфы, которых немного в русской поэзии <...>.

Прискорбно было бы думать, что русская публика не поддержит литературного предприятия, которое внушено таким бескорыстным чувством и исполняется с усердием, достойным друзей Пушкина¹⁷. Недостаток вещественного успеха в этом случае, конечно, падет уже не на исполнителей дела, не на литературу русскую, а — скажем смело — на читающую публику и печально уверит нас в том, что современный вкус пострадал много от влияния юной, пришедшей литературы, от которой нам, право, некуда деваться.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Описывая, не мудрствуя лукаво,
Пушкин¹

Начиная четвертый год своего существования, «Московский наблюдатель» хочет наконец поправить перед публикою свою вину, истинную или мнимую, отвратить от себя ее упрек, заслуженный или незаслуженный: полная по возможности библиография отныне будет его постоянною статьею².

Не знаем, интересно ли будет публике — этому грозному властелину-невидимке, присутствие которого всякий видит во всем и везде, а никто не может указать, в чем и где оно именно, этому образу без лица, которому всякий, по своей воле и прихотям, дает и приписывает и волю и прихоти; не знаем, интересно ли будет публике в каждой новой книжке журнала находить себе новое доказательство, что для нее книг пишется много, а читать ей по-прежнему — нечего. Но... нам что до этого? «Публика этого хочет», — говорят нам — и мы хотим исполнить ее желание. Нам часто случалось еще слышать и читать, что публика требует от журнала не одной критики и библиографии, но и полемических браней и схваток³; но мы никогда этому не верили, сколько по уважению к *публике*, которую мы всегда отделяли от *толпы*, столько и потому, что мы никогда не любили рассчитывать своих успехов насчет своих убеждений, а низкую угодливость смешивать с добросовестным усердием. Поэтому благомыслящие читатели по-прежнему могут брать наш журнал в руки, не боясь замарать их... Обозревая область литературной деятельности, мы смело будем называть хорошее хорошим, а дурное дурным, с удовольствием останавливаясь на первом и стараясь проходить красноречивым молчанием второе, особенно если оно принадлежит к тем мимолетным и призрачным явлениям, которые не производят никакого влияния и не оставляют по себе никаких следов. Равным образом, мы по-прежнему предоставляем другим отыскивать промахи и ошибки своих собратий по журнальному ремеслу и по-прежнему не отказываемся от благородного спора, чуждого личности и желания мелкого торжества. Сделать замечание, или даже и возражение, на мысль, которая нам кажется ложною, и подавлять как добычу для дневного пропитания чужие обмолвки или промахи — две вещи, совершенно различные.

Мы должны бы начать наше обозрение с литературных явлений настоящего года; но, на первый раз, мы позволим себе небольшое отклонение от предположенного плана в пользу нескольких более или менее примечательных произведений прошлого года, о которых нам приятно поговорить. Начинаем с «Современника»: не говоря о том, что это периодическое издание более похоже на альманах в четырех частях, нежели на журнал⁴, — оно влечет к себе наше внимание предметом, близким к русскому сердцу: мы разумеем стихотворные произведения и отрывки Пушкина, напечатанные в «Современнике» после смерти их великого творца. Предмет отрадный и грустный в то же время! С одной стороны — мысль, что эти посмертные произведения свидетельствуют о новом, просветленном периоде художественной деятельности великого поэта России, об эпохе высшего и мужественнейшего развития его гениального дарования; а с другой стороны — мысль о том жалком воззрении, с каким смотрело на этот предмет детское прекраснодушие, которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином и, осудивши поэта на жизнь под соломенною кровлею, на берегу светлого ручейка, не хочет признавать его поэтом на всяком другом месте: какое противоречие, и сколько отрадного и горького в этом противоречии!..⁵

Мнимый период падения таланта Пушкина начался для близорукого прекраснодушия с того времени, как он начал писать свои сказки⁶. В самом деле, эти сказки были неудачными попытками подделаться под русскую народность; но несмотря на то, и в них был виден Пушкин, а в «Сказке о ры-

баке и рыбе» он даже возвысился до совершенной объективности и сумел взглянуть на народную фантазию орлиным взором Гёте⁷. Но если бы эти сказки и все были дурны, одной «Элегии»*, напечатанной в «Библиотеке» для чтения» за 1834 год, достаточно было, чтобы показать, как смешны и жалки были беспокойства добрых людей о падении поэта; но... да и кто не был, в свою очередь, *добрым человеком?*⁸ Стихотворения, явившиеся в «Современнике» за 1836 год, не были оценены по достоинству: на них лежала тень мнимого падения. Так, напр<имер>, сцены из комедии «Скупой рыцарь» едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят, это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат к лучшим его созданиям⁹. А его «Капитанская дочка»? О, таких повестей еще никто не писал у нас, и только один Гоголь умеет писать повести, еще более действительные, более конкретные, более творческие — похвала, выше которой у нас нет похвал!¹⁰

Первое, что с особенною, раздирающею душу грустию поражает внимание читателя в V томе прошлогоднего «Современника», это письмо В. А. Жуковского к отцу поэта о смерти его сына...¹¹ О, какую сладкою грустию трогают душу эти подробности о последней мучительной борьбе с жизнью, о последней, торжественной битве с несчастьем души глубокой и мощной, эти подробности, переданные со всею отчетливостию, какую только могло внушить удивление к высокому зрелищу кончины великого и близкого к сердцу человека, удивление, которого не побеждает в благодатной душе и самая тяжкая скорбь!.. А это трогательное участие в судьбе великого поэта, которым отозвалась на его несчастье русская душа в лице всех сословий народа, от вельможи до нищего!.. А это умиляющее и возвышающее душу внимание монарха к умирающему страдальцу, это отеческое внимание, которым венценосный отец народа поспешил усладить последние минуты своего поэта и пролить в его болеющую душу отрадный елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев его сердца!.. О, кто после этого дерзнет осуждать неисповедимые пути провидения!.. Кто дерзнет отрицать, что жизнь человеческая не есть высокая драма во всех ее многообразных проявлениях и что самое страдание и бедствие не есть в ней благо!¹²

Вот перечень посмертных сочинений Пушкина, помещенных в четырех томах «Современника»: три поэмы — «Медный всадник», «Русалка» и «Галуб», из которых только первая вполне окончена; две пьесы прозою и стихами вместе — «Сцены из рыцарских времен» и «Египетские ночи»; два прозаических отрывка: «Арап Петра Великого» и «Летопись села Горохина»; потом примечательная критическая статья: «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“»; кроме того, несколько мелких стихотворений, частью не dokonченных, и отдельных мыслей и замечаний¹³.

Мы не будем критически рассматривать этих произведений, потому что если уж говорить о них, то надо все говорить, для чего мы не имеем ни времени ни места. Мы скажем или, лучше, повторим о них уже сказанное нами — что по их количеству и величине они составят собою целый том, а этот том будет представителем совершенно нового периода высшей, а светленной художественной деятельности Пушкина. По этому самому они

* Та самая, что приведена в первой статье этого №, стр. 19.

не для всех доступны, и в этом самом и заключается причина поспешного приговора толпы о падении поэта. В самом деле, чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать вполне их таинственный смысл и войти во всю полноту и светозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт *внутренней* жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию просветленного и примеренного с действительностью духа¹⁴. Повторяем: примирение путем объективного созерцания жизни — вот характер этих последних произведений Пушкина. Не почитаем за нужное прибавлять, что *народность*, в высшем значении этого слова, как выражение *субстанции* народа, а не тривиальной *простонародности*, составляет также характер этих последних звуков этого замогильного голоса: Пушкин всегда был самобытен, всегда был русским поэтом, даже и тогда, когда находился под чуждым влиянием¹⁵.

Формы его произведений всё так же художественны, но это уже не тот бойкий стих, который, как рассыпавшийся луч солнца, сверкал и играл по жизни: нет, последние стихи Пушкина — это волны бытия, проходящие перед упоенным взором зрителя в спокойном величии. Если вы не читали «Медного всадника», то, чтобы заставить вас прочесть его, просим вас взглянуться в неисчерпаемую глубину сокровенной красоты его, хоть вот в этом отрывке¹⁶:

...Боже, Боже! там —
 Увы! близехонько к волнам,
 Почти у самого залива —
 Забор некрашенный, да ива
 И ветхий домик: там оне,
 Вдова и дочь, его Параша,
 Его мечта... Или во сне
 Он это видит? Иль вся паша
 И жизнь ничто, как сон пустой,
 Насмешка рока над землей?
 И он как будто околдован,
 Как будто к мрамору прикован,
 Сойти не может! Вкруг него
 Вода — и больше ничего!
 И обращен к нему спиною
 В неколебимой вышине,
 Над возмущенною Невюю
 Сидит с простертою рукою
 Гигант на бронзовом коне.¹⁷

А этот хор русалок —

Веселой толпою
 С глубокого дна
 Мы ночью всплываем;
 Нас греет луна.
 Любо нам порой ночьюю
 Дно речное покидать,
 Любо вольной головою
 Вьсь речную разрезать,
 Подавать друг дружке голос,
 Воздух звонкий раздражать

И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.¹⁸

Не правда ли, что этот дивный хор — совершенно новое явление все той же неистощимой жизни, совершенно новый аккорд все той же неисчерпаемой любви?.. Но мы еще передернем декорацию жизни и покажем ее новые стороны: — вот рыцарская баллада —

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму;
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел;
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.

Полон чистою любовию,
Верен сладостной мечте,
А. М. Д. своею кровию
Начертал он на щите.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам,

Lumen coeli, sancta Rosa! —
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен,
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

С такую глубокостию, с такую верностию и в такой небольшой песке, схватив одну из главнейших сторон Средних веков, этого религиозного периода человечества, когда и слава, и мужество, и любовь, и все, все было религиею!.. Кто мог это сделать? — Пушкин!¹⁹

Читали ли вы его «Галуба»? Вот отец, чеченец, хоронит своего могучего сына, удалого наездника, опоры своей старости; кладет с ним в гроб все его оружие,

Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.

Схоронивши одного сына, Галуб встречает другого: его привел к нему старец, воспитывавший его. Но Галуб вскоре недоволен своим другим сыном. Однажды узнает он, что сын его встретил в своих разъездах армянина и не привел его на аркане с добычею. В другой раз узнает он, что сын его встретил бежавшего раба и оставил его невредимым.

«Нет, — мыслит он, — не заменит
Он никогда другого брата:
Не научился мой Тазит,
Как шашкой добывают злата;
Ни стад моих, ни табунов
Не наделят его разъезды;
Он только знает без трудов
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с погайскими быками
И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать».

В третий раз Галуб узнает, что Тазит встретил убийцу своего брата.

Отец

Убийцу сына моего?
Тазит! где голова его?
Дай нагляжусь!

Сын

Убийца был
Одиш, изранен, безоружен...

Отец

Ты долга крови не забыл..
Врага ты навзничь опрокинул..
Не правда ли, ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул?
Упился ты его стонашьем,
Его змеиным издыханьем?..
Где ж голова? подай... нет сил...

Отец проклял своего сына и прогнал его от себя.

В черкесском селе праздник; молодежь забавляется воинскими потехами; жены и девы поют.

Но между девами одна
Молчит, уныла и бледна...

.....
 В толпе стоят четою странной,
 Стоят, не видя ничего.
 И горе им: он — сын изгнанный,
 Она — любовница его...
 О, было время!.. с ней украдкой
 Видался юноша в горах,
 Он пил огонь отравы сладкой
 В ее смятении, в речи краткой,
 В ее потупленных очах.
 Когда с домашнего порогу
 Она смотрела на дорогу,
 С подружкой резвой говоря,
 И вдруг садилась и бледнела,
 И, отвечая, не глядела,
 И разгоралась как заря, —
 Или у вод когда стояла,
 Текущих с каменных вершин,
 И долго кованный кувшин
 Волною звонкой наполняла...²⁰

«Египетские ночи» принадлежат также к самым дивным произведениям Пушкина, и в лице его Чарского догадливые читатели найдут для себя много данных для разгадки поэта...²¹

Все мелкие стихотворения отличаются тем же общим чувством просветления примиренного с самим собою духа, вышедшего с честью из опасной борьбы. И кто бы усомнился в этом, прочтя эту трогательную исповедь души страждущей и блаженной в своем страдании —

Отцы пустышники и жены непорочны,
 Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
 Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
 Сложили множество божественных молитв;
 Но ни одна из них меня не умиляет,
 Как та, которую священник повторяет
 Во дни печальные Великого поста;
 Всех чаще мне она приходит на уста
 И падшего свежит неведомою силой:
 Владыко дней моих! дух праздности унылой,
 Любоначалия, змеи сокрытой сей,
 И празднословия не дай душе моей;
 Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
 Да брат мой от меня не примет осужденья,
 И дух смирения, терпения, любви
 И целомудрия мне в сердце оживи.²²

Но особенного внимания заслуживает стихотворение «Герой», напечатанное в «Телескопе» 1831 года и написанное в ту годину тяжкого испытания для России, когда свирепствовала в ней холера и когда наш царь, не дожидаясь от медиков решения вопроса о заразительности этого морового поветрия, приехал ободрить унылую Москву, древнюю и верную столицу своих отцов... Это стихотворение, кроме своего высокого поэтического достоинства, драгоценно еще и как доказательство благородных, истинно рус-

ских чувствований Пушкина, и только по смерти его стало известно, что оно принадлежит ему...²³

«Арап Петра Великого» есть отрывок из предполагавшегося Пушкиным романа, и как отрывок он уже не новость, потому что был давно напечатан в каком-то альманахе, а в «Современнике» он помещен в большем виде, почему и составляет собою новость. Как жаль, что Пушкин не кончил этого романа! Какая простота и вместе глубокость, какая кисть, какие краски! Да, если бы Пушкин кончил этот роман, то русская литература могла бы поздравить себя с истинно художественным романом²⁴. «Летопись села Горохина», в своем роде, чудо совершенства, и если бы в нашей литературе не было повестей Гоголя, то мы ничего лучшего не знали бы²⁵.

Статья Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянно-го рая“» чрезвычайно интересна: она знакомит нас с Пушкиным не столько как с критиком, сколько как с человеком, у которого был верный взгляд на искусство, вследствие его верного и бесконечного эстетического чувства. В этой статье метко и резко показывает он отсутствие именно этого чувства у господ французов и в доказательство представляет факты, как безбожно терзали бедного Мильтона корифеи французской литературы — дикий г. Гюго, в своей «чудовищной и нелепой» драме «Кромвель», и чопорный аббатик XIX века, граф де Виньи, в своем «облизанном» романе «Saint-Mars»²⁶. Едко смеется Пушкин над последним, когда тот заставляет бедного Мильтона читать отрывки из своей поэмы на вечере у Марии Делорм.

«Хорошо (говорит Пушкин); да как же французы, не зная английского языка, поймут Мильтоновы стихи? Очень просто: места, которые он будет читать, переведены на французский язык, переписаны на особых листочках, и списки розданы гостям. Мильтон будет декламировать, а гости следовать за ним. Да зачем же ему беспокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть, Мильтон великий декламатор, или звуки английского языка чрезвычайно любопытны? а какое дело графу де Виньи до всех этих нелепых несообразностей; ему надобно, чтоб Мильтон читал в парижском обществе свой „Потерянный рай“ и чтоб французские умники над ним посмеялись и не поняли духа великого поэта.

Мильтон, несмотря на то, что назначенные места для чтения переведены и что он должен читать их по порядку, ищет в памяти своей то, что, по его мнению, более произведет действия на слушателей, не заботясь о том, поймут ли его или нет. Но посредством какого-то чуда (не изъясненного г-м де Виньи) все его понимают. Де Барро находит его приторным; Скюдери скучным и холодным; Мария Делорм очень тронута описанием Адама в первобытном его состоянии; Мольер, Корнель и Декарт осыпают его комплиментами и пр. и пр.

Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, не известном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то взводя их в потолок. Разговоры его с де Ту, с Корнелем и Декартом не были бы пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль, ему приличную, скромную, — роль благородного, хорошо воспитанного молодого человека.

После удивительных вымыслов Виктора Гюго и графа де Виньи хотите ли видеть картину, просто набросанную другим живописцем? Прочтите в „Вудстоке“²⁷ встречу одного из действующих лиц с Мильтоном в кабинете Кромвеля.

Французский романист, конечно, не довольствовался бы таким незначительным и естественным изображением. У него Мильтон, занятый государственными делами, непременно терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях какого-нибудь отчета намарал бы несколько стихов из „Потерянного рая“; Кромвель бы это подметил, разобрал бы своего секретаря, назвал бы его стихоплетом, вралем и пр., и из того бы вышел эффект, о котором бедный Валтер Скотт и не подумал!»

Жалею, что место не позволяет нам более делать выписок из этой превосходной статьи. Но не можем удержаться, чтобы не выписать следующего места из «анекдотов и замечаний»²⁸.

«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосложные характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемера; принимает имени под хранение, лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело²⁹ лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»

Повторяю: во всем этом виден не критик, опирающийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция открывает истину везде, на что он ни взглянет. А как поэт Пушкин принадлежит, без всякого сомнения, к мировым, хотя и не первостепенным, гениям. Да и много ли этих первостепенных гениев искусства? — Омир (мифическое имя), Шекспир, Гёте, Бетховен и, не знаем, право, кто в живописи. И несмотря на то, читая, а особенно слушая суждения многих о Пушкине как о человеке и как о поэте, невольно вспоминаешь его же стихи, которыми оканчивается его превосходное стихотворение «Полководец» —

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и умиленье!³⁰

Из не пушкинских стихотворений очень мало хороших в «Современнике»: из оригинальных заслуживает особенное внимание «Цветок» Жуковского. После этого благоухающего ароматом поэзии «Цветка» нельзя не заметить стихотворения Ф. Н. Глинки «Ангел». Из переводных стихотворных пьес замечательны — «Орган» из Гердера А. П. Глинки, и мы пользуемся

здесь случаем повторить из «Современника» приятное известие, что переводчица Шиллеровой «Песни о колоколе» готовится к изданию 19 легенд Гердера³¹. Переводы г. Губера из «Фауста» также примечательны; г. Губер печатает вполне переведенного им «Фауста»³².

Из прозаических не пушкинских статей особенно замечательна: «Солдатский портрет» Грицьки Основьяненка, прекрасно переведенный с малороссийского г. Луганским. Так-то лучше: а то мы, москали, немного горды, а еще более того ленивы, чтобы принуждать себя к пониманию красот малороссийского наречия, если дело идет не о народной поэзии. Ведь Гоголь умеет же рисовать нам малороссиян русским языком? Уверяем почтенного Грицьку Основьяненка, что если бы он написал свои прекрасные повести по-русски, то, несмотря на мудреную для выговора фамилию своего автора, они доставили бы ему гораздо большую известность, нежели какую он пользуется на Руси, пища по-малороссийски³³. Кроме «Солдатского портрета» мы прочли с удовольствием «Сильфиду» кн<язя> Одоевского³⁴; «Петербургские записки» неизвестного, шутку, в которой мило и игриво высказано много правды насчет обеих наших столиц³⁵; и, наконец, «Письма совоспитанниц», сочинение дамы³⁶.

С. Е. РАИЧ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

С.-Петербург. В типографии Экспедиции заготовления государственных бумаг. МДCCCXXXVIII. Т. I — 243 <страницы>; II — 376 <страниц>; III — 439 <страниц>; IV — 328 <страниц>; V — 247 <страниц>; VI — 310 <страниц>; VII — 257 <страниц>; VIII — 324 <страницы>. (8 <д. л.>). С портретом и facsimile.

<I>

Наконец нетерпеливая публика дождалась полного собрания сочинений Пушкина. Это истинный подарок для читателей и по дешевизне, и, что всего важнее, по внутреннему достоинству. Издание могло быть лучше, роскошнее, но оно хорошо и так, как есть, особенно если принять в расчет дешевизну, 8 томов in 8 вы покупаете за 25 рублей! Это почти даром. Благодарность издателям! Сочинения Пушкина надолго, если не навсегда, останутся памятником современной русской словесности, влияние их на нашу литературу слишком ощутительно; поэтому мы вменяем себе в непрелюбимую обязанность дать об них в непродолжительном времени отчет, по возможности подробный. В рецензии нашей мы не будем руководствоваться ни духом партий, ни отношениями, ни мнениями призванных, а тем менее непризванных судей в литературе. Мы вправе гордиться Пушкиным, но как далеко должна простирается эта гордость — вот вопрос, который мы постараемся разрешить по мере наших сил. Есть люди, которые имеют собственное мнение, каково бы оно ни было, есть люди, чье мнение не более как эхо; мы, благодаря Богу, не принадлежим к последнему разряду; наше мнение в деле словесности может быть ошибочным, но оно *наше*, не привнесенное, не заимствованное, самостоятельное.

При разборе сочинений Пушкина мы по возможности будем держаться хронологического порядка и каждое или почти каждое из них, начиная с «Руслана и Людмилы», постепенно следить, с тем чтобы показать нашим читателям, где поэт наш верен был своему первоначальному направлению, где отступал он от него; где он был самобытен, где увлекался духом времени и сам себе изменял. Само собою разумеется, что мы будем останавливаться более на красотах, нежели на ошибках, на которые мы только намекаем; не упоминать об них совсем — значило бы безотчетно хвалить, писать панегирик, а не рецензию; надеемся, ни один благоразумный читатель не упрекнет нас за откровенность, необходимую в деле критики.

<II>

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», СОЧИНЕНИЕ А. ПУШКИНА*

Потомство грозный судия:
Оно рассматривает лиры;
Услышит глас и твоя,
И взвесит лавры и перуны,
Кому твои гремели струны.
*Державин.*¹

Судить о современном писателе дело трудное, а может быть, и опасное: будьте снисходительны — вас назовут пристрастным к писателю; будьте строги — вас опять назовут пристрастным к своему мнению, к своим правилам. В том и другом случае вы не избегнете укоризны, особенно если подсудимый, с одной стороны, пользуется славой у читателей, с другой — волею или неволею вызывает рецензента на критику. Пушкин именно этими двумя сторонами соприкасается публике. Непишущие читатели — вся эта огромная масса любит его сочинения, удивляется им, почти благоговевает пред ними, и часто безусловно, безотчетно. Так и должно быть: Пушкин вышел в первый раз на сцену при всеобщем рукоплескании: «Руслан и Людмила», потом «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» произвели на публику такое глубокое впечатление, что оно не могло уже ничем изгладиться. Критика возвысила было свой голос², но публика не хотела слушать ее; не хотела верить даже тому, чему для пользы искусства, для самой славы поэта должна была поверить. Надобно знать, что при появлении «Руслана и Людмилы» у нас существовала школа пюризма³, которую псевдолитераторы называли *старою школою*. — Как будто в области вкуса есть что-нибудь старое или новое; он вечно один и тот же, он не подчиняется законам времени и изменяется только в одних частностях, а не в целом, не в основании. К этой школе принадлежал сам Пушкин, не как теоретик, но как практик. В последствии времени он было уклонился от нее, за то, может быть, и музы иногда уклонялись от него. При конце земного поприща он принес им очистительную жертву в «Каменном госте», в этой, к сожалению, недокон-

* В 17<-м> № «Галатеи» мы известили читателей наших о выходе в свет полного собрания сочинений А. С. Пушкина и обещались дать об них отчет в последующих № нашего журнала. На первый раз займемся разбором «Руслана и Людмилы».

ченной пьесе, запечатленной истинным вкусом, необыкновенною отделкою стиха⁴. Значит, критики «Руслана и Людмилы» не совсем неправы, по крайней мере со стороны пюризма, и если Пушкин в последствии времени увлеклся чуждым направлением и, вопреки своему призванию, выступал за черту искусства, то должно винить не критиков, не врагов, как иные называли критиков слишком откровенных, слишком верных своим правилам, короче, литературной совести в благородном значении этого слова, — нет, должно винить *друзей*⁵, худо понимавших или, лучше, не хотевших понимать поэта и его поэзии.

Я познакомился с Пушкиным в то время, когда он жил в Одессе⁶; там читал он мне только что сбежавшую с пера «Песнь о вещем Олеге»⁷ и отрывки из «Евгения Онегина». Тогда он был в апогее своей славы и поэзии. Как он был предан ей! Как иногда боялся измены ее! Однажды, после продолжительного разговора со мною о поэзии, о своих произведениях, он умолк, задумался и тяжело вздохнул.

— Что с вами, А<лександр> С<ергеевич>? — спросил я его. — О чем вы задумались?

— Есть о чем задуматься при мысли — что будет со мною, с моими произведениями?

— Если вы будете продолжать, как начали, вы навсегда останетесь любимцем русской публики.

— *O rus!** — Заметьте, что Пушкин любил играть словами, и это *qui pro quo*** он избрал эпиграфом для одной из глав «Евгения Онегина»⁸. — Любимцем русской публики, говорите вы; но разве эта русская публика не восхищалась в свое время Херасковым? Разве не хвалила она его так же безотчетно, безусловно, как меня! И что же теперь Херасков? Кто его читает?

— Вы и Херасков — тут есть разница, к тому же в его время не было критики.

— А теперь разве она есть? Я не говорю о г. К...*** (Пушкин был преубежден против г. К..., простим ему)⁹. Но отзыв Мерзлякова — даже жесткий, только справедливый отзыв, признаюсь, для меня был бы очень полезен; однако ж я его не слышу.

— И не услышите.

— Почему же?

— Потому что... потому что...

— Не договаривайте, — я понимаю вас, — он боится возвысить голос, *чтобы гусей не раздражить*... Теперь представьте мое положение: кто имеет полное право произнести в деле словесности беспристрастный суд, тот боится произнести его, чтобы не показаться пристрастным; кто не имеет на

* О деревня! (*лат.*) — *Ред.*

** Смешение понятий, подстановка (*лат.*). — *Ред.*

*** Если бы Пушкин короче узнал г. К... как писателя, а еще более — как человека, он переменял бы об нем свое мнение, а питал бы к нему глубокое уважение, которое заслужил К... своими учеными трудами, к сожалению не многими оцененными, прямою благородного, возвышенного характера, неподкупностью мнений, чистотою намерений, бескорыстием, истинно героическим во всех отношениях. Г. К... *многих* вывел в люди, посвятил в *ученые*, а были ли они к нему благодарны?.. — Увы! не можем положительно отвечать на этот вопрос. Таково человечество.

это никакого права, тот произносит суд свой и громко и смело, и ему рукоплещут, — и толпа, или, что все равно, благородная чернь, становится его эхом. Теперь прошу покорно ожидать усовершенствования в поэзии, в искусствах вообще!.. О гуси!..

Пушкин не боялся отчетливой критики, но отчетливая критика боялась его или, лучше сказать, его *друзей*, из которых иные без зазрения совести говорили, что если бы Пушкин даже и хотел, то не мог бы написать что-нибудь дурное, а эти друзья имели, а может быть, и теперь еще имеют вес в публике. Что после этого оставалось делать критикам даже самым благонамеренным и умеренным? Молчать или подвергнуться негодованию читателей, тем более если критик сам, хоть как дилетант, занимается поэзией. Его назовут завистником, его запятнают, уронят. Странное дело! как будто в человеке, у которого есть хоть искра художественности, можно предполагать зависть: музы и фурии отделены друг от друга неизмеримым пространством. Но приступим к делу.

«Руслан и Людмила», по нашему мнению одно из лучших поэтических произведений Пушкина, — это прелестный, вечно свежий, вечно душистый цветок в нашей поэзии¹⁰. В этом создании наш поэт почти в первый раз заговорил языком развязным, свободным, текучим, звонким, гармоническим; почти в первый раз, говорим мы: до появления Пушкина на литературном поприще у нас были уже Богданович, И. И. Дмитриев, Батюшков, В. А. Жуковский, уравнившие, уладившие путь к повествовательной поэзии. В нашей литературе есть странная особенность: явившись новый даровитый писатель — о прежних как будто забывают, как будто они ничего не сделали для словесности... не слишком утешительная истина!.. Прежде было по крайней мере триумвиратство, но со времени Пушкина оно уничтожено, — Октавию трудно ужиться с Антонием и Лепидом¹¹ — долой их!.. Не стало Пушкина — мы сажаем на его место другого. В добрый час! Впрочем, это только в деле славы, в других случаях у нас вдруг, по одному мановению волшебного жезла, явятся *сто литераторов*¹² — и все первоклассных!..

Мы не считаем нужным излагать содержание «Руслана и Людмилы» — кому не известна она, кто не читал этой восхитительной поэмы? Действие, характеры, форма, отделка — вот на что обратим мы внимание читателей наших.

Действие есть необходимое условие эпического (и драматического) произведения. Поэт выводит своего героя на поприще и указывает ему вдали цель; герой стремится к этой цели через целый ряд препятствий, непреодолимых для обыкновенного человека, но падающих одно за другим перед героем, достойным этого названия. Чем более этих препятствий, чем труднее их преодолевать, тем сильнее раздражается наше любопытство, тем живее участие, которое мы принимаем в герое. Поэтому-то герою поэмы необходим характер твердый, решительный, неизменно верный самому себе от начала до конца действия. Герой, проходя поприще свое, соприкасается с другими лицами, с героями второстепенными, третьестепенными и т. д.; одни из этих лиц помогают главному лицу, другие ставят ему препятствия на пути к цели; иные выводятся для оттенков, для контрастов с ним, но все должны иметь свой характер, свой тип индивидуальный, определенный. Это придает поэме очаровательное разнообразие, которое, впрочем, не уничтожает и не должно уничтожать единства действия; единство есть центр, разнообразие — лучи,

разбегающиеся от центра и стремящиеся к окружности, к периферии. Прелесть разнообразия усиливается эпизодами, отступлениями, картинками, образами, чувствами, мыслями, применениями и проч.; но все это должно быть в зависимости от центра, от единства. Разнообразие и единство представляют в поэме две силы — центробежную и центростремительную — и находятся точно в таком же отношении друг к другу.

Показавши условия эпического творения, приложим их к «Руслану и Людмиле». Действие в этой поэме истинно художественное; оно не запутано, просто, поэтически естественно и мастерски оживлено, расцвечено разнообразием, мастерски сосредоточенным в единстве:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыпоев,
С друзьями в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал,
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана...

Молодые в спальне...

Все смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...

Людмила похищена Черномором. Здесь начинается действие поэмы; Руслан отправляется искать своей супруги. Дорогой он освобождается от двух соперников, от Рагдая, которого победил на поединке, от Ратмира, который, влюбившись в пастушку, забыл про Людмилу. Покровительствуемый волшебником Финном он отыскивает Черномора, лишает его силы волшебств и едет с своею Людмилой в обратный путь. Но тут встречается новое препятствие: Фарлаф, третий соперник, руководствуемый Надиною <sic>, убивает его. Казалось бы, все кончилось, и цель осталась бы не достигнутою, но Финн вспрыскивает Руслана мертвою и живою водою — и Руслан снова на коне, с карлом за плечами; он приезжает в Киев, разбивает печенегов, является в княжеских палатах, пробуждает волшебным кольцом долго спавшую Людмилу —

И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Характеры в «Р<услане> и Л<юдмиле>» определены, индивидуальны и развиты, сколько позволял объем поэмы; нельзя сказать, что каждый из них резко обрисован, но этого нельзя строго требовать от нашего поэта — он почти первый у нас выступил на эпическое поприще и, к чести его должно сказать, первый вывел на сцену в «Р<услане> и Л<юдмиле>» людей, а не тени. Эпические характеры, в каком бы то ни было государстве, образу-

ются веками и переходят из поколения в поколение, из поэмы в поэму. В Италии, например, положил им основание Пульчи, воспроизведши Карла Великого, Морганта и пр. М. Боярдо без перемены внес его характеры в свою поэму «Orlando innamorato» и создал несколько своих новых характеров, Ариосто воспользовался характерами, созданными воображением своих предшественников, и досоздал несколько своих; таким образом, три поэта нарисовали целую галерею характеров, сотворили маленький мир идеалов¹³.

Заслуги Пушкина в отечественной словесности велики, но они были бы еще больше, значительнее, важнее, если бы, не поддаваясь чуждому влиянию, он остался верным первому своему направлению; если бы он написал обещанную им поэму «Мстислава Удалого»¹⁴; он создал бы для будущих поэтов несколько новых, чисто русских характеров.

Форма «Р<услана> и Л<юдмилы>» чисто ариостовская, самая приличная для живого рассказа, для обрисовки событий полуважных, полусмешных. Она заимствована италийцами у арабов — это съём с «Тысячи и одной ночи»¹⁵. Здесь поэт не связан условиями так называемых классических поэм; он, говоря собственно, не поет, а рассказывает. Так и должно быть — время древнего эпоса прошло невозвратно; цель его была религиозная и политическая; цель новейшего эпоса просто забава воображения — отдых ума, утомленного так называемою положительностию.

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит!..

.....
Одну я помню: сказку эту
Повсдаю теперь я свету.

Этим прелестно простым вступлением условливается форма «Руслана и Людмилы» и, рассматриваемая с этой точки зрения, верно выдержана от начала до конца¹⁶. Одно только показалось нам странным: Пушкин пересказывает сказки кота, а между тем в некоторых отступлениях сам является на сцену и говорит от своего лица, напр<имер>:

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать
И музе верной посвящать
Часы бесценного досуга...

К кому относятся эти стихи? К ученому коту или к нашему поэту? Сами эпилло не противоречит ли прологу? Но это мелочи, к которым мы не станем привязываться; даже если это большая погрешность, то она искупается великими красотою изложения, очаровательным слогом, этим чудесным колоритом Рафаэлевых картин. Жаль только, что Пушкин, принадлежавший прежде к школе пюризма, позволял иногда себе небрежности в слоге, оттого во многих местах нет единства тона, колорита. Неприятно

встречать у него некоторые усечения, которые в легкой поэзии отзываются жесткостью в слухе, еще неприятнее видеть вместе с словами чисто русскими, взятыми из обыкновенного общественного быта, слова церковнославянские; так, например, в следующих стихах:

*Объемлет старца колдуна...
Погибни, трус! умри! вещает...
Блестая в ризе парчевой...
Щекотит ноздри *копьем*...
Как ястреб богатырь летит
С *подъятой*, грозною *дестицей*,
И в щеку тяжелой *рукавицей*
С размаха в голову *разит*...*

Есть в «Р<услане> и Л<юдмиле>» и другого рода погрешности, погрешности против слога, есть прозаические стихи, например:

Руслан нас должен занимать,
Руслан, сей витязь беспримерный...

Но против времени закона
Его наука не сильна...

Чтоб чем-нибудь играть от скуки,
Копье стальное взял он в руки...

Но вдруг знакомый слышит глас,
Глас добродетельного Финна.

Так совершилось дело славно...

Но, как говорится, есть пятна и в луне, однако же они не мешают нам любоваться ею, как любим, гордимся мы «Русланом и Людмилой». И есть чем гордиться — это один из прелестнейших цветков в цветнике нашей поэзии, прибавим, повествовательной, потому что в лирическом роде мы богаты, может быть, до излишества богаты. К стыду нашему, мы не знаем цены этим сокровищам. Мы с благородною гордостью можем указать иностранцам... виноват, соотечественникам, на Языкова, Ф. Н. Глинку, Подолинского, Ознобишина, Соколовского, Макшееву, Деларю, Бенедиктова, Баратынского, Туманского и проч. и проч., не говорим уже о Державине, Дмитриеве, Жуковском, Батюшкове.

Мы не говорили подробно о красотах языка в «Р<услане> и Л<юдмиле>», потому что они, вероятно, известны всем нашим читателям; притом объем «Галатеи» не позволяет нам быть слишком многоречивыми.

<III>

«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК», СОЧИНЕНИЕ А. ПУШКИНА

В «Руслане и Людмиле» видели мы поэзию чистую, беспримесную; поэт, оставивши мир действительный, постоянно, почти неизменно жил в мире

идеальном, носился по поднебесью, изредка только, в своих вступлениях и отступлениях, опускался на землю, как будто для того, чтобы удовлетворить житейским потребностям и потом снова, подобно жаворонку, взвиться под облака, дать простор своей песни и ронять трели ее на землю, в слух людей, жадно расширяющийся для принятия звуков, зародившихся в вышних, более чистых слоях воздуха — в эфире. И сколько жизни, сколько поэзии в этой песни, в этих трелях!

Сознательно ли, бессознательно ли Пушкин выразился в «Руслане и Людмиле», все равно; довольно того, что это произведение — чистая поэзия, что по содержанию и форме оно имеет полное право на название поэмы. Да, это поэма, рыцарская, романтическая, волшебная — все равно; дело только в том, что это поэма. Жаль, что Пушкин оставил этот род, что из мира чисто идеального он спустился в мир действительный или, по крайней мере, полудействительный; жаль, что он изменил своему призванию. В «Руслане и Людмиле» Пушкин — настоящий Прометей, только что похитивший огонь у неба, в «Кавказском пленнике» он — Прометей, прикованный к Кавказу¹⁷; здесь вы видите, что внутренность его уже начинает терзать коршун, что ему до неба далеко, что он, озираясь кругом себя, видит землю с ее страданиями, с ее грубыми элементами, с ее ничтожностью.

«Кавказский пленник» не поэма, а стихотворный рассказ; вы восхищаетесь в нем прелестными картинками, художественным описанием горцев, мастерской отделкою стихов, живым, ярким колоритом богатого русского языка, и только; но поэзии в нем, говоря собственно, не так много, как в «Руслане и Людмиле», как в самом «Бахчисарайском фонтане». Пушкин сам признается в последних стихах эпилога к «Р<услану> и Л<юдмиле>», что он с поэзией не в самых тесных отношениях:

Душа, как прежде, каждый час
 Полна томительною думой —
 Но огонь поэзии погас.
 Ищу напрасно впечатлений!
 Она прошла, пора стихов,
 Пора любви, веселых снов,
 Пора сердечных вдохновений!
 Восторгов краткий день протек —
 И скрылась от меня навек
 Богиня тихих песнопений.

Истинный поэт никогда, ни при каких обстоятельствах не изменяет своему призванию, и

Богиня чистых вдохновений

никогда *от него не скрывается*. Чего ему искать в существенности, в действительной жизни, окованной железными цепями отношений, приличий, цепями, заржавевшими от ядовитого дыхания черных, змеевласых, как фурии, страстей? Разве ему не просторнее, не свободнее, не отраднее летать в мире идеалов, носиться по высотам поднебесным и только изредка заглядывать на землю, чтоб видеть, что делается в этой юдоли слез,

Non quia vexari quemquam est iucunda voluptas;
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est,*

как говорит Лукреций...¹⁸

Как бы то ни было, а Пушкин написал «Кавказского пленника» не по чистому поэтическому вдохновению, но по направлению современности или под влиянием байронизма. К чему это разочарование в роскошной весне жизни в двадцать лет с небольшим? К чему эта мизантропия, чтобы не сказать эта клевета на человечество! Люди могут быть дурны — положим даже, что они действительно дурны большею частью; но человечество все остается человечеством, все еще много осталось в нем от первобытного отечества — от неба, все еще не погас в нем чистейший луч чистейшего света, все еще искрится в нем Божество. Зачем же поэту зарываться в густые слои мрака или погружаться в тинистое болото и прятаться от солнечных лучей? Предоставьте это полулюдское удовольствие грубым киликийским поселанам, возмущившим светлые струи прохладного потока для того, чтобы не дать Аполлоновой матери утолить палящую жажду¹⁹. Бог дал нам поэзию взамен потерянного рая; ее дело сблизить, роднить землю с небом, откликаться с земли небу, а не аду... Отчего теперь почти во всей Европе нет поэзии? Не оттого ли, что она, забыв свое высокое назначение — утешать человечество, накликает на него отчаяние, короче, перекликается не с небом, а с адом? Поэзия и умирает, и возрождается, и блекнет, и вновь расцветает, как общество; иссякнет *любы*, и общество клонится к падению, иссякнет *любы*, и поэзия блекнет, вянет²⁰; это непреложная истина, это аксиома. Поэзия как поэзия — вся в нравственности, в религии; чем ближе религия какого-нибудь народа к своему источнику — к небу, тем возвышеннее, чище, *музыкальнее* его поэзия, и наоборот; вот почему у древних язычников поэзия была по преимуществу пластическая, у христиан, как в свое время у евреев, она музыкальная. Которая из них более удовлетворяет требованиям человека — это другой вопрос, на который, впрочем, не трудно отвечать: для этого стоит только принять в расчет человека *внешнего* и человека *внутреннего*. — Но мы слишком далеко уклонились от своего предмета.

Содержание «Кавказского пленника» очень просто: молодой человек, оставив родину свою — Россию,

...Где пламенную младость
Он гордо начал без забот,
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье...
.....
Отступник света, друг природы
.....
С веселым призраком свободы

* Не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны,
Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко (*лат.*). — Пер. Ф. А. Петровского. — *Ред.*

отправился к черкесам — и отправился, как изволите видеть, за свободой, а черкесы без зазрения совести взяли его в плен. В первую ночь посещает его молодая девушка, черкешенка, чудо красоты, влюбляется в него, потом каждую ночь

Приносит пленнику вино,
Кумыс, и мед душистый,²¹
И белоснежное пшено...
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье.

Тщетно новая Пентефриева жена соблазняла нового Иосифа²² — русского барича; он не поддался. И что же? она освободила его от оков, выпроводила на берег реки, за которою стоял русский пост, а сама в глазах его утонула, и он хоть бы вздохнул о своей избавительнице — удивительная бесчувственность!

В «Кавказском пленнике» два лица — черкешенка с характером, достойным поэзии, и русский — совершенно бесхарактерный, как можно видеть по ходу пьесы, и бесхарактерность его как будто с намерением выдержана от начала до конца: это лицо без образа и вида, это автомат. Если бы мы не боялись оскорбить памяти покойника, если бы мы не были уверены, что он питал в сердце чувство патриотизма, которое так хорошо, так сильно выражено у него в пьесе «Клеветникам России»²³, мы упрекнули бы его за то, что он для своего рассказа выбрал героем лицо бездушное, бесчувственное и, что всего досаднее, обиднее для народной чести, дал ему роль представителя россиян, и каких россиян? — россиян Александрова века, изумивших свет своим великодушием, благородством, своим самоотвержением, короче — своим высоким характером. Позволяем себе думать, что Пушкин впал в эту ошибку бессознательно, что она не более как недосмотр, необдуманность, следствие поспешности или молодости, незрелости таланта; иначе мы ее объяснить себе не можем.

Характер черкешенки прекрасен, тем более что он поставлен в яркой противоположности: с одной стороны, дочь природы, с другой — сын образованного общества; там высокое самопожертвование, здесь низкий эгоизм... Зато, если черкесы когда-нибудь будут читать «Кавказского пленника», они с гордостью укажут на его героиню и с презрением на героя — на русского. Это, повторим, оскорбительно для нас... Но утешимся — черкесы не так еще скоро будут читать наших поэтов.

При всем желании — видеть в Пушкине, как в поэте, и *первоклассном русском поэте*, — рецензент и видит, и по беспристрастию показывает читающей публике несовершенства «Кавказского пленника». Все эти несовершенства касаются внутренней, а не внешней его стороны; в нем ошибочно создание, но отделка прелестна. Этим объясняется, почему «Кавказский пленник» пользовался и пользуется необыкновенною славой у читающей публики; наружность первая бросается в глаза; внутренности, кроме рецензента, никто не коснется:

Omnia enim stolidi magis admirantur amantque,
 Inversis quae sub verbis latitantia cernunt:
 Veraque constitunt, quae belle tangere possunt
 Auris, et lepido quae sunt fucata sonore.*
 Лукреций²⁴

Если «Кавказского пленника» нельзя защитить от укоризн в целом, в создании, то, с другой стороны, нельзя не восхищаться его частностями и отделкою: картины, отдельно взятые, написаны мастерскою рукою, а о стихах и говорить нечего — сами грации нашептывали их Пушкину. Это, однако же, не значит, что все они запечатлены совершенством; на земле ничего нет совершенного.

<IV>

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН», СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

При одном этом имени на вас, кажется, веет прохладою поэзия. Эта маленькая стихотворная повесть составляет один из драгоценнейших перлов в венце поэтической славы Пушкина. Самый прихотливый, самый взыскательный читатель, самый строгий критик ничего не найдет в ней кроме прекрасного, за исключением, может быть, двух-трех стихов, которые могли бы быть лучше. По отделке стихов Пушкин в «Бахчисарайском фонтане», как говорится, превзошел самого себя; здесь пюризм его торжествует; тон в отношении к колориту выдержан от начала до конца; везде благородная простота, везде естественность. Здесь поэт наш становится живописцем, берет кисть Сальватора Розы и пишет смело, свободно картины, на которых так очаровательно улыбаются грации или наяды. Говорят, что Пушкин очень скоро, очень легко писал, — это правда, но он не спеша издавал свои произведения, следуя Горациеву правилу, он долго держал их под спудом и с возможною тщательностию занимался их отделкою²⁵. «Бахчисарайский фонтан», который по легкости, живости как будто написан в один присест, стоил Пушкину целого года отработки, зато и отработан он usque ad unguem**. Жизнь поэта, как и всякого художника, — жизнь труженика; большая часть читателей думают, что он пишет играючи, но на самом деле это бывает не так. Пьеса, особенно большая, досоздана, но этого мало — надобно *облечь ее в плоть*; тут начинается новая работа: там поэзия в разногласии с музыкой — надобно дать всему единство тона, все привести в гармонию; здесь живопись не удовлетворяет требованиям эстетики — надобно дать единство колориту. Прибавьте, что поэт всякий раз должен приводить себя в то состояние духа, в котором он был, когда родилась в душе его идея пьесы. Пушкин, как истинный художник, живший для славы и потомства, не тяготился отделкою своих произведений, зато произведения его не тяготят читателей!

О содержании «Бахчисарайского фонтана» мы не скажем ни слова — оно, без сомнения, известно нашим читателям; но не можем не остановить

* Есть люди... для которых приятная гармония и блеск заменяют самую истину.

** чрезвычайно тщательно (*лат.*). — *Ред.*

ся на характерах, тем более что в русских повествовательных сочинениях они встречаются не так часто. В «Б<ахчисарайском> ф<онтане>» три действующих лица: Гирей, Зарема и Мария; все они обрисованы и поставлены прекрасно: в Гирее видите вы настоящего хана со всею азиатскою важно-стью, сановитостию. Он в картине стоит на первом плане, но сообразно с мрачным расположением духа как будто задернут слегка тенью. В повести это положение выражено мастерски:

Гирей сидел, потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Все было тихо во дворце:
Благоговя, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой;
И все, склонившись, идут вон.

В большем свете представлена *Зарема* и *Мария*, два контраста, и обе — идеалы; одна грузинка, дочь природы, созданная для неги, для чувственной любви, для гарема; другая — полька, княжна, воспитанная в блестящем обществе для высшего назначения, для наслаждений чистых, благородных. И как эти две фигуры хорошо поставлены в картине, каждая с своею прелестью!

. Кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?

Зарема прелестна, но Гирей изменил ей

С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Вот портрет ее, самый живописный, очаровательный:

Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла.

Хотите ли видеть характер действующих лиц в «Б<ахчисарайском> ф<онтане>», взгляните в каждую черту их портретов, и он весь разоблачится пред вами. — Нужно ли говорить, что и портрет, и характер Заремы ярче, разительнее других: прокравшись ночью к Марии, она в порыве кипучей ревности между прочим говорит ей:

Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья;
Он клятвы страшные мне дал;
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена...
Я плачу! видишь, я колена
Теперь склонаю пред тобой.
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея...
Не возражай мне ничего...
.....
Клянись.....
Зарему возвратить Гирею...
Но слушай: если я должна
Тебе... кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена.

В последних трех стихах видите вы и характер, и портрет грузинки, живой, пламенной, неукротимой в приливе страсти.

«Бахчисарайскому фонтану» особенную прелесть придает невыисканная, непринужденная чувствительность, вылившаяся прямо из сердца поэта, и поэтому самому льющаяся прямо в сердце читателя.

Тиха Мариина светлица...
В домово́й церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену.

Сколько в этих стихах чувства! Как много говорят они сердцу!

Поэзия есть соединение музыки и живописи, — Пушкин очень хорошо и постигал, и выполнял это; но, кажется, ни в одном из его стихотворений нет такой гармонии, таких картин, истинно очаровательных, какими обогатил он свой «Бахчисарайский фонтан»:

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.

Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный...

Или:

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин уютная краса,
И струй и тополей прохлада —
Все чувство путника манит,
Когда в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет, и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...

Сколько в этих стихах и музыки, и живописи! Скажем мимоходом, что у Пушкина преимущественно музыкальны и вместе живописны эпилоги, — в них как будто в фокусе сосредоточивается и поэзия, и душа поэта; это доказывает, что он был истинный жрец своего искусства.

<V>

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»,
РОМАН В СТИХАХ. СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

По воздуху вихорь свободно шумит
Кто знает, откуда, куда он летит?
Из бездны поток выбегает
Так песнь зарождаёт души глубина!
И темное чувство из дивного сна,
При звуках воспрянув, пылает!
«Граф Гапсбургский». Перев<од> Жуковского²⁶

Судить по *писаным* законам эстетики произведения такого поэта, как Пушкин, поэта разнообразного, всегда нового, неистощимого, — не так легко, как иные думают; для этого, может быть, нужны законы эстетики, внешние не в книги, но в скрижали сердца. В самом деле, как подвести под общие законы эстетики большую часть произведений Пушкина — и в том числе его «Евгения Онегина»?..

Челлини, известный итальянский художник XVI века, как преступник по одному делу, о котором рассказывать было бы слишком долго, подлежал уголовному суду; дело представили на разрешение умному, просвещенному

Папе. Папа с негодованием разорвал приговор и, обратясь к присутствовавшим, произнес: «Невежды хотят, чтобы художников судили наравне с чернью! Художника не должно судить по тем же законам, по которым судятся люди обыкновенные». Высокое изречение, достойное главы церкви и правительства!..²⁷

Судите «Евгения Онегина» по теории — и вы найдете в нем много недостатков в отношении к созданию и исполнению; судите его по чувству, по впечатлениям, которые производит на вас его чтение, — и вы от души простите ему недостатки: это красавица, которую нельзя назвать чудом красоты, но у которой так много прелестей, так много грации, что вы невольно полюбите ее, это настоящая Татьяна Ларина, героиня романа, о которой можно сказать то же, что сказал покойный И. И. Дмитриев о красавице в одном из своих прелестных мадригалов:

Ты лучше быть могла, но лучше так, как есть.²⁸

Этим мы могли бы кончить отчет об «Евгении Онегине», но должность рецензента — должность неумытного судьи, — по сердцу он смягчил бы приговор, по законам должен быть неумолим, — он руководствуется сводом законов — *писанным разумом*, *ratio scripta*, а не внушением сердца.

Поэта, как всякого художника, пока он жив, пока еще не дозрел и, следовательно, пока еще раздражителен, позволительно судить с большим снисхождением, чтобы не охладить его жара, его любви к искусству; но к поэту созревшему, отжившему, можно, даже должно, быть строгим, — творения его становятся наследием общества, в котором он жил, если не всего человечества; по ним потомство учится воспроизводить новые создания.

Природа наделила Пушкина необыкновенною способностью принимать впечатления и передавать их своему художественному перу; это Протей²⁹, который по произволу принимает на себя все виды. В «Руслане и Людмиле» он отторгается от земли, от современности, носится по поднебесью, парит в прошедшем; «Кавказский пленник» сводит его на землю и заставляет рыться в сердце современников, в сердце людей, прикованных к грубой сущности; «Бахчисарайский фонтан» навевает на него прохладу и восточную негу; «Евгений Онегин» переселяет его в современное русское общество, в котором так много прозы и так мало поэзии. Должно ли обвинять Пушкина за то, что он свел поэзию с неба на землю, что идеальное слил с существенным? Конечно, нет, — поэзия не служба, по крайней мере не внешняя, необходимая обязанность; поэт волен петь, что ему угодно; так ли он поет, вполне ли удовлетворяет требованиям искусства, это другой вопрос, на который отвечать дело рецензента.

«Евгений Онегин» роман во всей форме и отличается от других произведений в этом роде одною только поэтической оболочкою. *Роман в стихах!* При появлении первой главы «Е<вгения> О<негина>» эти два понятия долго не могли совместиться в уме некоторых читателей; впрочем, может быть, эти скрупулезные читатели не совсем были виноваты, может быть, стихи так же не идут к роману, как проза не годится для поэмы, между людьми, закутанными в нарядные платья как в латы, нельзя явиться в эфирной одежде феи; цветная поэтическая оболочка мнется, тускнеет на прозаическом предмете; от этого-то, вероятно, в «Евгении

Онегине» так много прозаических стихов и так часто роман выходит из своей сферы.

Пушкин хотел показать в своем романе современное высшее русское общество — аристократию, представителями и представительницами этого общества избрал он Е. Онегина, Ленского, Татьяну и Ольгу; достиг ли он своей цели, об этом судить предоставляем читателям и почитателям «Евгения Онегина». Из четырех действующих лиц всех лучше, если не правдоподобнее, по характеру Татьяна и Ленский; но Пушкин как будто из опасения уронить, не докончить так хорошо обрисованный характер Ленского, поторопился поскорее отделаться от него и на половине романа убил его на дуэли; Ольга, как большая часть русских барышень, лишившись жениха, Ленского, прекрасного человека, так нежно любившего ее, не успевши еще износить башмаков, как говорит Шекспир³⁰, вышла замуж за гусара, ни одною слезою не почтивши памяти прежнего жениха; Евгений с своею хандрою презирает весь свет, презирает Татьяну, им одним занятую, а наконец влюбляется в нее, когда она стала в свете играть важную роль, вышедши замуж за генерала; одна Татьяна выдержала свой характер от начала до конца.

Наши писатели, за исключением двоих или троих, которых не называем по благовидным причинам, не мастера рисовать характеры, оттого ли, что не приобрели еще навыка, или оттого, что у нас, как у всех народов славянского происхождения, мало твердости, решимости, настойчивости; само собою разумеется, что это имеет свою хорошую сторону; мы уважаем сильные характеры, мы безусловно повинемся им; при нашем только характере твердая воля Петра могла в четверть столетия поставить наряду с европейскими государствами отатарившуюся в несколько веков Россию.

Если «Евгений Онегин» как роман имеет недостатки в отношении к содержанию, завязке, развязке, характерам и движению, во что мы не считали нужным входить подробно, то сколько есть красот истинно художественных в его картинах, описаниях, применениях, намеках, мыслях, сколько аттической соли в проблесках сатиры чисто горацанской, умной, светской, сколько искрометных эпиграмм, всегда уместных, всегда отлитых в прелестную форму! По местам встречаются в нем глубокие чувства, как, например, в следующих стихах (глава 2):

XXXVIII

Увы! на жизненных браздах
 Мгновенной жатвой поколенья
 По тайной воле Провиденья
 Восходят, зреют и падут;
 Другие им вослед идут...
 Так наше ветреное племя
 Растет, волнуется, кипит
 И к гробу прадедов теснит.
 Придет, придет и наше время,
 И наши внуки в добрый час
 Из мира вытеснят и нас.

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

Должно, однако же, сказать, что таких мест в «Е<вгении> О<негине>» мало: Пушкин поэт по преимуществу пластический, поэтому он редко отрешается от материального и чаще всего останавливается на тех предметах, которые дают простор его кипучему воображению, умеющему все *очувствовать*, если можно так выразиться. Скажем более — он ищет таких предметов, находит их и сливается с ними. Так, в 1-й главе «Е<вгения> О<негина>», остановившись на маленьких ножках, он не хочет расстаться с ними, он весь в них.

XXX

.....
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки!.. Грустный, охладельй,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлеяны в восточной пеге,
На северном печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
 Прелестны, милые друзья!
 Однако ножка Терпсихоры
 Прелестней чем-то для меня.
 Она, пророчествуя взгляду
 Неоцененную награду,
 Влечет условною красой
 Желаний свосвольный рой.
 Люблю ее, мой друг Эльвина,
 Под длинной скатертью столов,
 Весной на мураве лугов,
 Зимой на чугуне камина,
 На зеркальном паркете зал,
 У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою;
 Как я завидовал волнам,
 Бегущим бурной чередою
 С любовью лечь к ее ногам!
 Как я желал тогда с волнами
 Коснуться милых ног устами!
 Нет, никогда средь пылких дней
 Кипящей младости моей
 Я не желал с таким мученьем
 Лобзать уста молодых Армид,
 Иль розы пламенных ланит,
 Иль перси, полные томленьем,
 Нет, никогда порыв страстей
 Так не терзал души мой!

XXXIV

Мне памятно другое время:
 В заветных иногда мечтах
 Держу я счастливое стремя
 И ножку чувствую в руках;
 Опять кипит воображенье,
 Опять ее прикосновенье
 Зажгло в увядшем сердце кровь,
 Опять тоска, опять любовь...

К чести Пушкина должно сказать, что, несмотря на страсть все *оцувств-лять*, он в «Евгении Онегине» нигде не оскорбляет грации; зато мы могли бы упрекнуть его, что он слишком любит говорить о себе самом и, как красавица-кокетка, беспрестанно обращаясь к зеркалу, забывает про посторонних³¹ — про читателей и даже про своих героев и героинь; это беспрестанно перерывает рассказ и замедляет ход происшествий.

Можно было еще указать на некоторые, впрочем легкие, недостатки в «Евгении Онегине», — но для чего? он и читался, и читается, и, вероятно, долго еще будет читаться с наслаждением. Это роман, в котором более или менее отражается общество, современное Пушкину, разумеется, общество аристократическое, а оно-то у нас только и читает. Этим, между прочим, объясняется необыкновенный успех «Евгения Онегина». Жаль, что поэт наш почти исключительно ограничился одним только высшим сословием, он много нашел бы поэзии в низших слоях общества, ближайшего к природе... Но кто имеет право предписывать законы поэту? Он по собственному произволу или по тайному влечению поет, что ему поется.

По воздуху вихорь свободно шумит:
Кто знает, откуда, куда он летит?
Из бездны поток выбегает.
Так песнь зарождает души глубина!
И томное чувство из дивного сна,
При звуках воспрянув, пылает!³²

<VI>

«БРАТЯ РАЗБОЙНИКИ». — «ЦЫГАНЫ»

На «Братьях разбойниках» мы не намерены долго останавливаться: это рассказ разбойника в кругу новых его товарищей-разбойников, рассказ легкий, живой, поэтический по изложению, но не по содержанию. В самом деле, что вы найдете поэтического в земледельце, который, соскучившись добывать насущный хлеб трудами, пустился с братом на промысел, более легкий и более выгодный, на разбой. В целом рассказе встречается вам одно только место, которым искупается несколько содержание: меньшей брат тяжело заболел; в жару, в разгаре недуга

Пред ним толпились привиденья,
Грозя перстом издалека.
Всех чаще образ старика,
Давно зарезанного нами,
Ему на мысли приходил;
Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
«Брат, сжался над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами,
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он Божий гнев!..»

Изложение в «Братьях разбойниках», как мы сказали, легко, живо, но не везде гармонирует с своим предметом: разбойник из простолюдинов говорит по местам языком книжным, от этого в колорите происходит невер-

ность, неточность — погрешность, от которой Пушкин не умел или не хотел освободиться.

«Братья разбойники» вышли в свет после «Шильонского узника» в прелестном переводе В. А. Жуковского; это подало многим повод думать, что «Братья разбойники» не что иное, как подражание Байронову «Шильонскому узнику»³³. Мы этого мнения не разделяли и не разделяем с другими; с первого взгляда, конечно, оно покажется если не справедливым, по крайней мере правдоподобным; но вникните глубже в то и другое создание, и вы увидите, что между ними нет ничего общего; ставить их в параллель значило бы обижать британского поэта: в Байроновом произведении видите вы глубокую мысль, в его герое принимаете вы живое участие. Иначе и быть не может, — он страдает невинно, он переносит муки одну другой несноснее за религиозное мнение, само по себе святое, от чистого сердца посеянное отцом в чистом сердце сына. Это трагедия, трагедия высокая, нравственная. В «Братьях разбойниках» Пушкина и тени подобия этому нет: можете ли вы сочувствовать человеку, который оставляет общество потому только, что не хочет трудиться ни в нем, ни для него, ни даже для себя, и режет встречного и поперечного? А где нет сочувствия, там нет и поэзии. Такие предметы, как «Братья разбойники» Пушкина, не стоят не только прекрасных, но даже и никаких стихов; это значит бесполезно тратить сокровище дарований, которые ниспосылаются нам свыше для лучшего употребления, для возвеличения, для прославления добродетели и ее источника — Бога.

С берегов Волги, от шайки разбойников перейдем в Бессарабию, под шатры цыган, и полюбуемся раздольем степей и пушкинской поэзии.

«Цыганы» Пушкина — маленькая драматическая поэма, исполненная дикой степной прелести; здесь поэт наш торжествует; он овладел своим предметом, слился с ним и отлил его в изящную, истинно художественную форму. Мы уже сказали в одной из книжек «Галатеи», что природа наделила Пушкина необыкновенною способностью принимать впечатления от предметов, непосредственно соприкасавшихся ему. Пушкин хорошо изучил Бессарабию, в которой прожил несколько времени в совершенной независимости от светских отношений, часто оковывающих и ум, и воображение; он сам на досугах нередко посещал цыганские таборы, и посещал недаром, не без пользы: этим его посещениям мы обязаны «Цыганами».

Пушкин любил говорить о Бессарабии, о своей там жизни, вольной, кочевой. «Часто, — сказал он мне однажды, вспомнивши о Бессарабии, — часто по целым неделям я не одевался, не брился, ходил по степи как сын природы — в одной сорочке и, признаюсь вам, никогда после не бывал так доволен собой, никогда не любил так поэзию»³⁴. Пушкин говорил это в излиянии сердца, я верил и теперь верю его словам, — я вполне понимаю внутреннее состояние человека, всю душою преданного поэзии. В этом-то состоянии Пушкин написал своих «Цыган», в которых каждый стих запечатлен поэтической истиною.

Создание, план, движение, местность, картины, образы, характеры, чувства, мысли, выражения — все это в удивительном сочетании друг с другом и как будто в один присест сбежало на бумагу с одушевленного, волшебного пера. Сначала, как и должно быть, представлена сцена действия, которое как будто само собою развивается естественно, постепенно, легко, быстро, живо; вы не успеете еще опомниться от очарования, а «Цыганы» уже прочи-

таны. Сцена обрисована немногими чертами, но с такою полнотою, какой только можно требовать и желать:

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность весел их ночлег
И мирен сон под небесами.
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь <лежит> на воле.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно все, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.

Сцена действия обрисована, остается вывести на нее действующие лица, и вывести так, чтобы вы с первого взгляда на них могли легко их разгадать, — легко, говорю я, потому что действие, так сказать, с каждым стихом подвигается вперед, — и Пушкин выводит их почти в один и тот же момент, но так, что ни одно из них не теряет своей индивидуальности, не сливается с другим — и, что всего важнее, — при всей быстроте и подвижности не разрушает эффекта перспективы: прежде видите вы перед собою цыгана старика, представителя цыганского табора, потом дочь его Земфиру, представительницу цыганской дикой воли, не связанной гражданскими законами, и, наконец, Алеко, который не умел ужиться с гражданскими законами и который, само собою разумеется, не уживется с обычаями кочевого народа:

В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле;
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака;

Земфиры нет как нет, и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой, — дева говорит, —
Веду я гостя: за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть, как мы, цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко; он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Остаюсь до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
.....

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?

В этих немногих словах вполне выражен характер всех трех действующих лиц: в старике, взросшем в степи, свыкшемся с нуждами кочевой жизни и с сердечными горестями, видите вы, с одной стороны, какую-то патриархальность и радушие, с другой — какой-то стоицизм; Земфира — олицетворенное непостоянство, это ветерок пустыни, не удерживаемый никакими преградами; Алеко — сын гражданского общества, которое, прибавьте, он оскорбил и которым оскорблен; это оскорбление глубоко врезалось в его сердце, оно грызет его; вот почему на многословное, радушное приглашение старика он отвечает лаконически: «Я остаюсь». В этом *я остаюсь* вылилось вполне его негодование на общество, которое отторгло его от себя. В другом месте это негодование на общество выражено у него если не сильнее, по крайней мере явственнее, многоречивее. На вопрос Земфиры:

Скажи, мой друг, ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

он отвечает:

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!

Там люди в кучах, за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волнение,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Прошло два года, — Алеко истосковался по обществу, которое проклинал, а может быть, ему стало жаль *блистательного позора*; воспитанный в так называемом образованном кругу мог ли он забыть те побрякушки, которые в душе презирает истинный мудрец, но которыми светский человек тешится как дитя? Между тем ветреная Земфира изменяет ему; ревнивый, мстительный Алеко смывает свой позор, свою обиду в ее крови.

Пушкин, кажется, ни одной из страстей не умел так верно и так ярко живописать, как ревность; постигал ли он эту мстительную страсть своим пламенным, всевоспроизводящим воображением или сам одержим был ею — положительно сказать не можем; нельзя, однако же, не заметить, что он в произведениях своих был более *субъективен*, нежели *объективен*, и всегда с большею силою воспроизводил только те предметы, с которыми соприкасался собственным чувством, с которыми, так сказать, сливался всем своим существом, и надобно сказать, что во всех его творениях субъективных гораздо более поэзии, по крайней мере пластики, чем в творениях объективных.

Из всех благородных страстей, волновавших на жизненном поприще сердце Пушкина, была первая страсть к поэзии, и он, где только мог, представлял напоказ поэзию или поэта. Так, живя в Бессарабии, он глубоко запечатлел в душе своей образ Овидия, с которым, скажем мимоходом, имел много общего, и воспроизвел его прежде в прелестной элегии «К Овидию», потом в своих «Цыганах»; в этой драматической поэме он весьма кстати вложил в уста старика темное предание о римском поэте, изгнанном в Бессарабию и кончившем там свой век:

Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье.
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозвание.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной;
Имел он песни дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
И полюбили все его,
И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя.
Не разумел он ничего
И слаб и робок был как дети;

Чужие люди за него
 Зверей и рыб ловили в сети;
 Как мерзла быстрая река
 И зимни вихри бушевали,
 Пушистой кожей покрывали
 Они святого старика;
 Но он к заботам жизни бедной
 Привыкнуть никогда не мог,
 Скитался он иссохший, бледный,
 Он говорил, что гневный Бог
 Его карал за преступленье,
 Он ждал, придет ли избавленье.
 И все несчастный тосковал,
 Бродя по берегам Дуная,
 Да горьки слезы проливал,
 Свой дальний град вспоминая.
 И завещал он, умирая,
 Чтобы на юг перенесли
 Его тоскующие кости,
 И смертью — чуждой сей земли
 Не успокоенные гости.

Пушкин, само собою разумеется, сознавал в себе высокий дар, чувствовал свое призвание, но он как будто боялся, что его не поймут, не оценят, что он оставит на земле не доплетенным свой поэтический венок, что слава его не упрочится, не увековечится, и эту напрасную боязнь высказывал где только мог — в «Евгении Онегине», в мелких стихотворениях, в «Цыганах». Алеко, которому Пушкин как будто сочувствовал, выслушавши предание старика об Овидии, восклицает с горьким негодованием:

Так вот судьба твоих сынов,
 О Рим, о громкая держава!
 Скажи мне: что такое слава?
 Могильный гул, хвалебный глас,
 Из рода в роды звук бегущий
 Или под сенью дымной кущи
 Цыгана дикого рассказ?

<VII>

«ПОЛТАВА», СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

По хронологическому порядку нам следовало бы говорить о «Борисе Годунове», но, вступивши один раз в категорию эпических произведений Пушкина, мы хотим прежде отдать отчет об них.

Не считаем нужным разбирать «Графа Нулина», «Анджело» и «Домик в Коломне»; две первые из этих пьес не выдержат строгой критики, последняя не более как забавный анекдот, удачно вставленный в русские, по подражанию италиянским, октавы — и, кажется, для них только написанный³⁵, но не можем не остановиться на «Полтаве», тем более что многие из читателей Пушкина имеют об ней, если смеем сказать, превратное понятие;

они ставят ее наряду с «Русланом и Людмилою», если еще не выше: мы, напротив, откровенно скажем — это если не самое слабое, по крайней мере одно из слабых его эпических произведений по созданию, характерам и самому изложению³⁶. Правда, в «Полтаве» есть несколько отрывков, достойных пера Пушкина, но отрывки еще не составляют целого. Мы ничего не скажем о названии поэмы — оно неверно, — Полтава в пушкинском произведении составляет только эпизод — не более³⁷. Но название не самое важное дело, — каково создание — вот вопрос:

Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, *пехрашмы*.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду, и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не золотом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами:
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
.....
Зато завидных женихов
Ей шлет Украина и Россия.
.....
Всем женихам отказ — и вот
За ней сам гетман сватов шлет...
Он стар.
Но чувства в нем кипят, *и вновь*
Мазепа ведает любовь.

Прибавьте к этому, что Мазепа крестный отец Кочубеевой дочери, которую Пушкин из Марины перекрестил в Марию³⁸. Мать отказывает Мазепе в руке дочери, но Мария, влюбленная в гетмана, бежит тайно из отеческого дома к влюбленному старику. Оскорбленный Кочубей вооружается против Мазепы местию; он пишет на него к Петру донос об измене *по принадлежности* с Искрою, который безнадежно любил Марию³⁹.

Козак на север держит путь,
.....
Как стекло, булат сго блесстит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь, конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булат *потеха молодца,*
Ретивый конь *потеха тоже* —
Но шапка для него дороже.
За шапку он оставить рад.
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,

*И то лишь с буйной головою.
Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея.*

Что же было следствием этого посольства?

*Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!*

Невинный Кочубей действительно выдан вместе с Искрою Мазепе; Мазепа публично казнил обоих, а Мария сошла с ума. Тут бы, казалось, и должна была кончиться повесть, не имея притязания на название поэмы; но Пушкину вздумалось привязать к ней полтавское сражение; от этого действие раздвоилось, от нарушения единства действия разрушился эффект повести.

Вот создание «Полтавы»; хорошо ли оно или нет, предоставляем судить самим читателям. Посмотрим, каковы в ней характеры. Во всей поэме главных лиц три: Мазепа, Мария и Кочубей; начнем с первого.

Мазепа лицо отвратительное, но и отвратительные лица могут быть допущены как в трагедии, так и в поэме — с одним условием: они не должны стоять на первом плане, их ставят на вторые места, и притом для одной только противоположности с лицом первичным, благородным, для того чтобы возвысить доблести главного лица; иначе и быть не может. Что такое поэма? Поэтическое повествование о важном историческом событии, имевшем влияние — если не на человечество, по крайней мере на значительную часть его, на государство. Какая цель поэмы? Возбудить удивление, благоговение к герою как Божию избраннику. Что такое главное лицо в поэме? Это, как сказано, избранник Божий, который стремится к предположенной благородной цели и напутствуемый Богом достигает ее, преодолевши все препятствия, противопоставленные ему враждебными силами. Спрашивается, есть ли что-нибудь подобное в «Полтаве», в Мазепе! Положим, что «Полтава» не поэма, а просто стихотворная повесть, — но от этого лицо Мазепы нисколько не лучше. Прибавьте к этому, что характер его не выдержан. Вся поэма — если «Полтава» поэма — состоит из трех песней; в первых двух песнях вы видите в Мазепе человека хитрого, дальновидного, проницательного, человека, который наперед все расчел, все взвесил, все предугадал; читаете третью песнь и сами себе не верите. — Вот что говорит он на персннику своему Орлику накануне полтавского сражения:

*Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати;
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкий и отважный;*

Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать;
<Ответствовать на бомбу смехом;>
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь *ко вражьей стани;*
Свалить, как нынче, козака
И обменять на рану рану;
Но не ему вести войну
С самодержавным великаном.

Характер Марии в нравственном отношении не лучше характера Мазепы, но он ровнее, вернее самому себе и выдержан от начала до конца; жаль одного — Мария не возбуждает в нас участия, потому что мы не видим в ней ни одного отблеска нравственной красоты, — это настоящая Танька, Растокинская разбойница⁴⁰. Мало того, что она обесславилась своего отца, мать, весь свой род — бросившись в объятия Мазепы, крестного своего отца, заметьте, крестного отца, — она, эта же Мария, для спасения своего соблазнителя готова пожертвовать головою своего отца. Тревожимая ревностию, она выпытывает у Мазепы задушевные тайны и сама открывает ему глубину души своей. Вот разговор их по этому случаю:

Мазепа

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

Мария

Милый друг,
К чему вопрос такой? Тревожит
Меня напрасно он. Семейно
Стараюсь я забыть мою.
Я стала сй в позор; быть может
(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь.

Мария

О Боже!

Мазепа

Что ж? отвечай.

Мария

Реши ты сам.

Мазепа

Послушай, если б было нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была:

Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Мария

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа

Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тобе я жертвовать...

Лучше всех характер Кочубея, но и он не безукоризнен. Кочубей доносит Петру об измене Мазепы; и прекрасно, — это долг каждого верноподданного. — Но в какое время он разоблачает перед Петром замыслы гетмана?.. Когда Мазепа похитил у него дочь и, след<овательно>, нанес ему личное оскорбление. Не чувствуете ли, как это много отнимает цены у преданности Кочубея к Петру. Может быть, кто-нибудь скажет, что Кочубей прежде не знал о замыслах гетмана, что они совпадают с похищением Марии; ничего не бывало: Кочубей давно уже знал об них, — ссылаемся на самого Пушкина, на то, что говорит он в первой песни «Полтавы»:

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

.....
Так! было время: с *Кочубеем*
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие бседы
Наедине вели они.
Пред Кочубеем гетман скрытный
Души мятежной, не насытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.

До сих пор мы рассматривали только внутреннюю сторону «Полтавы» и с сожалением заметили в ней значительные недостатки относительно создания, действия, характеров; теперь обратим внимание наших читателей на внешнюю ее сторону — на изложение.

Рецензент «Полтавы» принял на себя тяжелую, неприятную обязанность: он чувствует, что отзыв его об этом произведении любимого нашего поэта многим не по сердцу. Что делать? Amicus Plato, sed magis amica

veritas*. Рецензент, разбирая «Руслана и Людмилу», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», выставлял напоказ неподдельные красоты этих произведений со всею откровенностью, со всем радушием; он радовался им, он восхищался ими по любви своей ко всему изящному, по чувству патриотизма, —

Чувствительна душа и вчуже веселится.⁴¹

Почему же не высказать откровенно своих мыслей о «Полтаве»? Зачем утаивать недостатки ее? Назначение критики — показывать в поучение другим и красоты, и недостатки в произведениях изящных искусств, иначе искусства не подвигались бы вперед.

В предшествовавшей книжке «Галатеи» мы, скрепя сердце, обнаружили некоторые внутренние несовершенства «Полтавы», теперь бросим беглый взгляд на внешнюю ее сторону — на изложение:

Periculosae plenum opus aleae!^{**42}

Приступая к разбору изложения в «Полтаве», названной поэмою, надлежало бы прежде всего коснуться слога эпопеи вообще, но это был бы лишний труд; другое дело, если бы мы говорили об эпопее или, что все равно, если бы «Полтава» хоть вполовину удовлетворяла требованиям эпопеи, — нет, она слишком далека от эпопеи; «Полтава» не поэма, не эпопея; у нас еще нет поэмы ни классической, ни так называемой романтической; у нас в этом роде есть только опыты, как говорил сам Пушкин; удачейшим из них в романтическом роде мы обязаны самому же Пушкину.

Итак, оставив в стороне теорию слога эпопеи, рассмотрим «Полтаву» со стороны слога, как произведение просто повествовательное, в которое, впрочем, по местам входит драма.

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа как вешний цвет,
Взлеянный в тени дубравной!
Как тополь киевских высот
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена грудь ее бела;
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют;
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.

Мы с намерением выписали эти стихи: они сами по себе хороши, за исключением тех, которые отмечены курсивом; но в целом этого об них нель-

* Платон мне друг, но истина еще больший друг (лат.). — Ред.

** Труд, полный опасной случайности! (лат.). — Ред.

зя сказать: с первого взгляда они, конечно, бросятся в глаза; но рассмотрите их как черты, как образы, которыми обрисован портрет Марии, и вы убедитесь, что из них нельзя составить картины, чисто изящной, художественной!

Она свежа, как вешний цвет,
Взлеянный в тени дубравной.

Этот образ (image) сам по себе хорош, но соедините его с последующими образами: с *тополем киевских высот, с ходом лебедя пустынных вод, с быстрями стремлениями лани, с тучами черных локонов, с устами, рдеющими как роза*, и вы увидите, что картина неверна, не скомпонована надлежащим образом, что она не индивидуализируется в вашем воображении. То ли дело портрет грузинки в «Бахчисарайском фонтане»!

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?

Восемь стихов — и картина полна, каждая черта в совершенном согласии.

Перейдем к отдельным слабым стихам в «Полтаве» и будем их следить по песням.

Пылает сердце старика,
Окаменелое годами...
И, вся полна негодованьем,
К ней мать идет...
Нет, он греха не совершит,
Он, должный быть отцом и другом...
То молча плача, то стенья,
Мария не шла, не ела...
Не только первый пух ланит,
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, волосы седые
В воображеньи красоты
Влагают страстные мечты...
Зачем бежала своею правю
Она семейственных оков?..
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал?..
Свою омыть он может славу...
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один

Урок неожиданный и кровавый
Задал ей шведский паладин...
...Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей, *ложней,*
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей...
Не многим, может быть, известно...
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду...
Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа казни продолжает.
...*В неправый спор*
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.

Здесь слово «вольнодумец» явно поставлено для рифмы — безумец.

Куда бежит, *зажавши вежды?*
На чем он основал надежды?

Вторая песнь «Полтавы» по слогу несравненно выше первой; здесь меньше встретите вы слабых стихов и можете упрекнуть Пушкина только за картину казни Кочубея, картину довольно неприятную, хотя, впрочем, нарисованную не без искусства. Вот она:

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки,
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой помост.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремящий говор все слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот.
.....
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —

*И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.*

Мария, обезумевшая после казни отца, скрылась. Мазепа посылает за нею в погоню

*Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий крик погони,
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор во все копыты...
В груди китучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру посланные слуги
Один явились за другим...
Но ни один ему принесть
Не мог о бедной деве весть.*

Третья песнь «Полтавы» так неудовлетворительна, так слаба, так далека от совершенства, что нам и жалко, и совестно высчитывать все ее недостатки. Здесь события смешаны и, так сказать, нагромождены одно на другое, лица не обрисованы, не оттенены, не сгруппированы надлежащим образом, оттого они друг друга заслоняют, затемняют и, как китайские тени в волшебном фонаре, мгновенно являются, мгновенно исчезают; ни одно лицо не индивидуализировано, самый Петр, этот прототип героев, является на сцену не в том священном величии, которым приосенила его полтавская битва; что же сказать о Шереметеве, Брюсе, Боуре, Репнине и других? А из них, из этих героев, можно было составить целую галерею, богатую картинную галерею. Но посмотрите, как Пушкин рисует их, начиная с Петра:

*...Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь,
Почуя роковой огонь,
Дрожит, глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком.
.....
И он промчался пред полками,*

Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии теницы звезда Петрова
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Так ли следовало изобразить Петра пред полтавскою битвою, которою решался для России роковой вопрос: *Быть или не быть?* Вполне ли обрисованы — не говорю уже — нарисованы — сподвижники Петра? Нет! Пушкин уделил всего два стиха на изображение Шереметева, Брюса, Боура, Репнина, менее, чем на изображение Петрова коня: на его долю досталось пять стихов...

Пушкин, мастерски нарисовавший в «Руслане и Людмиле» поединок Рогдая с Русланом, не умел справиться с полтавскою битвою и решительно пал в ней.

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй,
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на гряду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.

Есть ли в этих стихах, в этом наборе слов, стоп и рифм что-нибудь похожее на описания битв у Гомера, Вергилия, Ариоста, Тасса, даже у самого Лукана и Стация?.. И есть еще люди, которые со всею уверенностью утверждают, что Пушкин — поэт не одной России, но всего человечества, что он несколько не хуже поэтов всех времен и всех народов!..⁴³

<VIII>

«БОРИС ГОДУНОВ» А. С. ПУШКИНА

Пушкин, часто пресмыкающийся по земле в своей «Полтаве», почти всегда носится по поднебесью в своем «Борисе Годунове». Подумаешь, что дух бессмертного Карамзина, под влиянием которого написан «Борис Годунов», навевал поэту нашему и высокие мысли, и гармонические стихи. Это не то,

что «Полтава», в которой на немногих только местах можно с удовольствием остановиться и подышать чистым эфиром поэзии. Мы не указали и не указываем на эти места, потому что они очень хорошо известны всем любителям изящного в словесности и почитателям Пушкина.

Может быть, иные упрекнут нас за излишнюю строгость или, правильнее сказать, за излишнюю откровенность, с которою мы разбирали «Полтаву»; мы без всякой уклончивости, по чистой совести разоблачили многие недостатки внутренней и внешней ее стороны, во-первых, для того, чтобы показать, что Пушкин еще не такое светило поэзии, в котором нет ни одного темного пятна; во-вторых, для того, чтобы отвратить молодое поколение стихотворцев от слепого подражания Пушкину, — для большей части подражателей доступна одна только слабая сторона художественных произведений, *græh imitatorum*^{*}, как называет их Гораций⁴⁴, не проникает в святилище истинных красот; в-третьих, для того, чтобы вразумить *некоторых*, что Пушкину не все роды поэзии были доступны. «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» ясно доказывают, что область его была одно грациозное; в «Полтаве», по крайней мере в третьей ее песни, он пытался вступить в сферу грандиозного и далеко не достиг своей цели; здесь разыграл он печальную роль Икара — на восковых крыльях нельзя подняться к солнцу.

Заметим мимоходом, что поэт наш, по собственному ли убеждению или по совету друзей, в «Полтаве» вышел из границ пюризма, которому прежде был всегда верен и оттого часто впадал в тривиальность. — Странное дело! — Пушкин не любил Батюшкова: он с каким-то презрением называл его «поэтом звуков». Пушкин думал, что музыкальность и вообще тщательная отделка стихов вредит их силе, энергии; это ошибочное, ложное мнение, которое в последние годы его жизни много повредило некоторым из его произведений, под влиянием этого неправильного мнения написал он «Анджело», пьесу слабую, тяжелую по слогу. Пушкин сам, наконец, кажется, заметил ошибочность своего мнения и как очистительную жертву положил на алтарь муз «Каменного гостя», произведение, к сожалению, недоконченное, но не менее того прелестное, очаровательное по своему изложению. Если бы Пушкин долее жил, он совершенно очистился бы от ложных мнений в теории поэзии; верный своему природному вкусу, он подарил бы нас гениальным творением, которое действительно поставило бы его наряду с великими поэтами всех веков и всех народов... Но будем благодарны ему и за то, что он оставил нам по себе; значительная часть его сочинений долго еще будут с наслаждением читаться любителями изящного в поэзии...

Manibus date lilia plenis:
Purpureos spargam flores!^{**45}

После этого длинного, впрочем необходимого, отступления, служащего дополнением к разбору «Полтавы», перейдем снова к «Борису Годунову». Пушкин, как мы уже заметили, одарен был необыкновенною способностью

* толпа подражателей (*лат.*). — *Ред.*

** О дайте полные руки лилий вы мне,
Я цветов разбросаю алых! (*лат.*). — *Пер. А. А. Фета. — Ред.*

принимать впечатления и воспроизводить их; появился предпоследний том «Истории государства Российского», превосходное предсмертное творение незабвенного Карамзина, поэт наш вдохновился им и подарил соотечественников «Борисом Годуновым». Это драматическое произведение составляет, так сказать, рельеф, арматуру на великолепном здании нашего историографа, поэтические комментарии на события одной из достопримечательнейших эпох в русских летописях. Пушкин, верный своим впечатлениям, так дорожил образом мыслей Карамзина, что, в сущности, не изменил ни одного из описанных им лиц, портретов, характеров. Он как будто избрал для себя правилом собственные стихи, влагаемые им в уста Пимена, поверяющего Григорию закончить свою летопись:

Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просвстил,
Тебе свой труд передаю. В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь.

Верны ли характеры Карамзина, вполне ли он постиг, разгадал два лица, истинно загадочные в нашей истории, — Бориса Годунова и Лжедмитрия, это другой вопрос, решение которого представляется будущему времени.

Драма Пушкина обнимает собою промежуток времени в нашей истории с 1598 года ф<евраля> 20 по 1606<-й> и разделяется на несколько сцен, ничем не связанных одна с другою — ни временем, ни местом, ни постепенностью и преемственностью событий, короче, не организованных и при всем том имеющих какое-то единство, обрамленное, если можно так выразиться, осьмью годами царствования Бориса Годунова. Это история в лицах его времени; здесь важны не события, но люди, двигавшие событиями, и на этих-то людей Пушкин преимущественно обращал внимание. Он не вполне рисовал лица, но только обрисовывал их; его портреты можно сравнить с превосходными очерками Флаксмана, перенесшего на картины всю Божественную Дантову поэму — Ад, Чистилище и Рай⁴⁶.

К чести нашего поэта должно сказать, что у него каждая сцена округлена, в каждой сцене, отдельно взятой, есть какое-то единство и особенный интерес. Рисуя характеры лиц, он не каждую черту их анализирует, он не опускается, так сказать, в бездонную глубь их сердца, не теряется в его изгибах, но с легкою деятельностью следит за его движениями и выставляет напоказ только те из них, в которых более игры поэзии. Так и должно быть: взволновать страсти, произвести из них для известной цели неукротимую бурю — дело красноречия. Кроткая, миролюбивая поэзия придает им только легкое движение, приводит их в игру. В каждой сцене видна удивительная экономия, нигде, кажется, нет лишнего стиха, лишнего слова; все в своих пределах, все в обмер, в образ; все предусмотрено, расчислено.

Действие начинается в ту самую минуту, как Патриарх и народ отправляются в монастырь с предложением Борису короны. В первой сцене князь Шуйский, собивший, как говорится, себе венец Мономаха, разговаривая с Воротынским, хитро, искусно умел навести последнего на мысль, что царем быть бы не Годунову, а кому-нибудь из князей от Рюриковой крови.

Воротынский

Слушай, верно,
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно, кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол

Шуйский

Перешагнет. Борис не так-то робок!
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...

Воротынский

Так, родом он незнатен, мы знатнее.

Шуйский

Да, кажется.

.....

Воротынский

Ведь в самом деле!

Шуйский

Что ж?

Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать...

В этих немногих словах виден Шуйский с своими высокомерными замыслами и еще более видна причина нелюбви бояр к Годунову.

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты...
Возьмет венец и бармы Мономаха!

Вот что свело Годунова с престола в гроб! и больше это, чем кровь Дмитрия, им или не им пролитая, — *им или не им*, мы говорим, потому что это вопрос еще не решенный...

Во второй сцене один из народа, возвратившийся из монастыря на Красную площадь, говорит, что Годунов отказывается от престола, другой в порыве сердца чисто русского с горестью восклицает:

О Боже мой, кто будет нами править?

Это «кто будет нами править» удивительно верно характеризует русский народ. Этим начинается наша история, этим, вероятно, она и кончится. Покоренные норманнами, освободившиеся от норманнов, мы зовем к себе княжить норманнов. «Земля наша велика и обильна, а уряду в ней нет; при-

дите владети нами», с такою *инструкцией* предки наши отправлялись за море искать себе правителей⁴⁷.

Характер Годунова в третьей сцене обрисован немногими чертами, но с необыкновенною верностью и искусством; вот что говорит этот в своем роде Монтальто⁴⁸:

Ты, отче Патриарх, вы все, бояре,
Обнажена душа моя пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!

Жаль, однако же, что Пушкин не внес, если только мог, незабвенных слов Годунова, произнесенных им при венчании своем на царство: «Бог мне свидетель, что в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного... Отдам и эту (рубашку) последнюю народу!»⁴⁹

Прелестная сцена Пимена с Григорием (Гришкою Отрепьевым) вся вообще, и в особенности хорошо ее окончание: оно сильно потрясает вас, — прочитав ее, вы невольно задумаетесь глубокою думою. Вот оно:

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца;
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет,
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

Пушкин, по подражанию ли Шекспиру, для разнообразия ли, или, что правдоподобнее, для того, чтобы полнее представить жизнь эпохи, современной событиям, которые он описывает, вводит в драму свою сцены в роде гротеско⁵⁰, и эти сцены очень милы своей наивностию; таковы сцены в патриарших палатах и в корчме на литовской границе. Для большей свободы и естественности в выражении, они написаны прозою легкою, живою, игривою, короче, пушкинскою. Мы сказали, пушкинскою, потому что пушкинская проза так же хороша в своем роде, как и пушкинские стихи. — Есть люди, которым она не нравится. Все зависит от точки зрения, с которой мы смотрим на предметы.

Завязка пьесы приготовлена; события быстро сменяются одно другим; Самозванец вступает в пределы России; кровавая трагедия начинает разыгрываться. Тень Димитрия прельщает народ и всюду преследует хищника престола; везде предательства, везде измены; Борис изнемогает под тягостию несчастий, обрушившихся над его головою; застигнутый внезапным предсмертным недугом, он, вверяя сыну престол, дает ему наставления истинно мудрые, истинно царские; в них излита вся душа его. Жаль только, что они по многозначности своей неестественны в устах умирающего скоропостижно.

Пределы журнальной статьи не позволяют нам распространяться в исчислении всех красот «Бориса Годунова»: мы многое пропускаем; но не можем, не должны пропустить последней сцены, в которой так много поэтиче-

ского, что вы, прочитавши ее, невольно прослезитесь над несчастьем невинных детей Годунова, достойных лучшей доли, и над безумием легкомысленного, неблагоприятного народа.

Борис умер, семейство его под стражею.

Феодор у окна.

Нищий

Дайте милостыню, Христа ради!

Стража

Поди прочь, не велено говорить с заключенными.

Феодор

Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.

Один из народа

Брат да сестра! Бедные дети, что пташки в клетке.

Другой

Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

Первый

Отец был злодей, а дети невинны.

Другой

Яблоко от яблони недалеко падает.

Ксения

Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Мария, супруга Бориса, и сын его Феодор удушены боярами. Мосальский выходит на крыльцо и говорит народу:

«Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. *(Народ в ужасе молчит)*. Что ж вы молчите? Кричите: Да здравствует царь Димитрий Иоаннович!

(Народ безмолвствует)».

Этим оканчивается драма. Как много заключается в этом «народ безмолвствует»! Вы нехотя задумываетесь при этом «народ безмолвствует» и как будто присутствуете при поражении Аполлоновыми стрелами Ниобы⁵¹ и при превращении ее в камень в минуту гибели невинных ее детей.

В этом «народ безмолвствует» таится глубокая политическая и нравственная мысль: при всяком великом общественном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев-аристократов; он сам по себе ни добр, ни зол, или, лучше сказать, он и добр, и зол, смотря по тому, как заправляют им высшие; нравственность его может быть и самую чистую, и самую испорченную — все зависит от примера: он слепо доверяется тем, которые выше его и в умственном, и в политическом отношении; но, увидевши, что дове-

ренность его употребляют во зло, он *безмолвствует* от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознательно содействовал; *безмолвствует*, потому что голос его заглушается внутренним голосом проснувшейся, громко заговорившей совести. В высшем сословии совсем другое дело: там совесть подчинена и раболепно покорствуется расчетам честолюбия или какой другой страсти; народ живет по преимуществу *сердцем*, а знать — *головой*. Народ, естественно, ближе к природе, знать совершенно поглощается обществом, которое всегда более или менее находится во враждебном отношении к природе; одно только высокое образование, основанное на правилах чистой нравственности и религии, может их сблизить друг с другом. В обществе часто добродетель не более как один лак: он издает свет только днем.

<IX>

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПУШКИНА

Кроме «Бориса Годунова», Пушкин оставил в драматическом роде четыре произведения: «Сцену из Фауста», «Пир во время чумы», «Моцарта и Сальери» и «Скупого рыцаря»⁵². «Сцена из Фауста» написана под влиянием Гётева «Фауста», «Скупой рыцарь» переведен или переделан из Ченстоновой трагикомедии «The covetous Knight»⁵³; «Пир во время чумы» также, кажется, не самобытное творение, только «Моцарт и Сальери», если не ошибаемся, принадлежит по созданию Пушкину. Все они имеют достоинство, но достоинство более относительное, нежели абсолютное, независимое, вот почему мы не подвергаем их рецензии и переходим к лирическим стихотворениям Пушкина.

Лирическая поэзия есть, так сказать, фимиам, возжигаемый или божеству, или богоподобным людям, или обоготворенным страстям; иногда она превращается в уроки мудрости, облакаемые в изящные формы слова. Отсюда гимн, торжественная ода, песнь со всеми ее отраслями и, наконец, ода философская или дидактическая.

Многие полагают, что лирика древнее прочих родов поэзии, мы с этим совершенно согласны: она есть изливание восторженной души, выразившей уже чувство благоговения в первом детстве рода человеческого, когда еще не было общественного быта; между тем как эпопея и драма возникают только в обществах устоявшихся, у народов созревших, перешедших все степени политической жизни, короче, у народов исторических в полном значении этого слова.

Который из трех родов поэзии выше, это вопрос нерешенный; греки предпочитали драму, италианцы — эпопею, Иудея — лирику. Нам кажется, однако, что последние правее: лирика есть поэзия чистая, беспримесная, разумеется, если она не пресмыкается по земле, не погрязает в чувственности, но парит к небу и, прислушиваясь к звукам горних лир, передает их земле. Такова поэзия избранного Богом народа. Прошли века вослед векам, и еще пройдут мириады веков, а песни боговдохновенных мужей все еще будут улаживать слух, утешать сердца людей, вздыхающих в юдоли скорбей и радостях первобытного своего отечества — неба.

Пушкин — не поэт всего человечества, как вздумалось сказать об нем одному из его записных панегиристов⁵⁴, а поэт русский и по преимуществу поэт так называемого большого света или, что все равно, поэт будуарный, не возносился или очень редко возносился к небу и не оставил ничего такого, что подходило бы к гимнам, если мы не отнесем к этому роду его подражаний Корану. Кстати об них. Когда они вышли в свет, это было в 1826 году, один остряк сказал: «По всему видно, что А<лександр> С<ергеевич> пустился в набожность и в нынешнем году особенно отличился ею». Но шутки в сторону. Подражания Корану Пушкина в эстетическом отношении запечатлены истинным поэтическим талантом. Вот одно из них:

О жены чистые пророка,
 От всех вы жен отличены:
 Страшна для вас и тень порока!
 Под сладкой сенью тишины
 Живите скромно: вам пристало
 Безбрачной девы покрывало.
 Храните верные сердца
 Для нег законных и стыдливых,
 Да взор лукавый нечестивых
 Не узрит вашего лица.
 А вы, о гости Магомета,
 Стекаясь к трапезе его,
 Бегитесь суетами света
 Смутить пророка моего.
 В пареньи дум благочестивых,
 Не любит он велеречивых
 И слов нескромных и пустых:
 Почтите пир его смиреньем
 И целомудренным склоненьем
 Его невольниц молодых.

Пушкин приложил к этой пьесе следующее примечание: «Мой пророк, прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромнен; но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих словах⁵⁵. А мы скажем: ревность араба так и дышит в приведенных стихах Пушкина.

Ко второму роду лирических стихотворений относится героическая ода. В этом роде Пушкин ничего не написал. Он славил красавиц, славил друзей, даже и врагов (в эпиграммах), но до людей *богоподобных*, до героев, ему не было дела. Правда, у него есть пьесы: «Наполеон», «Пир Петра Первого», «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России»; но первая пьеса слаба, недостойна воспеваемого героя, во второй ярко выказывается только одна черта великого из великих. «Бородинская годовщина» и особенно «Клеветникам России» не без достоинств, не без красот, но это произведения более ораторские, нежели поэтические... И у нас на Руси есть человек, который знает Русь и которого Русь знает, и этот человек торжественно провозгласил, что Пушкин, как лирик, один только равняется с Державиным!..⁵⁶ Вот наши судьбы в литературе! Заслуги Пушкина в отечественной

поэзии велики, если хотите, так же велики, как заслуги Державина, но только в другом роде — в поэзии повествовательной и частью драматической. Впрочем, мы были бы несправедливы к Пушкину, если бы не упомянули и не отозвались с *достодолжным* уважением об его стихотворениях, принадлежащих к так называемой легкой поэзии; многие из них прелестны, восхитительны, очаровательны, таковы: «Фонтану Бахчисарайского дворца», «К морю», «Талисман», «Кавказ», «Поэту», «Телега жизни», «К***», «Ответ Ф. Т***», «Мадона», «Предчувствие», «Монастырь на Казбеке», «Зимнее утро» и некоторые из безыменных. Сюда же должно отнести большую часть антологических его стихотворений; это настоящие маленькие картинки, *quadretti* Сальватора Розы: в них все дышит негою и упоением; какое удовольствие разольется по сердцу вашему, когда вы прочтете, например, «Нереиду»:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть.
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.⁵⁷

А вот в другом роде антологическое стихотворение:

Поэт

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж сынов ничтожных мира⁵⁸,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Здесь каждый стих проникнут чувством и истиной. Пушкин хорошо понимал, что такое призвание поэта; но, по необходимости или из доброй воли покоряясь светским отношениям, не всегда следовал ему. Это последнее обстоятельство, может быть, повредило некоторым из его стихотворе-

ний; поэт должен быть выше отношений света, условий современности и житейских потребностей, если эти потребности не вопиющий глас нужды, а прихоть, которой нельзя насытить ни всем золотом Сибири. Пушкин и это хорошо понимал. «Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, — сказал он мне однажды в откровенном со мною разговоре, — когда вспоминаю, что я, и, может быть, первый из русских, я начал *торговать* поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой „Бахчисарайский фонтан“ и „Евгения Онегина“, но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть и всю нашу литературу? Уж конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для совести подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности; а я!» Тут он тяжело вздохнул и замолчал⁵⁹. Пушкин преудал следствия литературного барышничества; поэтов и прозаиков стали ценить по сбыту их *невещественного* капитала, некоторые журналисты и особенно содержатели журналов начали превращать невещественный капитал в *вещественный*; публика перестала доверять добросовестности, по крайней мере бескорыстия писателей; посредниками между нею и ими по безмолвному согласию приняли некоторые журнальные арендаторы, читатели несколько времени имели доверенность к этим арендаторам; и, естественно, — сначала в арендаторские журналы завербовались писатели, пользовавшиеся доброю славою. Но с тех пор, как последние, обманувшись в своих надеждах и видах, корыстных или бескорыстных, перестали печататься в журналах, публика разочаровалась, на писателей виноватых и не виноватых, т. е. причастных и не причастных корысти, пал позор, и литература наша, если прежде небогатая, не роскошная, по крайней мере невинная, непродажная, стала клониться к упадку. Горько, но справедливо!.. Недаром Пушкин говорил, что он чувствовал угрызение совести при мысли, что начал продавать свое вдохновение; он прелестно выразил это тревожное состояние своей души в «Разговоре книгопродавца с поэтом». На вопрос книгопродавца:

О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

Он от лица поэта отвечает:

Я был далеко,
Я время то вспоминал,
Когда, надсждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы...

Книгопродавец, выслушавши мечты поэта о свободе, мечты о славе, облеченные в сладкозвучные стихи, хладнокровно отвечает:

Прекрасно! Вот же вам совет,
Внемлите истине полезной:
Наш век торгов; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? Яркая заплата

На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато без конца. <...>
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.⁶⁰

Поэт, соблазненный корыстию, перестает быть поэтом и отвечает книгопродавцу прозою:

«Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». При чтении этих строк невольно вспоминаешь стихи В. А. Жуковского из «Двенадцати спящих дев»:

Стал думу думать Громобой,
Подумал, согласился
И обольстителю душой
За злато поклонился.

Имела ли меркантильность вредное влияние на произведения самого Пушкина? На этот вопрос мы не станем отвечать ни утвердительно, ни отрицательно, а укажем читателям нашим на «Песни западных славян», напечатанные первоначально в «Б<иблитеке> для ч<тения>». Отчего в них мало поэзии? Оттого что... оттого что... Ну, да просто скажем, оттого что они напечатаны.

Может быть, иным из читателей «Галатеи» отзыв наш о лирических произведениях Пушкина покажется несколько резким, что ж делать? Рецензент «Галатеи» никаким отношениям не жертвует истиною, а истина всегда немного шероховата. Мы еще не все высказали: нам хотелось бы совершенно разоблачить Пушкина как поэта, т. е. со всею откровенностию выставить напоказ красоты и недостатки его произведений как в целом, так и в частности, и думаем, что это было бы бесполезно для нашей словесности; но... кажется, еще рано произносить решительный, окончательный суд над ним. Впечатление, произведенное на публику некоторыми из его творений, действительно превосходных, так было сильно, что она не видит, не хочет видеть слабости в его незрелых, неотчетливых, короче, нехудожественных произведениях и ставит их наравне с образцовыми его созданиями. На днях я был в маленьком обществе, состоявшем, кроме меня, из четырех особ, может быть самых образованных во всей Москве, — я понимаю здесь образование эстетическо-нравственное, художественное. В разговоре как-то коснулись «Полтавы» Пушкина; один из собеседников, которого не назову по имени, молодой человек, поборник р<усской> словесности с огромным запасом сведений, со вкусом очищенным, с любовью ко всему прекрасному, — защищал, и защищал с жаром, «Полтаву»; я возражал; он, оставив в стороне доводы, начал читать некоторые отрывки из нее и читал их так хорошо, так увлекательно, что, признаюсь, я поколебался было в своем мнении насчет «Полтавы» Пушкина. Возвратившись домой, я снова перечитал ее с возможною отчетливостию и снова уверился в ее несовершенстве. Отчего же молодой образованный человек, мой собеседник, был от нее в восторге? Оттого, думаю, что в первый раз читал ее под влиянием, произведен-

ным на него чтением прежних, действительно образцовых, сочинений Пушкина. Пушкин едва только вступил на литературное поприще и уже составил себе такую огромную славу, которой не могли уменьшить и затмить последующие его произведения, даже самые слабые. Беседа с четырьмя эстетически образованными особами, о которых говорил я, была для меня очень назидательна; она вразумила меня, что подвергать строгой критике современные знаменитости дело опасное не для искусства, а для рецензента. Вперед буду осторожнее. А сколько было у меня заветных мыслей...

Не могу, однако же, не заметить, что сияние славы Пушкина поглотило славу других русских поэтов, не ровных, конечно, с ним, но не менее того достойных глубокого уважения по своим талантам. Публика, жаркая поборница Пушкина, слишком холодна к другим современным нашим поэтам; она как будто и не замечает их, этих поэтов, произведения которых могли бы сделать честь любой европейской литературе. Может быть, даровитые современные наши поэты сами виноваты: они слишком скромны, от этого у них часто и почти всегда перебивают дорогу люди бездарные, но сметливые, смелые, отважные, дерзкие, бесстыдные; они составили маленькие кружки и, по пословице «рука руку моет, обе белы бывают», извилистыми дорогами идут к предположенной цели и достигают ее, тем более что есть журналисты, которые для собственных видов поддерживают их, — и бедная литература наша год от году, день ото дня клонится к падению, которое ускоряется и другими причинами: вы принимаетесь за перо, вдруг приходит к вам черная мысль: кто будет читать меня?.. Между тем как вас берет это раздумье, восторг ваш хладеет, и вы кладете перо надолго, может быть, на вечный покой.

ОТЗЫВ ИНОСТРАНЦА О ПУШКИНЕ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

Том I—III. СПб., 1838.

Werke von Alexander Puschkin. Band I—III. St. P. 1838

(Статья К. А. ВАРНГАГЕНА ФОН-ЭНЗЕ)

Примечание. Редактор «Отечественных» записок», получив эту статью при следующем письме, усердно благодарит г. переводчика за прекрасный труд его и не может не разделять вполне благородного его негодования к тому, что так вредит отечественной литературе и может подавать о ней самые невыгодные для нас мнения иностранцам¹.

«М<илостивый г<осударь> А<ндрей> А<лександрович>! Главная, существенная обязанность журнала — раскрывать перед публикою отечественные сокровищницы и быть проводником новых современных интересов, знакомить ее с явлениями родной жизни и с жизнью других образованных народов. Ваш журнал, как я твердо убежден, благородно признаёт эту обязанность и прекрасно выполняет ее. С этим убеждением, я совершенно уверен, что ваш журнал не задумается дать приложенной при этой записке статье место в себе или,

по крайней мере, при себе. Помещение этой статьи будет вдвойне соответствовать цели журнала: во-1-х, она указывает истинную точку зрения на нашего великого поэта, и, во-2-х, через нее вы можете познакомить нашу публику с современным состоянием критики в Германии. Янисколько не сомневаюсь, что вы будете со мной согласны в достоинстве статьи Варнгагена о Пушкине, статьи, которая в тесных пределах краткого библиографического отчета заключает превосходную оценку созданий дивно разнообразных, требующих глубокого изучения, и соединяет со строгою основательностью, с светлым, современным понятием об искусстве — энергическое, полное жизни изложение. Но я опасаясь, не задумаетесь ли вы при слове *познакомить*, не скажете ли вы, что публика давно уже знакома с этою статьею, что один из русских журналов уже оттиснул ее на своих листках и даже успел произнести свое суждение о ней². Не знаю, основательно ли мое опасение, но я, по крайней мере, твердо уверен, что искренне, положив руку на сердце, вы не скажете, что публика сколько-нибудь знакома с этою статьею; и если хоть на минуту задумаетесь исполнить мою просьбу, то разве потому, что какой-то жалкий, неверный перевод самовольно назвал себя статьею Варнгагена о Пушкине и пустился уже вместе с журналом, принявшим его в свои объятия, бродить по миру и вводить в заблуждение честных людей. В самом деле, этой статье суждена была странная и жалкая участь у нас на Руси: ни для кого не могла она иметь такого интереса, как для нас, и между тем прежде, нежели наша публика познакомилась с нею, как уже явилась какая-то странная фигура и незаконно овладела ее правами... Как? Неужли эти права никогда не будут возвращены их законному владельцу?.. Нет, нет, — позвольте мне надеяться, — вы не станете долго раздумывать — вы непременно будете содействовать к уличению статьи, произвольно назвавшей себя статьею Варнгагена и к восстановлению прав истинной, столь важной во многих отношениях для нас, русских. Вспомните, что здесь дело идет о Пушкине, о нашей родной славе, о нашей народной гордости. Что, если до Варнгагена дойдут слухи о том, как приветствовали у нас его статью? что, если он услышит, что в одном русском журнале, напечатавшем *перевод* его статьи, произнесен также и отзыв об ней, отзыв, в котором она признана не заслуживающею никакого внимания, пустою и не умевшею прикрыть своей пустоты даже особенною манерою выражаться, свойственною будто бы немцам, и т. д.? Ведь он профан в наших журнальных делах, ведь он, пожалуй, подумает, что журнал, принявший так радушно его, пользуется большим весом и служит органом общего мнения, — и тогда какой повод к укоризнам на нашу литературу. — Простите, А<ндрей> А<лександрович>, что я так долго утомляю ваше внимание: вы уже, вероятно, давно согласились со мною, и мне бы вовсе не следовало толковать вам так долго о том, что вы, без сомнения, знаете еще лучше меня. Засим честь имею и пр. и пр.

М. Катков

От переводчика

Наш великий поэт нашел наконец себе отзыв в сердце Германии — в Пруссии. Чье сердце не забьется сладким восторгом и мужественною гордостью, кто истинно русский не заплачет от умиления при следующих стро-

ках известного германского биографа и критика? По крайней мере, в нашей жизни было мало таких вдохновенных чувствований, как при этом благородном, при этом германском отзыве на голос нашего Пушкина, нашего великого Пушкина, в котором жило и которым проявилось все лучшее нашей жизни... Все минуты высокого наслаждения, дарованные Пушкиным и рассеянные в жизни пишущего эти строки, собрались и сосредоточились в эту светлую, в эту несравненную минуту... Еще под ее наитием, еще когда сердце не остыло от сладкого чувства, рука чертит мертвые буквы... Пушкин! мы так мало оценили тебя, так мало сделали для твоей славы!

Вспомним, чем приветствовали поэта при его жизни наши аристархи³. С жалкою важностью разбирали они его создания или с приторною улыбкою оскорбительной снисходительности похваливали их, приговаривая, что Пушкин поэт, хороший поэт. Горько было среди них питомцу богов; один исход оставался ему — затвориться в самом себе и отказаться от сладкой надежды на отзыв тех, для кого он жил и действовал. И он затворился в себе, он отказался от этой надежды. Помните ли, что говорит он в своем чудном сонете к поэту⁴? Иногда, и то очень редко, прорывался голос истинного чувства, но голос одного чувства, чувства не облеченного в броню мысли, слаб; он не в силах выговаривать членораздельных звуков; он служил только признаком, что грудь переполнена наслаждением, и не мог произвести оценки тому, что переполняло эту грудь. Слово чувства — междометие.

Теперь нет Пушкина! Кто не видел Пушкина, не увидит его! Но в душах избранных хранится, как святыня, созерцание духовного лика поэта. К этим-то избранным душам обращаем мы речь свою и оставляем в покое тех, которые еще коснеют в наивной уверенности, что Пушкин был не больше, как поэт ограниченной эпохи, долженствующий исчезнуть вместе с нею. В их созерцании не живет духовный образ Пушкина, а в ком не живет этот образ, с теми у нас нет ничего общего, с теми мы не будем тратить слов по-пустому.

Смешно бы, может быть, показалось многим, если бы мы сказали, что Пушкин — поэт всемирный, стоящий наряду с теми немногими, на которых с благоговением взирает целое человечество. Им было бы смешно, — а отчего было бы им смешно? Что, если мы скажем им, что сейчас сказали, от лица иностранца, чуждого всякого пристрастия, иностранца, который судит о России и об ее явлениях не как член народа, а как член целого человечества, — что скажут они тогда? — Не окажется ли тогда, что своею насмешкою они смеялись над самими собою?

Мы твердо убеждены и ясно сознаём, что Пушкин поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира; не лазаретный поэт, как думают многие, не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии. Он не убоился низойти в самые сокровенные тайники русской души... Глубока душа русская! Нужна гигантская мощь, чтобы исследить ее: Пушкин исследил ее и победоносно вышел из нее и извлек с собою на свет все затаенное, все темное, крившееся в ней... Как народ России не ниже ни одного народа в мире, так и Пушкин не ниже ни одного поэта в мире⁵.

Статья, которую вы будете читать теперь, напечатана в берлинском журнале «*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*», в журнале, основанном Гегелем, тем величайшим философом, который объял и повершил стремления

разума. Этот журнал издается теперь достойными учениками бессмертного учителя — и в этом журнале выговорено иностранцем полное, торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная оценка нашего Пушкина. В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии вся Европа и целое человечество. Слышите ли? — Нас уже не называют учениками и подражателями... Слышите ли? — К нам взывают наши учителя как равные к равным. Они радушно указуют нам на свои сокровища, а нам даже не нужно поднимать руки, чтоб указать на свои: они сами лучше нашего видят — где и в чем они. Стыдно! Нас опередили в оценке нашего Пушкина! Но дай Бог, чтобы это было в последний раз, дай Бог, чтоб мы почувствовали наконец в себе силы к самобытной и самосознательной умственной деятельности. Этой сладкой надеждой мы заключаем наше краткое введение в статью Варнгагена фон-Энзе, статью, в которой мы слышим как бы из другого мира звучащий в привет России и ее великому поэту — голос самого Гегеля.

М. Катков

Еще недавно ранняя смерть русского поэта Пушкина возбудила всеобщее горестное участие, которое даже и там, где Пушкин не был непосредственно знаком как художник, даже и там не замедлило обнаружиться всеобщим участием. — Что он был поэт — это было принято тогда на слово, на веру; однако ж вдохновение, с каким превозносили его соотечественники, единодушное признание, которое талант его нашел у них, и глубокое чувство, с каким его поэзия принята всеми классами народа, служат несомненным ручательством за его художническое достоинство. Кто бы из нас, немцев (их преимущественно должны мы иметь здесь в виду), мог судить об этом явлении, об этом чуде, явившемся в той стране северного неба, которая закрыта от нашего зора, стране, к которой едва ли даже мог обращать этот взор? Мы, которые славимся ревностию, смыслом, силою в изучении всех народов и языков самых древних, самых темных, самых отдельных, — мы, которые не обходим ни одного предмета, доступного для духовного постижения и обрабатывания, мы так мало до сих пор сделали для того, чтобы духовно сблизиться с славянами, во всех отношениях так высоко важными, с племенем, рядом с нами живущим, переплетшимся с ветвями нашего племени. Старания Шлэцера ввести нас в источники русской истории давно прерваны и остаются доселе прерванными. Хотя мы не перестаем посылать в русскую империю силы деятельности и образования, силы благодатно и славно действующие там, но у себя, дома, мы посвящали очень малое внимание русскому языку и литературе и почти не посвящали ни малейшего труда. Это тем поразительнее, что именно в новейшее время, когда обоими племенами в братском союзе свершены были битвы для освобождения, для общей победы⁶, они тесно сблизились, а могущество и влияние России получают для нас все большее и большее значение.

Здесь не место развивать причины, по которой мы, при столь великих исторических соприкосновениях, при столь тесной географической связи, почти совершенно отвращаемся от наших восточных соседей и обращаем, по достижении мира, нашу склонность и наше стремление снова к Западу, насылавшему на нас столь долгое время только бедствия и смуты, откуда и

теперь каждое мгновение может грозить нам опасный враг. Мы довольствуемся одним только намеком на факты и соглашаемся, что склонности и направления народов не могли бы являться в такой силе и в таком могуществе, если бы не имели своего собственного, в обстоятельствах для скрытого оправдания; но со всем тем мы не должны придавать слишком много цены этим обстоятельствам, чтобы для преходящих требований дня не пренебречь условиями постоянными и прочными. Спокойный наблюдатель будет всегда с сожалением видеть, что отношения, проявляющие собою великие указания природы и истории, пренебрегаются теми, которые по своему призванию и судьбе должны постоянно в них участвовать.

Это последнее кажется нам несомненным в отношении к немцам. Россия непрерывно развивается, и, как ни исполински представляется даже и теперь это развитие, будущий вид его не может быть измерен во всем объеме ни даже самым отважным оком. Мы убеждены, что это развитие захватит собою большую часть нашей немецкой жизни и условит ее, что оба народа вступят еще в теснейшее сродство, живее будут действовать взаимно друг на друга. Какой бы вид ни приняло то, что мы свершим, проживем и возделаем вместе, — всегда будет существовать потребность ближе узнать и лучше понять друг друга. То, что русские, с своей стороны, сделали для этого сближения, значительно, плодотворно и во всяком отношении заслуживает благодарности. Мы же, со своей стороны, мы далеко отстали от них в этом направлении. Да, еще у нас распространен предрассудок, что русский язык не образован и груб, что русская литература едва начинается и большею частью ограничивается подражанием чужим образцам, что мало окупятся труды, потребные для ее изучения.

Но с той самой борьбы, которую мы вместе выдержали, которая пробудила в России всю народную ее силу и вызвала ее на участие — сначала в опасности, потом в победе и славе, из великого, общего, сосредоточившегося чувства после столь мужественных подвигов возникло также и духовное стремление к образованию. Русские научились ценить себя как нацию, и вместо того, чтобы, как прежде, отречься от своей народности, они свободно признали и возвеличили ее и, опершись на нее, поднялись так высоко, что превзошли все ожидания и блестящим образом доказали, что как в народах, так и в отдельных людях доблесть, ярко сверкнувшая в одну сторону, может легко склониться и к другим направлениям и развиваться по ним с равным успехом. Но мы мало знали об этом духовном полете или даже не верили ему. Отдельные имена дошли до нас, но мы нисколько не думали о ближайшем ознакомлении, и тем охотнее не думали, что слышали, как много на русскую почву перенесено нашего, того, что у нас в избытке и дома, что мы можем очень хорошо знать и без посредства незнакомого языка. Знаменитые переводы Жуковского из Шиллера, Гёте, Уланда были для нас не слишком важны, точно так же как мы не предполагали большой цены в его собственных произведениях. И когда нас поразило известие, что Гётева «Елена» тотчас нашла себе умного объяснителя в Шевыреве⁷, то мы порадовались только чести, которая была этим сделана нам, немцам, и нисколько не позаботились о том, чтобы посмотреть, в чем дело. Конечно, были переводы русских оригинальных произведений (впрочем, редко лучших и достойнейших), однако ж эти опыты не достигали своей цели и большею частью оставались безызвестными.

При таких обстоятельствах явилась в прошлом году изданная Генрихом Кёнигом книга «Litterarische Bilder aus Russland» («Очерки русской литературы»), и в первый раз представилось нашим взорам богатство новейшей русской литературы. Эта сообразная с потребностями времени книга, почерпнутая из многих источников, особенно же из достоверных сведений, доставленных благородным Мельгуновым, содержит в себе обзор доселе незнакомых нам писателей и сочинений, которых количество и разнообразие поразили нас*⁸. — Пробудился шум, пробудилось общее участие, но потребность ближайшего знакомства не была, разумеется, удовлетворена через это в равной мере. Мы нашли в ней много имен, живые, свежие известия, пояснительные намеки, но она не могла познакомиться нас с самыми литературными произведениями. Самый язык составляет трудно одолимое препятствие. Переводы, из которых есть много отличных (назовем переводы г-жи Павловой, урожденной Яниш**, Карла фон-дер-Борга, П. фон-Гетце и Роберта Липперта⁹), не могли произвести такой пользы, как переводы с других языков, сколько-нибудь знакомых публике.

Главная задача состоит, следовательно, в изучении русского языка, и, как ни велика трудность этого предприятия, может быть, ни один язык не вознаградит богаче за труды изучения. Мы должны здесь отбросить много предрассудков. Русский язык, самый богатый и самый могучий из всех славянских наречий, может состязаться с самыми образованными языками нынешней Европы. Богатством слов превосходит он языки романские, богатством форм — языки тевтонские, и как в том, так и в другом отношении способен к дальнейшему развитию, которому границы невозможно означить теперь. Наш нынешний немецкий язык оторван от своих первоначальных сокровищниц, которые имеют свое отдельное значение, почти без всякого приложения к вытекшему из них языку; новый же русский язык, напротив, находится в свежей, в жизненной связи с древним славянским языком и может черпать как из него, так и из многих родственных, своеобразно развившихся наречий, и все почерпнутое может претворять в свою собственность. В благозвучии, силе и нежности русский язык не уступит ни одному северному языку и может даже состязаться с южными. Он соединяет обилие согласных, которыми давимся мы, произнося наши немецкие слова, с полнотою гласных, в которых расплывается язык итальянский. Вследствие этого в нем каждый звук сохраняет всю полноту свою, всю

* Об этой книге читатели, не знакомые с нею, могут получить понятие из статей «Современника» и из брошюры, приложенной к 4-й книжке «Отчественных» записок», под названием «История одной книги».

** Ни в Германии, ни в России не оценены еще превосходные переводы г-жи Павловой. Ее книга «Nordlicht», содержащая различные отрывки из многих русских поэтов, преимущественно из Пушкина, неизвестно, по каким неблагоприятным обстоятельствам, не имела большого хода. Переводы ее можно назвать образцами переводов: художественная отделка соединяется в них с изумительною верною и близостью; в них большею частью сохранены все оттенки, весь колорит подлинников. Талант г-жи Павловой имел силу передать все благозвучие, весь гармонический блеск сверкающего стиха Пушкина, ни один образ его не измят, ни один оттенок его красок не потерял своей первоначальной свежести и чистоты. Благодарность поэтической душе благородной переводчицы! Заметим, однако ж, при случае один недостаток ее книги — это не совсем удачный выбор поэтов, которых пьесы она так художественски передала. — *От переводчица*.

индивидуальность своего выражения, — и он способен на все под рукою мастера. Его просодические и метрические начала имеют в основании и направлении много общего с немецкими; предлагая самые полнорифмные рифмы, русский язык подчиняется самой строгой, самой отчетливой просодии. Припомним, что русский вместе с немецким суть единственные языки, на которые «Илиада» переведена гекзаметрами¹⁰, и что немецкий переводчик Данта должен позавидовать прекрасным терцинам, которыми Шевырев в своей ученой статье о Данте перевел надпись над воротами ада¹¹. Мелодию и прелесть стихов Жуковского слышит даже чуждое ухо, в которое вливаются только одни звуки.

Если в таком языке проснется поэзия, то надобно ожидать великих явлений. Хотя без поэзии не живет ни один народ, хотя ни один язык ни в какое время не существует без нее, однако ж здесь не должно упускать из виду важного различия. И до Агамемнона¹² были герои, но они все-таки были ниже его славою, если б даже их имена, их подвиги сохранились в потомстве. Русские давно еще могли хвалиться своим Ломоносовым, своим Державиным и многими; но русская поэзия еще не пробилась в произведениях всех этих поэтов. Мы можем видеть на себе, как долго может замедляться развитие этого цветка, при роскошном процветании других сторон народной жизни: наша поэзия их вчерашнего дня; до Гёте и Шиллера немцы не имели поэта — выразителя их совокупного образования во всей его целостности. Мы делаем особенное ударение на слове «совокупное образование», ибо это совокупное образование есть факт, обретаемый поэтом и завершаемый его произведениями. Естественная поэзия (Naturpoësie) народа соединяется в этих произведениях с художественно усвоенным содержанием всеобщего, всемирного прогресса, на которое каждая нация имеет свое право, которого часть развивает она свою жизнь и которое сопроникается в поэте с ее народностью.

Такая поэзия в новейшее время пробилась на свет у русских, и ее чистейшее, могущественнейшее выражение есть Пушкин. Из многочисленных, разнообразных рядов предшественников и последователей, группирующихся вокруг него, возвышается его величая глава; все они объемлются им, все они находятся в нем. В самом деле, он есть выражение всей полноты русской жизни, и потому он национален в высшем смысле этого слова. Если под народным* разуметь то, что передается из века в век в первоначальной непосредственности, без всякого развития, то на высшей ступени образования оно не может быть названо национальным, потому что благороднейшая часть народа, в которой уже пробудился дух и открылись духовные очи, не может им удовлетворяться. Только удержав эту мысль, мы можем определить значение Пушкина и справедливо судить о его произведениях. Русские сами, по скромности или осторожности**, нередко называ-

* Надобно отличать народное от национального. Народным должно называть все то, что вытекает из естественного состояния народа, состояния, в котором дух безразлично слит с природою; национальное же все то, что напечатлено самосознающим, развивающимся духом какого-либо народа, как органической части целого человечества, как *нации*. Мы говорим «народные русские песни», мы скажем «поэт национальный». Между этими двумя словами такое же различие, как и между словами «индивидуальный» и «личный». — *От перев<одчика>*.

** О, если б только по одной скромности и осторожности! — *От перев<одчика>*.

ют Пушкина подражателем. Но они уж слишком далеко простерли эту скромность или эту осторожность. То же самое было говорено о лорде Байроне. Его поэзия часто может показаться подражанием, и однако ж в ней нет нисколько подражания, и однако ж она вся вышла из его собственного духа. Как океан есть общий резервуар, в который сливаются реки всех стран, так точно запас духовного богатства, скопленный веками, есть общее достояние, которым всякий может пользоваться, из которого всякий может черпать и усваивать себе все, что ему нужно. Создания Шекспира и Гёте, напевы Байрона, даже усилия Виктора Гюго, одним словом, вся сокровищница литературных произведений переходит в общую поэтическую атмосферу и разрешается в ней; мы вдыхаем ее как свободный жизненный элемент; она становится материалом и составною частию новых созданий, которых, вследствие этого, еще нисколько нельзя назвать подражаниями. Только дух, один дух может здесь решить, кто свободный владелец и кто рабский подражатель.

Что Пушкин есть поэт оригинальный, поэт самобытный — это непосредственно явствует из впечатления, производимого его поэзиею. Он мог заимствовать внешние формы и идти по стезям, до него бывшим; но жизнь, вызванная им, — жизнь совершенно новая. Если он часто напоминает Байрона, Шиллера, даже Виланда, далее — Шекспира и Ариоста, то это указывает только, с кем можно его сравнивать, а не от кого должно его производить. С Байроном он решительно принадлежит к одной эпохе, и даже можно сказать — с Шиллером, сколько позволяют допустить это некоторые существенные изменения, происшедшие со времени Шиллера во внешнем состоянии жизни. Самый внутренний мир, раскрывавшийся в духе поэта, зиждется большею частию на тех же основаниях, какие мы видим у этих поэтов; в нем та же противоположность и раздор мечты с действительностию, та же тоска, то же полное сомнений уныние, та же печаль по утраченном и грусть по недостижимом счастье, та же разорванность и величественная, великодушная преданность — все эти качества, особенно преобладающие в Байроне. Но главное, существенное свойство Пушкина, отличающее его от них, состоит в том, что он живым образом слил все исчисленные нами качества с их решительною противоположностью, именно с свежеею духовною гармониею, которая, как яркое сияние солнца, просвечивает сквозь его поэзию и всегда, при самых мрачных ощущениях, при самом страшном отчаянии, подает утешение и надежду. В *гармонии*, в этом направлении к мощному и действительному, укрепляющем сердце, вселяющем мужество в дух, мы можем сравнить его с Гёте. Истинная поэзия есть радость и утешение, и для того, чтобы точно быть этим, она нисходит до всех страданий и горестей. Укрепляющую, живительную силу Пушкина испытает на себе всякий, кто будет читать его создания. Его гений столь же способен к комическому и шутливому, сколько к трагическому и патетическому; особенно же склонен он к ироническому, которое часто переходит у него в юмор, в благороднейшем смысле этого слова. Светлая гармония, бодрое мужество составляют основу его поэзии, по которой все другие его свойства пробегают как тени или, лучше, как оттенки. Его характеру вполне равновесно его выражение: везде быстрая краткость, везде свежий, совершенно самостоятельный, сосредоточенный образ, яркая молния духа, резкий оборот. Мало поэтов, которые были бы так чужды, как Пушкин, всего изысканного, растянутого,

всякого *son amogé** набираемого хлама. Его естественность, довольствующая самым простым словом, быстро схватывающая и быстро отпускающая каждый предмет; его могучее воображение, полное согревающей теплоты и величия; его то кроткое, то горькое остроумие, — все соединяется для того, чтобы произвесть самое гармоническое, самое благотворное впечатление в духе непрерывно занятого и непрерывно свободного, ни минуты не мучимого читателя.

Для русского это впечатление тем немогущественнее, что проникает также в его национальное существо и пробуждает в нем всю полноту жизни его отечества, его народа. Создания Пушкина все полны России, Россиею во всех ее направлениях и видах. — Мы ближе разберем значение того, что сейчас нами сказано, и посмотрим, как национальность Пушкина была выгодна для его поэзии. Всякий поэт, который не теряется в идеальных общностях, выговаривает более или менее жизнь своего народа, характер своей страны, и во всяком случае качество этой жизни и этого характера имеет сильное влияние на его поэзию. Но почти всегда круг, очерчиваемый им, тесен; из этого круга почти всегда выходит только нечто одностороннее, нечто однообразное.

Байрон избежал этой тесноты, прибавив к английскому испанское, немецкое, итальянское и греческое; но он обогатил свою поэзию не иначе как непрерывными своими путешествиями. Если Гёте умел, сверх немецких элементов, включить в свою поэзию элементы славянские и восточные, — то это удалось ему только вследствие некоторых условий его жизни и по особенной могучести его духа. Но русскому поэту все это разнообразие разрозненных пространством и духовно различных элементов дается уже само собою; все это уже он находит в своем национальном кругу. Ему равно доступны, равно родственны Юг и Север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древнее и новейшее; изображая самые различные предметы, он изображает предметы отечественные. Величина и могущество России, объем и содержание русской империи имеют в этом отношении самое благотворное влияние; мы можем отсюда видеть, в каком внутреннем соотношении с государством живет поэзия. Состоя из тех же самых основных стихий, какие содействуют государству могущественным, развивается поэзия изнутри наружу (*von innen her*). Пушкин, владея мощными силами, вполне воспользовался выгодой своей национальности, вполне осуществил ее. Созерцая самые противоположные изображаемые им состояния, чувствуешь, что они все равно принадлежат поэту, что он на всех их имеет равные права; они его, они — русские. Мы можем здесь, выражаясь собственными словами поэта, сказать:

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,¹³

езде — в мире сельских нравов и в блестящем модном свете, в великолепных палатах и под сению цыганской куши, везде он на своей родной почве и везде на этой почве дает отпрыски его поэзия.

* с любовью (*ut.*). — *Ред.*

Действительно, весь этот богатый мир, во всем его объеме, претворил Пушкин в поэтическое созерцание.

События жизни поэта и его преждевременная смерть довольно известны из внешних очерков; до некоторых же существенных черт касается книга Кёнига. Его происхождение от дочери негра Аннибала, жившего при Петре Великом и достигшего степеня русского генерала, высказывалось как в его наружности, так и в его крови; он сам всегда хорошо сознавал его. В скитальческой жизни он научился знать народы и страны своего отечества и всю полноту их победоносно включил в свою поэзию. Блестящий переворот произошел в его жизни, когда император Николай соизволил вызвать его из отдаленного поместья в столицу и ободрил его для новых произведений. С равным великодушием принял на себя император после несчастной смерти Пушкина издержки на издание его сочинений, которое вследствие этого всемиловейшего попечения должно доставить богатые выгоды семейству поэта.

Три большие тома этого по воле императора предпринятого и друзьями поэта производимого издания уже вышли*¹⁴. Некоторые затруднения представило расположение сочинений; хронологическая последовательность не могла быть проведена во всей строгости, определенное же разграничение на роды не везде возможно. Издатели почли за лучшее выставить вперед два главные произведения: «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», а потом расположить по родам в возможной строгости остальные произведения. Мы сожалеем, однако ж, что при каждой отдельной пьесе не означено время ее происхождения, потому что часто бывает очень важно различать, что явилось раньше, что позднее. Сверх того, ощутителен как для нас, так, без сомнения, и для многих русских недостаток примечаний, которые иногда одним словом могут сообщить тексту нужную ясность. Пушкин сам при многих своих творениях прилагал такие пояснения; издатели не присоединили к этим пояснениям самого поэта никаких новых, хотя им очень часто мог представляться к тому повод. Но это все, вероятно, найдем мы в последнем томе; также, вероятно, найдем мы там некоторые указания касательно целого предприятия, которые по-настоящему должны бы были составить обыкновенный при таких изданиях prospectus.

Приступим теперь к ближайшему рассмотрению содержания. *Первый том*, как уже сказано, содержит в себе два самые большие и самые знаменитые произведения Пушкина и вслед за ними несколько отдельных небольших драматических сцен. Мы постараемся вкратце характеризовать и оценить каждое создание порознь.

«Евгений Онегин, роман в стихах». Это произведение, которому нынешняя действительность дала материал, романтические образцы дали внешнюю форму, покрой, а высокий творческий гений — духовное содержание и внутреннюю форму, нашло, как верное зеркало русской жизни, самый живой прием. Почти нет ни одного уголка в огромной империи, куда бы не проникнул «Онегин», по крайней мере в виде изречений, поговорок,

* Писано в октябре прошлого года. — *От перьев<одчика>*.

намеков на ежедневную жизнь. Такой прием от целой нации, искупленный пошлым унижением, а приобретенный возвышающим величием, уж один доказывает могущество творческого гения Пушкина. Для критического глаза это произведение является в высочайшей степени самобытным и оригинальным. В самом деле, мы не знаем ни одного произведения из известного нам литературного круга, которое бы можно было сравнить с «Онегиным» Пушкина. Тот, кто бы вздумал тут указать на Байронова «Чайльд-Гарольда», показал бы только в себе человека, не способного проникнуть дальше наружной стороны: это было бы все равно, что назвать «Германа и Доротею» Гёте подражанием Фоссовой «Луизе»¹⁵. Даже и тогда, когда Пушкин касается самого обыкновенного, характер и направление его являются необыкновенно самобытными; поэт высоко парит над своими образами, из которых одними он беспечно играет и шутит, другие же скорбно прижимает к груди своей... Да, мы признаемся, свободно входя в отдельные мотивы, властительно звучащие в этом создании, получая величайшее удовлетворение, величайшее наслаждение от целого, мы не в силах проникнуть до той духовной настроенности, в которой поэт замыслил свое творение. Оно имеет для нас, извне, из преддверья к нему приступающих, нечто такое, что никак не разрешается для нас вполне и что, вероятно, более доступно для русских, непосредственно пребывающих в самом святилище. Едва ли можно лучше характеризовать разноцветную смесь веселого и грустного, иронического и трогательного, народного и идеального, являющегося в форме этого произведения, как сказать, что мы созерцаем в ней Русь, что мы созерцаем в ней Пушкина.

Вот вкратце содержание: Евгений Онегин, в котором проявляются свойства и *жизнейские определения* (Lebensbestimmungen) молодого и богатого человека, ведет блестящую и пустую жизнь в Петербурге. Тяжкая болезнь дяди заставляет его ехать к нему в деревню; он находит своего дядю уж мертвым и видит себя в необходимости остаться несколько времени в деревне. Умный и благородный, но совершенно прозаический человек, чистое выражение ежедневности, он дружится, однако ж, охотно с своим соседом, который гораздо моложе его, с Владимиром Ленским, недавно прибывшим из Германии, поэтом-фантазером. Через него знакомится он с семейством Лариных. Изображая это семейство, поэт вводит нас в самую сокровенную внутренность русского быта и игриво разбрасывает самые характеристические черты. Две прекрасные, милые дочери Лариных, Татьяна и Ольга, представлены в живом различии их характеров и душ. Ольга уж просватана за Ленского, Татьяна влюбляется в Онегина. В невинности и силе своего чувства пишет она к Онегину письмо, исполненное нежной прелести, грации, горячей юности, — такое письмо, что мы вовсе не удивляемся, слыша, что оно повсюду в России запечатлено в памяти молодых людей. Но Онегин столько холодно чстен, что в ответ дает ей благоразумные поучения. После одним своим поступком возбуждает он в Ленском ревность; огонь вспыхнул, друзья стреляются, и — Ленский убит. Горестное происшествие! Но любовь Татьяны не ослабевает. Онегин оставляет родину и пускается странствовать. Его странствования, как говорят, были подробно рассказаны поэтом и составляли часть произведения, но Пушкин выключил их, и только несколько отрывков из них приложено к концу в виде прибавления. Потом за Лариными, у которых на домашних праздниках мы уже познакоми-

лись с их соседством, изображенным во всей красе провинциального образования, — мы следуем в Москву и в высшие круги московского общества. Большой свет Москвы изображен во всей его характеристической оригинальности. Татьяна, для скорейшего замужства которой и была предпринята эта поездка, возбуждает к себе внимание и склонность какого-то генерала и становится его супругою. По прошествии довольно продолжительного промежутка времени Онегин снова появляется в Петербурге; блестящая, прекрасная дама обращает на себя его внимание, и скоро в знатной княгине, отличающейся всем блеском, всею свободою светского образования, узнаёт он простую девочку, мечтательницу, провинциальную барышню, Татьяну. Когда-то равнодушный, он воспламеняется теперь неугасимым огнем; он жаждет приобрести когда-то отвергнутую им любовь; он пишет теперь сам письмо, исполненное страсти; долго и все тщетно ждет он ответа, — наконец он добивается объяснения, которое уничтожает все его надежды. Татьяна признается ему с прямою прежнего времени, что ее любовь к нему не изменилась, но с тем вместе объявляет ему свое твердое решение — непоколебимо принадлежать принятому ею на себя долгу.

История проста, и связь не слишком строга. Но мы бы потерялись в частностях, мы бы должны были приняться за перевод, если б захотели представить перед глаза читателя все богатство фантазии, весь гумор поэта в отдельных изображениях. Быстрота и сжатость повествования, иронические и эпиграмматические отступления, на которые оно беспрерывно разбегается, — все это совершенно соответствует предметам, являющимся в произведении, предметам, которые именно таковы, что сами были должны заманивать и увлекать поэта в отступления. Изображения природы по своей простоте и ясности превосходны; весна, зимняя ночь, сельская тишина многими краткими чертами являются нам во всей непосредственности, во всей живости, — мы живем, мы дышим в них; поэт просто называет вещь — и она получает очаровательнейший художественный образ. Лица, их внешнее проявление, их внутреннее существо — все очеркнуто определенно, верно, резко; все лица вполне живые существа, их непосредственно видишь перед собою, особенно характер Татьяны: это совершенно оригинальное создание, в высочайшей степени грациозное, милое. На обоих друзей, на Онегина и Ленского, можно бы, кажется, смотреть, как на братьев Вальта и Вальта у Жан-Поля Рихтера¹⁶, т. е. как на разложение самой природы поэта; может быть, он воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Повествование о смерти Ленского, которой обстоятельства почти точь-в-точь, почти буквально осуществились для самого поэта, нельзя в этом отношении читать без содрогания. Темные предощущения, трогательные чувствования, которые внушает поэту взгляд на собственную жизнь и судьбу, пробиваются также во многих других местах. Но и без того всякий, кто будет читать это дивное создание, должен будет признать в его творце человека благородного и мужественного, человека хотя с огненными страстями, хотя склонного к заблуждениям, но пламенеющего и стремящегося ко всему благому, ко всему святому.

Надобно еще заметить, что целое делится на восемь глав, содержит в себе около четырехсот строф, из которых каждая состоит из четырнадцати стихов восьми- и девятисложных. Пушкин, кажется, особенно любил четверостопные ямбы, и мысль его движется в них с грациозною, игривою легко-

стью. Как это произведение, так и большая часть последующих написана этим стихом, который превосходно идет к быстрому и вместе полному чувству рассказу и который близок к стиху драматическому.

«Борис Годунов». — Пушкин не дал этому драматическому произведению никакого родового названия; в нем нет разделения на акты, и сцены беспрерывно следуют одна за другою; место действия также беспрерывно меняется; время же действия обнимает собою целые годы. Если эти внешности, из которых только первая может показаться необыкновенною, заставляли самого поэта сомневаться, точно ли его произведение может быть названо трагедией, то это, однако ж, ни минуты не должно приводить нас в раздумье — дать ему это название. Единство действия везде строго сохранено и органически связует части в одно целое. План, ход и развитие истинно драматические; впечатление, производимое целым, также имеет совершенно драматический характер. Внешний объем равняется мере обыкновенных пяти актов, — и нисколько не было бы трудно, если б только это было нужно, распределить эти пять актов для представления на сцене. Но создание русского поэта имеет такие же права на эти свободные формы, какие имеют исторические драмы Шекспира и Гётевы «Гётц Берлихингенский» и «Эгмонт»¹⁷; оно, по своему духу, по идее и внутренней форме, близко к созданиям этих гениев. Мы делаем особенное ударение на слове «драма» в приложении к «Борису Годунову», именно потому, что толпа очень обыкновенно и очень охотно не признает того права, которое не выступает открыто. Не признавать произведение Пушкина драмою потому только, что он сам не называет его так, — было бы нисколько не лучше того, как и отрицать у Гёте искусство изящно писать по-немецки: ведь Гёте сказал же где-то, что он не мастер писать по-немецки. Такая скромность почти всегда бывает опасна, потому что толпа охотнее и больше верит словам, нежели делу.

Материал драмы заимствован из русской истории, из самого тревожного, из самого богатого событиями периода, периода, в который является Лже-Димитрий. Но не он, не Лже-Димитрий, как в посмертном, неоконченном произведении Шиллера¹⁸, является героем трагедии, а, как уже показывает заглавие, Борис Годунов, который в то время восседал на русском престоле. По смерти Иоанна Грозного ему последовал в царской власти старший сын его Феодор; но эта власть вся сосредоточилась в руках его боярина (министра) Бориса Годунова, который дал царю в супружество свою сестру. Димитрий, младший сын царя Иоанна Грозного, воспитывался в монастыре, находившемся в небольшом городе Угличе; там, едва имея восемь лет от роду, он был умерщвлен убийцами, которые, как носились темные слухи, превратившиеся впоследствии в утвердительный общий голос, были подсланы Борисом. По четырнадцатилетнем царствовании Феодор умирает, его единственная дочь скончалась еще прежде его, и на упраздненный трон восходит Борис Годунов, который не вдруг принял корону, а сначала отказывался от нее для того, чтобы тем побудить бояр и народ еще сильнее, еще настойчивее упрашивать его на царство.

Первая сцена, между двумя князьями, Шуйским и Воротынским, дает нам знать сомнительное положение дел, тревожный беспорядок государства, желание народа, отречение Годунова — отречение, которым Годунов, как думает Шуйский, только играет, иначе зачем же была пролита кровь юного

Димитрия? Шуйский сам, по известии о смерти царевича, был послан от двора в Углич исследовать на месте дело, и его разыскания не оставили в нем ни малейшего сомнения в роде и виновнике смерти; но истина не могла быть тогда гласною точно так же, как и теперь. Оба князя не скрывают друг от друга своей ненависти к Борису и потакают своим собственным честолюбивым видам. Между тем народ волнуется и не умолкая требует решения; Борис принимает наконец венец, — патриарх и бояре присягают ему, — между ними Воротынский и Шуйский, из которых последний отпирается уже от слов своих, незадолго им говоренных. Это введение немногими мощными очерками ставит нас в самую средину событий, определяет характер людей и заставляет ждать чего-то великого. Драматическое изложение, в высшей степени мастерское, отличается сжатостью и ясностью, богатством и быстротою.

Пять лет спустя открывается новая сцена в Чудовом монастыре в Москве. Старый монах пишет при ночном светильнике в своей келье летопись своего времени; в его же келье молодой послушник Григорий Отрепьев спит и видит чудный сон величия и позора; проснувшись, он рассказывает его монаху. Пимен успокаивает его, восхваляет мирную монастырскую жизнь и горько сожалеет о том времени, в которое убийца занимает престол. Юный Григорий жадно слушает рассказ о всех обстоятельствах Дмитриевой смерти в Угличе. Что царевич был умерщвлен по приказу Годунова — это является несомненным; царевич имел бы теперь девятнадцать лет, был бы ровесником Григорию, в душу которого уже запала мысль, развившаяся впоследствии. Эта сцена также ведена рукою великого мастера; ее характерическая истина, ее сила — поразительны.

Григорий убегает из монастыря и оставляет записку, в которой объявляет, что он будет царем на Москве; за беглецом отправляют погоню. Но он спасся в решительную минуту, когда уже почти совсем погибал, присутствием духа и мужеством, которые счастливо раскрываются в нем в начале его преступного предприятия. Он пробирается в Польшу, находит там себе приверженцев и вооружается на поход в Россию. При царском дворе Шуйский получает это известие через Афанасия Пушкина, который, в свою очередь, получил его из Кракова от своего племянника, Гаврилы Пушкина. Эти предки поэта не произвольно примешаны им: они действительные исторические лица, являющиеся в своем истинном виде. Эта важная великая новость обсуждена обоими боярами; образ их мнений враждебен царю. Царь, страшный и жестокий, когда надобно опасаться за корону, является во всем прочем умным и добрым властителем, всеми силами заботится о благе государства и старается из своего сына Феодора образовать достойного себе преемника. В то время, когда он рассматривает с ним карту России и заставляет его объяснять ее себе, Шуйский приносит ему известие о появлении в Польше мнимого Димитрия и об его приготовлениях к походу; царь смущен и встревожен, — он повелевает бдительно сторожить польскую границу и горько жалуется на свою нечистую совесть, на тяжесть властительского жребия.

Лже-Димитрий привлекает к себе несколько человек русских; Гаврила Пушкин и юный князь Курбский пристаю к нему; но главная его опора — поляки, которым он обещает ввести в Россию латинскую церковь. Мало того: полька должна разделить с ним престол, прекрасная Марина, дочь вое-

воды Мнишка. Сцена их тайного свидания выше всех похвал. Здесь Пушкин равняется с величайшими поэтами мира. Из глубочайшего, чистейшего источника почерпнута эта сцена: отважный самозванец, умевший обмануть вельмож и целый народ, добровольно открывается перед любимой девушкой обманщиком и хочет, чтобы она любила в нем того, кто он есть действительно. Но любовь его сердца не находит себе отзыва: Марина соглашается на обман только на том условии, что он увенчается достижением трона. Новый толчок стремлению самозванца! Вся эта сцена проникнута огнем могущественной страсти, сердечною, искреннею преданностию и гордым честолюбием.

События быстро бегут одно за другим. Лже-Димитрий с войском вступает в Россию. Борис Годунов держит совещание в боярской думе. Патриарх в благоуханной речи советует торжественно перенести из Углича в Москву чудотворные останки Димитрия, — народ познаёт тогда ясно, что его уж нет больше в живых. Шуйский возражает тем, что эта торжественная церемония возбудит еще большее волнение в народе. Все это только увеличивает внутреннюю тревогу царя, который, однако ж, не забывает подумать о нужных распоряжениях к войне.

И действительно, войска Лже-Димитрия, несмотря на личную его храбрость, разбиты полководцами Годунова; но победа на поле битвы уж ничего не решает больше, — народы отпадают, — города отворяют ворота, — войска передаются новому государю.

Тревожимый извне, потрясаемый внутри, царь внезапно заболел и, предчувствуя свой конец, изъявляет желание наедине поговорить с сыном. Не скрывая от сына злодеяния, которым достиг престола, он утешается тем, что сын, наследуя отцовский престол, не наследует отцовского греха. Нежнейшие отеческие заботы, глубочайшая царственная мудрость высказываются в прощальных словах Годунова. Он передает корону сыну; бояре клянутся юному царю в верности, и Борис умирает.

Лже-Димитрий, когда передался ему полководец Басманов, начальствовавший войсками Феодора и обольщенный Гаврилой Пушкиным, окончательно восторжествовал; речь последнего, произнесенная на площади, привлекает к самозванцу народ московский, и Димитрий провозглашен царем. Дети Годунова, юный свергнутый царь Феодор и сестра его Ксения, показываются за решетчатым окном своей темницы; народ изъявляет некоторое сожаление о них, но это сожаление только ускоряет их смерть: четыре боярина проникают в темницу, — слышен крик, — выходит боярин Масальский и объявляет, что узники отравили сами себя ядом. «Что же вы молчите? — восклицает он народу. — Кричите: да здравствует царь Димитрий Иоаннович!» — Народ безмолвствует...

Так заключается драма, заключается величественным впечатлением, в котором сосредоточивается вся сила совершившегося и в котором таится предчувствие новой Немезиды для нового преступления. Поэт разоблачил перед нашими взорами мировую судьбу. Борис, способный и достойный царствовать, достигает престола посредством преступления и торжествует над утратившим силу правом; тщетно надеется он превратить свои достоинства и заслуги в право и злоприобретенное передать любимому сыну как честное наследство. Из самого преступления развивается месть; но не истина, не право низвергает его, а новый обман, который ясен ему самому как об-

ман. Поддельный вид права уже достаточно силен для того, чтобы уничтожить злоприсвоенное владычество. История не всегда так свершает свой суд; наши глаза часто едва-едва могут следить по рядам столетий за Немезидою; но те моменты истории, в которых суд свершается так же быстро и так же явственно, как здесь, они-то и заключают в себе то, что мы зовем трагическим. Катастрофа Бориса Годунова, которую поэт имел полное право отдвинуть за кончину самого Бориса до решительной гибели всего царского рода, сама собою переплетается с судьбою Лже-Димитрия; но из этих двух трагических ветвей явственно преобладает первая, как большей определенностью, так и большим обилием содержания, — и выбор Пушкина доказывает всю глубину его гения, который был притом столько могуществен, столько богат, что смог изобразить во всем достоинстве и второго представившегося ему героя.

Распределение сцен, на которые распадается вещество драмы и диалог, можно назвать в высочайшей степени мастерскими. Поэт строго держится истории, но это нисколько не мешает ему везде удерживать в виду его драматическую задачу. Это произведение имеет большие исторические пробелы и ни одного драматического; противоположности, которые без всякой натяжки, без всякого искусничанья выходят из самого дела, в строгой диалектике сменяются и поборают друг друга; участие и интерес ни на минуту не охлаждаются во все продолжение развития до конца. Обрисовка характеров столько же зрела, сколько разнообразна; первым появлением, первыми словами лица живо обозначены и твердо поставлены. Властитель, бояре, духовенство, народ — все являются в их действительном различии; кисть художника равно сильна, равно верна в изображении как многоличного народа, так царя и патриарха, как католического, так и греческого монаха, как честолюбивой польки, так и кроткой царской дочери; пылкое геройство, осторожная политика, пламенная страсть, священное бесстрашие и просто — все является в своем истинном виде, все выговаривает свое сокровеннейшее, отличительнейшее существо. Это разнообразие, в котором каждый образ является характеристически отдельным, есть существенный признак драматического поэта; мы еще больше будем удивляться драматической силе гения Пушкина, если примем в соображение те малые, ничтожные средства, которыми он достигает своих целей. Здесь Пушкин является мастером первого разряда: все у него сжато и ярко, определено и быстро, ничего лишнего, ничего растянутого; нигде поэт не вдается в заманчивые отступления, которые так часто врываются в драматические произведения и думают оправдать себя названием лирических мест. Точно так же равномерность десяти- и одиннадцатисложного (шестистопного) ямбического стиха, управляемого искусною рукою мастера, нигде не прерывается лирическими строфами, а иногда переходит, где говорит народ, в безыскусственную простую прозу.

Для русских трагедия Пушкина имеет еще то преимущество, что она в высочайшей степени, если так можно выразиться, насквозь (*durch und durch*) национальна. Если в драму входят и другие народы и по мере своих отношений в их истинном, не урезанном виде (особенно немцы должны быть благодарны за почетное упоминание о них), то все-таки дело России безусловно овладевает всем участием. Мы, иностранцы, мы чувствуем биение русского сердца в каждой сцене, в каждой строке. Видя такое прекрас-

ное соединение величайших даров, мы не можем не удивляться и не сожалеть, что Пушкин создал только одну эту трагедию, а не целый ряд, тем более что истинный драматический талант по своей натуре плодоносен и обыкновенно порождает легко и много. Если бы Пушкин прожил долее, то он, может быть, еще больше свершил бы в этом направлении; но различные условия определенных временных отношений могли быть причиною, что поэт, избегая слишком большого ограничения, изливает свою драматическую силу в произведениях других, более свободных родов поэзии.

«Драматические сцены». «Сцена из Фауста» — особенно достопримечательна, потому что мы видим, что Пушкин и эту великую идею лелеял в своем художественном духе, и по данной пробе мы смело говорим, что он мог бы с успехом продолжать этот труд. — «П и р в о в р е м я ч у м ы» — чудная ночная сцена, написанная Пушкиным в подражание английскому поэту Вильсону и отличающаяся легко текущим, чистым выражением. Две сцены, «М о ц а р т и С а л ь е р и», имеют своим содержанием известное предание о заказе «реквиема» и мнимое отравление Моцарта, приписываемое ревнивой зависти Сальери; драматизировка отличается свежестью, жизненностью, статостью.

«С к у п о й р ы ц а р ь»*, три сцены из английской драмы Ченстона, которую Пушкин имел намерение вполне передать на русский язык.

Второй том содержит в себе повествовательные стихотворения, существенно различающиеся по духу и характеру. Здесь входим мы то в мир волшебных обаяний, то в мир преданий и истории, то в современный быт, в какое-нибудь приключение из этого быта, основанное на созерцаниях и впечатлениях, собранных поэтом в его странствованиях по России, в которых он проникал даже до земель турецких. Дадим о них отчет.

«Р у с л а н и Л ю д м и л а». — Волшебная сказка в пяти песнях и первое большое произведение, на котором Пушкин испытал свою силу. В книге Кёнига сказано, что это произведение в духе Ариоста и есть следствие систематического изучения итальянской поэзии¹⁹, хотя оно совершенно самобытно и не выходит из героического времени России; мы не будем противоречить и спорить, скажем только, что мы бы желали знать, на каких достоверных фактах основывается предположение, что это произведение было плодом итальянских изучений поэта. Если это предположение есть не больше, как догадка, то мы не хотим принимать его в соображение и тем более будем держаться присовокупленного к этому предположению примечания, что поэт здесь не выходит из сферы русской сказочности, русского героического времени. Кроме того, это произведение отличается необыкновенною прелестью рассказа, необыкновенною увлекательностью: везде соблюдена свежесть и краткость выражений. Пушкин нигде не изменяет себе: можно сказать, что все его умышленные замедления не замедляют, а, напротив, содействуют ходу действия; что проселочные, пробиваемые им тропинки скорее доводят до цели, нежели большая дорога. Но в этой сказке напрасно бы мы стали искать высшей, организовавшей себя идеи; она имеет

* Не можем не заметить здесь, что Пушкин обманул нас, назвав это превосходное произведение переводом. Это одно из самых лучших, из самых зрелых его созданий, являющее собою, несмотря на свою краткость, совершенно замкнутое целое, целое в высшем смысле этого слова. Варнгаген был также обманут и прошел мимо этого произведения, не обратив на него должного внимания. — *От перев<одчика>*.

только одно чисто фантастическое содержание и при всем ее достоинстве в этом роде мы должны сознаться, что в ней Пушкин не является еще в своем могуществе.

«Кавказский пленник». — Здесь поэт вводит нас в среду одного из диких, непокорных племен Кавказа. Черкесы праздно сидят при лунном сиянье на порогах своих саклей; они говорят между собою о своих прежних битвах, о своих конях, о своем оружии, о своих набегах и о ласках чернооких пленниц. Вдруг является перед ними на коне черкес, влекущий на аркане пленника, русского! Истомленный, недвижимый и бесчувственный, как труп, лежит пленник, которого окружила дикая толпа. Спустя довольно долгое время пленник очнулся и находит себя в оковах, среди высоких утесов. Горько вспоминает он об оставленном им свете: он находил в нем только одни разочарования, — он хотел сбросить с себя оковы сует и вот теперь очутился в действительных оковах! В тихую ночь посещает его тайно юная черкешенка, утешает и освежает его; но и сами черкесы не без участия к благородному юноше. Изображается жизнь черкесов, их воинственная отвага, их дикие нравы и кровавые празднества. Черкешенка признается русскому в своей любви; она хочет, чтобы он забыл об отечестве и принял бы взамен ее сердце. Но он не может отвечать ее склонности; в его груди, где живет другой образ, погас пламень страстей; он не может любить черкешенку, потому-то в ответ на ее любовь нужна любовь высочайшая, чистейшая. В скорби и страстном томлении бегут дни и ночи; черкесы уезжают на новые набеги; их воинские приготовления и потом песни девушек ободрили пленника; в него запала мысль о побеге, но нет надежды исполнить ее. Черкешенка, жертвуя своим желанием желанию возлюбленного, помогает ему; она приносит пилу и кинжал; оковы падают; она провожает его до реки, за которою пленник будет в совершенной безопасности. Ее слезы при расставании и ее горячие объятия пробуждают, наконец, в юноше страсть; он умоляет ее бежать с ним вместе и разделить с ним участь жизни; она отказывается; он бросается в реку, но, еще не достигнув противоположного берега, слышит шум падения, — он понял все... Бросив прощальный взор назад, он продолжает дальше свой путь и рано утром достигает русских форпостов.

В этой простой истории высочайшее достоинство составляет самый рассказ. Описания природы и нравов полны жизни; все изображения представлены не в холодном рассматривании, а в кипящей страсти, в самом ходе действия. Целое является в какой-то дикой мрачности, в неверной мгле ночи. Речи девушки и юноши исполнены трогательной сердечности. В заключении, к которому спешит полное чего-то тоскливого действие, поэт заставляет нас почувствовать истинное освобождение, в котором победоносно принимает участие павшая за него жертва.

«Бахчисарайский фонтан». — Пребывание поэта в Крыму подало ему повод художнически воссоздать местность и древнее предание этой страны. Бахчисарай был резиденцією крымских ханов, которые часто пространяли непостоянные границы своих владений то на счет Руси, то на счет Польши. Хан Гирей в одном из своих набегов на Польшу похитил прекрасную дочь одного польского магната и отвез ее в свой гарем; но тщетно страсть его ищет внимания пленницы. Прежде страстно любимая им невольница, черкешенка (грузинка) Зарема, видя себя брошенной, предается бешеной ревности к своей мнимой сопернице; отважная и быстрая в крова-

вом решении, она умерщвляет Марию. Погруженный в мрачное уныние хан посвящает в память невинно умерщвленной фонтан в тихом, пустынном уединении своего сада. Это — фонтан слез. При его-то немолчном говоре передается он унылым воспоминаниям. Рассказ отличается необыкновенною прелестью: очаровательны описания татарских нравов и пение невольниц, сокровенная внутренность гарема, особенно же чудесное изображение женской красоты и дыхание любви, овевающее целое.

«Братья разбойники». — На Волге кочует шайка разбойников; стихотворение открывается изображением их пестрой сходки. Внимание обращается на нового пришельца, который рассказывает свою историю. Два брата, в начале жизни брошенные в мир без опоры, без страха решаются силою добыть лучшую участь: они грабят и бьют и ведут разгульную лесную жизнь. Но наконец их схватили и заковали в цепи. Младший брат, имевший более нежное, более слабое сложение, заболел; страшные образы совершенно возмутили его воображение. Старший, умерший для всякого другого человеческого чувства, лелеет в душе самую нежную братскую любовь. Больной выздоровел при его попечениях, и оба брата начали помышлять о побеге. Он удался им вследствие отважного решения и мужественного выполнения. Снова заперевали они в любимых лесах, недолго однако ж: младший вновь занемог и умер. Все, что еще было живого в оставшемся брате, умерло — и душа его совсем окаменела: только иногда руки его шадят седины, ему страшно резать старика, он помнит, как страшно в горячечном бреду брат его каялся в смерти давно зарезанного ими старика. Разбойник оканчивает свой рассказ — и свирепый лик его оросился слезами. Товарищи упрекают его: «Что вспоминать о мертвых? мы живы: станем пировать!» — восклицают они. Чаша с вином ходит из рук в руки, и все предается буйному пированию. В их сердце, заключает поэт, дремлет совесть: она проснется в черный день! Через эти простые слова жестокая оцепенелость разбойничьих душ, которая, по-видимому, одержала было победу, является побежденною; пример, так трогательно и вместе так страшно приведенный, ругается за всех их. И легкое, хотя блестящее всею полнотою таланта произведение этим веянием нравственного духа возносится до высочайшей степени поэтической красоты.

«Цыганы». — Степи Бессарабии служат сценою этому стихотворению, которое, как бурное, тучами покрытое небо, дико и страшно облегает ужасный ландшафт. Молодая цыганка Земфира, возвращаясь с ночной прогулки, приводит с собою к кочевой кибитке своего старого отца незнакомого юношу, который, отвергнутый образованным светом, ищет убежища между безродными полудикарями. Девушка выбирает его себе супругом; он становится цыганом и называется Алеко. Грубая свобода является во всей своей отталкивающей дикости и вместе со всею своею прелестью, едва проникает сюда луч из образованного мира, отгул из далекого римского времени, вещающий о первобытном варварстве этой страны. Необузданность нравов проявляется в порывах и волновании страсти: Земфире надоедает муж; молодой цыган во всей силе молодости и свежести приобретает любовь ее. Возникновение и развитие страсти Земфиры поэт выразил в песне, которую она поет, песни, исполненной буйного пламени. Эта песня возбуждает бешенство в Алеко, и его ревность уже не находит успокоения. Он прокрадывается за подругой, ускользнувшей от него ночью, находит ее и молодого

цыгана в упоении любви и закалывает их обоих. Умирая, Земфира еще утешается своей любовью. Старик-отец и все цыганы приходят туда же. Казни не назначено для Алеко, но он не должен более оставаться с ними; ему должно возвратиться в свет, который он оставил и которого требования и предрассудки он забыть не может. Цыганы собираются в дорогу и идут далее. Эта поэма есть одно из самых могущественных и самобытных произведений Пушкина; она, вероятно, основывается на каком-нибудь истинном происшествии, да и догадка, что в цыганском имени Алеко поэт хотел намекнуть на свое собственное, может быть, достоверна. Целое ведено рукою мастера и в сильнейших местах имеет совершенно драматический характер. С каждою строкою действие возрастает; как страшная буря с шумом проносится свершившееся, оставляя за собою ночь и безмолвие.

«Граф Нулин». — Имя значением показывает пустоту героя (обычай у нас довольно уже устаревший). Приключение, которое оканчивается стыдом героя, рассказано в увлекательных стихах, в сатирическом духе. Соблазнительное содержание поэт умел облечь в комическую грацию. Особенную занимательность, без сомнения, получает это стихотворение для тех, которые могут следить за его намеками на известную действительную жизнь.

«Полтава». — Стихотворение в трех песнях с историческим содержанием, прекрасно организованное, выполненное рукою твердою, отличающееся dokonченным совершенством стиля. Малороссийский вельможа, один из богатейших и могущественнейших в своем краю, не может забыть оскорбления, нанесенного ему его дочерью. Прекрасная Мария, руки которой домогались благороднейшие и богатейшие юноши, предалась старому, хитрому Мазепе и ушла с ним из отцовского дома. Оскорбление состояло только в ее хитрости и бегстве, ибо она сделалась уважаемою супругою Мазепы и пользовалась его полною доверенностью; если уж она могла полюбить седого хитреца, то его открытое сватовство при его сане, славе и богатстве, вероятно, не встретило бы отказа*. Эти обстоятельства заставили отца затаить злобу, и мирные отношения, по-видимому, продолжались. Мазепа между тем забыл благоденствия России, замыслил преступный план возвысить Украину на степень самобытного государства. Для этого нужна ему была помощь шведов, и его обещания убедили Карла XII обратиться с войском в эти отдаленные страны. Между тем Мазепа испытывал расположение в своих собратях по войне и по происхождению и даже столько обнаружил себя перед своим тестем, что тот уже не мог сомневаться в его измене. Кочубей, который хочет остаться верным царю и отмстить Мазепе, извещает Петра Великого о том, что готовится в Украине. Но царь полагается на верность Мазепы, принимает донос за клевету и предоставляет гетману наказывать клеветника. Мазепа уверяется вновь в любви своей супруги, и когда та объявляет, что он дороже ей и родителей, и всего, то его уже ничто не удерживает, и он осуждает на казнь своего тестя. Мария, до сих пор остававшаяся в неведении, потом вдруг испуганная словами своей матери, возвестившей ей истину, прибегает, но уж слишком поздно, на место

* Здесь Варнгаген не так понял содержание «Полтавы»: Мазепа сватался, и самое сватовство его оскорбило родителей Марии. Побег ее был следствием отказа Мазепе... Вообще, видно, что Варнгаген изучал это великое произведение с меньшим вниманием, нежели другис. — *От перев<одчика>*.

казни. Все уже свершилось. Она сходит от того с ума и пропадает. Между тем замышленное дело подвинулось вперед. При приближении шведов Мазепа объявил свое отпадение от царя и соединился с Карлом XII. Но восстание не было всеобщим, и Мазепа не мог доставить своему новому союзнику столько сил, сколько обещал. Сражение при Полтаве разрушает все предприятие. Мазепа должен разделять с раненым шведским королем жалкое бегство. Вблизи Днепра для краткого отдыха делают они привал на чистом воздухе у одного хутора, в котором Мазепа узнал прежнее жилище Кочубея и Марии; она сама является перед ним и раздирает его сердце словами любви и безумия. Но должно бежать, король зовет — и Мазепа скрывается с ним, навсегда покидая родину.

История и предания счастливо соединены здесь между собою. Герои и главные происшествия изображены в их исторической истине; военные события представлены в живой очевидности. Всего удивительнее выведен характер Марии, своенравие и сила ее страсти, ее упорное постоянство и потом вновь пробужденная во всем могуществе дочерняя любовь и отчаяние. Здесь также в главных местах все становится драматическим, и Пушкин здесь снова показывает, какой богатый элемент лежал в нем для этого рода произведений. Рассказ о казни Кочубея мучительно действует на душу свою ужасною подробностью, но общее впечатление, производимое им, поэтически высоко; сверх того, на нас утешительно здесь действует мысль, что чем медленнее идут роковые приготовления, тем больше времени остается для избавителей. Многие отдельные черты отличаются высочайшею художественною красотою; вся поэма в высшей степени богата свежими оборотами, сильными положениями и полными жизни образами.

При конце поэт бросает взор после протекших ста лет на сцену этих ужасных событий. Окруженная высокою славою, сияет память Петра Великого; не забыт и Карл XII. Напрасно вопрошают о гробе Мазепы; но покрытые честью возвышаются гробницы Кочубея и его товарища Искры, верность которых узнана была слишком поздно. О дочери молчит предание; разве только слепой украинский певец, брэнча перед народом о гетмане, упоминает кстати и о грешной дочери Кочубея. Так поэт умел и здесь вывести нас, наконец, из мрака ночи в область дня и отголоском свершившихся деяний намекнуть на верховное правосудие, которое является и здесь также во всем своем художественном достоинстве.

«Д о м и к в К о л о м н е». — Наскучив писать все четырехстопными ямбами, что для всех возможно, поэт избирает более трудный размер стиха, итальянские октавы. Здесь, в сорока великолепных стансах, изображает он комическое происшествие из низшего круга.

«А н ж е л о». — Итальянский рассказ в трех отделениях в александрийских стихах. Содержание этого рассказа часто служило предметом для драм. Пушкин переходит иногда здесь совершенно в драматический род. Как ни тяжел размер александрийских стихов, но и здесь, и в этих тяжелых александрийских стихах веет дыхание поэта.

Вся сила, все богатство поэта развивается в полноте мелких, преимущественно лирических, стихотворений, составляющих содержание третьего тома. Здесь Пушкин является полным властелином, в необозримом могуществе; здесь сверкают самые яркие искры того пламени, который горел в сокровенных тайниках его души. С первого взгляда ясно, что все воплощает

мы им ощущения были прожиты им, что они или выражение переворотов судьбы, или страдание и грусть мужественного сердца, или бодрость и надежда сильной души. В веянии этих ощущений дышит сам поэт, дышат его соотечественники, его современники; он отыскивает в их груди самые сокровенные струны, настраивает эти струны и ударяет по ним. Волнения, которые темно и болезненно движутся и борются внутри, освобождаются очарованием его выражения и выпархивают на свет, радостные и сияющие. Как глубоко, как могущественно вскрыл Пушкин в своих песнях сердце своего народа, видно из того, что эти песни проникли всюду в России, что они перелетают там из уст в уста и везде возбуждают восторг и вдохновение. Мало того, что они вполне удовлетворяют лирическому чувству народа, они еще возвышают его требования и умножают его богатство новым поэтическим сокровищем; неистоично это сокровище: расточая его, не уменьшишь, а увеличишь его богатство.

Прежде всего заметим разнообразие, в котором обнаруживается здесь творческая сила поэта. От буйного, вакхического дифирамба, от возвышенной оды и унылой элегии до самого простого напева, от дружеского послания до язвительной эпиграммы, от пророческого, восточного символа до песни, посвященной минуте и случаю, — здесь собраны все формы. Легко, свободно бегут стихи и рифмы, никак не выступая, однако ж, из строгих пределов строфы; ямбы и дактили чередуются с трохеями; вместе с грациозными, легкими формами песни теснятся стройные стансы, ловкие сонеты и тяжелые на подъем ряды александрин. Содержание не менее разнообразно. Слава творения, полнота природы, чувство любви и грустного порывания, величие России, обманы жизни, страдание отречения и отчаяния и потом снова утешение в дружбе и в искусстве, свобода мысли и упоение насмешки, все эти внутренние движения и чувствования просветляются в груди поэта и становятся отрадными, примирительными образами.

Великое созерцание природы лежит в основании всех его стихотворений, оно просвечивает сквозь все переливы ощущений и дает им тон и выражение. В дивно прекрасных строфах «К морю» как будто воздымается во всем своем великолепии эта свободная стихия, с которой так тесно связаны вдохновение и грусть души, порывающейся вдаль; они намекают на гробницу Наполеона и на песни Байрона, которого образ мощно очерчен в образе моря, и наполняют нашу душу грустью самого поэта, отрывающегося от любимого им берега. Жалобы, исторгаемые из души поэта разлукою и одиночеством, воспоминания об обольщениях и утратах жизни, думы и мечты в дороге, при случайных встречах, — все это гармонически перемешано с образами природы; у него равно художественны и лист запоздалый на ветке, и одинокий звук, раздающийся в зимнюю ночь, и опоясанный облаками Кавказ, и зеленое море степей.

Беспрерывно испытывая в своей собственной жизни все горести и страдания человеческого жребия, он умеет также переноситься в положение другого, совершенно забывать себя в нем и сочувствовать его участи; и нигде это сочувствие не выражалось с такою силою, в такой истине, как в элегии Пушкина на умиляющую смерть Андрея Шенье²⁰. Песни, посвященные друзьям, исполнены нежной, искренней сердечности, теплых воспоминаний и бодрого упования; вообще дружба является у него на первом плане и в мощных чертах; самая любовь уступает ей, по крайней мере по живости вы-

ражений. Пушкин, кажется, охотнее выражает сцены страсти в своих поэмах, нежели в лирических формах. В несравненной песне «Талисман» ревность потеряла всю свою жесткость в очаровательном благозвучии, переливающимся в этих музыкальных строфах, могущих выдержать всякое состязание с звуками языков южных. Не борьба и не страдания любви, а уж полное удовлетворение и блаженство любви выговорено поэтом в его дивном сонете «Мадонна», где он сознает, что осуществилось все, к чему порывалась душа его, что он владеет тем, что было единственным его желанием. Светлое сознание блаженства, данного ему супругою, тем трогательнее, что несчастные враждебные события возмутили впоследствии это чистое счастье.

Но поэт в своих отношениях к людям, к свету не мог предохранять себя от внутренней дисгармонии, — и эта дисгармония прорывается у него в резкой, в горькой насмешке, в гневе и гордости. В сонете, в котором он обращается к самому себе, «Сонет к поэту»²¹, выражена вся свобода его самостоятельного духа, все величие его, вся сила его смелого презрения. «Презри толпу! — восклицает он. — Ты царь — живи один; ты художник — будь доволен в самом себе и самим собою, и если ты доволен, то пусть люди поносят тебя, пусть они забудут тебя». Что это чувство было истинным, было всегдашним чувством Пушкина, в этом свидетельствуют множество других мест в его произведениях и целая жизнь его, бывшая всегда выражением души мужественной, души свободной, непреклонной.

Его воззрения на политические современные дела исполнены величия и благородства, всеобъемлющей дальновидности, зрелого сознания, кроткой теплоты при мысли об общем благе, высокой любви к родине. Ни один поэт в мире не воспел так достойно смерть Наполеона, как Пушкин; ни одно стихотворение на эту тему не может равняться с пушкинским в выпренности и богатстве содержания²². Он изображает в гениальных чертах все величие павшего героя и, объявляя его тираном, не понявшим свободы и народов, не постигшим русских, он возбраняет всякий укор против того, кто так величественно искупил свои заблуждения; в заключение поэт призывает славу на главу того, кто воззвал русский народ к высшему развитию, кто из мрака ссылки завещал миру вечную свободу. — Еще замечательнее, еще значительнее два другие стихотворения Пушкина, принадлежащие ко времени последней польской войны²³. Поэт подчиняет в этих стихотворениях вопрос о сомнительной во всяком случае свободе отдельного племени другому высшему вопросу — об общем назначении славянских народов. Здесь он весь русский, пламенеющий за свое отечество, торжествующий победу, требующий покорности, но не в позор и рабство, а в осуществление закона высшей власти, для общей славы и процветания. Все негодование его падает на чужеземных клеветников и врагов России, для которых непонятен и чужд этот спор славян между собою; он зовет их снова на знакомые им снежные равнины, он обещает, что есть еще и для них место среди гробов, им не чуждых. Поэт всегда принадлежит своей родине, и, когда его соотечественники бьются и проливают свою кровь, он имеет полное право желать им победы и славы; он расточает все богатство своей силы представившемуся ему мгновению, дает ему столько, сколько оно может принять; даже и то, что не может быть принято этим мгновением, что выпадает из него, столько же служит к изображению истины, сколько и то, что действительно относится к нему. Но, отбросив в сторону все эти рассуждения, мы должны сказать об

упомянутых нами стихотворениях, что они, рассматриваемые с художественной точки зрения, принадлежат к самым лучшим стихотворениям Пушкина. Они стремятся в порывах высокой страсти, в огненном выражении, в величавых, иногда диких, иногда странных образах и неодолимо увлекают с собою участие и душу читателя. — Третья, замыкающая этот ряд песня, «Пир Петра Великого», должна покорить все сердца поэту, который здесь с мыслию высокой, столько же русской, сколько и общечеловеческой, воплощает в могущественнейших, в трогательнейших образах торжественный акт прощения и примирения и рассыпает эти образы в формах быстрой, милой, веселой песни. Никогда еще такое духовное благородство и величие не соединялись так счастливо с высоким даром муз, как в этой песне. Эта одна песня может служить ручательством, что русская поэзия может смело поставить себя наряду со всякою другою поэзиею, достигшею до высочайшей степени развития.

Нам обещаются еще три тома, которые будут содержать в себе еще новое большое количество *мелких стихотворений, повести в прозе*, из которых, как говорят, особенно замечательны «Станционный смотритель» и «Капитанская дочка»; далее «Историю Пугачевского бунта» и, может быть, еще другие исторические отрывки. Мы не можем теперь ничего сказать о том, как важны труды Пушкина, которыми он готовился в последнее время своей жизни к сочинению истории Петра Великого.

Биография Пушкина, которая бы открыто и благородно изложила все его отношения и события его жизни, была бы богатым подарком, заслуживающим полной благодарности; но в настоящее время едва ли можно ожидать ее. Пусть между тем его соотечественники собирают все, относящееся к его жизни, и заготавливают материалы, которыми воспользуются будущие поколения. Память о жизни великого человека дорога и священна для благородных наций, и мы видим, что те народы, которые заслуживают это название, старались хранить в памяти не одни политические дела и военные подвиги, но и события литературные, и тихую жизнь частного человека.

Н. И. ГРЕЧ

ЧТЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

<Отрывки>

Третье чтение
(15-го декабря)

<...> Великие происшествия того времени¹ прекратили мирные занятия словесности, и она только мало-помалу вступала в свои права. Споры славянофилов и карамзинистов умолкли или раздавались только изредка, в слабых отголосках. Совершенный им конец положило появление «Истории государства Российского», доказав, что Карамзин отнюдь не думал отвергать особенностей и красот языка церковного, а только, по свойству прежних своих сочинений, не считал надобным ими пользоваться. Последнее творение Карамзина представляет много предметов к

размышлению и изучению, и мы займемся им в свое время подробнее. Теперь скажем, что оно принято было с единодушным восторгом во всей России, и тот почтенный старец, которого за ревность его к древнему языку нашему считали врагом Карамзина, в торжественном заседании Российской Академии поднес ему награду, установленную Екатериною II за отличные услуги русскому слову.

По водворении спокойствия и тишины стали появляться хорошие произведения во всех родах литературы; язык видимо очищался, обогащался и облагораживался. Хмельницкий заговорил прекрасным слогом в своих комедиях. Грибоедов представил нам образец русской комедии нравов, верно списанный с природы, комедии, которую и в рукописи затвердила вся Россия². Гнедич совершил перевод «Илиады»³. Булгарин проложил дорогу сочинителям романов⁴. Загоскин и Вельтман представили в этом роде прекрасные образцы⁵. Полевой счастливо испытал гибкий талант свой во многих родах прозы. Но первое место в числе писателей нового времени принадлежит Пушкину. Он создал свободный русский стих, не ту звонкую строку, в которой нанизанные стопами слова нередко заменяли смысл, а поэтическую фразу, т. е. полное логическое предложение, облеченное в форму стиха и подчинявшее себе меру и рифму. И не в одних стихах являлся его прекрасный, необыкновенный дар! Он с таким же искусством и счастьем писал в прозе. В первых своих прозаических произведениях он играл, можно сказать, шалил языком, но в последних поднялся на высокую степень. Слог его повести «Капитанская дочка» простотою, естественностию, выразительностию и правильностию показывает, какую пользу он принес бы русскому языку, если б жил долее. Он изучал язык прилежно, строго, основательно и нередко удивлял записных грамматиков своими умными, дельными, гениальными выводами и замечаниями. Дарования, ум, творения Пушкина никогда не умрут в памяти русских; никогда не погаснет сожаление о его преждевременной кончине. Какие прекрасные надежды, какие драгоценные ожидания сошли с ним в могилу! <...>

Седьмое чтение (26-го января)

<...> О песнях барона Дельвига мы упоминали: они отличаются единством и силою чувства, прелестною простотою стихов, необходимою их стихиею. Предоставляю моим слушателям самим прочесть его песню:

Наяву и в сладком сне
Всё мечтаетесь вы мне,
Кудри, кудри шелковые!⁶

У Пушкина есть несравненные песни в его поэмах; одна в «Кавказском пленнике»:

В реке бежит гремучий вал...⁷

В «Полтаве»:

Кто при звездах и при луне...⁸

Из содержания, тона и расположения большей части приведенных мною песен вы легко можете усмотреть, что они едва ли могут назваться собственными песнями. Это или рассказы, романсы, или элегии, выражение чувства унылого и грустного, изложенное песенными стихами. Вообще нет еще в пиитике наименования тем мелким стихотворениям, которыми поэт выражает мимолетную мысль и минутное чувство, в которых рисует небольшую картинку, подобную тем, которыми украшается дружеский альбом. Один называет это песнею, другой элегиею, третий просто стихами. Таковы задушевные, нездешние стихотворения Ф. Н. Глинки. Таковы творения Бенедиктова, прекрасные, свежие, разнообразные. Таковы унылые песнопения слепца Козлова. Таковы произведения Языкова, отличающиеся особенно чистым слогом, гладкостью и нежностью стиха. Таковы некоторые стихотворения Хомякова. Таковы блещущие искрами яркого ума стихи князя Вяземского. Таковы многие произведения несравненного, незабвенного, незаменимого Пушкина. Что может быть милее его мелких стихотворений, например следующего:

Буря мглою небо кроет...⁹

Прекраснейшая картина, прекраснейшее стихотворение, прекраснейшая музыка — тут всё вместе! И как повинуется ему язык! И как чисто картины ложатся одна подле другой! Кажется, конечно: за этим будет стих праздный, пустой, для наполнения строфы, для соответствия рифме? Нет! тут ложится мысль или чувство или еще новый образ. Живописец кончил пейзаж: смотрите, есть еще в углу простор, пустое местечко; он бросает туда новую фигуру, и это новая красота. Достойная внимания судьба поэта! О чем бы мы ни заговорили, что бы ни начали разбирать, все приведем к Пушкину; все окончим восклицанием удивления и глубоким по нем вздохом. Так в шумном, роскошном пиру после шипучего аи не вкусны, не приятны никакие вина, и в это искрометное вино падает горячая слеза воспоминания о том, что было и чего уже нет! В Пушкине сошли во гроб богатые надежды нашей поэзии. Он угас в то время, когда начинал чувствовать всю полноту своего гения, всю великость своего призвания. Скажем решительно, что, по нашему мнению, Пушкин велик, оригинален и неподражаем именно в своих небольших стихотворениях. Гений его не был постоянный огонь на жертвеннике музы, кроткий, ровный, благотворительный. Это вспышки волкана, мгновенные, но яркие и сильные. На большое стихотворение не ставало у него сил. И в «Евгении Онегине», и в «Руслане», и в «Борисе Годунове» видим только отдельные прекрасные места, но целого в них нет. Зато в тех стихотворениях, которые он писал, что называется, духом, за один присест, является все величие, вся гибкость, вся сила его самородного таланта.

В элегиях, то есть в выражении тоски душевной и стремления в мир лучший, пальма первенства принадлежит Жуковскому. Он начал литературное свое поприще переводом Греевой элегии «Сельское кладбище»¹⁰ и тогда уже показал, в каком тоне настроена его лира. Если смелость, живость, отчетливость картин воображения, нарисованных светлыми стихами,

принадлежит Пушкину, истинное выражение возвышенных помыслов и искренних чувств гармоническими стихами, каких дотоле в России не бывало, есть удел Жуковского. <...>

Одиннадцатое чтение
(1-го марта)

<...> Явился Пушкин, и с ним возникла у нас романтическая поэма, поэма времен новых, богатырских, рыцарских, не стесненная в пределах своих старинными формами, не обязанная растягиваться в двадцати четырех песнях, не подчиненная божествам и властям ветхого Олимпа! Дар Пушкина, как мы неоднократно говорили, заключался в богатом, блистательном воображении, выражавшемся прекраснейшими стихами. Он не создавал в точном смысле сего слова: он мастерскою кистью списывал картины природы. Не знаю, чем бы он был, если б не предался увлечению Байрона; может быть, и вероятно, был бы он выше и самостоятельнее. Этот странный взгляд на жизнь, это смешение высокого с низким, благородного с ничтожным, великодушия с дерзостью, самоотвержения с жадностью к наслаждениям, это возвышение силы характера над доблестью и благостью души, все это сбивает нас с толку в произведениях Пушкина и заставляет жалеть, что он не имел лучшего образца и руководителя. Друзья и читатели пали ниц пред его талантом и не дерзали говорить ему правду; враги и противники только раздражали и сердили его, а не наставляли и не образумливали.

Безусловные его хвалители ставят выше всех его поэм «Полтаву». Мы не разделяем сего мнения: эта поэма слаба и по вымыслу, и по исполнению. Это не Полтава, а Мазепа. Пушкин не мог писать дурных стихов, потому мы читаем и «Полтаву» с удовольствием; но в ней отнюдь нет того, что восхищает и пленяет нас в других его стихотворениях. И можно ли интересоваться его героем, гнусным изменником, развратником и злодеем, когда два великие мужа, Петр и Карл, проходят мимо нас тенью, и в этих тенях выше всего остального! Сверх того, многие картины и уподобления в «Полтаве» неверны и ложны. Говорят, эта одна его поэма национальная, историческая. Но неужели русская история не представила предметов, более достойных животворящей его кисти? Странный выбор — из всей русской истории для поэзии выбрать Мазепу, а для прозы — Пугачева. Вообще герои поэм Пушкина люди самые жалкие: изменники, картежники, развратники, холодные эгоисты. Видимое влияние вырожденцев байроновских! Пушкин сам мог бы сотворить их гораздо лучше. Доказательство этому находим в его женских лицах и характерах. Его Людмила, его Черкешенка, Мария, Зарема, самая цыганка Земфира истинны, верны, живы, прелестны, восхитительны, идеальны!

«Руслан и Людмила» изобилует прекрасными эпизодами и стихами, но это подражание западным романтикам, а отнюдь не русская поэма: ничего подобного этому на Руси не бывало. Критика очень справедливо заметила, что в предисловии к этой поэме, приделанном впоследствии, гораздо более русизма, нежели в самой поэме. Вот это прекрасное введение:

У лукоморья дуб зеленый...¹¹

О «Кавказском пленнике» написал он сам, побывавши за Кавказом: «Здесь нашел я измаранный список „Кавказского пленника“ и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно»¹².

«Бахчисарайский фонтан» есть прекрасная, великолепная декорация; между кулисами, мастерски расписанными волшебною рукою Дагерра¹³, ходят таинственные жены; две из них приподнимают покрывало: одна сверкнула молниями, которые объяснили один из счастливейших стихов Пушкина:

Твои язвительные очи
Светлეს дня, чернее ночи!

Другая, но пусть договорит сам поэт —

Гарема в дальнем отделеенье
Позволено ей жить одной...¹⁴

И вдруг обе, и Зарема, и Мария, исчезают с ударом грома, и над прахом Марии возвышается фонтан слез. Прелестная пантомима посреди волшебных декораций — и только. Очарованный несравненными стихами, читатель ждет чего-то, и напрасно.

Первенствующие произведения Пушкина и в этом роде, как и в прочих, поэмы небольшие. У него обыкновенно отдельная песнь лучше целой поэмы, а стих лучше песни. По мне лучшие его рассказы суть «Цыганы» и, соестно сказать, «Братья разбойники».

В «Цыганах» видим удивительную картину поэтического быта этого загадочного народа, который блуждает среди европейского образования, как оставшаяся наяву греза после странных сновидений, который, забыв свое происхождение, связывает Восток с Западом, Юг с Севером: пляшет и поет и ворожит хитаню¹⁵ в Андалузии; пляшет, и поет, и ворожит цыганкою в Москве, но охотно выбирает для привольной жизни своей те страны, где неустановившееся еще общество гражданское, как в Молдавии и Валахии, дает простор его прихотливым обычаям. И там нашел их Пушкин; там начертал эту живую, движущуюся картину верно с подлинником; там и Алеко его, выродок европейского образования, на своем месте.

В «Цыганах» есть всё: и живая картина местности, и точное изображение народных обычаев, поверий и нравов, и близкие портреты оригинальных лиц, есть и действие, поэтически, а может быть, и исторически истинное. К тому прибавьте очаровательные стихи Пушкина и получите одно из совершеннейших произведений его поэзии.

Вот картина цыганского табора:

Цыганы шумною толпой...¹⁶

А вот поход их:

И с шумом высыпал народ...¹⁷

А эта песенка:

Птичка Божия не знает...¹⁸

И воспоминание об Овидии:

Меж нами есть одно преданье...¹⁹

Пропустим драматическую часть, полную истины и поэзии, и прочитаем окончание:

Восток, денницей озаренный...²⁰

И его нет уже меж нами, певца доньне несравненного и долго еще единственного! И он угас в цвете лет и своего таланта! И он унес в темную могилу богатое сокровище, из которого бы мог долго, долго наделять наше воображение, питать ум и сердце. С ним умолк и этот очаровательный голос, на который в безмолвном умиленьи отзывалось всякое русское сердце.

«Братья разбойники» имеют великое достоинство. Это стихотворение отличается верностью и оригинальностью во всех чертах своих и самых малейших, едва заметных. В нем видим те генияльные черты карандаша, которыми великий художник в один почерк умеет нарисовать полную картину. Картина эта ужасная, по предмету своему отвратительная, а по взгляду поэтическому и художественной отделке высокая и неподражаемая. Сто раз негодовал я на Пушкина за выбор такого предмета и сто раз вновь принимался за книгу: видел шайку злодеев на берегу Волги, слышал стоны заключенного в остроге:

Воды! воды!
Мне душно здесь — я в лес хочу!

Следил за предсмертными его муками:

Три дня больной не говорил...²¹

Смеем ли мы винить поэта в выборе лиц и случаев? Он живет вдохновением, которое сходит к нему в мечтаниях и грезах, никогда не снившихся прозаиком!

В читающем свете пользуется большою славою «Евгений Онегин». В нем действительно есть прекрасные, оригинальные места; есть красоты перво-степенные, но нет целого: он написан в разные времена под различными впечатлениями и с различными видами. В старину были в моде картинки, называвшиеся *quodlibet**, на которых изображалась смесь разных предметов, разбросанных по столу: и рисунки, и силуэты, и ноты, и визитные билеты, и карты с загнутыми углами, и газеты, и обрывки афиш, с именем любимой артистки, и незасохшие брызги шампанского. К роду таких картин, набросанных великим художником в часы досуга, лени или затейливой шалости, принадлежит «Онегин», как говорит сам поэт,

Собрание пестрых глав
Полусмешных, полупечальных,
Простопародных, идеальных,
Небрежный плод *его* забав,

* *кводлибет* — от *лат.* *quod libet* (буквально: что угодно). — *Ред.*

Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет!²²

Но и в этом произведении Пушкин уступает только самому себе. Все подражания «Онегину», взятые вместе, не стоят одной его строфы. <...>

Народные сказки русские нашли многих подражателей, но мало удачных. Забавны сказки Пушкина, но они не русские: в них много чужого, прививного, и тон их не сказочный. Подражания Лутанского²³ состоят из набора поговорок; некоторые из них умны, остры, забавны, но излишество их вредит действию целого, и оно теряется в подробностях. Впрочем, все эти опыты, от самого «Ильи Муромца» Карамзина²⁴, показывают, что в народных преданиях и поверьях наших заключаются богатые приманки для поэтического духа. Но эти предания и рассказы должны быть собраны тщательно, очищены от чуждой и новой примеси; они должны найти понятливый и родной слух в поэте самородном, должны затрогать в его сердце русские струны, и у нас родится народная, истинно русская эпическая поэзия.

Двенадцатое чтение (8-го марта)

<...> Вы помните, почтенные мои слушатели, что я в моих «Чтениях» говорил о Пушкине; с каким удовольствием, могу даже сказать, с каким восторгом отдавал справедливость его великим дарованиям и прекрасным трудам, доказывая искренность моих суждений тем, что свободно выражался о его произведениях, в которых он уступает, но только самому себе. Нашлись добрые люди, которые, услышав от других, что я говорил о Пушкине, утверждают теперь, что я его разбил, уничтожил! Ссылаюсь в противном на всех, кто слышал мои о нем слова. Теперь более нежели когда-нибудь радуюсь я, что не говорю наизусть, а читаю свои беседы. Они будут напечатаны точно так, как написаны, и тогда публика решит, какими правилами руководствовался я в моих суждениях. Я принадлежу к самым искренним и гласным читателям великих талантов Пушкина, но не обязан и не дерзаю превозносить его безусловно и исключительно. Эти безотчетные восторги и коленопреклонения исступленных сеидов²⁵, во-первых, при жизни не могут быть приятны благородному писателю, уверенному, что в мире нет совершенства; во-вторых, приносят ему существенный вред, когда он сойдет со сцены: они легко превращаются в столь же безусловное порицание и нередко в устах тех самых, которые из личных расчетов, по духу партии или просто по слабоумию выхваляли в нем безошибочного папу или Далай-Ламу, боялись коснуться его славы, будто бы она была вылеплена из ломкого фарфору. Подождем несколько лет и послушаем, что тогда будут говорить его нынешние поборники. Я всегда восхищался дарованиями Пушкина, говорил ему это в глаза; в глаза же выражал ему мнения свои о тех сочинениях его, которые мне казались несовершенными и неудачными. Он слушал меня охотно и не сердился. Иногда легкие облачка, нагоняемые

усердием и благонамеренностью литературных маклеров, затмевали наше дружеское расположение, но они исчезали при первом свидании. Сперва коротенькое объяснение, потом с каждой стороны по две, по три эпиграммы, а там дружеский громкий хохот, пожатие руки, и все кончено. Век не забуду я того, что Пушкин на одре страданий, в предсмертных муках вспомнил о несчастьи, которое меня тогда постигло, и послал ко мне вздох искреннего сожаления²⁶. И я стану помрачать память его нелепою, оскорбительною лестью, унижать его талант мыслию, будто здоровое, справедливое, строгое суждение о его творениях может затмить его славу! Нет, почту в нем великого поэта самым приятным приношением — правдою, высказанною из глубины души, и заключу выражением общей горести всех русских, что отечество лишилось его так рано!

Четырнадцатое чтение (22-го марта)

<...> Повести являются у нас в неимоверном числе. Укажем на лучшие. Пушкин издал несколько повестей, под заглавием «Повести Белкина». Они были очень посредственны, слабы вымыслом, не вполне развиты и написаны небрежно. Критика полагала, что он не в состоянии написать в этом роде ничего хорошего, но он вскоре доказал, что она в этом случае ошиблась. Его «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» занимают первые места в ряду повестей русских. Особенно изобилует неподдельными красотоми «Капитанская дочка», в которой Пушкин с удивительным искусством умел схватить и выразить характер и тон середины XVIII века. <...>

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ТОМЫ IX, X и XI

С.-Петербург. В типографии И. Глазунова и К. 1841 г.
480, 308 и 353 стр. in 8°

Наконец мы имеем полное собрание произведений Пушкина, за исключением только нескольких мелких лирических пиес, немногих критических журнальных статей; но все это, вероятно, будет издано, кроме материалов, собранных поэтом для «Истории Петра Великого», состоящих в одних выписках из Голикова¹. Теперь, кажется, наступила пора отдать Пушкину то место в нашей литературе, до которого не все охотно его допускали; пора прекратить спор, еще при жизни поэта заведенный мелочным самолюбием, упорным староверским уважением к прежним нашим писателям и близоруким несознанием великого таланта в творце «Онегина». Слава Богу, голоса, когда-то буйно, и громко, и враждебно раздававшиеся против Пушкина, ныне мало-помалу умолкают в общем хвалебном ему клике. Людям, не отказывавшим в высоком поэтическом достоинстве Ломоносову, Хераскову, Дмитриеву, было как-то тяжело утвердить это достоинство за Пушкиным. Его называли безнравственным, потому что в его созданиях действуют не

классические герои и не резонеры, а просто люди, исполненные страстями; другие говорили, что вся заслуга нашего поэта состоит в легкой версификации, стало быть, равняли его с Подолинским и многими другими, которые также обладали этим достоинством. Даже усердные обожатели Пушкина считали его не более как поэтом выражения. Неужели это справедливо?

Но кто из всех русских поэтов в такой широкой раме, с большею полнотою и истиною выразил жизнь и судьбу человечества вообще и народа русского в особенности? Наша русская жизнь, а следственно, и литература образовалась из влияния двух элементов: европейского и своего отечественного, и никто, кроме Пушкина, не умел так тесно и благотворно сплавить в душе своей обе эти стихии. Дух его глубоко изучил эту длинную гамму жизни — от спальни мадритской певицы² или салона, где Татьяна

в малиновом берете
С послем испанским говорит,³

до дымной, освещенной лучиною хаты мужика⁴ и убогой черкесской сакли⁵. Кто у нас, не теряя своей самобытности, с такою восприимчивостию успел в своих творениях усвоить себе идеи исполинов европейской поэзии — Гёте и Байрона, Данте и Шекспира и древних греков? Также Пушкин, — вспомните его сцену из «Фауста» или «Цыган», подражания Данте или «Анжело», «Каменного гостя» и антологические стихотворения. Эту гибкую восприимчивость видим мы и в Жуковском, но он чужие, готовые идеи только переплавлял в прекрасные формы языка русского; а Пушкин, глубоко проникнутый духом великих писателей, как бы дополнял их своими творениями, которые ему самому принадлежали. Так, оригинально перенося в русскую литературу поэтические создания древней и новой Европы, он счастливее всех своих предшественников и современников опоэтизировал и мир славянский; воскресил нашу историческую старину в «Борисе Годунове», и мирный быт славян северных в своих сказках, и потрясаемую беспрестанными воинскими тревогами жизнь славян западных. И какая пленительная свежесть, какое чудное разнообразие красок, всегда сообразных с теми предметами, которые он облакал ими! Какие неуловимые переливы тонов, то беспечно веселых, как жизнь молодого повесы, то звучно торжественных, как гром русского оружия, то задумчиво унылых, как мечты страстной девы, то диких и грубых, как песнь земледельца. Облекая в поэтические формы жизнь во всем ее разнообразии, Пушкин был не менее разнообразен и в самых этих формах: колкая эпиграмма, исполненная глубоко страстного чувства элегия, благородный романс испанский, грациозное антологическое стихотворение, безыскусственная русская сказка, удалая песнь вакхическая, остроумное послание, байроновская поэма, историческая драма, фантастическая повесть, роман исторический, наконец, самая история — и во всем этом он является великим мастером своего дела. Сумароков был также разнообразен в своих произведениях, но это было следствием его холодного, враждебного истинному искусству намерения насильственно и безвременно навязать русской литературе формы, которых ей еще недоставало. Пушкин со всею силою своего духа увлекался всеми прекрасными явлениями жизни, природы и искусства и переселялся в тот мир, из которого почерпал свои глубокие и пламенные

вдохновения. Вот отчего все его произведения запечатлены тою искренностью и естественностью, которые служат главнейшим условием красоты и истины в поэзии. Вот почему в нем не видно того усилия, которое иногда изумляет нас яркостью красок и неожиданною странностью форм, но почти всегда противоборствует здравому смыслу и мучительно тяготит сердце, еще не развращенное немощно-чудовищными созданиями заблудшей фантазии. Читая произведения Пушкина, мы не можем не изумляться легкости, с какою они написаны: кажется, искусство было его природою; кажется, ему так же легко, так же необходимо было писать, как дышать. Говорить ли еще, как художнически округлены и окончены почти все творения, как звучит и блестит у него русский стих, которому он придал новую силу и гармонию, как в мощных руках его, подобно воску, гнется русский язык, которого дотоле неразгадаемые тайны он постиг с проницательностью ученого филолога и воспользовался ими с силою великого поэта.

Мудрено ли, что, обладая такими средствами, Пушкин успел в русской публике возбудить такой энтузиазм, какого не производил ни один из наших писателей. Вспомните, с каким восторгом юное поколение приветствовало первоначальные напевы его юношеской лиры, с каким искренним сочувствием оно, само с ним мужая, рукоплескало его дальнейшим трудам, с какою глубокою скорбью сопровождало его в раннюю могилу. Державин, Крылов, Жуковский, невидя на великие свои заслуги, не произвели и не могли произвести на нас впечатления столь общего и глубокого. Певец «Фелицы», достойно возвеличенный в свое время, развил свое прекрасное дарование в одной лирике и не пошел далее — для собственной его славы мы умолчим о его драматических опытах⁶. Крылов, по преобладающему в нем в высшей степени чувству народности более доступный русскому сердцу, не мог в тесной области басни обхватить всю полноту русской жизни. Жуковский, пленивший нас очаровательным унынием своей неземной поэзии и сладостною гармониею стихов, по своему германскому, мистическому, направлению не мог возбудить слишком теплого сочувствия в русском народе, воображение которого не любит блуждать в туманной области фантастических видений и более пригвождено к существенному, к земному. Пушкин в одном себе соединял всех этих трех поэтов: в нем есть и возвышенное чувство державинское, хотя проявляющееся не в столь величественных образах, но облеченное в более стройные и красивые формы; в нем билось и это истинно русское сердце Крылова, но жившее более полною и разнообразною жизнью; вместе с Жуковским он на своей русской лире переигрывал песни певцов иноземных, но сохраняя свою оригинальность. В произведениях Пушкина есть и тоска, неразлучная спутница современной музыки; но это не мягкое, девическое уныние певца «Ундины»⁷; это более скорбь мужа, тяжело оскорбленного разрушением лучших, светлых надежд своих, скорбь, иногда изливающаяся в звуках грустных, меланхолических, но более мстящая за себя меткою эпиграммой или резкою, благородною сатирой, подавляемая (что особенно любо русскому человеку) веселыми напевами разгульной песни или торжественными, сурово-угрюмыми, дифирамбическими звуками, выражающими сознание сил души, готовой на битву с судьбою и с собственным своим отчаянием.

И каких еще вдохновений ожидала эта мощная, исполненная прекрасной жизни душа!.. Но «Бог судил иное!»⁸... С чувством глубокой грусти пе-

релистываем мы три ныне изданные томы сочинений Пушкина. Вот неоконченная повесть, вот недописанное стихотворение, едва начатая поэма, вот последние предсмертные его пиесы, и, кажется, на них замерла охолодевшая рука поэта...

Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь.⁹

Вы читаете, и в ваших ушах раздается скорбно пророческий голос Пушкина, который на последней, может быть, для себя «Лицейской годовщине», поминая почивших друзей своих, восклицал:

И мнится очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый!¹⁰

...Почти все прозаические статьи и весьма многие стихотворения, помещенные в этих томах, уже были напечатаны в «Современнике», частью в «Литературной газете», издаваемой покойным Дельвигом, и в «Отечественных записках»¹¹. В <IX> томе¹², по странному случаю, и отроческие, лицейские произведения Пушкина, и последние превосходные его создания. Созерцательный ум критика здесь легко может провести параллель между талантом, едва расцветающим и достигшим полного своего развития. В начале этого тома помещены четыре большие пиесы Пушкина: «Медный всадник», «Каменный гость», «Русалка» и «Галуб»¹³; последние две не кончены. Главное действующее лицо в «Медном всаднике», бедный чиновник Евгений, составляет резкую противоположность со своим соименником, Онегиным, а между тем может идти вровень к мастерски обрисованному портрету последнего. Один бедняк, забытый счастьем, но с сердцем теплым, бьющимся только для своей Парашы, и теряющий ее, единственное свое благо, в день всеобщего бедствия; другой, взысканный всеми дарами счастья, но не умевший ими воспользоваться, потому что слишком рано отжил жизнью сердца, и в самом себе встретивший казнь за свое бессердие. Герой «Медного всадника» почти заслонен поставленною вокруг него огромною декорациею, представляющею картину наводнения и среди него колоссальное изваяние Петра Великого. Эта картина начертана истинно художническою кистью¹⁴. Небольшую драму «Каменный гость» сам Шекспир не поколебался бы назвать своею. Как превосходно в столь тесной раме представлен здесь Дон Жуан, который, кажется, весь с головы до ног был обрисован многими поэтами, избравшими тот же самый предмет для своих созданий; но Пушкин умел найти в этом типическом лице новые черты, еще выпуклее выставляющие его характер. И как очаровательна эта Лаура, настоящая испанская прелестница, пылкая и легкомысленная, игривая и бешеная, с сердцем, полным любви, и челом, заклеянным печатю разврата. Как искусно ведена последняя сцена Дон Жуана с Донной Анною, напоминающая подобную же сцену в Шекспировом «Ричарде III», и как поразительно она окончена¹⁵.

До самого Пушкина наши поэты не оживляли созданий русской народной фантазии или представляли их в искаженных образах. Наши древние предания, наши сказки таились только между простонародьем и, следовательно, не были достоянием литературы, которая стыдилась и робела променять сатира на лешего или Эвмениду¹⁶ на ведьму. Эти фантастические существа издали мелькали перед нашим воображением в неясных очерках, мы, беспрестанно обращая взоры на Европу, редко на них оглядывались, но подчас, желая блеснуть новизною и народностию, вызывали их из мира, для нас мало знакомого. Не взглядевши пристально в русалку, мы к ее недорисованному для нас образу придавали черты, более свойственные немецкой Ундине¹⁷ или древней Наяде¹⁸; иногда на широкие плечи русского витязя мы накидывали плащ испанского рыцаря. Пушкин глубже всех других наших писателей проник во мрак, застилавший русскую старину, и теснее всех с нею сблизился. Здесь предстоял ему подвиг трудный и смелый, тем более что он почти первый на него решился. Он должен был обделывать, так сказать, материалы сырые и слишком скудные, чтобы построить из них какое-либо здание, создавать лица и характеры из неопределенных очерков, воплощать тени давно забытые и рассеянные. Только с его переимчивым воображением, только с его сердцем, полным сочувствия ко всему русскому, можно было предпринять это дело, и он бы его, вероятно, совершенно dokonчил, если бы прожил несколько лет долее. Он без хвастовства мог сказать:

Там русский дух... Там Русью пахнет;
И там я был...¹⁹

И точно, он был там, в этом русском мире, вынес оттуда истинно русскую сказку, из похищенных у этого мира элементов начал создавать русскую фантастическую драму — и не dokonчил. Сколько бы, судя по началу, прекрасных сцен вылилось из-под пера поэта в этой «Русалке», содержание которой Пушкин, вероятно, почерпнул из переведенной им же сербской песни «Яниш Королевич»²⁰. Как хорош, как оригинален этот мельник, корыстолюбивый простак и отец снисходительный, какой пыл страсти дышит в каждом слове его дочери! Вся драма проникнута духом русской старины; вы видите истинно русских людей, но без той грязной тривиальности, без которой, кажется, не может их нам представить большая часть наших романистов²¹.

Поэма «Галуб» едва только начата, но в ней уже резко обозначается суровая, энергическая физиономия чеченца, именем которого названо это произведение²².

В этом же томе помещены две новые сцены из «Бориса Годунова», строфы из «Онегина», начатки поэм, сказка о купце Кузьме Остолопе²³ и разные мелкие стихотворения, не вошедшие в прежние восемь томов. Многие из этих пиес отличаются или глубиною заключающейся в них мысли, или полнотою и искренностию разлитого в них чувства, все красуются прелестью выражения. Выписываем одну из них, замечательную по своей оригинальности:

Не дай мне Бог сойти с ума;

Нет, легче посох и сума,
Нет, легче труд и глад.
Не то чтоб разумом моим
Я дорожил; не то чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грёз.
Силен и волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума;
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слушать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой лесов;
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.²⁴

Сказка о купце Кузьме Остолопе доказывает, как сильно было в Пушкине желание оживить нашу народную поэзию и как мастерски он умел подладиться под ее полудикие тоны. Она написана рифмованными стихами, без всякого размера, точно как, например, сказки в «Старичке Весельчаке»²⁵, но относится к ним, как создание искусства к грубым произведениям природы.

Во многих лицейских стихотворениях уже предзнаменуется будущий великий художник. Резец юноши иногда скользит по упорному мрамору, но иногда проводит по нем черты смелые и сильные. Еще на ученической скамье, сознавая свое высокое предназначение, юный поэт говорит в послании к Жуковскому:

Благослови, поэт! в тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб – и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паренья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья.²⁶

В самой ранней юности, когда обыкновенно тревожная фантазия торопливо мечется от одного видения к другому, Пушкин с наблюдательностью спокойной возмужалости анализирует предметы своих вдохновений —

Случалось ли ненастной вам порой
 Для зимнего при позднем, тихом свете
 Сидеть одним без свечки в кабинете:
 Все тихо вокруг: березы больше нет (?);
 Час от часу темнеет окон свет;
 На потолке какой-то призрак бродит;
 Бледнеет уж — и синеватый дым,
 Как легкий пар, в трубу вьется, уходит;
 И вот, жезлом невидимым своим,
 Морфей на все неверный сон наводит.
 Темнеет взор; Кандид из ваших рук,
 Закрывшись, упал в колени вдруг;
 Вздохнули вы; рука на стол валится,
 И голова с плеча на грудь катится...²⁷

Большая часть этих стихотворений посвящена прославлению Вакха и Киприды.

В X томе содержатся пять больших прозаических пьес. Верность в описании нравов и исторических подробностей, резкое очертание характеров, постепенно возрастающая занимательность рассказа — вот черты, отличающие повесть «Арап Петра Великого», которая, к сожалению, не кончена. Другая (вполне конченная) повесть «Дубровский» в истинном свете изображает быт наших богатых помещиков — седых вельмож Екатерининского века. Троекуров — это настоящий русский барин XVIII столетия, гордый, упрямый, своенравный, блистающий роскошью из тщеславия, презирающий всех, кто ниже его по чину и богатству. Но молодой Дубровский кажется нам лицом не русской природы. Это какая-то смесь Фрадиаволо²⁸ и Карла Моора²⁹ — русский офицер, который из мщения и ненависти делается атаманом разбойников, потом под личиною губернатора француза скрывается в доме Троекурова, смертельного врага своего; ловкий и хитрый удалец, который, будучи преследуем полицией, в этом самом доме без важной побудительной причины грабит ночью одного гостя и открывает ему свое имя, в одно время проказничает на больших дорогах и заводит интригу с дочерью Троекурова, — все это не весьма естественно, в радклифском³⁰, а не в пушкинском духе. Впрочем, при прелести рассказа не весьма правдоподобное содержание этой повести занимательно в высшей степени.

«Летопись села Горохина»³¹ представляет чрезвычайно верную картину нашего сельского быта; в нашей литературе не много прозаических рассказов, отличающихся столь оригинальным, простодушно-остроумным изложением³². Судя по началу повести «Египетские ночи», можно предполагать, что это было бы превосходное произведение³³. С какою выразительностью уже на немногих страницах обрисованы физиогномии русского поэта и итальянского импровизатора. «Сцены из рыцарских времен» самая слабая пьеса в этом томе: это какие-то не довольно ясные, слегка набросанные очерки³⁴. Пушкину, кажется, хотелось написать нечто в роде «Геца фон Берлинхгена»³⁵, но на этот раз он далеко отстал от своего образца.

XI том весь почти составлен из мелких статей: журнальных и критических заметок, кратких биографических очерков, едва начатых повестей, исторических анекдотов и отрывков из собственных записок автора, драгоценных как материал для будущей его биографии. В высшей степени любопытны рассеянные в этом томе суждения Пушкина о разных современных литературных явлениях и о некоторых наших писателях.

Эти три тома изданы гораздо опрятнее девяти прежних, но, к сожалению, в них очень нередко попадаются пропуски и опечатки³⁶.

С. П. ШЕВЫРЕВ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА».
ТОМЫ IX, X и XI

С.-Петербург. 1841. IX (IV. 480 стран<иц>),
X (380 <страниц>), XI (353 стран<ицы>). Изданием Ильи Глазунова,
Матвея Занкина и К°. В Типографии Глазунова и К°.

Три последние тома Сочинений Пушкина наконец явились в свет. Кто, любя искренно русскую поэзию, не бросится на них со всею жадностью раздраженного ожидания? Это ведь последнее, что нам и всей России осталось от нашего незабвенного художника, которого мы так рановременно, так ужасно потеряли.

Читая их, мы как будто вступаем в богатую, в разнообразную мастерскую ваятеля, который, в самом разгаре своей художественной деятельности, был застигнут смертью и насильственно покинул резец неутомимый. Его уже нет, но дух его и рука невидимо присутствуют повсюду. Там из дикой груды чудного мрамора начинают выходить стройные группы; великие мысли в них разоблачаются, но смерть внезапно сковывает движение массы; здесь несколько разнообразных эскизов набросано торопливою рукою уверенного в силах своих художника; там, над туловищем нетронутого мрамора, поднялась прелесть-голова, и ниже мрамор начинал уже волноваться, и грудь начинала дышать под наитием вдохновенного резца, и все прервано неожиданным холодом смерти; кой-где профили, части тела, счастливые удары руки, намекавшие что-то; и все или не довершено, или не dokonчено! Вы не можете довольно налюбоваться чудными формами; вы удивляетесь той власти, с какою художник, в полной поре развития, покорял упорный мрамор волшебному резцу своему; глубокие думы осаждают вас при виде сих неоконченных произведений — и вы, насладившись тем, что в них довершено, хотите смелою мыслию отгадать, что бы еще было?.. Куда бы понеслась далее фантазия художника? Всюду, с полным наслаждением изящного, сливается тяжелое чувство грусти о том, сколько утрат понесено искусством! скольких надежд мы лишились! А когда вспомнишь, что этот художник был первый поэт русский, гениально отгадавший тайну нашей народной поэзии; что его мастерская была наша русская жизнь, в которой он наиболее черпал свои вдохновения; что этот чудный мрамор, покорявшийся меткой руке его,

был наше русское слово, которого поэтическую тайну он постиг и унес с собою... О! тогда чувство грусти одолевает нас сильнее, чем все прочие, и четырехлетняя рана незамененной утраты оживает в нас еще с большею силою, чем когда-нибудь.

Вот первое впечатление, которое произвели на нас последние три тома Сочинений Пушкина и которое вместе с нами, конечно, разделят все любители поэзии и славы нашего отечества.

Да, чем более изучаем мы произведения Пушкина, особенно последние, чем более вглядываемся во все окружающее нас в современной русской литературе, — тем более чувствуем, что потеря наша незаменима. Но, успокоив чувство грусти, посвятим самое глубокое внимание изучению последних плодов его творческой деятельности; постараемся проникнуть в то направление, которое принял поэт в последние годы своей жизни; постараемся здесь определить его характер, ибо здесь, как видно по всему, он был в самой могучей поре своего развития, — и осмелимся хотя слегка приподнять завесу будущего, которую навсегда закрыла от нас неумолимая рука смерти.

Еще за несколько лет до своей кончины поэт, первый мастер русского стиха, победительно усвоил себе и русскую прозу, и равно искусно владел обеими формами отечественной речи, умея, как никто другой в литературе нашей, полагать самые строгие границы между русскими стихами и русскою прозою.

Но эти две формы, резко отличенные друг от друга, никогда им не сливаемые, как мы докажем после, и всегда поддерживаемые в равной степени их относительного достоинства, не без особенного значения являются под пером Пушкина в позднейших его произведениях. Они служат выражением для двух главных направлений, которые в последнее время принял дух его. Стихами изображал он тот мир, идеально прекрасный, где было первоначальное назначение Пушкина и где воспиталась его вдохновенная муза; прозу предоставлял для того мира живой действительности, с которою опыт собственной жизни познакомил его гораздо позднее, — и это знакомство не было избрано гением Пушкина по собственному сознанию, а скорее вызвано было потребностями века.

Из трех томов, теперь вышедших, девятый содержит стихи Пушкина и представляет плоды его первого направления; том десятый заключает в себе прозу и относится ко второму; наконец, том одиннадцатый, по форме своей принадлежа также к прозе, представляет драгоценные материалы для его биографии, знакомит с образом его мыслей о некоторых частях русской жизни, о литературе, об обществе и проч. Мы в своем разборе пройдем все три тома по порядку.

Первый, заключающий в себе стихи, тем особенно для нас любопытен, что в нем соединены и конец, и начало всей поэтической деятельности Пушкина. За стихотворениями, которые писаны в последние годы его жизни и представляют высший цвет стихотворного стиля, следуют его стихи лицейские — любопытные особенно для истории его развития. Здесь сходятся, таким образом, младенчество поэта с его полным мужеством, — и любопытно видеть, как все то, что пророчил о себе уже могучий младенец, совершил вполне развитый муж, во всем цвете сил своих похищенный у нас смертью.

Читая стихотворения последних годов его жизни, нельзя не удивляться тому, до какой степени совершенства довел Пушкин отделку форм русского стиха. Нечего сказать, что русский язык и твердостью, и упругостью своей, и красотой похож на каррарский мрамор лучшего сорта; но у Пушкина он становится так емок и покорен, как никогда еще не был.

Стих — эта коренная и законная форма поэзии — соединяет в себе, как известно, два элемента: музыкальный и пластический — звук и слово. Тогда только он достигает полноты своего совершенства, когда обе стихии равномерно в нем сливаются и ни одна не уступает другой своего преимущества. До Пушкина русский стих прошел через две школы. Первая была державинская; она имела характер чисто пластический, мало заботилась о звуке и обращала все внимание на образ; рифма была у нее в пренебрежении; стих всегда тяжел и нагружен; конечно, ни один из наших славных поэтов не может представить таких обильных примеров стихотворной какофонии, как первый мастер этой школы, сам Державин. Вслед за пластическою школою образовалась у нас школа музыкальная: основатели ее — Жуковский и Батюшков. Она обратила все внимание на звуки стиха — на их стройное, гармоническое, безостановочное течение. Вы помните те времена, когда у нас толковали о легкой поэзии, и Батюшков посвятил этому предмету академическое рассуждение: легкая поэзия — мечта новой музыкальной школы — по словам Батюшкова, чистая, стройная, гибкая, плавная, была не что иное, как поэзия благозвучная, которая сладко нежила ухо новыми свободными звуками, до тех пор неизвестными в языке русском¹. Взгляните на рифму этой школы: какая строгая оконченность до последнего звука! Мы недаром приглашаем *глядеть* на нее: она в самом деле существует не для одного слуха, но и для глаза. Она не пользуется даже счастливым свойством нашего языка, который, по сходству звука, позволяет рифмовать буквам *о* и *а* в словах женского окончания. Но музыкальная школа считала это за ошибку против верности звука. Она создала гармонию нашего стиха, после того как Карамзин создал гармонию нашей прозы. Введением всевозможных размеров она развила музыкальный элемент поэзии отечественной в разнообразнейших видах. Но поэзия образов много была забыта в этой школе и уступала поэзии звуков.

Из этой-то школы вышел Пушкин. От нее, по закону предания и наследия, существующему во всяком человеческом развитии, принял он стих, оконченный звуком, стройный, гармонический. Но для Пушкина было этого мало. Ученик того поколения, которое непосредственно ему предшествовало, Пушкин изучал и Державина, как видим мы во многих его лицейских стихотворениях, тем особенно важных, что они открывают нам тайну первоначального его развития. Гений Пушкина имел особенное сочувствие с пластическим элементом поэзии Державина. Он совместил в стихе своем образ державинский с звуком Жуковского и Батюшкова — и тем повершил изящную форму русского стиха, который, в отношении к образу, достиг у него до прозрачности алебаstra восточного, возделанного резцом Фидиевым, в отношении к звуку — до чистой мелодии русской, звучащей в опере великого Россини. Для того чтобы совершить этот подвиг, мало еще было изучать обе школы, в коих заключались отдельно элементы стиха русского: для того потребны были русский глаз и русское ухо, которыми Пушкин одарен был в высшей степени. Под именем русского глаза мы разумеем тот верный

глаз, который подмечает точно и подробно все образы внешнего мира: он имеет много сходства с глазом итальянским. Под именем русского уха мы разумеем то особенное сочувствие к гармонии звуков языка отечественного, которое всегда бывает у поэта, вполне наделенного природою. Надобно было послушать, как читал Пушкин русские песни и свои стихи, чтобы вполне убедиться в том, что широкий орган его голоса был совершенно устроен по широкому звуку русского языка.

В Италии есть поговорка об Рафаэле, что он унес с собою в могилу тайну своих красок. У нас можно то же сказать о Пушкине, что он взял с собою тайну своего стиха. Странно, что почти все новое поколение наших стихотворцев, т. е. выступившее на сцену по смерти Пушкина, питая похвальное неограниченное благоговение к великому художнику русского слова, весьма мало следует преданиям формы, какие оставил наш славный мастер, и несколько не стремится к тому, чтобы сохранить его краски. В этом отношении дамам следует отдать преимущество². Мы могли бы представить одно только исключение из этого общего замечания; но и тот свежий талант, который за все поколение свое один как будто отгадывал тайну пушкинского стиха, увя! принадлежит к утратам, какие нам непрерывно суждено оплачивать в литературе нашей³.

Есть общее, прстонародное мнение у нас, что со времени Пушкина русский стих сделался легок и доступен для всех без исключения. В самом деле, кто теперь не пишет легких стихов? И купцы, и крестьяне, и дети. Хотя эта доступность имела свою невыгоду в том, что породила многих плохих стихотворцев; но не менее того заслуга народного художника была велика. Пушкин, подарив стихотворное искусство своему народу во всеобщее, бесправное владение, тем много содействовал эстетическому образованию и народа своего, и языка. У нас в малой мере совершилось то же самое явление, какое давно уже существует на родине европейского искусства, в Италии, где правильные внешние формы поэзии составляют собственность всей нации, где сонетом может владеть почти каждый.

Да, Пушкин снял привилегию с русского стиха, пустил его в народ, но тем создал новую, не для многих доступную трудность: ибо тогда красота искусства достигается тяжелее, когда общие его формы облегчены для всех. Вот лучшее возражение тем, которые несправедливо обвиняли Пушкина в том, что он, облегчив для всех русские стихи, тем будто бы сам способствовал к упадку русской поэзии. Да изучите внимательно стих самого Пушкина: как он бесконечно высоко звучит над всеми теми бесчисленными стихами, которые сам же он породил в литературе нашей! Какую солнечную яркостью блещет он перед всем тем, что от него же, как мириады звезд, получило свет свой! Механизм русского стиха разгадан для всех, но высшая тайна искусства осталась за Пушкиным.

Если дагерротип сделал портретное искусство всенародным, то это несколько не уменьшило достоинства портретов кисти Рафаэлевой. Во всяком искусстве изящном присутствует свобода творческого духа, под которую не подделается никакой самый хитрый механизм: она-то составляет собственность и тайну гения, которых никакая сила отнять у него не может.

Стихотворная поэзия русская со времени Пушкина находится в периоде всеобщего владения: она теперь в руках у всех. Зато хорошие стихи, достойные самого великого мастера, раздаются как нельзя реже. Лучшие таланты

наши возделывают прозу. Такой период бывает в поэзии всякого народа неизбежным следствием полного устройства и обобщения художественных форм. Но за ним должен последовать другой, когда тайна пушкинского стиха, теперь на время забытая, снова откроется и сделается собственностью немногих.

Если бы мы захотели характеризовать все развитие пушкинского стиха по периодам его стиля, то мы пришли бы, как нам кажется, к следующему заключению. Пушкин вышел сначала из школы музыкальной — и потому в стихе его первых произведений звук преобладал над образом; но чем более развивался поэт, тем более стройный звук его стиха превращался в образ, не теряя своей звучащей природы... Под конец поэзия Пушкина, в отношении к внешним формам, представляет нам самую полную гармонию русского языка, которая постепенным превращением получила вид чудной звучащей картины: тут звук его стиха, продолжая звучать, нарисовался и покрылся самыми яркими красками: таким является он особенно в последних его стихотворениях, к которым мы теперь переходим.

Несколько эскизованных и начатых произведений теперь перед нами. Более других довершен до конца «Медный всадник». Вглядываясь во все это, мы сами собою отгадываем, как бурная внешняя жизнь отвлекала художника от постоянных занятий любимым его искусством; как она, вторгаясь в святыхлице души его, мешала ему вполне развивать и доканчивать то, что в ней так чудно, так творчески зачиналось. Правда, что эскизованье, недостаток полного развития в отношении к подробностям и к целому входит как общая черта в характеристику Пушкина-художника. Всегда до чудной, крайней оконченности совершенный в отделке внешней формы, Пушкин не довел ни одного из больших значительных своих произведений до всей полноты развития в целом, до какой способен был достигнуть его гений. В этом отношении мы особенно укажем на его «Полтаву» и «Бориса Годунова». «Евгений Онегин», самое высшее произведение Пушкина, всех более отразившее в себе жизнь ему современную, эта Одиссея нашего времени, служит самым сильным доказательством в пользу мнения нашего, потому что в самом зародыше этого произведения главным условием был недостаток полноты в целом. «Капитанская дочка», напротив, всего более противоречит сказанному нами: это произведение лучше других он выносил — и в нем можно было видеть переход к какому-то еще новому, дальнейшему развитию Пушкина, если бы жестокая судьба русской поэзии не присудила иначе.

Причины этому недостатку полноты развития в художественных произведениях поэта заключаются во многом: и в истории поэзии русской, и в характере всего нашего образования (ибо поэт зреет вместе со своим народом), и в отношениях, какие существуют у нас между искусством и жизнью, и, может быть, в стремительном, неудержном духе самого художника, который только порывами предавался искусству, слишком много зависел от впечатлений внешней жизни и не мог спокойно выносить в себе ни одного произведения. Но те вдохновения, которые посещали его в псковском его уединении, были полнее и развитее, нежели те, которые он урывками похищал у бурной жизни севера.

В «Медном всаднике» чудеса русского стиха достигли высшей степени. На первом плане вы видите здесь мастерски набросанную картину петер-

бургского наводнения; далее, на втором плане, сумасшествие молодого Евгения и эту чудную картину Великого бронзового всадника, который с грохотом скачет неотступно за безумным. Каким чутким ухом Пушкин подслушал этот медный топот в расстроенном воображении юноши! Как умел он тотчас найти поэтическую сторону в рассказе события, кем-то ему сообщенном! Если взглянуть слегка, поверхностно, то, по-видимому, между наводнением столицы и безумием героя нет никакой внутренней связи, а есть только одна наружная, основанная на том, что влюбленный юноша в волнах потопа теряет свою любезную и все счастье своей жизни. Но если взглянуть мыслящим взором внутрь самого произведения, то найдешь связь глубже: есть соответствие между хаосом природы, который видите вы в потоке столицы, и между хаосом ума, пораженного утратой. Здесь, по нашему мнению, главная мысль, зерно и единство художественного создания; но мы не можем не прибавить, что этот превосходный мотив, достойный гениальности Пушкина, не был развит до конечной полноты и потерялся в какой-то неопределенности эскизованного, но мастерского исполнения.

За «Медным всадником» следуют: «Каменный гость»⁴, драматический эскиз, и «Русалка», начало народной драмы. Пушкин еще в 1826 году, после достопамятного своего возвращения, имел уже мысль написать эти два произведения и говорил о том. Еще был у него проект драмы «Ромул и Рем», в которой одним из действующих лиц намеревался он вывести волчицу, кормилицу двух близнецов⁵.

Замечательно, что давнишний замысел Пушкина о Каменном госте явился в кратких, резких, сильных очерках. В обеих драмах, но особенно в этой, заметно весьма пристальное изучение Шекспира, которому Пушкин, как видно и по его поэме «Анджело», и по отрывкам в «Смеси», предавался особенно в последние годы своей жизни. В XI томе (на стран<ице> 168) находим мы глубокие его замечания о характерах Шекспира в сравнении с характерами Мольеровыми⁶.

В «Каменном госте» лицо Лауры чудно создано: она своею дерзостью, решительностью и лаконизмом слов напоминает несколько подобные лица Шекспира; но она возвышена, в ней более идеальной поэзии и особенно замечательно это увлечение, эта непогасшая страсть к Дон Жуану, придающая какое-то благородство униженному лицу ее. Последняя черта отгадана в сердце испанки, девы юга.

Сцены Дон Жуана с Донной Анной напоминают много сцену в Ричарде III между Глостером (Ричардом III) и Леди Анной, вдовой Эдуарда, Принца Валлийского⁷, даже до подробности кинжала, который Дон Жуан, как и Глостер, употребляет хитрым средством для довершения победы. Положение совершенно одно и то же: не мудрено, что Пушкин и без подражания, без подущения памяти сошелся нечаянно в некоторых чертах с первым драматическим гением мира.

Но вообще манера вести свои сцены, приемы драматического разговора, его извивы и внезапности показывают явно, что Пушкин в последнее время много изучал Шекспира. Он изучал его, как все великие драматики, как Гёте и Шиллер изучали его же, как все славные живописцы XVI и XVII века изучали Микеланджело. В этом отношении я укажу еще в «Ру-

салке» на монолог Князя при виде сумасшедшего старика. Эти размышления о безумии, вложенные тут кстати, напоминают замашку совершенно шекспировскую. Мы приведем все место:

И этому все я виною! страшно
Ума лишиться! Легче умереть:
На мертвеца глядим мы с уваженьем,
Творим о нем молитвы: смерть равняет
С ним каждого. Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
Напрасно речь ему дана — не правит
Словами он; в нем брата своего
Зверь узнает; он людям в посмеянье;
Над ним всяк волен; Бог его не судит...

Чудное сочувствие Пушкин имел со всеми гениями поэзии всемирной — и так легко было ему усвоивать себе и претворять в чистое бытие русское их изящные свойства! Это в Пушкине черта национальная: как же было ему не отражать в себе характера своего народа?

Возвращаясь к «Дон Жуану», мы не можем пропустить без внимания заключительной сцены. Как тотчас после преступного поцелуя поразительна внезапность появления статуи! Как глубоко значительна эта быстрая смена преступления наказанием! Здесь самая скорость эскиза помогла художнику. Эта сцена совершенно убеждает нас в том, что Пушкин глубоко понимал тесную, неразрывную связь изящного с нравственным, особенно в поэзии воли человеческой, в драме. Как многосмысленно разрешается в этих двух стихах вся разгульная жизнь разврата!

Статуя

Дай руку.

Дон Жуан

Вот она... о, тяжело
Пожатье камешой его десницы!

Но чего лишились мы в неоконченной «Русалке», которая обещала быть одним из первых, одним из самых народных произведений Пушкина! «Русалка», известная опера⁸, сделалась у нас преданием национальным: мудро ли, что Пушкин увлекся им? Если бы он докончил это произведение — мы имели бы чудную народную драму в роде фантастических драм Шекспира. Здесь-то надобно удивляться тому, как поэт умел самый простой и грубый материал возвышать до красоты идеальной. Эта оболыщенная девушка, которая топится с отчаяния и превращается в мстительную волшебницу, совершенно в нравах преданий русских; этот мельник-ворон — какая чудная фантазия! Сколько грации в свадебных песнях, в хорах русалок!

Глубокое чувство тоски положено в основу драмы: этот червь уныния есть плод преступления, плод нарушения клятвы, которое такою разительною катастрофой открывает драму. Здесь был сильный, значительный зародыш; здесь-то, сколько смеем отгадывать по неоконченному, покоилась дра-

матическая идея произведения, имеющая такое же глубокое нравственное значение, как и идея «Каменного гостя». Как бы далее разыгралась фантазия художника! Все превращения русалки предлагали столько прекрасных мотивов для его волшебной кисти. А на какой чудной сцене он остановился! Свидание князя с русалочкой, его дочерью, ему еще незнакомой, какой грациозный мотив для поэта драматика! И этого даже завистливая судьба нас лишила!.. С тяжким чувством останавливаемся на последних стихах:

Что я вижу!
Откуда ты, прелестное дитя?..

Грустное раздумье берет нас: что бы это было?

Обе драмы представляют совершенство драматической формы разговора в стихах. Вот что должны бы изучать наши переводчики Шекспира, если желают передать нам в стихах произведения драматика Англии достойно искусства и достойно языка русского.

«Галуб»⁹, если б был окончен, верно задуманного на месте характера стал бы выше «Кавказского пленника», в котором на чудном кавказском ландшафте мы видим тени байроновских героев. Стихи «Галуба», «Кромешника»¹⁰, начала Поэмы¹¹ достигают такой степени совершенства в отделке, что в них не знаешь, чему более удивляться: Пушкину ли или русскому языку? Это резец Кановы или Тенерани¹², покоровший себе до конца всю звонкую твердость нашего мрамора. Мы желали бы расположить характеристику пушкинского стиха по эпохам стиля, как располагают стиль Рафаэля или Гвидо Рени¹³. Это необходимо сделать со временем. Но для того мы должны обратиться к господам издателям сочинений Пушкина. Мы не можем не посетовать на них за то, что они, во-первых, многое напечатали с явными ошибками, во-вторых, перемешали сочинения разных годов и вместе с последними, блистающими всю роскошью зрелого стиля, поставили рядом первые произведения юности, носящие на себе печать его первой манеры, и, в-третьих, не потрудились приложить списка с означением годов, к каким относятся произведения. Этот последний недостаток резко замечается и в восьми томах: мы именем науки и любовью к словесности русской заклинаям издателей к последнему, 12-му тому приложить необходимый список¹⁴, без которого не может обойтись история русской поэзии*.

В *Мелких стихотворениях*²⁹ сколько драгоценного! Мы скажем слово об некоторых. Чудная грация в Антологических³⁰! Какую свободную мыслью Пушкин постигал дух древних, не зная ни одного древнего языка! В стихотворении «М*»³¹ русское благородное чувство выразилось в этих замечательных стихах:

Наш мирный гость нам стал врагом и ныне
В своих стихах, угодник черни буйной,
Пост он ненависть: издалека
Знакомый голос злобного поэта
Доходит к нам!.. О Боже! возврати
Твой мир в его озлобленную душу.

Эта чистая молитва Пушкина исполнилась. — Из двух ненапечатанных сцен «Бориса Годунова» первая народная сцена превосходна; мы не понимаем,

* Относительно неисправности текста мы вменяем себе в обязанность представить несколько замечаний и даже догадочных исправлений.

Т. 9, стран<ица> 42 напечатано:

И сторожа кричат протяжно: *ясно!*.

Вероятно, должно читать:

И сторожа кричат протяжно, ясно!¹⁵

Стран<ица> 173 напечатано:

И свитки в мраморных руках.

Один 4-стопный стих в ряду пятистопных¹⁶.

Стран<ица> 175 напечатано во 2-м «Подражании Данту»:

Жир должников своих сосал сей злой¹⁷.

Вероятно, должно читать:

Жир должников своих сосал сей грешник злой.

Невозможно, чтобы Пушкин среди шестистопных сряду стихов вдруг поставил такой неблагозвучный пятистопный¹⁸.

Стран<ица> 236 напечатано в «Лицейской годовщине»:

Стал *гуше* звон его заздравных чаш.

Вероятно, должно читать:

Стал *глуше* звон его заздравных чаш¹⁹.

На этой же самой странице сбиты две строфы вместе.

В лицейских пьесах еще более опечаток, потому что издатели слишком верно следовали псевверным спискам, в которых дошли до нас эти стихотворения. Мы напомним на некоторые ошибки.

Стран<ица> 274 напечатано: Лишь ветры со свистом *воют*. — Судя по следующей рифме: *ледеилют*, должно читать: *веют*, а не *воют*²⁰.

Стран<ица> 301 напечатано: Мне не даст покоя Цитерея.

Должно читать: Мне не дает покоя Цитерея²¹.

Стран<ица> 330 вместо: *надо мною* должно читать: *надо мной*;

вместо: Парнасскою *скалою* д<олжно> ч<итать>: П<арнасскою> *скалою*.

На 333<-й> стран<ице>, вероятно, пропущены два мужеские стиха: иначе невозможно объяснить четыре стиха женских сряду в пьесе, где стихи разного окончания меняются попарно²².

Стран<ица> 350: Так рано встретил я и зрак кровавой

И низкой клеветы сокрытый яд!

В первом стихе что-нибудь да пропущено, должно быть: и мести зрак кровавой²³.

Стран<ица> 361. Во 2-й средней строфе: слово *желанный* рифмуется со словом *одинокой*; должно читать, вероятно: *жестокой* вместо *желанный*²⁴.

Стран<ица> 363 вместо: *на краюшке* должно читать: *на краешке*²⁵.

Стран<ица> 375 Пейте за славу

Славы друзья!

Братной забавы

Любить не лъзя.

Эти два стиха мы помним в списках, ходивших по рукам: они, как по всему видно, изуродованы. Мы хотя боимся быть слишком смелы, но позволим себе отгадать эти стихи Пушкина таким образом:

Браней забаву

Любит не я.

Пушкин мог в таком возрасте сделать ошибку грамматическую, но, конечно, не нарушил бы меры стиха²⁶.

Стран<ица> 398 напечатано: Покорным плутом зрит себя.

Уж конечно, не *зрит*, а *знет* себя было у Пушкина²⁷.

Стран<ица> 401. Вместо: с главой в колени *преклоненный* д<олжно> читать: *преклоненной*²⁸.

На стран<ице> 461 и 462 две строфы из «Евгения Онегина» сбиты в одну, без разделения.

Вот как у нас надобно восстанавливать текст поэта, умершего тому назад четыре года! С<тепан> Ш<евырев>.

почему она была пропущена в издании драмы³²; но что касается до второй, до сцены между Мариной и Рузей, мы думаем, что Пушкин пропустил ее умышленно³³. Едва ли она нравилась ему самому. Характер Рузи обрисован слишком новыми чертами служанок из наших комедий. — В подражаниях Данту Пушкин завещал нам образцы превосходных русских терцин пятистопной и шестистопной длины: удивительно, как великий художник успевал во всем дать пример и указать путь. Те ошибутся, которые подумают, что эти подражания Данту — вольные из него переводы. Совсем нет: содержание обеих пьес принадлежит все самому Пушкину. Но это подражание Данту только по форме и по духу его поэзии. Первое из них, аллегорического содержания, подражает более по форме: это пятистопная русская терцина, совершенно близкая к дантовской, с тою только разницей, что в ней рифмы мужеские и женские перемешаны по строгим правилам русской просодии. Что касается до аллегории, в ней содержащейся, то она к Данту самому нисколько не относится. Второе подражание гораздо замечательнее. Оно писано также терциною, однако шестистопною, и потому внешнею формою отходит от терцины дантовской. Но дух всей этой пьесы и пластические стихи, доведенные до высшей степени совершенства, до того напоминают дух и стиль Данта в некоторых песнях «Ада», что удивляешься нашему славному мастеру, как умел он с одинаковою легкостью и свободою переноситься в дух древней греческой поэзии, восточной, в Шекспира и в Данта. Многообъемлющему гению Пушкина все было возможно. Чего он не знал, то отгадывал творческою мыслию. Картины печеного ростовщика и этой стеклянной горы, которая

Звения, растрескалась колючими звездами³⁴ —

вы не найдете у Данта; но они созданы совершенно в его духе и стиле, и он бы сам, конечно, от них не отказался. Все это подражание можно назвать дополнением к XVII, XXI и XXII песням его «Ада». Но те опять ошибутся, которые подумают, что вся Дантова поэма состоит из подобных картин. Она так же разнообразна, как мир Божий и мир человеческий, как мир добродетели и греха. Пушкин написал подражание только тем песням, в которых Дант казнит самые низкие пороки человечества: это фламандские картины в стиле Рубенса Страшного суда³⁵. Жаль, что поэт наш не нарисовал нам чего-нибудь грациозного или высокого в стиле Данта: как бы ему это было доступно! Его пластический стих имеет много родства со стихом славного тосканца — и едва ли в каком-нибудь народе можно найти формы столь готовые для передачи красот этой поэзии, как в стихе русском, так, как выделал его Пушкин могучим резцом своим.

«Осень» есть одно из прекраснейших стихотворений, относящихся к позднему периоду. Пушкин питал особенное сочувствие к этому времени года и посвятил ему несколько пьес. Это чувство едва ли не русское: мы любим уныние в природе, равно как в музыке и поэзии. То же самое влечение к осени заметно и в Державине, с которым Пушкин представляет много сходства в этом стихотворении: та же яркая кисть в описаниях, та же ирония и шутка, та же внезапность переходов от мыслей к мысли, то же употребление слов простонародных.

В Перуджии, школе младенца Рафаэля, есть знаменитый Pallazzo del cambio, и в нем зала, расписанная Петром Перуджинским и его учениками³⁶. Здесь пеленки и колыбель живописца Рафаэля: здесь в первый раз является кисть отрока гения, и между трудами других учеников вы стараетесь отгадать то, что принадлежит вдохновенному. С каким чувством смотришь на первые опыты этой кисти, которая была назначена для Мадонны и Преображения! С чувством еще сильнее перечитывали мы лицейские стихотворения Пушкина: это его пеленки, его колыбель, где развивалось могучее младенчество поэта. Это его школа, из которой яснеет нам все первоначальное его развитие. К этому присоединяются и воспоминания о нашей собственной юности и всего поколения, нам современного: сколько тут стихов, которые мы помнили наизусть в прежнее время! Все мы, хотя воспитанные совершенно иначе, праздновали юность свою под влиянием музыки Пушкина.

Читая эти стихотворения, мы еще раз подосадовали на издателей. Здесь-то особенно надобно было расставить все пиесы в порядке хронологическом, начиная со стихов 14-летнего Пушкина; следовало найти самые верные списки, призвать на помощь советы и память его товарищей и, наконец, сделать выбор строже, потому что ходило в рукописи много стихов, которые напрасно приписывались Пушкину. Такие пиесы, как: «Красавице, которая нюхала табак» и особенно «К Наталье» и «К Наташе» едва ли могут быть ему приписаны. Может быть, это шалости его же товарищей. Мы не думаем, чтобы Пушкин, 14-ти лет написавший те прекрасные стихи, которые читаем на 389<-й> стран<ище>, мог позволить себе такие рифмы, как: *Наталья и сераля, китайца и американца*, или подобные стихи:

Свет-Наташа! Где ты *ныне*?
 Что никто тебя не *зрит*?
 Иль не хочешь час *единой*
 С другом сердца *разделить*?³⁷

Видно большое безвкусие в этом выборе, которым оскорбляется память нашего мастера-художника.

Эти стихотворения заменяют нам записки об юности Пушкина. Здесь, в его песнях и сердечных дружеских излияниях, можно видеть, как буйно, шумно и весело она развивалась! Какой свободный разгул во всех ее грехах и шалостях! Как все это естественно и верно! В ней нет ни мрачного раздумья, ни преждевременного разочарования, ничего, что могло бы резко противоречить ее природе.

Пушкин в стихотворении «Городок» знакомит нас со своими иноземными учителями. Тут видим мы Гомера, Вергилия, Горация, Тасса, Расина, Мольера, Руссо, Лафонтена, Парни... Но над всеми берет преимущество

Фернейский злой крикун,
 Поэт в поэтах *первый!*³⁸

Тут входят и такие имена, которых мы не желали бы встретить между первыми учителями Пушкина. Он не пренебрегает и Лагарпом и *тратит* над ним время. В первые годы юности своей он был под явным влиянием

французской поэзии; даже древних изучал через французские переводы. Но как умел впоследствии освободиться из-под этого влияния: тем он обязан был ничему иному, кроме своего гения.

В Лицее занимали его и русские сказки, как видим по отрывку из «Бовы королевича», написанному размером «Ильи Муромца»³⁹. Так объясняется нам явление «Руслана и Людмилы» и зародыш в Пушкине поэта народного.

Из писателей русских все лучшие представители изящного национального вкуса сходятся влиянием своим в его первоначальных стихотворениях. Жуковский, Батюшков и даже Богданович слышны особенно в его посланиях, писанных трехстопными ямбами. Сила Державина, с его особенною рифмой, с частыми усеченными прилагательными, с его любимыми выражениями, блистает в переводах из Оссиана, переделанного Баур-Лормианом⁴⁰, и особенно в «Воспоминаниях в Царском Селе». Замечательно, что Пушкин читал эту пиесу перед самим Державиным, как он нам о том рассказывает. Его «голос отроческий зазвенел и сердце забилося с упоительным восторгом», когда пришлось ему произнести имя Державина⁴¹. Понятно, почему, готовясь к такому впечатлению, он написал все это стихотворение под влиянием строя лиры Державина. Та же пышная торжественность и выражения, напоминающие язык его, как, напр<имер>, *склоняя ветрам слух, ширяся крылами*.

Да, весь Парнас русский, начиная от Ломоносова до непосредственных предшественников Пушкина, участвовал в его образовании. Он есть общий питомец всех славных писателей русских и их достойный и полный результат в прекрасных формах языка отечественного. Сознание этих отношений своих к русскому Парнасу и благодарную память предания Пушкин выразил в стихотворении, благородно венчающем его могучую юность и свидетельствующем раннюю зрелость его гения: это послание Пушкина к непосредственному его учителю, Жуковскому, начинающееся словами: «Благослови, поэт!» Здесь Пушкин рассказывает, как Державин, Дмитриев и Карамзин благословили его призвание; здесь совершает он свою литературную исповедь перед возвышенною душою Жуковского; здесь возводит он свою поэтическую родословную до Ломоносова, до этого *полунощного дива*, от которого по прямой линии через Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина и всех около них стоящих ведет свой род все лучшее, светлое племя литературы нашей. Здесь же резкими чертами едкой сатиры заклеены два родоначальника другого, противоположного племени, которое также не переводится: это Тредьяковский:

Железное перо скрипит в его руках,
И тянет за собой гексаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактили тугие.

и

..Слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расипом!

Это послание, произведение юноши Алкида⁴², есть важный документ в истории русской словесности, указывающий на место, по праву занимаемое Пушкиным среди русского Парнаса.

Когда Пушкин, воспитав музу свою на Ариосте, Парни и сказках русских, отпраздновал пир молодого воображения «Русланом и Людмилою» и вышел в мир современной, существенной жизни, — тогда нашего разгульного, веселого русского юношу, покидавшего мир своих прекрасных мечтаний, встретил на Западе гений могучий, покорявший думе своей поколения современные, гений мрачный, певец разочарования и пресыщения жизни, провозвестник отцветанию Запада, пропевший ему первую похоронную песнь и отдыхавший мечтою на заре возрождавшейся свободы Греции. В лице Пушкина и Байрона встретились новая, свежая, полная юных сил и подвигов, кипящая мечтами Россия и охладевший, разочарованный, уже покидавший веру в свое грядущее Запад.

Известно у нас, что Байрон произвел сильное влияние на Пушкина, но до сих пор не определена у нас в надлежащей мере ни степень этого влияния, ни разность между характерами обоих поэтов. Мы здесь не вдадимся в подробное разрешение этого вопроса, одного из важнейших в истории русской поэзии, а скажем только результат нашего мнения, чтобы тем заключить размышления наши о Пушкине как поэте.

Байрон и Пушкин являются нам совершенно противоположными по существу их характера. Байрон — поэт чисто лирический, поэт субъективный, уединяющийся в глубину своего духа и там создающий мир по-своему: Пушкин — совершенно противное; мы вовсе не согласны с теми, которые признавали его преимущественно лириком; это поэт чисто объективный, предметный, который весь увлечен миром внешним и до самоотвержения способен переселяться в его явления: это поэт для эпоса и драмы. Такая противоположность между существом обоих поэтов была причиною того, что влияние Байрона скорее вредно было, нежели полезно Пушкину. Оно только нарушало цельность и самобытность его поэтического развития. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы» наиболее пострадали от этого влияния. Что видите вы в этих произведениях? Два элемента, которые между собою враждуют и сойтись не могут. Элемент Байрона является в этих призраках идеальных лиц, лишенных существенной жизни; элемент же самого Пушкина — в живом ландшафте Кавказа, в жизни горцев, в роскоши восточного гарема, в картинах степей бессарабских и кочевого цыганского быта. Самое сильнейшее влияние Байрона на Пушкина было в то время, когда он писал «Бахчисарайский фонтан»: в этом он сам сознается (т. XI, стран<ица> 227), а эта поэма есть, конечно, самое слабое произведение Пушкина. Замечательно также, что он называл «Кавказского пленника» первым неудачным опытом характера, с которым насилу сладил: да, это была тень героев Байрона⁴³.

В «Евгении Онегине» только одна внешняя форма и некоторые замашки указывают на то же влияние. Вся глубь картины занята непрерывно сменяющимся калейдоскопом всего внешнего быта России, всей жизни русского народа, взятой наружную ее сторону: это подробный дневник самого

поэта, веденный им в двух столицах и внутри России. Сам Евгений Онегин выше всех героев, которые внушены были Пушкину музою Байрона, потому что в Онегине есть истина, вынутая из русской жизни. Это тип западного влияния на всех наших светских людях, тип ходячий, встречаемый всюду: это наша русская апатия, привитая к нам от бесцельного знакомства с разочарованием западным⁴⁴.

Создание Тани принадлежит к лучшим идеалам Пушкина, какие вынес он из самых светлых воспоминаний своей страстной юности.

«Полтава» была переходом от влияния Байронова к самобытности: произведение много потерпело от этой причины. Главная ошибка в нем есть ошибка против формы: сюжет просился в широкую драму, а поэт сковал его в тиски так называемой гражданской поэмы.

В «Борисе Годунове» Пушкин явился Пушкиным. Здесь, равно как и в других его позднейших произведениях, влияние Байрона миновало совершенно — и началось скорее влияние Шекспира, влияние менее опасное, потому что Шекспир духом своим более согласовался с духом нашего Пушкина и потому еще, что влияние такого поэта, который не заключает себя в эгоизме своего внутреннего духа, а свободно властвует над человеком и природою, восприемля их в свою всеобъемлющую мысль, влияние такого поэта, как Шекспир, не может быть нисколько вредно ничьей природе, ибо не стесняет ее свободы. До конца жизни Пушкин оставался верен этому учителю, который открывал для его поприща великое грядущее.

Итак, Байрон, по нашему мнению, составляет весьма вредный эпизод в свободном и полном развитии Пушкина. Разность и того и другого еще более очевидна в прозе нашего поэта, к разбору которой мы теперь переходим.

В X томе напечатаны: «Арап Петра Великого», начало неконченного романа, «Летопись села Горохина»⁴⁵, «Дубровский», «Египетские ночи», «Сцены из рыцарских времен».

Первоначальным назначением Пушкина был мир чистой поэзии, хотя созданный из ярких и роскошных красок существенного мира, но над ним возвышенный, идеальный. Этот мир выражался у поэта приличною ему формою — стихом, в котором образы природы, просветленные воображением поэта, и звуки русского языка, гармонически слаженные в его слухе, сливались в одно. Позднее требования современного ему века вызвали его из идеального мира поэзии, звучавшего ему стихами, в мир действительной жизни, в мир прозы обыкновенной. Великие примеры В. Скотта и других современных талантов были перед ним. К тому же и собственные опыты жизни, занятия историею, наблюдения над внутренним бытом России могли обратить его на это новое поле, поле не цветущее, но обильное сытною жатвою существенной, нагой истины. Пушкин донес нам об этом новом своем направлении в достопамятных стихах, которыми заключал 6-ю песню своего «Онегина»:

Лета к холодной прозе клонят⁴⁶,
Лета шалунью рифму гонят.

По природному эстетическому чувству он должен был отгадать, что новый мир сущности, обнаживший перед ним себя, требовал от него и новой формы, которая бы ему совершенно соответствовала. Он овладел русскою прозою — и дал ей новый оттенок. Никто из писателей России и даже Запада, равно употреблявших стихи и прозу, не умел полагать такой резкой и строгой грани между этими двумя формами речи, как Пушкин. Сколько стих его всегда возвышен над обыкновенною речью, всегда изящен звуком, образом, выражением, оборотом, эпитетом, всегда отмечен, употребим его же сравнение, как червонец, чеканом светлым и звонким⁴⁷, — столько же проза его проста, сильна, истинна и чужда, как жизнь, ею изображаемая, всякого не нужного ей украшения. Потому-то проза Пушкина не есть какой-то междоумок между стихами и прозою, который известен под именем прозы поэтической или, правильнее, прозы риторической, который заимствуется от стихов метафорами и сравнениями и блещет на произведениях современной нам литературы, много свидетельствуя об упадке общего вкуса. У нас Марлинский был главным представителем этого рода прозы, которого не любил Пушкин: «...никогда не жертвую краткостию и точностию выражения провинциальной чопорности», — сказал он в одном месте⁴⁸. Потому-то проза Пушкина есть проза по преимуществу. Создать ее в чистоте, т. е. освободить от примеси ей чуждых поэтических украшений, мог только тот, кто был вполне царем русского стиха и располагал его богатствами по воле своей и кто, как истинный художник, одарен был тем метким чутьем вкуса, которое знает меру и вес каждого в языке выражения.

Ту же резкую противоположность умел наблюдать Пушкин и в содержании своих произведений, какую наблюдал в их форме. В его повестях и рассказах нет ничего такого, что бы противоречило нагой, прозаической истине действительного мира: все в них вынуто из жизни исторической или современной, и вынуто верно, метко и цельно. Но художник, обнимавший думою своей изящное, должен был чувствовать, что нагая истина этого мира действительного противоречит сама в себе назначению искусства, что копировать ее верно и близко значит нарушать призвание художника. Вот почему Пушкин не сочувствовал несколько современным рассказчикам Франции, которые с чувством какой-то апатии копируют жизнь действительную даже во всей безобразной наготе ее. Карикатурить эту жизнь и смешить ею Пушкин не хотел, потому что не сознавал в себе призвания к комедии, потому что в характере его было смотреть на жизнь с думою важною и строгою, потому что истина этой жизни, особливо в его отечестве, была для него значительна. Клеймить ее печатью грозной сатиры, выливать свое негодование отдельными тирадами также было не в характере Пушкина, который не хотел быть моралистом отдельно от художника, ибо знал высокое нравственное призвание своего искусства и ведал для морали другие сильнейшие средства. Иного способа не оставалось ему, работая над грубым материалом жизни действительной, над миром прозы, спасти искусство, как в истине существенной, не привлекательной собою, воплощать истину нравственную, всегда неизменную, и придавать, таким образом, первой высокое значение, достойное художника. Здесь-то особенно Пушкин доказал, как понимает он

искусство и как глубоко разумеет он ту важную роль, какую нравственное играет в мире изящного. Это постиг он и сам собою, и по верным урокам своего последнего и лучшего учителя, Шекспира.

В самых значительных повествованиях Пушкина, даже в исторических, найдется совершенное оправдание нашему общему замечанию. Всегда на первом плане выступает перед вами простое событие, взятое из жизни, истина верная, действительная, нагая, случайная, живая и яркая; но из-за нее безмолвно, невысказанно и как будто неумышленно выходит истина всеобщая, неизменная, всегда пребывающая в основе жизни человеческой и общественной, истина, которая снимает с действительного события всю пустую ничтожность его случайности и, придавая ему значение постоянное и высокое, тем возводит его в мир искусства и спасает призвание художника. Пушкин как изобразитель жизни действительной есть также сатирик, но сатирик (если можно так выразиться) объективный, который уходит за свою сатиру и сам своею мыслию воплощается в событии, но так, что перед вами раскрывает самое зерно его глубокого значения в жизни.

Все сказанное нами всего более поверяется на одном из самых лучших прозаических повествований Пушкина, которое мы прочли в X томе, на «Дубровском».

Два помещика жили по соседству в своих поместьях: один богатый, знатный, старинный русский барин, Троекуров; другой бедный, но честный и благородный поручик гвардии в отставке, Дубровский. Они жили дружно; но вдруг поссорились. Распря росла; самолюбие разыгралось — и дело кончилось тем, что помещик Троекуров, сильный деньгами и знатностью, купленным приговором суда отнял у Дубровского его родовых 70 душ. Сын ограбленного бедняка, молодой Дубровский, был свидетелем сумасшествию отца и его ужасной смерти; суд незаконно ограбил его, и он должен был выйти нищим из наследия отцов своих. В порыве отчаяния он зажег тот дом, где жили его предки и откуда изгнало его насилие, и, человек благородный, с чувством чести и правды, сделался атаманом разбойников: все село пристало к своему барину. Одна любовь Дубровского к дочери Троекурова охранила сего последнего от его ужасной мести.

Все эти события переданы так живо и так истинно, что вы, читая, не можете оторваться от этой яркой, разительной действительности.

Но из-за этого рассказа сама собою выступает истина нравственная, придающая глубокое значение всей картине. Этот разбойник Дубровский, зачавшийся в человеке честном и благородном, есть плод разбойничества общественного, прикрытого законом. Всякое нарушение правды под видом суда, всякое насилие власти, призванной к устройению порядка, всякое грабительство общественное, посмевающееся истине, — порождают разбой личный, которым гражданин обиженный мстит за неправды всего тела общественного. Вот та глубоко нравственная идея, которая хотя не высказана отдельно, но сама собою яснее из повести Пушкина и придает ей великую значительность.

«Летопись села Горохина» есть самая едкая сатира на внутреннюю пустоту нашей сельской жизни, на эту жалкую действительность без памятников и без прошедшего.

«Египетские ночи» — произведение, к сожалению, не конченное, но идея его уже довольно обнаружилась. Это значительная сатирическая картина тех отношений, в которых у нас поэт находится к обществу. Чарский имеет призвание к священному искусству, но никак не хочет признаться перед светом в том, что он его имеет, и досадует на тех, которые обходятся с ним иначе, нежели как с обыкновенным светским человеком. Ему противно видеть эти притязания общества на поэта как на какую-то свою собственность; ему досадно, когда следят и подглядывают его вдохновения, когда застают его с пером в руке, когда выспрашивают у него о тайнах его музыки, которую он ревниво укрывает от непосвященных взоров. Таков Чарский, таков поэт среди народа, у которого искусство еще новость и поэт какое-то чудо. — Яркая противоположность Чарскому, как будто стыдящемуся своего звания, изображена в итальянском импровизаторе, который публично объявляет себя поэтом, не только не стыдится этого звания, но обращает его в денежное ремесло. Как глубоко схвачена обидчивость Чарского, когда итальянец назвал его поэтом, и благородное чувство того же Чарского, когда он в незнакомце узнал импровизатора, и еще более, когда услышал его вдохновенные стихи! Чарский и импровизатор — это Россия и Италия, две страны, из которых в первой искусство еще не пришлось к потребностям общества и, западая в чью-либо душу, не знает, как существовать среди предрассудков света, тогда как во второй оно уже собственностью всенародная, ремесло публичное, объявляемое перед всеми и дающее деньги.

В Чарском Пушкин едва ли не представил собственных своих отношений к свету: он не любил, когда в гостинной обращением напоминали ему о высоком его звании, и предпочитал обыкновенное обхождение светское. — В своей прозе он нередко говорит об том ложном положении, в котором словесность у нас находится к обществу.

Жаль, что «Арап Петра Великого» остался недоконченным. Видно, что Пушкин изучал много век Петра и готовил материалы для того, чтобы со временем начертать большую и полную картину. И в том немногом, что написал он, сколько отгадано подробностей!

«Сцены из времен рыцарских» показывают, что все времена и народы могли быть доступны для его кисти.

Том XI, содержащий в себе «Смесь», представляет нам множество отдельных мыслей и рассказов Пушкина, которые необходимы для полной его биографии и характеристики. Здесь мы обратим внимание на то, что нам кажется особенно замечательно.

Его мысли о Москве, о русской избе и о быте русского крестьянина в сравнении с иностранным, о дорогах в России, о старинных русских странностях, многие анекдоты показывают, как он глубоко изучал жизнь своего отечества⁴⁹. При этом нельзя не пожалеть, что Пушкин не путешествовал: много любопытного и полезного он сказал бы тогда об России.

Лестно для нас мнение Пушкина о московской литературе и ее направлении⁵⁰. Он всегда питал к ней особенное благородное сочувствие. «Москвитянин» с удовольствием может вспомнить, что Пушкин принимал в 1828 и 1829 годах совершенно безмездное участие в издании предшественника

его, «Московского вестника», из одного уважения к духу и направлению журнала⁵¹.

Должно заметить, что статья о Ломоносове не заключает в себе полного суждения Пушкина об этом писателе. Мы помним, с каким благоговением Пушкин говорил об нем как о создателе языка⁵²: он даже не позволял в присутствии своем сказать что-нибудь противное памяти великого нашего мастера. Взгляните, как величает он Ломоносова в своем послании к Жуковскому. Замечательно, как выставил Пушкин независимое благородство его, основанное на сознании своего достоинства, и щекотливость его в этом отношении. — Выпишем следующие за тем строки — урок современной словесности:

«Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую частную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в кабинете»⁵³.

Пушкин ненавидел новую школу литературы французской: драму Гюго «Кромвель» называет он скучною и чудовищною (стран<ица> 66), роман Альфреда де Виньи «Сен-Марс» — облизанным (стран<ица> 71). Как он негодует на них за искажение характера Мильтона!⁵⁴

Критика на «Рославлева» есть новый прекрасный способ осудить неверность характера изображением ему противоположного⁵⁶.

Рассказ Пушкина о том, как он в Лицее читал стихи перед Державиным, — драгоценная страница для истории русской словесности. Сюда же отнесем многие места его записок: известия о выходе в свет «Истории» Карамзина и впечатлении, какое произвела она⁵⁷; сведения о сочинениях самого Пушкина по мере их появления. Пушкин знал, что «Полтава» и «Борис Годунов», лучшие его произведения в стихах, не имели успеха: он сам объясняет причины, по которым юные произведения поэта более нравятся публике, чем зрелые; хотя он применяет слова свои к Баратынскому, но ясно, что они могут быть применены и к нему самому:

«Первые юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом; последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели малый успех. Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть самое сие совершенствование, зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются — песни его уже не те, а читатели те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя, и если изредка еще обнаруживает свои произведения, то встречается хо-

* В этой статье нельзя не заметить в итальянских словах грубой ошибки издателей, которые вместо *battersi la gancia* напечатали *batarsi la quancia*⁵⁵.

лодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных в свете. Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения. У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам»⁵⁸. — В этих глубокомысленных словах заключается разгадка последних неудач самого Пушкина.

В другом месте (243<-я> стран<ица>) он излагает причины, почему драма не могла образоваться в России. Замечательно, что в этих причинах он много сходится с Горацием, который о том же говорил в послании к Августу⁵⁹: положение России и Рима в отношении к драме имеет в себе много сходного. — В этих замечаниях Пушкина разгадка тому, почему он сам не образовался драматиком, имея все к тому призвание.

В заметках Пушкина об языке мы видим, как он глубоко изучал его — в самом источнике, в языке народном. В своих оправданиях перед критиками, не изучавшими филологии, он ссылается на древние русские песни как на документ: так, ссылкой на Киришу Данилова защитил он свой прекрасный стих:

Людская мольв и конский топ,

несправедливо осмеянный в «Вестнике Европы»⁶⁰. Пушкин не пренебрегал ни одним словом русским и умел часто, взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашими Ломоносовым и Державиным. Прочтите эти стихи в «Медном всаднике»:

. . . . Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их *буйной дури*...
И спорить стало сй *невмочь*...

Здесь слова: *буйная дурь* и *невмочь* вынуты из уст черни; у Ломоносова есть примеры того же:

Где ныне *похвальба* твоя?

Или:

Никак смиритель стен Казанских?⁶¹

Державин еще более этим изобилует. Пушкин, вслед за старшими мастерами, указал нам на простонародный язык как на богатую сокровищницу, требующую исследований. Выпишем драгоценные слова его (стран<ица> 214):

«Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не искажающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований»⁶².

Заслуживают особенное внимание отношения Пушкина к его критикам: он не презирал критики, как сознается сам; он счел за нужное даже оправдаться перед читателями в том, в чем его понапрасну обвиняли. Презирал Пушкин одни только ругательства и, по примеру Карамзина, премудро завещал всякому писателю, сознающему в себе какое-нибудь чувство достоинства: на все придирки и нахальные ругательства завистливой посредственности, полагающей единственную опору своей славы в том, что она перед чернью окричит все, что ее выше, — отвечать одним молчаливым презрением⁶³.

* * *

В этом разборе последних трех томов Сочинений Пушкина мы набросали только некоторые черты, имеющие, по нашему мнению, войти в полную его характеристику. У нас и не было в виду начертать сию последнюю, потому что мы хотели ограничиться только теми произведениями, которые теперь вышли и должны необходимо обратить на себя внимание публики, если она не забыла любимого своего поэта. Полную же характеристику Пушкина мы охотно вменяем себе в одну из самых значительных и самых приятнейших обязанностей наших. Теперь же мы заключим все наши отрывочные замечания, сделанные по случаю, одною из главных мыслей, в которой заключается точка нашего зрения на поэта.

Пушкин во всем том, что от него осталось, и в совокупном своем развитии представляет нам много поразительного сходства с его народом и страню: так и должно быть, ибо гений в словесности всегда бывает зеркалом жизни своего отечества. Тот же гениальный ум, кипящий чудными, внезапными мыслями, но не имеющий всех необходимых условий образования для того, чтобы их исполнить. Тот же неудержный, стремительный дух, то же порывистое, своенравное развитие; те же мгновенные вдохновения, без твердого хода и постоянства. Та же прелесть в отделке наружных форм, какими блещут обе наши столицы, достойные соперницы всех европейских, и тот же недостаток внутреннего развития. В отношении к содержанию произведений та же противоречащая смесь: мир идеалов, мир прекрасных мыслей, сильных зародышей, мир великих надежд на грядущее — и мир еще праздной, тяжкой, грубой действительности, до которой не достигла мысль, свыше деющая. В отношении к совокупности целого этих произведений: те же чудные массы, готовые колонны, или стоящие на месте, или ждущие руки воздвигающей, dokonченные архитравы, выделанные резцом украшения, и при этом богатый запас готового дивного материала... Да, да, вся поэзия Пушкина, как современная ему Россия, представляет чудный, богатый эскиз недовершенного здания, которое народу русскому и многим векам его жизни предназначено долго, еще долго строить — и кто же из нас с чувством надежды не прибавит? — и славно закончить.

Н. А. ПОЛЕВОЙ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА». Т. I–XI

СПб., в тип<ографии> Эксп<едиции> загот<овления> госуд<арственных> бумаг и
И. Глазунова и Комп. 1838 и 1841 гг.,
в 8; 439, 376, 242, 328, 247, 310, 257, 324, 480, 308 и 353 стр.

Неизобразимая грусть овладела сердцем, когда мы положили перед собою три последние, вышедшие в прошедшем году тома Сочинений Пушкина, — *последние* — окончательный расчет его с людьми, памятник, поставленный на могиле поэта, голос, долетающий к нам уже из-за пределов гроба и навеки умолкающий. Горестна, невыносимо горестна мысль, что мы не услышим уже более вещей речи Пушкина, что звуки навеки улетели из его вдохновенной лиры и она, осиротелая, с порванными струнами, брошена на его преждевременную могилу! Провидение непостижимое! неужели справедлива оскорбляющая твое величие мысль, что все прекрасное здесь непрочно, все великое мимолетный гость в мире? Нет! Смирим сердце пред непостижимою тайною, но можем ли не грустить, не скорбеть о нашем Пушкине? Скоро совершится пять лет, как мы потеряли его, и в сии пять лет тем полнее могли мы оценить великость потери нашей, что ни *одна лира*, ни *один голос* не отозвались у нас звуками, хоть сколько-нибудь равными тем упоительным звукам, какими лелеял нас великий поэт наш. После Державина не являлось другого Державина, после Пушкина не явился еще другой Пушкин.

Тень поэта не упрекнет невнимательностью и неблагодарностью современников — нет! Пушкин принадлежал к числу поэтов, которых при жизни их понял и оценил век их. С каким нетерпением ждали мы всегда его поэтической речи, какой восторг всегда производила она! Не доказательство ли, что ни в какое время нет *безвременья* великому, истинному дарованию? Оно всегда вовремя, небесный гость со знамением гения на челе. Но если люди спорят еще за удивление, за восторг свой, пока такой посетитель земли теснится еще в толпе их, спор мгновенно умолкает, когда, отделясь от нее, он устремляется незримым орлом по поднебесью. Смерть таких людей бывает первым шагом к их бессмертию, и едва могила примет их бранные останки, едва земля возьмет земное, начинается апофеоз бессмертного, не умирающего с ними. Смерть Пушкина была общею горестью отечества: ее почтил участием великий монарх России, ее оплакивали равно и в великолепных чертогах, и в бедной хижине. Русский народ единодушно плакал на могиле своего великого, своего любимого поэта.

По кончине его все нетерпеливо ожидали издания его *полных сочинений*, хотели видеть и слышать все, что успел высказать Пушкин, требовали, чтобы *ничто* не было забыто, все было собрано: и те творения, которые еще при жизни его мы вытвердили наизусть, и то, что приготовил он и не успел передать нам, и то, что осталось от него едва отчеркнутое, едва набросанное.

Общий голос, говоря вообще, тот, что почтенные издатели полных сочинений Пушкина не вполне оправдали ожидание соотечественников. Не го-

вора уже о том, что безмерно дорогою ценою лишили они многих возможности иметь полные сочинения Пушкина, ни о том, что они томили нас, издавая их пять лет, но и самое издание не соответствует участию и благоговению, какие храним мы к памяти поэта. Начать с того, что издание книги некрасиво и небрежно напечатано — даже с ошибками и непростительными опечатками! Далее, для чего было издавать сначала *восемь*, а потом еще *три* тома? Оттого пьесы перемешались, проза и стихи перепутались, не представляя никакой системы в своем расположении. Правда, система для издания полных сочинений поэта дело нерешенное. Разделение их по родам часто производит споры. Многие думают даже, что самый лучший порядок есть хронологический, ибо тогда видно развитие идей поэта, видны переходы духовной жизни его и отношений ее к внешней жизни. Мысль сия более остроумна, нежели верна, и притом, располагая систематически по родам, можно приложить при жизни поэта и хронологический список его сочинений. Такого списка нет при сочинениях Пушкина. И можно ли поверить, не выдавши, что при нем нет даже жизнеописания! Неужели не нашлось никого, кто в течение пяти лет собрал бы все подробности и составил жизнеописание Пушкина, когда еще живы столько людей, коротко знавших его, жив его родитель, живы товарищи его по ученью? Мы знаем умную, красноречивую переписку Пушкина со многими. Какие материалы могли бы доставить его письма! Но почтенные издатели не только не позаботились удовлетворить нас жизнеописанием Пушкина, они не приложили даже никакого *предисловия*, никаких *пояснений*, они лишили нас даже некоторых напечатанных прежде заметок и примечаний Пушкина, исключили даже означения годов при разных сочинениях, которые в прежних изданиях сохранял Пушкин. Не говорим уже о принадлежностях, которые считаются необходимыми при хороших изданиях каждого замечательного писателя, как то: библиографических сведениях о прежних изданиях, вариантах, примечаниях, пояснениях (о роскоши издания, портрете, виньетках, картинках мы и упоминать не хотим). Все это сколько драгоценно для полного познания поэта и его творений, столько же любопытно бывает для литературной истории вообще. Мы жалуемся, что наши старики так небрежно поступали с Ломоносовым и с другими достопамятными людьми и что мы через то многое утратили и потеряли безвозвратно. Но вот теперь нам случай показать пример противного при сочинениях Пушкина, и что же мы делаем? Издаем сочинения его так небрежно, как будто они не такие творения, которые драгоценны отечеству, а собрание прозы и стихов какого-нибудь писателя обыкновенного. Почтенные издатели не приняли даже на себя труда сказать нам: *все ли теперь издано, что найдено в бумагах Пушкина?* Не говоря о разных безделках, которые упущены ими в журналах и альманахах и на которые беспрестанно указывают им со всех сторон, за ними справка: сказать нам, все ли именно выбрано ими в бумагах Пушкина? Они ни слова не говорят нам о драгоценном для нас предприятии Пушкина, «Истории Петра Великого». Начал ли он ее? Если начал, то далеко ли довел ее? Если не принимался он за окончательное изложение ее, то что приготовил он? Не оставил ли хоть каких-нибудь заметок? Жадно хотим мы все это знать и даже, осмеливаемся сказать, мы вправе требовать о том отчета от людей,

взявших на себя обязанность передать отечеству все умственные сокровища, оставшиеся после Пушкина¹.

Но теперь, однако ж, когда если и не вполне удовлетворительно изданы *полные сочинения* Пушкина, наступило время важного труда русской современной критике. От нее ожидаем мы окончательного суда и приговора Пушкину и его созданиям. Она должна подать голос свой. Не будет он ни безусловным, ни окончательным, ибо людей, подобных Державину и Пушкину, пересуживают каждое поколение, каждый век в силу своего уложения. Но мы *должны*, однако ж, говорить, и говорить откровенно, беспристрастно, с равным участием сердца и ума, патриотическою гордостью и космополитическим бесстрашием. Пусть только те, кто думает, что каждая критика есть осуждение, что критике предоставлено только наказание бездарности, пусть те полагают, что о Пушкине мы не должны говорить и что вся критика нашего времени касательно его должна состоять из похвальных восклицаний. Нет! истинною, беспристрастною оценкою обязаны мы памяти Пушкина даже и потому, что обязаны доказать тем уважение к памяти его, ибо критика наша, самая неумолимая, покажет, что Пушкину нечего бояться приговора самого строгого. Мы обязаны дать критический отчет об его творениях и из уважения к самим себе, ибо оправдать и доказать то высокое мнение, какое создалось между нами при жизни Пушкина и пережило его. Наконец, какой случай может быть лучше показать нам меру нашего собственного образования, если не оценка великого современного поэта? И какой труд поучительный, теперь, когда для него все кончилось, когда ни личные отношения наши к нему не препятствуют, ни смешение *исполненного* и *ожидаемого*, подвигов его и надежд на новые подвиги не ослепляет нас, какой труд поучительный разбор и оценка творений Пушкина! Пушкин как *человек*, Пушкин как *поэт*, Пушкин как *деятель* в современной жизни, заслуги его, успехи его, то, чего мы от него ожидали, что он исполнил, что хотел исполнить, чего не исполнил вовсе, — вот обязанность нашей критики. Неужели Пушкину бояться суда неподкупного? Если критика и откажет ему в чем-либо таком, что видит в нем слепое удивление толпы, если она отвергнет недостойные имени его похвальные возгласы чьи-нибудь, зато тем прочнее утвердит она бесспорные права его на имя поэта великого, на место в пантеоне русском рядом с другими товарищами его по бессмертию. Неужели такой суд, такой приговор в чьих-либо глазах будут неблагодарностью, несправедливостью к Пушкину? Неужели предпочтут ему клик нестройного, безотчетного удивления какого-нибудь красноречивая или болтовню человека, который хочет уцелеть под именем друга Пушкина, как мошки успевают уцелеть в янтаре и горном хрустале? Неужели мы удовольствуемся суждением какого-нибудь немца, едва разбирающего Пушкина по складам, и, ссылаясь на него, скажем: «Что нам говорить? Видите, Пушкин приобрел уже *европейскую* славу»?² Но мы сами разве в Азии живем? Разве нам, как азиатцам, отдано на долю только безотчетное хваление? Нам, правда, любопытно послушать, что говорят о Пушкине иностранцы, но мы должны жить своим самобытным, *русским* умом.

Обращаясь собственно к самим нам, пишущему сии строки, скажем, что как ни мало имеем мы доверия к собственному нашему мнению, как ни чув-

ствуем мы недостаток познания и средств наших для надлежащего, удовлетворительного суждения о Пушкине, но с тем вместе обязанностью почитаем мы изложить в «Русском вестнике» по возможности полные сведения о жизни Пушкина и полный разбор его сочинений. Тому и другому посвятим мы в течение года несколько статей³.

Пишущий сии строки не смеет причислить себя к *друзьям* Пушкина. Он смеет думать, что Пушкин наградил бы его, может быть, большею приязнью, даже дружбою, если бы не обстоятельства и не отношения их разделяли. Смеет думать он и то, что, может быть, он более многих других ценил, понимал Пушкина при жизни его, более многих других дорожил его славою и желал ему добра, при жизни поэта осмеливаясь беспристрастно и смело говорить ему правду и скорбя, когда, казалось ему, Пушкин не выдерживал своего характера, как человек и как поэт. Увлекаемый отношениями, о которых не хотим мы здесь говорить, Пушкин иногда оскорблялся тем, даже несколько раз бывал несправедлив, но, пылкий и добрый, он сознавался потом в своей несправедливости и до конца жизни сохранил уважение к своему критику. С 1825 года начались наши письменные сношения, когда Пушкин жил в своей псковской деревне. Он принял живое участие в журнале, который начал я тогда издавать в Москве⁴. Следуя за всеми движениями современной литературы, он присылал даже в мой журнал критические статьи. Две таких статьи было им тогда прислано. Одну написал он, прочитавши в «Сыне отечества» статью г-на М—ва о г-же Сталь; другую — прочитавши предисловие к басням Крылова, изданным во французских и итальянских переводах графом Г. В. Орловым, что наделало тогда много шума⁵. Печатаю здесь вновь обе сии статьи, ибо книжки журнала, где были они помещены семнадцать лет тому, сделались ныне большою редкостью. Притом обе сии статьи, не означенные именем Пушкина, не вошли в полное собрание его сочинений, а их должно сохранить. Нам драгоценна каждая строка Пушкина, но здесь читатели увидят еще тогдашний взгляд Пушкина на многое, увидят мысли его, умные, верные. Таково все, что говорит в сих статьях Пушкин о Ломоносове, о покровительстве словесности светскими людьми. — В 1826 году, когда приехал Пушкин в Москву, дружески встретились мы, и он изъявил мне радость свою о том, но вскоре обстоятельства, а паче люди, успевшие протесниться и стать между нами, охолодили нас друг к другу. С 1827 года Пушкин принял участие в «Московском вестнике». Много любопытных, дополняющих характер Пушкина черт мог бы я рассказать, описывая отношения, встречи и разговоры мои с ним в течение десяти лет с 1827 года. Помнится, в 1834 году встретился я с ним в последний раз. Мог ли я тогда думать, что Пушкина, юного, цветущего здоровьем, наверху славы его, вижу я в *последний* раз! Угнетенный житейскими скорбями и полубольной был я, когда в Москву прилетела горестная весть о смерти Пушкина. Никто не верил. Но когда в «Северн<ой> пчеле» появилось известие, подписанное поэтом Якубовичем, страшное сомнение превратилось в ужасающую достоверность — Якубович извещал русских о смерти Пушкина: настоящая сцена могильщика в «Гамлете»!.⁶ Я забыл мое горе, мои ничтожные, но тяжкие заботы жизни, горькими слезами почтил память

Пушкина и написал немедленно все, что подсказало мне сердце (статья моя была помещена тогда в «Библиотеке» для чтения»⁷). В порыве души я призывал тогда всех литераторов воздвигнуть достойный памятник на могиле Пушкина. Голос мой не нашел отзыва других...

Мне казалось необходимым сказать о моих отношениях к Пушкину как человеку, дабы устранить всякое подозрение о беспристрастии, с каким могу и хочу я говорить об нем как о поэте, как о великом современнике нашем. Ни лесть, ни пристрастие не омрачат слов моих. Не льстил я Пушкину при жизни его, а чувство уважения к нему, чувство сознания его высоких дарований хранил я и тогда постоянно в душе моей; сии чувства пережили Пушкина, и как отголосок души моей на все прекрасное я сохраню их до конца моей жизни — кто знает? — может быть, удаленного еще несколько грустными годами, а может быть, и близкого...

ПРИМЕЧАНИЯ



Настоящий сборник является заключительной, четвертой, книгой научного комментированного издания русской критической литературы о Пушкине — «Пушкин в прижизненной критике». Он включает критические статьи 1834–1837 гг. Общая структура сборника и принципы подготовки материала соответствуют принципам, проведенным в предыдущих трех книгах (П. в критике, I (П. в критике, I (2)*); П. в критике, II; П. в критике, III). Материал расположен в хронологическом порядке. Источником текстов служит их первая публикация; орфография и пунктуация приближены к современным с сохранением наиболее ярких индивидуальных особенностей, а также произносительных и синтаксических особенностей пушкинского времени. Незначительные ошибки, допускаявшиеся критиками при цитировании пушкинских текстов, а также некоторые расхождения первых изданий пушкинских текстов с изданиями позднейшими в комментарии не оговариваются. Очевидные опечатки в текстах исправлены.

Ссылки на произведения Пушкина даются в комментарии по изданию: *Пушкин. Полное собрание сочинений*. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. 1–16; М., 1959. Т. 17 (Справочный), с указанием тома римскими и страниц арабскими цифрами.

Ссылки на автографы Пушкина, хранящиеся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ф. 244, оп. 1), даются сокращенно: ПД, с указанием номера единицы хранения и, в случае необходимости, листа рукописи.

Приложение 1 содержит некрологические статьи, посвященные Пушкину. В Приложении 2 помещены отрывки из научно-учебной литературы (статьи В. Т. Плаксина из изданной им (совместно с А. И. Галичем) «Летописи факультетов» и из «Руководства к изучению русской словесности» П. Е. Георгиевского). Приложение 3 включает наиболее значительные критические отклики 1837–1841 гг. на посмертно изданные произведения Пушкина и опубликованный в русской печати перевод статьи К. А. Фарнгагена фон Энзе, положившей начало изучению творчества Пушкина в Европе.

Примечания к тому традиционно завершаются историко-библиографическими справками (в алфавитном порядке) о периодических изданиях, в которых были напечатаны критические статьи о Пушкине 1834–1837 гг. и некрологи. Издания, упоминаемые в предыдущих книгах, не аннотируются.

Тексты подготовили и примечания составили:

А. Ю. Балакин («Библиотека для чтения») (кроме статьи Н. А. Полевого «Пушкин»); «Молва» (1836 г., статьи о «Востол», речь В. С. Межевича «О народности в жизни и в поэзии»);

С. В. Денисенко («Живописное обозрение»; «Одесский вестник», совм. с Е. О. Ларионовой; «Художественная газета»; Приложение 2 (статья В. Т. Плаксина); Приложение 3 («Чтения о русском языке» Н. И. Греча));

Е. В. Кардаш (статьи Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине» и «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»; статья Пушкина «Письмо к издателю»);

* В разделе «Примечания» ссылки на оба издания даются в тех случаях, когда их страницы не совпадают.

Т. А. Китанина («Молва» (1834 г., совм. с Е. О. Ларионовой); «Телескоп»; Приложение 2 («Руководство...» Е. П. Георгиевского); Приложение 3 (статья С. П. Шевырева «Сочинения Александра Пушкина»));

Е. О. Ларионова («Журнал Министерства народного просвещения»; «Молва» (1834 г., совм. с Т. А. Китаниной); «Московский телеграф»; «Одесский вестник» (совм. с С. В. Денисенко); «Северная пчела»; статья Пушкина «Об „Истории Пугачевского бунта“» «Journal d'Odessa»; «Письмо...» М. А. Коркунова; статья Н. А. Полевого «Пушкин»; Приложение 3 (статьи Фарнгагена фон Энзе и Н. А. Полевого));

Е. В. Лудилова («Сын отечества и Северный архив»);

А. И. Рогова («Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», «Русский инвалид»);

С. Б. Федотова («Московский наблюдатель»; брошюра Л. И. Голенищева-Кутузова; статья Пушкина «Объяснение»; статья В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина»; Приложение 3 (статья С. П. Шевырева «Перечень Наблюдателя», статья В. Г. Белинского «Начиная четвертый год своего существования, „Московский наблюдатель“...», статья из «Санкт-Петербургских ведомостей»));

С. А. Фомичев (Приложение 3 (статья С. Е. Раича)).

Указатели составлены участниками издания. Общая редакция тома осуществлена Е. О. Ларионовой.

Н. И. ГРЕЧ

ПИСЬМО В ПАРИЖ, К ЯКОВУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ

<Отрывки>

БдЧ. 1834. Т. 1 (выход в свет 31 декабря 1833 г. — П. в печати. С. 105; в апреле-мае вышло 2-е изд. т. 1 «Библиотеки для чтения» — Там же. С. 111). Отд. I. С. 159–180; приводимые фрагменты — с. 159–164, 173, 175. С датой под текстом: «6 декабря 1833».

Об авторе статьи Николае Ивановиче Грече (1787–1867), прозаике, журналисте, издателе, многолетнем редакторе петербургского журнала «Сын отечества», см.: П. в критике, I (2). С. 497. Статья написана в форме письма к Я. Н. Толстому. Яков Николаевич Толстой (1791–1867) — участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии, с 1817 г. старший адъютант при дежурном генерале Главного штаба А. А. Закревском, в 1821 г. получил чин штабс-капитана и был назначен старшим адъютантом Главного штаба; председатель общества «Зеленая лампа», театральный критик, переводчик пьес и поэт-дилетант, автор сборника «Мое праздное время» (СПб., 1821). В 1817–1820 гг. в Петербурге близко общался с Пушкиным и даже предполагал быть издателем его первого поэтического сборника. В 1819 г. между Толстым и Пушкиным произошел обмен поэтическими посланиями: на «Послание к А. С. Пушкину» Толстого (впоследствии вошло в сборник «Мое праздное время») Пушкин ответил «Стансами Т<олсто>му» («Философ ранний, ты бежишь...»). Толстой был тесно связан с рядом влиятельных участников декабристских организаций (Н. И. Тургенев, Ф. Н. Глинка, С. П. Трубецкой и др.), являлся членом Союза благоденствия, Общества Московского съезда (или Восстановленного Союза благоденствия, 1821–1823) и сопутствовавших им тайных обществ (Общество добра и правды, 1820–1821; Общество Измайловского полка, 1820–1822). С мая 1823 г. Толстой находился в заграничном отпуске в Париже; его письма с впечатлениями от парижской жизни печатались в «Сыне отечества» («Письмо из Парижа. (К А. А. Бестужеву)» — 1823. Ч. 90, № 52; «Второе письмо из Парижа к А. А. Бестужеву» — 1824. Ч. 94, № 24). Привлеченный в 1826 г. к следствию по делу декабристов, отказался вернуться. Хотя в отличие от Н. И. Тургенева Толстой не был осужден Верховным уголовным судом и подлежал лишь наказанию в административном (несудебном) порядке, он остался за границей на положении эмигранта и занялся литературным трудом во французском журнале «Revue Encyclopédique». Он сохранял связи с русскими литераторами, сотрудничал в периодических изданиях (в том числе по приглашению П. А. Вяземского в «Московском телеграфе»). Толстой приложил много усилий, чтобы реабилитировать себя в глазах правительства, но удалось ему это только в 1837 г. Он был принят на службу в III Отделение чиновником по особым поручениям и назначен корреспондентом Министерства народного про-

свещения в Париже с обязанностью «защиты России в журналах» и информирования правительства о политическом состоянии и культурной жизни Франции. См. о нем: Черейский. С. 439–440; Декабристы: Биограф. справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко. М., 1988. С. 176–177; *Модзалевский Б. Л.* Яков Николаевич Толстой. СПб., 1899; *Щеголев П.* Из двадцатых годов: Заметки и материалы. СПб., 1905. С. 1–12. Обращение Греча к Толстому как автору заграничных корреспонденций с просьбой присылать материалы о современной французской литературе не выглядело случайным; впрочем, никаких материалов Толстого в «Библиотеке для чтения» не появилось.

Письмо Греча было первой критической статьёй нового журнала и поэтому неизбежно должно было восприниматься как его эстетический манифест. Однако никаких оценок ни современного состояния русской литературы, ни отдельных писателей в статье не содержалось. По сути, она представляла собой простое перечисление всего того, что явилось в русской словесности за последние несколько лет с прибавлением некоторого количества слухов и сплетен. Хотя Ф. В. Булгарин, журнальный товарищ Греча, и объявил «Письмо в Париж» «одной из важнейших и занимательнейших по предмету и изложению» статей первой книжки «Библиотеки для чтения» (СПЧ. 1833. № 30, 30 декабря (рецензия Булгарина появилась еще до официального выхода в свет и раздачи подписчикам первой книжки «Библиотеки для чтения»); перепечатано: РИ. 1834. № 3, 4 января. С. 11), но отклика у современников статья не нашла.

¹ «*Europe Littéraire: Journal de la littérature nationale et étrangère*» — парижская газета, посвященная литературе и искусству и призванная, по замыслу издателей, объединить вокруг себя всю французскую интеллектуальную элиту. Издавалась с марта 1833 г.; была заявлена как ежедневная, но выходила нерегулярно и уже через несколько месяцев была прекращена (см.: *Hatin E.* Bibliographie historique et critique de la presse périodique française. Paris, 1866). В примечании Сенковского к переводной статье «Мнение известного английского журнала „Edinburgh Review“ о нынешней французской словесности», помещенной в том же номере «Библиотеки для чтения», названа журналом «ничтожным во всех отношениях» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. II. С. 78).

² *Библиофил Жакоб* (Bibliophile Jacob) — псевдоним французского историка и исторического романиста Поля Лакруа (Lacroix; 1806–1884). В упомянутой выше статье «Мнение известного английского журнала „Edinburgh Review“ о нынешней французской словесности» говорится, что у него «нет недостатка ни в плодovitости, ни в легкости слога; но главная мысль у него всегда слаба, а школьная ученость, взгроможденная без нужды, подавляет занимательность вымысла» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. II. С. 77)

³ *Мишель-Ремон* (Michel Raymond) — коллективный псевдоним романистов Раймона Брюке (Brucker; 1800–1875), Мишеля Массона (Masson; 1800–1883) и Леона Гозлана (Gozlan; 1803–1866). В том же томе «Библиотеки для чтения», вслед за статьёй Греча, была помещена повесть Мишель-Ремона «Перст Божий» со следующим примечанием от редакции: «Мишель Ремон, Michel Raymond, составляет одно из знаменитейших литературных имен так называемой Юной Франции. Название это вымышлено: оно заменяет имена трех молодых писателей, Брюгер, Гозлан и Массон, которые сочиняют вместе и издают свои сочинения под этою фирмою. Успех романа их „Les Intimes“ <«Близкие люди» — франц.> и повестей „Les contes de l'atelier“ <«Рассказы из мастерской» — франц.> приобрел ей лестную известность, по крайней мере между обожателями господствующей ныне во Франции новой литературной школы, которая, впрочем, совсем не новая. Повесть, которую сообщаем здесь нашим читателям, взята из последнего их сочинения, вышедшего под фирмою Мишель-Ремон. Она, по мнению нашему, лучшая во всей книге: прочие повести или не занимательны, или слишком отвратительны, что для пламенных обожателей этой школы составляет тоже красоту. По весьма уважительным причинам мы решились лишить наших читателей красот подобного рода и избирать для них такие, которые не оскорбляют ни здравого смысла, ни благородных чувств. Само собой разумеется, что в этой повести также сокращено или выпущено все, что в подлиннике

служит только к увеличению числа страниц, а не достоинства статьи» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. II. С. 1–2; об отношении Сенковского к современной французской литературе и о его методах редактирования переводов см.: Назарова Н. Французская литература 1830-х гг. в «Библиотеке для чтения»: Особенности редакторской политики О. И. Сенковского // Озерная текстология: Труды IV летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2007. С. 140–150). Публикация этой повести в журнале вызвала цензурные затруднения (см. письмо Сенковского к А. В. Никитенко от конца декабря 1833 г. — Шаронова А. В. О. И. Сенковский в его письмах к А. В. Никитенко (1833–1848) // ПИМ. СПб., 2003. Т. 16–17. С. 403–404).

⁴ Орден Св. Владимира 4-й степени был пожалован Карлу Брюллову за выполненную им в 1823–1827 гг. копию в натуральную величину с фрески Рафаэля «Афинская школа» в Ватикане (находится в Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге).

⁵ Цитата из монолога Репетилова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 4): «Вот эдаких людей бы сечь-то, / И приговаривать: писать, писать, писать...».

⁶ В первой книге альманаха «Новоселье» (СПб., 1833) были напечатаны басни И. А. Крылова: «Пастух», «Белка», «Мыши», «Лиса», «Волки и овцы» (с. 401–408). Позднее в «Библиотеке для чтения» им были опубликованы басни «Разбойник и Извозчик», «Лев и Мышь» (обе — 1834. Т. 3, № 5) и «Два мальчика» (1836. Т. 14, № 2). Кроме того, с января по май 1835 г. Крылов номинально числился редактором журнала.

⁷ Отсылка к эпизоду романа Алена-Рене Лесажа (Lesage; 1668–1747) «История Жиль Блаза из Сантьяны» («Histoire de Gil Blas de Santillane», 1715–1735) (кн. 7, гл. II–IV): известный проповедник архиепископ Гренадский берет к себе на службу главного героя как человека, «сведущего в литературе и обладающего хорошим почерком, дабы переписывать начисто его произведения», поначалу относясь к нему с симпатией; когда же Жиль Блаз высказал мнение, что последняя проповедь архиепископа «произвела на аудиторию несколько меньшее впечатление», чем предыдущие, тот выгнал его со словами: «Я изрядно обманулся, переоценив ваш незвитый ум. <...> Вы еще слишком молоды, чтоб отличать хорошее от худого. Знайте, что я никогда не сочинял лучшей проповеди, чем та, которая имела несчастье заслужить вашу хулу. Мой разум, слава Всевышнему, ничуть еще не утратил своей прежней силы. Отныне я буду осматрительнее в выборе наперсников; мне нужны для советов более способные люди, чем вы. <...> Прощайте, господин Жиль Блаз; желаю вам всяких благ и вдобавок немножко больше вкуса» (пер. Г. И. Ярхо). Ср. в письме В. Ф. Одоевского к А. А. Краевскому 1844 г. (написано по поводу рецензии В. Г. Белинского на вышедшее в этом году трехтомное собрание сочинений Одоевского): «Если бы мне сказали: ты начинаешь выписываться, твой талант потерял свежесть — я бы, может быть, не согласился на права архиепископа Гренадского...» (см.: *Одоевский В. Ф. Русские ночи*. Л., 1975. С. 234 (Лит. памятники)).

⁸ *Протей* — греческое морское божество, старец, принимавший различные образы. Определение Пушкина как «Протея в словесности», имеющее в виду разносторонность его поэтического таланта, — общее место критических статей 1820–1830-х гг.

⁹ В 1833 г. Пушкин действительно почти не публиковал новых произведений: в первой части альманаха «Новоселье» (СПб., 1833) была напечатана поэма «Домик в Коломне», а в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1833. № 26, 1 апреля) — рецензия на «Сочинения и переводы в стихах» П. А. Катенина. Кроме того, в этом году вышло первое отдельное издание «Евгения Онегина», а в различных песенниках и хрестоматиях было помещено несколько десятков публиковавшихся ранее стихотворений. «Молчание» Пушкина в 1833 г. было отмечено и в «Обозрении русской словесности за 1833 год» Н. И. Надеждина: «...1833 год кажется ничтожнее всех предшествовавших ему собратий! Не знаем, что скажут цифры статистиков в рассуждении итога вышедших в нем книг, сравнительно с предшествовавшими годами, но относительно впечатлений, оставленных ими, против прежних лет недочет решительный! Довольно, что не было ни одной новой поэмы Пушкина,

ни одного нового романа Булгарина. Даже бесконечная жизнь „Евгения Онегина“ прекратилась...» (Телескоп. 1834. Ч. 19, № 1. С. 8; без подписи).

¹⁰ *Султан Мустафа* — персонаж оперы Дж. Россини «Итальянка в Алжире» (1813; либретто А. Анелли).

¹¹ Пушкин совершил поездку по местам пугачевского бунта в сентябре 1833 г., но в Петербурге отсутствовал с середины августа до 20 ноября. 17 августа Пушкин выехал из Петербурга; заехав по пути в село Павловское к П. И. Вульффу и в Яропolec к Н. И. Гончаровой, он 25-го прибыл в Москву, где провел несколько дней, и 29 августа отправился в Нижний Новгород, а оттуда в Казань, Симбирск и Оренбург. 18 сентября он был в Оренбурге, провел день в городе и Бердской слободе, 20 сентября выехал в Уральск, куда прибыл 21 сентября, сделав по пути остановки в крепостях Татищевой и Нижне-Озерной, 23 сентября отправился в обратный путь и 1 октября приехал в Болдино. В Болдино поэт прожил до 9 ноября. На обратном пути он снова три дня пробыл в Москве и вечером 20 ноября вернулся в Петербург (см.: Летопись 1999. Т. 4. С. 72–97, 111–113).

¹² Ср. в письме П. А. Вяземского к И. И. Дмитриеву от 23 декабря 1833 г.: «Пушкин привез с собою несколько тысяч новых стихов в двух или трех маленьких поэмах...» (РА. 1868. № 4–5. С. 635). Во вторую Болдинскую осень Пушкиным была завершена работа над «Историей Пугачева» и повестью «Пиковая дама», написаны две поэмы — «Медный всадник» и «Анджело», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», стихотворение «Осень», переводы двух баллад Мицкевича — «Будрыс и его сыновья» и «Воевода», и др.

Н. К.

«РОССИЯ И БАТОРИЙ», ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ, СОЧ<ИНЕНИЕ> БАРОНА РОЗЕНА

<Отрывки>

СПч. 1834. № 8, 11 января; № 9, 12 января. С датой под текстом: «21 декабря 1833».

«Россия и Баторий» (СПб., 1833) — первая из исторических драм Е. Ф. Розена (см. о нем: Русские писатели. Т. 5. С. 341–344, статья В. Э. Вацууро; П. в критике, III. С. 407), составляющих центральную часть его литературного наследия. Отдельное издание поступило в продажу в начале сентября 1833 г. (см.: СПч. 1833. № 227, 7 октября); ранее отрывки печатались в «Сыне отечества и Северном архиве» (1832. Ч. 26, № 13; д. 1, явл. 2, 3). В основу драмы положены события последних лет царствования Ивана Грозного и эпизод Ливонской войны — героическая оборона Пскова от войск Стефана Батория. Создавая свою историческую драму, Розен, на первый взгляд, шел в русле драматической реформы русской сцены, заявленной пушкинским «Борисом Годуновым». «Россия и Баторий» была задумана как широкое и многофигурное эпическое полотно, где действие охватывает достаточно продолжительный период времени, поочередно переносится с московских улиц в царские палаты в Александровской слободе, на площадь осажденного Пскова, в лагерь Стефана Батория, вводятся народные и батальные сцены. Драма Розена была написана пятистопным ямбом, рифмованным и нерифмованным. В драматическом отношении произведение Розена было, однако, явно неудачно, а сохраненное им традиционное деление пьесы на пять действий только подчеркивало ее композиционную аморфность. Центральный трагический герой пьесы — Иван Грозный, великий самодержец и одновременно тиран, пугающий своих преступлений: «...крепкий муж державный, / Упадший духом, немощный душой», «В его глазах, быть может, бродят тени / Невинных жертв...», «Между царей блестящий херувим, / Между людей последний окаянник, / И свет и тьма, и благ и зол избранник...» (Розен Е. Ф. Россия и Баторий, историческая драма в пяти действиях. СПб., 1833. С. 12, 176). Ему противостоит король-рыцарь Стефан Баторий. Розен, таким образом, вводит в свою драму тему польско-русских отношений. Но если в пушкинском «Борисе Годунове» Россия и Польша

соотносились между собой как два разных типа национальной культуры, у Розена их противопоставление носит чисто идеологический характер: раздираемому внутренними конфликтами и воюющему из выгоды войску Батория противостоят русское войско и русский народ, крепкие своим единством, верностью патриархальным устоям и своему государю. Именно любовь русских к самодержавию как черта национального характера и является объединяющей идеей драмы «Россия и Баторий».

Благожелательно отозвался о драме Розена Н. И. Греч в опубликованном в первой книжке «Библиотеки для чтения» «Письме в Париж» (см. о нем наст. изд., с. 364). Он отметил, впрочем, что «драма б<арона> Р<озена>, как драма, не выдержала бы строгой критики, если б в ней не были выведены на сцену лица, важные для нас историческим своим значением: действие и интерес драмы в ней делятся между Московскою и Псковом» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. I. С. 166). Из двух появившихся в 1833 г. драматических новинок, «России и Батория» Розена и «Торквато Тассо» Н. В. Кукольника, Греч отдавал предпочтение пьесе Кукольника. 7 января 1834 г. цензор «Библиотеки для чтения» А. В. Никитенко записал в дневнике: «Между бароном Розеном и Сенковским произошла недавно забавная ссора. По словам Баронского, барон просил написать рецензию на его драму и напечатать в „Библиотеке для чтения“, рассчитывая, конечно, на похвалы. Сенковский обещал, но выставил в своей рецензии баронского „Батория“ в такой параллели с Кукольниковым „Тассо“, что последний совершенно затмил первого. Барон рассердился, написал письмо к критику и довел его до того, что тот решился не печатать своего разбора, не премию, впрочем, сделать трагиком не слишком-то лестные замечания. Оба были у меня, оба жаловались друг на друга» (Никитенко. Т. 1. С. 132). Тем не менее развернутая рецензия О. И. Сенковского (под псевдонимом: Тютюнджю-оглу) на «Россию и Баторий» Розена, «Торквато Тассо» Кукольника и драму под тем же заглавием М. Д. Киреева (СПб., 1833) появилась в той же первой книжке «Библиотеки для чтения», что и «Письмо в Париж» Греча. Сенковский с похвалой отозвался о драме Розена, но, действительно, объявил Кукольника «соперником несравненно выше его» и «необыкновенным поэтическим гением» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 12, 13). Критик «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» (1834. № 12–14, 10, 14 и 17 февраля; подпись: Пп) признавал в авторе «России и Батория» «решительный талант, обдуманность, начитанность и обширные сведения в русских древностях», хотя и ставил ему в упрек отсутствие единства действия и недостаточную прорисовку большинства характеров. В этой рецензии, предвравшейся эпиграфом из пролога к «Руслану и Людмиле» («Здесь Русью пахнет»), в связи с «Россией и Баторием» неоднократно упоминался пушкинский «Борис Годунов». В чем-то критик отдавал предпочтение Розену, в чем-то, напротив, советовал ему учиться у Пушкина (см. также примеч. 3). Единственное, по мнению критика, в чем Розен в сравнении с Пушкиным потерпел решительную неудачу, это в изображении народных сцен и русских нравов. «У нас, россиян, не ведется беседа без того, чтобы не начались шутки, прибаутки, больше или меньше тонкие или толстые, смотря по классам народа, — писал критик. — Они не оставляют веселости даже под тучами собирающейся беды. Прекрасно подстерег это зубоскальство *русского* А. С. Пушкин. Он в свою пьесу „Борис Годунов“ живьем посадил наших монахов, приставов и старуху! <...> Из наших новичков-драматиков ни барон Розен, ни гг. Кукольник и Киреев, сочинители драм „Торквато Тассо“, не успели в своих попытках смешать печальное с веселым. Между тем у нас этому проложена широкая дорога в пьесе „Борис Годунов“ А. С. Пушкиным» (№ 14, 17 февраля. С. 108–109). Впрочем, рецензент называл «Россию и Батория» бесспорно «лучшим произведением из всех наших романтических драм», оговариваясь при этом, что пьесе Пушкина «Борис Годунов» «нельзя считать драмою» (Там же. С. 111).

Драма Розена была представлена Николаю I и вызвала одобрение императора, приказавшего переделать ее для сцены. Переделка, проходившая при консультациях В. А. Жуковского (см. письмо к нему Розена от 4 февраля 1834 г. — РС. 1903. № 8. С. 455; также запись в дневнике А. В. Никитенко от 7 января 1834 г. — Никитенко. Т. 1. С. 132), оказалась достаточно радикальной. Из пьесы пришлось исключить все эпизоды с Иваном Грозным, поскольку представление на сцене русского царя не допускалось театральными законами того времени; была введена новая сюжетная ли-

ния — противостояние князя Курбского и его сына, действующего на стороне псковитян под именем князя Прозоровского, — разработанная Розеном в целом в рамках классицистического конфликта долга и чувства. О создании сценической версии собошла «Северная пчела» еще в декабре 1833 г. (№ 299, 29 декабря; № 300, 30 декабря; здесь же напечатан отрывок из 5-го действия). Переделанная пьеса получила заглавие «Осада Пскова» и была сыграна на сцене Александринского театра 1, 4 и 10 октября 1834 г., но успеха не имела и после трех представлений не возобновлялась. Много позднее Розен еще раз переработал свою драму и назвал ее «Князья Курбские» (СПб., 1857).

Представляется вполне вероятной предположительная атрибуция статьи Н. К. в «Северной пчеле» Н. В. Кукольникову (см.: Дневник А. С. Пушкина. 1833–1835. М.; Пг., 1923. С. 121, коммент. Б. Л. Модзалевского; Летопись 1999. Т. 4. С. 138; Русские писатели. Т. 5. С. 342, статья В. Э. Вацура). Кукольник (см. о нем наст. изд., с. 588) не сотрудничал в «Пчеле» и не подвизался на поприще литературной критики, однако основания отметить положительным отзывом выход в свет драмы Розена у него были: именно в альманахе Розена «Альциона» на 1833 г. появился первый завершённый драматический опыт Кукольника — «Тартини. Интермедия-фантазия в трех частях», и в этом же году Розен откликнулся большой комплиментарной рецензией в «Северной пчеле» (№ 181 и 182, 12 и 14 августа) на его вторую напечатанную пьесу — «драматическую фантазию» в стихах «Торквато Тассо» (СПб., 1833). Кроме того, под инициалами Н. К., без полного имени сочинителя на титуле, вышли в свет почти все драматические сочинения Кукольника в 1833–1837 гг. (Торквато Тассо. СПб., 1833; 2-е изд. СПб., 1836; Джакомо Санназар. СПб., 1834; Рука Всевышнего отечество спасла. СПб., 1834; Роксолана. СПб., 1835; Джулио Мости. СПб., 1836; Двадцать осьмое января 1725 года. СПб., 1837).

Рецензия Н. К., открывающаяся туманными и вроде бы никому конкретно не адресованными выпадами в адрес «аристократических партий» в литературе и гениев, обособившихся от литературного мира и «с презрением публики и собственных способностей» устремившихся к «вещественной» пользе, дальше вся строится на то явное, то скрытом противопоставлении «России и Батория» и пушкинского «Бориса Годунова», причем противопоставлении отнюдь не в пользу Пушкина. Это вполне согласуется с общей негативной оценкой Кукольниковым творчества Пушкина (ср. в письме Н. В. Гоголя А. С. Данилевскому от марта 1832 г.: «Пушкина все по-прежнему не любит. „Борис Годунов“ ему не нравится» — Гоголь. Т. 10. С. 228). Неприятие «объективности» пушкинского исторического взгляда и тезис, что «только любовь к отечеству, к царю и святыне» составляет «единственные» сюжеты народной исторической драмы, как нельзя лучше соответствуют литературной позиции Кукольника. Заявленный в «России и Батории» тип исторической пьесы должен был быть ему близок. В этот момент на сцене Александринского театра готовилась к постановке его драма «Рука Всевышнего отечество спасла», оконченная еще в октябре 1832 г. Эта пьеса, триумфальная премьера которой состоялась 15 января 1834 г., утвердила на русской сцене историко-патриотическую драму, трактующую монархическую идею в духе официальной народности. С другой стороны, стремление Н. К. утвердить «чувство, жизнь, даже лучше лиризм, нежели холодный разговор» в драматургии также отражает существенные черты драматургии Кукольника, где основным средством воздействия на зрителя являлась «лирическая патетика монологов, произносимых в момент высшего напряжения духовных сил» (Вацура В. Э. Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // Вацура В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 580). В последующие годы как раз Кукольник и Розен будут бороться за право считаться официальным «государственным» драматургом, причем их конфликт выйдет за рамки чисто литературного соревнования. «Раздражаемый неуспехом на сцене своих драм и успехом Кукольника, — вспоминал И. И. Панаев, — барон Розен горячился, выходил из себя, доказывал, что он настоящий драматический поэт, что Кукольник не имеет ни малейшего понятия о драматическом искусстве; что его, Розена, оценит потомство, и так далее» (Панаев. С. 92). В 1836 г. Розен намеревался выступить против Кукольника на страницах пушкинского «Современника». Он писал Пушкину 4 февраля 1836 г.: «...прежде всего, я хотел бы написать статью о Кукольнике. Так как мы с вами придерживаемся почти одинаковых мнений о нем,

не встретится никаких препятствий к помещению данной статьи, цель которой будет: доказать вышеупомянутому автору, что все, им написанное, не многого стоит и что он не овладел даже техникой драматического действия; напасть беспощадным образом на избранный им злополучный жанр, принимая во внимание, что у него есть талант, который, будучи усовершенствован, мог бы, быть может, возвыситься над его бледной посредственностью нынешнего дня» (XVI, 82, 381; оригинал по-франц.).

¹ В рецензии на третью часть «Стихотворений Александра Пушкина» Е. Ф. Розен сопоставлял Пушкина с Гёте. Качества, «коими не всегда отличаются и превосходнейшие дарования, но кои между тем должно назвать выпренными качествами таких гениев, как Шекспир и Гёте», по утверждению Розена, яснее всего проявились у Пушкина в драме «Борис Годунов» (СПч. 1832. № 81, 7 апреля; П. в критике, III. С. 174–175). Судя по дате «21 декабря 1833» под текстом рецензии Н. К., ее автору еще не могла быть известна статья Сенковского о драмах «Россия и Баторий» и «Торквато Тассо» Кукольника, напечатанная в 1-й книжке «Библиотеки для чтения», где «юным нашим Гёте» назывался Кукольник (1834. Т. 1. Отд. V. С. 29).

² В «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» также высказывалось предположение, что за «Россией и Баторием» должно последовать продолжение (см. ниже примеч. 3). В следующей своей трагедии «Петр Басманов» (СПб., 1835) Розен также обратился к эпохе Смуты.

³ Рецензент «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» отдавал Розену преимущество перед Пушкиным и в обрисовке характера Годунова: «Борис исторический навсегда останется уделом поэтов. Кто теперь станет описывать его поэтически, тот или повторит очерк барона Розена, или создаст мечту, неверного Бориса. Годунов барона Розена, один на одного, поборет Годунова А. С. Пушкина» (1834. № 12, 10 февраля. С. 94). Впрочем, в продолжении своей рецензии критик «Литературных прибавлений» давал совершенно иную, чем Н. К., оценку драматической манеры Пушкина и прямо рекомендовал ее Розену в качестве ориентира: «Сказывают, что драма „Баторий и Россия“ есть только первая часть большой трилогии, в которой барон Розен намерен обнять жизнь Годунова: при дворе Иоанна (изданная драма), как правителя, как царя, благоденствующего черную годину бедствия. Давай Бог! Жизнь Годунова драматически богаче жизни Валленштейна, потому можно надеяться, что трилогия барона Розена будет спорить с трилогией „Валленштейна“, едва ли не лучшим произведением Шиллера. Впрочем, смотря на новую драму и как на часть трилогии, все-таки пятое действие само собою прочь отваливается, разведя конец драмы. Правда, очерки в пьесе А. С. Пушкина „Борис Годунов“ слишком легки; предмет этот требует рамы обширнейшей. Но рука А. С. Пушкина верна: он поэт в полном смысле. Поэзия не должна обращаться в историю, писанную стихами; не все изображать, что известно о герое драмы. Она здесь и там рвет одни цветы, не столько высказывает, сколько заставляет мечтать читателя. Она не наука, а наслаждение ума. В трилогии „Борис Годунов“ обширнейшего объема, чем пьеса А. С. Пушкина, должны быть только легкие, поэтические очерки, а не непрерывное повествование, тип именно пьесы А. С. Пушкина, а не истории Н. М. Карамзина» (Там же. № 13, 14 февраля. С. 103–104).

⁴ См.: Розен Е. Ф. Россия и Баторий. С. 16–17 (д. 1, явл. 3).

⁵ Там же. С. 22–26 (д. 1, явл. 5).

⁶ На язык драмы Розена обращено особое внимание и в отзыве Греча: «Автор отбросил стеснительные, условные законы приличия, благородства, нежности выражений: он берет слова, которые, по его мнению, ближе, короче, сильнее выражают мысль и чувство, располагает их по русскому народному синтаксису и производит сим эффект удивительный. Можно сказать, он ломает язык (иногда и не совсем удачно), но как, не *поломавшись*, и освободиться от оков, наложенных на прежний язык драматический и правилами Буало, и примером Сумарокова, и привычкою в семинариях и канцеляриях! Честь и слава младому витязю!» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. I. С. 165).

⁷ Поскольку настоящая рецензия явилась первым критическим разбором драмы Розена, речь здесь может идти только об устных отзывах. Печатная полемика разгорелась позднее вокруг сценической переделки «России и Батория» — трагедии «Осада Пскова». В № 1 Прибавлений к «Северной пчеле» от 14 октября появился ано-

нимный отрицательный отзыв о постановке. Признавая в бароне Розене «замечательный талант» и находя в трагедии «превосходные отдельные сцены», рецензент «Пчелы» тем не менее не видел в драме единства действия и связи между частями и считал, что в литературно-сценическом отношении «Осада Пскова» «не выдержит строгой критики». «Первый драматический опыт редко бывает удачен, ибо знание сцены приобретается не легко и не вдруг», — замечал он. Розен развернуто ответил на высказанные критиком упреки в «Письме к Гречу» (СПч. 1834. № 241, 24 октября). На выход отдельного издания «Осады Пскова» (СПб., 1834) «Северная пчела» откликнулась отрицательной рецензией В. М. Строева (1834. № 262, 17 ноября; подпись: В. В. В.). В ответ Розен напечатал статью «Нечто о нынешней критике» (Там же. № 266, 22 ноября), в которой сетовал на критические выходы газетной молодежи и нежелание «парнасской аристократии» оградить от них русскую литературу. «Критикою ныне, по разным причинам, не хотят заниматься *такие* литераторы, мнение коих было бы полезно и для авторов, и для публики, — писал Розен, — итак, редакция какого-либо повременного издания принуждена довольствоваться принижениями *безымянных* сотрудников. А кто ж эти сотрудники? По большей части молодые, с порядочным воспитанием люди, которые за недостатком таланта, чтобы прославить себя чем-либо важным в литературе, славолюбиво взбираются на судилище газеты, разносящей их слово во все концы обширной России. Они начинают скромно; но, видя, что им никто не противоречит, уже воображают себя законными судьями, смешным образом чванятся на ораторских *ростах* и испускают свои неприличные крики против людей, о коих они должныствовали б говорить не иначе как в почтительной позиции и с крайнею недоверенностию к собственным суждениям. Следуя примеру Гёте, наши парнасские аристократы не отвечают на критики; я очень хорошо знаю, что эти критики сами по себе не стоят возражения; но для пользы словесности пора бы унять эту шумную вольницу, молодечеству коей предали мы почти всю область нашей журнальной литературы. Зло побеждается *добром*: итак, всякий, кто горячо любит словесность своего края, должен стараться образумить пылкую молодежь наставительными возражениями. Несколько молний из руки *Жуковского* и *Пушкина* восстановили бы порядок на Парнасе и заставили бы лучше обдумывать дерзновенные речи».

⁸ Речь идет об издававшемся Розеном в 1831–1833 гг. альманахе «Альциона».

К. А. ПОЛЕВОЙ

О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

МТ. 1834. Ч. 56, № 5 (выход в свет между 7 и 13 апреля). С. 119–136. Подпись: К. П.

Это последняя статья К. А. Полевого в «Московском телеграфе». Журнал был запрещен 3 апреля 1834 г. 13 апреля официальный редактор журнала Н. А. Полевой был вызван в Московский цензурный комитет для объявления о закрытии журнала. Пятый номер «Телеграфа» получил цензурное разрешение 7 апреля, к 13 апреля уже был отпечатан и раздавался подписчикам (в документах цензурного комитета он значится в числе изданий, которые получили билет на выпуск из типографии с 6 по 13 апреля). См.: *Березина В. Г.* Из цензурной истории журнала «Московский телеграф» // РЛ. 1982. № 4. С. 164–165.

В статьях и рецензиях Н. А. и К. А. Полевых 1830-х гг., развивающих основные положения их полностью сформировавшейся к этому времени литературно-эстетической концепции, были обозначены новые критерии оценки явлений современной литературы — «самобытность» и «народность». Третье после «самобытности» и «народности» (и связанное с ними) необходимое качество писателя, по мнению Полевых, — «современность». Любый поэт, как писал К. А. Полевой в рецензии на «Стихотворения Н. Языкова» (СПб., 1833), — «кроме того, что он человек <...> еще сын какой-нибудь земли и гражданин какого-нибудь века» (МТ. 1833. Ч. 50, № 6. С. 230). «Человек не может вдохновляться тем, чего он не видит и не понимает, и потому восторги его при таких предметах всегда показывают поддельность дарования. <...>

Русский, желающий быть греком, римлянином или итальянцем в лирической поэзии, — не поэт, ибо он идет вслед и подражает поэтам чужеземных народов, а подражатель не знает вдохновения. Это ремесленник, копирующий чужой рисунок, а не сам создавший его» (Там же. С. 231). Ранее К. А. Полевой сурово осудил идилли и подражания древним Дельвига. «Можно ли подражать искусству древних?» — спрашивал он в рецензии на «Стихотворения барона Дельвига» (СПб., 1829); и отвечал: «Подражать одним формам их, но не духу и формам вместе — вот что возможно для современником наших. <...> Все вокруг нас изменилось. Откуда же почерпнет новый поэт душу, которую он должен вложить в свои древние сочинения?» (МТ. 1829. Ч. 27, № 11. С. 359, 361). С тем же пафосом он отрицал и подражание произведениям «старинной» русской словесности и народной поэзии. «Разве не довольно быть поэтом своего народа и выражать собственную душу свою, напитанную и воспитанную народностию, выражать достойным своего времени образом? — писал он в статье о поэтическом сборнике Н. А. Маркевича «Украинские мелодии» (М., 1831). — Можем ли мы сравняться с народными поэтами времен прошедших? Можем ли так думать, глядеть, чувствовать, как они? А без этого что будет наше желание подделаться под них?» (МТ. 1832. Ч. 46, № 13. С. 74). Позиция Полевого и Надеждина, тоже критически оценившего пушкинские сказки, несомненно, оказала влияние на последовательное негативное отношение к ним Белинского (см. примеч. 4 к статье В. Г. Белинского «Литературные мечтания» — наст. изд., с. 386).

¹ Тезис «у нас нет литературы» был высказан еще А. А. Бестужевым в обзоре «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (Полярная звезда на 1825 г. СПб., 1825. С. 2) и с тех пор в том или ином виде не сходил со страниц критических обзоров (см., например, «Обозрение русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского — Денница на 1830 г. М., 1830. С. XL; П. в критике, II. С. 214). В начале 1834 г. русские периодические издания изобиловали такого рода рассуждениями. О плачевном состоянии русской словесности в Петербурге писали Н. И. Греч в «Письме в Париж к Якову Николаевичу Толстому» (БдЧ. 1834. Т. 1. С. 159–163; наст. изд., с. 29–31); рецензент драмы Е. Ф. Розена «Россия и Баторий» (СПч. 1834. № 8, 11 января; наст. изд., с. 32); немного позднее — О. И. Сенковский в статье о второй части альманаха «Новоселье» (БдЧ. Т. 3, № 5. Отд. V. С. 25–30; наст. изд., с. 42–45). В Москве Н. И. Надеждин начал этим свое «Обозрение русской словесности за 1833 год» в первом номере «Телескопа» (см. примеч. 2 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 374). Развернутое обоснование тезис «у нас нет литературы» получил в статье В. Г. Белинского «Литературные мечтания», печатавшейся в «Молве» в сентябре—декабре 1834 г. (см.: наст. изд., с. 56 и примеч. 15 на с. 389).

² Здесь имеется в виду художественная литература.

³ «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кошеля Бесмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кошечей дочери» В. А. Жуковского была напечатана в первой части альманаха «Новоселье» (СПб., 1833). Н. А. Полевой в рецензии на «Новоселье» резко отрицательно отозвался о сказке Жуковского: «По всему видно, что автор хотел подделаться в ней под русские сказки, но его гексаметры, его дух, его выражения слишком далеки от истинно русского» (МТ. 1833. Ч. 50, № 5. С. 105–106; см.: подробнее: П. в критике, III. С. 410).

⁴ В рецензии «Московского телеграфа» на третью часть «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1832), автором которой, скорее всего, также был К. А. Полевой, «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» была дана негативная оценка: «Об этом стихотворении мы скажем только, что оно ниже своего образца и столько же походит на русскую сказку, сколько прежний Пушкин на нынешнего». Рецензент критиковал выбранный Пушкиным стихотворный размер — четырехстопный рифмованный хорей, ставя в этом отношении пушкинское произведение в ряд с «Бовой» А. Н. Радищева (1798–1799), «Ильей Муромцем» Н. М. Карамзина (1794) и «богатырской песней» «Добрыня» Н. А. Львова (1796), размер которых был, по его мнению, избран также неудачно и «нейдет к русской сказке» (МТ. 1832. Ч. 43, № 4. С. 572; П. в критике, III. С. 182). Кроме напечатанных «Сказки о царе Салтане» и

«Сказки о мертвой царевне», у Пушкина к этому времени были готовы «Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о рыбаке и рыбке». О последней, написанной в Михайловском 14 октября 1833 г., Полевой вряд ли мог что-нибудь знать. «Сказка о попе и о работнике его Балде», в которой Пушкин использовал рашенный стих, была известна в литературных кругах. В появившейся в марте 1832 г. статье «Литературные новости, слухи и надежды», автором которой, вероятно, был Н. И. Надеждин, говорилось, что «Пушкин написал несколько повестей и сказок в стихах» (Молва. 1832. Ч. 3, № 20, 8 марта. С. 77; П. в критике, III. С. 161). Видимо, такого рода информация и стоит за словами Полевого о «многих других новых сочинениях», в которых Пушкин старается «превратиться в старинного русского рассказчика».

⁵ *Кириша Данилов* — певец-импровизатор (XVIII в.), считающийся составителем одного из древнейших собраний русской народной поэзии — сборника былин, баллад, исторических и лирических песен и т. д., который впервые был издан в 1804 г. в Москве под заглавием «Древние русские стихотворения» (2-е изд., расш.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым... М., 1818). *Певец Игорьев* — автор «Слова о полку Игореве» — знаменитого памятника древнерусской литературы конца XII в. Впервые было издано в Москве в 1800 г. — «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». К 1834 г. вышел целый ряд научных комментированных изданий «Слова...» и его поэтических переложений. *Баян* — Боян (XI в.), древнерусский поэт-певец, предшественник автора «Слова о полку Игоревом», неоднократно им упоминаемый.

⁶ Граф *Калиостро* (Cagliostro, наст. имя Джузеппе Бальзамо; 1743–1795) — знаменитый итальянский авантюрист, мистик и заклинатель духов. *Граф Сен-Жермен* (le comte de Saint-Germain) — одна из самых загадочных личностей XVIII в., богач, алхимик и оккультист, путешествовавший по разным странам и живший при разных королевских дворах. Обоим молва приписывала способность творить чудеса.

⁷ Речь идет о А. А. Бестужеве, имя которого нельзя было упомянуть в печати. «Письмо к доктору Эрману», в котором Бестужев рассказывал о своем путешествии из Якутска на Кавказ, в Турцию и оттуда в Дагестан, появилось в печати в «Московском телеграфе» (1831. Ч. 41, № 17. С. 37–73) без подписи, с пометой под текстом: «*Дагестан*. 1831. Январь».

⁸ Имеется в виду одно из чудес Магомета, рассказы о котором распространены в апокрифической литературе. Магомет в полдень покрыл небо тьмою, а луна, сойдя со своего пути, спустилась к пророку и выполняла его приказания. Эта легенда вошла, в частности, в «Краткое жизнеописание Магомета» французского ориенталиста и путешественника К.-Э. Савари (Savary; 1750–1788), приложенное им к французскому переводу Корана (см.: Le Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes, et précédé d'un Abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés. Par M. Savary. A la Mecque, L'an de Hégire 1165 [1787]. Т. 1. P. 36–37, 1-re pag.; пер. изд.: Paris, 1828).

⁹ Здесь в журнальном тексте стоит ряд точек, продолженный до конца строки, — возможно, след цензурной купюры.

¹⁰ *Фарос* — маяк (от имени маяка на острове близ Александрии в Египте).

¹¹ Слово *факт* являлось новшеством русской литературной, особенно журнальной, речи второй четверти XIX в.; широко употреблялось в языке «Московского телеграфа». См., например, в полемической заметке «Дамского журнала» «О любимых словах Бомбайской каланчи» (т. е. «Московского телеграфа»): «Что ж принадлежит до слова *факты*, то это самое драгоценнейшее, самое любимейшее из слов, уважаемых Каланчюю. Слово *факты* в ней разгуливает по всем страницам...» (1827. Ч. 18, № 11. С. 259). В словарях отмечается с 1837 г. После этой фразы в журнальном тексте стоит ряд точек, продолженный до конца строки, — возможно, след цензурной купюры.

¹² О «филантропическом» взгляде Карамзина см. статью И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года» (Денница: Альманах на 1830 год М., 1830. С. XVI; П. в критике, II. С. 211).

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«НОВОСЕЛЬЕ». КНИГА ВТОРАЯ

<Отрывки>

БдЧ. 1834. Т. 3, № 5 (выход в свет 5 мая — П. в печати. С. 110). Отд. V. С. 25–42; приводимые отрывки — с. 25–30, 37, 41–42. Подпись: О. С. Статья включена в библиографический список основных сочинений Сенковского (см.: *Сенковский О. И. (Барон Брамбеус)*. Собр. соч. СПб., 1858. Т. 1. С. СХХVII).

Об истории альманаха «Новоселье» см.: П. в критике, III. С. 437–439. Вторая книжка альманаха вышла в свет 19–21 апреля 1834 г. (см.: П. в печати. С. 110; см. также ниже, примеч. 11; на титульном листе помещена гравюра С. Ф. Галактионова с оригинала А. П. Сапожникова, изображающая внутренний вид библиотеки при книжной лавке А. Ф. Смирдина). Пушкин поместил во второй книжке альманаха поэму «Анджело», написанную в октябре 1833 г. в Болдине. Публикация поэмы была осложнена цензурным вмешательством, вызвавшим крайнее раздражение Пушкина. Получив от А. Ф. Смирдина приглашение участвовать в новом журнале «Библиотека для чтения», Пушкин в письме к А. Х. Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. просил разрешения печатать передаваемые Смирдину сочинения наравне с другими авторами с дозволения общей цензуры. Это разрешение было им получено, однако цензор «Новоселья» А. В. Никитенко отнесся за разъяснениями к министру народного просвещения С. С. Уварову. «Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензуровать их, — записал Никитенко в дневнике 9 апреля. — Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел „Анджело“ и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены» (Никитенко. Т. 1. С. 140). 11 апреля Никитенко отметил в дневнике, что Пушкин, узнав о цензурных купюрах в поэме, «взбесился» и требует замены выпущенных строк точками. Никитенко через Плетнева пытался объяснить Пушкину, что исключения сделаны не им, а самим министром (Там же. С. 141–142). Тем не менее их отношения с Пушкиным в дальнейшем оставались натянутыми. В тексте «Анджело», напечатанном в «Новоселье», только в одном месте четырьмя строками точек обозначен пропуск четырех стихов. Одна из двух других купюр, в диалоге Изабеллы с Клавдио в части второй, искажает текст: один стих остался без рифмы, один оказался наполовину урезан. При подготовке в следующем году двухтомного издания «Поэм и повестей» Пушкин попробовал восстановить текст «Анджело», «неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем Смирдиным» (XVI, 230; письмо Пушкина в Главное управление цензуры от 28 августа 1835 г.). В дело снова вмешался Уваров, предписавший одобрить поэму к печати точно в том виде, в каком она была напечатана в первый раз (см.: Вацуро, Гиллельсон. С. 186–190; также примеч. к рецензии «Библиотеки для чтения» на первый том «Поэм и повестей» — наст. изд., с. 413–414). Рецензия Сенковского содержит один из немногих благожелательных отзывов о поэме, не получившей признания у современников. Перепечатанная в следующем году в составе второй части «Поэм и повестей», она прошла незамеченной (подробнее см.: *Черняев Н. И.* Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 144–150). По этому поводу Пушкин говорил П. В. Нащокину: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал» (П. в восп. Т. 2. С. 195). Высокую оценку «Анджело» позднее дали друзья поэта (см.: *Левин Ю. Д.* Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина // ПИИМ. Л., 1974. Т. 7. С. 80).

Вступительная часть статьи Сенковского — одно из немногих общих рассуждений редактора «Библиотеки для чтения» о состоянии и развитии русской словесности, много объясняющее для понимания его последующих критических оценок, которые так возмущали современников. Владея несколькими европейскими и восточными языками и постоянно следя за новинками французской, английской и немецкой литератур, Сенковский неизменно отдавал предпочтение им, считая большинство произведений литературы русской сколком с тех или иных европейских образцов. И в своем журнале он главными отделами считал «Науки и искусства» и «Промышленность и сельское хозяйство», рассматривая изящную словесность как необходимый для более широкого успеха издания балласт. Разбор отдельных произ-

ведений альманаха Сенковский начал с упоминания о собственных сочинениях, опубликованных под псевдонимом «барон Брамбеус», с иронией предупреждая готовящиеся на них критики: «...что касается до таланта этого писателя, то всем известно, что он ничего не смыслит, — а если не всем еще известно, то это скоро будет доказано свету теми, которых дело доказывать великие этого рода истины» (с. 31). Отзыв о Гоголе, поместившем в «Новоселье» под псевдонимом «Рудый-Панько» «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», начинался с похвал, но по сути был почти оскорбительным: «Это писатель, без шуток, с большим дарованием. <...> Судя по роду его таланта, это малороссийский Поль-де-Кока. Не должно думать, чтобы в этом сравнении заключалась малейшая укоризна: это искренняя и заслуженная похвала. Я отнюдь не ставлю Поль-де-Кока так низко, как многие привыкли делать это на основании нескольких острот, отпущенных насчет его сочинений: у него много, и премилого, дарования; он с большою ловкостью списывает портреты лиц известного класса и умеет представлять их забавными без натяжки и без сатиры; чувство и веселость оживляют его страницы, на которых нередко встречаешь весьма удачные выражения и мысли. Исключая чувства, г. Панько-Рудый обладает всеми прочими качествами этого приятного книгописателя, — не в высшей степени, нежели как он, но и не ниже его. Главный недостаток творений Поль-де-Кока — это выбор предметов повести, которые всегда почти у него грязны и взяты из дурного общества. Этот недостаток г. Панько-Рудый разделяет с ним в полной мере. <...> Если б Поль-де-Кока описывал малороссийские нравы, он описывал бы их с той же стороны и таким же образом, как г. Панько-Рудый: как у него вкус несколько образованнее и такт более парижский, он, может быть, не употребил бы иронии г. Панько-Рудого или употребил бы иронию удачнее и тонее, — и хорошо бы сделал!» (с. 31–32). Безусловно высоко оценил Сенковский прозаический отрывок В. Ф. Одоевского «Катя, или История воспитанницы» (напечатан под псевдонимом: Ъ. Ъ. Й. Безгласный), благожелательно отозвался о «Мудреных приключениях квартального надзирателя» Ф. В. Булгарина, «Праделушкиной женитьбе» А. А. Шаховского и «полу-историческом анекдоте» В. А. Ушакова «Премьер-майор Палицын». Из поэтических публикаций альманаха, кроме «Анджело», рецензент выделил только «Элевзинский праздник» В. А. Жуковского и басню И. А. Крылова «Крестьянин и Собака».

¹ Романы М. Н. Загоскина (1829) и Ф. В. Булгарина (1830).

² Н. И. Надеждин в «Обзрении русской словесности за 1833 год», открывавшем первую книжку «Телескопа» в 1834 г., жаловался на плачевное состояние русской литературы: «Какое горькое, убийственное впечатление! В продолжение трех лет при окончании каждого года мы повторяли печальные иеремиады о возрастающем запустении нашей словесности, но всегда растворяли свои жалобы утешительными надеждами на лучшую будущность. Сие самое запустение казалось нам ручательством близкого изобилия, подобно как в физической нашей атмосфере усиливающаяся засуха внушает ожидание скорого ливня. Мы не теряем и ныне сей отрадной доверенности к будущему: но признаемся, настоящее уже так пусто и дико, что невольно пугаешься и за будущность» (Телескоп. 1834. Ч. 19, № 1. С. 7). В ряду обстоятельств, тормозящих развитие русской словесности, указывалось на слишком раннюю, по мнению критика, ее коммерциализацию: «Меркантильный дух, слишком явно обнаружившийся в дряхлых остатках нашей литературы, невольно заставляет подозревать, что она превратится скоро в розничную лавку, в мелочной шапкин... Нам бы рано еще объявлять построчную таксу своим произведениям: прежде б следовало приобрести кредит производству, а потом пускаться в торговлю...» (Там же. С. 16). «Обзрение...» Надеждина вызвало ироничную отповедь Сенковского: «У нас нет литературы! Что же такое значат 12 000 <на>званий русских книг в каталоге нашей книжной торговли? Это, верно, 12 000 голландских сельдей! Мы так вежливы к другим народам, что говорим и пишем всякий день: литература санскритская, литература испанская, скандинавская, турецкая, персидская, татарская, даже литература монгольская <...> а когда взглянем на наши 12 000 сочинений, то с уничтожением, со стыдом, потупя глаза и покраснев, как раки в кастрюле, произносим: у нас нет литературы!.. И это говорят русские русским же? И это говорят в глаза народу, у которого были Ломоносов, Державин, Озеров, Крюковской, фон-Визин, Карамзин и Гри-

боедов, — у которого теперь есть Крылов, Жуковский, Пушкин, Марлинский, Булгарин, Загоскин, не считая других по двадцати пяти уважительным причинам?» (БдЧ. 1834. Т. 2, № 2. Отд. V. С. 1–2). Далее следует пышная апология современного состояния словесности, когда она «перестала быть бесприютною сиротою», «взросла, возмужала, поступила на свой хлеб и пошла в люди», когда, в частности, «стала сочинять свои страницы» «в безбедной горнице записного литератора, перед лежащим на разбросанных книгах контрактом на гербовой бумаге, заключенным вчера с книжною торговлею и записанным по надлежащей форме у маклера» (Там же. С. 3). Позднее в помещенной надеждинской «Молвой» рецензии на альманах «Новоселье» было отмечено видимое противоречие в высказываниях Сенковского. Приведа соответствующий фрагмент из отзыва Сенковского о «Новоселье» («...соревнование приобрело коммерческий опыт ~ убийственно для начинающей словесности»), критик «Молвы» восклицал: «Да не то же ли говорено было в первой книжке „Телескопа“ на нынешний год! И однако это разругали во второй книжке „Библиотеки для чтения“!.. Но то была только *вторая* книжка... Тогда нужно лишь было, чтоб был товар, а теперь хочется, чтоб он стал подешевле!..» (1834. Ч. 7, № 23. С. 352).

³ *Сен-Прё* — герой романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» («Julie, ou la Nouvelle Héloïse», 1761), возлюбленный заглавной героини романа.

⁴ Роман Ф. В. Булгарина (1829).

⁵ Вторая книга «Новоселья» довольно сильно отличалась от первой по составу участников. Из авторов, участвовавших в первой книге, свои сочинения отдали также и во вторую Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, И. И. Козлов, И. А. Крылов, В. Ф. Одоевский, Е. Ф. Розен, А. С. Шишков, О. И. Сенковский и Ф. В. Булгарин. Новые имена, которых не было в первой части, — А. А. Шаховской, М. И. Воскресенский, В. А. Ушаков, князь С. Г. Голицын, И. И. Ястребов и Гоголь (под псевдонимом Рудый-Панько).

⁶ Далее цитировалось стихотворение Жуковского «Элевзинский праздник».

⁷ Поэма «Анджело» представляет собой переложение драмы Шекспира «Мера за меру» («Measure for Measure», 1604).

⁸ Падение интереса к произведениям Пушкина отмечалось и ранее. Ср., например: «Сказав, что мелкие стихотворения Пушкина в настоящее время не возбуждают восторга, как бывало то прежде, мы, кажется, повторим известное всякому наблюдателю словесности русской. Еще более: стихотворения сии ныне встречает холодность, и слава Богу, когда дело оканчивается одним равнодушием! Так нет! в публике нашей заметна еще какая-то неприязнь к ним, какое-то желание унижать произведения поэта, прежде столь любимого, недавнего идола всей русской молодежи и лучшего гостя русских журналов» (МТ. 1832. Ч. 43, № 4. С. 566–567; П. в критике, II. С. 179). Говоря об «известном классе читателей», Сенковский скорее всего намекал на происходившего из духовного звания Н. И. Надеждина, который, начиная со своих первых выступлений в печати, творчество Пушкина оценивал неизменно отрицательно (см.: П. в критике, II. С. 383–384, коммент. А. М. Березкина).

⁹ Ставшее нарицательным имя Аристарха Самофракийского (ок. 217–145 до н. э.), знаменитого греческого ученого-грамматика, главы Александрийской библиотеки, употреблялось в устойчивом значении: критик-педант.

¹⁰ Напечатанная в третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1832) «Сказка о царе Салтане» вызвала неоднозначные отзывы критики (см.: П. в критике, III. По указ.). Во 2-й книжке «Библиотеки для чтения», вышедшей в свет 1 февраля 1834 г. (П. в печати. С. 109) была напечатана «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Ее появление послужило непосредственным поводом к статье К. А. Полевого «О новом направлении в русской словесности», в которой категорически осуждались пушкинские сказки (МТ. 1834. Ч. 56, № 5. С. 119–136; наст. изд., с. 35–42). Позднее в «Библиотеке для чтения» были опубликованы еще две сказки Пушкина — «Сказка о золотом петушке» (1835. Т. 9, № 4) и «Сказка о рыбаке и рыбке» (1835. Т. 10, № 5).

¹¹ Сенковский имеет в виду объявление в № 87 «Северной пчелы» (17 апреля): «Новоселье, часть вторая и последняя на сих днях окончится печатанием и поступит в продажу в понедельник на Фоминой неделе, 30-го апреля. Желающие получить ее в первый день Пасхи чрез городскую почту благоволят заранее известить о том в книжном магазине А. Ф. Смирдина».

¹² Этот выпад в адрес «второстепенных знаменитостей русского Парнаса» вызвал резкий протест опубликовавшего в альманахе несколько стихотворений П. А. Вяземского, который в письме к издателю «Новоселья» А. Ф. Смирдину указал на недопустимый тон статьи, на то, что «неуместно в одном из Ваших изданий отзываться неприличным образом о произведениях, которые выпросили Вы для помещения в другом Вашем же издании», и просил убрать свое имя из списка участников «Библиотеки для чтения», «не желая даже именем участвовать в журнале, столь явно противоречащем закону образования и общежития...» (цит. по: Шаронова А. В. К проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения» // РЛ. 2000. № 3. С. 89). См. также появившееся позднее объявление в «Северной пчеле»: «Князь П. А. Вяземский просил редакцию „Северной пчелы“ объявить, что имя его по ошибке на заглавном листке июльской книжки „Библиотеки для чтения“ напечатано в числе сотрудников сего журнала и что он еще в мае месяце уведомил г. Смирдина письменно о нежелании своем долее участвовать в сем журнале и просил исключить имя его из помянутого списка» (1834. № 153, 10 июля).

П. С. САВЕЛЬЕВ

«НОВОСЕЛЬЕ». ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Другая статья)

<Отрывки>

СПч. 1834. № 103, 9 мая. Подпись: Мурманский. Дата под текстом: «2-го мая».

Подзаголовок: «Другая статья» появился потому, что печатаемая в настоящем издании рецензия явилась вторым откликом «Северной пчелы» на альманах «Новоселье». Несколькими днями ранее «Пчела» сообщила: «Вот и вторая и, как издатель, к сожалению нашему, объявляет, последняя часть альманаха, превосходящего и объемом и достоинством помещенных в нем сочинений, в стихах и в прозе, все подобное у нас сборники». «Вторая часть „Новоселья“, — говорилось далее, — вмещает в себе статьи, которыми, с прибавкою лигатуры, мог бы кормиться *хороший* литературный журнал года два» (1834. № 99, 4 мая).

Павел Степанович Савельев (1814–1859) родился в образованной купеческой семье. Первоначальное образование получил дома, в 1824–1829 гг. воспитывался в частном французском пансионе в Петербурге, по окончании которого готовился к поступлению в Санкт-Петербургский университет, в частности, брал уроки русской словесности у В. Т. Плаксына. Поступив в январе 1830 г. на филологическое отделение, слушал параллельно лекции на восточном и стал горячим поклонником О. И. Сенковского. Близкие отношения с Сенковским Савельев сохранил и в дальнейшем; он стал составителем биографии Сенковского и издателем его сочинений. Кончил университет в 1834 г. без степени кандидата, с правами на чин 12-го класса по Табели о рангах (дававший ему дворянство). Еще учась в университете, начал сотрудничать в «Северной пчеле». По свидетельству биографа Савельева В. В. Григорьева, в нем рано развилась страсть к печатанью: «Видеть имя и труды свои в печати доставляло ему величайшее удовольствие, и он, чтобы пользоваться этим удовольствием, переводил или сокращал попадавшие ему под руку английские или французские статьи и кропал, как называлось тогда, „рецензии“ на различные вновь выходявшие произведения отечественной словесности» (Григорьев В. В. Жизнь и труды П. С. Савельева. СПб., 1861. С. 11). В. В. Григорьев указывает также, что печатался Савельев преимущественно в «Северной пчеле» и в «Сыне отечества», и сообщает его псевдоним: «М. Мурманский», под которым он писал «мелкие статьи» о литературных, театральных и других новостях также для «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара (Там же). В октябре 1834 г. Савельев был принят в Институт восточных языков при Министерстве иностранных дел (Учебное отделение Азиатского департамента), но спустя год его оставил. Сотрудничал в «Библиотеке для чтения», а с мая 1837 г. определен чиновником без жалованья при Комитете правления Академии наук с откомандированием в редакцию «Журнала Министерства народного просвещения». Он не

оставлял литературных занятий, с 1837 г. участвовал в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», сошелся с В. Г. Бенедиктовым и Е. П. Гребенкой. В 1841 г. ушел из «Журнала Министерства народного просвещения» и стал секретарем Комитета иностранной цензуры; эту должность занимал до 1852 г. В 1840-х гг. начинается известность Савельева как нумизмата-ориенталиста. Он был в числе основателей Русского Археологического общества в 1846 г. (с ноября 1857 г. редактор его «Известий»); в январе 1847 г. избран действительным членом Русского Географического общества.

¹ Имеются в виду три повести О. И. Сенковского, напечатанные им под псевдонимом «барон Брамбеус», — «Чин-Чун, или Авторская слава», «Счастливец» и «Похожения одной ревижской души»; «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя, напечатанную с подзаголовком: «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька» и датой: «1831»; «Мудреные приключения квартального надзирателя» Ф. В. Булгарина и «отрывок из романа» «Катя, или История воспитанницы» В. Ф. Одоевского, напечатанный с подписью: Ъ. Ъ. Ы. Безгласный. Каждому из этих произведений в рецензии особо уделено несколько комплиментарных строк.

² «Элевзинский праздник», перевод баллады Ф. Шиллера «Das eleusische Fest» (1798), и «Роланд Оруженосец» В. А. Жуковского были напечатаны с пометой под текстом: «Верне на берегу Женевского озера». Под «Элевзинским праздником» стояла помета «Из Шиллера»; «Роланд Оруженосец», напечатанный без указания на оригинал, также является переводом баллады Л. Уланда «Roland Schildträger» (1811).

³ В первых книжках «Библиотеки для чтения» за 1834 г. были напечатаны «Норманский обычай» (Т. 1), «Старый рыцарь» (Т. 2, кн. 2), «Рыцарь Роллон» (Т. 2, кн. 3) и «Суд в подземелье» (Т. 3, кн. 4).

⁴ «Бренда» («В стране, где мрачные туманы...») и «Возвращение крестоносца. Быль» («Младой Готфрид Шатобриан...»).

⁵ Во второй части «Новоселья» были напечатаны стихотворения П. А. Вяземского «Балтийское видение» («Мне улыбулася Балтийских вод царица...»), «К графу В. А. Соллогубу. (В Дерпт)» («Что делает, мой граф, красавица Эмилья?...»), «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»), «К Языкову» («Я у тебя в гостях, Языков!..») и «Ответ» («Я пел других: ее я петь не буду...»).

⁶ Имеется в виду басня И. А. Крылова «Крестьянин и собака».

ИЗ «МОЛВЫ»

«НОВОСЕЛЬЕ», ЧАСТЬ ВТОРАЯ

<Отрывки>

Молва. 1834. Ч. 7, № 22 (выход в свет 2 июня*). С. 336–343; № 23 (выход в свет 9 июня). С. 349–352; приводимый отрывок — № 22. С. 338–341. Без подписи.

А. А. Григорьев в статье «Замечания об отношении современной критики к искусству» предположил авторство В. Г. Белинского (см.: Москв. 1855. № 13–14. С. 139). Ю. В. Манн (без каких-либо развернутых обоснований авторства) включил данную рецензию в составленный им сборник произведений Н. И. Надеждина (*Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика*. М., 1972. С. 381–387). Это предположение следует признать более вероятным, хотя, как и атрибуция А. А. Григорьева, оно не имеет фактических подтверждений.

Отметив, что «издание „Новоселья“ опрятно и красиво по-прежнему, но довольно однообразно содержанием» (№ 22. С. 337), рецензент высказал свое мнение о каждом из вошедших в него произведений. Наиболее резкий отзыв заслужили повести

* Дата выхода номеров «Молвы» устанавливается по датам цензурного разрешения: в 1834 г. «Молва» выходила еженедельно, по субботам; цензурное разрешение обычно получалось в пятницу.

барона Брамбеуса. Лучшей же прозаической пьесой альманаха признана «Катя, или История воспитанницы» Безгласного (В. Ф. Одоевского). Безусловной похвалы удостоилась также «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя. Здесь критик «Молвы» решительно взял ее автора, пасечника Рудого Панька, под защиту от критических стрел Сенковского. «Не зазнались ли уже вы, почтенный Пасичник, оттого, что в „Библиотеке для чтения“ называют вас русским Поль-де-Кокком? — писал он. — Мы поставляем долгом в сем случае разрушить вашу гордость, если вы действительно возгордились: ибо между Поль-де-Кокком, пухлым, наглым болтуном, и между вами находим такую же бесконечную разницу, как между г. Кукольниковом и Байроном, хотя в „Библиотеке для чтения“ сии два поэта также ставятся на одну доску» (№ 23. С. 351; здесь имеется в виду рецензия Сенковского на «драматическую фантазию» Кукольника «Торквато Тассо»: «Я так же громко восклицаю „великий Кукольник!..“ <...> как восклицаю „великий Байрон!..“» — БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 13, 29, 37). Из поэтической части «Новоселья» наиболее подробного отзыва удостоилась пушкинская поэма «Анджело». Внешне выдержанный в комплиментарных тонах, этот отзыв на самом деле вовсе не был положительным. Умолчав о драме Шекспира «Мера за меру» («Measure for Measure», 1604), переложением которой явилась пушкинская поэма, рецензент непосредственно связал «Анджело» с итальянской новеллой эпохи Возрождения. Одним из источников сюжета «Меры за меру», действительно, послужила новелла о неправедном губернаторе Джуристе из сборника итальянского писателя Джиральди Чинтио (Cintio; 1504–1573), на что указывал и А. Пишо в предисловии к французскому переводу драмы Шекспира (см.: *Œuvres complètes de Shakspeare, traduites de l'anglais par Letourneur. Nouvelle édition, revue et corrigée par F. Guizot et A. P<ichot>, traducteur du Lord Byron; précédée d'une notice biographique et littéraire sur Shakspeare par F. Guizot. Paris, 1821. Т. 8. Р. 151–152*). Пушкин, таким образом, безусловно, знал о существовании новеллы Чинтио, однако в своем переложении следовал не новеллистической основе, а несравненно более сложной шекспировской сюжетной схеме. Стремление критика «Молвы» представить «Анджело» чем-то вроде стилизации под итальянскую новеллу, попыткой воскресить глубоко архаичный литературный жанр заключало в себе мысль о «несовременности» поэта, его отставании от читателя и неспособности удовлетворить требованиям своего века. По сути, отзыв об «Анджело» в «Молве» был созвучен критическим упрекам в адрес пушкинских сказок, звучавшим на страницах «Московского телеграфа» (см. статью К. А. Полевого «О новом направлении в русской словесности» и примеч. к ней — наст. изд., с. 35–42, 370–371). Не случайно, видимо, именно «Анджело» и сказки упоминаются в одном ряду в «Литературных мечтаниях» В. Г. Белинского, печатавшихся с сентября 1834 г. в «Молве», как доказательство падения таланта Пушкина (см. наст. изд., с. 55, 63).

Рецензия на «Новоселье» в № 22 и 23 «Молвы» вызвала полемический отклик в следующем номере (см.: наст. изд., с. 49–51).

¹ Неточная цитата из стихотворения Н. А. Полевого «Поэт» — пародии на стихотворение Пушкина «Чернь» («Поэт и толпа», 1828) (МТ. 1832. Ч. 44, № 8. С. 153–154; П. в критике, III. С. 308).

ИЗ «МОЛВЫ»

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

<Отрывки>

Молва. 1834. Ч. 7, № 24 (выход в свет 16 июня*). С. 370–375. Подпись: Житель Сивцева Вражка.

Полемический отклик, вызванный рецензией на вторую часть альманаха «Новоселье», напечатанной в № 22 и 23 «Молвы». Основным поводом возражений его ав-

* Дата выхода номеров «Молвы» устанавливается по датам цензурного разрешения: в 1834 г. «Молва» выходила еженедельно, по субботам; цензурное разрешение обычно получалось в пятницу.

тора, скрывшегося под псевдонимом «Житель Сивцева Вражка», стали слишком благожелательная оценка поэмы Пушкина «Анджело» и холодный отзыв о напечатанных в «Новоселье» стихотворениях П. А. Вяземского.

¹ См. примеч. 5 к статье П. С. Савельева — наст. изд., с. 377.

² Далее приводятся первые шесть строф стихотворения Вяземского «Тройка».

³ Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Телега жизни» (1823), восьмая строка которого содержала обценное выражение. Текст стихотворения Пушкин послал П. А. Вяземскому из Михайловского в письме от 29 ноября 1824 г. с указанием: «Можно напечатать, пропустив русский титул...» (XIII, 126). При публикации стихотворения в «Московском телеграфе» (1825. Ч. 1, № 1) Вяземским были изменены ст. 8, содержащий «русский титул», и, соответственно, рифмующийся с ним ст. 6. Эти изменения были сохранены в издании «Стихотворения Александра Пушкина» 1826 г. В первой части «Стихотворений Александра Пушкина» 1829 г. (с. 180) Пушкин восстановил первоначальное чтение ст. 6, а обценное выражение в ст. 8 заменил отточием:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!..

⁴ Измененная строка из «Отрывков из путешествия Онегина».

В. М. СТРОЕВ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАНЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

СПч. 1834. № 192, 27 августа. Подпись: Р. М.

Автор статьи, Владимир Михайлович Строев (1812–1862), брат пушкинского знакомого, археографа и историка П. М. Строева, в это время был одним из наиболее активных молодых сотрудников «Северной пчелы». Постоянно выступал в газете с литературными и театральными рецензиями и фельетонами под псевдонимами «Родственник Магомета», «Р. М.» и «В. В. В.»; смотрел за корректурой (см.: В. Б. [Бурнашев В. П.] Из воспоминаний петербургского старожилы. II. Четверги у Н. И. Греча // Заря. 1871. № 4. С. 14, 21; также: ИВ. 1883. № 9. С. 736). В. П. Бурнашев характеризовал в своих воспоминаниях Строева как «предерзкую, но даровитую личность» и «бойкого, умного малого, но <...> к сожалению, с крайне эластическими правилами» (В. Б. [Бурнашев В. П.] Из воспоминаний петербургского старожилы. С. 21–22, 44). По воспоминаниям же А. Я. Панаевой, познакомившейся со Строевым на рубеже 1840-х гг., он был «хорошо воспитан и образован, говорил по-французски, как парижанин, манеры его были изящные, и он умел занять интересным разговором» (Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972. С. 105). Строев был автором нескольких книг, в которых, в частности, собрал свои повести, очерки и фельетоны (Сцены из петербургской жизни. Сочинение В. В. В. СПб., 1835. Ч. 1; 1837. Ч. 2; Париж в 1838–1839 гг. СПб., 1842. Ч. 1–2; и др.), и «Биографии Александры Михайловны Каратыгиной» (СПб., 1845). Впоследствии он приобрел известность как переводчик романов Э. Сю, А. Дюма и др.; считался одним из лучших переводчиков с французского и немецкого языков.

Статья Строева явилась первым печатным откликом на сборник прозаических произведений Пушкина — «Повести, изданные Александром Пушкиным», которые вышли в свет в августе (до 27-го) 1834 г. (см.: П. в печати. С. 112). В сборник вошли «Повести Белкина», «Две главы из исторического романа» (из незавершенного романа «<Арап Петра Великого>») — «Ассамблея при Петре I», напечатанная в 1830 г. в «Литературной газете» (Т. 1, № 13, 2 марта), и «Обед у русского боярина», ранее напечатанная под заглавием «IV глава из исторического романа» в альманахе «Северные цветы» на 1829 г., а также «Пиковая дама», опубликованная в мартовской книжке «Библиотеки для чтения» (1834. Т. 2, № 3. Отд. I. С. 109–140). В отзыве о

«Повестях Белкина» Строев развил и детализировал критические замечания, высказанные в свое время Ф. В. Булгариным в «Письмах из Петербурга в Москву. К В. А. У<шакову>» (СПч. 1831. № 288, 18 декабря; П. в критике, III. С. 132).

¹ См., например, первый поэтический сборник Ш.-О. Сент-Бёва (Sainte-Beuve; 1804–1869) «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» (Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. Paris, 1829), изданный под вымышленным именем с приложением биографии умершего в нищете молодого поэта, которого चाहотка спасла от самоубийства. Как посмертно изданный сборник литератора-самоубийцы были представлены публике «Безнравственные рассказы» Шампавера (Петрюса Бореля) (*Champavert. Contes immoraux, par Pétrus Borel le Lycanthrope. Paris, 1833*). В 1820–1830-е гг. во французской литературе были широко распространены разного рода литературные мистификации (см., например, в предисловии П. Бореля — *Борель П. Шампавер. Безнравственные рассказы. Л., 1971. С. 5 и 189, примеч. Т. В. Соколовой*), в том числе появилось большое количество апокрифических мемуаров, написанных чаще всего от имени известных исторических лиц (некоторые указания см.: *Гласе А. «Соблазнительные откровения»: (Пушкин и французская мемуарная литература) // Вопросы литературы. 1993. Вып. 4. С. 54–68*).

² Имеется в виду фрагмент повести «Выстрел» от начала второй части до рассказа графа: «Пять лет тому назад я женился...».

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

БдЧ. 1834. Т. 6, № 10 (выход в свет 1 октября — П. в печати. С. 114). Отд. VI. С. 2. Из раздела «Литературная летопись». Без подписи.

¹ Имеется в виду объявление на внутренней стороне обложки «Повестей...»: «Изданные сочинения в стихах и прозе Александра Сергеевича Пушкина продаются по следующим ценам:

- I. Повести 6 р.
- II. Стихотворения, в трех томах, каждый по 10 р. . . . 30.
- III. Руслан и Людмила, с портретом автора 12.
- IV. Кавказский пленник 5.
- V. Бахчисарайский фонтан 5.
- VI. Полтава 10».

² «Пиковая дама» (за подписью: Р.) была опубликована в 3-й книжке журнала (вышла в свет 1 марта — П. в печати. С. 109).

³ Поскольку помещенная в рецензируемой книге «Пиковая дама» была впервые опубликована именно в «Библиотеке для чтения», то Сенковский не мог прямо высказать свое к ней отношение и ограничился отсылкой к другой своей статье — рецензии на «Рассказы о былом и небывалом» Н. А. Мельгунова (М., 1834), где писал, что «Пиковая дама» «есть верх прелестного русского рассказа» (БдЧ. 1834. Т. 3, № 4. Отд. VI. С. 5; подпись: Барон Брамбеус). Развернутый отзыв о повести Пушкина Сенковский дал в письме к нему от января — первой половины февраля (наиболее вероятная дата — 23 января) 1834 г., где писал: «Любезности Смирдина обязан я, милостивый государь, чрезвычайным удовольствием, только что испытанным мною, удовольствием столь живым, что я не могу не взяться за перо и не выразить его под свежим впечатлением. Уступая моей просьбе, Смирдин доставил мне две первые главы вашей повести: я перечитал их три раза, столько нашел я в них прелести. Я совсем не знаю продолжения повести, но эти две главы — верх искусства по стилю и хорошему вкусу, не говоря уже о бездне замечаний, тонких и верных, как сама истина. Вот как нужно писать повести по-русски! Вот, по крайней мере, язык вполне обработанный, язык, на каком говорят и могут говорить благовоспитанные люди. Никто лучше меня не чувствует, каких основ недостает нам, чтобы создать хорошую литературу, а главнейшая из них, жизненная, без которой нет настоящей национальной литературы, основа, которой совершенно не существует в нашей прозе, — это

язык хорошего общества. До сих пор я встречал в нашей прозе только язык горничных и приказных. Загоскин, писатель особенно мною любимый, не за слог, которого у него нет, но за язык и за способность к выдумке, даже Загоскин всякий раз, когда выводит лиц из высших кругов общества, и особенно женщин, заставляет их говорить языком, какой употребителен только в разговоре между барыней и горничной. Да если хотите, настоящего русского языка хорошего общества еще и не существует, ибо наши дамы говорят по-русски только со своими горничными, но нужно разгадать этот язык, нужно его создать и заставить этих самых дам принять его; и слава эта, вижу ясно, уготована вам, вам одному, вашему вкусу и прекрасному таланту. Я не могу опомниться от этих двух глав: они прелестны, прелестны, прелестны! Ради этих двух глав продолжайте! Вы создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе, которую вы уже прославили в другой отрасли. <...> Повторяю вам, и без лести, — ибо, слава Богу, наши отношения не таковы, чтобы мне нужно было унижаться до лести, которая к тому же была бы и бесцельна, как она никогда не имеет оправдания среди порядочных людей, — повторяю вам, — вы положили начало новой прозе, — можете в этом не сомневаться. С энтузиазмом любви к искусству говорю это, а такой энтузиазм может быть только искренним и не должен даже оскорблять вашу скромность. <...> Именно всеобщего русского языка недоставало нашей прозе, и его-то я нашел в вашей повести. Это язык ваших стихов, одинаково понятных и доставляющих наслаждение всем слоям общества, который вы переносите в вашу прозу рассказчика; я узнаю в ней тот же язык и тот же вкус, ту же прелесть. О, не могу выразить, сколько радости доставило мне это чтение, хотя я и совсем болел благодаря неприятностям, причиненным мне теми, кто называет себя друзьями литературы, кто, не зная меня лично, не имея со мной никаких споров, пожелал преследовать меня как человека, который довел до полного падения всю литературу; они до сих пор еще рыщут около моей гражданской собственности, — несомненно, чтобы доказать свою любовь к изящной словесности» (XV, 109–110, 321–322; оригинал по-франц.). Однако позднее, уже после смерти Пушкина, Сенковский скорректировал отношение к пушкинской прозе. Так, в статье «Первое письмо трех тверских помещиков к барону Брамбеусу» он писал: «Явился Пушкин и, могуществом своего гения, вдруг перенес в поэзию подлинный русский язык со всею его жизнью. Что сделал Пушкин для поэзии, то ранее или позже должно было случиться с прозою, в которой, как не в своей части, он сохранял предрассудки своих учителей; и то, что нынче происходит в языке, есть только следствие и неизбежное дополнение пушкинской реформы в поэзии» (БдЧ. 1837. Т. 22, № 5. Отд. I. С. 93–94; то же: *Сенковский О. И. (Барон Брамбеус)*. Собр. соч. СПб., 1859. Т. 8. С. 232–233).

А. А. КРАЕВСКИЙ

ОБОЗРЕНИЕ РУССКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1834 ГОДА

<Отрывки>

ЖМНП. 1834. Ч. 3, № 8. С. 353–368; Ч. 4, № 10 (выход в свет в начале декабря (до 11-го) 1834 г. — СПб Вед. 1834. № 288, 11 декабря*). С. 110–149; № 12. С. 461–536; приводимые отрывки — № 10. С. 140–141, 143, 145.

«Обозрение...» состояло из 14 разделов: 1) богословие; 2) философия; 3) педагогика (в № 8); 4) история; 5) изящная словесность (в № 10); 6) критика; 7) теория словесности; 8) художества; 9) науки математические; 10) науки естественные; 11) науки военные; 12) медицина; 13) статистика; 14) статьи по части отечественной промышленности (в № 12). Основным автором был сотрудник «Журнала Министерства народного просвещения» А. А. Краевский; им написаны разделы 1–8 и 13.

* «Санкт-Петербургские ведомости» помещали объявления об очередных номерах «Журнала Министерства народного просвещения» обычно через несколько дней (даже до недели) после их выхода.

Андрей Александрович Краевский (1810–1889) — издатель, журналист. В 1828 г. окончил Московский университет со степенью кандидата нравственно-политических наук и поступил на службу в канцелярию московского гражданского генерал-губернатора. Журналистскую деятельность начал в «Московском вестнике», где вел библиографический отдел и публиковал статьи и рецензии (большей частью переводные) по вопросам философии, истории и литературы. В 1831 г. переехал в столицу и определился в департамент Министерства народного просвещения, совмещая эту службу с преподавательской деятельностью в разных учебных заведениях. Сотрудничал в «Журнале Министерства народного просвещения» (с 1835 г. помощник редактора). Познакомившись с В. Ф. Одоевским, вошел при его посредстве в петербургские литературные круги. К лету 1835 г. можно отнести начало общения Краевского с Пушкиным. Краевский выступает посредником между поэтом и редакцией журнала «Московский наблюдатель», в 1836 г. привлечен П. А. Плетневым для помощи Пушкину по изданию «Современника» (заведовал корректурой журнала, следил за выполнением типографских работ, участвовал в подготовке к печати четвертого тома). После смерти Пушкина Краевский в числе ближайших друзей поэта вносил его гроб из квартиры, принимал участие в описи пушкинской библиотеки и разборе рукописей, наряду с Жуковским, Вяземским, Плетневым и Одоевским входил в редакцию посмертного «Современника».

«Обозрение русских газет и журналов за первую половину 1834 года» — одна из первых больших подписных статей Краевского. Выраженная в нем мысль о решающей роли журналистики в деле «новейшего гражданского образования» и литературного развития была программной для Краевского литератора и журналиста. Как писал о нем позднее П. В. Анненков, Краевский «усиленно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 119). К 1835–1836 гг. относятся несколько неосуществленных журнальных проектов Краевского, разработанных совместно с Одоевским («Северный зритель», «Русский сборник», идея реорганизации «Современника»). С 1837 г. Краевский редактирует «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“». Впоследствии редактор журнала «Отечественные записки» (1839–1868) и газеты «Голос» (1863–1883). О литературной и журналистской деятельности Краевского 1830-х гг. см. подробнее: Орлов В. Н. Пути и судьбы: Литературные очерки. М.; Л., 1963. С. 318–373.

«Обозрение...» А. А. Краевского содержит одно из немногих в печати упоминаний о «Пиковой даме».

¹ Повесть А. А. Бестужева, напечатанная за подписью: Александр Марлинский и пометой под текстом: «1834. Дагестан».

² Повесть В. П. Андросова.

³ Повесть Н. В. Станкевича, напечатанная под псевдонимом «Ф. Зарич».

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

<Отрывки>

Молва. 1834. Ч. 8, № 38 (выход в свет 22 сентября*). С. 173–176 (фрагмент <I>); № 39 (выход в свет 29 сентября). С. 190–194 (фрагмент <II>); № 41 (выход в свет 13 октября). С. 224–236 (фрагмент <III>); № 42 (выход в свет 21 октября).

* Дата выхода номеров «Молвы» устанавливается по датам цензурного разрешения: в 1834 г. «Молва» выходила еженедельно, по субботам; цензурное разрешение обычно получалось в пятницу; иногда (№ 42, 45, 52) — в субботу; в этих случаях, очевидно, номер выдавался подписчикам на следующий день — в воскресенье.

С. 248–256 (фрагмент <IV>); № 45 (выход в свет 11 ноября), С. 295–302 (фрагмент <V>); № 46 (выход в свет 17 ноября). С. 308–318 (фрагмент <VI>); № 49 (выход в свет 8 декабря). С. 360–377 (фрагмент <VII>); № 50 (выход в свет 15 декабря). С. 387–402 (фрагмент <VIII>); № 51 (выход в свет 22 декабря). С. 413–428 (фрагмент <IX>); № 52 (выход в свет 30 декабря). С. 438–462 (фрагмент <X>); приводимые отрывки — № 38. С. 173–176; № 50. С. 387–400; № 51. С. 413–415; № 52. С. 438–439, 442–448. Подпись: -он -инский. С пометой под текстом: «Чембар. 1834, декабря 12 дня».

В настоящем издании сохраняется эдиционная традиция обозначать части данной статьи, печатавшиеся в разных номерах, римскими цифрами в угловых скобках.

«Литературные мечтания» стали первым крупным выступлением Белинского в критической печати, выражением его литературной позиции, но далеко не первым его опубликованным трудом. Еще в 1831 г. он напечатал в газете «Листок» (1831. № 45. С. 95–96) отклик на анонимную брошюру «О „Борисе Годунове“, сочинении Александра Пушкина. Разговор помещика, проезжающего из Москвы через уездный городок, и вольнопрактикующего в оном учителя российской словесности» (М., 1831). С 1833 г. Белинский начал сотрудничать в изданиях Надеждина как переводчик. В «Молве» его переводы регулярно появляются с марта (первая статья «Лейпцигская битва» появилась в № 33), в «Телескопе» — с мая 1833 г. (перевод очерка Э. Кине «О богемской эпопее» был напечатан в № 7, прошедшем цензуру 26 мая). Летом 1834 г. Надеждин предложил Белинскому, к тому времени исключенному из университета и сильно нуждавшемуся, поселиться в его квартире и заниматься делами изданий — править корректуры, поддерживать связь с авторами и цензурой и т. п. (см.: ЛН. М., 1951. Т. 57. С. 164, 166; *Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве».* 1829–1836. [М.; Л.,] 1954. С. 240). Первой известной собственной статьей Белинского, напечатанной в изданиях Надеждина, стала «Литературная новость» (Молва. 1834. Ч. 7, № 24; выход в свет 16 июня). Во второй половине августа и сентябре, в отсутствие уехавшего Надеждина, Белинский в течение пяти недель фактически контролировал оба издания (за это время прошли цензуру шесть номеров «Молвы» (№ 33–38), три книжки «Телескопа» (№ 14–16) за 1834 г. и четыре издававшиеся с опозданием прошлогодние книжки). В № 38 «Молвы» появилось начало «Литературных мечтаний» Белинского, которые Надеждин по возвращении продолжал печатать из номера в номер до конца года.

В статье была сделана попытка пересмотреть само понятие литературы (см. ниже примеч. 13) и сформулировать критерии художественности («Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, доколе он нравствен, доколе он и поэт; но как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть о себе, если, при истинном таланте, имеет похвальную цель, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей» — № 41. С. 235). В частях статьи, напечатанных в № 42, 45, 46 и 49 «Молвы», Белинский дает критическое обозрение движения русской литературы от «первого ее гения» Ломоносова до Пушкина. В своих рассуждениях о том или ином авторе Белинский стремится руководствоваться критериями, принятыми, по его мнению, современной европейской критикой: «...рассматривается весь круг деятельности того или другого писателя, определяется степень его влияния на современников и потомство, разбирается дух его творений вообще, а не частные красоты или недостатки, берутся в соображение обстоятельства его жизни, дабы узнать, мог ли он сделать больше того, что сделал, и объяснить, почему он делал так, а не этак; и уже по соображении всего этого решают, какое место он должен занимать в литературе и какою славою пользоваться» (№ 45. С. 298). По мнению критика, литература в России начинается с Ломоносова; Кантемира и Третьяковского Белинский не считает значимыми фигурами российской словесности. С Ломоносова до Карамзина она представляет собой лишь ряд единичных ярких явлений, которые в большей или меньшей степени могли иметь влияние на «разнохарактерное, разнородное» общество, находящееся в состоянии «полудикости и полубразованности» (№ 49. С. 366). В веке Екатерины среди многих писателей, «замечательных как первые действитель-

ли на поприще русской словесности», Белинский особо выделяет Державина: «...один Державин был таким поэтом, имя которого мы с гордостью можем поставить подле великих имен поэтов всех веков и народов, ибо он один был свободным и торжественным выражением своего великого народа и своего дивного времени» (№ 46. С. 318). «При Александре, — говорит он далее, — все начали заниматься литературою <...>. Явилось явление новое и доселе неслыханное: писатели сделались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать язык и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности в этих попытках; ибо попытка всегда предполагает расчет, а расчет предполагает волю, а воля часто идет наперекор обстоятельствам и разногласит с законами здравого смысла. Много было талантов и ни одного гения, и все литературные явления рождались не вследствие необходимости, непроизвольно и бессознательно, не вытекали из событий и духа народного» (№ 49. С. 362). «Украшением» начала Александрова века называет Белинский двух писателей — Карамзина и И. И. Дмитриева, особое внимание уделяя первому. «Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесности; его влияние на современников было так велико и сильно, что целый период нашей литературы от девяности до двадцатых годов по справедливости называется периодом Карамзинским» (Там же. С. 365). «Этот юноша смотрел на жизнь как на подвиг и, полный сил юности, алкал славы авторства, алкал чести быть споспешествователем успехов отечества на пути к просвещению, и вся его жизнь была этим святым и прекрасным подвижничеством» (Там же. С. 366). Однако, признавая подвиг Карамзина-человека, Белинский, в соответствии со своими эстетическими критериями, отказывает ему в праве на звание художника: «Карамзин предположил себе целию — *приучить, приохотить русскую публику к чтению*. Спрашиваю вас: может ли призвание художника согласиться с какой-нибудь заранее предположенною целию, как бы ни была прекрасна эта цель? Этого мало: может ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике, которая была бы ему по колена и потому не могла бы его понимать? Положим, что и может; тогда другой вопрос: может ли он в таком случае остаться художником в своих созданиях? Без всякого сомнения, нет» (Там же. С. 367). Что касается преобразования языка, совершенного Карамзиным, то и его Белинский не находит вполне удачным: «...он презрел идиомами русского языка, не прислушиваясь к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников» (Там же. С. 366–367). Только в «Истории государства Российского» слог Карамзина «есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только в стихах „Бориса Годунова“ Пушкина» (Там же. С. 371).

За «Карамзинским периодом» непосредственно следует «период Пушкинский, продолжавшийся почти ровно десять лет» и сменившийся периодом «прозаическо-народным», отличительными признаками которого являются отсутствие какой-либо центральной фигуры на литературной сцене и явное преобладание прозы. «Итак, я насчитал четыре периода нашей словесности: *Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и прозаическо-народный*; остается упомянуть еще о пятом, который начался с появления на свет первой части „Новоселья“ и который можно и должно назвать *Смирдинским*. Да, милостивые государи, я совсем не шучу и повторяю, что этот период словесности непременно должно назвать *Смирдинским*, ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Всё от него и всё к нему; он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность» (№ 52. С. 453–454). Литература этого периода сосредоточилась в «Библиотеке для чтения», но именно почти завершившийся первый год издания журнала Смирдина—Сенковского, надеявшихся «наделать талантов посредством денег» (Там же. С. 456), неоспоримо доказывает, по мнению Белинского, тезис, с которого начал он свою статью: «у нас нет литературы». «В самом деле, — пишет он, — Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет, и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время? И притом, разве они были не случайными явлениями? Посмотрите на историю иностранных литератур. Во *Франции* вскоре после Корнеля явились Расин, Мольер, Лафонтен и многие другие; потом, в эпоху Вольтера, сколько было знаменитостей лите-

ратурных! Теперь: Гюго, Ламартин, Делавинь, Барбье, Бальзак, Дюма, Женень, Евгений Сю, Жакоб Библиофил и столько других. В *Германии* Лессинг, Клопшток, Гердер, Шиллер, Гёте были современниками. В *Англии*, в последнее время, Байрон, Вальтер Скотт, Томас Мур, Кольридж, Сутей, Вордсворт и столько других явились почти в одно время. Так ли у нас? Увы!..» (Там же. С. 457–458). Впрочем, кончаются «Литературные мечтания» на вполне оптимистической ноте: истинная эпоха искусства в России непременно наступит. «Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почве. У нас нет литературы; я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. <...> ...нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение! И это просвещение не законит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русский народ смыслен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасно, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней!» и т. д. (Там же. С. 458, 459).

О впечатлении, произведенном статьей Белинского, в особенности на литературную молодежь, можно судить по воспоминаниям И. И. Панаева:

«Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вольфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний номер „Молвы“. В этом номере было продолжение статьи под заглавием: „Литературные мечтания. — Элегия в прозе“. Это оригинальное название заинтересовало меня: я взъял несколько предшествовавших номеров и принялся читать.

Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскал в Москву познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение, если бы это было можно.

Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня.

„Не оно ли, — подумал я, — это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?“ <...>

Как ничтожны и жалки казались мне, после этой горячей и смелой статьи, пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах!» (Панаев. С. 137–138).

Вообще же в литературных кругах статья Белинского вызвала бурную и длительную реакцию. На протяжении 1835–1836 гг. в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» регулярно появлялись направленные против Белинского заметки А. Кораблинского (А. Ф. Воейкова). Грубо иронизировал над статьей и ее автором Ф. В. Булгарин в рецензии на трагедию барона Розена «Петр Басманов» (СПч. 1835. № 251, 252, 6 и 7 ноября). В полемике с основным тезисом «Литературных мечтаний» («у нас нет литературы») была написана статья В. Т. Плаксина «Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов» (в кн.: *Летопись факультетов на 1835 год*, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксина. СПб., 1835. Кн. 1. Отд. «Критика». С. 15–33). Благоклонным был отзыв С. П. Шевырева, нашедшего статью «одушевленной огнем и свежеею мыслию, которую приятно было встретить, особенно после долгой отвычки от мыслящего чтения в журналах». «Вывод показался нам резким софизмом, — писал он, — но многие черты и частные обрисовки в этой статье обнаруживают мнение самобытное» (МН. 1835. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 494). При этом Шевырев, по свидетельству современников, был обижен отзывом Белинского о его стихотворениях (см.: Переписка Н. В. Станкевича: 1830–1840. М., 1914. С. 311). Сочувственно и достаточно обстоятельно «Литературные мечтания» были отреферированы в печатавшемся в «Журнале Министерства народного просвещения» «Обзрении русских газет и журналов за вторую половину 1834 года» Я. М. Неверова, упрекавшего, впрочем, молодого автора в некоторой легковесности суждений: «Карамзинский период нашей словесности, заключенный между громкою, торжественною поэзией Державина и всеобщим движением умов, споривших о классицизме и романтизме и в то же время внимавших увлекательным поэмам Пушкина, показался слабым и бледным пылком автору. Он не достаточно вникнул в ровный, но быстрый ход нашей литературы того времени, не взвесил

вполне того влияния, какое имели на умы задумчивые и прелестные песнопения Жуковского и Батюшкова, взлелеявшие для нас мощного поэта Пушкина. <...> Вообще этот поэт привлек всю любовь, все удивление автора, который сделался уже несправедливым к некоторым из других наших поэтов и писателей, содействовавших литературному блеску прошлого десятилетия. Наконец, вся текущая литература изображена у него в виде обширной пустыни, где он редко встречает оазисы. — Но и здесь, рассуждая о народности, он сказал несколько светлых мыслей о ложном понятии, какое имеют о ней наши романисты» (1835. № 9. С. 591–592). О восприятии современниками «Литературных мечтаний» см. также: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 628–630, коммент. Ю. В. Манна.

Помета под окончанием статьи: «Чембар. 1834, декабря 12 дня» должна быть признана мистификацией: ни зимой, ни осенью 1834 г. Белинский не покидал Москвы, его переписка начала 1835 г. свидетельствует о том, что он в течение длительного времени не посещал родной Чембар (см., например, письмо к П. П. и Ф. С. Ивановым от 5 февраля 1835 г. — Белинский. Т. 11. С. 119–120). Подобные мистифицирующие пометы временами появлялись под статьями авторов, близких к редакции журнала, для того чтобы создать дистанцию между статьей и редакцией, имитируя провинциальную корреспонденцию. С другой стороны, указанием на свой родной город Белинский мог воспользоваться как своего рода «подписью», помогающей ближнему кругу расшифровать, кто скрылся за криптонимом «-он -инский». Наконец, эту помету можно рассматривать как скрытое посвящение: осенью 1834 г. Белинский узнал о смерти матери, скончавшейся в Чембаре 29 августа 1834 г. (см. об этом: Нечаева. С. 256–258). Название же статьи содержит намек на статью Надеждина «Литературные опасения за будущий год» (ВЕ. 1828. Ч. 162, № 21, 22), вызвавшую громкий скандал резкими нападками на новую («романтическую») литературу.

¹ Эпиграфы взяты из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 3, явл. 9) и из повести О. И. Сенковского «Сентиментальное путешествие на гору Этну», вошедшей в его книгу «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833. С. 327).

² *Крез* (595–546 до н. э.) — царь Лидии, обладатель несметных богатств; *Ир* — персонаж «Одиссеи» Гомера, имя которого стало нарицательным для обозначения бедняка.

³ Цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря» (между 1826 и 1828; Галатея. 1829. Ч. 1, № 3. С. 152).

⁴ В своей отрицательной оценке пушкинских сказок Белинский солидаризовался с Н. А. и К. А. Полевыми (см. в наст. изд. статью К. А. Полевого «О новом направлении в русской словесности» и примеч. к ней — с. 35–42, 370–371) и Н. И. Надеждиным, давшим очень холодный отзыв о «Сказке о царе Салтане», напечатанной в 3-й части «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1832): «...все произведение носит на себе печать механической подделки под старину, а не живой поэтической ее картины» (Телескоп. 1832. Ч. 9, № 9. С. 114; П. в критике, III. С. 191). Ср. в той же статье Надеждина общие суждения о творчестве Пушкина: «И действительно, в последних стихотворениях Пушкина то *иное* блаженное время, в которое вольная его фантазия кочевала самобытно в широком поле свободного вдохновения, едва мелькает в догорающих воспоминаниях» и т. д. (Телескоп. 1832. Ч. 9, № 9. С. 113; П. в критике, III. С. 190). Рецензируя в следующем году сказку П. П. Ершова «Конек-Горбунок» (СПб., 1834), Белинский писал: «Вы никогда не сочинили своей народной сказки, ибо для этого вам надо б было, так сказать, омужичиться, забыть, что вы барин, что вы учились и грамматике, и логике, и истории, и философии, забыть всех поэтов, отечественных и иностранных, читанных вами, словом, переродиться совершенно; иначе вашему созданию, по необходимости, будет недоставать этой неподдельной наивности ума, не просвещенного наукою, этого лукавого простодушия, которыми отличаются народные русские сказки. Как бы внимательно ни прислушивались вы к эху русских сказок, как бы тщательно ни подделывались под их тон и лад и как бы звучны ни были ваши стихи, подделка всегда останется подделкою, из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак. В вашей сказке будут русские слова, но не будет русского духа, и потому, несмотря на мастерскую отделку и

звучность стиха, она нагонит одну скуку и зевоту. Вот почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имели ни малейшего успеха» (Молва. 1835. Ч. 9, № 9 (выход в свет 2 марта). Стб. 144–145; Белинский. Т. 1. С. 150–151). «Ох, царь Салтан Салтанович! — восклицал он в рецензии на анонимно изданную стихотворную сказку «Царь-девица» (М., 1835). — Бог тебе судья! востормошил ты наш неугомонный народ — житья не стало от сказок; хоть беги со света долой! Не понимаю, как по сию пору никому не придет в голову издать „Илью Муромца“ Карамзина на лучшей веленовой бумаге, со всею типографическою роскошью и с учеными примечаниями? Кажется, теперь настало именно то время, когда эти плохонькое произведение, которое сам автор почитал безделкою и шуткою, должно казаться великим, гениальным творением, вековым типом почти всего, что ныне пишется. <...> И в самом деле, разве Илья Муромец уступит в достоинстве царю Салтану, Берендею, Коньку-Горбунку и пр. и пр? Да — *крайности сходятся!*» (Молва. 1835. Ч. 9, № 12 (выход в свет 23 марта). Стб. 193–194; Белинский. Т. 1. С. 162). На страницах «Молвы» печатались противоречивые оценки «Анджело» (см.: Молва. 1834. Ч. 7, № 21. С. 340–341; № 24. С. 373–374; наст. изд., с. 49–51). Своего негативного отношения к поэме «Анджело» и пушкинским сказкам Белинский не изменил и в дальнейшем. В одиннадцатой статье о Пушкине (1846) он писал: «„Анджело“ был принят публикою очень сухо, и поделом. В этой поэме видно какое-то усилие на простоту, отчего простота ее слога вышла как-то искусственна. Можно найти в „Анджело“ счастливые выражения, удачные стихи, если хотите, много искусства, но искусства чисто технического, без вдохновения, без жизни. Короче: эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней сказать нечего» (Белинский. Т. 7. С. 553; см. там же, с. 756, отзыв о сказках).

⁵ Имеется в виду поэма И. И. Козлова «Чернец» (1825).

⁶ В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» были напечатаны стихотворения И. И. Козлова «Моя молитва» (Т. 1), «Обманутое сердце» (Т. 3, № 4), «Станцы из лорда Бейрона» (Там же), «К печальной красавице» (Т. 3, № 5), «К Эмме (из Шиллера)» (Т. 4, № 7), элегия «Ночь» (Т. 2, № 3) и баллады «Свежана и Руслан» (Т. 1) и «Умиравший Гейдук (Иллирийская баллада)» (Т. 4, № 7). В оценке последних стихов Козлова Белинский подхватывает уничижительную характеристику, данную в рецензии «Молвы» на вторую часть альманаха «Новоселье», где были напечатаны стихотворения «Бренда» («В стране, где мрачные туманы...») и «Возвращение крестоносца. Бьяль» («Младой Готфрид Шатобриан...»). О стихотворении Козлова «Бренда» рецензент писал, что оно «слабее, нежели обыкновенные его стихотворения; в нем все обстоит благополучно, стихи и рифмы по местам, и все просто, очень просто, все удивительно мило, как говорят милые почитательницы Чернеца, которому ряса так к лицу» (Молва. 1834. Ч. 7, № 22. С. 342).

⁷ Цитата из элегии Альфонса-Мари-Луи де Ламартина (Lamartine; 1790–1869) «Бонапарт» («Bonaparte», 1823).

⁸ Перефразированные стихи XIX строфы первой главы «Евгения Онегина»

Все те же ль вы? Другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?

⁹ *Аристарх* — см. примеч. 9 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 375.

¹⁰ По всей вероятности, здесь имеется в виду в первую очередь Н. А. Полевой. В 1825 г. в связи с выходом первой главы «Евгения Онегина» развернулась полемика между Н. А. Полевым, с одной стороны, и Д. В. Веневитиновым и Н. М. Рожалиным — с другой, вызвавшая широкий резонанс (см.: П. в критике, I. С. 262–292). В своей рецензии Полевой писал, что «всякое новое приобретение Байронов или Пушкиных делает и нам честь, ибо делает честь стране, которой он принадлежит, и веку, в котором живет» (МТ. 1825. Ч. 2, № 5. С. 45; П. в критике, I. С. 263). Веневитинов ответил на это вопросом: «...для чего же всегда сравнивать его с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежал не одной Англии, а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века <...>?» (СО. 1825. Ч. 100, № 8. С. 374; П. в критике, I. С. 268). В ходе дальнейшей полемики Веневитинов называет Байрона «представителем своего века» (СО. 1825. Ч. 103, № 19. Приб. № 1. С. 35;

П. в критике, I. С. 280). Однако ни в одной из этих статей не встречается дословно выражение, набранное у Белинского курсивом как цитата. Вероятнее всего, имея в виду приведенную выше полемику, непосредственную цитату Белинского взял из статьи Надеждина «„Евгений Онегин“». Роман в стихах. Глава VII, сочинение Александра Пушкина», где процитированные слова также набраны курсивом: «Прочти только — и ты увидишь, что гений великого поэта, *представителя современного человечества на небосклоне отечественной нашей словесности*, остался и здесь себе верным! Это перло достойно быть внизаемым в драгоценное ожерелье „Онегина“ — честь и красу нашей поэзии! *Пушкин*, несмотря на пошлое жужжанье безжалостной „Пчелы“, всегда и везде пребывает *Байроном!*..» (ВЕ. 1830. Ч. 170, № 7. С. 193; П. в критике, II. С. 262).

¹¹ Главным из «неутомимых герольдов» Кукольника был Сенковский, писавший в рецензии на его «большую драматическую фантазию в стихах» «Торквато Тассо»: «...между нами возник необыкновенный поэтический гений — молодой Кукольник», восхищавшийся «поэтическими дарованиями юного нашего Гёте» и провозглашавший: «Я так же громко восклицаю „великий Кукольник!“ <...> как восклицаю „великий Байрон!“» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 13, 29, 37). Впрочем, ко времени появления «Литературных мечтаний» отношение Сенковского к Кукольнику уже стало заметно меняться. В мартовской книжке «Библиотеки для чтения», рецензируя драму Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла», Сенковский был готов взять назад свои чрезмерные похвалы молодому поэту: «Но всего для меня прискорбнее — для меня, который за видение Тасса, за смерть Лукреции назвал г-на Н. К. великим Кукольником и нашим юным Гёте, — что во всей этой пьесе отнюдь не вижу высокого творческого дара автора Фантазии. Поэт решительно повторился во втором своем произведении...» (1834. Т. 2, № 3. Отд. V. С. 58). «Инвалидными прибавлениями к литературе» Белинский иронически называет газету «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», в которой была расхвалена драма Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834. № 40, 19 мая. С. 316–320; № 41, 23 мая. С. 324–328; № 42, 26 мая. С. 332–335; подпись: *Пп*); в фельетоне «Литератор», напечатанном 1 сентября в № 70 «Литературных прибавлений», Кукольник был назван «отважным соперником Шекспиру» (с. 554). Отношение к Кукольнику в изданиях Надеждина было более чем скептическое. Так, рецензент «Горквато Тассо» в «Молве» указывал молодому автору, что «на пути к литературной славе паче всего надо беречься недочета стоп в стихах и нарушения законов ударения; что, дабы написать драму, недостаточно переименовать *действия* в *акты*, а *явления* в *выходы*; что его *большая фантазия* есть не что иное, как большая претензия, повторение давно известной Горациевой притчи о *горе в родах*...» (1833. № 147, 9 декабря. С. 587–588).

¹² Цитата из стихотворения Гёте «Утешение в слезах» («Trost in Tränen», 1803) в переводе В. А. Жуковского (1817).

¹³ Алексей Михайлович *Зилов* (1798–1865) — офицер л.-гв. Преображенского полка, посредственный поэт. С 1823 г. в отставке, жил в Москве и своих имениях, был членом Общества сельского хозяйства. С 1828 г. начал заниматься литературой и в 1831 г. дебютировал в печати двумя частями «Басен» (к 1834 г. вышли в свет 3-я и 4-я части — М., 1833; последняя, 5-я, часть издана в 1835 г.).

¹⁴ Белинский противопоставляет романы М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1812 году» (М., 1829; 4-е изд.: М., 1832), И. И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (М., 1831–1833. Ч. 1–4), К. П. Масальского «Стрельцы» (СПб., 1832), повести В. Ф. Одоевского, А. А. Бестужева (Марлинского), Н. В. Гоголя литературным новинкам 1833–1834 гг. — романам Н. И. Греча «Черная женщина» (СПб., 1834) и Ф. В. Булгарина «Мазепа» (СПб., 1833–1834. Ч. 1–2) и повестям О. И. Сенковского, напечатанным под псевдонимом «барон Брамбеус» (в альманахе «Новоселье» за 1833 и 1834 гг. и в кн. «Фантастические путешествия барона Брамбеуса»). Это противопоставление, имеющее целью указать на бедность современной литературы, не вполне корректно. Так, первая часть «Мазепы» Булгарина появилась в том же 1833 г., когда закончил печататься и был полностью переиздан роман Лажечникова, повести Одоевского и Гоголя соседствовали с повестями Брамбеуса в альманахе «Новоселье».

¹⁵ С утверждения «*Да — у нас нет литературы!*» Белинский начинает фрагмент своей статьи, появившийся в следующем номере (№ 39). Здесь критик формулирует свою трактовку понятия «литература». Существование той или иной национальной литературы, по мнению Белинского, не определяется ни длинным перечнем лиц, подвизающихся на ниве словесности, ни собранием известного числа образцовых произведений (в обоих этих смыслах, замечает Белинский, в России как раз есть литература). «Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературу называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и безусловных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может быть скачков: напротив, в ней все последовательно, все естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою, и итальянскою» (№ 39. С. 193). Литература, пишет далее Белинский, «непрерывно должна быть выражением — символом внутренней жизни народа». Это «одно из необходимых ее принадлежностей и условий» (№ 41. С. 229). В таком понимании — как явления, органично вытекающего из народной и общественной жизни, — литературы в России, по мнению Белинского, еще не было и нет. Сама по себе мысль об отсутствии в России литературы была уже далеко не нова (см. об этом примеч. 1 к статье К. А. Полевого «О новом направлении в русской словесности» — наст. изд., с. 371; также: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1900. Т. 1. С. 414–415, примеч. С. А. Венгерова). В бумагах Пушкина сохранился план статьи «О ничтожестве литературы русской», датированный 1834 г. (см.: XI, 495–496). С. М. Бонди высказал предположение, что Пушкин отказался от реализации своего замысла в связи с публикацией «Литературных мечтаний» Белинского (см.: *Бонди С. М.* Историко-литературные опыты Пушкина // ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 441).

¹⁶ «Слово о полку Игоревом» — см. примеч. 5 к статье К. А. Полевого «О новом направлении в русской словесности», наст. изд., с. 372. «Сказание о донском побоище» — «Сказание о Мамаевом побоище», памятник древнерусской литературы первой четверти XV в., относящийся к так называемому Куликовскому циклу; к 1830-м гг. неоднократно издавался. Белинскому был известен в изданиях И. М. Снегирева: 1) Сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского // Русский зритель. 1829. Ч. 5, № 17–20; 2) Древнее сказание о победе великого князя Дмитрия Ивановича Донского над Мамаем. М., 1829 (см. рецензию Белинского на издание «Сказания...» Н. Головиным в 1835 г. — Молва. 1835. Ч. 9, № 10. Стб. 162–163; Белинский. Т. 1. С. 154). «Послание Вассиана к Иоанну III» (1480) — послание архиепископа Ростовского Вассиана к великому князю Иоанну III на Угру, призывающее его к решительным действиям против татар. Было приведено Карамзиным в третьей главе шестого тома «Истории государства Российского».

¹⁷ Н. И. Греч и В. Т. Плаксин упомянуты здесь как авторы учебных руководств, в которых история русской литературы рассматривалась с древнейшего времени: *Греч Н. И.* Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. СПб., 1819–1822. Ч. 1–4; *Плаксин В. Т.* 1) Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям. СПб., 1832; 2) Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833 (о последней кн. см.: П. в критике, III. С. 485).

¹⁸ Речь идет о В. А. Жуковском, В. А. Озерове и А. Ф. Мерзлякове, характеристики которых как представителей «Карамзинского периода» Белинский дал в предшествующем фрагменте статьи (№ 49. С. 372–376).

¹⁹ Белинский имеет в виду первое известие о Байроне в русской печати — заметку в журнале В. В. Измайлова «Российский музеум» (1815. Ч. 1, № 1. С. 37–42), впрочем, не вполне точно передавая ее содержание.

²⁰ Отвечая на нападки Булгарина (СПч. 1835. № 251, 6 ноября), Белинский писал: «В „Северной пчеле“ обвиняют меня, между прочими литературными преступлениями, в том, что я называю Шекспира *пьяным дикарем*. Стыжусь оправдываться в этом перед публикою и, только движимый состраданием к жалкому неведению „Северной пчелы“, объявляю ей за новость (для нее), что это выражение принадлежит Вольтеру, обокрадывавшему Шекспира, а мною оно употребляется в шутку. Бедная „Пчела“, как еще много пустых вещей, недоступных для ее мушиной любознательности!» (Телескоп. 1835. Ч. 27, № 11. С. 358–359; Белинский. Т. 1. С. 356). «Пьяным дикарем» Вольтер назвал Шекспира в своем «Рассуждении о древней и новой трагедии» («Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne»), предпосланном его трагедии «Семирамида» («Sémiramis», 1748). Находя в Шекспире «возвышенные черты, достойные величайших гениев», Вольтер отнесся к эстетическим принципам шекспировской драмы, в частности трагедии «Гамлет», с непримиримостью ревнителя классицизма. «Можно подумать, — писал Вольтер, — что это произведение является плодом воображения пьяного дикаря» (Вольтер. Эстетика. М., 1974. С. 114).

²¹ Белинский имеет в виду широко известный эпизод литературной биографии Пушкина: чтение в 1815 г. на лицейском экзамене стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», которое привело в восторг присутствовавшего в лицейском зале Г. Р. Державина. Этот эпизод Пушкин отметил в восьмой главе «Евгения Онегина» (строфа II): «Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил».

²² Намек на статью А. А. Бестужева о романе Н. А. Полевого «Клятва при Гробе Господнем» (М., 1832), печатавшуюся в 1833 г. в «Московском телеграфе» (Ч. 52, № 15, 16; Ч. 53, № 17, 18) — программное литературно-критическое выступление Бестужева, содержащее экскурс в историю поэзии и историко-литературные рассуждения. Статья была напечатана под псевдонимом «Александр Марлинский», с пометой под текстом: «Дагестан. 1833». В Дагестане А. А. Бестужев служил после перевода его по прошению в 1829 г. в действующую армию на Кавказ. По поводу этой статьи Марлинского Белинский уже иронизировал в третьем фрагменте «Литературных мечтаний», напечатанном в № 41.

²³ Выделенные слова — цитата из стихотворения Пушкина «К морю» (1824).

²⁴ *Геркулесовы столбы* — здесь в устойчивом значении: крайние пределы. В древности — название Гибралтарского пролива, место, связывавшееся с представлением о пределах мира.

²⁵ Термин «юная словесность» для обозначения французского романтизма впервые употребил О. И. Сенковский в статье «Брамбеус и юная словесность» (БдЧ. 1834. Т. 3, № 4. С. 33–60), очевидно соединив два термина — «неистовая словесность» (*frénétique*) и «*la jeune France*» — юная Франция (так называли себя молодые французские поэты и писатели романтического направления, объединившиеся после революции 1830 г. вокруг В. Гюго). К «юной словесности» Сенковский относил В. Гюго, Ж. Жанена, Э. Сю, А. Дюма, В. Дюканжа, А. де Виньи, О. Бальзака, М.-Ф. Сулье, а истоки этого направления видел в творчестве писателей XVIII в., прежде всего Руссо и Дидро. Брамбеус-Сенковский нападал на «юную словесность», называя ее «второй французской революцией в священной ограде нравственности», «производимой со всем неистовством и остервенением, свойственным народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста» (с. 39). Эта статья вызвала резкую отповедь Надеждина, выступившего со статьей «Здравый смысл и барон Брамбеус» (Телескоп. 1834. Ч. 21, № 19. С. 131–175; № 20. С. 246–276; № 21. С. 317–335). Сам Надеждин, впрочем, столь же нетерпимо относился к французским романтикам.

²⁶ *Феррагус* (Феррагюс) — герой повести Бальзака «Феррагус, предводитель деворантов» («*Ferragus, chef des Dévorants*», 1833), первой части трилогии «История тринадцати» («*Histoire des treize*»), напечатанной в марте–апреле 1833 г. в «*Revue de Paris*». Русский перевод этой повести под заглавием «Один из тринадцати» появился в № 15 «Телескопа» за 1833 г.

²⁷ Выделенные слова — цитата из стихотворения Пушкина «К морю» (1824).

²⁸ Еще один иронический намек на статью А. А. Бестужева о романе Н. А. Полевого «Клятва при Гробе Господнем», автор которой, собираясь говорить об индий-

ской литературе, пишет: «Прогуляемся же в Индию, пароход „Джон Буль“ уже давно курится у набережной» (МТ. 1833. Ч. 52, № 15. С. 409).

²⁹ Об этом Белинский писал в части статьи, посвященной Державину: «Вообще надобно заметить, что его *невежество* было причиной его *народности*, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъемлющею ученостию Ломоносова — и тогда прости поэт!» (№ 46. С. 315).

³⁰ Увольнение в отставку «без мундира» (то есть без права ношения мундира) было, как правило, следствием исключения из службы не по собственному желанию.

³¹ *Выходец, пройдоха, Видок* — Ф. В. Булгарин, чьи польское происхождение, неразборчивость в средствах достижения цели и сомнительная биография не раз становились предметом насмешек его литературных оппонентов. Под видом французского сыщика Видока Пушкин изобразил Булгарина в 1830 г. в заметке «О записках Видока» и в двух эпиграммах: «Не то беда, что ты поляк...» и «Не то беда, Авдей Флогарин...» (подробно об этом см.: П. в критике, II. С. 453–456)

³² Имеется в виду О. И. Сенковский, выступавший в литературе под псевдонимом «барон Брамбеус» и бывший предметом постоянных нападок Белинского и Надеждина.

³³ «Семинаристом» называли Н. И. Надеждина, выходца из духовенства, воспитывавшегося в Рязанской семинарии и Московской духовной академии; Фома Фомич Желтяк «из ученых» — персонаж пародии Н. А. Полевого «Литературные опасения кое за что» (МТ. 1828. Ч. 24, № 23. С. 349–380) на статью Н. И. Надеждина «Литературные опасения за будущий год» (ВЕ. 1828. Ч. 162, № 21–22). «Купцом» и «аршинником» называли Н. А. Полевого. Слова «гар» и «полугар», намекающие на то, что Полевой был владельцем винного завода, употребил Надеждин в статье «Сонмище нигилистов», ставшей ответом на «Литературные опасения кое за что». Пародируя в ответ стиль Полевого, Надеждин писал: «Слух мой беспрестанно оглашался многоцентнерными выражениями: *драматический, экс-пластический, анти-музыкальный, экстра-вульгарный, амфи-полярный* и другие подобозвучные слова, на которые вероломное эхо подшептывало мне богатые созвучия *гарный и полугарный*» (ВЕ. 1829. Ч. 163, № 1. С. 21). Там же героя выдают за владельца «водочных и винокуренных заводов», чтобы его дружески приняли в «литературном» обществе (Там же. С. 15, 17).

³⁴ Здесь имеется в виду отзыв Ф. В. Булгарина о седьмой главе «Евгения Онегина»: «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной взорzenia! Совершенное падение, *chûte complète!*» (СПч. 1830. № 35, 22 марта; П. в критике, II. С. 232). Спустя несколько лет в рецензии на «Сочинения» Н. И. Греча (СПб., 1838. Ч. 1–5) Белинский опять вспомнил это высказывание Булгарина: «Было время, когда нападки на Пушкина сделались как-ким-то критическим удалством и щегольством. Дело зашло так далеко, что один журналист (не помним его имени) в *седьмой* главе „Онегина“ увидел — что бы вы думали? — *совершенное падение, chûte complète*, и второпях, на радости, неосторожно поспешил провозгласить его на двух языках: русском и французском. Другой журналист того же разбора встретил появление „Бориса Годунова“, это громадное создание великого гения, драгоценнейшее достояние отечественной литературы, — встретил его плоским пасквилом в дурных виршах:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел:
И стих его не звучен,
И гений охладел.
„Бориса Годунова“
Он выпустил в народ:
Убогая облова,
Увы! на Новый год!

Но что же? — все это послужило не к унижению, а к возвышению поэта: споры, толки и крики заставили глубже взглянуть в его творения и тем вернее оценить их; а ожесточенное гонение показало только то, что чем огромнее слон, тем сильнее пре-

тензии мосек на храбрость» (МН. 1838. Ч. 18. Июль, кн. 1. С. 93; «другой журнал-лист» — М. А. Бестужев-Рюмин, выступивший со своими «виршами» в газете «Сверный Меркурий» (1831. Т. 3, № 1, 2 января; П. в критике, III. С. 35–36)).

³⁵ Имеется в виду фраза из статьи Н. И. Греча «Литературное замечание», написанной в защиту Булгарина от критики «Телескопа»: «Я решился на сие не для того, чтоб оправдывать и защищать Булгарина (который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов)...» (СО и СА. 1831. Т. 21, № 27. С. 68). Эта фраза была иронически обыграна в антибулгаринской статье Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (Телескоп. 1831. Ч. 4, № 15. С. 412–418). Подробнее об этом эпизоде журнальной полемики см.: П. в критике, III. С. 467–471.

³⁶ К. Н. Батюшков с 1821 г. страдал тяжелым психическим расстройством.

³⁷ Белинский в первый год своей учебы в Московском университете успел послушать лекции А. Ф. Мерзлякова. Характеризуя ранее в «Литературных мечтаниях» «Карамзинский период», он писал о Мерзлякове: «Мерзляков был человек с необыкновенным поэтическим дарованием и представляет собою одну из умилительнейших жертв духа времени. Он преподавал теорию изящного, и между тем эта теория оставалась для него неразгаданою загадкою во все продолжение его жизни; он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика <...>. И этот человек, который был знаком с немецким языком и литературою, этот человек с душою поэтическою, с чувством глубоким — писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил с кафедры, что *только чудотворный гений немцев любит выставлять на сцене виселицы*, находил гений в Сумарокове и был увлечен, очарован поддельною, нарумяненною поэзиею французов, в то время как читал Гёте и Шиллера!..» (№ 49. С. 375, 376).

³⁸ Шестнадцатитомный «Лицей, или Курс древней и новой литературы» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne», 1799–1805) Ж.-Ф. Лагарпа (La Harpe; 1739–1803), написанный с точки зрения нормативной эстетики, долгое время служил основным историко-литературным учебным пособием. На русский язык был переведен П. М. Карabanовым (ч. 1), П. И. Соколовым (ч. 2, 3), А. С. Никольским (ч. 4) и Д. М. Соколовым (ч. 5): Ликей, или Круг словесности древней и новой. Сочинение И. Ф. Лагарпа. СПб., 1810–1814. Ч. 1–5. И. И. Мартынов в переводе «Лицея» не участвовал; он был издателем выходившего в 1806 г. в Петербурге журнала «Лицей», что, по-видимому, и стало причиной ошибки Белинского.

³⁹ Причислив «Словарь древней и новой поэзии» (СПб., 1821. Ч. 1–3) Н. Ф. Остолопова (см. о нем: П. в критике, I (2). С. 473) к старым, классицистическим поэтикам, в которых «новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий», Белинский допустил очевидный анахронизм: словарь вышел после появления в печати «Руслана и Людмилы», и поэма Пушкина приводится в нем в качестве единственного примера «романической» поэмы (Ч. 3. С. 28–40).

⁴⁰ Материалы полемики 1820 г. вокруг «Руслана и Людмилы» см.: П. в критике, I. С. 25–106.

⁴¹ Похожая фраза имеется в статье Н. И. Надеждина «Литературные опасения за будущий год»: «...здравый вкус <...> обоснован на прочных и мудрых правилах, извлеченных из внутренних законов творящего духа и проверенных вековыми опытами достойнейших из представителей человечества» (ВЕ. 1828. Ч. 162, № 22. С. 93–94), однако трудно сказать, ее ли имел в виду Белинский.

⁴² Цитата из первой главы «Евгения Онегина» (строфа V).

⁴³ Измененная цитата из послания Пушкина «Ч<аада>ву» («В стране, где я был тревоги прежних лет...», 1821). У Пушкина: «И в просвещении стать с веком наравне»).

⁴⁴ *Уездный городок* — Чембар в Пензенской губернии, где прошли детство и отрочество Белинского.

⁴⁵ Ср. в поэме Пушкина «Цыганы» (1824):

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный...

и в стихотворении «Ночь» (1823):

...мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви...

⁴⁶ *Армида* — героиня поэмы Т. Тассо (Tasso; 1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» («Gerusalemme Liberata», 1575), с помощью чар удерживающая Ринальдо в волшебном саду.

⁴⁷ Имеются в виду стихотворения Пушкина «Андрей Шенье» (1825), «К морю» (1824), в котором Пушкин откликнулся на смерть Байрона, и ода «Наполеон» (1821), написанная после получения известия о смерти Наполеона.

⁴⁸ Скрытая цитата из стихотворения Пушкина «Зимняя дорога» (1826).

⁴⁹ Здесь имеются в виду «Правила пиитические в пользу юношества...» (М., 1774; многократно переиздавались, с 3-го изд., 1785 г.: «Правила пиитические о стихотворении российском и латинском...»; 10-е изд.: М., 1826) писателя-богослова Аполлоса (в миру Андрей Дмитриевич Байбаков; 1745–1801), преподавателя риторики в Московской духовной академии, затем епископа Орловского и Севского, потом Архангельского, члена Российской Академии. Кроме проповедей и богословских трудов, Байбаков написал несколько работ по теории словесности и русского языка.

⁵⁰ Ставшая расхожей формулой цитата из стихотворения Ф. Глинки «Непонятная вещь», напечатанного в альманахе «Северные цветы» на 1831 г. (с. 17–18).

⁵¹ Речь идет об «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...», 1830).

⁵² Цитата из восьмой главы «Евгения Онегина» (строфа LI). Далее Белинский переходит к характеристике наиболее заметных русских писателей «Пушкинского периода». Первым в этом ряду идет Баратынский, которого некогда «ставили на одну доску с Пушкиным». «Говоря о Пушкине, — пишет далее Белинский, — я забыл заметить, что только ныне его начинают ценить по достоинству, ибо уже реакция кончилась, партии поохолодели. Итак, теперь даже и в шутку никто не поставит имени г. Баратынского подле имени Пушкина» (№ 50. С. 400). Следующий из «замечательнейших талантов *Пушкинского периода*» — И. И. Козлов, «по форме своих сочинений» — «подражатель Пушкина», по господствующему в них чувству — последователь Жуковского (Там же. С. 401). Далее упомянуты Н. М. Языков и Д. В. Давыдов, А. И. Подолинский, подававший о себе «самые лестные надежды», но не исполнивший их, Ф. Н. Глинка — поэт с отчетливым, но односторонним дарованием, который, кажется, «смотрит на творчество как на занятие, как на невинное препровождение времени, а не как на призвание свыше» (Там же. С. 402). «...Дельвига Пушкин почитает человеком с необыкновенным дарованием; куда же мне спорить с такими авторитетами?» — не без иронии замечает Белинский (Там же). «Пушкинский период», по мнению критика, «решительно период стихотворства, превратившегося в совершенную манию» (№ 51. С. 413). Однако почти все поэты этого периода «заняли у Пушкина этот стих гармонический и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть выражения, которые составляют только внешнюю сторону его созданий; но не заняли у него этого чувства глубокого и страдательного, которым они дышат и которое одно есть источник жизни художественных произведений» (Там же. С. 414). На общем фоне Белинский выделяет Шевырева, хотя и замечает, что большая часть его стихотворений «обнаруживают более усилия ума, чем излияние горячего вдохновения» (Там же. С. 416), говорит несколько прочувствованных и почти восторженных слов о покойном Веневитинове, упоминает о Полежаеве, «жалкой жертве заблуждений своей юности», «таланте, правда, одностороннем, но тем не менее и замечательном» (Там же). Подробнее, чем о других, критик пишет о Грибоедове — «поэте оригинальном и самобытном, не признавшем над собою влияния Пушкина и едва ли не равном ему» (Там же. С. 417). Переходя к прозаикам «Пушкинского периода», Белинский посвящает весьма язвительный абзац Булгарину, которого оценивает в непосредственном сравнении с А. А. Орловым, и достаточно развернуто характеризует прозу Марлинского. «...Г. Марлинский писатель не без таланта, — замечает он в заключение, — и был бы гораздо выше, если б был естественнее и менее натягивался» (Там же. С. 426–427). «*Пушкинский период* был самым

цветущим временем нашей словесности, — подводит итог критик. — <...> Можно сказать утвердительно, что тогда мы имели если не литературу, то, по крайней мере, призрак литературы; ибо тогда было в ней движение, жизнь и даже какая-то постепенность в развитии» (Там же. С. 427).

⁵³ Цитата из «Бориса Годунова» (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

⁵⁴ В 1830 г. по России прокатилась эпидемия холеры.

⁵⁵ Шведский король Густав II Адольф, с одной стороны, и А. фон Валленштейн, возглавлявший войска Католической лиги, — с другой, являлись двумя главными деятелями так называемого «шведского периода» Тридцатилетней войны (1618–1648). Густав Адольф погиб в битве при Лютцене (1632), Валленштейн был обвинен в измене и убит в феврале 1634 г. После этого начались переговоры воюющих сторон, завершившиеся Пражским договором (1635), который, однако, не принес окончательного мира. Конец Тридцатилетней войне положил *Вестфальский мир* — договоры, подписанные 24 октября 1648 г. в вестфальских городах Мюнстере и Оснабрюке (между Священной Римской империей, Испанией, Францией, Швецией и протестантскими государствами Европы).

⁵⁶ Белинский мог держать в памяти близкое высказывание из статьи И. Н. Камашева-Среднего «Несколько замечаний на рассуждение г. Надеждина „О происхождении, свойствах и судьбе поэзии, так называемой романтической“»: «...мы не можем сказать еще, будто романтизм кончился; у нас нет нашего Гомера, который подобно Гомеру древнему, открывшему поприще классицизма, заключал бы в XIX столетии поприще романтизма. Может быть, это Гёте» (МВ. 1830. Ч. 3, № 9. С. 54). Параллели между Гомером и Гёте неоднократно в той или иной форме проводились в русской критике конца 1820-х гг., в частности московскими любомудрами (см., например, в статье С. П. Шевырева «„Елена“, классическо-романтическая фантазмагория. Междудействие к „Фаусту“ из соч<инения> Гёте» — МВ. 1827. Ч. 6, № 21. С. 92). Ср. также в сохранившейся в бумагах Пушкина черновой заметке 1827 г., печатающейся под редакторским заглавием «<О драмах Байрона>»: «...„Фауст“ есть величайшее создание поэтического духа; он служит представителем новейшей поэзии, точно как „Илиада“ служит памятником классической древности» (XI, 51).

⁵⁷ Стихотворения пренебрежительно поименованных здесь поэтов были напечатаны в ноябрьской и декабрьской книжках «Библиотеки для чтения». Петр Павлович Ершов (1815–1869), Александр Николаевич Струговщиков (1809–1878) и Леонтий Александрович Снегирев (1812–1863) только начинали свое литературное поприще. Ершов дебютировал в 1834 г. в «Библиотеке для чтения» (Т. 3, № 5) отрывком из стихотворной сказки «Конек-Горбунок» (вскоре издана полностью: СПб., 1834), которая была враждебно встречена Белинским (его рецензия на отд. изд. см.: Молва. 1835. Ч. 9, № 9. Стб. 143–145; Белинский. Т. 1. С. 150–151; также см. выше, примеч. 4). В № 11 «Библиотеки для чтения» появились еще два его стихотворения — «Ночь на Рождество Христово» и «Молодой орел». Там же напечатано стихотворение Снегирева «Молитва». В № 12 «Библиотеки» появилось «Модное гульбище. Листок из повести „Домовой“ Михаила Александровича Маркова (1810–1876), автора изданной в Петербурге в 1832 г. стихотворной повести «Мятежники», посвященной польскому восстанию и ничем не выделяющейся из массового потока романтических поэм. Справедливости ради следует отметить, что стихотворения Ершова, Снегирева и Маркова в № 11 и 12 «Библиотеки» были весьма низкого поэтического уровня. Струговщиков, вместе с Ершовым совершенно таким же образом презрительно упомянутый Белинским еще и в статье «Ничто о ничем, или Отчет г. издателя „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» (Телескоп. 1836. Ч. 31. № 2. С. 349; Белинский. Т. 2. С. 20), напечатал в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1834 г. свое первое стихотворение — «Певец. Баллада Гёте» (перевод стихотворения «Der Sängler»). Оригинальных стихотворений Струговщиков принципиально не печатал. Впоследствии он стал близким знакомым Белинского, по достоинству ценившего его переводы из Гёте, и, кажется, искренне считал эти ранние отзывы критика следствием недоразумения. В письме М. П. Погодину от 19 ноября 1873 г. Струговщиков писал: «...стихотворения, печатавшиеся в 30-х годах, о которых Белинский так небрежно отзывался в 1-м томе своих рецензий, никогда не выходили из моего пера, и хотя печатались за подписью А-ра

С—ва, — все-таки не мои, а одного из моих тогдашних родственников и соименников московских» (цит. по: *Левин Ю. Д.* Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Л., 1985. С. 79).

⁵⁸ К сказкам Жуковского Белинский относится так же отрицательно, как к сказкам Пушкина. В 1832 г. Жуковский напечатал в журнале «Европеец» сказки «Спящая царевна» (№ 1) и «Война мышей и лягушек» (№ 2), в 1833 г. в первой части альманаха «Новоселье» — «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кошеля Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кошечевой дочери»; две последние сказки написаны гекзаметром. Ср. отзыв Н. А. Полевого о «Сказке о царе Берендее...» в его рецензии на «Новоселье»: «Эта сказка привела нас в изумление! По всему видно, что автор хотел подделаться в ней под русские сказки, но его гексаметры, его дух, его выражения слишком далеки от истинно русского. Переименивши имена, можете уверить всякого, что „Сказка о царе Берендее“ взята из Гебеля, из Перро, из кого угодно, только не из русских преданий. Впрочем, она и по вымыслу не русская. Мы давно уверены, что В. А. Жуковский не рожден быть по-этом народным, но удивляемся, что он сам не увернется в этом неудачными попытками» (МТ. 1833. Ч. 50, № 5. С. 105–106). См. также выше, примеч. 4.

⁵⁹ Упреки в «низкой природе» содержались, например, в рецензии М. Т. Каченовского на «Новые басни» Крылова (СПб., 1811): «Пиит есть художник; он должен искать образцов своих в изящной природе, должен творить идеалы прекрасные и благородные, а не заражать своего воображения смрадом запачканных нелепостей» (ВЕ. 1812. Ч. 61, № 4. С. 310). Позднее П. А. Вяземский в статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», напечатанной как предисловие к 6-му изданию «Стихотворений» И. И. Дмитриева (СПб., 1823), отдал безусловное первенство Дмитриеву среди русских баснописцев. Вяземскому тогда возражал в печати Ф. В. Булгарин, находивший его мнение о Крылове «строгим и даже пристрастным»: «...план басен Крылова оригинальный, а язык его есть, так сказать, возвышенное простонародное наречие, неподражаемое в своем роде и столь же понятное и милое для русского вельможи, как и для крестьянина» (ЛЛ. 1824. Ч. 1, № 2. С. 61–62). Вряд ли, впрочем, Белинский хорошо представлял себе полемику вокруг «Известия...», в которой Вяземский, отвечая Булгарину, высказывал взгляды, вполне соответствующие позиции Белинского: «...почему замечательно басни И. И. Дмитриева не кажутся народными русскими. <...> Можно сказать, что язык одного баснописца имеет более народности или, лучше сказать, более простонародия, чем язык другого; это иное дело. Но такая похвала не безусловна, и тут выгода рядом с недостатками. По мнению моему, каждый хороший русский стих есть истинно народный русский стих: язык образованного писателя есть тот, который должен быть присвоен народом. И когда замечатель как будто с упреком сказал, что *слог басен И. И. Дмитриева есть язык образованного светского человека*, он, кажется, ошибся в заключении, им сделанном. Каждый творец изящного, а в особенности автор, должен желать угодить вкусу одних образованных людей: вкус других он обязан воспитывать, приучать к познанию хорошего, и в этом отношении, как гражданин, он содействует по мере сил образованию низших классов общества» (СО. 1824. Ч. 92, № 14. С. 310–311).

⁶⁰ Повесть В. Ф. Одоевского «Княжна Мими» из жизни светского общества была напечатана в «Библиотеке для чтения» (Т. 7, № 11) под псевдонимом «Безгласный».

⁶¹ Намек на романы М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (М., 1829; 4-е изд.: М., 1832) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (М., 1831).

⁶² Трагедия Гёте «Ифигения в Тавриде» («Iphigenie auf Tauris», 1786) написана на сюжет древнегреческого мифа в строгом соответствии с классицистическими нормами.

⁶³ В числе писателей четвертого, «прозаически-народного», периода русской словесности Белинский выделяет М. П. Погодина, М. Н. Загоскина, В. А. Ушакова, «двух новых замечательных талантов» — А. Ф. Вельтмана и И. И. Лажечникова (за последним он закрепляет «почетное место первого русского романиста» — № 52. С. 450–451), Гоголя и В. Ф. Одоевского. К характеристике современного периода русской литературы, пришедшего на смену периоду пушкинскому, Белинский вер-

нулся год спустя в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». «С половины второго десятилетия XIX века совершенно кончилась эта однообразность в направлении творческой деятельности: литература разбежалась по разным дорогам, — пишет критик об окончании «Пушкинского периода». — Хотя огромное влияние Пушкина (который, скажем мимоходом, составляет на пустынном небосклоне нашей литературы, вместе с Державинным и Грибоедовым, пока единственное поэтическое созвездие, блестящее для веков) и этому периоду нашей словесности сообщило какой-то общий характер, но, во-первых, сам Пушкин был слишком разнообразен в тонах и формах своих произведений, потом, влияние старых авторитетов еще не потеряло своей силы, и, наконец, знакомство с европейскими литературами показало новые роды и новый характер искусства. Вместе с поэмой *пушкинскою* появились — роман, повесть, драма, усилилась элегия и не были забыты — баллада, ода, басня, даже самая эклога и идиллия» (Телескоп. 1835. Ч. 26, № 7. С. 395; Белинский. Т. 1. С. 260). Современная литературная эпоха в России, с точки зрения критика, имеет черты гораздо большей определенности: «Теперь совсем не то: теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая или, лучше сказать, так называвшаяся *романтическая поэма*, поэма *пушкинская*, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, — все это теперь не больше как воспоминание о каком-то веселом, но давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя» (Телескоп. 1835. Ч. 26, № 7. С. 395–396; Белинский. Т. 1. С. 261). Причина такого господства романа и, даже в первую очередь, повести в современной литературе — в их соответствии «духу нашего положительного времени», требующего поэзии «реальной», гармонирующей «с истиною представляемой ею жизни» (Телескоп. 1835. Ч. 26, № 7. С. 414; Белинский. Т. 1. С. 270).

В. Б. БРОНЕВСКИЙ

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

СО и СА. 1835. Т. 47, № 3 (выход в свет 19 января 1835 г. — СПч. 1835. № 17, 21 января). С. 177–186. Подпись: П. К. Авторство статьи раскрыто Ф. В. Булгариным (СПч. 1836. № 129, 9 июня; наст. изд., с. 156).

Пушкин завершил работу над сочинением об истории пугачевского бунта 2 ноября 1833 г. в Болдине (эта дата и в беловом автографе, и в печатном тексте стоит под предисловием). 6 декабря поэт просил у А. Х. Бенкендорфа разрешения представить свое историческое сочинение вниманию императора. «...Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, — писал Пушкин, — но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины. Осмелюсь просить через Ваше сиятельство дозволения представить оную на высочайшее рассмотрение. Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных» (XV, 98). На аудиенции у Бенкендорфа 12 декабря Пушкину было сообщено согласие Николая ознакомиться с рукописью, после чего Пушкин передал своему высочайшему цензору первые пять глав «Истории», озаглавленные «Том первый (от начала бунта до кончины Бибикова)». Несмотря на опасения Пушкина, Николай I уже по прочтении первой части рукописи разрешил ее публикацию. 17 января на балу у Бобринских император беседовал с Пушкиным о его сочинении (см. дневниковую запись Пушкина — XII, 319), а 29 января 1834 г. Пушкин через Жуковского получил обратно первую часть рукописи (см. письмо Жуковского Пушкину от этого числа — XV, 107). Вторую половину своего труда Пушкин представил царю, видимо, только в феврале; она была возвращена поэту через Бенкендорфа 8 марта 1834 г. (см.: XV, 115). При этом уже в № 2 «Библиотеки для чтения», вышедшем в свет 1 февраля 1834 г. (см.: П. в печати. С. 109), появилось следующее объявление: «„История Пугачева“. А. С. Пушкин избрал этот любопытный предмет для своих исторических трудов. Сочинение его уже готово. Публика, без сомнения, с таким же удовольствием будет читать это творение, с каким читает все, что выходит из пера Пушкина. Мы ожидаем его с нетерпением» (Т. 2, № 2. Отд. VI. С. 12). Не дожидаясь получения второй части рукописи, Пушкин 26 февраля, после аудиенции у Бенкендорфа, обратился к шефу жандармов с официальным прошением о выдаче для печатания книги «из казны заимообразно, за установленные проценты, 20 000 рублей», обязуясь выплатить их в два года «по срокам, которые угодно будет назначить начальству» (XV, 112). Во время этой же аудиенции, по-видимому, был решен и вопрос о типографии. Согласно пожеланиям поэта, «История» должна была печататься в подведомственной М. М. Сперанскому типографии II Отделения Собственной е. и. в. канцелярии. Директором типографии был лицейский товарищ Пушкина М. Л. Яковлев.

28 февраля 1834 г. Пушкин, занося после большого перерыва в свой дневник впечатления за прошедший месяц, отметил: «Государь позволил мне печатать Пугачева; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)» (XII, 320). Замечания Николая I в большинстве своем касались частных моментов, не требовали сколько-нибудь существенных изменений текста и носили характер стилистических исправлений и фактических уточнений (см. о них подробнее: *Зенгер Т. [Цяеловская Т. Г.] Николай I — редактор Пушкина // ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 524–532; Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева» // ПИМ. Л., 1969. Т. 6. С. 234–238*). Наиболее существенным было изменение заглавия, сделанное постфактум, поскольку в представленной царю рукописи заглавие отсутствовало. Сообщая Пушкину 24 марта 1834 г., что указ о выдаче ему заимообразно суммы на печатание книги подписан императором, Бенкендорф писал: «Причем Его Императорскому величеству благоугодно было собственноручно написать вместо: История Пугачева — *История Пугачевского бунта*» (XV, 121). Следует также отметить, что ни примечания к тексту, ни исторические материалы, приложенные Пушкиным к своему труду и составившие при печати вторую его часть, для царского цензурирования не представлялись (см.: *Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева». С. 238–239*).

Пушкин, не пожелавший в данном случае обращаться к посредничеству издателя и книгопродавцев, решил печатать книгу на свой счет и, как уже было сказано выше, 26 февраля официально просил сумму на печатание книги у казны. 4 марта, когда вторая половина «Истории» еще находилась у царя, Бенкендорф уведомлял М. М. Сперанского, что «История» будет печататься в подведомственной ему типографии. На этом отношении, полученном во II Отделении 19 марта, рукой Сперанского сделана помета: «Высочайше повелено напечатать без цензуры, как сочинение, уже удостоенное высочайшего прочтения, и на казенный счет. 8-го марта 1834» (Дело о напечатании «Истории Пугачевского бунта» в Архиве бывшего II Отделения Собственной е. и. в. канцелярии / Публ. А. Н. Макарова // *ПиС. СПб., 1913. Вып. 16. С. 78*). Таким образом, в день возвращения второй части «Истории» Пушкину император распорядился и о покрытии расходов на ее публикацию, впрочем, все равно подписав 16 марта указ о выдаче Пушкину требуемой суммы. Казна, однако, оплачивала обычный типографский «завод» — 1200 экземпляров. Пушкин, питавший надежды на успех своего сочинения и коммерческую выгоду предприятия, заявил большой по тем временам тираж — 3000 экземпляров. 1800 экземпляров он печатал на свой счет (см. его письмо к М. Л. Яковлеву от 3 июля 1834 г. — XV, 171).

«История» была передана в типографию 28 июня 1834 г. (см.: Дело о напечатании «Истории Пугачевского бунта»... С. 81). Работа над книгой продолжалась и после этого. Первая глава пошла в набор не ранее 5 июля, 17 июля Пушкин отдал том приложений (см. его письма к М. Л. Яковлеву — XV, 175, 182), но еще продолжал работать над примечаниями к первому тому (см. в письме к жене около (не позднее) 26 июля: «Я работаю до низложения риз. Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания...» — XV, 182). Книга печаталась долго. 18 ноября в № 6 Прибавлений к «Северной пчеле» сообщалось: «В самом непродолжительном времени выйдет „История Пугачевского бунта“ А. С. Пушкина, столь нетерпеливо ожидаемая любителями русского слова». Отпечатан тираж был к 23 ноября, но, чтобы получить его из типографии, потребовался еще месяц: поскольку книга печаталась «с дозволения правительства», на ее выпуск нужно было разрешение Бенкендорфа, которое он дал 16 декабря. Не удовлетвовавшись этим, М. М. Сперанский запросил «высочайшего соизволения», потом производилось сличение отпечатанной книги с «оригиналом, удостоенным высочайшего прочтения» (см. письма Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 23 ноября и 17 декабря 1834 г. — XV, 201, 203; Дела III Отделения собственной е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., 1906. С. 141–146). В свет «История» вышла только около 28 декабря (см.: П. в печати. С. 115, 117). В этот день в «Северной пчеле» (№ 295) было объявлено, что она продается в книжных лавках А. В. Глазунова и И. Т. Лисенкова; на следующий день, 29 декабря, «Северная пчела» (№ 296) извещала, что «История Пугачевского бунта» продается «во всех книжных лавках»; 2 января 1835 г. ее уже можно было купить в Москве в книжной лавке К. А. Полевого (см.: МВед. 1835. № 1, 2 января). Представляя экземпляр отпечатанной книги Николаю I, Пушкин передал императору также рукопись так называемых «Замечаний о бунте». Это были некоторые пушкинские комментарии и дополнения к излагаемым событиям, которые не могли войти в печатный текст по причинам частью цензурно-

го характера, частью композиционным, как уводящие в сторону от строго соблюдаемого Пушкиным хода исторического повествования.

20 января 1835 г. Пушкин писал П. В. Нащокину: «Ты видел, вероятно, „Пугачева“, и надеюсь, что его не купил. Я храню для тебя особый экземпляр. Каково время? Пугачев сделался добрым исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев, оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за паузой, а все идет на расплату» (XVI, 6). Но уже в феврале поэт записал в дневнике: «В публике очень бранят моего „Пугачева“, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (XII, 337). В целом, может быть, «История» продавалась не так уж плохо, но тираж ее был слишком велик. Ожидаемого коммерческого успеха она Пушкину не принесла.

Статья в «Сыне отечества и Северном архиве» явилась первым критическим откликом на «Историю Пугачевского бунта». Ее автор — Владимир Богданович Броневский (1782, по др. сведениям 1784 или 1786–1835), публицист, переводчик, член Вольного Общества любителей российской словесности, Российской Академии и Общества истории и древностей российских. Окончив в 1802 г. Морской кадетский корпус, он в 1805–1816 гг. служил на Черноморском флоте, в 1805–1810 гг. участвовал в военных кампаниях на Средиземном и Адриатическом морях под командованием адмирала Д. Н. Сенявина, посетил Англию, Португалию, Италию и другие страны. После выхода в отставку по болезни в чине капитан-лейтенанта был инспектором тульского Александровского дворянского военного училища (с 1819 г.), помощником директора Пажеского корпуса в Петербурге (с 1828 г. до полной отставки в 1832 г. в чине генерал-майора). Автор путевых очерков «Записки морского офицера» (СПб., 1818–1819. Т. 1–4), «Письма морского офицера» (М., 1825–1826. Т. 1–2), «Путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга в 1810 г.» (М., 1828. Т. 1–2) и «Обозрения Южного берега Тавриды в 1815 г.» (Тула, 1822), содержащего сведения об этнографии, истории и достопримечательностях Крыма. Благодаря точным наблюдениям, множеству исторических и этнографических сведений очерки Броневского были благожелательно встречены критикой. Напротив, изданная позднее «История Донского войска» (СПб., 1834. Ч. 1–4), включающая очерк «Описание Донской земли» и «Поездку на Кавказ», воспоминания Броневского о Новочеркасске и Пятигорске, получила отрицательные отзывы рецензентов (см. внешне выдержанную в хвалебном тоне, но по сути глубоко ироничную рецензию О. И. Сенковского, в которой указываются многочисленные ошибки и промахи автора, совершенно не владеющего приемами исторической критики: БдЧ. 1834. Т. 7, № 11. Отд. V. С. 1–32; см. также отклики на опубликованные ранее в «Сыне отечества» и «Северной пчеле» отдельные главы: СО и СА. 1833. Ч. 40, № 47–48. С. 91–92; № 49–50. С. 162–180; здесь же (№ 49–50. С. 181–193; № 51–52, С. 281–292) антикритика Броневского).

Рецензия Броневского, надо полагать, хорошо отразила мнение достаточно широкого слоя читателей, ожидавших от нового пушкинского сочинения «что-нибудь вроде наших историй о Робингуде» (из письма К. А. Полевого С. А. Соболевскому от 19 ноября 1834 г. — ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 750). Немногие умели по достоинству оценить лаконичную и строгую повествовательную манеру Пушкина-историка. Эту сдержанность авторского тона в «Истории Пугачевского бунта» позднее характеризовал П. А. Вяземский в статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847, переработана в 1874): «При чтении убеждаешься, что события стройно и ясно вкладывались в понятие его и так же стройно и ясно передаются читателю. Рассказ везде живой, но обдуманый и спокойный, может быть слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенную на себя трезвостью он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе, так чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою» (*Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 213*). М. П. Погодин в написанной для нового журнала «Московский наблюдатель», но по каким-то причинам оставшейся не опубликованной заметке «Несколько слов об „Истории Пугачевского бунта“ А. С. Пушкина» особо подчеркивал литературное достоинство пушкинского труда: «В литературном отношении — это самое важное явление в русской словесности последнего времени и большой шаг вперед в историческом искусстве. Простота слога,

безыскусственность, верность и какая-то легкость выражений — вот чем отличается особенно первый опыт Пушкина на новом его поприще. <...> Многие читатели, привыкшие к риторике, обманываются наружностью „Истории Пугачевского бунта“ и не отдадут ей справедливости за мнимую простоту и легкость. О, если б они знали, как еще трудно и мудрено писать по-русски легко и просто, то они стали бы говорить иначе и воздали бы хвалу автору, который овладел языком до такой степени, что может говорить им, как хочет. Но Пушкин в последнее время должен был привыкнуть к несправедливостям и кривым толкованиям» (РА. 1865. № 1. Стб. 104). В своем дневнике Погодин в январе 1835 г. записал о новом пушкинском сочинении: «Занимательная повесть. Простота образцовая; а между тем ругают Пушкина за Пугачева» (цит. по: Барсуков. Т. 4. С. 272).

«По выходе в свет его „Истории Пугачевского бунта“, — вспоминал Н. В. Пугачев, — появилась пошлая на нее критика в „Сыне отечества“. Только что прочитав эту критику, я пошел на Невский проспект, встретил Пушкина и шутя приветствовал его следующей отсюда фразой: „Александр Сергеевич! Зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов Пугачевщины?“ Пушкин рассмеялся и сказал: „Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!“» (П. в восп. (1985). Т. 2. С. 6). И. И. Дмитриев писал Пушкину 10 апреля 1835 г. из Москвы: «Сочинение ваше подвергалось и здесь разным толкам, довольно смешным, но никогда дельным: одни дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению. — Нужды нет, что осталась бы прореха в <русской> истории; другие, и, к сожалению, большая часть лживых романтиков, желали бы, чтоб „История“ ваша и в расположении, и в слоге изуродована была всеми приласами смирднской школы и чтобы была гораздо погрузнее. — Но полно, ныне настает время не желчи, а ликования» (XVI, 18). «Милостивый государь Иван Иванович, — отвечал Пушкин 26 апреля, — приношу искреннюю мою благодарность вашему высокопревосходительству за ласковое слово и за утешительное ободрение моему историческому отрывку. Его побранивают, и поделим: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» (XVI, 21).

Авторство Броневского, по-видимому, не было для Пушкина тайной. Он знал, кого имеет в виду, когда писал Д. Н. Бантыш-Каменскому 26 января 1835 г., посылая экземпляр «Истории»: «Мнение Ваше о ней, во всяком случае, мне драгоценно: похвала от настоящего историка, а не поверхностного рассказчика или переписчика будет лестна для меня; а из укоризны научуся (чего, знаете Вы сами, не дождуся от записных наших критиков)» (XVI, 8). Сначала Пушкин вряд ли собирался отвечать на критику «Сына отечества», тем более что вскоре, 7 апреля, сам Броневский умер. Изменить решение спустя почти полтора года его заставил появившийся в разгар полемики вокруг «Современника», уничижительный отзыв об «Истории» Булгарина, в котором говорилось, что «История Пугачевского бунта» «поколебалась в своем основании от одного замечания покойного Броневского в „Сыне отечества“» (СПЧ. 1836. № 129, 9 июня; наст. изд., с. 156). В третьем томе «Современника» (с. 109–134) Пушкин поместил подробную историческую статью «Об „Истории Пугачевского бунта“». (Разбор статьи, напечатанной в „Сыне отечества“, в январе 1835 года)», в которой со всей ясностью доказал дилетантизм и недобросовестность своего рецензента (см.: наст. изд., с. 168–179).

¹ «Дело о Пугачеве, донныне нераспечатанное, — писал Пушкин в предисловии к своей «Истории», — находилось в Государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь император по своему воцествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило». «Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно, несовершенный, но добросовестный», — добавлял он далее

([Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч. 1. Без паг.; IX, 1). Приступая к своему труду, Пушкин в начале февраля 1833 г. (видимо, 6-го, на балу у австрийского посланника графа Фикельмона) обратился с просьбой к военному министру графу А. И. Чернышеву о предоставлении ему архивных материалов из секретной экспедиции Инспекторского департамента. Умалчивая о своем замысле, он говорил о просмотре документов, связанных с деятельностью Суворова, в частности его участием в подавлении пугачевского бунта (см.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1833 г.: Хроника. М., 1994. С. 78, 80, 575). 8 февраля 1833 г. Чернышев официальным письмом запросил Пушкина, какие именно сведения из Военного министерства ему хотелось бы получить. В числе указанных Пушкиным в ответном письме от 9 февраля документов на первом месте значилось «следственное дело о Пугачеве» (см.: XV, 46–47). 25 февраля Пушкину были посланы три переплетенных тома архивных документов, два из которых содержали бумаги, относящиеся к пугачевскому восстанию. Однако следственного дела, как значилось в прилагаемом письме, в архиве Инспекторского департамента, не оказалось. Не было его и среди пугачевских документов, полученных Пушкиным 8 и 29 марта из Московского отделения Инспекторского архива. «Следственное дело о Пугачеве» было выявлено в составе фондов Тайной экспедиции Сената В. А. Поленовым, членом «Временной комиссии, высочайше утвержденной для разбора дел архивов Государственного Санкт-Петербургского старых дел и Сенатского», о чем им было 18 июля 1832 г. доложено в Комиссии. Об этом Пушкин узнал уже во время работы над «Историей» (возможно, от М. Л. Яковлева, также члена Комиссии). См.: *Овчинников Р. В.* Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»). Л., 1969. С. 153–154. Характерна в этой связи ошибка в рукописях предисловия: не зная, в каком именно архиве Комиссией выявлено дело, Пушкин пишет, что дело хранилось «в Сенатском архиве», «в подвалах Сената» (IX, 398, 400, 411). Пугачевское дело хранилось в Санкт-Петербургском архиве старых дел, и необходимое уточнение было внесено Пушкиным в рукопись при подготовке ее к печати. Окончательное исправление Архива старых дел на Государственный архив, на хранение в который назначалось найденное дело о Пугачеве, сделано в ходе печатания «Истории» по указанию того же Яковлева (см.: IX, 437; *Петрунина Н. Н.* Вокруг «Истории Пугачева». С. 244). «Следственное дело о Пугачеве», вопреки указанию Пушкина, не было «запечатано» и хранилось на общих основаниях, но доступа к этим бумагам во время работы над «Историей» Пушкин получить не мог (хотя бы и потому, что эта просьба никак не могла быть мотивирована работой над историей Суворова). Уже по выходе «Истории», 26 января 1835 г., Пушкин писал Бенкендорфу, передавая через него императору «Замечания о бунте»: «При сем осмеливаюсь просить Ваше сиятельство о испрошении важной для меня милости: о высочайшем дозволении прочесть Пугачевское дело, находящееся в архиве. В свободное время я мог бы из оного составить краткую выписку, если не для печати, то, по крайней мере, для полноты моего труда, без того не совершенного, и для успокоения исторической моей совести» (XVI, 8). Николай разрешил Пушкину ознакомиться с делом, о чем стало известно в пушкинском окружении. В «Письме из Петербурга», напечатанном во второй мартовской книжке «Московского наблюдателя» за 1835 г. с датой под текстом: «марта 11 дня», Погодин сообщал среди других литературных и ученых новостей: «Пушкин погружен в источники Истории Петра Великого. Из распечатанного пакета о деле Пугачева выйдет третий том» (с. 444). Однако пугачевского следственного дела Пушкин так и не получил. Началась долгая переписка между разными ведомствами. В результате неточных архивных справок Пушкину были выданы 8 запечатанных пакетов с пугачевскими бумагами, поступившие в Санкт-Петербургский архив старых дел из Москвы в 1826 г. и не содержавшие ни следственных, ни судебных документов. Следственное же дело Пугачева было в октябре 1835 г. вместе с другими важными государственными бумагами передано во вновь образованный Государственный архив (см. подробнее: *Овчинников Р. В.* Пушкин в работе над архивными документами. С. 157–163; *Письма посл. лет.* С. 272–273). Видимо, для некоторых читателей историческое достоинство пушкинского труда снижалось из-за отсутствия в нем материалов следственного дела. См., например, в упомянутой выше неопубликованной заметке Погодина: «...для истории нет тайны, следовательно, эта история, не распечатавшая пакета о Пугачевском бунте, должна называться повестью или, лучше, военною реляциею, реляциею с места. В самом деле, она имеет гораздо больше достоинства ли-

тературного, чем исторического, хотя богата и последним» (РА. 1865. № 1. Стб. 103–104).

² В примечаниях к первой главе своего труда Пушкин цитирует исследование А. И. Лёвшина «Историческое и статистическое обозрение уральских казаков» (отд. изд.: СПб., 1823). Говоря о времени появления казаков на берегах Яика (Урала), Лёвшин сопоставляет показания двух сочинений П. И. Рычкова — «Истории Оренбургской по учреждениям Оренбургской губернии» (напечатана в журн.: Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1759. № 1–8) и «Топографии Оренбургской» (СПб., 1762. Ч. 1–2): «Рычков, в „Оренбургской истории“, пишет: *начало сего Яикского войска, по известиям от яикских старшин, произошло около 1584 года*. В „Топографии“ же, сочиненной после „Истории“, он говорит, что первое поселение казаков на Яике случилось в XIV столетии. — Сие последнее известие основано им на предании, полученном в 1748 году от яикского войскового атамана, Ильи Меркульева, которого отец, Григорий, был также войсковым атаманом, жил сто лет, умер в 1741 году и слышал в молодости от столетней же бабки своей, что она, будучи лет двадцати от роду, знала очень старую татарку, по имени *Гугниху*, рассказывавшую ей следующее: „Во время Тамерлана один донской казак, по имени *Василий Гугна*, с 30 человеками товарищей из казаков же и одним татаринном, удалился с Дона для грабежей на Восток, сделал лодки, пустился на оных в Каспийское море, дошел до устья Урала и, найдя окрестности оною необитаемыми, поселился в них. По прошествии нескольких лет шайка сия напала на скрывшихся близ ее жилища в лесах трех братьев татар, из которых младший был женат на ней, Гугнихе (повествовательнице), и которые отделились от Золотой Орды, также рассеявшейся потому, что Тамерлан, возвращаясь из России, намеревался напасть на онаю. Трех братьев сих казаки побили, а ее, Гугниху, взяли в плен и подарили своему атаману“». Далее Лёвшин доказывает, что изложенное в «Топографии» предание «хронологически невозможно и противно многим несомненным историческим известиям» (в частности, Гугниха, родившаяся, по выкладкам, сделанным на основании рассказа Рычкова, в конце XV столетия, не могла быть современницей бывшему столетию ранее приходу в Россию Тамерлана и т. д.). «Показав несправедливость повести, помещенной Рычковым в „Оренбургской топографии“, — заключает Лёвшин, — примем первые его об Уральском казачьем войске известия, напечатанные в „Оренбургской истории“...» ([Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 5–8, 2-я паг.; IX, 86–88; см. также: Лёвшин А. И. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. С. 3–8; Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. 2. С. 61–68).

³ Ср. в тексте «Истории Пугачевского бунта»: «Сперва дело шло о победе в Турцию: мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел привести ее в действо и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их донские живут в турецких областях...» ([Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 16, 1-я паг.; IX, 14).

⁴ Броневский ссылается на собственное сочинение «История Донского войска» и шеститомный труд Б. Бергмана (Bergmann) «Peter der Grosse als Mensch und Regent dargestellt», изданный в Кенигсберге, Риге и Митаве в 1823–1830 гг. Речь идет о восстании, начавшемся на Дону 1707–1708 гг. под предводительством походного атамана Кондратия Булавина. После поражения восстания и гибели Булавина его соратник Игнатий Некрасов с частью казаков в начале 1709 г. ушел на Кубань под покровительство турецкого султана. Говоря о дальнейшей судьбе некрасовцев, Броневский пишет, что они покинули Кубань после присоединения Крыма к России (1783), сначала обосновались в азиатской Турции близ Синопа и только в 1787 г. переселились на берега Дуная (см.: Броневский В. Б. История Донского войска. Ч. 1. С. 269).

⁵ У Пушкина: Семен Сулин.

⁶ Здесь Броневский кратко резюмирует изложенное Пушкиным на с. 74–75 «Истории Пугачевского бунта» (см. также: IX, 40–41).

⁷ В журнальном тексте ошибочно указана часть I. Сам Броневский относил смелую атаман донских казаков к более раннему времени, не в связи с пугачевским возмущением: «В 1772 году войсковой атаман Степан Ефремов, за недостатком отчетов об израсходованных суммах и за сношение, как думают, с Крымским ханом, по повелению императрицы, как ослушник, был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, что в Санкт-Петербурге. Эскадрон драгун, высланный из Ростова,

взял атамана в загородном его доме близ Черкаска, и, пока он находился в сей крепости под караулом, несколько казаков покушались освободить его, но были все переловлены и, просидев в тюрьме два года, всемиловитейше прощены. Вместо Ефремова пожалован из старшин в наказные атаманы Алексей Иванович Илловыйский, с чином полковника. Сей первый чиновный атаман впоследствии был генерал-маиором и тайным советником, что было уже великою новостью на Дону» (*Броневский В. Б. История Донского войска. Ч. 2. С. 88–89*). На с. 124 второй части «Истории Донского войска» Броневский пишет: «1774 года 23-го октября государыня, по прошению Войска Донского, позволила Зимовейскую станицу, где родился Емелька, перенести на другое место, дав ей название *Потемкинской*».

⁸ Показания жены Пугачева и Трофима Фомина, бывшего в 1771 г. атаманом Зимовейской станицы, приведены Пушкиным в примечаниях к четвертой главе «Истории» (см.: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 42–46, 2-я паг.; IX, 107–109). Они касаются периода с 1770 г. до начала 1772 г. — от службы Пугачева во 2-й армии и его возвращения по болезни домой до взятия под стражу (по подозрению в воровстве и бегстве за Кубань) и отправке в Черкасск. Показания Пугачева, данные им 18 декабря 1772 г. после ареста в селе Малыковке, приведены в примечаниях к главе второй (см.: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 28, 2-я паг.; IX, 99). Они касаются периода после бегства его из-под стражи на пути в Черкасск до появления на Яике и ареста в Малыковке за возмутительные разговоры. Эти показания не противоречат показаниям жены и донского станичного атамана, но дополняют их. В показаниях жены Пугачева, как они напечатаны Пушкиным, есть единственная несообразность: указаны неверные годы (1772 вместо 1771 и 1773 вместо 1772). То, что это случайная ошибка, ясно из самого хода изложенных происшествий. Критика Броневского в данном случае совершенно недобросовестна, на что и указал Пушкин в своем ответе (см.: Собр. 1836. Т. 3. С. 117–118; наст. изд., с. 171–172).

⁹ Здесь Броневский опять неверно передает текст Пушкина, на что Пушкин указал в своем ответе (см.: Собр. 1836. Т. 3. С. 120–121; наст. изд., с. 173).

¹⁰ На с. 97 «Истории» сказано, что Ульянов и Чика были схвачены в Табинске. В примечании к этому месту (с. 51–52, 2-я паг.) опечатка: «Тобольск» вместо «Табинск» (см. также ниже, примеч. 14).

¹¹ Опечатка в тексте «Истории» («четыре фунта» вместо «четверти фунта»), на что и указал Пушкин в своем ответе (см.: Собр. 1836. Т. 3. С. 122–123; наст. изд., с. 174).

¹² Пушкин ссылался здесь на мемуарную статью «Оборона крепости Яика от партии мятежников» (ОЗ. 1824. Ч. 19, № 52. С. 151–174; № 53. С. 319–347). Автором этой статьи, напечатанной анонимно, был А. П. Крылов, отец баснописца И. А. Крылова, во время пугачевского бунта — капитан Оренбургского драгунского полка, руководивший вместе с И. Д. Симоновым обороной Яицкого городка. Журнал коменданта Яицкого городка подполковника И. Д. Симонова (Журнал Яицкой комендантской канцелярии) был в числе документов, полученных Пушкиным 29 марта 1833 г. из Московского отделения Инспекторского департамента Военного министерства (находился в четвертой книге Секретной экспедиции Военной коллегии). Пушкин сделал выписку из архивного дела (см.: IX, 501–504) и многократно использовал текст документа в четвертой и пятой главах «Истории» (см.: Овчинников Р. В. Пушкин в работе над архивными документами. С. 35–36, 228–229).

¹³ В Приложениях к «Истории» во второй части своего труда (с. 74–316) Пушкин полностью напечатал рукописное сочинение П. И. Рычкова, посвященное одному из важнейших эпизодов пугачевского бунта — шестимесячной осаде Оренбурга отрядами Пугачева (у Пушкина под заглавием: «Осада Оренбурга. (Летопись Рычкова)»). В распоряжении Пушкина было три списка так называемой «летописи» Рычкова: первый был получен им, вероятно, еще летом 1833 г. от Г. И. Спасского; второй — осенью 1833 г. во время поездки по пугачевским местам от братьев Языковых; третий — весной 1834 г. от И. И. Лажечникова (см. письма Пушкина Спасскому от июня — первой половины июля 1833 г. и Лажечникова Пушкину от 30 марта 1834 г. — XV, 68, 122; Овчинников Р. В. Пушкин в работе над архивными документами. С. 20, 68). Там же, в Приложениях (с. 324–336), напечатано «Краткое известие о злодейских на Казань действиях вора, изменника и бунтовщика Емельки Пугачева, собранное Платоном Любарским, архимандритом Спасо-Казанским, 1774 года авгу-

ста 24<-го> дня». «Известие» Любарского было известно Пушкину по книге Д. Н. Зиновьева «Михельсон в бывшее в Казани возмущение» (М., 1807).

¹⁴ Здесь в тексте «Истории» случайная ошибка: «в пятнадцати верстах» вместо: «в пятидесяти верстах». Отсылка 26 января 1835 г. экземпляр «Истории Пугачевского бунта» Д. Н. Бантыш-Каменскому, Пушкин писал: «Прошу Вас взять на себя труд исправить две ошибки, справедливо замеченные в „Сыне отечества“: на стран<ице> 129 был уже в 15 верстах, должно читать в 50. — И в примечании к пятой главе (16) вместо *Тобольск, Табинск*» (XVI, 8).

¹⁵ Критическое замечание, основанное на непонимании пушкинского текста (см. ответ Пушкина — Совр. 1836. Т. 3. С. 124–125; наст. изд., с. 175).

¹⁶ В критике первой половины 1830-х гг. имя А. А. Орлова становится нарицательным для представителей «низовой» литературы, таких как Ф. С. Кузмичев, Д. И. Сигов, Н. И. Фомин, А. Чуровский и др. «Право, глядя на бесконечные творения Орлова, Сигова и Кузьмичева с братиею, подумаешь, что в Москве устроено особенное заведение для фабрикации оригинальных *романчиков*, учреждена правильная мануфактура, снабженная надлежащим количеством станков...», — писала «Северная пчела» (1834. № 259, 14 ноября). В 1834 г. вышли романы Н. И. Фомина «Достопамятный брак царя Иоанна Васильевича Грозного...» и «Стенька Разин»; «Черный Кощей, или Заднепровский хутор у Лунной горы. Русский роман из времен Петра Великого», «Ведьма, или Страшные ночи за Днепром. Русский роман, взятый из народного предания» А. Чуровского, а также два романа на историческую тему П. П. Зубова — «Прекрасная грузинка...» и «Карабахский астролог...», которые рецензент «Северной пчелы» отнес, с некоторыми оговорками, к тому же роду литературы (см.: СПч. 1834. № 85, 12 апреля).

¹⁷ Автор допустил неточность, датируя выход в свет всех перечисленных изданий последними тремя месяцами. «Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения области Армянской в Российской империи» С. Н. Глинки опубликовано в Москве в 1832–1833 гг. (Ч. 1–2), «Сказания князя Курбского», изданные Н. Г. Устряловым, — в 1833 г. (СПб. Ч. 1–2). В 1834 г. в Петербурге вышли «Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего времени» о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина) (рец.: СПч. 1834. № 254, 8 ноября); «Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте» Н. А. Нефедьева (ранее печатались в № 5, 6, 8 «Журнала Министерства народного просвещения»; рец. на отд. изд.: СПч. 1834. № 217, 26 сентября); «Записки о походе 1813 года» А. И. Михайловского-Данилевского (рец.: СПч. 1834. № 278, 6 декабря); «Картина последней войны России с Персиею 1826–1828. С присоединением исторически-статистического обзора завоеванных городов и воспоминаний о Эривани» П. П. Зубова (рец.: СПч. 1834. № 286, 15 декабря). Под «Историей донской» Броневский, вероятно, имеет в виду свой очерк «Описание Донской земли», составивший 3-ю часть «Истории Донского войска» (см. выше).

Н. В. ГОГОЛЬ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. С. 213–225 (выход в свет около 22 января 1835 г. — см. письма к М. П. Погодину и М. А. Максимовичу от 22 января, в которых Гоголь сообщает о посылке им «Арабесок», — Гоголь. Т. 10. С. 348–349; объявление о поступлении книги в продажу — СПб Вед. 1835. № 19, 23 января).

Сборник «Арабески» включал в себя созданные в разное время повести Гоголя и его статьи по вопросам истории, географии, искусства и литературы. Статья «Несколько слов о Пушкине» сопровождалась пометой: «1832», указывающей, по-видимому, лишь на вероятное время ее замысла. Первые выступая в печати в качестве публициста, Гоголь в ряде случаев сознательно заменил подлинные даты написания своих произведений на более ранние, позволяя отнести возможные недостатки книги

на счет юности и писательской неопытности автора. Под заглавием: «О Пушкине» статья упоминается в первоначальном плане «Арабесок», появившемся, вероятно, в период между 12 и 27 февраля 1834 г. (первое число отмечает начало работы Гоголя над статьей «О малороссийских песнях», второе — дату цензурного запрещения отрывка «Кровавый бандурист», не пропущенного к публикации в «Библиотеке для чтения» и потому перенесенного в «Арабески»; оба произведения упомянуты в плане). Название статьи здесь зачеркнуто: очевидно, она еще не была закончена даже вчерне и автор колебался, включать ли ее в сборник. Как свидетельствует автограф, работа над статьей продолжалась в период с февраля по сентябрь 1834 г. Под прежним названием она вошла во второй план «Арабесок», датируемый концом августа — сентябрем того же года (после написания статьи «Последний день Помпеи» и до завершения работы над «Записками сумасшедшего»). Окончательное редактирование сборника и подготовка его к представлению в цензуру были закончены лишь к концу октября. В процессе работы Гоголь изменил название статьи и внес в нее ряд исправлений, среди прочего исключив (возможно, по цензурным соображениям) большой фрагмент, посвященный раннему периоду пушкинского творчества: «Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальные поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкновенно бывает, с прибавлениями и вариантами... И если сказать истину, то его стихи воспитали и образovali истинно благородные чувства, несмотря на то что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеиваютвольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражений и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства» (см.: Гоголь. Т. 8. С. 746–548, 756–757, коммент. Г. М. Фридендера; приведенная цитата на с. 757).

Статья представляет собой первую опубликованную критическую работу Гоголя о Пушкине. С его творчеством Гоголь познакомился еще в ранней юности, во время учебы в Нежинской гимназии. Приехав в Петербург в конце 1828 г., он предпринял неудачную попытку представиться поэту. Их встреча состоялась, однако, лишь 20 мая 1831 г. в доме П. А. Плетнева, который, прочтя гоголевские произведения, опубликованные к тому времени в «Литературной газете» (статьи «Мысли о преподавании детям географии» и «Женщина» и главу из неоконченной повести «Страшный кабан»), писал Пушкину о своем намерении «подвести» неизвестного молодого автора под его «благословение» (см. письмо Плетнева от 22 февраля и ответ Пушкина около (не позднее) 14 апреля 1831 г. — XIV, 153, 162). Летом того же года Гоголь виделся с Пушкиным и Жуковским в Царском Селе (см. письмо Гоголя А. С. Данилевскому от 2 ноября 1831 г. — Гоголь. Т. 10. С. 214). В это время поэт, вероятно, прочел ранние опыты Гоголя, рекомендованные ему Плетневым, и, по-видимому, познакомился с еще не опубликованными повестями первой книжки «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (см. письмо Гоголя Пушкину от 21 августа 1831 г. — XIV, 211; Гоголь. Т. 10. С. 203). О ней Пушкин с одобрением отозвался как об «истинно веселой книге», «искренней, непринужденной, без жеманства, без чопорности» («<Письмо к издателю „Литературных прибавлений к Русскому инвалиду“>» (1831) — XI, 216). Гоголь живо интересовался произведениями поэта: в его письмах, относящихся к концу лета — осени 1831 г., упоминаются «Сказка о поле и работнике его Балде» и «Сказка о царе Салтане», «Домик в Коломне», статья Феофилакта Косичкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (см. письма Гоголя Пушкину от 21 августа 1831 г. — XIV, 211–212; Гоголь. Т. 10. С. 203–205; В. А. Жуковскому от 10 сентября 1831 г. — Гоголь. Т. 10. С. 207; А. С. Данилевскому от 2 ноября 1831 г. — Там же. С. 214). Этот взаимный творческий интерес не ослабевал и в дальнейшем. В письме М. П. Погодину от 8 мая 1833 г. Гоголь упоминал об окончании Пушкиным работы над черновой рукописью «Истории Пугачева» («Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман!» — Гоголь. Т. 10. С. 269), после 20 декабря извещал М. А. Максимовича о завершении поэтом «Анджело» и «Медного всадника» («Он написал, путешествуя, две большие пьесы, но отрывков из них не хочет давать...» — Там же. С. 288). В свою очередь, Пушкин летом 1833 г., перед отъездом из Петербурга, слушал в чтении Гоголя начало пьесы «Владимир III степени» (см. письмо Пушкина В. Ф. Одоевскому от 30 ок-

тября 1833 г. — XV, 90; также: Петрунина, Фридлендер. С. 204), 2 декабря 1833 г. — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», о которой поэт в дневнике записал: «очень оригинально и очень смешно» (XII, 316), а 3 мая 1834 г. — комедию «Женихи» (первоначальное название «Женитьбы») (Там же. С. 328; Гоголь. Т. 5. С. 449, коммент. А. Л. Слонимского). Осенью 1833 г. Гоголь совместно с В. Ф. Одоевским обдумывал возможность непосредственного литературного сотрудничества с Пушкиным в проекте «Тройчатка, или Альманах в три этажа», для которого Одоевский намеревался создать повесть на тему «гостиной», — Гоголь собирался описывать «чердак», а Пушкину предлагался «погреб». Замысел не встретил сочувствия Пушкина и остался нереализованным (см. письмо В. Ф. Одоевского Пушкину от 28 сентября и ответ поэта от 30 октября 1833 г. — XV, 84, 90). С конца декабря 1833 г. до мая 1834 г. Пушкин принимал активное участие в хлопотах Гоголя о назначении его профессором вновь открытого Киевского университета, приняв на себя роль посредника между Гоголем и Уваровым (см. их переписку за указанный период — XV, 100–101, 123, 146–147; Гоголь. Т. 10. С. 290–291, 316–317). В октябре 1834 г. Пушкин и Жуковский по приглашению Гоголя присутствовали на его лекции по курсу истории Средних веков в Петербургском университете (см.: Летопись 1999. Т. 4. С. 245).

Тесной личной дружбы между Пушкиным и Гоголем при этом не было. Их связывали профессиональные отношения «писателей, разных по возрасту, по положению в обществе и литературе, но объединенных общим пониманием задач и потребностей искусства» (Петрунина, Фридлендер. С. 203). Гоголь относился к Пушкину с восхищением, связывал с замыслами поэта начало нового этапа развития русской литературы и, в определенном отношении, видел себя самого участником этого процесса. «Мне кажется, — писал он еще в 1831 г., — что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои» (письмо В. А. Жуковскому от 10 сентября 1831 г. — Гоголь. Т. 10. С. 207). Пушкин, в свою очередь, выступал в роли литературного покровителя молодого автора, талант которого он, несомненно, признавал и к творчеству которого испытывал неизменный интерес.

Во время работы Гоголя над «Арабесками» поэт по просьбе автора перечитывал беловую рукопись «Невского проспекта» на предмет соответствия ее требованиям цензуры (см. письмо Пушкина Гоголю от второй половины октября 1834 г. — XV, 198). Как свидетельствует гоголевская записка от 10 ноября 1834 г., Пушкин также был знаком с названием (а возможно, и содержанием) «Записок сумасшедшего» до выхода повести в свет (см.: XV, 200; Гоголь. Т. 10. С. 346). В том же письме Гоголь просил поэта просмотреть и при необходимости отредактировать предисловие к «Арабескам». Рукопись не сохранилась, и работал ли поэт с ней, неизвестно, однако, по замечанию Н. Н. Петруниной и Г. М. Фридлендера, «характерно гоголевский стиль» печатного варианта предисловия «делает вмешательство Пушкина маловероятным» (Петрунина, Фридлендер. С. 207). Предположение, что Пушкин был знаком и с посвященной ему статьей «Арабесок» до ее публикации (см.: *Благой Д. Д. Гоголь-критик // История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 310; поддержано: Дрыжакова Е. Н. Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора» // РЛ. 2001. № 1. С. 191; возражения см.: Петрунина, Фридлендер. С. 207), не имеет фактических оснований. Сразу по выходе «Арабесок» Гоголь отправил Пушкину два экземпляра сборника. «Один экземпляр для вас, — писал он Пушкину в сопроводительном письме, — а другой, разрезанный, для меня. Вычитайте мой и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодования при виде ошибок, но тот же час их все налицо» (XVI, 7; Гоголь. Т. 10. С. 347–348). Посланный Пушкину экземпляр «Арабесок» сохранился в составе его библиотеки (книга разрезана, без помет; см.: Библиотека П. № 97).*

Мнение поэта о статье осталось неизвестным. Между тем повести «Арабесок» — так же как и изданное вскоре «Миргорода» (1835) — заслужили его благожелательный отзыв. В рецензии на второе издание «Вечер на хуторе близ Диканьки» Пушкин характеризовал «Невский проспект» как «самое полное» из произведений автора (Совр. 1836. Т. 1. С. 312; XII, 27), вероятно подразумевая под этим умение Гоголя

представить «современную русскую жизнь <...> в единстве ее разнообразных аспектов — эстетического, нравственно-психологического и социального» (Петрунина, Фридлендер. С. 208). Там же поэт упоминал о впечатлении, которое произвели на него «Старосветские помещики» — «шутливая и трогательная идиллия, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления», и о «Тарасе Бульбе», «коего начало достойно Вальтер-Скотта» (Совр. 1836. Т. 1. С. 312; XII, 27). По свидетельству П. В. Нащокина, именно Пушкин побудил Гоголя ввести в повесть описание украинской степи (см.: П. в восп. Т. 2. С. 194). В конце августа или первых числах сентября 1835 г. Гоголь передал Пушкину рукопись первой редакции комедии «Женитьба» с просьбой прочесть и сделать свои замечания (см. письмо Гоголя Пушкину от 7 октября 1835 г. — XVI, 54; Гоголь. Т. 10. С. 374–375) и получил от Пушкина приглашение участвовать в задуманном поэтом альманахе, для которого впоследствии предложил повесть «Коляска», заслужившую сочувственный отклик Пушкина (см. в письме Пушкина П. А. Плетневу около (не позднее) 11 октября 1835 г.: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его „Коляску“, в ней альманах далеко может уехать...» — XVI, 56). Во время той же встречи Пушкин, по-видимому, посоветовал Гоголю «приняться за большое сочинение» и передал ему сюжет «Мертвых душ», о чем тот рассказывал впоследствии в «Авторской исповеди» (1847). «Пушкин находил, — писал Гоголь, — что сюжет „Мертвых душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров» (Гоголь. Т. 8. С. 440). Ср. упоминание о «Мертвых душах» в письме М. П. Погодину после смерти Пушкина, от 18 (30) марта, из Рима: «И теперешний мой труд есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею вышшею и первою наградою» (Там же. Т. 11. С. 91). Пушкину принадлежал и сюжет «Ревизора», предположительно подсказанный им Гоголю в ответ на его письмо от 7 октября 1835 г., где автор, сообщая адресату о начале работы над «Мертвыми душами», просил дать ему для комедии «хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот» (XVI, 54; Гоголь. Т. 10. С. 375; см. также в «Авторской исповеди» Гоголя — Там же. Т. 8. С. 440). 18 января 1836 г. поэт слушал комедию в чтении Гоголя на субботу у В. А. Жуковского (Летопись 1999. Т. 4. С. 381); возможно, что он был знаком и с первыми главами «Мертвых душ» в их предварительном варианте (см.: Петрунина, Фридлендер. С. 210). В 1836 г. Гоголь активно сотрудничал в первом томе «Современника», опубликовав здесь повесть «Коляска» (1835), драматический отрывок «Утро делового человека» (1835–1836), рецензии (и, возможно, заключительную заметку) в библиографическом разделе «Новые книги», а также статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (наст. изд. с. 123–137), воспринятую современниками как программа пушкинского журнала. В третьем томе издания, уже после отъезда Гоголя за границу в июне 1836 г., появилась повесть «Нос». Покинув Россию, Гоголь не терял связей с «Современником», продолжая работать над материалами для журнала. Гибель Пушкина, весть о которой застала писателя в Париже, стала для него серьезным личным потрясением и осознавалась им как невосполнимая национальная утрата.

Сводку основного материала о встречах и переписке Пушкина и Гоголя в период с 1831 по 1836 г. см.: *Долинин А. С. Пушкин и Гоголь: (К вопросу об их личных отношениях) // Пушкинист: Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг. 1923. Т. 4. С. 181–197; Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Уч. зап. Пермского гос. ун-та. Пермь, 1930. Вып. 2. С. 61–77, 89–102; Петрунина, Фридлендер. С. 197–233; Мостовская Н. Н. «Пасичник Рудый Панько» // Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987. С. 347–359. Об участии Гоголя в «Современнике» и его статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах см. наст. изд., с. 437–443.*

До начала работы над «Арабесками» Гоголь дважды обращался к творчеству Пушкина в своих критических опытах. К концу декабря 1830 — январю 1831 г. относится рецензия Гоголя «Борис Годунов: Поэма Пушкина», предназначавшаяся, вероятно, для «Литературной газеты» А. А. Дельвига, но при жизни автора не опублико-

ванная. Статья написана в форме диалога двух друзей, Элладия и Поллиодора, наблюдающих в книжной лавке за «жадной толпой покупателей», выносящих предвзятые и поверхностные суждения о «Годунове». Авторский голос отдан Поллиодору, восторженному поклоннику пушкинского дара. В его устах Пушкин предстает «дивным поэтом», а «Борис Годунов» — «великим творением», воссоздающим перед взором читателя трагическую судьбу «царственного страдальца» (Гоголь. Т. 8. С. 152). Отзыв о Пушкине как о «всемирном гении» содержался и в другой, написанной в период с 1831 по 1833 г. и также не опубликованной при жизни автора заметке Гоголя «О поэзии Козлова» (Там же. Т. 8. С. 154). «Лицам и героям» Козлова, «не живущим собственно жизнью», являющим собой лишь «условные знаки», в которые «облечена» душа поэта, Гоголь противопоставил объективность и простоту пушкинской лирики, «обнимающей во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь». «Козлов, — писал он, — относится к Пушкину так, как часть к целому» (Там же. Т. 8. С. 154). Сходную мысль Гоголь высказывал в письме А. С. Данилевскому от 30 марта 1832 г.: «Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развевается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан» (Там же. Т. 10. С. 227).

Это безоговорочное признание величия Пушкина, отличающее и статью, вошедшую в «Арабески», разделялось к началу 1830-х гг. немногими из современников. Критика твердила о подражательности и упадке пушкинского таланта, неспособности поэта соответствовать «думам и чаяниям» своего поколения. Общее мнение во многом выразил В. Г. Белинский, сокрушавшийся в «Литературных мечтаниях» (1834): «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время» (Молва. 1834. Ч. 8, № 50. С. 398; наст. изд., с. 63), — а годом позже в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя: („Арабески“ и „Миргород“») отказавший Пушкину в способности возглавлять литературный процесс (см.: Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 601; Белинский. Т. 1. С. 306). В статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь пытался опровергнуть это представление, опираясь, в качестве основного аргумента, на мысль о народности пушкинского творчества.

В критике первой трети XIX в. понятие народности составляло одну из базовых эстетических категорий. Спектр его интерпретаций очертил Пушкин в заметке «<О народности в литературе>» (1826). «С некоторых пор, — писал он, — вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом „народность“. Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории. <...> Другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения». Сам поэт определял народность как «тьму обычаев, поверий и привычек», а также «образ мыслей и чувствований», присущие «исключительно какому-либо народу» (XI, 40). В свою очередь, Гоголь, обращаясь к этой категории, оперировал понятием «дух народа», развитым в немецкой романтической философии и эстетике и передающим представление о наличии у каждой нации специфического менталитета, глубинного творческого начала, репрезентирующего ее сущность. Предполагалось, что подлинно народное произведение обладает подспудной, интуитивной внятностью для соотечественников автора, узнающих в чужом творении собственные мысли и чувства. «Мало быть поэтом, чтобы быть народным, — писал по этому поводу И. В. Киреевский, — надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты, — словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выражая себя» (*Киреевский И. В.* Нечто о характере поэзии Пушкина // МВ. 1828. Ч. 8, № 6. С. 196; П. в критике, II. С. 82). Эти слова о Пушкине — авторе «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» — во многом превосхищают главную мысль гоголевской статьи, с существенным, однако, уточнением. Проследившая, как впоследствии и Гоголь, творческую эволюцию поэта, Киреевский трактовал ее как переход от

подражания «итальянско-французской школе» и «лире Байрона» к самобытности, достигаемой в полной мере лишь на последнем этапе. Гоголь же, не допуская мысли о возможной, пусть даже временной, подражательности пушкинского дара, утверждал, что поэт «при самом начале своем уже был национален» (о сходстве и различии позиций Гоголя и Киреевского см.: *Гудзий Н. К.* Гоголь — критик Пушкина. Киев, 1913. С. 16–17, 20; *Благой Д. Д.* Гоголь-критик. С. 306; *Сандомирская В. Б.* Прижизненная критика (1820–1837) // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 23; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 42–43). В романтических произведениях Пушкина он усматривал не отголосок байронических мотивов, но проявление сил, скрытых в русской душе и пробудившихся при соприкосновении с «исполиским» Кавказом и «вольной поэтической жизнью дерзких горцев». Жизненные перипетии поэта трактовались здесь, таким образом, как органическая составляющая его творческой судьбы. Последнее, по замечанию Ю. В. Манна, не было характерно для критики первой трети XIX в., как правило видевшей в биографии писателя лишь иллюстративный материал, привлекаемый для пояснения особенностей отдельных произведений (так, например, П. А. Вяземский объяснял «описательную» манеру «Кавказского пленника» желанием автора «передать читателю впечатления, действовавшие на него в путешествии» — *Вяземский П. А.* О «Кавказском пленнике», повести соч. Пушкина // СО. 1822. Ч. 82, № 49. С. 120; П. в критике, I. С. 126) (*Манн Ю. В.* Гоголь как интерпретатор Пушкина // *Arion: Jahrbuch der Deutschen Puschkin-Gesellschaft. Bonn, 1992. Bd. 2. S. 110*).

Статья осталась незамечена критикой. О ней вскользь было упомянуто в резко отрицательном отзыве «Библиотеки для чтения»: «Автор пишет обо всем в свете: он рядит об истории, географии, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре, Пушкине; описывает известные места, которых другие не описывают, и предлагает переписки собачек. Это значит, что автор все знает» (1834. Т. 9, № 3. Отд. VI. С. 10). Почти теми же словами говорил о «мыслях» и «рассуждениях» сборника (оценивая их, в отличие от вошедших в «Арабески» гоголевских повестей, негативно) критик «Северной пчелы»: «И чего тут нет? и повести, и мысли об истории и географии, и рассуждения о Средних веках, о Брюллове и Пушкине, об архитектуре и живописи, о скульптуре и музыке. Автор, по-видимому, обладает обширными сведениями: он толкует обо всем, решительно и смело, но, к сожалению, не всегда впопад. Часто он делает жестокие промахи против общих даже понятий о науках и искусствах, против логики и истины и почти всегда против языка и вкуса» (1835. № 73, 1 апреля; без подписи). Это замечание позднее было обыграно в рецензии П. И. Юркевича на «Миргород»: критик отнес к достоинствам книги отсутствие в ней рассуждений об архитектуре, живописи, истории и Пушкине (СПч. 1835. № 115, 25 мая; подпись: П. М-ский). Белинский в примечании к статье «О русской повести и повестях г. Гоголя: („Арабески“ и „Миргород“»)» резко критиковал «ученые статьи» «Арабесок», не останавливаясь специально ни на одной из них (см.: *Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 603; Белинский. Т. 1. С. 307*). Впоследствии, однако, он высоко оценил и неоднократно цитировал «Несколько слов о Пушкине», присоединяясь к гоголевской интерпретации пушкинского творчества (см. статьи В. Г. Белинского «Русская литература в 1841 году» (1841), «Александр Пушкин: Статья пятая» (1844) — Белинский. Т. 5. С. 557; Т. 7. С. 316, 333–336, 356–357; см. также: *Благой Д. Д.* Гоголь-критик. С. 310).

¹ Высказывалось предположение, что речь идет о стихотворении Пушкина «Делибаш» («Перестрелка за холмами...», 1829) и Гоголь ошибается, именуя делибаша (конного солдата турецкой армии) чеченцем (см.: А. С. Пушкин в русской критике: Сб. ст. М., 1953. С. 614, коммент. Г. Черёмина). Очевидно, что имеется в виду эпизод первой песни поэмы «Кавказский пленник» (ст. 278–308): «Иль ухватив рогатый пень, / В реку низверженный грозою...» и далее (IV, 100–101).

² «Лекарство от холеры» — стихотворение, упоминающееся в так называемой Второй черновой редакции «Ревизора», в сцене вранья Хлестакова (д. 3, явл. 6): «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка <...> — и потом уж как начнет писать, так перо только: тр...тр...тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что

просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли его в больницу» (Гоголь. Т. 4. С. 294; *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2003. Т. 4. С. 288). По предположению Е. Н. Дрыжаковой, именно этот эпизод вызвал негодование Е. Ф. Розена, присутствовавшего на чтении «Ревизора» у В. А. Жуковского 1 февраля 1836 г., где, по-видимому, и звучало третье действие: «...и вдруг в оба отверстия уха мои грянула из комедии такая шутка, что душа моя оцепенела, — шутка, по моему разумению, *неопрятная*, но, видно, *забавная* для других: многие расхохотались, иные зарукоплексали, и звучный голос одного очень образованного человека, в похвалу этой нечистой, по моему мнению, шутке, произнес во всеуслышание, с единственною энергиею: *C'est le haut comique!* <Это высшая степень комизма! — *франц.*>» (П. в восп. Т. 2. С. 283). Как считает исследовательница, «слушали в салоне Жуковского, услышав название стихов „Лекарство от холеры“, вполне могли представить их себе как непристойные», поскольку произведения эротического содержания часто писались именно в жанре «рецептов» (*Дрыжакова Е. Н.* Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора». С. 192; см. также: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 4. С. 815, коммент. Ю. В. Манна). На самом деле, по-видимому, речь идет о стихотворении «Рецепт от холеры», активно распространявшемся в списках, в том числе с именем Пушкина, начиная с 1830 г., на фоне холерной эпидемии. Это беспомощное, но, в отличие от упоминаемой далее «Первой ночи», вполне «пристойное» стихотворение предлагает читателю своеобразный рецепт эликсира человеческого счастья, составленного из мудрости, доброты и терпения.

«*Первая ночь*» (другое название: «Послание (письмо) к другу» («Любезный друг, ты знаешь, я...») — стихотворение непристойного содержания, приписывавшееся Пушкину и активно распространявшееся под его именем после женитбы поэта, со второй половины 1831 г. Под именем Пушкина впервые опубликовано Н. П. Огаревым в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861. С. 73–76; текст см. также: *Пушкин А. С.* Царь Никита и Первая ночь брака: Эротические поэмы; Десятая заповедь; Эпиграммы. [Женева], 1889. С. 72–76; *Васильев Н. Л.* «Первая ночь брака»: (Опыт историко-литературного комментария) // Вопросы онтологической поэтики: Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 1998. С. 221–224). С «Первой ночью» связан один из пушкинских черновых фрагментов, предназначавшихся для вставки в текст автобиографического «Отрывка» (1830), повествующего об участии стихотворца («Но главное неприятностию почитал мой приятель приписывание множества чужих сочинений, как то: <...> стихи на брак, достойные пера Ив<ана> Сем<еновича> Баркова, начитавшегося Ламартина. Беспристрастные наши журналисты, которые обыкновенно не умеют отличить стихов Нахимова от стихов Б<аркова>, укоряли его в безнравственности, отдавая полную справедливость их поэт<ическому> досто<инству> и остроте» — VIII, 961), и, возможно, запись в дневнике поэта от 10 мая 1834 г. («Несколько дней тому получил я от Ж<уковского> записочку из Ц<арского> С<ела>. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что г<осударь> об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то» — XII, 328). Подробную историю бытования стихотворения см.: *Васильев Н. Л.* «Первая ночь брака»: (Опыт историко-литературного комментария). С. 224–230; *Дубровский А. В.* «Мнимый Пушкин» (Прижизненные списки эротических стихотворений и экспромтов, приписывавшихся Пушкину) // Врем. ПК. СПб., 2005. Вып. 30. С. 304–305).

Е. Н. Дрыжакова также высказала предположение, что комментируемая ремарка появилась в гоголевской статье по просьбе Пушкина, желавшего опровергнуть слухи о принадлежности ему одного или обоих произведений (*Дрыжакова Е. Н.* Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора». С. 191; поддержано, без дополнительных обоснований: *Дубровский А. В.* «Мнимый Пушкин». С. 305). Эта версия не имеет фактических оснований и представляется маловероятной.

³ Полемика коннотация этого замечания отражает характер журнальных споров первой трети XIX в. о народности литературы. См., например, диалог Н. А. Полевого с Д. В. Веневитиновым, который в отзыве на первую главу «Евгения Онеги-

на» отказывал пушкинскому роману в народности. «Надобно думать, — писал Полевой, — что г. — въ полагает народность русскую в русских черевичах, лаптях и бородах, и тогда только назвал бы „Онегина“ народным, когда на сцене представился бы русский мужик, с русскими поговорками, побасенками и проч.! — Народность бывает не в одном низшем классе: печать ее видна на всех званиях и везде. <...> Ссылаюсь на описание петербургского театра, воспитание Онегина, поездку к Талону, похороны дяди, не исчисляя множества других черт народности» (*Полевой Н. А. Толки о «Евгении Онегине»*, соч. А. С. Пушкина // МТ. 1825. Ч. 4, № 15. Особенные прибавления. С. 10; П. в критике, I. С. 275). Примечательно, что определение народности в ответе Веневитинова в целом сходно с гоголевским: «Я понимаю народность не в черевичах, не в бородах и проч. (как остроумно думает г. Полевой), но и не в том, где ее ищет изд<атель> „Телеграфа“. Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного духом одного народа и живущего, так сказать, в развитии, успехах и отдельно-сти его характера. Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины тогда только истинно нам нравятся, когда они оправданы гордым участием поэта» (*Веневитинов Д. В. Ответ г. Полевому // СО. 1825. Ч. 103, № 19. Прибавление № 1. С. 38; П. в критике, I. С. 281*) (отмечено: *Гудзий Н. К. Гоголь — критик Пушкина. С. 18–19*).

⁴ По мнению Д. Д. Благого, упоминание о «диком горце» отсылает к поэме Пушкина «Кавказский пленник» (1820–1821), а под «заседателем» подразумевается Шабашкин из неоконченного пушкинского романа «Дубровский» (1832–1833) (*Благой Д. Д. Гоголь-критик. С. 308*). Знакомство Гоголя с последним произведением представляется маловероятным.

⁵ Апология эстетики «обыкновенного» соответствовала романтической концепции народности, согласно которой национальное начало художественного произведения полагалось не в самой описываемой реалии, но в характере ее изображения. Представления о «низком» и «высоком» предметах искусства утрачивали здесь определяющий статус: в контексте подлинно народного произведения любая тема обретала эстетическую значимость. Вместе с тем к моменту написания комментируемой статьи затронутая Гоголем тема рассматривалась журналистами и литераторами иначе: не в категориях романтической эстетики. Доверие к окружающей реальности трактовалось как необходимый шаг на пути к новому этапу литературного процесса, идущему на смену романтизму. Этой точки зрения придерживался, например, И. В. Киреевский, писавший об «уважении к действительности» как о «средоточии той степени умственного развития <...> которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа» (*Киреевский И. В. Обзорение русской словесности 1829 года // Денница: Альманах на 1830 год. М., 1830. С. XXII; П. в критике, II. С. 212*). Его статья вызвала благожелательный отклик Пушкина, который в рецензии на «Денницу», перефразируя Киреевского, именoval себя самого «поэтом действительности» (XI, 104; см. об этом: *Макогоненко Г. П. Гоголь и Пушкин. С. 66–67*). Способность постичь и представить «в совершенной истине» «явления, принадлежащие нашему миру» Гоголь оценивал как высшую степень писательского мастерства. На решение этой задачи были направлены творческие усилия и самого Гоголя. Ср. в статье В. Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать все из ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями <...>. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она» (*Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 569; Белинский. Т. 1. С. 289*). Как свое творческое кредо Гоголь впоследствии высказал эту мысль в седьмой главе «Мертвых душ» («...не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирющие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых <...> что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья» — Гоголь. Т. 6. С. 134) и во второй редакции «Портрета» (1842) («Нет <...> низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души» — Там же. Т. 3. С. 135).

(подробнее см.: *Машинский С. И.* 1) Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский. М., 1952. С. 11; 2) Гоголь и революционные демократы. М., 1953. С. 38; *Головенченко Ф. М.* Реализм Гоголя. М., 1953. С. 176–177; *Сандомирская В. Б.* Прижизненная критика (1820–1837). С. 32).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ»

Молва. 1835. Ч. 9, № 7 (выход в свет 16 февраля*). Стб. 108–110. Подпись: –он–инский.

Настоящая рецензия развивает мысль, высказанную уже в «Литературных мечтаниях», где Белинский с грустью говорит о «закате» пушкинского творчества (см. наст. изд., с. 63)

¹ Негочная цитата из «Отрывков из путешествия Онегина». У Пушкина: «Фламандской школы пестрый сор!»

² Ни в «Библиотеке для чтения», ни в каком-либо другом издании такой оценки «Пиковой дамы» не появлялось. Отзывы печати о пушкинской повести до середины февраля 1835 г. см.: наст. изд., с. 52–53, 54.

³ См. примеч. к рецензии В. М. Строева на «Повести, изданные Александром Пушкиным» — наст. изд., с. 379.

Е. Ф. РОЗЕН

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА», СОЧ<ИНЕНИЕ> А. ПУШКИНА

СПч. 1835. № 38, 18 февраля.

¹ *Спартак* — римский раб-гладиатор, получивший свободу и возглавивший в 74–71 гг. до н. э. одно из крупнейших восстаний рабов в Риме. Его армия, состоявшая из беглых гладиаторов и рабов, после ряда побед над римскими легионами была разгромлена, сам Спартак погиб.

² См. примеч. 1 к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 400–401.

³ Розен имеет здесь в виду слова А. И. Бибикова из его письма Д. И. Фонвизину от 29 января 1774 г., пересказанные Пушкиным в пятой главе «Истории»: «Пугачев не что иное, как чудело, которых играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» ([*Пушкин А. С.*] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч. 1. С. 84, 1-я паг.; IX, 45). Это письмо Бибикова было помещено Пушкиным в Приложениях к «Истории» (([*Пушкин А. С.*] История Пугачевского бунта. Ч. 2. С. 65; IX, 201).

⁴ Полемический выпад против статьи В. Б. Броневского в журнале «Сын отечества и Северный архив» (см.: СО и СА. 1835. Т. 47, № 3. С. 177, 179; наст. изд., с. 71–72).

⁵ Имеется в виду то место восьмой главы, где Пушкин рассказывает о появлении уже плешего Пугачева в Яицком городке: «Велено было жителям собраться на городскую площадь; туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачева и показал его народу. Все узнали его; бунтовщики потупили голову. Пугачев громко стал их уличать и сказал: *вы погубили меня; вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного великого государя; я дол-*

* Дата выхода номеров «Молвы» устанавливается по датам цензурного разрешения: в 1835 г. «Молва» выходила еженедельно, по субботам; цензурное разрешение обычно получалось в пятницу.

го отрицался, а когда и согласился, то все, что ни делал, было с вашей воли и согласия; вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле. Бунтовщики не отвечали ни слова» ([Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 160–161, 1-я паг.; IX, 77).

⁶ Розен имеет в виду занятия Пушкина историей Петра Великого. Пушкин был официально утвержден историографом в июле 1831 г. и получил доступ в государственные архивы для создания исторического описания царствования Петра (см.: Летопись 1999. Т. 3. С. 361–362).

ИЗ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

РИ. 1835. № 104, 27 апреля. С. 416. Без подписи.

¹ См. выше примеч. 6 к статье Е. Ф. Розена «„История Пугачевского бунта“, сочинение» А. Пушкина».

ИЗ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»
«ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ» АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«СОЧИНЕНИЯ» КАРАМЗИНА. ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

БдЧ. 1835. Т. 10, № 5 (выход в свет 1 мая — П. в печати. С. 121). Отд. VI. С. 1. Из раздела «Литературная летопись». Без подписи.

Двухтомное издание «Поэм и повестей» включало в себя все к этому времени напечатанные поэмы Пушкина. В первый том, вышедший в свет 11 апреля (10 апреля получен билет на выпуск из типографии, см.: *Модзалевский Л. Б.* Новые материалы об изданиях Пушкина (1831–1837) // Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы и общественной мысли XIX в. М.; Л., 1933. [Вып.] 2. С. 243–244), вошли «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Поэма «Руслан и Людмила» до этого времени вышла двумя отдельными изданиями (1820, 1828), «Кавказский пленник» — тремя (1822, контрафактное издание Е. И. Ольдекопа 1824 г. с параллельным немецким текстом, 1828), «Бахчисарайский фонтан» — также тремя (1824, 1827, 1830). Во вторую часть, вышедшую 26 июля (25 июля получен билет на выпуск из типографии, см.: Там же) были включены «Братья разбойники», «Цыганы», «Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне» и «Анджело». «Братья разбойники», впервые напечатанные в «Полярной звезде» на 1825 г., в 1827 г. были выпущены отдельным изданием (отпечатанное в том же году С. А. Соболевским издание поэмы в продажу не поступало). «Граф Нулин» впервые напечатан в «Северных цветах» на 1828 г. и в том же году — отдельным изданием (часть тиража сброшюрована с изданием поэмы «Бал» Е. А. Баратынского и выпущена под общей обложкой «Две повести в стихах», часть продавалась отдельно). Для этих двух поэм перепечатка в составе «Поэм и повестей» стала третьим изданием. Остальные поэмы второй части появлялись в печати лишь однажды. «Цыганы» и «Полтава» — отдельными изданиями в 1827 и 1829 гг.; «Домик в Коломне» и «Анджело» — в 1-й и 2-й частях альманаха «Новоселье» в 1833 и 1834 гг. Издание «Поэм и повестей», видимо, носило преимущественно коммерческий характер. Сведений по истории его подготовки мало. Цензурное разрешение на обе книги было получено 22 января 1835 г. (см.: Вацууро, Гиллельсон. С. 188; дата 12 января на обороте титула, видимо, опечатка). Перед подачей в обычную цензуру книга была завизирована III Отделением. Несмотря на это, цензуровавший «Поэмы и повести» А. В. Никитенко, разрешая книгу в целом, видимо, в двух смущавших его случаях отнесся к председателю Цензурного комитета и попечителю Санкт-Петербургского учебного округа М. А. Дондукову-Корсакову, а тот обратился к министру просвещения С. С. Уварову. 24 января 1835 г. Уваров отвечал Дондукову: «Возвращая при сем представлен-

ные Вашим сиятельством два стихотворения А. Пушкина, покорнейше прошу предложить цензуре, не стесняясь написанным на сих стихотворениях дозволением к печатанию, слитичь оные с тем, как они были уже однажды напечатаны, и одобрить оные ныне в том же виде, в каком сии пиесы были дозволены в первый раз» (цит. по: Вацуро, Гиллельсон. С. 188). Одной из представленных министру «пиес», несомненно, была поэма «Анджело», в которой Пушкин хотел восстановить уваровские купюры, искавшие текст поэмы (см. примеч. к рецензии О. И. Сенковского на вторую книгу «Новоселья» — наст. изд., с. 373). Во всяком случае, именно на недопущение «второго, исправленного» издания «Анджело» Пушкин указывал в своем письме в Главное управление цензуры 28 августа 1835 г.: «Ныне, по случаю *второго, исправленного* издания „Анджело“, перевода из Шекспира (неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем Смирдиным), г. попечитель С<анкт->П<етер>б<ургского> учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались, т. е. с надписью чиновника собственной его величества канцелярии» (XVI, 230). Какая вторая «пиеса» вызвала сомнения Цензурного комитета, сказать затруднительно.

¹ Анонс «Сочинений» Карамзина (СПб., 1834–1835. Т. 1–9) был помещен в январском номере «Библиотеки для чтения» (1835. Т. 8, № 1. Отд. VI. С. 25); анонса «Поэм и повестей» обнаружить не удалось.

² Отдельные издания всех трех поэм, вошедших в первую часть, еще имелись в продаже (см. объявление на внутренней стороне обложки «Повестей, изданных Александром Пушкиным» в примеч. к рецензии на них О. И. Сенковского — наст. изд., с. 380); общая их стоимость составляла 22 рубля. Цена «Поэм и повестей» была 20 рублей за оба тома.

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

БдЧ. 1835. Т. 10. № 6 (выход в свет — 1 июня*). Отд. V. С. 21–38. Без подписи.

О том, что Пушкин предпринимает некий «исторический труд» и с целью сбора материалов для него ездил во второй половине 1833 г. в Оренбург, сообщал Н. И. Греч в статье «Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому» в самом первом номере «Библиотеки для чтения» (1834. Т. 1. Отд. I. С. 175; наст. изд., с. 31); в следующем номере было помещено сообщение, что Пушкин закончил «Историю Пугачева» (1834. Т. 2, № 2. Отд. VI. С. 12; см. примеч. к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 397). Выход «Истории» в свет был проанонсирован в ноябрьском номере журнала: «„История Пугачевского бунта“, сочинение А. С. Пушкина, на сих днях выйдет из печати: к ней приложено множество любопытных актов, писем известных особ и проч. В следующем отделении „Библиотеки для чтения“ помещены два документа, заимствованные из этой „Истории“ и которые внушают нам самое выгодное понятие о материалах, служащих ей основанием, и об источниках, открытых автором для его изысканий» (1834. Т. 7, № 11. Отд. VI. С. 10). В отделении «Смесь» этой же книжки журнала (Отд. VII. С. 44–48) были помещены «Описание известному злодею и самозванцу, какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевой» и «Показание бывшего в 1771 году Зимовой станции атаманом, отставного казака Трофима Фомина». Оба документа вошли в 14-е примечание к шестой главе «Истории Пугачевского бунта» (см.: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч. 1. С. 42–47, 2-я паг.; IX, 107–109).

Информация о выходе «Истории Пугачевского бунта» появилась лишь в февральской книжке «Библиотеки для чтения» в разделе «Литературная летопись», с

* О выходе в свет очередных книжек «Библиотеки для чтения» в петербургских газетах в 1835 г. сообщалось не всегда. Известно, что регулярность издания строго соблюдалась: номер раздавался подписчикам первого числа каждого месяца; в случае непредвиденной задержки редакция уведомляла читателей о ее причинах.

обещанием: «Мы возвратимся к этому сочинению в отделе Критики» (Т. 8, № 2. Отд. VI. С. 44). Однако обещание это Сенковский выполнять не спешил — его развернутая критическая статья опубликована в июньском номере. Удивляет не только эта задержка, нехарактерная для славившегося своей оперативностью журнала, но и то, что вместо серьезного разбора Сенковский ограничился, по сути, рядом длинных выписок из пушкинской книги, которую уничижительно назвал «статьей». Возможно, в первоначальном виде рецензия выглядела несколько иначе. По-видимому, в ее состав был включен какой-то исторический документ, вызвавший трудности в прохождении статьи через цензуру. «...Мы в ужасных хлопотах по случаю критики: постарайтесь, ради Бога, чтобы нам скорее решили, — писал Сенковский цензуровавшему «Библиотеку» А. В. Никитенко, — очень желательно, чтоб можно было напечатать такой любопытный акт, тем более что если мы не напечатает его по случаю Пугачева, отдельно печатать его, ex abrupto <без всяких рассуждений — лат.>, я сам не нахожу приличным. Но если нельзя скоро решить, то, сделайте милость, вычеркните то, в чем состоит затруднение, и подпишите остальное: я переделаю и свяжу концы, и станем печатать так, потому что нельзя же нам явиться без критики» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 114; на связь этого письма с рецензией Сенковского указано: *Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева» // ПИМ. Л., 1969. Т. 6. С. 240*). В конце своей статьи Сенковский упрекнул Пушкина за «неправильности языка и небрежности слога». В связи с этим упреком стоит отметить обращение Сенковского с пушкинским текстом: он подверг его незначительной, но характерной редактуре (помимо кое-каких сокращений и пояснительных вставок, вызванных характером цитирования, он вмешивался в авторскую пунктуацию и последовательно заменял или исключал слова «сей», «оный», «кои», против которых вел настоящую войну на страницах своего журнала; подробнее см. в примеч. 20 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 450).

Статья «Библиотеки для чтения» была неблагоприятно встречена А. Ф. Воейковым, извечным оппонентом Сенковского, который счел необходимым вступить с ним в полемику, рецензируя в своей газете очередные номера «Библиотеки для чтения» и «Московского наблюдателя»: «Если критический разбор новых сочинений, только что вышедших из-под пера знаменитых писателей, состоит в искусном высасывании из них меда и перетаскивании оного в свой улей, то разбор „Истории Пугачевского бунта“ А. С. Пушкина написан умно, красно и прибыльно для издателей; только прибыльно ли для сочинителя? Не верим на слово рецензенту, утверждающему, будто бы он отыскал несколько неправильностей языка и небрежностей слога у г. Пушкина. Тот, кто пишет „*посреди луж крови*“, „*нельзя не воздать ему (автору) полной похвалы*“, „*за востеливое и тщательное изготовленное сообщение тех бумаг и сведений*“, не может быть законным судьей такого писателя, как сочинитель „Истории Пугачевского бунта“. Не можем также согласиться с тем, чтобы Пугачевский бунт не имел никакого влияния на общую судьбу государства. Провидение — семя благ сеет на ниве бедствий, творит добро из самых зол. Если б кто вздумал в этом сомневаться, то пусть прочтет „Историю Российского государства“. Учреждение губерний и корпуса Внутренней стражи, навсегда положивших конец этим неистовым волнениям пьяной и слепой черни, попеременно бывшей кровавым орудием в руках Стеньки Разина, трех самозванцев, Булавина и Пугачева, есть благотворное следствие Пугачевского бунта» (ЛПРИ. 1835. № 55, 10 июля. С. 438).

¹ См. примеч. 1 к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 400–401.

² Не признавая за пугачевским бунтом вообще права «быть предметом настоящей истории» и войти значимой частью в «истинную, прагматическую историю того времени», Сенковский полемизирует не только с Пушкиным, но и с Е. Ф. Розеном, утверждавшим в «Северной пчеле», что «История Пугачевского бунта» «не может быть прагматическою», поскольку Пушкиным не были вскрыты «тайные пружины» душевной жизни Пугачева, «тайные пружины, способствующие к развитию его душевного разврата» (1835. № 38, 18 февраля; наст. изд., с. 80). Причиной неполноты пушкинской «Истории» Розен считал недоступность для автора нераспечатанного дела о Пугачеве. См.: *Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева» // ПИМ. Л., 1969. Т. 6. С. 249.*

³ *винословность* — причинность (устар.).

⁴ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч. 1. С. 45–48, 1-я паг.; IX, 27–28.

⁵ См.: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 160–161, 1-я паг.; IX, 77.

⁶ У Пушкина: «в сей крепости».

⁷ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 25–27, 1-я паг.; IX, 18–19.

⁸ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 85–86, 1-я паг.; IX, 45–46.

⁹ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 84–85, 1-я паг.; IX, 45.

У Пушкина ошибочно: Толстолов вместо: Полстолов.

¹⁰ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 65, 68, 1-я паг.; IX, 36, 37–38. Цитируется с некоторыми изменениями; у Пушкина: «В Оренбурге начинал сказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорп требовал оных от Декалонга и Станиславского» и т. д.

¹¹ Сенковский цитирует пушкинский текст, не обращая внимания на вкравшуюся в него опечатку, см. примеч. 11 к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 403.

¹² У Пушкина: «До Светлого Воскресения, пишет очевидец сих происшествий, оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей день был светлым праздником».

¹³ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 99–105, 1-я паг.; IX, 51–54.

¹⁴ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 90, 1-я паг.; IX, 47. Цитируется с некоторыми изменениями; у Пушкина: «...были заменены снеговыми»; «Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего...».

¹⁵ См.: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 114, 1-я паг.; IX, 58. У Пушкина: «...за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга».

¹⁶ У Пушкина: «ядром оною были».

¹⁷ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 43–45, 1-я паг.; IX, 26–27. В конце цитаты небольшой пропуск; у Пушкина: «Другие требовали, чтобы им выдали Мартюшку Бородина (войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова) и звали казаков к себе в гости...» и т. д.

¹⁸ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 63, 1-я паг.; IX, 35–36.

¹⁹ Указанные эпизоды: [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 139, 89, 155 1-я паг.; IX, 68, 47, 75.

²⁰ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 82, 1-я паг.; IX, 44.

²¹ У Пушкина: «кои должно было предпринять».

²² У Пушкина: «Державин, оставя его, приехал в магистрат; предложил, чтобы все обыватели поголовно явились» и т. д.

²³ У Пушкина: «Услыша».

²⁴ У Пушкина: «оставя».

²⁵ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 147–149, 1-я паг.; IX, 71–72.

²⁶ У Пушкина: «заметя».

²⁷ [Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 162, 1-я паг.; IX, 78.

ИЗ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

«ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА»

СПч. 1835. № 134, 18 июня. Подпись: М. М.

О выходе второй части «Поэм и повестей» «Северная пчела» объявляла 27 августа (№ 191): «Это вторая и последняя часть собрания больших стихотворных произведений А. С. Пушкина, издаваемого нашим неутомимым Смирдиным. Мы уже говорили о первой; в вышедшей на днях второй части заключаются следующие поэмы и повести: „Братья разбойники“, „Цыганы“, „Граф Нулин“, „Полтава“, „Домик в Коломне“ и „Анджело“». Здесь же указывалось, что цена за две части составляет 20 рублей.

¹ Перефразируется выражение Горация «disjecti (disjecta) membra poeta» («разбросанные члены поэта») (Сатиры, I, 4, 56–62).

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

БдЧ. 1835. Т. 12, № 10 (выход в свет 1 октября*). Отд. VI. С. 17–19.

Четвертой частью завершилось начатое в 1829 г. издание «Стихотворений Александра Пушкина». Книга печаталась в типографии Российской Академии; цензурный билет на ее выпуск из типографии был выдан 12 сентября 1835 г.; в «Выписке из журнала Императорской Российской Академии в субботу 28 сентября 1835 года» определено «напечатанные экземпляры отпустить г. Смирдину». По мнению Л. Б. Модзалевского, книга могла быть выдана Смирдину по получении билета, а дальнейшее канцелярское производство и оформление дела произошло постфактум (см.: *Модзалевский Л. Б. Новые материалы об изданиях Пушкина (1831–1837) // Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы и общественной мысли XIX в. М.; Л., 1933. [Вып.] 2. С. 244–245).*

¹ Из произведений, вошедших в четвертую часть «Стихотворений Александра Пушкина», не в «Библиотеке для чтения» впервые был опубликован лишь «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный в 1825 г. в качестве введения к первой главе «Евгения Онегина».

² «Гюзла, или Избранные произведения иллирийской поэзии, собранные в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцоговине» (*La Guzla, ou Choix de Poésies Illiriques, recueillies Dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine. Paris, 1827*) — литературная мистификация французского писателя Проспера Мериме (*Mérimée; 1803–1870*), талантливая имитация далматских народных песен, якобы переведенных им на французский язык; в библиотеке Пушкина имелся экземпляр этой книги (Библиотека П. № 1154). О литературных отношениях Пушкина и Мериме см.: *Томашевский Б. В., Вольперт Л. И. Мериме // ПИМ. СПб., 2004. Т. 18–19: Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 199–200; здесь же см. основную литературу вопроса.*

³ Об отсылке, который вызвала публикация книги Мериме в различных странах Европы, см.: *Yovanovitch V. M. «La Guzla» de Prosper Mérimée: Étude l'histoire romantique. Paris, 1911. P. 395–522.*

⁴ Очевидно, намек содержится в следующем фрагменте статьи Сенковского «Скандинавские саги»: «Европейская историческая ученость принуждена была принять в шумном русле своем тихое, обратное течение, вверх, к Средним векам, к забытым нравам и понятиям, к старинному языку, к летописям, и даже далее, за летописи, к остаткам предлетописной словесности, — сказаниям, повестям и поэтическим памятникам первых времен общества. <...> ...публика пожелала сама читать исторические источники, чтоб увидеть в них подлинного тогдашнего человека, которого прежняя критика выгнала из истории или спрягала за остовом фактов и за своею философиею. Этому обстоятельству должно приписать и необыкновенный успех, которым недавно пользовались не только настоящие, но и подложные мемуары, сербские песни и романы, переведенные с китайского» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. III. С. 9–10).

⁵ По свидетельству С. А. Соболевского в письме к М. Н. Лонгинову (1855), «П<ушкин> решительно поддался мистификации Mérimée, от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пу<шкина> в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки П<ушкин> часто рассказывал об этом, говоря, что Mérimée не одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич. C'est donc et très bonne compagnie, que je me suis laissé mystifier <Поддавшись этому обману, я оказался в очень хорошем обществе — францы>, прибавлял он всякий раз» (П. в восп. (1985) Т. 2. С. 15). Письмо Ме-

* О выходе в свет очередных книжек «Библиотеки для чтения» в петербургских газетах в 1835 г. сообщалось не всегда. Известно, что регулярность издания строго соблюдалась: номер раздавался подписчикам первого числа каждого месяца; в случае непредвиденной задержки редакция увсдомляла читателей о ее причинах.

риме Соболевскому от 18 января 1835 г., где он признается в своей мистификации, было приведено Пушкиным в предисловии к публикации «Песен западных славян» в четвертой части «Стихотворений», без не относящегося к делу окончания (полностью опубликовано по автографу Л. Б. Модзалевским: ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 759–766); в переводе «Библиотеки для чтения» текст письма дан с незначительными сокращениями.

⁶ Французский историк и филолог Жан-Жак Ампер (Ampère; 1800–1864), многолетний друг Мериме.

⁷ В начале XVI главы «Пантагрюэля» эта цитата из анонимного «Рондо о безденежье» («Rondeau de Faute d'argent», XVI в.) приводится для характеристики Панурга (см.: *Œuvres de François Rabelais / Éd. critique publiée par Abel Lefranc. Paris, 1922. T. 4. P. 185*).

⁸ Как ныне установлено исследователями творчества Мериме, он пользовался не только упомянутыми им ниже двумя книгами, а гораздо более широким кругом источников (см.: *Yovanovitch V. M. «La Guzla» de Prosper Mérimée. P. 217–392*).

⁹ Имеется в виду французский дипломат, путешественник и негодичант Жан-Батист Габриель Амедей Шомет-Дефоссе (Chaumette-des-Fossés; 1782–1841), автор книги «Путешествие по Боснии в 1807 и 1808 годах» («Voyage en Bosnie dans les années 1807 et 1808»), вышедшей не для продажи в 1812 г. в Париже (в выходных данных указано фиктивное место издания: Berlin) и заново выпущенной в свет с перепечатанным титульным листом в 1822 г.

¹⁰ В тексте журнала опечатка: «в Фортиловом путешествии». Итальянский ученый, поэт, журналист и путешественник аббат Альберто Фортис (Fortis; 1741–1803), известный прежде всего своими работами в области геологии и минералогии, в 1770 и 1771 гг. побывал в Далмации и описал свое путешествие в книге «Путешествие по Далмации» («Viaggio in Dalmazia») (Venezia, 1774. Vol. 1–2; репринт: München; Sarajevo, 1974), которая в 1776 г. была переведена на немецкий, а в 1778 г. на английский и французский языки; французское издание имелось в библиотеке Пушкина («Voyage en Dalmatie. Par M. L'Abbé Fortis. Berne, 1778. Vol. 1–2. — Библиотека П. № 925»). Подробнее о Фортисе и этой его книге см.: *Пытин А. Н. Первые слухи о сербской народной поэзии // ВЕ. 1876. № 12. С. 718–730*.

¹¹ Боснийская народная баллада «Хасанагиница» («Жалобная песня о благородной жене Асан-Аги»), впервые записанная Фортисом («Xalostna pjesanza plemenite Asan-Aghinize») и опубликованная в его книге с параллельным итальянским переводом («Canzone dolente Della Nobile Sposa d'Asan Aga») как приложение к упоминаемой Мериме главе «Об обычаях морлахов» («De' Costumi de'Morlacchi») (см.: *Viaggio in Dalmazia dell' Abate Alberto Fortis. Venezia, 1774. Vol. 1. P. 98–105*), получила широкую известность; ее переводили И. В. Гёте, В. Скотт, Ш. Нодье, Ж. де Нерваль. На русский язык ее впервые перевел А. Х. Востоков (1827; см.: *Мароевич Р. Первые русские переводы Хасанагиницы: (Поэтическая полемика Востокова и Пушкина) // Врем. ПК. СПб., 1995. Вып. 26. С. 121–128*); в 1835 г. перевод попытался осуществить и Пушкин («Что белеется на горе зеленой...»), но не довел работу до конца.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА»

<Отрывок>

Телескоп. 1835. Ч. 27, № 11 (выход в свет 25–30 ноября*). С. 357–387; приводимый отрывок — с. 375–381.

До 1835 г. имя В. Г. Бенедиктова было совершенно неизвестно в литературном мире. Опубликовано было только одно стихотворение («К сослуживцу» — ЛПРИ.

* В № 45 «Молвы» (ценз. разр. 16 ноября) сообщалось, что № 11 «Телескопа» должен выйти «на будущей неделе» (стб. 302); дата ценз. разр. № 11 — 24 ноября; 4 декабря к печати был подписан уже следующий номер «Телескопа».

1832. № 5, 16 января), и то без полной подписи автора. Тем большим был эффект, произведенный появлением сборника «Стихотворения Владимира Бенедиктова». «Вдруг, сегодня, нечаянно, является в нашей литературе новый поэт, с высоким порывом неподдельного вдохновения, со стихом могучим и полным, с грацией образов, но что всего важнее: с глубокою мыслию на челе, с чувством нравственного целомудрия и даже с некоторым опытом жизни...» — восторженно писал С. П. Шевырев (МН. 1835. Ч. 3. Август, кн. 1. С. 439). С творчеством Бенедиктова Шевырев связывал надежды на обновление и возрождение русской поэзии. «Для форм мы уже сделали много, — писал критик, — для мысли еще мало, почти ничего. Период форм, период материальный, языческий одним словом, *период стихов* и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною сказкою: пора наступит другому периоду духовному, периоду мысли!» (Там же. С. 442). Именно «мысль», по мнению Шевырева, составляла главное отличительное достоинство произведений Бенедиктова: «...первая черта, которая выдается на физиогномии нового поэта, есть, как можно заметить, глубокий след мысли на челе его. Но эта мысль является всегда нераздельно слитою вместе с образом поэтическим: она только освещает его каким-то глубоким, внутренним светом и дает образу особенное значение» (Там же. С. 446). Период «пластицизма» однозначно связывался в русской критике 1830-х гг. с именем Пушкина. Бенедиктов, «поэт мысли», таким образом, должен был занять место Пушкина на русском Парнасе. Статья Шевырева, кажется, вполне выражала общее мнение читающей публики. Волна общего энтузиазма захлестнула даже очень искушенных в поэзии людей. Так, П. А. Вяземский и В. А. Жуковский послали сборник Бенедиктова А. И. Тургеневу в Париж как примечательную литературную новинку. В ответ Тургенев писал 2 (14) января 1836 г.: «Благодарю вас за Бенедиктова: в самом деле, как поэт едва ли не выше Баратынского и даже Языкова и, конечно, составляет с ними тройственное поэтическое созвездие, не в дальнем расстоянии от светил наших — Жуков<ского>, Пушк<ина> и пр. Какой язык чистый и новый! Мыслей много, чувства также — откуда взялся? И как вдруг явился без первых, слабых опытов? По поручению твоему я возил его к Шувал<овой> (Зуб<овой>) и мы вдвоем вечером прочли лучшие пьесы, т. е. почти все...» (ИРЛИ, ф. 309, № 2453, л. 1). Я. М. Неверов в «Журнале Министерства народного просвещения» вторил восторгам Шевырева: «Уже несколько лет гений поэзии, как бы истощенный прекрасными произведениями наших известнейших писателей, дремал у нас в каком-то бездействии, являя признаки новой жизни только в слабых переделках народных преданий и повестей или в глухих отзвуках чувств неясных, неопределенных, неразвитых. Вдруг неожиданно он пробудился, и на светлющем небосклоне нашей поэзии блеснуло несколько ясных надежд и показалась заря прекрасного солнца. Эту зарю мы приветствуем в стихотворениях г. Бенедиктова, явившихся в эпоху самую благоприятную, когда внимание публики совершенно свободно, не приковано ни к какой знаменитости, не связано никаким литературным пристрастием. <...> Поэт не ищет поразить вас буйною картиною страстей и чрез то устроить душу, смирить ее — как Пушкин; он не рассуждает, не укоряет — как Державин; не грустит — как Жуковский, но открыто идет навстречу пороку, грозит ему молниями истины, громами поэзии и вызывает его на тяжкий бой... <...> У него мысль сильна, пламенна, восторжена, почерпнута во глубине собственной души, а не извлечена из мира внешнего, не родилась от наблюдения над ним, от изучения его, а потому мы видим в нем чисто лирическое направление. Язык его силен, звучен и отличается какою-то твердостью и сжатостью, признаком силы мысли» (1836. № 1. С. 192, 196, 198). Рецензия Белинского внесла резкую дисгармонию в общий хвалебный хор. Белинский, не подавшийся обаянию стихов Бенедиктова, рассматривал творчество поэта в сопоставлении с «истинной» поэзией, главным мерилom которой для критика оставался Пушкин. Прямо возражая Шевыреву, Белинский иронизировал над грамматической и стилистической невыдержанностью поэтического языка, над образной системой произведений Бенедиктова, а затем перешел к разбору главного тезиса поклонников нового поэта и изложил свой взгляд на Бенедиктова как «поэта мысли». Окончательный приговор Белинского оставался молодому поэту мало надежды: «Если г. Бенедиктов будет продолжать свои занятия по стихотворной части, то он со временем *выпишется*, овладеет поэзиею выражения, выработает свой стих, не будет делать этих детских промахов <...> словом, будет писать так же хорошо, как г. Трилунный, г. Шевырев, г. М. Дмитриев, но едва ли когда-нибудь будет он поэтом» (с. 383).

Полемику с Шевыревым о Бенедиктове Белинский продолжил в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“». «Итак, первый русский поэт, создания которого проникнуты мыслью, есть — г. Бенедиктов!.. — писал Белинский. — Поздравляем г. Шевырева с открытием, а публику с приобретением!.. У нас шутить не любят; как примутся хвалить, так как раз в боги запишут и храм соорудят. Но пусть так — похвала от убеждения не беда; но ведь убеждение-то должно же быть согласовано со здравым смыслом?.. Но, отдавая должное г. Бенедиктову, г. Шевырев должен же был, по своему ж убеждению, не обижать заслуженных корифеев нашей литературы?.. Так г. Бенедиктов выше Пушкина, Жуковского, Грибоедова, не говоря уже о Козлове, Подолинском, Веневитинове, Ф. Глинке и других?.. Когда у нас был этот „период картин, роскошных описаний“, эта „эпоха изящного материализма“?.. Кто ее представители?.. Гг. Языков и Хомяков, из которых первый есть неоспоримо поэт, поэт истинный, но поэт именно картин, роскошных описаний, поэт изящного материализма, второй же блистательный поэт выражения, и только выражения, поддельвающийся под мысль, но сильный одним только выражением?.. Если так, то мы совершенно согласны с г. Шевыревым; но ведь гг. Языков и Хомяков не суть представители всей нашей поэзии, но ведь они стоят и не в первом ряду наших поэтов, которых, впрочем, так немного, но ведь остаются еще Пушкин, Жуковский, Грибоедов, впереди которых нет никого и за которыми стоят еще другие дарования, кроме гг. Языкова и Хомякова. Пушкин может принадлежать к периоду „изящного материализма“ только „Русланом и Людмилу“. Разве в Черкешенке его „Кавказского пленника“ нет идеи, нет мысли? Разве его Зарема, Мария, Гирей, его Алеко, Земфира, словом, вся поэма „Цыганы“, не суть произведения мысли глубокой, могучей, поэтической? А Мария, Мазепа, Кочубей „Полтавы“ — в них тоже нет мысли? А „Годунов“ — неужели в нем меньше мысли, чем в стихотворных побрякушках г. Бенедиктова? А „Онегин“, этот живой, движущийся мир лиц, мыслей, чувств?..» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 234–235; Белинский. Т. 2. С. 150).

¹ Стихотворение Шиллера «Die Grösse der Welt» (1781) в переводе Шевырева было напечатано в «Московском вестнике» (1827. Ч. 3, № 12) под заглавием «Беспредельность».

² Цитата из XXXVIII строфы второй главы «Евгения Онегина».

³ XI строфа восьмой главы «Евгения Онегина».

⁴ Изданное отдельной брошюрой (СПб., 1831) патриотическое стихотворение Жуковского, поводом к написанию которого послужили усмирение бунта в новгородских военных поселениях и рождение великого князя Николая Николаевича 27 июля 1831 г.

⁵ Цитата из XXXVI и XXXVII строф седьмой главы «Евгения Онегина».

В. С. МЕЖЕВИЧ

О НАРОДНОСТИ В ЖИЗНИ И В ПОЭЗИИ

<Отрывок>

О народности в жизни и в поэзии: Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского дворянского института 1835 года, декабря 22-го дня старшим учителем Василием Межевичем. М., 1835 (выход в свет после 10 декабря — даты ценз. разр.); перепечатано с изменениями: Уч. зап. имп. Московского ун-та. 1836. Ч. 11. Январь, № 7 (выход в свет 29 января — МВед. 1836. № 9, 29 января). С. 94–146; Февраль, № 8 (выход в свет 29 февраля — МВед. 1836. № 18, 29 февраля). С. 272–308. Печатается по отдельному изданию, приводимый отрывок — с. 50–53 (подготовка текста А. С. Бодровой). (В «Ученых записках императорского Московского университета» приводимый отрывок — № 8, с. 293–299).

Василий Степанович Межевич (1812 или 1814–1849) — литературный и театральный критик, журналист, переводчик, выпускник словесного отделения Московского университета (1832), с 1834 по 1837 г. — старший учитель словесности и логики в Московском дворянском институте; с 1832 г. сотрудничал как переводчик,

литературный критик, театральный обозреватель и фельетонист в различных изданиях: сначала московских («Телескоп», «Молва», «Галатей», «Московский наблюдатель»), а затем петербургских («Отечественные записки», «Литературная газета», «Северная пчела», «Репертуар русского театра», «Пантеон» и др.); с 1839 по начало 1849 г. был редактором газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции». Обладая разносторонними, но скромными дарованиями, Межевич выступал не только как журналист, но также как поэт, беллетрист, драматург, переводчик и историк театра. Будучи человеком бесхарактерным, не имея твердых нравственных убеждений и эстетических принципов, он сотрудничал в изданиях самых разных направлений, подделываясь под требования редакторов и потакая вкусу публики, снискав у современников репутацию беспринципного журнального поденщика. Подробнее о нем см.: *Кармазинская М. А.* 1) Литературный поденщик, или Превращения Межевича // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1994. Т. 4. С. 35–53; 2) Межевич // Русские писатели. Т. 3. С. 562–563.

Межевич лично не был знаком с Пушкиным, но присутствовал 27 сентября 1832 г. на лекции И. И. Давыдова в Московском университете, после которой состоялся спор поэта с М. Т. Каченовским о подлинности «Слова о полку Игореве»; об этом эпизоде он вспоминал в книге заметок и фельетонов «Колосья. Сноп первый» (СПб., 1842. С. 16–18; перепечатано: *Богавевская К. П.* Из забытых книг. 3. Воспоминания В. С. Межевича // Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 400–401; здесь же процитирован полемический отклик Ф. В. Булгарина).

Свою речь Межевич начинает с тезиса, что в настоящее время «народность сделалась необходимым условием изящного» (с. 6), и прослеживает развитие народного духа в различных странах и эпохах, начиная с Древнего Востока до первых десятилетий XIX в., высказывая мысль, что «народность <...> не есть прихоть, но необходимая потребность, необходимая стихия искусства; причина, вследствие которой эта потребность пробудилась, заключается в самой жизни человечества: это есть необходимое следствие его возмужалости, которая — и в человеке и в человечестве — обозначается стремлением ко всеобщности и к индивидуальной самобытности» (с. 36–37). По его мнению, народность «есть то основное начало жизни народа, из которого проистекают, в котором сосредоточиваются все условия его деятельности — умственной, нравственной, политической; та заветная черта, то неизменное свойство, которые составляют физиономию народа, по которым нация относится к человечеству, как вид к роду, часть к целому, — к другой нации — как одно понятие к другому» (с. 37), а идея народности выражается «во всем, что составляет жизнь народа, во всех элементах, из которых слагается его образование», к которым относятся «религия, философия, нравы, историческое происхождение народа, страна, в которой он обитает, язык, которым он говорит» (с. 37). Затем Межевич кратко характеризует развитие народности в России и отражение ее в словесности, называя «первыми представителями народности в русской поэзии» Державина и Крылова: «Один — весь огонь, сила, чувство; другой — мысль, ум наблюдательный, живой, тонкий! первый все обнимает душою русскою, во все вливает русский дух; второй на все смотрит русскими глазами, все облекает в русский костюм. Державин — поэт лирический — представитель внутренней национальности духа; Крылов — поэт эпический — представитель внешней национальности жизни. К ним можно прибавить еще *Фон-Визина*, хотя его народность односторонняя, и *Мерзлякова*, поэта, которому по сие время не воздана еще должная справедливость, который сам всю жизнь свою ошибался в своем призвании, и в то время, когда его русская душа влекла его к народной песни, столько очаровательной под пером его, он переводил Тасса, разбирал Сумарокова и Хераскова и писал торжественные Оды...» (с. 49–50). Далее следует приводимый отрывок. Заканчивается речь призывами «достигать народности теми путями, которые указывает <...> само правительство», «изучать особенности, отличающие нашу жизнь от жизни других славянских народов», сбросить с себя «тяжелое иго подражания иностранцам» и всегда помнить «святую заповедь царя: *Будьте истинно русскими* — на поле чести, на пути добродетели, во храме искусства!» (с. 57, 58).

Позднее, в статье «Русская литература в 1838 году», Межевич характеризовал эволюцию творчества Пушкина почти в тех же словах, что и в приводимой речи: «Жуковский производит решительный переворот в нашей литературной жизни <...>. Жуковский вводит современные ему дарования в новую для нас поэтическую сферу

и роднит их с Шиллерами, Гердерами, Гёте, Драйденами и, не подражая рабски гениальным творениям, но воссоздавая их в своих творческих переводах, разрушает французскую теорию и открывает таланту поприще широкое, приводя его, свободно-го, к самому источнику поэзии — представляя очам его беспредельный мир души, как предмет, единственно способный возбуждать вдохновение. И вот под влиянием его образуется молодой Пушкин — могучий, самобытный талант, еще поэт по преимуществу. Сначала он, как бы неуверенный в своих силах, пробует себя над произведениями в духе современной ему английской, байроновской школы и наносит последний удар прежней нашей школе, поражая ее и эпиграммою и своими созданиями, носящими на себе печать другой теории, другого духа. А между тем самобытно, как бы врожденное его направление высказывается само собою, невольно — прежде всего в „Руслане и Людмиле“, и, наконец, через длинный ряд опытов, является в полном развитии в „Борисе Годунове“, „Полтаве“, „Евгении Онегине“ и последних его стихотворениях. *Народность* — вот это направление юного, гениального поэта, — но не та народность, которая просвечивала кое-где в именах и фразах прежних трагедий и повестей, но которая и ограничивалась только этими именами и несколькими фразами, прочее же все было сколком с Расина или Мармонтеля, — нет, направление таланта Пушкина к народности обнаруживалось в самом духе его глубокомысленных, художественных созданий. Он, казалось, не мог не быть народным по самой природе своей: так легко, так свободно, так естественно выразалось в нем все, что имеет в себе поэтическая жизнь русская. От сказок о „Царе Салтане“ или о „Рыбаке и Рыбке“ — до „Утопленника“, до „Бориса Годунова“, „Евгения Онегина“, „Медного всадника“, „Русалки“, — все у него проникнуто этим живым, русским чувством, этим русским остроумием, этим разгулом богатырским, наконец — этим звучным, русским говором, который понятен только русскому человеку и на другом языке выражен быть не может. Если Фон-Визину и Крылову русская жизнь представила повод к остроумной политической сатире, то Пушкин первый угадал другую, лучшую сторону этой жизни и, воссоздавая отдаленные ее эпохи в высоких художественных образах, на современные события наводил поэтический цвет яркий и пленительный. Откинув в сторону все классические предрассудки, он начал говорить с нами простым, но сильным русским языком, сочувствовал всем успехам нашим на политическом и ученом поприще и заставлял нас чувствовать эти успехи, отражая их в вдохновенных песнях своих. Никто, может быть, не был в такой степени проникнут этим, так сказать, инстинктом в разумении того, что составляет элементы народной жизни, этим поэтическим ясновидением, которое иногда предупреждает тяжелые ученые труды и положительное изучение, как Пушкин, — и вот только чем можно объяснить себе это глубокое знание русской древней жизни, которое заметно и в стихотворческих, и в прозаических созданиях его, несмотря на то, что он слегка касался изучения русских древностей. Поэт-счастливец, он столько же обязан был своими знаниями трудам своим, сколько, если не более, своему врожденному творческому чувству, которому назначено было легко угадывать то, что составляет нашу народную душу, нашу поэзию... Да, Пушкин был поэт народный в самом обширном значении этого слова, такой поэт, какого не было еще в России, ибо многообразие, разнообразие его таланта дает ему более права называться вполне народным, чем двум другим, тоже великим нашим поэтам — Державину и Крылову...» В заключительном абзаце статьи утверждается, что «литература наша живет в периоде, который по справедливости можно назвать *пушкинским*» (ОЗ. 1839. № 1. Отд. VII. С. 7–9, 60; без подписи; ошибочную атрибуцию этой статьи см.: *Боград В. Э.* Журнал «Отечественные записки». 1839–1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 35, 388).

¹ *Аристарх* — см. примеч. 9 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 375.

² Измененная цитата из восьмой главы «Евгения Онегина» (строфа II).

³ *Протей* — см. примеч. 8 к статье Н. И. Греча «Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому» — наст. изд., с. 365.

ИЗ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

«Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму...»

БдЧ. 1836. Т 14, № 1 (выход в свет 1 января*). Отд. VI. С. 30. Из раздела «Литературная летопись». Без подписи (очевидно, заметка принадлежит редактору журнала О. И. Сенковскому).

В заметке говорится о книге: «Востола, или Желания». Повесть в стихах. Соч<инение> Виланда. В трех частях. Изд<ано> А. Пушкиным. СПб., 1836 (ценз. разр. 12 марта 1835 г.; вышла в свет в конце декабря этого же года; объявление о продаже — СПч. 1835. № 293, 24 декабря).

Переводчиком «Востола» был Ефим Петрович Люценко (1776–1854), плодовитый, но бесталанный поэт, прозаик и переводчик, член Вольного общества любителей российской словесности, сотрудник «Приятного и полезного препровождения времени» (1794–1798), «Ипокрены» (1799), «Журнала для пользы и удовольствия» (1805), «Соревнователя просвещения и благотворения» (1818–1819) и других изданий (подробнее о нем см.: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин и Ефим Петрович Люценко // *Модзалевский Б. Л.* Пушкин и его современники: Избранные труды (1898–1928). СПб., 1999. С. 542–559; Письма посл. лет. С. 424, биогр. справка В. Э. Вацуру; Русские писатели. Т. 3. С. 440–441, статья Е. Э. Ляминой и С. И. Панова). В 1811–1813 гг. Люценко был секретарем хозяйственного правления Царскосельского лицея и, очевидно на правах старого знакомого, обратился с Пушкину с просьбой посодействовать изданию выполненного им еще в 1807 г. перевода поэмы Кристофа Мартина Виланда (Wieland; 1733–1813) «Первонте, или Желания» («Pervonte, oder die Wünsche», 1778). Ходатайства Пушкина, обратившегося с просьбами о содействии к А. Ф. Смирдину и М. А. Корфу, успеха не имели (см. его письмо Люценко от 19 августа 1835 г. — XVI, 45), и он ради помощи своему бывшему лицейскому наставнику либо сам принял участие в издании (см. объяснения Пушкина — *Совр.* 1836. Т. 1. С. 303; наст. изд., с. 137), либо «позволил назвать себя издателем его перевода» (из письма П. А. Плетнева Я. К. Гроту от 13 октября 1845 г. — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 583). Имя переводчика на книге не указано — оно было названо в печати уже после выхода критических откликов на издание, см.: Мильтон // Живописное обозрение. [1836]. Т. 1, л. 37. С. 294 (без подписи; выход в свет 12–15 апреля — МВед. 1836. Прибавление к № 31, 15 апреля), к

* О выходе в свет очередных книжек «Библиотеки для чтения» в петербургских газетах в 1836 г. не сообщалось. Известно, что регулярность издания строго соблюдалась: номер раздавался подписчикам первого числа каждого месяца; в случае непредвиденной задержки редакция уведомляла читателей об ее причинах.

тому же эта информация не была замечена современниками и позднейшими исследователями.

Никаких свидетельств об отношении Пушкина ни к поэме Виланда «Первонте, или Желания», ни к переводу Люценко до нас не дошло. В литературе отмечалось сходство некоторых мотивов пушкинских сказок с сюжетными элементами «Первонте», но это сходство можно объяснить и наличием общих источников, как фольклорных, так и книжных (см.: *Коренева М. Ю., Данилевский Р. Ю.* Виланд // ПИМ. СПб., 2004. Т. 18–19: Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 82; здесь же см. основную литературу по теме «Виланд и Пушкин»). Экземпляр «Востолы» в зеленом атласном переплете с золотым обрезом, вероятно поднесенный Пушкину переводчиком, сохранился в библиотеке поэта (Библиотека П. № 71).

Ф. В. БУЛГАРИН

НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ И ДУХ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<Отрывки>

СПч. 1836. № 10, 14 января; № 11, 15 января; № 12, 16 января; № 13, 17 января; приводимые отрывки — № 11, 15 января; № 13, 17 января; подпись: Ф. Б.

Характеристика современной русской литературы предваряется в статье Булгарина некоторым общим взглядом на предшествующие периоды ее развития и мало оригинальными рассуждениями о классической и романтической поэзии. По мнению Булгарина, русская литература вступила «на поприще романтизма» и «появившийся в публике вкус ко всему русскому, народному, возрождающаяся любовь к историческим наукам и страсть нашего юного поколения к просвещению суть предзнаменования близкого рождения русской народной, оригинальной словесности» (№ 12, 16 января). Среди нового поколения поэтов Булгарин выделил А. В. Тимофеева, П. П. Ершова и В. Г. Бенедиктова. Из последних достижений русской словесности в прозе он назвал романы «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (М., 1835) и «Постоялый двор» А. П. Степанова (СПб., 1835). Примечательно, что, говоря о «настоящем моменте» русской литературы, Булгарин не счел нужным упомянуть Пушкина. Из всех появившихся в печати в 1834–1835 гг. пушкинских произведений в статье названа только «Пиковая дама» — в перечне «хороших статей и повестей», напечатанных в петербургских журналах (№ 13, 17 января). Статья была не лишена и конкретных полемических выпадов. Булгарин отдельно поименовал писателей, которые, как он считает, «ради оригинальности коверкают и терзают русский язык, как в пытке, и ради народности низводят его ниже сельского говору», — это были Гоголь, Н. А. Полевой и М. П. Погодин. Досталось от него и московским журналистам, которых он обвинил в систематическом преследовании своих петербургских собратьев.

¹ Первый этап развития новой русской литературы при Петре I Булгарин связывает с деятельностью Кантемира, Феофана Прокоповича, Стефана Яворского и др.; этот этап характеризуется попытками дать языку латинские формы, не согласовавшиеся ни с духом русского языка, ни с характером народа. Будущее направление литературы стало, по мнению Булгарина, определяться с Ломоносова. Ломоносов, «образовавшийся» в Германии, не смог, однако, ввести в России формы германской литературы, поскольку «в самой Германии происходила борьба нового языка с старыми формами и направление литературы еще не было определено». В это время французский язык, язык европейской дипломатии, и французская литература начали распространять влияние в Европе. «Под влиянием графа Шувалова и княгини Дашковой, — пишет Булгарин, — у нас образовалась французская школа в литературе, которая существует до сих пор, хотя уже шатко держится на своем основании. Величайший, чудовищный недостаток этой школы есть совершенное отсутствие природы. Флориановы пастухи и пастушки говорят и чувствуют как Расиновы Ахиллесы и Вареники, т. е. как французские маркизы и французские дюшессы. Вся

прелесть этой литературы в языке и слоге. Эту самую прелесть сообщили нашей французской школе Карамзин и Дмитриев (И. И.)» (№ 10, 14 января; Ахиллес является одним из героев трагедии Ж. Расина «Ифигения в Авлиде» («Iphigénie en Aulide», 1674); Вареника (Вереника, Береника), — героиня одноименной трагедии Расина («Bérénice», 1670)).

² Речь идет об элегии Жуковского «Сельское кладбище» (1802), переводе «Элегии, написанной на сельском кладбище» («Elegy Written in a Country Churchyard», 1751) Т. Грея (Gray; 1716–1771), — стихотворении, с которого началась поэтическая известность Жуковского, и его первой оригинальной балладе «Светлана» (1808–1812; опубл. 1813).

³ В своем пассаже о Пушкине и Жуковском Булгарин варьирует слова из статьи П. А. Вяземского «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен» (МТ. 1825. Ч. 1, № 4. С. 350–351; П. в критике, I (2). С. 253): «...в Пушкине ничего нет Жуковского; но между тем Пушкин *есть следствие* Жуковского. Поэзия первого не дочь, а наследница поэзии последнего...»; ср. также получившие некоторую известность в литературных кругах слова Пушкина, сказанные им по поводу этой же статьи в письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г.: «Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной» (XIII, 183; П. в критике, I (2). С. 432).

⁴ Так, причинами медленного развития русской прозы Булгарин называл «недостаток классического учения, недостаток времени (потому что мы все служим) и, наконец, пренебрежение отечественного языка, а вследствие этого недостаток хороших русских учителей и учебных пособий» (№ 11, 15 января).

⁵ Один из тезисов, выдвинутых Булгариным, заключался в том, что новое направление русской прозе на настоящем этапе развития дали не английская и немецкая словесность, а романы Гюго, Жанена, Бальзака, то есть «юная французская словесность, которой у нас, между тем, объявлена жестокая и непримиримая война» (№ 11, 15 января).

⁶ Памятник Ломоносову работы скульптора И. П. Мартоса был установлен на деньги, собранные путем всероссийской подписки, и открыт 25 июня 1832 г. на Соборной площади Архангельска (дважды перемещался; в настоящее время — перед зданием Архангельского государственного технического университета). Памятники Державину и Карамзину к 1836 г. еще не были поставлены. Решение увековечить память Г. Р. Державина было принято через несколько месяцев после смерти поэта, 24 сентября 1816 г., на чрезвычайном публичном собрании Казанского общества любителей отечественной словесности. В 1831 г. появился первый проект памятника (профессора архитектуры А. И. Мельникова) и была объявлена подписка. Собранная сумма превысила смету утвержденного проекта, и в 1832 г. Академия художеств объявила новый конкурс, в котором победил проект скульптора С. И. Гальберга и архитектора К. А. Тона. Выполненный ими памятник был открыт во дворе университета только 23 августа 1847 г.; в 1870 г. перенесен на место сгоревшего театра в Державинский сад (см.: *Дульский П. М.* Памятник Г. Р. Державину в Казани. Казань, 1916; в 1932 г. памятник был уничтожен; в 2003 г. воссоздан скульптором М. Гасимовым и архитектором Р. Нургалеевой). О высочайшем соизволении удовлетворить просьбу симбирского дворянства о сооружении в Симбирске памятника Н. М. Карамзину объявил Д. Н. Блудов 14 июля 1833 г. на прощальном обеде по случаю отъезда И. И. Дмитриева из Петербурга. Тут же была открыта подписка, о чем 21 июля 1833 г. появилось сообщение в «Северной пчеле» (№ 162). «А ведь славно! Вот третий памятник на русских степях: Ломоносову, Державину, Карамзину», — писал П. А. Вяземский А. И. Тургеневу 19 июля 1833 г. (ОА. Т. 3. С. 244). Проект памятника был разработан С. И. Гальбергом; выполнен после смерти скульптора его учениками (А. А. Ивановым, П. А. Ставассером, Н. А. Рамазановым, К. М. Климченко). Открыт 23 августа 1845 г. на специально устроенной для него городской площади (см.: *Трофимов Ж. А.* Симбирский памятник Н. М. Карамзину. М., 1992).

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ».
ПОВЕСТЬ В СТИХАХ, СОЧИНЕНИЕ ВИЛАНДА
ИЗДАЛ А. ПУШКИН

БдЧ. 1836. Т. 14, № 2 (выход в свет 1 февраля — билет на выпуск номера из типографии подписан 31 января, см.: *Абрамович С. Л.* Пушкин. Последний год: Хроника. М., 1991. С. 53). Отд. VI. С. 31–35. Из раздела «Литературная летопись». Без подписи.

О «Вастоле» и о ее переводчице см. выше, с. 423. Двусмысленная ситуация с изданием «Вастоль» возникла в то время, когда поэта преследовали различные неурядицы: выговор царя за публикацию стихотворения «На выздоровление Лукулла», объяснение по этому же поводу с А. Х. Бенкендорфом, несправедливые имущественные претензии Н. И. Павлищева, мужа его сестры, безденежье и докучливые кредиторы; Пушкин готовил первый том «Современника» и находился в чрезвычайно взвинченном и напряженном состоянии. Обвинения в обмане, «уловке», неуважении к читателям, скрывавшиеся за ерническим тоном Сенковского, были восприняты Пушкиным очень болезненно и едва не явились поводом к случайной дуэли. 3 февраля Пушкину нанесли визит редактор «Коммерческой газеты» Г. П. Небольсин и молодой чиновник Министерства иностранных дел С. С. Хлюстин; в разговоре последний допустил несколько неловкостей: он отозвался о Булгарине как о «недурном» писателе и «романисте с дарованием», а затем по какому-то поводу процитировал статью Сенковского о «Востоле». Последнее взорвало поэта, отвечавшего: «Я не сержусь на Сенковского; но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев». Оскорбленный Хлюстин ушел, между ним и Пушкиным последовал обмен письмами, фактически содержавшими вызов на поединок и принятие этого вызова (см.: XVI, 19–82, 379–381). Только стараниями С. А. Соболевского конфликт был улажен и приятельские отношения с Хлюстиным восстановлены (см.: *Абрамович С. Л.* Пушкин. Последний год: Хроника. М., 1991. С. 62–65; *Вайнштейн А. Л., Павлова В. П.* Пушкин в воспоминаниях Г. П. Небольсина // Врем. ПК 1969. Л., 1971. С. 71). В первом томе «Современника» Пушкин поместил ответ Сенковскому в виде рецензии на «Востолю» (с. 303–304; наст. изд., с. 137).

¹ Ср. начало рецензии Сенковского на «Повести, изданные Александром Пушкиным» (СПб., 1834): «Мы не думаем, чтобы тем нарушали права безыменности, если скажем, что „Повести“, „изданные“ Александром Сергеевичем Пушкиным, значит — „сочиненные“ самим же их издателем» (БдЧ. 1834. Т. 6, № 10. Отд. VI. С. 2; наст. изд., с. 53).

² Книжный магазин А. Ф. Смирдина (Невский пр., д. 22); упомянутый ниже «приказчик магазина» — вероятно, Ф. Ф. Цветаев.

³ «Премия за добродетель» (prix de vertu) — одна из самых известных премий, учрежденных французским филантропом бароном Антуаном-Оже де Монтионом (Montyon; 1733–1820), назначившим большую часть своего состояния на дела благотворительности и поощрение научных занятий.

⁴ Процитированный фрагмент находится на сгибе первой тетрадки «Вастоль» (с. 8–9), и его действительно можно прочесть, не разрезая книги.

ИЗ «МОЛВЫ»

<О МНИМОМ СОЧИНЕНИИ ПУШКИНА «ВАСТОЛА»>

Молва. 1836. Ч. 11, № 1 (выход в свет 2–5 февраля — МВед. 1836. № 11, 5 февраля; здесь же в перечне материалов номера указано: «О мнимом сочинении Пушкина: Вастола»). С. 6–7. Из раздела «Отечественные известия». Без подписи. Автором заметки могли быть либо Н. И. Надеждин, либо В. Г. Белинский.

В 1836 г. «Молва» издавалась два раза в месяц и раздавалась подписчикам вместе с соответствующими номерами «Телескопа».

¹ В разделе «Литературная летопись» январской книжки «Библиотеки для чтения», сразу вслед за заметкой об издании «Вастолы» (см. наст. изд., с. 103), следовало объявление: «Общество, составленное из графа Толстого и гг. Есипова и Языкова предприняло издание „Русских классиков“, которое выходит, по принятому теперь в Париже обычаю, тетрадами. Мы видели первую тетрадь этого чрезвычайно красиво-го издания: оно начинается сатирами Кантемира и будет заключать в себе творения Ломоносова, Третьяковского, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Богдановича, Хемницера, фон-Визина, Кострова, Княжнина, Муравьева и других. Нельзя не отдать полной справедливости усердию издателей и пользе их прекрасного предприятия, но позволено спросить их — давно ли Третьяковский попал в русские классики?» (БдЧ. 1836. Т. 14, № 1. Отд. VI. С. 30). Хвалебный отзыв о начавшемся издании появился в «Северной пчеле» (№ 5, 8 января; см. там же в № 64 от 18 марта рецензию на выход первых трех тетрадей издания, содержащих сочинения А. Д. Кантемира). В целом положительный отклик на идею издания серии сочинений русских классиков планировалось дать в «Современнике» (см.: Гоголь. Т. 8. С. 198–199), однако был лишь проанонсирован выход первой части (см.: Совр. 1836. Т. 1. С. 303). Вышедшая часть с сочинениями А. Д. Кантемира осталась единственной.

² Оценка, данная в этой заметке Сумарокову, вызвала отповедь Воейкова, который был убежден в авторстве Белинского:

«Никогда не было еще ни журналиста, ни журнального сотрудника на святой Руси у нас, который бы столь неуважительно отзывался об отцах нашей словесности: Ломоносове и Сумарокове, как некто подписывающийся *Виссарионом Бельнским* в статьях „Телескопа“. Это имя, вероятно, псе́доним, по крайней мере так уверяли нас приезжавшие из Москвы литераторы и книгопродавцы. Тяжкий грех лежит на г-не Надеждине за позволение этому юноше помещать в его журнале свои неосновательные и резкие приговоры.

В № 1-м „Телескопа“ вот как грубо изъясняется г. Бельнский о создателе Российского театра, о первом российском трагике: „Можно б подумать, что *тшма сия* («Вастола») есть труд блаженной памяти *стиходетеля* А. П. Сумарокова, если б оригинал ее не принадлежал Виланду, который жил позже трудолюбивого соперника Ломоносова и который писал на немецком диалекте, *маловедомом достопочтенному прелагателью Расина и Лафонтена*“.

Ну, право, если б творец „Семиры“, „Димитрия Самозванца“ и „Синава и Труво-ра“ был школьником, выключенным из какого-нибудь учебного заведения за неприличное поведение, и тогда не следовало бы трактовать его так презрительно» (ЛПРИ. 1836. № 45, 3 июня. С. 359; подпись: А. Кораблинский).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

НИЧТО О НИЧЕМ, ИЛИ ОТЧЕТ Г. ИЗДАТЕЛЮ «ТЕЛЕСКОПА» ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ (1835) РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<Отрывки>

Телескоп. 1836. Ч. 31, № 1 (выход в свет 2–5 февраля — МВед. 1836. № 11, 5 февраля). С. 155–171; № 2 (выход в свет 23–26 февраля — МВед. 1836. № 17, 26 февраля). С. 341–352; № 3 (выход в свет 8–11 марта — МВед. 1836. № 21, 11 марта). С. 473–493; № 4 (выход в свет 19–21 марта — МВед. 1836. № 24, 21 марта). С. 630–664; приводимые отрывки — № 1. С. 155–159, 161–164; № 3. С. 476–480.

Статья построена как «отчет» Надеждину о том, что происходило в русской литературе и журналистике за время его пребывания за границей (июнь–декабрь 1835 г.). По существу, статья представляет собой обозрение русских журналов. Преимущественное внимание Белинский уделяет «Библиотеке для чтения», очень остро и резко критикуя журнал Сенковского. В статье Белинского найдена емкая формула,

определяющая сущность «Библиотеки»: «...тайна постоянного успеха „Библиотеки“ заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал *провинциальный*, и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с какими он приноравливается и подделывается к провинции» (№ 2. С. 348–349). Критик последовательно характеризует все отделения «Библиотеки для чтения». «Стихотворения занимают в ней особое и большое отделение: под многими из них стоят громкие имена, каковы Пушкина, Жуковского; под большую часть стоят имена знаменитостей, выдуманных и сочиненных наскоро самою „Библиотекою“; но нет нужды: тут все идет за знаменитость; до достоинства стихов тоже мало нужды: имена, под ними подписанные, ручаются за их достоинство, а в провинциях этого речительства слишком достаточно. <...> В самом деле, кто не признает проблесков гения в самых сказках Пушкина потому только, что под ними стоит это магическое имя „Пушкин“? То же и в отношении к Жуковскому. А чем ниже Пушкина и Жуковского г. Тимофеев и Ершов? Их хвалит „Библиотека“, лучший русский журнал...» (Там же. С. 350, 351; об отношении Белинского к сказкам Пушкина см. примеч. 4 к его статье «Литературные мечтания» — наст. изд., с. 386). Прозаической части отделения «Русская словесность» Белинский уделил существенно большее внимание, в основном сосредоточившись на разборе произведений В. А. Ушакова, в частности повести «Пиюша». Остановиться на «Пиюше» у критика были свои резоны: в этой повести содержался пасквильный выпад против Белинского, выведенного Ушаковым под именем экс-студента Виссариона Кривошеина. Именно в связи с повестью Ушакова Белинский излагает свое мнение о народности в литературе. Ушаков, по определению Белинского, «народен в пошло понимаемом смысле этого слова». Своими произведениями он только доказывает истину, что «у кого нет таланта и кто захочет быть народным, тот всегда будет простонародным и тривиальным; тот, может быть, верно спишет всю отвратительность низших слоев народа, кабака, площади, избы, словом, черни, но никогда не уловит жизни народа, не достигнет его поэзии» (№ 3. С. 480). Отделение «Иностранная словесность», продолжает свой разбор «Библиотеки для чтения» Белинский, заключает в себе «все, что составляет последние ряды французской литературы, все, что составляет балласт французских, иногда и английских журналов, что чуждо всякой изящности, что отзывается пустотой, посредственностью, мелочностью и что отзывается провинциальным остроумием, провинциальною забавностью» (№ 4. С. 630). Так называемое ученое отделение («Науки и художества») — лучшее в «Библиотеке»; единственным его недостатком может считаться неконтролируемое вмешательство редактора журнала в тексты переводимых статей. «...Все статьи „Библиотеки“, ученые и неученые (исключая немногих оригинальных), отличаются каким-то общим характером и во взгляде и в изложении, а этот общий характер отличается каким-то провинциальным брамбеизмом», — пишет Белинский, обыгрывая псевдоним Сенковского «барон Брамбеус» (Там же. С. 633–634). Отделение «Критика» «носит на себе отпечаток какой-то посредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастяжимости ума, которого не становится даже на несколько страниц, г-н Тютюнджи-оглу (псевдоним, которым Сенковский подписывал свои критические статьи) «ненавидит всякий род истинной славы, гонит с ожесточением все, что ознаменовано талантом, и оказывает всевозможное покровительство посредственности и бездарности» (Там же. С. 641, 639). «Литературная летопись» и «Смесь» «Библиотеки» в целом оцениваются Белинским высоко, хотя и здесь он отмечает недобросовестность и пристрастность редактора. С пренебрежением отозвавшись о «Сыне отечества» (в частности, о напечатанном в первых его номерах за 1836 г. обозрении В. М. Строева «Русская критика в 1835-м году»), о «Северной пчеле» и «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», Белинский переходит к разбору московских журналов. «В них можно заметить, — пишет он, — и мысль, и какие-то порывы благородные и чуждые внешних расчетов, большое усердие к своему делу и вместе с тем всегда неудачу, неуспех, какую-то медленность и, вследствие этого, неустойку во внешних условиях программы; словом, московские журналы — люди добрые и честные, но какие-то *злополучные*, как будто бы под несчастною звездою рожденные и с самого начала существования осужденные на бедствия» (Там же. С. 652). Подтверждением этого общего заключения служит оценка, данная Белинским журналу «Московский наблюдатель». Журнал, по мне-

нию Белинского, не оправдал возлагавшихся на него надежд и не смог противопоставить «честную литературную деятельность» «литературной промышленности», представителем которой является «Библиотека для чтения» (Там же. С. 654–655). Он не соответствует заявленному в его программе типу энциклопедического журнала, поскольку ограничивается немногими предметами — литературой, историей, сельским хозяйством и политической экономией, и не имеет определенного лица из-за слабости критического отдела. Подробнее свои взгляды на «Московский наблюдатель» Белинский изложил в особой статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“», напечатанной в следующих книжках «Телескопа» (1836. Ч. 32, № 5. С. 120–154; № 6. С. 216–387). Статья «Ничто о ничем...» демонстрирует многочисленные точки соприкосновения со статьей Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанной в первом томе «Современника» (см. об этом наст. изд., с. 439–440).

¹ Имеется в виду «Ничто, или Альманачная статейка о ничем. Письмо к А. Ф. Смирдину» Ф. В. Булгарина, напечатанная в первой части альманаха «Новоселье» (СПб., 1833. С. 537–552) и построенная на обыгрывании отрицательных местоимений: «Верьте мне, *ничто* не есть вещь незначительная. Напротив того, *ничто* есть мать *всего*. Оглянитесь на ваши полки с книгами и порассудите, чем держатся многие наши журналы, чем начинены наши расславленные романы, наши модные поэмы, повести, баллады, оды, анакреонтики, песни и сказки! — Ей-Богу, *ничем!*» (с. 540); «Величайшая истина, сущая философическая аксиома есть та, что люди более всего любят *ничто* и всю жизнь гоняются за *ничем!*» (с. 541); «...я охотно сознаюсь, что я выучился толковать о *ничем* у молодых наших мудрецов, у модных дам и у принадлежавших к ним авторов, которые не два и не три часа говорят *ничто*, но всю жизнь будут говорить и писать *ничто* и о *ничем!*» (с. 543–544), и т. д. Резкий отзыв о статье Булгарина содержался в рецензии Н. И. Надеждина на первую часть «Новоселья» (см.: Телескоп. 1833. Ч. 14, № 5. С. 106–107; П. в критике, III. С. 443).

² Определение «образцовые» применительно к писателям и произведениям, считавшимся классическими и достойными подражания, действительно было широко распространено в печати и получило отражение в названиях известных изданий: «Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей» (М., 1811. Ч. 1–5); «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе» (СПб., 1815–1817. Ч. 1–6; 2-е изд. СПб., 1822–1824. Ч. 1–6); «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (СПб., 1815–1817. Ч. 1–6; 2-е изд. СПб., 1821–1822. Ч. 1–6) и др. Ср. в рецензии Белинского на «Сочинения в прозе и стихах» К. Н. Батюшкова (СПб., 1834. Ч. 1–2): «Тредьяковский, Поповский, Сумароков, Херасков, Петров, Богданович, Бобров, Капнист, г. Воейков, г. Катенин, г. Лобанов, Висковатов, Крюковской, С. Н. Глинка, Бунина, братья Измайловы, В. Пушкин, Майков, кн. Шаликов — все эти люди не только читались и приводили в восхищение, но даже почитались поэтами; этого мало, некоторые из них слыли гениями первой величины, как-то: Сумароков, Херасков, Петров и Богданович; другие были удостоены тогда почетного, но теперь потерявшего смысл титула *образцовых писателей*». И далее о Батюшкове: «Но за что превозносили его похвалами современники, чему удивлялись они в нем, почему провозгласили его *образцовым* (в то время то же, что ныне *гениальным*) писателем?...» (Молва. 1835. Ч. 9, № 13. Стб. 205, 206; Белинский. Т. 1. С. 164, 165).

³ Имеется в виду цикл статей А. Ф. Мерзлякова о поэме М. М. Хераскова «Россияда», напечатанных в журнале «Амфион» в 1815 г. (№ 1–9). Мерзляков высказал ряд критических замечаний относительно композиции, сюжетной механики, системы персонажей поэмы и пр., подходу при этом к поэме Хераскова с точки зрения классицистической теории эпопеи.

⁴ Далее Белинский несколько слов посвящает Державину, существенно корректируя прежнюю оценку его творчества, заявленную в «Литературных мечтаниях» (1834). Если в первой статье критик утверждал, что имя Державина «мы с гордостью можем поставить подле великих имен поэтов всех веков и народов, ибо он один был свободным и торжественным выражением своего великого народа и своего дивного времени», что «он был оригинален и народен, сам не зная того» (Молва. 1834.

Ч. 8, № 46. С. 318, 315), то теперь он пишет, что Державин «разделял верования и мнения своего времени об условиях творчества и, назло своему гению, всю жизнь свою шел по ложному пути», «он льстил современности, нападал на интересы частные, современные и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда не изменяющимся, — к интересам души и сердца человеческого» (с. 159, 161). Резко критикуя одическое творчество Державина, Белинский готов увидеть «истинную поэзию» только в тех его произведениях, «которые противоречили современной ему эстетике», — например в «Водопаде», являющемся, по мнению критика, «просто элегией», но элегией, запечатленной гением Державина (с. 159–160).

⁵ Эта статья не была написана. Цикл статей о Пушкине Белинский написал только в 1840-х гг.

⁶ В статье «Литературные мечтания» (см.: Молва. 1834. Ч. 8, № 52. С. 442–448; Белинский. Т. 1. С. 89–94; наст. изд., с. 66–68).

⁷ Имеется в виду статья Н. И. Надеждина «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (Телескоп. 1836. Ч. 31. № 1. С. 5–60; № 2. С. 203–264). Взгляд Надеждина на народность в литературе близок к идеям, высказанным Белинским. «Многие под народностью, — писал Надеждин, — разумеют одни наружные формы русского быта, сохраняющиеся теперь только в простонародии, в низших классах общества. И вот тьма-тьмуцкая наших писателей, особенно писачек из задних рядов, ударились, со всего размаха, лицом в грязь этой грубой, запачканной, безобразной народности, которую всего лучше следовало бы называть простонародностью. <...> Но народность, которой я требую, имеет гораздо обширнейшее значение. Под народностью я разумею совокупность всех свойств, наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и нравственных, из которых складывается физиономия русского человека, отличающая его от всех прочих людей — европейцев столько ж, как и азиатцев. Как ни резки оттенки, положенные на нас столь различными влияниями столь разных цивилизаций, русский человек, во всех сословиях, на всех ступенях просвещения и гражданственности, имеет свой отличительный характер, если только не прикидывается умышленно обезьяною. Русский ум имеет свой особый сгиб; русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостью и гибкостью; точно так же как русское лицо имеет свой особый склад, отличается особенным, ему только свойственным выражением. У нас стремление к *европеизму* подавляет всякое уважение, всякое даже внимание к тому, что именно русское, народное. <...> Обольстительные идеи космополитизма не существуют в нынешней Европе: там всякий народ хочет быть собою, живет своей самобытной жизнью. Ни в одном из них цивилизация не изгладил родной физиономии; она только просветляет ее, очищает, совершенствует» (№ 2. С. 255, 256–258; *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 440–441).

⁸ Имеются в виду «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Старосветские помещики» Н. В. Гоголя. Ср. в статье Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния» (Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 559; Белинский. Т. 1. С. 284).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

**«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ».
ПОВЕСТЬ В СТИХАХ, СОЧ<ИНЕНИЕ> ВИЛАНДА
В ТРЕХ ЧАСТЯХ. ИЗД<АЛ> А. ПУШКИН**

Молва. 1836. Ч. 11, № 2 (выход в свет 23–26 февраля — МВед. 1836. № 17, 26 февраля). С. 58–64. Из раздела «Библиография». Подпись (под последней статьей раздела): В. Б.

¹ Через несколько лет, в 1843 г., в первой статье из цикла «Сочинения Александра Пушкина» Белинский изменил свое мнение на противоположное: «...„Руслан и Людмила“ — такая поэма, появление которой сделало эпоху в развитии русской литературы. Если бы какой-нибудь даровитый поэт написал в наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, в авторе этой сказки никто не увидел бы великого таланта в будущем, и сказки бы никто читать не стал; но „Руслан и Людмила“, как сказка, *вовремя* написанная, и теперь может служить доказательством того, что не ошиблись предшественники наши, увидев в ней живое пророчество появления великого поэта на Руси. У всякого времени свои требования, и теперь даже обыкновенному таланту, не только гению, нельзя дебютировать чем-нибудь вроде „Руслана и Людмилы“ Пушкина...» (Белинский. Т. 7. С. 102–103).

² «Ивангое» («Айвенго»; «Ivanhoe», 1820) и «Пуритане» («Old Mortality», 1816) — романы Вальтера Скотта; «Гамлет» («Hamlet, Prince of Denmark», 1600–1601) и «Отелло» («The Tragedy of Othello, The Moor of Venice», 1604) — трагедии Шекспира.

³ Поэму «Анджело» Белинский всегда оценивал невысоко, считая ее одним из слабейших произведений Пушкина (см. наст. изд., с. 55, 387).

⁴ Приведенные в статье цитаты: Вастола, или Желания. Повесть в стихах. Сочинение Виланда. В трех частях. Издано А. Пушкиным. СПб., 1836. С. 6–8, 12–13, 14.

Ф. В. БУЛГАРИН

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЦЕНУ

<Отрывки>

СПч. 1836. № 46, 26 февраля; № 47, 27 февраля; № 48, 28 февраля; приводимые отрывки — № 47 и 48.

В статье Булгарина обращает на себя внимание характеристика «Бориса Годунова». Критические высказывания о пушкинской трагедии достаточно регулярно появлялись в «Северной пчеле». В 1834 г. в газете была напечатана рецензия за подписью «Н. К.» на драму Е. Ф. Розена «Россия и Баторий», где сравнение произведений Розена и Пушкина проводилось не в пользу «Бориса Годунова» (СПч. 1834. № 8, 11 января; № 9, 12 января; наст. изд., с. 32–35). В следующем году Булгарин упомянул Пушкина в рецензии на трагедию в трех действиях М. Е. Лобанова «Борис Годунов» (СПб., 1835).

«Злополучный Борис! — писал Булгарин. — Разве мало того, что при жизни терпел ты от козней бояр, от преследований враждебной тебе судьбы, от злых наветов и от Гришки! Тебе и за гробом нет спокойствия! Начиная с Нарезного и кончая М. Е. Лобановым всякий поднимает тебя из могилы, бедный старец; выводит на позорище, заставляет говорить такие вещи, которых тебе никогда и в голову не приходило.

До сих пор судьба Годунова в нашей литературе была так же несчастлива, как и в истории: никому не удалось воспользоваться вполне этим удивительным явлением нравственного мира, поэтически разгадать эту чудесную загадку — от чего, кажется, отказывается история, — развить во всем его объеме этот колоссальный, истинно драматический характер. Кажется, все элементы у нас под рукою: необыкновенная судьба человека; сильные характеры и редкие физиономии вокруг него; борьба народов, кипучая и бурная; чудные события; действие прямо драматическое; урок строгий и великий! Чего же недостает? Безделицы: гения мощного и исполинского, как сам предмет; художника с душою, которая из этого хаоса событий и характеров сплела бы одно целое, исполинское и прекрасное, осветила бы создание свое пламенем поэзии, влила бы в него весь пыл жизни, — одним словом, недостает другого Шекспира.

А. С. Пушкин написал несколько удачных и замечательных сцен из истории Бориса, и только. Но произведение Пушкина было создано без особенной формы — и потому мы не вправе ничего требовать» (СПч. 1835. № 64, 20 марта).

¹ «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779) — комическая опера в 3-х действиях А. О. Аблесимова (1742–1783), принесшая ему широкую литературную известность. Неоднократно переиздавалась. Исполнялась с музыкой М. М. Соколовского; с 1792 г. — с музыкой Е. И. Фомина. Вызвала многочисленные подражания.

² Комедия «Модная лавка» (пост.: 1806; опубли.: 1807), высмеивающая нелепости дворянских нравов, продолжала линию ранней сатирической прозы И. А. Крылова.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА». ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Молва. 1836. Ч. 11, № 3 (выход в свет 8–11 марта — МВед. 1836. № 21, 11 марта). С. 83–87. Из раздела «Библиография». Подпись (под последней статьей раздела): В. Б.

¹ О «Песнях западных славян» см. подробнее примеч. к статье О. И. Сенковского «Стихотворения Александра Пушкина» — наст. изд., с. 417–418.

² В четвертую часть «Стихотворений» вошли «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (впервые: БдЧ. 1834. Т. 2, № 2), «Сказка о золотом петушке» (впервые: БдЧ. 1835. Т. 9, № 4) и «Сказка о рыбаке и рыбке» (впервые: БдЧ. 1835. Т. 10, № 5). Свое отношение к сказкам Пушкина Белинский высказал еще в «Литературных мечтаниях» (см. наст. изд., с. 55, 63).

³ Белинский цитирует неточно, у Пушкина:

За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал...

⁴ Восторженный отзыв об «Элегии» Белинский дал уже в «Литературных мечтаниях» (см.: Молва. 1834. Ч. 8, № 50. С. 399; наст. изд., с. 63–64).

С. П. ШЕВЫРЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ

<Отрывки>

МН. 1836. Ч. 6. Март, кн. 1 (выход в свет 26 марта — объявление, приложенное к МВед. 1836. № 25, 25 марта). С. 77–105; приводимые отрывки — с. 77–81, 88–90. Из отдела «Критика и библиография».

Литературно-критические обзоры С. П. Шевырева под заглавием «Перечень Наблюдателя» появлялись в журнале эпизодически и не стали в нем постоянной рубрикой. В первом своем обзоре, отрывки из которого печатаются в настоящем издании, С. П. Шевырев (о нем см.: П. в критике, II. С. 334–335) продолжает развивать идеи, заявленные им в критических статьях, печатавшихся в «Московском наблюдателе» в 1835 г., в частности двух программных, появившихся в первых номерах журнала, — «Словесность и торговля» (Ч. 1. Март, кн. 1. С. 5–29) и «О критике вообще и у нас в России» (Апрель, кн. 1. С. 493–525); подробнее о них см. примеч. 46 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и статью «Московский наблюдатель» — наст. изд., с. 457, 576. Разбору «Перечня Наблюдателя» уделил особое внимание В. Г. Белинский в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 266–285 (пагинация в номере нарушена); Белинский. Т. 2. С. 166–176). Выступая против «свет-

скости» и «аристократизма» журнала в целом, Белинский с этих же позиций рассматривает и рецензии Шевырева.

¹ Ср. мнение Белинского: «Читателей первого разряда „Наблюдатель“ не хотел удовлетворять потому, что он совершенно чужд всяких карманных отношений и что оставаться внакладе при покупке книги есть достойное наказание для невежества. Мнение очень благодарное! Но мы имеем на этот счет свое, которое если не так благородно, зато заключает в себе побольше здравого смысла. Мы думаем, что литературный спекулянт, наказывающий невежество контрибуциею за дурные книги, ничем не честнее молодцов, которые наказывают рассеянность зевак, лишая их кошелька или часов: должен ли же журналист своим молчанием способствовать успехам литературных спекулянтов?.. Нет, по нашему простому, плебейскому мнению, журналист должен поставить себе за священнейшую обязанность неуспешно преследовать надувателей невежества, препятствовать успехам мелкой литературной промышленности, столь гибельной для распространения вкуса и охоты к чтению» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 267–268; Белинский. Т. 2. С. 167).

² Это заявление Шевырева вызвало возражение Белинского: «Нет, этих причин нам недостаточно — мы нашли другую: библиография дело очень хлопотное, с нею каждый день наживаешь по врагу, который готов вредить вам и клеветою, и всеми средствами; благоразумное же молчание избавляет от этих неприятностей; и вот причина, почему „Наблюдатель“ не хочет отдавать публице отчета в новых книгах. Оно и лучше!..» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 269; Белинский. Т. 2. С. 168). Ранее, в статье «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы», Белинский также указывал на неполноту и недостаточность критико-библиографического отдела «Наблюдателя»: «Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постоянною его отделением, длиною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею. И это тем важнее, что она для всех приманчива, всеми читается жадно, всеми почитается украшением и душой журнала. Первая ошибка „Наблюдателя“ состоит в том, что он не сознал важности критики, что он как бы изредка и неохотно принимается за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. Для публики здесь та польза, что, питая доверенность к журналу, она избавляется и от чтения и от покупки дурных книг и в то же время, руководимая журналом, обращает внимание на хорошие; потом, разве по поводу плохого сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной мысли, разве к разбору вздорной книги нельзя привязать какого-нибудь важного суждения? Для журнала библиография есть столько же душа и жизнь, сколько и критика» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 659–660; Белинский. Т. 2. С. 48).

³ Выбор рецензируемых Шевыревым книг диктуется изложенными им в начале статьи соображениями. Далее критик дает положительный отзыв о романе фрейлины Олимпиады Петровны Шишкиной (1791–1854) «Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале XVII столетия» (СПб., 1835. Ч. 1–4). Появление исторического романа, по мнению Шевырева, уже само по себе является важным событием, но примечателен и тот факт, что роман написан женщиной. Свой высокий взгляд на русскую женщину Шевырев выразил ранее в рецензии на книгу Н. Ф. Павлова «Три повести» (М., 1835): «Нет, не такова женщина у нас в России! Она едва ли не лучше мужчины; она его образованнее, потому ли что образованием женское не так сложно, как мужское; потому ли что ей более досуга предаваться свободным занятиям ума, чем мужчине, рано увлекаемому службой; потому ли, наконец, что в России все женские заведения выше мужских. Если когда мужчина в России будет достоин своего назначения, это будет дар женщины, плод ее заботливости о нем. Посмотрите, как она посвятила себя у нас воспитанию детей <...>. Все новое поколение женщин может нам это свидетельствовать: уж это не прежняя женщина ветреная, бальная, усталая от танцев, утомленная от толпы обожателей! — Нет, это женщина — мать, воспитательница будущего человека в России. Вот теперь наша женщина! Ее назначение велико и славно. Она, в своей детской кормилица и няня детей своих, кладет основание делу великому — воспитанию народному; она достойнее здесь служит отечеству, чем мужчина, увлеченный чувством — то честолюбия, то корысти!» (МН. 1835. Ч. 1.

Март, кн. 1. С. 127). Появление романа Шишкиной дало критику повод к некоторым рассуждениям о женской литературе. «Нельзя не пожалеть о том, — замечает Шевырев, — что наши дамы принимают мало участия в трудах литературных. Наша словесность, к сожалению, есть общество слишком исключительно мужское. Это что-то в роде клуба. Потому, может быть, обхождение и разговор в сословии литераторов отзываются до нестерпимого трубкою и пуншем: читая иную критику или статью, кажется, так и чувствуешь этот нечистый запах атмосферы исключительно мужского общества. Появление многих дам в сословии писателей могло бы иметь, как я думаю, полезное влияние на общежитие и нравы нашей литературы» (с. 81–82). На это высказывание откликнулся Белинский: «Из нашей литературы хотят устроить балную залу и уже зазывают в нее дам, из наших литераторов хотят сделать светских людей в модных фраках и белых перчатках, энергию хотят заменить вежливостью, чувство приличия, мысль модною фразою, изящество щеголеватостию, критику комплиментами; короче — к нам снова зовут восемнадцатый век, этот золотой век светской (*profane*) литературы...» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 271; Белинский. Т. 2. С. 169).

⁴ Вастола, или Желания. Повесть в стихах. Соч<инение> Виланда. В трех частях. Изд<ана> А. Пушкиным. СПб., 1836. Историю публикации этой книги см. наст. изд., с. 423.

⁵ Вастола, или Желания. Повесть в стихах. С. 77.

⁶ См.: БдЧ. 1836. Т. 14, № 1. Отд. VI. С. 30; наст. изд., с. 103.

⁷ Имеется в виду рецензия О. И. Сенковского на «Востолу» (БдЧ. 1836. Т. 14, № 2. Отд. VI. С. 31–35; наст. изд., с. 105). В том же разделе «Литературная летопись» второго номера «Библиотеки» за 1836 г. помещен хвалебный отзыв Сенковского о романе Булгарина «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни», изданном А. Ф. Смирдиным (СПб., 1835), начинавшийся следующими словами: «Роман Ф. В. Булгарина всегда — чрезвычайно приятная находка в нашей словесности: что ни говорите, господа критики, не многие пишут у нас такие романы, как Ф. В. Булгарин» (БдЧ. 1836. Т. 14, № 2. Отд. VI. С. 37). В статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» Белинский писал: «Переходя к „Востоле“, г. Шевырев удивляется, как могут быть такие люди, которые сомневаются: Пушкина ли это поэма или нет. А что ж тут удивительного, если смеем спросить? На поэме стоит имя Пушкина: для меня этого довольно, чтоб иметь право приписать ему эту поэму. Вы говорите, что Пушкин не в состоянии написать такого дурного произведения: а почему ж так! Ведь он написал же „Анжело“ и несколько других плохих сказок? Да и каких чудес на свете не бывает? Погодите, может быть, Пушкин подарит нас еще и октавами из Тасса! Г. Шевырев негодует на „Библиотеку“ за то, что она „завлекательно объявила, что Пушкин воскрес в этой поэме (как будто бы кто-нибудь сомневался в жизни его таланта)“ — а кто ж, смеем спросить, не сомневался в этом?.. Разве только один „Московский наблюдатель“, и то только потому, что Пушкин принадлежит к числу его сотрудников? Равным образом, мы не видим ничего предосудительного и в том, что „Библиотека“ стала укорять Пушкина в том, что он издал такое произведение: если позволительно упрекать книгопродавцев за издание дурных книжонок, то почему же поэт должен быть свободен от этого упрека?..» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 280–281; Белинский. Т. 2. С. 174).

⁸ Выписав этот пассаж из статьи Шевырева, Белинский восклицал: «Хороша мораль — нечего сказать! Может быть, в свете надуть кого бы то ни было, хотя бы и невежество, почитается нравственным? Мы этого не знаем; мы люди простые, не светские, и обман почитаем во всяком случае делом предосудительным. Притом же вспомните о провинциалах, между которыми есть и не невежды, но которые не имеют возможности развернуть книги, не выписавши ее сперва и не заплативши за нее вперед деньги; для них достаточно имени великого и первого поэта русского, чтоб не иметь никакого подозрения в обмане...» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 281; Белинский. Т. 2. С. 174).

⁹ Далее Шевырев продолжает свой «перечень» отзывом о книге Сильвио Пеллико (Pellico; 1789–1854) «Об обязанностях человека» («*Dei doveridegli uomini. Discorso ad un giovane*», 1834), вышедшей в переводе Н. Хрусталева (Одесса, 1835).

Возглавлявшему журнал «*Conciliatore*» писателю и карбонарию Пеллико в 1820 г. был вынесен смертный приговор, замененный заточением в крепости Шпильберг. Выйдя на свободу, Пеллико опубликовал автобиографические записки «*Мои темницы*» («*Le mie prigioni*», 1832), получившие широкую известность. Шевырев, высоко оценивая Сильвио Пеллико как личность, писал: «Из этих страданий, из этой жизни мученика он вынес нам две книги, которыми посеял много семян чистой нравственности на заглохшей и черствой ниве человеческого сердца. Кто читал его „*Prigioni*“ и кто способен еще сочувствовать, тот верно душевными слезами смочил эти семена и благодарит Пеллико. Если бы книга „*Об обязанностях человека*“ не вышла вслед за книгою „*Жизни*“, — она показала бы нам общими местами, сухим, произвольно догматическим уроком, который бы мы прослушали без внимания» (с. 91–92). Последнее замечание Шевырева вызвало возражение Пушкина в рецензии на подготовленный С. Н. Дириным новый перевод книги «*Об обязанностях человека*»: «Неужели Сильвио Пеллико имеет нужду в извинении? Неужели его книга, вся исполненная сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармонического красноречия, могла кому бы то ни было, и в каком бы то ни было случае, показаться *сухой* и холодно догматической? Неужели, если б она была написана в тишине Фиваиды или в библиотеке философа, а не в грустном уединении темницы, недостойна была бы обратить на себя внимание человека, одаренного сердцем? — Не можем верить, чтобы в самом деле такова была мысль автора „*Истории поэзии*“» (Совр. 1836. Т. 3. С. 309; XII, 100). Заключительную часть статьи критик посвящает «Памятным запискам титулярного советника Чухина...» Булгарина. Подробно разбирая сюжет и образы главных героев романа, Шевырев остроумно заметил: «Мы всегда ценим мнение самого автора о его сочинении, если он сам, в порыве чистосердечия, невольно нам его высказывает. Бывают у писателя такие минуты сердечного упоения, когда правда „капает с пера“ на самого же автора... Мы выражаемся удачным словом г. Булгарина. Вот что он сам говорит о своем романе: „Кое-где мысль, кое-где чувство, тут правда, тут догадка, ну, словом, *чуха!*.. Стой! Вот как находят правду! — Думаешь, думаешь, а правда не ложится под перо, а там, глядь, и капнет с пера! Книга моя есть *чуха*, и я, подобно баронам Средних веков, приняв название по имени, по моей книге, и назвал *Чухин*“» (с. 98). По мнению Шевырева, роман особенно должен понравиться «тому классу читателей, который по невинности своей охотно живет еще в этом мире небывалых приключений и верит романисту на слово, — верит, что *господа* точно так и живут и говорят, как в книгах напечатано. Любимый роман этого класса до сих пор еще: „Не любю, не слушай, а лгать не мешай“. Но зато подобными книгами ни словесность наша, ни образование конечно не сделают ни одного шагу из передней» (с. 105; о книге под заглавием «*Не любю, не слушай, а лгать не мешай*» см. примеч. 23 к статье Н. В. Гоголя «*О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году*» — наст. изд., с. 452).

О. И. СЕНКОВСКИЙ

«Вообще нет ничего нового в политическом свете...»

БдЧ. 1836. Т. 15, № 4 (выход в свет 30 марта — билет на выпуск номера из типографии подписан 29 марта, см.: Березина. С. 301). Отд. VI. С. 67–70. Из раздела «Литературная летопись». Без подписи.

Заметка «Библиотеки для чтения» предваряла выход в свет первого тома пушкинского журнала «*Современник*». Это был очередной выпад «Библиотеки» против Пушкина. С мая 1835 г. Пушкин перестал отдавать в журнал свои произведения. В сентябре он отказался помочь А. П. Керн продать переведенный ею роман Смирдину, заметив коротко: «...со Смирдиным дела я никакого не имею» (письмо жене от 29 сентября 1835 г. — XVI, 51). Видимо, в литературных кругах Петербурга в это время уже не было тайной, что поэт затевает свое издание. Пока, осенью 1835 г., речь шла об альманахе, и Плетнев активно занимался его подготовкой (см. письмо Пушкина Плетневу от октября (не позднее 11-го) 1835 г. — XVI, 55–56). В ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения» была напечатана фантастическая повесть барона

Брамбеуса (О. И. Сенковского) «Записки домового. Рукопись без начала и конца, найденная под голландскою печью во время перестройки», один из пассажиров которой, по-видимому, был направлен против Пушкина. Персонаж повести черт Бубантес, исправляющий должность «главного черта журналистики», рассказывает: «Вот и нынче, провел весь вечер в одном газетном вертепе, где курили и клеветали хуже, чем в аду. Я завернул туда, чтоб помочь состряпать маленький журнальный грешок: в нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу; решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек тридцать ее приятелей, всё из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали ее с земли, за уши, за руки и за ноги. Я присоединился к ним и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы; пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший! ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжелее. Мы ее бросили» (БдЧ. 1835. Т. 13, № 11. Отд. I. С. 82–83; см.: *Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения»*. М., 1966. С. 75). В январе и феврале «Библиотека» иронизировала над Пушкиным как издателем «Востолы» (см.: БдЧ. 1836. Т. 14, № 1. Отд. VI. С. 30; № 2. Отд. VI. С. 31–35; наст. изд., с. 103, 105). Параллельно Смирдин пытался воспрепятствовать пушкинским издательским планам другим образом. «Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его „Библиотеки“, — сообщал Пушкин П. В. Нащокину в 10-х числах января 1836 г.— Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая bestия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно» (XVI, 73).

По очень вероятной гипотезе В. П. Красногорского, развитой впоследствии В. Г. Березиной, выступление Сенковского было спровоцировано так или иначе дошедшим до него известием о готовящейся в первом томе «Современника» критике в адрес «Библиотеки для чтения» — статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (см.: *Красногорский В. П. Новая статья Пушкина: (Пушкин о Гоголе) // Наш труд: Сборники литературы, драмы и критики*. [Б. м.] 1924. № 2. С. 115; *Березина В. Г. Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» // Гоголь: Статьи и материалы*. Л., 1954. С. 76–77; Березина. С. 299–300). В пользу этого отчасти свидетельствует апелляция Сенковского к программе пушкинского журнала, которая не приводилась в объявлении об издании «Современника», напечатанных в «Северной пчеле» (1836. № 27, 3 февраля), «Московских ведомостях» (1836. № 13, 12 февраля) и «Санкт-Петербургских ведомостях» (1836. № 35, 14 февраля; № 42, 22 февраля и № 49, 1 марта). Сенковский, с 1828-го по апрель 1833 г. занимавший должность цензора в Санкт-Петербургском цензурном комитете и имевший знакомства в цензуре, мог до публикации ознакомиться с направленной против его журнала и лично против него статьей «Современника» или, по крайней мере, узнать ее основные тезисы и счесть эту статью официальной программой нового журнала, тем более что имя автора статьи, по-видимому, оставалось ему неизвестным и он имел все основания приписать ее самому редактору «Современника». Резким выступлением против Пушкина он наносил упреждающий удар «Современнику».

Выходка «Библиотеки для чтения» вызвала возмущение в близких Пушкину литературных кругах. Сенковскому отвечали в печати В. П. Андросов (МН. 1836. Ч. 6. Апрель, кн. 1. С. 492–494; наст. изд., с. 143) и, по-видимому, В. Ф. Одоевский (СПч. 1836. № 86, 17 апреля; наст. изд., с. 138); едкими замечками с некоторым опозданием откликнулся А. Ф. Воейков (ЛПРИ. 1836. № 47, 10 июня. С. 374–375; № 49–50, 17 июня. С. 392–397; наст. изд., с. 158, 475).

¹ *Ашантии* — могущественное племя в западной Африке, на рубеже XVII–XVIII вв. образовавшее собственное сильное государство Ашанти (территория современной Ганы). На протяжении почти всего XIX в. ашантии вели войны с англичанами (последняя ко времени написания статьи, четвертая англо-ашантийская война, длившаяся несколько лет, закончилась в 1831 г.). Сведения об этом публиковались в печати пушкинского времени (см.: Путешествие Эдуарда Боудича в землю

ашантиев, во внутренности Африки // СА. 1825. Ч. 13, № 1. С. 21–40; № 2. С. 135–152; № 3. С. 243–254; Взгляд на войну англичан с ашантиями и на состояние английских поселений по Золотому берегу // СО. 1825. Ч. 102, № 14. С. 151–172; Ашантии // Энциклопедический лексикон. СПб., 1835. Т. 3. С. 506–514, статья П. С. Савельева).

² Имеется в виду только журнал «Московский наблюдатель».

³ Видимо, Сенковский намекает здесь на предшествующий опыт Пушкина-журналиста — «Литературную газету» (1830–1831), все время издания которой было отмечено ожесточенной литературной полемикой; возможно, впрочем, в этой фразе содержится и побочный выпад в адрес «Северной пчелы».

⁴ *Геликон* — священная гора в Средней Греции (на юге Беотии), где, согласно греческим мифам, обитали музы. У ее подножия находилась роща муз, где стояли их изваяния; в роще устраивались праздники муз (музеи), на которых происходили состязания в пении и музыке (см.: *Павсаний*. Описание Эллады. IX, XXVIII–XXXI).

⁵ Измененная в целях грамматического согласования цитата из третьей книги элегий Проперция (V, 20). У Проперция: *Musarumque choris implicuisse manus* (И с хороводами муз руки свои сочел). — *Пер. Л. Остроумова*).

⁶ *Виофяне* (беотийцы) — жители Беотии, которые считались простаками и грубиянами.

⁷ Очевидный намек на стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому» (МН. 1835. Ч. 4. Сентябрь, кн. 2), направленное против министра народного просвещения С. С. Уварова (см. о нем подробнее: наст. изд., с. 23–25).

Н. В. ГОГОЛЬ

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ

Совр. 1836. Т. 1 (выход в свет 11 апреля 1936 г. — П. в печати. С. 129). С. 192–225. Без подписи.

Н. В. Гоголь сотрудничал в пушкинском «Современнике» с середины января до начала июня 1836 г. Позднее, в неопубликованной при жизни писателя статье «О „Современнике“» (1846), он оценивал свою роль в пушкинском журнале как ключевую. «...Сильного желания издавать этот журнал в нем не было, — писал Гоголь о Пушкине, — и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал» (Гоголь. Т. 8. С. 422; см. также письмо Гоголя А. О. Смирновой от 28 декабря 1844 г. — Там же. Т. 12. С. 438). Достоверность этого утверждения вызывает сомнения. Нельзя отрицать, однако, что доля участия Гоголя в первом томе «Современника» была действительно велика. Помимо комментируемой статьи он поместил здесь повесть «Коляска» (1835), драматический отрывок «Утро делового человека» (1835–1836), написал большую часть рецензий для библиографического раздела «Новые книги» и, возможно, завершающую его заметку (вопрос об ее авторстве остается дискуссионным, см.: Березина. С. 306–312; Рыскин. С. 39–44). Предположительно в том же томе Гоголь намеревался поместить и повесть «Нос», первоначально переданную им в «Московский наблюдатель» (напечатана в третьем томе «Современника») (см.: Гоголь. Т. 3. С. 653, коммент. Н. Л. Степанова; Петрунина, Фридлендер. С. 213). Кроме того, в феврале–апреле 1836 г. Гоголь написал для первого тома «Современника» статьи «Петербург и Москва» и «Петербургская сцена 1835/36 гг.», которые, встретив ряд возражений со стороны Пушкина, не были опубликованы и позднее вошли в состав «Петербургских записок 1836 года», появившихся уже после смерти поэта в шестом томе журнала (см.: Гоголь. Т. 8. С. 768–769, коммент. Б. В. Томашевского). Версия об активном участии Гоголя в комплектовании и

печатании первого тома «Современника», решении им технических и редакционных вопросов (см.: *Каллаш В. В.* 1) Письмо П. Мартоса к Пушкину // Русская мысль. 1911. № 9. С. 151; 2) Заметки о Гоголе. П. Пушкин и Гоголь // Голос минувшего. 1913. № 19. С. 236; Рыскин. С. 35) не имеет твердых фактических оснований. В январе—апреле 1836 г. Гоголь писал для «Современника», работал над завершением комедии «Ревизор», хлопотал об ее цензурном разрешении, публикации и театральной постановке. В подобных условиях его участие в общей подготовке издания вряд ли могло быть значительным.

Принято считать, что статья «О движении журнальной литературы...» была задумана не ранее 3 февраля 1836 г. — даты публикации в «Северной пчеле» (№ 27) первого объявления об издании «Современника». На это как будто указывает черновой автограф статьи, содержащий обращение автора к Пушкину (впоследствии зачеркнутое): «...меня обрадовало так объявление о новом журнале, под которым подписано было Ваше знакомое всей России имя. Это объявление было причиною рождения посылаемой к Вам статьи» (Гоголь. Т. 8. С. 537). В. В. Гиппиус и Е. И. Рыскин, однако, не без оснований видели здесь чисто литературную форму обращения к издателю, подчеркивая тем самым гипотетичность верхней границы датировки (*Гиппиус В. В.* Литературное обещание Гоголя с Пушкиным // Уч. зап. Пермского гос. ун-та. Пермь, 1930. Вып. 2. С. 105; *Рыскин Е. И.* О статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» // РЛ. 1965. № 1. С. 136). Завершена статья в целом была к концу февраля. В записке к Пушкину, сопровождавшей посылку к нему сцены «Утро чиновника» и предположительно датированной 2 марта 1836 г., Гоголь просил: «Отправьте ее, если можно, сегодня же или завтра поутру к цензору, потому что он может ее <взять> в Цензурный комитет вместе с „Коляскою“, ибо завтра утром заседание. Да возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди и позабыли, что туды нужно включить многое из остающегося у меня хвоста. Я прошу сделать так, чтоб эта сцена шла вперед, а за ней уже о литературе» (Гоголь. Т. 11. С. 36–37, 366–367, коммент. В. В. Гиппиуса; XVI, 91, с датой 15 (?) марта; «Утро чиновника» — первоначальный вариант заглавия отрывка «Утро делового человека», измененный по требованию цензуры). Как видно из этой записки, набиравшийся в это время в типографии текст статьи, по-видимому, не был окончательным. Нижняя граница ее датировки, таким образом, может определяться только датой цензурного разрешения «Современника» — 31 марта 1836 г.

В исследовательской литературе имеется ряд предположений относительно истоков замысла гоголевской статьи. Гипотеза В. В. Каллаша (см.: *Каллаш В. В.* Письмо П. Мартоса к Пушкину. С. 151), рассматривавшего ее как непосредственный отклик на заметку О. И. Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15. № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст. изд., с. 121), должна быть отклонена как не согласующаяся с хронологией: статья была в первоначальном варианте завершена Гоголем за месяц до появления заметки Сенковского. Существует мнение, что статья «О движении журнальной литературы...» первоначально задумывалась Гоголем не как полемическое выступление, а как шаг к осуществлению пушкинского совета заняться созданием истории русской критики (см. запись Пушкина в дневнике от 7 апреля 1834 г.: «Гоголь по моему совету начал Историю русской критики» — XII, 324) (см.: *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. С. 402 (*Пушкин. Соч.* / Изд. П. В. Анненкова. Т. 1); *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. М.; СПб., 1896. Т. 6. С. 710–711, 724, коммент. В. И. Шенрока; *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина: (Пушкин о Гоголе) // Наш труд: Сборники литературы, драмы и критики. [Б. м.] 1924. № 2. С. 106; *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист: (Гоголь — сотрудник «Современника» Пушкина) // Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954. С. 57–58). Это мнение отчасти подтверждается замечанием в черновом автографе статьи: «Может быть, этот приступ еще более приличен был при полной истории журнальной литерату<ры>, но покамест составится эта трудная и важная статья, я почел необходимым сказать это при обозрении ее в два последние года. Истинное намерение мое было представить только движение за прошлый год, но так как причины всего этого движения заключены еще в 1834 году, то необходимо бросить взгляд на оба эти года» (Гоголь. Т. 8. С. 516). В. В. Гиппиус, склоняясь к версии об историческом характере гоголевского замысла, рассматривал статью «О движении

журнальной литературы...» в связи с реализацией в «Современнике» проекта «Современный Летописец политики, наук и литературы...», задуманного Пушкиным и В. Ф. Одоевским в 1835 г. (см. письма Одоевского Пушкину от апреля 1835 г. — XVI, 28, 286; уточнение датировки: Письма посл. лет. С. 258) (см.: *Гунтуц В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 110–111). Н. Н. Петрунина и Г. М. Фридендер также связывали статью Гоголя с пушкинской рекомендацией, но считали, что Пушкин изначально подразумевал написание не серьезного исследования (к чему молодой писатель был очевидно не готов), а именно злободневной статьи, где «форма исторического обзора должна была послужить автору лишь рамкой для анализа положения, судеб и задач современной критики» (Петрунина, Фридендер. С. 211). По мнению В. Э. Вацура, поскольку в тексте гоголевской статьи очевидны парафразы из пушкинских полемических сочинений, в том числе и неизданных, можно предположить, что, «советуя Гоголю приняться за историю русской критики, Пушкин вместе с тем сообщил ему многие из своих размышлений на этот счет и, вероятно, указал на свои прежние печатные выступления» (*Вацура В. Э.* «Великий меланхолик». 4. «Плагиаты Гоголя» // Вацура В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 329).

Значительная часть статьи «О движении журнальной литературы...» посвящена критике журнала О. И. Сенковского «Библиотека для чтения». Другие периодические издания рассматриваются преимущественно с точки зрения их отношения к «Библиотеке» — как ее союзники («Сын отечества», «Северная пчела») или непослуживательные и неудачливые противники («Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», «Телескоп», «Московский наблюдатель»). Гоголь и ранее отзывался о Сенковском резко негативно. 20 февраля 1833 г. он писал М. П. Погодину по поводу первой книжки альманаха «Новоселье»: «Прочти Брамбеуса: сколько тут и подлости, и вони, и всего» (Гоголь. Т. 10. С. 263). Письмо, отправленное тому же адресату 11 января 1834 г., содержало практически памфлетную характеристику редактора «Библиотеки»: «Сенковский очень похож на старого пьяницу и забудыжника, которого долго не решался впускать в кабак даже сам целовальник. Но который, однако ж, ворвался и бьет, очертя голову спьяна, сулей, штофы, чарки и весь благородный препарат. Сословие, стоящее выше Брамбеусины, негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки; сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директоры департаментов читают и надравывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: „Сукин сын, как хорошо пишет!“ Помешки покупают и подписываются и, верно, будут читать. — Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства. Смирдина капитал растет» (Там же. С. 293). В том же письме Гоголь выражал негодование против привычки Сенковского кардинально перерабатывать чужие статьи, присланные ему для публикации (см. ниже примеч. 25). К 1836 г. у Гоголя появился и личный повод для недовольства Сенковским, перу которого принадлежали издательские отзывы о «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (БдЧ. 1834. Т. 3, № 5. Отд. V. С. 31–32; см. также наст. изд., с. 374) и об «Арабесках» (БдЧ. 1835. Т. 9, № 3. Отд. VI. С. 8–14). Реакция на них прослеживается в черновом варианте обзора «О движении журнальной литературы...» (см.: Гоголь. Т. 8. С. 525, 528). Эти фрагменты, однако, были исключены из окончательного варианта статьи: пафос ее составляла отнюдь не личная полемика. Центром внимания автора служила масштабная и острая для пушкинской эпохи проблема так называемого «торгового направления» в русской литературе и журналистике, самым ярким представителем которого стал в сознании современников журнал Сенковского.

В литературе распространено мнение, что статья «О движении журнальной литературы...» создавалась под влиянием обозрения В. Г. Белинского «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы», печатавшегося в первых четырех номерах «Телескопа» за 1836 г. (Ч. 31, № 1. С. 155–171; № 2. С. 341–352; № 3. С. 472–493; № 4. С. 630–664). Статьи Гоголя и Белинского имеют некоторое композиционное сходство (что, впрочем, может объясняться их жанровым единством), а также сходство в ряде содержательных моментов (анализ причин успеха «Библиотеки для чтения», роли в ней О. И. Сенковского, его редакторской политики, уровня публикуемой им в журнале беллетристики и крити-

ки). Близкими являются и характеристики других изданий: «Сына отечества», «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“», «Московского наблюдателя», — хотя в отношении двух последних журналов Гоголь проявляет большую лояльность и дружелюбие (см., например: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 118–119; *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 113; *Мельниченко О. Г.* Гоголь и Белинский: (К вопросу о влиянии Белинского на Гоголя) // Уч. зап. Вологодского гос. пед. ин-та им. В. М. Молотова. Вологда, 1950. Т. 7. С. 20–28; *Машинский С. И.* 1) Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский. М., 1952. С. 12; 2) Гоголь и революционные демократы. М., 1953. С. 42–44, 46; *Серебровская Е. П.* Белинский и Гоголь: (К истории борьбы за реализм). Л., 1952. С. 43–51; *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист. С. 43–44). Следует, впрочем, обратить внимание на то, что статья Гоголя обнаруживает содержательные параллели в основном с последней частью обзора Белинского, которая была напечатана в четвертой книжке «Телескопа», вышедшей в свет между 19 и 21 марта (см.: МВед. 1836. № 24, 21 марта). Между тем гоголевская статья — пусть и не в окончательном варианте — была предположительно готова уже к началу марта (см. выше). Существенно также, что оценка критики и беллетристики «Библиотеки для чтения», в которой часто сходятся Белинский и Гоголь, во многом составляла общее место журнальной полемики этих лет (см. также: *Долинин А. С.* Из истории борьбы Гоголя и Белинского за идейность в литературе // Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та. 1956. Т. 19 / Факультет языка и литературы. Вып. 5. С. 46–47).

По сравнению с сохранившейся рукописной черновой редакцией статьи ее журнальный вариант подвергся значительному сокращению и стилистической правке. Среди прочего были устранены откровенные личные выпады, смягчены резкие и некорректные высказывания автора в адрес оппонентов, исключены упоминания о Пушкине и Гоголе в третьем лице и отзыв о В. Г. Белинском (см. примеч. 18 к «Письму к издателю» А. С. Пушкина — наст. изд., с. 489; анализ характера редактуры и сравнение рукописной и журнальной редакций см.: *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. Т. 5. С. 651–652, коммент. Н. С. Тихонравова; Т. 6. С. 708–725, коммент. В. И. Шенрока; *Рыскин Е. И.* О статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». С. 134–138). В. И. Шенрок высказал предположение, что статья редактировалась Пушкиным. Ученый опирался исключительно на свидетельство М. П. Погодина о том, что Пушкин в разговоре с ним упоминал «о невозможности напечатать некоторые, очень игривые выражения в статье „о журнальной литературе“» (см.: *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. Т. 6. С. 708, 711–712, 714, 725). Эта точка зрения была поддержана рядом исследователей (см.: *Каллаш В. В.* Письмо П. Мартоса к Пушкину. С. 151; *Благой Д. Д.* Гоголь-критик // История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 316; *Шальман Е. С.* «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский) // Освободительное движение в России: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1978. Вып. 7. С. 58–59). Предположение Шенрока вызвало возражение Ю. Г. Оксмана, справедливо указавшего, что пушкинское замечание «ни в коем случае нельзя ассоциировать с редакторской выправкой статьи» (*Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю» // Атеней: Историко-литературный вестник. Пг., 1924. Кн. 1–2. С. 15, примеч. Ю. Г. Оксмана). Как отмечали позднее Н. Н. Петрунина и Г. М. Фридендер, разговор Пушкина с Погодиным состоялся во время пребывания поэта в Москве в мае 1836 г., сразу после выхода первой книжки «Современника», и касался негативной оценки, данной в гоголевской статье «Московскому наблюдателю», — «в ответ на упреки Погодина Пушкин и мог сказать, что черновой текст статьи был более резок, чем печатный» (Петрунина, Фридендер. С. 213–214). По мнению Оксмана, статья переделывалась для публикации самим Гоголем, хотя, возможно, и с учетом советов Пушкина (*Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 15–16; см. также: *Машинский С. И.* Гоголь и революционные демократы. С. 47–48; *Рыскин Е. И.* О статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». С. 138; Петрунина, Фридендер. С. 214). Принято считать, что именно по указанию поэта из нее были исключены упоминания о Пушкине и Гоголе, а также некорректный отзыв о Сенковском как о наглеце, заботящемся лишь о своем обогащении (см.: Гоголь. Т. 8. С. 522, 525, 528, 536, 521, 541; *Каллаш В. В.* Письмо П. Мартоса к Пушкину. С. 151; *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 107–108;

Рыскин. С. 32). Наиболее справедливым на сегодняшний день остается, однако, замечание В. В. Гиппиуса о невозможности установить, «в какой мере сказалась пушкинская редактура на гоголевском тексте» (*Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 107). Как свидетельствует цитируемая выше записка Гоголя Пушкину от 2 марта 1836 г., Пушкин имел возможность ознакомиться со статьей «О движении журнальной литературы...» до сдачи ее в печать. Неизвестно, однако, читал ли Пушкин статью до публикации в ее окончательном виде. На этот счет существуют разные гипотезы. Так, Ю. Г. Оксман полагал, что последняя редакция гоголевского текста стала известна поэту лишь после выхода «Современника». Исследователь ссылался на крайне неблагоприятные условия, в которых печатался первый номер журнала. 29 марта 1836 г. после длительной и тяжелой болезни скончалась мать поэта, Н. О. Пушкина. Конец марта и первая неделя апреля были заняты у Пушкина печальными хлопотами, связанными с отпеванием и получением разрешения на погребение умершей в Святогорском монастыре. 8 апреля поэт выехал в Михайловское, сопровождая гроб с телом Надежды Осиповны. Тираж журнала был напечатан 11 апреля; Пушкин вернулся в Петербург лишь 16 апреля (Летопись 1999. Т. 4. С. 418–419, 423–425, 427–428). Таким образом, утверждал Ю. Г. Оксман, Пушкин не имел возможности внимательно следить за подготовкой первого номера журнала на ее последнем этапе (см.: *Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 15–16; см. также: Гоголь. Т. 8. С. 766, коммент. Б. В. Томашевского; *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. М., 1963. С. 365, 442). Косвенное подтверждение своей гипотезы Ю. Г. Оксман усматривал в словах Пушкина в письме М. П. Погодину от 14 апреля 1836 г. из Михайловского: «Журнал мой вышел без меня, и, вероятно, Вы его уж получили. Статья о Ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня — если Вы ею недовольны» (XVI, 103–104). Подобным же подтверждением являются, на первый взгляд, и слова П. А. Вяземского в письме И. И. Дмитриеву от 13 апреля 1836 г.: «...Пушкина здесь нет. Вы, без сомнения, уже знаете, что скончалась недавно его матушка и он отправился в псковскую деревню, где она желала быть погребена. Печальные заботы его в продолжение болезни и при самой кончине ее, может быть, повредили лучшей отделке и полноте первой книжки» (РА. 1868. № 4–5. С. 647; *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. С. 444); а также редакционное объяснение Пушкина на последних страницах третьего номера «Современника»: «Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала...» (Совр. 1836. Т. 3. С. 331; XII, 184). При этом точка зрения Л. Я. Гинзбург, занимавшей крайнюю позицию и утверждавшей, что гоголевская статья была помещена в журнале П. А. Плетневым и П. А. Вяземским без ведома Пушкина и явилась для последнего полной неожиданностью, вряд ли может быть принята (см.: *Гинзбург Л. Я.* «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский // *Очерки по истории русской журналистики и критики.* Л., 1950. Т. 1. С. 336; о недостаточной аргументированности этой версии см., например: *Машинский С. И.* Гоголь и революционные демократы. С. 47).

Будучи вполне вероятной, гипотеза Ю. Г. Оксмана встретила тем не менее ряд резонных возражений. В. В. Гиппиус справедливо отметил, что корректурные листы «Современника» должны были быть готовы уже к 31 марта (дата цензурного разрешения) и Пушкин имел возможность ознакомиться с томом в непереpletенном виде. Переписка Пушкина свидетельствует о том, что в феврале–марте и в начале апреля он занимался делами журнала — готовил первый том, а по сдаче его в цензуру работал над вторым (см., например, письма Пушкина П. А. Вяземскому около 17 марта, С. И. Глинке около 26 марта, В. Ф. Одоевскому в начале апреля, председателю Цензурного комитета М. А. Дондукову-Корсакову 18 марта и 6 апреля 1836 г. — XVI, 92–93, 98, 100–101; также: Летопись 1999. Т. 4. С. 412–414, 416–418, 420–422). Существенно также, что слова Пушкина в письме Погодину относятся не ко всему материалу тома, а лишь к рецензии на «Исторические афоризмы» (*Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 106–107; также: *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист. С. 59; Березина. С. 280–281; Петрунина, Фридендер. С. 214).

Вопрос о степени участия Пушкина в подготовке первого тома «Современника» на ее последнем этапе связан еще с одной проблемой. В основной части тиража «Со-

временника» статья Гоголя была напечатана как анонимная. Между тем, до того как получить распространение, том существовал в двух вариантах. Первый, более ранний, был утвержден к печати цензором А. Л. Крыловым 31 марта 1836 г. и выпущен в незначительном количестве экземпляров. В нем отсутствовала заметка, завершающая раздел «Новые книги», а в оглавлении было указано имя Гоголя как автора статьи «О движении журнальной литературы...». Этот вариант был впоследствии заменен другим, по которому и печатался тираж. Изменения были внесены в течение первой недели апреля 1836 г., в обход цензуры, — по-видимому, чтобы не задерживать выход уже готового номера (см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 107; *Березина В. Г.* Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» // Гоголь: Статьи и материалы. С. 70–85). По одной из версий, статья предназначалась к публикации как анонимная и появление ее в оглавлении с именем автора было результатом технической ошибки. Косвенным подтверждением этому служит отсутствие подписи Гоголя под самой статьей — форма, характерная для «Современника». Как отметил Е. И. Рыскин, «в журналистике тех лет бывали, конечно, случаи, когда статья печаталась без подписи, а в оглавлении указывался ее автор. Но в „Современнике“, во всех его четырех томах, нет ни одного подобного примера. Статьи, анонимные в тексте журнала, ни разу не раскрывались в оглавлении» (*Рыскин Е. И.* О статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». С. 140; Рыскин. С. 32; см. также: *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. С. 442). Н. Н. Петрунина и Г. М. Фридендер указали также, что в первоначальном варианте оглавления «имя Гоголя стояло в трех соседних строках, под тремя его произведениями, разделенными в журнале стихами, а в оглавлении (раздел „Проза“) идущими одно вслед за другим», в то время как ни один из других участников журнала, в том числе и Пушкин, не назван в оглавлении дважды (Петрунина, Фридендер. С. 215). Достаточно распространена и иная точка зрения, согласно которой наличие двух вариантов оглавления действительно отражает колебания автора и издателя. Известно, что первоначально Гоголь задумывал свою статью как анонимную. На это указывает ее черновой автограф, где Гоголь неоднократно упоминает о себе в третьем лице. В журнальном варианте, однако, указанные фрагменты отсутствуют. Как полагали В. П. Красногорский и В. Г. Березина, последнее свидетельствует о решении автора печатать статью не анонимно, а под собственным именем, что и нашло отражение в первом варианте оглавления. Исследователи допускали, что этот шаг был сделан Гоголем под влиянием Пушкина, не желавшего, чтобы статья «О движении журнальной литературы...» имела вид редакционной (*Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 107; *Березина С.* 283–284; возражения см.: Рыскин. С. 31–32; Петрунина, Фридендер. С. 214–215). Если допустить далее, что на последнем этапе подготовки тома к печати Пушкин не занимался делами «Современника», передоверив их Гоголю, можно предположить, что именно ему и принадлежит решение об анонимной публикации своей статьи (см. об этом, например: *Благой Д. Д.* Гоголь-критик. С. 316). По мысли Е. И. Рыскина, этот шаг мог быть вызван опасениями автора, «что Сенковский и Булгарин обрушат на него свой гнев, что статья не понравится друзьям из „Московского наблюдателя“, не понравится Белинскому и т. д.» (Рыскин. С. 35). Однако, как справедливо усомнились Н. Н. Петрунина и Г. М. Фридендер, Гоголь вряд ли имел право и возможность вносить в том «существенные изменения без согласования с Пушкиным, а в его отсутствие — с Плетневым или с кем-либо другим из старших сотрудников журнала» (Петрунина, Фридендер. С. 214). Более вероятно, что изменения в оформлении первого тома «Современника» были санкционированы самим Пушкиным. Поэт в последний момент убрал имя Гоголя из оглавления, зная о назначенной на 19 апреля 1836 г. премьерьере «Ревизора» и стремясь оградить автора от возможных оскорбительных выпадов редактора «Библиотеки для чтения» (см.: *Березина В. Г.* Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». С. 77, 81; *Шкловский В. Б.* Повести о прозе: Размышления и разборы. М., 1966. Т. 2. С. 75; следует, впрочем, отметить, что выступить против «Ревизора» до его премьеры, как это считает Березина, Сенковский уже не мог: апрельская книжка «Библиотеки» к этому времени уже вышла, а майская должна была выйти только 1 мая, см.: Рыскин. С. 34).

Статья «О движении журнальной литературы...», появившаяся в первом номере «Современника», обратила на себя живое внимание читателей и критиков. По словам И. И. Панаева, она «наделала большого шума в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику» (Панаев. С. 229). В. Г. Белинский приветствовал ее как актуальную, интересную и позволяющую надеяться, «что „Современник» будет журналом с мнением, с характером и деятельностью» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 177; наст. изд., с. 148–149). Рецензент «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду»» (А. Ф. Воейков?) также усматривал в статье «характеристическую черту „Современника» и хвалил за «честную и дельную критику, которая <...> снимает повязку с глаз публики и подает ей светозарную светочь для освещения темных и позорных мест нашей журналистики» (1836. № 35, 29 апреля. С. 280; наст. изд., с. 142). В свою очередь, разгромная рецензия Булгарина на первый том «Современника» (СПЧ. 1836. № 127, 6 июня; № 128, 8 июня; № 129, 9 июня; наст. изд., с. 149–157) была в основном посвящена гоголевскому обзору.

Как сторонники, так и противники пушкинского журнала видели в статье «О движении журнальной литературы...» редакционную программу «Современника». И Белинский, и Булгарин сочли ее воплощением «духа» нового журнала и приписали авторство Пушкину. Того же мнения придерживались и читатели. Так, Г. С. Аксаков писал отцу, С. Т. Аксакову, 18 апреля 1836 г.: «Здесь появился новый журнал „Современник“, издаваемый Пушкиным, который, я думаю, много подорвет „Библиотеку“. Первый номер его очень хвалят. В нем есть повесть Гоголя, критика Пушкина на Сенковского» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 119). Разумеется, люди, входившие в пушкинский круг общения, были осведомлены лучше. Н. М. Языкову, например, Пушкин сам писал 14 апреля 1836 г.: «Вы получите мой „Современник»; желаю, чтоб он заслужил Ваше одобрение. Из статей критических моя одна: о Кониском» (XVI, 104–105; см.: Рыскин. С. 36). Официально версия о принадлежности статьи Пушкину и тезис о ее программном характере были опровергнуты в третьем томе «Современника», в примечании к «Письму к издателю», а также в следующем за ним пояснении «От редакции» (Совр. 1836. Т. 3. С. 329, 330–331; наст. изд., с. 182). Имя Гоголя как автора статьи здесь не упоминалось, однако среди литераторов оно, по-видимому, достаточно скоро стало известно. Об этом, в частности, свидетельствует прозрачный намек В. Г. Белинского в рецензии 1838 г. на «Сочинения Николая Греча»: «...несколько журналов, как будто бы стакнувшись, изо всех сил хлопотали об унижении, например, хоть Гоголя <...>. Что же? Вы думаете: публика поверит журналистам? Нет: в их криках она услышит оханья от царяпин, нанесенных маленькому самолюбию какою-нибудь журнальною статьею вроде литературного обзора или отчета...» (МН. 1838. Ч. 18. Июль, кн. 1. Отд. IV. С. 94; Белинский. Т. 2. С. 531). В «Литературных и журнальных заметках» 1843 г. Белинский прямо назвал Гоголя автором статьи «О движении журнальной литературы...» (ОЗ. 1843. № 1. Отд. VIII. С. 52; Белинский. Т. 6. С. 579). В 1846 г. это сделал С. Д. Полторацкий в статье «Русские биографические и библиографические летописи» (Иллюстрация. 1846. Т. 2, № 12. С. 177; см.: Березина. С. 286).

¹ «Было время, — писал по этому поводу «Телескоп» еще в 1833 г., — когда число <...> журналов на Руси было довольно значительно; в 1830 году в одной Москве издавалось шесть литературных журналов: „Вестник Европы“, „Московский телеграф“, „Дамский журнал“, „Московский вестник“, „Атеней“ и „Галатей“. То было время журнального раздолья, золотой век героических подвигов и рыцарских приключений, о которых ныне остаются только воспоминания, любопытные и поучительные для потомства. Холера, физическая и нравственная, истребила сие бурное поколение журнальных аргонавтов, отправлявшихся за золотым руном не совокупо, как дружина древнего Язона, а каждый на своем челноке, со своими орудиями, снастями и припасами. Тщетно петербургская журналистика в следующем году пыталась расплодиться на запустевшем поле: она легла костью на костях, безвременно и бесславно. „Колокольчик“ не прозелен и году; „С<анкт>-П<етер>бургский вестник“ замолк в первые месяцы; „Эхо“ не отдалось дальше первой книжки; „Гирлянда“, несмотря на суетливость „Северного Меркурия“, вместе с ним, не расцветши, вышвела; „Литературная газета“ прекратилась до объявленного срока; наконец, и „Северная

Минерва», в прошлом году явившаяся во всеоружии на журнальном пустыре северной нашей столицы, в прошлом же году опочила на щите своем <...>. Теперь все литературно-журнальное народонаселение обеих наших столиц ограничивается шестью изданиями, из коих три принадлежат Москве и три Петербургу. Скучность необычайная!» (Ч. 13, № 4. С. 572–573). Подавая в Петербургский цензурный комитет прошении об основании «Библиотеки для чтения», А. Ф. Смирдин указывал основную, по его мнению, причину «посредственности» и «непрочности существования» отечественных литературных изданий — отсутствие у издателей деловой хватки, необходимых денежных средств и профессиональных сотрудников (см.: *Каверин В. А.* Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 42).

² «Библиотека для чтения» начала издаваться с января 1834 г.; «Московский наблюдатель» — с марта 1835 г.

³ В оценке «Московского телеграфа» Гоголь неточен, и не совсем понятно, какой именно период существования журнала он имеет в виду. Первые годы существования «Московского телеграфа» (1825–1827) были ознаменованы резкой полемикой с изданиями Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, боровшихся за журнальную монополию. В конце 1827 г. произошло примирение Полевого с издателями «Сына отечества», «Северного архива» и «Северной пчелы», продиктованное тактическими соображениями. Новый журнальный триумvirат с 1830 г., с начала издания Дельвигом и Пушкиным «Литературной газеты», выступил единым фронтом против пушкинского круга писателей. Борьба Полевого с так называемой им «литературной аристократией» продолжалась на страницах «Телеграфа» в 1831 и 1832 гг., хотя и в существенно ослабленном виде. Между тем именно 1831–1833 гг. являются периодом наибольшего расцвета «Московского телеграфа», когда в нем появились все самые значительные литературно-критические статьи Н. А. и К. А. Полевых.

⁴ Ср. отзыв о А. Ф. Смирдине в статье В. Г. Белинского «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы»: «Всякому известно, что этот журнал основан книгопродавцем, который приобрел у публики большую доверенность, и приобрел по справедливости, по заслуге, всякому известно, что этот книгопродавец ведет торговлю большую и, следовательно, в состоянии делать большие обороты и пускаться в важные предприятия...» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 2. С. 345; Белинский. Т. 2. С. 17–18; см.: *Мельниченко О. Г.* Гоголь и Белинский. С. 23–24; *Серебровская Е. П.* Белинский и Гоголь. С. 44–45). Ф. В. Булгарин в статье «О общепольном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина» характеризовал основателя нового журнала следующим образом: «Смирдин, конечно, не Новиков. Он только книгопродавец, но книгопродавец необыкновенный, действующий с пламенною любовью к славе России, с беспримерным в области промышленности бескорыстием, с страстью к литературе. <...> Что сделал и что делает Смирдин, того со времени Новикова не бывало и, может быть, не будет на Руси после него!» (СПч. 1833. № 300, 30 декабря).

⁵ Программа «Библиотеки для чтения» предлагала читателю «журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей, мод, составляемый из литературных и ученых трудов лучших русских писателей», не уступающий «по своему внутреннему достоинству, по важности содержания и благородному тону <...> лучшим иностранным журналам сего рода» и в будущем предполагающий «остаться памятником настоящего периода русской словесности». Было объявлено, что в нем «участвуют почти все известные своими дарованиями и произведениями в стихах и прозе русские писатели» (объявление А. Ф. Смирдина о готовящемся издании «Библиотеки для чтения» — СПч. 1833. № 177, 8 августа). О грандиозном масштабе издания как его несомненном достоинстве писал и Булгарин: «...Смирдин решился соединить *всех* литераторов в одном предприятии и с сею целью вознамерился издавать журнал „Библиотека для чтения“, сотрудниками коего согласились быть *все русские писатели*, все поэты и прозаики, приобретшие славу, известность или просто благоволение публики» (Там же. № 300, 30 декабря). Длинный перечень предполагаемых участников печатался на обложке каждой книжки в течение всего 1834 г. Список состоял из 57 имен, — среди прочих в нем упоминались А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, И. И. Козлов, Д. В. Давыдов, В. И. Даль, Н. В. Гоголь (Ру-

дый Панько) и др. Гоголь негодовал в письме к Погодину от 11 января 1834 г.: «Но вот что плохо, что мы все в дураках! В этом и спохватились наши тузы литературные, да поздно! Почтенные редакторы зазвонили нашими именами, набрали подписчиков, заставили народ разинуть рот и на наших же спинах разъезжают теперь» (Гоголь. Т. 10. С. 293). В. Г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» также оценивал публикацию перечня как ловкий рекламный ход издателей: «...это участие почти всех знаменитостей нашего письменного мира, эти имена, выставленные в программе и на обертках „Библиотеки“, как залог того, что вся литературная деятельность должна сосредоточиться в одном издании, чего никогда не бывало, о чем самая мысль всегда казалась несбыточной, — какая приманка для нашей доверчивой публики!..» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 2. С. 346; Белинский. Т. 2. С. 18; см.: Мельниченко О. Г. Гоголь и Белинский. С. 24). Ср. также замечание И. И. Панаева: «Чему была обязана своим успехом „Библиотека для чтения“? — громкому объявлению с бесчисленными именами» (Панаев. С. 155).

⁶ Программа «Библиотеки для чтения» гласила, что журнал, «имеющий предмет одну лишь общую пользу читателей, остается совершенно чуждым всякого духа партий и не принадлежит ни к какой исключительно литературной касте. Все благонамеренные и прилично изложенные мнения найдут в нем открытое для себя поприще» (СПч. 1833. № 177, 8 августа; см. также: наст. изд., с. 569).

⁷ В программе «Библиотеки для чтения» сообщалось, что «журнал будет выходить ежемесячно, книжками. Каждая книжка включает в себе около 18 печатных листов. Две книжки составят один том, с особым к нему заглавным листом и оглавлением» (СПч. 1833. № 177, 8 августа). Однако уже первая книжка значительно превысила планируемый объем. «Один из здешних французских книгопродавцев, — писал по этому поводу Ф. В. Булгарин, — прочитав первую книжку „Библиотеки“, сказал, что этими материалами можно издавать целый год хороший журнал, в самом Париже, развея их водицей. <...> Смирдин обещал дать 18 листов, а первая книжка включает в себе около 35 печатных листов, т. е. вдвое более» (Там же. № 300, 30 декабря). О своей исключительной «щедрости» в отношении подписчиков упоминал сам О. И. Сенковский в объявлении о выходе второго номера «Библиотеки для чтения»: «Вместо обещанных 18-ти листов издатель <...> опять напечатал 24 листа. Первая книжка вышла так огромна, что уже невозможно было ничего к ней прибавить, и редакция решилась второю книжкою начать второй том, предоставив первой честь составлять первый том журнала. Желательно, чтобы третья книжка числом листов не превышала 18-ти; иначе нельзя будет переплести ее в один том со второю» (Там же. 1834. № 25, 31 января). Необычно большой объем журнала вызывал иронию его литературных противников: см., например, слова Н. В. Гоголя в письме к М. П. Погодину от 11 января 1834 г.: «...под ногами у тебя валяется толстый дурак, т. е. первый № смирдинской „Библиотеки“...» (Гоголь. Т. 10. С. 293); также замечание В. Г. Белинского в статье «Ничто о ничем...»: «...уронить „Библиотеку“ трудно: книга большая, толстая, *жирная*, как уверяла нас сама „Библиотека“, а как жир и сало тождественны, то и *сальная*, прибавим мы от себя» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 654; Белинский. Т. 2. С. 45).

⁸ После выхода первой же книжки «Библиотеки для чтения» Сенковский был вынужден публично отказаться от звания редактора. 16 января 1834 г. А. В. Никитенко, цензуравший «Библиотеку», записал в дневнике: «На Сенковского, наконец, воздвиглась политическая буря. Я получил от министра приказание смотреть как можно строже за духом и направлением „Библиотеки для чтения“. Приказание это такого рода, что если исполнять его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его „полонизме“, о его „площадных острогах“ и проч.» (Никитенко. Т. 1. С. 134). 21 февраля С. С. Уваров заявил, что «наложит тяжелую руку на Сенковского» (Там же. С. 135). 31 января Сенковский объявил в «Северной пчеле» (№ 25), что снимает с себя обязанности редактора. Таким же заявлением открывался вышедший 1 февраля второй номер «Библиотеки»: «Редакция по сие время состояла из двух лиц, Н. И. Греча и О. И. Сенковского. Последний есть, вместе с издателем „Библиотеки для чтения“, основатель сего журнала. Первая идея сего повременного издания, его план и осуществление сего плана, в литературном и наружном отношениях, принад-

лежат О. И. Сенковскому. Составив план, он должен был принять на себя труд и исполнить его по крайней мере на двух первых книжках „Библиотеки для чтения“. Но участие его, по званию редактора, не простирается далее: он привел в действие идею своего плана, составил литературную форму журнала, которая долженствует продолжаться и впредь без всякого изменения, и с выходом сей второй книжки прекращает свое содействие в редакции „Библиотеки для чтения“ по уважению личных его занятий и обстоятельств его здоровья. Он оставляет только, на основании существующих узаконений, свои права общей с издателем гражданской собственности сего литературного предприятия, основанного совокупными их трудами, попечениями и средствами. — Впредь постоянным, единственным редактором „Библиотеки для чтения“ остается Н. И. Греч» (БдЧ. 1834. Т. 2, № 2. С. I–II). Греч числился редактором «Библиотеки» до конца 1834 г., с января по май 1835 г. это место занимал И. А. Крылов, с мая 1835 г. до начала 1836 г. — Е. Ф. Корш. Официально Сенковский вернулся на пост редактора в начале 1836 г., но, разумеется, де-факто он все время оставался единственным редактором и вел все дела журнала, в том числе и цензурные (см. его записки к А. В. Никитенко 1834 и 1835 гг. — Шаронова А. В. О. И. Сенковский в письмах к А. В. Никитенко (1833–1848) // ПИМ. СПб., 2003. Т. 16–17. С. 406–413).

⁹ Ср. характеристику О. И. Сенковского в статье «Ничто о ничем...». В. Г. Белинского: «Редактор „Библиотеки“ <...> новый Протей, преобразуется по своей воле и в повествователя, и в ученого, и в критика, и в рецензента, и в составителя смеси» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 647; Белинский. Т. 2. С. 41).

¹⁰ Псевдонимы О. И. Сенковского. Гоголь, в частности, прямо указывает на принадлежность псевдонима «А. Белкин» Сенковскому. Под этим псевдонимом Сенковский напечатал два произведения — «Потерянную для света повесть» (БдЧ. 1835. Т. 10, № 5) и повесть «Турецкая цыганка» (Там же. Т. 12, № 10). В письме П. А. Плетневу из Михайловского в октябре (не позднее 11-го) 1835 г. Пушкин замечал: «Радуюсь, что Сенковский промышляет именем Белкина; но нельзя ль (разумеется, из-за угла и тихонько, например в „М-осковском> набл<юдателе>“) объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего омонима? Это бы, право, было не худо» (XVI, 56). Отклик на использование Сенковским пушкинского псевдонима появился в литературных заметках А. Кораблинского (А. Ф. Воейкова) в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“»:

«...В октябрьской книжке „Библиотеки для чтения“ какой-то неизвестный писатель под повестью „Турецкая цыганка“ подписался Белкиным. Известно, что это псе́доним нашего гениального поэта, нашего очаровательного прозаика, А. С. Пушкина. Бедняжка, навьюча на себя это знаменитое имя, забыл, что оно задавит его, как Ахиллова броня Фирса.

Дорого бы мы дали, чтоб узнать имя этого господина; мы только можем по слогу догадываться...» (1836. № 3, 8 января. С. 22; с датой под текстом: «21 октября 1835»).

Спустя некоторое время Воейков снова выступил на эту тему, но опять не назвал прямо имя Сенковского:

«Легковерного рода поверхностные читатели уверены, что напечатанная в пятой книжке „Библиотеки для чтения“ так названная „Потерянная для света повесть“, под которою подписался А. Белкин, вылилась из пера знаменитого нашего писателя Александра Сергеевича Пушкина. Они помнят, что прелестные по живости и веселости рассказа, замысловатому содержанию, по слогу очаровательному „Повести“ издавна были некогда под именем Ивана Белкина, а после они же самые очутились в собрании „Повестей А. С. Пушкина“. Одним словом, имя Ивана Белкина служило псе́донимом творцу „Евгения Онегина“. Но просим господ легковерных читателей хоть немножко поразмыслить о слоге и содержании этой „Потерянной для света повести“, худой язык, которым разглагольствуют между собою семеро пьняных, выключенных из службы подьячих, и хмельное содержание этой статьи как раз удостоверяют их, что какой-то неизвестный писатель хотел навязать их на шею А. С. Пушкина. Наш славный соотечественник дорожит добрым мнением хорошего Общества образованной беседы; ему приятно, что его читают дамы высшего круга и девицы образованные. Дозволит ли он себе выводить на сцену людей, которые, едучи гулять в Парголово, заняли две ложки у хозяйки и три у трактирщика, все относительное к пушину забрали в соседней мелочной лавочке, вытили по полустакану настойки...» (да-

лее следуют подобные же цитаты и пересказ содержания повести). Заключает Воейков свою заметку фразой: «Вот такую статейкою попотчевал своих милых читателей неизветный писатель, украсивший себя светозарным именем творца трагедии „Борис Годунов“, поэмы „Руслан и Людмила“, „Бахчисарайский фонтан“ и „Кавказский пленник“» (ЛПРИ. 1836. № 9, 29 января. С. 70–71; с датой под текстом: «23 ноября 1835»).

¹¹ Статья Сенковского «Скандинавские саги» была напечатана в первом номере журнала (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. III. С. 1–77). Стронник норманнской теории происхождения русского государства, Сенковский писал о значении для истории России сведений, содержащихся в скандинавском эпосе, и в частности — в «Эймундовой саге», изданной в 1833 г. в Копенгагене по списку, хранившемуся в Королевской библиотеке. В переводе и с примечаниями Сенковского «Эймундова сага» была напечатана в следующем номере «Библиотеки для чтения» (1834. Т. 2, № 2. Отд. III. С. 1–71).

¹² Август Людвиг Шлёцер (Schlözer; 1735–1809) — немецкий историк, публицист и статистик. С 1760 по 1767 г. жил в России, принимал участие в деятельности Императорской Академии наук. Автор работ по русской истории, языкознанию, палеографии, летописанию, в том числе знаменитого пятитомного труда «Нестор. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache: verglichen, von Schreibfehlern und Interpolationen möglich gereinigt, erklärt, und übersetzt» (Göttingen, 1802–1809; рус. пер.: Нестор: Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Шлёцером. СПб., 1809–1819). Сенковский отстаивал правомерность использования фольклорных и поэтических источников как исторического материала, полемизируя при этом не только со Шлёцером, но и с разделявшим позицию немецкого ученого Карамзиным (см.: Сенковский О. И. Скандинавские саги. С. 7–8). «Одним из ужаснейших мучителей благополучно состаревшихся по книгам исторических показаний, — писал Сенковский, — был наш почтенный Шлёцер, пугливое воображение которого повсюду видело безобразный признак басни, исключая в том, что он избрал было в памятники своей славы. Мы упоминаем здесь преимущественно о Шлёцере, потому что его мнения, важность его имени и грозный тон его учености дали особенное направление первым историческим трудам XIX века в России. Карамзин, несмотря на свои дарования и редкий ум, которым был одарен от природы, писал исключительно под влиянием его понятий, верил его верою и отвергал безусловно все то, что неумолимый критик прошедшего столетия объявил подозрительным как несогласие с его теориею» (Там же. С. 7). Карамзин писал в примечании 78 ко второй главе первого тома «Истории государства Российского»: «От летописей, достойных уважения, надобно отличать исландские саги, или сказки, весьма недостоверные. <...> В сагах, как и во всех народных сказках, есть, конечно, истинные древние предания: только они сочинены уже гораздо после десятого века — и кто отличит в них ложь от истины?» (Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., [1816]. Т. 1. С. 305).

¹³ В статье «О общепольном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина», анонсируя выход первого номера нового журнала, Ф. В. Булгарин писал о «Скандинавских сагах» Сенковского: «Эта статья должна сделать переворот в истории русской и в исторической критике. <...> Статья сия может возбудить споры и сомнения, потому что он ниспровергает исторические поверья, но это статья всемирная, будет переведена на все языки. Все в ней ново, оригинально, умно, ясно; все связано логикой и извлечено из логики. Если О. И. Сенковский пойдет далее путем исторической критики, то займет одно из первых мест в Европе, это бесспорно» (СПЧ. 1833. № 300, 30 декабря). Рецензия не содержала сравнения Сенковского с Гумбольдтом. Примечательно, что булгаринские восторги вызвали возражения самого Сенковского: «...похвалы, столь лестно расточенные в „Северной пчеле“ моей статье о скандинавских сагах, нахожу в душе своей незаслуженными и преувеличенными: это была попросту журнальная статья — и ничего больше. У нас есть еще люди, которые считают всякую журнальную статью решительным сочинением, и похвалы подобного рода напрасно только тревожат литературную их совесть. Один и тот же предмет иначе пишется для журнала, а иначе для ученого мира. Я душевно благодарю за них дружеское перо, которое их начертало, но воспользуюсь правом непринужденности,

присвоенным всякой благородной дружбе, чтоб не принять их на свой счет» (СПч. 1834. № 25, 31 января).

¹⁴ О. И. Сенковский занимал должность профессора Санкт-Петербургского университета по кафедрам арабского и турецкого языков в 1822–1847 гг. Его известность как ученого-востоковеда была достаточно велика: в 1826 г. избран членом-корреспондентом Краковского научного товарищества и почетным доктором Ягеллонского университета, в 1827 г. — членом Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии, в 1828 г. — членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Он был автором многочисленных переводов и специальных работ по ориенталистике, а также художественных произведений на восточные темы. Его «арабская сказка» «Витязь буланого коня», напечатанная в альманахе «Полярная звезда» на 1824 г., заслужила благожелательный отзыв Пушкина (см. письмо Пушкина А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г. — XIII, 388).

¹⁵ Речь идет в первую очередь о статье О. И. Сенковского «Способности и мнения новейших путешественников по Востоку» (БдЧ. 1835. Т. 13, № 12. Отд. III. С. 112–145). Ср. отзыв в «Ничто о ничем...» В. Г. Белинского: «Знаете ли вы <...> какая главная, основная мысль этой статьи?.. А вот какая: все путешественники по Востоку врут и порют дичь...» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 635–636; Белинский. Т. 2. С. 35). «Если XIX век, — начинал свою статью Сенковский, — намерен когда-либо предстать перед судом потомства с притязанием на свою пронизательность, то друзья его должны были бы присоветовать ему, чтобы он наперед спрятал свои путешествия по Турции и не представлял их в числе документов. Вот уже с лишком двадцать лет, как, со времени всеобщего мира, путешественники всех европейских стран, всех званий и всех возрастов посещают Восток, со скуки, из любопытства, чтобы рассеяться между бородачей и верблюдов, чтобы, обанкрутившись в христианском крае, попытать счастья в старой земле солнца и еще раз обанкрутиться на счет неверных; чтобы, вступив в службу, хватать жалованных халатов и шалей и воротиться в Европу с фантастическим титулом египетского или турецкого генерала; очень редко для того, чтобы изведать непосещенные земли и принести пользу науке, а большею частью, чтобы ничего не видеть и написать о том книгу» (БдЧ. 1835. Т. 13, № 12. Отд. III. С. 112). Подобные претензии редактор «Библиотеки для чтения» предъявлял и авторам художественных произведений — в частности, Н. В. Кукольнику в рецензии на его «восточную драму» в стихах «Роксолана» (1834). «Почти нет сомнения, — утверждал Сенковский, — что поэту, предпринимающему восточную драму, надобно хоть несколько быть ориенталистом, ориенталистом посредством путешествий или ориенталистом посредством изучения восточной литературы, — чтобы в нашем веке, ученом и стремящемся к подлинности в поэзии, создать и выполнить что-нибудь похожее на дело». В противном случае «в каждом слове, в каждом движении» произведения проступают «неверность, ошибка или несообразность», чем, по мнению рецензента, и отличалась драма Кукольника: «...то, что он выдает в ней за настоящее турецкое, не имеет и тени сходства с турецким, ни с мусульманским, ни с восточным» (Там же. Т. 9, № 4. Отд. V. С. 45–47).

¹⁶ Понятие вкуса как интуитивной способности человека к восприятию и оценке художественных произведений составляло одну из базовых категорий эстетики XVIII–XIX вв. Предполагалось, что суждения, основанные на вкусе, при неизбежной их зависимости от конкретных исторических условий и общественных конвенций, в основе своей отражают объективные свойства эстетических феноменов, отвечающие универсальным критериям истины, красоты и нравственности (см. об этом, например: *Шевырев С. П.* Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 161–164, 172–181, 188, 214–215, 327–329). Это представление и оспаривалось Сенковским, утверждавшим, что единственным достойным критерием оценки литературного произведения является субъективное впечатление критика. Так, в рецензии на «драматическую фантазию» Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» (СПб., 1833) он писал: «Беспристрастную критику называю я то, когда по чистой совести говорю тем, которые хотят меня слушать, какое впечатление лично надо мною произвела данная книга. Но степень моего впечатления не есть правило для других. Критика в наше время сделалась картиною личных ощущений всякого, — всякого, одаренного от природы ясным чувством средств и способов, которыми

изящное может производить полное и приятное действие над сердцем и воображением человека. О правилах нет и речи. <...> Вкус — это прихоть беременной женщины, которая есть общество. Следственно, по прочтении критики, и спорить не об чем: одно средство — изъять, независимо от обнаруженного уже мнения, другое, разное мнение, с таким же чистосердечием, но без опровержений, ибо опровергать чужие ощущения ровно столько же смешно, сколько неудобноисполнимо» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 38; подпись: Тютюнджо-Оглу). Эти высказывания Сенковского вызвали возмущенные возражения С. П. Шевырева (в статье «О критике вообще и у нас в России» — см.: МН. 1835. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 511–522) и В. Г. Белинского (в статье «Ничто о ничем...» — см.: Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 641; Белинский. Т. 2. С. 38; см.: *Серебровская Е. П.* Белинский и Гоголь. С. 46).

¹⁷ Ср. в черновике гоголевской статьи: «Кукольника он поставил наряду с Гёте, а спустя несколько времени он же в разборе „Притчей“ Круммахера объявил, что он это так сказал, лишь бы только, потому что вздумалось поднять такого-то автора» (Гоголь. Т. 8. С. 524). Речь идет о рецензиях О. И. Сенковского на «драматическую фантазию» Н. В. Кукольника «Торквато Тассо», где Кукольник назван «юным нашим Гёте» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 29), и русское издание избранных «Притчей» («Parabeln», 1805) немецкого поэта, священника и проповедника Ф. А. Круммахера (Krummacher; 1767–1845). В последней Сенковский, среди прочего, предлагал читателям притчу собственного сочинения: «Один веселый и причудливый человек, который в нужде мог собрать ума в голове своей на три страницы, сидел раз после обеда у своего письменного столика и, от нечего делать, вздумал, пока подадут кофе, сделать колоссальную репутацию первому плохому стихотворцу, какой пройдет мимо его дома, чтобы увидеть, что из этого выйдет. Случилось, что на это время проходил мимо его окон один очень плохой стихотворец. Человек с умом на три страницы сделал, забавляясь, колоссальную поэтическую славу и бросил ее в форточку. Плохой стихотворец подобрал брошенную ему колоссальную славу и пошел с нею в люди. Человек с умом на три страницы взял свою чашку кофе, подошел к окну и стал смотреть, что из этого выйдет: вышел самый бешеный враг и клеветник человека с умом на три страницы... Не должно никогда вытаскивать из грязи и разогревать мерзлой змеи, потому что она тотчас ужалит руку, которая разогрела ее» (БдЧ. 1835. Т. 11, № 8. Отд. VI. С. 31–32; см. также: Гоголь. Т. 8. С. 766, коммент. Б. В. Томашевского).

¹⁸ Речь идет о рецензии Сенковского на роман Ф. В. Булгарина «Мазепа» (СПб., 1833–1834. Ч. 1–2). «Один умный человек, — писал здесь Сенковский о Вальтере Скотте, — одаренный необыкновенно сильным дарованием и еще сильнеею страстию изумлять людей, стал писать стихи новым, необычайным размером и увлек за собою толпы подражателей. Он не имел истинного поэтического гения, и подражатели легко под него поделались. Видя упадок своей стихотворной славы, он кинулся в другую сторону, к другому насильственному средству славы, или попросту шарлатанству, и сделал искусственную смесь истины и вымысла, слитых так удачно, что нельзя было узнать в целом — истина ли это или вымысел. Это ему удалось выше всякого чаяния, и в свет явился исторический роман» (БдЧ. 1834. Т. 2, № 2. Отд. V. С. 16–17; подпись: «О. О.....О!»; см. также: Гоголь. Т. 8. С. 766–767). Это замечание было воспринято оппонентами Сенковского как литературное святотатство и послужило поводом для критических выпадов и насмешек в его адрес (см., например: Библиотека для чтения: Критика // Молва. 1834. Ч. 7, № 10. С. 154; без подписи; *Надеждин Н. И.* Здравый смысл и барон Брамбеус: (Статья I) // Телескоп. 1834. Ч. 21, № 19. С. 171–172; *Шевырев С. П.* О критике вообще и у нас в России // МН. 1835. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 509; подробнее см.: *Долинин А. А.* История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 243–246). По замечанию А. А. Долинина, этот пример, выбранный Гоголем для иллюстрации беспринципности Сенковского-критика, был крайне неудачен: выступая против жанровой модели исторического романа, созданной Вальтером Скоттом, редактор «Библиотеки для чтения» обнаружил необычную для себя последовательность (см.: *Долинин А. А.* История, одетая в роман. С. 248–249).

¹⁹ Ср. замечания о литературной критике Сенковского в статье В. М. Строева «Русская критика в 1835-м году»: «Для чего он пишет критику на вашу книгу? Не

для того, чтобы показать, что вы хотели сделать и что вы сделали, совсем нет! Ваша книга — не цель для него, а только средство показать, что он знает более вас. В его критике вы исчезаете, остается он один. Эгоизм удивительный! Только и видите, что *мы*, да *мы*, да опять *мы*, а автор с книгой в стороне. Прочитайте двадцать страниц критики: вы узнаете тысячу новых вещей, остроумно изложенных, а о книге будете судить только по отрывкам, которые взял у автора критик без всякой связи. От этой уверенности в чужое бессилие и незнание, от этой самонадеянности происходит то глубокое, непритворное презрение к чужим трудам, которое критик „Библиотеки“ тщетно силится скрывать» (СО. 1836. Ч. 175, № 1. С. 51–52).

²⁰ Борьба Сенковского с элементами церковно-книжного языка, уничижительно и несправедливо трактуемыми им как «канцеляризм», была начата еще в предисловии к «Фантастическим путешествиям Барона Брамбеуса» (СПб., 1833): «Река целую неделю несет лед; проза крутлый год несет вздор; у нас, на Руси, лучшие ее страницы засыпаны толстым слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений *сей* и *оний*, которых, по прочтении, не смеете вы даже произнести в честной компании, которыми наперед израните себе до крови язык и руки, пока сквозь них доберетесь до изящного. Разве это жизнь?.. Лучше пойдем в Неву! Утонем все вместе, так, по крайней мере, будет конец этой скуке. <...> Когда меня не станет, скажите моим знакомцам, что я утонул с уныния, с отчаяния, потому что на свете и в словесности в нынешнем году было очень скучно, потому что русская изящная словесность XIX столетия не хотела говорить русским языком XIX века, что она тайно покупала у повытчиков в числе прочего казенные местоимения *сей* и *оний*, топила ими свои произведения как собственными дровами и безвкусно испещряла все свои строки, что она никак не соглашалась стряхнуть с себя пыль канцелярских форм, описывала даже любовь и ее прелести слогом думного дьяка Власа Афанасьева и заставляла меня, злополучного, думать на одном языке, на том, которым говорю я с порядочными людьми, а писать на другом, которым не говорит никто на земном шаре. <...> Не сумасшедший ли я? Лишать себя жизни из-за канцелярских местоимений!.. Я был бы настоящий *сей*, *оний*, *таковой* и даже *упомнутый дурак*, если б сгубил свою душу из-за такой ничтожной причины. <...> Буду назло им жить на свете; жить нарочно для того, чтоб огорчать их моею к ним холодностью, чтоб бесить их, чтоб их самих привести в отчаяние и заставить, подобно теснимой дымом саранче, снаться тучею с поля словесности и опрокинуться в Неву» и т. д. (с. X–XII, XIII, XIV). За нападки Сенковского на слова *сей*, *оний*, *кои* и т. д., продолжившимися с 1834 г. на страницах «Библиотеки для чтения», стояла определенная языковая программа. Сенковский считал, что стилистическим фундаментом литературной речи должна стать светская «разговорность», равно чуждая и книжно-славянской традиции, и народного просторечия, но применяющаяся к языковым вкусам и провинциального дворянства, и третьесловной интеллигенции (подробнее см.: *Виноградов В. В. Язык Пушкина*. М.; Л., 1935. С. 338–354). Хотя в первый год издания «Библиотеки» языковая нетерпимость Сенковского, возможно, еще несколько сдерживалась Н. И. Гречем, проявлялась она достаточно резко и вызывала ответную реакцию (см., например, заметку А. Кораблинского (А. Ф. Воейкова) «За коренные русские православные местоимения *сей* и *оний*» — ЛПРИ. 1834. № 54, 7 июля. С. 425–429). В ноябре 1834 г. в «Северной пчеле» (№ 270, 27 ноября) появилась статья Ф. В. Булгарина «Челобитная слов: сей, оний, кой, понеже, поелику и якобы (изгнанных без суда и следствия из русского языка). Ко всем грамотным русским людям». «Ни великий Ломоносов, ни творческий Державин не избегали нас, — писал Булгарин от имени преследуемых *сей*, *оний* и др., — и даже красноречивый Карамзин и гениальный Пушкин жили в ладу с нами. Вдруг нашла туча, раздался гром и чернильный океан взволновался, угрожая нам гибелью и истреблением». Далее Булгарин дал Сенковскому своего рода лингвистическую отповедь: «„Библиотека для чтения“ объявляет, что не надобно употреблять тех слов в литературе, которые не употребляются в обыкновенном разговоре. В других языках это возможно, а в нашем русском языке этого делать и не можно и не должно. *Во-первых*, у нас еще нет изящного разговорного языка, потому что в русских обществах редко толкуют об изящном по-русски. *Во-вторых*, у нас два языка: церковный и летописный и нынешний гражданский, или литературный, образовавшийся в течение ста сорока лет. Пределы

его еще не означены и существование не упрочено. По мере распространения идей, а с ними расширения умственной деятельности берут слова и будут их брать то из церковного языка, то из летописей, то из просторечия, то из соплеменных наречий, и запас слов беспрестанно умножается. За *сим* придет эпоха разговорного языка. Но как бы ни мило стали разговаривать по-русски в гостиных, всегда останется множество слов, которые будут употребляться только в литературе, ибо для разговоров будут они слишком полновесны или неуместны». Сенковский отвечал статей «Резолюция на челобитную *сего*, оною, такового, коего, вышеупомянутого, вышеереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных к оной челобитной по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (БдЧ. 1835. Т. 8, № 1. Отд. VI. С. 26–34; подпись: Барон Брамбеус). Полемика продолжалась не один год; см., например, статьи Ф. В. Булгарина «Ревель летом» (СПч. 1835. № 229, 11 октября), А. Кораблинского (А. Ф. Воейкова) «Следствие гонения на местоимение *сей*» (ЛПРИ. 1835. № 66, 17 августа), В. А. Ушакова «Образчик разговорного языка» (СПч. 1836. № 270, 25 ноября) и др. В 1838 г. Н. И. Греч писал: «Вот пятый год, что „Библиотека для чтения“ беспрерывно и неутомимо занимается преследованием сих двух невинных слов, поставляет в том свою славу, величается тем пред русскою публикою! Что вышло из этого? Писатели плохие, неопытные, неуверенные в своих силах следуют наветам толстых книжек. „Что делать! — сказал мне, вздыхая, один сочинитель, которому я указал пятнадцать *этих* на одной странице его книги. — Не поставь я *этих*, книгу мою разругают в „Библиотеке“; я ни продам ни одного экземпляра; у меня жена и дети“. И по этой *себебоязни* вы очень хорошо отличите писателей самостоятельных от бедных поклонников „Библиотеки“» (Греч Н. И. Литературные пояснения. СПб., 1838. С. 14–15).

²¹ Орфографическая теория В. К. Третьяковского была изложена им в «Разговоре между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи» (1748). Здесь предлагался ряд шагов, направленных на освобождение гражданской печати от церковной орфографической традиции, в рамках которой допускалось, в частности, существование фонетически дублетных знаков, передающих грамматические и лексические различия. К ним, среди прочих, относились «и», десятиричное *i* («*i*») и ижица («*v*»). Выступая в поддержку фонетической орфографии, исключающей наличие дублетов, Третьяковский отвергал ижицу, употреблявшуюся лишь в осознаваемых греческих заимствованиях, а выбирая между «и» и «*i*», отдавал предпочтение последней, как знаку, сходному с латинским: новая русская азбука должна была, по возможности, внешне походить на латинскую, а не на греческую, так как, по мнению автора, это отвечало духу петровской типографской реформы 1710 г. (подробнее см.: *Винокур Г. О. Орфографическая теория Третьяковского // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 468–474, 487. Один профессор* — профессор Московского университета М. Т. Каченовский, насаждавший в издаваемом им «Вестнике Европы» архаическую орфографию, что служило предметом иронии его литературных противников (см., например, пушкинскую «Эпиграмму» («Гам, где древний Кочерговский...», 1829)). Таким образом, между уподобляемыми Гоголем явлениями не было ничего общего, на что и указывал Пушкин в «Письме к издателю» (см.: *Совр. 1836. Т. 3. С. 325; наст. изд., с. 180–181*).

²² Барон Брамбеус, псевдоним Сенковского, взятый из известной лубочной повести о Франциле Венциане («История о храбром рыцаре Франциле Венциане и о прекрасной королеве Ренциане»), впервые появился под его произведениями в первой части альманаха «Новоселье» в 1833 г. — юмористическим очерком «Незнакомка» и памфлетом «Большой выход у Сатаны». В том же году был издан сборник «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833; 2-е изд.: СПб., 1835), куда вошли предисловие («Осенняя скука») и повести «Поэтическое путешествие по белу-свету», «Ученое путешествие на Медвежий остров», «Сентиментальное путешествие на гору Этну». На зависимость произведений Сенковского от современной французской романтической литературы указал Н. И. Надеждин в статье «Здравый смысл и барон Брамбеус» (Телескоп. 1834. Ч. 21. № 19. С. 131–175; № 20. С. 246–276; № 21. С. 317–335). Эта зависимость казалась тем более возмутительной, что Сенковский в «Библиотеке для чтения» заявил себя убежденным противником

новой французской литературы (см. его статью «Брамбеус и юная словесность» — БдЧ. 1834. Т. 3, № 4. Отд. I. С. 33–60; подпись: Барон Брамбеус; см. о ней примеч. 25 к статье В. Г. Белинского «Литературные мечтания» — наст. изд., с. 390). В своем опровержении Н. И. Павлищев в появившейся в 1835 г. статье под таким же заглавием — «Брамбеус и юная словесность» (МН. 1835. Ч. 2. Июнь, кн. 1. С. 442–465; кн. 2. С. 599–637) — продолжил критику Надеждина и прямо обвинил Сенковско-го-беллетриста в плагиате. Напоминая о критике Сенковского в адрес французской «неистойвой словесности», автор указывал на копирование им стиля, приемов и целых сюжетов произведений ее представителей. Подробно прослеживалось, например, сходство «Большого выхода у Сатаны» Сенковского с «Комедией Сатаны» («La comédie du diable», 1830) Бальзака; Сенковский обвинялся в подражании Э. Сю, А. Дюма, А. де Виньи и др.; кроме того, отмечались также заимствования из «Гаргантюа и Пантагрюэля» («Gargantua et Pantagruels», 1532–1552) Рабле, «Чувствительного человека» («The Man of Feeling», 1771) Г. Макензи, «Путешествия в загробный мир и прочее» («Journey from this World to the Next», 1743) Г. Филдинга и др. И Надеждин, и Павлищев при этом обращали внимание читателей на более чем сомнительное нравственное содержание повестей самого Сенковского.

²³ Неоднократно переиздававшаяся книга «Не люблю, не слушаю, а лгать не мешай» (СПб., [б. г. — 1791 ?]; 4-е изд. СПб., 1811) представляет вольный перевод Н. П. Осипова с немецкой обработки Г. А. Бюргера книги Р. Э. Распе (Raspe; 1737–1794) о приключениях барона Мюнхаузена.

²⁴ Сходный отзыв, имеющий, однако, иронический оттенок, содержится в статье В. Г. Белинского «Ничто о ничем...»: «Смесь составляет последнее отделение „Библиотеки“, одно из лучших, из самых занимательных и самых полных. Тут вы найдете все: и брань на французскую литературу, и остроты над французскими воеводами, остроты, целиком взятые из французских же журналов, и ученые известия, и пр. и пр. Я думаю, что такое отделение необходимо для всякого журнала, как десерт для стола» (Телескоп. 1831. Ч. 31, № 4. С. 646; Белинский. Т. 2. С. 41; см.: Мельниченко О. Г. Гоголь и Белинский. С. 26; Серебровская Е. П. Белинский и Гоголь. С. 46).

²⁵ 10 января 1834 г., сразу после появления в свет первого номера «Библиотеки для чтения», А. В. Никитенко записал в дневнике: «На Сенковского поднялся страшный шум. Все участники в „Библиотеке“ пришли в ужасное волнение. Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступающие к нему в редакцию, переделывать по-своему. Судя по его опрочетчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно. У меня сегодня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании» (Никитенко. Т. 1. С. 133). О том же Гоголь писал М. П. Погодину 11 января: «Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марают, переделывают, отрезают концы и пришивают другие к поступающим пьесам» (Гоголь. Т. 10. С. 293). Методы Сенковского высмеивались Гоголем и в «Ревизоре» (1836), где на роль литератора, «поправляющего» произведения известных писателей и получающего за это от Смирдина «сорок тысяч», претендует Хлестаков (Гоголь. Т. 4. С. 49; см. об этом: Гиппиус В. В. Заметки о Гоголе. III. Вариант Хлестакова // Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та. 1941. № 76 / Сер. филологических наук. Вып. 11. С. 9–12; Долгин А. С. Из истории борьбы Гоголя и Белинского за идейность в литературе. С. 37–43). Позиция Сенковского в отношении поступающих в журнал сочинений была заявлена в напечатанном во второй книжке объявлении «от издателя и редакции журнала». Обещая не переправлять «ни буквы» в стихотворных произведениях, редактор оставлял за собой право вторгаться в текст прозаических статей, устранять «случайные погрешности против грамматики и языка», «выражения, несогласные с уставом о цензуре или современными приличиями», менять названия статей и т. д., — «для соблюдения единообразия журнала» (БдЧ. 1834. Т. 2, № 2. С. III–IV). О принципах своей редакторской работы О. И. Сенковский позднее, уже после появления гоголевской статьи, писал в рецензии на «Рассказы дяди Прокопья, изданные А. Емичевым»: «У „Библиотеки для чтения“ есть ящик <...> с пречудным механизмом внутри, работы одного чародея, в который стоит только положить подобный рассказ, чтобы, повернув несколько раз рукоятку, рассказ этот перемололся весь, выгладился, выправился и вышел из ящика довольно приятным и блестящим, по крайней мере четким. Многие, многие им пользуются. Говорят, что иные, воспользовав-

шись для своей славы и для разного другого прочего выгодами этого ящика, кричат потом в публике, что, дескать, их статьи перемолоты, переправлены, *не то, что были.* <...> Чего тут жаловаться? Не хотите быть переправлены? Не суйтесь в „Библиотеку“ для ч<тения>“: вы знаете, что есть *такой* ящик! Печатайте свои произведения отдельными книжками или отдавайте их в такие журналы, которые под словом „редакция“ понимают просто „чтение корректуры“. В „Библиотеке“ для ч<тения>“ редакция значит *редакция* в подлинном смысле слова, то есть сообщение доставленно-му труду принятых в журнале форм, обделки слога и предмета, если они требуют обделки...» (БдЧ. 1836. Т. 17, № 7. Отд. VI. С. 8). Эти откровения Сенковского вызвали возмущенную реакцию В. И. Даля, который в статье «Во всеуслышание» фактически призывал всех литераторов к бойкоту «Библиотеки». Даль, по-видимому, предназначал свою статью к публикации в «Современнике», но напечатана она не была и сохранилась в бумагах Пушкина (впервые опубликована П. И. Бартевым: РА. 1880. Т. 3, кн. 2. С. 473–480; см. также: Шаронова А. В. К проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения» // РЛ. 2000. № 3. С. 85–86, 91–94). Следует отметить, однако, что у самого Гоголя оснований для личных претензий подобного рода к Сенковскому, вероятно, не было. На это указывает издательская история фрагмента «Кровавый бандурист. Глава из романа», предназначенного Гоголем для публикации в «Библиотеке для чтения» в 1834 г., но не пропущенного цензурой. Сохранившаяся корректура произведения носит следы исключительно технической правки, а его начало, напечатанное через несколько месяцев в «Арабесках» (СПб., 1835. Ч. 2. С. 161–172) под заглавием «Пленник. Отрывок из исторического романа», лишь незначительно расходится с корректурным вариантом (подробнее см.: Оксман Ю. Г. Кровавый бандурист: (Запрещенные страницы Гоголя) // Литературный музей: (Цензурные материалы 1-го отд. IV секции Гос. архивного фонда) / Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг., [1921]. Т. 1. С. 354–356; Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 108; Долинин А. С. Из истории борьбы Гоголя и Белинского за идейность в литературе. С. 30, 32–33).

²⁶ Конфликты Сенковского с литераторами, изначально изъявившими согласие на участие в журнале и помещение их имен на заглавном листе, начались сразу по выходе первых книжек «Библиотеки» (см., например, примеч. 12 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 376). В 1838 г. Н. И. Греч, рассказывая о своем сотрудничестве в журнале Сенковского, свидетельствовал: «В декабре (1834 г. — *Ред.*), принявшись за редакцию „Энциклопедического лексикона“, я отказался от редакции „Библиотеки“. Тогда исчезли и имена сотрудников с заглавного листа, между тем как в объявлениях о продолжении „Библиотеки“ повторялось, что все прежние литераторы в ней участвуют. Тщетно некоторые из них объявляли, что уже давно прекратили всякое с нею сообщение...» (Греч Н. И. Литературные пояснения. С. 3). Уже ко второму полугодю 1834 г. из списка литераторов на обложке «Библиотеки» исчезли имена П. А. Вяземского, Е. Ф. Розена и А. С. Хомякова; в следующем году в журнале перестали печататься М. П. Погодин, А. С. Норов, С. П. Шевырев; с середины 1835 г. — Пушкин; позднее, в середине 1836 г., сотрудничество с Сенковским прекратят В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, М. Н. Загоскин, Ф. В. Булгарин; в 1837 г. — В. А. Жуковский и Д. В. Давыдов (см.: Шаронова А. В. К проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения». С. 94). Наиболее чувствительным ударом для «Библиотеки» стал уход из нее Пушкина, отдававшего журнал в 1834-м и в первой половине 1835 г. все свои новые произведения.

²⁷ Ср. в статье В. Г. Белинского «Ничто о ничем...»: «...„Библиотека“ есть журнал *провинциальный*, и в этом заключается тайна ее могущества, ее силы, ее кредита у публики» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 647; Белинский. Т. 2. С. 41; см.: Мельниченко О. Г. Гоголь и Белинский. С. 23; Серебровская Е. П. Белинский и Гоголь. С. 43–44).

²⁸ Вероятно, все же в первую очередь имеется в виду В. П. Бурнашев, автор большого рекламного очерка о табачном фабриканте В. Г. Жукове (СПч. 1832. № 296, 17 декабря; № 297, 19 декабря; № 298, 20 декабря), хотя реплика Гоголя может быть отнесена ко многим молодым сотрудникам «Северной пчелы», писавшим в газете

статьи на самые разные темы, таким как, например, В. М. Строев. Подобный же выпад в адрес «Северной пчелы» содержится в повести Гоголя «Портрет» (1834), где фигурирует «издатель ходячей газеты», публикующий заметку о «необыкновенных талантах» художника Чарткова «вслед за объявлением о новоизобретенных салльных свечах» (Гоголь. Т. 3. С. 98; см.: *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист. С. 47).

²⁹ Ср. отзыв В. Г. Белинского о «Сыне отечества» в статье «Ничто о ничем...»: «...я ничего не могу о нем сказать, потому что не только не читал, даже не видал его, как ни старался об этом. „Сын отечества“ у нас в Москве считается каким-то призраком-невидимкою, о существовании которого все знают, но которого никто не видит» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 648; Белинский. Т. 2. С. 42; см.: *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 113). Это замечание содержится в последней части статьи Белинского, напечатанной в книжке «Телескопа», вышедшей в свет 19–21 марта (см.: МВед. 1836. № 24, 21 марта). Примечательно, что характеристика «Сына отечества» отсутствует в сохранившихся черновиках гоголевской статьи. Последнее, по мнению Е. П. Серебровской, косвенно свидетельствует о том, что Гоголь при написании статьи опирался на обзор Белинского (см.: *Серебровская Е. П.* Белинский и Гоголь. С. 47).

³⁰ По наблюдению В. П. Красногорского, гоголевский образ читателя «Сына отечества» отчасти напоминает портрет героя «Носа» майора Ковалева, не живущего в столице, но приехавшего туда «по надобности» и бредущегося два раза в неделю: «каждую среду и воскресенье» (Гоголь. Т. 3. С. 50, 51; см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 116).

³¹ Речь идет о газете «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“».

³² Ср. в статье В. М. Строева «Русская критика в 1835-м году»: «Более любопытна критика инвалидов листов, называемых „Литературными прибавлениями“. Тут некто г. Кораблинский в каждом номере поставил себе за непремный долг, из любви к отечеству и к отечественной литературе, сказать что-нибудь в порицание барону Брамбеусу и „Библиотеке для чтения“. Он с жадностью ловит типографские печатки и строит на них с удивительным старанием огромные обвинения в незнании грамматики, логики, всех наук и искусств, в недостатке здравого смысла, в непочтении к живым и мертвым, ко всему бывшему и теперь существующему. <...> Эта смешная трагедия представлялась в продолжение всего 1835 года, еженедельно, по средам и субботам, за самую умеренную плату и превратилась наконец у г-на Кораблинского в привычку. В то же время, когда в „Литературных листках“ бранили „Библиотеку для чтения“ и называли сентябрьскую книжку скучною, незанимательною и проч., в то же время „Инвалид“ перепечатывал из нее статьи с припискою: „из превосходного журнала «Библиотека для чтения», издаваемого книгопродавцем Смирдиным“, и проч. И смех и горе!» (СО. 1836. Ч. 175, № 1. С. 61–62). Систематическая публикация в «Литературных прибавлениях» заметок А. Ф. Воейкова под псевдонимом «А. Кораблинский», направленных против «Библиотеки для чтения», началась с июля 1834 г.

³³ См. в статье Н. И. Надеждина «Здравый смысл и барон Брамбеус»: «Ниспровержению положительных законов изящества, содержащихся в древних кодексах риторик и пиитик, одолжены мы тем, что каждый властен теперь считать себя бароном в делах вкуса и, по званию барона, присвоает себе право иметь свои прихоти, свои фантазии. <...> ...но, с другой стороны, баронский титул еще не дает полномочия на все. Мало ли что может прийти в голову иному барону?» (Телескоп. 1834. Ч. 21, № 19. С. 132–133). См. также выше примеч. 22.

³⁴ См., например, рецензии В. Г. Белинского на «Путевые записки Вадима» В. В. Пассека («Посмотрите: там Брамбеус силится блистать красотоми Поль-де-Кокка, приправленными, в приличных местах, неистовством „юной словесности“...» — Молва. 1835. Ч. 9, № 10. Стб. 159; Белинский. Т. 1. С. 151–152) или на книгу «О жизни и произведениях сира Вальтера Скотта» А. Каннингама («На Вальтера Скотта и народ, и народы, и человечество давно уже возложили венец поэтической славы <...>. Так какому ли нибудь самозванному барону удастся снять этот венок с лучезарной головы гениального баронета?..» — Молва. 1835. Ч. 10, № 43. Стб. 266; Белинский. Т. 1. С. 344; см.: *Долинин А. С.* Из истории борьбы Гоголя и Белинского за идейность в литературе. С. 46–47).

³⁵ Выпуск номеров «Телескопа» и «Молвы» задерживался в период с июня по декабрь 1835 г., во время заграничной поездки редактора журнала Н. И. Надеждина. Уезжая, он ходатайствовал перед Московским цензурным комитетом о временной передаче управления обоими изданиями Белинскому. Комитет приостановил выход журнала и газеты и 12 июня просил Главное управление цензуры утвердить ходатайство Надеждина. Положительная резолюция Главного управления цензуры последовала только 18 июля, и после более чем полуторамесячного перерыва выход «Молвы» возобновился. В вышедших объединенных № 24–26 (ценз. разр. от 30 июля) было помещено «извещение», что «выход книжек обоих журналов был на некоторое время прекращен» по не зависящим от редакции обстоятельствам, но теперь редакция употребит все средства и все свои усилия, «чтобы гг. подписчики были в самом скорейшем времени удовлетворены выдачею отставших книжек и получали в свое время следующие» (стб. 469–470; Белинский. Т. 1. С. 220–221). «Молва», объединяя по несколько номеров, к концу года почти наверстала отставание (вышло 50 номеров из положенных 52), но с изданием «Телескопа» В. Г. Белинский, плохо знакомый с технической стороной издательского дела и лишенный деятельной поддержки остальных сотрудников, не справился. В результате за указанный период появилось лишь 6 книжек (№ 7–12). В конце 1835 г. Надеждин по возвращении в Москву поместил в «Молве» (1835. Ч. 10, № 50. Стб. 381–382) и «Телескопе» (1835. Ч. 28, № 13) объявление «от издателя», где просил у подписчиков «благодаря отлучке извинения за крайнее замедление в выдаче книжек „Телескопа“ и перерыв в выходе листов „Молвы“, случившийся после отъезда его за границу» и обещал, что «отсталые книжки „Телескопа“ будут выданы в течение наступающего года с возможною скоростью, без малейшего уменьшения в объеме и со всевозможным попечением о заботливости их содержания» (см. также: Поляков М. Я. Виссарий Белинский: Личность — идеи — эпоха. М., 1960. С. 180–182; Козмин Н. К. Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность: 1804–1836. СПб., 1912. С. 526).

³⁶ Сходный упрек был в свое время адресован Пушкиным Ф. В. Булгарину и Н. И. Гречу в статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831) (см.: Телескоп. 1831. Ч. 4, № 13. С. 135–144; XI, 204–210; П. в критике, III. С. 295–300). В гоголевской статье, однако, подобное замечание выглядело не вполне корректным: в первом томе «Современника» помещалась благосклонная рецензия Пушкина на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (с. 311–312; XII, 27). Последнее, по мнению Н. Н. Петруниной и Г. М. Фридендера, могло стать одной из причин анонимной публикации гоголевской статьи (Петрунина, Фридендер. С. 215). Этот тактический ход (если он действительно имел место) не принес желаемого результата. В рецензии на пушкинский журнал Ф. В. Булгарин писал: «С первой его книжки уже заметно это осмеиваемое им же направление критики. Два сотрудника „Современника“, гг. Погодин и Гоголь, расхвалены не на живот, а на смерть» и т. д. (СПЧ. 1836. № 127, 6 июня; наст. изд., с. 150).

³⁷ Речь идет о журнале «Московский наблюдатель». Ср. в статье А. С. Пушкина «О журнальной критике» («В одном из наших журналов дают заметить...»): «Литературная газета» была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов» (ЛГ. 1830. Т. 1, № 3, 11 января. С. 24; XI, 89; см.: Красногорский В. П. Новая статья Пушкина. С. 115; Вацуро В. Э. «Великий меланхолик». 4. «Плагиаты» Гоголя. С. 327).

³⁸ Статьи сотрудников «Московского наблюдателя», С. П. Шевырева и М. П. Погодина, действительно подвергались изменениям в «Библиотеке для чтения». В. Г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 633; Белинский. Т. 2. С. 34) упоминает, например, статью Шевырева «Сикст V», сокращенную редактором «Библиотеки» (это было прямо заявлено в редакционном примечании: «Мы сожалеем, что изобилие вопросов, ныне занимающих европейский литературный свет, и самые пределы нашего журнала не дозволяют нам напечатать ее во всем ее пространстве» — БдЧ. 1834. Т. 6, № 10. Отд. III. С. 37). О случае с одной из статей М. П. Погодина, вспоминал А. В. Старчевский: «Погодин <...> прислал С<енковск>ому свою статью исторического содержания для напечатания в

„Библиотеке> д<ля> ч<тения>“, Сенковск>ий принял статью, переделал по-своему и, напечатав, отослал Погодину гонорар по расчету за напечатанную статью, хотя она вышла в полтора раза против оригинала. Увидев свою статью в другом виде, Погодин поднял гвалт, что ему изуродовали, испортили его произведение <...>. Прошло после этого пятнадцать лет; Погодин выпускает полное собрание своих произведений, помещенных в разных периодических изданиях; в этом собрании появилась и статья его, напечатанная прежде в „Библиотеке> д<ля> ч<тения>“, — но не в том виде, в каком он отправлял ее в редакцию, а в том самом, в каком она вышла из-под пера Сенковско>го!» (Старчевский А. В. Последние десятилетия жизни барона Брамбеуса (Осипа Ивановича Сенковского): (С 1848 по 1858 г.): Письма к редактору «Наблюдателя» // Наблюдатель. 1884. № 11. С. 325; см. также: Долинин А. С. Из истории борьбы Гоголя и Белинского за идею в литературе. С. 29).

³⁹ Речь идет о стихотворной комедии Д. И. Фонвизина «Корион» (1764), опубликованной в «Библиотеке для чтения», как гласил редакторский подзаголовок, по рукописи, «найденной в бумагах покойного Озерова» (см.: БдЧ. 1835. Т. 13, № 12. Отд. I. С. 121–160). За отсутствием в источнике четырех заключительных стихов пятого (последнего) явления, Сенковский подставил на их место произвольный финал и добавил новое, шестое явление, что оговаривалось в редакторском примечании: «Рукопись Фонвизина оканчивается стихом: „Чтоб мне тебя по смерть любить и обожать“; но это очевидно не последний стих пьесы. За неотысканием подлинного конца комедии мы решились, для полноты действия и вящего наслаждения читателей, присоединить к ней конец, приделанный бароном Брамбеусом и А. В. Тимофеевым. Прибавление это означено чужесловами для отличия от собственного сочинения Фонвизина» (с. 160).

⁴⁰ Речь идет о заметке, напечатанной в отделении «Литературная летопись» февральской книжки «Библиотеки для чтения» за 1835 г.: «В Москве вышла программа нового журнала, „Московский наблюдатель, журнал энциклопедический“, которая на девяти листах печати (8–10) обещает давать ни более ни менее девяти отделений, подобных отделениям „Библиотеки> для ч<тения>“, и в каждом отделении целую тьму предметов. Критика, по словам программы, будет в нем подобная, беспристрастная и строгая: это, верно, опечатка, вместо — скромная. Скромность прекрасное качество при разборе чужого ума! Все истинно великие писатели были критиками скромными и снисходительными. Наконец, по словам программы, это не будет какое-нибудь торговое предприятие одного человека. И мы так думаем: судя по одной программе, это, верно, будет предприятие бранное, а не торговое» (Т. 8, № 2. Отд. VI. С. 66).

⁴¹ Гоголь объединил здесь выпады в адрес «Московского наблюдателя», появившиеся в разное время на страницах «Северной пчелы» и «Сына отечества». 21 февраля 1835 г. в № 41 «Северной пчелы» было напечатано следующее редакционное заявление: «На сих днях роздано здесь, в Петербурге, с газетами и афишками, объявление без подписи о будущем журнале под заглавием „Московский наблюдатель“, которое привело всех в удивление. В этом любопытном объявлении уверяют, что грядущий журнал будет равняться числом листов „Библиотеке для чтения“, тогда как всем известно, по изданной уже его программе, что он должен состоять только из 200 печатных листов в год, а „Библиотека для чтения“ доставила в прошлом году своим читателям с лишком 300 листов. Но этого мало: в объявлении уверяют, что „в составлении этого журнала принимают постоянное участие все лучшие литераторы здешние и московские!!!.“ Мы, на нашу долю, знаем уже несколько человек, которые, по мнению публики, литераторы не худшие, но крайне изумились, прочитав в этой безымянной афишке, что они тоже принимают постоянное участие в журнале, о существовании которого только теперь узнают в первый раз. Не мешает известить публику, что они, во всяком случае, не принимают участия в шарлатанстве». (Следует отметить по этому поводу, что еще в № 10 «Пчелы» от 12 января было напечатано объявление о готовящемся с 1 марта 1835 г. издании «Московского наблюдателя» за подписью В. П. Андросова.) Год спустя обозреватель «Сына отечества» (В. М. Строев) в статье «Русская критика в 1835-м году» писал: «Едва появилась „Библиотека для чтения“, едва успела утвердиться и снискать внимание просвещенной публики, как вышло объявление о „Московском наблюдателе“, объявление нескромное, непри-

личное, которое начинало уже войну с „Библиотекою“. Из коего было понятно, что „Наблюдатель“ имеет целию уронить журнал, соединивший в себе в то время почти всю петербургскую литературную деятельность» (СО. 1836. Ч. 175, № 3. С. 185). Строеву отвечал В. Г. Белинский в статье «Ничто о ничем...»: «Петербургские журналы уверяют, что „Наблюдатель“ основан с целию уронить „Библиотеку“, и видят в этом большую злонамеренность. <...> ...мы скорее можем предположить, что „Наблюдатель“ основан с целию сделать реакцию дурному и вредному влиянию „Библиотеки“ на нашу публику, и в этом мы не только не видим ничего худого или предосудительного, но видим много хорошего и благородного» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 654; Белинский. Т. 2. С. 45).

⁴² Гоголь, первоначально возлагавший большие надежды на «Московский наблюдатель» как на достойного соперника «Библиотеки для чтения», быстро разочаровался в нем. Среди прочего, его не устраивали темпы подготовки первой книжки журнала, материал для которой собирался очень долго. «Мерзавцы вы все московские литераторы, — писал Гоголь М. П. Погодину 20 февраля 1836 г. — С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать!» (Гоголь. Т. 10. С. 353; см. также: Мельниченко О. Г. Гоголь и Белинский. С. 36–37; Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835–1836 гг. // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., 1936. Т. 2. С. 124; Степанов А. Н. Гоголь-публицист. С. 49). В. Г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» также негативно отозвался о «Московском наблюдателе», обвинив его в «альманачной безличности», отсутствии «физиономии и характера» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 656; Белинский. Т. 2. С. 45–49). В рецензии на первый номер «Современника» Белинский писал: «О „Наблюдателе“ сказана сущая истина, почти то же самое, что было сказано и в нашем журнале, только немного понисходительнее» (Молва. 1836. Ч. 12, № 7. С. 173; наст. изд., с. 147). Примечательно, что впоследствии Гоголь, критически отзываясь о «Современнике», адресовал ему подобный же упрек, утверждая, что он уже при Пушкине не имел «определенной цели» и «не был тем, чем должен быть журнал», но скорее походил «на альманах» (письмо А. О. Смирновой от 28 декабря 1844 г. — Гоголь. Т. 12. С. 438; «О „Современнике“» (1846) — Гоголь. Т. 8. С. 422, 423; см.: Петрунина, Фридендер. С. 219).

⁴³ В. П. Андросов (см. о нем наст. изд., с. 465) вовсе не был такой уж «незаметной» и неизвестной личностью в московских литературных кругах. 26 мая 1836 г. В. П. Андросов писал А. А. Краевскому о своей встрече с Пушкиным в Москве: «„Современника“ я не получаю. Неужели Пушкин так дорого ценит? Я с ним тут виделся. Он извинялся в отзыве обо мне, но я нахожу его справедливым и буду отвечать в свое время. — Прикажете, если вы имеете власть, доставить его: он, верно, не откажет» (цит. по: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835–1836 гг. С. 127; см. также: П. Врем. М.; Л., 1936. [Т]. 1. С. 339).

⁴⁴ В 1835 г. в «Московском наблюдателе» были напечатаны два стихотворения Е. А. Баратынского — «Последний поэт» (Ч. 1. Март, кн. 1) и «Недоносок» (Ч. 1. Апрель, кн. 2), стихотворения Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову» и «А. А. Фукс» (Ч. 3. Август, кн. 2), «Сказка о пастухе и диком вепре» (Ч. 4. Сентябрь, кн. 1), «Д. П. Ознобишину» (Ч. 4. Сентябрь, кн. 2).

⁴⁵ Ср. замечание в «Ничто о ничем...» В. Г. Белинского о критике «Московского наблюдателя» как о «добросовестной и убежденной <...> но вместе с тем не достигающей своей цели, не приносящей пользы, не понимаемой публикою», поскольку эта критика «не современна» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 662; Белинский. Т. 2. С. 49; см.: Серебровская Е. П. Белинский и Гоголь. С. 48).

⁴⁶ Имеется в виду программная статья С. П. Шевырева «Словесность и торговля» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 5–29). «Библиотека для чтения» описывалась здесь как симптоматичное явление, наглядно демонстрирующее опасности превращения словесности в «отрасль промышленности». Признавая объективную необходимость подобных изменений, их позитивный потенциал, Шевырев, однако, видел в них, прежде всего, предпосылку к появлению и процветанию литературных «спекуляторов», получивших в новых условиях законную возможность превращать низкопробную литературную продукцию в «пук ассигнаций». «Литератор хочет дать обед и жалуетса, что у него нет денег, — иронизировал критик. — Ему говорят: да напиши

повесть — и пошли в „Библиотеку“: вот и обед» (с. 7, 9). С полемическим пафосом Шевырев рассматривал описанную ситуацию как непосредственное основание современного литературного процесса, определяющее «характер произведений», их «художественные идеи» и стилистические особенности, вплоть до доминирования прозаических жанров над стихотворными: «Итак, болтливость нашего слога, бесконечные плеоназмы, необделанные периоды, ряды синонимов: существительных, прилагательных и глаголов на выбор, все эти свойства скорописи, одолевающей нашу литературу, имеют начало свое в том, что ныне слова — деньги, — и слог чем грузнее, тем выгоднее. От такого слога растет статья, толстеют листы книги, вздувается самая книга, как калач у пекаря, наблюдающего выгоды припеки» (с. 18–19). На этом фоне в особенно привлекательном свете рисовались ушедшие времена любительской словесности, когда «литератор, в своей славной бедности, был честнее и вдохновеннее»: «Он имел жажду к славе, от которой разгоралась душа его, и не имел жажды к деньгам, от которой она ржавеет. Когда звание его было бедно, когда он ходил в благородном своем и чистом рубище, — на это рубище не кидался какой-нибудь непризванный торгаш! Под маскою литератора не выходил какой-нибудь спекулятор, какой-нибудь искатель приключений, которому литератора все то же, что балаган для фокусника» (с. 22). Проблема, затронутая Шевыревым, не была нова, о коммерциализации русской литературы и воцарившемся в ней духе меркантилизма писали многие, в том числе одним из первых сам Сенковский, лицемерно оплакавший наступление новой эры на страницах «Библиотеки для чтения» (см. его рецензию на альманах «Новоселье» — БдЧ. 1834. Т. 3, № 5. Отд. V. С. 25–26; наст. изд., с. 42–43). В. М. Строев в статье «Русская критика в 1835-м году» прямо обвинил Шевырева в лицемерии: «Кто пишет эти грозные строки? Кто выводит наружу жадность писателей, не вымарывающих эпитетов, чтобы выиграть лишнюю синюю ассигнацию? Кто так безжалостно, так беспощадно взводит на литераторов, на целое сословие, ужасное обвинение, не представляя, впрочем, никаких доводов, никаких доказательств? Кто этот человек, непричастный греху? кто? — Литератор, печатавший труды свои в „Библиотеке“ и получивший от нее деньги точно так же, как и все те, на которых он нападает с такой запальчивостью, с такими неумеренными выражениями, без всяких доказательств! Где печатаются эти нападки, эти несправедливые возгласы? В журнале бескорыстном, основанном не на акциях, в журнале, не похожем на торговый дом, на литературный ломбард? где? В „Московском наблюдателе“, который прежде всего объявляет, что платит не *скуто!* Что это за комедия? Другие делают дурно, поступают против науки и искусства недобросовестно; „Московский наблюдатель“ делает то же и бранит этих *других*. В странном ослеплении „Московский наблюдатель“ не замечает, что его обвинения, его горькие насмешки падают прямо на него самого» (СО. 1836. Ч. 175, № 3. С. 190–191). С разъяснением позиции Шевырева в «Московском наблюдателе» выступил В. П. Андросов. «Критик „Наблюдателя“ очень хорошо понимает, — писал он, — что всякий труд, какой бы он ни был, если только труд, имеет право на вознаграждение. — Чтобы можно было трудиться, для этого надобно иметь средства, а их не дарят и не бросают на улицах для находки. Но надобно ли, чтобы эти средства, это вознаграждение превращалось в причину, в условие труда, в единственную, исключительную цель деятельности, поступков, поведения нашего? <...> „Пишите не без денег, но не из денег“, — сказал кто-то, и сказал расчетливо-верно и умно. И этой-то истины в статье „Наблюдателя“ или не хотел, или не мог понять слабый защитник сильного барона» (МН. 1835. Ч. 5. Декабрь, кн. 2. С. 485, 486; выход в свет 28 марта 1836 г. — МВед. 1836. № 25, 25 марта). Выступление против «Библиотеки для чтения», предпринятое в статье «О движении журнальной литературы...», строилось на принципиально иных основаниях. Отмечая, подобно Шевыреву, негативные тенденции современной журнальной словесности: нетерпимость и пристрастность критики, безответственность и поверхностность суждений, «литературное невежество» и низкий уровень публикуемых художественных произведений, — Гоголь решительно расходился с ним во взглядах на причины сложившейся ситуации. Истоком ее, по мысли автора, служили не внешние обстоятельства, то есть не зарождение литературной коммерции, а состояние самой словесности, ее внутренние проблемы. На серьезность их указывал уже тот факт, что ни одно из упомянутых автором периодических изданий не составило, по его мнению, достойной конку-

ренции журналу Сенковского. Выход из кризиса виделся Гоголю на пути последовательной разработки новых принципов бытования журнальной литературы, предполагающих принципиальную эстетическую позицию, разработку серьезных тем, добросовестную и мотивированную критику, направленную на воспитание сознания и вкуса читательской аудитории. Сходную точку зрения одновременно с Гоголем высказал В. Г. Белинский, также полемизировавший с Шевыревым в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 5. С. 127–132; Белинский. Т. 2. С. 126–129; выход в свет № 5 «Телескопа» 26–28 марта — МВед. 1836. № 26, 28 марта; см. также: *Машинский С. И.* Гоголь и революционные демократы. С. 45–46; *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист. С. 53; *Благой Д. Д.* Гоголь-критик. С. 314).

⁴⁷ Признавая несомненные заслуги А. Ф. Смирдина, Шевырев предъявлял ему плохо отвечающее роли издателя и книгопродавца требование «согласить сбыт с успехом образования». «Как часто, — писал он, — зависит от книгопродавца дать ход тем произведениям, от которых нравственный успех общества подвигается вперед! <...> Если такого книгопродавца и постигнет несчастье — литература не даст ему быть банкротом, ибо она уважает в нем идею, а не своего фактотума» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 25).

⁴⁸ Сенковский не отвечал на статью Шевырева. Вероятно, Гоголь допускает здесь неточность, имея в виду полемический выпад В. М. Строева (см. выше примеч. 46).

⁴⁹ Речь идет о статье Н. И. Павлицева «Брамбеус и юная словесность», см. выше примеч. 22. В своей статье «Брамбеус и юная словесность» (БдЧ. 1834. Т. 3, № 4. Отд. I. С. 33–60), подписанной псевдонимом «Барон Брамбеус», О. И. Сенковский, декларируя свое писательское кредо, утверждал, что судит «о вещах и людях по собственному опыту, а не последней прочитанной им книге» и пишет «наибольшую часть в сатирическом роде, где самый тон веселости и шутки свидетельствует о невинности как сочинения, так и намерения, и провозглашает их безвредность». Указывая, что его деятельность направлена на «укрепление» российской словесности, Сенковский давал свое определение понятию «изящная словесность» и постулировал принципы, которым эта словесность, по его мнению, должна следовать: «Имя изящной словесности, в тесном смысле слова, принадлежит одним плодам воображения, или попросту сочинениям, служащим к легкому и приятному чтению. Стихотворения, то есть поэмы в стихах, и поэмы в прозе, то есть романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и описательные творения, назначенные к мимолетному услаждению образованного человека, — вот область словесности и истинные ее границы» (с. 36–37); «словесность есть философия публики»: «не имеющая даже времени к размышлению за мелкими житейскими хлопотами», «страшащаяся скуки, жадная новостей, ощущений, игрушек, событий, блеска, готовых наслаждений и готовых мыслей», она «подобно губке всасывает в себя все понятия из легкого чтения» (с. 51); «произведения словесности не могут подлежать никаким определенным правилам, потому что воображение человеческое и его творческая сила беспредельны; произведения словесности, как продолжение прелести светской беседы, как вещественный, не исчезающий вместе со звуком слов, ее образ, должны быть писаны на языке современного образованного общества и допускать всю разнообразность слога и оборотов разговора, всю, так сказать, изустность беседы» (с. 37). Говорил он также и о предназначении словесности: «Мы живем в веке раздражительности и смуты. Все основания потрясены продолжительною бурей умов, которой грома, уже по расσειянии тучи, еще от времени до времени раздаются над европейским обществом и производят пожары. Если словесность на что-либо нужна обществу, то первая ее обязанность, в настоящем его положении, скреплять всеми мерами общественные и семейные узы, успокаивать умы, внушать доверие к собственным силам и к святости нашей природы, не помогать политическому бреду в преступном намерении расторгнуть все звенья цепи, уже прерванной во многих местах, но еще запирающей честь и достояние мирных граждан от задуманного ею хищничества» (с. 59–60).

⁵⁰ Речь идет о статье Н. И. Надеждина «Здравый смысл и барон Брамбеус», см. выше примеч. 22.

⁵¹ Имеется в виду фельетон А. Кораблинского (А. Ф. Воейкова) «Красоты Барона Брамбеуса» (ЛПРИ. 1834. № 67, 22 августа. С. 529–534; № 68, 25 августа. С. 536–541).

⁵² Речь идет о статье Н. И. Павлицева «Брамбеус и юная словесность» (см. выше примеч. 22). В рукописи гоголевской статьи ее характеристика более развернута: «Из этой статьи оказалось, что халат шит из разных кусков: очень много есть Рабле, немало Балзака, довольно из Жанена и что эти куски сшиты, не слишком заботясь приличным подбором, так что в одном и том же халате есть кусок и суконный, и матерчатый, и из простой холстинки, как пришлось» (Гоголь. Т. 8. С. 530–531).

⁵³ Речь идет о смерти Вальтера Скотта 21 сентября 1832 г.

⁵⁴ Представление о том, что истоком «неистой словесности» явился политический переворот во Франции 1789 г., было широко распространено в 30-е гг. XIX в. О. И. Сенковский в статье «Брамбеус и юная словесность» утверждал, что «юная словесность» <...> не есть литературная школа: это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности <...> — и это безверие, скептицизм, ужас и бесстыдство в драме, романе и повести, и эти кровь и буйства на страницах легкого и приятного чтения происходят от того же умственного недуга, который за сорок лет перед сим усеял Францию политическими развалинами и трупами» (БдЧ. 1834. Т. 3, № 4. Отд. I. С. 39; см.: Гинзбург Л. Я. «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский. С. 339). В. Ф. Одоевский в статье «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе», напечатанной во втором томе пушкинского «Современника», также усматривал в новейшей французской литературе следствие «ужасов конца XVIII столетия»: «...для многих из нынешних европейских сочинителей эти ужасы суть воспоминания детства, а воспоминания детства всегда сильно действуют на сочинителя и невольно проникают во все его произведения...» (с. 211–212; подпись: С. Ф.). Пушкин возражал против подобной интерпретации в полемике с М. Е. Лобановым, который в речи «Мнение о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», произнесенной 18 января 1836 г. на заседании Российской Академии, утверждал: «Для Франции, для народов, отуманенных гибельною для человечества новейшею философиею, огрубелых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительнейшие зрелища <...> не кажутся им таковыми; самые разрушительнейшие мысли для них не столь заразительны; ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революций». В третьей книге «Современника» в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» Пушкин выразил несогласие с этим положением, неточно цитируя при этом комментируемое замечание Гоголя со ссылкой на его статью: «Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благоговейного восстановления (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе» (Совр. 1836. Т. 3. С. 97, 99; XII, 70).

⁵⁵ В рецензии на «Сорок одну повесть лучших иностранных писателей...» (М., 1836), напечатанной в первом томе «Современника», Гоголь иронически отозвался о «наших самодельных романах» (Совр. 1836. Т. 1. С. 315; Гоголь. Т. 8. С. 197). Ряд негативных характеристик современных романов и повестей содержался также в его рецензиях, приготовленных для пушкинского журнала, но оставшихся неопубликованными (см.: Гоголь. Т. 8. С. 199–200, 202–203, 206; Березина. С. 310).

⁵⁶ Державин Г. Р. Соч. СПб., 1833–1834. Ч. 1–4; Карамзин Н. М. Соч. 4-е изд. СПб., 1834–1835. Т. 1–9; Карамзин Н. М. История государства Российского. 4-е изд. СПб., 1833–1835. Т. 1–12.

⁵⁷ См. выше примеч. 18.

⁵⁸ Ср. в статье Пушкина «<О журнальной критике>» (1830): «Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фон-Визин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут

удовлетворить людей здравомыслящих» (XI, 89) (см.: Вацуро В. Э. «Великий меланхолик». 4. «Плагиагы» Гоголя. С. 328).

⁵⁹ Согласно наблюдению В. Э. Вацуро, Гоголь здесь «высказывает излюбленную пушкинскую мысль пушкинскими же словами»: см., например, «<Роман в письмах>» (1829) («Прошедшее для нас не сущ<ествует>» — VIII, 53) и «Гости съезжались на дачу...» (1828–1830) («Мы так положительны, что стоим на коленях пред настоящим случаем, успехом и <...> но очарование древн<остью>, благодарность к прошедш<ему> и уважение <к> нравственным дост<оинствам> для нас не существует» — VIII, 42). Сходная идея присутствует и в пушкинском «<Опровержении на критики>» (1830) («Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродной дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества» — XI, 162; П. в критике, II. С. 293) (см.: Вацуро В. Э. «Великий меланхолик». 4. «Плагиагы» Гоголя. С. 327–328).

⁶⁰ Противоречие между достаточно резкими суждениями Гоголя о журнале «Московский наблюдатель» и высокой оценкой критики С. П. Шевырева было отмечено В. Г. Белинским в его рецензии на первый том «Современника» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 173; наст. изд., с. 147). Это имеет свои объяснения. На первом этапе своей творческой эволюции Гоголь испытал сильное влияние философской романтической эстетики, и его притет к Шевыреву, одному из виднейших представителей московского «любомудрия» 1820-х гг., вполне закономерен. В письме от 10 марта 1835 г., посылая Шевыреву издание «Миргорода», Гоголь признавался: «...вашим мнением я дорожу. <...> Я к вам пишу уже слишком без церемоний. Но, кажется, между нами так быть должно. Если мы не будем понимать друг друга, то я не знаю, будет ли тогда кто-нибудь понимать нас. Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать „Московский вестник“, который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще доньше не совершенно развернулось» (Гоголь. Т. 10. С. 354; см. также: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835–1836 гг. С. 118, 121, 126, 140).

⁶¹ Мысль о необходимости для серьезных писателей выступать в жанре критики, оказывая влияние на литературный процесс, была близка Пушкину. К этой теме поэт обращался в не опубликованной при его жизни статье «<Разговор о критике>» (1830): «Если бы все писатели, заслуживающие уважение <и> доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, что она есть. Не любопытно ли было бы, например, читать мнение Гнедича о ром<антизме> или Кры<лова> об нынешней элегической поэзии? Не приятно ли было бы видеть Пушкина, разбирающего трагедию Хомякова? Эти господа в короткой связи между собою и, вероятно, друг другу передают взаимные замечания о новых произведениях. Зачем не сделать и нас участниками в их критических беседах» (XI, 90; см.: Вацуро В. Э. «Великий меланхолик». 4. «Плагиагы» Гоголя. С. 328; Макогоненко Г. П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 44). Сходную мысль высказывал и С. П. Шевырев, указывая в статье «О критике вообще и у нас в России» на необходимость противостояния критическому «безвкусию» и «произволу» «Библиотеки для чтения»: «...при таком вредном направлении одной из главных сил литературного мира, силы, посредствующей между творчеством и наукою, — мне кажется, что всякий литератор обязан подать свой голос и содействовать, по возможности, восстановлению той истинной критики, которую хотя превратить в одно личное мнение и подчинить личному произволу» (МН. 1835. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 523). Существенно, однако, что, выступая публично против распространенного представления о «низости» журнальной деятельности, Гоголь, по-видимому, сам во многом разделял его. Так, например, 30 ноября 1832 г. он писал И. И. Дмитриеву об отказе Пушкина от намерения выпускать газету «Дневник»: «Газеты он не будет издавать, — и лучше! В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека; но гению этим заняться значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком» (Гоголь. Т. 10. С. 247). Всего через пять месяцев после окончания работы в «Современнике» Гоголь в письме к М. П. Погодину от 28 ноября 1836 г. замечал: «Дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали! те, которых

издатели шли, очертя голову, напролом всему, надевши на себя грязную рубаху ремесленника, предполагая заранее, что придется мारаться и пачкаться без счета. <...> Не тревожь меня мелочными просьбами о статейках. Я не могу и не в силах заняться ими» (Там же. Т. 11. С. 76, 77).

⁶² Восходящая к Платону мысль о единстве природы поэтического и критического талантов излагалась С. П. Шевыревым в «Теории поэзии...»: «...начало поэзии есть божественное вдохновение, принимаемое душою человеческою свыше, а не искусство <...> поэтому судить о поэтах можно также не одним искусством, а этим же божественным наитием, которое нам от них сообщается». «...Для истинного критика, — писал далее Шевырев, — потребно не столько знание отвлеченной теории, сколько сильное чувство изящного <...>. Все великие критики были сами отчасти поэты» (Шевырев С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 34, 182; см.: Гудзий Н. К. Гоголь — критик Пушкина. Киев, 1913. С. 4–5).

А. С. ПУШКИН

**«ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ»,
ПОВЕСТЬ В СТИХАХ, СОЧИНЕНИЕ ВИЛАНДА,
ИЗДАЛ А. ПУШКИН**

Совр. 1836. Т. 1 (выход в свет 11 апреля — П. в печати. С. 128–129). С. 303–304. Из раздела «Новые книги». Без подписи. В третьем томе «Современника» (с. 332) появилась редакционная заметка: «В первом томе „Современника“, в статье: „Новые книги“, под параграфом, относящимся к „Востоле“, поэме Виланда, изданной А. Пушкиным, ошибку пропущена подпись издателя».

Ответ Пушкина на статью О. И. Сенковского (БдЧ. 1836. Т. 14, № 2. Отд. VI. С. 31–35; наст изд., с. 105–107).

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ (?)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «СОВРЕМЕННОМ»

СПч. 1836. № 86, 17 апреля. Без подписи.

Отклик на заметку О. И. Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст изд., с. 121). Предположение П. Н. Столпянского об авторстве Пушкина (см.: *Столпянский П. Н.* Пушкин и «Северная пчела» // ПиС. СПб., 1914. Вып. 19–20. С. 119, 179–189) не было поддержано позднейшими исследователями. Трудно, действительно, представить, чтобы Пушкин сам о себе писал, что его имя «имеет в себе нечто симпатическое с любовью и гордостью народной». Из подстрочного примечания издателей «Северной пчелы» ясно следует, что статья не принадлежит ни им, ни кому-либо из постоянных сотрудников «Пчелы». Это примечание аналогично по функции появлявшейся иногда под статьями газеты пометке «сообщено», смысл которой был в начале 1836 г. публично прояснен постоянным сотрудником Греча и Булгарина В. М. Строевым. В статье «Русская критика в 1835-м году» Строев писал: «...хотите ли иметь талисман, чтоб узнавать, какая статья принята редакциею по доброй воле и какая статья подсунута ей насильными просьбами? Это очень просто: под статьями последнего рода всегда пишется роковое слово: *сообщено*. Оно показывает, что редакция не знает автора или если знает, то несогласна с ним, но не может отказать ему в помещении присланной им статьи» (СО. 1836. Ч. 175, № 1. С. 59).

Статья, претендующая на роль «некоторой действительной программы» «Современника», должна была выйти из непосредственного пушкинского окружения. По вполне вероятной гипотезе В. Г. Березиной, хотя и не имеющей фактических подтверждений, статья в «Северной пчеле» принадлежит перу В. Ф. Одоевского (см.: Березина. С. 298–305). Князь Владимир Федорович Одоевский (1804–1869), выпускник Благородного пансиона при Московском университете (1822), издатель

(совместно с В. К. Кюхельбекером) альманаха «Мнемозина» (1824–1825), участник литературного кружка С. Е. Раича, сотрудник «Московского телеграфа», «Московского вестника», «Литературной газеты», «Северных цветов», с 1835 г. — «Московского наблюдателя», литературный и музыкальный критик, хозяин известного петербургского литературного салона, к 1836 г. мог уже числиться в ряду наиболее именитых русских литераторов. Личное знакомство Одоевского с Пушкиным состоялось, вероятно, в конце 1820-х гг. в Петербурге, где с осени 1826 г. жил и служил Одоевский. Пушкин с неизменным вниманием относился к новым произведениям Одоевского. К 1836 г. Одоевский входил в ближайшее окружение Пушкина, а с момента основания журнала «Современник» Одоевский был его деятельным сотрудником. Он не только выполнял значительную часть редакционной технической и организаторской работы, но и участвовал в «Современнике» своими произведениями. Одоевскому принадлежат наиболее острые и полемические после статьи Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» литературно-критические материалы журнала — статьи «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» и «Как пишутся у нас романы», напечатанные соответственно во втором и третьем томах «Современника». Подробнее см.: *Измайлов Н. В.* Пушкин и В. Ф. Одоевский // *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 303–325.

Булгарин и Греч в 1836 г., хотя и не находились в состоянии открытой журнальной войны с Сенковским, охотно давали место в своих изданиях критическим выпадам в адрес «Библиотеки для чтения». Тем не менее статья в поддержку «Современника» была принята в «Пчелу» до того, как они познакомились с напечатанной в первом томе журнала статьей «О движении журнальной литературы...». Именно в указании на это обстоятельство заключался главный смысл сделанного ими редакционного примечания, в котором, таким образом, можно было видеть обещание будущей полемики. Действительно, спустя некоторое время Булгарин выступил в «Северной пчеле» с разгромным критическим разбором первого тома «Современника» (см.: СПЧ. 1836. № 127, 128 и 129, 6, 8 и 9 июня; наст. изд., с. 149). Статья Одоевского (?) была перепечатана А. Ф. Воейковым (ЛПРИ. 1836. № 49–50, 17 июня. С. 395–397), характеризовавшим ее автора как «судью просвещенного, критика тонкого, писателя, оказавшего важные услуги отечественной словесности».

¹ Имеется в виду рецензия «Библиотеки для чтения» на «Мое новоселье. Альманах на 1836 год», изданный В. К. Крыловским (СПб., 1836), в которой говорилось: «Это отнюдь не подражание „Новоселью“, некогда изданному А. Ф. Смирдиным. <...> Смирдин потчевал стихами Пушкина, прозой Брамбеуса; г. Крыловский потчевает прозой г. Грена, С-ва, Ш-ва, стихами опять г. или, лучше сказать, гг. Гренов...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 21).

² Марк *Курций* — герой римского предания, юный воин, чья жертвенная смерть спасла Рим. В 362 г. до н. э. неожиданно разверзлась земля Форума, образовав пропасть, которая, согласно прорицателям, угрожала городу и могла быть закрыта только пожертвованием главного сокровища Рима. Марк Курций, посчитав, что этим сокровищем являются оружие и храбрость, на коне и в полном вооружении бросился в провал, сомкнувшийся над его головой.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К „РУССКОМУ ИНВАЛИДУ“»

**«Столь давно и столь нетерпеливожданная
просвещенными любителями отечественного слова...»**

ЛПРИ. 1836. № 35, 29 апреля. С. 278–280. Из раздела «Новые книги». Подпись: «П. Смирнов. Сергиевская пустыня. 14 апреля».

Подпись «П. Смирнов» («Павел Смирнов») появлялась в «Литературных прибавлениях» в течение 1836 г. под разного рода небольшими прозаическими статьями, в том числе и теми, которые почти с уверенностью могут быть атрибутированы

А. Ф. Воейкову («Цветок на гроб служанки журналиста» — № 14, 15 февраля. С. 108–109; с пометой: «Москва. Февраля 4-е 1836»; «Литературная заметка 85» — № 57, 15 июля. С. 455; с пометой: «Июля 3. 1836. Мыза Грюнефельд»).

¹ Первый том «Современника» вышел в свет 11 апреля (П. в печати. С. 127–129).

² Указаны годы расцвета «Вестника Европы»; в 1802–1803 гг. журнал редактировался Н. М. Карамзиным, в 1808–1810 гг. — В. А. Жуковским (с конца 1809 г. — совместно с М. Т. Каченовским).

³ Имеются в виду относящиеся к А. П. Ермолову строки в эпилоге к «Кавказскому пленнику» (1822) и стихотворение «Бородинская годовщина» (1831), заключительные строфы которого были обращены к И. Ф. Паскевичу.

⁴ Стихотворение Пушкина «Пир Петра Первого», напечатанное без подписи автора, открывало первый том «Современника». Стихотворение было связано с ожидавшимся к 14 декабря 1835 г., дате десятилетия восшествия Николая I на престол, указом о смягчении наказания осужденным по делу о декабрьском возмущении 1825 г. Указ, подписанный 14 декабря и опубликованный в петербургских газетах в начале января, не оправдал возлагавшихся на него надежд: амнистии объявлено не было, сроки каторжных работ были сокращены незначительно. В этом свете публикация «Пира Петра Первого» на начальных страницах «Современника» приобретала смысл открытого гражданского выступления Пушкина. Так она и была воспринята читателями, о чем свидетельствует, например, запись в дневнике Л. И. Голенищев-Кутузова от 14 апреля 1836 г.: «Наконец появилось то, что ожидалось с таким нетерпением, — „Современник“ Пушкина, и с первой же страницы чувствуется отпечаток его духа; „Пир в Петербурге“ повествует в гармоничнейших стихах о пире, устроенном Петром Великим не в честь победы и торжества, рождения наследника или именин императрицы, но в честь прощения, оказанного им виноватым, которых он обнимает, — стихи звучат по-пушкински, выражения, свойственные ему <...>. Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна, это урок, преподаваемый им нашему дорогому и августейшему владыке — без всякого вступления, предисловия или посвящения журнал начинается этим стихотворением, которое могло быть помещено и в середине, но оно в начале, и именно это обстоятельство характеризует его» (см.: *Гиллельсон М. И.* Отзыв современника о «Пире Петра Первого» // Врем. ПК 1962. М.; Л., 1963. С. 50–51).

⁵ Имеются в виду стихотворения В. А. Жуковского, посвященные Отечественной войне 1812 г., прежде всего «Певец во стане русских воинов» (1812), «Императору Александру» (1814), «Певец в Кремле» (1816).

⁶ Перевод одноименного стихотворения И. К. фон Цедлица (Zedlitz; 1790–1862) «Die nächtliche Heerschau» из его поэтической книги «Посмертные венки» («Totten-Kränze. Kanzone», 1828). Сам Жуковский по какому-то соображению был против публикации его стихотворения в первом томе пушкинского журнала. См. в его записке к Пушкину от первой половины марта 1836 г.: «А ты мою пиесу унес и уже в цензуру хватил. Нет, голубчик, в первую книжку ее никак не помещай. Она годится, может быть, после, но для дебюту нельзя. Прошу тебя не помещать ее в 1<-й> номер» (XVI, 91).

⁷ Перечислены некоторые из произведений, напечатанных в первом томе «Современника»: стихотворение П. А. Вяземского «Роза и кипарис. Графине М. А. Потоцкой» (1834), повесть Н. В. Гоголя «Коляска» (1835) и его драматические сцены «Утро делового человека» (1836), «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» Пушкина, статья Е. Ф. Розена «О рифме».

⁸ Имеется в виду напечатанная без подписи статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (см.: наст. изд., с. 123–137).

В. П. АНДРОСОВ

КАК ПИШУТ КРИТИКУ

<Отрывки>

МН. 1836. Ч. 6. Апрель, кн. 1 (выход в свет 5 мая — МВед. 1836. № 36, 2 мая). С. 470–494; приводимые отрывки — с. 472, 492–494.

Василий Петрович Андросов (Андроссов; 1803–1841) — ученый-статистик и экономист, литературный и общественный деятель, публицист, издатель и редактор «Московского наблюдателя» (1835–1837) и «Журнала для овцеводов» (1831–1839). Его статьи, в которых обсуждались экономические и философские вопросы, достаточно регулярно появлялись в московских журналах («Вестник Европы», «Атеней», «Московский вестник»); он был автором труда «Хозяйственная статистика России» (М., 1827), написанного по материалам его лекций в Московской земледельческой школе, и «Статистической записки о Москве» (М., 1832), широко рецензировавшейся в печати. Андросов был учеником М. Г. Павлова и одним из первых поклонников философии Шеллинга в России. К. А. Полевой, близко знакомый с Андросовым, характеризовал его как «человека, замечательного светлым умом, любовью к просвещению и оригинальностью в разговоре» (Полевой. С. 148). В начале 1830-х гг. Андросов пробовал себя в печати и как беллетрист. См. о нем: Русские писатели. Т. 1. С. 73, статья Н. Г. Охотина. Пушкин встречался с Андросовым в московских литературных кругах. 29 апреля 1830 г. они были на новоселье у М. П. Погодина, где приняли участие в составлении коллективного письма к С. П. Шевыреву в Рим (XIV, 85; см.: Летопись 1999. Т. 3. С. 188–189). К «Статистической записке о Москве» Андросова Пушкин отнесся скептически. Известно, что 5 июля 1832 г. в гостях у Н. А. Муханова он обсуждал эту работу с А. П. Толстым и был согласен с ним в том, что Андросов «унижает» и «презирает Россию» (П. в восп. Т. 2. С. 182; историю полемики вокруг книги Андросова см.: Барсуков. Т. 4. С. 65–71). Достаточно холодно относился Пушкин к «Московскому наблюдателю» и к самим «наблюдателям». С другой стороны, отношение Андросова к пушкинскому «Современнику» тоже было неоднозначным. Так, 4 мая 1836 г. Андросов предупреждал А. А. Краевского, выразившего желание самому издавать энциклопедический журнал: «На „Современник“ вам надеяться не должно. — Если „Современник“ будет хорош и пойдет удачно, т. е. выгодно, то едва ли Пушкин выпустит его из рук; если же обманет общие ожидания, то такое приготовление почвы будет для вас не прибыльно» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 291). Последний раз Пушкин и Андросов виделись, вероятно, в Москве в мае 1836 г. В письме к жене от 11 мая Пушкин упоминал о том, что на обеде у М. Ф. Орлова «собрались Московские Наблюдатели» (XVI, 114; см.: Летопись 1999. Т. 4. С. 443), а 26 мая Андросов сообщал Краевскому, что недавно «виделся» с Пушкиным (П. Врем. М.; Л., 1936. [Т.] 1. С. 339; *Мордовченко Н. И.* Гоголь и журналистика 1835–1836 гг. // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., 1936. Т. 2. С. 127).

Статья «Как пишут критику» была вызвана появившимися в апрельской книжке «Библиотеки для чтения» недоброжелательными рецензиями на «Историю поэзии» (М., 1835) С. П. Шевырева и «Исторические афоризмы» (М., 1836) М. П. Погодина, а также выступлением Сенковского против пушкинского «Современника».

¹ Здесь и далее автором выделены курсивом слова и фразы, взятые из статьи Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст. изд., с. 121–123).

² *Тютюнджю-оглу* — псевдоним, которым Сенковский подписывал свои критические статьи. Ранее над этим псевдонимом Сенковского пронизировал на страницах «Московского наблюдателя» С. П. Шевырев в статье «О критике вообще и у нас в России»: «Никогда, ни одна литература в мире не вынесла еще, как я думаю, такой едкой, такой пронзительной, такой умерщвляющей эпитафии <...>. Бог знает откуда и каким образом, вдруг, вчера, явился у нас всемирный критик, взявший под свою расправу все произведения нашего словесного мира, и тот объявил себя азиатцем!.. Единственный критик в России, которому все печатное у нас подведомо, — и тот татарин!.. <...> Уж не новое ли татарское нашествие постигло нашу литературу? Критика „Библиотеки для чтения“ не есть ли новая Золотая Орда, куда все литераторы

наши должны ездить как данники, чтобы снискать милость этого литературного Мама, этого Тютюнджю-оглу?» (МН. 1835. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 509).

³ Имеются в виду рецензии «Библиотеки для чтения»: «История поэзии». Чтения адъюкта Императорского Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе историю поэзии индейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования (образованности?) и поэзии главных народов Западной Европы. Москва, 1835» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. V. С. 23–52) и «Исторические афоризмы Михаила Погодина. Москва, в тип<ографии> Университетской, 1836, в 8, стр. VIII и 128» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 54–59). Большая часть статьи Андросова посвящена защите «Истории поэзии» Шевырева, вызвавшей ожесточенные споры между сторонниками исторического и философского методов в эстетике (вторая книга шевыревской диалогии — «Теория поэзии» вышла в свет в 1836 г.). По атрибуции А. Е. Шикло (Шикло. С. 206), автором рецензии в «Библиотеке для чтения» был Н. А. Полевой. Однако, видимо, редакторское вмешательство Сенковского здесь было достаточно велико. См. замечание А. В. Шароной, что отдельные фрагменты статьи (о восточной литературе, о стиле и языке книги, о скрытом плагиате автора) «явно принадлежат Сенковскому», «чрезвычайно характерны для него и тематически, и стилистически» (Шаронова А. В. О. И. Сенковский в письмах к А. В. Никитенко (1833–1848) // ПИМ. СПб., 2003. Т. 16–17. С. 412). Рецензия выдержана в достаточно резко. Отдельные ее места даже вызвали сомнения у цензуровавшего журнал А. В. Никитенко и были им вычеркнуты. Пытаясь отстоять статью от чрезмерного цензурного вмешательства, Сенковский писал Никитенко: «Ради Бога, скажите мне причину этого. Если есть необходимость смягчить дело по каким-нибудь высшим уважениям, то я готов уничтожить еще более Вашего; но если нет никакого, почему же Вы запрещаете проучить поделом надменного мальчишку, который пишет глупости магистральным тоном и ничего ровно не смыслит!» (Там же). Вообще полемика вокруг «Истории поэзии» была очень бурной. Продолжительная дискуссия (об историческом методе, способе изложения, университетском преподавании, истории религий Востока, еврейской поэзии и т. д.) развернулась между Шевыревым и Надеждиным и продолжалась до запрещения «Телескопа» в октябре 1836 г. (см. статью Надеждина: «История поэзии. Чтения адъюкта Московского университета Степана Шевырева...» — Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 665–716; «Для г. Шевырева. Пояснения критических замечаний на его „Историю поэзии“» — Там же. Ч. 32, № 8. С. 577–638; «Не для г. Шевырева, а для читателей. Последнее слово об „Истории поэзии“» — Там же. Ч. 33, № 11. С. 393–432; «Post-Scriptum» — Там же. С. 433–434; вышла также отдельная брошюра: «Для господина Шевырева. Пояснения критических замечаний на его „Историю поэзии“. Статья I» (М., 1836); см. также ответы Шевырева: «Ответ автора „Истории поэзии“ г. Издателю „Телескопа“ на его рецензию» — МН. 1836. Ч. 6. Апрель, кн. 2. С. 697–718 (Статья I); Ч. 7. Май, кн. 2. С. 252–287 (Статья 2-я); «Возможно краткий и последний ответ автора „Истории поэзии“ г. Издателю „Телескопа“» — МН. 1836. Ч. 7. Июнь, кн. 1. С. 395–407). Белинский, разделявший точку зрения Надеждина в отношении шевыревской «Истории поэзии», критически высказался уже о статье Андросова: «Недавно как-то в одном журнале отстаивали от жестоких нападков здравого смысла плохенькую приятельскую книжонку, для чего не нашли лучшего способа, как отвергнуть возможность поэзии у необразованных и невежественных народов, как будто поэзия есть плод науки и цивилизации, а не свободный плод человеческого духа. Для этого рыцарь приятельской книжки уцепился руками и ногами за русскую песню:

Как у нашего двора
Приукатана гора —

и доказал ею, как $2 \times 2 = 4$, что в русских народных песнях нет поэзии, потому-де, что они сложены безграмотными мужиками, а не „светскими“ людьми, не кандидатами, магистрами и докторами, не позаботясь даже догадаться, что приведенная им в пример песня не есть совсем песня, а голос песни, род припева, где часто собираются слова, не имеющие никакого смысла, только для голоса, как, наприм<ер>: „ай люли, ай люли!“ и т. п. Вот что значит основываться на фактах без мысли! И оттого-то, читая эту статью, не знаешь, что читаешь: статью ли о поэзии, или о новом способе

унавоживать поля для посева картофеля... Смешно и жалко!..» (Телескоп. 1835. Ч. 30 [№ 21–24]. С. 345–346; эта последняя часть за 1835 г. вышла с большим опозданием в конце октября 1836 г., без деления на номера, она стала последней для «Телескопа», так как журнал был запрещен; Белинский. Т. 2. С. 241–242). Пушкин в споре вокруг «Истории поэзии» относился к сторонникам Шевырева. В незавершенной рецензии на книгу Шевырева он называл ее «важной» и «утешительным явлением» в российской литературе, а также отзывался положительно о выбранном автором историческом способе изложения (XII, 65).

Отзывы об «Исторических афоризмах» Погодина, вышедших в Москве в начале 1836 г., были довольно сдержанными. В предисловии, разъясняя «суть» книги, автор писал, что она представляет собой «мысли, кои в разные времена приходили мне в голову при чтении сочинений о разных исторических предметах, при размышлении об истории, и кои я записывал в свою памятную книжку. Лаская себя надеждою, что от некоторых из них не откажется, может быть, и наука, я назначаю их, впрочем, теперь преимущественно для моих слушателей, чтоб доставить им темы для рассуждений, бесед, ученых состязаний, — чтоб обратить их внимание на разные происшествия, пропускаемые в историях, особенно наших, — дать примеры, с скольких разных сторон можно рассматривать исторические явления, — и содействовать к изощрению их исторического рассудка, к образованию в уме их понятия, что есть история, и чего в ней, по моему мнению, искать можно и должно» (с. V–VI). Своим сочинением Погодин был вполне доволен: «В „Афоризмах“ есть вещи прекрасные, первоклассные. Слава облазняет» (Барсуков. Т. 4. С. 360). Но уже вскоре после выхода книги в дневнике его появилась краткая запись: «Афоризмы ругают» (Там же). Прежде всего, имелась в виду рецензия в «Библиотеке для чтения», где Сенковский крайне неучтиво высказывался в адрес Погодина: «Если у тебя нет мыслей на книгу, пиши книгу „Мыслей“, говорил один остроумец своему приятелю. Легкое дело, кажется: бросай на бумагу все, что придет в голову, не трудясь над порядком и истиною, не думай о своде начала с концом; рви из других что попадется: ты ни за что не отвечаешь, — ведь это афоризмы, то есть, всякая всякость всяческого, с примесью всячины» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 54). Н. Ф. Павлов торопился сообщить Погодину, что в «Московском наблюдателе» «против мерзости, помещенной в „Библиотеке“, написана статья за вас, за Шевырева и за Пушкина...» (ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 717). Выступая в защиту автора «Афоризмов», Андросов писал: «Помилюйте! Неужели Погодин не заслужил у нас даже того, чтобы об нем говорили с некоторым уважением? <...> Что вы такое? Если вы не смеете в разговоре употреблять ваших уличных поговорок и прибауток, то что дает вам право высказывать их печатно? Если ж вы думаете, что это можно, то говорите своим именем, не закрывайте своей совести татарскою кожей и не берите на себя титул барона, когда собираетесь говорить, как говорят в конюшнях. Книга дурна: докажите, а не издавайтесь, не осмеивайте чувства, которого вы не знаете» (с. 490–491). Однако среди друзей Погодина были и те, кому «Афоризмы» не понравились: «очень плохими» назвал их Н. А. Загряжский, остался недоволен книгой и В. П. Титов (подробнее об этом см.: Барсуков. Т. 4. С. 365–369). Тем отраднее для автора оказалась опубликованная в первом томе «Современника» сочувственная рецензия Гоголя (с. 296–302; без подписи), подвергшаяся переработке для печати, в результате чего ряд резких замечаний, имеющихся в черновой редакции, были устранены или смягчены (см.: Гоголь. Т. 8. С. 770, коммент. Б. В. Томашевского). Отдав должное Погодину-историку («Он первый у нас сказал, что „история должна из всего рода человеческого сотворить единицу, одного человека, и представить биографию этого человека, во всех степенях его возраста; что многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысячелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки“. Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение истории. <...> В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский порыв вслед за собственною мыслию»), в заключение рецензии Гоголь отметил: «Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с детским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностию за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в

истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать» (Совр. 1836. Т. 1. С. 297–298, 302). Сам же Пушкин 14 апреля 1836 г. писал Погодину из Михайловского: «Журнал мой вышел без меня, и, вероятно, Вы его уж получили. Статья о Ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня — если Вы ею недовольны» (XVI, 103–104). В защиту Погодина с краткой заметкой в «Северной пчеле» (1836. № 114, 22 мая) выступил Н. И. Греч. А. Ф. Воейков в своей газете перепечатал статьи из «Северной пчелы», «Библиотеки для чтения» и «Современника», сопроводив их следующим замечанием: «Что подумают о нас, журналистах, жители дальних городов, прочитав похвалы Пушкина и Греча и хулы Сенковского одной и той же книге? Чему припишут они эту резкую противоположность мнений о ней в „Сев<ерной> пчеле“ и „Современнике“, с одной, и в „Библиотеке для чтения“ — с другой стороны. Кому отдадут они преимущество: первоклассному ли нашему поэту и первоклассному прозаику, или писателю, которого сочинения нельзя дать в руки никакой порядочной женщине, не только девице, — писателю, имеющему глубокие сведения, но не в русском языке; писателю трудолюбивому, но трудящемуся невпопад? Г. Сенковский напрасно слепо верит коварным друзьям, уверяющим его, что он, как распорядитель хорошего журнала, равен с Гречем и Пушкиным. Истинный друг был бы ему тот, кто бы шепнул ему: Пушкин написал несколько бессмертных поэм и бессмертную трагедию, Греч сочинил лучшую русскую грамматику, два отменно хорошие романа, двадцать три года известен как отличный журналист, остроумный газетчик... А вы что сделали?» (ЛПРИ. 1836. № 64–65, 8 августа. С. 518).

⁴ Речь идет о статье Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (см.: БДЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст. изд., с. 121–123).

⁵ В цитируемых (иногда не совсем точно) здесь и далее отрывках из статьи Сенковского курсив и разрядка также принадлежат Андросову (см.: БДЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 69, 70; наст. изд., с. 122, 123).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «СОВРЕМЕННОМ»

Молва. 1836. Ч. 11, № 7 (выход в свет между 31 апреля 1836 г., датой ценз. разр., и 12 июня, датой выхода № 8, см.: МВед. 1836. № 47, 10 июня). С. 167–178. Подпись: (В. Б.).

Выход первой книжки «Современника» Белинский встретил внешне вполне доброжелательно, однако в его отзыве сквозит испытываемое им в 1830-х гг. разочарование в позднем Пушкине. Отказав новому журналу в возможности иметь сильное влияние на публику и очень бегло перечислив художественные произведения, помещенные в журнале, критик основное внимание уделил статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанной без подписи Гоголя и потому принятой им за пушкинскую программную статью. И хотя статья, несомненно, вызвала у него интерес, Белинский, пеняя автору на «снисходительность» к «Московскому наблюдателю» и «Литературным прибавлениям к „Русскому инвалиду“», а также упоминая «знаменитых друзей», уже намечал точки расхождения с пушкинским журналом. В литературных кругах, по-видимому, распространялись слухи, что Пушкин сам не готовит журнал, а лишь ставит на нем свое имя. Во всяком случае, в статье «Метеорологические наблюдения над современной русскою литературою», появившейся примерно в это же время, Белинский охарактеризовал «Современник» как «светский» журнал, издаваемый в Петербурге под щитом знаменитого и громкого, но совершенно невинного в этом издании имени, и поставил его в один ряд с другим «светским» журналом — «Московским наблюдателем» (Телескоп. 1835. Т. 29 [№ 17–20]. С. 387; также вышла с большим опозданием, без деления на номера, ценз. разр. 1 мая 1836 г.). Это, в принципе, могло обещать начало войны, потому что для Белинского в 1836 г. вражда с «Наблюдателем» стала даже более острой, чем с «Библиотекой для чтения» (см.: Поляков М. Белинский в Москве. М., 1948. С. 177–208; Рейфман П. С. Две программы пушкинского «Современника» // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II. (Новая серия). Тарту, 1996.

С. 143–145). В этом контексте особенно примечательным становится тот факт, что Пушкин собрался встретиться с Белинским в мае 1836 г. в Москве. Вернувшись, он писал П. В. Нащокину 27 мая: «Я оставил у тебя два порожних экз<емпляра> „Современника“. Один отдай кн. Гагарину, а другой пошли от меня к Белинскому (тихонько от Наблюдателей, NB) и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться» (XVI, 121). Даже после появления рецензии Белинского на второй том «Современника» (Молва. 1836. Ч. 12, № 13. С. 3–12; наст. изд., с. 161), где критик прямо объявил о своем разочаровании в пушкинском журнале, Пушкин, кажется, не оставил мысли о литературном сотрудничестве с ним. В третьей книжке «Современника» появилось «Письмо к издателю» за подписью «А. Б.» с достаточно доброжелательным отзывом о молодом критике. Там же была напечатана статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», представлявшая собой достаточно резкий ответ на выступление М. Е. Лобанова 18 января 1836 г. в торжественном заседании Российской Академии. Выпады Лобанова против «безотчетности, бессовестности, наглости и даже буйства» современных русских критиков в значительной мере метили персонально в Белинского. Возражая Лобанову, Пушкин, таким образом, опосредованно, не называя имен, брал Белинского под защиту (отмечено Ю. Г. Оксманом — ЛН. М., 1950. Т. 56. С. 251–252). Осенью 1836 г., после закрытия «Телескопа», П. В. Нащокин писал Пушкину из Москвы: «Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3 т<ысячи>. „Наблюдатель“ предлагал ему 5. — Греч тоже его звал. — Теперь, коли хочешь, он к твоим услугам — я его не видал — но его друзья, в том числе и Шепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. — Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю» (XVI, 181). На это письмо Пушкин Нащокину не отвечал (см. письмо П. В. Нащокина Пушкину от второй половины (после 16-го) декабря 1836 г. — XVI, 212) и переговоры по тем или иным причинам до конца не довел. Нельзя исключить, что вопрос о ближайшем сотрудничестве Белинского в «Современнике» осложнился в связи со слухами о возможном привлечении критика по делу о «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, послужившем поводом к закрытию «Телескопа» (см.: Оксман Ю. Г. Переписка Белинского: Критико-библиографический обзор // ЛН. Т. 56. С. 232–233).

¹ По-видимому, регулярные приезды Смирдина в Москву для торговли своими изданиями создавали впечатление, что именно он не допускает на московский рынок книг других издателей. Союз Смирдина с Булгаринным пользовался дурной славой в московских литературных кругах. Так, в 1836 г. Краевский писал Погодину: «Со времени сдружения своего с *честными* людьми Смирдин сделался таким негодяем, что из рук вон <...>. Вообще он вредит каждой книге, изданной не им, разглашая или о близком ее запрещении, или о шарлатанстве автора. Вред, наносимый им как книгопродавцем, которого знает и к которому адресуется вся Россия, несравненно больше, чем мошенничества Фигляриных» (цит. по: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929. С. 346–347). О том, насколько трудно было достать в Москве издание «Ревизора», вспоминал С. Т. Аксаков. «Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть „Ревизора“, который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в Английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печатный экземпляр „Ревизора“ и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать „Ревизора“. Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать „Ревизора“, и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете» (Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем // Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 151). Ср. также свидетельство Надеждина в «Геатральной хронике» «Молвы»: «Наконец показалось и в нашем добром городе Москве *двадцать пять* экземпляров желанного „Ревизора“, и они расхватаны, перекуплены, перечитаны, зачитаны, выучены, превратились в пословицы» (Молва. 1836. Ч. 11, № 9. С. 251; Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 471).

² *Аристарх* — см. примеч. 9 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 375.

³ Имеется в виду заметка Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (см.: БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 69; наст. изд., с. 122).

⁴ Заголовок отдела «Новые книги» в первой книжке «Современника» сопровождался примечанием: «Книги, означенные звездочками, будут впоследствии разобраны» (с. 296).

⁵ В разделе «Стихотворения» первого тома «Современника» были помещены «Ночной смотр» В. А. Жуковского (с. 14–16; см. о нем примеч. 6 к рецензии из «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» — наст. изд., с. 464), «Роза и кипарис. Графине М. А. Поточкой» (с. 226) П. А. Вяземского и три произведения Пушкина — стихотворения «Пир Петра Первого» (с. 1–3; без подписи; у Белинского далее неточно: «Пир Петра Великого»), «Из А. Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...») (с. 191; без подписи) и «Скупой рыцарь. Сцены из Ченстоновой трагикомедии: *The covetous Knighth*» (с. 111–130; подпись: Р.). Ср. позднейшее суждение Белинского о «Скупом рыцаре» в статье 1838 г. «Литературная хроника» — МН. 1838. Т. 16. Март, кн. 1. С. 147–148; наст. изд., с. 247.

⁶ «Утро делового человека» Гоголя, напечатанное в первом томе «Современника» с подзаголовком «Петербургские сцены» (с. 227–241), взято из не доведенной до конца комедии «Владимир 3-й степени». Упомятая о двух комедиях, Белинский имел в виду «Владимира...» и «Женитьбу», читанную в Москве в мае 1835 г. (см.: Гоголь. Т. 5. 449), уже напечатанная комедия — «Ревизор».

⁷ Белинский имеет в виду стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830), вошедшее с изменениями в пятую главу «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года», где оно приписано вымышленному автору: «Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янбичаром Амином-оглу» (Совр. 1836. Т. 1. С. 76; VIII, 478).

⁸ Статья Пушкина «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изд<анное> протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб. 1835» была напечатана в первом томе «Современника» (с. 85–110) без подписи. «Проповеди Георгия просты, и даже несколько грубы, — писал в ней Пушкин, — как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна» (с. 89; XII, 14). Белинский приводит название в соответствии с оглавлением к первому тому «Современника».

⁹ Статья «Париж. (Хроника русского)» (Совр. 1836. Т. 1. С. 258–295; без подписи) представляла собой публикацию писем А. И. Тургенева из Парижа от 8–23 февраля (своего рода письмо-дневник, писавшееся в течение двух недель в ожидании курьера в Россию) и от 24–26 февраля. Тургенев узнал о журнальном предприятии Пушкина в первые дни марта 1836 г. в Париже. 5 марта он писал в Петербург: «Последнее письмо мое к Д'Андре было от 29 февр<аля>. Ему отдали его, когда уже он садился в коляску; другое было писано с ним же накануне. Если бы я знал тогда, что Пушкин сделался журналистом, то уладил бы письмо так, чтобы он мог выбрать из него несколько крох с богатой трапезы европейской» (ИРЛИ, ф. 309, № 1217, л. 21; см. также: ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 119; Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 88–90). 7 марта П. А. Вяземский сообщал Тургеневу, что его письмо «получено исправно, прочтено с благодарностью и с жадным вниманием, отдано переписывать для „Современника“ и скоро будет напечатано во всезрение вселенны» (ОА. Т. 3. С. 305–306). Пушкин не ограничился тем, что выбрал «несколько животрепещущих крох», но напечатал письмо целиком. Сокращения были минимальны: купюры сделаны лишь в сугубо личных местах письма; стилистическая правка при редактировании практически не производилась. Гораздо значительнее было цензурное вмешательство (см. о нем: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 515–516, коммент. М. И. Гиллельсона; Вацуро, Гиллельсон. С. 287–289), однако оно заключалось в механическом удалении из текста упоминаний о самых злободневных парижских новостях и не коснулось общей структуры письма. «Хроникой русского» «Современник» заявлял новое в русской литературе отношение к эпистолярному тексту — отношение, основанное на признании его эстетической ценности, при котором основным эстетическим параметром частного письма как художественного целого становилось яркое и непосредственное отражение в тексте письма личности и душевного мира пишущего. Это не было понято не только многими читателями и рецензентами (такими, как Бе-

линский и Булгарин), но сначала и самим Тургеневым. Получив в Париже первый том «Современника», Тургенев был «в бешенстве» и писал Вяземскому и Жуковскому: «...разве я позволяю вам печатать все ничтожности и личности?— исказили и пустили меня пестрым шутом в свет» (ЛН. Т. 58. С. 128–129). Публикация следующего парижского письма, от 21 марта — 2 апреля 1836 г., готовившаяся Пушкиным для второго тома «Современника», была по требованию Тургенева остановлена. Вместо этого во втором томе появилось редакционное объяснение (с. 311–312): «Для очистки совести нашей и для предупреждения всех возможных толков и недоразумений, вольных и невольных, почитаеме обязанностью сознаться, что напечатание в 1-й книжке журнала нашего „Хроники русского в Париже“ есть не что иное, как следствие нашей нескромности, что сии отрывки из дружеских писем или, лучше сказать, домашнего журнала никогда не были предназначены к печати, особенно в том виде, в каком они представлены публике» и т. д. Впрочем, Тургенев скоро понял и разделил пушкинскую позицию. Его письмо, исключенное из второго тома, было напечатано в четвертом; осенью 1836 г., уже вернувшись в Россию, Тургенев готовил для последующих томов журнала публикации по материалам своих путевых дневников и писем. Недальновидным же рецензентам (Белинскому и Булгарину, резко отозвавшемуся о «Хронике» в статье «Мнение о литературном журнале „Современник“, издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным, на 1836 год» — см.: СПЧ. 1836. № 129, 9 июня; наст. изд., с. 157) редакция «Современника» ответила в заключение своей объяснительной заметки во втором томе: «По всем отзывам образованных и просвещенных людей, парижская хроника возбудила живейшее любопытство и внимание. Даже и тупые печатные замечания подтвердили нас в убеждении, что способ, нами избранный, едва ли не лучший. Вкус иных людей может служить всегда надежным и неизменным руководством: стоит только выворотить вкус их наизнанку. То, чего они оценить не могли, что показалось им неприличным, неуместным, то, без сомнения, имеет внутреннее многоценное достоинство, следовательно, не их имеем в виду в нашем объяснении. Но мы желали только, по обязанности редакторской принять на себя всю ответственность за произвольное напечатание помянутых выписок, отклонить ее от того, который писал их, забывая, что есть книгопечатание на белом свете» (Совр. 1836. Т. 2. С. 312).

¹⁰ Пушкин писал в издательском послесловии к очерку «Долина Ажитугай»: «Вот явление неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкез изъясняется на русском языке свободно, сильно, живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке...» (Совр. 1836. Т. 1. С. 169; XII, 25).

¹¹ Речь идет о статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанной без подписи в первой книжке «Современника» (с. 192–225; см.: наст. изд., с. 123–137).

¹² О «Телескопе» Гоголь писал: «...журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения» (Совр. 1836. Т. 1. С. 206; наст. изд., с. 129).

¹³ Это очередной иронический выпад Белинского в адрес Сенковского, псевдонимы которого он в 1836 г., разумеется, прекрасно знал.

¹⁴ Белинский имеет в виду свою статью «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 5. С. 120–154; № 6. С. 216–387), появившуюся в одно время со статьей Гоголя (№ 5 вышел в свет 26–28 марта — МВед. 1836. № 26, 28 марта; ценз. разр. № 6 получено 17 апреля).

¹⁵ «Перлами русской поэзии» в статье Гоголя названы стихи Языкова и Баратынского, напечатанные в «Московском наблюдателе» в 1835 г. (см. примеч. 44 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» — наст. изд., с. 457). Формула «знаменитые друзья» впервые была употреблена А. Ф. Воейковым в полемике с «Вестником Европы». На авторитет «знаменитых друзей» (Жуковского и «арзамасцев») Воейков ссылался для упрочения авторитета своего журнала. После ироничного обыгрывания этой формулы в «Маленьком разговоре о новостях литературы» (ЛЛ. 1824. Ч. 2, № 8. С. 323) она стала использоваться для весьма недружелюбного обозначения поэтов пушкинского круга (см.: П. в критике, I. С. 407 П. в критике, I (2). С. 415; П. в критике, II. С. 443).

¹⁶ См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 211–212; наст. изд., с. 131. У Белинского цитата с небольшими неточностями.

¹⁷ См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 203–204, 195; наст. изд., с. 128, 124. У Белинского цитаты с небольшими неточностями.

¹⁸ Имеется в виду напечатанная в первой книжке «Московского наблюдателя» за 1836 г. статья «Москва и Петербург в литературных отношениях», где упомянуто о том, что «„Литературные прибавления к Русскому инвалиду“ <...> выражают свою приязнь к „Московскому наблюдателю“» (МН. 1836. Ч. 6. Март, кн. 1. С. 186; подпись: Наблюдатель). В статье «Метеорологические наблюдения над современною русскою литературою» Белинский, опять явно имея в виду статью «О движении журнальной литературы...», упрекнул «Современник» за то, что он «превзнес до небес те же самые „Литературные прибавления к Русскому инвалиду“» (Телескоп. 1835. Т. 29 [№ 17–20]. С. 387).

¹⁹ *Орест и Пилад* — древнегреческие мифологические герои, двоюродные братья, ставшие символом верной дружбы.

²⁰ Помимо статей «О сатире и сатирах Кантемира» (ВЕ. 1810. Ч. 49, № 3. С. 199–214; Ч. 50, № 5. С. 42–61; № 6. С. 126–150; под заглавием «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще») и «О басне и баснях Крылова» (ВЕ. 1809. Ч. 45, № 9. С. 35–67; под заглавием «Критика. Басни Ивана Крылова. С.-Петербург. В типографии губернского правления. 1809»), Жуковский написал ряд других статей, в частности «О критике» (ВЕ. 1809. Ч. 48, № 21. С. 33–49) и «О поэзии древних и новых» (ВЕ. 1811. Ч. 55, № 3. С. 187–212), однако их едва ли можно в полной мере назвать критикой в понимании Гоголя и Белинского.

²¹ О полемике вокруг местоимений «сей» и «оний» см. примеч. 20 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 450. Белинский здесь вполне разделял позицию Сенковского и также на протяжении 1835–1836 гг. постоянно высмеивал слова «сей» и «оний» в тексте рецензируемых книг, отмечая их в цитатах курсивом: см., например, его рецензии на «Учебную книгу всеобщей истории» И. К. Кайданова (Молва. 1835. Ч. 9, № 19. Стб. 316; Белинский. Т. 1. С. 194), повесть «Эмилий Лихтенберг» М. Лисициной (Молва. 1835. Ч. 10, № 27–30. Стб. 34; Белинский. Т. 1. С. 238), перевод «Записок г-жи Дюкре о императрице Иозефине...» (Молва. 1835. Ч. 10, № 27–30. Стб. 42; Белинский. Т. 1. С. 243). Однако в прошлом, как показывают «Журнал поездки» 1829 г. и письма Белинского 1829–1830 гг., критик сам грешил чрезмерным пристрастием к этим словам (см., например, в письме Белинского Г. Н. и М. И. Белинским от 9 октября 1829 г.: «В письме своем Вы обещали прислать мне на следующей почте денег; но сладостная надежда сия, к живейшему огорчению моему, не исполнилась. Не знаю, чему приписать сие неисполнение Вашего обещания, которое я почитал священным и непременным потому, что я слишком много на оное надеялся» — ЛН. М., 1951. Т. 57. С. 41; подробнее см.: *Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829–1836. [М.; Л.] 1954. С. 342–343).*

²² В отделе «Новые книги» были даны отзывы о 10 книгах и библиографические справки о 50, из которых только четыре были помечены звездочками.

Ф. В. БУЛГАРИН

**МНЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННОК»,
ИЗДАВАЕМОМ АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПУШКИНЫМ,
НА 1836 ГОД**

СПч. 1836. №127, 6 июня («Статья 1-я»); № 128, 8 июня; № 129, 9 июня («Статья 2-я»).

¹ См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 220; наст. изд., с. 135.

² Речь идет о напечатанных в «Современнике» в разделе «Новые книги» рецензиях Н. В. Гоголя на «Исторические афоризмы Михайла Погодина» (М., 1836) (Совр. 1836. Т. 1. С. 296–302; Гоголь. Т. 8. С. 191–194) и Пушкина на 2-е издание

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» (СПб., 1836) (Совр. 1836. Т. 1. С. 311–312; XII, 27). Обе рецензии появились без подписи.

³ Имеется в виду статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», см.: наст. изд., с. 136.

⁴ В тексте «Пчелы» опечатка: стр. 201; см.: наст. изд., с. 135.

⁵ «Северный архив, журнал истории, статистики и путешествий» издавался в Петербурге Ф. В. Булгариным с 1822 по 1828 г. (в 1829 г. объединился с журналом «Сын отечества»). Здесь Булгарин, возможно, вспоминает конкретный эпизод своих литературных отношений с Погодиным. В январе 1828 г. в «Московском вестнике» (Ч. 7, № 1) было напечатано «Обозрение русской словесности за 1827-й год» С. П. Шевырева, содержащее ожесточенные нападки на Булгарина. Булгарин требовал от Погодина как редактора журнала отречься от этой статьи. Погодин поместил в следующем номере «Московского вестника» свое «объяснение», но, хотя и дал в нем понять, что не во всем разделяет мнения своего сотрудника, требований Булгарина, по сути дела, не выполнил (см.: Барсуков. Т. 2. С. 169; П. в критике, II. С. 336–337).

⁶ Ср. в фельетоне Булгарина «Мое перевоспитание по методе взаимного обучения»: «Шестнадцать лет сряду я пишу, пишу, пишу, печатаю, печатаю, печатаю, и шестнадцать лет сряду во всех русских журналах доказывают, что я пишу скучно, скверно, несносно...» (СПч. 1836. № 255, 6 ноября; наст. изд., с. 184); также в рецензии В. М. Строева на новое издание «Сочинений» Булгарина (СПб., 1836. Ч. 1–4): «Странна участь Булгарина в нашей литературе. <...> Журналисты бранят его пятнадцать лет сряду. У Булгарина нет таланта, по их мнению, Булгарин не умеет писать, Булгарин хуже Орлова» и т. д. (СПч. 1836. № 291, 19 декабря; наст. изд., с. 193).

⁷ См.: наст. изд., с. 134.

⁸ См. в статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (Совр. 1836. Т. 1. С. 221; наст. изд., с. 135).

⁹ Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784).

¹⁰ «Светлана» (1812–1812; опубл. 1813) — баллада В. А. Жуковского, единственное в этом ряду не пушкинское произведение.

¹¹ Булгарин имеет в виду свою полемику с П. А. Вяземским в 1824–1825 гг. по поводу оценки Вяземским творчества Крылова в статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (см. примеч. 59 к статье В. Г. Белинского «Литературные мечтания» — наст. изд., с. 395).

¹² Имеется в виду статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» (см.: наст. изд., с. 136).

¹³ Имеются в виду статьи П. А. Вяземского: «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», открывавшая первую часть посмертного издания «Сочинений» Озерова (СПб., 1817; переизд.: СПб., 1824; СПб., 1828); «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», напечатанная как предисловие к 6-му изданию «Стихотворений» И. И. Дмитриева (СПб., 1823); «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» — предисловие к 1-му изданию поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (М., 1824; 2-е изд.: СПб., 1827; П. в критике, I. С. 152–156).

¹⁴ Здесь и далее имеется в виду статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» (см. наст. изд., с. 124, 128).

¹⁵ Имеется в виду «Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому», напечатанное в первом томе «Библиотеки для чтения» (см.: наст. изд., с. 29–31).

¹⁶ Этим замечанием Булгарин ставил под сомнение политическую благонадежность «Современника».

¹⁷ См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 197; наст. изд., с. 125. См. примеч. 11 и 12 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» — наст. изд., с. 447.

¹⁸ Перечень Булгарина объединяет ученых разных стран, занимавшихся северной мифологией и историей, переводчиков и писателей, обращавшихся в своем творчестве к национальным традициям. Так, Я. Шиммельманн (Schimmelmann; 1712–1773), Ф. Майер (Majer; 1771–1818), ученик И.-Г. Гердера (Herder; 1744–1803), П. Ф. Штур (Stuhr; 1787–1851); Ф. Й. Шеллер (Scheller) — немецкие исследователи и переводчики скандинавской поэзии; В. Г. Ф. Абрахамсон (Abrahamson; 1744–1812),

Р. Ньеруп (Nyerup; 1759–1829), С. Т. Торлациус (Thorlaciuss; 1741–1815); Ф. Магнусен (Magnusen, Magnusson; 1781–1847); Л. Ведель Симонсен (Vedel Simonsen; 1780–1858); П. К. Раск (Rask; 1787–1832) — датские ученые; Е. Багессен (Baggesen; 1764–1826) — датский писатель, переводчик, профессор литературы; Й. Эвальд (Ewald; 1743–1781) — датский поэт; Г. Й. Торкелин (Thorkelin; 1752–1829) — исландский исследователь и издатель «Беовульфа»; Я. Адлербет (Adlerbeth; 1785–1844) — шведский писатель, участник шведского издания «Снорриевой Эдды», основатель «Готского союза», объединившего философов, поэтов и художников для исследования древней литературы и национальных культурных традиций; Э. Г. Гейер (Geijer; 1783–1847), шведский поэт и историк, также участник «Готского союза» и издатель журнала «Iduna», где печатались переводы из «Эдды» и древних саг.

¹⁹ Булгарин имеет в виду высказывание Гоголя о статье Сенковского: «Эта статья, успешная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям...» (Совр. 1836. Т. 1. С. 197; наст. изд., с. 125).

²⁰ См. примеч. 13 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» — наст. изд., с. 447.

²¹ Булгарин перечисляет научные труды О. И. Сенковского. В приложении к французскому изданию книги Е. К. Мейендорфа «Путешествие из Оренбурга в Бухару в 1820 г.» (Voyage d'Orenbourg à Bokhara, fait en 1820, par le baron G. de Meyendorff. Paris, 1826) помещена статья Сенковского «Описание бухарских монет» («Description des monnaies boukhares»). Сенковский принимал активное участие в издании «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара, первого русского энциклопедического словаря (в первых четырех томах, вышедших в 1835 г., помещено 24 его статьи). «Supplément à l'Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols, par Joseph Senkowski» — вышедшая в 1824 г. в Петербурге в переводе Сенковского с фарси на французский язык книга по истории Средней Азии «Supplément à l'Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols, contenant un Abrégé de l'histoire de la domination des Uzbèks dans la grande Bukharie, depuis leur établissement dans ce pays jusqu'à l'an 1709, et une continuation de l'histoire de Kharèzm, depuis la mort d'Aboul-Ghazi-khan jusqu'à la même époque» («Дополнение к общей истории гуннов, тюрков и монголов, содержащее краткое изложение истории господства узбеков в великой Бухаре со времени их поселения в этой стране до 1709 г. и продолжение истории Хорезма со времени смерти Абуль-Шази-Хана до той же эпохи»). Знаменитый французский ориенталист Сильвестр де Саси откликнулся на выход этой книги в «Journal des Savants» (1825. Juillet. P. 387–395), оценив ее как блестящее явление в области восточной литературы (см. также: Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 36). «Collectanea» — вышедшее в 1824–1825 гг. в Варшаве подготовленное Сенковским издание «Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historii polskiej służących z dodatkiem objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag» («Выборка из сочинений турецких историков, касающихся польской истории, с прибавлением необходимых пояснений и критических примечаний»).

²² См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 203–204; наст. изд., с. 128.

²³ Имеется в виду рецензия Е. Ф. Розена (СПч. 1835. № 38, 18 февраля; наст. изд., с. 79–82).

²⁴ Отрывок из неизданных мемуарных записок И. И. Дмитриева, посвященный казни Пугачева, приведен Пушкиным в конце восьмой главы «Истории Пугачевского бунта» и в примечаниях к ней ([Пушкин А. С.] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. С. 165–166, 1-я паг.; С. 108–110, 2-я паг.; IX, 79–80, 147–148).

²⁵ Имеется в виду рецензия на «Историю Пугачевского бунта», напечатанная в журнале «Сын отечества и Северный архив» (1835. Т. 47, № 3. С. 177–186; наст. изд., с. 71–74) за подписью: «П. К.». Булгарин первым раскрыл в печати имя ее автора. Выпады Булгарина против «Истории Пугачевского бунта» побудили Пушкина ответить на статью Броневского в третьем томе «Современника» (с. 149–134; наст. изд., с. 168–179).

²⁶ Булгарин допускает здесь характерную смысловую неточность. Имеется в виду так называемая «пасть льва» (*bocca di leone*). Так назывались отверстия в стенах залов Дворца Дожей в Венеции, куда опускались жалобы и доносы.

²⁷ Имеется в виду статья «Несколько слов о „Современнике“» (СПч. 1836. № 86, 17 апреля; наст. изд., с. 138), предположительно написанная В. Ф. Одоевским.

²⁸ «Долина Ажтугай» (Булгарин допустил в заглавии ошибку) — автобиографический очерк корнета л.-гв. Кавказско-горского полуэскадрона Султана Казы-Гирея (см. также примеч. 10 к статье В. Г. Белинского «Несколько слов о „Современнике“» — наст. изд., с. 471).

²⁹ О статье «Париж. (Хроника русского)», представляющей собой выдержки из частной корреспонденции А. И. Тургенева, см. примеч. 9 к статье В. Г. Белинского «Несколько слов о „Современнике“» — наст. изд., с. 470–471.

³⁰ См.: Совр. 1836. Т. 1. С. 259, 263; *Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.)*. М.; Л., 1964. С. 67, 69.

³¹ Имеется в виду выражение из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «...смешенье языков / Французского с нижегородским» (д. 1, явл. 7).

³² Речь идет о статье Пушкина «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изданное протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб. 1835», напечатанной в «Современнике» (1836. Т. 1. С. 85–110) без подписи.

³³ Речь идет о статье П. А. Плетнева «Императрица Мария», напечатанной в «Современнике» (1836. Т. 1. С. 4–15) без подписи.

³⁴ Знаменитые слова князя Святослава Игоревича, обращенные к своей дружине перед сражением с превосходящим силами греческим войском. Известны по Несторовой летописи («Повести временных лет») (начало XII в.). См., например, также: *Карамзин Н. М. История государства Российского*. СПб., [1816]. Т. 1 С. 435.

А. Ф. ВОЕЙКОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМЕТКА

ЛПРИ. 1836. № 47, 10 июня. С. 374–375. Подпись: А. Кораблинский; под текстом: «21 апреля 1836. Дерпт».

Заметка написана по поводу статьи О. И. Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст. изд., с. 121). В № 49–50 «Литературных прибавлений» от 17 июня (с. 392–395) Воейков перепечатал полностью статью Сенковского, снабдив ее своими комментариями. «Наш первоклассный писатель, дав нам образец русской трагедии, шуточной и рыцарской поэмы, легких сказочек, важной истории, высоких лирических творений, посланий, насмешливых и забавных сатирических стаетек, хочет еще показать нам образец европейского периодического издания, научить писать книжные разборы без грубости, без оскорбляющей таланты язвительности. Что же тут худого, предосудительного?» — спрашивал Воейков (с. 392). К словам Сенковского: «Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики...» (см.: БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67; наст. изд., с. 121), Воейков, имея в виду уже давно вышедший первый том «Современника», добавлял в своем комментарии: «Помещая в своем издании стихи Жуковского, кн. Вяземского и свои (которых уже давно не видно в журнале А. Ф. Смирдина), повести Гоголя-Яновского; напечатав в 1-й книжке свое путешествие в Арзерум, где он был очевидцем блистательных побед графа Паскевича, и самые свежие известия о Париже, писанные россиянином. Не всякий путешественник имеет дар так красноречиво описывать то, что он видел, как Пушкин» (с. 392). Выказался Воейков и по поводу периодичности «Современника»: «В Лондоне „Quarterly Review“ выходит также по четыре книжки в год; но это не мешает ему быть одним из лучших английских периодических изданий» (с. 392–393). После заметки Сенковского была перепечатана ответная статья из «Сервальной пчелы» (В. Ф. Одоевского ?).

¹ Речь идет о пародийно полемических статьях Пушкина против Булгарина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (Телескоп. 1831. Ч. 4, № 13. С. 135–144) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (Там же. № 15. С. 412–418), напечатанных под псевдонимом «Феофилакт Косичкин» (подробнее о них см.: П. в критике, III. С. 467–471).

² Имеется в виду эпизод из повести Сенковского «Поэтическое путешествие по белу свету»: «Я дышал любовью, счастьем и нетерпением и прыгал через ручьи, через лужи, через кучи сору. Пронесшись через множество кривых и тесных улиц, я уже был в виду дверей, за которыми сидели мои надежды, как в соседнем доме отворилось окно и кто-то нечаянно вылил на меня котел горячей помойной воды» (Фантастические путешествия барона Брамбеуса. СПб., 1833. С. 46–47).

³ Псевдонимы Сенковского (см. о них также примеч. 10 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и примеч. 2 к статье В. П. Андросова «Как пишут критику» — наст. изд., с. 446, 465).

⁴ См. примеч. 8 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 445–446.

П. И. ЮРКЕВИЧ

**«ПОЛТАВА». ПОЭМА А. С. ПУШКИНА
ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НА МАЛОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК Е. ГРЕБЕНКИ**

СПч. 1836. № 162, 18 июля. Подпись: П. М-ский.

Перевод Е. П. Гребенки, первый в новой украинской литературе поэтический перевод, напечатанный отдельной книгой, вышел в свет в Петербурге около 26 апреля 1836 г. (билет на выпуск книги из типографии подписан 25 апреля, см.: *Горфункель А. Х., Николаев Н. И.* Неотчуждаемая ценность: Рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки / Науч. 6-ка им. М. Горького. Л., 1984. С. 124; *Абрамович С. Л.* Пушкин: Последний год. М., 1991. С. 149). Ранее в печати появилось несколько отрывков. Публикация двух отрывков из первой песни в журнале «Московский телеграф» (1831. Ч. 41, № 17), под заглавием: «Опыт перевода „Полтавы“, поэмы А. С. Пушкина, на малороссийский язык» и с подписью: Е. Гребенкин (так Гребенка подписывал свои произведения до переезда в Петербург), явилась первым выступлением Гребенки в печати; отрывки из второй и третьей песней поэмы были напечатаны в 1834 г. во второй части харьковского альманаха «Утренняя звезда». Евгений Павлович Гребенка (1812–1848), прозаик и поэт, писавший на украинском и русском языках, получил образование в Нежинской гимназии высших наук (1825–1831), в 1831–1833 гг. служил в 8-м Малороссийском казачьем полку, в начале 1834 г., приехав в Петербург, определился в Комиссию духовных училищ при Синоде, с 1838 г. до конца жизни преподавал словесность в разных военно-учебных заведениях столицы. В 1834 г. в Петербурге вышел сборник его украинских басен «Малороссийские приказки» (2-е изд. — 1836), в 1837 г. — сборник повестей и рассказов на русском языке «Рассказы пирятинца». По воспоминаниям И. И. Панаева, «Гребенка, отличавшийся большим добродушием и очень любивший угощать изредка своих приятелей киевским вареньем и малороссийский салом, был любим всеми литераторами. Для журналистов он был необходим, потому что повести его и рассказы очень нравились большинству читающей публики» (Панаев. С. 95). О Гребенке см.: Черейский. С. 117; Русские писатели. Т. 2. С. 13–15 (статья Н. Н. Зубкова).

Гребенка начал переводить «Полтаву», еще участь в Нежинской гимназии. Публикация первых отрывков в «Московском телеграфе» вызвала резкий отзыв А. Царынского (А. Я. Стороженко), в статье «Мысли малороссиянина по прочтении повестей пасичника Рудого-Панька...» упрекнувшего переводчика в грубых ошибках в языке (см.: СО и СА. 1832. Т. 25, № 5. С. 309–310). Совершенствуя в течение многих лет свой перевод, Гребенка тем не менее не вполне справился с поставленной им перед собой задачей. В переводе поэма была сокращена более чем на 250 стихов. Гребенка не смог преодолеть украинскую бурлеско-трагическую традицию, что, в частно-

сти, отмечалось и рецензентом «Северной пчелы». Сниженно бурлескная манера, особенно сильно проявляющаяся в обрисовке персонажей, очевидно противоречила всему художественному строю пушкинской поэмы. О переводе Гребенки см.: *Павлюк Н. Н.* Первый украинский перевод «Полтавы» в литературно-критическом контексте его времени // Пушкин и литература народов Советского Союза. Ереван, 1975. С. 263–275; *Мацанура В. И.* «Полтава» А. С. Пушкина в переводческой интерпретации Е. П. Гребенки // Русская филология: Украинский вестник. 1994. № 4. С. 24–28.

В момент приезда Гребенки в Петербург его отношение к Пушкину было, видимо, достаточно критическим. См. его отзыв о Пушкине в письме Н. М. Новицкому от 7 марта 1834 г.: «Пушкин пишет историю Пугачева. Кажется, сел не в свои сани. Впрочем, его стихи день ото дня холодеют. Он теперь придворный человек — камер-юнкер» (Письма Е. П. Гребенки к Н. М. Новицкому / Публ. Г. Коваленко // Тр. Полтавской ученой архивной комиссии. Полтава, 1914. Вып. 11. С. 13). Перевод «Полтавы», однако, вышел с посвящением Пушкину. Он был в библиотеке поэта (см.: *Модзалевский Л. Б.* Библиотека Пушкина: Новые материалы // ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 993). Есть сведения, что после выхода книги Пушкин познакомился с Гребенкой и «по свойственной ему доброте принял живое участие в начинающем писателе» (см.: *Быков П. Е. П.* Гребенка // Всемирная иллюстрация. 1887. № 970. С. 135; сведения со ссылкой на биографа Гребенки М. Л. Михайлова). В 1837 г. в помертвом «Современнике» были напечатаны два стихотворения Гребенки — «Недуг» (Т. 6) и «Молитва» (Т. 7).

Автор рецензии — Петр Ильич Юркевич (ум. 1884), драматург и переводчик, один из постоянных сотрудников «Северной пчелы», писавший под псевдонимами: П. Медведовский, П. М-ский, П. М. и др. (см.: Масанов. Т. 4. С. 544), впоследствии председатель Театрально-литературного комитета. Был лично знаком с Пушкиным, встречался с ним на четвергах Н. И. Греча. Рецензируемому переводу критик не уделил особого внимания. Книга послужила ему лишь формальным поводом для очередных грубых нападок на Пушкина как издателя «Современника».

Юркевичу пытался ответить в печати В. Ф. Одоевский статьей «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина». Одоевский прямо указывал на тайный смысл и характер литературной тактики «Северной пчелы»: «Тяжело признаться перед подписчиками, что Пушкин не участвует в том или другом издании, что он даже явно обнаруживает свое негодование против людей, захвативших в свои руки литературную монополию! Придумано другое: нельзя ли доказать, что Пушкин начал ослабевать, то есть именно с той минуты, как он перестал принимать участие в журналах этих господ? Доказать это было довольно трудно: „Полтава“, „Борис Годунов“, несметное множество мелких произведений, как драгоценные перлы, катались по всем концам святой Руси. Нельзя ли читателей приучить к этой мысли, намекая об ней стороною, с видом участия, сожаления?.. Над этим похвальным делом трудились многие, трудились прилежно и долго» (*Одоевский В. Ф.* О литературе и искусстве. М., 1982. С. 52). «В статье „Северной пчелы“, подавшей повод к нашим замечаниям, — писал далее Одоевский, — эта мысль выражена очень просто и ясно: там осмеливаются говорить прямо, что Пушкин свергнут с престола (détrôné), — кем? неужели „Северною пчелою“? Нет! это уже слишком!.. как? Пушкин, эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает каждый и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете, — Пушкин, один человек, на которого сама „Северная пчела“ с гордостью укажет на вопрос иностранца о нашей литературе, Пушкин разжалован из поэтов „Северною пчелою“? и т. д. (Там же). 17 ноября Одоевский послал свою статью С. П. Шевыреву с просьбой напечатать ее в «Московском наблюдателе» без подписи и с пометой, что она прислана из Симферополя. «Наблюдатель», однако, статью печатать не стал, и в начале 1837 г. ее вернули автору. После смерти Пушкина Одоевский, слегка переделав, включил статью «О нападениях...» почти полностью в написанную им рецензию на пятый том «Современника», предназначавшуюся для «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». Рецензия Одоевского на «Современник», представленная в корректуре в цензуру, была запрещена. Редактор «Литературных

прибавлений» А. А. Краевский пытался поправить дело. В его архиве сохранился корректурный экземпляр рецензии Одоевского с его правкой, призванной смягчить и сгладить тон статьи (текст рецензии Одоевского на пятый том «Современника», ее историю и анализ поправок Краевского см.: *Заборова Р. Б.* Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // ПИМ. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 313–320, 324–328). Но и усилия Краевского не дали результатов: 16 июля 1837 г. он сообщал Одоевскому: «Статья о „Современнике“, мною исправленная и до глупости смягченная, опять запрещена г-м Корсаковым» (Там же. С. 327). Статья «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина» была напечатана Одоевским только в 1864 г. (РА. 1864. № 7–8. Стб. 824–831) по рукописи, хранившейся в архиве писателя, с авторским примечанием к заглавию: «Статья эта написана в 1836 <году>; но в то время ее негде было напечатать, потому что в Петербурге не было литературных изданий, кроме тех, против которых она направлена».

¹ Цитата из романа А. Ф. Мерзлякова «Велизарий» (1814), пользовавшегося широкой популярностью (музыка А. Д. Жилина).

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ВТОРАЯ КНИЖКА «СОВРЕМЕННОКА»

Молва. 1836. Ч. 12, № 13 (выход в свет после 3 августа — даты ценз. разр.). С. 3–12. Подпись: (В. Б.).

Второй том «Современника» вышел в свет 4 июля (билет на выпуск номера из типографии подписан 30 сентября, см.: Березина. С. 297). В этом томе не было помещено ни одного поэтического произведения Пушкина. Пушкин участвовал в нем как автор двумя статьями — «Российская Академия» (с. 1–13) и «Французская Академия» (с. 14–52), напечатанными анонимно. Он написал также предисловие к «Запискам» Н. А. Дуровой. В печати на выход очередного тома «Современника» первой откликнулась «Северная пчела». Формально появившаяся там заметка П. И. Юркевича была посвящена украинскому переводу поэмы «Полтава» (см.: СПч., 1836. № 162, 18 июля; наст. изд., с. 159), но большую ее часть занимали грубые выпады в адрес Пушкина, променявшего «золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста». Очередная выходка «Пчелы», несомненно, была спровоцирована выходом «Современника», в ряде материалов которого имелись прозрачные намеки на Булгарина, хотя имя его ни разу не было названо. Так, некоторые пассажи статьи П. А. Вяземского о комедии Гоголя «Ревизор» явно имели в виду рецензию на нее «Северной пчелы» (1836. № 97, 30 апреля; № 98, 1 мая); отповедь Булгарину содержалась и в редакционной заметке в защиту «Хроники русского» А. И. Тургенева (см. примеч. 9 к статье В. Г. Белинского «Несколько слов о „Современнике“» — наст. изд., с. 470). Публика приняла второй том «Современника», по-видимому, без особого энтузиазма. 24 июля С. Н. Карамзина писала брату Андрею: «Вышел второй номер „Современника“. Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разобрал ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжко сознать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!) (Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 81, 250–251; оригинал по-франц., кроме фрагмента: «которого разобрал - в полдень угасшее»).

¹ Белинский имеет в виду свою статью «Несколько слов о „Современнике“» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 167–178; наст. изд., с. 144–149).

² В этой фразе слышны отзвуки полемики, вызванной книгой С. П. Шевырева «История поэзии» (М., 1835), где обосновывался исторический, фактологический метод познания, противопоставленный философским построениям (см. о ней в примеч. 3 к статье В. П. Андросова «Как пишут критику» — наст. изд., с. 466). Ср. в напечатанной несколько ранее в «Молве» статье «Признаки мыслительности и жизни

в „Московском наблюдателе“: «Голос общего мнения обвиняет „Московского наблюдателя“ в отсутствии мысли и жизненного движения. Это обвинение не без основания: его можно доказать и *a priori*, то есть из чистого разума, столь ненавистного „Московскому наблюдателю“, и *a posteriori*, то есть из близорукого опыта, столь любимого „Московским наблюдателем“» (1836. Ч. 12, № 10. С. 269; см. также: *Белинский В. Г. Собр. соч.*: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 708–709, 678, примеч. Ю. В. Манна)

³ Выпад против Сенковского, писавшего под псевдонимами «барон Брамбеус» и «Тютюнджи-оглу». В словах о «заежем фигляре» и «поддельном патриотизме» заключен намек на польское происхождение Сенковского.

⁴ Цитата из басни Крылова «Синица» (1811).

⁵ В статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» это сказано про «Московский наблюдатель» (см.: *Совр.* 1836. Т. 1. С. 211; наст. изд., с. 131). Оговорка Белинского («сказанная им же или его сотрудником») свидетельствует, что к этому времени до него дошли какие-то сведения, что статья «О движении журнальной литературы...» написана не Пушкиным.

⁶ Имеется в виду статья Булгарина «Мнение о литературном журнале „Современник“, издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным, на 1836 год», где «Современник» прямо назывался продолжателем «духа», «цели» и «намерений» «Литературной газеты» и «Московского вестника» (см.: *СПЧ.* 1836. № 127, 6 июня; наст. изд., с. 149).

⁷ Предыдущими четырьмя попытками, по всей видимости, Белинский считал «Московский вестник», «Литературную газету», «Европеец» и «Московский наблюдатель».

⁸ Белинский неточно цитирует напечатанную во втором томе «Современника» статью П. А. Вяземского о комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». У Вяземского: «Человек, в сфере гостиной рожденный, в гостиной — у себя, дома: садится ли он в кресла? он садится как в свои кресла; заговорит ли? он не боится проговориться. Посмотрите на провинциала, на выскочку: он не смеет присесть иначе, как на кончике стула: шевелит краем губ...» и т. д. (*Совр.* 1836. Т. 2. С. 296). Однако, в силу изначально предвзятого отношения к Вяземскому, критик игнорирует контекст, в котором появились приведенные строки. Вяземский, защищая «Ревизор» от нападок чопорной и жеманной критики, ставившей в вину Гоголю грубость языка, утверждал, что истинно светский человек не боится свободного употребления простых слов, тогда как критики, не относящиеся к светскому обществу, пытаются указывать авторам, какие выражения не должны использоваться, так как могут оскорбить утонченный слух.

⁹ В своем выпаде против Вяземского Белинский почти дословно повторяет суждения самого Вяземского, высказанные в разбираемой статье в связи с требованием присутствия в комедии положительного примера: «Не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних: каждый возраст имеет свою пищу. Конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят быть до старости под указкою учителя <...>. Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки?» (*Совр.* 1836. Т. 2. С. 298).

¹⁰ Цитата из строфы VI четвертой главы «Евгения Онегина».

¹¹ Белинский цитирует напечатанный во втором томе «Современника» (с. 194–205) под заглавием «Иоанн III и Аристотель» отрывок из новой трагедии Е. Ф. Розена «Дочь Иоанна III» (д. 1, явл. 6). По достоинству стихов критик сравнивает произведение Розена с трагедией В. К. Тредиаковского «Деидамия» (1750; опубл. 1775), нередко приводившейся как пример тяжелого и затрудненного для понимания стиля. Третья, оставшаяся незазванной Белинским, стихотворная пьеса второго тома «Современника» — отрывок из «Драматической сказки об Иване-царевиче, Жар-Птице и о сером волке» Н. М. Языкова (с. 229–246).

¹² Автором «Записок» действительно была участница войны 1812 г. Надежда Александровна Дурова. Поводом для подозрений в литературной мистификации могло послужить заглавие публикации в «Современнике»: «Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным». Впрочем, издательское предисловие, которым Пушкин сопроводил публикацию (с. 53–54; XII, 64), уже само по себе решало все сомнения в подлинности «Записок».

¹³ Автором разбора книги В. Н. Григорьева «Статистическое описание Нахичеванской провинции, составленное В. Г. и напечатанное по высочайшему соизволению» (СПб., 1833) был Василий Иванович Золотницкий (а не Золотицкий), губернский секретарь, служащий Казенной палаты Кавказской области, в частности, составитель камерального описания Нахичеванского махала 1831 г. (см.: *Смирнов К. Н.* Материалы по истории и этнографии нахичеванского края. Баку, 1999. Приложения). Вероятно, в «Современник» статья попала через самого В. Н. Григорьева, автора рецензируемой книги, пушкинского знакомого, в 1828–1830 гг. служившего на Кавказе.

¹⁴ Речь идет о статьях П. А. Вяземского «Новая поэма Э. Кине: „Napoleon“, роéте par Edgar Quinet. Paris, 1836» (с. 267–284) и «„Ревизор“, комедия, соч<инение> Н. Гоголя. С.-Петербург, 1836» (с. 285–309).

¹⁵ Белинский вновь ссылается на упомянутую выше полемику вокруг «Истории поэзии» Шевырева. В статье «Ответ автора „Истории поэзии“ г. издателю „Телескопа“ на его рецензию. Статья 2-я» Шевырев писал: «Не скрою того, что я не охотник до логических построений, особенно так называемых, которые мы переняли у Германии. Защищая их, мы ведь не свое защищаем. — Перед немецкой ученостью я благоговею, но страсть к логическим построениям не есть ее лучшая сторона; напротив, это — крайность уважаемых мною немцев, крайность, неизбежная в этом народе-философе и не столько предосудительная в них, сколько в нас, потому что у них она есть роскошь философского их стремления, а у нас только следствие подражательности» (МН. 1836. Ч. 7. Май, кн. 2. С. 253; см. также «Возможно краткий и последний ответ автора „Истории поэзии“ г. издателю „Телескопа“» — МН. 1836. Ч. 7. Июнь, кн. 1. С. 394).

¹⁶ Статья Вяземского о «Ревизоре» содержала откровенно резкий выпад в адрес «Телескопа» и выступление в поддержку «Московского наблюдателя». «Нельзя желать для пользы литературы нашей и распространения здравых понятий о ней, чтобы сей журнал сделался у нас более и более известным, — писал Вяземский о «Московском наблюдателе». — Особенно критика его замечательно хороша. Понимаем, что и при этом случае издатели „Телескопа“ и другие могут в добродушном и откровенном испуге воскликнуть: „Избави нас боже от его критик!“ Но каждый молится за свое спасение: это натурально» (Совр. 1836. Т. 2. С. 289–290). Вяземский использовал слова, сказанные о нем лично Белинским в статье «Несколько слов о „Современнике“»: «Что же касается до кн. Вяземского, то избавь нас Боже от его критик так же, как и от его стихов...» (Молва. 1836. Ч. 12, № 7. С. 176; наст. изд., с. 148).

¹⁷ Имеется в виду статья Пушкина «Французская Академия» (с. 14–52; XII, 46–63), напечатанная анонимно.

¹⁸ В статье «Французская Академия» была приведена речь драматурга Огюстена-Эжена Скриба (Scribe; 1792–1861) по случаю его вступления в Академию. Белинский несколько искажает мысль Скриба. Не литература вообще, а драматическая литература, комедия и трагедия, по мысли Скриба, отражает прошедшее: «Так во дни ужаса революции, именно потому, что вашим глазам больно было смотреть на кровавые сцены и грабительства, вы были счастливы, находя на театре человеколюбие и благотворительность, которые тогда были вымыслами...»

Точно так и во времена восстановления Бурбонов, вам напоминали те дни, когда вы давали Европе законы — и прошедшее утешало вас в настоящем.

Следственно театр весьма редко бывает выражением современного общества: по крайней мере, как мы видели, он часто выражает противоположное, так что должно искать происхождения в том именно, о чем театр молчит» (Совр. 1836. Т. 2. С. 32; XII, 54).

¹⁹ Этот пассаж Белинского, в общем-то, не имеет никакого отношения к разбору Вяземского. Ю. В. Манн предполагал, что тут отозвались впечатления Белинского от статьи «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» В. Ф. Одоевского, напечатанной в этом же томе «Современника» (с. 206–217) с подписью: «С. Ф.», где, в частности, говорилось: «В старой Европе ужасы конца XVIII столетия отозвались в нынешней литературе по той же причине, почему идиллическая и жеманная поэзия прежнего времени отозвалась в век терроризма. Так должно быть по естественному порядку вещей, ибо литература, вопреки общепринятому мнению, есть всегда выражение прошедшего» (с. 211–212; см.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 710, коммент. Ю. В. Манна).

²⁰ Во втором томе «Современника» под рубрикой: «Новые русские книги, вышедшие с апреля месяца 1836 года» нет ни одной рецензии, а даны библиографические сведения о 43 книгах, из которых четыре помечены звездочками, обещающими критический разбор в последующих томах. В следующем томе журнала появилось следующее редакционное объявление: «Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала; вклялись некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен исполнить, — сказано было в примечании к статье „Новые книги“, что книги, означенные звездочкою, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными или которые намерен он был прочесть; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел» (Совр. 1836. Т. 3. С. 331–332; XII, 184).

П. И. ЮРКЕВИЧ

«ХРИЗОМАНИЯ»,
 ДРАМАТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ В ТРЕХ ЧАСТЯХ...

СПч. 1836. № 216, 22 сентября. Подпись: П. М.

Пьеса «Хризомания, или Страсть к деньгам», написанная А. А. Шаховским по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина, шла на петербургской сцене 3, 9 и 18 сентября 1836 г. В целом Шаховской следовал сюжету «Пиковой дамы», заканчивая основное действие сумасшествием героя (у Шаховского его звали Ирмус). Однако к пьесе был присоединен эпилог-водевиль «Крестницы, или Полюбовная сделка», где все «таинственные» события получали ясное объяснение. Из диалога товарищей Ирмуса — игроков — зрители узнавали, что сцена с призраком умершей графини, являвшейся герою, была подстроена ими с целью втянуть Ирмуса в игру и проучить в шулерской компании; что Германн-Ирмус не обдернулся, его карта была подменена шулерами. Вообще же этот эпилог представляет собой как бы еще одну, вполне самостоятельную, пьесу, не имеющую уже никакого отношения к пушкинской повести. Полный текст пьесы и эпилога см. в публикациях Л. Н. Киселевой: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. III: К 40-летию «Тартуских изданий». Тарту, 1999. С. 179–254; Пушкинские чтения в Тарту. 2. Тарту, 2000. С. 385–418; анализ театральной версии Шаховского см.: Киселева Л. Н. «Пиковые дамы» Пушкина и Шаховского // Пушкинские чтения в Тарту. 2. С. 183–203. «Хризомания», как ни странно, имела успех у зрителей, ее постановки периодически возобновлялись до 1890-х гг.

Рецензент «Хризомании», П. И. Юркевич, автор статьи о малороссийском переводе «Полтавы», содержащей жесточайшую критику в адрес Пушкина и заявления о падении его таланта (см.: СПч. 1836. № 162, 18 июля; наст. изд., с. 159), и здесь позволил себе выпад против поэта, заметив мимоходом, что пушкинская муза «что-то хворает в последнее время». Впрочем, «Пиковой даме», напечатанной в 1834 г., он дает высокую оценку.

¹ «Мономан, или Помешанный» — французская комедия Ш. Дюверье (Duveugier; 1803–1866). На русской сцене шла в переводе В. А. Каратыгина в декабре 1835 — феврале 1836 г.

² У Пушкина: Анна Федотовна.

³ Стихотворение Пушкина «Веселый пир» (1819). У Пушкина первый стих читается: «Я люблю вечерний пир...».

⁴ «Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь» — «романтическая драма, в двух частях, в пяти сутках» А. А. Шаховского. На сцене с 1832 г.; издана в 1836 г. (СПб.) «с принадлежащими к ней протяжными, плясовыми, хороводными, подблюдными, разбойничьими песнями, плясками, хороводными и святочными играми».

⁵ Цитата из басни И. А. Крылова «Скупой» (опубл. в 1826).

⁶ «По режиссерскому экземпляру, хранящемуся в Театральной библиотеке, — пишет по этому поводу Л. Н. Киселева, — видно, что постановщику было нелегко уместить всю замысловатую постройку в один спектакль и не оставить зрителей ночевать в театре: по ходу пьеса изрядно сокращалась» (*Киселева Л. Н. «Пиковые дамы» Пушкина и Шаховского. С. 184*). В позднейших постановках пьеса шла без эпилога.

А. С. ПУШКИН

ОБ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

(Разбор статьи, напечатанной в «Сыне отечества» в январе 1835 года)

Совр. 1836. Т. 3 (выход в свет 1 октября — билет на выпуск номера из типографии подписан 30 сентября, см.: *Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец» // Врем. ПК 1963. М.; Л., 1966. С. 56*). С. 109–134. Подпись: А. П.

Ответ Пушкина на критику В. Б. Броневского (СО и СА. 1835. Т. 47, № 3. С. 177–186; наст. изд., с. 71–74).

¹ Статья Броневского была напечатана за подписью: П. К. Скорее всего, Пушкин с самого начала знал, кто был ее автором.

² Одна ошибка — неточно указанное Пушкиным во второй главе «Истории» время перехода казаков-некрасовцев на турецкие берега Дуная; три опечатки — «Тобольск» вместо: «Табинск» в примечаниях к пятой главе ([*Пушкин А. С.*] История Пугачевского бунта. СПб., 1834. Ч. 1. С. 51–52, 2-я паг.); «четыре фунта» вместо: «четверти фунта» в пятой главе (Там же. С. 100, 1-я паг.); «в пятнадцати верстах» вместо: «в пятидесяти верстах» в седьмой главе (Там же. С. 129, 1-я паг.).

³ Ср. характеристику автора статьи как «поверхностного рассказчика и переписчика» в письме Пушкина Д. Н. Бантыш-Каменского от 26 января 1835 г. — XVI, 8.

⁴ См.: СПЧ. 1836. № 129, 9 июня; наст. изд., с. 156.

⁵ См. примеч. 2 к статье В. Б. Броневского «История Пугачевского бунта» — наст. изд., с. 402.

⁶ Пушкин отметил здесь неправильное, на его взгляд, употребление слова «огромный» в переносном значении. Это воспринималось современниками как одно из новшеств, вводимых в русский язык «Московским телеграфом». См., например, в заметке «Дамского журнала» «О любимых словах Бомбайской каланчи» (Бомбайская каланча — употреблявшееся в полемике 1820-х гг. наименование «Московского телеграфа»): «Слово *огромность*, как уже знаем, принадлежит во всей силе *фаворитету* ее, наприм<ер>: *огромность дарований* <...> *огромность чувств*, *огромность уровней* (?) и прочих, и прочих огромностей!» (1827. Ч. 18, № 11. С. 259). Ср. позднейшее замечание М. А. Дмитриева: «...его (С. Н. Глинки. — *Ред.*) сочинения имели, говоря нынешним арлекинским языком, *большую популярность*, даже, чтобы выразиться совсем по-нынешнему, скажу: *огромную популярность*, и прибавлю в доказательство: *это факт!* После этого слова, кажется, как не поверить?» (*Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 106*). Ранее в примечаниях к своим мемуарам «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриев указал переносное значение слова «огромный» в ряду несообразностей новейшего литературного языка, примеры которых взяты мемуаристом из «Московского телеграфа». Он комментирует употребление этого слова: «Это прилагательное прикладывалось только к чему-н<ибудь> материальному: огромный дом, огромное здание» (*Дмитриев. И. И. Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 15*). См. также: *Виноградов В. В. Язык Пушкина. М.; Л., 1935. С. 322–323*).

⁷ Пушкин ссылается на изложение событий в историческом труде И. И. Голикова «Деяния Петра Великого» (М., 1788. Ч. 3. С. 369).

⁸ Речь идет о «Словаре историческом о святых угодниках православной российской церкви», составленном Д. А. Эрстовым и М. Л. Яковлевым. Словарь прошел цензуру и был отпечатан в 1835 г., но не выпущен в свет, а по настоянию митрополита Филарета представлен на рассмотрение Синода. Синод постановил выпустить сочинение при условии его тщательной перделки, поскольку в нем оказались причислены к лику святых лица, не имевшие, по мнению официальной церкви, на то твердых оснований. Сочинение вышло в свет в следующем, 1836 году под заглавием: «Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некото-

рых подвижниках благочестия, местно чтимых» (см.: *Котович А. Н.* Духовная цензура в России. СПб., 1909. С. 229–230). Пушкинская хвалебная рецензия на него была напечатана в том же третьем томе «Современника», что и ответ Броневского (с. 310–314; XII, 101–102). Рукописный «Исторический словарь» Эриваста и Яковлева Пушкин использовал при работе над «Историей», в частности, опираясь на него, была рассказана история поимки Ульянова и Чики в пятой главе (см. ссылку на «Исторический словарь» в примеч. 16 к пятой главе в наборной рукописи «Истории» — IX, 457; в печатном тексте она была снята).

⁹ Имеется в виду русско-турецкая война 1735–1739 гг.

¹⁰ См. примеч. 4 к статье В. Б. Броневского — наст. изд., с. 402.

¹¹ А. И. Иловайский еще в чине сотника участвовал в преследовании Пугачева в 1774 г. В феврале 1775 г. был произведен в полковники с назначением войсковым атаманом; с 1776 г. — атаман Войска Донского, генерал-майор (см.: *Русский биографический словарь.* СПб., 1897. Т. «Ибак–Ключарев». С. 91–92).

¹² Некоторые из этих документов упоминаются в записях Пушкина, сделанных при работе с архивными материалами Военной коллегии (см.: IX, 629, 716, 781–782; *Овчинников Р. В.* Пушкин в работе над архивными документами: «История Пугачева». Л., 1969. С. 206–207, 214–215, 240–241).

¹³ В состав документальных материалов, напечатанных в марте 1836 г. в газете «Русский инвалид» («О подвигах донских казаков на Кубани и об осаде, в коей полковник Платов находился с 200-ми человек, быв окружен 20-ти тысячным войском черкес в 1774 г.»), было включено два рапорта походного полковника Матвея Платова «высокоблагородному и высокопочтенному господину Войска Донского войсковому наказному атаману Семену Никитичу Сулину» — от 7 апреля и 15 мая 1774 г. (№ 68, 15 марта; № 72, 19 марта).

¹⁴ Пушкин цитирует именной указ Екатерины II Сулину по своей выписке, сделанной из второй книги Секретной экспедиции Военной коллегии, полученной им 25 февраля 1833 г. (см.: IX, 781–782; *Овчинников Р. В.* Пушкин в работе над архивными документами. С. 214–215).

¹⁵ См. примеч. 8 к статье В. Б. Броневского — наст. изд., с. 403.

¹⁶ См.: (*Пушкин А. С.*) История Пугачевского бунта. Ч. 2. С. 25; IX, 177.

¹⁷ Выделенные Пушкиным фразы и выражения являются точными цитатами из сочинения Броневского, см.: *Броневский В. Б.* История Донского войска. СПб., 1834. Ч. 2. С. 91–95.

¹⁸ Речь идет о романе «Ложный Петр III, или Жизнь, характеры и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева» (М., 1809. Ч. 1–2; пер. сочинения: *Le faux Pierre III ou la vie et les aventures du rebelle Jemélian Pugatschew. D'après l'original russe de mr F. S. Q. W. D. V. Londres, 1775*). Роман был в библиотеке Пушкина (Библиотека П. № 217). В главе своего труда, посвященной Пугачеву, Броневский прямо отсылает читателей к этому роману, впрочем, давая ему нелестную характеристику: «Подвиги Емельки на сем поприще (разбоа. — *Ред.*) не могут быть ни занимательны, ни любопытны; и я покрываю их завесою, предаю забвению. Впрочем, тем из читателей, которым угодно будет знать все подробности, до Пугачева относящиеся, советую прочесть политический роман, в роде „Пансальвина, князя тьмы“, под именем истории напечатанный (здесь к тексту сделано примечание с указанием заглавия романа «Ложный Петр III...». — *Ред.*). Надеюсь, однако ж, что сказка сия не соблазнит ни одного поэта или драматического писателя, несмотря на то что досужий иностранец, написавший ее, следуя нынешнему вкусу, и Пугачева преобразил в героя театрального, в человека благородного, чувствительного и даже великодушного. Но, по счастью для нравственности, сочинитель повести сей до того пересластил свой вымысел, что обман его по прочтении первых страниц становится неопасным. Собственные имена, география и история до того переиначены, что очевидность невежества сочинителя может только рассмешить читателя» (*Броневский В. Б.* История Донского войска. Ч. 2. С. 93–94; упоминаемый здесь роман, с которым сравнивается «Ложный Петр III», — «Пансальвин, князь тьмы. Быль? Не быль? однако ж и не сказка» (М., 1809), перевод В. А. Лёвшина изданного анонимно немецкого романа доктора И. Ф. Э. Альбрехта (*Albrecht, 1752–1814*) «Pansalvin, Fürst der Finsternis und seine Geliebte» (Gera, 1794), представляющего собой памфлет на Потемкина).

¹⁹ См.: Оборона крепости Яика от партии мятежников // ОЗ. 1824. Ч. 19, № 53. С. 331 (об этой статье см. примеч. 12 к статье В. Б. Броневского — наст. изд., с. 403).

²⁰ Источник не установлен.

²¹ В 1833 г. Пушкин получил из Петербургского и Московского отделений Инспекторского департамента Военного министерства 14 томов документов, но 4 из них содержали материалы, касающиеся деятельности Суворова и не нужные Пушкину в работе над «Историей». По мнению Р. В. Овчинникова, говоря о «18 толстых томах in-folio», Пушкин имел в виду все полученные им дела (включая суворовские) и рукописи из частных собраний (Г. И. Спасского, Языковых, И. И. Лажечникова, Д. Н. Бантыш-Каменского и др.) (см.: *Овчинников Р. В.* Пушкин в работе над архивными документами. С. 72). Но возможно, что в эти 18 томов поэт включал 10 архивных томов пугачевских дел, полученных им в 1833 г., и 8 пакетов с пугачевскими бумагами, полученных из Государственного архива в 1835 г. (см. примеч. 1 к статье В. Б. Броневского — наст. изд., с. 401).

²² Пушкин ссылается на «высочайшее разрешение», однако том приложений, в котором помещены относящиеся к пугачевскому бунту исторические документы, не проходил ни царской, ни даже обычной цензуры (историю печатания пушкинского труда см. в примеч. к статье В. Б. Броневского — наст. изд., с. 397–398). Том приложений и не мог быть представлен Николаю I, поскольку был сформирован Пушкиным на самом последнем этапе, когда текст «Истории» уже печатался. Можно предположить, замечает Н. Н. Петрунина, что Пушкин «на словах» выговорил себе право дополнить свой труд документальными материалами, но фактического подтверждения это предположение не имеет. «Исключительность положения, в котором на этот раз оказалась Пушкин, — пишет Н. Н. Петрунина, — становится особенно ясна при сопоставлении обстоятельств создания „Истории Пугачева“ с общей цензурной практикой середины 1830-х годов. Согласно действовавшей в эти годы инструкции, для обнаружения исторических материалов было необходимо „высшее разрешение“, т. е. они не могли быть пропущены в печать без санкции Цензурного комитета или даже Главного управления цензуры» (*Петрунина Н. Н.* Вокруг «Истории Пугачева» // ПИМ. Л., 1969. Т. 6. С. 239).

²³ Имеется в виду указанная выше статья Ф. В. Булгарина в «Северной пчеле» (1836. № 129, 9 июня; наст. изд., с. 156).

²⁴ Броневский указывал, что сведения о «грабежах и убийствах» Пугачева он заимствовал из «судебного приговора, пред казнию злодея объявленного», другие сведения — из жизнеописаний генералов Бибикова, Суворова и Михельсона» (*Броневский В. Б.* История Донского войска. Ч. 2. С. 91). Имеются в виду манифест 19 декабря 1774 г. «о преступлениях казака Пугачева» (Пушкин поместил его в приложениях к «Истории Пугачевского бунта» — Ч. 2. С. 22–29; IX, 175–179), «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова сыном его сенатором Бибиковым» (СПб., 1817), «Михельсон в бывшее в Казани возмущение» (М., 1807; сочинение Д. Н. Зиновьева, изданное без указания имени автора) и, по-видимому, перевод немецкого сочинения И. Ф. Антинга «Жизнь и военные деяния генералиссимуса князя Итальянского, графа Суворова Рымникского» (СПб., 1799–1800. Ч. 1–3; другой перевод: Победы графа А. В. Суворова-Рымникского, или Жизнь его и военные деяния против Пруссии, Турции, Польши и Франции. М., 1809–1810. Ч. 1–5; 2-е изд.: М., 1815. Ч. 1–7).

²⁵ См.: *Броневский В. Б.* История Донского войска. Ч. 2. С. 94–95, 98.

²⁶ См.: [*Пушкин А. С.*] История Пугачевского бунта. Ч. 1. С. 10–12, 1-я паг.; IX, 10–11. У Лёвшина дата бунта и убийства Траубенберга — 12 января 1772 г. (см.: *Лёвшин А. И.* Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. СПб., 1823. С. 26–27). Та же дата в опубликованной Пушкиным «летописи» П. И. Рычкова «Осада Оренбурга» (см.: [*Пушкин А. С.*] История Пугачевского бунта. Ч. 2. С. 74; IX, 207).

²⁷ См.: *Броневский В. Б.* История Донского войска. Ч. 2. С. 105.

²⁸ См.: Там же. С. 106–107.

²⁹ См.: Там же. С. 109.

³⁰ См.: Там же. С. 107.

³¹ См.: Там же. С. 90–91. Пушкин допустил при цитировании незначительные неточности.

³² См.: Там же. Ч. 1. С. I, III. Пушкин допустил при цитировании незначительные неточности.

А. С. ПУШКИН

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Совр. 1836. Т. 3 (выход в свет около 1 октября — билет на выпуск номера из типографии подписан 30 сентября, см.: *Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец» // Врем. ПК 1963. М.; Л., 1966. С. 56*). С. 321–329. С подписью: А. Б. и пометой под текстом: «Тверь. 23 апреля 1836».

«Письмо к издателю» впервые было атрибутировано Пушкину В. П. Красногорским (*Красногорский В. П. Новая статья Пушкина: (Пушкин о Гоголе) // Наш труд: Сборники литературы, драмы и критики. [Б. м.] 1924. № 2. С. 106–120*). Эта атрибуция была доказательно аргументирована Ю. Г. Оксманом (см.: *Пушкин. Новые тексты. IV. «Письмо к издателю» // Атеней: Историко-литературный временник. Пг., 1924. Кн. 1–2. С. 15–24*). Автограф не сохранился. Атрибуция основана на текстуальном совпадении фрагментов комментируемой статьи и пушкинского «<Письма к издателю „Литературной газеты“>» (1830). Она подтверждается рядом более мелких содержательных и стилистических параллелей между высказываниями А. Б. и суждениями Пушкина «по вопросам критики, полемики и литературной политики» (Там же. С. 20; подробнее см. ниже в построчном комментарии). «Письмо к издателю» упоминается также в счете Пушкину от писца 14 августа 1836 г. (Литературный архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 34–35, коммент. Л. Б. Модзалевского).

Впервые о «Письме к издателю» сообщалось в заметке «От редакции» во втором томе «Современника»: «Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени. Мы получили также статью г. *Косичкина*. Но к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей» (с. 312; XII, 183). Ю. Г. Оксман, однако, считал, что если бы «Письмо» действительно было написано в период подготовки второго тома «Современника», оно обязательно появилось бы в нем: по возвращении из Москвы 23 мая 1836 г. и до 30 июня 1836 г. (дата ценз. разр. второго тома) Пушкин активно занимался делами журнала. Косвенным аргументом в пользу мнения Оксмана может служить упоминание в той же редакционной заметке статьи Косичкина, якобы полученной издателем вместе с письмом А. Б. и также обещанной к публикации в третьем томе. Имя Косичкина было хорошо известно публике: в 1831 г. Пушкин подписывал этим псевдонимом свои выступления в «Телескопе» против Булгарина («Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»). Статья Косичкина, однако, не появилась в «Современнике», не сохранилась в бумагах Пушкина и, вероятнее всего, не была написана. Не исключено, таким образом, что к выходу второго номера Пушкин лишь обдумывал некий полемический материал, связанный с ситуацией вокруг «Современника» в целом и со статьей Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» в частности, и «оставлял за собой свободу выступления под одной, двумя и т. д. анонимными или псевдонимными статьями» (*Гунтуис В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Уч. зап. Пермского гос. ун-та. Пермь, 1930. Вып. 2. С. 114*). Возможно, статья под именем Косичкина даже не задумывалась Пушкиным и слова о ней были лишь предупреждением, адресованным Ф. В. Булгарину, резко нападавшему на «Современник». По наблюдению М. И. Гиллельсона, «за пять лет до этого Пушкин уже прибегал к подобному средству. В памфлете „Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем“ (1831), под которым стояла подпись Косичкина, Пушкин поместил план романа „Настоящий Выжигин“, сатирический „конспект“ биографии издателя „Северной пчелы“, и доверительно заметил, что сей роман „поступит в продажу или останется в рукописи, смотря по обстоятельствам“ (XI, 214). В 1831 г. угроза Пушкина возымела действие — Булгарин на время притих; в 1836 г. предостережение не подействовало» (*Гиллельсон М. И. Пушкинский «Современник» // Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 9*). Другого мнения придерживалась В. Г. Березина, считавшая, что «Письмо» было написано для второго тома «Современника», но Пушкин отказался от его публикации из соображений журнальной тактики, считая неуместным его появление в одной книжке с рецензией П. А. Вяземского на «Ревизора», в которой содержались похвалы «Московскому налюдателю» и уничижительный отзыв о Бе-

линском (см.: Березина. С. 298). Впрочем, и в этом случае дату «23 апреля» под текстом «Письма» следует признать фиктивной: она должна была указывать, «что „Письмо“ написано сразу по ознакомлении с журналом, под свежим впечатлением, притом еще до появления рецензий профессиональных журналистов» (Там же; см. также: *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 118; *Сергиевский И. В.* Пушкин и Белинский // *Сергиевский И. В.* Избр. работы. М., 1961. С. 325).

«Письмо к издателю» является возражением на статью Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и в этом отношении выглядит своего рода «редакционным коррективом к неосмотрительно пропущенной статье» (*Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 16, коммент. Ю. Г. Оксмана). Однако, по справедливому замечанию В. В. Гиппиуса, оно не может быть трактовано как непосредственное изложение взглядов Пушкина, его «критико-публицистическое credo» (*Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 115). Статья «О движении журнальной литературы...», напечатанная анонимно, была воспринята большинством читателей и критиков как программа «Современника». В этой ситуации пушкинский журнал предстал изданием, созданным непосредственно для «торговой войны» с «Библиотекой», что никак не соответствовало действительности. Независимо от того, насколько Пушкин разделял взгляды Гоголя, он не хотел ни непосредственно включаться в журнальную полемику, ни восстанавливать против себя критиков разных лагерей. Выбранная форма читательского письма из провинции давала Пушкину возможность отвести от себя в издательском примечании подозрения в авторстве статьи «О движении журнальной литературы...», избегая в то же время необходимости сколько-нибудь развернуто высказывать свое к ней отношение. С другой стороны, та же литературная форма представляла широкие возможности для не прямой полемики. Сочувственные отзывы и похвалы А. Б. в адрес «Библиотеки для чтения» и ее союзников явно ироничны. Речь в защиту Сенковского напоминает читателям о потере его журналом многих «уважаемых и любимых» ими сотрудников, а оправдание коммерческой деятельности «Северной пчелы» сопровождается резким выпадом в адрес Булгарина.

Отмечалось, что ряд высказываний А. Б. о журнале Сенковского совпадает с мнениями, высказанными в статье В. Г. Белинского «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» (см.: Березина. С. 292; см. также: *Шальман Е. С.* «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский) // Освободительное движение в России: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1978. Вып. 7. С. 62–63; об отношениях Пушкина и Белинского в связи с «Письмом к издателю» см. выше примеч. к статье Белинского «Несколько слов о „Современнике“» — наст. изд., с. 469).

В печати на «Письмо к издателю» откликнулся Ф. Б. Булгарин — фельетоном «Мое перевоспитание по методе взаимного обучения» (СПч. 1836. № 255, 6 ноября; № 256, 7 ноября; наст. изд., с. 184). С письмом в «Современник» от 13 октября 1836 г. из Одессы обратился П. И. Мартос (см.: XVI, 166–168). Это письмо, содержащее резкие возражения А. Б. и «с провинциальным притязательным безвкусием поворачивающее точку зрения Гоголя» (*Каллаш В. В.* Письмо П. Мартоса к Пушкину // *Русская мысль.* 1911. № 9. С. 151), Пушкиным опубликовано не было.

¹ Речь идет о статье Пушкина «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изданное протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб. 1835» (Совр. 1836. Т. 1. С. 85–110). Далее Пушкин цитирует «Слово при вступлении в паству» (см.: Собрание сочинений Георгия Кониского... СПб., 1835. Ч. 1. С. 1, 2).

² В. П. Красногорский видел здесь отсылку к «Литературным мечтаньям» В. Г. Белинского, которые завершались признанием критика в субъективности своей точки зрения и недостаточности профессиональных навыков: «Кто берется судить о других, тот подвергает и самого себя еще строжайшему суду. <...> Итак, признаюсь откровенно: не ищите в моей элгии в прозе строгого логического порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышления. Я имел целью высказать несколько истины, частью уже сказанных, частью мною самим замеченных; но не имел времени хорошо обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь к истине и желание общего блага, но, может быть, нет основательных познаний. Что ж делать? Эти два качества редко сходятся в одном лице» (Молва. 1834. Ч. 8, № 52. С. 461; Белинский. Т. 1. С. 103). Таким образом, по мнению исследователя, сопостав-

ление журналистской позиции Белинского и Гоголя делалось в «Письме к издателю» не в пользу последнего (см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 118).

³ По мнению В. Г. Березиной, здесь отозвались слова В. Г. Белинского, заметившего в рецензии на первый том «Современника», что суждения автора статьи «О движении журнальной литературы...» изложены «резко, остро и ловко» и что она «содержит в себе много справедливых замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 173, 177; наст. изд., с. 146–147, 148; см.: Березина. С. 285; также: *Шальман Е. С.* «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский). С. 62).

⁴ Ср. в «<Письме к издателю „Литературной газеты“>» (1830) А. С. Пушкина: «[Вы поминутно говорите о приличии], но позвольте дать заметить, что и „Литературная“ газета“, стараясь быть равно учтива и важна в отношении ко всем книгам, ею разбираемым, без сомнения погрешила бы противу правил приличия. — В обществе вы локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь — очень хорошо. Но, гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника — вы не скажете ему: mille pardons. Вы зовете извозчика — и говорите ему: пошел в Коломну, а не: *сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну.* Разница критиковать „Ист<орию> Гос<ударства> Рос<сийского>“ — и например ***» (XI, 132) (см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 113; *Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 20, коммент. Ю. Г. Оксмана). Явное текстуальное совпадение этого фрагмента с соответствующим высказыванием автора «Письма к издателю» послужило главным свидетельством в пользу авторства Пушкина.

⁵ Ср. замечание А. С. Пушкина в «<Письме в редакцию „Московского вестника“>» (1828): «Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени» (XI, 11. С. 66; П. в критике, III. С. 280; см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 112; *Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 20–21, коммент. Ю. Г. Оксмана).

⁶ В тексте «Современника» опечатка: «tout» вместо «tant». В. П. Красногорский проводил параллель между этой фразой и началом пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824), где первый убеждает второго назначить цену за свое произведение: «Стишки для вас одна забава, / Немножко стоит вам присесть, / Уж разгласить успела слава / Везде приятнейшую весть: / Поэма, говорят, готова...» (см.: *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 112). Между тем комментируемое выражение имеет непосредственный источник: хорошо известный современникам Пушкина анекдот о французской актрисе Ж.-К. Госсен (Gaussin; 1711–1767), которая подобным образом отвечала на упреки в легкомысленном поведении (см., например: *Vachautmont L.-P. de.* Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis 1762, ou Journal d'un observateur, contenant les analyses des pièces de théâtre qui ont paru durant cet intervalle, les relations des assemblée littéraires... Paris, 1830. Т. 1. Р. 21 (запись от 30 января 1762 г.); *Correspondance littéraire philosophique et critique de Grimm et de Diderot, depuis 1753 jusqu'en 1790.* Paris, 1830. Т. 9: 1776–1778. Р. 475). В этом контексте аргумент А. Б. в защиту Сенковского звучит иронически.

⁷ Речь идет о замечании, сделанном Н. В. Гоголем в рецензии на альманах В. К. Крыловского «Мое новоселье» (СПб., 1836): «Это Альманах! Какое странное чувство находит, когда глядя на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота» (Совр. 1836. Т. 1. С. 313; Гоголь. Т. 8. С. 197). Это сравнение содержало очевидную, по всей вероятности, для Пушкина отсылку к пародийной балладе И. И. Дмитриева «Карикатура» (1791):

Весь двор заглох в крапиве!
Не видно никого!
Лубки прибиты к окнам,
И на дверях запор;
Все тихо! лишь на кровле
Мяучит тощий кот.

(*Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 276 (Б-ка поэта. Большая серия).)

Образ тощего кота на крыше, «символическое выражение мерзости запустения», организует всю гоголевскую рецензию на альманах (см.: Вацуро В. Э. Тоший кот на крыше // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 123–126).

⁸ Ср. замечание Пушкина в письме к М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. по поводу неуспеха «Московского вестника»: «Главная ошибка наша была в том, что мы хотели быть слишком дельными; стихотворная часть у нас славная; проза, м<ожет> б<ыть>, еще лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору. <...> ...за одну статью Вяземского в „Тел<еграфе>“ отдам три дельные статьи „М<осковского> вестн<ика>“. Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны, он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста!» (XIII, 340–341) (см.: Пушкин. Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 21, коммент. Ю. Г. Оксман). По наблюдению В. Г. Березиной, сходная мысль высказана в статье В. Г. Белинского «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» по поводу «Библиотеки для чтения». Характеризуя суждения «Литературной летописи» «Библиотеки», критик отмечал, что журналу «нельзя отказать в одном, очень важном достоинстве: в ловкости, умении, знании литературной манеры, в шутовстве и часто остроумии» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 643; Белинский. Т. 2. С. 39).

⁹ Рассуждение Пушкина о письменном и разговорном вариантах языка, вероятно, является откликом на содержащуюся в рецензии на первый том «Современника» реплику В. Г. Белинского, который в споре о «сих» и «оных» поддерживал Сенковского: «Спрашиваем почтенного издателя „Современника“, почему он, употребляя *сии* и *оные*, не употребляет *сиречь*, *понеже*, *поелику*, *аще*, *сице*?.. Он, верно, сказал бы, потому что эти слова вышли из употребления, что они не употребляются в разговоре?.. Но чем же счастливее их *сии* и *оные*, которые тоже вышли из употребления и не употребляются в разговоре?..» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 177; наст. изд., с. 148). По замечанию Ф. Я. Приймы, для Белинского и Пушкина эта полемика «выходила за границы проблемы исключительно лингвистической или стилистической» (Прийма Ф. Я. Пушкин и Белинский // РЛ. 1977. № 1. С. 40–41). В десятой статье о Пушкине (1845) Белинский писал: «Кстати о *сих*, *оных* и *таковых*: Пушкин всегда употреблял их по любви к преданию, хотя к его сжато, определенному, выразительному и поэтическому языку они так же плохо шли, как грязные пятна идут к модному платью светского человека, собравшегося на бал. Но когда „Библиотека для чтения“ воздвигла гонение на эти *старопечатные* слова, Пушкин еще более, еще чаще начал употреблять их к явному вреду своего слога. В этом поступке не было духа противоречия, ни на чем не основанного; напротив, тут действовал дух принципа — слепого уважения к преданию. Если уважение к преданию так сильно выразилось в отношении к *сим*, *оным*, *таковым* и *коим*, то естественно, что оно еще сильнее должно было проявляться в Пушкине в отношении к живым и мертвым авторитетам русской литературы» (Белинский. Т. 7. С. 525). Именно недостаточное «уважение к преданию» Пушкин ставил в вину Белинскому в «Письме к издателю» (см. также: Шальман Е. С. «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский). С. 62–63).

¹⁰ См. примеч. 21 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы...» — наст. изд., с. 451.

¹¹ Ссылка на содержание европейских периодических изданий как на достойный образец журнальной продукции неоднократно встречается в высказываниях Пушкина (см., например, в письме П. А. Вяземскому от 25 мая — около середины июня 1825 г.: «Европейские статьи так редки в наших журналах — XIII, 183; в «Путешествии из Москвы в Петербург»» (1833–1834): «Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями Английских Reviews» — XI, 248) (см.: Красногорский В. П. Новая статья Пушкина. С. 112; Пушкин. Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 21, коммент. Ю. Г. Оксман).

¹² В статье «О движении журнальной литературы...» Гоголь несправедливо заметил, что Сенковский, критикуя чужие сочинения о Востоке, не написал ничего сам на эту тему (Совр. 1836. Т. 1. С. 198; наст. изд., с. 125). Эта реплика вызвала нарекания Булгарина, который, считая автором статьи Пушкина, обвинил его в невежестве и ограниченности, а возможно, и в намеренном замалчивании заслуг оппонента (см.:

СПч. 1836. № 128, 8 июня; наст. изд., с. 155). Между тем сам поэт относил недостаток образования к числу качеств, неприемлемых для журналиста (см., например, его замечание о журнале Н. А. Полевого в письме П. А. Вяземскому от начала июля 1825 г.: «Телеграф — человек порядочный и честный — но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входить не намерен» — XIII, 185; *Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 114–117).

¹³ О «постоянном, всегда правильном выходе книжек» «Библиотеки для чтения» как одном из «главнейших достоинств журнала» упоминал В. Г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 2. С. 349; Белинский. Т. 2. С. 19) (см.: Березина. С. 292).

¹⁴ По мнению М. И. Гиллельсона, это «примирительное заявление», возможно, было рассчитано на «высшие сферы». Поскольку Николай I был категорическим противником журнальной полемики, обвинение «Современника» в ней могло помешать просьбе о продлении журнала (см.: *Гиллельсон М. И.* Пушкинский «Современник». С. 11).

¹⁵ Ф. Б. — принятая в «Северной пчеле» подпись под статьями ее издателя Ф. В. Булгарина.

¹⁶ «Трудолюбивая пчела» — первый в России частный журнал, издававшийся А. П. Сумароковым и выходивший в Петербурге ежемесячно в 1759 г. Пушкинское сравнение, по-видимому, имело целью подчеркнуть «примитивность нравоописательной сатиры» в сочинениях Булгарина (см.: *Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. С. 177*, коммент. М. И. Гиллельсона).

¹⁷ «Хамелеонистика» — антибулгаринский раздел в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», где Воейков печатал материалы, показывающие перемчивость литературных суждений Булгарина. В статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» Пушкин характеризовал «Хамелеонистику» как «остроумный сбор статей, где выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плутни» (XI, 212; П. в критике, III. С. 301). По справедливому замечанию М. И. Гиллельсона, «в „Письме к издателю“ Пушкин, ослабляя критику „Библиотеки для чтения“, усилил негативную характеристику „Северной пчелы“. Если учесть, что именно Булгарин выступил с воинственной статьей, направленной против „Современника“, то ответная реакция Пушкина становится вполне понятной» (*Гиллельсон М. И.* Пушкинский «Современник». С. 10).

¹⁸ Следует отметить, что в рукописи гоголевской статьи имелся отзыв о В. Г. Белинском, отчасти сходный с пушкинским: «В критиках Белинского, помещающихся в „Телескопе“, виден вкус, хотя еще не образовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении. — При всем этом в них много есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуместно и неприлично, а тем более для публики» (Гоголь. Т. 8. С. 533). По мнению М. И. Гиллельсона, отношение Гоголя к Белинскому-критику сформировалось под влиянием устных бесед с Пушкиным (см.: *Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. С. 177*). Характеристика, данная Пушкиным Белинскому в «Письме к издателю», опровергает достаточно распространенное мнение (см.: *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 5. С. 652, коммент. Н. С. Тихонравова; М.; СПб., 1896. Т. 6. С. 722, коммент. В. И. Шенрока; *Каллаш В. В.* Письмо П. Мартоса к Пушкину. С. 152–153; Рыский. С. 34; *Шальман Е. С.* «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский). С. 61), что отзыв о Белинском был исключен из статьи Гоголя вследствие пушкинской редакции. Следует предполагать, таким образом, что упомянутый фрагмент был исключен из статьи самим автором. Возможно, причиной этому явился восторженный отзыв Белинского о Гоголе как «главе литературы, главе поэтов» в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя („Арабески“ и „Миргород“»)» (Телескоп. 1835. Т. 26, № 8. С. 601; Белинский. Т. 1. С. 306) в подобной ситуации любые публичные высказывания писателя о критике должны были казаться неуместными или неактивными. Возможно, Гоголь не желал портить отношений с Шевыревым и Погодиным, находившимися в состоянии активной журнальной войны с Белинским (см.: *Гитлиц В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 108; *Мельниченко О. Г.* Гоголь и Белинский: (К вопросу о влиянии Белинского на Гоголя) // Уч. зап. Вологодского гос. пед. ин-та им. В. М. Молотова. Вологда, 1950. Т. 7. С. 30; Се-

ребровская Е. П. Белинский и Гоголь. Л., 1952. С. 49; *Машинский С. И.* Гоголь и революционные демократы. М., 1953. С. 50–51; *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист: (Гоголь — сотрудник «Современника» Пушкина) // Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954. С. 48; Березина. С. 293; *Благой Д. Д.* Гоголь-критик // История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 315; *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. М., 1963. С. 364–365; Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. С. 177, коммент. М. И. Гиллельсона). Как отмечал Е. С. Рыскин, поскольку все изложенные выше соображения вряд ли могли иметь большое значение для автора анонимной публикации, исключение отзыва о Белинском указывает на первоначальное намерение Гоголя опубликовать статью под собственным именем (*Рыскин Е. И.* О статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» // РЛ. 1965. № 1. С. 141; то же: Рыскин. С. 34). Отзыв о Белинском в «Письме к издателю», безусловно, выражает собственное мнение Пушкина о молодой критике, но вряд ли может быть признан однозначно положительным. Распространенная в литературе точка зрения на характеристику Белинского в «Письме к издателю» как свидетельство изменения литературных ориентиров Пушкина-журналиста, размежевания его с основными сотрудниками, единомышленниками «Московского наблюдателя», и движение к союзу с Белинским (см., например: *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 118; *Степанов А. Н.* Гоголь-публицист. С. 67–68; Березина. С. 295–296; *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. С. 379; *Шальман Е. С.* «Письмо к издателю»: (Пушкин, А. Б., Белинский). С. 63) представляется недостаточной обоснованной.

¹⁹ Сходную мысль Пушкин высказывал ранее в «<Опровержении на критике>» (1830): «Басни (как и романы) читает и литератор, и купец, и светский человек, и дама, и горничная, и дети. Но стихотворение лирическое читают токмо любители поэзии. А много ли их?» (XI, 154; П. в критике, II. С. 299; см.: *Пушкин.* Новые тексты. IV. «Письмо к издателю». С. 21–22, примеч. Ю. Г. Оксман). По мнению В. Г. Березиной, близкое наблюдение содержится и в заметке, завершающей раздел «Новые книги» в первом томе «Современника»: «Из сего реестра книг ощутительно заметно преобладание романа и повести, этих властелинов современной литературы. Их почти вдвое больше против числа других книг. Бесперывным появлением в свет они, несмотря на глубокое свое ничтожество, свидетельствуют о всеобщей потребности» (Совр. 1836. Т. 1. С. 318; Гоголь. Т. 8. С. 498–499; см.: Березина. С. 310–311).

²⁰ Тот же упрек адресовал современным поэтам С. П. Шевырев: «Теперь иное время. Давно мы не слышим бывалых стихов. Если и слышим, то изредка. Читаем все прозу и прозу. Может быть, это безмолвие, господствующее в мире нашей поэзии, эта чудная тишина, эта пустыня пророчит какой-нибудь переворот в нашем стихотворном языке, в формах нашей просодии. <...> Теперь едва ли не совершается у нас это время перехода, озаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые, в последнее время, вода слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дремали и теперь заснули на своих лирах и спят — до нового пробуждения!» (*Шевырев С. П.* Седьмая песня «Освобожденного Иерусалима» // МН. 1835. Ч. 3. Июль, кн. 1. С. 6–7).

²¹ *Державин Г. Р.* Соч. СПб., 1833–1834. Ч. 1–4; *Крылов И. А.* Басни. 30-я тыс. [5-е изд.] СПб., 1835. Ч. 1–8.

²² Упоминание в «Письме к издателю» о читательском успехе Кольцова, Кукольника и Бенедиктова «носит не оценочный, а констатирующий характер» (*Сергиевский И. В.* Пушкин и Белинский. С. 292). Сам Пушкин иронически относился к творчеству Кукольника и весьма сдержанно отзывался о поэзии Бенедиктова и Кольцова.

²³ В. П. Красногорский высказал предположение, что подпись под «Письмом к издателю» восходит к пушкинскому диалогу «<Разговор о критике>» (1830), где собеседники, обсуждающие проблемы современной журналистики, были условно обозначены первыми буквами алфавита, правда не русского, а латинского: «А» и «В». По мнению исследователя, «естественно было соединить оба условные инициала в инициалы одного, писавшего тоже о журналах» (*Красногорский В. П.* Новая статья Пушкина. С. 113). Тверь в помете под текстом служит знаком типичного города русской провинции, обитателям которой во многом и была адресована «Библиотека для чтения». См., например, в напечатанном в 1833 г. в «Северной пчеле» «Письме к издателю», автор которого ратовал за «Библиотеку для чтения» и объявлял подписку

на нее делом национальной чести: «Литературная образованность обширного нашего отечества еще несколько похожа на Сибирь: есть места хорошо возделанные, и — между ними огромные пустыни. Я живу в одной из сих литературных пустынь, в губернском городе между Петербургом и Москвою. У нас нет словесности, и мы не имеем на оную притязаний; но считаем в нашем кругу несколько десятков ее любителей, и я пишу к вам от их имени» (СПч. 1833. № 244, 27 октября; подпись: «Читатель русских журналов. Тверь, 15 октября, 1833») (подробнее см.: *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. С. 390–391).

А. С. ПУШКИН

«Издатель „Современника“
не печатал никакой программы своего журнала...»

Совр. 1836. Т. 3. С. 330–331. Без подписи. Напечатано в отделе объявлений «От редакции» в конце тома.

Заметка Пушкина явилась ответом на статьи О. И. Сенковского «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67–70; наст. изд., с. 121) и Ф. В. Булгарина «Мнение о литературном журнале „Современник“, издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным, на 1836 год» (СПч. 1836. № 127–129, 6, 8 и 9 июня; наст. изд., с. 149).

Н. И. ГРЕЧ

«В вышедшей на сих днях
третьей книжке „Современника“...»

СПч. 1836. № 236, 15 октября. Без подписи.

Заметка является первым откликом в печати на публикацию в третьем томе «Современника» стихотворения Пушкина «Полководец». Первые свои впечатления Греч изложил Пушкину в письме от 12 октября 1836 г., буквально сразу же после выхода журнала: «Прочитав в 3-й книжке „Современника“ стихотворение ваше „Полководец“, не могу удержаться от излияния пред вами от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету, что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели, возносящегося светлым ликом и чистою душою над туманами предрассудков, поверий и страстей, в которых коснеет пресмыкающаяся долу прозаическая чернь. Честь вам, слава и благодарение! Вы нашли истинное, действительное, единственное назначение поэзии!» (XVI, 163). Это письмо Греча дает все основания считать его автором заметки в «Пчеле» (см.: Вацуро, Гилельсон. С. 320; *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996. С. 22–24). На следующий день, 13 октября, Пушкин отвечал Гречу и «искренне» благодарил его «за доброе слово» о «Полководце», заметив, что «стойческое лицо Баркляя есть одно из замечательнейших в нашей истории». «Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, — писал Пушкин, — но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения» (XVI, 164).

Стихотворение «Полководец», написанное в апреле 1835 г., появилось в печати накануне двадцатипятилетнего юбилея Отечественной войны 1812 г., в период переосмысления ее событий, когда роль главных участников — М. Б. Баркляя де Толли и М. И. Голенищева-Кутузова — вновь стала предметом широкого обсуждения. М. Б. Барклай де Толли (1757 или 1761–1818) в марте 1812 г. был назначен командующим 1-й Западной армией, а в июле–августе осуществлял общее руководство всеми действующими русскими армиями. Мало кому было известно, что, будучи военным министром, Барклай составил в 1810–1812 гг. несколько планов ведения бое-

вых действий (как наступательных, так и оборонительных) на случай вторжения войск Наполеона I в Россию. Концепция отступательной войны с изматыванием армии противника и одновременными активными действиями в тылу и на флангах была одобрена императором как единственно возможная, ввиду явного численного превосходства неприятеля. Однако тактика отступления в глубь страны летом 1812 г., которой неукоснительно придерживался Барклай, вызвала недовольство и в военной среде, и в обществе, в полной мере проявившееся после сдачи Смоленска. Барклай обвиняли в нерешительности и даже в измене. Александр I, сам начавший сомневаться в избранной отступательной стратегии и глубоко переживавший сдачу Смоленска, вынужден был уступить давлению оппозиции и назначить 8 августа 1812 г. главнокомандующим соединенных армий князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского (1747–1813). В дальнейшем Барклай еще раз доказал преданность России: он принимал участие в решающих сражениях, в том числе и в Бородинском, где явно искал смерти (под ним убиты четыре лошади и погибли два его адъютанта), а на военном совете в Филях не побоялся предложить наиболее верное, но непопулярное решение — с целью сохранения армии оставить неприятелю Москву. Кутузов продолжил отступление, по существу, следуя плану Барклая. В кампании 1813–1814 гг. Барклай командовал объединенными русско-прусскими войсками, завершив войну взятием Парижа 19 марта 1814 г.

Интерес Пушкина к Отечественной войне 1812 г. не ослабевал на протяжении всей его жизни. С течением времени, по-видимому, менялось и отношение поэта к Барклаю де Толли. В юности, как и большинство современников, Пушкин относился к полководцу с неприязнью. Еще в декабре 1825 г. он положительно отзывался о «вражде» цесаревича Константина Павловича «с немцем Барклаем» (см. письмо П. А. Катенину от 4 декабря 1825 г. — XIII, 247), но уже в 1830 г., размышляя о причинах поражения Наполеона в так называемой «десятой», сожженной, главе «Евгения Онегина», называл не только зиму и «русского Бога», но и Барклая (VI, 522). Личность Барклая де Толли занимала поэта при этом не только в историческом плане. Пушкина привлекал образ непонятого и недооцененного полководца; возможно, он невольно проецировал трагическую судьбу талантливого военачальника на собственное положение в обществе. «...„Полководец“ имел и другой, глубоко скрытый и очень личный смысл, отзываясь на переживания самого поэта, — отмечает Н. В. Измайлов. — Этим другим, субъективным смыслом стихотворение входило в ряд лирических медитаций, написанных преимущественно в 30-е годы, начиная с „Ответа анониму“ (1830), „Эхо“ (1831) и других, где ставилась тема, глубоко и постоянно волновавшая Пушкина, об отношении поэта, а в более общем смысле — выдающейся мыслящей личности к окружающему его обществу, о месте этой личности в историческом процессе, о непонимании обществом ее значения и роли — будь это полководец, поэт, политический деятель, как Радищев, или непризнанный пророк, изображенный в „Страннике“, т. е. всякий одинокий борец против тяготящих его общественных условий» (Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 238–239).

Стихотворение «Полководец» было воспринято по-разному. Вслед за Н. И. Гречем восторженно отозвался о нем А. И. Тургенев: «„Барклай“ — прелесть!» (письмо П. А. Вяземскому от 18 октября 1836 г. — ОА. Т. 3. С. 334). Н. В. Гоголь, сообщая 25 января 1837 г. Н. Я. Прокоповичу о литературных новостях, писал: «Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы „Полководец“ и „Капитанская дочь“. Видна ли была где-нибудь такая прелесть!» (Гоголь. Т. 11. С. 85). См. также более поздний положительный отзыв В. Г. Белинского — МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 158; наст. изд., с. 253. Первым, кто отнесся к «Полководцу» с подозрением, оказался цензор А. Л. Крылов. 24 августа 1836 г. председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков сообщил в Главное управление цензуры, что «в числе статей, поступивших на рассмотрение цензуры для периодического издания „Современник“, стихотворение под заглавием: „Полководец“ заключает в себе некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 1812 году, Барклае де Толли, выраженные в таком виде, что Комитет почел себя не в праве допустить их к напечатанию без разрешения высшего начальства» (Переселенков С. А. Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину // ПиС. СПб., 1908. Вып. 6. С. 7). Однако обычно не упускавший по-

вода к цензурным притеснениям Пушкина С. С. Уваров предписанием от 24 августа, не найдя каких-либо «препятствий», позволил «напечатать оное в означенном повременном издании» (Там же).

Но главным оппонентом пушкинского «Полководца» стал Л. И. Голенищев-Кутузов. Посчитав, что пушкинское стихотворение бросило тень на заслуги его родственника, М. И. Кутузова, он издал специальную брошюру, в которой указал поэту на ряд ошибок и упрекнул его в отступлении от исторической истины (см.: наст. изд., с. 189). Пушкин вынужден был выступить с «Объяснением» в четвертом томе «Современника» (1836. Т. 4. С. 295–298; наст. изд., с. 195). Дальнейшее развитие полемика получила в статье Ф. В. Булгарина «Правда о 1812-м годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников» (СПч. 1837. № 7, 11 января; наст. изд., с. 199).

Ф. В. БУЛГАРИН

МОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ПО МЕТОДЕ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ

СПч. 1836. № 255, 6 ноября; № 256, 7 ноября.

Фельетон Булгарина явился ответом на напечатанное в третьем томе «Современника» «Письмо к издателю» А. Б. Судя по этой статье, у Булгарина не было сомнений, что под маской тверского критика А. Б. скрывается сам издатель «Современника».

¹ *Батырщик* — типографский рабочий, делающий оттиск с набора. *Словолитчик* — рабочий словолитейного производства (отливка из металла типографских букв и знаков).

² Булгарин имеет в виду свою статью «Мнение о литературном журнале «Современник», издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным, на 1836 год» (СПч. 1836. № 127, 6 июня; № 128, 8 июня; № 129, 9 июня; наст. изд., с. 149).

³ Дата под «Письмом к издателю» — 23 апреля.

⁴ См.: наст. изд., с. 181.

⁵ См.: наст. изд., с. 180 и примеч. 7 на с. 487–488.

⁶ Цитируются эпиграммы Д. В. Давыдова, напечатанные в «Современнике» без имени автора (первая с подписью: Н.; вторая без подписи).

⁷ Имеется в виду пушкинский отзыв о втором издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Пушкин писал: «Он издал „Арабески“, где находится его „Невский проспект“, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился „Миргород“, где с жадностью все прочли и „Старосветских помещиков“, эту шутивную, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и „Тараса Бульбу“, коего начало достойно Вальтер-Скотта» (Совр. 1836. Т. 1. С. 312; XII, 27).

⁸ *Теньер* — Давид Тенирс-младший (Teniers; 1610–1690), фламандский живописец, мастер бытового жанра, имя которого было общепотребительным для обозначения художника, обращающегося к низким сюжетам.

⁹ См.: наст. изд., с. 179.

¹⁰ Псалом 136.

¹¹ Имеется в виду отзыв в «Литературной летописи» «Библиотеки для чтения» (1836. Т. 17, № 8. Отд. VI. С. 44–45) на брошюру Н. И. Надеждина «Для господина Шевырева. Пояснения критических замечаний на его „Историю поэзии“. Статья I» (М., 1836), в котором Сенковский на двух страницах изощрялся в пародийном искажении названия журнала «Московский наблюдатель» — «Московский надзиратель», «Соглядагай», «Назидатель», «Надиратель», «Набиратель».

¹² Имеется в виду заметка из отдела «Смесь» «Московского наблюдателя» (Март, кн. 1), извещавшая о выходе в Париже второго тома записок художницы М.-Э.-Л. Виге-Лебрен (Vigée Le Brun; 1755–1842). «В Неаполе Лебрен написала портрет леди Гамильтон, — говорилось там. — Она рассказывает чудную судьбу этой женщины, которая, родившись служанкою, была поочередно нянькою, горничною, моделью для живописцев, любовницею корабельного капитана, женщиною с позор-

ным именем, наконец, леди Гамильтон, любимицею Нельсона и нищею в Кале до смерти своей в 1815 году».

¹³ Имеется в виду примечание издателя к «Письму к издателю» А. Б. (см.: наст. изд., с. 182).

¹⁴ Речь идет о статье Пушкина «Об «Истории Пугачевского бунта». (Разбор статьи, напечатанной в „Сыне отечества“, в январе 1835 года)» (см.: наст. изд., с. 168).

¹⁵ Булгарин искажает факты: № 3 журнала «Сын отечества и Северный архив» с разбором Броневского вышел в свет 19 января 1835 г.; рецензия Е. Ф. Розена в «Северной пчеле» (№ 38) появилась месяц спустя, 18 февраля.

¹⁶ Статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», напечатанная в третьем томе «Современника» (с. 94–106) без подписи.

Л. И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

«Сообщая мнение свое о произведениях поэзии...»

Брошюра издана как приложение-вкладыш к газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1836. № 256, 8 ноября). Под текстом: «Печать позволяется. С<анкт>-П<етер>бург. 3 ноября 1836 года. Цензор П. Гаевский. Печатано в типографии Императорской Российской Академии. 1836 г.» Без заглавия; в литературе иногда используется условное название «<Критика на статью „Полководец“, помещенную в 3-м номере журнала „Современник“>», которое взято из Реестра рукописей Санкт-Петербургского цензурного комитета. Долгое время брошюра была неизвестна. Текст ее напечатал П. А. Ефремов (*Пушкин А. С. Соч. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1905. Т. 8. С. 361–367*) по экземпляру, полученному от книгопродавца Н. Г. Мартынова во время подготовки пушкинского собрания сочинений, который не сохранился. В середине 1960-х гг. Л. А. Черейский обнаружил два экземпляра брошюры в фондах Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) (см.: *Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец» // Врем. ПК 1963. М.; Л., 1966. С. 56–58*). Позднее еще один экземпляр был им подарен в библиотеку Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Логгин Иванович Голенищев-Кутузов (1769–1846), флота генерал-казначей, член адмиралтейств-коллегии, председатель ученого комитета Морского министерства, член Российской Академии; автор нескольких исторических и научных сочинений («Предприятия императрицы Екатерины II для путешествия вокруг света в 1786 году» (СПб., 1840), «О морском кадетском корпусе» (СПб., 1840) и др.); переводил с английского и французского языков путешествия, сочинения по морской тематике и литературные произведения (см., например, его перевод комедии Ж.-П. Флориана (Florian; 1755–1794) «Добрый отец» (СПб., 1790)). См. о нем: Словарь русских писателей XVIII в. Л., 1988. Вып. 1. С. 203–204 (статья М. П. Лепехина); библиографию его сочинений см. также: *Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина // П. Врем. М.; Л., 1939. [Т.] 4–5. С. 150–151*). Придерживался консервативных взглядов; в начале XIX в. был тесно связан с Г. Р. Державиным, Д. И. Хвостовым, А. С. Шишковым, П. И. Багратионом и др.

Поводом для написания брошюры послужила публикация в «Современнике» (1836. Т. 3. С. 192–194) пушкинского стихотворения «Полководец» (1835), посвященного одному из главных участников Отечественной войны 1812 г. М. Б. Барклаю де Толли (о «Полководце» и реакции на его публикацию подробнее см.: наст. изд., с. 491–493). Л. И. Голенищев-Кутузов воспринял стихотворение как умаление заслуг полководца М. И. Голенищева-Кутузова, которому он приходился племянником. Заметка Н. И. Греча в «Северной пчеле» с хвалебным отзывом о «Полководце» (1836. № 236, 15 октября; наст. изд., с. 183) окончательно убедила его в решении выступить в защиту Кутузова.

Более откровенно свои намерения Л. И. Голенищев-Кутузов изложил в дневнике 1 ноября: «Пушкин написал стихотворение, которое напечатал в своем „Современни-

ке“ к портрету Барклая, находящемуся в военной галерее, и высказал между прочим, что это он спас Россию, что русские были неблагодарны и не поняли этого.

Народ таинственно спасаемый тобою

и затем

Безмолвно уступил ты лавровый венок
и власть

Это начинает разочаровывать в дорогом дядюшке: чтобы скорее распространить это прекрасное стихотворение, <Пушкин> перепечатал его в „Северной пчеле“. Я должен покончить разом. У меня есть тоже кое-какие замечания, которые я напечатал и в которых я выставлю несообразность Пушкина, тем более поразительную, что в отношении других стихов он делал примечания по поводу бессмыслиц, которые говорил.

Надеюсь, что я сделаю это достаточно хорошо, чтоб быть довольным или, иначе говоря, чтобы быть довольным своим произведением» (*Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б.* «Полководец» Пушкина. С. 153–154; оригинал по-франц.).

3 ноября Л. И. Голенищев-Кутузов передал рукопись в Цензурный комитет, в тот же день при содействии С. С. Уварова получил одобрение цензора В. П. Гаевского, а 5 ноября брошюра была отпечатана. «Не только цензор, но и их главный начальник Уваров был в восхищении от моих трех страниц, — писал он в дневнике. — Они дали свое разрешение сегодня утром, сейчас их печатают. Завтра будет готово, не меньше чем в количестве 3400 экземпляров, потому что у „Северной пчелы“ это число подписчиков, и я отошлю эти экземпляры Гречу, чтоб он разослал их вместе со своим листком» (Там же. С. 154; оригинал по-франц.). Однако по каким-то причинам брошюра не была отдана издателем «Северной пчелы» (возможно, Греч, относившийся к «сторонникам» Барклая, отказал Голенищеву-Кутузову), а вышла как приложение к «Санкт-Петербургским ведомостям». Спустя два месяца Ф. В. Булгарин иронично назвал ее «листком, приложенным ко всем газетам 1836 года, в котором вооружаются против поэта» и «утверждают, что не Барклай де Толли, а Кутузов спас Россию» (СПЧ. 1837. №7, 11 января; наст. изд., с. 201).

Автор брошюры остался доволен собой и своим «произведением». Сообщая о том, что его «замечания Пушкину все время являются предметом разговора общества», Голенищев-Кутузов признавался: «...это мне доставляет удовольствие, потому что, кажется, некоторые уже считали меня умершим, умирающим, т. е. совершенно глупцом и ничтожеством, и вот, благодаря вымыслу Пушкина, меня снова считают в числе живых» (Там же. С. 158; оригинал по-франц.).

Адресованные поэту замечания, несмотря на внешне корректный тон, имели явную идеологическую направленность. Л. И. Голенищев-Кутузов, не принимая во внимание поэтические обобщения пушкинского стихотворения, напомнил о том, что все заслуги Барклая официально признаны, затронув проблему «русских лифляндцев» и их заслуг перед Россией, отметил, что в своих мнениях о событиях 1812 г. Пушкин расходится с книгой Д. П. Бутурлина, которая получила «высочайшее одобрение» «покойного государя» (подробнее см.: Вацуро, Гиллельсон. С. 322–323; *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996. С. 25–34).

Ознакомившись с брошюрой, Пушкин вынужден был выступить с объяснением своей позиции в следующем томе «Современника» (1836. Т. 4. С. 295–298; наст. изд., с. 195–196).

¹ Логгин Иванович был вторым сыном Екатерининского адмирала Ивана Логгинича Голенищева-Кутузова (1729–1802), президента Государственной Адмиралтейской коллегии, более сорока лет возглавлявшего Морской корпус.

² Неточная цитата из поэмы «Руслан и Людмила» (1817–1820). У Пушкина: «А девушке в семнадцать лет / Какая шапка не пристанет!».

³ Имеется в виду стихотворение «Бородинская годовщина» (1831).

⁴ Стихотворение «Полководец» создано под впечатлением посещения поэтом портретной галереи участников Отечественной войны 1812 г. в Зимнем дворце и начинается ее описанием.

⁵ Этот стих Пушкина вызвал недоуменную реакцию не только у автора брошюры. Так, участник Отечественной войны П. Х. Граббе (1789–1875), один из почитателей пушкинского таланта, писал: «Пробуждением Пушкина были в нынешнем году стихи „Полководец“, в которых он отыскался весь, со всем своим высоким дарованием. Стихи превосходные, несмотря на несправедливую строку: „Все в жертву ты принес земле тебе чужой“, несправедливую против Баркляя де Толли и всех его соотчичей, купивших усердием и кровию в продолжение слишком столетия полное право называться русскими» (*Граббе П. Х. Из памятных записок. М., 1873. С. 10–11*). Ср. также более позднее высказывание Н. И. Греча: «Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузинец Багратион? Скажете: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Святого Духа!» (*Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1930. С. 353*).

⁶ См. по этому поводу замечание А. Г. Тартаковского: «Умышленно или по невольности, но престарелый адмирал коснулся материи более чем деликатной: все прекрасно знали, что на правительственных и дипломатических должностях, в верхах военной бюрократии, в придворном окружении Николая I было немало этих самых „других лифляндец“ — выходцев из остзейского дворянства, и, давая понять, что поэт лишает их права называться русскими, Голенищев-Кутузов придавал своей критике явно доносительный, опасный для Пушкина оттенок» (*Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай. С. 28*). Спор Л. И. Голенищевой-Кутузова с Пушкиным получил неожиданное продолжение. В 1839 г. в «Северной пчеле» Н. И. Греч начал печатать воспоминания, относящиеся к 1812–1814 гг., где упрекнул уроженцев немецких провинций в том, что им был чужд патриотический и монархический дух. Возражения последовали из III Отделения, потребовавшего опубликовать анонимное опровержение, автор которого указывал, что остзейцы 150 лет служат в русской службе «в высших должностях» на разных поприщах и «теперь отличаются преданностью престолу. <...> Любя же русского монарха, нельзя не любить России, ибо в нашем понятии государь и Россия одно нераздельное...» (см.: Вацуро, Гиллельсон. С. 326.).

⁷ Виктор Амадей принц Ангальт-Бернбург-Шаумбургский (1744–1790), генерал; в 1772 г. вступил в русскую службу. Во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. при осаде Пардакоски на территории Финляндии был смертельно ранен и через несколько часов скончался. Умирая, он передал своему адъютанту, Барклаю де Толли, шпагу, с которой никогда не расставался.

⁸ Карл Генрих Николай Оттон Нассау-Зиген (Nassau-Siegen; 1745–1808), принц, русский адмирал, активно участвовал в войне против шведов в 1789 и 1790 гг., одержав несколько побед. В конце июня 1790 г. потерпел поражение при Севенсзунде: шведский гребной флот во главе с королем, был заперт в Выборгском заливе на Роченсальмском рейде, но пошел в атаку, прорвался сквозь русскую линию и потопил и захватил более 50 русских судов. Эта неудача заставила принца Нассау оставить русскую службу.

⁹ Во время русско-шведской войны трое братьев Адеркасов погибли: Отто (19 июля 1788 г. после Гогландского сражения), Вильгельм (15 июля 1789 г. — в Эландском сражении) и Карл (13 августа — в Роченсальмском сражении). В 1790 г., «за заслуги братьев, живот свой положивших», Иван Богданович Адеркас был произведен в капитан-лейтенанты (см.: Общий морской список. СПб., 1890. Ч. 3: Царствование Екатерины II. А–К. С. 18–19).

¹⁰ Речь идет о русско-турецкой войне 1787–1791 гг., русско-пруско-французской войне 1806–1807 гг. и русско-турецкой войне 1806–1812 гг.

¹¹ Имеется в виду статья С. А. Маркевича «Барклай де Толли» в «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плюшара. В статье были высоко оценены заслуги Баркляя: «Его правота и беспристрастие к подчиненным приобрели ему любовь всей армии, а услуги, оказанные им отечеству, делают память его священной для каждого россиянина. Но несправедливость современников часто бывает уделом людей великих: немногие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай де Толли. В тяжком 1812 году, когда он, следуя искусно соображенному плану, отступал без потери перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им верную гибель, многие, весьма многие, не понимая цели его действий, обвиняли его в бедствиях отечества!» (СПб., 1835. Т. 4. С. 359).

М. Б. Барклай де Толли происходил из древнего шотландского рода (Barclay of Tolly) с норманнскими корнями. Его предок Питер Барклай де Толли (1600–1674) в середине XVII в., после подавления Кромвелем сторонников короля Карла Стюарта в Шотландии, переселился в Ригу. Дед Михаила Богдановича Вильгельм был бургомистром Риги. Отец будущего полководца, Вейнгольд Готтард Барклай де Толли (1734–1781; в российских источниках также указывается принятое им славянское имя Богдан), вышел в отставку поручиком российской армии, получив российское дворянство.

¹² В статье «Барклай де Толли и Кутузов» в «Живописном обозрении» Н. А. Полевой перечислил награды Барклая: «Александр и августейшие его союзники уже вполне оценили тогда его дарования и подвиги. Ордена: Александра Невского с алмазами, Андрея Первозванного, Георгия 1-й степени, Марии Терезии, Черного Орла, Почетного Легиона, Английский Бани, Нидерландский Вильгельма, Шведский Меча, Саксонский Генриха, Французский Людовика, шпага с брильянтами, шпага от города Лондона, чин генерал-фельдмаршала, звание графа и потом князя — были наградою Барклая де Толли» (Живописное обозрение. 1837. Т. 2, ч. 2. Л. 47. С. 374–375). Торжественное открытие памятников Кутузову и Барклаю (скульптор Б. И. Орловский, архитектор В. П. Стасов) перед Казанским собором в Петербурге состоялось 25 декабря 1837 г.

¹³ Дж. Доу (Dawe; 1781–1829) использовал для портрета Барклая де Толли гравиюру К. А. Зенфа, поскольку из-за смерти полководца не имел возможности писать его с натуры (подробнее см.: Кока Г. М. Пушкин о полководцах двенадцатого года // Прометей. М., 1969. Т. 7. С. 29–33; Петрунина Н. Н. «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 280–283).

¹⁴ Возможно, Пушкин ориентировался на воспоминания Д. В. Давыдова, который в «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского» (1832) характеризовал Барклая как человека «холодного, хотя всегда величавого и редко слезавшего с коня, но вместе с тем вечно угрюмого, молчаливого, не умевшего сказать ласкового и приветливого слова» (Давыдов Д. В. Соч. СПб., 1893. Т. 3. С. 111). Напротив, Ф. Н. Глинка в «Письмах русского офицера» писал о нем: «Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на сего необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля; вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? — Для чего уступают области? И чем наконец все это решится? Но лишь только взглядываю на лице сего Вождя сил российских и вижу его спокойный, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений» (Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год: В 5 ч. М., 1870. Ч. 1. С. 14; 1-е изд.: М., 1815).

¹⁵ Пушкин, по-видимому, имел в виду «тайный» план ведения военных действий, разработанный Барклаем де Толли еще до вторжения Наполеона в Россию: отступление русской армии в глубь страны из-за численного превосходства противника, изматывание его, а затем нанесение решительного удара (об этом см. также в разговоре между героями «Рославлева») (1831): «Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. Но вы, спросила его Полина, разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора — <...> Синекур признался, что устремление фр<анцузских> войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. Кончен! возразила Полина, а Наполеон все еще идет вперед <?> а мы все еще отступаем! Тем хуже для нас, отвечал Синекур, и заговорил о другом предмете» — VIII, 156). Об этом писал и Вальтер Скотт в «Жизни Наполеона» (The life of Napoleon Buonaparte, Emperor of the French... by the author of «Waverley»: In 9 vol. Edinburgh, 1827; Vie de Napoléon Buonaparte, par Sir Walter Scott... Т. 1–17. Paris, 1827), пользовавшейся большой популярностью в России: «Барклай де Толли, коего Александр сделал своим главнокомандующим, немец родом и шотландец происхождением, начертал и представил царю, у которого находился в большой милости, план, как обмануть Наполеона, основываясь на его же способе войны. Он предложил, чтобы русские оказа-

ли сначала на своих границах лишь столько сопротивления, чтобы заставить неприятеля идти медленно и с осторожностью; чтобы они старались всеми средствами тревожить его сообщения и расстроить его путь действий, но притом тщательно избегая всякого общего дела. На этом основании предполагалось отступать пред неприятелем, уклоняясь от всякого с ним боя, кроме мелких стычек, и то лишь в таком случае, если оные будут выгодны, до тех пор, пока пути действий французской армии растянутся на большое пространство, так, что их можно будет отрезать даже ополченными поселениями. Между тем как французы почувствуют чрез это недостаток в продовольствии и лишатся присылки рекрут и пособий, Россия подкрепит и усилит свою армию. Итак, цель сего плана кампании состояла в том, чтобы не драться с французами до тех пор, пока дурные дороги, недостаток припасов, трудные переходы, болезни и потери в стычках лишат вторгнувшуюся армию всех выгод, которые она вначале имела числом своим, храбростью и устройством» (*Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарте, императора французов: В 14 ч. / Пер. с англ. С. де Шаплет. СПб., 1832. Ч. 9. С. 301–303; см. также: Гартковский А. Г. Неразгаданный Барклай. С. 66–79*). Статья К. А. Полевого «Взгляд на историю Наполеона» (рецензия на книгу Вальтера Скотта), в которой он назвал Барклая «мудрым, великим полководцем» и «хранителем России» (МТ. 1833. Ч. 51, № 9. С. 139), едва не послужила поводом для закрытия «Московского телеграфа».

¹⁶ Речь идет о книге Д. П. Бутурлина «Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812» (Paris; SPb., 1823–1824. Vol. 1–2), которая одновременно выходила на русском языке — «История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году» (СПб., 1823–1824. Ч. 1–2; 2-е изд. СПб., 1837–1838). В своем сочинении Бутурлин, в частности, писал: «Муж, после императора Александра наиболее заслуживший признательность Отечества, без всякого противуречия есть фельдмаршал князь Голенищев-Кутузов. Глубокой и постоянной мудрости его поступков Россия обязана скорым избавлением своим. По несчастию, даже между нами есть люди столь преубежденные, что хотят лишить память его справедливой благодарности признательного Отечества; но усилия их останутся тщетными. <...> Зависть и другие столь же низкие страсти могут на время помрачить славу Кутузова; но бессмертие уже началось для имени его, и потомство, не столь пристрастное, как современники, не откажет дать ему место за услуги, оказанные Отечеству, возле Пожарского, а за военные дарования — возле Суворова» (*Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. СПб., 1824. Ч. 2. С. 345–346*).

¹⁷ Об ошибках Наполеона см., например, у В. Скотта: «Отличительною и замечательною чертою в Наполеоне было то, что, однажды утвердясь в своем мнении, он видел уже всякую вещь так, как он желал ее видеть <...>. Он уверил себя, что победить армию и овладеть столицею, при содействии его личного влияния, было все, что нужно для приобретения торжественного мира. <...> Для сего он делал такие ускоренные, тяжкие походы и потерял в Литве столько людей и лошадей, которых малейшее соблюдение обыкновенных правил спасло бы от погибели. Для сего, когда собственное его и советников благоразумие внушало ему остановиться в Витебске или в Смоленске, он спешил вперед к битвам и к овладению столицею, ласкаясь надеждою предписать там мир. <...> Кровавопрлитнейшее нашего воинственного века Бородинское сражение было выиграно — Москва взята, — но он совершенно ошибся в своем расчете о последствиях, которые сии события произвели на русских и на их императора» (*Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарте, императора французов. СПб., 1832. Ч. 10. С. 176–177*).

¹⁸ Л. И. Голенищеву-Кутузову могли быть известны, например, следующие стихотворения, посвященные полководцу: «Вождю победителей» (1812) В. А. Жуковского, «Песнь великому вождю героев» (1812) Ф. Ф. Иванова, «Стихи на изгнание неприятеля из России, посвященные его светлости князю Михаилу Ларионовичу Голенищеву-Кутузову-Смоленскому» (1813) Д. П. Горчакова, «На кончину генерала фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского» («О вестъ плачевная! Отечества спаситель...», 1813) А. Е. Измайлова, «На смерть князя Голенищева-Кутузова Смоленского» (1813) Н. Ф. Грамматина, три эпитафии (1813) Н. Ф. Эмина (текст одной из них: «Прочь зависть! Здесь покоится прах Героя Севера, Спасителя Отечества; Здесь лежит князь Кутузов Смоленский»), «Гробница Кутузова» (1831) Д. Ю. Струйского (Трилунного) и др. Из прозаических произведе-

ний см., например, сочинение Ф. Синельникова «Жизнь, военные и политические деяния его светлости генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского, с достоверным описанием частной или домашней его жизни от самого рождения до славной его кончины и погребения, и с присовокуплением анекдотов, где виден дух сего великого мужа и спасителя Отечества, с верным и сходственным его портретом, с картинами и планами сражений» (СПб., 1813–1814. Ч. 1–6); «Похвальное слово светлейшему князю Кутузову» (1823) В. И. Панаева и др.

¹⁹ Автор брошюры с некоторыми неточностями и купюрами процитировал «Донесение князя Кутузова государю императору о причинах, побудивших попустить неприятеля в Москву» (см.: *Синельников Ф. Жизнь, военные и политические деяния его светлости генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского...* СПб., 1813. Ч. 3. С. 56–57).

²⁰ Ср.: «По принятии главного начальства над российскими армиями князь Кутузов ровно в *восемь месяцев* сокрушил приведенные Наполеоном в Россию бесчисленные вражеские силы и с берегов Оки привел среди побед вверенных начальству его воинов на берега Эльбы. Он положил основание восстановления независимости и свободы Европы. Он опочил на лаврах, которые никогда не увянут» (*Синельников Ф. Жизнь, военные и политические деяния его светлости генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского...* СПб., 1814. Ч. 5. С. 158).

²¹ Барклай де Толли в 1813–1814 гг. командовал объединенными русско-прусскими войсками. За взятие Парижа 19 марта 1814 г. получил чин генерал-фельдмаршала.

²² См. запись в дневнике Л. И. Голенищева-Кутузова о смерти Пушкина: «Пятница 29. Большое событие и большая потеря для российского Парнаса. — Пушкин стрелялся вчера с Дантесом, мужем свояченицы, был ранен смертельно и сегодня скончался. <...> Это потеря для нашей (русской) литературы. Он <Дантес> мог выстрелить в воздух, видя на своей совести призрак опасности для прекрасной поэзии» (*Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина. С. 160–161; оригинал по-франц.*).

В. М. СТРОЕВ

СОЧИНЕНИЯ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА

СПч. 1836. № 291, 19 декабря. Подпись: В. В. В.

¹ Намек на издания пушкинского круга — «Московский вестник» и «Литературную газету».

² На литературные доходы Булгарин купил имение Карлово под Дерптом. Строев обыгрывает звучавшие в журнальных полемиках обвинения в меркантилизме, метившие, в частности, и в Булгарина. См., например, в статье С. П. Шевырева «Словесность и торговля»: «На журналы я смотрю как на капиталистов. „Библиотека для чтения“ имеет для меня пять тысяч душ подписчиков. „Северная пчела“, может быть, вдвое. Замечательно, что эти журналы еще в том сходятся с богачами, что любят хвастаться всенародно своим богатством. — И эти души подписчиков гораздо вернее, чем твои оброчные: за ними никогда нет недоимки; они платят вперед, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнации. <...> Одним словом, литература наша сыта, дает обеды, живет в чертогах, ходит по коврам, ездит в каретах, в лаковых санях, кушается в медвежью шубу, в бекешь с бобровым воротником, возвышает голос на аукционах Опекунского совета, покупает имения!» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 8–9). В. Г. Белинский, возражая в принципе Шевыреву в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“», тоже считал Булгарина в числе «двух или трех романистов», «которые обеспечили на всю жизнь свое состояние своими первыми романами» (Телескоп. 1835. Ч. 32, № 5. С. 129).

³ «Не поздоровится от этаких похвал» — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 3, явл. 10).

⁴ На самом деле Строев перефразирует слова Сенковского из заметки «Вообще нет ничего нового в политическом свете...», которой «Библиотека для чтения» упреждала появление первого тома журнала «Современник» (см.: БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 69; наст. изд., с. 122).

⁵ Речь идет о пушкинском «Письме к издателю», напечатанном за подписью: А. Б. (см.: Совр. 1836. Т. 3. С. 327; наст. изд., с. 181).

А. С. ПУШКИН

ОБЪЯСНЕНИЕ

Современник. 1836. Т. 4 (выход в свет 23 декабря — билет на выпуск номера из типографии подписан 22 декабря, см.: *Фокин Н. И.* К истории создания «Капитанской дочки» А. С. Пушкина // Уч. зап. Уральского пед. ин-та. Уральск, 1957. Т. 4, вып. 3. С. 124). С. 295–298.

Ответ Пушкина на брошюру Л. И. Голенищева-Кутузова, изданную без заглавия как приложение-вкладыш к газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1836. № 256, 8 ноября; наст. изд., с. 189). О готовящейся публикации Л. И. Голенищева-Кутузова по поводу стихотворения «Полководец» Пушкин узнал еще до ее выхода в свет. Несмотря на свидетельства автора брошюры о том, что его кузина Е. М. Хитрово, дочь Кутузова, была «крайне раздражена стихами, которые Пушкин написал к портрету Барклая, отметив его замысел спасения России своими пресловутыми маневрами в 1812 году» (*Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б.* «Полководец» Пушкина // П. Врем. М.; Л., 1939. [Т.] 4–5. С. 151–152; оригинал по-франц.), именно она сообщила об этом поэту. 4 ноября 1836 г. Е. М. Хитрово писала: «Я только что узнала, что цензурой пропущена статья, направленная против вашего стихотворения, дорогой друг. Особа, написавшая ее, *разъярена на меня* и ни за что не хотела *показать* ее, ни *взять ее обратно*. Меня не перестают терзать за вашу элегию — я настоящая мученица, дорогой Пушкин; но я вас люблю за это еще больше и верю в ваше восхищение нашим героем и в вашу симпатию ко мне!» (XVI, 180, 394; оригинал по-франц.).

Отвечая Л. И. Голенищеву-Кутузову, поэт подчеркнул, что не собирался противопоставлять полководцев. Для Пушкина в 1830-е гг. эти две исторические фигуры были равно великими. Противоречие в их восприятии заключалось, по мнению поэта, в ином: Кутузов получил всеобщее признание и любовь, а личность непонятого современниками Барклая и его роль в развитии событий Отечественной войны 1812 г. так и остались недооцененными. Тема «Барклай и Кутузов» еще раз возникла в творчестве Пушкина в стихотворении «Художнику» (1836), написанном после посещения мастерской скульптора Б. И. Орловского и осмотра моделей памятников полководцам. Здесь Пушкин лаконично определил роль каждого из них: «зачинатель» Барклай и «совершитель» Кутузов (III, 416).

С полемическим ответом по поводу пушкинского «Объяснения» выступил в «Северной пчеле» Булгарин, озвучивший официальную точку зрения на войну 1812 г.: «Кутузов останется навсегда великим мужем; величие Барклая также утвердится на прочном основании, но история назовет *спасителями России* Бога, царя и народ русский!» (СПч. 1837. № 7, 11 января; наст. изд., с. 203).

¹ Речь идет о пушкинском стихотворении «Полководец», опубликованном в «Современнике» (1836. Т. 3. С. 192–194).

² Остров Св. Елены — место последнего заключения Наполеона, умершего 5 мая 1821 г. Завершая книгу о Наполеоне, Вальтер Скотт писал: «...мы должны заметить, что он подвергся испытанию в двух крайностях, — в самом высоком могуществе и в самом неслыханном злополучии; и если он казался иногда тщеславным, имея в своем распоряжении войска половины земного шара, или слишком склонным к жалобам, будучи заключен в тесных пределах острова Св. Елены, то те, которые никогда не выходили из среднего состояния в жизни, не могут судить ни о силе искушений, пред коими он пал, ни о твердости духа, с коею он воспротивился тем, которые ему удалось преодолеть» (*Скотт В.* Жизнь Наполеона Бонапарте, императора французов: В 14 ч. / Пер. с англ. С. де Шаплет. СПб., 1832. Ч. 14. С. 180–181). См. также

стихотворение Пушкина «Наполеон» (1821), написанное под впечатлением известия о смерти французского императора.

³ Возможно, нарек на то, что противники «отступательной» тактики Барклая де Толли летом 1812 г., обвиняя полководца в измене, указывали на его «немецкое» происхождение (ср. у Пушкина в «Полководце»: «И в имени твоём звук чуждый не взлюбля...»). Лицейский приятель Пушкина М. А. Корф позднее писал: «Барклай <...> был в немилости у двора; генералы все ему завидовали, и, наконец, вся армия его ненавидела: печальное последствие нашего привычного предубеждения против всего, что носит иностранную фамилию» (РА. 1895. Т. 3, № 11. С. 349). Подробнее об этом см.: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996. С. 118–121.

⁴ Цитата из пушкинского стихотворения «Бородинская годовщина» (1831).

⁵ Пушкин имеет в виду период «затишья» (с 21 сентября по 5 октября 1812 г.) перед Тарутинским сражением (произошло 6 октября на реке Чернишня близ деревни Винково).

⁶ Существуют разные точки зрения по поводу отношения Пушкина к Кутузову. В беловом автографе «Полководца» (ПД 205) и в автографе из альбома великой княгини Елены Павловны, жены младшего брата Николая I (найден в 1969 г. И. Т. Трофимовым, см.: *Трофимов И. Т.* «Полководец» // Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 186–200), вместо отточий перед заключительной строкой (см.: Собр. 1836. Т. 3. С. 194) следует четверостишие, в котором более очевидно проявилось пушкинское отношение к Кутузову:

Вотще! Преемник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей; а ты, непризнанный, забытый,
Винovníк торжества, почил — и в смертный час
С презреньем, может быть, вспоминал о нас

(III, 379; текст в обоих автографах, за исключением двух уточнений, совпадает).

Ряд исследователей считают, что Пушкин не включил строки о Кутузове в публикацию «Современника», чтобы избежать противопоставления двух полководцев и не задеть дочерних чувств Е. М. Хитрово (*Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б.* «Полководец» Пушкина. С. 148–149; см. также: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай. С. 34–37). По мнению Ю. Н. Тынянова, пробел и отточия сделаны Пушкиным как своеобразный графический «эквивалент» текста по художественным соображениям (см.: *Тынянов Ю.* Проблема стихотворного языка. М., 1965. С. 49; также: *Петрунина Н. Н.* «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 283–301).

⁷ Среди современных исследователей нет единого мнения в вопросе, была ли необходимость реабилитировать имя Барклая в конце 1830-х гг. Так, Г. М. Кока считал, что «справедливая оценка действий Барклая, высказанная Пушкиным, уже сложилась в это время в исторической литературе и в этой части ничем не противоречила официальной историографии Отечественной войны» (*Кока Г. М.* Пушкин о полководцах двенадцатого года // Прометей. М., 1969. Т. 7. С. 23; см. также: *Петрунина Н. Н.* «Полководец». С. 279). Противоположной точки зрения придерживался В. В. Пугачев: «В оценке Барклая, народной войны, роли Александра I Пушкин явно расходился с официальной версией, полемизировал с официозными авторами, с теорией „официальной народности“, ставшей идеологическим фундаментом правительственной точки зрения на Отечественную войну» (*Пугачев В. В.* Пушкин и 1812 год: К столкновению «Полководца») // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли: К 85-летию Г. А. Гуковского: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1984. С. 174).

⁸ В среде военных после сдачи Смоленска и отказа Барклая от наступательных действий оппозицию ему составили — П. И. Багратион, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, М. И. Платов, И. В. Васильчиков и др. Особое место среди недоброжелателей полководца занимал великий князь Константин Павлович, который требовал решительных перемен в образе действия войны. В начале августа 1812 г. в присутствии генералов и штабных офицеров он оскорбил Барклая, назвав его «немцем», «изменником» и «подлецом», а на следующий день под благовидным предлогом был выслан полководцем из армии (подробнее см.: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай.

С. 79–100). Впоследствии некоторые из недоброжелателей Баркляя изменили к нему отношение. Так, например, Д. В. Давыдов, который во время войны 1812 г. тоже принадлежал к лагерю противников полководца, позднее вспоминал: «Ряд оскорблений, испытанных Баркляем после приезда князя Кутузова в армию, и всеобщие неосновательные клеветы в измене, коими его преследовали после отъезда из армии, имели огромное влияние на его характер. Глубоко огорченный всем тем, что он видел и слышал, Барклай искал смерти в Бородинском сражении; он в этом со слезами на глазах признался Ермолову. На знаменитом военном совете в Филях Барклай, в качестве военного министра отлично знакомый с материальными средствами России, указал на необходимость уступления Москвы без боя. По мнению Ермолова, все сказанное при этом случае этим славным, но злополучным мужем, заслуживает того, чтобы быть отпечатано золотыми буквами; весьма значительно то, что Барклай вовсе не упоминает в своих записках об этом обстоятельстве, приносящем ему величайшую честь и славу» (*Давыдов Д. В. Соч.: В 3 т. СПб., 1893. Т. 1. С. 138*).

⁹ Ср. отзыв Пушкина о Баркляе в письме к Н. И. Гречу от 13 октября 1836 г.: «...его характер останется вечно достоин удивления и поклонения» (XVI, 164). См. также воспоминания Д. В. Давыдова: «Барклай, испивший до дна чашу самых горьких, незаслуженных испытаний, в то самое время как деятельность его была посвящена благу России, для спасения которой он не раз жертвовал своею жизнью, есть в полном смысле слова та величественная личность, о которой наш незабвенный А. С. Пушкин сказал:

«Но чей высокий лик в грядущем поколень
Поэта приведет в восторг и умилень»

(*Давыдов Д. В. Соч. Т. 1. С. 139*).

¹⁰ 21 сентября 1812 г. Барклай де Толли был уволен из армии по личной просьбе. Однако в феврале 1813 г. он вернулся и был назначен командующим 3-й Западной армией, в мае (после смерти Кутузова) стал главнокомандующим русско-прусскими войсками, в марте 1814 г. за взятие Парижа получил чин генерал-фельдмаршала.

¹¹ В стихотворении «Певец во стане русских воинов» (1812), прославляя героев Отечественной войны, Жуковский не называет имени Баркляя де Толли (подробнее см.: *Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай. С. 192–193*). 25 декабря 1836 г. А. И. Тургенев сделал запись в дневнике о том, что «выговаривал» Пушкину «за словцо о Жуковском в четвертом № „Современника“ (Забыл Баркляя)» (П. в восп. совр. Т. 2. С. 173). Уже после смерти Пушкина Жуковский вспомнил о Баркляе в стихотворении «Бородинская годовщина» (1839): «Где герой, пример смиренья, / Введший рать в Париж Барклай?».

¹² Здесь Пушкин впервые напечатал три первые строфы своего стихотворения «Перед гробницею святой...» (1831), написанного в пору раздумий по поводу угрозы новой войны и посвященного Кутузову и польским событиям 1831 г. Об этом стихотворении поэт упоминал в письме к Е. М. Хитрово в июне 1831 г., обещая прислать его «как только представится случай» (XIV, 177, 429; оригинал по-франц.). Лишь в сентябре 1831 г., когда Варшава была взята, а польское восстание подавлено, Пушкин счел возможным отправить стихотворение дочери Кутузова: «Стихи эти были написаны в такую минуту, когда позволительно было пасть духом, — слава Богу, это время миновало. Мы опять заняли положение, которое не должны были терять. Это, правда, не то положение, каким мы были обязаны руке князя, вашего батюшки, но все же оно достаточно хорошо» (XIV, 225, 436; оригинал по-франц.).

Ф. В. БУЛГАРИН

**ПРАВДА О 1812-М ГОДЕ, СЛУЖАЩАЯ К ИСПРАВЛЕНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ОШИБКИ, ВКРАВШЕЙСЯ В МНЕНИЕ
СОВРЕМЕННИКОВ**

СПч. 1837, №7, 11 января.

¹ Знаменитый исторический труд Э. Гиббона (Gibbon; 1737–1794) «История упадка и разрушения Римской империи» («History of the decline and fall of the Roman empire», 1776).

² Философско-исторический труд Вольтера «Опыт о нравах и духе народов» («Essai sur les moeurs et l'esprit des nations», 1756).

³ Имеется в виду брошюра Л. И. Голенищева-Кутузова, рассылавшаяся как приложение к № 256 «Санкт-Петербургских ведомостей» от 8 ноября (см. наст. изд., с. 189–193).

⁴ Имеется в виду «Объяснение» Пушкина, написанное в ответ Голенищеву-Кутузову (Совр. 1836. Т. 4. С. 295–298; наст. изд., с. 195).

⁵ Цитата из стихотворения Пушкина «Перед гробницею святой...», первые три строфы которого были напечатаны в его «Объяснении».

⁶ Жан-Виктор *Моро* (Moreau; 1763–1813) — генерал Первой французской республики. В 1804 г. по обвинению в измене был приговорен Наполеоном к изгнанию из Франции и уехал в Северную Америку; в 1813 г. по приглашению Александра I вернулся в Европу, состоял советником при Главной квартире союзных армий. Смертельно ранен в сражении под Дрезденом 15 (27) августа 1813 г.

⁷ Под *Фер-Шампенуазом* (Fère-Champenoise), в 120 км от Парижа, 13 (25) марта 1814 г. произошло сражение русско-австрийской кавалерии с пехотными корпусами маршалов Ф. Мармона и А. Мортье, шедшими из Парижа на соединение с армией Наполеона. Александр I принимал личное участие в заключительной части сражения.

ИЗ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

**«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». РОМАН В СТИХАХ.
СОЧИНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ИЗДАНИЕ ТРЕТИЕ**

СПч. 1837, № 16, 21 января. Подпись: N.

Второе полное издание пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин», напечатанное в миниатюрном формате (11 × 7 см), стало последней книгой Пушкина, увидевшей свет при жизни поэта. «Евгений Онегин» первоначально печатался с 1825 по 1832 г. по главам, а в 1833 г. вышел отдельным изданием. При этом Пушкиным был

заклучен договор с издателем А. Ф. Смирдиным, обязывавший поэта не переиздавать «Онегина» в течение последующих трех лет ни полностью, ни в отрывках. К осени 1836 г. срок договора истек, и Пушкин стал думать о новом издании романа, с помощью которого он мог бы хоть как-то поправить свои финансовые дела. Первоначальные переговоры велись с Б. А. Враским, содержанием Гуттенберговой типографии, в которой печатался «Современник». Судя по письму Враского к Пушкину от 29 октября 1836 г. (XVI, 178–179), Пушкин предлагал ему право на издание «Онегина» в счет уплаты за печатание трех томов «Современника». Однако в конечном счете Пушкин принял иное решение и заключил договор с И. И. Глазуновым. Сохранился полуапокрифический рассказ, что идея издания сочинений Пушкина в миниатюрном формате, начиная с «Евгения Онегина», принадлежала приказчику в книжной лавке Глазунова в Гостином дворе В. П. Полякову, что поэт очень увлекся подробностями миниатюрного издания, «самым тщательным образом» сам просматривал последнюю корректуру, а по выходе книжки «каждый день заводил кого-либо из своих знакомых в книжную лавку, к приказчику Полякову, показывал это издание» (см.: Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет: 1782–1882. СПб., 1883. С. 67–69; Смирнов-Сокольский. С. 388–391). На самом деле издание, судя по всему, имело чисто коммерческий характер и делалось в большой спешке практически без участия Пушкина. В конце октября на роль издателя еще претендовал Враский, а 27 ноября уже было дано цензурное разрешение на книгу, печатающуюся у Глазунова, причем существует предположение, что печатание книги началось раньше официальной подачи ее в цензуру (см.: Смирнов-Сокольский. С. 392–393). Месяц ноябрь, после получения 4-го числа пасквильного «диплома рогоносца», складывался у Пушкина так, что он вряд ли мог уделить изданию много внимания. Он ограничился лишь двумя композиционными изменениями: посвящение «Не мысля гордый свет забавить...», первоначально в отдельном издании четвертой и пятой глав напечатанное в качестве обращения к П. А. Плетневу, а в издании 1833 г. — в примечаниях под номером 23, было теперь помещено перед текстом романа, а общее число примечаний сократилось, таким образом, до 44; кроме того, Пушкин изменил примечание 11 к стиху «Под небом Африки моей», убрав стоявшую здесь в издании 1833 г. фразу: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского» и дав вместо нее отсылку к первому изданию первой главы, где на этом месте находилось пространное автобиографическое примечание. Сам текст романа Пушкин не готовил: ни одна из опечаток издания 1833 г., с которого печаталось новое издание, не была исправлена, к ним добавились многочисленные новые ошибки и типографские искажения. Книга была отпечатана, вероятно, еще в конце 1836 г. (см.: Там же. С. 392–394), но поступила в продажу только около 19 января 1837 г. (объявление о продаже нового издания «Онегина» в книжном магазине Лисенкова помещено в Прибавлении № 14 к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 19 января 1837 г.; комментируемая заметка «Северной пчелы» от 21 января явилась первым печатным откликом на новую книгу). Издание было выпущено очень большим по тем временам тиражом — 5000 экземпляров и с самого начала покупалось хорошо. После же смерти Пушкина оно было все распродано в неделю (см.: Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. С. 69).

¹ Далее цитируются (без строфического деления) отрывки из первой (строфы XVIII, XIX и XX), четвертой (строфы XXVIII и XXIX) и шестой (строфа XXXIII) глав «Евгения Онегина».

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ К „РУССКОМУ ИНВАЛИДУ“»

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», РОМАН В СТИХАХ,
СОСЧИНИЛ А. ПУШКИНА

ЛПРИ. 1837. № 5, 30 января. С. 46–47. Без подписи.

¹ Имеется в виду миниатюрное издание: Басни Ивана Крылова. В восьми книгах. Новое издание, вновь исправленное и умноженное, 30-я тыс. СПб.: изданием А. Смирдина, 1835 (повторено в 1837 г.; до этого Смирдиным «Басни» Крылова были выпущены 4 раза в обычном формате: в 1830, 1831, 1833 и 1834 гг. (см.: Смирнов-Сокольский. С. 257–262)). Помимо книг Крылова и Пушкина Экспедиция заготовления государственных бумаг в 1835–1838 гг. выпустила ряд изящно оформленных изданий произведений русских писателей, финансируемых разными издателями — А. Ф. Смирдиным, И. И. Глазуновым и В. П. Поляковым. Все они были выполнены в миниатюрном формате («in 64») и заключены в одинаковый «кружевной» переплет.

² *Nonpareil* (франц. *nonpareille*) — название типографского шрифта, кегль которого равен 6 пунктам (2,25 мм).

³ Отдельные главы «Евгения Онегина» продавались по 5 рублей; смирдинское полное издание «Онегина» 1833 г. стоило 12 рублей. В 1833 г. оно приветствовалось рецензентами в том числе и в связи со своей дешевизной (см.: П. в критике, III. С. 243, 246).

⁴ Стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) было предпослано Пушкиным в качестве введения к первой главе романа в издании 1825 г. (с. IX–XXII). Так же перепечатано во втором издании первой главы (СПб., 1829); при перепечатке учтены пушкинские поправки, помещенные после текста первой главы, на с. 60 издания 1825 г. и в примечании к шестой главе романа в первом издании (СПб., 1828. С. 46). В полное издание романа 1833 г. не вошло; перепечатано с изменениями в четвертой части «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1835). При своем появлении в 1825 г. «Разговор» был восторженно встречен критикой и порой оценивался даже выше самого «Онегина» (см.: П. в критике, I. С. 258, 266, 270, 292).

⁵ Речь идет об издании однотомного сборника стихотворений, который Пушкин готовил в конце 1836 г. к печати. В библиотеке поэта сохранился экземпляр третьей и четвертой частей «Стихотворений Александра Пушкина» 1832 и 1835 гг. с цензурным разрешением П. А. Корсакова от 2 декабря 1836 г. (см.: Библиотека П. № 308). 23 декабря 1836 г. Пушкин встретился с книгоиздателем А. А. Плюшаром и договорился об издании (см. письма Плюшара Пушкину от того же числа и ответ Пушкина от 29 декабря 1836 г. — XVI, 204, 206). Сохранилась неполная рукопись предполагавшегося сборника (ПД № 848–859). Смерть Пушкина помешала осуществлению издания (см. о нем: *Ларионова Е. О.* Неосуществленное собрание стихотворений Пушкина 1836 года // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 271–288; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2, кн. 1. С. 363–370).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

«Солнце нашей поэзии закатилось!..»

ЛПРИ. 1837. № 5, 30 января. С. 48. Без подписи. Перепечатано: РИ. 1837. № 25 – 26, 31 января. С. 100 (здесь помещено без траурной рамки между разделами «Внутренние известия» и «Замечательные военные книги»).

Долгое время автором некролога считался редактор «Литературных прибавлений» А. А. Краевский (см., например: *Лернер Н. О.* Труды и дни Пушкина. 2-е изд. СПб., 1910. С. 390; *Бродский Н. Л.* А. С. Пушкин. М., 1937. С. 878). Предположение о возможном авторстве В. Ф. Одоевского было высказано в 1913 г. П. Н. Сакулиным (см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 328–329). Авторство Одоевского было документально подтверждено публикацией в 1956 г. письма С. Н. Карамзиной А. Н. Карамзину от 10 февраля 1837 г.: «Одоевский же трогателен своей чуткостью и скорбью о Пушкине — он плакал, как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строк, которыми он известил о его смерти в своем журнале» (см.: *Андроников И.* Тагильская находка // Новый мир. 1956. № 1. С. 195; цит. по: Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 176, 303; оригинал по-франц.). Сопоставительный анализ текста некролога и неопубликованной статьи Одоевского «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина» (1836) и рецензии на пятый том «Современника» (1837) см.: *Заборова Р. Б.* Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // ПИМ. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 320–324.

Публикация некролога вызвала серьезное недовольство властей. В «Дневнике» цензора Петербургского цензурного комитета А. В. Никитенко представлены события тех дней:

«31 <января>. Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышною похвалою, напечатанною в „Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»“.

Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить „Выздоровления Лукулла“.

Сию минуту получил предписание председателя цензурного комитета не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру.

Завтра похороны. Я получил билет.

Февраль 1. <...> Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в „Северной пчеле“: „Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности“ (№ 24).

Краевский, редактор „Литературных прибавлений к «Русскому Инвалиду»“, тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту.

Я получил приказание вымарать совсем несколько таких же строк, назначавшихся для „Библиотеки для чтения“.

И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего? <...>

12. <...> Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы» (Никитенко. Т. 1. С. 195–197).

П. А. Ефремов, вероятно со слов самого Краевского, подробно описал его разговор с М. А. Дондуковым-Корсаковым: «А. А. Краевский, на другой же день по выходе номера газеты, был приглашен „для объяснений“ к попечителю С.-Петербургского учебного округа князю М. А. Дондукову-Корсакову, который был председателем цензурного комитета. Необходимо заметить, что г. Краевский состоял тогда на службе в Министерстве народного просвещения, именно помощником редактора журнала Министерства и членом археографической комиссии, будучи, таким образом, вдвойне зависимым от министерства.

— Я должен вам передать, — сказал попечитель г. Краевскому, — что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! „Солнце поэзии!“ помилуйте, за что такая честь? „Пушкин скончался... в середине своего великого поприща!“ Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще! Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику Министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таковых публикаций» ([Ефремов П. А.] Александр Сергеевич Пушкин: 1799–1837 // РС. 1880. № 7. С. 537). Ср. также письмо С. С. Уварова попечителю Московского округа и председателю Московского цензурного комитета гр. С. Г. Строганову от 1 февраля 1837 г.: «По случаю кончины А. С. Пушкина, без всякого сомнения, будут помещаемы в московских повременных изданиях статьи о нем. Желательно, чтоб при этом случае как с той, так и с другой стороны соблюдаема была надлежащая умеренность и тон приличия. Я прошу Ваше Сиятельство обратить внимание на это и приказать цензорам не допускать печатания ни одной из вышеозначенных статей без Вашего предварительного одобрения» (цит. по: Шукинский сборник. М., 1902. Вып. 1. С. 298). Возможно, такая реакция официальных властей помешала некоторым некрологическим статьям попасть в печать. Так, например, известен некролог, написанный бароном Ф. А. Бюлером (1821–1896), в 1837 г. студентом Училища правоведения. Неизвестно, для какого издания предназначавшийся, этот некролог не был опубликован и сохранился в архиве автора (см.: Трофимов И. Т. Неизвестный некролог Пушкина // Врем. ПК 1965. Л., 1968. С. 85–86).

Л. А. ЯКУБОВИЧ

«Сегодня, 29 января, в 3-м часу пополудни...»

СПч. 1837. № 24, 30 января. Помещено без траурной рамки в разделе «Внутренние известия».

Лукьян Андреевич Якубович (1808–1839) — поэт, выпускник Благородного пансиона при Московском университете, участник литературного кружка С. Е. Раича, близкий приятель А. И. Полежаева. Якубович начал печатать стихи в московских журналах с 1828 г.; в 1831 г. он познакомился с Пушкиным, к которому относился с восторгом и преклонением. «Напрасно говорят, что в нем не видно поэта, — писал он после этой встречи, — решительно скажу вам: весь гений, все пламя жреца муз горит в его прекрасных глазах. Я читал „Годунова“ раз 30 сряду, — превосходно. Я без ума восхищен им — вот поэзия, вот жизнь, вот сила!» (письмо к П. И. Вонлярской от 22 января 1831 г.; цит. по: Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 258 (Б-ка поэта; Большая серия)). В том же году Якубович перебрался в Петербург; видимо, его

дядя М. Л. Яковлев рекомендовал его в пушкинском кругу: в 1831 г. Якубович напечатал пять стихотворений в «Литературной газете» и семь стихотворений в альманахе «Северные цветы» на 1832 г., издававшемся в память Дельвига. В Петербурге Якубович жил в крайней бедности, зарабатывая уроками русского языка, однако имел обширные знакомства в литературных кругах и «пользовался <...> между журналистами и издателями альманахов значительной известностью» (Панаев. С. 92). Якубович сотрудничал в «Сыне отечества», «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», «Телескопе», «Библиотеке для чтения»; три его стихотворения были напечатаны Пушкиным в четвертом томе «Современника». Откликаясь на вышедшие уже после смерти Пушкина отдельной книгой «Стихотворения Лукьяна Якубовича» (СПб., 1837), рецензент «Северной пчелы» в подкрепление даваемой им высокой оценки сборника ссылаясь на мнение Пушкина: «Что г. Якубович не был подражателем Пушкина — тому служат лучшим доказательством собранные им ныне пиесы. Сам покойный Пушкин, отзываясь о его таланте с похвалою, находил в нем особенную оригинальность, которую мыслящий читатель найдет почти в каждом стихотворении» (СПч. 1837. № 93, 29 апреля; подпись под окончанием статьи в № 94 (30 апреля): Т.). 14 января 1837 г. М. Л. Яковлев в письме к Пушкину рекомендовал Якубовича как помощника по изданию «Современника». Якубович последний раз виделся с Пушкиным за три дня до дуэли. Он был потрясен смертью поэта. Е. А. Драшусова (Карлгоф) вспоминала впоследствии: «Якубович <...> почти с ума сошел. Он два раза приходил к нам в таком состоянии, что напугал меня; при том же он с горя прибегнул к *русскому утешению*, и это увеличило еще более его возбужденное состояние» ([Драшусова Е. А.] Жизнь прожить не поле перейти: Записки неизвестной // РВ. 1881. № 9. С. 156). О Л. А. Якубовиче см.: Поэты 1820–1830-х годов. Т. 2. С. 258–261 (биогр. справка В. С. Киселева-Сергенина); Черейский. С. 524–525. О реакции официальных властей на некролог в «Северной пчеле» см. в примеч. к некрологу В. Ф. Одоевского (наст. изд., с. 506–507).

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

СПб Вед. 1837. № 25, 31 января. Помещено без траурной рамки в разделе «Внутренние известия». Перепечатано: МВед. 1837. № 11, 6 февраля (в разделе «Внутренние известия», с пометой: «из Санкт-Петербурга»).

М. А. КОРКУНОВ

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

МВед. 1837. № 12, 10 февраля. Помещено в разделе «Разные известия».

Михаил Андреевич Коркунов (1806–1858), пензенский уроженец, в 1828 г. окончил философский факультет Московского университета и был оставлен при университете сначала как преподаватель арабского языка, а затем еще и географии; в 1835 г., во время заграничного путешествия М. П. Погодина, Коркунов читал вместо него русскую историю. С 1827 г. был сотрудником Московского общества истории и древностей российских (действительным членом избран в феврале 1836 г.), печатал научные статьи в «Вестнике Европы», «Ученых записках Московского университета». Официально Коркунов оставил службу в университете 7 января 1837 г., но уже в 1836 г. он перебрался в Петербург. В марте 1837 г. назначен чиновником Археографической комиссии. Впоследствии — адъюнкт Академии наук (с 1847 г.), член-сотрудник (с 1848 г.) и действительный член (с 1856 г.) Археологического общества, экстраординарный академик (с 1851 г.). В Петербурге Коркунов был близок к пуш-

кинскому кругу. Как следует из письма Коркунова М. П. Погодину от 24 апреля 1837 г., еще при жизни Пушкина он подготовил для «Современника» разбор брошюры Н. Г. Устрялова «О системе прагматической русской истории» (СПб., 1836). В том же письме он сообщал М. П. Погодину в Москву, как идет подготовка по-смертного тома «Современника» (см.: ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 722–723); читал корректуру этого тома (см. письмо П. А. Вяземского С. П. Шевыреву — РА. 1885. Т. 2, № 6. С. 306). Некрологическая статья Коркунова, посланная в Москву, обнаруживает явную близость со статьей В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина». Статья Коркунова была, в числе других материалов из газет и журналов, связанных со смертью Пушкина, переписана отцом поэта С. Л. Пушкиным. По копии из бумаг С. Л. Пушкина напечатана Б. Л. Модзалевским (ПиС. СПб., 1908. Вып. 8. С. 82–83).

¹ В доме княгини С. Г. Волконской (совр. адрес: наб. р. Мойки, 12) семья Пушкиных жила с 12 или 13 сентября 1836 г.

² Заметки о «Слове о полку Игореве» сохранились в бумагах Пушкина; впервые были напечатаны П. В. Анненковым в приложениях к его «Материалам для биографии А. С. Пушкина» (СПб., 1855. С. 478–487). Об интересе Пушкина к «Слову...» и занятиях его текстом см. подробнее с указанием литературы вопроса: Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. М., 1995. Т. 4. С. 194–197 (статья С. А. Фомичева).

³ Примечание князя П. И. Шаликова, редактора «Московских ведомостей».

⁴ О рисунке и выполненной по нему литографии Ф. А. Бруни см. примеч. 9 к статье Н. В. Кукольника «Письмо в Париж» — наст. изд., с. 529. Вместе с Бруни 30 января на квартиру Пушкина приехал его ученик А. А. Козлов, сделавший эскиз и дома по нему выполнивший рисунок Пушкина в гробу (бумага, тушь, карандаш, белла; 27 × 36,5; ныне в Музее Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН) (см.: Описание Пушкинского музея Императорского Александровского лицея. СПб., 1899. С. 23–24). Позднее, по заказу П. А. Вяземского, Козлов написал по этому рисунку картину (холст, масло; 44 × 57; ныне во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)). 29 января рисунок Пушкина на смертном одре сделал А. Н. Струговщиков; Пушкина в гробу рисовали также А. Н. Мокрицкий и В. А. Жуковский. Имя П. Н. Орлова в этом ряду никогда не упоминалось. Возможно, Коркунов перепутал его с Козловым.

⁵ В Святогорском Успенском монастыре были похоронены дед и бабка поэта — Осип Абрамович (1744–1806) и Мария Алексеевна (1745–1818) Ганнибалы; 13 апреля 1836 г. здесь же была похоронена мать поэта Надежда Осиповна Пушкина, скончавшаяся 29 марта 1836 г. Тогда же Пушкин купил место для себя рядом с ее могилой.

⁶ Копируя некролог Коркунова, С. Л. Пушкин исправил эту странную ошибку, сразу написав: «сельца Михайловское» (ПиС. Вып. 8. С. 83).

А. Г. ТРОЙНИЦКИЙ

«Les journaux de St.-Petersbourg nous ont apporté une nouvelle...»

Journal d'Odessa. 1837. № 13, 12 (24) février. Без подписи.

Принадлежность некрологической статьи о Пушкине в «Journal d'Odessa» редактору газеты А. Г. Тройницкому (см. о нем наст. изд., с. 582) не вызывает сомнений. Он в совершенстве владел французским языком, ему принадлежали все статьи газеты, печатавшиеся под рубрикой «Одесса», он же был автором большинства помещаемых в «Journal d'Odessa» некрологов (см. биогр. справку П. И. Бартевева: Из бумаг А. Г. Тройницкого // РА. 1894. Т. 1, № 4. С. 556–559). К Тройницкому адресовался и секретарь Воронцова М. П. Щербинин, писавший ему 12 февраля 1837 г., в день выхода номера с некрологом: «Почтеннейший Александр Григорьевич! Статья, сегодня

помещенная в „Journal d'Odessa“ по случаю смерти Пушкина, принята была всеми, а в особенности графиней Воронцовой, с восхищением. Так как, вероятно, она же, т. е. статья сия, будет помещена и в „Одесском вестнике“, то я спешу повергнуть пред вами мысль, рожившуюся у графини Елисаветы Ксаверьевны, т. е. что большая часть стихотворений Пушкина созданы были в Одессе во время его здесь пребывания. Мысль сия достойна быть обработанною. Впрочем, Бог знает, что скажут в Петербурге...» (РС. 1887. № 4. С. 160; то же: Из бумаг А. Г. Тройницкого. С. 573). По справедливому замечанию Л. А. Шеймана, последняя фраза записки заключает в себе некоторое предостережение редактору газеты, идущее, несомненно, от самого М. С. Воронцова (см.: *Шейман Л. А.* Два одесских некролога о Пушкине // *Врем. ПК* 1973. Л., 1975. С. 123). Тем не менее Воронцовым была разрешена публикация русского некролога, в котором появилось и упоминание об одесском периоде жизни Пушкина.

Н. Г. ТРОЙНИЦКИЙ

«Все петербургские газеты извещают о незаменимой утрате...»

Одесский вестник. 1837. № 13, 13 февраля. Без подписи, с пометой под текстом: «(Сообщено)».

Николай Григорьевич Тройницкий (1809–1892) — младший брат А. Г. Тройницкого, также уроженец Одессы и выпускник Ришельевского лицея. Заведовал литературной частью «Одесского вестника». Н. Г. Тройницкий не был лично знаком с Пушкиным — во время жизни Пушкина в Одессе он учился в младших классах Лицея и только один раз издали видел поэта. Но уже в те годы Тройницкий был горячим поклонником пушкинского творчества: в Ришельевском лицее Пушкина «читали, перечитывали, переписывали, затверживали на память; некоторые из его ненапечатанных стихов ходили <...> по рукам, в рукописи, как запрещенные» (*Тройницкий Н. Г.* По поводу статьи «Одесского вестника» 1837 г. о смерти Пушкина // *Отзывы о Пушкине с юга России / Собр. В. А. Яковлев.* Одесса, 1887. С. 10). Впоследствии Н. Г. Тройницкий был близким приятелем брата поэта, Л. С. Пушкина, его сослуживцем в одесской таможне. В поздней мемуарной заметке Н. Г. Тройницкий рассказывал, как в Одессе были получены письма из Петербурга о смертельном ранении Пушкина, как он услышал об этом от одного из своих знакомых, был в отчаянии и в тщетной надежде ждал петербургских газет, которые в те годы «приходили два раза в неделю, на девятый, двенадцатый день и позже, смотря по состоянию труднопроезжаемых дорог» (Там же. С. 11–12). Прочитав в газетах о смерти Пушкина, Тройницкий сразу побегал в типографию и «в таком возбужденном настроении» «набрался» статью для «Вестника». Статья была представлена М. С. Воронцову. «Он стал читать ее, читал очень внимательно и дозволил печатать, заметив при этом: „да уж не много ли тут сказано? ведь у нас были Державин, Ломоносов...“» (Там же. С. 12). Все же выраженные высшей одесской властью сомнения, «что скажут в Петербурге» (см. выше в примеч. к статье А. Г. Тройницкого), смущали редакцию: «...как отнесутся в Петербурге к полуказенной газете, выражающейся с нескрываемым, глубоким уважением к Пушкину?» (см.: *Тройницкий Н. Г.* По поводу статьи «Одесского вестника» 1837 г. о смерти Пушкина. С. 13). Этими сомнениями и была вызвана помета «Сообщено» под текстом некролога. «Многие так и приняли, что статейка сообщена каким-нибудь почитателем поэта, посторонним редакции» (Там же).

Мемуарное свидетельство Н. Г. Тройницкого может быть принято с некоторой коррекцией. Его статья была написана не непосредственно под впечатлением от чтения петербургских газет, она явно ориентирована на появившийся накануне, 12 фев-

раля, некролог в «Journal d'Odessa» и учитывает пожелания Е. К. Воронцовой, выраженные в письме М. П. Щербинина к А. Г. Тройницкому. На этом основании можно предполагать, не ставя, впрочем, под сомнение авторство Н. Г. Тройницкого, некоторое участие его брата А. Г. Тройницкого в составлении статьи для «Одесского вестника». Подробнее о статьях А. Г. и Н. Г. Тройницких см.: *Шейман Л. А.* Два одесских некролога о Пушкине // Врем. ПК 1973. Л., 1975. С. 117–124. Л. А. Шейман отмечает также вероятную роль, которую сыграл в появлении в одесских газетах откликов на смерть Пушкина А. И. Лёвшин (1798 или 1799 — 1879), писатель и историк-этнограф, знакомый Пушкина по Одессе, публиковавшийся в «Московском вестнике» (1827) и «Литературной газете» (1831), автор «Исторического и статистического обозрения уральских казаков» (СПб., 1823) — книги, высоко оцененной Пушкиным и использованной им в работе над «Историей Пугачева». В должности одесского градоначальника, занимаемой им в 1831–1837 гг., Лёвшин контролировал городские газеты. Он, таким образом, отвечал за публикацию французского некролога в «Journal d'Odessa», напечатанного, судя по всему, без ведома М. С. Воронцова. Он же, по-видимому, участвовал в представлении графу русской статьи Н. Г. Тройницкого и в получении разрешения на ее публикацию (см.: *Шейман Л. А.* Два одесских некролога о Пушкине. С. 121–122).

ИЗ ЖУРНАЛА «МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»

«Пушкина не стало!...»

МН. [1836]. Ч. 10. Ноябрь, кн. 1 (выход в свет между 14 и 16 февраля 1837 г. — МВед. 1837. № 14, 17 февраля)*. С. 122. Без подписи.

Н. И. Мордовченко было высказано предположение (никак не аргументированное), что некролог написан С. П. Шевыревым (П. Врем. М.; Л., 1936. [Т.] 1. С. 339). Однако автором его мог быть и редактор журнала В. П. Андросов. 3 февраля 1837 г. Андросов писал А. А. Краевскому в Петербург по поводу смерти поэта: «Что это вы с нами сделали? Россия вам поверила Пушкина, единственное свое вдохновение, редкое и случайное, вы и того не умели уберечь. Жизнь ваша греховная довела путем страстей его до гроба. Нет, у вас не место Поэзии: у вас могут быть паровые повозки, книгопечатные станки, паровые канцелярии, толстые книжки „Библиотеки“, но Дух не может витать у вас: у вас слишком мир господствует и вытесняет все, что не его» (Там же; публ. Н. И. Мордовченко).

Некролог вызвал неоднозначную реакцию в кругу, близком редакции «Наблюдателя». Так, в письме М. П. Погодину от 13 марта 1837 г. его приятель Н. И. Любимов открыто выразил свое недовольство: «Что это напечатано у вас в „Московском наблюдателе“ о П<у>шкине?!!! Сначала говорится, что он был наша жизнь, наша душа, а далее, что в последнее время не был деятелен, а еще далее, что для него настал *печальный* вопрос: какое место гробница его должна занять между гробницами наших литераторов. — Слова хорошенько не припомню, — но вот смысл. Гораздо лучше бы было совсем ничего не писать» (ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 721 (публ. М. А. Цявловского)).

В следующей части «Московского наблюдателя» напечатано сочинение в стихах Мирзы Фатали Ахундова:

* В 1836 г. «Московский наблюдатель» систематически опаздывал с выходом уже с апреля. К концу года издателями было nedовыдано пять номеров: второй октябрьский номер части 9 и полностью часть 10 с номерами за ноябрь—декабрь. Опоздавшие номера выходили в январе—феврале 1837 г., и на титульном листе части 10, содержащей ноябрьские и декабрьские номера за 1836 г., год выхода был указан как 1837-й.

На смерть Пушкина

Сочинение в стихах современного персидского поэта
Мирзы Фатх-Али-Ахундова

Не предавая очей сну, сидел я ночь и говорил сердцу: о рудник жемчуга тайн!¹⁾

Что случилось, что соловей цветника твоего отстал от песен? Что случилось, что попугай?²⁾ красноречия твоего замолк?

Что случилось, что путь витийства твоего загражден? Что случилось, что гонец мечты твоей остановился?

Взгляни, наступила весна³⁾: все растения, будто девы, величаются красотой и прелестью.

Берега ручейков на лугу усеялись фиалками; расцвела почка огнистая на кусту розовом цветника;

Степь изукрашена, как невеста; подол нагорья наполнен цветами, как драгоценностями для осыпания ее.⁴⁾

Увенчанное цветами дерево, как царь, стоит в саду с невозмущаемою важностью.

Лилия и ясмин, как вельможи, в честь его пьют вино росы из чашечек тюльпана.

Так изукрашен луг ясминами, что от зрения на него помутились очи упоенного нарцисса.

Приветствующий соловей подносит гуляющим, будто дар, в клюве листок розы.

Готово облако оросить цветник водою; к нему зефир приносит благоухание.

Нежным голосом поют поутру птицы: о красавица зелень! Выходи из-под покрова праха.

Все существующее не чуждо какого-либо искусства; от всего есть приношение на этом торжище:

Один очаровательною красотой, пленительными взглядами величается; другой стенанием изъясняет любовь свою.

Всё ныне в наслаждении и веселии проводит время свое, распростившись с печалью.

Всё, кроме тебя, сердце мое! Не участвуешь ты в радости и восторге, не просыпаясь из безмолвия!

В сердце твоём нет склонности, в голове любви ни к кому; далеко ты от страсти к славе и от мечты поэзии.

Не ты ли то же самое сердце, которое, погружаясь в море мыслей для стихов, подобных жемчужинам царским,⁵⁾

Давало нити сих перлов на украшение ланит тысяче игривым выражениям, будто девам.⁶⁾

Теперь не знаю, откуда печаль твоя? Теперь к чему ты сокрушаешься и унываешь, как плакальщица похоронная?

Оно отвечало: о сотоварище в моем уединении! Теперь оставь меня самому себе.

Если бы, как красавица луга, я не знало, что за ветерком весенним следует бурный вихрь осени:

Знай, тогда опоясало б я мечом языка стан гусара поэзии на славную борьбу в сей войне.

Но мне уже известны вероломство судьбы, конец мой и жестокость этой изменницы.

Нет ума в той птице, которая, видев своими глазами сеть, опять для зерна подвергается беде.

Гром славы, отклики доблести считай эхом внутри сего вращающегося свода.

Не говори о мечте: я уже знаю, чем это криво ходящее небо⁷⁾ награждает питомцев ее.

Разве ты, неведающий мира! Разве не слышал о Пушкине, главе собора поэтов;

О том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов, когда он игриво изливал свои мечтания;

О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять белизну свою, чтобы только перо его проводило черты по лицу ее?

В мечтах его, как в движениях павлина, являлись тысячи дивных цветов литературы.

Ломоносов красую гения украшал обитель поэзии, но его (Пушкина) мечта в ней утвердилась.

Хотя Державин завоевал державу литературы, но для управления и устройства ее избран он (Пушкин).

Карамзин наполнил чашу вином знания: он (Пушкин) выпил вино сей наполненной чаши.

Распространилась слава его гения по Европе, как могущество и величие Николая от Китая до Татарии.⁸⁾

По светлому уму своему был он образцом на Севере, подобно молодой луне, которой вид дорог Востоку.⁹⁾

Такого быстро постигающего сына, такого даровитого сына не рождали четыре матери от семи отцов.¹⁰⁾

Теперь с удивлением слушай от меня, что сии родители не устыдились быть к нему жестокими;

Прицелились в него стрелюю смерти, безжалостно прекращая дни его.

Черное облако, по повелению их, одною градиною побило плод дерева его жизни.

Жестокий ветер смерти потушил светильник его души; тело его, как терем, стало мрачно.

Сей старый садовник секирою безжалостною срубил его стан, как молодую ветвь с террасы сего цветника.

Голова его, в которой хранилось сокровище ума, сделалась, чрез рок змеенравный, жилищем змеи.¹¹⁾

Из праха сердца, подобного почке, в котором воспевал соловей его гения, ныне растет терн.

Душа его, как птица, вылетела из тела его, как из гнезда, и всех старых и малых сдружила с горестию.

Россия в скорби и печали восклицает о нем: о жертва смерти!

Так! Не спас тебя от оков колдовства этой старой чаровницы талисман твой.

Ты удалился от земных друзей, да будет в небесах другом твоим милосердие Божие!

Фонтан из Бахчисарая посылает праху твоему с весенним зефиром благоухание двух роз твоих.

Старец седовласый, Кавказ, ответствен на песни твои стоном в стихах Сабугия.¹²⁾

Примечания

1) В поэзии персидской, как произведении образованнейшего класса людей, строгий догматизм Курана смягчается тонкостями умозрения. Любимая тема их — борение двух начал противоположных: добра и зла, силы духа и обольщений мира; их нравоучение заключается в мистическом стремлении к соединению с Богом. Этот *суфизм*, известный и в Аравии, раскрылся с большею силою у персиян, как более

просвещенных потомков магов Зороастровых. Сим изъясняются упоминаемые в пьесе *змеенравный, изменница, убийца, садовник, чаровница* (судьба, мир), *убитый* (смертный), *борьба* (жизнь), *тайна* (соединение или слияние с Высочайшим существом, суфизм).

2) Попугай у персиян принимается за птицу, приятно разговаривающую, и служит обыкновенно уподоблением красноречивого оратора, увлекательного поэта.

3) Должно вспомнить, что за Кавказом весна открывается в феврале.

4) На Востоке также осыпают в день брака невесту, как водилось и в России.

5) Стихи у арабов и персиян уподобляются жемчугу и по достоинству своему, и по тому, что составление стоп сходно с перлами, нанизываемыми на одну нить.

6) Сравнение выражений или страниц с девами в персидских стихах обыкновенно.

7) Кривоходящее небо — намек на обращение около Земли (по системе Птолемея) и на несправедливость судьбы, вечно враждующей с человеком.

8) Китай и Татария у персидских поэтов берутся в значении самых отдаленных пределов мира.

9) Потому что все богослужebные и гражданские действия связаны с периодическими изменениями луны.

10) У мусульман доселе господствует космография древних, заимствованная отчасти от халдеев. Система Птолемея (который ими весьма уважается) вращала около неподвижной Земли семь небес, одно над другим, каждое с своею планетою. Влияние тел небесных на Землю и на стихии, допускаемое частию и греками, составило у последователей предопределение, предмет науки астрологии, почти вытеснивший астрономию. Отсюда понятно, что семь отцов (т. е. небес) и четыре матери (т. е. стихии) суть главные действователи, как бы всеобщие родители в полуденном мире.

11) На Востоке, как и в Европе, существует вера в клады; но вместо нечистых духов берегут их змеи.

12) У поэтов восточных есть обычай сверх настоящего имени принимать пиитическое, как в Римской аркадской академии. Сибуги есть такое имя сочинителя Мирзы Фатх-Али-Ахундова.

(МН. 1837. Ч. 11. Март, кн. 2. С. 297–304 (пагинация в номере нарушена)).

Редакция журнала благодарила И. И. Клементьева, через которого было получено из Тифлиса это стихотворение, «за доставление нам прекрасного цветка, брошенного рукою персидского поэта на могилу Пушкина», и цитировала его письмо, при котором было послано стихотворение. В этом письме Клементьев, в частности, писал: «Вам, конечно, будет приятно довести до сведения публики то впечатление, которое певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого поэта Востока, подающего во многих отношениях прекрасные надежды. Оригинал нарочно написан арабским шрифтом (курами), как легчайшим для чтения... Я уверен, что жесткость и дикость выражения некоторых мест будут извинены достаточно духом Востока, столь противоположным европейскому; сохранить его в возможной верности было главною целью сочинителя при переводе, почти без исправления мною оставленном; и я считал необходимым удержать яркий колорит Ирана и блеск игривый сравнений, иногда более остроумных, чем верных...» (Там же. С. 297–298). (См. современный стихотворный перевод П. Г. Антокольского: «На смерть Пушкина» («Я сердцу говорил, глаз не сомкнув в ночи...») — *Ахундов Мирза Фатали*. Избранное. М., 1956. С. 17–22; там же, с. 281–285, см. прозаический перевод 1837 г. А. А. Бестужева и комментарий А. Шарифа об истории текста и русских переводов стихотворения.)

Н. А. ПОЛЕВОЙ

ПУШКИН

БдЧ. 1837. Т. 21, № 4 (выход в свет 1 апреля 1834 г.*). Отд. I. С. 181–198.

«После прекращения „Московского телеграфа“, — писал в своих «Записках» К. А. Полевой, — брат мой не имел никаких сношений с Пушкиным: не знаю даже, встречались ли они в последние годы жизни поэта. Один жил в Москве, другой в Петербурге. Но лучшим доказательством, как высоко уважал и любил Пушкина Н. А. Полевой, может служить впечатление, произведенное на него смертью поэта. В Москве пронеслись слухи о дуэли и опасном положении Пушкина, но мы не слышали и не предполагали, что он был уже не жилец мира. Утром, по какому-то делу, брат заехал ко мне и сидел у меня в кабинете, когда принесли с почты „Северную пчелу“, где в немногих строках было напечатано известие о смерти Пушкина. Взглянув на это роковое известие, брат мой изменился в лице, вскочил, заплакал и, бегая по комнате, воскликнул: „Да что ж это такое?.. Да это вздор, нелепость! Пушкин умер!.. Боже мой!..“ И рыдания прервали его слова. Он долго не мог успокоиться. Искренние слезы тоски, пролитые им в эти минуты, конечно, примирили с ним память поэта, если при жизни между ними еще оставалась тень неприязни» (Полевой. С. 307–308). Сенковский обратился к Полевому с просьбой написать статью о Пушкине для «Библиотеки для чтения» сразу после смерти поэта. 8 февраля 1837 г. Полевой писал Сенковскому из Москвы: «В субботу вечером, третьего дня, получил я письмо ваше от 1 февраля. Вчера, *воскресенье*, и отвечать я не мог. Спешу теперь уведомить вас, любезнейший Осип Иванович, об этом и о том, что если бы я ненавидел вас, то помирился бы с вами и полюбил от последнего письма. Оно делает честь человечеству, оно прекрасно, оно излилось из сердца, и вы приобрели на меня великие права этим письмом. Из души, чуждой доброму и прекрасному, такие слова не вылетают. Вы возлагаете на меня тяжелую обязанность — написать о *Пушкине*. Мы пишем хорошо, когда искренние чувства уже укладутся в глубине души, тяготят ее там и требуют исхода. Но пока они безотчетно тревожат нас — работе еще не время, и человек молчит. Таково мое положение теперь в отношении к покойному поэту. Смерть его поразила меня. Давно не плакал я так горько, как услышавши об его смерти. Ваше письмо умножило грусть мою. Но — я хочу писать и исполню ваше требование, как смогу; точно — писать надобно, как умеем, как сможем, но — писать надобно. Немедленно принимаюсь я и тотчас пошлю к вам, что напишется. Рассмотрите присланное, и если оно будет годиться — напечатайте, а не то, ради Бога! в печь, и только. Будьте здоровы и веселы и верьте истинному уважению и преданности, с какими есмь и пребуду, ваш усердный Н. Полевой» (Старина и новизна. СПб., 1905. Т. 9. С. 326–327).

Статьи Полевого, написанные им в 1836–1837 гг. для отделов критики и библиографии «Библиотеки для чтения», подвергались редакции Сенковского. Издавая в 1839 г. сборник своих статей «Очерки русской литературы», Полевой отметил это обстоятельство, из-за которого, в частности, прекратилась его работа в журнале Сенковского: «Редактор наложил право нестерпимого цензора на все мои статьи, перedelывал в них язык по своей методе, переправлял их, прибавлял к ним, убавлял из них, и многое являлось в таком извращенном виде, что, читая „Библиотеку для чтения“, иногда вовсе я не мог отличать: что такое хотел я сказать в той или другой статье» (Полевой Н. А. Очерки русской литературы. СПб., 1839. Ч. 1. С. XVI–XVII). В «Очерки» Полевой включил только те статьи, которым, как писал он, «(не имея у себя прежних оригиналов моих) мог я памятью возвратить по воз-

* О выходе в свет очередных книжек «Библиотеки для чтения» в петербургских газетах 1837 г. не сообщалось. Известно, что регулярность издания строго соблюдалась: номер раздавался подписчикам первого числа каждого месяца; в случае непредвиденной задержки редакция уведомляла читателей о ее причинах.

можности настоящий смысл их» (Там же. С. XIX). В число этих статей вошла и некрологическая статья о Пушкине, перепечатанная в исправленном виде в первой части «Очерков» (с. 211–229) с примечанием к заглавию: «Писано в 1837 году, через две недели после смерти его». Наиболее существенные отличия журнальной публикации от текста статьи, помещенного в «Очерках», оговариваются ниже в построчных примечаниях.

В том же номере «Библиотеки для чтения», что и статья Полевого, было перепечатано стихотворение Ф. Н. Глинки «Воспоминание о пиитической жизни Пушкина» (Отд. I. С. 85–91), посвященное отцу поэта и вышедшее ранее в Москве отдельным изданием (в бумагах С. Л. Пушкина сохранился экземпляр издания с надписью Глинки: «Первому Другу и достойному родителю незабвенного Поэта — первый экземпляр. 1837. Февраля 27 дня», см.: Из бумаг С. Л. Пушкина / Публ. Б. Л. Модзалевского // ПиС. СПб., 1908. Вып. 8. С. 41; здесь ошибочно определен как оттиск из «Библиотеки для чтения»). Текст стихотворения в журнале напечатан с разночтениями относительно первого издания, принадлежащими, по всей видимости, Сенковскому. На пушкинские материалы апрельской книжки «Библиотеки» откликнулся журнал «Московский наблюдатель»: «Есть нежности поздние, бесполезные, но тем не менее умилительные и назидательные. Прислушайтесь, с каким глубоким чувством скорби должник говорит о умершем своем кредиторе, которого он прежде бегал встречи. Прочтите, как грустна сделалась „Библиотека для чтения“ после смерти Пушкина: она в совершенной безнадежности. „В русском поэтическом мире, кроме *его одного*, мы ни за кого не боимся и ни от кого ничего не надеемся“ (апрельская <нижняя> <страница> 190). Эта безнадежность легко могла бы перейти в опасное отчаяние, если бы дарование г. Тимофеева не смягчало несколько болезненного ее чувства. „Из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин, г. Тимофеев едва ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал *пушкинской поэзии*. У него заметно много пушкинской фантазии, много воображения, много огня и чувства, часто примечательная сила выражения и еще одно из блистательнейших качеств Пушкина — остроумие“. В поэтических трудах его „Библиотека“ замечает „везде мрачный отлив таинственности; мы, конечно, не ошибаемся, продолжая она, обещающая весьма многое от него русской словесности и *заранее считая* г. Тимофеева одной из *будущих опор ее*“ (МН. 1837. Ч. 11. Апрель, кн. 1. С. 461; без подписи; кроме статьи Полевого, здесь цитируется рецензия на немецкий перевод поэмы А. В. Тимофеева «Елизавета Кульман» — БдЧ. 1837. Т. 21, № 4. Отд. VI. С. 42–45). «Этому же горестному чувству, — продолжает критик „Наблюдателя“, — мы приписываем и то, что „Библиотека“ несколько несправно перепечатывает у себя стихи других, относящиеся к воспоминаниям о Пушкине. Скоро после кончины поэта мы читали в Москве „Воспоминание о пиитической жизни Пушкина“, стихотворение Ф. Н. Глинки, потом прочли его и в „Библиотеке“. Но какая разница! Вероятно, глубокая скорбь помешала „Библиотеке“ напечатать стихи так, как они напечатаны были автором, потому что в них вышли *небольшие* перемены, изменяющие смысл и красоту выражения» (Там же. С. 461). Далее методично отмечаются все разночтения текста стихотворения, напечатанного в «Библиотеке», с московским изданием.

Статья Полевого вызвала сильное раздражение у В. Ф. Одоевского. 14 мая 1837 г. он писал Б. Г. Глинке-Маврину в Париж: «Вы, верно, видите с Толстым, агентом Министерства народ<ного> просвещ<ения> в Париже; скажите ему, что одна болезнь помешала мне ему писать. — К нему вышлетесь весь год „Литературных прибавлений“, из которого он не худо сделает, если переведет строки, написанные о кончине Пушкина, и чтобы остерегся, читая статью о Пушкине, напечатанную в „Библиотеке для чтения“ 1-м <номер> № 1837 <года>, ибо она написана врагом Пушкина Полевым и с большим коварством; эти господа, кажется, задумали мало-помалу задушить мертвого Пушкина (ибо с живым им этого не удалось), и эта статья есть первый камень этой батареи» (РС. 1880. № 8. С. 805). В оставшейся неопубликованной рецензии на пятый, посмертный, том «Современника» Одоевский писал: «Зачем при воспоминании о Пушкине невольно представляется прискорбная,

тяжелая мысль о том, как у нас понимали его некоторые издатели журналов!.. Каким клеветам, каким оскорблениям не подвергали они поэта, который составлял нашу гордость! Как должны были казаться странными для иностранцев эти мелочные, злобные придирки к великому писателю, которого мы должны были бы хранить как драгоценное свое сокровище!.. Что же теперь? Эти господа, как слышно, уже горюют о Пушкине, даже чтят его память притворными похвалами. Позднее, ложное сожаление!..» (цит. по: *Заборова Р. Б.* Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // ПИИМ. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 314–315). Позднее свое мнение высказал и В. Г. Белинский, в рецензии на «Очерки русской литературы» характеризовавший их автора как «деятельного писателя, обладаемого более тревогою, чем вдохновением, за все бравшегося и ничего не кончившего, разрушившего многие старые предубеждения и не сказавшего ничего нового, оказавшего большие заслуги отрицательно и никаких положительно, наконец, критика, который, думая идти наравне с веком, шел только наравне с толпою: толпа хвалила Пушкина — и он хвалил его; толпа охладела к Пушкину — и он охладел к нему; смерть Пушкина поразила общее внимание — и г. Полевой явился в „Библиотеке для чтения“ с статьею о Пушкине, в которой много наговорил общих риторических мест о поэте и человеке, а ровно ничего не сказал о Пушкине...» (ОЗ. 1840. № 1. С. 49; Белинский. Т. 3. С. 513).

Общая характеристика творчества Пушкина была дана Полевым еще раз позднее, в статье «Взгляд на русскую литературу 1838 и 1839 годов», написанную в форме писем к С. Д. Полторацкому из Петербурга в Москву. «Гений Ломоносова, — писал Полевой во втором письме, — первый угадал поэтический лад нашего языка. Но Ломоносов, величайший поэт в жизни, *поэтом-собственно*, в теснейшем смысле сего слова, не был. Как он испытывал мусию, наблюдал планеты, делал химические разложения, так писал и стихи, переноса чуждые формы в русское слово и воспевая оды. Яркою, самобытною кометою пролетел потом по небу русской поэзии Державин; светлым метеором явились на нем Хемницер и Крылов, и до Пушкина самобытных поэтов-собственно у нас не было, кроме поименованных мною трех. Частность *оды* и *аполога* не могли иметь общего влияния на мир поэзии русской. Между тем Карамзин и Дмитриев, один в прозе, другой в стихах, изменили латино-схоластические формы языка в французско-классические. Жуковский и Батюшков придали языку поэзии русской оттенки германского идеализма и итальянской неги. Тут явился Пушкин, наследник Державина по прямой линии. Но если он усвоил себе все, что прежде сделано было для языка, к несчастью, надолго подчинился он чуждому нам байронизму и сильному влиянию былого и настоящего и только в последние годы начал постигать свое самобытное, огромное назначение: „Кавказский пленник“, „Бахчи-Сарайский фонтан“ уже не удовлетворяли его, не удовлетворял и язык поэзии, доведенный им до удивительной гибкости и ловкости. Русской самобытности допытывался он в „Полтаве“ и „Годунове“ и новых элементов искал в языке. Тьма идей теснилась в его голове; десятки планов рождались у него и были бросаемы им в началах. Журнал, роман, повесть, история, Шекспир, поэзия славянских народов, русская сказка, трагедия, Фауст, все волновало его, и — „сколько надежд неосуществившихся унес ты в могилу!“ — думаю я, с грустью читая и перечитывая все, что писал Пушкин в последнее время и что издано в отрывках после его смерти. — Окрест Пушкина явились люди с дарованием; он открыл им дорогу, но, не поэты великие, они совершенно удовлетворялись тем, чего не довольно было Пушкину, и в языке, и в идеях. Сюда причисляю Баратынского с его элегическою (прежнею) музою; Дельвига с его русскою песнею, „хоть и в душегрейке новейшего уныния“ (как говорил об нем кто-то); Плетнева с его прекрасными элегиями („Миних“, „Тасс“); Языкова с его разгульною песнею и стихом, как хрусталь звонким, но и чистым от идей, как хрусталь; Козлова с его романтической поэмою, окованною классическими условиями. Но все сии люди не постигали того, к чему устремлялся Пушкин, не видели и той дали, в которой тонул его орлиный взор. Не снабженные основательным учением, не одаренные его гением, они только отвергали классицизм, хватались за формы романтизма, не зная его, ибо не знали ни английской, ни германской литературы, со-

ставили себе несколько идей из того, что слышали у Жуковского и Пушкина, что мимоходом сами прочитали, и, выучившись прежнему, гладкому стиху пушкинскому, образовали свой отдельный маленький мир поэзии, где несколько идей плясали у них по гладкому паркету ямба, вечно однообразного. Гибкость стиха, доступность мысли ринули за ними толпу других поэтов наших. Ныне число стихотворцов сделалось у нас чрезвычайно велико, но стала ли поэзия наша выше? Нимало. Пушкин умер, и с ним заснула она до нового Пушкина» (СО и СА. 1840. Т. 1, № 2. С. 430–432). На истории своих личных отношений с Пушкиным Полевой остановилась в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина (РВ. 1842. № 1. С. 38–44; наст. изд., с. 354–358), умолчав, впрочем, и о происшедшем между ними охлаждении, и о журнальной войне «Московского телеграфа» с «Литературной газетой» и писателями пушкинского круга.

¹ Цитата из стихотворения «Поэт» («Пока не требует поэта...», 1827) (впервые: МВ. 1827. Ч. 6, № 23; вошло во 2-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1829)).

² В «Очерках»: «...в вещее прозрение».

³ Около 1612 г., за несколько лет до смерти, Шекспир оставил Лондон и поселился в своем родном городе Стратфорде. «...В 1613 или, самое позднее, 1614 г., — писал Ф. Гизо в «Жизни Шекспира», — три-четыре года спустя после получения в управление от Якова I театра „Блекфрайерс“, Шекспир покинул Лондон и театр и поселился в своем доме в Стратфорде, в сельском уединении. Причины тому нельзя видеть в каких-либо неудовольствиях ни со стороны короля, которому он был обязан этим новым знаком расположения, ни со стороны публики, которой он только что представил „Отелло“ и „Бурю“. <...> Как бы то ни было, резоны его отъезда из Лондона понять труднее, чем те, по которым его пребывание там могло бы продолжаться» (Guizot F. Vie de Shakspeare // Œuvres complètes de Shakspeare, traduites de l'anglais par Letourneur. Nouvelle édition, revue et corrigée, par F. Guizot et A. P<ichot>, traducteur du Lord Byron; précédée d'une notice biographique et littéraire sur Shakspeare par F. Guizot. Paris, 1821. Т. 1. P. CVII–CIX). В статьях Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» последовательно создавался романтический образ Шекспира, отражавший представления Полевого о гениальном поэте, носителе божественного вдохновения, чудом пониманию обыкновенных людей (см.: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965. С. 208–209, автор раздела Ю. Д. Левин).

⁴ Роман «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774) — самое знаменитое и популярное произведение Гёте периода «Бури и натиска»; философская трагедия «Фауст» («Faust») — центральное произведение в творчестве Гёте, над которым он работал на протяжении всей жизни: первая часть была опубликована им в 1808 г., вторая завершена за несколько месяцев до смерти.

⁵ *Прометей* — в греческой мифологии титан, защитник людей от произвола богов, похитивший для них огонь с Олимпа. За это был прикован Зевсом к скале Кавказского хребта и обречен на непрекращающиеся мучения: каждый день орел расклевывал ему печень, которая вновь отрастала. *Семела* — героиня греческого мифа, фиванская царица, мать бога Диониса, сожженная при появлении перед нею Зевса в божественном облике.

⁶ В «Очерках» слова: «незванным гостем на пиру жизни» взяты в кавычки. Полевой тем самым обозначил устойчивую поэтическую формулу, восходящую к последнему стихотворению Н. Жильбера (Gilbert; 1751–1780) — его знаменитой «Оде IX в подражание нескольким псалмам» («Ode IX, imitée de plusieurs psaumes», 1780): «Au banquet de la vie, infortuné convive, J'apparus un jour, et je meurs...» («На жизненном пиру, обездоленный гость, Я появился однажды и умираю...» — *франц.*). Эта формула, ставшая очень популярной во французской поэзии, широко варьировалась в русской лирике вплоть до 1840-х гг. См.: Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 608–609, примеч. В. А. Мильчиной и В. Э. Вацуро.

⁷ Полевой перефразирует широко распространенный латинский афоризм «Oratores fiunt, poetae nascuntur» («Ораторами становятся, поэтами рождаются»),

восходящий на самом деле к речи Цицерона в защиту поэта Архия (61 г. до н. э.). Говоря о желании «сделаться» поэтом, Полевой имеет в виду стихотворный трактат Горация «Наука поэзии» («Ars poetica»).

⁸ Цитата из стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...», 1825) (впервые: СЦ на 1827 г.; вошло во 2-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина»).

⁹ В «Очерках»: «...на радость всем возвращен был священному служению муз». Речь идет о возвращении Николаем I Пушкина из Михайловской ссылки в сентябре 1826 г.

¹⁰ Речь идет об Адаме Мицкевиче, переведшим в 1829 г. на польский язык стихотворение Пушкина «Воспоминание» (1828; впервые: СЦ на 1829 г.; вошло во 2-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина»), которое Полевой приводит далее полностью (с небольшой неточностью в третьем от конца стихе).

¹¹ Цитируются первая и последняя строфы стихотворения «Дар напрасный, дар случайный...» (1828; впервые, под заглавием «26 мая 1828 года»: СЦ на 1830 г.; вошло в 3-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1832)).

¹² Цитата из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829; впервые: ЛГ. 1830. Т. 1, № 2, 6 января; вошло в 3-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина»).

¹³ Строфа XLIV шестой главы «Евгения Онегина».

¹⁴ Полевой цитирует строфы XLVI и XLVII шестой главы «Евгения Онегина» по первому, отдельному изданию (СПб., 1828). В полном издании романа 1833 г. последние стихи строфы XLVI были изменены («В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья» вместо: «Среди бездушных гордецов, / Среди блистательных глупцов»), а строфа XLVII исключена; первоначальный вариант был приведен Пушкиным в своих примечаниях к роману.

¹⁵ Цитируется строфа XLVIII седьмой главы «Евгения Онегина».

¹⁶ Цитируется LI, последняя, строфа восьмой главы «Евгения Онегина».

¹⁷ Цитируются (с неточностями) строфы X и XI восьмой главы «Евгения Онегина».

¹⁸ Цитируются (с неточностями) строфы XXXVIII и XXXIX второй главы «Евгения Онегина».

¹⁹ Полевой приводит полностью стихотворение «Элегия» (1830; впервые: БдЧ. 1834. Т. 6, № 10. Отд. I; вошло в 4-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина» (СПб., 1835)).

²⁰ Цитата из строфы XVIII четвертой главы «Евгения Онегина».

²¹ Здесь, видимо, искажение в журнальном тексте. Ср. в «Очерках»: «Но суд и решение настоящего предоставим мы потомству».

²² В «Очерках»: «Разгадывайте и узнавайте его в собственных его признаниях».

²³ Ср. эту фразу в «Очерках»: «Даже для того, чтобы современники поняли великость своей потери и справедливость нашей печали и не почли нашей грусти за тщеславие, приличием, мы должны говорить о Пушкине как поэте».

²⁴ В «Очерках» эта фраза отсутствует.

²⁵ В «Очерках» на этом месте стоит точка и весь последующий текст до конца абзаца исключен. Рассуждение о пушкинской реформе языка русской поэзии (и только поэзии), следующее далее в журнальном тексте, с большой долей вероятности можно считать редакционной вставкой Сенковского. Ср. близкое по смыслу его замечание в «Первом письме трех тверских помещиков к барону Брамбеусу» (БдЧ. 1837. Т. 22, № 5. Отд. I. С. 93–94; см. примеч. 3 к статье Сенковского «Повести, изданные Александром Пушкиным» — наст. изд., с. 380–381).

²⁶ Фрагмент «Дети нашего поэта ~ капитал в триста тысяч рублей» в «Очерках» исключен. Милости Николая I семье поэта были означены в его собственноручной записке, переданной им 30 января Жуковскому (и составленной на основании письма Жуковского от 29 января). Этой запиской императора были определены основные установки «Опеки над детьми и имуществом Пушкина», учрежденной 3 февраля. Огласить милости семье покойного в официальном рескрипте, как это было в 1826 г. после смерти Карамзина и как просил Жуковский, Николай отказался (см.:

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 185–186, 190–192).

В печати сообщение о готовящемся полном собрании сочинений Пушкина появилось 25 февраля в № 4 журнала «Сын отечества»: «Мы слышали, что в скором времени приступлено будет к изданию полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Все произведения великого поэта нашего, стихотворные и прозаические, составят восемь томов, из коих последний будет заключать в себе сочинения, в первый раз появляющиеся в печать. Говорят, что издание будет роскошное» (с. 496). Объявление свидетельствует о том, что Греч и Булгарин к этому времени не обладали точной информацией. В первоначальном проекте Посмертного издания сочинений Пушкина, поданном Жуковским императору, было заявлено семь томов в 8-ю долю листа. Последний, седьмой, том должны были составить неизданные сочинения Пушкина и избранные письма. К первому предполагалось приложить биографическое известие о Пушкине. Все издание должно было быть выполнено к концу 1837 г. (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 192–193). План издания не вызвал возражений императора; 25 февраля Опекой была утверждена смета на семитомное издание, печатающееся тиражом 10 000 экземпляров (см.: Архив Опеки Пушкина. М., 1939. С. 170 (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 5)). Однако уже в ближайшее время этот план претерпел некоторые изменения, видимо связанные прежде всего с тем, что издатели реально оценили сложности, встающие перед ними при разборе пушкинских бумаг и публикации его неизданных сочинений. Кроме того, публикация рукописей Пушкина осложняла цензурный режим издания и могла помешать журналу «Современник», коммерческий успех которого в значительной мере ставился в зависимость от публикации в нем новых пушкинских текстов. В вышедшей 1 марта книжке «Библиотеки для чтения» еще объявлялось о скором выходе «полного собрания сочинений А. С. Пушкина, в семи частях, которые печатаются в числе десяти тысяч экземпляров» (Т. 21, № 3. Отд. VI. С. 31). Но 10 марта было составлено печатное объявление об издании «полных сочинений в стихах и прозе А. С. Пушкина» в шести томах в 8-ю долю листа «в пользу его семейства» и продолжении журнала «Современник» (см.: Архив Опеки Пушкина. С. 172–173). Распределение произведений по томам планировалось следующим образом: Т. 1. «Борис Годунов», «Драматические сцены», «Евгений Онегин»; Т. 2. Поэмы и повести в стихах; Т. 3–4. Лирические стихотворения, народные сказки, баллады, песни, послания, элегии, разные стихотворения; Т. 5. «История Пугачевского бунта»; Т. 6. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Повести Белкина», мелкие сочинения в прозе. О неизданных сочинениях не упоминалось; «биографические известия о Пушкине» должны были быть приложены к последнему тому. Сообщалось также, что все издание выйдет в начале 1838 г. и что «надзор за изданием» приняли на себя Жуковский, Вяземский и Плетнев. О тираже и цене издания в объявлении ничего сказано не было (ценз. разр. отдельного листка с объявлением — 23 марта). 13 марта это объявление было напечатано в «Северной пчеле» (№ 57), 24 марта — в «Московских ведомостях» (№ 24), а в конце мая разослано по России при циркулярном письме министра внутренних дел Д. Н. Блудова к губернаторам с предложением (учитывая, что циркуляр исходил от министра, — требованием) организовать подписку (см.: Архив Опеки Пушкина. С. 184; Андерсон В. Первое посмертное издание сочинений Пушкина // Русский библиофил. 1911. № 5. С. 82–83).

²⁷ Фраза об издании «Современника» в «Очерках» исключена как потерявшая к 1839 г. всякую актуальность. Сообщение о продолжении журнала «Современник» в 1837 г. в пользу семьи поэта было напечатано уже 13 февраля в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“»: «Литературный журнал „Современник“, на издание которого в 1837 году уже открыта была подписка покойным А. С. Пушкиным, будет издан в пользу его семейства на прежнем основании. В четырех томах, которые, как и в прошлом году, будут выходить через три месяца, поместятся многие неизвестные публике сочинения Пушкина, находящиеся в оставшихся после него бумагах. Изданием „Современника“ будут заведывать В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, князь В. Ф. Одоевский, П. А. Плетнев и А. А. Краевский. Все русские писатели приглашаются содействовать своими трудами в издании сего журнала, посвященного памяти Пушкина и пользе его семейства. Статьи для помещения в

нем могут быть доставлены в контору типографии Плюшара (состоящую в С.-Петербурге, в Большой Морской, в доме Косиковского, № 15) с подписью: *в редакцию „Современника“*, цена за все *четыре* тома, составляющие годовое издание, остается прежняя, 25 руб. ассигнац<иями>, с пересылкою 30 руб. ассигнациями. Подписка в С.-Петербурге принимается во всех книжных лавках. Иногородние могут адресоваться в газетную экспедицию» (№ 7. С. 67). 25 февраля «Сын отечества» объявлял: «„Современник“ будет продолжаться на 1837 год. План остается тот же. Редакциею будут заведывать Жуковский, кн. Вяземский, кн. Одоевский, гг. Плетнев и Краевский. Обещают в „Современнике“ многие сочинения Пушкина, еще не известные публике» (№ 4. С. 496). 13 марта объявление о продолжении «Современника» поместила «Северная пчела» (№ 57).

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ПУШКИНА

Совр. 1837. Т. 5 (выход в свет — первая декада июня). С. I–XVIII.

Самое раннее известное упоминание о пятом томе — отзыв Ф. И. Тютчева в письме к П. А. Вяземскому от 11 июня (см.: *Освоат А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальную повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985. С. 76–78; *Освоат А. Л.* Две реплики Тютчева по поводу смерти Пушкина // Пушкин и русская литература. Рига, 1986. С. 99–100); 17 июня Вяземский послал вышедший экземпляр И. И. Дмитриеву; в печати сообщение о выходе тома появилось 19 июня (ЛПРИ. 1837. № 25. С. 245).

Над статьей о смерти Пушкина, составленной в форме письма к его отцу, Жуковский начал работать буквально сразу же после смерти поэта. Как указывает дата перед текстом письма, к 15 февраля 1837 г. статья была уже закончена. 18 февраля А. И. Тургенев отметил в дневнике, что был у Жуковского и «читал его прекрасное письмо к отцу Пуш<кина>» (см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 253). Жуковский, который все последние дни провел в доме умирающего поэта, использовал собственные наблюдения и записи (конспективные заметки Жуковского опубликованы полностью: *Боричевский И. А.* Заметки Жуковского о гибели Пушкина // П. Врем. М.; Л., [Т.] 3. 1937. С. 372–379; текст записей 1–4 см. также: П. в восп. Т. 2. С. 339–341), свидетельства друзей-очевидцев, врачей В. Б. Шольца, И. Т. Спасского и В. И. Даля (см.: *Аммосов А. Н.* Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса. СПб., 1863; П. в восп. Т. 2. С. 318–334; записки врачей о болезни и смерти Пушкина см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 173–183; П. в восп. Т. 2. С. 229–233, 335–338). Уже 2 февраля была готова записка И. Т. Спасского (см. дневниковую запись А. И. Тургенева о ее чтении: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 250). 5 февраля Вяземский писал А. Я. Булгакову: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами» (РА. 1879. Т. 2, № 6. С. 246), а на следующий день просил его: «Сделай милость, не замедли выслать мне копию со вчерашнего письма моего: Жуковский требует его для составления общей реляции из очных наших ставок» (Там же. С. 247). В этот же день А. А. Краевский спрашивал у Одоевского, получит ли он для «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» «объявление о похоронах и последних днях» Пушкина (РС. 1904. № 6. С. 569).

В «Современнике» статью Жуковского предваряет краткое введение, само же письмо к отцу поэта напечатано со значительными изменениями и купюрами, сделанными по указанию Николая I. Эта вторая редакция письма была готова к 19 марта (см. в дневниковой записи А. И. Тургенева от этого числа: «...читал письмо Жуковского к отцу Пушкина с выпусками...» (*Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 254)). При прохождении статьи через цензуру Жуковский счел необходимым заручиться поддержкой С. С. Уварова. Его письмо к министру просвещения нарочито выдержано в тоне старой «арзамасской» дружбы: «Посылаю Вам, Старушка, офици-

альное письмо, при нем и сие небольшое арзамасское завывание; а при сем арзамасском завывании и статью о смерти Пушкина в двух, тако сказать, экземплярах, с такой изъяснительною прибабенкою: экземпляр-де, означенный № 1, был представлен м<н>ою лично государю императору с просьбою о позволении напечатать в „Современнике“. Государь, прочитав рукопись, сделал свои замечания и назначил, что выпустить. По указаниям государя я все выпустил, что относилось до него и где говорил о иностранцах поименно, что увидите сами, сравнив № 1 с безномерным экземпляром. Сей последний отдается в цензуру. Благоволите, батюшка Старушка, устремить на сии гусиным пером исчерканные страницы те части бытия вашего, в коих со времен Адама заключается зрительная способность сынов человеческих. Прочитайте с свойственным Вам благоразумием, столь приличным министру просвещения, избранного на сие высокое место доверенности монарха, страницы, истекшие из-под пера моего, и благоволите сунуть сие творение в раскрытую пасть цензуры, сей гладной коровы, пасущейся на тучных пажитиях литературы и жующей жвачку с каким-то философским самоотвержением; благоволите предписать сей корове, чтобы она поскорее изжевала статью мою и поскорее выплюнула, дабы я мог немедленно передать блевоту в тиснение в „Современнике“» (*Мазур Т. П., Малов Н. Н.* Новые данные о Пушкине из архива С. С. Уварова // Врем. ПК 1966. Л., 1969. С. 25–26).

Следует иметь в виду, что Жуковскому было предписано изъять все упоминания о дуэли и ране Пушкина, и из опубликованного текста письма сложно определить причину смерти поэта (сопоставительный анализ редакций письма см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 152–172; *Иезутова Р. В.* Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о смерти поэта: (К истории текста) // ПИМ. Л., 1989. Т. 13. С. 157–168). Кроме того, цель Жуковского была не только в том, чтобы запечатлеть последние минуты жизни Пушкина и сохранить их для будущего. Стремясь защитить в общем мнении жену поэта, обеспечить материальную помощь семье, а также сделать доступным его творческое наследие, близкие друзья старались создать и публично закрепить совершенно определенный образ Пушкина. «Описание Жуковского, — по характеристике П. Е. Щеголева, — носит чисто житейный характер. Кончина Пушкина представлена как идеал кончины во всей его житейной закругленности. Пушкин умер глубоким христианином, в примирении, любви и просветлении. В момент перехода от жизни к смерти он с необычайной силой выказал чувства своей преданности монарху, напоминающие по настроению чувства сына к отцу. Своей кончиной он дал всем очевидцам заветы любви к монарху. Наконец, всякому читателю ясно, что Пушкин умирал в непоколебленных чувствах любви и доверия к жене своей; мало того, он дал многочисленные свидетельства в пользу ее решительной невиновности. <...> ...в изображении Жуковского подчеркивается органическая связь настроения, проникавшего Пушкина в последние дни жизни, с жизнью его вообще» (*Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 139). События последних дней жизни несколько корректировались Жуковским в соответствии с этим создаваемым образом. В декабре 1847 г. Плетнев с горечью писал Я. К. Гроту: «Ты, кажется, не все разумел, что я думал, говоря об истории. Мне сердце ждала мысль, как неверно то, чем занимаемся мы с увлечением. Не от того дело портится, что много плохих историков, а от того, что это самое дело превышает естественные способы наши к его неукоризненному исполнению. Подобная мысль сжимает мое сердце уже во второй раз в жизни. В первый раз это было, когда я прочитал известную прекрасную статью Жуковского под названием „Последние минуты Пушкина“. Я был свидетель этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. Когда я прочитал Жуковского, я поражен был сбивчивостью и неточностью его рассказа. Тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история. Если бы я выше о себе думал, я тогда же мог бы хоть для себя сделать перемены в этой статье. Но время ушло. У меня самого потемнело и сбилось в голове все, казавшееся окрещшим навеки. Так и всегда бывает» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 159).

Большинство современников безоговорочно приняли статью Жуковского. Так, высоко оценила ее А. С. Сиркур, сестра приятеля Пушкина С. С. Хлюстина и жена французского публициста А. де Сиркура, которая 11 (23) декабря 1837 г. откликну-

лась на публикацию из Парижа: «Ваше письмо к отцу его прекрасно; мне кажется, что и я присутствовала при этих торжественных минутах, которые Вы описываете как друг и как историк. Я особенно потрясена этим первым выражением смерти, которому Вы придаете все достоинство, являющееся началом вечности. Это молния, которую Вы сумели закрепить навеки» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 152). В рецензии на пятый том «Современника» С. П. Шевырев справедливо заметил, что «едва ли какая-нибудь литература может указать нам на такой же подробный некрологический акт, которым теперь так печально обогатилась наша словесность. Мы не знаем с такою подробностью ни последних минут Гёте, ни Шиллера, ни Валтер Скотта. Мы этим обязаны друзьям Пушкина. Никто из современников наших не может без глубокого чувства внутренней скорби прочесть страниц, диктованных трогательною заботливостью дружбы и упитанных ее слезами» (МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 312; наст. изд., с. 241–242). «Первое, что с особенною, раздирающею душу грустию поражает внимание читателя в V томе прошлогоднего „Современника“, — отмечал год спустя В. Г. Белинский, — это письмо В. А. Жуковского к отцу поэта о смерти его сына...» (МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 148; наст. изд., с. 247). «Но прежде всего останьтесь с улыблением над статьею Жуковского о последних минутах Пушкина, — писал, в свою очередь, В. Ф. Одоевский в оставшейся не опубликованной рецензии на «Современник», — почтите слезою память знаменитого поэта, так рано отозванного от вас в вечность; запечатлейте в своей душе подробности предсмертных дней его и, слушая раздирающий душу рассказ о страданиях и муках невыносимых, которым подвергалось в нем то, что было землею, подивитесь могуществу души, не ослабевшей ни от каких телесных недугов и до последней минуты сохранившей свою энергию» (цит. по: Заборова Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // ПИМ. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 314).

Во время работы над статьей Жуковский занимался и другими срочными делами, связанными со смертью Пушкина. 29 января он составил проект рескрипта, в котором были перечислены все пункты, вошедшие в записку Николая I о «милостях» семье поэта (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 190–192), под надзором начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта разбирал пушкинские бумаги (подробнее см.: Цяловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина // Цяловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 276–334), начал подготовку Посмертного издания и следующего, пятого, тома «Современника». Свой новый взгляд на отношения поэта с властью, сложившийся под впечатлением знакомства с личными бумагами Пушкина, Жуковский выразил в раздраженном письме шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу от 25 февраля — 8 марта 1837 г. (см.: П. в восп. Т. 2. С. 355–368). В том же письме Жуковский требовал для себя и беспрепятственного доступа к рукописям поэта: «Приступая к напечатанию Полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги „Современника“, я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их <из> своих рук и не позволять списывать ничего, кроме единственно того, что будет выбрано мною самим для помещения в „Современнике“ и в полном издании сочинений Пушкина с одобрения цензуры. <...> Смерть его все обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его буйные годы первой молодости и которое давило пылкою душу его до самого гроба, теперь должно, и, к несчастью, слишком поздно, уничтожиться перед явною очевидностью. Мы разобрали все его бумаги. Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном против правительства и вредного нравственности. Вместо того нашли бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей...» (П. в восп. Т. 2. С. 356, 358).

В редакцию «Современника», кроме Жуковского, вошли П. А. Вяземский, А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский и П. А. Плетнев. Жуковский указал ответственных за каждый том: «Книжки выдать по очереди: 1-ю Плетневым, 2-ю Краевским, 3-ю Одоевским, 4-ю Вяземским. Они заведывают отношениями с цензурою, с типографиею, корректорами и с комиссионерами. Составление статей принадлежит всем. Присылаемые статьи принимать и рассматривать очередно» (см.: Глинский Б. Б. Загробный журнал Пушкина // ИВ. 1897. № 1. С. 255–256). Вяземский в конце февраля просил «уступить» ему пятый том, так как у него имелись материалы, подготов-

ленные для неосуществленного сборника «Старина и новизна», которые он мог «перенести в „Современник“» (Из собрания автографов Императорской Публичной библиотеки: Письма и записки к Н. И. Гнедичу. Письма князя П. А. Вяземского. СПб., 1898. С. 76, 77). Подготовка тома, предварительный план которого был составлен Жуковским (см.: ЛН. Т. 58. С. 151), шла медленно. 13 марта он жаловался Сергею Львовичу Пушкину: «Мы занимаемся теперь изданием „Современника“; но нас семь няnek, и оттого все что-то не подвигается вперед» (ПиС. Вып. 8. СПб., 1908. С. 57), а через месяц призывал Одоевского окончить «все вместе»: «Вы будете правлять одно, я другое, так все и будет в шляпе» (РС. 1901. № 7. С. 106). 2 мая Жуковский уехал в путешествие с наследником по России, и основные заботы по изданию легли, видимо, на П. А. Вяземского. 24 мая Вяземский сообщил П. В. Нащокину: «1-я книжка „Современника“ подходит к концу» (ЛН. Т. 58. С. 146). 17 июня он послал только что вышедший том И. И. Дмитриеву со словами: «Тут и скорбь моя, и заботы, и болезнь, все, что тягило и развлекало меня...» (РА. 1868. № 4–5. Стб. 654). После выхода тома Вяземский пытался исправить некоторые упущения и типографские погрешности. Так, 20 июня он просил Одоевского переплести два экземпляра «Современника», чтобы через М. Ю. Виельгорского поднести их царю и царице, и прибавлял: «Да велите вклеить снимок „Молитвы“ в начале книги, и вообще велите их вклеить во все экземпляры, которые еще не розданы. На обертке второго № и на следующих должно непременно вставить: *в пользу семейства его*, чего нет в заглавии первой книжки...» (Из собрания автографов Императорской Публичной библиотеки. С. 80).

Большую часть пятого тома «Современника» составляли собственно пушкинские произведения: «Медный всадник», стихотворения «Герой», «Д. В. Давыдову» («Тебе певцу, тебе герою...»), «Была пора: наш праздник молодой...» (под заглавием «Липейская годовщина. 1836»), «Отцы пустытники и жены непорочны...» (под заглавием «Молитва») и «...Вновь я посетил...» (под заглавием «Отрывок» («Опять на родине! Я посетил...»)), «<Сцены из рыцарских времен>», статьи «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», «<О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“>», «<Примечание к записке „О древней и новой России“>». Из не пушкинских материалов в разделе «Стихотворения» опубликованы «Цветок» Жуковского, «На память» Вяземского, «Осень» Е. А. Баратынского, произведения Э. И. Губера, Н. М. Языкова, И. И. Козлова, В. Г. Бенедиктова и др. В отделе «Проза» — глава из книги Вяземского о Д. И. Фонвизине, повесть В. Ф. Одоевского «Сильфида», «Отрывок из записной книжки путешественника» и заграничная корреспонденция А. И. Тургенева («Хроника русского»), «исторические сцены» М. П. Погодина «Смерть царя Бориса Феодоровича Годунова».

¹ О первоначальном плане Посмертного издания сочинений Пушкина см. примеч. 26 к статье Н. А. Полевого «Пушкин» — наст. изд., с. 520. Вместо заявленных шести издание вышло в восьми томах (увеличение объема произошло потому, что по два тома заняли «История Пугачевского бунта» и прозаические произведения Пушкина). Здесь Жуковский впервые заявляет в печати о продолжении издания томами неизданных ранее произведений Пушкина. В целом Посмертное издание составили одиннадцать томов. Первые восемь вышли к концу 1838 г. На заседании 30 ноября 1838 г. Опека утвердила к распространению объявление, где, в частности, говорилось: «Опекою объявлено было и подписка принималась на шесть томов — но как число собранных сочинений оказалось значительно и не могло быть вмещено в шести предположенных томах, то и издано восемь томов. При них прилагается портрет А. С. Пушкина, гравированный г. Уткиным, и снимок его почерка. Биографические же о нем известия не могли быть изданы ныне Опекою, по несобранию полных сведений о литературном поприще Пушкина, тем более что она приступит вслед за сим к изданию найденных по смерти А. С. Пушкина непечатанных сочинений его. О чем и будет сделано особое объявление. — Прибавочные против объявления упомянутые два тома раздаются безденежно лицам, имеющим право на получение первых шести томов» (Архив Опекы Пушкина. М., 1939. С. 387 (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 5)). Три последних, дополнительных, тома (IX–XI) печатались на других условиях и вышли в 1841 г.

² В текст «Современника» не включен следующий абзац из первоначальной редакции письма: «И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастьем, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась, в одном — чувством испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзией» (*Шеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 153).

³ После этих слов у Жуковского шел рассказ о дуэли, который в печатном тексте исключен: «Дуэль была решена накануне (во вторник 26 января); утром 27<-го> числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем, полковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидаясь спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим „Современником“ и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице „Русской истории для детей“, трудившейся для его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пьесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания, так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти; ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны. По условию, Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется, в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в < >* часов. Данзас уже его дожидаясь с санями; поехали; избранное место было в лесу у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выбору места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходитьсь. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец, вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Je suis blessé**, — сказал он, падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: Ne bougez pas; je me sens encore assez fort, pour tirer mon coup***. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробилла мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки****: эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил

* Здесь Жуковским был оставлен пропуск в рукописи. — *Ред.*

** Я ранен (*франц.*). — *Ред.*

*** Не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел (*франц.*). — *Ред.*

**** Ложка — здесь в значении: ложечка (*прост.*) — конец грудной кости, образующий впадину под ребрами.

вверх пистолет и закричал: Bravo! Между тем кровь лила из раны; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довели его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты» (*Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 154–155*). Жуковский писал о дуэли со слов К. К. Данзаса (ср.: П. в восп. Т. 2. С. 324–328).

⁴ Фамилия петербургского врача Х. Х. Саломона (1797–1851) напечатана с ошибкой (Соломона); ниже, при очередном упоминании, фамилия названа верно. По поводу опечаток в пятом томе «Современника» было много нареканий. М. П. Погодин отчитывал Краевского: «Что это, как напечатан „Современник“? Стыдно! Опечатка на опечатке. Хоть бы Пушкина пощадили» (см.: *Основат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...»*. С. 79; см. также замечания С. П. Шевырева — МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 317–318; наст. изд., с. 244).

⁵ Пушкин просил прощения у государя, по-видимому, за то, что дрался на дуэли. См. письмо Е. А. Карамзиной к сыну Андрею от 2 февраля 1837 г.: «После истории со своей первой дуэлью П<ушкин> обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков<ского> просить прощения у гос<ударя> в том, что он не сдержал слова...» (Пушкин в письмах Карамзинных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 170).

⁶ Ср. в письме Вяземского А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г.: «Арендт, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видал ничего подобного: такое терпение при таких страданиях!» (РА. 1879. Т. 2, № 6. С. 245).

⁷ ни даже (*устар.*).

⁸ Далее в тексте «Современника» выпущена фраза: «Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: не мстить за меня! Я все простил» (*Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 159*).

⁹ Сын Н. И. Греча Николай умер 25 января 1837 г.

¹⁰ Последние два предложения заменили следующий первоначальный текст письма: «Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. „Я не лягу, я буду ждать“, — стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? „Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение“.

Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. „Я не лягу, я буду ждать!“ О чем же он думал в эти минуты? где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею.

В ту же минуту было исполнено угаданное желание государя. Послали за священником в близкую церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством.

Когда Арендт прочитал Пушкину письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: „Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?“ Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя.

Он скоро потом уехал» (*Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 159–160*).

П. Е. Щеголев, основываясь на свидетельствах очевидцев и имеющихся фактах, подверг сомнению эпизоды с запиской государя (текст ее не сохранился) и ответом умирающего Пушкина (подробнее см.: Там же. С. 144–150).

¹¹ Ср. в письме А. И. Тургенева к неизвестному от 29 января: «Ночью он кричал ужасно; почти упал на пол в конвульсии страдания. Благое провидение в эти самые 10 минут послало сон жене; она не слыхала криков; последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице: после он еще не кричал» (ПиС. СПб., 1908. Вып. 6. С. 54).

¹² Е. А. Карамзина сообщала 30 января сыну Андрею о смерти Пушкина и о последнем свидании с ним: «Россия потеряла Пушкина! Он дрался в среду на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчера, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожалала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издала крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: „Перекрестите еще“, тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице» (Пушкин в письмах Карамзиных. С. 166).

¹³ Ср. в записке В. И. Дая: «С утра пульс был крайне мал, слаб, част, — но с полудня стал он подниматься, а к 6-му часу ударял 120 в минуту и стал полнее и тверже; в то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Арндта наставлений приставили мы с доктором Спасским тотчас 25 пиявок и послали за Арндтом. Он приехал, одобрил распоряжение наше. Большой наш твердую рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно допускал нас около себя копать» (П. в восп. Т. 2. С. 230).

¹⁴ Воспроизведение плана пушкинской квартиры, составленного Жуковским на момент смерти поэта, см.: *Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина*. С. 166–167.

¹⁵ Жуковскому не разрешено было упоминать иностранцев, пришедших проститься с Пушкиным. Поэтому фамилии французского посла в Петербурге барона А.-Г.-П. де Баранта и саксонского посланника барона К. А. Люцероде из текста письма для «Современника» были вычеркнуты.

¹⁶ Посмертная маска Пушкина и его бюст выполнены скульптором С. И. Гальбергом (1787–1839), которому поэт посвятил стихотворение «К бюсту завоевателя» (1829).

¹⁷ Отпевание Пушкина должно было проходить в Исаакиевском соборе, однако, опасаясь стечения большого количества народа и беспорядков, тело поэта перенесли в придворную Конюшенную церковь, о чем с возмущением писал Жуковский шефу корпуса жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после по слухам). <...> Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившего, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаюсь, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело» (П. в восп. Т. 2. С. 368).

¹⁸ Следующий далее заключительный абзац статьи написан А. И. Тургеневым, сопроводившим гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь и присутствовавшим при погребении. См. запись в дневнике Тургенева от 5 марта 1837 г.: «...я писал добавление к письму Жук<овского> о Пушк<ине> и послал его к Жук<овско-му>» (*Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина*. С. 254).

¹⁹ Речь идет о стихотворении «...Вновь я посетил...», которое опубликовано в пятом томе «Современника» (с. 320–322) под заглавием «Отрывок» («Опять на родине! Я посетил...»).

²⁰ Надежда Осиповна Пушкина умерла 29 марта 1836 г. и 13 апреля была похоронена в Святогорском монастыре.

Н. В. КУКОЛЬНИК

ПИСЬМО В ПАРИЖ

<Отрывок>

Художественная газета. 1837. № 9–10 (выход в свет последние числа июня — первые числа июля — дата ценз. разр. 28 июня). С. 157–166; приводимый отрывок — с. 160–162.

Извещение о смерти Пушкина появилось в первом номере «Художественной газеты», вышедшем 8 февраля (СПч. 1837. № 30, 8 февраля). На последней странице номера был помещен следующий текст в траурной рамке:

«Post-Scriptum. 29-го истекшего января в два часа и 3/4 пополудни скончался в С.-Петербурге Александр Сергеевич Пушкин.

Имея в руках доску с портретом, сделанным с великого поэта в молодых летах, мы сочли обязанностью сообщить оттиски с него нашим читателям, не как портрет современный, а как воспоминание.

P<едактор> H<иколай> K<укольник>».

С этим номером читателям раздавались оттиски с гравюры Е. И. Гейтмана (см. ниже примеч. 3).

«Письмо в Париж» посвящено новостям петербургской художественной жизни. Говоря о них, Кукольник ссылается на «летопись» — своего рода хронику достижений отечественных художеств, которую он постоянно вел для себя (см. в этой же статье: «...если бы я даже и перестал издавать газету, то не прекратил бы моих занятий по истории художеств, постарался бы сохранить круг лучшего знакомства, это с художниками, и продолжал бы вести мою летопись...» — с. 159). В статье перечислены не все прижизненные изображения Пушкина. Подробнее см.: Puschkiniana / Сост. В. И. Межов. СПб., 1886; *Либрович С.* Пушкин в портретах: История изображения поэта. СПб., 1890; Пушкин и его друзья: Портреты и рисунки. / Под ред. И. С. Зильберштейна. М., 1937; *Павлова Е. В.* А. С. Пушкин в портретах. 2-е изд. М., 1989.

¹ Портрет 1827 г. (холст, масло; 63 × 74). Принадлежал А. А. Дельвигу; после его смерти Пушкин купил у вдовы портрет, хранившийся с тех пор в семье Пушкиных. Ныне находится в Третьяковской галерее.

² Кукольник имеет в виду портрет кисти В. А. Тропинина (холст, масло; 68,5 × 56). Был написан по заказу С. А. Соболевского в 1827 г.; после отъезда Соболевского осенью 1828 г. за границу портрет среди прочих его вещей оставался на хранении друзей в Москве, по недосмотру был подменен копией и долгое время считался утраченным; с середины 1850-х гг. находился у директора Московского архива иностранных дел М. А. Оболенского. Ныне во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

³ Гравюра на меди Е. И. Гейтмана (12,8 × 9,7). Подготовительный рисунок к гравюре был сделан К. П. Брюлловым на основании акварельного портрета, написанного с натуры лицейским учителем рисования С. Г. Чириковым (см.: *Павлова Е. В.* А. С. Пушкин в портретах. С. 10–17; *Февчук Л. П.* О некоторых прижизненных графических портретах Пушкина // Врем. ПК. Л., 1986. Вып. 20. С. 121–126). Гравюра Гейтмана была приложена в качестве фронтисписа к изданию поэмы «Кавказский пленник» (СПб., 1822) со следующей сопроводительной заметкой: «Издатели присокупают портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что прият-

но сохранить юные черты поэта, которого первые произведения озаменованы даром необыкновенным» (с. 49). По этому поводу Пушкин писал Н. И. Гнедичу, издателю поэмы, 27 сентября 1822 г.: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли; примечание издателей очень лестно — не знаю, справедливо ли» (XIII, 48). «Недостаток оттисков с сего портрета», на который указывает автор статьи, происходил оттого, что своего согласия на отдельное издание портрета Пушкин не дал (см. в том же письме Пушкина Н. И. Гнедичу — XIII, 49).

⁴ Гравюра на меди 1827 г. Н. И. Уткина (9,3 × 7,8) по портрету О. А. Кипренского была заказана А. А. Дельвигом для альманаха «Северные цветы» на 1828 г.; продавалась также отдельными оттисками. Выполненная вторым тиснением, гравюра была приложена также ко второму изданию «Руслана и Людмилы» (1828) и к альманаху «Подснежник» на 1829 г. Уткинский портрет был самым популярным изображением поэта.

⁵ Гравюра на стали (16,5 × 12,4) английского гравера и живописца Т. Райта по его рисунку с натуры, выполненному в декабре 1836 г. Оригинал (сепия) был в альбоме М. Ю. Вильгорского; ныне утрачен.

⁶ Литография поступила в продажу к 20 февраля 1837 г. (см.: СПЧ. 1837. № 41, 20 февраля).

⁷ Литография А. И. Клиндера первоначально должна была выйти с надписью «Погас огонь на алтаре», не пропущенной цензурой (см.: *Беляев М.* Заметки на полях книги С. Либровича «Пушкин в портретах» // ЛН. М., 1934. Т. 16–18. 1934. С. 978).

⁸ Литография Р. Коношенко 1837 г. (43,2 × 27,8).

⁹ Рисунок Ф. А. Бруни (бумага, итальянский карандаш; 24,5 × 33,7) сделан 30 января 1837 г. (ныне находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)), по нему выполнена автолитография. См. в воспоминаниях В. Н. Давыдова, посетившего в этот день квартиру умершего поэта: «При входе налево, в углу, стояли один на другом два простых сундука, на верхнем — стул, на котором перед мольбертом сидел Бруни, снимавший портрет с лежавшего в гробу, головой к окнам во двор, Пушкина» (РС. 1887. № 4. С. 162).

¹⁰ На картине Г. Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу» (холст, масло; 212 × 345; 1832–1837) Пушкин, Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский и И. А. Крылов изображены в числе зрителей парада. Сохранился этюд маслом (27 × 22; 1832) четырех поэтов (Пушкина, Жуковского, Крылова, Греча) на фоне Летнего сада (ныне во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)). Авторская литография с портретами четырех поэтов сделана по этому этюду в 1837 г.

¹¹ Магазин художественных произведений А. Прево находился в доме Голландской церкви на Невском пр. (ныне № 20); там проходили выставки и продажи картин Общества поощрения художеств.

¹² Посмертная маска (гипс; 21,7 × 15 × 11) была снята скульптором С. И. Гальбергом и формовщиком П. Балиным 29 января 1837 г., сразу после смерти поэта. По заказу продавца художественных изделий Л. Палацци, вероятно П. Балиным, была выполнена посмертная маска с добавлением волос и бакенбардов (гипс; 29 × 23,6 × 16,2), вошедшая в иконографию под названием «маска Палацци» (см.: *Павлова Е. В.* А. С. Пушкин в портретах. С. 70–71; Московская изобразительная пушкиниана. М., 1991. С. 9).

¹³ Статуэтка из тонированного гипса (44 × 15 × 14; 1837).

¹⁴ Бронзовый бюст (56 × 30 × 23) 1837 г.

К. А. ПОЛЕВОЙ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Живописное обозрение. 1837. Т. 3, л. 10 (выход в свет 26–29 сентября — МВед. 1836. Прибавление к № 78, 29 сентября). С. 77–80. Без подписи. Авторство К. А. Полевого указано Г. Н. Геннади (см.: Приложения к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым. СПб., 1860. С. 160). При статье был напечатан портрет Пушкина (по гравюре с картины О. А. Кипренского).

¹ Имеются в виду «Стихотворения Александра Пушкина», первые две части которых были изданы в Петербурге в 1829 г., третья — в 1832 г., четвертая — в 1835 г.

² Имеется в виду посмертно изданная книга французского писателя и публициста Никола Себастьяна Шамфора (Chamfort; 1741–1794) «Максимы и мысли, афоризмы и анекдоты» («Maximes et pensées. Caractères et anecdotes»), куда вошли остроты и анекдоты Шамфора, которые он записывал на протяжении своей жизни.

³ Цитата из «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824).

⁴ Имеется в виду «История Петра», над которой начал работать Пушкин.

⁵ Речь идет о «Современнике». 15 февраля 1836 г. К. А. Полевой обратился к Пушкину с письмом, где предлагал себя в качестве московского комиссионера по продаже журнала (см.: XVI, 86). Уже 4 марта 1836 г. в «Прибавлениях» к «Московским ведомостям» (№ 19) появилось объявление о подписке на «Современник», открытой в книжной лавке Полевого на Тверской.

⁶ По сведениям С. Л. Пушкина, его сын «первое воспитание получил в родительском доме, где учился языкам — русскому, французскому, немецкому и английскому» (Биографическая заметка отца поэта С. Л. Пушкина // Огонек. 1927. № 7 (203), 13 февраля. С. 1). «Приобретенные в детстве знания были, вероятно, самыми начальными и непрочными, а в Лицее, где английский язык не преподавался и отсутствовал в общении, Пушкин должен был их основательно забыть» (Рак В. Д. Английская литература // ПИМ. СПб., 2004. Т. 18–19: Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 12). Пушкин занимался английским языком с Н. Н. Раевским-младшим летом 1820 г., но эти занятия были недолговременными. Только в 1828 г. Пушкин в четыре месяца выучил английский язык настолько, что читал «как на своем родном языке» Байрона и Шекспира (МТ. 1829. Ч. 27. № 11. С. 390; П. в критике, П. С. 190).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В. ПЛАКСИН

ВЗГЛЯД НА ПОСЛЕДНИЕ УСПЕХИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 1833 И 1834 ГОДОВ

<Отрывок>

Летопись факультетов на 1835 год, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксиным. СПб., 1835. Кн. 1 (после 30 апреля 1835 г. — даты ценз. разр.). Из отдела «Критика». С. 15–33; приводимый отрывок — с. 30–31.

О В. Т. Плаксине см.: П. в критике, III. С. 360. «Летопись факультетов», как пояснили издатели в предисловии, была задумана как сборник «дельных статей», хранящихся в «портфелях с<анкт>-петербургских г<оспод>д литераторов и ученых», «из которых, однако ж, многие, с одной стороны, слишком пространны и серьезны для журнального, или так называемого легкого, чтения, с другой стороны, кратки, мелки, брошюрны, чтобы могли составлять собственно книги» (с. 1). На самом деле в книге нет ни одного материала, который был бы слишком «серьезен» для периодики либо превышал допустимый объем журнальной статьи. Книга открывается небольшим стихотворным отделом, далее следует отдел прозы, разделенный на тематические рубрики: «Критика», «Эстетика и археология искусств», «Театр», «Педагогия», «История человечества», «Правоведение» и др. Статья Плаксина полемична по отношению к тезису о подражательности и бедности современной русской словесности, неоднократно выдвигавшемуся современной Плаксину критикой. Считая, что подражательный, ученический, период нашей литературы кончился, он ставит своей целью «доказать существование у нас литературы, проявляющей свой особенный характер, и существование писателей, действующих по своим идеям» (с. 21). «...Последние два года, — по мнению Плаксина, — ознаменованы счастливым появлением сильных талантов, украшенных новым просвещением, талантов деятельных» (Там же). Между новыми прозаиками он выделяет в первую очередь О. И. Сенковского, очень высоко оценивает его «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833) и статью «Скандинавские саги» в № 1 «Библиотеки для чтения» за 1834 г., однако упрекает писателя за тон и «направление» его критических статей, в которых видит намерение «осмеянием унижать принятые и уважаемые другими мнения, не созида новых» (с. 23). Далее следует развернутый отзыв о повестях В. Ф. Одоевского, напечатанных под псевдонимом «Безгласный»; далее перечислены новые литературные имена, по первым произведениям которых «можно предсказать им значительный участок славы», — А. В. Шидловский, автор повести «Последний консул в Кафе» (БдЧ. 1834. Т. 5, № 8–9. Отд. I), А. И. Шлихтер, автор «Жертвы порока» (Там же. № 9. Отд. I) и «Смолянки» (СПб., 1834), и некий В. П., автор романа «Встреча у цыган» (СПб., 1834) (с. 25–26). Несколько страниц Плаксин посвящает трем «решительно самостоятельным пиитическим талантам» (с. 26) — Н. В. Кукольникову, А. В. Тимофееву и П. П. Ершову. Непосредственно за этим следует приводимый в настоящем издании фрагмент с упоминанием Пушкина. В заключение своего обзора Плаксин останавливается на состоянии русской драматической литературы. Здесь особого внимания достойны его критические высказывания по поводу современной комедии и оценка «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «...что касается до коме-

дии, то, в самом деле, она у нас совсем остановилась; да и надобно признаться, нет надежды видеть скоро движение оной, потому что каждый круг нашего общества, от подражательности, имеет совершенно особый характер жизни; так что высший круг не узнает низшего, а этот не понимает высшего. Одни не могут вообразить иных нравов, кроме французских, другие хотят видеть только полуазиатскую жизнь; и потому писатели никак не могут угодить столь разнохарактерному обществу. Комик представляет офранцузившегося барина — простолюдин этого не понимает, человек среднего и забавного; и обратно то же можно сказать об изображении низших нравов. Оттого у нас появление оригинальных комедий не производит никакого действия; иногда они остаются совсем незамеченными, как, напр<имер>, комедия „Смешны мне люди“ Перцова; да и „Горе от ума“ кому нравится? только литераторам и молодым людям — новому поколению. Вот что отбивает охоту трудиться над произведением новых оригинальных комедий!» (с. 32).

¹ Имеется в виду стихотворение И. И. Козлова «Моя молитва» (БдЧ. 1834. Т. 1).

² Роман Н. И. Греча (СПб., 1834. Ч. 1–4).

³ Повесть А. А. Бестужева (Марлинского), напечатанная в журнале «Сын отечества» в 1833 г. (Т. 34, № 9–14; Т. 35, № 15–17).

⁴ «Мореход Никитин» — повесть А. А. Бестужева (Марлинского), напечатанная в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 г. (Т. 4, № 6).

⁵ Роман А. Ф. Вельтмана (М., 1833. Ч. 1–3).

⁶ Роман Н. А. Полевого (М., 1834. Ч. 1–4).

П. Е. ГЕОРГИЕВСКИЙ

РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<Отрывки>

Руководство к изучению русской словесности, содержащее общие понятия об изящных искусствах, теорию красноречия, пиитику и краткую историю литературы, составленное профессором Императорского Царскоевельского лицея и Императорского Училища правоведения Петром Георгиевским. СПб., 1836. Ч. 1–4; приводимые отрывки — Ч. 3. С. 212–215; Ч. 4. С. 244–247, 285–288. Дата цензурного разрешения книги 15 мая 1836 г.; вышла в свет, по-видимому, в сентябре — первых числах октября (10 и 13 октября датированы дарительные записи автора на экземплярах Пушкина и П. А. Плетнева, см. ниже).

Петр Егорович Георгиевский (1791–1852) с 1815 г. преподавал в Царскоевельском лицее латинскую и русскую словесность. В то время, когда в Лицее учился Пушкин, Георгиевский был адъюнктом при профессоре Н. Ф. Кошанском, затем, с 1828 г., в связи с болезнью Кошанского, занял его место, получив профессорское звание. Помимо Лицея Георгиевский с 1835 г. также преподавал славянский язык и русскую словесность в Училище правоведения (см. о нем: Русский биографический словарь. М., 1914. Т. «Гааг — Гербель». С. 429–430; *Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899. С. 480; Черейский. С. 98; также вступительную статью Б. С. Мейлаха к публикации лицейских лекций по записям А. М. Горчакова — Красный архив. 1937. № 1 (80). С. 88–90). Пушкинскому курсу Георгиевский читал «Введение в эстетику» и, по-видимому в период болезни Кошанского, — лекции по красноречию. Сохранились записи этих лекций, сделанные А. М. Горчаковым (см.: Красный архив. 1937. № 1 (80). С. 129–203). Очевидно проигрывая от сравнения с Кошанским, Георгиевский не пользовался большой популярностью у лицеистов, смеявшихся над напыщенностью его речи. М. А. Корф охарактеризовал его как «схолоста и педанта, который не умел ничего сказать просто и отличался самым надутым красноречием» (*Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. С. 226), но признавал, что «на дне <...> высокопарных фраз таились по крайней мере довольно основательные познания» (Там же. С. 235; анализ лекций Георгиевского

см.: Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 103–114). В лицейском дневнике Пушкина сохранилась запись куплетов на Георгиевского (XII, 298–299; см. также: Грот К. Я. Пушкинский лицей. СПб., 1998. С. 268–269).

В 1835 г. в Петербурге вышло «Руководство к изучению русской словесности, содержащее языкоучение, общую риторику и теорию слога прозаических и стихотворных сочинений, составленное профессором Императорского Царскосельского лицея Петром Георгиевским» — первая книга лекционного курса Георгиевского. В настоящем издании печатаются отрывки из следующей книги «Руководства...», изданной в 1836 г. в четырех частях. Первая часть посвящена общей теории изящных искусств, вторая — теории красноречия, третья — пиитике, четвертая — истории литературы. Приводя во второй части примеры произведений русских писателей в разных родах, Георгиевский не раз упоминает имя Пушкина. Среди русских повестей названы «хорошо рассказанные „Повести Белкина“» (с. 70), Пушкин причислен, наряду с И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, К. Н. Батюшковым, М. Н. Муравьевым и П. А. Вяземским, к лучшим сочинителям стихотворных посланий (с. 89), упоминается среди авторов современных сатир (с. 121), пушкинское стихотворение «Жених» (под названием «Наташа») приводится в пример того, «до какой степени он освоился с русским духом» (с. 91), «Руслан и Людмила» — в пример романтической поэмы (с. 175–176), высоко оценены сказки, особенно «Сказка о Царе Салтане» («Отделенная от сора и нечистоты и сохранившая только свое золото, русская сказка у него золотозвучными стихами извывается по чудесной области народно-романтического» — с. 178). Отдельного разбора удостоился только «Борис Годунов». Этот разбор в высшей степени характерен: он является своего рода производной от критических статей, появившихся после выхода в свет пушкинской трагедии, и представляет собой, таким образом, некое среднее, суммарное мнение русской критики о «Борисе Годунове».

Четвертая, историко-литературная, часть «Руководства...» начинается с обозрения древних литератур. Русскому XIX веку посвящены три последние главы («Взгляд на успехи языка и литературы в XIX веке», «О русских прозаиках XIX века, с обозрением настоящего состояния русской прозы» и «О русских поэтах XIX века, с обозрением настоящего состояния русской поэзии»). В первой из них о Пушкине говорится в связи с периодизацией русской литературы. Суждения автора руководства и здесь также не отличаются оригинальностью. В связи с исторической прозой упоминается «История Пугачевского бунта» — «полное изображение сего плачевного эпизода царствования счастливого». «Ясность, отчетливость и особенная сжатость слога — все это служит доказательством дарования исторического, — пишет Георгиевский. — Лучшее похвалю для первоклассного нашего поэта служит то, что он, зная непреложные законы каждого изящного искусства, сумел быть не-поэтом в истории» (с. 265). Среди повестей названа «Пиковая дама». В ней отмечены герой повести — «создание истинно оригинальное, плод глубокого познания сердца человеческого», а также «с легкостью и изяществом» изображенные «некоторые лица, подсмотренные в самом обществе» (с. 269). Наконец, говоря о лирической поэзии, Георгиевский дает краткую общую характеристику творчества Пушкина.

Экземпляр «Руководства...» с дарственной надписью («Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину с чувством отличного уважения сочинитель. 10 октября, 1836») сохранился в библиотеке Пушкина (Библиотека П. № 88). В этом экземпляре разрезаны только с. 285–288 четвертой части (соответствующие приводимому в настоящем издании третьему фрагменту). Экземпляр с дарственной надписью П. А. Плетневу, датированной 13 октября, находится в библиотеке Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.

На выход «Руководства...» откликнулась благожелательной в целом рецензией «Северная пчела» (1836. № 230, 8 октября). Рецензент (Я. Турунов), впрочем, высказал автору руководства некоторые замечания. В частности, ему показалось неоправданным включение в ряд разбираемых произведений драм Н. В. Кукольника. «Мы уже сказали, что в учебной книге довольно говорить об образцовых произведениях, которых достоинства оценены и временем, и критикою, — писал он. — При этом невольно нападаешь на вопрос: как же говорить о произведениях настоящей эпохи? Говорить ли о них наравне с литературными творениями, доставившими себе

свою знаменитостию место почетное и в теории, и в истории литературы? Вопрос затруднительный: если для учебной книги существуют особые условия, если не все, что пользуется современными похвалами, может иметь место в учебнике, то как поступать тогда? Возьмем для примера современного нам поэта Н. В. Кукольника. Я всегда скажу, что создания его музы делают честь русской поэзии, но никогда не скажу, чтобы его творения были уже оценены временем и критикою, никогда не скажу, что Кукольник занимает одинаковое место с Державиным или Пушкиным! Имена Державина и Пушкина принадлежат уже истории литературы именно потому, что события литературные то же самое, что события исторические. Дабы справедливее судить об них, должно находиться в некотором отдалении». На фоне внимания, оказанного Георгиевским Кукольнику, еще заметнее становилось отсутствие в «Руководстве...» разбора «Горя от ума» Грибоедова, что также отметил рецензент «Пчелы». Спустя полтора месяца в «Северной пчеле» была напечатана статья В. С. Межевича «Несколько слов о книге г. профессора Георгиевского „Руководство к изучению русской словесности, и проч.“» (1836. № 271, 26 ноября). Межевич язвительно критиковал Георгиевского за неоригинальность мнений и архаизм литературных взглядов. «Этот новый курс, — писал он, — самый кроткий, самый добрый, самый невинный! Случалось ли вам видеть в каком-нибудь обществе доброго старика, который не хочет выказать немощи своей перед молодыми людьми, его окружающими, не хочет, может быть, по доброте души резко отделиться от них и старается подделаться под их лета, их мысли, их склонности? Разговор зайдет, например, о театре; кипящая юность спорит о Викторе Гюго, читает целые тирады из его трагедий, и добрый старец, не желая играть безмолвного лица в этой беседе, присоединяется к ней, заговорит о Викторе Гюго и съедет на Расина, и пламенные стихи первого сольются с звучными стихами второго!.. Зайдет ли речь о Пушкине — старец не отстанет и, перенесшись невольным образом к воспоминаниям цветущих лет своих, он отвечает на энергические стихи юности вялыми стихами Сумарокова... Можно ли винить его за это? Нет! Вините время, которое так резко отделило два поколения, но уважайте доброго старца, который, сливаясь душою с вами, тем самым показывает к вам свое уважение, свое желание дружить с вами и чувством, и мыслию, но, бессильный, не может поспеть за кипящими юношами. — Таково „Руководство к словесности“ г. Георгиевского: это именно старец, который хочет *жить с веком наравне*».

¹ *Протей* — см. примеч. 8 к статье Н. И. Греча «Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому», наст. изд. с. 365.

² В стихотворении «К морю» (1824).

³ Георгиевский ориентируется на время выхода отдельного издания «Бориса Годунова» (СПб., 1831), упуская из виду, что он был написан ранее «Полтавы», о чем автор «Руководства...» не мог не знать и из упоминаний в журналах, и из публикации отрывков из трагедии в «Московском вестнике» (1827. Ч. 1, № 1) и альманахе «Северные цветы» на 1828 г.

⁴ Четвертая часть «Стихотворений Александра Пушкина» вышла в свет в Петербурге во второй половине — конце сентября 1835 г. Вероятно, «Руководство...» Георгиевского было к этому времени уже завершено и исправлений в него автор потом не вносил.

⁵ Заглавие стихотворения «Поэт и толпа» в прижизненных публикациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

С. П. ШЕВЫРЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ

<Отрывки>

МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 311–326; приводимые отрывки – с. 311–320, 326. Подпись: С. Ш. Из отдела «Критика».

Статья Шевырева посвящена разбору пятого тома «Современника», подготовленного в память о поэте его друзьями (подробнее об этом см.: наст. изд., с. 523–524). Следует отметить, что рецензий на собственно пушкинские тома журнала в «Московском наблюдателе» не было. Лишь В. П. Андросов в статье «Как пишут критику» выступил в поддержку «Современника» против «Библиотеки для чтения» (см.: МН. 1836. Ч. 6, Апрель, кн. 1. С. 492–494; наст. изд., с. 143–144).

¹ Намек на «Библиотеку для чтения».

² Речь идет о статье Жуковского «Последние минуты Пушкина», открывавшей посмертный том журнала (Совр. 1837. Т. 5. С. I–XVIII; наст. изд., с. 224–231).

³ Под общим заголовком «Последние три стихотворения А. С. Пушкина» Жуковский опубликовал в посмертном томе «Современника» (под редакторскими заглавиями, с некоторыми изменениями в тексте) оставшиеся в рукописях пушкинские стихотворения «Была пора: наш праздник молодой...» (под заглавием: «Лицейская годовщина. 1836», с примечанием: «Конца нет» – с. 316–318), «Отцы пустынноики и жены непорочны...» (под заглавием: «Молитва», с датой: «22 июля 1836» – с. 319) и «...Вновь я посетил...» (под заглавием: «Отрывок»; первый стих в публикации Жуковского: «Опять на родине! Я посетил...» – с. 320–322). Публикация стихотворения «Была пора: наш праздник молодой...» встретила препятствия в цензуре. Сохранилось письмо Жуковского к С. С. Уварову: «Прошу Вас, любезнейший Сергей Семенович, разрешите: Крылов не пропускает последних стихов в представленной мною Вам пиесе. За что? Разве уж нельзя сказать, по его мнению, что государь наш начал царствовать и что были бурные времена с того времени. Были две войны, и даже об этом были напечатаны реляции.

А этих стихов мне жаль не напечатать, потому что на них остановился Пушкин; он не докончил этой пиесы, смерть пришла прежде, нежели полустышие; это трогательно и <нрзб>. Разрешите, прошу Вас. Эту же пиесу я лично читал государю, и она ему особенно понравилась» (*Мазур Т. П., Малов Н. Н.* Новые данные о Пушкине из архива С. С. Уварова // Врем. ПК 1966. Л., 1969. С. 25). Речь шла о стихах, на которых обрывался текст в рукописи: «[И над землей] сошлись новы тучи / И ураган их < >» (с редакторской правкой Жуковского: «И над землей скопились снова тучи / И ураган их...») (см.: III, 1045). В «Современнике» стихотворение появилось без них.

⁴ Перед текстом статьи «Последние минуты Пушкина» было вклеено факсимиле пушкинского автографа «Отцы пустынноики и жены непорочны...». По этому поводу Жуковский писал Одоевскому: «Государь желает, чтобы эта Молитва была так факсимилирована, как есть, и с рисунком. Это хорошо будет для 1-й книжки „Современника“. Но не потеряйте этого листка: он должен быть отдан императрице» (Тр. Чер-

ниговской губернской архивной комиссии. 1899–1900. Чернигов [б. г.]. Вып. 2. Отд. I. С. 18).

⁵ В автографе, по которому Жуковский готовил текст, стихотворение «...Вновь я посетил...» датировано: «26 сентября 1835». Жуковский намеренно включил его в состав «последних» пушкинских стихотворений из-за заключительных стихов, воспринимавшихся как своеобразное «завещание» молодому поколению.

⁶ Речь идет о письме Пушкина к П. В. Нащокину от 10-х чисел января 1836 г., в котором поэт сообщал: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и [смерти] старости нечего бояться. Холодьяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились» (XVI, 73–74).

⁷ В пятом томе «Современника» (с. 1–21) впервые полностью была напечатана поэма «Медный всадник» (1833). Первоначально Жуковский предполагал опубликовать лишь ее отрывок (см.: ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 151). 3 марта 1837 г., еще до выхода журнала, поэму читали у Карамзиных; 13 марта Александр Карамзин делился впечатлениями с братом Андреем: «Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашли у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений et une grâce infinie jointe à beaucoup de sentiment et de chaleur <и бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души — франц.>; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чувствуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!!! Плачь, мое бедное отечество! Нескоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 192). Историю публикации «Медного всадника» в пятом томе «Современника» см.: *Осват А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальную повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985. С. 63–70.

⁸ Не случайно автор статьи обращается к поэме «Медный всадник» лишь после отзыва о пушкинских стихотворениях, явно отдавая им предпочтение (в «Современнике» поэма открывает раздел «Стихотворения» и напечатана вслед за статьей Жуковского «Последние минуты Пушкина»). Шевырев, который безусловно считал Пушкина величайшим русским поэтом, особенно в отношении «художественных форм языка», не всегда соглашался с идеей и мыслью пушкинских произведений. В частности, трактовка образа Петра у Пушкина была совсем иной, чем у самого Шевырева в стихотворении «Петроград» (1829), где Петр выступал исключительно как положительный герой и носитель единственной правды (подробнее см.: *Маймин Е. А. А. С. Пушкин и С. П. Шевырев // Res Philologica: Филологические исследования: Памяти Г. В. Степанова. 1919–1986. М.; Л., 1990. С. 384–392*). См. также рецензию Шевырева на последние три тома Посмертного собрания сочинений Пушкина, где он, отметив внутреннюю связь между «наводнением столицы и безумием героя» в «Медном всаднике», подчеркнул, что «этот превосходный мотив, достойный гениальности Пушкина, не был развит до конечной полноты и потерялся в какой-то неопределенности эскизованного, но мастерского исполнения» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 245; наст. изд., с. 339).

⁹ Речь идет о стихах из второй части «Медного всадника»:

Вот ива. Были здесь ворота,
Снесло их, видно. Где же дом?
И полон сумрачной заботы
Все ходит, ходит он кругом...

¹⁰ Замечания Шевырева относительно ошибок в опубликованных текстах «Героя» и «Медного всадника» были совершенно справедливы. Уже в конце шестого

тома «Современника» появился список «погрешностей», «вкравшихся» в пушкинское стихотворение «Герой», где среди прочих была и та, на которую указал Шевырев. Его поправка к «Медному всаднику» при перепечатке поэмы в Посмертном собрании сочинений (Т. 9. С. 16) учтена не была.

¹¹ Стихотворение «Герой» опубликовано в пятом томе «Современника» (с. 143–146) с примечанием: «Редакция получила это стихотворение от М. П. Погодина при следующем письме: посылаю вам стихотворение Пушкина „Герой“. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему. Пушкин прислал мне оное во время холеры в 1830 году из нижегородской своей деревни, и вот что писал об нем: „...Посылаю вам из моего Патмоса апокалиптическую песнь. Напечатайте где хотите, хоть в „Ведомостях“, но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени, и не моей рукою переписанную“. Я напечатал стихи тогда в „Телескопе“, и свято хранил до сих пор тайну. Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного „утешся“, 29 сентября 1830 <года>, есть день прибытия государя императора в Москву во время холеры» (с. 143). При посредничестве Погодина стихотворение «Герой» было анонимно напечатано в первом номере нового журнала Н. И. Надеждина «Телескоп» (1831. Ч. 1, № 1. С. 46–48).

¹² Речь идет о незавершенной пушкинской статье «<О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“>» (Совр. 1837. Т. 5. С. 127–139), написанной в связи с полемикой в английских и французских журналах по поводу вышедшего в Париже в 1836 г. перевода Ф.-Р. де Шатобриана поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай». А. де Виньи в этой статье назван «чопорным» и «манерным» писателем, а роман его «Сен-Мар, или Заговор в царствование Людовика XIII» («Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII», 1826) — «облизынным» (Там же. С. 134). См. также в рецензии Шевырева на последние три тома Посмертного собрания сочинений Пушкина — Москва. 1841. Ч. 5, № 9. С. 266; наст. изд., с. 351.

¹³ Имеется в виду «восточная» повесть А. де Мюссе «Намуна» («Namouna. Conte oriental»), входившая в сборник «Спектакль в кресле» («Un Spectacle dans un fauteuil», 1833) и названная Шевыревым «Гасан» («Hassan») по имени главного героя. Шевырев, видимо, предполагал влияние «Намуны» Мюссе на поэму Пушкина «Домик в Коломне». Пушкин внимательно следил за творчеством Мюссе. В пушкинской библиотеке имелось несколько его книг, в том числе и парижское издание «Un Spectacle dans un fauteuil» 1833 г. (см.: Библиотека П. № 1206). В неоконченной статье 1830 г. о книге Мюссе «Испанские и итальянские повести» («Contes d'Espagne et d'Italie», 1830) Пушкин противопоставлял молодого поэта «однообразному» А. де Ламартину, «важному» В. Гюго и «скептику» Ш.-О. Сент-Бёву и отмечал, что сказки его отличаются «живостию необыкновенной» (XI, 175, 176). По поводу входящей в сборник поэмы «Мардош» («Mardoch») Пушкин писал: «Musset первый из фр<анцузских> поэтов умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях» (XI, 176). Одним из стимулов к созданию «Домика в Коломне» могли стать впечатления Пушкина именно от поэмы «Мардош», а не от написанной позднее «Намуны». Ошибку Шевырева позднее повторил В. Я. Брюсов (см.: Пушкин А. С. [Собр. соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1909. Т. 3. С. 88; Брюсов В. Я. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929. С. 56).

¹⁴ Пушкин, собираясь опубликовать фрагменты записки Н. М. Карамзина «О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях» в четвертом томе «Современника», представлял их в Цензурный комитет, но получил отказ. 28 октября 1836 г. в предислании С. С. Уварова говорилось, что поскольку статья Карамзина «не предназначалась сочинителем для напечатания и при жизни издана им в свет не была, то Главное управление цензуры признало, что и ныне не следует дозволить ее печатать» (*Переселенков С. А. Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину // ПиС. СПб., 1908. Вып. 6. С. 11; историю прохождения записки Карамзина через цензуру см.: Там же. С. 8–15; Временник Пушкинского Дома. Пг., 1914. С. 16*). После смерти Пушкина Жуковский вновь обращался к Уварову: «Прошу вас убедительно, любезнейший Сергей Семенович, приказать пе-

решить пиесу в том виде, в каком она теперь представляется. Будет совершенная несправедливость не позволять ее только для того, что она Карамзина и еще не напечатана. Я вас уверяю, что после тех исключений, которые сделаны мною, все в ней пропущено быть может. <...> Прошу у вас защиты и справедливости» (*Модзалевский Б. Л.* К истории «Современника»: (Письма В. А. Жуковского к С. С. Уварову) // *ПиС. СПб., 1906. Вып. 4. С. 88*). В пятом томе «Современника», благодаря стараниям Жуковского, напечатаны отрывок из «Записки» Карамзина (с. 89–112) и подготовленное Пушкиным короткое предисловие к нему: «Во втором № „Современника“ (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса» (с. 89).

¹⁵ Имеется в виду отдельное издание «Бориса Годунова» (СПб., 1831), которое открывалось посвящением Карамзину: «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин».

¹⁶ Убеждениям Шевьрева были близки следующие рассуждения Карамзина: «Вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком, в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы *нехотя*, применяя все к нашему и новое соединяя с старым» (с. 107).

¹⁶ В конце пятого тома помещено объявление «Об издании полных сочинений в стихах и прозе А. С. Пушкина в пользу его семейства» (с. 341–342). «Современник» также издавался с целью поддержать материально семью поэта.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

«Начиная четвертый год своего существования, „Московский наблюдатель“...»

МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 145–159. Без подписи. Из отдела «Литературная хроника».

С марта 1838 г. по июль 1839 г. Белинский, после перехода «Московского наблюдателя» от его идейных противников — С. П. Шевьрева, М. П. Погодина и В. П. Андросова — к кружку Н. В. Станкевича, фактически стоял во главе журнала. Его статья в первой книжке «Московского наблюдателя» за 1838 г. посвящена разбору вышедших после смерти Пушкина в 1837 г. четырех книжек «Современника» (тома 5–8). Заглавие в журнальном тексте отсутствует; в собраниях сочинений Белинского дается по заглавию отдела: «Литературная хроника».

Отношение Белинского к поэднему творчеству Пушкина за год, прошедший со смерти поэта, существенно изменилось. Так, в письме А. А. Беер от 13 января 1838 г. Белинский советовал ей достать себе «Современник» за прошлый год, поскольку «кто не читал его, тот не знает Пушкина». «О, какой великий поэт, какая огромная, глубокая душа! — восклицал Белинский. — Я недавно узнал, чего лишилась в нем Россия» (Белинский. Т. 11. С. 228).

На статью Белинского о посмертных томах пушкинского «Современника» откликнулся Ф. В. Булгарин, нашедший ее совершенно невразумительною. «Когда одного знаменитого дипломата спросили: на что дан человеку дар слова? он отвечал (разумеется, в шутку): на то, чтоб скрывать свои мысли. Некоторые писатели, не в шутку и не из хитрости, но весьма серьезно и в полном простодушии, пишут для

того, чтоб их не понимали. К этим заключениям привела нас первая книжка журнала „Московский наблюдатель“ на сей 1838 год, выданная в марте и попавшая нам в руки случайно в мае», — писал Булгарин (СПч. 1838. № 140, 23 июня). Главная претензия Булгарина к «Наблюдателю» в целом — употребление в статье журнала «непонятных» слов (это, впрочем, относилось не только к рецензиям Белинского, но и к предисловию М. А. Бакунина к «Гимназическим речам» Гегеля). «Домашние наши новомыслители, — иронизировал Булгарин, — которых деятельность начинается с покойной „Мнемотины“ и продолжается сквозь ряд покойных журналов в нынешнем „Московском наблюдателе“, беспрепятственно придумывают *новые* слова и выражения, чтоб выразить то, чего они сами не понимают. Сперва они выезжали на чужеземных: *абсолют, субъектив и объектив* и т. п. Теперь они прибавили к чужеземщине множество русских слов, дав простому их значению *таинственный* смысл. Любимые их слова теперь: *конечность, призрачность, просветление, действительность*; но настоящий фаворит — *призрачность*». К тому, что Пушкина в «Московском наблюдателе» называют «великим», Булгарин отнесся скептически. Белинский отвечал Булгарину «Журнальной заметкой» в «Наблюдателе»: «Г. Булгарин сердится на нас за то, что мы Пушкина называем *великим* поэтом: что делать? — это *наше* мнение, которое мы имеем полное право выговаривать, и еще тем смелее, что оно утверждено целым народом. Еще раз просим извинения у г. Булгарина в нашей слабости любить и дорожить дарованиями, делающими честь *нашему* отечеству. Пушкин великий поэт, и поэт русский, русский и по душе и по крови. Мы, впрочем, понимаем, как трудно сойтись нам с г. Булгариным во мнении о Пушкине, который, без сомнения, и по очень понятной причине, имеет для нас несравненно высшее значение, нежели Мицкевич» (МН. 1838. Ч. 17. Май, кн. 1 (выход в свет 27 июля — ЛН. М., 1951. Т. 57. С. 260). С. 152–153; Белинский. Т. 2. С. 464). В дальнейшем Белинский продолжал внимательно следить за выходящими томами «Современника», так как считал, что пока в журнале будет «хотя одна строка Пушкина, хотя не dokonченные полстиха, он не перестанет быть для нас явлением примечательным, в хорошем значении этого слова» (рецензия на девятый том «1 № „Современника“ на нынешний год...» — МН. 1838. Ч. 16. Апрель, кн. 2. С. 599; Белинский. Т. 2. С. 398). См. также его рецензии на десятый (МН. 1838. Ч. 17. Июнь, кн. 2. С. 514–528; Белинский. Т. 2. С. 495–505), одиннадцатый и двенадцатый тома «Современника» (МН. 1839. Ч. 1, № 2. Отд. V. С. 31–52; Белинский. Т. 3. С. 46–59).

¹ Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», слова летописца Пимена).

² Ср. замечание Белинского в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“»: «Мы глубоко убеждены, что библиография есть одно из важнейших, необходимейших и полезнейших отделений благонамеренного журнала и что смеяться над добродушно доверчивостью читателей к своему журналу значит не иметь к себе уважения» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 268 (пагинация в номере нарушена); Белинский. Т. 2. С. 168).

³ Ср. в статье С. П. Шевырева «Перечень наблюдателя» в мартовской книжке журнала за 1836 г., где автор выделяет три категории читающей публики: «Есть еще читатели третьего разряда. Они читают книги, любят сочинить и свое мнение, но смотрят на мнения журналов как на слепни литературные и тешатся ими. Ничто их так не веселит, как если в журнале разбранят книгу. Это им подарок. Это люди движения, люди беспокойные, которым не сидится на месте. Они не любят, чтобы на улицах было всегда смирно, чтобы долго не случалось пожаров. Где драка, где пожар, где журнальная брань — тут и они толпою» (МН. 1836. Ч. 6. Март, кн. 1. С. 78; наст. изд., с. 118–119).

⁴ Об этом Белинский писал уже сразу после выхода в 1836 г. первого тома пушкинского «Современника», не предвещая ему большого успеха: «По нашему мнению, да и по мнению самого „Современника“, журнал должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек, а не книжищ, и появляющемся через три месяца? Такой журнал, при всем своем внутреннем достоинстве, будет походить на альманах, в котором, между прочим, есть и критика» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 169; наст. изд., с. 145).

⁵ Именно этот пассаж был использован Ф. В. Булгариным как иллюстрация невразумительности рецензии. Отвечая ему, Белинский писал: «Итак, г. Булгарин не понимает слов: *прекраснодушие*, *субъективность*, *объективность*, *конечность*, *призрачность*, *просветление*, *действительность* и пр. Что он их не понимает — в этом мы ему охотно верим: но чем же мы виноваты, что он не понимает? <...> Жизнь духа есть бесконечная лестница, и каждый человек стоит на известной ступеньке этой великой лестницы. *Распадение* и *разорванность* есть момент духа человеческого, но отнюдь не каждого человека. Так точно и *просветление*: оно есть удел очень немногих, и даже в самых этих немногих является в бесконечном различных степенях. Царство духа подлжит тем же законам, как и царство природы: и в нем есть и растения, и полипы, и инфузории, и, наконец, минералы. Чтобы понять значение слов *распадение*, *разорванность*, *просветление*, надо или пройти через эти моменты духа, или иметь в созерцании их возможность. Кто же не проходил через них и не имеет в созерцании их возможности, тому нет никакой возможности растолковать их» (МН. 1838. Ч. 17. Май, кн. 1. С. 149–150; Белинский. Т. 2. С. 461–462).

⁶ Указывая на «прекраснодушие» и «ограниченную субъективность» критики, Белинский имеет в виду и собственные прежние оценки пушкинского творчества. Об отношении Белинского, в частности, к пушкинским сказкам см. примеч. 4 к его статье «Литературные мечтания» — наст. изд., с. 386.

⁷ Искажая слова Белинского, Булгарин иронично замечал: «Мы не разгадали *призрачности*, а что же такое *субъективность* „Московского наблюдателя“? Мы видели, что Пушкина хвалят потому, что он в „Сказке о рыбаке и рыбке“ *возвысился до совершенной субъективности*. <...> Итак, по логике „Московского наблюдателя“, *субъективность* есть грубость, нехудожественность, или попросту мужиковатость, и этим достоинством будто бы отличается сказка Пушкина и опровергает невыгодное мнение *прекраснодушья* о таланте великого русского поэта в последнем его периоде!» (СПч. 1838. № 140, 23 июня). Белинский отвечал на это: «В нашем журнале про Пушкина было сказано, что в „Сказке о рыбаке и рыбке“ он возвысился до совершенной *объективности*, а г. Булгарин говорит, будто мы сказали, что он возвысился тут до совершенной *субъективности*. Мы слишком далеки от мысли, чтобы г. Булгарин с умыслом заменил слово *объективность* словом *субъективность*. <...> Но вот против чего мы не можем не возразить: г. Булгарину показалось, будто мы под *субъективностью* разумеем *грубость*, *нехудожественную естественность*, или попросту *мужиковатость*, и что будто бы, по нашему мнению, этими достоинствами отличается „Сказка о рыбаке и рыбке“ Пушкина. Чтобы вывести г. Булгарина из заблуждения, поспешим растолковать ему, что значит *субъективность*. *Субъект* есть мыслящее существо (человек); *объект* — мыслимый предмет. Чтобы мышление было верно, надобно, чтобы понятие субъекта об объекте было тождественно с объектом. Истинному познанию предметов нам часто мешает наша субъективность, вследствие которой мы, вместо того чтобы определить то значение, которое именно выражает предмет нашего суждения, придаем ему наше значение и тем из предмета делаем призрак, т. е. совсем не то, что он есть в самом деле, а то, чем он нам кажется» (МН. 1838. Ч. 17. Май, кн. 1. С. 153–154; Белинский. Т. 2. С. 464–465).

⁸ Белинский высоко ценил пушкинскую элегию «Безумных лет угасшее веселье...», которая была впервые напечатана в «Библиотеке для чтения» (1834. Т. 6, № 10. Отд. I. С. 16). В «Литературных мечтаниях» он говорил, что потрясен «глубоким чувством» этого произведения (Молва. 1834. Ч. 8, № 50. С. 399; наст. изд., с. 64), позднее перепечатал его в рецензии на четвертую часть пушкинских «Стихотворений», назвав «драгоценным перлом» и отметив, что «такая элегия может выкупить не только несколько сказок, даже целую часть стихотворений!» (Молва. 1836. Ч. 11, № 3. С. 86, 87; наст. изд., с. 118). В той же книжке «Московского наблюдателя» «Элегию» цитировал М. А. Бакунин в предисловии к своему переводу «Гимназических речей» Гегеля (с. 19).

⁹ Сам Белинский в рецензии на первый том «Современника» посчитал, что «Скупой рыцарь», имеющий подзаголовок «Сцены из Ченстоновой трагикомедии: *The covetous Knight*», перевод, и заметил, что он сделан «хорошо, хотя, как отрывок, и ничего не представляет для суждения о себе» (см.: Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 170; наст. изд., с. 145).

¹⁰ Ср. высказывание Белинского о Гоголе в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя („Арабески“ и „Миргород“): «По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным» (Телескоп. 1835. Ч. 26, № 8. С. 601; Белинский. Т. 1. С. 306). «А кто у нас в России первый прозаик? Отгадайте! По мнению „Московского наблюдателя“ — это г. Гоголь!!!!!!!» — восклицал Булгарин в «Северной пчеле» (№ 140, 23 июня). В ответ Белинский заметил: «Г. Булгарин сердится на нас еще за то, что мы первым русским прозаиком почитаем г. Гоголя; этого мало — мы почитаем его еще и великим поэтом. Конечно, это не может быть приятно г. Булгарину; но это не одному ему неприятно: за это на нас многие негодуют. Посредственность — везде посредственность!» (МН. 1838. Ч. 17. Май, кн. 1. С. 153; Белинский. Т. 2. С. 464).

¹¹ Речь идет о статье Жуковского «Последние минуты Пушкина», открывавшей пятый том «Современника» (см.: наст. изд., с. 224).

¹² Белинский рассуждает о смерти Пушкина с позиции философского «примирения» с действительностью, возникшей у него под влиянием увлечения «гегелианством» (см. об этом: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1901. Т. 3. С. 527–528, примеч. С. А. Венгерова). Узнав о гибели поэта, Белинский писал А. А. Краевскому 4 февраля 1837 г.: «Бедный Пушкин! Вот чем кончилось его поприще! Смерть Ленского в „Онегине“ была пророчеством... Как не хотелось верить, что он ранен смертельно, но „Пчела“ уверила всех. Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания. Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь?...» (Белинский. Т. 11. С. 129). Ср. его замечание в более поздней рецензии на первый том альманаха «Сто русских литераторов»: «Пушкин, Пушкин!.. <...> Великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто был ты?...» (МН. 1839. Ч. 2, № 3. Отд. IV. С. 3; Белинский. Т. 3. С. 100).

¹³ Из перечисленных пушкинских произведений в пятом томе «Современника» были напечатаны: поэма «Медный всадник» (с. 1–21), «<Сцены из рыцарских времен>» (с. 193–224) и статья «<О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“>» (с. 127–139), в шестом — «<Русалка>» (с. 1–32), «<Арап Петра Великого> (Отрывок из неоконченного романа)» (с. 97–145); в седьмом — «Галуб» (с. 5–16, неоконченная поэма, в современных изданиях печатающаяся под редакторским заглавием: «<Газиз>»; в «Современнике» заглавие дано Жуковским по имени отца героя, с ошибкой в чтении: «Галуб» вместо «Гасуб») и «Летопись села Горохина» (с. 197–220; в современных изданиях: «История села Горюхина»; в «Современнике» заглавие дано Жуковским с ошибкой в названии села), в восьмом — «Египетские ночи» — (с. 5–24).

¹⁴ Белинский имеет в виду прежде всего собственный, непростой, опыт достижения этой «гармонии». Так, в письме от 13 января 1838 г. он признавался А. А. Беер: «Но с собою я еще не могу помириться, почему все еще живу в пошлой области *прекраснодушия*» (Белинский. Т. 11. С. 228).

¹⁵ О том, как Белинский понимал «народность», см., например, в его статьях «Литературные мечтания» и «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы» (наст. изд., с. 66, 110).

¹⁶ Ср. отзыв С. П. Шевырева о «Медном всаднике» в его рецензиях на пятый том «Современника» (МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 316–317; наст. изд., с. 243) и на Посмертное собрание сочинений Пушкина (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 243–245; наст. изд., с. 338–339). О «Медном всаднике» см. также рецензию на три последних тома Посмертного собрания сочинений Пушкина в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1841. № 259, 13 ноября; наст. изд., с. 330).

¹⁷ Белинский цитирует текст «Современника» с цензурными заменами и редакционной правкой Жуковского.

¹⁸ Белинский цитирует «хор русалок» из сцены «Днепр. Ночь» пушкинской «Русалки».

¹⁹ Цитируется песня Франца из «<Сцен из рыцарских времен>» (Совр. 1836. Т. 5. С. 220–221) с описками Белинского в латинских текстах. В «Современнике» напечатано: «А. М. D.» (Ave Mater Dei — Славься, мать Божья (*лат.*)) и «Lumen coelum, sancta Rosa!» (Свет небесный, святая роза! (*лат.*)). Ср. замечание С. П. Шевырева о пушкинском произведении: «„Сцены из времен рыцарских“ показывают,

что все времена и народы могли быть доступны для его кисти» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 264; наст. изд., с. 350).

²⁰ В «Современнике» поэма «Галуб», как и многие неопубликованные при жизни поэта произведения, была напечатана с некоторыми неточностями, которые повторились и в цитируемом Белинском отрывке. Ср. мнение С. П. Шевырева о том, что если бы «Галуб» был закончен Пушкиным, «верностью задуманного на месте характера» он «стал бы выше „Кавказского пленника“, в котором, на чудном кавказском ландшафте, мы видим тени байроновских героев» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 248; наст. изд., с. 341).

²¹ Более развернутая характеристика «Египетских ночей» дана С. П. Шевыревым в рецензии на Посмертное собрание сочинений Пушкина, где он, в частности, заметил, что это произведение представляет собой «сатирическую картину тех отношений, в которых у нас поэт находится к обществу» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 263; наст. изд., с. 350).

²² Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» (под заглавием «Молитва» и с датой: «22 июля 1836») напечатано в пятом томе «Современника» (с. 319) с двумя другими произведениями Пушкина: «Была пора: наш праздник молодой...» и «...Вновь я посетил...», под общим заголовком «Последние три стихотворения А. С. Пушкина» (см. примеч. 3 к статье С. П. Шевырева «Перечень Наблюдателя» — наст. изд., с. 535). Ср. отзыв С. П. Шевырева о стихотворении в рецензии на пятый том «Современника»: «Его „Молитва“, дышащая всею красотю христианского покаяния, умилет сердце другим чувством, которое, как мы видим, постоянно покоилось в душе его, но никогда не преобладало в поэзии: это чувство — религиозное. Неужели даром такое вдохновение осенило душу поэта незадолго до его кончины?» (МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 313; наст. изд., с. 242).

²³ См. примеч. 11 к статье С. П. Шевырева «Перечень Наблюдателя» — наст. изд., с. 537.

²⁴ При жизни Пушкина в печати появились два отрывка из его незавершенного романа — «IV глава из исторического романа» (СПб. на 1829 г. СПб., 1828. С. 111–124) и «Ассамблея при Петре I-м» (ЛГ. 1830. Т. 1, № 13, 2 марта. С. 99–100); оба отрывка уже тогда получили благосклонные отзывы критики (см.: П. в критике, II. С. 380); в 1834 г. они были включены в «Повести, изданные Александром Пушкиным» (СПб., 1834. С. 161–185). В «Современнике» незавершенный роман Пушкина был опубликован более полно по рукописи под редакторским заглавием «Арап Петра Великого». О том, что Пушкин не довел работу над романом до конца, в один голос сожалели все рецензенты. См. отзывы С. П. Шевырева («Жаль, что „Арап Петра Великого“ остался недоконченным. Видно, что Пушкин изучал много век Петра и готовил материалы для того, чтобы со временем начертать большую и полную картину» — Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 264; наст. изд., с. 350) и автора статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях» («Верность в описании нравов и исторических подробностей, резкое очертание характеров, постепенно возрастающая занимательность рассказа — вот черты, отличающие повесть „Арап Петра Великого“, которая, к сожалению, не кончена» — 1841. № 260, 14 ноября; наст. изд., с. 333).

²⁵ Ср. мнение С. П. Шевырева, назвавшего «Историю села Горюхина» «самой едкой сатирой на внутреннюю пустоту нашей сельской жизни, на эту жалкую действительность без памятников и без прошедшего» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 263; наст. изд., с. 349).

²⁶ См. примеч. 12 к статье С. П. Шевырева «Перечень Наблюдателя» — наст. изд., с. 537. Презрительная характеристика А. де Виньи, данная в настоящей статье Белинского, свидетельствует об изменившемся отношении критика к этому автору. Ранее, в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“», возражая С. П. Шевыреву по поводу его рецензии на драму А. де Виньи «Чаттертон» (МН. 1835. Ч. 4. Октябрь, кн. 2. С. 608–623), Белинский положительно отзывался о Виньи, отмечая, что у него есть «идея, и идея постоянная, но эта идея у него в сердце, а не в голове, и потому не вредит его творчеству». «Как всякий поэт с истинным дарованием, — писал Белинский, — он прост, неизыскан, естествен, добросовестен, и потому более поэт, нежели Гюго» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 240; Белинский. Т. 2. С. 153).

²⁷ Имеется в виду роман В. Скотта «Вудсток, или Кавалер» («Woodstock, or the Cavalier», 1826).

²⁸ Ниже Белинский цитирует (с небольшой купюрой) одну из пушкинских записей, опубликованных в восьмом томе «Современника» (с. 219–246) под общим заглавием «Анекдоты и замечания» (всего здесь напечатаны тридцать четыре записи, с римской нумерацией). «Анекдоты и замечания» в восьмом томе продолжали начатую еще самим Пушкиным в 1836 г. в третьем томе «Современника» (с. 187–191) публикацию заметок, объединенных в бумагах поэта в общую папку, озаглавленную «Table-talk». При жизни Пушкин напечатал в журнале одиннадцать записей под заглавием: «Анекдоты». Из напечатанных в восьмом томе «Современника» пушкинских заметок только последняя, «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...»), не входит в состав «Table-talk» и в современных изданиях печатается как самостоятельный набросок (VIII, 409–411).

²⁹ Анджело — герой комедии У. Шекспира «Мера за меру» («Measure for measure», 1604).

³⁰ «Полководец» опубликован Пушкиным в третьем томе «Современника» (с. 192–194). О полемике, развернувшейся вокруг стихотворения, см.: наст. изд., с. 491–493.

³¹ «Цветок» В. А. Жуковского напечатан в пятом томе «Современника» (с. 113–117), в седьмом — «Ангел» Ф. Н. Глинки (с. 146–147) и перевод из И. Г. Гердера Авдотьи Глинки, с редакторским примечанием, в котором сообщалось, что готовится к печати переведенные ею все 19 легенд Гердера (с. 142–145).

³² Перевод Э. И. Губера «Сцена из „Фауста“» помещен в восьмом томе «Современника» (с. 257–265). Ошибочно за той же подписью были напечатаны в шестом томе «Отрывки из „Фауста“» (с. 301–338), которые принадлежали, как выяснилось позднее, И. А. Беку. См. «Литературное объяснение» (Совр. 1838. Т. 9. С. 64, 2-я паг.): «„Отрывки из „Фауста“», перемешанные с бумагами покойного Пушкина без подписи переводчика и напечатанные с копии, без ведома сего последнего по странному стечению обстоятельств, в VI томе „Современника“, — переведены мною, а не г. Губером, который трудится над переводом всего „Фауста“. Не имея никаких притязаний на авторскую славу, но уважая право собственности, как свое, так и чужое, долгом считаю объяснить, что весь отрывок <...> принадлежит исключительно мне, а не г. Губеру, и не Пушкину, как то сказано в „Литературном объяснении“ в „Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“ 1837 года стр. 335». Отдельное издание «Фауста» Гёте в переводе Э. И. Губера с посвящением «незабвенной памяти А. С. Пушкина» вышло в свет в Петербурге в 1838 г.

³³ «Солдатский портрет» Г. Ф. Квитка-Основьяненко в переводе В. И. Даля (Луганского) опубликован в седьмом томе «Современника» (с. 108–138). В примечании к своему переводу Даль писал: «Одна из повестей Грицька Основьяненка. Повести эти со временем, без сомнения, будут оценены по достоинству; поныне, кажется, украинское наречие, на котором они написаны, пугало наших читателей и читательниц. А жаль; очень немного таких вещей написано у нас по-русски. Перевод — всегда только тень подлинника; перевод народной украинской повести на русский язык — менее полутени. Я желаю только возбудить, хотя в немногих, охоту — прочесть подлинник — вот почему решился я на перевод. Я уверился по опыту, что всякий, кто потрудится прочитать две страницы повестей Основьяненка, с помощью человека, знающего украинское наречие, третью страницу будет уже понимать сам» (с. 108).

³⁴ Повесть «Сильфида (Из записок благородного человека)» В. Ф. Одоевского напечатана в пятом томе «Современника» (с. 147–182).

³⁵ Автором «Петербургских записок 1836 года», напечатанных в шестом томе «Современника» (с. 403–423) анонимно (с подписью: «***»), был Н. В. Гоголь.

³⁶ Автором «Писем совоспитанниц», напечатанных в восьмом томе журнала (с. 273–312) с подписью: «Марья А...ская»), была С. А. Закревская (см.: Русские писатели. Т. 2. С. 318).

С. Е. РАИЧ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

Галатея. 1839. Ч. 2, № 17. С. 653–655 (фрагмент <I>); Ч. 3, № 19. С. 129–135; № 20. С. 199–208 (фрагмент <II>); № 21. С. 276–284 (фрагмент <III>); № 22. С. 352–359 (фрагмент <IV>); № 23. С. 410–421 (фрагмент <V>); № 24. С. 482–494 (фрагмент <VI>); № 25. С. 564–573; № 26. С. 642–651 (фрагмент <VII>); Ч. 4, № 27. С. 42–55 (фрагмент <VIII>); № 29. С. 190–204 (фрагмент <IX>). Без подписи.

Семен Егорович Раич (Амфитеатров) (1792, по др. сведениям 1789 или 1790 — 1855) — поэт, переводчик и педагог. Раич был сыном священника (Амфитеатров — фамилия, данная отцу в семинарии; в 1820 г. Раич взял вторую «родовую» фамилию), окончил в 1810 г. Орловскую семинарию, но решил выйти из духовного звания. Служил домашним учителем в дворянских семьях, в частности, с 1813 по 1819 г. был наставником Ф. И. Тютчева, с 1820 по 1823 г. — Анд. Н. Муравьева. В 1822 г. создал так называемое «Общество друзей», просуществовавшее до 1825 г. и сыгравшее большую роль в литературной жизни Москвы (в числе участников и посетителей общества были М. П. Погодин, Д. П. Ознобишин, С. Д. Полторацкий, В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, И. В. и П. В. Киреевские, Н. А. Полевой). В 1812 г. Раич поступил вольнослушателем в Московский университет, в 1815 г. сдал экзамены на степень кандидата, в 1822 г. произведен в магистры. В печати дебютировал в 1819 г. в «Трудах Общества любителей российской словесности» отрывками из «Георгик» Вергилия, переведенными шестистопным ямбом. Раич был знаком и последовательным приверженцем римских классиков и поэтов итальянского Возрождения и стремился привить русской словесности итальянскую поэтическую традицию. В 1828 г. вышел полный перевод Раича поэмы Т. Тассо (Tasso; 1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» («La Gerusalemme Liberata», 1575) (М., 1828. Ч. 1–4); в 1830-е гг. Раич работал над переводом поэмы Л. Ариосто (Ariosto; 1474–1533) «Неистовый Роланд» («Orlando Furioso», 1507–1532; издан не полностью: Ариосто Л. Неистовый Орланд. М., 1832. Ч. 1; 1833. Ч. 2; 1837. Ч. 3; отрывки: МН. 1835. Ч. 4. Сентябрь, кн. 1; Галатея. 1839. Ч. 3, № 23; Ч. 5, № 38; Москв. 1843. Ч. 3, № 5). О Раиче см.: Черейский. С. 363–364; Русские писатели. Т. 5. С. 252–257 (статья Л. М. Шемелёвой).

В 1839 г. Раич возобновил московский журнал «Галатея», издававшийся им ранее, в 1829–1830 гг. Журнал, выходивший еженедельно маленькими книжками, был с энтузиазмом встречен В. Г. Белинским: «...с „Галатеей“ уже можем поздравить публику, как с приятным приобретением. <...> ...особенно понравилось нам в ней (судя по 1 №) то, что она обращает особенное внимание на Москву и хочет быть московским журналом в полном значении этого слова: отчеты о собраниях, спектаклях, словом, обо всем, что занимает Москву, что принадлежит к ее ежедневным событиям, составляет одно из важных отделений этого журнала. <...> ...несмотря на свой миниатюрный формат, она разнообразна и богата содержанием» (МН. 1839. Ч. 1, № 1. Отд. VII. С. 9; Белинский. Т. 3. С. 44). Впрочем, радужные надежды критика не оправдались, и спустя год он с иронией писал: «И вот на тусклоне небосклоне московской журналистики снова ожила бледная красавица „Галатея“. Но, Боже мой! — Что это за оживление! Лучше бы ей и не родиться на свет! Ланиты бледные, очи впалые, в одежде бедность и неприятный беспорядок, гризеточный фартик не чист...» (ОЗ. 1840. Т. 9, № 4. Отд. VI. С. 71; Белинский. Т. 4. С. 137). Спустя некоторое время критик констатировал: «Единственный журнал в Москве — „Галатея“ вместо того, чтобы воскреснуть весной, рассыпался пустоцветом и скоропостижно скончался на восьмом или девятом номере» (ЛГ. 1840. № 43, 29 мая; Белинский. Т. 4. С. 137; журнал прекратился в 1840 г. после № 17). О журнале «Галатея» см.: Морозов В. Д. Из истории журнальной критики 20–30-х годов XIX века (Журнал С. Е. Раича «Галатея») // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1982. Вып. 3. С. 100–112.

Имя Пушкина упоминалось на протяжении 1839 г. в разных материалах журнала. Так, откликаясь на перевод первой части «Фауста» Э. Губера (СПб., 1838), ре-

цензент «Галатеи» (вероятно, С. Е. Раич) писал: «Незабвенный Пушкин первый познакомил русских читателей с этим переводом, поместив отрывки из него в своем „Современнике“: он радушно поощрял г. Губера в труде его, и благодарный переводчик посвятил „Фауста“ незабвенной памяти А. С. Пушкина. <...> Да, Пушкин был человек, на которого устремлялись взоры всего пишущего русского мира, человек, который не оставлял без привета и без ответа ни одного рождающегося дарования, ни одного начинающегося таланта. А теперь, увы! с грустью повторяешь стихи того ж Пушкина:

Куда ж бы ныне
Я взор печальный устремил?

Литература наша без представителя, дерзкие наездники гарцуют на полях ее безнаказанно — и унять некому...» (1839. Ч. 1, № 2. С. 192–193). В № 44 была напечатана рецензия на «оригинальный водевиль в двух действиях» «Барышня-крестьянка» популярного водевиллиста Н. А. Коровкина с музыкой И. А. Рупини. С. Т. Аксаков (ему принадлежали театральные обзоры журнала) называл пьесу «плохим водевилем, переделанным из превосходной повести» (с. 625). В том же номере (с. 559–560) помещено стихотворение Н. Е. Вуича «На смерть Пушкина». Но главным литературно-критическим материалом «Галатеи» в 1839 г. стала продолжавшаяся из номера в номер, с 29 апреля по 22 июля, статья (по сути дела, серия отдельных критических разборов) Раича, посвященная вышедшим к концу 1838 г. восьмью томам Посмертного собрания сочинений Пушкина (см. о нем примеч. 1 к статье В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина» — наст. изд., с. 524). Эти разборы явились первой (хотя и малоуспешной) попыткой в русской критике целостного обзора творчества поэта в его главнейших произведениях. Они печатались анонимно, но авторство Раича твердо устанавливается по автобиографическим вкраплениям в тексте. Сопоставление статьи Раича 1839 г. с напечатанными в 1829–1830 гг. в «Галатее» рецензиями на пушкинские произведения позволяет, в частности, с большой долей вероятности атрибутировать ему же статьи о поэме «Полтава» (1829. Ч. 3, № 16. С. 254–260; П. в критике, II. С. 130–132) и седьмой главе «Евгения Онегина» (1830. Ч. 13, № 14. С. 124–134; П. в критике, II. С. 243–248).

¹ Эпиграф из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан» (1793); приведен неточно, у Державина: «И пальмы взвесит и перуны».

² См. критические отклики 1820 г. на «Руслана и Людмилу» — П. в критике, I. С. 25–88.

³ *Пюризм* — пюризм (от *purus* (лат.), *pur* (франц.) — чистый, безупречный, правильный), стремление к чистоте и правильности языка, к неприкосновенному сохранению существующих норм. Говоря о «школе пюризма», Раич в данном случае имеет в виду литературу и критику, ориентированные на нормативную эстетику. См. далее апелляцию к критическому авторитету А. Ф. Мерзлякова.

⁴ Впервые пьеса была напечатана в изданном А. Ф. Смирдиным сборнике «Сто русских литераторов» (СПб., 1839. Т. 1. С. 51–85); публикация ее рядом с отрывком незавершенной повести Пушкина «Гости съезжались на дачу...», вероятно, предопределила восприятие Раичем «Каменного гостя» тоже как «недоконченной пьесы».

⁵ Намек на литераторов пушкинского круга (в наименовании их литературных противников — «партии аристократов»). В 1830 г. журнал Раича «Галатея» принял участие в борьбе с так называемой литературной аристократией, вступив в открытую полемику с «Литературной газетой» Пушкина и Дельвига.

⁶ 25 августа 1823 г. Пушкин писал брату из Одессы: «Здесь еще Раич. Знаешь ли ты его?» (XIII, 68). Общение Раича и Пушкина в Одессе было недолгим. Уже в письме от 14 октября 1823 г. Пушкин спрашивал у Вяземского по поводу предпологавшегося в ту пору второго издания «Руслана и Людмилы»: «О каких переменах говорил тебе Раич? я никогда не мог поправить раз мною написанное. В „Руслане“ можно только прибавить эпилог и несколько стихов в 6-й песне, слишком поздно доставленные мною Жуковскому» (XIII, 69). В приписке к письму В. И. Туманского

к В. К. Кюхельбекеру от 11 декабря 1823 г. Пушкин просил Кюхельбекера поклониться за него «ученому Раичу» (XIII, 82).

⁷ «Песнь о вешем Олеге» была написана в Кишиневе и датируется в рукописи: «1 марта 1822».

⁸ Слова «O gus!» из сатиры Горация (II, 6) вместе с каламбурным буквальным «переводом» («O Русь!») помещены в качестве эпиграфа ко второй главе романа.

⁹ Имеется в виду редактор журнала «Вестник Европы» М. Т. Каченовский.

¹⁰ Ср. в рецензии на седьмую главу «Евгения Онегина» из журнала «Галатей», написанной, по-видимому, Раичем: «Написавши „Руслана и Людмилу“, прекрасную маленькую поэму, он вдруг вошел, как говорится, в славу, которая росла с каждым новым произведением сладкогласного певца до самой „Полтавы“; с „Полтавою“ она, не скажем, пала, но *оселась* и с тех пор уже не подымается вверх» (1830. Ч. 13, № 14. С. 124; П. в критике, II. С. 243).

¹¹ Имеется в виду распад второго Триумvirата в Древнем Риме, после чего в 36 г. до н. э. верховная власть сосредоточилась в руках Октавиана Августа.

¹² Иронический намек на вышедший в 1839 г. первый том начатого А. Ф. Смирдиным издания «Сто русских литераторов».

¹³ Здесь имеются в виду поэма Луиджи Пульчи (Pulci; 1432–1484) «Большой Морганте» («Il Morgante maggiore», 1483), повествующая о приключениях Орlando (Роланда), рыцаря Карла Великого, и его оруженосца великана Морганте; поэма Ма-тео Марио Боярдо (Boiardo; 1441–1494) «Влюбленный Роланд» («Orlando innamorato», 1483–1494) и поэма Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» (см. выше). В сравнении с этими поэмами понятно определение «маленькая поэма» дан-ное Раичем «Руслану и Людмиле» в 1830 г. (см. выше примеч. 10).

¹⁴ Пушкинский замысел поэмы о Мстиславе сохранился в пространных набросках плана, относящихся к 1822 г. Об этом замысле было сообщено автором в эпилоге к «Кавказскому пленнику» («Расскажет повесть дальних стран, / Мстислава древний поединок...»); в примечании 12 к поэме Пушкин дал историческую справку о тмутораканском князе.

¹⁵ «Тысяча и одна ночь» — памятник средневековой арабской литературы, сборник разнообразных по форме и содержанию сказок.

¹⁶ Раич упустил из виду, что данное вступление появилось только во втором издании (1828) поэмы, как и «Эпилог», написанный на Кавказе в 1820 г. Отсюда следующие далее наивные упреки критики по поводу якобы композиционных «погрешностей» поэмы.

¹⁷ *Прометей* — см. примеч. 5 к статье Н. А. Полевого «Пушкин», наст. изд., с. 518.

¹⁸ Цитата из поэмы Лукреция (I в. до н. э.) «О природе вещей» («De rebus natura») (II, 3–4).

¹⁹ В Киликии — области в Малой Азии — скиталась беременная богиня Лето (Латона), мать Аполлона, преследуемая ревностью Геи.

²⁰ Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, слова «люб» и «люба» употребляются в виде существительных в значении «кого я избрал или облюбовал, полюбил».

²¹ У Пушкина: «Кумыс и ульев сот душистый».

²² Проданный своими братьями за двадцать серебрянников в рабство богатому египтянину Потифару (у Раича: Пентефрий) Иосиф снискал его благорасположение и стал управляющим, но возбудил похоть Потифаровой жены, от которой он вырвался и бежал, оставив одежду в руках ее. Оболганный ею перед мужем, Иосиф был брошен в темницу (Быт. 39: 11–20). Станным образом критик уподобляет ее Черкешенке, характер которой вызывает его восхищение.

²³ Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» написано 2 августа 1831 г., после подавления польского восстания и взятия русскими войсками Варшавы и под впечатлением о возможном военном вмешательстве Европы в польские дела.

²⁴ Цитата из поэмы Лукреция «О природе вещей» (I, 641–644). Раич в своем подстрочном переводе резюмировал содержание этих четырех стихов. Полностью:

Ибо дивятся глупцы и встречают с любовным почтеньем
Все, что находят они в изречениях запутанных скрытым;

Истинным то признают, что приятно ласкает им ухо,
То, что красивых вещей и созвучий прикрашено блеском.
(Пер. Ф. А. Петровского)

25 Имеются в виду ст. 38–41 «Науки поэзии» («Ars poetica») Горация:

Всякий писатель предмет выбирай, соответственный силе;
Долго рассматривай, пробуй, как ношу, поднимут ли плечи.
Если кто выбрал предмет по себе, ни порядок, ни ясность
Не оставят сго: выражение будет свободно.

(Пер. М. А. Дмитриева)

26 Эпиграф из баллады В. А. Жуковского «Граф Гапсбургский» (1818), перевода одноименной баллады Шиллера («Der Graf von Habsburg», 1803)

27 Не совсем точно переданный эпизод из главы LXXIV книги «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» («La vita di Benvenuto di maestro Giovanni Cellini fiorentino scritta per lui medesimo in Firenze», 1558–1566; книга осталась незавершенной, издана впервые в 1728 г., в 1829 г. во Флоренции вышло новое издание по найденной оригинальной рукописи Челлини). У Челлини папа Павел III говорит: «Вы в этом понимаете меньше, чем я. Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону...» (пер. М. Л. Лозинского).

28 Значительная строка четверостишия И. И. Дмитриева «По чести от тебя не можно глаз отвесть...» (1795).

29 *Протей* — см. примеч. 8 к статье Н. И. Греча «Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому» — наст. изд., с. 365.

30 «Гамлет» (д. 1, явл. 2).

31 Подобный же упрек был предъявлен Пушкину и в рецензии на седьмую главу «Евгения Онегина» из журнала «Галатей», написанной, по-видимому, Раичем (1830. Ч. 13, № 14. С. 125; П. в критике, II. С. 244).

32 Цитата из баллады В. А. Жуковского «Граф Гапсбургский».

33 Перевод В. А. Жуковского поэмы Байрона «Шильонский узник» («The prisoner of Chillon», 1816) вышел отдельным изданием в 1822 г. (СПб.). 11 ноября 1823 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому о поэме «Братия разбойники»: «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В <1>820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманно. Некоторые стихи напоминают перевод „Шил<ьонского> узн<ика>“. Это несчастие для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце <1>821 года» (ХШ, 74). С «Шильонским узником» Байрона Пушкин должен был познакомиться по французскому переводу в издании А. Пишо и Э. де Саля «Œuvres de lord Byron, traduites de l'anglais...» (Paris: Ladvocat, 1819–1821. Vol. 1–10; «Шильонский узник» вошел в т. 5 вместе с «Гяуром» и третьей песней «Чайльд Гарольда»; во 2-м изд. (Œuvres complètes de lord Byron, traduites de l'anglais... Paris: Ladvocat, 1820–1822. Vol. 1–5) — в т. 2 вместе с «Гяуром», двумя первыми песнями «Дон Жуана», «Беппо» и др.). Знакомство Пушкина с собранием Пишо — де Саля следует отнести ко времени между серединой октября 1820 г. и февралем 1821 г. (см.: Рак В. Д. Заметки к теме «Пушкин и Байрон». I. Ранее знакомство Пушкина с произведениями Байрона // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие: Вопросы текстологии, материалы к комментариям. СПб., 2003. С. 70, 91).

34 См. в «Цыганах»:

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил:
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

Согласно семейным воспоминаниям кишиневских знакомых поэта, Ралли, Пушкин, увлеченный цыганкой Земфирой, провел в августе 1822 г. несколько дней в таборе, близ Юрчен, имения Ралли (см.: Минувшие годы. 1908. № 7. С. 1–6).

³⁵ На впечатление от поэмы «Домик в Коломне», написанной в 1830 г., но напечатанной в первой части альманаха «Новоселье» в 1833 г., у современников поэта накладывалось воспоминание о просодических опытах С. П. Шевырева. В 1831 г. в журнале «Телескоп» были опубликованы статья Шевырева «О возможности ввести италийскую октаву в русское стихосложение» (Ч. 3, № 11. С. 263–299; № 12. С. 466–491) и его выполненные в октавах переводы отрывков из седьмой песни поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (Ч. 3, № 12. С. 491–497; Ч. 6, № 24. С. 461–481). В 1835 г. Шевырев полностью напечатал перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» в «Московском наблюдателе» (Ч. 3. Июль, кн. 1. С. 11–35; кн. 2. С. 159–196), предпослав ему краткое вступление. «Эти октавы, — писал Шевырев о своем переводе, — где нарушались все условные правила нашей просодии, где объявлялся совершенный развод мужеским и женским рифмам, где хорей впутывался в ямба, где две гласные принимались за один слог, — эти октавы, пугающие всю резкостью нововведений, могли ли быть к стати в то время, когда слух наш лелеяла какая-то нега однообразных звуков, когда мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки?.. <...> Теперь едва ли не совершается у нас это время перехода, ознаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые в последнее время, вода слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дремали и теперь заснули на своих лирах и спят — до нового пробуждения!» (Там же. Кн. 1. С. 6–7). Далее Шевырев вспоминал, при каких обстоятельствах возник его перевод: «...я утомлен и раздражен был изнеженностью отечественного стиха и хотел этому противодействовать, сколько слабые силы мне позволяли <...>. С последними звуками нашей монотонной музыки в ушах я уехал в Италию... Долго не слышал русских стихов, которые памяты мне были только своим однозвучием... Вслушивался в сильную гармонию Данта и Тасса... Обратился к нашим первым мастерам — нашел в них силу... устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского... Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем „Послании к А. С. Пушкину“, как представителю нашей поэзии» (Там же. С. 7–8). Переводу Шевырева и авторскому предисловию к нему уделил внимание В. Г. Белинский в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“». По поводу упоминаемого Шевыревым «Послания к А. С. Пушкину» Белинский замечал: «Не знаем, не вследствие ли уж этого послания Пушкин написал октавами свою шуточную и остроумную безделку „Домик в Коломне“; только октавы Пушкина состоят в одном расположении рифм и осмыслении строф, а во всем прочем они не что иное, как правильные, цезурные пятистопные ямбы; в них нет даже развода мужеским и женским стихам, а только разрешение наглагольной рифмы. Вообще это стихотворение есть шутка, написанная без всяких претензий на важность и нововведение» (Телескоп. 1836. Ч. 32, № 6. С. 229; Белинский. Т. 2. С. 147). На самом деле «Домик в Коломне» был написан раньше, чем Пушкин мог познакомиться со стихотворением Шевырева, посланным из Италии при письме М. П. Погодину от 16–17 декабря 1830 г. (см.: Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 701, примеч. В. С. Киселева-Сергенина (Б-ка поэта; Большая сер.)). Сам Раич перевел «Освобожденный Иерусалим» Тассо «балладным» размером Жуковского — 12-стишной строфой с чередованием стихов трех- и четырехстопного ямба. О полемике вокруг поэмы Шевырева см. также: П. в критике, III. С. 443–444; о судьбах октавы в русской поэзии см.: Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973. С. 155–201).

³⁶ Неприятие Раичем «Полтавы» отчасти было связано с его пристрастием к итальянским эпическим поэмам эпохи Возрождения, в том числе и его многолетней работой над переводом «Неистового Роланда» Ариосто (см. выше). В своей оценке «Полтавы» Раич повторяет претензии, предъявлявшиеся к пушкинской поэме ее первыми рецензентами, на которые Пушкин отвечал в альманахе «Денница» на 1831 г. (см.: XI, 164–165; П. в критике, П. С. 307–308).

³⁷ Подобный упрек был высказан в журнале «Галатее» еще в 1829 г. в рецензии на поэму (Ч. 3, № 16. С. 254–260), написанной, по всей видимости, Раичем, хотя в то

время краткий отзыв «Галатеи» о «Полтаве» был более благожелательным (см.: П. в критике, III. С. 130–132).

³⁸ Ошибка Раича: историческое имя дочери Кочубея — Матрена.

³⁹ Критик произвольно отождествляет полтавского полковника Искру, сподвижника Кочубея, с иным персонажем поэмы Пушкина, молодым казаком, отправленным к царю с доносом на Мазепу.

⁴⁰ Разбойница елизаветинской поры, крестьянка, родившаяся и выросшая в Ростокине, узлом в пункте на большой дороге. Героиня романа С. М. Любецкого «Танька, разбойница Ростокинская, или Царские терема. Историческая повесть XVIII столетия. С песнями, обрядами и празднествами тогдашнего быта. Из преданий русской старины» (М., 1834. Ч. 1–4).

⁴¹ Цитата из басни И. И. Дмитриева «Старик и трое молодых» (1795).

⁴² Стих из оды Горация «К Азинию Поллиону» (2, 1, 6). См. в пер. Г. Ф. Церетели:

Об этом ныне с полной отвагою
Ты пишешь, по огню ступая,
Что под золою обманно тлеет.

⁴³ Раич имеет в виду предисловие М. Н. Каткова к его переводу статьи К. А. Фарнгагена фон Энзе «Сочинения Александра Пушкина», напечатанному в майском номере «Отечественных записок». Катков писал: «Мы твердо убеждены и ясно сознаем, что Пушкин поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира...» и т. д. (ОЗ. 1839. Т. 3, № 5. Прилож. С. 4; наст. изд., с. 299). Комментируемый выпад Раича против Каткова содержится в части его разбора, напечатанной в № 26 «Галатеи», вышедшем в свет 1 июля.

⁴⁴ См. ст. 131–134 «Науки поэзии» Горация:

Общее будет по праву твоим, как скоро не будешь
Вместе с бездарной толпой в круге обычном кружиться,
Если не будешь, идя по следам, подражателем робким,
Слово за словом вести...

(Пер. М. А. Дмитриева)

⁴⁵ Цитата из «Энеиды» Вергилия (VI, 883–884).

⁴⁶ Джон Флакман (Флакмен) (Flaxman; 1755–1826), английский скульптор и рисовальщик, особенно прославившийся сериями иллюстраций (композициями в характере барельефов, рисованными и гравированными в одних контурах), в частности, к «Божественной комедии» Данте (1797).

⁴⁷ Цитата из Несторовой летописи («Повести временных лет») (начало XII в.), где под 862 г. («в лето 6370») говорится о призвании варягов.

⁴⁸ Кардинал Феличе Перетти *Монтальто* (Montalto; 1521–1590), избранный в 1585 г. папой под именем Сикста V, прибегнул к хитрости, притворившись слабым и немощным, чтобы убедить кардиналов отдать ему свои голоса. Ср. в третьей песни «Полтавы» Пушкина сравнение Мазепы перед его переходом на сторону Карла XII с кардиналом Монтальто:

Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

В период своего понтификата Сикст V постановил покончить с бандитизмом, приказал осушить источник малярии, Понтийские болота, украсил новыми постройками улицы и площади Рима, лично покровительствовал Торквато Тассо.

⁴⁹ Цитата из первой главы одиннадцатого тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

⁵⁰ *Гротеско* (итал. *grotesco* — причудливый) — тип художественной образности, основанный на смехе, сочетании и контрасте трагического и комического.

⁵¹ *Ниоба* — в греческой мифологии многодетная супруга царя Фив; смеялась над богиней Лето, родившей только Аполлона и Артемиду, и запретила фивянам приносить жертвы богине. Аполлон за это поразил сыновей царицы, а Артемиду — дочерей. Ниоба от горя превратилась в скалу.

⁵² Раич перечисляет здесь только завершённые и изданные при жизни поэта драматические произведения Пушкина, не упоминая напечатанных посмертно и вошедших в Посмертное собрание сочинений «Каменного гостя», «Русалку» и «Сцены из рыцарских времен».

⁵³ «Скупой рыцарь» был напечатан Пушкиным с мистифицирующим подзаголовком: «Сцены из Ченстоновой трагикомедии: *The covetous Knight*», введшим Раича в заблуждение.

⁵⁴ См. выше примеч. 43.

⁵⁵ Раич допускает в цитате небольшую неточность. У Пушкина: «...в сих заповедях».

⁵⁶ Имеется в виду Н. А. Полевой, который в предисловии к роману «Клятва при гробе Господнем» (1832) писал: «Кто читал, что писано мною доньше, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и — еще более, позвольте прибавить к этому, — Русь меня знает и любит» (Клятва при гробе Господнем. М., 1832. Ч. 1. С. IX). Сопоставление Пушкина с Державиным содержится в рецензии Полевого на четырехтомное смирдинское издание «Сочинений» Державина (СПб., 1831): «Кроме Пушкина, не было у нас другого столь *исключительно поэтического* характера со времени преобразования России, ни прежде, ни после Державина» (МТ. 1832. Ч. 46, № 16. С. 523).

⁵⁷ Стихотворение Пушкина «Нереида», написанное в конце 1820 г., было напечатано в альманахе «Полярная звезда» на 1824 г., но уже в 1823 г. Раич написал стихотворение «Вечер в Одессе» (опубликовано в альманахе «Северная лира» на 1827 г.), в котором угадываются реминисценции из пушкинской антологической миниатюры. Очевидно, это было результатом личного общения поэтов в этом году.

⁵⁸ У Пушкина: «И меж детей ничтожных мира».

⁵⁹ Мало достоверное мемуарное свидетельство. Пушкин ощущал себя профессиональным писателем. Еще в марте 1823 г. он писал Вяземскому: «Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне — на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом» (XIII, 59).

⁶⁰ Раич цитирует пушкинское стихотворение с неточностями. У Пушкина: «Наш век торгаш...» и «Копите золото до конца».

ОТЗЫВ ИНОСТРАНЦА О ПУШКИНЕ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА»

(Статья К. А. ВАРНГАГЕНА ФОН-ЭНЗЕ)

ОЗ. 1839. Т. 3, № 5. Прилож. С. 1–36

Под заглавием «Отзыв иностранца о Пушкине» в «Отечественных записках» был напечатан перевод статьи «Сочинения А. Пушкина» («*Werke von A. Puschkin*») немецкого дипломата, писателя и критика, хозяина известного берлинского литературного салона Карла Августа Фарнгагена (Варнгагена) фон Энзе (Varnhagen von Ense; 1785–1858), появившейся в октябре 1838 г. в берлинском журнале «Ежегодники научной критики» («*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*»). Статья написана Фарнгагеном после знакомства с тремя первыми томами Посмертного собрания сочинений Пушкина и открывает в творчестве писателя период активного интереса к русской литературе. Этот интерес был подготовлен заранее русскими знакомствами Фарнгагена. Во время европейской войны 1813–1814 гг. Фарнгаген служил в русском казачьем корпусе. В 1830-е гг. он близко познакомился с молодыми русскими литераторами так называемого «берлинского кружка», собиравшегося в доме Н. Г. и

Е. П. Фроловых, куда входили Н. В. Станкевич, Я. М. Неверов, Т. Н. Грановский, Н. А. Мельгунов и др. Под руководством Я. М. Неверова Фарнгаген начал занятия русским языком. В дальнейшем Фарнгаген изучал творчество Пушкина, следил за литературой о нем, собирал его произведения. В коллекции писателя хранились даже два пушкинских автографа. Фарнгаген писал впоследствии и о других русских писателях, в частности, именно он первым привлек внимание немецкой публики к творчеству Лермонтова (см.: *Алексеев М. П.* Пушкин и Запад // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 294–296; *Данилевский Р. Ю.* «Молодая Германия» и русская литература. Л., 1969. По указ.; *Reissner E.* Deutschland und die russische Literatur. 1800–1848. Berlin, 1970. S. 180–185). Статья Фарнгагена о Пушкине произвела большое впечатление в Европе. «Мы должны быть вам благодарны, я в первую очередь, — писал Фарнгагену Т. Карлейль, — за то, что вы дали нам в первый раз представление о дикой поэтической душе Пушкина; я должен был себе сказать: да, это гениальный русский; в первый раз постигаю я русских людей» (цит. по: *Алексеев М. П.* Пушкин и Запад. С. 296). В статье «Переводы русских сочинений на немецкий язык», напечатанной в «Современнике», о статье Фарнгагена было сказано, что «впечатление, произведенное ею на все умы, было так сильно, что русская литература наравне с современными политическими вопросами, занимала несколько дней весь Берлин» (1839. Т. 13, № 1. С. 163, 2-я пар.).

В «Отечественных записках» напечатан перевод Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887), участника кружка Н. В. Станкевича, сотрудника В. Г. Белинского по «Московскому наблюдателю», в конце 1830-х гг. начинающего литератора, в будущем — известного издателя и публициста. Появление в русской печати статьи Фарнгагена приветствовал В. Г. Белинский в своем обозрении русских журналов, печатавшихся в «Московском наблюдателе». Белинский назвал ее «прекрасной статьей, которая вдвойне важна для русской публики — и как дельная и верная оценка ее великого поэта, и как оценка, сделанная иностранцем» (МН. 1839. Ч. 2, № 4. Отд. IV. С. 122; Белинский. Т. 3. С. 182). «...Варнгаген иногда одним выражением, одним словом умеет высказать подмеченную им сторону предмета, — отмечал критик далее. — Поэтому его слог, так живо, сжато, энергически переданный талантливым переводчиком, отличается удивительною рельефностью, если можно так выразиться» (МН. 1839. Ч. 2, № 4. Отд. IV. С. 125; Белинский. Т. 3. С. 184).

¹ Примечание редактора «Отечественных записок» А. А. Краевского.

² Статья Фарнгагена с некоторыми сокращениями и в очень неряшливом переводе была напечатана в журнале «Сын отечества» (1839. Т. 7, № 1. Отд. IV. С. 1–37). В том же номере «Сына отечества», сразу после статьи Фарнгагена, следовала обзорная статья Н. А. Полевого «Летопись русских журналов за 1839 год», в которой Полевой писал: «Что касается до статьи Фарнгагена о Пушкине, мы удивляемся, чем могла она обратить на себя внимание германцев? Мы поместили перевод ее в сей книжке „Сына отечества“ как предмет, для нас любопытный, но читатели наши сами могут видеть, что, несмотря на немецкую манеру выражаться, статья Фарнгагена показывает самую неверную, самую превратную критику, односторонний взгляд на Пушкина и — решительное незнание русской литературы и русской истории. <...> Мы передаем нашим читателям статью г-на Фарнгагена как доказательство нашего личного беспристрастия и как образец упадка современной критики и философии в Германии. Грустно читать Менцелей и Фарнгагенов после Лессингов и Шлегелей, так, как грустно смотреть, кто теперь в Германии наследники Гёте, Шиллеров, Шеллингов и Нибуров!..» (Там же. С. 44–45). На эти публикации Полевого с возмущением откликнулся В. Г. Белинский в обозрении русских журналов, печатавшихся в «Московском наблюдателе». По словам Белинского, Полевой «перевел превосходную статью Варнгагена о Пушкине для показания пошлости современной немецкой критики, и, чтобы лучше достичь своей цели, перевел ее ужасным образом» (1839. Ч. 2, № 4. Отд. IV. С. 104–105; Белинский. Т. 3. С. 171). «Обратимся к статье Варнгагена, — писал Белинский далее. — Она была уже переведена в „Сыне“ о «течества», но так переведена, что если бы сам Варнгаген знал по-русски так же хорошо, как по-немецки, то никоим образом не узнал бы своей статьи. Редактор „Сына“ о «течества», вероятно, по этому переводу сделал свое странное заключение об этой

статье, и потому нисколько не удивительно, что его заключение вышло очень *странно*» (МН. 1839. Ч. 2, № 4. Отд. IV. С. 121; Белинский. Т. 3. С. 182).

³ *Аристарх* — см. примеч. 9 к рецензии О. И. Сенковского на «Новоселье» — наст. изд., с. 375.

⁴ Имеется в виду стихотворение Пушкина «Поэту» («Поэт! не дорожи любовью народной...», 1830).

⁵ В статье о русских журналах В. Г. Белинский, процитировав эти слова Каткова, писал: «Эти строки — пламенное выражение глубокого задушевного убеждения; мы вполне, *буквально*, согласны с ними; они составляют одну из самых основных опор нашей внутренней жизни, одно из самых пламеннейших верований, которыми живет дух наш; но многим этот язык может показаться пристрастным, как выражение народной гордости и патристического чувства. Пусть же прочтут они суждение иностранца, так тесно совпадающее с суждением соотечественника великого поэта» (МН. 1839. Ч. 2, № 4. Отд. IV. С. 122–123; Белинский. Т. 3. С. 183).

⁶ Речь идет о объединенных русско-прусских войсках в европейской войне 1813–1814 гг. против Наполеона.

⁷ Имеется в виду статья С. П. Шевырева «Елена, классическо-романтическая фантазмагория. Междудействие к „Фаусту“, из соч<инений> Гёте» (МВ. 1827. Ч. 6, № 21. С. 79–93), посвященная напечатанной весной 1827 г. в начавшем выходить собрании сочинений Гёте «Елене» («Helena, klassisch-romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust») и сопровождавшая выполненный Шевыревым ее стихотворный перевод, помещенный в том же номере журнала (с. 3–8). Считая «Елену» (составившую 3-й акт второй части «Фауста») самостоятельным произведением на тему «Фауста», Шевырев посвятил свою статью истолкованию замысла Гёте. Московский почитатель Гёте русско-немецкий литератор Н. И. Борхард послал в Веймар сделанный им перевод статьи Шевырева в качестве приложения к своему рукописному сочинению «Оценка Гёте в России — к оценке России» («Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland»). В ответном письме к Борхарду от 1 (13) мая 1828 г. из Веймара Гёте одобрительно отозвался о статье Шевырева. Это письмо было опубликовано в «Московском вестнике» (1828. Ч. 9, № 11. С. 326–333) в немецком оригинале и в переводе на русский язык (см.: *Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе*. Л., 1982. С. 131–134; *Алексеев М. П. К «Сцене из Фауста» Пушкина* // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. С. 487).

⁸ Книга «Литературные картины России» («Litterarische Bilder aus Russland») немецкого писателя и критика Генриха Кёнига (König; 1790–1869) вышла в Штуттгарте в 1837 г. Она была написана на основе бесед Кёнига с писателем, литературным и музыкальным критиком Н. А. Мельгуновым, одним из организаторов журнала «Московский наблюдатель», весной 1835 г. уехавшим лечиться в Германию. Вот как рассказывал об этом сам Мельгунов: «В начале 1837 года я жил по болезни в Ганау, небольшом городке близ Франкфурта-на-Майне. В числе навещавших меня знакомых был и г. Кёниг, известный немецкий литератор. Смерть Пушкина, случившаяся в то время, сильно настроила внимание немцев на литературу русскую. Г. Кёниг желал узнать некоторые подробности о жизни и сочинениях Пушкина. Отметив на бумаге слышанное от меня и дополнив изустные известия печатными из немецких и французских журналов, он составил впоследствии статью, которая была помещена им в одном периодическом издании. Но любопытство г. Кёнига не ограничилось одним Пушкиным. Он желал иметь и о других писателях русских сведения такого же рода, предполагая издать ряд портретов в виде галереи русской словесности. Я согласился и на это требование, надеясь извлечь из литературных бесед своих с г. Кёнигом не одно для себя развлечение, но и пользу для словесности нашей. <...> В продолжение нескольких недель г. Кёниг приходил ко мне *беседовать* о русской словесности, отмечая слышанное, что и составило зерно его будущего труда. К этим беглым отметкам впоследствии присоединил он все, что мог найти о литературе и литераторах русских в частной ли переписке, в изустных ли рассказах других; также прибавил к ним известия, рассеянные в разных сборниках, журналах и газетах, руководствуясь между прочим и „Историей русской словесности“ г. Греча, незадолго перед тем переведенной на немецкий язык. Наконец, по приведении в порядок всех этих материалов, он составил из них книгу, конечно неполную, далеко не совершенную, но в пер-

вый раз представившую в живых красках сколько-нибудь связную картину нашей словесности» (*Мельгунов Н. А.* История одной книги. М., 1839. С. 5–7; упоминаемая «История русской словесности» Греча — «Учебная книга о русской литературе» (*Lehrbuch der russischen Literatur.* Leipzig, Riga, 1837) Ф. Отто, представляющая собой перевод второго издания «Краткой истории русской литературы» Греча, составившей 4-ю часть его «Учебной книги русской словесности» (СПб., 1830)). Книга Кёнига имела большой успех в Европе, под ее влиянием, в частности, начал изучать русский язык и Фарнгаген фон Энзе. С. П. Шевырев писал в своих «Дорожных эскизах на пути из Франкфурта в Берлин»: «...во всех городах, через которые случилось мне проезжать, ее знают и отзываются о ней с единогласною похвалою. Многие писатели Германии с тех пор принялись за русский язык — и Фарнгагена в Берлине я застал за тремя томами нового издания Пушкина. Книга Кёнига переведена на голландский язык: я видел этот перевод в книжных лавках Гааги, Лейдена, Гарлема и Амстердама. Скоро и в Германии она должна выйти вторым изданием» (ОЗ. 1839. Т. 3, № 4. С. 110–111; кроме голландского, появились еще французский и чешский переводы труда Кёнига). Н. А. Мельгунов тоже свидетельствовал о Фарнгагене: «Принявшись вскоре после появления Кёниговой книги за изучение русского языка, он с помощью одного молодого нашего ученого через 6 месяцев достиг того, что свободно стал понимать Пушкина. В июле 1838 года один мой знакомый (С. П. Шевырев. — *Ред.*) писал ко мне из Берлина следующее: „Фарнгагена я застал за чтением Пушкина: он изумил меня. Пушкина понимает он очень свободно и читает его с наслаждением. Н^е-евров^о произвел чудо над ним“ и т. д. Впрочем, лучшим подтверждением этих слов служит самая статья г. Фарнгагена о Пушкине» (*Мельгунов Н. А.* История одной книги. С. 11–12). В России о выходе книги Кёнига сообщал «Современник», характеризуя ее как «книгу не бранную, не лживую, а благонамеренную, беспристрастную, написанную не наобум, а с знанием, может быть, с некоторыми ошибками, но с добросовестностью» (1837. Т. 8. С. 313). В 1839 г. в напечатанной в «Современнике» статье «Переводы русских сочинений на немецкий язык» (Т. 13, № 1. С. 162–164, 2-я пар.) сообщалось о готовящемся французском переводе «Литературных картин». Булгарин и Н. А. Полевой, оскорбленные неллицеприятной характеристикой, данной им в книге Кёнига, напротив, высказывались о ней с нескрываемой враждебностью. Булгарин в своей развязной и оскорбительной манере выступил против Кёнига и Мельгунова в «Северной пчеле» (1838. № 35, 14 февраля). Полевой отозвался о книге в «Летописи русских журналов за 1839 год»: «Что касается до книги Кёнига — жаль, что с несколькими справедливыми известиями она распространит по Европе и множество ложных известий и мнений, передаст иностранцам голоса партий литературных, а не настоящую картину русской литературы» (СО. 1839. Т. 7, № 1. Отд. IV. С. 44). Нападки Булгарина и Полевого побудили Мельгунова ответить в статье «История одной книги», напечатанной отдельной брошюрой в приложение к апрельскому номеру «Отечественных записок» за 1839 г. Русский перевод книги Кёнига под заглавием «Очерки русской литературы» появился только в 1862 г. О книге Кёнига и полемике вокруг нее в России и в Германии см.: *Данилевский Р. Ю.* «Молодая Германия» и русская литература. С. 139–141; также: *Алексеев М. П.* Пушкин и Запад. С. 287–290.

⁹ Известная впоследствии русско-немецкая поэтесса К. К. Павлова (1807–1893), носившая тогда еще девичью фамилию Яниш, в 1833 г. выпустила сборник «Северное сияние. Образцы новой русской литературы» (*Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur.* Dresden; Leipzig, 1833), включавший произведения Пушкина (стихотворения «Эхо», «Ты и Вы», «Я помню чудное мгновенье...», «Пророк», «Черкесскую песню» из «Кавказского пленника», четыре отрывка из «Цыган», сцену «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» из «Бориса Годунова» и «Метель»), В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова, Д. В. Веневитинова, Е. Ф. Розена, русские и малороссийские народные песни и 10 оригинальных немецких стихотворений самой переводчицы. Сборник был замечен в Германии, на нее откликнулся, в частности, Ф. Г. Кюне в «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» (1834. Hf. 115 (Juni)) (см. об этом также: *Reissner E.* Deutschland und die russische Literatur. S. 88–90). Карл Фридрих фон дер Борг (*von der Borg*; 1794–1848) как переводчик был известен, в первую очередь, своей антологией «Поэтические произведения рус-

ских» (Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg. Dorpat, 1820. Bd. 1; Riga, 1823. Bd. 2) — первым немецким собранием образцов русской поэзии. Петер Отто (Петр Павлович) фон Гётце (Geetz) (Goetze; 1793–1880), в 1830-х гг. высокопоставленный чиновник Министерства финансов, действительный статский советник (с 1837 г.), почетный член Российской Академии (с 1829 г.), переводчик, приобрел популярность в Германии своим сборником «Голоса русского народа в песнях» (Stimmen des russischen Volkes in Liedern. Gesammelt und übersetzt von Peter von Goetze. Stuttgart, 1828). Журналист Карл Фридрих Готтлиб Роберт Липперт (Lippert; род. 1810) дебютировал как переводчик незадолго до выхода статьи Фарнгагена. Первый его перевод — повесть А. А. Бестужева «Наезды» («Streifzüge») (Zeitung für die elegante Welt. 1838. № 152–167, 6–24 August). Особенную известность Липперту принесло издание его переводов Пушкина, появившееся в 1840 г. (Alexander Puschkins Dichtungen. Aus dem Russischen übersetzt von Robert Lippert. Leipzig. Bd 1–2). В 1837 г., в момент смерти Пушкина, Липперт находился в России. Под его переводом поэмы «Кавказский пленник» («Der Gefangene im Kaukasus»), напечатанном в 1839 г. в альманахе Т. Мундта «Дельфин» на 1839 г. (Der Delphin. Altona, 1839), стоит помета: «Москва. В день смерти поэта». Фарнгаген был знаком с Липпертом и, вероятно, видел в рукописи готовящиеся им переводы (см.: Данилевский Р. Ю. «Молодая Германия» и русская литература. С. 132; о Липперте см. также: Reissner E. Deutschland und die russische Literatur. S. 191–196).

¹⁰ Знаменитый немецкий гекзаметрический перевод «Илиады» Иоганна Генриха Фосса (Voss; 1751–1826) был издан в 1793 г. Ему предшествовали гекзаметрические переводы братьев Христиана (1748–1821) и Фридриха Леопольда (1750–1819) Штольбергов (Stollberg) и Иоганна Якоба Бодмера (Bodmer; 1698–1783), появившиеся оба в 1778 г. Русский гекзаметрический перевод Н. И. Гнедича был издан в Петербурге в 1829 г.

¹¹ Речь идет о статье С. П. Шевырева «Дант и его век. Исследование о „Божественной комедии“» (Уч. зап. имп. Московского ун-та. 1833. Ч. 2, № 5 (Ноябрь). С. 306–363; № 6 (Декабрь). С. 509–543; 1834. Ч. 3, № 7 (Январь). С. 118–180; № 8 (Февраль). С. 336–373; № 9 (Март). С. 550–575; Ч. 4, № 10 (Апрель). С. 117–155; № 11 (Май). С. 365–397). Включенный в нее перевод дантовских терцин («Мною входя в град скорбей безутешных...») см.: Ч. 2, № 5. С. 344.

¹² Агамемнон — царь Микен, один из главных героев «Илиады», предводитель войска греков в Троянской войне.

¹³ Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

¹⁴ Первые три тома Посмертного собрания сочинений Пушкина начали выдаваться подписчикам в конце февраля — начале марта 1838 г.; последние из восьми томов, предусмотренных первоначальным планом издания (см. наст. изд., с. 520, 524) вышли к концу 1838 г. Первые три тома собрания были подарены Фарнгагену Александром фон Гумбольдтом (см.: Raab H. Die Lyrik Puškins in Deutschland (1820–1870). Berlin, 1964. S. 55).

¹⁵ Поэма Гёте «Герман и Доротея» («Hermann und Dorothea», 1797) написана гекзаметром и по жанру близка к идиллии. «Луиза» («Luise», полностью опубл. 1795) — идиллия И. Г. Фосса.

¹⁶ Братья-близнецы Вульф и Вальт — главные герои романа Жан Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера; Richter; 1763–1825) «Озорные годы» («Flegeljahre», 1804–1805).

¹⁷ «Гёц фон Берлихинген» («Götz von Berlichingen», 1773; ранний вариант драмы — «История Готфрида фон Берлихингена с железной рукой» («Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand», 1771)) и «Эгмонт» («Egmont», 1788) — драмы Гёте.

¹⁸ Имеется в виду изданная посмертно незавершенная трагедия Шиллера «Деметрий» («Demetrius»), над которой Шиллер работал в 1804 г.

¹⁹ Кёниг пишет, что «Руслан и Людмила» — сказка «в духе Ариоста, навеянная изучением этого итальянского поэта, но совершенно национальная в том отношении, что взята из героических времен России» (цит. по русскому пер.: Кёниг Г. Очерки русской литературы. СПб., 1862. С. 103).

²⁰ Имеется в виду стихотворение «Андрей Шенья» (1825).

²¹ См. выше примеч. 4.

²² Имеется в виду стихотворение «Наполеон» (1821).

²³ Имеются в виду стихотворения «Клеветникам России» (1831) и «Бородинская годовщина» (1831).

Н. И. ГРЕЧ

ЧТЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

<Отрывки>

Греч Н. И. Чтения о русском языке. СПб., 1840. Ч. 1–3; приводимые отрывки — Ч. 1. С. 158–160, 310–315; Ч. 2. С. 176–190, 197–198, 250–252, 339.

«Чтения о русском языке» представляют собой текст публичных лекций, которые Н. И. Греч читал в Петербурге с 1 декабря 1839 г. по 22 марта 1840 г. Греч не импровизировал, он читал свои лекции по написанному заранее тексту. Поэтому книга была подготовлена к печати еще до окончания курса (ценз. разр. 15 марта 1840 г.; предисловие датировано 30 марта). «Признаюсь откровенно, — писал Греч в предисловии, — что успех моих Чтений далеко превзошел мои надежды и ожидания. Я полагал, что буду иметь человек пятьдесят слушателей, которых число уменьшится мало-помалу и растает в марте с зимним снегом. Вышло напротив: желающих пользоваться моими Чтениями оказалось гораздо более, и число их непрерывно возрастало. Предел им положило пространство залы. В числе слушателей моих имел я счастье видеть и первых сановников государства, и знаменитых ученых, и славных литераторов, и скромных любителей словесности, и умных, просвещенных женщин. Многие посетители не пропустили ни одной беседы, с первой до последней, и между ими такие, у которых мне, а не им у меня надлежало бы учиться» (Ч. 1. С. I–II). Наплыв слушателей даже вынудил строителей лекций искать для них другое помещение. Первые шесть лекций проходили в зале Второй петербургской гимназии (совр. адрес: Казанская ул., 27/12), потом они были перенесены в зал Вольного экономического общества (совр. адрес: Невский пр., 2). Четкую структуру лекции Греча приобрели с пятого «чтения» (5 января 1840 г.). Четвертое «чтение», посвященное исключительно грамматике, вызвало, по признанию самого Греча, «недовольство некоторой части аудитории» (Там же. С. III). После этого Греч начал разделять каждую лекцию на две части: первую часть он посвящал грамматическим свойствам языка, вторую — исключительно литературе. При этом лектор не ограничивался отечественной словесностью, позволяя себе пространные экскурсы в область западноевропейских литератур.

¹ Речь идет о времени Наполеоновских войн.

² Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (изд.: М., 1833; СПб., 1839) была завершена в 1824 г. и сразу же стала известной и популярной благодаря многочисленным спискам. В театральном альманахе Ф. В. Булгарина «Русская Талия на 1825 год» (СПб., 1825. С. 257–316) были напечатаны фрагменты комедии (д. 1, явл. 7–10; д. 3 (с купюрами)). Эта публикация давала возможность высказываться о комедии печатно. Греч писал о «Горе от ума» еще в 1825 г.: «Прекрасные стихи, верное изображение характеров и странностей общества, высокие чувствования любви к отечеству, занимательность комических положений, все соединяется в этой пьесе» (СПч. 1825. № 15, 3 февраля).

³ Перевод «Илиады» Гнедича был издан в Петербурге в 1829 г.

⁴ Имеется в виду первый роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (СПб., 1829. Ч. 1–4).

⁵ Имеются в виду романы М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (М., 1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (М., 1831) и А. Ф. Вельтмана «Странник» (М., 1831–1832. Ч. 1–3), «Кощей бессмертный» (М., 1833. Ч. 1–3).

⁶ Цитируемая Гречем «Песня» («Наяву и в сладком сне...», 1824) впервые была напечатана в альманахе «Северные цветы» на 1825 г., вошла в сборник «Стихотворения барона Дельвига» (СПб., 1829).

⁷ Далее полностью приводится «Черкесская песня» из поэмы «Кавказский пленник».

⁸ Далее целиком приводится песня из поэмы «Полтава».

⁹ Далее полностью приводится стихотворение «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет...», 1825).

¹⁰ С элегии «Сельское кладбище» (1802), перевода «Элегии, написанной на сельском кладбище» («Elegy Written in a Country Churchyard», 1751) Т. Грея (Gray; 1716–1771), началась широкая поэтическая известность В. А. Жуковского.

¹¹ Далее приводится полностью вступление к поэме «Руслан и Людмила», прибавленное Пушкиным к тексту поэмы при втором ее издании в 1828 г. Заканчивается цитата двумя первыми стихами первой песни: «Дела давно минувших дней, / Преданы старины глубокой».

¹² Цитата из первой главы «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года».

¹³ Л.-Ж.-М. *Дагерр* (Daguerre; 1787–1851), один из создателей фотографии, в 1839 г. представивший Французской Академии проект производства дагерротипа, с конца 1810-х гг. был самым знаменитым театральным художником Парижа; его декорации, в которых, в частности, применялась изобретенная им диорама, создавали иллюзию полной реальности.

¹⁴ Далее следует цитата из поэмы «Бахчисарайский фонтан» до стиха: «Одно божественное чувство...».

¹⁵ *Хитана* (гитана) — испанская цыганка.

¹⁶ Цитируется текст поэмы до стиха: «Убогий ужин старика».

¹⁷ Цитируется текст поэмы до стиха: «Так чудно этой жизни праздной».

¹⁸ Песня цитируется полностью.

¹⁹ Цитируется текст поэмы до стиха: «Цыгана дикого рассказа».

²⁰ Цитируется текст поэмы до заключительного стиха эпилога.

²¹ Цитируется текст поэмы до стиха: «И тело в землю схоронил...».

²² Цитируется (с изменением слова «моих» на «его») Посвящение Пушкина к «Евгению Онегину».

²³ Под псевдонимом «Казак Луганский» публиковал свои повести и рассказы В. И. Даль. С 1833 г. выходило четырехтомное издание «Былей и небылиц Казака Луганского» (СПб., 1833–1839).

²⁴ «*Илья Муромец*» — «богатырская сказка» Н. М. Карамзина (1794).

²⁵ *Сеид* — в странах Ближнего и Среднего Востока почетный титул мусульманина, претендующего на происхождение от Магомета; в переносном смысле — благородный человек, защитник справедливости.

²⁶ Пушкин передал свои соболезнования Н. И. Гречу по случаю смерти его сына (см. в статье В. А. Жуковского «Последние минуты Пушкина» — наст. изд., с. 226).

ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА». ТОМЫ IX, X и XI

СПбВед. 1841. № 259, 13 ноября; № 260, 14 ноября. Подпись:ъъ

Автором рецензии мог быть редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» (с 1836 по 1862 г.) Амплий Николаевич Очкин (1791–1865), журналист и переводчик (в 1820-е и 1830-е гг. активно сотрудничал в «Северной пчеле», «Северном архиве», «Библиотеке для чтения»), издатель журнала «Детская библиотека» (с 1835 по 1838 г.), цензор; был знаком с Пушкиным (подробнее о нем см.: Черейский. С. 316; Русские писатели. Т. 4. С. 476–478, статья А. А. Ильина-Томича). Очкин указан как автор статьи (без аргументации этого предположения) А. Л. Осповатом и Р. Д. Тименчиком (см.: *Осповат А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальную повесть сохранить...». М., 1985. С. 83). В. Г. Маранцман также без аргументации атрибутировал статью М. П. Сорокину (см.: *Маранцман В. Г.* Роман А. С. Пушкина «Дубровский» в школьном изучении. Л., 1974. С. 5). Статья посвящена трем последним (IX, X и XI) томам Посмертного собрания сочинений Пушкина, вышедшим в 1841 г. (об этом собрании сочинений подробнее см. примеч. 1 к статье Жуковского «Последние минуты Пушкина» — наст. изд., с. 524).

¹ После гибели Пушкина Жуковский предпринял попытку опубликовать в Посмертном собрании сочинений подготовительные материалы для «Истории Петра Первого», над которыми поэт работал в 1833–1836 гг., делая, в частности, распространенные выписки из книги И. И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России; собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (М., 1788–1789. Ч. 1–12). 5 апреля 1837 г. Жуковский обратился к Николаю I: «Основываясь на том, что я имел счастье лично слышать от Вашего Императорского Величества, я уведомил министра народного просвещения, что Ваше Величество насчет издания сочинений Пушкина соизволили изъявить мне следующее: „сочинения уже напечатанные пропустить, не подвергая их новому разбору; сочинения еще не напечатанные отослать в цензуру для разбора по установленному порядку; все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого, предварительно представить Вашему Императорскому Величеству“» (Совр. 1913. № 9. С. 326). На письме имеется собственноручная резолюция императора: «Нет затруднений». Однако Николай I, ознакомившись с рукописью «Истории Петра», посчитал невозможной ее публикацию «по причине многих неприличных выражений» в адрес Петра Великого. В феврале 1840 г. Жуковский еще раз попытался получить разрешение на включение материалов в заключительные тома Посмертного собрания: «Сочинения Пушкина, оставшиеся по смерти его, собраны и скоро будут приготовлены к изданию в свет. В числе их находится рукопись, содержащая материалы для истории Петра Великого, которые я уже имел счастье представлять на рассмотрение Вашего Императорского Величества. Тогда Вы соизволили заметить, что сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого. Теперь манускрипт пересмотрен со вниманием, и все замеченное или выброшено, или исправлено. — Испрашиваю всеподданнейше позволения у Вашего Императорского Величества напечатать сию рукопись; ибо исключением оной из сочинений Пушкина прибыль от издания в пользу его детей может уменьшиться 25 000 р <рублей>. Всеподданнейше испрашиваю также у Вашего Императорского Величества разрешения и о том, чтобы все собрание сочинений представить на рассмотрение в обыкновенную цензуру, как то было уже со многими сочинениями того же автора, напечатанными после его смерти» (Незеленов А. И. Шесть статей о Пушкине. СПб., 1892. С. 94). Согласие Николая I было получено, но после вмешательства цензуры, предложившей сделать большие купюры и изменения в рукописи, издатели отказались от ее публикации в Посмертном собрании сочинений. Через год материалы по «Истории Петра» были переданы вдове Пушкина: «Хотя г. опекун В. А. Жуковский передал опекунству сему оставшийся по смерти А. С. Пушкина оригинал ненапечатанных сочинений его под заглавием: „Материалы для истории Петра Великого“ в шести частях, но опекунство сие, при всем старании своем, не могло продать книгопродавцам рукописи сей для издания оной в свет и не имеет надежды в скором времени продать оной, то равно полагают сдать упомянутую рукопись под роспиську вдове Н. Н. Пушкиной на сохранение оной, с тем, что буде со временем представятся желающие на покупку оной, то вдова та испросила бы на то разрешение по принадлежности» (Журнал заседания опекунства над малолетними детьми и имуществом А. С. Пушкина от 16 февраля 1841 г. — Архив Опекы Пушкина. М., 1939. С. 403 (Летописи гос. литературного музея. Кн. 5)). Впервые подготовительные пушкинские материалы для «Истории Петра I» были напечатаны полностью в десятом томе Большого академического собрания сочинений А. С. Пушкина ([М.; Л.], 1938); историю публикации отдельных записей см.: Там же. С. 481–486.

² Имеется в виду встреча Дон Гуана и Донны Анны, происходящая в ее комнате («Каменный гость», сц. IV).

³ Цитируется строфа XVII восьмой главы «Евгения Онегина».

⁴ Речь идет о пушкинском стихотворении «Утопленник» (1828):

В ночь погода зашумела,
Взволновалася река.
Уж лучина догорела
В дымной хате мужика.

⁵ Имеется в виду поэма «Кавказский пленник», действие которой разворачивается в черкесском ауле.

⁶ «Фелица» (1782) — ода Г. Р. Державина. Драматические опыты Державина («театральное представление с музыкою» «Добрыня» (1804), «героическое представление с хорами и речитативами» «Пожарский, или Освобождение Москвы» (1806), трагедии «Ирод и Мариамна» (1807), «Евпраксия» и «Темный» (обе — 1808) и др.), которыми он увлекся в последние годы жизни, воспринимались современниками как неудача.

⁷ «Ундина» В. А. Жуковского (отд. изд.: СПб., 1837) — стихотворное переложение одноименной романтической прозаической повести («Undine», 1811) немецкого писателя Фридриха Хайнриха Карла де ла Мотт барона Фуке (Fouqué; 1777–1843).

⁸ Слова Пимена из «Бориса Годунова» (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

⁹ Цитата из строфы XXXII шестой главы «Евгения Онегина».

¹⁰ Строки из неопубликованного при жизни Пушкина стихотворения «Чем чаще празднует Лицей...» (напечатано в девятом томе Посмертного собрания (с. 158), под заглавием: «Лицейская годовщина»).

¹¹ Состав Посмертного собрания сочинений Пушкина был определен Опекой и Жуковским не сразу, а окончательное решение издавать последние три тома, в основном включающие неопубликованные при жизни поэта сочинения, возникло уже в процессе работы над изданием. Многие пушкинские произведения, неопубликованные при жизни и оставшиеся в рукописи, появились в печати до выхода заключительных томов Посмертного собрания сочинений. В 1837–1838 гг. в «Современнике» (т. 5–12) были напечатаны «Медный всадник», «<Арап Петра Великого>», «<Сцены из рыцарских времен>», «<Русалка>», «Египетские ночи», «Кто знает край, где небо блещет...», сцены из первой редакции «Бориса Годунова», черновые строфы «Евгения Онегина» и др., в 1839–1841 гг. в «Отечественных записках» опубликованы стихотворения «В альбом» («Долго сих листов заветных...»), «<В альбом А. О. Смирновой>» («В тревоге пестрой и бесплодной...»), «Три ключа» («В степи мирской, печальной и безбрежной...») и др., ряд автобиографических и критических заметок были напечатаны в «Сыне отечества» в 1840 г.; в «Москвитяине» в 1841 г. появились стихотворения «Как быстро в поле вкруг открытом...» и «К Щербинину» («Житье тому, любезный друг...») (подробнее см.: *Богавская К. П.* Пушкин в печати за сто лет (1837–1937). М., 1938. С. 11–26).

¹² В статье ошибочно: в IV.

¹³ См. примеч. 13 к статье В. Г. Белинского «Начиная четвертый год своего существования, „Московский наблюдатель“...» — наст. изд., с. 541.

¹⁴ О «Медном всаднике», впервые опубликованном в «Современнике» (1837. Т. 5. С. 1–20), см. отзывы С. П. Шевырева (МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 316–317; наст. изд., с. 243; Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 244–245; наст. изд., с. 338) и В. Г. Белинского (МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 150; наст. изд., с. 248).

¹⁵ Объяснения Дон Гуана и Доны Анны в сценах III и IV «Каменного гостя» имеют несомненное сходство с диалогом между Глостером (Ричардом III) и леди Анной, вдовой Эдуарда, принца Валлийского, во второй сцене первого акта «Ричарда III» («Richard III», ок. 1591). Об этом же писал Шевырев в рецензии на Посмертное собрание сочинений (см.: Москв. 1841. Ч. 5. № 9. С. 246; наст. изд., с. 339).

¹⁶ *Эвмениды* (то же: Эринии) — в древнегреческой мифологии богини, мстящие за преступление, совершенное против законов матриархата. Согласно мифу, Эринии («гневные») преследуют Ореста, убившего свою мать Клитемнестру, но затем, примирясь с нормами отцовского права, становятся Эвменидами («благожелательными») и берут под свою защиту Аттику.

¹⁷ *Ундины* (от лат. unda — волна) — в скандинавской и немецкой мифологии женские духи воды, обитательницы ручьев, рек и озер.

¹⁸ *Наяды* — в греческой мифологии дочери Зевса; были нимфами водной стихии и родственны nereидам.

¹⁹ Цитата из вступления к поэме «Руслан и Людмила» (1820).

²⁰ «Янши Королевич» — одна из переведенных Пушкиным сербских песен, входящих в цикл «Песни западных славян» (1833–1834).

²¹ Шевырев называл «<Русалку>» «народной драмой» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 245; наст. изд., с. 340); см. также отзыв Белинского (МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 151; наст. изд., с. 249).

²² Ср. мнение Шевырева: «„Галуб“, если б был окончен, верною задуманного на месте характера стал бы выше “Кавказского пленника”...» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 248; наст. изд., с. 341).

²³ Имеется в виду пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830), напечатанная впервые в «Сыне отечества» (1840. Т. 2, № 3. С. 5–10). По цензурным требованиям подверглась существенным искажениям: «поп» был обращен в «купца Кузьму Остолопа», ряд стихов переделаны, а сама сказка получила иное заглавие: «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде».

²⁴ Стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833) впервые опубликовано в Посмертном собрании сочинений (Т. 9. 129–130).

²⁵ К XVIII в. относятся некоторые стихотворные сочинения забавного содержания и сборники анекдотов типа «Смехотворных повестей». В простонародную книжку «Старичок Весельчак» (СПб., 1789) вошли заимствованные из этих сборников истории, рассказывающие давние московские были и польские диковинки.

²⁶ Цитируются строки из лицейского стихотворения «К Жуковскому» («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...», 1816), которое было впервые напечатано вместе со стихотворением «Кто из богов мне возвратил...» (1835; под заглавием: «Гораций») в «Сыне отечества» (1840. Т. 2, № 4. С. 245–251). Эту публикацию сопровождало подстрочное примечание редактора журнала А. В. Никитенко, ошибочно отнесшего второе пушкинское стихотворение к лицейскому периоду его творчества: «Предлагаемые публике два стихотворения А. С. Пушкина принадлежат к его лицейским опытам; они, вместе с прочими творениями, собранными после его смерти, приготовлены уже к изданию и составят несколько томов. Само собою разумеется, что эти опыты не выражают поэтической физиогномии Пушкина, с какою он является теперь перед нами и какую сохранил навсегда в истории нашей литературы. Но для сей последней неопределенны первые творческие порывы такого таланта, каков Пушкина. Сравнивая с ними его последующие создания, мы видим, какие принес он жертвы жизни и искусству, что уцелело в нем, как основное начало его природы, и что исчезло вместе с мечтами и верованиями юности. В первых произведениях Пушкина видны уже признаки того направления, которое после сделалось господствующим в его поэзии и образовало у нас новую, особенную школу: это самобытный, хотя и не глубокий взгляд на природу и жизнь, творчество, почерпающее стихи для своих идеалов из самой действительности, а не из произвольных о ней понятий, шествующее к своей цели путем аналитическим, а не синтетическим. Ни в одном из лицейских его стихотворений, которых большая часть нам известна, вы не найдете стремления перелететь через существующий порядок вещей в безвестную, бесконечную даль и строить там свой порядок вещей; основные идеи поэт почерпает везде из окружающих его явлений; он метким взглядом извлекает из них поэтические элементы и из этих свежих, существенных даров жизни строит свои поэтические здания, столь же существенные и истинные. Это направление мы считаем величайшею услугою, какую оказал Пушкин нашей литературе и образованности; оно-то и сделало его народным поэтом, потому что наш народный гений менее всего наклонен к *априорическому*, а, напротив, полный жизни и самой здоровой логики, он любит жизнь, истину, простоту, любит подвизаться в области вещей, а не призраков. С этой точки зрения надобно смотреть на первые опыты Пушкина, как и на произведения его зрелых сил. Мы обещаем представить читателям „Сына> о<тчества>“ разбор его произведений именно с этой точки зрения, которая, кажется, у нас до сих пор была оставлена без внимания, несмотря на то что она едва ли не есть самая верная, хотя и не самая мировая» (Там же. С. 245–246).

²⁷ Цитата из лицейского стихотворения «Сон (Отрывок)» (1816), которое впервые опубликовано в Посмертном собрании сочинений (Т. 9. С. 301–309). Вопросительный знак в скобках поставлен автором рецензии, — по-видимому, этот стих вызвал у него сомнения.

²⁸ *Фра-Дьяволо* — герой-разбойник популярной комической оперы «Фра-Дьяволо» (1830; муз. Д. Ф. Э. Обера, либретто О. Э. Скриба); первая постановка в России — 14 января 1831 г. в Петербурге (рус. пер. Р. М. Зотова и А. Г. Ротчева). Через несколько лет Р. М. Зотов опубликовал собственный роман «Фра-Диаволо, или Последние годы Венеции» (СПб., 1839. Ч. 1–4).

²⁹ *Карл Моор* — один из главных героев первой опубликованной и поставленной на сцене драмы Ф. Шиллера «Разбойники» («Die Räuber», 1781).

³⁰ Анна Радклиф (Radcliffe; 1764–1823) — английская писательница, автор «готических» романов, сюжет которых изобилует преступлениями, похищениями, заточениями, побегами, погонями и т. п.; главные герои, как правило, — чувствительная молодая девушка, подвергающаяся гонениям и домогательствам, ее благородный отважный возлюбленный, наемные убийцы, разбойники и др.

³¹ См. примеч. 13 к статье В. Г. Белинского «Начиная четвертый год своего существования, „Московский наблюдатель“...» — наст. изд., с. 541.

³² Ср. отзыв Шевырева, назвавшего «Историю села Горюхина» «едкой сатирой на внутреннюю пустоту нашей сельской жизни, на эту жалкую действительность без памятников и без прошедшего» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 263; наст. изд., с. 349).

³³ См. также отзывы Шевырева (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 263–264; наст. изд., с. 350) и Белинского (МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 155; наст. изд., с. 251).

³⁴ Противоположного мнения о «<Сценах из рыцарских времен>» придерживались Белинский (МН. 1838. Ч. 16. Март, кн. 1. С. 151–152; наст. изд., с. 249) и Шевырев (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 264; наст. изд., с. 350).

³⁵ См. примеч. 17 к статье «Отзыв иностранца о Пушкине» — наст. изд., с. 554.

³⁶ Случайная ошибка автора: Посмертное издание первоначально состояло из восьми томов.

С. П. ШЕВЫРЕВ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА». ТОМЫ IX, X и XI

Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 236–270.

Журнал «Москвитянин», начавший выходить в 1841 г., во многом продолжал направление «Московского вестника» и отчасти «Московского наблюдателя». Замысел журнала возник у М. П. Погодина и С. П. Шевырева еще в 1837 г., когда стало ясно, что, несмотря на свое активное участие в «Московском наблюдателе», они не определяют в полной мере его политики. Осуществление издания стало возможным после возвращения в 1840 г. Шевырева из-за границы. Журнал просуществовал 16 лет (1841–1856). Издателем его был М. П. Погодин, С. П. Шевырев заведовал критическим отделом.

Рецензия на последние тома Посмертного собрания сочинений Пушкина была для Шевырева исполнением давнего плана большой статьи, подводящей итоги пушкинского творчества. Еще в 1837 г. в рецензии на пятую, посмертную, книжку «Современника» он делал оговорки: «как мы в свое время постараемся доказать», «но об этом после» (МН. 1837. Ч. 12. Июнь, кн. 1. С. 316; наст. изд. с. 243) и т. д. Окончание настоящей статьи свидетельствует о том, что в планах Шевырева было еще более обширное и полное исследование, посвященное Пушкину, однако этот замысел он так и не осуществил. Во многом статья продолжает сказанное в рецензии 1837 г., особенно в той части, которая посвящена «Медному всаднику». Здесь повторяется важная для Шевырева мысль об «эскизованности» пушкинского творчества, понимаемой как отсутствие окончательного развития мысли, полного и однозначного решения поставленных вопросов. Однако в сравнении с рецензией на «Современник» здесь смягчен полемический оттенок по отношению к Пушкину, еще сохранявшийся непосредственно после смерти поэта. «Эскизованность», воспринимавшаяся как недостаток, признак недоразвития пушкинского гения, становится особенностью его творчества (см. об этом: *Маймин Е. А.* А. С. Пушкин и С. П. Шевырев // *Res Philologica*:

Филологические исследования. М.; Л., 1990. С. 389–390). Взгляд Шевырева на развитие русской словесности был обозначен еще в «Обзрении русской словесности за 1827 год» (МВ. 1828. Ч. 7, № 1. С. 59–84; П. в критике, II. С. 34–36): Россия, отставшая от Европы, находится в состоянии возмужания, ученичества и подготовки к тому, «чтобы деятельное принять участие в деле европейского просвещения»; «...у нас не прошло еще время вдохновения, время поэзии. Мы имели уже Ломоносова, имели Державина необразованного; но с тех пор, как его не стало, мы, кажется, не столько творили, сколько готовили материалы для творца будущего, а именно: очищали язык, отгадывали тайну его гармонии, обогащали его разнообразными размерами, оборотами, звучной рифмой, словом — приуговляли все для нового Гения, для Державина образованного, который, может быть, уже таится в России» (МВ. 1828. Ч. 7, № 1. С. 64, 66; П. в критике, II. С. 34). С этой точки зрения он смотрит на три последних тома Посмертного собрания сочинений Пушкина, видя в них пушкинскую «мастерскую». В 1828 г. Пушкин был для Шевырева поэтом, которого, возможно, и ждала русская словесность, к которому она «готовилась». В 1841 г., подводя итоги пушкинского творчества, он находит в нем отражение общего российского процесса подготовки к чему-то, что еще грядет: «...чудные массы, готовые колонны, или стоящие на месте, или ждущие руки воздвигающей, dokonченные архитравы, выделанные резцом украшения, и при этом богатый запас готового дивного материала... Да, да, вся поэзия Пушкина, как современная ему Россия, представляет чудный, богатый эскиз недовершенного здания» (Москв. 1841. Ч. 5, № 9. С. 270; наст. изд., с. 353).

Вяземский в письме к Шевыреву от 22 сентября 1841 г. высоко оценил статью в «Москвитянин»: «Умом и сердцем благодарю вас за статью о Пушкине. Читая такие статьи, перестаешь отчаиваться в русской литературе» (РА. 1885. Т. 2, № 6. С. 307; см. также: Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому. СПб., 1901. С. 181, примеч. Н. П. Барсукова).

¹ Имеется в виду «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», написанная Батюшковым в 1816 г. при избрании его в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете (зачитана на заседании Общества 26 мая 1816 г. Ф. Ф. Кокоскиным, в том же году напечатана в «Трудах» Общества, вошла в первую часть «Опытов в стихах и прозе» (СПб., 1817) К. Н. Батюшкова). «В легком роде поэзии, — писал Батюшков, — читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности» (Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 10 (Лит. памятники)).

² Редакция «Москвитянина» вела политику поддержки и пропаганды творчества женщин-литераторов. Шевырев в своей программной статье «Взгляд на современную русскую литературу» (Москв. 1842. Ч. 2, № 3. С. 153–191) заявлял: «Да, да, мы ожидаем многого от деятельности женской в русской литературе» (с. 182). На страницах журнала регулярно появлялись стихи П. М. Бакуниной (1810–1880), Е. П. Растопчиной (1811–1858), К. К. Павловой (1807–1893), Е. Н. Шаховой (1822–1899) и др.

³ Шевырев имеет в виду Лермонтова, убитого на дуэли 15 июля 1841 г., о стихотворениях которого он в том же году, еще при жизни поэта, напечатал отдельную статью (Москв. 1841. Ч. 2, № 4. С. 525–540). Подробно рассмотрев влияние, оказанное на поэзию Лермонтова Пушкиным, Жуковским, Батюшковым и другими лучшими поэтами-предшественниками, Шевырев отдавал должное мастерству Лермонтова в овладении чужим опытом и возлагал большие надежды на будущее зрелое и самостоятельное творчество молодого поэта. Этот разбор был тем не менее воспринят как уничижительная рецензия. Даже благожелательный Вяземский в письме от 22 сентября 1841 г. пенял Шевыреву на излишнюю строгость по отношению к Лермонтову (см.: РА. 1885. Т. 2, № 6. С. 307). Шевырев вынужден был оправдываться: «Лермонтова ценить я умел: выразил я его и в своих разборах и в моем стихотворении» (Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому. СПб., 1901. С. 139, 181, примеч. Н. П. Барсукова; упоминаемое в письме

стихотворение Шевырева — «На смерть поэта» (Русская беседа: Собр. соч. русских литераторов, изд. в пользу А. Ф. Смирдина. СПб., 1841. Т. 2; без паг.).

⁴ Восторженный отклик о «Каменном госте» еще ранее опубликовал В. Г. Белинский (МН. 1839. Ч. 2, № 3. Отд. IV. С. 2) в рецензии на книгу «Сто русских литераторов» (СПб., 1839. Т. 1), где пушкинская трагедия была напечатана впервые.

⁵ Это свидетельство Шевырева подкреплено пушкинским «<Проектом из десяти названий>» (ПД 895; Рукою П. 1997. С. 248–250), предположительно датированным 1826-м — началом 1827 г., где присутствуют «Дон Жуан» и «Ромул и Рем».

⁶ Речь идет о заметке «Лица, созданные Шекспиром...» из «Table-talk» (XII, 159–160).

⁷ Имеется в виду сцена вторая I акта трагедии Шекспира «Ричард III» («Richard III», 1593). Шевырев первым указал на это сходство, которое с тех пор неоднократно отмечалось в исследовательской литературе (см., например: *Passadun Ст. Драматург Пушкин: Поэтика. Идеи. Эволюция.* М., 1977. С. 228; *Corbet C. L'Originalité du «Convive de pierre» de Pouchkine // Revue de littérature comparée.* 1955. № 1. P. 57 et al.).

⁸ Речь идет о популярной в начале XIX в. опере «Днепровская русалка» (музыка К. Кавоса и С. И. Давыдова, текст Н. С. Краснопольского) — русской переработке оперы «Дева Дуная» («Das Donauweibchen», 1792–1803) Ф. Кауера (Kauer; 1751–1831) на текст К. Ф. Генслера (Hensler; 1761–1825).

⁹ Под этим названием в «Современнике» (1837. Т. 7. С. 5–16) и Посмертном собрании сочинений была напечатана незаконченная поэма «<Тазит>» (1829–1830), см. примеч. 13 к статье В. Г. Белинского «Начиная четвертый год своего существования, „Московский наблюдатель“...» — наст. изд., с. 541.

¹⁰ Стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...», не озаглавленное в автографе, впервые с купюрами было опубликовано в «Современнике» (1838. Т. 11 (№ 3). С. 18–19) под заглавием «Опричник». В Посмертное собрание сочинений оно вошло полностью под заглавием «Кромешник», взятым из пушкинского текста.

¹¹ Под заглавием «Начало поэмы» в посмертном издании было напечатано стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...», впервые опубликованное в другой редакции в составе пятой главы «Путешествия в Арзрум» (Совр. 1836. Т. 1. С. 76–77).

¹² Антонио Канова (Canova; 1757–1822) — знаменитый итальянский скульптор, работавший в классицистическом стиле. Статуи Кановы отличает безукоризненно чистая белая поверхность, точная передача анатомической структуры тела и драпировок, тонкость в проработке деталей. Пьетро Tenerani (Tenerani; 1798–1869) — итальянский скульптор, ученик Кановы, во многом определивший развитие европейской скульптуры первой половины XIX в.

¹³ В своей лекции о Рафаэле Шевырев называл три «стиля» художника: «1) Перуджиновский, 2) переходный и 3) собственно Рафаэлев» (*Шевырев С. Очерк истории живописи италийской, сосредоточенной в Рафаэле и его произведениях // Публичные лекции о<рдинарных> профессоров Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского и Шевырева.* М., 1852. С. 27, 5-я паг.). Сходным образом три периода выделяется обычно и в творчестве другого итальянского художника — Гвидо Рени (Reni; 1575–1642). Применяя подобную схему к пушкинской поэзии, Шевырев выделял в ней этап внешнего, чуждого Пушкину влияния Байрона, затем учебу у Шекспира и, наконец, переход к собственному «национальному» творчеству.

¹⁴ Остается неясным, были ли у Шевырева какие-либо основания говорить о том, что готовится к печати еще один том пушкинских сочинений. Издание ненапечатанных при жизни произведений Пушкина изначально планировалось в трех томах, что зафиксировано договором между Опекунством, учрежденным над детьми и имуществом А. С. Пушкина, и книгоиздателями А. Ф. Смирдиным, И. И. Глазуновым, М. И. Заикиным и И. Н. Кувшинниковым о продаже прав на публикацию неизданных рукописей и обязательстве книгопродавцев издать эти рукописи на свой счет и риск в трех томах (см.: *Архив Опеки Пушкина.* М., 1939. С. 243–244 (Летописи гос. литературного музея. Кн. 5)). В объявлениях о подписке и продаже этих томов также не было никаких упоминаний о предполагаемом 12-м томе (см.: *СПч.* 1840. № 243, 26 октября; 1841. № 47, 28 февраля).

¹⁵ Шевырев ошибся, приняв в «Каменном госте» слово «Segeno!» («Ясно», или «Тихо» (*исп.*) — крик испанских сторожей) за наречие, характеризующее этот крик (см.: *Державин К. Н.* Занятия Пушкина испанским языком // *Slavia. Praha*, 1934. Roč. XIII. Seš. 1. S. 119).

¹⁶ Шевырев точно указал на отсутствие в стихе одной стопы. Стихотворение «В начале жизни школу помню я...», напечатанное в Посмертном собрании как первое из «Подражаний Данту», осталось незавершенным. Указанный стих в беловом автографе, по которому печатался текст, первоначально читался: «Мечи и свитки в мраморных руках», затем слово «Мечи» было вычеркнуто и ничем не заменено.

¹⁷ Вторым из стихотворений, напечатанных в Посмертном собрании под заглавием «Подражания Данту», было «И дале мы пошли — и страх обнял меня...».

¹⁸ В рукописи стих читается: «Жир должников своих сосал сей злой старик», — Шевырев в своих предположениях, верно заметив нарушение ритма, упустил из виду наличие рифмы «велик — старик».

¹⁹ Имеется в виду стихотворение «Была пора: наш праздник молодой...», опубликованное Жуковским в «Современнике» (1837. Т. 5. С. 316–317) и затем в Посмертном собрании (Т. 9. С. 235–238) под редакторским заглавием «Лицейская годовщина». Здесь, как и во многих следующих поправках, Шевырев восстановил правильное чтение. В дальнейшем такие случаи специально оговариваться не будут.

²⁰ Речь идет о стихе «Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют» в стихотворении «Осгар».

²¹ Речь идет о стихотворении «Сон» («Пускай поэт с кадилницей наемной...»).

²² Речь идет о стихотворении «К Жуковскому» («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...»). В Посмертном собрании сочинений, как и в последующих изданиях, в текст стихотворения были включены два стиха («Смотрите! поражен враждебными стрелами, / С потухшим факелом, с недвижными крылами»), по-видимому предназначенные к замене, но не вычеркнутые Пушкиным (весь фрагмент, в который они входили, подвергся переработке) и потому механически присоединенные к новому тексту с нарушением правила альтернанса, замеченным Шевыревым. Текст был впервые восстановлен в соответствии с пушкинской правкой в изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: Наука, 1999. Т. 1: Лицейские стихотворения. 1813–1817. С. 184, 692–693 (примеч.).

²³ Речь идет о стихотворении «К Дельвигу» («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою...»). Правильное чтение указанных Шевыревым стихов: «Так рано завистки увидеть зрак кровавый / И низкой клеветы во мгле сокрытый яд...» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 264).

²⁴ Речь идет о стихотворении «Наездники».

²⁵ Речь идет о стихотворении «Фиал Анакреона».

²⁶ Речь идет о стихотворении «Заздравный кубок». Чтение, предложенное Шевыревым, соответствует лицейской редакции стихотворения (см.: *Пушкин А. С.* Рабочие тетради: [В 8 т. Факсим. изд.]. СПб.; Лондон; Болонья, 1995. Т. 2). Текст «Заздравного кубка» Шевырев мог помнить не только по рукописным копиям, но и по первой публикации в альманахе «Памятник отечественных муз» на 1827 г. (СПб., 1827. С. 186), где эти стихи были напечатаны правильно (см.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 216, 721–722 (примеч.)).

²⁷ Шевырев ошибся: эта строка стихотворения «Товарищам» («Промчались годы заточенья...») в Посмертном собрании сочинений напечатана в правильном чтении.

²⁸ Речь идет о стихотворении «К Г<алич>у» («Пускай угрюмый рифмотор...»)

²⁹ Раздел «Мелкие стихотворения» следовал непосредственно за текстами «Медного всадника», «Каменного гостя», «Русалки» и «Галуба» и включал все опубликованные в томе стихи, кроме отдельно напечатанных «Последних трех стихотворений А. С. Пушкина» («Была пора: наш праздник молодой...» (1836), «Отцы-пустынники и жены непорочны...» (1836) и «...Вновь я посетил...» (1835)), а также лицейских, выделенных в отдельное прибавление.

³⁰ В разделе «Антологические стихотворения» были напечатаны: «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...»; «Отрывок» («Не розу Пафосскую...»); «Ода LVII (Из Анакреона)» («Что же сухо в чаше дно?..»); «Бог веселый виногра-

да...»; «Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу...»; «Мальчику (Из Катул-ла)» («Пьяной горечью Фалерна...») и «Из Анакреона» («Узнают коней ретивых...»).

³¹ Шевырев цитирует ст. 15–20 посвященного А. Мицкевичу стихотворения «Он между нами жил...» (в Посмертном собрании напечатано под заглавием «М*») в редакции В. А. Жуковского, готовившего текст по черновой рукописи. В современных изданиях печатаются в соответствии с авторской рукописью:

Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.
(III, 331)

³² Речь идет о сцене «Девичье поле. Новодевичий монастырь», которая была ранее напечатана в «Современнике» (1839. Т. 13. С. 166–168) и вызвала восторженный отклик Белинского, также недоумевавшего, почему она была исключена из окончательного текста трагедии (МН. 1839. Ч. 2, № 3. Отд. IV. С. 44).

³³ Сцена «Уборная Марины», также напечатанная в «Современнике» (1838. Т. 10. С. 153–156) под заглавием «Замок воеводы Мнишка в Самборе». На ее первую публикацию Белинский отозвался в рецензии на этот том «Современника»: «„Сцена из Бориса Годунова“ написана разностопными стихами и рифмами и этим резко отделяется от всего „Бориса Годунова“, писанного пятистопным ямбом без рифм. В ней виден Пушкин, как и во всем, что ни вышло из-под его творческого пера; но потому ли, что мы в нее еще не вникнули, или потому, что это в самом деле так, только мы готовы думать, что великий художник не без основания исключил ее из „Бориса Годунова“. Но, во всяком случае, помещением ее издатель выполнил свой долг перед публикою, и благодарность ему за это» (МН. 1838. Ч. 17. Июнь, кн. 2. С. 515).

³⁴ Речь идет о стихотворении «И дале мы пошли — и страх обнял меня...».

³⁵ Имеются в виду большие декоративные полотна Питера Пауля Рубенса (Rubens; 1577–1640) «Страшный суд» и, видимо в еще большей степени, «Малый страшный суд» и «Падение грешников» (1610-е гг., Старая пинакотеха, Мюнхен), где особенно подчеркнуто телесное, плотское начало в сочетании с космическим масштабом свершающегося возмездия.

³⁶ Речь идет о зале для аудиенций в здании Коллегии менял (Collegio del Cambio; 1452–1457), где сохранились фрески Перуджино (Perugino, наст. имя Pietro Vannucci; ок. 1448–1523), выполненные в 1495–1500 гг. В работе принимали участие ученики Перуджино, среди которых в то время был Рафаэль.

³⁷ Стихотворения «Красавице, которая нюхала табак» («Возможно ль? Вместо роз, Амуром насаженных...»), «К Наталье» («Так и мне узнать случилось...») и «К Наташе» («Вянет, вянет лето красно...») — цитаты из двух последних приведены Шевыревым — принадлежат Пушкину. На странице 389 девятого тома Посмертного собрания сочинений под заголовком «Путешественнику» напечатаны фрагменты из пушкинского послания «К Н. Г. Л<омонос>ову», впервые полностью опубликованного в журнале В. В. Измайлова «Российский музей» (1815. Ч. 1, № 3. С. 263).

³⁸ Имеется в виду Вольтер, двадцать лет (1759–1778) проживший в своем имении Ферней на границе Франции и Швейцарии и сам называвший себя «фернейским патриархом».

³⁹ Речь идет о «богатырской сказке» Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794).

⁴⁰ Шевырев допустил неточность — пушкинские «оссианические» баллады «Эвлега» (1814) и «Осгар» (1814), напечатанные в девятом томе Посмертного собрания сочинений, не были переводами из книги французского поэта Луи-Пьера-Мари-Франсуа Баур-Лормиана (Baour-Lormian; 1770–1854) «Гальские стихотворения» («Poésies Galliques», 1801), представлявшей собой стихотворное переложение «Поэм Оссиана» (1761) Дж. Макферсона (Macpherson; 1736–1796). «Эвлега» — вольный перевод из IV песни поэмы Парни «Иснель и Аслега» («Isnel et Asléga», 1802–1808),

проникнутой оссианической образностью, а «Остар» — оригинальное произведение, созданное в подражание как Оссиану, так и Парни (см.: Венгеров С. А. «Оссиановские» стихотворения Пушкина // Пушкин А. С. [Собр. соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1907. Т. 1. С. 88–97; Балобанова Е. В., Пиксанов Н. К. Пушкин и Оссиан // Там же. С. 98–114; Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе: Конец XVIII — первая треть XIX в. Л., 1980. С. 96–99, 134–136; Костин В. М. А. С. Пушкин и «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона // Проблемы метода и жанра. Томск, 1983. Вып. 10. С. 99–111). Ни одного близкого сюжета у Баур-Лормиана нет. По-видимому, Шевырев, спутав два французских стихотворных текста, написанных по мотивам Оссиана, под Баур-Лормиановым переложением подразумевал поэму Парни.

⁴¹ Шевырев цитирует пушкинскую заметку «Державин» из «Table-talk» (XII, 158), напечатанную в «Современнике» (1837. Т. 8. С. 242) в разделе «Анекдоты и замечания», а затем вошедшую в Посмертное собрание (Т. 11. С. 176–177).

⁴² *Алкид* — имя, данное при рождении Гераклу как внуку Алкея.

⁴³ Имеется в виду фрагмент из «<Опровержения на критики>» (XI, 145; П. в критике, II. С. 294), напечатанный в Посмертном собрании сочинений в разделе «Смесь» (Т. 11. С. 227) под общим заголовком «Отрывки из записок А. С. Пушкина».

⁴⁴ Здесь Шевырев повторяет мысль, подробно изложенную им в программной статье «Взгляд русского на образование Европы», помещенной в первой книжке «Москвитянина». Сравнивая Россию с пылким юношей, подружившимся со старым промотавшимся скептиком, утратившим веру и надежду, он пишет: «...вы увидите, как изменится ваш пылкий юноша; не пристанет к нему разочарование; он не заслужил его своим прошедшим; но все чувства его окуются хладом бездейственной апатии...». Далее выстраивается генеалогия героев: от Байрона через Пушкина к Лермонтову: «Дон Жуан произвел Евгения Онегина, один из общих русских типов, метко схваченный гениальной мыслью Пушкина из нашей современной жизни. Этот характер повторяется нередко в нашей литературе: о нем грезят наши повествователи, и еще недавно один из них, блистательно вышедший на поприще поэта, нарисовал нам ту же русскую апатию, еще степень больше, в лице своего героя, которого мы, по чувству национальному, не хотели бы, но должны признать героем нашего времени» (Москв. 1841. Ч. 1, № 1. С. 290–291).

⁴⁵ Под таким названием «История села Горюхина» была напечатана в «Современнике» (1837. Т. 7, № 3. С. 197–220) а затем и в Посмертном собрании сочинений (Т. 10. С. 71–99).

⁴⁶ Неточная цитата из XLIII строфы шестой главы «Евгения Онегина»:

Лета к суровой прозе клонят.

⁴⁷ Имеются в виду строки из стихотворения «К Баратынскому» (1826), впервые напечатанного в «Московском вестнике» (1829. Ч. 1. С. 108):

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.

⁴⁸ Цитата из «<Опровержения на критики>» (XI, 159). Фрагмент о «Полтаве», содержащий это высказывание, был напечатан в альманахе «Денница» на 1831 г. (С. 124–130; П. в критике II. С. 307–308), однако цитируемая фраза в этой публикации была опущена и впервые появилась в печати только в Посмертном собрании сочинений (Т. 11. С. 219), где болдинские полемические заметки были опубликованы в разделе «Отрывки: литературные, критические, грамматические замечания».

⁴⁹ Речь идет о напечатанных с некоторыми купюрами в Посмертном собрании сочинений главах из «<Путешествия из Москвы в Петербург>»: «Шоссе», «Москва», «Ломоносов», «О цензуре», «Русская изба», «Этикет» (Т. 11. С. 5–54; XI, 243–267).

⁵⁰ В главе «Москва», сравнивая петербургских и московских писателей, Пушкин написал очень лестные для «любомудров» слова: «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы», а затем хвалебно отозвался о самом Ше-

выреве и сотрудниках «Московского вестника»: «Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews» (Посм. Т. 11. С. 18; XI, 248).

⁵¹ Об участии Пушкина в издании «Московского вестника» см.: П. в критике, II. С. 534–535.

⁵² Подобные суждения Пушкин высказал в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», напечатанной в «Московском телеграфе» (1825. Ч. 5, № 17. С. 42–43; XI, 32)

⁵³ Цитата из главы «Ломоносов» (Посм. Т. 11. С. 37; XI, 255).

⁵⁴ См. примеч. 12 к статье С. П. Шевырева «Перечень Наблюдателя» — наст. изд., с. 537. В статье «<О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“>» Пушкин привел сцены из драмы Виктора Гюго «Кромвель» («Cromwell», 1827) и романа Альфреда Виктора де Виньи (de Vigny; 1797–1863) «Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII» («Cinq-Mars ou une Conjururation sous Louis XIII», 1826), в которых Мильтон был выведен в виде нелепого персонажа, служащего для окружающих посмешищем. Этим вызван и раздраженный тон, которым в статье Пушкина говорится об обоих французских писателях. Однако если к де Виньи Пушкин всегда относился с пренебрежением, то его отзывы о Гюго обычно были более уважительными. В 1832 г. у него был замысел статьи, в сохранившемся начальном фрагменте которой сказано, что «V. Hugo поэт и человек с истинным дарованием» (XI, 219), а в письме к Е. М. Хитрово от 19–24 мая 1830 г. он писал: «Гюго и Сент-Бёв — бесспорно единственные французские поэты нашего времени» и благодарил корреспондентку за драму Гюго «Эрнани» («Hernani», 1829): «Это одно из современных произведений, которое я прочел с наибольшим удовольствием» (XVI, 93–94, 411; оригинал по-франц.).

⁵⁵ Это примечание содержит довольно ядовитый подтекст, поскольку в том фрагменте, где находится ошибочно напечатанное выражение, Пушкин упрекает рецензента «Телескопа», который, желая «блеснуть знанием языка», это идиоматическое выражение, означающее «раскаяться», перевел буквально: «бить себя по щекам». Грубая ошибка в тексте, посвященном тонкостям перевода, выглядела достаточно комично.

⁵⁶ Речь идет о публикации по рукописи текста незавершенного прозаического произведения Пушкина, печатающегося в современных изданиях под редакторским заглавием «<Рославлев>». Начало его под заглавием «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)» было напечатано Пушкиным в третьем томе «Современника» без подписи и с пометой под текстом: «С французского».

⁵⁷ Имеется в виду фрагмент из «<Автобиографических записок>» «<...>лины печатно вольномыслия» (XII, 305–306), впервые опубликованный в «Сыне отечества» (1840. Т. 2, № 3. С. 469–471), в составе текстов, объединенных заглавием: «Отрывки из записок А. С. Пушкина» без первого обрывка фразы, начиная со слов: «Болезнь остановила на время...». Тот же фрагмент был включен и в Посмертное собрание (Т. 11. С. 200–202).

⁵⁸ Фрагмент статьи «<Баратынский>» (Посм. Т. 11. С. 240; XI, 185), впервые напечатанной в «Сыне отечества» в 1840 г. (Т. 2, № 3. С. 480–482).

⁵⁹ На с. 243–248 11-го тома Посмертного собрания сочинений были напечатаны фрагменты статьи «<О народной драме и драме „Марфа Посадница“>». По-видимому, Шевырев увидел в пушкинских рассуждениях о народной природе драмы и неудаче, постигающей поэта, стремящегося угодить вкусам публики вместо того, чтобы вести ее за собой, сходство с посланием Горация, обращенным к Августу (II, 1), где говорится, в частности, о народном происхождении греческой драмы и о неудачных попытках римлян приновить греческую драму для своей публики, не привыкшей к театру: «...посреди они пьесы вдруг просят, / Дай им медведя, бойца: вот этих народец так любит!» (ст. 185–186; пер. Н. С. Гинцбурга). Ср. у Пушкина: «Драма никогда не была у нас потребностью народною. Первые труппы, появившиеся в России, не привлекали народа, не понимавшего драматизма и не привыкшего к его условиям» (Посм. Т. 11. С. 246; XI, 179).

⁶⁰ Стих из XVII строфы пятой главы «Евгения Онегина» был высмеян с точки зрения грамматики не в «Вестнике Европы», а в «Атенее», в статье М. А. Дмитриева

(1828. Ч. 1, № 4. С. 87–88; П. в критике П. С. 54, 353). В «Вестнике Европы» Н. И. Надеждин в статье «Литературные опасения за будущий год» лишь приводит его в качестве примера «подлых» вещей, описываемых современными поэтами (ВЕ. 1828. Ч. 162, № 22. С. 88–89). Пушкин дважды оправдывался за этот стих со ссылками на «Бову Королевича» и на Киришу Данилова: в примечании 31 к полному тексту романа (VI, 193–194) и в «Опровержении на критики», напечатанном в 11-м томе Посмертного собрания сочинений (с. 230; XI, 146–147), где привел измененную цитату про «старые грамматики» из «Атенея», с припиской: «Над этим стихом жестоко потом посмеялись и в „Вестнике“ Евр<опы>“».

⁶¹ Обе цитаты взяты из ломоносовской «Оды блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (1739).

⁶² Цитата из заметок, входящих в состав «Опровержения на критики» и напечатанных в Посмертном собрании в разделе «Смесь» (Т. 11. С. 214; XI, 148).

⁶³ Шевырев подразумевает пушкинские слова из «Опровержения на критики»: «Если в течение 16-ти летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику (не говорю уж о ругательствах), то сие происходило, конечно, не из презрения» (Посм. Т. 11. С. 204; XI, 143), но ему был неизвестен текст «Опыта отражения некоторых не-литературных обвинений»: «Можно не удостоивать ответом своих критиков <...> когда нападения суть чисто литературные и вредят разве одной продаже разбранной книги. — Но из ув<ажения> к себе не должно по лености или добродушию оставлять без внимания оскорб<ительные> лич<ности> и клеветы, ныне, к несчастию, слишком обыкновенные. — Публика не заслуживает такого неуважения. — Если в течение 16-ти летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику...» и т. д. (XI, 166; П. в критике, П. С. 301, 484–486, примеч. Т. И. Краснобородько).

Н. А. ПОЛЕВОЙ

«СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА». Т. I–XI

Русский вестник. 1842. № 1. С. 38–44.

¹ Особый интерес Полевого к работе Пушкина над «Историей Петра» не случаен. В январе 1836 г. Полевой через Бенкендорфа представил Николаю I програму задуманной им «Истории Петра Великого». Император одобрил его намерение, но отказал в доступе к государственным архивам, так как официальным историографом Петра был уже назначен Пушкин. «История Петра Великого» Полевого была издана в четырех частях в Петербурге в 1843 г.

² Полевой имеет в виду статью К. А. Фарнгагена фон Энзе и предисловие М. Н. Каткова, предпосланное ее переводу, напечатанному в «Отечественных записках» (1839. Т. 3, № 5. Прилож. С. 1–36; наст. изд., с. 297–320). Об отношении Полевого к статье Фарнгагена см. подробнее примеч. 2 к статье «Отзыв иностранца о Пушкине» — наст. изд., с. 551.

³ Обещанных статей Полевого о Пушкине и его сочинениях в «Русском вестнике» не появилось. С середины 1842 г. Полевой перестал сотрудничать в журнале.

⁴ Речь идет о журнале «Московский телеграф», издававшемся с 1825 г.

⁵ Речь идет о напечатанных в «Московском телеграфе» критических статьях Пушкина «О г-же Сталь и о г. А. М<ухано>ве» (1825. Ч. 3, № 12. С. 355–359; подпись: Ст. Ар. (что означало: Старый арзамасец)) и «О предисловии г-на Лемонте к преводу басен И. А. Крылова» (1825. Ч. 5, № 17. С. 40–46; подпись: Н. К.). Текст обеих статей, не вошедших в Посмертное собрание сочинений, был перепечатан Полевым в этом же номере «Русского вестника» (с. 44–51).

⁶ См. д. 5, явл. 1 трагедии Шекспира «Гамлет» («Hamlet», 1601). Л. А. Якубович, автор некролога в «Северной пчеле» (1837. № 24, 30 января; наст. изд., с. 209), умер в первой половине 1839 г.

ИСТОРИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

«Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», издававшийся в Петербурге с 1834 по 1865 г. (в последний год — два раза в месяц); из двух книжек журнала составлялся один том (в первый год издания вышло 7 томов: отдельный том составили № 1 (Т. 1) и № 10 (Т. 6)). Издатель (до 1849 г.) — А. Ф. Смирдин; фактический редактор (в 1830-е гг.) — О. И. Сенковский; из-за цензурных условий номинальными редакторами журнала в 1834–1836 гг. значились также Н. И. Греч, И. А. Крылов, Е. Ф. Корш (см. подробнее примеч. 8 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 445–446).

Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800–1858) — ученый-востоковед, профессор Петербургского университета (с 1822 г.), цензор, прозаик, с 1834 г. — редактор журнала «Библиотека для чтения». Еще до личного знакомства с Сенковским Пушкин с восторгом отзывался о его повести «Витязь буланого коня», напечатанной в альманахе «Полярная звезда» на 1824 г. (XIII, 87); познакомились они, очевидно, в 1827 г. В мемуарной литературе сохранились свидетельства об их личных встречах у Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, К. П. Брюллова, А. Ф. Смирдина (см.: Черейский. С. 395). В январе — первой половине февраля (наиболее вероятная дата — 23 января) 1834 г. Сенковский обратился к Пушкину с письмом, содержащим развернутый восторженный отзыв о повести Пушкина «Пиковая дама» (XV, 109–111, 321–323; оригинал по-франц.; см. также примеч. 3 к рецензии О. И. Сенковского на «Повести, изданные Александром Пушкиным» — наст. изд., с. 380). До середины 1835 г. отношения Сенковского и Пушкина носили сугубо деловой, взаимно уважительный характер. Они осложнились в связи с отказом Пушкина участвовать в «Библиотеке для чтения» и организацией поэтом собственного журнала. Непосредственно перед появлением первого тома «Современника» Сенковский напечатал в «Библиотеке» резкую полемическую заметку «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. С. 67–70; наст. изд., с. 121), призванную дискредитировать пушкинский журнал. Этой заметке предшествовал ряд косвенных выпадов против Пушкина на страницах журнала (см. подробнее примеч. к заметке «Вообще нет ничего нового в политическом свете...» — наст. изд., с. 435–436). О взаимоотношениях Сенковского и Пушкина см.: Письма посл. лет. С. 462–463 (статья В. Э. Вацуры); *Новиков А. Е. Сенковский и Пушкин: (К постановке проблемы) // Пушкин и русская культура: Доклады на международной конференции в Новгороде (26–29 мая 1996 г.)*. СПб.; Новгород, 1996. С. 104–108.

Идея журнала, который мог бы объединить всех современных русских литераторов, возникла после издания первой книги альманаха «Новоселье». Общий план издания и его программа принадлежали Сенковскому; основные положения програм-

мы были следующие: «Журнал „Библиотека для чтения“, имеющий предметом одну лишь общую пользу читателей, остается совершенно чуждым всякому духу партий, и не принадлежит ни к какой исключительно литературной касте. Все благонамеренные и прилично изложенные мнения находят в нем открытое для себя поприще. <...> „Библиотека для чтения“ не входит в споры ни с какими иными *журналами*, не отвечает ни на какие выходки и критики и не принимает никаких антикритик» (БдЧ. 1834. Т. 1. 2-я стр. обложки).

В русской журналистике Сенковский создал образец энциклопедического издания, соединяющего в себе информацию почти по всем отраслям знания. Модели «Библиотеки для чтения» следовали затем многие русские журналы. Каждая книжка «Библиотеки» состояла из следующих разделов: I — «Русская словесность», II — «Иностранная словесность», III — «Науки и художества», IV — «Промышленность и сельское хозяйство», V — «Критика», VI — «Литературная летопись», VII — «Смесь». Похожие разделы были ранее и в других журналах, но Сенковский придал им совершенно новое содержание: так, была значительно увеличена «Смесь», заполнявшаяся самыми различными сведениями со всех концов света и материалами, которые по объему или содержанию не могли быть включены в другие отделы журнала; в «Литературной летописи» давались краткие отчеты, зачастую шуточные и остроумные, о подавляющем большинстве выходящих в России книг; в III, IV и V разделах публиковались большие статьи серьезного содержания, писавшиеся, как правило, лучшими специалистами своего времени: экономистами, агрономами, географами, математиками и др.

Участниками литературного отдела журнала были объявлены почти все известные в то время литераторы. На обложке «Библиотеки» был помещен список из шести десятков имен. К участию в журнале их привлекали как декларированная независимость от литературных «партий», так и коммерческие соображения: в «Библиотеке для чтения» впервые в России была введена фиксированная полустная оплата, причем наиболее популярным авторам платили значительно больше (по 1000 рублей только за право внесения их в список сотрудников). Вскоре, однако, значительная часть писателей отшатнулась от журнала: одних оттолкнул «торгашеский дух» «Библиотеки», другие были недовольны редакторскими приемами Сенковского, позволявшего себе вмешиваться в текст присылаемых статей (см. подробнее примеч. 25 и 26 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 452–453). При этом редактура Сенковского, которой в той или иной мере подвергались все материалы «Библиотеки», придавала журналу стилистическое и идейное единство. Даже противники «Библиотеки для чтения» должны были констатировать, что «она всегда верна себе, всегда равна себе, всегда согласна с собою <...> не обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянства» (Белинский В. Г. Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы // Телескоп. 1836. Ч. 31, № 2. С. 343; Белинский. Т. 2. С. 17). Обладая колоссальной работоспособностью, широкими познаниями в различных областях науки и несомненным талантом журналиста, Сенковский практически в одиночку, имея лишь двух-трех сотрудников, занимавшихся в основном переводами, за короткий срок сумел создать журнал, пользовавшийся огромной популярностью и имевший рекордное по тем временам число подписчиков (в 1837 г. — около семи тысяч). «Во всей современной ему русской литературе, — писал о Сенковском А. В. Дружинин, — не находилось человека, который в качествах, необходимых для журналиста, мог бы соперничать с основателем „Библиотеки для чтения“. По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени» (Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7. С. 767).

Самыми неоднозначными и спорными были критические отделы журнала, заполнявшиеся в основном статьями и рецензиями редактора. Как свидетельствовал ближайший его помощник по редакции, «в отделах „Критики“ и „Литературной летописи“ в первые годы издания „Библи<и>отеки“ для чт<ения>“ почти все статьи написаны Сенковским...» (Савельев П. С. О жизни и трудах О. И. Сенковского // Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1858. Т. 1. С. LXXXIV). Сенковский провозгла-

сил в «Библиотеке для чтения» «вкусовую» критику (см., в частности: БдЧ. 1838. Т. 27, № 4. Отд. VI. С. 32–33) и в первой же критической статье «Библиотеки» так формулировал свой метод: «...я изъясняю свое мнение по личному моему воззрению на предмет и род изящного сочинения и не спрашиваю совета ни у риторики, ни у пиитики о том, что должно нравиться, а что нет. Я не умею чувствовать по данным правилам и признаюсь откровенно, что у меня, в моем скудном собрании понятий, нет ни одного готового удивления ни для какого в свете великого литературного имени. <...> Беспристрастною критикою называю я то, когда по чистой совести говорю тем, которые хотят меня слушать, какое впечатление лично надо мною произвела данная книга. <...> Критика в наше время сделалась картиною личных ощущений всякого, — всякого, одаренного от природы ясным чувством средств и способов, которыми изящное может производить полное и приятное действие над сердцем и воображением человека. О правилах нет и речи» (БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 36–37, 38). Подобная позиция зачастую приводила к «эстетическому произволу» и нередко порождала как шокирующие оценки (Н. В. Кукольник сравнивался с Гёте, А. В. Тимофеев с Пушкиным и т. п.), так и особенно раздражавшие современников беспринципность и шаткость мнений. Однако влияние и значимость критических суждений Сенковского признавалась всеми.

В первые два года «Библиотеки для чтения» Пушкин активно сотрудничал с журналом, помещая в нем почти все новые произведения. Здесь были напечатаны: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1834. Т. 2, № 2), «Сказка о золотом петушке» (1835. Т. 9, № 4), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1835. Т. 10, № 5), баллады «Гусар» (1834. Т. 1), «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» (1834. Т. 2, № 3), «Песни западных славян» (1835. Т. 9, № 3; стихотворение «Конь» («Что ты ржешь, мой конь ретивый...»), включенное впоследствии в состав цикла, первоначально было напечатано отдельно под заглавием «Сербская песня» — БдЧ. 1835. Т. 8, № 2), стихотворения «Красавица» («Все в ней гармония, все диво...») (1834. Т. 3, № 5), «Подражания древним» («Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...») и «Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров...») (1834. Т. 5, № 8), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») (1834. Т. 6, № 10), вступление к поэме «Медный всадник» под заглавием: «Петербург. Отрывок из поэмы» (1834. Т. 7, № 12), повести «Пиковая дама» (1834. Т. 2, № 3) и «Кирджали» (1834. Т. 7, № 12), два документа, из примечаний к «Истории Пугачевского бунта» под заглавием: «Два любопытные документа о Пугачеве» (1834. Т. 7, № 11).

Лит.: Савельев П. С. О жизни и трудах О. И. Сенковского // Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1958. Т. 1. С. LXIX–XCVII; Гинзбург Л. Я. «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 324–341; Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». 2-е изд. М., 1966; Морозов В. Д. Очерки по истории русской критики второй половины 20–30-х годов XIX века. Томск, 1979. С. 271–305; Шаронова А. В. К проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения» // РЛ. 2000. № 3. С. 83–95.

А. Ю. Балакин

«Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития с присовокуплением путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей» — иллюстрированный журнал, издававшийся в Москве с июля 1835 по 1844 г. Периодичность издания заявлена не была. Журнал выходил «листами» (50 «листов») и раздавался подписчикам примерно раз в две недели по два «листа». «Листы» за полугодие объединялись в часть (24 «листа»), две части составляли том. Первую часть каждого тома, таким образом, составляли «листы», вышедшие с июля по декабрь, вторую — с января по июнь (включительно) следующего года (л. 49 и 50 представляли собой систематический и алфавитный указатели). Издание носило развлекательно-просветительский характер и было ориентировано на самую широкую читательскую аудиторию разных социальных слоев, в первую очередь детскую и юношескую. В «Живописном обозрении» не было традиционных для журналов «отделов» — самые разнообразные материалы по

географии, этнографии, архитектуре, истории, статьи о природе и достопримечательностях земного шара, жизнеописания и «мысли разных авторов» помещались вперемешку; особое внимание уделялось иллюстрациям. «Живописное обозрение», писал в своих «Записках» К. А. Полевой, «было первым в России иллюстрированным изданием, и хотя полнотипажные гравюры были тогда вообще плохи, даже очень плохи, так что английский „Penny Magazin“ и французский „Magasin Pittoresque“, из которых были заимствованы главнейшие рисунки „Живописного обозрения“, мало отличались от старинных наших лубочных изданий, однако публика встретила их как приятную новость» (Полевой. С. 332–333). Официальным издателем журнала выступил Август Иванович Семен (Рене-Семен, Semén; 1788–1862), парижанин, приехавший в Россию в 1809 г., арендатор типографии при Московском отделении Медико-хирургической академии, книгоиздатель и книгопродавец (см. о нем: Черейский. С. 392). Инициатором издания, неофициальным его редактором и основным автором в первые два года его существования был Н. А. Полевой. Поскольку после закрытия «Московского телеграфа» существовал негласный запрет на появление имени Полевого в печати, все его статьи печатались анонимно. «Они были совершенно по плечу нашей читающей публике, хотя могли удовлетворять и самого образованного читателя, — вспоминал К. А. Полевой. — Он избирал для них рисунки любопытнейших предметов природы, искусства, ремесл, портреты и памятники замечательных людей, кстати помещал и современные известия <...>. Общее одобрение было таково, что с первого же года „Живописное обозрение“ стали выписывать в большом числе экземпляров для учебных заведений, и сам Уваров разрешил получать его в разных подведомых ему заведениях» (Полевой. С. 333). Тираж журнала доходил до 5000 экземпляров. Осенью 1837 г. в связи со своим переездом в Петербург Н. А. Полевой передал редакцию «Живописного обозрения» брату Ксенофонту, к которому в 1842 г. перешло от Семена и само издание.

Посвященных Пушкину материалов в «Живописном обозрении» не публиковалось, кроме появившейся в 1836 г. в статье «Русская литературная летопись» краткой биографической справки о поэте. В ряду одиннадцати русских литераторов, биографические сведения о которых даны в статье, Пушкин стоит под четвертым номером — после Ломоносова, Державина и Карамзина и перед Жуковским, Крыловым, Грибоедовым, Фонвизиным, Хемницером, И. И. Дмитриевым и Гнедичем. «Пушкин Александр Сергеевич, — сообщалось в журнале, — родился в Петербурге <sic!>, 26 мая 1799 года. Первый из современных поэтов русских, превосходный прозаик и единственный после Державина поэт лирический. Ныне находится в Петербурге. Его лирические стихотворения и поэмы изданы в отдельных собраниях; повести прозаические под именем А. Белкина; история Пугачевского бунта в 2-х томах, в С<анкт>-П<етер>-бурге, в 1835 году. Теперь занимается историею Петра Великого, для которой приготовил уже много материялов, и издает журнал „Современник“» (Т. 1, ч. 2. Л. 47. С. 375; без подписи).

С. В. Денисенко

«Журнал Министерства народного просвещения» — официальное издание Министерства народного просвещения. Издавался в Петербурге с 1834 по 1917 г., ежемесячно. Ему предшествовали «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» (выходило в 1803–1819 гг. под редакцией академика Н. Я. Озерецковского), «Журнал Департамента народного просвещения» (выходил ежемесячно в 1821–1824 гг. под редакцией Н. Ф. Остолопова), «Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения» (вышло три тома: за 1825, 1827 и 1829 гг.), но именно «Журнал Министерства народного просвещения», организованный С. С. Уваровым, смог стать многолетним регулярным печатным органом министерства. Каждый номер делился на два отделения. В первом печатались официальные документы, приказы и распоряжения по министерству, во втором — различные научные статьи. Особое внимание в журнале уделялось педагогике, истории, классической филологии. Литературных материалов почти не публиковалось. Редактором журнала был назначен Константин Степанович Сербинович (1797–1874), занимавший этот пост до 1856 г. А. В. Старчевский писал в своих воспоминаниях: «Как редактор „Ж<урна-

ла» М<инистерства> н<ародного> п<росвещения>» Сербинович был лишь официальное лицо, старший чиновник. Он не был ни ученый, ни литератор и не известен какими-нибудь литературными произведениями, но, по мнению министра народного просвещения С. С. Уварова, такое именно лицо и требовалось тогда на это место: Уваров начертил план возобновленного „Ж<урнала> М<инистерства> н<ародного> п<росвещения>“, придумал рубрики, куда и что следовало помещать, и пригласил сотрудников из профессоров университетов, учителей гимназий и других учебных заведений и прочей пишущей братии, служившей по тому же министерству. Гонорар за статьи тоже был определен самим министром, которым, сверх того, присылались для помещения в журнале письма, писанные к нему разными учеными, а равно и статьи, которые министр почему-нибудь находил нужным напечатать в своем органе» (*Старчевский А. В.* Воспоминания старого литератора // ИВ. 1888. № 10. С. 110). В поисках сотрудников будущего журнала Сербинович в мае 1833 г. посетил Москву. По возвращении в Петербург он писал М. П. Погодину: «Журнал нашего министерства должен быть также кафедрой, с которой по очереди могут читать свои произведения профессора всех университетов. Мы здесь, правду говоря, всего более и ожидаем от Москвы. Скажу вам, что и редакция нашего журнала Московскому университету не чужая; ибо я набрал в оную всё московских кандидатов, именно: Краевского, Неверова, Роговича. Сергей Семенович (Уваров. — *Ред.*) желает входить во все подробности издания тем более, что оно не будет подлежать цензуре» (Барсуков. Т. 4. С. 150; А. А. Краевский с 1835 г. был помощником редактора журнала).

Сербинович последовательно выдерживал официальный характер издания, не допуская в нем полемики. «...В нашем журнале нельзя писать прямо ни против кого: можно только изложить свое собственное мнение и опровергать чужое, не говоря чье, чтобы не входить в личную распрю при сем журнале», — пояснял он свою позицию Погодину (цит. по: Барсуков. Т. 4. С. 396). По словам А. В. Старчевского, Сербинович «был простым исполнителем приказаний министра по „Журналу“ и никогда не должен был мудрствовать лукаво», «на нем и лежало только чтение третьей корректуры и наблюдение за тем, чтобы ничего не было напечатано несогласного с цензурным уставом, с духом православной церкви и с взглядами министра» (*Старчевский А. В.* Воспоминания старого литератора. С. 110). В 1855 г. Сербинович остался за собой только официальную часть журнала и внутреннюю цензуру, общая редакция перешла к А. В. Никитенко.

Е. О. Ларионова

«Московский наблюдатель», «журнал энциклопедический», издавался с 1835 по 1839 г. Всего в 1835–1838 гг. вышло в свет восемнадцать частей, состоявшие каждая из четырех книжек, по две ежемесячно (год начинался с марта). В 1839 г. периодичность журнала изменилась: он начал выходить раз в месяц и прекратил существование после четвертого номера.

История «Московского наблюдателя» делится на два совершенно разных периода. Первый относится к тому времени, когда журнал издавался В. П. Андросовым и С. П. Шевыревым (с 1835 по 1837 г.), второй — когда он оказался в руках их главным и непримиримого оппонента — В. Г. Белинского (в 1838 и в 1839 гг.).

Идея основания собственного журнала возникла среди бывших «любомудров», ранее объединенных вокруг «Московского вестника» (издавался в 1827–1830 гг., подробнее см.: П. в критике, II. С. 534–536) и «Европейца» (выходил в 1832 г., см.: П. в критике, III. С. 488–489). Новое издание должно было противостоять «торговому направлению» в журналистике, и в первую очередь «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковского.

Одним из ранних свидетельств организации нового журнала являются записи (от 15 августа и 14 сентября 1834 г.) в дневнике М. П. Погодина: «С Шевыревым о журнале, непременно должно нам издавать. Неужели оставить литературу на жертву этим негодьям. Я думал было об одной критике, но дошли до большого журнала. Вечер у Шевырева и толковали о журнале. Имя ему: *Часовой*. Не прибавить ли *Кремлевский*?» (Барсуков. Т. 4. С. 228–229). Гоголь с оптимизмом воспринял новости о готовящемся журнале, о чем писал Погодину 2 ноября 1834 г.: «Очень рад, что мос-

ковские литераторы наконец хватились за ум, и охотно готов с своей стороны помогать по силам. Только я бы вот какой совет дал: журнал наш нужно пустить как можно по дешевой цене. Лучше за первый год отказаться от всяких вознаграждений за статьи, а пустить его непременно подешевле. Этим одним только можно взять вверх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой „Библиотеке“, которая слишком укрепила за собою читателей своей толщиной. Еще: как можно более разнообразия! и подлиннее оглавление статей! Количеством и массой более всего поражаются люди. Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце. Да и везде недурно напихивать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз. Эх, жаль, что я не могу для первого листа ничего дать, потому что страшно занят и печатаю кое-какие вещи! но как только обстрою дела свои, то непременно пришло что-нибудь. <...> Но обратимся к журналу. Как ему кличка? Да кто будет более всего работать? Киреевский будет? Пожалуйста, работайте не так, как вы всегда работаете. Что за лентяи эти москвичи! Ни дать ни взять как наши малороссыяне. Мне кажется, вам жены больше всего мешают. Ради Бога, не забывайте, что и кроме жен есть еще такие вещи на свете, о которых нужно подумать» (Гоголь. Т. 10. С. 341–342).

«Московский наблюдатель» было решено издавать на коллективные средства, в складчину, в которой приняли участие А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Е. А. Баратынский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, В. П. Андросов, Н. Ф. Павлов, Н. М. Языков, Д. Н. Свербеев, Н. А. Мельгунов. Редактором журнала был избран В. П. Андросов. 16 ноября 1834 г. Погодин сообщил М. А. Максимовичу: «В Москве затеялся журнал, по мысли кн. Дмитрия Владимировича (Голицына. — *Ред.*), который хочет, чтобы Москва учила вкусу и литературе, и т. п. Собралось денег тысяч 20, чтоб платить авторам (150 р<ублей> асс<игнациями> за лист) и переводчикам (40 р<ублей> асс<игнациями> за л<ист>). На веленовой бумаге. Редактор Андросов. Сотрудники — Гоголь, Киреевский, Хомяков, Языков, Шевырев и т. п. Просят вас участвовать. Присылайте скорее что-нибудь» (Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу. СПб., 1882. С. 7). Более подробно излагал события А. В. Веневитинову Мельгунов, принимавший самое деятельное участие в организации журнала: «...с будущего 1835 года в Москве будет издаваться журнал под названием „Московский наблюдатель“. Этот журнал предпринят несколькими литераторами, из числа которых: Баратынский, Киреевский, Павлов, Погодин, Шевырев, Хомяков, Языков и пр. Предложено также Одоевскому и Гоголю. Редактором журнала избран Андросов. Мы все постоянные сотрудники, надсмотрщики и участники. Министр (С. С. Уваров. — *Ред.*), в бытность свою здесь, изъявил на то свое согласие. Князь Д. В. Голицын взялся ходатайствовать за нас. Этот журнал будет вместе и литературным, и торговым предприятием. Мы в нем участвуем и деньгами. Расходы должны простирается до сорока тысяч, потому что мы будем платить по ста пятидесяти руб. за печатный лист. Капиталу в основание журнала положено собрать в двадцать тысяч. Тысяча подписчиков окупают издержки. Что сверх того, делится между денежными соучастниками. До сих пор собрано более десяти тысяч. Мы все вносим по тысяче. <...> Мы все, находящиеся в Москве налицо, поручю в том, что все средства будут употреблены для содействия успеху журнала. Исчисление вероятностей в пользу нас. Разумеется, это сопряжено с риском, как и всякое предприятие. Теперь вопрос: молодой человек, который желает добра русской литературе и имеет сорок или пятьдесят тысяч рублей дохода, чувствует ли в себе столько благородного риска, чтобы дать тысячу или две на честное и полезное предприятие? На это вопрос я допускаю один ответ. Да. Впрочем, предоставляю красноречию Шевырева и Погодина, которые собираются писать, убедить тебя совершенно. Вообрази себе, что ты покупаешь молотильню или строишь мельницу, которые могут не удалась, но также могут принести и значительный барыш. Вообрази себе еще, что ты ссужаешь нас пятьюдесятью четвертями ржи. Что это значит для богатого воронежского помещика?» (Барсуков. Т. 4. С. 230–231).

Получив 9 декабря 1834 г. разрешение на издание «Московского наблюдателя», Андросов сразу же начал заниматься делами подписки. В объявлении, помещенном в «Московских ведомостях», было заявлено, что цель журнала — «наблюдать за всем, что является в России и вне России достопримечательного по части наук, словесности, искусств изящных, промышленности сельской, технической и торговой, мод и

новостей всякого рода, свидетельствующих об успехах и распространении просвещения и образованности» (МВед. 1834. № 104, 29 декабря; перепечатано: Там же. 1835. № 1, 2 января; № 2, 5 января; СПч. 1835. № 10, 12 января; МВед. 1835. № 18, 2 марта). Без систематического деления на отделы предполагалось печатать статьи следующей тематики: «Словесность русская и иностранная», «Науки», «Искусства», «Биография», «Критика и библиография», «Промышленность», «Современная летопись» и «Моды». В числе постоянных участников названы: Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь, М. А. Дмитриев, П. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, князь В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, Н. М. Языков (имя И. В. Киреевского, редактора запрещенного в 1832 г. «Европейца», по требованию цензуры из программы было исключено). Редакция также уведомляла: «Журнал будет в нынешнем году выходить, по причине позднего объявления о подписке, с 1-го марта, ежемесячно по две книжки, от восьми до десяти печатных листов в каждой, т. е. от 130 до 160 страниц, в 8-ю долю. Издание будет на лучшей веленовой бумаге, в красивой цветной обертке. Цена за десятимесячное издание, состоящее из 5 томов, каждый в 600 страниц с картинками мод, очерками, нотами и проч., в Москве, на нынешний год 35 р<ублей> ас<сигнациями>, с пересылкою в другие города 40 руб<лей> ассигнациями» (Там же).

«Библиотека для чтения» упредила появление «Московского наблюдателя» едкой заметкой по поводу его программы, заявив, что предприятие будет явно «*бранное*, а не торговое» (1835. Т. 8, № 2. Отд. VI. С. 66; подробнее см. примеч. 40 к статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — наст. изд., с. 456). Объявление «Московского наблюдателя» не оставила без внимания и «Северная пчела»: «...уверяют, что в составлении журнала принимают *постоянное* участие *все* лучшие литераторы *здешние* и московские!!!... Мы, на нашу долю, знаем уже несколько человек, которые, по мнению публики, литераторы не худшие, но крайне изумились, прочитав в этой безымянной афишке, что они тоже принимают *постоянное* участие в журнале, о существовании которого только теперь узнают в первый раз. Не мешает известить публику, что они, во всяком случае, не принимают участия в шарлатанстве» (СПч. 1835. № 41, 21 февраля).

В тот же день, когда в печати появилось первое объявление о «Московском наблюдателе», Андросов в частном письме к Максимовичу более откровенно изложил цели нового журнала: «Как старый твой товарищ, Бог знает, когда бы я собрался написать тебе: корреспонденция наша так непрочно; но как редактор „Московского наблюдателя“ заповедию считаю поспешить уведомить тебя о наших затеях, о которых ты, вероятно, уже слышал и в которых ты, верно, берешь дружеское участие. Мы тебя просим и молим не отказать нам в содействии. Из газет ты узнал программу, цель и содержание журнала, но вот тебе домашние подробности. Иметь свой журнал, свое мнение, свою литературную совесть было для всех нас крайне ощутительно. Мы дожили до того наконец, что не находили ни привету, ни суда, ни расправы в наших журналах. Обеднели до того, что некуда было пристроить мелкоотравчатое свое изделие. Не говорю уже о направлении духа и смысла критик „Библиотеки“ и суждений „Молвы“, в которой Н. И. (Надеждин. — *Ред.*) позволил хозяйничать студентам и раболепному унижению: эта амальгама такую произвела гадость, что всех отогнала от него. Притом всем хотелось иметь издание красивое, роскошное. Потолковали и приняли мою мысль: устроить журнал общественный, который, не принадлежа кому-либо лично, исключительно, был бы выражением мнения неподкупных, а тем менее пошлых, зубоскальных. По общему согласию всех участвующих редакцию журнала поручили мне: дело трудное, особенно в настоящее время, и которое я принял единственно из преданности общему делу. Чтобы дать прочное основание журналу и не зависеть на первых порах от подписки, мы составили небывалый еще у нас *фонд* журнальный, состоящий из 22 тысяч. Сумма эта предназначена, во 1-х, на издание, какого у нас также никогда не бывало, и на плату за статьи, допускаемые в журнал, назначив 150 руб. за печатный лист оригинала и 40 за перевод. Весьма трудно было получить разрешение, но, благодаря князя Дмитрия Владимировича Голицына. — *Ред.*) и министра Сер<гея> Сем<еновича> (Уварова. — *Ред.*), принявшего это дело горячо, мы выхлопотали наконец на мое имя в таком виде, как ты уже, верно, прочел в программе. Теперь наш журнал составляет общий предмет разговоров в москов-

ских гостиных: у нас впутано столько разных самолюбий, предприятие наше связано с таким большим количеством различных желаний и ожиданий, что в успехе сомневаться нельзя. В жизни и судьбе журнала берут участие все известнейшие в Москве лица, даже *дамы* называют журнал *нашим*. Мы не пропускаем нашим приглашением ни одной литературной известности, и, с помощью Божьей, дело, кажется, идет ладно. Получивши поздно разрешение, мы не могли прежде марта приступить к изданию: опыт покажет, хорошо ли мы сделали. Если тебя может интересовать список внесших деньги для основания журнала, то, по желанию, сообщу. А теперь прошу только об одном: при пособии теперешних твоих средств, распространи возможно более известность о журнале, возьми сам участие столько, сколько позволяют тебе настоящие занятия, без сомнения обременительные. Мы на тебя надеемся. Деньги будут присылаемы не позже недели по отпечатании статьи: такое мы приняли правило. Много бы порадовал наших неотлагаемым ответом и присылкою для первых книжек чего-нибудь» (Голос минувшего. 1917. № 1. С. 275–277).

Гоголь, который с нетерпением ожидал появления журнала, возлагая на него большие надежды, призывал московских друзей поторопиться с выпуском первых книжек. Отвечая 20 февраля 1835 г. на просьбу Погодина поскорее прислать ему для нового журнала повесть «Нос», он с возмущением писал: «Мерзавцы вы все московские литераторы. С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать! Как же вы можете полагаться на отдельных сотрудников, когда не в состоянии положиться на своих. Страм, страм, страм! Вы посмотрите, как петербургские обделывают свои дела. Где у вас то постоянство, и труд, и ловкость, и мудрость? Смотрите на наши журналы: каждый из них чуть ли не сто лет собирается прожить. А вам что? Вы сначала только раззадоритесь, а потом чрез день и весь пыл ваш к черту. И на первый номер до сих пор нет еще статей. Да вам должно быть стыдно, имея столько голов, обращаться к другим, да и к кому же? ко мне. Но ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, среду, четверг и другие дни. Если вас и дело общее не может подвинуть, всех устремить и связать в одно, то какой в вас прок, что у вас может быть? Признаюсь, я вовсе не верю существованию вашего журнала более одного года. Я сомневаюсь, бывало ли когда-нибудь в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 <года> есть событие вовсе не национальное и что Москва невинна в нем. Боже мой! столько умов, и все оригинальных: ты, Шевырев, Киреевский. Черт возьми, и жалуются на бедность. Баратынский, Языков — ай, ай, ай! Ей-Богу, вы все похожи на петербургских ширамижников, шагающих по борделям с мелочью в кармане, назначенною только для расплаты с извозчиками» (Гоголь. Т. 10. С. 353–354). Спустя некоторое время (10 марта 1835 г.) он обращался к Шевыреву: «Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать „Московский вестник“, который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще доньше не совершенно развернулось. Вам просьба от лица всех, от литературы, литераторов и от всего, что есть литературного: поддержите „Московский наблюдатель“. Все будет зависеть от успеха его. Ради Бога, уговорите москвичей работать. Грех, право, грех им всем. Скажите Киреевскому, что его ругнет все, что будет после нас, за его бездействие. Да, впрочем, этот упрек можно присоединить ко многим. Я, с своей стороны, рад все употребить. На днях я, может быть, окончу повесть для „М<осковского> наблюдателя“ и начну другую. Ради Бога, поспешите первыми книжками. Здесь большая часть потому не подписывается, что не уверена в существовании его, потому что Сенковский и прочая челядь разглашает, будто бы его совсем не будет и он уже запрещен. Подгоните с своей стороны всех, кого следует, и, самое главное, посоветуйте употребить все старания к тому, чтобы аккуратно выходили книжки. Это чрезвычайно действует на нашу публику. Москве предстоит старая ее обязанность спасти нас от нашествия иноплеменных языков» (Там же. С. 354–355).

В «Московском наблюдателе» печатались: Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, А. С. Хомяков, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, Н. А. Мельгунов, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев, А. Ф. Вельтман, И. И. Срезневский, Н. А. Полевой, А. В. Шидловский, Я. И. Сабуров, Д. П. Ознобишин, Е. П. Ростопчина, Н. С. Теплова, Л. А. Якубович, С. И. Стромиллов и др. Новый журнал был встречен с интересом:

весь тираж первой, мартовской, книжки в 600 экземпляров разошелся довольно быстро, и пришлось печатать еще столько же.

Первая книжка «Московского наблюдателя» открывалась программной статьей С. П. Шевырева «Словесность и торговля», основная идея которой сводилась к тому, что капиталистические отношения, начинающие преобладать в российской экономике, оказывают пагубное воздействие на развитие литературы и ее господствующих жанров — романа и повести: «...торговля теперь управляет нашею словесностью — и все подчинилось ее расчетам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговых; на мысли и на формы наложен курс!» (МН. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 19). Засилие «спекулятивных» романов Шевырев объяснял тем, «что цена печатного листа есть 200 или 300 рублей; что каждый эпитет в статье <...> ценится, может быть, в гривну; каждое предложение есть рубль; каждый период, смотря по длине, есть синяя или красная ассигнация!.. Как же не дорожить <...> после этого всяким словом, когда из этих слов составляются не периоды, а ассигнации? — Как после этого автору вымарать страницу, им написанную?» (с. 18). Книгопродавец, который «смотрит на словесность как на торговую спекуляцию», а на литераторов — «как на пишущие машины и приводит их в действие деньгами», по мнению автора статьи, способствует процветанию торговых отношений в литературе (с. 23). Надеясь на временный характер этого периода, преодоленного уже многими странами Западной Европы, Шевырев призывает самих литераторов встать на защиту русской словесности: «...всякий литератор, знающий цену своего звания, должен противодействовать толпе спекуляторов, которые в то же время вторгаются в мир литературы и представляют другую, неизбежную сторону злоупотреблений ее торгового направления. Это литераторы непризванные, которые возможны тогда только, когда литература делается торговлею. Это литераторы без мысли, без мнений, без любви к науке, не художники, а ремесленники. Для них литература не цель, а средство. Они охотно променяют свою науку на звание бездарного романиста; они вводят в литературу дух торгового соперничества, продажные мнения; они — враги всякой критики благонамеренной — уничтожат ее, подчинив своим личным выгодам и своему мелочному самолестию; они, потворствуя прихотям века, если в нем господствует безвкусице, будут распространять его как можно более; они наводят литературу своими произведениями, потому что пишут без труда честного, не по призыву мысли, не по внушению мнения, а потому, что обязались книгопродавцу поставить столько-то листов, как фабрикант обязуется поставить казне столько-то половинок сукна; они-то своею бездушною прозою, лишенною мыслей, заливают нашу словесность» (с. 26–27). Руководствуясь целью «идти навстречу поколению мыслящему», «противодействовать преобладающему духу торговли в нашей литературе и всем злоупотреблениям, от него проистекающим», Шевырев, возглавивший критический отдел журнала, собирався доказать, что «может у нас существовать критика произвольная, благонамеренная, честная, и тем содействовать несколько к утверждению национального взгляда на произведения словесности, как нашей, так и иноземной» (с. 29). На критику Шевырев возлагал особые надежды, посвятив этой проблеме специальную статью «О критике вообще и у нас в России»: «...словесность наша до тех пор не достигнет высоких созданий национального искусства, а будет ограничиваться одними отрывками и мелкими произведениями, пока не водворится у нас критика национальная, воспитанная своею наукою и основанная на глубоком изучении истории словесности» (Там же. Апрель, кн. 1. С. 497–498). В этой связи Шевырева не устраивала, прежде всего, критика «Библиотеки для чтения», «которая подчинила своей расправе все произведения нашей словесности, которая зорким глазом своим не пропускает ни одного из них и подписывает каждому приговор решительный. Здесь совершается судьба каждой новой книги в глазах всей русской публики; здесь ареопаг нашей словесности. Вся Россия читает „Библиотеку“; большая часть России руководствуется ее суждениями касательно всех произведений литературных. От „Библиотеки“, можно сказать, зависит все критическое направление нашей читающей публики, все литературные ее мнения, все ее пристрастия, весь ее вкус и склонности. Одним словом, „Библиотека для чтения“ есть всероссийский критериум» (с. 507–508).

Идея противостояния коммерциализации литературы и «торговому» направлению журналистики в лице О. И. Сенковского как главного автора «Библиотеки для

чтения» разделялась и другими участниками «Московского наблюдателя». Наиболее активным из них был редактор журнала В. П. Андросов (см. его статьи «Производительность и живые силы» (1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 33–52), «Критическое объяснение» (Ч. 5. Декабрь, кн. 2. С. 479–490), «Как пишут критику» (1836. Ч. 6. Апрель, кн. 1. С. 470–494) и др.). «Библиотеку для чтения» не забывали ругать практически в каждой книжке «Московского наблюдателя» (с 1835 по 1837 г.). Так, в отделе «Смесь» в седьмой части опубликована заметка следующего содержания: «Вот список писателей иностранных и отечественных, которые были расхвалены и *разруганы* в „Библиотеке для чтения“. Они выставлены по азбучному порядку. Надеемся со временем пополнить этот список. „Библи<отека> для чтения“, конечно, не замедлит доставить нам для этого материалы. Вот овцы и козлица этого господствующего у нас журнала. Эта выставка может разительнее всего свидетельствовать об его мнениях.

Расхвалены.

Разруганы.

Иностранные:

1. Коцебу.

1. Бальзак.
2. Вальтер-Скотт.
3. Виктор Гюго.
4. Гегель.
5. Гизо.
6. Сильвио Пеллико.
7. Шеллинг.

Отечественные:

1. Барон Брамбеус.
2. Булгарин.
3. Греч.
4. Загоскин.
5. Кукольник.
6. Полевой Ксенофонт.
7. Тимофеев.

1. Венелин.
2. Гоголь.
3. Кукольник.
4. Надеждин.
5. Погодин.
6. Пушкин.
7. Розен Барон.
8. Хомяков»

(1836. Ч. 7. Июнь, кн. 2. С. 566–567; см. также статью Н. И. Павлицева «Брамбеус и юная словесность» (1835. Ч. 2. Июнь, кн. 1. С. 442–465; кн. 2. С. 599–637), заметку «Шуточки „Библиотеки для чтения“» (1836. Ч. 8. Июль, кн. 1. С. 137–140) и др.).

«Библиотека для чтения» в полемику с «Московским наблюдателем» не вступала. Один из первых развернутых отзывов о журнале появился в январе 1836 г. в «Сыне отечества». В. М. Строев в статье «Русская критика в 1835-м году» утверждал, что уже из объявления о «Московском наблюдателе» всем стало понятно, что он начнет войну с «Библиотекой для чтения», а целью его является «уронить журнал, соединивший в себе, в то время, почти всю петербургскую литературную деятельность» (Ч. 175, № 3. С. 185). В статье Шевырева «Словесность и торговля» рецензент видел «несправедливые нападки» и «неприличные выходки», а самого автора упрекал в том, что он печатал свои труды в «Библиотеке для чтения», получая за это деньги. «Мы с радостью встретили новость об издании в Москве журнала, который должен быть оппозициею „Библиотеки“. <...> Мы с радости вообразили, что московский журнал, нападая на пристрастия, неприличности и гордость „Библиотеки“, исправит наш петербургский журнал; что „Библиотека“, подстрекаемая московским соперником, мало-помалу отвыкнет от своих дурных привычек, от непохвальных замашек, от недобросовестности, от недоброжелательства к неизвестным литераторам, — писал Строев. — Первая статья „Наблюдателя“ разрушила все эти прекрасные надежды, переменяла мнение наше о литераторе, к которому мы имели нелицемерное уважение, зная его только по критикам, помещенным в покойном „Московском вестнике“. <...> В „Московском наблюдателе“ не будет ни справедливости мнения, ни умеренности выражения, двух необходимых орудий для убеждения читателя» (Там же. С. 191, 192). Более всего автор сомневался в «беспристрастии» критических статей журнала: «Повести г-на Павлова поставлены выше всего, что

имеет наша словесность: г-н Павлов работает для „Наблюдателя“. Прекрасный „Детский журнал“ г. Очкина разруган: г-н Очкин переводит для „Библиотеки“. Везде та же тактика: наш приход хорош, а вы другого прихода, вы ни писать, ни читать не умеете. Если люди так слабы, что не могут освободиться от мелких *страстишек*, то зачем писать великоленные, громкие объявления, обещать возрождение честной, не произвольной, золотой, бесценной критики? Зачем упрекать других в том, что делают сами обвинители? Какую критику обещал нам „Московский наблюдатель“! И что же вышло? Его критика имеет *все* недостатки, замеченные в критике „Библиотеки“; не имеет только той глубокой учености, того удивительного остроумия, которыми обладает критика „Библиотеки“» (Там же. № 4. С. 252 (пагинация в номере нарушена)). С «Критическим объяснением» в «Московском наблюдателе» выступил В. П. Андросов, который уточнил некоторые высказывания Шевырева по поводу «торговых» отношений в литературной среде: «Дело переменяет сущность, когда я мое время продаю с аукциона тому, *кто* дает больше и *что* дает больше: брань или хвала, лесть или истина? когда с молотка уступаю мое убеждение, мое вдохновение, мою совесть? Когда без заказа, без задатка от книгопродавца у меня нет ни мысли, ни чувства» (1835. Ч. 5. Декабрь, кн. 2. С. 486; номер вышел 28 марта 1836 г. — МВед. 1836. № 26, 28 марта).

Однако самым внимательным читателем «Московского наблюдателя» и главным его оппонентом стал В. Г. Белинский. В статье «Ничто о ничем, или Отчет г. издателя „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы», имея в виду рецензию В. М. Строева в «Сыне отечества» и заметку «Северной пчелы», он с иронией замечал: «Петербургские журналы уверяют, что „Наблюдатель“ основан с целью уронить „Библиотеку“, и видят в этом большую злонамеренность. Мы этому не верим, во-первых, потому, что уронить „Библиотеку“ трудно: книга большая, толстая, *жирная*, как уверяла нас сама „Библиотека“, а как жир и сало тождественны, то и *сальная*, прибавим мы от себя; во-вторых, мы скорее можем предположить, что „Наблюдатель“ основан с целью сделать реакцию дурному и вредному влиянию „Библиотеки“ на *нашу* публику, и в этом мы не только не видим ничего худого или предосудительного, но видим много хорошего и благородного. По объявлению „Наблюдателя“ было заметно, что это будет журнал деятельный, настойчивый, упорный, журнал с мнением, направлением, характером. Имена участников в издании утверждали нас в этой вере. Мы ждали „Наблюдателя“ с нетерпением, как торжества Москвы над Петербургом, как победы честной литературной деятельности над литературною промышленностью. <...> Правда, искусственные холодным опытом, обманутые не раз в самых лучших своих надеждах, утратившие веру в авторитеты, мы иногда задумывались грустно, улыбаясь недоверчиво; но неужели же „Библиотека“, литературная промышленность и посредственность должны торжествовать, неужели же голос правды уже бессилен, уже заглушен кликами „*к нам! к нам! у нас лучше!*“? — восклицали мы и ласково, с улыбкою посматривали на объявление о новом журнале. Наконец он появился: вышла книжка — Петербург привстал; вышла другая — Петербург приосанился и улыбнулся; вышла третья, четвертая — Петербург захохотал, смотря на пронесшуюся мимо его бурю; Москва приуныла — и наши надежды разлетелись в прах!..» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 654–655; Белинский. Т. 2. С. 45–46). По мнению Белинского, «Московский наблюдатель» не смог оправдать возлагавшихся на него надежд по ряду причин: «Первая ошибка „Наблюдателя“ состоит в том, что он не сознал важности критики, что он как бы изредка и неохотно принимается за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. <...> „Наблюдатель“ есть журнал *энциклопедический*: и вот еще один из главных его недостатков, одна из причин, мешающих его успеху. <...> Притом мы не видим полного энциклопедизма в „Наблюдателе“: его поприще ограничивается очень немногими и определенными предметами: литературою, историею, сельским хозяйством и политическою экономиею. Напротив, нам кажется, что его энциклопедизм состоит в каком-то отсутствии общности, порядка, характера. Это альманах, это тетради, где сшиваются и дурные, и посредственные, и хорошие, и отличные статьи. Только периодический выход его книжек делает его журналом. Конечно, в нем бывают статьи превосходные, но эти статьи не составляют регулярного войска, это на-

стоящая милиция, которая идет неровным шагом, нападает недружно, невпопад, нестройно и, сильная своим многолюдством, своею храбростию, везде проигрывает сражения, везде отступает. <...> Критика в „Наблюдателе“ так странна, так удивительна, что стоит особенная, подробного рассмотрения <...>. Надобно сказать, что это критика характерная, верная самой себе, добросовестная и убежденная, если можно так выразиться; но вместе с тем не достигающая своей цели, не приносящая пользы, не понимаемая публикою. Причина этому заключается в том, что она не современна, что она отзывается классицизмом, не имеет никакого основного начала, никакого центра, из которого бы выходила...» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 659–662; Белинский. Т. 2. С. 48–49). В следующих номерах «Телескопа» Белинский напечатал подробный разбор критических статей «Московского наблюдателя», принадлежавших в основном С. П. Шевыреву и определявших позицию журнала: выбор исторического метода в науке о литературе и в критике («О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» — Телескоп. 1836. Ч. 32, № 5. С. 120–154; № 6. С. 217–287 (пагинация в номере нарушена); Белинский. Т. 2. С. 123–177). Журнальная «война» Белинского с Шевыревым как выразителем «светскости» и «аристократизма» «Московского наблюдателя» была сочувственно встречена в его дружеском кругу. 30 мая 1836 г. Н. В. Станкевич сообщил ему из Пятигорска: «Брат писал мне, что ты последнюю статью о „Московском наблюдателе“ решительно убил Степана Петровича (Шевырева. — *Ред.*) и что он сам от себя отрекается... в час добрый! Но вспомни, что Погодин всех нас называет „рецензентами“ и ждет, чтоб мы сами что-нибудь сделали, — начиная же что-нибудь делать» (Переписка Николая Владимировича Станкевича: 1830–1840. М., 1914. С. 412). Ознакомившись с критикой Белинского, Н. А. Полевой писал Н. С. Селивановскому: «Итак: война? Уж бьются на Аустерлицком мосту? Кому-то пасть, а что Шевырев дурак, воля ваша — теперь сомнения прочь. Надеждин его целиком проглотит. Пожалуйста, подбивайте нашего Орланда (Белинского. — *Ред.*) не уступать и биться. Я радуюсь, как старый забияка» (Лытин А. Н. Белинский: Его жизнь и переписка. СПб., 1908. С. 125–126). И лишь А. Ф. Воейков, скептически относившийся к Белинскому, не приветствовал этой борьбы: «Прискорбно не только писать, но и глядеть на то, как г. Белинский отнимает талант у лирика Б*** за то, что г. Шевырев назвал его талантливым; не позволяет сочинителю повестей Б*** занять место между известными повествователями потому только, что г. Шевырев посадил его на почетное; насмехается над октавами, которые пересажены с италийской почвы на русскую богатырскими руками Жуковского и Пушкина, насмехается по той причине, что Шевырев с похвалою о них отзывается и сам переводит ими стихи с италийского. Прискорбно видеть такую неприязнь между природными россиянами, исповедывающими одну Веру, одного Царя и одно Отечество» (ЛПРИ. 1836. № 83, 14 октября. С. 663).

Вышедшие книжки «Московского наблюдателя» разочаровали Гоголя и заронили в нем сомнения, что журнал сможет противостоять монополии «Библиотеки для чтения» (возможно, на отношение Гоголя повлиял и тот факт, что редакция отказалась печатать его повесть «Нос», рукопись которой он передавал в «Московский наблюдатель» через М. П. Погодина). Нарекания Гоголя вызывал главным образом «характер» журнала: в «Московском наблюдателе» «не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. <...> Замечательные статьи, поступающие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике» («О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — Совр. 1836. Т. 1. С. 213, 214; наст. изд., с. 132–133). Разочарован был не один Гоголь. 1 июня 1836 г. Н. М. Языков писал Пушкину: «„Наблюдатель“ выходит все плоше и плоше — жаль мне, что я увязал в него стихи мои: его никто не читает» (XVI, 122). Однако звучали и другие мнения. П. А. Вяземский в рецензии на гоголевского «Ревизора», напечатанной в «Современнике», решительно высказался в поддержку «Московского наблюдателя»: «Нельзя не желать для пользы литературы нашей и распространения здравых понятий о ней, чтобы сей журнал сделался у нас более и более известным. Особенно критика его замечательно хороша. Не выгодно подпасть под удары ее, но по крайней мере оружие ее и нападения всегда благород-

ны и добросовестны. Понимаем, что и при этом случае издатели „Телескопа“ и другие могут в добродушном и откровенном испуге воскликнуть: „избавь нас Боже от его критик!“ Но каждый молится за свое спасение: это натурально» (Совр. 1836. Т. 2. С. 289–290). «Замечательными» назвал критические статьи «Московского наблюдателя» П. Е. Георгиевский, противопоставив их «односторонним» рецензиям «Библиотеки для чтения» (см.: *Георгиевский П. Е.* Руководство к изучению русской словесности... СПб., 1836. Ч. 4: История литературы. С. 275–276).

Отношения Пушкина и сотрудников «Московского наблюдателя» были холодными. Имя поэта не упоминалось ни в объявлении о журнале, ни в переписке издателей. Пушкин, занятый изданием «Современника», старался держаться в стороне от полемик, развернувшихся вокруг нового журнала. Он встречался с «наблюдателями» во время приездов в Москву (см. письма к Н. Н. Пушкиной от 11, 14 и 16 мая 1836 г. — XVI, 114, 116) и признавался жене, что «с Наблюдателями и книгопродавцами намерен кокетничать», чтобы «как можно лучше распорядиться с „Современником“» (XVI, 111). При этом в конце мая 1836 г., посылая П. В. Нащокину два экземпляра вышедшего первого тома «Современника», просил один из них «тихонько от Наблюдателей» отдать Белинскому и передать ему, что «очень жалею, что с ним не успел увидеться» (XVI, 121). В «Московском наблюдателе» Пушкин напечатал всего два стихотворения — «Туча» (1835. Ч. 2. Май, кн. 2. С. 175) и «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому» (1835. Ч. 4. Сентябрь, кн. 2. С. 191–193; вторая сентябрьская книжка вышла в свет в последних числах декабря 1835 г. — МВед. 1836. № 1, 1 января). Публикация последнего стихотворения, представлявшего собой памфлет на С. С. Уварова, министра народного просвещения и председателя Главного управления цензуры, наделала много шума в обеих столицах (см. подробнее наст. изд., с. 23–25).

После публикации пушкинского «На выздоровление Лукулла» «Московский наблюдатель» не был закрыт, но притеснения цензуры усилились. Особенно жесткими они стали после запрещения «Телескопа» и «Молвы». Книжки журнала по-прежнему не выходили в срок, не имелось достаточного количества подписчиков. Кроме того, среди издателей «Московского наблюдателя» не было единства. Еще на раннем этапе организации журнала Н. А. Мельгунов обращался к М. П. Погодину: «Шевырев, может, говорил тебе о том, что почитает Андросова не весьма надежным. Но без него журналу не быть; стало быть, чтобы огородить, надо над ним установить домашнюю цензуру. Ты более других к нему близок; не возьмешься ли надзорить над ним? Ты или никто; если же откажешься, то не ручаюсь, чтобы не вздумали запретить журнала за первое неосторожное выражение» (Барсуков. Т. 4. С. 229). В конце 1836 г. редакция, пытаясь спасти журнал, предложила сотрудничество оставшемуся без работы Белинскому (П. В. Нащокин сообщал Пушкину, что «Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3 т<ысячи>. „Наблюдатель“ предлагал ему 5» (XVI, 181)), но тот отказался. Идея А. А. Краевского передать «Московский наблюдатель» петербургскому книгопродавцу А. А. Плюшару не была осуществлена. Осенью 1837 г., когда журнал заполнялся почти целиком переводными статьями, его попытался купить К. А. Полевой. 21 сентября 1837 г. Белинский писал М. А. Бакунину: «Ксенофонт Полевой думает купить у Андросова право на издание „Наблюдателя“ и в таком случае намерен поручить *одному мне* библиографию и критику, для того, говорит он, чтобы в его журнале был один тон и один голос. <...> Это даст мне мою настоящую жизнь, при одной мысли о которой я уже оживаю и чувствую в себе новую силу. Дело это зависит от согласия Уварова и сговорчивости Андросова и скоро должно решиться, потому что Уваров на днях должен быть в Москве» (Белинский. Т. 11. С. 182). К. А. Полевой разрешения на покупку журнала не получил. Спустя несколько месяцев «Московский наблюдатель» был приобретен типографом Н. С. Степановым; официальным редактором остался Андросов, де-факто журнал перешел в руки В. Г. Белинского.

В «Московском наблюдателе» периода Белинского печатались: М. А. Бакунин, В. П. Боткин, М. Н. Катков, А. В. Кольцов, А. И. Полежаев, В. И. Красов, И. П. Ключников, П. Н. Кудрявцев и др. О реорганизации журнала М. А. Бакунин сообщал сестрам А. А. и Н. А. Беер 13 марта 1838 г.: «„Наблюдатель“ и мы, странно! Шевырев из него изгнан нашими соединенными силами, и мы вступаем во владение

его. Он слишком много врал, пора было замолчать — теперь-то запоют соловьи. Виссарион написал уже длинную и красноречивую песнь, и я также» (*Бакунин М. А.* Собр. соч. и писем: 1828–1876. М., 1934. Т. 2. С. 154). И. И. Панаев, узнав от А. В. Кольцова о переходе издания в руки Белинского, 29 марта 1838 г. писал критику: «Радуюсь за Москву, в которой будет журнал; еще более радуюсь, что Ваш всегда *правдивый и резкий* голос, давно замолкший, снова раздастся — а в эту минуту русской литературе он необходимее чем когда-либо» (В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1848. С. 195). Подготовленная Белинским (официально редактором продолжал числиться В. П. Андросов) первая мартовская книжка шестнадцатой части вышла в свет 4 мая 1838 г. (см.: ЛН. М., 1951. Т. 57. С. 260). «Вы пишете, что желали бы видеть меня издателем журнала с 3 000 подписчиков, — писал Белинский И. И. Панаеву 10 августа 1838 г., — а я бы охотно помирился и на половине: „Телеграф“ никогда не имел больше, а между тем его влияние было велико. „Библиотека для чтения“ издается человеком умным и способным, и издается им для большинства, и потому очень понятен ее успех. Журнал с таким направлением, которое я могу дать, всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы и никогда не может иметь подобного успеха. <...> Вы знаете, что владелец „Наблюдателя“ — Н. С. Степанов; у него есть все средства, сверх того — хорошая своя типография. Если бы ему позволили объявить себя издателем, как Смирдину, начать журнал с нового года и в 12 книжках, как „Библиотека для чтения“ и „Сын отечества“, — то дело бы пошло на лад. Эти три обстоятельства: объявление имени издателя, который по своим средствам может иметь право на кредит публики, новый план журнала и настоящее время для его начала — могли бы дать содержание для программы и из старого журнала сделать *новый*. Конечно, если бы к этому еще позволили переменить его название — это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мне* позволили выставить свое имя, как редактора, потому что В. П. Андросов охотно бы отказался от журнала и всех прав на него» (Белинский. Т. 11. С. 259–260). В новой подписке на журнал было заявлено:

«„Московский наблюдатель“ будет издаваем и в следующем, 1839 году. Не изменяя сущности программы, редакция предположила сделать с будущего года некоторые улучшения во внешнем плане и необходимые перемены в порядке издания, которые представляют возможность дать журналу большее разнообразие и полноту в статьях и постоянную своевременность и точность в выходе книжек. Изменения, признанные необходимыми, суть следующие:

1. Издание журнала начнется с Нового года; 2. Вместо двадцати книжек в год будет издано двенадцать книг, каждая не менее двадцати печатных листов; 3. Две книги составят том, а шесть томов — годовое издание, умноженное против прежнего срока печатными листами, или целым томом; 4. Содержание книг разделится на особые отделения, имеющие каждое свою особенную нумерацию листов, что будет способствовать скорейшему выходу книжек, давая возможность заранее печатать отдельно заготовленные статьи для следующих номеров» (МВед. 1838. № 97, 3 декабря; перепечатано: Там же. № 98, 7 декабря; № 101, 17 декабря).

Первый номер «Московского наблюдателя» за 1839 г. вышел в свет 21 января. Несмотря на активное сотрудничество Белинского (напечатал в журнале свыше 120 рецензий, обзоров, статей и заметок), издание продолжало быть убыточным и прекратилось после четвертого номера, появившегося в печати 17 июня 1839 г. (см.: ЛН. Т. 57. С. 260).

Лит.: Барсуков. Т. 4. С. 228–233, 270–272, 352–353 и др.; *Мордовченко Н. И.* 1) Гоголь и журналистика 1835–1836 гг. // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 106–150; 2) «Московский наблюдатель»: (1835–1837) // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 370–382; 3) Белинский в «Московском наблюдателе» (1838–1839) // Там же. С. 561–565; *Питюлина Н. В.* Эстетическая позиция журнала «Московский наблюдатель» (1835–1837) // Науч. тр. Курского гос. пед. ин-та. Курск, 1981. Т. 216: Вопросы истории и теории русской литературной критики XIX века. С. 54–67.

С. Б. Федотова

«Одесский вестник» («Journal d'Odessa — Одесский вестник») — полуофициальная газета, организованная в январе 1827 г. чиновниками из окружения Новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова — чиновником по особым поручениям при губернаторе, в 1831–1837 гг. одесским градоначальником, писателем и историком-этнографом А. И. Лёвшиным, бароном Ф. И. Бруновым и чиновником воронцовской канцелярии, литератором П. Я. Марини. Издавалась до 1893 г. Первые номера носили по преимуществу справочный характер, касаясь торговли и мореплавания, но тематика помещаемых материалов быстро расширялась. Появился раздел «Иностранные происшествия», потом стали печататься литературные и исторические материалы. В № 30 от 20 апреля 1827 г. был перепечатан из «Московского вестника» отрывок с описанием Одессы из «Евгения Онегина» («Я жил тогда в Одессе пыльной — Итак, я жил тогда в Одессе...»), вошедший в полное издание текста романа в «Отрывки из Путешествия Онегина». До 1831 г. газета, возглавлявшаяся Лёвшиным, выходила как двуязычная, с параллельным текстом на русском и французском языках. В 1831 г. французская и русская газеты разделились и стали выходить самостоятельно. Французской газетой «Journal d'Odessa» стал заведовать литератор Люсьен Репей, знакомый Пушкина по Кишиневу, где он в 1820–1821 гг. был воспитателем детей князя А. М. Кантакузина. Репей известен, в частности, как автор французского перевода «Бахчисарайского фонтана», изданного в Москве в 1830 г. («La fontaine de Bakhtchesserai. Poème de m. Al. Pouchkin. Traduit par L. Repeu») (см.: Двойченко-Маркова Е. М. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе // Врем. ПК 1973. Л., 1975. С. 22). Редактором русского «Одесского вестника» был назначен преподаватель Ришельевского лицея М. П. Розберг. С 1834 г. Розберга сменил А. Г. Тройницкий, которому тогда же было поручено редактирование «Journal d'Odessa» и управление городской типографией.

Александр Григорьевич Тройницкий (1807–1871) был уроженцем Одессы и выпускником Ришельевского лицея. По окончании Лицея в 1824 г. Тройницкий занял там должность надзирателя за воспитанниками, одновременно (до 1826 г.) продолжая образование в существовавшем при Лицее дополнительном училище правоведения и политической экономии; в 1827–1832 гг. числился адъюнктом физико-математических наук в Лицее, с 1829 г. преподавал также историю и географию в Одесском институте благородных девиц, где с 1832 г. был инспектором. С конца 1820-х гг. сотрудничал в «Journal d'Odessa». Тройницкий стоял во главе «Journal d'Odessa» до 1852 г., во главе «Одесского вестника» — до 1857 г., времени своего переезда в Петербург. С 1857 г. — заведующий статистической частью в Статистическом комитете Министерства внутренних дел, член Главного управления цензуры, в 1861–1867 гг. — товарищ министра внутренних дел, с 1867 — член Государственного совета.

Каждый номер «Одесского вестника» содержал правительственные распоряжения, внутренние и иностранные известия, перепечатывавшиеся из петербургских газет, экономические и светские новости, частные и «казенные» объявления, материалы по археологии и краеведению южных областей России (Малороссия, Крым); в отделении «Словесность» печатались отрывки из зарубежных романов. При газете издавались приложения — «Листки, издаваемые Обществом сельского хозяйства Россия» (1832–1840) и «Литературные листки» (1833–1834). После смерти Пушкина в 1837 г. в «Одесском вестнике» были перепечатаны объявления о продолжении издания журнала «Современник» из «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» от 13 февраля и об издании собрания сочинений поэта из «Северной пчелы» от 13 марта (см.: Одесский вестник. 1837. № 17, 27 февраля; № 27, 3 апреля; также: примеч. 27 к статье Н. А. Полевого «Пушкин» — наст. изд., с. 520–521).

Лит.: Шидловский А. Ф. Александр Григорьевич Тройницкий: (Одесский период его службы) // РС. 1897. № 2. С. 373–388.

С. В. Денисенко, Е. О. Ларионова

«Современник» — литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным в Петербурге. Выходил ежеквартально. Пушкин успел издать четыре тома (би-

лет на выпуск первого тома выдан 9 апреля, см.: Березина. С. 301–302; второго — 3 июля, см.: Там же. С. 297; третьего — 30 сентября, см.: Там же. С. 296; *Черейский Л. А.* К стихотворению Пушкина «Полководец» // Врем. ПК 1963. М.; Л., 1966. С. 56; четвертого — 22 декабря, см.: *Фокин Н. И.* К истории создания «Капитанской дочки» А. С. Пушкина // Уч. зап. Уральского пед. ин-та. Уральск, 1957. Т. 4, вып. 3. С. 124).

После смерти Пушкина журнал был продолжен в 1837 г. «в пользу его семейства» друзьями поэта — П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым (вышли четыре тома: т. 5–8). С 1838 по 1846 г. издавался П. А. Плетневым (т. 9–44; в 1838–1842 г. по четыре тома в год, с 1843 г. — ежемесячно, по три книжки в томе), с 1847 по 1866 г. — И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым (в 1847–1848 гг. редактором также был А. В. Никитенко; с 1859 г. журнал назывался «литературным и политическим»); в 1863 г. единоличным редактором «Современника» стал Некрасов.

Мысль о собственном журнале давно занимала Пушкина. Еще в августе 1825 г. он писал П. А. Вяземскому: «Когда-то мы возьмемся за журнал! мочи нет хочется...» (XIII, 205), а спустя год, в ноябре, вновь обращался к нему: «Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно» (XIII, 304). Сотрудничество Пушкина в издававшемся «любомудрами» «Московском вестнике» (1827–1830), участие в альманахе «Северные цветы» (1825–1831) и «Литературной газете» (1830–1831) А. А. Дельвига, а также неосуществленный проект разрешенной ему в 1832 г. «политической и литературной» газеты «Дневник» лишь укрепили поэта в желании иметь свое печатное издание.

Для Пушкина 1835 год прошел в постоянных поисках нового журнала. В апреле он вместе с В. Ф. Одоевским собирался выпускать «Современный летописец политики, наук и литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала 3-го (последнего) десятилетия 19-го века» (заглавие и программа несостоявшегося издания предложены Одоевским в его письме к Пушкину от апреля 1835 г. — см.: XVI, 28; уточнение датировки: Письма посл. лет. С. 258). В сохранившемся черновике, по-видимому, неотправленного письма к А. Х. Бенкендорфу Пушкин признавался, что «обстоятельства заставляют» его прибегнуть к средству, без которого он «до сего времени надеялся обойтись», — к издательской деятельности: «Итак, я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с „Северной пчелой“; что же касается статей чисто литературных (как то: пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.), которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы издавать их особо (по тому каждые 3 месяца, по образцу английских Reviews)» (XVI, 29, 304; оригинал по-франц.). В октябре того же года, откликаясь на идею П. А. Плетнева о выпуске альманаха, он писал: «Ты требуешь имени для альманаха: назовем его Арион или Орион; я люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам привязаться не к чему. Лангера заставь также нарисовать виньетку без смысла. Были бы цветочки, да лиры, да чаши, да плющ, как на квартире Алекса́ндра > Ив<ановича> в комедии Гоголя. Это будет очень натурально» (XVI, 56). Наконец, 31 декабря 1835 г. Пушкин направил Бенкендорфу прошение о разрешении нового журнала: «Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности, наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые. Это было бы для меня новым благодеянием государя» (XVI, 69–70).

14 января 1836 г. «Современник» был разрешен Николаем I как журнал чисто литературный с указанием, чтобы «означенное периодическое сочинение проходило по установленному порядку через Цензурный комитет» (Дела III Отделения собственной е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., 1906. С. 171). Через неделю, 21 января, на заседании Петербургского цензурного комитета был назначен цензор издания — А. Л. Крылов (см.: *Егоркин А.* Пушкин и цензура // ПиС. СПб., 1910. Вып. 13.

С. 179). По этому поводу А. В. Никитенко писал в дневнике: «Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело» (Никитенко. Т. 1. С. 180).

Первое печатное известие, что «Александр Сергеевич Пушкин в нынешнем, 1836 году будет издавать литературный журнал, под названием „Современник“, появилось в № 27 «Северной пчелы» от 3 февраля. Литературная полемика вокруг пушкинского журнала началась еще до выхода первого тома. В апрельском номере «Библиотеки для чтения» была напечатана заметка О. И. Сенковского, посвященная «программе» нового издания. «Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани, — предупреждал Сенковский читателей «Библиотеки». — Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха, под заглавием „Современник“, которого будет выходить четыре книжки в год, или родом журнала, которого каждые три месяца будет являться по одной книжке. И еще — этот журнал, или этот альманах, учреждается нарочно против „Библиотеки для чтения“, с явным и открытым намерением — при помощи Божией уничтожить ее в прах» (БдЧ. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67; наст. изд., с. 121). Выступление Сенковского было вызвано и боязнью конкуренции (Смирдин даже предлагал Пушкину 15 000 рублей за то, чтобы он отказался от своего издания и вновь стал сотрудником «Библиотеки», см. письмо Пушкина П. В. Нащокину от начала января 1836 г. — XVI, 73), и опасениями, что пушкинский журнал реально может повредить репутации «Библиотеки для чтения».

В защиту пушкинского журнала, сразу же после выхода первого тома, в «Северной пчеле» была опубликована статья «Несколько слов о „Современнике“, написанная, по-видимому, В. Ф. Одоевским. В ней, в частности, отмечалось, что «говорить о программе журнала, когда ее нет, стараться заранее произвольными и оскорбительными догадками вредить в общем мнении книге, которой еще нет перед судом публики, избрать человека, коего имя, по крайней мере для русского, имеет в себе нечто симпатическое с любовью и гордостью народною, и взводить на него предосудительные небылицы, как, например, намерение подорвать чужое литературное предприятие, и посвятить сей корыстной цели дарование возвышенное, — вот что хуже всякой худой полемики, потому что полемика есть война, стычка, схватка мнений, а подобное нападение имеет вид обдуманного и личного» (СПч. 1836. № 86, 17 апреля; наст. изд., с. 139). С полемическими заметками против Сенковского выступили также А. Ф. Воейков в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1836. № 47, 10 июня. С. 374; наст. изд., с. 158–159) и В. П. Андросов в «Московском наблюдателе» (1836. Ч. 6. Апрель, кн. 1. С. 492–494; наст. изд., с. 143–144).

Первый том «Современника» готовился Пушкиным при ближайшем участии Н. В. Гоголя, который не только опубликовал в этой книжке свои произведения, подготовил отдел «Новые книги», но и взял на себя редакционно-издательские и типографские хлопоты. Кроме того, Гоголь был автором критической статьи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанной анонимно в первой книжке «Современника» (с. 192–225; наст. изд., с. 123–137). Многие, в том числе и в литературной среде, приписали статью «О движении журнальной литературы...» Пушкину и отнесли ее к ней как к программе нового журнала (подробнее см.: наст. изд., с. 443). Так, Г. С. Аксаков в письме от 18 апреля 1836 г. из Петербурга сообщил отцу, С. Т. Аксакову: «Здесь появился новый журнал „Современник“, издаваемый Пушкиным, который, я думаю, много подорвет „Библиотеку“. Первый номер его очень хвалят. В нем есть повесть Гоголя, критика Пушкина на Сенковского» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 119). В «Северной пчеле» Ф. В. Булгарин, назвав Пушкина автором статьи «о современных журналах», заявил, что «Современник» по «духу» и «цели» является продолжением «Литературной газеты» и «Московского вестника» (см.: «Мнение о литературном журнале „Современник“, издаваемом Александром Пушкиным на 1836 год» — СПч. 1836. № 127, 6 июня; № 128, 8 июня; № 129, 9 июня; наст. изд., с. 149–157).

Положительно отзывался о первой книжке пушкинского журнала В. Г. Белинский: «„Современник“ есть явление важное и любопытное сколько по знаменитости

имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одною частию публики, и страха, ощущаемого от него другою частию публики. Г. Сенковский, редактор „Библиотеки для чтения“, аристарх и законодатель этой последней части публики, до того испугался предприятия Пушкина, что, забыв обычное свое благоразумие, имел неосторожность сказать, что он „отдал бы все на свете, лишь бы только Пушкин не сдержал своей программы“. Подлинно, что у страха глаза велики, и справедливо, что устрашенный человек, вместо того чтоб бить по призраку, напугавшему его, колотит иногда самого себя...». Однако критик не предрекал «Современнику» «большого успеха», то есть нравственного влияния на публику, поскольку «журнал должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек, а не книжищ, и появляющемся чрез три месяца? Такой журнал, при всём своем внутреннем достоинстве, будет походить на альманах, в котором, между прочим, есть и критика» (Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 168, 169; наст. изд., с. 144–145). В рецензии на второй том журнала Белинский, упрекнув его в «светскости», назвал «петербургским „Наблюдателем“» (Там же. Ч. 12, № 13. С. 6; наст. изд., с. 162).

Пушкин ответил всем оппонентам в третьем томе «Современника». Он подчеркнул, что статья «О движении журнальной литературы...» «не есть и не могла быть программю „Современника“» (с. 329; наст. изд., с. 182), а также вынужден был объявить, «что он не имеет чести быть в сношении с гг. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им того не поручал» и «вполне признает справедливость объявления, напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“, по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты“» (с. 331; наст. изд., с. 182).

По своей структуре и по ежеквартальному выходу «Современник» напоминал альманах. Формально он делился на два отдела — «Стихотворения» и «Проза». Однако Пушкин сумел приблизить разрешенный альманах-сборник к общественно-литературному журналу: прозаический отдел, помимо художественных произведений, включал научные, научно-популярные, исторические, документальные и критические статьи, а в конце каждой книжки обязательно присутствовал библиографический раздел «Новые книги» (во втором томе — «Новые русские книги»), где давался краткий обзор всей вышедшей литературы. Особенностью пушкинского «Современника» было то, что в нем, как и в английских трехмесячных обозрениях («The Edinburgh Review» и «The Quarterly Review»), практически отсутствовали переводные материалы (подробнее см.: Казанский Б. В. Западные образцы «Современника» // П. Врем. М.; Л., 1941. [Т.] 6. С. 375–377).

На протяжении 1836 г. Пушкин занимался «Современником» практически ежедневно. Он вел переговоры и переписку с авторами и цензурой, редактировал произведения, писал для журнала собственные сочинения, задававшие тон и тематику томов журнала. Пушкинское тяготение к прозаическим жанрам, в частности к документальной и научно-популярной прозе, становится заметным по подбору материала уже в первой книжке. Здесь напечатаны «Императрица Мария» П. А. Плетнева, отрывок из «Хроники русского» А. И. Тургенева, «Долина Ажитугай» Султана Казы-Гирея, статья Е. Ф. Розена «О рифме», «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год» П. Б. Козловского. В следующих томах было собрано много материалов, посвященных Отечественной войне 1812 г. («Записки» Н. А. Дуровой, «О партизанской войне» и «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта» Д. В. Давыдова) и историческим событиям («Битва при Тивериаде» А. Н. Муравьева, «Наполеон и Юлий Цезарь» П. А. Вяземского). Критические статьи В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» во втором томе и «Как пишутся у нас романы» в третьем томе журнала были не менее острыми, чем статья «О движении журнальной литературы...».

На страницах «Современника» Пушкин напечатал из собственных произведений — «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», «Скупой рыцарь (Сцены из Ченстоновой трагикомедии: *The covetous Knight*)», «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)», «Капитанская дочка», стихотворения — «Из А. Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...»), «Полководец», «Сапожник (Притча)»,

«Родословная моего героя», статьи — «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского...», «Российская Академия», «Французская Академия», «Об „Истории Пугачевского бунта“», «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», «Вольтер», «Фракийские элегии, стихотворения Виктора Теплякова», «Джон Теннер», «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», «Словарь о святых, прославленных в Российской церкви...», «Письмо к издателю», «Объяснение», а также одиннадцать анекдотов из «Table-talk» и ряд мелких заметок и примечаний.

Отношения с цензурой складывались непросто. С. С. Уваров (министр народного просвещения, начальник Главного управления цензуры) и М. А. Дондуков-Корсаков (председатель Петербургского цензурного комитета), «прославленные» Пушкиным в сатирической оде «На выздоровление Лукулла» (1835) и эпиграмме «В Академии наук заседает князь Дундук...» (1836), чинили «Современнику» всяческие препятствия. В августе 1836 г. Пушкин писал Д. В. Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависит от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смиры, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как ныне...» (XVI, 160). Цензурным комитетом были запрещены следующие произведения, которые Пушкин предполагал опубликовать в «Современнике»: его собственный «Александр Радищев», записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях», стихотворение Ф. И. Тютчева «Два демона ему служили...», переводная статья «Применение системы Галля и Лафатера к изображению пяти участников покушения на жизнь Луи-Филиппа в 1835 г.» (подробнее см.: Вацуро, Гиллельсон. С. 303–306, 327–333).

Материальной выгоды, на которую рассчитывал Пушкин, «Современник» не принес. Не удалось ему стать и массовым изданием (первые два тома были отпечатаны в количестве 2400 экземпляров, третий — 1200, четвертый — 900 экземпляров (см.: ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 294)). Журнал с трудом можно было купить не только в провинции, но даже в Москве. Чтобы рассчитаться с долговыми обязательствами, в том числе и по «Современнику», Пушкин вынужден был 8 августа и 25 ноября 1836 г. занять 8 310 рублей у ростовщика А. П. Шишкина под залог семейного серебра и черной турецкой шали (см.: Архив Опеки Пушкина. М., 1939. С. 132 (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 5)). В августе 1836 г. А. А. Краевский и В. Ф. Одоевский, которые вместе с П. А. Плетневым были ближайшими помощниками Пушкина при подготовке второго, третьего и четвертого томов, предложили ему проект реорганизации «Современника»: в 1837 г. издавать журнал в 12 книжках; Пушкин должен был взять на себя литературную часть и помещать в каждом номере хотя бы одну собственную, прозаическую или стихотворную, статью, научный отдел находился бы целиком в ведении Одоевского и Краевского, которые брали на себя также все технические хлопоты по журналу (набор, печать, корректура и пр.); прибыль от издания (за вычетом расходов на типографию, бумагу, плату книгопродавцам) должна была делиться поровну между Пушкиным, Одоевским и Краевским (см.: ЛН. Т. 58. С. 289–290). Принятие условий означало, что Пушкин перестает быть полноправным хозяином «Современника», и он отказался. Об этом свидетельствует представленная С. С. Уварову 16 августа 1836 г. Одоевским и Краевским особая докладная записка об издании книги «Русский сборник», которая возникла из неразрешенного ранее проекта большого энциклопедического журнала «Северный зритель» (подробнее см.: Там же. С. 290–295, коммент. Ю. Г. Оксмана). Издание не было разрешено — на доклад о нем Уварова Николай I наложил краткую резолюцию: «И без того много» (РС. 1903. № 3. С. 589).

Однако недовольство в пушкинском окружении не ограничивалось тем, как шли дела в «Современнике». Не устраивала пушкинская позиция не ввязываться в мелкие полемические споры с «Библиотекой для чтения» и «Северной пчелой». Настоятельно было воспринято отдаление Пушкина, особенно после его поездки в Москву в мае 1836 г., от объединившихся вокруг «Московского наблюдателя» С. П. Шевырева, М. П. Погодина, В. П. Андросова, Е. А. Баратынского, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова, братьев Киреевских, Н. Ф. Павлова и других литераторов, а также его стремление сблизиться с В. Г. Белинским (после закрытия «Телескопа» Пушкин через П. В. Нащокина вел переговоры о том, чтобы пригласить его в «Современник»). 28 сентября 1836 г. Одоевский обратился к Шевыреву: «Мне Вол-

конский сказывает, что вы, господа, хотите прекратить издание „Наблюдателя“. Бога ради, не делайте этого; я хотел издавать журнал, но мне не позволили, следовательно, все мои труды, приготовлявшиеся для моего журнала, пойдут к вам, и я буду прилежно трудиться. Издавайте только аккуратнее — за успех можно ручаться. „Наблюдатель“ входит в моду. Если вы прекратите его, тогда в нашей литературе некуда плюнуть будет. Возьмите меня в *пайщики* вашего журнала, а я вам обещаю много сотрудников. Или же вы переведите ваш „Наблюдатель“ сюда, в Петербург; или будем издавать пополам — одну книжку вы, другую мы, или же одну часть вы, а другую мы» (*Могиланский А. П.* А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных «Отечественных записок» // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. М., 1949. Т. 6, № 3. С. 220). В это же время А. А. Краевский жаловался М. П. Погодину: «Говорил я Пушкину о присылке в Москву „Соврем<енника>“ на комиссию. Он отвечал ни то ни се. Беззаботность его может взбесить и агнца!» (ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 717).

Тем не менее в январе 1837 г. Пушкин продолжает собирать материалы для следующего, шестого, тома «Современника»: пишет несколько статей и заметок, договаривается с В. Ф. Одоевским и А. И. Тургеневым о публикации их произведений. Символично, что накануне дуэли, 27 января, последнее в своей жизни письмо поэт адресует детской писательнице А. О. Ишимовой с просьбой перевести для «Современника» несколько пьес английского драматурга Барри Корнуолла (см.: XVI, 226–227).

Отчасти прав был Пушкин-издатель, когда писал жене 18 мая 1836 г.: «...черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» (XVI, 117–118).

Лит.: Казанский Б. В. Западные образцы «Современника» // П. Врем. М.; Л., 1941. [Т.] 6. С. 375–381; *Мордовченко Н. И.* «Современник» Пушкина. Пушкин и Белинский // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 251–255; Березина, *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. М., 1963. С. 229–406; *Вацууро В. Э.* Пушкин и общественно-литературное движение в период последкабрьской реакции. Ситуация 1825–1837 годов // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 198–235; Рыскин, *Орлов В. Н.* Пути и судьбы: Литературные очерки. Л., 1971. С. 456–473; *Питолкина Н. В.* Пушкинский «Современник» и «Московский наблюдатель» (1835–1837) // Проблемы современного пушкиноведения: Межвузовский сб. науч. тр. Л., 1981. С. 46–57; Вацууро, Гиллельсон. С. 266–348; *Гиллельсон М. И.* Пушкинский «Современник» // Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 3–39; Современник, литературный журнал А. С. Пушкина. 1836–1837: Избранные страницы / Сост., вступ. ст., примеч. и словарь С. А. Кибальника. М., 1988; *Краснобородко Т. И.* Журнальные замыслы А. С. Пушкина и «Современник»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1991; *Куманова А.* Пушкинский журнал «Современник»: К вопросу о А. С. Пушкине — журналисте и критике. Шумен, 2004.

С. Б. Федотова

«Художественная газета» — одно из первых периодических изданий в России, посвященных искусству. Издавалась в Петербурге с апреля 1836-го по 1841 г. по два номера в месяц (в первый год вышло только десять номеров). С 1838-го выпускалась с приложением гравированных иллюстраций. Издателем и редактором в 1836–1840 гг. был Н. В. Кукольник; в 1841 г. — А. Н. Струговщиков. В журнале помещались отчеты о выставках русских и зарубежных художников, биографические заметки о художниках; обзоры современного европейского искусства; статьи по истории искусства и эстетике; профессиональные материалы по живописи, гравюру и архитектуре; библиография; хроника текущей художественной жизни России. Кукольник намеренно отказался от «художественной критики». В программном заявлении издателя в первом номере газеты он писал: «Считая критику, особенно художественную, у нас несвоевременной, я исключил ее из состава газеты» (1836. № 1. С. 8). Издание поддерживалось Обществом поощрения художников (Общество было основано в 1821 г. с целью содействия развития и популяризации изящных искусств и оказания помощи начинающим талантливым художникам, см. о нем: Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. [Т. 2]: Л–Я. СПб., 2005. С. 114–116, статья А. В. Корниловой). «Художественная газета» пользовалась боль-

шим спросом у читателей; отклики на нее появились даже в европейской прессе. В 1838 г. в газете была помещена переводная заметка из английского журнала «Foreign Quarterly Review», где говорилось: «...в России издается журнал, исключительно посвященный изящным искусствам, и притом с таким успехом, что все экземпляры его за прошедший год разошлись, так что мы не могли, к сожалению, достать первых его номеров. <...> ...можно надеяться, что издание это составит со временем богатый запас материалов для будущего историка изящных искусств» (№ 3. С. 106–107).

Издатель газеты, Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868), прозаик, поэт и драматург, соученик Н. В. Гоголя по Нежинскому лицейскому училищу, начавший службу учителем русского языка и словесности в Виленской гимназии, в 1833 г. переселился в Петербург и поступил в Общую канцелярию министра финансов (в 1834–1837 гг. столоначальник 2-го Отделения канцелярии). С собой в Петербург Кукольник привез свои первые литературные опыты, в том числе «драматическую фантазию» в стихах «Торквато Тассо», издание которой (СПб., 1833) принесло ему мгновенный и необыкновенно шумный литературный успех. За «Торквато Тассо» последовала целая серия стихотворных и прозаических драм Кукольника о судьбе художника: «Джакомо Санназар» (1834), «Джулио Мости» (1836), «Доменикино» (1838), «Иоанн Антон Лейзевиц» (1839) и др. Одновременно Кукольник своими историческими трагедиями, выдержанными в патристическо-монархическом духе («Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835) и др.) претендует на роль первого официального драматурга русской сцены. С 1835-го до начала 1840-х гг. устраивает у себя по средам и субботам шумные собрания почитателей своего таланта. В круг его общения входят художники и музыканты. Близкими друзьями Кукольника были К. П. Брюллов и М. И. Глинка. Это содружество много способствовало успешному изданию «Художественной газеты».

Пушкин всегда очень невысоко оценивал дарование Кукольника, хотя публично мнения своего предпочитал не высказывать. Кукольник тем не менее, видимо чувствуя пренебрежительное отношение Пушкина, платил ему открытой неприязнью. В день смерти Пушкина Кукольник записал в своем дневнике: «Пушкин умер... Мне бы следовало радоваться — он был злейший мой враг; сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес — и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегаю вообще аристократии; а он непрестанно меня преследовал. Я всегда почитал в нем высокое дарование, поэтический гений, хотя находил его ученость слишком поверхностною, слишком *аристократическою*; но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта» (Баян. 1888. № 11. С. 98).

При жизни Пушкина в «Художественной газете» были опубликованы два его стихотворения о статуях А. В. Логановского («На статую играющего в свайку») и Н. С. Пименова («На статую играющего в бабки»), включенные в текст обзорной статьи о Санкт-Петербургской художественной выставке в Академии художеств. «Присутствие, а еще более самое исполнение этих народных статуй приятно изумило публику, — писала газета о статуях Логановского. — Никто не миновал их, не вкусив безотчетного удовольствия. <...> Эти изваяния имеют и литературное достоинство! А. С. Пушкин почтил их приветными античными четверостишиями, которыми, с обязательного согласия автора, мы имеем удовольствие украсить наше издание. Эти четверостишия равно принадлежат как отечественной литературе, так и отечественным искусствам. Вот они <следует текст>» (1836. № 9–10. С. 140–141; выход в свет после 23 декабря — даты ценз. разр.).

Лит.: Кауфман Р. С. Очерки истории русской художественной критики XIX в. М., 1985. С. 37–48; Нарышкина Н. А. Художественная критика пушкинской поры. Л., 1987. С. 34–39.

С. В. Денисенко

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Барсуков — *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910. Т. 1—22.

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959.

Березина — *Березина В. Г.* Из истории «Современника» Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 278—312.

Библиотека П. — *Модзалевский Б. Л.* Библиотека Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910 (Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 9—10; Отд. отт.). То же: М.: Книга, 1988. Репр. изд.

Вацуро, Гиллельсон — *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд., доп. М., 1986.

ВЕ — журнал «Вестник Европы».

Врем. ПК 1962—1981 — Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1963—1985. [Вып. 1—19] (1962. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. [Вып. 1]; 1963. М.; Л.: Наука, 1966. [Вып. 2]; 1964—1980. Л.: Наука, 1967—1983. [Вып. 3—18]; Сб. науч. тр. 1981. Л.: Наука, 1985. [Вып. 19]).

Врем. ПК 20—23 — Временник Пушкинской комиссии: Сб. науч. тр. Л.: Наука, 1986—1989. Вып. 20—23.

Гоголь — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1948—1952.

ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».

ИВ — журнал «Исторический вестник».

Летопись 1999 — Летопись жизни и творчества Пушкина: В 4 т. М., 1999.

ЛЛ — журнал «Литературные листки».

ЛН — Литературное наследство.

ЛПРИ — газета «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“».

Масанов — *Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1956—1960. Т. 1—4.

МВ — журнал «Московский вестник».

МВед — газета «Московские ведомости».

Москв. — журнал «Москвитянин».

МТ — журнал «Московский телеграф».

Никитенко — *Никитенко А. В.* Дневник. [М.,] 1955—1956. Т. 1—3.

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.: Изд. гр. С. Д. Шереметева, 1899—1913. Т. 1—4 / Под ред. и с примеч. В. И. Сaitова; 1909—1913. Т. 5, вып. 1, 2 / Под ред. и с примеч. П. Н. Шеффера.

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

П. в восп. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст. В. Э. Вацуро; Сост., подгот. текста, примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М.: Худож. лит., 1974 (Сер. лит. мемуаров).

П. в восп. (1985) — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст. В. Э. Вацуро; Сост., подгот. текста, примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М.: Худож. лит., 1985 (Сер. лит. мемуаров).

П. в критике, I — Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827 / Под общ. ред. В. Э. Вацуро и С. А. Фомичева; Вступ. ст. Г. Е. Потаповой; Сост., подгот. текста, коммент. В. Э. Вацуро, Е. А. Вилька, Е. А. Губко, С. В. Денисенко, О. Н. Золотовой, Г. М. Ивановой, Т. Е. Киселевой, Е. О. Ларионовой, Е. В. Лудиловой, Т. М. Михайловой, Г. Е. Потаповой, А. И. Роговой, С. Б. Федотовой, А. В. Шароновой. СПб., 1996.

П. в критике, I (2) — Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827 / Под общ. ред. В. Э. Вацуро и С. А. Фомичева; Вступ. ст. Г. Е. Потаповой; Сост., подгот. текста,

коммент. В. Э. Вацура, Е. А. Вилька, Е. А. Губко, С. В. Денисенко, О. Н. Золотовой, Г. М. Ивановой, Т. Е. Киселевой, Е. О. Ларионовой, Е. В. Лудиловой, Т. М. Михайловой, Г. Е. Потаповой, А. И. Роговой, С. Б. Федотовой, А. В. Шароновой. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2001.

П. в критике, II — Пушкин в прижизненной критике. 1828—1830 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой; Сост., подгот. текста, коммент. А. М. Березкина, В. Э. Вацура, С. В. Денисенко, О. Н. Золотовой, Т. А. Китаниной, Т. И. Краснобородько, Е. О. Ларионовой, Е. В. Лудиловой, Г. Е. Потаповой, А. И. Роговой, С. Б. Федотовой. СПб., 2001.

П. в критике, III — Пушкин в прижизненной критике. 1831—1833 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой; Сост., подгот. текста, коммент. А. Ю. Балакина, А. М. Березкина, М. Н. Виролайнен, С. В. Денисенко, Н. Л. Дмитриевой, О. Н. Золотовой, Т. А. Китаниной, Е. О. Ларионовой, Е. В. Лудиловой, Г. Е. Потаповой, А. И. Роговой, С. Б. Федотовой. СПб., 2003.

П. в печати — *Синяевский Н., Цяловский М.* Пушкин в печати. 1814—1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. 2-е изд., испр. М.: Соцэкгиз, 1938.

П. Врем. — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936—1941. [Т.] 1—6.

Панаев — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988.

Петрунина, Фридендер — *Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М.* Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1969. Т. 6. С. 197—228.

ПИМ — Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956—1962. Т. 1—4; Л.: Наука, 1967—1991. Т. 5—14.

ПиС — Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб.; Пг., 1903—1923. Вып. 1—36; Л., 1928—1930. Вып. 37—39.

Письма посл. лет. — *Пушкин А. С.* Письма последних лет. Л., 1969.

Полевой — Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Л., 1934.

РА — журнал «Русский архив».

РВ — журнал «Русский вестник».

РИ — газета «Русский инвалид».

РЛ — журнал «Русская литература».

РС — журнал «Русская старина».

Рукою П. 1997 — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: [В 19 т.] / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). М.: Воскресенье, 1997. Т. 17 (доп.): Рукою Пушкина: Выписки и записи разного содержания. Официальные документы / Отв. ред. Я. Л. Левкович, С. А. Фомичев. 2-е изд., перераб.

Русские писатели — Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1989. Т. 1; Изд-во «Большая российская энциклопедия», 1992—1999. Т. 2—4.

Рыскин — *Рыскин Е. И.* Журнал А. С. Пушкина «Современник»: 1836—1837: Указатель содержания. М., 1967.

СПб вестник — журнал «Санкт-Петербургский вестник».

Смирнов-Сокольский — *Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.

СО — журнал «Сын отечества».

СО и СА — журнал «Сын отечества и Северный архив».

Совр. — журнал «Современник».

СПч — газета «Северная пчела».

СЦ — альманах «Северные цветы».

Черейский — *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л.: Наука, 1988.

Шикло — Указатель основных трудов Н. А. Полевого [Сводная библиография основных опубликованных оригинальных произведений Н. А. Полевого] // Шикло А. Е. Исторические взгляды Н. А. Полевого. М., 1981. С. 177—222.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Аблесимов Александр Онисимович (1742–1783), писатель 115, 432
Абрагамсон *см.* Абрахамсон В. Г. Ф.
Абрамович С. Л. 17, 401, 426, 476
Абрайтская, герцогиня *см.* Жюно Л.-А.-К.
Абрахамсон (Abrahamson) Вернер Ганс Фридрих (1744–1812), датский писатель и археолог 155, 473
Абулгази (Абуль-Шази-хан) (Aboul-Chazi-Khan; 1603–1663), хан Хивы; историк, автор книг «Родословная туркмен» и «Родословное древо тюрок» 474
Абуль-Шази-хан *см.* Абулгази, хан
Август (Augustus) (полное имя Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э. — 14 н. э.), римский император 257 (Октавий), 352, 546, 566
Адеркас Вильгельм фон (ум. 1789), лейтенант (с 1787); погиб на корабле «Изяслав» в эландском сражении 190, 496
Адеркас Иван Богданович, капитан-лейтенант, военный моряк 496
Адеркас Карл фон (ум. 1789), лейтенант (с 1787); командовал пакетботом «Поспешный», убит в роченсальмском сражении 190, 496
Адеркас Отто фон (ум. 1788), мичман (с 1785); погиб на корабле «Изяслав» в голландском сражении 190, 496
Адлербет (Adlerbeth) Якоб (1785–1844), шведский писатель и филолог 155, 476
Аксаков Григорий Сергеевич (1820–1891), чиновник; сын С. Т. Аксакова 443, 584
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель, литературный и театральный критик, мемуарист 469, 547, 584
Александр Благословенный *см.* Александр I
Александр I Павлович (1777–1825), российский император (с 1801) 191, 201, 202, 203, 221, 224, 263, 384, 492, 495 (покойный государь), 497, 498, 501, 503
Александр II (1818–1881), российский император (с 1855) 227
Алексеев М. П. 5, 551–553
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь (с 1645) 538
Альбрехт (Albrecht) Иоганн Фридрих Эрнст (1752–1814), немецкий писатель 172, 176, 483
Аммосов Александр Николаевич (1823–1866), поэт 521
Ампер (Ampère) Жан-Жак-Антуан (1800–1864), французский писатель, историк литературы 94 (один мой приятель), 418
Амфитеатров Егор (Георгий) Никитич (до вступления в семинарию – Раич), священник Покровской церкви в селе Высоком Орловской губ., отец С. Е. Раича 544
Анакреонт (Анакреон) (ок. 570–478 до н. э.), древнегреческий поэт 429 (анакреонтики), 563, 564
Ангальт-Бернбург-Шаумбургский (Angalt-Bernburg-Schaumburg) Виктор Амадей (1744–1790), принц; русский генерал, участник русско-шведской войны 1788–1790 гг. 190, 496
Андерсон В. М. 520
д'Андре (d'Andrès) С., барон; второй секретарь французского посольства в Петербурге (1833–1844) 470
Андроников И. Л. 506
Андросов В. П. 54 («Случай, который может повториться»), 131, 143, 162, 382, 436, 457, 458, 465–468, 476, 478, 511, 535, 538, 572–574, 577, 578, 580, 581, 584, 586

* Аннотации не даются к именам критиков, подробные сведения о которых содержатся в примечаниях (в таких случаях фамилия критика, а также те страницы, на которых содержится справка о нем, выделены в указателе жирным шрифтом). Имена исследователей не аннотируются.

- Анелли (Anelli) Анджело (1761–1820), поэт, автор либретто к опере Дж. Россини «Итальянка в Алжире» 366
- Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица (с 1730) 72, 169, 190, 402, 567
- Анна Невилл (Anne Neville; 1456–1485), вдова Эдуарда Вестминстерского, принца Уэльского, позднее — жена Ричарда III 558
- Ашпенков П. В. 382, 438, 509
- Антинг (Anthing) Иоганн Фридрих (1753–1805), адъютант А. В. Суворова, впоследствии его биограф 484
- Антокольский П. Г. 514
- Антоний (Antonius) Марк (ок. 83–30 до н. э.), римский полководец 257
- Аполлол (в миру Андрей Дмитриевич Байбаков; 1745–1801), архимандрит, писатель-богослов 63, 393
- Арендт Николай Федорович (1785–1859), врач-хирург, лейб-медик Николая I (с 1829) 225, 226, 228, 527
- Ариосто (Ariosto) Лудовико (1477–1533), итальянский поэт 59, 239, 259, 286, 304, 313, 346, 544, 546, 548, 554
- Аристарх Самофракийский (ок. 217–145 до н. э.), греческий ученый-грамматик 56, 61, 375, 470, 552
- Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый 59
- Аристотель Фиораванти (Fiorentini; ок. 1415 – ок. 1485), итальянский архитектор, строитель Успенского собора в московском Кремле 163, 164
- Архий Авл Лициний (род. 120 г. до н. э.), древнегреческий поэт, известный по речи в защиту Цицерона 519
- д'Аршиак (d'Archiac) Огюст (1811 – не ранее 1847), виконт; атташе французского посольства в Петербурге; секундант Дантеса на дуэли с Пушкиным 525
- Ахундов Мирза Фатали (Фатх-Али) (1812–1878), азербайджанский писатель 511, 512, 513 (Сабугий), 514
- Баггесен (Baggesen) Иенс (Иммануэль) (1764–1826), датский писатель, переводчик, профессор литературы 155, 474
- Баграион Петр Иванович (1765–1812), полководец 494, 496, 501
- Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (Бирон) (1788–1824), английский поэт 37–39, 55–57, 60, 62, 71, 81, 99, 104, 135, 136, 150, 168, 215, 234, 239, 244, 273, 304, 305, 307, 318, 323, 328, 346, 347, 378, 385, 387–389, 393, 394, 400, 409, 517 (байронизм), 518, 530, 537, 547, 562, 565
- Бакушин Михаил Александрович (1814–1876), философ, публицист 539, 540, 580, 581
- Бакунина Прасковья Михайловна (1810–1880), поэтесса 561
- Балакин А. Ю. 361, 570, 590
- Балин Полиевкт, формовщик; отлил посмертную маску Пушкина 529
- Балобанова Е. В. 565
- Бальзак (Balzac) Оноре де (1799–1850), французский писатель 29, 60 (Феррагус), 385, 390, 425, 452, 460, 577
- Байтыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788–1850), историк 400, 404, 482, 484
- Барант (Barante) Амабль-Гильом-Проспер Брюжьер де (1782–1866), барон; французский историк, публицист, политический деятель 200, 527
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 56, 61, 131, 240, 245, 260, 351, 393, 413, 419, 444, 452, 471, 517, 524, 553, 573–575, 586
- Барбье (Barbier) Огюст (1805–1882), французский поэт 385
- Барклай де Толли Вейнгольд Готтард (Богдан) (1726 или 1734–1781), отец М. Б. Барклая де Толли 497
- Барклай де Толли Вильгельм (1675–1735), рижский бургомистр; дед М. Б. Барклая де Толли 497
- Барклай де Толли Михаил Богданович (1757 или 1761 – 1818), государственный деятель, полководец, генерал-фельдмаршал (1814) 183–184 («Полководец»), 195, 196, 201–203, 491, 494–502
- Барклай де Толли (Barclay of Tolly) Питер (1600–1674), предок М. Б. Барклая де Толли 497
- Барков Иван Семенович (1732–1768), поэт, переводчик 410
- Барон Брамбеус см. Сенковский О. И.
- Барро (Des Barreaux) Жак Вале де (1599 (?) – 1673), французский поэт, пользовавшийся скандальной известностью 252
- Барсуков Н. П. 400, 465, 467, 473, 561, 572, 573, 580, 581, 589
- Бартнев П. И. 453, 509
- Басманов Петр Федорович (ум. 1606), русский воевода, стольник, приближенный Бориса Годунова, впоследствии перешедший на сторону Лжедмитрия 311, 369, 385

- Баторий (Batory) Стефан (1533–1586), польский король (с 1575), великий князь Литовский (1576–1586); сын Иштвана IV, воеводы Трансильвании 32, 33, 366–369, 371, 431
- Батте (Batteux) Шарль (1713–1780), французский философ-эстетик 58, 59
- Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт 10, 54, 58, 61, 62, 108, 135, 151, 221, 233, 245, 257, 260, 287, 336, 345, 386, 392, 429, 517, 533, 361
- Баур-Лормиан (Baour-Lormian) Пьер-Мари-Франсуа-Луи (1770–1854), французский поэт 345, 564, 565
- Башарин Иван (1735–1774), гарнизонный офицер в Тобольске, капитан 91
- Баян *см.* Боян
- Беер, сестры 580
- Беер Александра Андреевна (в замуж. Кудрявцева; 1810–1847), приятельница Бакуниных, Н. В. Станкевича, В. Г. Белинского 538, 541, 580
- Беер Наталья Андреевна (1808–1887), сестра А. А. Беер, приятельница Бакуниных, Н. В. Станкевича, В. Г. Белинского 580
- Безгласный *см.* Одосвский В. Ф.
- Бек Иван Александрович (1807 или 1808–1842), поэт, переводчик 543
- Белинская (урожд. Иванова) Мария Ивановна (1788–1834), мать В. Г. Белинского 472
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), критик, публицист 7–9, 55, 78, 95, 107, 109, 112, 116, 144, 161, 181, 245, 362, 365, 371, 377, 378, 382–396, 408, 409, 411, 412, 418–420, 426–434, 439, 440, 442–446, 449, 452–457, 459, 461, 466–472, 475, 478–480, 485–490, 492, 499, 517, 523, 538–544, 548, 551, 552, 558–560, 562, 564, 569, 572, 578–581, 584–587, 589
- Белинский Григорий Никифорович (1784–1835), флотский врач; отец В. Г. Белинского 472
- Белкин Анисим *см.* Сенковский О. И.
- Белобородов Иван Наумович (1741–1774), кунгурский крестьянин, пугачевский полковник и атаман 85
- Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт 8–10, 13, 95, 97, 98, 182, 245, 260, 322, 377, 418–420, 424, 490, 524
- Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783–1844), генерал-адъютант, шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения 11, 13, 14, 16–21, 23, 25, 373, 397, 398, 401, 426, 506, 523, 527, 567, 583
- Бергман (Bergmann) Бенжамен (Вениамин Густавович) (1772–1856), уроженец Лифляндии; пастор, писатель 72, 169, 402
- Берзина В. Г. 370, 435–437, 441–443, 460, 462, 478, 485–490, 583, 586, 589
- Березкин А. М. 375, 590
- Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797–1837), прозаик, поэт, критик, переводчик, декабрист 37 (автор «Письма к доктору Эрману»), 54 («Мореход Никитин»), 56, 237, 348, 363, 371, 372, 375, 382, 388, 390, 393, 448, 514, 532, 554
- Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор, пианист и дирижер 253
- Бибиков Александр Александрович (1765–1822), сын А. И. Бибикова; тайный советник и сенатор 484
- Бибиков Александр Ильич (1729–1774), государственный и военный деятель, генерал-аншеф, участник подавления Пугачевского бунта 176–178, 397, 412, 484
- Бикбай Усманов (1745–1773), оренбургский татарин; капрал казачьей команды в Нижнеозерной крепости 86
- Библиофил Жакоб *см.* Лакруа П.
- Билос Христиан Христианович (1723–1773), барон; бригадир (1772–1773); возглавлял военный корпус, защищавший Илецкий городок и Татищеву крепость 86
- Бирон *см.* Байрон Дж. Н. Г.
- Бируков Александр Степанович (1772–1844), цензор Петербургского цензурного комитета (1821–1826) 23
- Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве о. Иакинф; 1777–1853), синолог, переводчик 404
- Благой Д. Д. 406, 409, 411, 440, 459
- Блер (Blair) Хьюго (1718–1800), английский теолог, историк и теоретик литературы, автор курса словесности 60
- Блок Г. П. 18
- Блюдов Дмитрий Николаевич (1785–1864), граф; государственный деятель, дипломат, министр внутренних дел (1832–1838), литератор 520
- Бобринская Софья Александровна (1797–1866), графиня; жена А. А. Бобринского, знакомая Пушкина 397
- Бобринские *см.* Бобринская С. А. и Бобринский А. А.

Бобринский Алексей Алексеевич (1800–1868), граф; сахарозаводчик; знакомый Пушкина 397

Бобров Семен Сергеевич (1763 или 1765 – 1810), поэт, переводчик 429

Бобаевская К. П. 421, 558

Богданович Ипполит Федорович (1743–1803), поэт 108, 113, 135, 151, 257, 345, 427, 429

Боград В. Э. 422

Бодмер (Bodmer) Иоганн Якоб (1698–1783), швейцарский поэт и критик 554

Бодрова А. С. 420

Бокаччо *см.* Боккаччо Дж.

Боккаччо (Boccaccio) Джованни (1313–1375), итальянский писатель, автор «Декамерона» 48

Бонди С. М. 389

Борг (Borg) Карл Фридрих фон дер (1794–1848), немецкий переводчик, издавший в 1821–1823 гг. собственные переводы русских поэтов 302, 553, 554

Борель (Borel) Петрюс (псевд. Шампавер (Champavert); 1809–1859), французский поэт 380, 521

Боричевский И. А. 521

Бородин А., владелец типографии 232

Бородин Мартемьян Михайлович (1737–1775), старшина Яицкого казачьего войска, войсковой атаман (с 1774) 416

Борхард Н. И., русско-немецкий писатель 552

Боткин Василий Петрович (1812–1869), очеркист, критик, переводчик 580

Боур (Баур) Родион Христианович (1667–1717), генерал, участник Полтавской битвы 265, 286

Бошняк Иван Константинович (1717–1791), военный комендант Саратова (1771–1788) 92

Боян (Баян; XI в.), легендарный древнерусский певец-сказитель, имя которого упоминается в «Слове о полку Игореве» 37, 372

Боярдо (Boiardo) Маттео Мария (1441–1494), итальянский поэт 259, 546

Бразе Моро де *см.* Бразье И.-Н. Моро де

Бразье (Brazé; Vrasey) Иоанн-Николай Моро де (1663–1723), бригадир, автор путевых записок о России 21, 26

Брандт (Brandt) Карстен (ум. 1693), голландский корабельный мастер 141

Брант *см.* Брандт К.

Бродский Н. Л. 506

Броневский В. Б. 8, 18, 20, 71, 156, 168-179, 188, 189, 397, **399**, 402–404, 412, 414–416, 474, 482–484, 494

Бруни Федор Антонович (1799–1875), исторический живописец, академик живописи (с 1834) 210, 232, 509, 529

Брунов Филипп Иванович (1797–1875), барон; чиновник канцелярии М. С. Воронцова, член Главного управления цензуры при Министерстве иностранных дел (с 1833) 582

Брюке (Brucker) Раймон (псевд. Мишель-Ремон (Michel Raymond); 1800–1875), французский романист 29, 364

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), художник 231, 365, 409, 528, 568, 588

Брюс Яков Вилимович (1670–1735), государственный деятель и ученый 285, 286

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, прозаик, переводчик, литературовед 537

Буало-Депрео (Boileau-Despréaux) Никола (1636–1711), французский поэт и критик, теоретик классицизма 58, 59, 369

Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660–1708), походный атаман донских казаков, возглавивший восстание на Дону (1707–1709) 72, 169, 402, 415

Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863), брат К. Я. Булгакова; московский почтовый директор (1832–1856) 521, 526

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), критик, прозаик, журналист, издатель «Северного архива» и «Северной пчелы» 42, 45 («Иван Выжигин»), 56, 79, 103, 115, 120 («Записки Чухина»), 125, 128, 144, 149, 154, 155, 158, 161, 181, 184, 185, 188, 189, 193-195, 199, 321, 364, 366, 374, 375, 377, 380, 385, 388, 390–393, 395, 397, 400, 421, 424, 425, 429, 431, 434, 435, 442–445, 447, 449–451, 453, 455, 462, 463, 469, 471–476, 478, 479, 484–486, 488, 489, 491, 493–495, 500, 503, 520, 538–541, 553, 555, 568, 577, 584

Бунина Анна Петровна (1774–1829), поэтесса, переводчица 429

Бурбоны, французская королевская династия 480

Бурнашев Владимир Петрович (1810–1888), писатель, журналист 379, 453

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849), военный историк 191, 495, 498

Быков П. В. 477

- Бюлер Федор Андреевич (1821–1896), барон; воспитанник Училища правоведения, впоследствии директор Московского главного архива Министерства иностранных дел, писатель 507
- Бюргер (Bürger) Готфрид Август (1747–1794), немецкий поэт 452
- В. П., автор романа «Встреча у цыган» 531
- Вайнштейн А. Л. 426
- Валленштейн (Wallenstein, Waldstein) Альберт Венцель Евсевич (1583–1634), австрийский полководец, главнокомандующий времен Тридцатилетней войны 65, 369, 394
- Валуев Петр Александрович (1815–1890), камер-юнкер, чиновник, впоследствии министр внутренних дел и государственных имуществ; петербургский знакомый Пушкина 225
- Варнгаген фон Энзе см. Фарнгаген фон Энзе К. А.
- Васильев Н. Л. 410
- Васильчиков Илларион Васильевич (1777–1847), генерал, герой Отечественной войны 1812 г. 501
- Вассиан Рыло, архиепископ Ростовский (ум. 1481), церковный деятель и публицист 57, 389
- Вацура В. Э. 5, 20, 21, 23, 366, 368, 373, 413, 414, 423, 439, 455, 461, 470, 488, 491, 495, 496, 518, 568, 586, 587, 589, 590
- Веделъ Симонсен (Vedel Simonsen) Лауриц (1780–1858), датский историк, археолог 155, 474
- Великопольский Иван Ермолаевич (псевд. Ивелев; 1797–1868), поэт 469
- Веловский Иван Федорович (1725–1773), комендант Рассыпной крепости, секунд-майор 85
- Вельтман Александр Фомич (1800–1870), писатель, археолог 237 («Кошей Бессмертный»), 321, 395, 532, 555, 575
- Венгеров С. А. 389, 407, 537, 541, 565
- Веневитинов Алексей Владимирович (1806–1872), брат Д. В. Веневитинова, знакомый Пушкина 25, 573
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827), поэт и критик 387, 393, 410, 411, 420, 553
- Венелин Юрий Иванович (наст. фамилия Хуц; 1802–1839), филолог-славист, журналист 577
- Вергилий (Виргилий) (Vergilius) (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.), римский поэт 59, 286, 344, 544, 549
- Видок (Vidocq) Эжен Франсуа (1775–1857), начальник парижской сыскальной полиции 61
- Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856), государственный деятель, композитор-дирижер; петербургский знакомый Пушкина 226, 227, 229, 230, 524, 529
- Виже-Лебрен (Vigée Le Brun) Мари-Элизабет-Луиза (1755–1842), французская художница 493
- Виланд (Wieland) Кристоф Мартин (1733–1813), немецкий поэт, прозаик, журналист, педагог эпохи Просвещения 103, 105–107, 113, 114, 137, 304, 423, 424, 427, 430, 431, 434, 462
- Вильк Е. А. 589
- Вильмен (Villemain) Абель-Франсуа (1790–1870), французский критик и историк 236
- Виноградов В. В. 450, 482
- Винокур Г. О. 451
- Виньи (Vigny) Альфред-Виктор де (1797–1863), французский поэт 244, 252, 523, 351, 390, 452, 537, 542, 566
- Висковатов Степан Иванович (1786–1831), драматург, поэт, переводчик 429
- Владимир II Мономах (1053–1125), князь Смоленский, Переяславский и Черниговский, великий князь Киевский (с 1113) 288, 289
- Воейков Александр Федорович (1778 или 1779–1839), поэт, переводчик, критик, издатель газет «Русский инвалид» и «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», журнал «Новости литературы», «Славянин» и др. 129, 133, 153, 181, 385, 415, 427, 429, 436, 443, 446, 447, 450, 451, 454, 460, 463, 464, 468, 471, 475, 489, 579, 584
- Волконская Софья Григорьевна (1786–1869), княгиня, статс-дама; жена П. М. Волконского; владелица дома № 12 на Мойке, где находилась последняя квартира Пушкина 210, 509
- Волконский Григорий Петрович (1808–1882), камергер, попечитель Петербургского учебного округа (1842–1845), певец-любитель; сын П. М. и С. Г. Волконских 586, 587
- Вольперт Л. И. 417
- Вольтер (Voltaire) (наст. имя Аруз Франсуа-Мари; 1694–1778), французский писатель, философ и историк 59, 193, 199, 344, 384, 390, 503, 564, 586
- Вольф С., владелец кафе-кондитерской на Невском пр. (ныне д. 18) 385, 525

Вонлярлярская Пелагея Ильинична (ум. 1878), адресат письма Л. А. Якубовича 507
 Вордсворт (Wordsworth) Уильям (1770–1850), английский поэт-романтик 385
 Воробьев Максим Никифорович (1787–1855), живописец, пейзажист 159
 Воронов Василий (1738–1773), офицер Тобольского гарнизона, прапорщик 91
 Воронцов Александр Романович (1741–1805), граф; государственный деятель 85
 Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), граф; новороссийский генерал-губернатор, наместник Бессарабской области и Кавказа 509–511, 582
 Воронцова Елизавета Ксавьеревна (урожд. Браницкая; 1792–1880), графиня; жена М. С. Воронцова 510, 511
 Воротынский Иван Михайлович (ум. 1626), князь из оппозиционного Борису Годунову рода 288, 289, 309, 310
 Воскресенский Михаил Ильич (1803–1867), врач; беллетрист 375
 Восток Александр Христофорович (наст. фамилия Остенок; 1781–1864), филолог-славист, поэт 158, 418
 Враский (Врасский) Борис Алексеевич (1795–1880), переводчик; чиновник особых поручений III Отделения (с 1830) 15, 504
 Всеволожский Андрей Алексеевич (ум. 1774), пензенский воевода; погиб, обороняясь от пугачевцев 178
 Вуич Николай Егорович (1814–1860), поэт 545
 Вульф Павел Иванович (1775–1858), дядя А. Н. Вульфа, знакомый Пушкина 366
 Вяземская Вера Федоровна (1790–1886), княгиня; жена П. А. Вяземского 224, 226, 230
 Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), поэт, журналист и литературный критик; близкий друг Пушкина 12–15, 19, 25, 47, 49, 136, 142, 145, 148, 152, 153, 164, 210, 224, 225–227, 245, 322, 363, 366, 375–377, 379, 382, 395, 399, 409, 419, 425, 441, 453, 464, 470, 471, 473, 475, 478–480, 485, 488, 489, 492, 509, 520, 521, 523, 524, 526, 533, 545, 547, 550, 561, 575, 579, 583, 585, 589
 Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882), князь; чиновник Московского архива иностранных дел (1831–1832) и русской миссии в Мюнхене (1833–1835), писатель 13
 Гагарин Федор Федорович (1787–1863), князь, генерал-майор (с 1827), участник Отечественной войны; московский знакомый Пушкина 469
 Гаевский Павел Иванович (1787–1839), цензор, переводчик 494, 495
 Галактионов Степан Филиппович (1779–1854), гравер 47, 373
 Галич Александр Иванович (наст. фамилия Говоров; 1783–1848), философ, психолог, эстетик, преподаватель Царскосельского лицея (1814–1815), профессор Петербургского университета 361, 385, 531
 Галль (Gall) Франц Йозеф (1758–1828), австрийский врач и анатом 586
 Гальберг Самуил Иванович (1787–1839), скульптор, автор маски и посмертного бюста Пушкина 232, 425, 527, 529
 Гамильтон (леди Гамильтон; Lady Emma Hamilton) Эмма (1765–1815), возлюбленная адмирала Нельсона 187, 493, 494
 Ганнибал Мария Алексеевна (урожд. Пушкина, 1745–1818), бабушка Пушкина 509
 Ганнибал Осип Абрамович (1744–1806), дед Пушкина 306 (Аннибал), 509
 Ганнибалы, предки Пушкина 210
 Гасимов М. М. 425
 Гельм (Hegel) Иоганн Петер (1760–1826), немецкий поэт и прозаик 395
 Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ 299, 300, 539, 540, 541 (гегелианство), 577
 Геерен см. Герен А. Г. Л.
 Гейер (Geijer) Эрик Густав (1783–1847), шведский поэт, историк и композитор 155, 474
 Гейман Родион Григорьевич (1802–1865), ординарный профессор Московского университета, действительный статский советник 231, 562
 Гейтман Егор Иванович (Георг Иоганн) (1800–1829), художник-гравер 528
 Геккерн Ж. см. Дантес Ж.
 Геккерн (van Hecckeren de Beverwaard) Луи Борхард де Беверваард (1791–1884), барон; нидерландский дипломат, поверенный в делах и посланник при русском дворе 525, 527
 Геншади Григорий Николаевич (1826–1880), библиограф, историк литературы 529
 Генслер (Hensler) Карл Фридрих (1761–1825), австрийский драматург, актер и директор театра в Вене 562
 Георгиевский П. Е. 237, 361, 362, 532–534, 580
 Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ-просветитель, историк, писатель, литературовед 155, 253, 254, 385, 422, 473, 543
 Герен (Heeren) Ариольд Герман Людвиг (1760–1842), немецкий историк 200

- Гетце (Гетц) (Goetze) Петер Отто (Петр Павлович) фон (1793–1880), чиновник Министерства финансов, действительный статский советник, почетный член Российской Академии, переводчик 302, 554
- Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт 32, 39, 59, 65, 68, 104, 126, 135, 136, 150, 161, 188, 216, 235, 242, 247, 253, 254 («Фауст»), 292, 301, 303–305, 307, 309, 328, 333 («Гец фон Берлинхинген»), 339, 369, 370, 385, 388, 392, 394, 395, 418, 422, 449, 517 («Фауст»), 518, 523, 543, 544 («Фауст»), 551, 554, 570
- Гиббон (Gibbon) Эдуард (1737–1794), английский историк 199, 503
- Гизо (Gizot) Франсуа-Пьер-Гийом (1787–1874), французский историк и государственный деятель 157, 236, 378, 518, 577
- Гиллельсон М. И. 20, 21, 23, 373, 413, 414, 464, 470, 485, 489–491, 495, 496, 586, 587, 589
- Гинзбург Л. Я. 8–10, 441, 460, 570
- Гинцбург Н. С. 566
- Гинце Христиан, владелец типографии в Петербурге 51, 53, 78
- Гиппиус В. В. 407, 438–441, 452–454, 485, 486, 489, 490
- Глаголев Андрей Гаврилович (1793 или 1799 – 1844), критик, фольклорист, теоретик литературы 161
- Глазунов Андрей Васильевич (ум. 1877), владелец книжных лавок в Москве и Петербурге 53, 71, 82, 398
- Глазунов Илья Иванович (1786–1849), петербургский книгопродавец и издатель 93, 205, 327, 334, 354, 504, 505, 560, 562
- Глазунов Николай Иванович (1799 или 1800 – 1848), владелец книжных лавок в Петербурге, Москве и Харькове 93, 159
- Глазуновы 504
- Глассе А. 380
- Глинка Авдотья Павловна (1795–1863), поэтесса, прозаик, переводчица 253, 543
- Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор 588
- Глинка Сергей Николаевич (1776–1847), поэт, прозаик, драматург, мемуарист 404, 429, 441, 482
- Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт, публицист, декабрист 253, 260, 322, 363, 393, 420, 469, 497, 516, 543
- Глинка-Маврин Борис Григорьевич (ок. 1810–1895), писатель, впоследствии член Военного совета 516
- Глинский Б. Б. 523
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик 232, 321, 461, 524, 529, 554, 555, 571
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель 8, 12, 56, 75, 111, 123, 142, 144, 145, 146, 150, 161, 162, 164, 165, 182, 185–187, 247, 252, 254, 361, 368, 374, 375, 377, 378, 388, 395, 396, 404–412, 415, 424, 427, 429, 430, 435, 437–446, 449, 451–454, 456–465, 467, 469–476, 478–480, 485–490, 492, 493, 541, 543, 568, 569, 572–575, 577, 579, 581, 583, 584, 586, 588–590
- Годунов Борис Федорович (ок. 1552–1605), русский царь (с 1598) 16, 33–35, 48, 55, 63, 68, 77, 79, 99, 115, 238, 288–291, 309–312, 369, 431, 432, 524
- Годунов Федор Борисович (1589–1605), сын Бориса Годунова; русский царь (апрель – май 1605) 291, 310, 311
- Годунова Ксения Борисовна (1581–1622), дочь Бориса Годунова 291, 311, 312 («кроткая царская дочь»)
- Годунова Мария Григорьевна (урожд. Скуратова-Бельская; ум. 1605), жена Бориса Годунова 291
- Гозлан (Gozlan) Леон (псевд. Мишель-Ремон (Michel Raymond); 1803–1866), французский романист 29, 364
- Голенищев-Кутузов Иван Логгинович (1729–1802), адмирал, президент Государственной Адмиралтейской коллегии; отец Л. И. Голенищева-Кутузова 189 («отец мой»), 495
- Голенищев-Кутузов Л. И.** 189, 201, 362, 464, 493, 494–496, 498–500, 503
- Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), генерал-фельдмаршал, русский полководец 191–193, 195, 196, 201, 202, 491–495, 497–502
- Голиков Иван Иванович (1735–1801), купец; историк-собираатель материалов о царствовании Петра I, автор «Деяний Петра Великого» 327, 482, 557
- Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), князь; генерал от кавалерии, московский военный генерал-губернатор (1820–1844), член Государственного совета 573, 574
- Голицын Петр Михайлович (1738–1775), князь; генерал-поручик, участвовавший в подавлении восстания Пугачева 87, 89, 416
- Голицын Сергей Григорьевич (1803–1868), князь; поэт-дилетант, переводчик, меломан 375
- Головенченко Ф. М. 412

- Головин Николай Гаврилович (1805–1865), поручик лейб-гвардейского Конного полка; автор работ по генеалогии 389
- Гомер (Омир) (между XII и VIII в. до н. э.), легендарный древнегреческий поэт 39, 59, 65, 165, 221, 286, 303 («Илиада»), 344, 394
- Гончарова Екатерина Николаевна (в замуж. Дантес; 1809–1843), сестра Н. Н. Пушкиной, жена Ж. Дантеса 498 (свояченица)
- Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н.
- Гораций (Noratius) (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.), римский поэт 193, 264, 269 (гораццианская сатира), 287, 344, 352, 388 (Горациева притча), 418, 519, 546, 547, 566
- Горфункель А. Х. 476
- Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь; дипломат, впоследствии министр иностранных дел, канцлер; лицейский товарищ Пушкина 532
- Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824), поэт, драматург 498
- Горшков Максим Данилович (1729 – не ранее 1776), илецкий казак, сподвижник Пугачева 89
- Госсен (Gaussin) Жанна-Катерина (1711–1767), французская актриса 487
- Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель-романтик 79, 166
- Граббе Павел Христофорович (1789–1875), генерал; мемуарист 496
- Грамматин Николай Федорович (1786–1827), поэт, переводчик 498
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк и общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете 551, 562
- Гребенка Е. П. 7, 160, 476–477
- Грей (Gray) Томас (1716–1771), английский поэт 104, 322, 556
- Грен Александр Евгеньевич (1806 – не ранее 1868/1869, возможно, 1880), поэт, детский прозаик, журналист 463
- Греч Николай Иванович (1787–1867), журналист, издатель, переводчик, педагог 29, 56, 57, 124, 128, 129, 144, 147, 154, 158, 161, 226, 237, 320, 361, 363, 364, 367, 369, 370, 371, 379, 388, 389, 391, 392, 414, 422, 443–446, 450, 451, 453, 455, 462, 463, 468, 469, 477, 491, 492, 494–496, 502, 506, 520, 526, 532, 534, 547, 552, 553, 555, 556, 568, 577
- Греч Николай Николаевич (1820–1837), сын Н. И. Греча 227, 526
- Грибосдов Александр Сергеевич (1795–1829), драматург, поэт 35, 55, 115, 157, 321, 365, 374, 375, 384, 386, 393, 396, 420, 475, 499, 531, 532 («Горе от ума»), 534, 555, 571
- Григорович Иоанн Иоаннович (1792–1852), протоиерей, археолог и духовный писатель 470, 475, 486
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), поэт, критик, журналист 377
- Григорьев Василий Васильевич (1816–1881), востоковед, профессор Петербургского университета 376
- Григорьев Василий Никифорович (1803–1876), поэт, переводчик, статистик 164, 480
- Гриц Т. С. 469
- Грицько Основьяненко см. Квитка-Основьяненко Г. Ф.
- Грот Яков Карлович (1812–1893), историк литературы 423, 522, 532, 533
- Губер Эдуард Иванович (1814–1847), поэт, переводчик 254, 524, 543–545
- Губко Е. А. 589
- Гугниха, жена Василия Гугни 169, 402
- Гугня Василий, донской казак, поселившийся на Яике в XIV в., легендарный первый атаман яицких казаков (1395–1396) 402
- Гудзий Н. К. 409, 411, 462
- Гуковский Г. А. 501
- Гумбольдт (Гумбольт; Humboldt) Александр Фридрих Генрих фон (1769–1859), барон; немецкий ученый, естествоиспытатель и географ 125, 129, 135, 150, 154, 155, 447, 554
- Густав (Gustav) II Адольф (1594–1632), шведский король (с 1611) 65, 394
- Гюго (Hugo) Виктор-Мари (1802–1885), французский писатель-романтик 10, 29, 36, 60, 235, 244, 252, 253, 304, 351, 385, 390, 425, 534, 537, 542, 566, 677
- Давыдов Владимир Н., гардемарин Морского кадетского корпуса, автор воспоминаний о Пушкине в «Русской старине» 529
- Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), гусар, партизан времен Отечественной войны 1812 г., поэт 21, 186 («Меринос собакой стал...», «Ученый разговор»), 393, 444, 453, 457, 493, 497, 502, 585, 586
- Давыдов Иван Иванович (1792 или 1794–1863), педагог, философ, лингвист, профессор Московского университета 421
- Давыдов Степан Иванович (1777–1825), композитор 562
- Дажерр (Дажер; Daguerre) Луи-Жак-Манде (1787–1851), французский химик и художник, один из изобретателей фотографии 324, 556

Даль Владимир Иванович (псевд. Казак Владимир Луганский; 1801–1872), врач, писатель, лексикограф 227–229, 254, 326, 444, 453, 521, 527, 543, 546, 556
 Дапазас Константин Карлович (1801–1870), лицейский товарищ Пушкина, его секундант в дуэли с Дантесом 225, 227, 521, 525, 526
 Данилевский Александр Семенович (1809–1888), чиновник канцелярии Министерства внутренних дел; земляк и друг Н. В. Гоголя 368, 405, 408
 Данилевский Р. Ю. 424, 551, 553, 554
 Данте Алигьери (Dante Alighieri; 1265–1321), итальянский поэт 221, 288, 303, 328, 342, 343, 352, 548, 549
 Дантез *см.* Дантес Ж.
 Дантес (d'Anthès) Геккерн Жорж-Шарль (Карл) (1812–1895), поручик Кавалергардского полка (с 1836); присмный сын Л. Геккерна, убийца Пушкина 499, 525 (молодой Геккерен), 526 (Геккерн), 527
 Даулат-Гирей (Девлет-Гирей) II, крымский хан (1699–1702 и 1708–1713), подписавший охранный указ казакам 402
 Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839), один из основателей литературного общества «Арзамас», министр юстиции (1832–1839), автор критических статей 24
 Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810), княгиня; президент Российской Академии, писательница 24, 424
 Двойченко-Маркова Е. М. 582
 Дебарро *см.* Барро Ж.-В. де
 Деколонг *см.* Деколонг И. А.
 Декарт (Descartes) Рене (1596–1650), французский философ 252
 Деколонг (Клапье де Колонг) Иван Александрович (1716 – не ранее 1778), генерал-поручик; командовал войсками Сибирских пограничных линий (с 1771) 87, 90
 Делавинь (Delavigne) Казимир-Жан-Франсуа (1793–1843), французский поэт и драматург 29, 385
 Деляур Михаил Данилович (1811–1868), поэт, переводчик 260
 Делиль (Delille) Жак (1738–1813), французский поэт и переводчик 193
 Делорм Ж. *см.* Сент-Бев Ш.-О.
 Делорм (Delorm) Мария (Марион) (1611 или 1612 – 1741), знаменитая французская куртизанка 252
 Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт, критик, издатель «Северных цветов», «Подснежника» и «Литературной газеты»; ближайший друг Пушкина 149, 182, 321, 330, 342, 371, 393, 407, 444, 508, 517, 528, 529, 537, 545, 553, 555, 583
 Денисенко С. В. 361, 362, 571, 582, 588–590
 Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт 10, 35, 54, 58, 60, 62, 68, 91, 92, 98, 99, 103, 104, 108, 134, 135, 151, 152, 165, 176, 178, 182, 188, 216, 221, 224, 238, 240, 255, 260, 293–295, 329, 336, 343, 345, 351, 352, 354, 356, 374, 384, 385, 390, 391, 396, 416, 419, 421, 422, 425, 429, 430, 450, 460, 473, 490, 494, 510, 513, 517, 534, 545, 550, 558, 561, 571
 Державин К. Н. 563
 Джонсон (Johnson) Бен (Бенджамин) (1572–1637), английский поэт, драматург 188
 Дидро (Diderot) Дени (1713–1784), французский философ 390, 487
 Дирич Сергей Николаевич (1814–1839), чиновник, журналист, переводчик 435
 Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт, государственный деятель 11, 35, 108, 156, 188, 221, 257, 260, 268, 295, 327, 345, 366, 384, 395, 400, 425, 441, 461, 473, 474, 482, 487, 517, 521, 524, 533, 547, 549, 571
 Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866), литературный критик и поэт; племянник И. И. Дмитриева 419, 482, 547, 549, 566, 574
 Дмитриева Н. Л. 590
 Дмитрий (1582–1591), царевич; сын Иоанна Грозного 309–311
 Дмитрий Донской (1350–1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), полководец; канонизирован Русской православной церковью 389
 Дмитрий Самозванец *см.* Лжедмитрий I
 Долинин А. А. 449
 Долинин А. С. 407, 440, 452–454, 456
 Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794–1869), князь; попечитель Петербургского учебного округа, председатель Цензурного комитета, вице-президент Академии наук (с 1835) 23, 24, 413, 441, 492, 507, 586
 Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель 547
 Доу (Dawe) Джордж (1781–1829), английский художник, работавший в России 183, 497
 Драйден (Dryden) Джон (1631–1700), английский поэт, драматург, критик, переводчик, эссеист и теоретик литературы 422
 Драшусова Елизавета Алексеевна (урожд. Ошанина, в первом браке Карлгоф; 1816 или 1817–1884), мемуаристка, публицист; хозяйка литературного салона 508

- Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), прозаик, критик, переводчик 569
- Дрыжакова Е. Н. 406, 410
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), дежурный штаб-офицер корпуса жандармов, начальник штаба корпуса жандармов (с 1835), впоследствии управляющий III Отделением (1839–1856) 523
- Дубровский А. В. 410
- Дульский П. М. 425
- Дундуков-Корсаков см. Дондуков-Корсаков М. А.
- Дурова Надежда Андреевна (1783–1866), участница Отечественной войны 1812 г., писательница, мемуаристка 164, 478, 479, 585
- Дюверье (Duveugier) Шарль (1803–1866), французский драматург 165, 481
- Дюкре см. Жанлис С.-Ф.-Д.
- Дюма (Дюмас; Dumas) Александр (1802–1870), французский писатель 29, 379, 385, 390, 352
- Дюмас см. Дюма А.
- Егоркин А. И. 583
- Ежова Екатерина Ивановна (1788–1836), драматическая актриса 165, 167
- Эзоп см. Эзоп
- Екатерина I (1684–1727), супруга Петра I, российская императрица (с 1725) 141
- Екатерина II Великая (1729–1796), российская императрица (с 1762) 71, 72 (государыня), 85, 90, 91, 170, 176, 221, 224, 483, 494, 496
- Елагин Григорий Миронович (1717–1773), полковник, комендант Татищевой крепости 85, 86
- Елагин Николай Григорьевич (1762–1773), сын коменданта Татищевой крепости Г. М. Елагина, брат Т. Г. Харловой, с которой был расстрелян в плену казаками-пугачевцами 81 (семилетний брат Харловой), 84 (семилетний брат Харловой), 86 (семилетний брат Харловой)
- Елагина Анисья Семеновна (1731–1773), жена коменданта Татищевой крепости Г. М. Елагина 86 (жена Елагина)
- Елена Павловна (1806–1873), великая княгиня; жена великого князя Михаила Павловича 501
- Емичев Алексей Иванович (1808–1853), прозаик, поэт, журналист 452
- Еремин М. П. 441, 442, 490, 491, 587
- Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), военный и государственный деятель, генерал, командующий Отдельным Кавказским корпусом (1816–1827) 140, 464, 501, 502
- Ершов Петр Павлович (1815–1869), поэт 56, 66, 386, 394, 424, 428, 531
- Есипов Григорий Васильевич (1812–1899), историк, автор исторических очерков и рассказов 427
- Ефремов П. А. 494, 507
- Ефремов Степан Данилович (1715–1784), атаман войска Донского (1753–1772) 72, 73, 170, 402, 403
- Жакоб Библиофил см. Лакруа П.
- Жанен (Janin) Жюль (1804–1874), французский романист, журналист и критик 29, 385, 390, 425, 460
- Жанлис (Genlis) Стефани-Фелисите-Дюкре де Сент-Обен (1746–1830), графиня; французская писательница 472 (г-жа Дюкре)
- Жанна (Иоанна) д'Арк (Jeanne d'Arc) (ок. 1410–1431), национальная героиня Франции 524
- Жерар (Girard) Франсуа-Паскаль-Симон (1770–1837), французский живописец и историк 31
- Жилин Алексей Дмитриевич (1760 или 1766 – между 1848 и 1851), слепой музыкант и композитор, автор романсов 478
- Жильбер (Gilbert) Никола-Жозеф-Лоран (1751–1780), французский поэт 518
- Жирмунский В. М. 552
- Жозефина (Иозефина) Богарне (Бонапарт; Joséphine de Beauharnais, урожд. Таше де ла Пажери (Tascher de la Pagerie); 1763–1814), императрица Франции (1804–1809), первая жена Наполеона 472
- Жуков Василий Григорьевич (1796–1881), табачный фабрикант и заводчик 453
- Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт 13, 18, 21, 24, 35, 36, 40, 45–47, 54, 58, 62, 66, 97, 98, 104, 108, 136, 140, 141, 145, 148, 152, 153, 157, 196, 210, 221, 223, 224, 230, 232–234, 237, 239–341, 243, 245, 247, 253, 257, 260, 267, 273, 296, 301, 303, 322, 328, 329, 332, 336, 342, 345, 351, 362, 367, 370, 371, 374, 375, 377, 382, 386, 388, 389, 393, 395,

405–407, 410, 419–421, 425, 428, 444, 453, 464, 470–473, 475, 498, 502, 509, 517–527, 529, 533, 535–538, 541, 543, 545, 547, 548, 553, 556–558, 561, 563, 564, 571, 579, 583
Жюно (Junot) Лаура-Аделаида-Констанс герцогиня д'Абрантес (d'Abantès; 1784–1838), французская писательница, хозяйка парижского салона, автор известных мемуаров 29

- Заборова Р. Б. 478, 506, 517, 523
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель 42 («Юрий Милославский»), 56, 115, 321, 374, 375, 381, 388, 395, 453, 555, 577
Загряжская Екатерина Ивановна (1779–1842), фрейлина; тетка Н. Н. Пушкиной 230
Загряжский Николай Александрович (1746–1821), действительный тайный советник, обер-шенк Высочайшего двора 467
Задлер Карл Карлович (1801–1877), врач 225
Засв Ефрем (1732–1773), офицер Тобольского гарнизона, секунд-майор 90
Заикин Матвей Иванович (1782–1854), петербургский книгопродавец и издатель 334, 560, 562
Закревская Софья Алексеевна (1796 или 1797 – не ранее 1865), писательница 254 (дама), 543
Закревский Арсений Андреевич (1783 или 1786 – 1865), граф; государственный и военный деятель 363
Зарубин (Чика) Иван Никифорович (1736–1775), яицкий казак, один из ближайших сподвижников Пугачева 73, 85, 173, 177, 403, 483
Зелинский В. А. 5
Земфира, цыганка, дочь старосты цыганского табора в Бессарабии 548
Зенгер Т. Г. см. Цявловская Т. Г.
Зенф (Senff) Карл Август (1770–1836), немецкий рисовальщик и гравёр, работавший в России 497
Зилов Алексей Михайлович (1798–1865), поэт, баснописец 56, 388
Зильберштейн И. С. 528
Зиновьев Дмитрий Николаевич (ум. после 1817), писатель и журналист, владелец типографии 404, 484
Золотицкий см. Золотницкий В. И.
Золотницкий Василий Иванович, губернский секретарь, служащий Казенной палаты Кавказской области 164, 480
Золотова О. Н. 589, 590
Зотов Рафаил Михайлович (ок. 1796–1871), драматург, переводчик 560
Зубков Н. Н. 476
Зубов Платон Павлович (ок. 1796 – не ранее 1857), поэт, беллетрист, автор исторических сочинений 404

о. Иакинф см. Бичурин Н. Я.
Иванов Антон Андреевич (1815–1848), академик скульптуры, ученик С. И. Гальберга 425
Иванов Петр Петрович (род. 1779), секретарь Чембарского уездного суда; муж двоюродной сестры В. Г. Белинского 386
Иванов Федор Федорович (1777–1816), поэт, драматург 498
Иванова Г. М. 589, 590
Иванова Федосья Степановна, родственница и корреспондентка В. Г. Белинского 386
Игорь Святославич (1151–1202), князь Новгород-Северский (с 1179) и Черниговский (с 1198) 37, 210
Иезуитова Р. В. 522, 589
Измайлов Александр Ефимович (1779–1831), поэт-баснописец, журналист, издатель журнала «Благонамеренный» и альманаха «Календарь муз» 61, 429 (братья Измайловы) 498
Измайлов Владимир Васильевич (1773–1830), прозаик, поэт, переводчик, журналист 61, 389, 429 (братья Измайловы), 564
Измайлов Н. В. 17, 18, 463, 492
Измайловы см. Измайлов А. Е. и Измайлов В. В.
Иловайский Алексей Иванович (1735 – не ранее 1788), донской казачий полковник, войсковой атаман 73, 170, 403, 483
Ильин-Томич А. А. 556
Иоанн (Иван) III Васильевич (1440–1505), великий князь Московский (с 1462); отец Иоанна IV 57, 163, 164, 389
Иоанн (Иван) IV Васильевич Грозный (1530–1584), русский царь (с 1547) 33, 34, 309, 310 (царь), 366, 367, 369, 404
Иоанн Григорович см. Григорович И. И.

- Иоанн Иоаннович (1554–1582), сын Иоанна IV Грозного 33, 34
 Иозефина см. Жозефина
 Ирина (урожд. Годунова, после принятия пострига монахиня Александра; ум. 1603), царица; вдова царя Федора, сестра Бориса Годунова 33
 Исаков Я. А. 529
 Искра Иван Иванович (ум. 1708), полковник Полтавского казачьего полка 278, 279, 317, 549
 Истомина Евдокия (Авдотья) Ильинична (1799–1848), петербургская балерина 204
 Ишимова Александра Иосифовна (Осиповна) (1803 или 1804 – 1881), детская писательница, переводчица 525, 587
- К *** см. Каченовский М. Т.
 Кабалеров Петр Афанасьевич (1746–1773), прапорщик, офицер гарнизонных войск в Оренбургской губернии 86
 Каверин В. А. 436, 444, 474, 570
 Кавос (Cavos) Катерино Альбертович (1775–1840), итальянский композитор, дирижер российских Императорских театров 562
 Казак Луганский см. Даль В. И.
 Казанский Б. В. 585, 586
 Казы-Гирей Султан (1808–1863), военный черкесского происхождения; автор рассказов, опубликованных в пушкинском «Современнике» 146, 157 («Долина Ажигутай»), 471 («Долина Ажигутай»), 475, 585
 Кайданов Иван Кузьмич (1782–1845), адъюнкт-профессор Царскосельского лицея, автор учебников по истории 472
 Калашников Иван Тимофеевич (1797–1863), писатель, этнограф 56, 161
 Каллиостро (Cagliostro) (наст. имя Джузеппе Балзамо; 1743–1795), граф; итальянский авантюрист, мистик и заклинатель духов 37, 372
 Каллаш В. В. 438, 440, 486, 489
 Кальминский (Кармицкий, Карницкий) Дмитрий Николаевич (1752–1773), сержант; попал в плен к Пугачеву, был им помилован и назначен писарем 81, 84
 Камашев-Средний И. Н. см. Средний-Камашев И. Н.
 Камешков Дмитрий (1734–1773), капитан, офицер Тобольского гарнизона 91
 Камучини (Cammuccini) Виченцо (1773–1844), итальянский живописец 31
 Канкрин Егор Францевич (1774–1845), граф; министр финансов (1822–1844), член Государственного совета, писатель, экономист, военный инженер, архитектор 24
 Каннинггам (Cunningham) Алан (1784–1842), шотландский поэт 454
 Капова (Canova) Алтонио (1757–1822), итальянский скульптор 341, 562
 Кантакузин (Кантакузен) Александр Матвеевич (ум. 1841), князь; камер-юнкер, гетерист 582
 Кантемир Антонио Дмитриевич (1708–1744), русский поэт, дипломат 57, 148, 221, 383, 424, 427, 472
 Капнист Василий Васильевич (1758–1823), поэт, драматург 61, 108, 221, 429
 Кар Василий Алексеевич (1730–1806), генерал-майор, участник подавления восстания Пугачева 178
 Карabanов Петр Матвеевич (1764–1829), поэт, переводчик, член Российской Академии 392
 Карамзин Александр Николаевич (1815–1888), литератор; сын Н. М. и Е. А. Карамзиных 536
 Карамзин Андрей Николаевич (1814–1854), сын Н. М. и Е. А. Карамзиной 478 (брат Андрей), 506, 526–527 (сын Андрей), 536
 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк 11, 33, 35, 36, 42, 57, 58, 60, 62, 65, 82, 83, 98, 104, 108, 134, 135, 140, 151, 154, 158, 180, 209, 221, 224, 238–240, 245, 286, 288, 295, 320, 321, 326, 336, 345, 351, 353, 369, 371, 372, 374, 383–385, 387, 389, 413, 414, 425, 447, 450, 460, 464, 475, 487 («История Государства Российского»), 513, 517, 519, 533, 537, 538, 549, 556, 564, 571, 586
 Карамзина Екатерина Андреевна (1780–1851), жена Н. М. Карамзина 227, 526, 527
 Карамзина Софья Николаевна (1802–1856), фрейлина; старшая дочь Н. М. Карамзина 478, 506
 Карамзины 478, 506, 526, 527, 536
 Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853), петербургский трагический актер, переводчик пьес 581
 Каратыгина Александра Михайловна (урожд. Колосова; 1802–1880), драматическая актриса 379
 Каргин (Карга) Никита Афанасьевич (1719–1774), яицкий казак, пугачевский атаман 89
 Кардаш Е. В. 361

Карл Великий (Carolus Magnus; ок. 742–814), король франков и лангобардов, император Священной Римской империи, основатель династии Каролингов 259, 546
 Карл (Karl) I Стюарт (1600–1649), король Англии, Шотландии и Ирландии (с 1625) 497
 Карл (Karl) V (1500–1558), император Священной Римской империи и король испанский (Карл I) 199
 Карл (Charles) IX (1550–1574), король Франции, из династии Валуа 94
 Карл (Karl) XII (1682–1718), король Швеции (с 1697) 141, 279, 280, 316, 317, 323, 549
 Карлейль (Карлайл; Carlyle) Томас (1795–1881), английский писатель, публицист, историк, философ 551
 Кармазинская М. А. 421
 Кармицкий см. Кальминский Д. Н.
 Картамышев А., одесский книгопродавец 159
 Катенин Павел Александрович (1792–1853), поэт, критик, драматург 365, 429, 492
 Катков М. Н. 298, 300, 549, 551, 567, 580
 Катулл (Catullus) Гай Валерий (87 – ок. 54 до н. э.), древнеримский поэт 564
 Кауер (Kauer) Фердинанд (1751–1831), немецкий пианист и композитор 562
 Кауфман Р. С. 588
 Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842), историк, переводчик, издатель журнала «Вестник Европы» 126 (один профессор), 181, 256 (К ***), 395, 421, 451, 464, 546
 Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (наст. фамилия Квитка; псевд. Грицько Основьяненко; 1778–1843), украинский поэт, прозаик и драматург 254, 543
 Керн Анна Петровна (урожд. Полторацкая; 1800–1879), знакомая Пушкина, автор мемуаров 435
 Кёниг (Koenig) Генрих Иосиф (1790–1869), немецкий писатель, публицист, политический деятель 302, 306, 313, 552, 554
 Кибальник С. А. 587
 Кине (Quinet) Эдгар (1803–1875), французский философ, поэт, историк и политический деятель 164, 383, 480
 Кипренский (Швальбе) Орест Адамович (1782–1836), художник-портретист 231, 529
 Киреев Михаил Дмитриевич (род. 1808), автор драмы «Горквата Тассо» 367
 Киреевские, братья 586
 Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), литератор, участник кружка «любомудров», сотрудник «Московского вестника», издатель журнала «Европеец» 371, 372, 408, 409, 411, 488, 544, 566, 574, 586
 Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист, брат И. В. Киреевского 544, 573–575, 586
 Кирша Данилов (Кирилл Данилович; XVIII в.), предполагаемый составитель сборника «Древние российские стихотворения» 37, 352, 372, 567
 Киселев-Сергенин В. С. 508, 548
 Киселева Л. Н. 481, 482
 Киселева Т. Е. 589, 590
 Китанина Т. А. 362, 590
 Клементьев Иван Иванович 514
 Климченко Константин Михайлович (1816–1849), скульптор, ученик С. И. Гальберга 425
 Клиндер (Клюндер) Александр Иванович (1802–1875), художник, гравёр, автор посмертного портрета Пушкина 232, 529
 Клопшток (Klopstock) Фридрих Готтлиб (1724–1803), немецкий поэт 385
 Клындер см. Клиндер А. И.
 Ключников Иван Петрович (1811–1895), поэт, прозаик 580
 Княжнин Яков Борисович (1740–1791), драматург, поэт 115, 427
 Коваленко Г. А. 477
 Козлов Александр Алексеевич (1816–1884), ученик Ф. А. Бруни, живописец, офортист 509
 Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик 47, 54–56, 237, 245, 322, 375, 387, 393, 408, 420, 444, 517, 524, 532
 Козлов Никита Тимофеевич (1778 – не ранее 1851), камердинер Пушкина 225 (камердинер)
 Козловский Петр Борисович (1783–1840), князь; дипломат, общественный деятель, публицист 585
 Козмин Н. К. 455
 Кок (Кок) Поль-Шарль де (1793–1871), французский романист 374, 378, 454
 Кока Г. М. 497, 501
 Колумб см. Колумб Х.
 Колридж (Coleridge) Сэмюэл Тейлор (1772–1834), английский поэт и литературный критик 385

Колумб (Коломб) (Colombo) Христофор (1451–1506), мореплаватель 38
 Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 163, 182, 490, 580, 581
 Копиский (Конисский) Георгий (в миру Григорий Осипович; 1717–1795), украинский писатель, церковный деятель 146, 157, 179, 187, 443, 470, 475, 486, 586
 Коношенко Р., художник-литограф, автор посмертного портрета Пушкина 232, 529
 Константин Павлович (1779–1831), великий князь 492, 501
 Коренева М. Ю. 424
Коркунов М. А. 210, 362, 508–509
 Корнель (Cornelle) Пьер (1606–1684), французский драматург 59, 252, 384
 Корнилова А. В. 587
 Кориолл Барри (Cornwall Barry) (наст. имя Брайан Уоллер Проктор; 1787–1874), английский поэт, драматург и прозаик 587
 Коровкин Николай Арсеньевич (1816 – до 1876), автор водевилей 545
 Корсаков Петр Александрович (1787 или 1790–1844), писатель, журналист, переводчик, цензор (с 1835) 15, 478, 505
 Корф Модест Андреевич (1800–1876), барон; государственный деятель, историк, библиограф; соученик Пушкина по Лицею 423, 501, 532
 Корш Евгений Федорович (1809 или 1810–1897), переводчик, журналист, издатель 158, 446, 568
 Косиковский Андрей Иванович (ум. 1838), купец I гильдии, домовладелец 521
 Костин В. М. 565
 Костров Ермил Иванович (1755–1796), поэт и переводчик 50, 427
 Котович А. Н. 483
 Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819), немецкий драматург 577
 Кочубей Василий Леонтиевич (1640–1708), генеральный писарь (с 1687), генеральный судья (с 1699) Левобережной Украины 240, 278–281, 284, 316, 317, 420, 549
 Кочубей Матрена (Мария) Васильевна, дочь Кочубея 240, 278–285, 316, 317, 549
 Кошанский Николай Федорович (1781–1831), профессор русской и латинской словесности в Царскомесельском лицее (1811–1831), доктор философии и свободных искусств 532
 Кошелев Александр Иванович (1806–1883), чиновник Министерства иностранных дел и Министерства народного просвещения, общественный деятель, славянофил 573
Краевский А. А. 15, 16, 24, 53, 297 (А<ндрей> А<лександрович>), 298 (А<ндрей> А<лександрович>), 365, 381, 382, 452, 465, 469, 478, 506, 507, 511, 520, 521, 523, 526, 541, 551, 558, 572, 580, 583, 586, 587
 Краснобородько Т. И. 567, 587, 590
 Красногорский В. П. 436, 438, 440, 442, 454, 455, 484, 486–490
 Краснопольский Николай Степанович (1774 – после 1813), переводчик 562
 Красов Василий Иванович (1810–1854), поэт, студент Московского университета, впоследствии преподаватель языков и словесности 580
 Красовский Александр Иванович (1780–1857), цензор Петербургского цензурного комитета (1821–1828), председатель Комитета цензуры иностранной (1833–1857), член Российской Академии (с 1833) 23
 Крез (595–546 до н. э.), царь Лидии (с 560 до н. э.) 55, 386
 Кромвель (Cromwell) Оливер (1599–1658), деятель Английской революции XVII в., лорд-протектор, единоличный правитель Англии (с 1653) 252, 253, 351, 497, 566
 Круммахер (Krummacher) Фридрих Адольф (1767–1845), немецкий поэт, священник и проповедник 449
 Крылов Александр Лукич (1798–1858), профессор истории, географии и статистики Петербургского университета, цензор Петербургского цензурного комитета (с 1835) 23, 442, 492, 535, 583, 584
 Крылов Андрей Прохорович (1738–1778), один из руководителей обороны крепости в Яицком городке, осажденной пугачевскими отрядами; отец И. А. Крылова 87, 88 (отец юного поэта), 403
 Крылов Иван Андреевич (1769–1844), поэт, баснописец 31, 35, 46, 47, 56, 57, 66, 87, 98, 99, 103, 108, 111, 115, 135, 136, 148, 152, 153, 158, 162, 166, 182, 205, 210, 232, 237, 240, 329, 357, 365, 374, 375, 377, 384, 395, 403, 421, 422, 432, 446, 461, 472, 473, 479, 481, 490, 505, 517, 529, 566–568, 571
 Крыловский В. К., издатель альманаха «Мое повосселье», литератор, владелец типографии в Петербурге 463, 487
 Крымский хан см. Даулат-Гирей (Девлет-Гирей)
 Крюковский Матвей Васильевич (1781–1811), драматург, автор трагедии «Пожарский» 374, 429
 Кувшинников И. Н., книгоиздатель 562

Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858), прозаик, критик, историк 580
 Кузьмичев (Кузьмичев) Федот Семенович (1799–1860?), лубочный писатель 404
 Кузнецов Петр Михайлович (1718–1774), отставной яицкий казак, участник восстания казаков «мятежной» стороны на Яике в январе–июне 1772 г.; отец второй жены Пугачева – Устины 86 (отец)
 Кузнецова, жена яицкого казака П. М. Кузнецова, мать второй жены Пугачева – Устины 86 (мать)
 Кузнецова У. см. Пугачева У. П.
 Кукольник Н. В. 10, 12, 13, 56, 126, 182, 231, 367–369, 378, 388, 448, 449, 490, 509, 528, 531, 533, 534, 570, 577, 580, 588
 Куманова А. В. 587
 Куракин Александр Борисович (1752–1818), князь; государственный деятель и дипломат 469
 Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), князь; государственный деятель, писатель, переводчик 74, 238, 368, 404
 Курциус (Marcus Curtius) Марк (IV в. до н. э.), легендарный римский герой 139, 463
 Кутузов М. И. см. Голицишев-Кутузов М. И.
 Кюне (Kühne) Фердинанд Густав (1806–1888), немецкий беллетрист и литературный критик, примыкавший к литературной группе «Молодая Германия» 553
 Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, декабрист, лицейский друг Пушкина 463, 546

 Лагарп (La Harpe) Жан-Франсуа (1739–1803), французский писатель, теоретик литературы 58, 59, 62, 153, 344, 392
 Лажечников Иван Иванович (1790–1869), исторический романист, драматург, мемуарист 56, 388, 395, 403, 424, 484
 Лакруа (Lacroix) Поль (псевд. Библиофил Жакоб (Bibliophile Jacob); 1806–1884), французский историк и романист 29, 364, 385
 Ламартин (Lamartine) Альфонс-Мари-Луи де (1790–1869), французский поэт 29, 56, 385, 387, 410, 537
 Лангер Валериан Платонович (1802 – между 1865 и 1874), художник, литограф, цензор Петербургского цензурного комитета 583
 Ларионова Е. О. 5, 26, 211, 361, 362, 505, 572, 582, 589, 590
 Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (1741–1801), швейцарский писатель 586
 Лафонтен (Lafontaine) Август Хайнрих (1758–1831), немецкий романист 384, 427
 Лафонтен (Lafontaine) Жан (1621–1695), французский поэт 46, 103, 107, 344
 Левин Ю. Д. 373, 395, 518, 565
 Левкович Я. Л. 20, 589, 590
 Левшин Алексей Ираклиевич (1798 или 1799–1879), этнограф, историк, литератор, общественный деятель 72, 168, 169, 177, 402, 484, 511, 582
 Левшин Василий Алексеевич (1746–1826), литератор, переводчик 483
 Лемонте (Lemontey) Пьер-Эдуард (1762–1826), французский писатель 566, 577
 Лепехин М. П. 494
 Лепид (Lepidus) Марк Эмилий Младший (ок. 89–13/12 до н. э.), римский политический деятель 257
 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт 13, 551, 561, 565
 Лернер Н. О. 506
 Лесаж (Lesage) Ален-Рене (1668–1747), французский писатель 365
 Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий просветитель, философ, публицист, драматург, критик и теоретик искусства 385, 551
 Летуверн (Le Tourneur) Пьер (1736–1788), французский писатель, переводчик 518 (Letourneur)
 Лжедмитрий I (наст. имя Отрепьев Григорий Богданович; ум. 1606), авантюрист, самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия Иоанновича, русский царь (1605–1606) 42, 238, 288, 290, 291, 309–311
 Либрович С. Ф. 528, 529
 Липперт (Lippert) Карл Фридрих Готтлиб Роберт (род. 1810), немецкий журналист и переводчик 302, 554
 Лисенков Иван Тимофеевич (1795–1881), петербургский книгопродавец и издатель 53, 82, 159, 193, 398, 504
 Лисицына Мария Алексеевна (1810? – не позднее 1842), поэтесса 472
 Литов Григорий Иванович, кисвский книгопродавец 159
 Лобанов Михаил Евстафьевич (1787–1846), писатель, драматург, переводчик, член Российской Академии 189, 429, 431, 460, 469, 494, 586

- Ловиц (Lowitz) Давыд Егорович (Георг Мориц) (1722–1774), академик, профессор Петербургской академии наук по кафедре астрономии 91
- Логановский Александр Васильевич (1812–1855), скульптор 588
- Логинов Михаил Иванович (1725 – не ранее 1781), яицкий казак, пугачевец, сын войскового старшины И. И. Логинова 73, 172
- Лодыжинский Михаил Михайлович, управляющий Канторы опекунства иностранных в Саратове 92
- Лозинский М. Л. 547
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), поэт, ученый 57, 65, 104, 107, 108, 135, 151, 165, 216, 221, 238, 303, 327, 345, 351, 352, 355, 357, 374, 383, 384 (ломоносовский период), 391, 424, 425, 427, 450, 460, 510, 513, 517, 561, 566, 567, 571
- Ломоносов Николай Григорьевич (1798–1853), пехотный офицер; знакомый Пушкина 564
- Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875), библиограф и историк литературы 417
- Луганский см. Даль В. И.
- Лудилова Е. В. 362, 589, 590
- Луи-Филипп (Louis-Philippe; 1773–1850), король Франции (1830–1848) 586
- Лукан (Lucanus) Марк Анней (39–65), римский поэт 286
- Лукреций (полное имя Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Carus); ок. 99 или 96 – 55 до н. э.), римский поэт-философ 262, 264, 546
- Львов Николай Александрович (1753–1803), архитектор, художник, поэт 371
- Лысов Дмитрий Сергеевич (1739–1774), яицкий казак, пугачевский полковник 85, 91
- Любецкий Сергей Михайлович (1808 или 1810 – 1881), прозаик, поэт, историк 549
- Любимов Николай Иванович (1811–1875), начальник отделения Азиатского департамента Министерства иностранных дел, впоследствии сенатор; друг М. П. Погодина 511
- Людювик (Louis) XIII (1601–1643), король Франции из династии Бурбонов (с 1610); сын Генриха IV и Марии Медичи 566
- Людювик (Louis) XIV (1638–1715), король Франции (с 1643) 199
- Лутер (Luther) Мартин (1483–1546), деятель Реформации в Германии 60, 199
- Люценко Ефим Петрович (1776–1854), поэт, прозаик и переводчик, член Вольного общества любителей русской словесности; автор перевода поэмы К. М. Виланда «Вастола, или Желания» 103 («Вастола»), 105–107 («Вастола»), 112–114 («Вастола»), 137 («Вастола»), 423, 424
- Люцереде (Lützerode) Карл Август (1794–1864), барон; саксонский посланник в Петербурге (1832–1840), писатель и переводчик 527
- Лямина Е. Э. 423
- М. М. 416
- Маврин Савва Иванович (1744–1809), офицер лейб-гвардии Семеновского полка, член секретных следственных комиссий по расследованию Пугачевского бунта 85
- Магнусен (Magnusen, Finnur Magnusson) Финн (1781–1847), исландец; исследователь северной мифологии, археологии и литературы, профессор Копенгагенского университета 155, 474
- Магомет (Мухаммед, Мугаммед; ок. 570–632), пророк, основатель ислама 37, 293, 372
- Мазена Иван Степанович (1644–1709), гетман Украины (1687–1708) 170, 240, 278–281, 283–285, 316, 317, 323, 549
- Мазур Т. П. 522, 535
- Майер (Mayer) Фридрих (1771–1818), немецкий востоковед, ученик Гердера, автор труда об исландских сагах и скандинавском эпосе 155, 473
- Майков Василий Иванович (1728–1778), поэт 429
- Маймин Е. А. 536, 560
- Макаров А. Н. 398
- Макензи (MacKenzie) Генри (1745–1831), английский писатель 452
- Макогоненко Г. П. 409, 411, 461
- Максимович Михаил Александрович (1804–1873), филолог, историк, фольклорист, поэт 404, 405, 561, 573, 574
- Макферсон (Macpherson) Джеймс (1736–1796), шотландский поэт-мистификатор, автор поэм Оссиана 564, 565
- Макшеева Варвара Дмитриевна (1822 – после 1867), поэтесса 260
- Малов Н. Н. 522, 535
- Мамай (ум. 1380), хан Золотой Орды 389
- Мандзони (Manzoni) Алессандро (1785–1873), итальянский поэт и писатель 60
- Манн Ю. В. 377, 386, 409, 410, 479, 480
- Мансуров Павел Дмитриевич (1726–1798), генерал-майор; участвовал в подавлении Пугачевского восстания 89, 92, 178

- Мануйлов В. А. 494, 495, 499–501
Манцони см. Мандзони А.
Маранцман В. Г. 556
Марат (Marat) Жан-Поль (1743–1793), деятель Великой французской революции, ученый, публицист 390
Марини Павел Яковлевич (1798–1849), чиновник канцелярии М. С. Воронцова, литератор, впоследствии тайный советник 582
Мария Федоровна (1759–1828), императрица, жена Павла I (с 1776) 157
Маркевич Николай Андреевич (1804–1860), поэт, мемуарист, этнограф, историк 371
Маркевич Семен Андреевич (1803–1839), подполковник Второго кадетского корпуса, сотрудник словаря А. А. Плюшара 496
Марков Александр Иванович (1781–1844), генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813 и 1814 гг. 203
Марков Михаил Александрович (1810–1876), поэт, драматург 66, 394
Марлинский см. Бестужев А. А.
Мармон (Marmont) Огюст-Фредерик-Луи-Вьесс де (1774–1852), французский маршал 503
Мармонтель (Marmontel) Жан-Франсуа (1723–1799), французский писатель, автор нравоучительных повестей и драм, теоретик литературы 58, 113, 422
Мароевич Р. 418
Мартос Иван Петрович (1754–1835), скульптор 425
Мартос Петр Иванович (1794–1856), офицер, мемуарист 438, 440, 486, 489
Мартынов Иван Иванович (1771–1833), директор Департамента народного просвещения (1803–1817), эллинист, латинист, переводчик 62, 392
Мартынов Н. Г. 494
Марциал (Marcus Valerius Martialis) Марк Валерий (ок. 42–102), древнеримский поэт, мастер эпиграммы 193
Масальский Константин Петрович (1802–1861), писатель, журналист, переводчик 56, 161, 388
Масальский-Рубец (Мосальский) Василий Михайлович (ум. 1612), князь, дворецкий при Лжедмитрии 291, 311
Масанов И. Ф. 477, 589
Массон (Masson) Мишель (псевд. Мишель-Ремон (Michel Raymond); 1800–1883), французский романист 29, 364
Мацапура В. И. 477
Машинский С. И. 412, 440, 441, 459, 490
Межевич В. С. 98, 361, 420–421, 534
Межов В. И. 528
Мейендорф Егор Казимирович (1794–1863), путешественник, натуралист, член Русского географического общества 155, 474
Мейлах Б. С. 532, 533
Мельгунов Николай Александрович (1804–1867), публицист, прозаик, литературный и музыкальный критик 302, 380, 551–553, 573–575, 580
Мельников Авраам (Абрам) Иванович (1784–1854), архитектор, профессор 325
Мельниченко О. Г. 440, 444, 445, 452, 453, 457, 489
Менцель (Menzel) Вольфганг (1798–1873), немецкий литературный критик 551
Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830), критик, теоретик литературы, поэт, переводчик, профессор Московского университета 62, 98, 108, 109, 160, 256, 389, 392, 421, 429, 478, 545
Мериме (Mérimée) Проспер (1803–1870), французский писатель 7, 29, 94, 417, 418
Меркурьев (Меркульев) Григорий Меркурьевич (1666–1741), яицкий казачий старшина, войсковой атаман (с 1720) Яицкого казачьего войска 402
Меркурьев (Меркульев) Илья Григорьевич (1714–1756), яицкий казак; сын Г. М. Меркурьева 402
Мещерский Петр Иванович (1802–1876), отставной военный; светский знакомый Пушкина 225
Микеланджело Буонаротти (Michelangelo Buonarroti; 1475–1564), итальянский скульптор, живописец и поэт 339
Миллер Павел Иванович (1813–1885), секретарь А. Х. Бенкендорфа (1833–1846), впоследствии действительный статский советник 20
Мильтон (Milton) Джон (1608–1674), английский поэт и публицист 59, 247, 252, 253, 351, 423, 537, 566
Мильчина В. А. 518
Минин Кузьма (ум. 1616), один из руководителей 2-го Земского ополчения (1611–1612) 200

- Миних (Мюних) Христофор Антонович (Буркхард Кристоф) фон (1683–1767), граф; государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (с 1732) 170
- Мироненко С. В. 364
- Михаил Федорович Романов (1596–1645), русский царь (с 1613) 538
- Михайлов М. Л. 477
- Михайлова Т. М. 589, 590
- Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848), генерал-лейтенант, военный историк 404
- Михельсон Иван Иванович (1740–1807), подполковник, принимавший участие в подавлении Пугачевского восстания 73, 74, 89, 90, 173–175, 178, 404, 484
- Мицкевич (Mickiewicz) Адам (1798–1855), польский поэт 60, 217 (один из великих современных поэтов), 417, 519, 539, 564
- Мишель-Ремон (Michel Raymond) см. Брюке Р., Гозлан Л., Массон М.
- Мишиек Мариия (ок. 1588 – ок. 1614), дочь Юрия Мишика, в будущем – жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II 310–312
- Мишиек Юрий (ум. 1613), польский магнат, садиомирский воевода, один из ближайших сподвижников Лжедмитрия I 310
- Могиланский А. П. 587
- Модзалевский Б. Л. 18, 364, 368, 423, 516, 538, 589
- Модзалевский Л. Б. 413, 417, 418, 477, 485, 494, 495, 499–501, 509
- Мокрицкий Аполлон Николаевич (1810–1870), воспитанник Академии художеств, ученик К. П. Брюллова, впоследствии академик живописи 509
- Молотов В. М. 489
- Мольер (Molier) (ист. имя Жан-Батист Поклен; 1622–1673), французский драматург 352, 253, 339, 344, 384
- Мономах см. Владимир II Мономах
- Монтальто см. Сикст V
- Монтион (Montyon) Антуан-Оже де (1733–1820), барон; французский филантроп 105, 426
- Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869), управляющий III Отделением (1831–1839), ближайший помощник А. Х. Бенкендорфа, осуществлявший надзор за Пушкиным 13
- Мордовченко Н. И. 457, 461, 465, 511, 581, 587
- Моро (Moreau) Жан-Виктор (1763–1813), французский генерал 203, 503
- Морозов см. Сенковский О. И.
- Морозов В. Д. 544, 570
- Мортье (Mortier) Эдуард-Адольф-Казимир-Жозеф (1768–1835), французский маршал 503
- Мостовская Н. Н. 407
- Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор 38, 240, 292, 313
- Мстислав Владимирович Храбрый (ок. 983–1036), князь Тмутараканский (990 или 1010–1036) и Черниговский (1024–1036); сын киевского князя Владимира Святославича 259, 546
- Мугаммед см. Магомет
- Мундт (Mundt) Теодор (1808–1861), немецкий писатель, критик, участник литературной группы «Молодая Германия» 554
- Мур (Moore) Томас (1779–1852), английский поэт 385
- Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874), поэт, драматург, религиозный деятель 544, 585
- Муравьев Михаил Никитич (1757–1807), поэт, прозаик, попечитель Московского университета 427, 533
- Муханов Александр Алексеевич (1800–1834), литератор; знакомый Пушкина 357 («М-в»), 567
- Муханов Николай Алексеевич (1802–1871), военный, государственный чиновник; знакомый Пушкина 465
- Мюссе (Musset) Альфред де (1810–1857), французский писатель 244, 537
- Н. К. 32, 368, 369, 431
- Надсудин Николай Иванович (1804–1856), критик, эстетик, журналист 365, 371, 372, 374, 375, 377, 383, 386, 388, 390–392, 394, 426, 427, 430, 449, 451, 452, 454, 455, 459, 466, 469, 493, 537, 567, 574, 577, 579, 580
- Назарова Н. В. 365

- Наполеон I (Napoleon) (Наполеон Бонапарт; 1769–1821), полковолец, французский император (1804–1814 и март–июнь 1815) 34, 59, 63, 97, 142, 164, 191, 192, 195, 196, 240, 293, 318, 319, 387, 393, 492, 497–501, 503, 552, 555
- Нарезный Василий Трофимович (1780–1825), писатель 431
- Нарышкина Н. А. 588
- Нассау-Зиген (Nassau-Siegen) Карл Генрих Николай Оттон (1745–1808), принц; русский адмирал, участник русско-шведской войны 1788–1790 гг. 190, 496
- Наумов Степан Львович (1720–1782), командир 6-й легкой полевой команды, расквартированной в Яицком городке, премьер-майор 416
- Нахимов Аким Николаевич (1782–1814), поэт-сатирик 410
- Нащокин Павел Воинович (1801–1854), близкий друг Пушкина 17, 373, 399, 407, 436, 469, 524, 536, 580, 584, 586
- Небольсин Григорий Павлович (1811–1896), государственный деятель, экономист, редактор «Коммерческой газеты» (1829–1859) 426
- Неверов Януарий Михайлович (1810–1893), писатель, журналист, мемуарист 385, 419, 551, 553, 572
- Незеленов А. И. 557
- Некрасов Игнат Федорович (ок. 1660–1737), донской казак, сподвижник К. А. Булавина 72, 169, 402
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877), поэт 583
- Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1829), поэт 221
- Нельсон (Nelson) Горацио (1758–1805), английский адмирал 494
- Нерваль (Nerval) Жерар де (наст. фамилия Лабрюни (Labrunie); 1808–1855), французский поэт-романтик, драматург и прозаик 418
- Нестор (1050-е гг. (?) – нач. XII в.), монах Киево-Печерского монастыря, агиограф и летописец 447, 475, 549
- Нефедьев Николай Александрович (1800–1867?), чиновник, этнограф, писатель 404
- Нечасва В. С. 383, 472
- Нибур (Niebuhr) Бертольд Георг (1776–1831), немецкий историк 551
- Ниеруп (Niерup; Nuегur) Расмус (1759–1829), переводчик, один из создателей Датского национального музея древностей 155, 474
- Никитенко Александр Васильевич (1804–1877), литературный критик, профессор русской словесности Петербургского университета 13, 16, 21–23, 25, 365, 367, 373, 413, 415, 445, 446, 452, 466, 506, 507, 559, 572, 583, 584, 589
- Никитин Афанасий (ум. 1474 или 1475), тверской купец, совершивший путешествие в Персию и Индию 54
- Никитин М. М. 469
- Николаев А. С. 453
- Николаев Н. И. 476
- Николай I (1796–1855), российский император (с 1825) 14, 16–20, 21 (царь), 23 (император), 24 (царь), 25, 210 (государь), 221, 223 (царь), 227 (государь), 306, 367, 397, 398, 401, 464, 484, 489, 496, 501, 513, 519, 521, 522 (государь император), 523, 526–527 (государь), 537 (государь император), 557, 567, 583, 586
- Николай Николаевич (1831–1891), великий князь; третий сын Николая I 420
- Никольский Александр Сергеевич (1755–1834), писатель, переводчик 392
- Новиков А. Е. 568
- Новиков Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, журналист, издатель 444
- Новицкий Николай Михайлович, помещик Лубенского уезда, соученик Е. П. Гребенки по Нежинскому лицее 477
- Нодье (Nodier) Шарль (1780–1844), французский писатель 29, 418
- Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), поэт, переводчик, автор путевых записок 453
- Нургалеева Р. М. 425
- Обер (Auber) Даниель-Франсуа-Эспри (1782–1871), французский композитор 560
- Оболенский Михаил Андреевич (1805–1873), археолог, археолог, директор Московского архива Министерства иностранных дел 528
- Овидий (Ovidius) (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. – ок. 18 н. э.), римский поэт 186, 233, 276, 277
- Овчинников Андрей Афанасьевич (1739–1774), яицкий казак, ближайший сподвижник Пугачева 85
- Овчинников Р. В. 401, 403, 483, 484
- Огарев Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист 410

- Одоевский В. Ф. 13, 15, 16, 56, 67, 138, 151, 209, 245, 254, 365, 374, 375, 377, 378, 382, 388, 395, 405, 406, 436, 439, 441, 453, 460, 462–463, 475, 477, 478, 480, 506, 508, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 535, 543, 544, 573–575, 583–587
- Озерцовский Николай Яковлевич (1750–1827), академик, доктор медицины, писатель, путешественник 571
- Озеров Владислав Александрович (1769–1816), драматург 61, 98, 108, 115, 374, 389, 456, 473
- Ознобишин Дмитрий Петрович (1804–1877), поэт и переводчик, один из издателей альманаха «Северная лира» 56, 260, 457, 544, 575
- Оксман Ю. Г. 440, 441, 453, 469, 485–488, 490, 586
- Ольдекоп Евстафий (Август) Иванович (1786–1845), писатель, переводчик, издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» и «St.-Peterburgische Zeitung», цензор 413
- Омир см. Гомер
- Орлик Филипп Степанович (1672–1742), украинский политический деятель, сторонник Мазепы 170, 279
- Орлов Александр Анфимович (1791–1840), московский литератор 74, 193, 393, 404, 405, 473, 485
- Орлов Вл. Н. 382, 587
- Орлов Григорий Владимирович (1778–1826), меценат, переводчик басен Крылова на французский язык 357
- Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783), граф, князь; военный и государственный деятель; фаворит Екатерины II 85
- Орлов Михаил Федорович (1788–1842), генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г., декабрист 465
- Орлов Пимен Никитич (1812–1863), живописец 210, 509
- Орловский Борис Иванович (1793–1837), скульптор 497, 500
- Осипов Николай Петрович (1751–1799), писатель, переводчик 452
- Оснатов А. Л. 17, 521, 526, 536, 556
- Оссиан (Ossian), легендарный кельтский бард 237, 345
- Остолопов Николай Федорович (1783–1833), поэт, теоретик стиха 62, 63, 392, 571
- Остроумов Л. Е. 437
- Отрепьев Г. Б. см. Лжедмитрий I
- Отто (Otto) Фридрих, немецкий литератор 553
- Охотин Н. Г. 465
- Очкин А. Н. 556, 578
- Павел I (1754–1801), российский император (с 1796); сын Петра III и Екатерины II 91
- Павел III (Paulus III) (в миру Алессандро Фарнезе; 1468–1549), римский папа (1534–1549) 267 (папа), 268 (папа), 547
- Павел Петрович, цесаревич см. Павел I
- Павлицев Николай Иванович (1802–1879), издатель, переводчик, автор научных трудов; муж О. С. Пушкиной, сестры Пушкина 426, 452, 459, 460, 577
- Павлов Михаил Григорьевич (1792–1840), профессор физики, минералогии и сельского хозяйства, издатель «Атеней» 465
- Павлов Николай Филиппович (1803–1864), писатель, переводчик, водевилист, сотрудник «Московского вестника» 433, 467, 569, 573–575, 577, 578, 586
- Павлова В. П. 426
- Павлова Е. В. 528, 529
- Павлова Каролина Карловна (урожд. Яниш; 1807–1893), поэтесса и переводчица 302, 553, 561
- Павлюк Н. Н. 477
- Павсаний (II в. н. э.), древнегреческий историк, путешественник, писатель 437
- Падуров см. Подуров Т. И.
- Палацци (Паллацци) Луи, петербургский антиквар, владелец художественной галереи 232, 529
- Панаев Владимир Иванович (1792–1859), поэт 499
- Панасев Иван Иванович (1812–1862), писатель и журналист 8–10, 13, 14, 368, 385, 443, 445, 476, 508, 581, 583, 590
- Панаева Авдотья Яковлевна (урожд. Брянская; во втором замужестве Головачева; 1820–1893), писательница, мемуаристка 379
- Панин Петр Иванович (1721–1789), граф; военный и государственный деятель, сенатор, генерал-аншеф, командующий войсками, подавлявшими Пугачевское восстание 85, 92, 93, 176, 178
- Панов С. И. 423

- Парни (Parny) Эварист-Дезире-Дефорж (1753–1824), французский поэт 344, 346, 564, 565
- Пасек Вадим Васильевич (1808–1842), историк-этнограф 454
- Паскевич Иван Федорович (1782–1856), генерал-фельдмаршал, командир Отдельного Кавказского корпуса (с 1820) 140, 464, 475
- Пеллико (Pellico) Сильвио (1789–1854), итальянский поэт, драматург, публицист, карбонарий 434, 435, 577, 586
- Переселенков С. А. 492, 537
- Перро (Perrault) Шарль (1628–1703), французский писатель 395
- Перуджино (Perugino) Пьетро (паст. имя Пьетро ди Кристофоро Вануччи; между 1445 и 1452–1523), итальянский живописец 343 («Петр Перуджинский»), 562 (перуджиновский), 564
- Перфильев Афанасий Петрович (1731–1775), яицкий казачий сотник, один из сподвижников Пугачева 85
- Перцов Эраст Петрович (1804–1873), литератор, публицист 532
- Петр I Великий (1672–1725), русский царь (с 1682) 7, 18, 34, 52, 67, 72, 79, 140, 141, 169, 176, 202, 203, 210, 240, 245, 247, 252, 269, 278, 279, 281, 284–286, 306, 316, 317, 320, 323, 330, 333, 347, 350, 355, 379, 388, 401, 404, 413, 424, 464, 542, 557, 567
- Петр III Федорович (1728–1762), российский император (с 1761), немецкий принц Карл Петр Ульрих; сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха и дочери Петра I Анны Петровны 86, 90, 91, 93, 172, 177, 483
- Петров Василий Петрович (1736–1799), поэт, одописец, придворный библиотекарь при Екатерине II 108, 221, 427, 429
- Петровский Ф. А. 262, 547
- Петрунина Н. Н. 19, 23–25, 398, 401, 406, 407, 415, 437, 439–442, 455, 457, 484, 497, 501, 590
- Пиксанов Н. К. 565
- Пильпай (Бидпай; Pīlpaу, Bīdpaу), полубогатырь древнеиндийский брамин, гимнософист и баснописец 103
- Пименов Николай Семенович (1812–1864), скульптор 588
- Пиндар (ок 518–442 или 438 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик 193, 345
- Питолина Н. В. 581, 587
- Пишо (Pichot) Амеде (1795–1877), французский историк, писатель, поэт, переводчик 378, 517 (P<ichot>), 547
- Плаксин Василий Тимофеевич (1795–1869), критик, педагог, автор учебных пособий по истории и теории литературы 57, 161, 237, 361, 376, 385, 389, 531
- Платов Матвей Иванович (1751–1818), граф; герой Отечественной войны 1812 г., войсковой атаман Донского казачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии (с 1809), участник Русско-турецких войн 1768–1774 и 1787–1791, сподвижник А. В. Суворова 483, 501
- Платон (427–347 до н. э.), древнегреческий философ 462
- Платон, архимандрит Спасо-Казанский (ум. 1811), писатель-историк; архиепископ 74, 174, 403, 404
- Плетнев Петр Александрович (1791–1865), поэт, критик, издатель; друг Пушкина 12, 21, 22, 157, 225, 373, 385, 405, 407, 423, 435, 442, 446, 475, 504, 517, 520–523, 532, 533, 583, 585
- Плюшар Адольф Александрович (1806–1865), издатель, книготорговец, владелец типографии 47, 376, 474, 496, 505, 521, 580
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), писатель, историк, публицист, издатель журналов «Московский вестник» и «Москвитянин» 7, 12, 14, 16, 18, 24, 143, 149, 150, 151, 158, 244, 245, 394, 395, 399–401, 404, 405, 407, 424, 439–441, 445, 452, 453, 455–457, 461, 465–469, 472, 473, 488, 489, 508, 509, 511, 524, 526, 537, 538, 544, 548, 560, 561, 566, 572–575, 577, 579, 580, 586, 587, 589
- Подольский Андрей Иванович (1806–1886), поэт; петербургский знакомый Пушкина 56, 61, 260, 328, 393, 420
- Подуров (Падуров) Тимофей Иванович (1723–1775), оренбургский казачий сотник, ближайший сподвижник Пугачева, полковник в его войске 85, 87
- Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь; боярин (с 1613), один из руководителей 2-го Земского ополчения (1611–1612) 200, 498
- Покровский М. Н. 19
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867), критик, переводчик, издатель, мемуарист; брат Н. А. Полевого 35, 233, 370–372, 375, 378, 386, 389, 398, 399, 444, 465, 498, 515, 529, 530, 571, 577, 580
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), беллетрист, историк, критик, журналист, издатель «Московского телеграфа» 151, 213, 237, 321, 354, 361, 362, 370, 371, 378, 386, 387,

- 390, 391, 395, 400, 410, 411, 424, 444, 466, 489, 497, 515–519, 524, 532, 544, 546, 550, 551, 553, 554, 567, 571, 575, 579, 582, 590
- Полевые, братья 370, 386, 444
- Полежаев Александр Иванович (1804–1838), поэт 56, 393, 507, 580
- Поленов Василий Алексеевич (1776–1851), писатель, историк 401
- Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт и прозаик 13
- Полтавцов Александр Михайлович (1750 не ранее 1775), офицер гарнизона в Яицком городке 87, 416
- Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803–1884), библиограф и библиофил, член редакции «Московского телеграфа» 443, 517, 544
- Поляков Василий Петрович (ум. 1875), приказчик в книжной лавке И. И. Глазунова, впоследствии книгоиздатель 504, 505
- Поляков М. Я. 455, 468
- Поп (Pope) Александр (1688–1744), английский поэт 60
- Поповский Николай Никитич (1730–1760), поэт и переводчик, профессор Московского университета 429
- Потапова Г. Е. 589, 590
- Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал; фаворит Екатерины II 72, 73, 483
- Потоцкая Мария Александровна (урожд. Салтыкова; ум. 1845), жена графа Б. С. Потоцкого 464, 470
- Прево Андрей Михайлович (1801–1867), издатель, владелец магазина художественных произведений в доме Голландской церкви (Невский пр., 20) 232, 529
- Прийма Ф. Я. 488
- Прокопович Николай Яковлевич (1810–1857), поэт; друг Н. В. Гоголя 492
- Прокопович Феофан (1681–1736), церковный и государственный деятель, богослов и поэт 424
- Проперций (Propertius) Секст (ок. 50 – ок. 15 до н. э.), древнеримский элегический поэт 122, 143, 437
- Птолемей Клавдий (II в.), древнегреческий астроном, математик, географ 514
- Птоломей см. Птолемей
- Пугачев В. В. 501
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775), предводитель крестьянского восстания 8, 18–20, 24, 53, 71–74, 79–93, 156, 168–178, 188–189, 320, 323, 397–400, 403, 412, 415, 474, 483, 484, 570, 586
- Пугачев Иван Михайлович (ум. 1738), отец Е. И. Пугачева 172
- Пугачева Софья Дмитриевна (урожд. Недюжева; 1742 – не ранее 1804), донская казачка; первая жена Пугачева 73 (жена), 86 (первая жена), 403, 414
- Пугачева Устинья Петровна (урожд. Кузнецова; 1757 – не ранее 1804), яицкая казачка; вторая жена Пугачева 86, 89, 171, 172
- Пульчи (Pulci) Луиджи (1432–1484), итальянский поэт 259, 546
- Путяга Николай Васильевич (1802–1877), литератор, мемуарист 158, 400
- Пушкин Василий Львович (1766–1830), поэт; дядя А. С. Пушкина 61, 429
- Пушкин Гаврила Григорьевич (ум. 1638), воевода; предок Пушкина 310, 311
- Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852), младший брат Пушкина 510, 545 (брат)
- Пушкин Сергей Львович (1770–1848), отец Пушкина 224, 247 (отец поэта), 509, 516, 521 (отец Пуш<кина>), 523 (отец поэта), 524, 430
- Пушкина Надежда Осиповна (урожд. Ганнибал; 1775–1836), мать Пушкина 210, 230, 441, 509, 528
- Пушкина Наталья Николаевна (урожд. Гончарова, во втором замужестве Ланская; 1812–1863), жена Пушкина (с 1831) 223, 225–230, 557, 580
- Пьянов Денис Степанович (1724–1774), яицкий казак 81, 84
- Пьянов Михаил Денисович (1752 – не ранее 1838), яицкий казак, собеседник Пушкина в Уральске 81 (младший сын), 84 (младший сын)
- Пыпин А. Н. 418, 579
- Рабле (Rabelais) Франсуа (1494–1553), французский писатель-гуманист, врач 94, 460
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802), писатель 371, 492
- Радклиф (Radcliffe) Анна (урожд. Уорд (Word); 1764–1823), английская писательница, автор «готических» романов 333, 560
- Раевский Николай Николаевич, младший (1801–1843), генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г.; знакомый Пушкина 530
- Раевский Николай Николаевич, старший (1771–1829), участник Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии, член Государственного совета; отец А. Н. и Н. Н. Раевских 497, 501

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель восстания 1670–1671 гг. 18, 404, 415
 Раич Е. Н. см. Амфитеатров Е. Н.
 Раич С. Е. 254, 362, 463, 507, 544, 545–550
 Райт (Wright) Томас (1792–1849), английский гравёр и живописец; автор портрета Пушкина (1836) 231, 529
 Рак В. Д. 530, 547
 Ралли (Ралли-Земфираки), семья; кишиневские знакомые Пушкина 548
 Рамазанов Николай Александрович (1817–1867), скульптор, ученик С. И. Гальберга, автор работ по истории искусства 425
 Расин (Racine) Жан (1639–1699), французский драматург 58, 59, 107, 344, 345, 384, 424, 425, 427, 534
 Раск (Rask) Расмус Кристиан (1787–1832), датский филолог, исследователь исландского языка 155, 474
 Распе (Raspe) Рудольф Эрих (1737–1794), немецкий писатель 452
 Рассадин Ст. Б. 562
 Ростопчина Е. П. см. Ростопчина Е. П.
 Рафаэль Санти (Rafaello Santi; 1483–1520), итальянский живописец 38, 104, 259, 337, 341, 343, 365, 562, 564
 Рейнсдорн Иван Андреевич (1730–1782), губернатор Оренбургской губернии, генерал-поручик 87, 416
 Рейфман П. С. 468
 Рени (Reni) Гвидо (1575–1642), итальянский живописец 341, 562
 Репей (Repey) Люсьен, французский литератор, переводчик, издатель газеты «Journal d'Odessa»; кишиневский знакомый Пушкина 582
 Репнин Аникита Иванович (1668–1726), полководец 285, 286
 Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич (1778–1845), князь; участник Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии, малороссийский генерал-губернатор, член Государственного совета (с 1834) 25
 Рецептер В. Э. 6
 Рихтер (Richter) Иоган-Пауль (Жан-Поль; Jean Paul) (1763–1825), немецкий писатель 308, 554
 Ричард (Richard) III (1452–1485), король Англии (1483–1485), последний из династии Йорков 558
 Робеспьер (Robespierre) Максимилиен (1758–1794), деятель Великой французской революции, руководитель якобинцев 390
 Рогова А. И. 362, 589, 590
 Рогович, кандидат Московского университета, сотрудник редакции «Журнала министерства народного просвещения» 572
 Рожалин Николай Матвеевич (1805–1834), литератор, переводчик 387
 Рождественский Николай Федорович (1800–1872), профессор философско-юридического факультета Петербургского университета 185, 187
 Роза (Rosa) Сальватор (1615–1673), итальянский художник 264, 294
 Розберг Михаил Петрович (1804–1874), писатель, филолог, историк, главный редактор «Одесского вестника» 582
 Розен (Rosen) Георгий (Егор) Федорович (1800–1860), барон; литератор и издатель 12, 32–34, 79, 142, 146, 156, 189, 366–371, 375, 385, 410, 412, 413, 415, 431, 453, 464, 474, 479, 494, 553, 577, 585
 Ромаповы, династия 538
 Россини (Rossini) Джоаккино (1792–1868), итальянский композитор 336, 466
 Ростопчина (Растопчина) Евдокия Петровна (урожд. Сушкова; 1811–1858), поэтесса, переводчица; жена графа А. Ф. Ростопчина 561, 575
 Ротчев Александр Гаврилович (1807–1873), поэт, переводчик, чиновник Дирекции императорских театров 560
 Ротшильды, династия предпринимателей и общественных деятелей 31
 Рубенс (Rubens) Питер Пауль (1577–1640), фламандский живописец 343, 564
 Рулье Карл Францевич (1814–1858), естествоиспытатель, биолог-эволюционист, профессор зоологии в Московском университете 562
 Румянцев (Румянцев-Задунайский) Петр Александрович (1725–1796), граф; полководец, генерал-фельдмаршал 176, 191
 Рупини (Рупини) Иван Алексеевич (1792–1850), музыкант из крепостных, автор и исполнитель песен и романсов 545
 Руссо (Rousseau) Жан-Батист (1670 или 1671–1741), французский поэт 193
 Руссо (Rousseau) Жан-Жак (1712–1778), представитель демократического крыла французского Просвещения, философ, социолог и эстетик 43, 344, 375, 390

Рыскин Е. И. 437, 438, 440–443, 489, 490, 587, 590
Рычков Петр Иванович (1712–1777), историк, географ, естествоиспытатель и экономист
73, 74, 87, 169, 173, 174, 176, 177, 402, 403, 484

С-в 463

Саади (Сади) (наст. имя Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифалдин; между 1203 и 1210–1292), персидский писатель и мыслитель 64

Сабугий см. Ахундов Мирза Фатали

Сабуров Яков Иванович (1798–1858), офицер лейб-гвардии Гусарского полка, впоследствии чиновник, писатель-очеркист 575

Савари (Savary) Клод-Этьенн (1750–1788), французский путешественник, знаток восточных языков 372

Савельев П. С. 47, 376–377, 379, 437, 569, 570

Саитов В. И. 589

Сакулин П. Н. 506

Саломон Христофор Христофорович (1797–1851), врач, непременный член Медицинского совета, статский советник 225, 526

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия Салтыков; псевд. Н. Щедрин; 1826–1889), писатель и публицист 494

Саль (Salle) Эзэб де (1796–1873), французский издатель Байрона 547

Сальери (Salieri) Алтонио (1750–1825), итальянский композитор 240, 292, 313

Сандомирская В. Б. 409, 412

Сапожников Андрей Петрович (1795–1855), военный инженер, художник-любитель 47, 373

Саути (Southey) Роберт (1774–1843), английский поэт 385

Сахаров, актер 168

Сахаров Иван Петрович (1807–1863), этнограф, фольклорист, археолог 15

Свербесов Дмитрий Николаевич (1799–1874), отставной дипломат, мемуарист; московский знакомый Пушкина 573

Святослав Игоревич (ум. 972 или 973), великий князь Киевский, полководец 475

Селивановский Николай Семенович (1806–1852), книгопродавец и содержатель типографии в Москве 579

Семен (Рене-Семен; Semén) Август Иванович (1788–1862), московский книгоиздатель, книгопродавец, содержатель типографии 571

Семенов Василий Николаевич (1801–1863), выпускник Лицея, чиновник Министерства просвещения, цензор Петербургского цензурного комитета (1830–1836) 20, 22

Сен-Жермен (le comte de Saint-Germain), (ок. 1710–1784) граф; алхимик и оккультист, путешествовавший по разным странам и живший при разных королевских дворах 37, 165, 166, 372

Сен-Жюст (Saint-Just) Луи-Антуан (1767–1794), деятель Великой французской революции 390

Сент-Бев (Sainte-Beuve) Шарль-Огюстен (псевд. Делорм Жозеф; 1804–1869), французский поэт, критик, историк литературы 380, 537, 566

Сенковский (Senkovski) О. И. 8, 10–12, 17, 22, 42, 53, 55 (Барон Брамбеус), 56 (Брамбеус), 83, 93, 105, 121, 124–127, 130, 133, 138, 143, 144, 147, 148, 154, 155, 157–159, 179–181, 213, 364, 365, 367, 369, 371, 373–378, 380, 381, 384, 386–388, 390, 391, 399, 414–417, 422, 423, 426–428, 432, 434–456, 458–460, 462, 463, 465–468, 470–472, 474–476, 479, 486–488, 491, 493, 500, 515, 516, 519, 531, 552, 568–570, 572, 575–577, 584, 585

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал 399

Сербинович Константин Степанович (1797–1871), писатель, редактор «Журнала министерства народного просвещения» (1834–1856) 571, 572

Сервантес Сааведра (Cervantes Saavedra) Мигель де (1547–1616), испанский писатель 134

Сергиевский И. В. 490

Серебровская Е. П. 440, 444, 449, 452–454, 457, 489, 490

Сибуги см. Ахундов Мирза Фатали

Сигов Дмитрий Иванович, лубочный писатель 1830-х гг. 404

Сикст V (Sixtus V; в миру Монтальто Феличе Перетти; 1521–1590), римский папа (1585–1590) 290, 549

Силин С. см. Сулин С. Н.

Сильвестр де Саси (Silvestre de Sacy) Антуан Исаак (1758–1838), барон; французский ученый-востоковед 479

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович (Гаврилович) Петровский-Ситнианович; 1629–1680), общественный и церковный деятель, писатель и проповедник 57

Симонов Иван Данилович (1728 – не ранее 1778), комендант гарнизона в Яицком городке 74, 87–89, 174, 403

Синельников Филипп Мартынович, писатель, автор сочинений о М. И. Голенищеве-Кутузове 499

Синявский Н. А. 590

Сиркур (Circourt) Адольф-Мария-Пьер де (1801–1879), граф; французский публицист и историк 522

Сиркур Анастасия Семеновна (урожд. Хлюстина; 1808–1863), хозяйка литературного салона, автор статей о русской литературе; жена А.-М.-П. Сиркур 522

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1587–1610), князь; полководец, дипломат 433, 588

Скотт (Scott) Вальтер (1771–1832), английский писатель 38, 39, 55, 60, 65, 67, 126, 134, 135, 148, 150, 181, 182, 186, 187, 242, 253, 347, 385, 407, 418, 431, 449, 454, 460, 493, 497, 498, 500, 523, 543, 577

Скриб (Scribe) Огюстен-Эжен (1791–1861), французский драматург и либреттист 164, 480, 560

Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (Малюта; ум. 1573), государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины 289 («Малюта»)

Скюдери (Scudéry) Мадлен де (1607–1701), французская писательница 252

Слонимский А. Л. 406

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), крупнейший петербургский издатель и книгопродавец 9, 11, 12, 17, 21, 47, 63, 82, 93, 105 (С***), 120, 124, 127, 132, 138, 144, 154, 159, 179, 181, 182, 373, 375, 376, 380, 384, 414, 416, 423, 426, 434–436, 444, 445, 447, 452, 454, 459, 463, 469, 475, 504, 505, 545, 546, 550 (смирдинское издание), 562, 568, 581, 584

Смирнов К. Н. 480

Смирнов Павел (возможно, псевд. А. Ф. Воейкова) 463

Смирнов-Сокольский Н. П. 18, 504, 505, 590

Смирнова Александра Осиповна (урожд. Россет; 1809–1882), фрейлина, мемуаристка; приятельница Пушкина 437, 457

Снегирев Иван Михайлович (1793–1868), историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед, цензор 389

Снегирев Л., издатель 231, 232, 394

Снегирев Леонтий Александрович (1812–1863), поэт 66

Снорри Стурлусон (Snorri Sturluson; 1178–1241), исландский писатель, автор «Младшей Эдды» 474 («Снорриева Элда»)

Соболевский Сергей Александрович (1803–1870), поэт-эпиграмматист, библиофил; друг Пушкина 16, 399, 413, 417, 418, 426, 528

Соколов (Хлопуша) Афанасий Тимофеевич (1714–1774), атаман, один из ближайших сподвижников Пугачева 73, 85, 91, 172, 173

Соколов Дмитрий Михайлович (1786–1819), переводчик 392

Соколов Петр Иванович (1766–1836), переводчик, непреходящий секретарь Российской академии 392

Соколова Т. В. 380

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808–1839), поэт 260

Соколовский Михаил Матвеевич (род. ок. 1756), российский скрипач, дирижер и композитор 432

Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф; писатель 377

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк 562

Сорокин Михаил Павлович (ум. 1848), поэт, переводчик, фельетонист 556

Спартак (Spartacus; ум. 71 до н. э.), гладиатор, вождь восстания рабов в Древнем Риме (73 или 74–71 до н. э.) 80, 412

Спасский Григорий Иванович (1783–1864), историк Сибири, член-корреспондент Петербургской академии, издатель журналов «Сибирский вестник» (1818–1824) и «Азиатский вестник» (1825–1827) 403, 484

Спасский Иван Тимофеевич (1795–1861), доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии; домашний врач Пушкиных 225–227, 229, 521, 527

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф; действительный тайный советник, государственный деятель 397, 398

Средний-Камашев Иван Николаевич (1800-е – 1860-е), литератор и критик 1820–1830-х гг. 394

Срезневский Измаил Иванович (1812–1880), профессор Петербургского университета, филолог, славист, цензор 575

Ставассер Петр Андреевич (1816–1850), скульптор, ученик С. И. Гальберга 425

- Сталь (Staël) Анна-Луиза-Жермена де (1766–1817), французская писательница 59, 357, 567
- Станиславский Сергей Кириллович (1723 – не ранее 1775), генерал-майор 87, 416
- Стаиквич Николай Владимирович (1813–1840), философ, поэт, общественный деятель 54 («Несколько мгновений из жизни графа Т***»), 382, 385, 538, 551, 579
- Старчевский Адальберт-Войтех Викентьевич (1818–1901), журналист, мемуарист 455, 456, 571, 572
- Стасов Василий Петрович (1769–1848), архитектор 497
- Стаций (Stadius) Публий Папиний (ок. 45–96), римский поэт 286
- Степанов А. Н. 438, 440, 441, 454, 457, 459, 490
- Степанов Александр Петрович (1781–1837), писатель 161, 424
- Степанов Г. В. 536
- Степанов Николай Степанович (1791–1851), книгопродавец, владелец типографии в Москве, издатель «Московского наблюдателя» 580, 581
- Столянский П. Н. 462
- Сторожко Андрей Яковлевич (псевд. Иван Царынный; 1790 или 1791 – 1857 или 1858), военный и политический деятель, мемуарист 476
- Строганов Григорий Александрович (1770–1857), граф; дипломат; двоюродный дядя Н. Н. Пушкиной 230
- Строганов Сергей Георгиевич (1794–1882), генерал-майор, попечитель Московского учебного округа, глава Московского цензурного комитета 507
- Строганова Юлия Павловна (1782–1864), графиня; жена Г. А. Строганова 230
- Строев В. М. 51, 193, 370, 379, 380, 412, 428, 449, 454, 456–459, 462, 479, 499, 500, 577, 578
- Стросв Павел Михайлович (1796–1876), историк и археограф; брат В. М. Строева 379
- Стромилов Семен Иванович (1813–1860), поэт 575
- Струговников Александр Николаевич (1808–1878), переводчик 66, 394, 509, 587
- Струйский Дмитрий Юрьевич (псевд. Трилунный; 1806–1856), поэт, прозаик, музыкальный критик, композитор, сотрудник «Литературной газеты» и других периодических изданий 419, 498
- Стур см. Штур П. Ф.
- Суворин А. С. 494
- Суворов Александр Васильевич (1729–1800), полководец 191, 401, 484, 498
- Сулин Семен Никитич, войсковой атаман Донского казачьего войска (1773–1774) 72, 73, 170, 171, 402, 483
- Сюлье (Soulié) Мельхиор-Фредерик (1800–1847), французский драматург и романист 390
- Сумароков Александр Петрович (1717–1777), поэт, драматург 50, 58, 62, 107, 108, 112, 113, 165, 221, 239, 328, 345, 489, 534
- Сумароков Павел Иванович (1760–1846), писатель, драматург 369, 392, 421, 427, 429
- Сурич Иван Миронович (1735 – не ранее 1775), офицер Оренбургского гарнизона, капитан 85
- Сутей см. Саути
- Сю (Sue) Эжен (наст. имя Сю Мари-Жозеф; 1804–1857), французский писатель и историк 379, 385, 459
- Тамерлан (Тимур, Амир Темур, Тимурленг, Железный хромец; 1336–1405), полководец, эмир 402
- Танька, легендарная ростокинская разбойница, крестьянка (XVIII в.) 280, 549
- Тартаковский А. Г. 491, 495, 496, 498, 501, 502
- Тассо (Tasso) Торквато (1544–1595), итальянский поэт 59, 286, 344, 367–369, 378, 388, 392, 393, 421, 448, 449, 544, 548, 549, 588
- Тегнер (Tegner) Эсайас (1782–1846), шведский поэт-романтик 60
- Тенерани (Tenerrani) Пьетро (1798–1869), итальянский скульптор, ученик А. Кановы 341, 562
- Тенирс-младший (Teniers) Давид (1610–1690), фламандский живописец, мастер бытового жанра 186, 493
- Теньер (Tappier) Джон (ок. 1780 – 1847), американский мемуарист 586
- Теньер см. Тенирс-младший
- Теплова Надежда Сергеевна (в замуж. Терюхина; 1814–1848), поэтесса 574
- Тепляков Виктор Григорьевич (1804–1842), поэт, прозаик, археолог, путешественник 97, 586
- Теребнев Александр Иванович (1815–1859), скульптор 232
- Терпигорев Николай Николаевич (ок. 1817 – не ранее 1846), чиновник канцелярии Министерства народного просвещения, автор воспоминаний в «Историческом вестнике»; племянник цензора В. Н. Семенова 25
- Тик (Tieck) Людвиг (1773–1853), немецкий писатель-романтик 166

- Тимашев Иван Лаврентьевич, отставной коллежский советник и подполковник; участвовал в обороне Оренбургской крепости 87
- Тименчик Р. Д. 17, 521, 526, 536, 556
- Тимофеев Алексей Васильевич (1812–1883), поэт, драматург, беллетрист 10, 13, 56, 424, 428, 456, 516, 531, 570, 577
- Титов Владимир Павлович (1807–1891), литератор из кружка «любомудров», чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел 467, 544
- Тихонравов Н. С. 440, 489
- Толкачев Михаил Прокофьевич (1729–1774), яицкий казак, пугачевский атаман 89
- Толстовалов см. Полстовалов А. М.
- Толстой Александр Петрович (1801–1873), граф; государственный и церковный деятель 465
- Толстой Дмитрий Николаевич (1806–1884) граф; государственный деятель, историк, мемуарист 427
- Толстой Я. Н. 29, 31, 363–364, 371, 414, 422, 473, 516, 534, 547
- Томашевский Б. В. 417, 437, 441, 449, 467
- Тон Константин Андреевич (1794–1881), архитектор 425
- Торкелин (Thorkelin) Гримур Йонссон (Торкелиус; 1752–1829), исландский историк и филолог, издатель «Беовульфа» 155, 474
- Торкелис см. Торкелин Г. Д.
- Торлациус (Thorlacius) Скули Тордарсон (1741–1815), датский филолог, специалист по сагам 155, 474
- Тотлебен Готлиб Генрих (1710 или 1715 – 1773), граф; генерал-лейтенант, участник Семилетней и русско-турецкой войн 1768–1774 гг. 172, 177
- Траубенберг фон Михаил Михайлович (1722–1772), генерал-майор 177, 484
- Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768), поэт, переводчик, теоретик стихосложения 57, 112, 126, 163, 180, 345, 383, 427, 429, 451, 479, 548
- Тренин В. В. 469
- Трилушный см. Струйский Д. Ю.
- Тройницкий А. Г. 211, 509–511, 582
- Тройницкий Н. Г. 212, 510, 511
- Тропинин Василий Андреевич (1776 или 1780 – 1857), художник-портретист 231, 528
- Трофимов И. Т. 501, 507
- Трофимов Ж. А. 425
- Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860), князь; гвардейский полковник, декабрист 363
- Туманский Василий Иванович (1800–1860), поэт; близкий знакомый Пушкина 56, 260, 545
- Тургенев Александр Иванович (1784–1845), общественный деятель, археограф, литератор; брат Андр. И. и Н. И. Тургеневых 18, 25, 146, 157, 226, 227, 229–231, 245, 419, 425, 470, 471, 475, 478, 492, 502, 521, 524, 527, 575, 585, 586
- Тургенев Николай Иванович (1789–1871), государственный деятель, декабрист, экономист; брат Ал. И. и Андр. И. Тургеневых 363
- Турунов Яков Николаевич (1811–1873), преподаватель истории в военно-учебных заведениях, литератор 533
- Тьер (Thiers) Луи-Адольф (1797–1877), французский государственный деятель и историк 157
- Тынянов Ю. Н. 501
- Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт 13, 521, 544, 586
- Тютюнджу Оглы см. Сенковский О. И.
- Уваров Сергей Семенович (1786–1855), граф; член общества «Арзамас», президент Академии наук (с 1818), министр народного просвещения (с 1834) 16, 21–25, 373, 399, 406, 413, 437, 445, 493, 495, 506, 507, 521, 522, 535, 537, 538, 571–574, 580, 586
- Уланд (Uhland) Людвиг (1787–1862), немецкий поэт-романтик 301, 377
- Ульянов Илья Иванович (1744 – не ранее 1776), яицкий казак, сподвижник Пугачева 73, 173, 403, 483
- Устрялов Николай Герасимович (1805–1870), историк, академик Императорской академии наук, профессор Петербургского университета 509
- Уткин Николай Иванович (1780–1863), художник-гравер 231, 524, 529
- Ушаков Василий Аполлонович (1789–1838), участник Отечественной войны 1812 г., писатель и театральный критик 110, 374, 375, 380, 395, 428, 451
- Фарнгаген фон Энзе К. А.** 297, 298, 300, 313, 316, 361, 362, 549, 550–551, 553, 554, 567
- Февчук Л. П. 528
- Федотова С. Б. 362, 581, 589, 590

- Феодор Иоаннович (1557–1598), русский царь (с 1584) из династии Рюриковичей 309, 538
- Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт 287
- Фигнер Александр Иванович (1734–1773), прапорщик гарнизонных войск Оренбургской губернии 86
- Фидий (нач. V в. до н. э. – ок. 432–431 до н. э.), древнегреческий скульптор 336
- Фиески (Fieschi) Жозеф (1790–1836), французский военный, организатор покушения на Луи-Филиппа в 1835 г. 25
- Фикельмон (Fiquelmont) Шарль-Луи (1777–1857), граф; австрийский посланник в Петербурге (1829–1839), литератор, публицист 401
- Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), митрополит Московский и Коломенский 482
- Филдинг (Fielding) Генри (1707–1754), английский писатель 452
- Фиэски см. Фиески Ж.
- Флакман см. Флакмен
- Флакмен (Флакман; Flaxman) Джон (1755–1826), английский скульптор и рисовальщик 288, 549
- Флоран (Florian) Жан-Пьер-Клари де (1755–1794), французский поэт, баснописец, романист 424, 494
- Фокин Н. И. 500, 583
- Фомин Евстигней Ипатьевич (1761–1800), композитор 432
- Фомин Николай Ильич (ум. до 1848), беллетрист 1830-х гг., историк, книгопродавец 404
- Фомин Трофим Федорович, атаман Зимовейской станицы, сподвижник Пугачева 73, 171, 172, 403, 414
- Фомичев С. А. 5, 362, 509, 589, 590
- Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745 – 1792), писатель, драматург 35, 108, 115, 130, 135, 150, 151, 374, 412, 421, 422, 427, 456, 460, 524, 571
- Фортис (Fortis) Альберто (1741–1803), аббат, итальянский ученый, поэт, журналист и путешественник 95, 418
- Фосс (Voss) Иоганн Генрих (1751–1826), немецкий писатель, переводчик античной литературы 307, 554
- Фридлендер Г. М. 405–407, 437, 439–442, 455, 457, 590
- Фридрих (Friderich) II Великий (1712–1786), прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов 203
- Фролов Николай Григорьевич (1812–1855), географ, переводчик, автор трудов по естествознанию, друг Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского, Я. Н. Неверова 551
- Фролова Елизавета Павловна (урожд. Галахова), жена Н. Г. Фролова 551
- Фуке (Fouqué) Фридрих Хайнрих Карл де ла Мотт (1777–1843), барон; немецкий писатель 558
- Фукс Анна Андреевна (урожд. Апехтина; ок. 1805–1853), автор стихотворений, повестей и этнографических очерков 457
- Фуше (Fouché) Жозеф, герцог Отрантский (1759–1820), французский государственный и политический деятель 34
- Харлов Захар Иванович (1734–1773), премьер-майор, комендант Нижнеозерной крепости 85
- Харлова Татьяна Григорьевна (1756–1773), дочь коменданта Татищевой крепости Г. М. Елагина, жена З. И. Харлова 81, 84–86
- Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835), поэт, переводчик 494
- Хемницер Иван Иванович (1745–1784), поэт-баснописец 35, 108, 427, 517, 571
- Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), поэт, драматург, прозаик 50, 58, 60, 62, 108, 109, 239, 256, 327, 421, 427, 429
- Хитрово Елизавета Михайловна (1783–1839), дочь М. И. Кутузова, близкий друг Пушкина 500–502, 566
- Хлопуша см. Соколов А. Т.
- Хлюстин Семен Семенович (1810–1844), офицер лейб-гвардии Уланского полка, чиновник Министерства иностранных дел; племянник Ф. И. Толстого 426, 522
- Хмельницкий Николай Иванович (1789–1845), писатель, драматург 321
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), поэт, драматург, впоследствии идеолог славянофильства 240, 322, 420, 453, 461, 573–575, 577, 586
- Хрусталеv Николай, переводчик 1830-х гг. 434
- Цветаев Федор Федорович (1808–1859), библиофил, главный приказчик магазина А. Ф. Смирдина 426
- Цедлиц (Zedlitz) Иозеф Кристиан фон (1790–1862), австрийско-немецкий поэт 464

- Церетели Григорий Филимонович (1870–1938), филолог-эллинист и палеограф 549
- Цицерон (Cicero) (Марк Туллий Цицерон; 106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель 519
- Цявловская (Зенгер) Т. Г. 17, 398
- Цявловский М. А. 511, 523, 590
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), философ, писатель 392, 469
- Челлини (Cellini) Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор, ювелир и писатель 267, 547
- Челлини (Cellini) Джованни, флорентийский инженер, флейтист и музыкальных дел мастер, отец Б. Челлини 547
- Ченстон см. Шенстон У.
- Черейский Л. А. 364, 476, 485, 494, 508, 532, 544, 556, 568, 571, 583, 590
- Черемин Г. С. 409
- Чернецов Григорий Григорьевич (1802–1865), художник 232, 529
- Чернышев Александр Иванович (1786–1857), граф; военный министр (1827–1852) 85, 401
- Чернышев Петр Матвеевич (1730–1773), комендант гарнизона в Симбирске, полковник 177
- Черняев Н. И. 373
- Чика см. Зарубин И. Н.
- Чинтио (Cintio) Джамбаттиста Джиральди (1504–1573), ученый, гуманист 378
- Чириков Сергей Гаврилович (1776–1853), учитель рисования в Царскосельском лицее, губернёр (1811–1841) 528
- Чумаков Федор Федотович (1729 – не ранее 1787), яицкий казак, пугачевский полковник 85
- Чуровский Александр Иванович, писатель 1830-1850-х гг. 404
- Шаликов Петр Иванович (1767 или 1768–1852), поэт, прозаик, издатель «Дамского журнала» и «Московских ведомостей» 117, 210, 429, 509
- Шальман Е. С. 440, 486–490
- Шамфор (Chamfort) Себастьян-Рош-Никола (1741–1794), французский писатель-моралист 235, 530
- Шаплет Самойло Самойлович (ум. 1834), военный инженер, переводчик, сотрудник журналов «Благонамеренный», «Соревнователь просвещения и благотворения» и «Библиотека для чтения» 498, 500
- Шариф А. А. 514
- Шаронова А. В. 22, 365, 376, 442, 453, 466, 570, 589, 590
- Шатобриан (Châteaubriand) Франсуа-Рене де (1768–1848), французский писатель и политический деятель 59, 247, 252, 537, 566
- Шахова Елизавета Никитична (1822–1899), писательница 561
- Шаховской Александр Александрович (1777–1846), писатель, драматург, театральный деятель 165–168, 374, 375, 481, 482
- Шевырев Степан Петрович (1806–1864), поэт, критик, теоретик и историк литературы 9–12, 96, 118, 132, 136, 143, 147, 153, 241, 301, 303, 334, 362, 385, 393, 394, 419, 420, 432–435, 448, 449, 453, 455, 457–459, 461, 462, 465–467, 473, 477, 478, 480, 488–490, 493, 509, 511, 523, 526, 535–539, 541, 542, 544, 548, 552–554, 558–565, 566, 567, 572–580, 586
- Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616), английский поэт и драматург 39, 46, 50, 55, 56, 58–60, 134, 136, 188, 215, 221, 253, 369, 290, 304, 309, 328, 330, 339–341, 343, 347, 352, 357 («Гамлет»), 369, 375, 378, 388, 390, 414, 431, 517, 518, 530, 548, 562, 567
- Шеллер (Scheller) Фридрих Йоханн, немецкий исследователь, автор труда по северогерманской мифологии (1804) 155, 473
- Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854), немецкий философ 465, 551, 577
- Шенрок В. И. 438, 440, 489
- Шенстон (Ченстои; Shenstone) Уильям (1714–1763), английский поэт 292, 313, 585
- Шенье (Chénier) Андре-Мари (1762–1794), французский поэт 7, 62, 63, 99, 240, 318, 393, 585
- Шереметев Борис Петрович (1652–1719), полководец и дипломат 285, 286
- Шереметев Дмитрий Николаевич (1803–1871), граф; ротмистр Кавалергардского полка, флигель-адъютант, впоследствии камергер, гофмейстер; меломан 24
- Шереметев С. Д. 589
- Шереметевы 24
- Шеффер П. Н. 589

- Шигаев Максим Григорьевич (1726–1775), яицкий казак, сподвижник Пугачева 73, 85, 172, 173
- Шидловский Александр В., писатель, поэт 1820–1830-х гг. 531, 575
- Шидловский А. Ф. 582
- Шикло А. Е. 590
- Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805), немецкий поэт 10, 38, 39, 47, 55, 59, 78, 95, 98, 104, 188, 242, 254, 267 («Граф Габсбургский»), 301, 303, 304, 309, 339, 377, 385, 392, 420, 422, 523, 547, 551, 554, 560
- Шиммельманн (Schimmelmänn) Якоб (1712–1773), немецкий исследователь и переводчик «Эдды» 155, 473
- Шишкин Алексей Петрович (1787–1838), отставной подполковник корпуса инженеров путей сообщения, ростовщик 586
- Шишкина Олимпиада Петровна (1791–1854), фрейлина, писательница 433, 434
- Шипков Александр Семенович (1754–1841), адмирал, государственный деятель, президент Российской Академии, писатель 375, 494
- Шкловский В. Б. 442
- Шлегели 551
- Шлегель (Schlegel) Фридрих (1772–1829), немецкий философ, писатель, критик, теоретик романтизма 58, 59
- Шлецер (Schlözer) Август Людвиг фон (1735–1809), русский и немецкий историк 125, 154, 155, 300, 447
- Шлихтер Алексей Иванович, петербургский писатель 1830-х гг. 531
- Шпольц Вильгельм (Василий) Богданович фон (1798–1860), врач 225, 521
- Шомет-Дефоссе (Chaumette-des-Fossés) Жан-Батист-Габриель-Амедей (1782–1841), французский дипломат, путешественник и негодянт 95 (один французский консул)
- Штольберг (Stolberg) Фридрих Леопольд (1750–1819), немецкий писатель и переводчик 554
- Штольберг (Stolberg) Христиан (1748–1821), немецкий писатель и переводчик 554
- Штур (Stuhr) Петер Фелдсен (1787–1851), немецкий историк, исследователь скандинавской поэзии 155, 473
- Шувалов Андрей Петрович (1744–1789), граф; писатель; сын фельдмаршала П. И. Шувалова 424
- Шувалова (Зубова) Фекла (Текла) Игнатьевна (урожд. Валентинович; 1801–1873), графиня; в первом браке княгиня Зубова, жена А. П. Шувалова 419
- Шуйский Василий Иванович (Василий IV; 1552–1612), русский царь (1606–1610) 34, 238, 288, 289, 309, 310
- Щ-в 463
- Щеголев П. Е. 364, 520–523, 525–527
- Щемелева Л. М. 544
- Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), знаменитый актер, московский знакомый Пушкина 469
- Щербинин Михаил Андреевич (1793–1841), военный офицер, чиновник, литератор-дилетант 558
- Щербинин Михаил Павлович (1807–1881), чиновник канцелярии М. С. Воронцова, впоследствии сенатор, член Главного управления цензуры и председатель Московского цензурного комитета 509, 511
- Эвальд (Ewald) Йоханнес (1743–1781), датский поэт и драматург 155, 474
- Эдуард Вестминстерский (Ланкастер; Edward of Westminster; 1453–1471) принц Уэльский; первый муж Анны Невилл 558
- Эзоп (VI в. до н. э.), древнегреческий баснописец 103
- Эйдельман Н. Я. 20
- Эленшлэгер (Oehlenschläger) Адам Готлоб (1779–1850), датский писатель-романтик 60
- Эмиш Николай Федорович (ок. 1760 – 1814), поэт, драматург, прозаик 498
- Эристов Дмитрий Алексеевич (1797–1858), историк и юрист, поэт-дилетант 482, 483
- Эрман (Erman) Георг Адольф (1806–1877), немецкий ученый и путешественник 37, 372
- Эткинд Е. Г. 548
- Юркевич П. И.** 7, 159, 165, 409, 476, 477, 478, 481
- Яворский Стефан (1658–1722), церковный и государственный деятель, публицист 424
- Языков Михаил Александрович (1811–1885), друг И. И. Панаева и В. Г. Белинского 527
- Языков Николай Михайлович (1803–1847), поэт 56, 131, 240, 245, 260, 322, 370, 377, 393, 408, 419, 420, 427, 443, 457, 471, 479, 524, 553, 573–575, 579, 586

Языковы 484
Яков (James) I (1566–1625), король Англии (с 1603) 518
Яковлев В. А. 510
Яковлев Михаил Лукьянович (1798–1868), музыкант и литератор; лицейский товарищ
Пушкина 397, 398, 401, 482, 483, 508
Якубович Л. А. 209, 357, **507–508**, 567, 575
Япиш *см.* Павлова К. К.
Ястребцов Иван Иванович (1775–1839), член Российской Академии, цензор 375
Bachaumont Louis Petit de (1690–1771), французский литератор, мемуарист 487
Bouterwek Friedrich (1766–1828), немецкий философ и историк литературы 562
Corbet С. 562
Diderot Denis *см.* Дидро Дени
Grimm Friedrich Melchior (1723–1807), немецкий литератор и дипломат 487
Hatin E. 364
Mérimée *см.* Мериме П.
Raab H. 554
Rabelais *см.* Рабле Ф.
Reissner E. 551, 553, 554
Savary С.-Е. *см.* Савари К.-Э.
Senkovski J. *см.* Сенковский О. И.
Yovanovitch V. M. 417, 418

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

- «А в ненастные дни...» 166
<Автобиографическисе записки> 566
Александр Радищев 586
<Альманашик> 16
Ангел («В дверях Эдема ангел нежный...») 240
Анджело 8, 22, 46–48, 50, 51, 55, 63, 93, 113, 277, 287, 317, 328, 339, 366, 373, 375, 378, 379, 387, 405, 413, 414, 416, 434
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир...») 63, 240, 318, 393, 554
Анчар («В пустыне чахлой и скупой...») 16
<Арап Петра Великого> 51 (два отрывка из исторического романа), 52 (два отрывка из исторического романа), 79, 247, 252, 333, 347, 350, 379, 541, 542, 558
Ассамблея при Петре Великом *см.* <Арап Петра Великого>
<Баратынский> («Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов...») 351, 352, 566
Барышня-крестьянка 52, 545, 473, 517, 556
Бахчисарайский фонтан 68, 79, 83, 93, 96, 152, 190, 234, 239, 255, 261, 264–268, 282, 283, 287, 295, 314, 315, 324, 346, 380, 413, 447, 582
«Безумных лет угасшее веселье...» *см.* Элегия
Бова. (Отрывок из поэмы) 345, 567
«Бог веселый винограда...» 563
Борис Годунов 16, 33, 48, 55, 63, 68, 77, 79, 99, 115, 158, 210, 235, 237–240, 277, 286–292, 306, 309–312, 322, 328, 331, 338, 347, 351, 366–369, 384, 391, 407, 408, 420, 422, 431, 447, 477, 507, 517, 520, 533, 534, 538, 539, 553, 558, 564
Бородинская годовщина («Великий день Бородина...») 190, 293, 319 («стихотворение, принадлежащее ко времени последней польской войны»), 464, 495, 501, 555
Братья разбойники 93, 272, 273, 314, 325, 413, 416, 547
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 217, 591
Будрыс и его сыновья («Три у Будрысы сына, как и он, три литвина...») 22, 54, 116, 366, 570
«Была пора: наш праздник молодой...» (Лицейская годовщина) 242, 330, 341, 524, 535, 542, 563
«В Академии наук...» *см.* <На Дондукова-Корсакова>
В альбом («Долго сих листов заветных...») 558
<В альбом А. О. Смирновой> («В тревоге пестрой и бесплодной») 558
«В начале жизни школу помню я...» 341, 343, 563
«В одном из наших журналов дают заметить...» *см.* <О журнальной критике>
«В одном из № «Литературной» газеты» упоминали о записках парижского палача...» *см.* <О записках Видока>
«Вастола, или Желания», повесть в стихах, сочинение Виланда, издал А. Пушкин 137, 426, 462
Веселый пир («Я люблю вечерний пир...») 166, 481
Вечера на хуторе близ Диканьки 455, 493
«...Вновь я посетил...» 524, 528, 535, 536, 542, 563
Воевода («Поздно ночью из похода...») 22, 54, 116, 366, 570
Вольтер 586
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день...») 217, 519
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой ночи...») 345, 390
«Вы так откровенны и снисходительны...» *см.* «Гости съезжались на дачу...»
Выстрел 51, 79, 380
Галуб *см.* <Тазит>
Герой («Да, слава в прихотях вольна...») 244, 251, 252, 524, 536, 537
Городок («Прости мне, милый друг...») 344
«Гости съезжались на дачу...» 461, 545
Граф Нулин 93, 277, 316, 413, 416

- Гробовщик 52
 Гусар («Скребницей чистил он коня...») 22, 54, 116, 570
- Д. В. Давыдову («Тебе певцу, тебе герою...») 524
 «Дар напрасный, дар случайный...» 217, 519
 19 октября («Роняет лес багряный свой убор...») 216, 519
 Демон («В те дни, когда мне были новы...») 96, 240
 Дешница. Альманах на 1830 год 411
 Джон Теннер 586
 Домик в Коломне 93, 277, 317, 365, 405, 413, 416, 537, 548
 <Дубровский> 333, 347, 349, 411, 556
- Евгений Онегин 63, 68, 79, 96, 97, 111, 116, 117, 163, 190, 203–206, 218–220, 234, 239, 256, 267–272, 277, 295, 306–308, 322, 325–328, 330, 331, 338, 346, 347, 352, 365, 379, 388, 390, 391, 393, 410–412, 417, 420, 422, 466, 479, 492, 503, 519, 520, 541, 545–547, 556–558, 565, 566, 582
- Египетские ночи 247, 251, 333, 347, 350, 541, 542, 558
 <Езерский> 586
- Жених («Три дня купеческая дочь...») 533
 «Жил на свете рыцарь бедный...» 249
- Заздравный кубок («Кубок янтарный...») 342, 563
 Замечания о бунте 20, 398, 401
 Записки бригадира Моро де Бразе 21, 26
 Зимнес утро («Мороз и солнце; день чудесный...») 294
 Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...») 556
 Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы...») 393
- «И далее мы пошли — и страх обьял меня...» 341, 343, 563, 564
 Из Анакрона. Отрывок («Узнают коней ретивых...») 564
 Из Апеня («Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров...») 570
 Из Ксенофана Колофонского («Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...») 570
 Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительно кровью...») 7, 470, 585
 История Петра 224, 235, 320, 327, 355, 530, 557, 567, 571
 История Пугачева см. История Пугачевского бунта
 История Пугачевского бунта 8, 18–20, 24, 53, 71–74, 79–84, 93, 156, 168–178, 188–189, 194, 235, 320, 366, 397–405, 412–416, 474, 477, 482–484, 520, 525, 533, 570, 571
 История села Горюхина 247, 252, 333, 347, 349, 541, 542, 560, 565
- К *** («Я помню чудное мгновенье...») 294, 553
 К Баратынскому («Стих каждый повести твоя...») 348, 565
 К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку...») 527
 К Г<алич>у («Пускай угрюмый рифмотор...») 342, 563
 К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою...») 342, 563
 К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...») 332, 342, 345, 351, 559, 563
- К Н. Г. Л<омонос>ову («И ты, любезный друг, оставил...») 344 (стихи, которые читаем на 389 стран.), 564
- К морю («Прощай, свободная стихия...») 240, 294, 318, 390, 393, 534, 545
 К Наталье («Так и мне узнать случилось...») 344, 564
 К Наташе («Вянет, вянет лето красно...») 344, 564
 К Щербинину («Житье тому, любезный друг...») 558
- Кавказ («Кавказ подо мною. Один в вышине...») 294
 Кавказский пленник 53, 68, 79, 83, 93, 105, 152, 190, 231, 234, 239, 255, 260–264, 268, 321, 323, 341, 346, 380, 409, 411, 413, 420, 447, 464, 517, 528, 542, 546, 553, 554, 556, 558, 559
- «Какая ночь! Мороз трескучий...» 341, 562
 «Как быстро в поле, вокруг открытом...» 558
 Каменный гость 26, 255, 256, 287, 328, 330, 339, 340, 545, 550, 558, 562, 563
 Капитанская дочка 7, 8, 15, 20, 247, 320, 321, 327, 338, 492, 500, 520, 583, 585
 Кирджали 570
- Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии...») 97, 99, 190, 263, 293, 305, 319 («стихотворение, принадлежащее ко времени последней польской войны»), 546, 554, 555
- Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый...») 570 («сербская песня»)
 Красавица («Все в ней гармония, все диво...») 54, 570

- Красавице, которая нюхала табак («Возможно ль? Вместо роз, Амуром насажденных...») 344, 564
- Кромешник см. «Какая ночь! Мороз трескучий...»
- «Кто знает край, где небо блещет...» 558
- «Кто из богов мне возвратил...» 559
- Летопись села Горохина см. История села Горюхина
- «<...>лины печатью вольномыслия» см. <Автобиографические записки>
- Лицейская годовщина см. «Была пора: наш праздник молодой...»
- М* см. «Он между нами жил...»
- Мадона («Не множеством картин старинных мастеров...») 294, 319
- Мальчику (Из Катулла) («Пьяной горечью Фалерн...») 564
- Медный всадник 17, 18, 25, 26, 243, 244, 247, 248, 330, 338, 339, 352, 366, 405, 422, 524, 536, 537, 541, 558, 560, 563, 570
- Метель 51, 52, 553
- Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной 189, 460, 469, 494, 586
- Молитва см. «Отцы пустытники и жены непорочны...»
- Монастырь на Казбеке («Высоко над семьею гор...») 294
- Мопарт и Сальери 240, 292, 313
- <Мстислав>, планы поэмы 546
- <На Булгарина> («Не то беда, что ты поляк...») 391
- На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты угасал, богач младой!...») 24, 25, 426, 437, 506, 580, 586
- <На Дондукова-Корсакова> («В Академии наук...») 23, 586
- На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено...») 588
- На статую играющего в свайку («Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый...») 588
- Наездники («Глубокой ночи на полях...») 342, 563
- Наполеон («Чудесный жребий совершился...») 63, 240, 293, 319 («смерть Наполеона»), 393, 501, 555
- «Не дай мне бог сойти с ума...» 331, 332, 559
- Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...») 294, 550
- Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем 392, 476, 485, 489
- «Не то беда, Авдей Флюгарин...» см. Эпиграмма
- Ночь («Мой голос для тебя и ласковый и томный...») 393
- О госпоже Сталь и о г. А. М<ухано>ве 357, 567
- <О журнальной критике> («В одном из наших журналов дают заметить...») 455, 460
- <О записках Видока > («В одном из № Лит<ературной> газеты упоминали...») 391
- <О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»> («Долгое время французы пренебрегал словесностью своих соседей...») 247, 252, 537, 541
- <О народной драме и драме «Марфа Посадница»> («Между тем как эфетика...») 352, 566
- <О пародности в литературе> («С некоторых пор вошло у нас в обыкновение...») 408
- О ничтожестве литературы русской 389
- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова 566, 567
- <Об Альфреде Мюссе> («Между тем как сладкозвучный...») 537
- Об «Истории Пугачевского бунта» («разбор статьи, напечатанной в „Сыне отечества“ в январе 1835 г.») 362, 400, 494, 586
- Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико 586
- Обед у русского боярина см. <Арап Петра Великого>
- «Обстоятельства не позволили издателю...» 441
- Объяснение («Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале...») 493, 500, 503, 586
- Ода LVII (Из Анакреона) («Что же сухо в чаше дно...») 563
- «Он между нами жил...» 342, 564
- <Опровержение на критики> 248, 352, 461, 490, 565, 567
- Опыт отражения некоторых не-литературных обвинений 567
- Осгар («По камням гробовым в туманах полуночи...») 342, 563–565
- Осень. (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...») 343, 366
- Ответ анониму («О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье...») 492
- Ответ Ф. Т<уманскому> («Нет, не церкешенка она...») 294
- Отрывок («Не розу Пафосскую...») 563

- <Отрывок> («Несмотря на великие преимущества...») 410, 543
 «Отцы пустышники и жены непорочны...» 242, 524, 535, 542, 563
 «Перед гробницею святой...» 196, 202, 502, 503
 Песни западных славян 7, 94, 116 (семнадцать сербских песен), 296, 418, 432, 559, 570
 Песни о Стеньке Разине 18
 Песнь о вещем Олеге («Как ныне собирается вещей Олег...») 546
 <«Песнь о полку Игореве»> («Песнь о полку Игореве найдена была...») 509
 Пиковая дама 7, 22, 51–54, 79, 152, 165–167, 235, 237, 327, 366, 379, 380, 412, 424, 581, 482, 520, 533, 568, 570
 Пир во время чумы 292, 313
 Пир Петра Первого («Над Невою резов вьются...») 7, 140, 145, 190, 293, 320, 464, 470
 Письмо к издателю («Георгий Кониский, о котором напечатана статья...») 361, 440, 443, 451, 469, 485–490, 494, 500, 586
 <Письмо к издателю «Московского вестника»> («Благодарю Вас за участие, принимаемое вами в судьбе Годунова...») 487
 <Письмо к издателю «Литературной газеты»> («Отдавая полную справедливость...») 487
 <Письмо к издателю «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“»> («Сейчас прочел...») 405
 Повести покойного Ивана Петровича Белкина 51–53, 152, 235, 327, 379, 380, 446, 520, 533, 571
 Подражания Данту см. «В начале жизни школу помню я...», «И дале мы пошли – и страх обьял меня...»
 Полководец («У русского царя в чертогах есть палата...») 183, 189–193, 195, 201, 491–497, 499–501, 583, 585
 Полтава 7, 55, 79, 93, 99, 159–161, 234, 240, 277–287, 296, 316, 317, 321, 323, 338, 347, 351, 380, 413, 416, 420, 422, 476–478, 481, 517, 534, 545, 546, 548, 549, 556, 565
 Последний из свойственников Иоанны д'Арк 524
 Поэт («Пока не требует поэта...») 215, 240, 294, 518, 550
 Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной...») 240, 278, 534
 Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной...») 294, 299 («сонет к поэту»), 319 («сонет к поэту»), 552
 <Предисловие к запискам Н. А. Дуровой> («В 1808 году молодой мальчик, по имени Александров...») 478, 479
 Предчувствие («Слова тучи надо мною...») 294
 <Примечание к записке «О Древней и Новой России»> («Во втором № „Современника...“») 525, 538
 Пророк («Духовной жаждою томим...») 553
 Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г. 7, 20, 23, 142, 146, 157, 464, 470, 475, 556, 562, 585
 <Путешествие из Москвы в Петербург> 350, 488, 565
 Разговор книгопродавца с поэтом («СТИШКИ для вас одна забава...») 205, 235, 295, 296, 417, 487, 530, 550
 <Разговор о критике> («А. Читали вы в последнем №...») 461, 590
 <Редакционные заметки, связанные с изданием «Современника»> см. «Обстоятельства не позволили издателю...», см. <Примечание к записке «О Древней и Новой России»> («Во втором № „Современника...“»)
 Родословная моего героя см. <Езерский>
 Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы) («Начнем ab ovo: мой Езерский...») 190
 <Роман в письмах> 461
 Ромул и Рем 339
 <Рославлев> (Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)) 351, 497, 566, 585
 Российская Академия 478, 586
 <Русалка> 541, 550, 558, 559, 563
 Русалка («Над озером, в глухих дубровах...») 247–249, 330, 331, 339–341, 422
 Руслан и Людмила 62, 83, 93, 99, 112, 158, 189, 205, 233, 239, 255–261, 268, 278, 282, 286, 287, 313, 322, 323, 331, 345, 346, 367, 380, 413, 420, 422, 431, 447, 495, 529, 533, 545, 546, 554, 556, 558
 Сапожник (Притча) («Картину раз высматривал сапожник...») 585
 Сказка о золотом петушке 7, 23, 375, 432, 570
 Сказка о купце Кузьме Остолопе см. Сказка о попе и о работнике его Балде
 Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 7, 22, 36, 54, 366, 372, 432, 570
 Сказка о попе и о работнике его Балде 331, 332, 372, 405, 559
 Сказка о рыбаке и рыбке 7, 116, 246, 247, 366, 372, 375, 422, 432, 570

- Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лесбеди 36, 371, 375, 405, 422, 433, 540
Скупой рыцарь 7, 145, 247, 292, 313, 470, 540, 551, 585
Словарь о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно чтимых 586
Собрание сочинений Георгия Копиского, архиепископа Белорусского 146, 157, 470, 475, 486, 586
Сон. (Отрывок) («Пускай поэт с камильницей наемной...») 333, 342, 559, 563
<Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина> («На днях вышли в свет «Сочинения...») 365
«Стамбул гуяры нынче славят...» 146 («турецкое стихотворение»), 341 («начало Поэмы»), 470, 562
Стансы Т<олсто>му («Философ ранний, ты бсжишь...») 363
Станционный смотритель 52, 320
Страшник («Однажды странствуя среди долины дикой...») 492
Сцена из Фауста («Мне скучно, бес...») 96, 240, 292, 313, 328
Сцены из рыцарских времен 247, 333, 347, 350, 524, 541, 550, 560
<Тазит> 247, 249–251, 330, 331, 341, 541, 542, 559, 562, 563
Талисман («Там, где море вечно плещет...») 294, 318, 320
«Там, где древний Кочерговский...» см. Эпиграмма
Телега жизни («Хоть тяжело подчас в ней бремя...») 294, 379
Товарищам («Промчались годы заточенья...») 342, 563
Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов 405, 455, 476, 485
Три ключа («В степи мирской, печальной и безбрежной...») 558
Туча («Последняя туча рассеянной бури...») 580
Ты и вы («Пустое вы сердечным ты...») 553
Утопленник («Прибежали в избу дети...») 422, 557
Фиал Анакрона («Когда на поклонение...») 342, 563
Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан живой...») 294
Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова 586
Французская Академия 478, 480, 586
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...») 500
Цыганы 152, 234, 239, 272–277, 282, 287, 315–316, 324–325, 328, 346, 392, 413, 416, 420, 547, 553, 556
Цыганы («Над лесистыми берегами...») 68, 79, 93, 96
Ч<аада>ву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») 392
«Чем чаще празднует лицей...» 558
Чернь см. Поэт и толпа
«Что белеется на горе зеленой...» 418
Эвлега («Вдали ты зришь утес уединенный...») 564
Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 63, 64, 118, 220, 247, 393, 432, 519, 540
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...») 391
Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский...») 451
Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом...») 492, 553
«Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу...» 564
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...» 563
«Я помню чудное мгновенье...» см. К ***
Яныш королевич («Полюбил королевич Яныш...») 331, 559
Table-talk 20, 543, 562, 565, 586

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ*

- Альциона 34, 368, 370
Атеней 443, 465, 567
Библиотека для чтения 8–15, 17, 22, 26, 31, 36, 45, 47, 51–54, 56, 63, 64, 79, 82, 83, 94, 103, 120–127, 129–133, 137–139, 142–145, 147, 148, 152–154, 156, 158, 159, 162, 179–182, 187, 193, 213, 247, 296, 358, 361, 363–365, 367, 369, 371, 373, 375–381, 384, 387, 388, 390, 394, 395, 397, 399, 409, 412–415, 417, 418, 423, 426–429, 432, 434–436, 438–440, 442–460, 462, 463, 465–468, 470, 473–475, 486, 488–490, 493, 500, 506, 508, 515–517, 519, 520, 531, 532, 535, 540, 556, 568–570, 572–574, 576–581, 584–586
Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции 421
Вестник Европы 140, 352, 386, 388, 391, 392, 395, 443, 451, 464, 465, 471, 472, 508, 546, 566, 567, 589
Галатея 255, 260, 273, 282, 296, 386, 421, 443, 544–549
Гирланда 443
Дамский журнал 371, 372, 411, 482
Денница 411, 548, 565
Детская библиотека 556, 576 («Детский журнал»)
Европеец 395, 479, 572, 574
Живописное обозрение 361, 497, 529, 570–571
Журнал Департамента народного просвещения 571, 589
Журнал для пользы и удовольствия 423
Журнал для овцеводов 465
Журнал Министерства народного просвещения 362, 376, 377, 381, 382, 385, 404, 419, 507, 571–572
Заволжский муравей 53
Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения 571
Известия Русского Археологического общества 377
Ипокрена 423
Колокольчик 443
Коммерческая газета 426
Листки, издаваемые Обществом сельского хозяйства России 582
Листок 383
Литературная газета 149–153, 182, 194, 330, 405, 407, 421, 437, 443, 444, 455, 463, 479, 485, 487, 499, 507, 508, 511, 518, 519, 542, 544, 545, 583–585
Литературные листки 152, 395, 454, 471, 589
Литературные листки. Прибавление «Одесскому вестнику» 53, 582
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 129, 130, 140, 147, 179, 181, 362, 365, 367, 369, 376, 377, 382, 385, 388, 405, 427, 428, 436, 439, 440, 443, 446, 447, 450, 451, 454, 460, 463, 468, 470, 472, 475, 477, 478, 489, 505, 506, 508, 516, 520, 521, 543, 579, 582, 584, 589
Лицей 392
Мнемозина 463, 539
Мос новоселье 180, 186, 463, 487
Молва 7–9, 47, 49, 51, 56, 107, 129, 130, 179, 361, 362, 371, 372, 375, 377, 378, 382, 383, 385, 387, 389, 408, 412, 418, 421, 426, 427, 429, 430, 432, 443, 449, 454, 455, 457, 461, 468, 469, 472, 478, 480, 486–488, 539–541, 574, 580, 585
Москвитянин 350, 377, 536, 537, 541, 542, 558–561, 565, 589
Московские ведомости 24, 210, 398, 420, 423, 426, 427, 430, 432, 436, 440, 458, 465, 468, 471, 508, 509, 520, 529, 530, 537, 573, 574, 578, 580, 581, 589
Московский вестник 149–153, 351, 357, 382, 394, 408, 443, 463, 465, 473, 479, 487, 488, 499, 511, 518, 534, 552, 560, 561, 565, 566, 572, 575, 577, 582–584, 589
Московский наблюдатель 9–11, 24, 25, 124, 130–133, 147, 150, 162, 164, 179, 187, 213, 245, 362, 385, 392, 401, 415, 419–421, 428, 429, 432–434, 437, 439, 440, 442, 444, 446, 449, 455–459, 461, 463, 465–472, 477, 479, 480, 485, 490, 492, 493, 499, 511, 514, 516, 523, 526, 535, 538–542, 544, 548, 551, 552, 558–560, 562, 564, 572–581, 584, 586, 587
Московский телеграф 124, 133, 357, 362, 363, 370–372, 375, 378, 379, 387, 390, 391, 395, 411, 425, 443, 444, 463, 476, 482, 488, 489, 498, 515, 518, 530, 566, 567, 571, 589

* В указатель вошли издания пушкинской эпохи и предшествующего периода.

Новоселье 22, 31, 42, 45–47, 49, 50, 63, 365, 371, 373–379, 384, 387, 388, 395, 413, 414, 422, 429, 439, 458, 463, 470, 548, 552, 568
Одесский вестник (до 1831 г. Journal d'Odessa – Одесский вестник) 53, 361, 362, 510, 511, 582
Отечественные записки 74, 174, 297, 302, 330, 382, 403, 421, 422, 443, 484, 517, 544, 549–551, 553, 558, 567, 587, 589
Памятник отечественных муз 563
Пантеон 421
Периодическое сочинение о успехах народного просвещения 571
Подснежник 529
Полярная звезда 371, 413, 448, 550, 568
Приятное и полезное препровождение времени 423
Репертуар русского театра 421
Русский музей 389, 564
Русская Талия 555
Русский вестник 357, 508, 518, 567, 590
Русский зритель 389
Русский инвалид, или Военные ведомости 8, 82, 170, 362, 412, 454, 483, 506, 590
Санкт-Петербургские ведомости 209, 362, 376, 381, 436, 495, 500, 503, 504, 508, 541, 542, 556
Санкт-Петербургский вестник 443, 590
Северная лира 550
Северная Минерва 443, 444
Северная пчела 7, 14, 46, 47, 53, 93, 124, 127–131, 147, 150, 153, 155, 156, 164, 168, 179, 181, 182, 185, 188, 189, 193, 194, 357, 362, 364, 368–370, 375, 376, 379, 380, 391, 397–400, 409, 415, 416, 421, 423–425, 428, 431, 432, 436–439, 443–445, 450, 451, 453, 455, 456, 462, 463, 468, 471–479, 481, 482, 484–486, 489–491, 493–496, 499, 500, 503, 504, 506–508, 515, 520, 521, 528, 529, 533, 534, 539–541, 553, 556, 562, 567, 574, 578, 582–586, 590
Северные цветы 16, 51, 79, 231, 379, 393, 413, 463, 508, 519, 534, 542, 583, 590
Северный архив см. Сын отчества и Северный архив
Северный Меркурий 392, 443
Современник 7, 8, 11, 12, 14–18, 20, 21, 23, 25, 26, 121–123, 138–158, 161–165, 179, 182, 184–190, 194, 195, 201, 223, 235, 241, 243–247, 252–254, 302, 330, 368, 382, 400, 403, 406, 407, 426, 427, 435–443, 451, 453, 455, 460–465, 467, 468, 470–475, 477–483, 485–490, 492–495, 500–504, 506, 508, 509, 516, 520, 521–528, 530, 535–543, 545, 551, 553, 558, 560, 562–566, 568, 571, 579, 580, 582–587, 590
Соревнователь просвещения и благотворения (Труды Вольного общества любителей российской словесности) 423
Сын отчества и Северный архив (до 1829 г. и в 1836–1837 гг. – Сын отчества) 53, 124, 128, 129, 137, 151, 156, 164, 168, 179, 193, 362, 363, 366, 376, 387, 392, 395, 397, 399, 400, 404, 409, 411, 412, 428, 437, 444, 450, 454, 456–458, 462, 473, 474, 476, 482, 494, 508, 518, 520, 521, 532, 551, 553, 556, 558–559, 566, 577, 578, 581, 590
Телескоп 8, 9, 53, 54, 110, 124, 129, 130, 133, 137, 164, 179, 181, 362, 366, 371, 374, 375, 383, 386, 390, 392, 394, 396, 408, 409, 411, 418, 420, 421, 427, 429, 430, 432–434, 439, 440, 443–446, 448, 449, 451–455, 457, 459, 466–469, 471, 472, 476, 480, 485, 486, 488, 489, 499, 508, 537, 539, 541, 542, 548, 566, 569, 578–580, 586
Трудолюбивая пчела 181, 185, 489
Труды Вольного общества любителей российской словесности см. Соревнователь просвещения и благотворения
Труды общества любителей российской словесности (при Московском университете) 544, 561
Ученые записки императорского Московского университета 420, 508, 554
Художественная газета 231, 361, 528, 587, 588
Эхо 443
Der Delphin 554
Edinburgh Review 364, 585
Europe Litteraire 364
Foreign Quarterly Review 475, 585, 588
Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik 299, 550, 553
Journal de Savans 155
Journal d'Odessa (до 1831 г. Journal d'Odessa, – Одесский вестник) 362, 509–511, 582
Iduna 474
Magasin Pittoresque 571
Penny Magazin 571
Revue Encyclopédique 363
Foreign Quarterly Review 475

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Э. Рецентер.</i> Вместо предисловия	5	
<i>Е. О. Ларионова.</i> Последние годы	7	
 1834		
<i>Н. И. Греч.</i> Письмо в Париж, к Якову Николаевичу Толстому. <Отрывки>	29	363
<i>Н. К.</i> «Россия и Баторий», историческая драма в пяти действиях, соч<инение> барона Розена. <Отрывки>	32	366
<i>К. А. Полевой.</i> О новом направлении в русской словесности	35	370
<i>О. И. Сенковский.</i> «Новоселье». Книга вторая. <Отрывки>	42	373
<i>П. С. Савельев.</i> «Новоселье». Часть вторая. <Отрывки>	47	376
<i>Из «Молвы».</i> «Новоселье». Часть вторая. <Отрывок>	47	377
<i>Из «Молвы».</i> Письмо к издателю. <Отрывки>	49	378
<i>В. М. Строев.</i> «Повести, издаанные Александром Пушкиным»	51	379
<i>О. И. Сенковский.</i> «Повести, издаанные Александром Пушкиным»	53	380
<i>А. А. Краевский.</i> Обзорение русских газет и журналов за первую половину 1834 года. <Отрывки>	53	381
<i>В. Г. Белинский.</i> Литературные мечтания. <Отрывки>	55	382
 1835		
<i>В. Б. Броневский.</i> «История Пугачевского бунта»	71	397
<i>Н. В. Гоголь.</i> Несколько слов о Пушкине.	75	404
<i>В. Г. Белинский.</i> «Повести, издаанные Александром Пушкиным»	78	412
<i>Е. Ф. Розен.</i> «История Пугачевского бунта», соч<инение> А. Пушкина	79	412
<i>Из газет</i> «Русский инвалид». «История Пугачевского бунта»	82	413
<i>Из «Библиотеки для чтения».</i> «Поэмы и повести» Александра Пушкина. Часть первая. «Сочинения» Карамзина. Издание четвертое	82	413
<i>О. И. Сенковский.</i> «История Пугачевского бунта»	83	414
<i>Из «Северной пчелы».</i> «Поэмы и повести А. С. Пушкина»	93	416
<i>О. И. Сенковский.</i> «Стихотворения Александра Пушкина»	93	417
<i>В. Г. Белинский.</i> «Стихотворения Владимира Бенедиктова». <Отрывок>	95	418
<i>В. С. Межевич.</i> О народности в жизни и в поэзии. <Отрывок>	98	420
 1836		
<i>Из «Библиотеки для чтения».</i> «Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму...»	103	423
<i>Ф. В. Булгарин.</i> Настоящий момент и дух нашей литературы. <Отрывки>	103	424
<i>О. И. Сенковский.</i> «Востола, или Желания». Повесть в стихах, сочинение Виланда. Издал А. Пушкин.	105	426
<i>Из «Молвы».</i> «О мнимом сочинении Пушкина «Востола»»	107	426
<i>В. Г. Белинский.</i> Ничто о ничем, или Отчет г<осподину> Издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы. <Отрывки>	107	427
<i>В. Г. Белинский.</i> «Востола, или Желания». Повесть в стихах, соч<инение> Виланда. В трех частях. Изд<ал> А. Пушкин	112	430
<i>Ф. В. Булгарин.</i> Взгляд на русскую сцену. <Отрывки>	115	431
<i>В. Г. Белинский.</i> «Стихотворения Александра Пушкина». Часть четвертая	116	432
<i>С. П. Шевырев.</i> Перечень Наблюдателя. <Отрывки>	118	432
<i>О. И. Сенковский.</i> «Вообще нет ничего нового в политическом свете...»	121	435
<i>Н. В. Гоголь.</i> О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году	123	437
<i>А. С. Пушкин.</i> «Востола, или Желания», повесть в стихах, сочинение Виланда, издал А. Пушкин.	137	462
<i>В. Ф. Одоевский (?).</i> Несколько слов о «Современнике».	138	462

Из «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». «Столь давно и столь нетерпеливо ожидаемая просвещенными любителями отечественного слова...»	140	463
В. П. Андросов. Как пишут критику <Отрывки>	143	465
В. Г. Белинский. Несколько слов о «Современнике»	144	468
Ф. В. Булгарин. Мнение о литературном журнале «Современник», издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным, на 1836 год	149	472
А. Ф. Воейков. Литературная заметка	158	475
П. И. Юркевич. «Полтава». Поэма А. С. Пушкина. Вольный перевод на малороссийский язык Е. Гребенки	159	476
В. Г. Белинский. Вторая книжка «Современника»	161	478
П. И. Юркевич. «Хризомания», драматическое зрелище в трех частях	165	481
А. С. Пушкин. Об «Истории пугачевского бунта» (Разбор статьи, напечатанной в «Сыне отечества» в январе 1835 года)	168	482
А. С. Пушкин. Письмо к издателю	179	485
А. С. Пушкин. «Издатель „Современника“ не печатал никакой программы...»	182	491
Н. И. Греч. «В вышедшей на сих днях третьей книжке „Современника“...»	183	491
Ф. В. Булгарин. Мое перевоспитание по методе взаимного обучения	184	493
Л. И. Голенищев-Кутузов. «Сообщая мнение свое о произведениях поэзии...»	189	494
В. М. Стров. «Сочинения Фаддея Булгарина». <Отрывки>	193	499
А. С. Пушкин. Объяснение	195	500

1837

Ф. В. Булгарин. Правда о 1812-м годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников	199	503
Из «Северной пчелы». «Евгений Онегин»	203	503
Из «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». «Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение А. Пушкина	205	505

Приложение 1

В. Ф. Одоевский. «Солнце нашей поэзии закатилось!...»	209	506
Л. А. Якубович. «Сегодня, 29-го января, в 3-м часу пополудни...»	209	507
Из «Санкт-Петербургских ведомостей». «Вчера, 29-го января, в 3-м часу пополудни...»	209	508
М. А. Коркунов. Письмо к издателю «Московских ведомостей»	210	508
А. Г. Троицкий. «Les journaux de St.-Petersbourg nous ont apporté une nouvelle...»	211	509
Н. Г. Троицкий. «Все петербургские газеты извещают о незаменимой утрате...»	212	510
Из журнала «Московский наблюдатель». «Пушкина не стало!...»	213	511
Н. А. Полевой. Пушкин	213	515
В. А. Жуковский. Последние минуты Пушкина	224	521
Н. В. Кукольник. Письмо в Париж. <Отрывок>	231	528
К. А. Полевой. Александр Сергеевич Пушкин	233	529

Приложение 2

В. Т. Плаксин. Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов. <Отрывок>	237	531
П. Е. Георгиевский. Руководство к изучению русской словесности <Отрывки>	237	532

Приложение 3

С. П. Шевырев. Перечень Наблюдателя. <Отрывки>	241	535
В. Г. Белинский. «Начиная четвертый год своего существования „Московский наблюдатель“...»	245	538
С. Е. Раич. «Сочинения Александра Пушкина»	254	544
Отзыв иностранца о Пушкине. «Сочинения Александра Пушкина» (статья Варнгагена фон Энзе)	297	550
Н. И. Греч. Чтения о русском языке. <Отрывки>	320	555

«Из Санкт-Петербургских ведомостей». «Сочинения Александра Пушкина». Томы IX, X и XI.	327	556
С. П. Шевырев. «Сочинения Александра Пушкина». Томы IX, X и XI . . .	334	560
Н. А. Полевой. Сочинения Александра Пушкина. Т. I–XI.	354	567
Примечания		361
Историко-библиографические справки о периодических изданиях		568
Условные сокращения		589
Указатель имен		591
Указатель произведений Пушкина		622
Указатель периодических изданий		627

ПУШКИН В ПРИЖИЗНЕННОЙ КРИТИКЕ
1834–1837

Настоящий сборник является четвертой, завершающей, книгой научного издания русской критической литературы о Пушкине «Пушкин в прижизненной критике». Он включает критические отклики на произведения Пушкина 1834–1837 гг., с обширными комментариями, в которых раскрывается литературная обстановка этих лет. В Приложении печатаются некрологические статьи, посвященные Пушкину, и наиболее значительные критические отклики 1837–1841 гг. на посмертно изданные произведения Пушкина.

СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр
в Санкт-Петербурге, 2008. — 632 с.

Художественный редактор *А. Дзяк*
Компьютерная верстка *С. Арефьев*

Подписано в печать 30.09.2008
Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 2720

Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.
191023, СПб., наб. р. Фонтанки, 41

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ИПП «Искусство России»
198099, С.-Петербург, Промышленная ул., 38/2.